



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были отданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

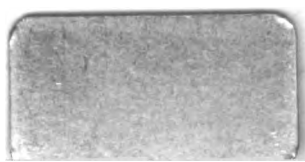
О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

NYPL RESEARCH LIBRARIES



3 3433 06995620 3



ЗА ДВАДЦАТЬ ЛѢТЪ.

Издание третье, дополненное.

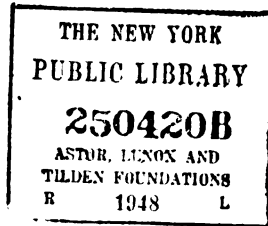
Бельтовъ.

≡ За двадцать лѣтъ. ≡

Сборникъ статей литератур-
ныхъ, экономическихъ и фило-
софско-историческихъ.

Отъ Ирины Мельничанской
Кто далъ жизни
за Родину

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1908.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

	стр.
Предисловіе ко 2-му изданію	VII
„ ко 3-му изданію	IX
„ ко 1-му изданію	1

ОТДѢЛЪ I.

Статьи литературныя:

Наши беллетристы-народники:

Статья первая—Н. И. Наумовъ	5
„ вторая—Гл. И. Успенскій	26
„ третья—С. Карошичъ	77

Н. А. Некрасовъ (Къ 25-лѣтію его смерти)	116
--	-----

Судьбы русской критики:

I. А. Волынскій «Русскіе критики»	133
II. Бѣлинскій и разумная дѣйствительность	164
III. Литературные взгляды В. Г. Бѣлинскаго	213
IV. Эстетическая теорія Н. Г. Чернышевскаго	260

Французская драматическая литература и французская живопись XVIII вѣка съ точки зрѣнія социологіи	302
--	-----

«Исторія русской литературы» А. М. Скабичевскаго	326
--	-----

Объ Искусствѣ	335
-------------------------	-----

Къ психологіи рабочаго движенія	355
---	-----

ОТДѢЛЪ II.

Статьи экономическія и философско-историческія:

Новое направленіе въ области политич. экономіи	377
--	-----

Нѣсколько словъ въ защиту экономич. матеріализма	423
--	-----

Къ вопросу о роли личности въ исторіи	448
---	-----

Экономическая теорія Родбертуса Ягцеова	481
---	-----



48 X 7 8 7

ПРЕДИСЛОВІЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНІЮ.

Предисловіе есть нѣчто въ родѣ послѣдняго слова, предоставляемаго автору, готовящемуся выпустить на судъ публики свое произведеніе. Но на этотъ разъ мнѣ почти нечего сказать въ своемъ послѣднемъ словѣ. *Еже писахъ, писахъ!*

Одинъ благосклонный критикъ замѣтилъ, что въ моемъ сборникѣ мало развита *философская* основа моихъ взглядовъ. Это правда. Но это понятно. *Этотъ* сборникъ содержитъ въ себѣ *только* экономическія, литературныя и философско-историческія статьи. Тотъ же критикъ выражалъ въ томъ же „толстомъ“ и, вдобавокъ, *длинномъ* журналѣ увѣренность въ томъ, что защищаемое мною міросозерпаніе можетъ быть соединено — не помню уже съ какою разновидностью *идеализма*. Объ этомъ я поговорю съ благосклоннымъ критикомъ, когда онъ выскажется обстоятельнѣе. Теперь же замѣчу, что соединять идеализмъ съ матеріализмомъ „есть тѣма охотниковъ, я не изъ ихъ числа“.

Сравнительно съ первымъ изданіемъ здѣсь есть перемѣна: статья „*Чернышевскій и Мальтусъ*“ замѣнена статьею о французской литературѣ и о французскомъ искусствѣ XVIII вѣка. Я сдѣлалъ это потому, что первая изъ этихъ статей войдетъ въ особое сочиненіе о Н. Г. Чернышевскомъ.

Н. Бельтовъ.

24 января 1906 г.

ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНІЮ.

Выпуская въ свѣтъ новое изданіе своего сборника „*За двадцать лѣтъ*“, я на этотъ разъ рѣшаюсь предпослать ему нѣсколько замѣчаній.

Одинъ критикъ,—не только не благосклонный, но, какъ видно, весьма и весьма невнимательный,—приписалъ мнѣ поистинѣ удивительный литературный критерій. Онъ утверждалъ, что я одобряю тѣхъ беллетристовъ, которые признаютъ вліяніе общественной среды на развитіе личности, и порицаю тѣхъ, которые этого вліянія не признаютъ. Нельзя понять меня хуже.

Я держусь того взгляда, что общественное *сознаніе* опредѣляется общественнымъ *бытіемъ*. Для человѣка, держащагося такого взгляда, ясно, что всякая данная „*идеологія*“,—стало быть, также и *искусство* и такъ называемая *изящная литература*,—выражаетъ собой *стремленія и настроенія даннаго общества* или, —если мы имѣемъ дѣло съ обществомъ, раздѣленнымъ на классы,—*даннаго общественнаго класса*. Для человѣка, держащагося этого взгляда, ясно и то, что литературный критикъ, берущійся за оцѣнку даннаго художественнаго произведенія, долженъ прежде всего выяснить себѣ, какая именно сторона *общественнаго* (или *классоваго*) *сознанія* выражается въ этомъ произведеніи. Критики-идеалисты школы Гегеля,—а между ними и нашъ гениальный Бѣлинскій въ соотвѣтственную эпоху своего развитія,—говорилъ, что задача философской критики заключается въ томъ, чтобы идею, выраженную художникомъ въ своемъ произведеніи, перевести съ языка *искусства* на языкъ *философіи*, съ языка образовъ на языкъ *логики*. Въ качествѣ сторонника материалистическаго міровоззрѣнія я скажу, что

первая задача критика состоитъ въ томъ, чтобы перевести идею даннаго художественнаго произведенія съ языка искусства на языкъ социологии, чтобы найти то, что можетъ быть названо социологическимъ эквивалентомъ даннаго литературнаго явленія. Этотъ мой взглядъ не разъ выражался въ моихъ литературныхъ статьяхъ; но, какъ видно, онъ-то и ввелъ въ заблужденіе моего критика.

Этотъ остроумный человѣкъ рѣшилъ, что если, по моему мнѣнію, первая задача литературной критики состоитъ въ опредѣленіи социологическаго эквивалента разбираемыхъ имъ литературныхъ явленій, то я долженъ хвалить тѣхъ авторовъ, которые своими произведеніями выражаютъ пріятныя для меня общественныя стремленія, и порицать тѣхъ, которые служатъ выразителями—непріятныхъ. Это уже было бы само по себѣ достаточно нелѣпо, потому что для критика, какъ для такового, рѣчь идетъ не о томъ, чтобы „смѣяться“ или „плакать“, а о томъ, чтобы понимать. Но „сочинитель“, котораго я имѣю въ виду, еще больше упростилъ дѣло. У нею вышло, что я раздаю похвалы или порицанія, смотря по тому, подтверждаетъ или нѣтъ данный авторъ своими сочиненіями мой взглядъ на значеніе общественной среды ¹⁾). Получилась нелѣпая карриатура, о которой не стоило бы и говорить, если бы она сама не являлась „человѣческимъ документомъ“, весьма интереснымъ для историка нашей,—да, къ сожалѣнію, и не только нашей,—литературы.

Въ разсказѣ Г. И. Успенскаго „Неизлечимый“ дьяконъ, страдающій запоемъ и добивающійся отъ доктора такого лекарства отъ этого недуга, которое вступило бы „въ самую, на примѣръ, въ жилу“, является рѣшительнымъ противникомъ матеріализма, доказывая, что матерія и духъ совсѣмъ не одно и то же. „Изволите видѣть,—разсуждаетъ онъ...—даже и въ „Русскомъ Словѣ“ не сказано прямо такъ, что молъ это все одно... Ежели бы такъ, то взять палку—вотъ тебѣ хребетъ, обмоталъ бичевкой—нервы, еще чего-нибудь наддалъ—и хоть въ мировые посредники выбирай: только шапку съ краснымъ одѣть...“

Этотъ дьяконъ оставилъ многочисленное потомство. Онъ—родоначальникъ всѣхъ „критиковъ“ Маркса. Къ чи-

¹⁾ Онъ забылъ подчеркнуть свои слова хотя бы одной выпиской изъ моихъ литературныхъ статей. Впрочемъ, это понятно само собою.

слу его потомковъ, очевидно, принадлежитъ и мой „сочинитель“. Только надо говорить правду: дьяконъ не такъ „узокъ“, какъ его потомки. Онъ безпристрастно признавалъ, что „даже“ и по „Русскому Слову“ хребетъ не палка, а нервы не бичевка. А вотъ мой немилостивый критикъ очевидно готовъ приписать мнѣ твердое убѣжденіе въ тождествѣ нервовъ съ бичевкой и палки съ хребтомъ. Да и одинъ ли мой критикъ? Достаточно припомнить тѣ возраженія, съ которыми выступали противъ марксиста народники и субъективисты, чтобы убѣдиться въ томъ, что эти наши противники совершенно серьезно приписывали намъ,—да, собственно говоря, и до сихъ поръ не перестали приписывать,—подобныя же нелѣпости. Мало того: можно безъ всякаго преувеличенія сказать, что даже и западно-европейскіе критики Маркса,—напримѣръ, пресловутый г. Бернштейнъ,—навязывали „ортодоксальнымъ“ марксистамъ такія мнѣнія насчетъ „нервовъ“ и „бичевки“, которыя разсудительный дьяконъ никогда не рѣшился бы отнести насчетъ матеріализма. Я не знаю, придетъ ли такое время, когда мы избавимся, наконецъ, отъ удовольствія до-мать копыя съ подобными „критиками“. Думаю, что да; думаю, что придетъ послѣ того общественнаго преобразованія, которое устранить социальныя причины нѣкоторыхъ философскихъ и иныхъ предразсудковъ. Но, пока что, намъ еще много, много разъ придется выслушать отъ нашихъ „критиковъ“ серьезныя увѣщанія въ томъ смыслѣ, что нельзя же выбирать въ „мировые посредники“ палку, обмотанную бичевкой и украшенную шапкой съ краснымъ околышемъ. Поневолѣ воскликнешь, вмѣстѣ съ Гегелемъ: скучно на этомъ свѣтѣ, господа!

Мнѣ скажутъ, пожалуй, что критикъ, берущійся за опредѣленіе социологическаго эквивалента художественныхъ произведеній, легко можетъ злоупотребить своимъ методомъ. Я это знаю. Но гдѣ же тотъ методъ, которымъ нельзя было бы злоупотребить? Его нѣтъ и быть не можетъ. Скажу больше: чѣмъ серьезнѣе данный методъ, тѣмъ нелѣпѣе тѣ злоупотребленія имъ, которыя позволяютъ себѣ люди, плохо его усвоившіе. Но развѣ это доводъ противъ серьезнаго метода? Люди много злоупотребляли огнемъ. Но человѣчество не могло бы отказаться отъ его употребленія, не вернувшись на самую низкую стадію культурнаго развитія.

У насъ теперь очень злоупотребляютъ эпитетомъ „буржуазный“, „мѣщанскій“. Такъ много, что я не безъ сочувствія прочиталъ слѣдующія строки г. И. въ фельетонѣ № 94 „Русскихъ Вѣдомостей“:

„Современная литература попыталась изобрѣсти средство, которое разлагаетъ и разрушаетъ рѣшительно все, оставаясь безопаснымъ для своего носителя. Оно заключается въ словахъ „буржуазный“ и „мѣщанскій“. Стоитъ эти слова направить противъ какого-нибудь общественнаго дѣятеля или литературнаго произведенія, и они будутъ дѣйствовать какъ ядъ, убивающій самый сильный организмъ, разлагающій, уничтожающій. Въ словѣ „буржуазный“ заключается тотъ неопровержимый аргументъ, съ которымъ не могутъ бороться никакія хитросплетенія, никакіе выверты полемическаго дарованія. Это—шимоза, которой нельзя доказать, что она не туда направлена, куда надо, и попала не въ то мѣсто. Въ то или не въ то, а она уже его разрушила.

„Единственнымъ достаточнымъ отвѣтомъ на страшное обвиненіе можетъ быть посылка по тому адресу; откуда прилетѣла смертоносная гостыя, соответственнаго снаряда. Оттуда вамъ прислали „буржуазный“, туда вы пошлете „мѣщанскій“, и такія же опустошенія, какія видите сейчасъ у себя, вы найдете во вражескомъ лагерѣ, потому что загородиться противъ взрывчатаго снаряда нѣтъ крѣпостей, не можетъ быть окоповъ“.

Г. И. по-своему правъ; но правъ только по-своему; правъ, какъ человѣкъ, хорошо видящій извѣстное явленіе, но не дающій себѣ труда понять его общественный смыслъ. А между тѣмъ еслибъ г. И. захотѣлъ понять этотъ смыслъ, то ему легко было бы сдѣлать это именно благодаря тому обстоятельству, что теперь страшно злоупотреблять указанными эпитетами. Г. Дезесперанто правильно говорить („Кіевская Мысль“, № 134 1908 года).

„Весь міръ—„буржуй“ по Сологубу,
„А по Дубровину—„еврей“.

Это такъ. Но почему же весь міръ „еврей“ для г. Дубровина? Нельзя ли опредѣлить социологическій эквивалентъ этой странной психологической абераціи? На этотъ вопросъ едва ли не всякій отвѣтитъ, что можно, и едва ли не всякій тутъ же и безъ малѣйшаго труда опредѣлитъ

этотъ эквивалентъ. Ну, а какъ обстоитъ дѣло съ психологической абераціей г. Сологуба? Можно ли опредѣлить ея соціологическій эквивалентъ? Я опять думаю, что можно.

Вотъ—посмотрите. Не такъ давно органъ г. Дубровина говорилъ: „Сытенское буржуазное счастье, которое намъ сулилъ социализмъ, насъ не удовлетворитъ“ (цитировано въ „Кіевской Мысли“ № 132 1908 года).

Оказывается, что г. Дубровинъ упрекаетъ теперь своихъ противниковъ не только въ еврействѣ, но также и въ буржуазности. Это въ высшей степени интересно. Но замѣтите, что г. Дубровинъ не самъ приготовилъ страшную „шимозу“ буржуазности: онъ взялъ ее въ готовомъ видѣ, скажемъ, у того же г. Сологуба, для котораго весь міръ „буржуй“, или у г. Иванова-Разумника, который даже и природу не прочь обвинить въ буржуазности. Но и эти господа не сами приготовили страшную „шимозу“; они заимствовали ее отъ нѣкоторыхъ критиковъ Маркса, а этимъ послѣднимъ она досталась въ наслѣдство отъ французскихъ романтиковъ. Извѣстно, что французскіе романтики энергично возставали противъ „буржуа“ и „буржуазности“. Но теперь всякому знакомому съ исторіей французской литературы извѣстно и то, что романтики, возстававшіе противъ „буржуа“ и „буржуазности“, сами насквозь были пропитаны буржуазнымъ духомъ. Такимъ образомъ, ихъ нападки на „буржуа“ и ихъ отвращеніе отъ „буржуазности“ знаменовали собой лишь семейную ссору въ рядахъ буржуазнаго класса. Теофиль Готье былъ отчаяннымъ врагомъ „буржуа“, а между тѣмъ онъ съ кровожаднымъ восторгомъ привѣтствовалъ побѣду буржуазіи надъ пролетаріатомъ въ маѣ 1871 года. Уже отсюда видно, что не всякій, кто гремитъ противъ „буржуа“, является противникомъ буржуазнаго общественнаго строя. А если это такъ, то въ страшныхъ „шимозахъ“ разобраться вовсе не такъ трудно, какъ это думаетъ г. И. Есть „антимѣщанство“ и „антимѣщанство“. Есть такіе „антимѣщане“, которые болѣе или менѣе легко мирятся съ эксплуатаціей массы („толпы“) буржуазіей, но никакъ не хотятъ помириться съ недостатками буржуазнаго характера, обусловленными въ концѣ концовъ той же эксплуатаціей. Есть другое „антимѣщанство“, не закрывающее, конечно, глазъ на дурныя стороны буржуазнаго характера, но прекрасно понимающее, что онѣ могутъ быть устранены только посредствомъ устраненія тѣхъ производ-

ственныхъ отношеній, которыми онѣ обусловливаются. И легко понять, что каждый изъ этихъ двухъ видовъ „антимѣщанства“ долженъ находить и дѣйствительно находить свое выраженіе въ литературѣ. А кто понялъ это, тотъ безъ труда разберется и въ „шимозахъ“.

Онъ скажетъ, что есть „шимозы“ и „шимозы“: однѣ изъ нихъ летятъ изъ того лагеря, въ которомъ укрѣпились люди, желающіе, чтобы буржуа отдѣлался отъ недостатковъ, порожденныхъ буржуазными общественными отношеніями, но сохранилъ свою власть надъ трудомъ эксплуатируемой имъ массы. Эти „шимозы“ по своему дѣйствию похожи на хлопущки, которыя страшны только для мухъ. Но есть другія „шимозы“, летящія изъ лагеря людей, вступающихъ противъ всякой эксплуатаціи „человѣка человѣкомъ“. Эти люди много серьезнѣе людей перваго разряда. И къ числу ихъ не принадлежатъ не только г. Дубровины, но и Теофилы Готье; съ ними не имѣетъ ничего общаго также и великое множество нынѣшнихъ русскихъ противниковъ „мѣщанства“. Не принадлежитъ къ нимъ, напри- мѣръ, г. Чуковский, по мнѣнію котораго „Горькій—мѣщанинъ съ головы до ногъ“. У Горькаго много недостатковъ. Его съ полнымъ основаніемъ можно назвать утопистомъ; но мѣщаниномъ его все-таки можетъ назвать только тотъ, кто, подобно г. Дубровину, смѣшиваетъ социализмъ съ мѣщанствомъ. И очень ошибается г. И., говоря: „Г. Горькій продолжаетъ упрекать другихъ въ мѣщанствѣ; другіе упрекаютъ его; все обстоитъ благополучно. Очевидно, это дѣтская игра“. Развѣ можно сказать, что все обошлось благополучно въ литературѣ, въ которой „играютъ“ такими серьезными понятіями, какъ „мѣщанство“ и „антимѣщанство?“ И развѣ не обязанъ стараться положить конецъ такой игрѣ всякій, кто серьезно относится къ задачамъ литературы? Но чтобы положить конецъ дѣтской игрѣ серьезными понятіями, нужно именно быть въ состояніи опредѣлить социалистическій эквивалентъ этой игры, т. е. обнаружить то общественное настроеніе, которое ведетъ къ ней. А этого опять нельзя сдѣлать, не держась обѣими руками за то неоспоримое положеніе, что общественное сознаніе опредѣляется общественнымъ бытіемъ, т. е. за ту мысль, которую я старался положить въ основу своихъ критическихъ статей.

Далеко не всякій „антимѣщанинъ“ можетъ претендо-

вать на званіе идеолога пролетаріата. Это ясно для всякаго знакомаго съ исторіей литературныхъ теченій на Западѣ. Къ сожалѣнію, эта исторія извѣстна у насъ далеко не всѣмъ интересующимся общественными вопросами, а этимъ и создается возможность указанной г. И. вредной игры. Еще недавно, можно сказать совсѣмъ на-дняхъ, у насъ въ плащъ „идеолога пролетаріата“ кутались люди, не имѣвшіе за душой ничего, кромѣ романтической,—т. е. мѣщанской *rag excellence*,—ненависти къ мѣщанству. Не мало такихъ людей фигурировало въ числѣ сотрудниковъ газеты „Новая Жизнь“. Одинъ изъ нихъ, г. Минскій, нѣсколько мѣсяцевъ спустя послѣ закрытія названной газеты, съ побѣдоноснымъ видомъ указалъ на тотъ фактъ, что наши поэты—декаденты по большей части примкнули къ крайнимъ теченіямъ нашего освободительнаго движенія, между тѣмъ какъ защитники реализма въ искусствѣ обнаружили гораздо менѣе склонности къ этимъ теченіямъ. Фактъ указанъ вѣрно. Но онъ совсѣмъ не доказываетъ того, что хотѣлось доказать г. Минскому. Вѣдь, и во Франціи многіе изъ тѣхъ противниковъ „мѣщанства“, которые сами были насквозь пропитаны мѣщанскимъ духомъ,—напр., Бодлеръ,—очень увлекались движеніемъ 1848 года, что не помѣшало имъ отвернуться отъ него, какъ только оно оказалось побѣжденнымъ. Люди этого разряда, мнящіе себя могучими „сверхчеловѣками“, на самомъ дѣлѣ до крайности слабы и, какъ все слабое, естественно тяготѣютъ къ силѣ. Но они не являются новымъ элементомъ силы, а представляютъ собой *отрицательную величину*, отъ которой полезно *отдѣлаться* для того, чтобъ не ослаблять силы движенія. И много грѣха взяли у насъ на свою душу тѣ защитники рабочихъ интересовъ, которые братались съ этими господами.

Однако, вернемся къ задачамъ литературной критики. Я сказалъ, что критики-идеалисты школы Гегеля считали своей обязанностью переводить идею художественнаго произведенія съ языка искусства на языкъ философіи. Но они очень хорошо понимали, что выполненіемъ этой обязанности еще далеко не ограничивается ихъ дѣло. Указанный переводъ составлялъ въ ихъ глазахъ лишь первый актъ процесса философской критики; задача второго акта этого процесса состояла для нихъ въ томъ, чтобы,—какъ писалъ Бѣлинскій,—„показать идею художественнаго созданія въ ея конкретномъ проявленіи, прослѣдить ее въ образахъ и най-

ти цѣлое и единое въ частностяхъ“. Это значить, что за опѣнкой идеи художественнаго произведенія долженъ былъ слѣдовать анализъ его *художественныхъ достоинствъ*. Философія не устраняла эстетики, а, наоборотъ, прокладывала для нея путь, старалась найти для нея прочное основаніе. То же надо сказать и о матеріалистической критикѣ. Стремясь найти общественный эквивалентъ даннаго литературнаго явленія, критика эта измѣняетъ своей собственной природѣ, если не понимаетъ, что дѣло не можетъ ограничиться нахожденіемъ этого эквивалента, и что социологія должна не затворять двери передъ эстетикой, а, напротивъ, настаивать на раскрытіи ихъ предъ нею. Вторымъ актомъ вѣрной себѣ матеріалистической критики должна быть,—какъ это было и у критиковъ-идеалистовъ,—опѣнка эстетическихъ достоинствъ разбираемаго произведенія. Если бы критикъ-матеріалистъ отказался отъ такой опѣнки подъ тѣмъ предлогомъ, что онъ уже нашелъ социологическій эквивалентъ даннаго произведенія, то этимъ онъ только обнаружилъ бы свое непониманіе той точки зрѣнія, на которой ему хочется утвердиться. Особенности художественнаго творчества всякой данной эпохи всегда находятся въ самой тѣсной причинной связи съ тѣмъ общественнымъ настроеніемъ, которое въ немъ выражается. Общественное же настроеніе всякой данной эпохи всегда обусловливается свойственными ей общественными отношеніями. Это какъ нельзя лучше показываетъ вся исторія искусства и литературы. Вотъ почему опредѣленіе социологическаго эквивалента всякаго даннаго литературнаго произведенія осталось бы неполнымъ, а слѣдовательно, и неточнымъ въ томъ случаѣ, если бы критикъ уклонился отъ опѣнки его художественныхъ достоинствъ. Иначе сказать, *первый актъ матеріалистической критики не только не устраняетъ надобности во второмъ актѣ, но предполагаетъ его, какъ свое необходимое дополненіе.*

Повторяю, возможность злоупотребленія методомъ матеріалистической критики не можетъ служить доводомъ противъ нея по той простой причинѣ, что нѣтъ и не можетъ быть такого метода, которымъ нельзя было бы злоупотребить.

Въ своей книгѣ „Къ вопросу о развитіи монистическаго взгляда на исторію“ я, возражая Михайловскому писалъ:

„Трудное это дѣло—объяснить себѣ историческій процессъ, послѣдовательно держась одного принципа. Но что

прикажете? Наука вообще не легкое дѣло, если только это не „субъективная“ наука: въ той всѣ вопросы объясняются съ удивительной легкостью. И разъ у насъ уже зашла рѣчь объ этомъ, мы скажемъ г. Михайловскому, что, можетъ быть, въ вопросахъ, касающихся развитія идеологій, самые лучшіе знатоки „струны“ ¹⁾ окажутся, подчасъ, безсильными, если не будутъ обладать нѣкоторымъ особымъ дарованіемъ, именно *художественнымъ чутьемъ*. Психологія приспособляется къ экономіи. Но это приспособленіе есть сложный процессъ, и, чтобы понять весь его ходъ, чтобы наглядно представить себѣ и другимъ, какъ именно онъ совершается, не разъ и не разъ понадобится талантъ художника. Вотъ, напримеръ, уже Бальзакъ много сдѣлалъ для объясненія психологіи различныхъ классовъ современнаго ему общества. Многому можно поучиться намъ и у Ибсена, да и мало ли еще у кого? Будемъ надѣяться, что современемъ явится много такихъ художниковъ, которые будутъ понимать, съ одной стороны, „железные законы“ движенія „струны“, а съ другой — сумѣютъ понять и показать, какъ на „струнѣ“ и именно благодаря ея движенію, вырастаетъ „живая одежда“ идеологіи“ ²⁾.

Я и теперь такъ думаю. Чтобы разобраться въ томъ, что я назвалъ тогда живой одеждой идеологіи, нужно обладать, подчасъ, талантомъ—или, по крайней мѣрѣ, хоть *чутьемъ*—художника. Тѣмъ болѣе полезно такое чутье въ тѣхъ случаяхъ, когда мы боремся за опредѣленіе социологическаго эквивалента произведеній искусства. Такое опредѣленіе тоже очень трудное и очень сложное дѣло. И неудивительно, что мы,—хотя бы въ томъ же сборникѣ „Литературный распадъ“, по поводу котораго написанъ для „Русскихъ Вѣдомостей“ цитированный мною выше фельетонъ г. И.,—нерѣдко сталкиваемся съ такими критическими сужденіями, которыя показываютъ, что не всѣ желающіе способны дѣлать это трудное дѣло. Тутъ тоже много званныхъ, но мало избранныхъ. Говорю это теперь не въ оправданіе матеріалистическаго метода,—я уже сказалъ, что возможность злоупотребленія даннымъ методомъ еще не

¹⁾ Въ одной изъ направленныхъ противъ насъ полемическихъ статей Михайловскій назвалъ „экономической струной“ экономическую структуру общества.

²⁾ Изд. 2-е, Спб. 1905; стр. 192—193.

даетъ права осуждать самый методъ,—а для того, чтобы предостеречь отъ ошибокъ его сторонниковъ. Въ вопросахъ тактики у насъ сдѣлано много ошибокъ людьми, съ большимъ или меньшимъ правомъ считающими себя послѣдователями Маркса. Было бы очень жаль, если бы подобныхъ ошибокъ надѣлали также и въ области литературной критики. А для избѣжанія ихъ нѣтъ другого средства, кромѣ новаго и новаго изученія основныхъ вопросовъ марксизма. Такое изученіе особенно полезно въ настоящее время, когда подъ вліяніемъ событій послѣднихъ лѣтъ у насъ начинается „переоцѣнка“ теоретическихъ „цѣнностей“. Еще Гете сказалъ, что всѣ реакціонныя эпохи склонны къ субъективизму. Мы переживаемъ теперь именно одну изъ склонныхъ къ субъективизму эпохъ, и намъ, повидимому, предстоитъ видѣть настоящіе оргіи субъективизма. Кое-что по этой части мы уже и сейчасъ видимъ: мистическій анархизмъ г. Чулкова, „богостроительство“ г. Луначарскаго, эротическое умопомѣшательство г. Арцыбашева,—все это различные, но ясные симптомы одной и той же болѣзни. Отнюдь не собираясь лечить людей, уже зараженныхъ этой болѣзью, я хотѣлъ бы, однако, предостеречь отъ нея тѣхъ, которые пока еще здоровы. Микробы субъективизма очень быстро погибаютъ въ здоровой атмосферѣ ученія Маркса. Поэтому марксизмъ является лучшимъ предохранительнымъ средствомъ отъ этой болѣзни. Но чтобы марксизмъ послужилъ такимъ средствомъ, необходимо въ самомъ дѣлѣ *понять* его, а не ограничиваться легкомысленнымъ употребленіемъ марксистской терминологіи. Г. Луначарскій до сихъ поръ, если не ошибаюсь, считаетъ себя марксистомъ, но именно потому, что онъ не усвоилъ себѣ ученія Маркса, а ограничился исключительнымъ повтореніемъ терминовъ марксизма, онъ и дошелъ до своего высококомичнаго „богостроительства“.

Его примѣръ другимъ наука...

Г. Луначарскій давно ужъ носилъ въ себѣ зародыши своей нынѣшней болѣзни. Ея первымъ симптомомъ явилось его увлеченіе философіей Авенаріуса и желаніе „обосновать“ марксизмъ съ помощью этой философіи. Всякому понимающему дѣло чловѣку уже тогда было ясно, что эта попытка „обоснованія“ Маркса свидѣтельствуетъ лишь о

неосновательности самого г. Луначарскаго. Поэтому всякаго такого человѣка новый симптомъ болѣзни г. Луначарскаго ни удивить, ни смутить не можетъ. Понимающіе дѣло люди не смутятся ни предъ какимъ субъективизмомъ. Но много ли у насъ понимающихъ дѣло людей? Увы, ихъ очень мало! И только потому, что ихъ мало, намъ приходится, по выраженію Бѣлинскаго, вести войну съ лягушками, серьезно оспаривая такихъ литературныхъ шалуновъ, которые въ лучшемъ случаѣ заслуживаютъ лишь веселой насмѣшки. И только потому, что у насъ мало понимающихъ дѣло людей, у насъ возможно такое печальное литературное явленіе, какъ „Исповѣдь“ г. Горькаго, которая, конечно, заставитъ всѣхъ истинныхъ почитателей этого очень большого таланта съ безпокойствомъ спросить себя: неужели же его пѣсенка въ самомъ дѣлѣ спѣта?

Я не рѣшусь,—да и очень не хочется мнѣ, отвѣтить утвердительно на этотъ вопросъ. Я только скажу, что въ своей «Исповѣди» г. Горькій сталъ на ту наклонную плоскость, по которой раньше его скатились внизъ такіе гиганты, какъ Гоголь, Достоевскій, Толстой. Удержится ли онъ отъ паденія? Сумѣетъ ли онъ покинуть опасную плоскость? Этого я не знаю. Но я прекрасно знаю, что покинуть эту плоскость онъ можетъ только при условіи основательнаго усвоенія имъ марксизма.

Эти мои слова могутъ дать поводъ къ цѣлому ряду болѣе или менѣе остроумныхъ шутокъ насчетъ моей «односторонности». Я заранѣе рукоплещу удачнымъ шуткамъ, но продолжаю стоять на своемъ. Только марксизмъ могъ бы вылечить г. Горькаго. И эта моя настойчивость должна быть тѣмъ болѣе понятна, что тутъ уместно вспомнить пословицу: чѣмъ ушибся, тѣмъ и лечись. Вѣдь, г. Горькій уже считаетъ себя марксистомъ; вѣдь въ своемъ романѣ „Мать“ онъ уже выступилъ, какъ проповѣдникъ марксовыхъ взглядовъ. Но тотъ же романъ показалъ, что для роли проповѣдника этихъ взглядовъ г. Горькій совершенно не годится, такъ какъ взглядовъ Маркса онъ совсѣмъ не понимаетъ. „Исповѣдь“ и явилась новымъ и, можетъ быть, еще болѣе убѣдительнымъ доказательствомъ этого полного непониманія. Вотъ я и говорю: если г. Горькій хочетъ проповѣдывать марксизмъ, такъ пусть же онъ дастъ себѣ трудъ предварительно понять его. Понять марксизмъ вообще полезно и пріятно. А г. Горькому пониманіе его принесетъ

еще и ту незамѣнимую пользу, что ему станетъ ясно, какъ мало годится роль проповѣдника, т. е. человѣка, говорящаго преимущественно *языкомъ логики*,—для художника, т. е. для человѣка, говорящаго преимущественно *языкомъ образовъ*. А когда г. Горькій убѣдится въ этомъ, онъ будетъ спасенъ...

ПРЕДИСЛОВІЕ къ I-му ИЗДАНІЮ.

Вошедшія въ этотъ сборникъ статьи были напечатаны въ разное время въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ; но всѣ онѣ проникнуты одною основною идеей и потому составляютъ одно цѣлое, несмотря на разнообразіе своего содержанія.

Въ каждой изъ нихъ отразилось,—съ той или другой стороны,—одно и то же міросозерцаніе, въ правильности котораго мнѣ хотѣлось бы убѣдить читателя.

Вотъ почему я собралъ вмѣстѣ эти статьи и позволяю себѣ предложить ихъ вниманію читателя.

Авторъ.

Май 1905 г.

I.

Статьи

литературно-критическія.

НАШИ БЕЛЛЕТРИСТЫ-НАРОДНИКИ.

СТАТЬЯ I.

Н. И. НАУМОВЪ.

I.

Въ семидесятыхъ годахъ Н. И. Наумовъ пользовался огромной популярностью въ самыхъ передовыхъ слояхъ нашей народнической (тогда самой передовой) «интеллигенціи». Его произведеніями зачитывались. Особенный успѣхъ имѣлъ сборникъ *«Сила соломѣ ломитъ»*. Теперь, конечно, времена измѣнились, и никто уже не будетъ такъ увлекаться сочиненіями Наумова, какъ увлекались ими лѣтъ двадцать тому назадъ. Но и теперь ихъ прочтеть съ интересомъ и не безъ пользы для себя всякій, кто небеззаботенъ насчетъ нѣкоторыхъ «проклятыхъ вопросовъ» настоящаго времени; а связанный съ ними историческій интересъ будетъ великъ до тѣхъ поръ, пока не перестанутъ у насъ интересоваться эпохой семидесятыхъ годовъ, во многихъ отношеніяхъ важной и поучительной.

Н. И. Наумова относятъ обыкновенно къ числу беллетристовъ-народниковъ. И это, конечно, справедливо, такъ какъ онъ, во-первыхъ, беллетристъ, а во-вторыхъ—народникъ. Но его беллетристика имѣетъ особый характеръ. Если у всѣхъ вообще нашихъ народниковъ-беллетристовъ публицистическому элементу отводится очень широкое мѣсто, то у Наумова онъ совершенно подчиняетъ себѣ собственно художественный элементъ. Скажемъ болѣе: въ огромномъ большинствѣ случаевъ странно было бы даже и говорить о художественномъ элементѣ въ произведеніяхъ Наумова: онъ тамъ почти всегда совершенно отсутствуетъ; Наумовъ, навѣрно, рѣдко и задавался цѣлью художественнаго творчества. У него была другая цѣль. Въ его очеркѣ *«Горная идилія»* любознательный и великодушный извѣстной начитанности мѣщанинъ Никита Васильевичъ Еремичъ, заброшенный судьбою въ темную инородческую среду въ пред-

горяяхъ Алтая, замѣчаетъ, что хорошо было бы «прописать въ газету» ту страшную эксплуатацію, которой подвергаются инородцы со стороны кулаковъ и даже своего ближайшаго начальства. Но его останавливаетъ то опасеніе, что его, пожалуй, поднимутъ на смѣхъ другіе писатели, выше его стоящіе на общественной лѣстницѣ. Къ тому же онъ не знаетъ, «съ чего начать». Наумову тоже захотѣлось «прописать» хорошо знакомое ему тяжелое положеніе русскихъ крестьянъ и инородцевъ. Какъ человекъ образованный и умѣющій владѣть перомъ, онъ знаетъ, «съ чего начать», и не боялся насмѣшекъ со стороны другихъ писателей. Вотъ онъ и написалъ рядъ разказовъ, «этидовъ», «сценъ», очерковъ и проч. Всѣ его сочиненія имѣютъ беллетристическую форму, но даже при поверхностномъ чтеніи замѣтно, что эта форма является въ нихъ чѣмъ-то внѣшнимъ, искусственно къ нимъ придѣланнымъ. Ему, напримѣръ, хотѣлось «прописать» ту поистинѣ дикую и вопіющую эксплуатацію, которой подвергаются въ сибирскихъ селахъ, лежащихъ на ихъ пути, рабочіе, идущіе по окончаніи лѣтнихъ работъ съ золотыхъ пріисковъ. Онъ, конечно, могъ бы это сдѣлать въ простой статьѣ или въ рядѣ статей. Но ему показалось, что беллетристическое произведеніе сильнѣе подѣйствуетъ на читателя,—и онъ написалъ «сцены», носящія общее названіе «*Паутина*». Нѣкоторыя изъ этихъ сценъ написаны прямо мастерски и обнаруживаютъ несомнѣнный художественный талантъ въ авторѣ. Для примѣра укажемъ на сцену навязыванія товара полупьяному рабочему Евсею въ лавкѣ «торгующаго крестьянина» Ивана Матвѣича («Сочин.», т. I, стр. 88—97). Но это одно изъ счастливыхъ исключеній. Большинство же остальныхъ «сценъ», не переставая показывать хорошее знаніе авторомъ описываемой имъ среды, отличается страшною растянутостью и рѣзущею глаза искусственностью. Эти сцены наскоро шиты бѣлыми нитками для изображенія той или другой формы эксплуатаціи. Дѣйствующія въ нихъ лица не живые люди, а антропоморфныя отвлеченности, получившія отъ автора даръ слова, а лучше сказать: даръ болтливости, и страшно злоупотребляющія имъ въ видахъ просвѣщенія читателя. Особенно болтливы эксплуататоры, которые иногда такъ прямо о себѣ и говорятъ: не ищите у насъ ни стыда, ни совѣсти ¹⁾. Но имъ нельзя не

¹⁾ Въ длиннѣйшей „сценѣ“ разчета за постой крестьянинъ Маркъ Антонычъ говоритъ обираемымъ имъ постояльцамъ-рабочимъ: „У насъ о совѣсти-то этой и поспеченья не кладутъ, потому, сказываютъ, што хлѣбъ-то на деньги продаютъ, а на совѣсть-то его не вѣшаютъ... Ну, и точно, чего сказать, по нашимъ мѣстамъ всѣ грѣшны передъ Богомъ, ужъ праведнаго не сыщешь. По этому самому у насъ и щи-то приправляютъ не молитвой, какъ у васъ, а мясомъ“ (т. I, стр. 154). Это сильно и вполне вразумительно даже для самаго непонятливаго читателя: когда порокъ самъ рекомендуется порокомъ, то его никто не сочтетъ за добродѣтель. Но даже и у Наумова порокъ не всегда скло-

быть болтливыми: болтливость является ихъ первою и почти единственною обязанностью; если бы они не были болтливы, то они и не понадобились бы Наумову. Характеры кулаковъ обыкновенно рисуются у него посредствомъ діалоговъ. Онъ куда-нибудь идетъ по дѣламъ службы, заѣзжаетъ случайно къ какому-нибудь кулаку и начинаетъ задавать ему рядъ вопросовъ, на которые кулакъ подаетъ надлежащія реплики. Вопросы обыкновенно очень наивны, подчасъ и прямо неумѣстны. Вотъ, напримѣръ, богатый кулакъ Кузьма Терентьичъ въ «Паутинь» увѣряетъ, что его жизнь—не жизнь, а «сухая каторга». По этому поводу авторъ спрашиваетъ: «Если вы сознаете, Кузьма Терентьичъ, что подобное ремесло, которымъ вы занимаетесь и тяжело, и опасно, такъ отчего же не оставите его, чтобъ не испытывать болѣе такихъ трудовъ и опасностей, а?» (т. I, стр. 65). Кулакъ доказываетъ, что это невозможно; разговоръ оживляется, затягивается на нѣсколько страницъ, а именно это-то и нужно автору,—свой наивный вопросъ онъ задалъ именно ради этого. Въ очеркѣ «Горная идиллія» уже упомянутый мѣщанинъ Ереминъ, разговаривавшись, упоминаетъ о томъ, что сибирскіе чиновники, вопреки закону, не только не препятствуютъ продажѣ водки инородцамъ, но сами торгуютъ ею въ инородческихъ улусахъ. «Неужели исключительно для торговли виномъ они и ѣздятъ въ горы?»—спрашиваетъ авторъ. Ереминъ, само собою разумѣется, восклицаетъ: «Нѣ-ѣтъ-съ, какъ это можно!» и затѣмъ подробно описываетъ подвиги чиновниковъ. Такимъ образомъ, выходитъ интересный очеркъ, который вы, навѣрное, прочтете съ большимъ удовольствіемъ. Но если вы вспомните, какой наивный вопросъ послужилъ поводомъ для этого очерка, если вы примете въ соображеніе, что авторъ, т. е., лучше сказать, лицо, отъ имени котораго ведется разсказъ, само является чиновникомъ, и что, такимъ образомъ, заданный имъ вопросъ становится еще несравненно болѣе наивнымъ, то вы поневолѣ подивитесь первобытной простотѣ художественныхъ пріемовъ Наумова; вы огласитесь, что беллетристомъ его можно назвать лишь съ огорками.

Авторъ не всегда даетъ себѣ даже и тотъ небольшой трудъ, который нуженъ для придумыванія хотя бы и наивныхъ вопросовъ. Чаше всего онъ повторяетъ стереотипныя фразы въ родѣ: «Неужели все это правда?» или: «А ты не врешь все это?» И эти фразы всегда въ совершенно достаточной, а порою, какъ мы уже сказали, даже и въ излишней мѣрѣ возбуждаютъ словоохотливость его собесѣдниковъ.

Эти словоохотливые собесѣдники обыкновенно хорошо владѣютъ на-

нень къ саморазоблаченію. Тотъ же безстыдный Маркъ Антонычъ, въ отвѣтъ на восклицаніе одной изъ его жертвъ: „Грабы!“—*ужоризненно* замѣчаетъ: „Милый, зачѣмъ эти слова“. Это много естественнѣе.

родной рѣчью ¹⁾. Къ сожалѣнію, они больше, чѣмъ это нужно, «заякаются отъ смущенія», и тогда они говорятъ, напримѣръ, такъ:

— «Ты... ты... ты... что-жъ это взбѣлся-то на меня? Развѣ я... я... я... обидѣлъ тебя чѣмъ?... я... я... кажись, любовно съ тобой»,—и т. д. (т. II, стр. 146).

Согласитесь, что тутъ уже слишкомъ много «заяканій», и что герой такъ выражаетъ здѣсь свое смущеніе, какъ выражаютъ его иногда плохіе актеры на провинціальной сценѣ.

А вотъ еще одна особенность рѣчи словоохотливыхъ собесѣдниковъ Наумова. Всѣ они «съ ироніей говорятъ», «съ ироніей произносятъ», «съ ироніей спрашиваютъ» и т. д., и т. д. Безъ «ироніи» или «насмѣшки» они не произносятъ почти ни одного слова. Вотъ примѣръ:

— «Што-жъ, ты спасеньемъ хошь согрѣваться, што ли, въ этой скворещницѣ-то?—*съ ироніей спросилъ онъ.*

— Спасеньемъ!—отвѣтилъ тотъ.

— Давно ли ты на себя блажь-то эту напустилъ?

— Съ тѣхъ поръ, какъ Богъ наказалъ меня за грѣхи мои.

— А-а-а,—протянулъ онъ,—стало быть, много же грѣховъ-то было, хе, хе, хе, што заживо грѣютъ тебя?—*съ насмѣшкой спросилъ онъ...*» (т. I, стр. 209).

Или:

— «Милости просимъ, батюшка... погости ужъ, присядь, авось погода-то и скоро перейдетъ на твое счастье... Не шибко, штобы красно у меня было здѣсь!—*съ ироніей продолжалъ онъ*» (т. I, стр. 30)—и т. д.

Эта всегда старательно отмѣчаемая авторомъ «иронія», которая смѣняется лишь «сарказмомъ» или «насмѣшкой», подъ конецъ надѣждаетъ и раздражаетъ, какъ неумѣстное повтореніе одного и того же мѣста. Авторъ легко могъ бы избавить читателя отъ этой докучки, предоставивъ ему самому замѣчать иронию, когда она сквозитъ въ словахъ дѣйствующихъ лицъ. Онъ не сдѣлалъ этого. Ему хотѣлось обрисовать характеръ русскаго народа. По его убѣжденію, иронія составляетъ одну изъ яркихъ чертъ этого характера,—и онъ насоваль вездѣ «ироніи» и «сарказмовъ», не допуская даже и мысли о томъ, что они могутъ надѣсть читателю.

У Наумова никогда не было большого художественнаго таланта. Но уже одного такого очерка, какъ «У перевоза» или «Деревенскій аукціонъ»,

¹⁾ Говоримъ: *обыкновенно*, потому что не можемъ сказать *всегда*. Порой рассказчикъ изъ крестьянъ говоритъ обыкновеннымъ нашимъ литературнымъ языкомъ и только время отъ времени вставляетъ въ свою рѣчь слова въ родѣ: «слышь», «лонись», и т. п., какъ бы для напоминанія читателю, что онъ рассказчикъ, не «интеллигентъ», а крестьянинъ. Наумовъ такъ хорошо знаетъ языкъ крестьянина, что ему ничего не стоило бы устранить этотъ недоста-

достаточно для того, чтобы признать его талантливым беллетристомъ. Въ пользу его художественнаго таланта свидѣлствуютъ также многія отдѣльныя сценны и страницы, разбросанныя въ двухъ томахъ его сочиненій. Но онъ не культивировалъ своего художественнаго таланта, лишь зрѣдка позволяя ему развернуться во всю силу, чаще же всего сознательно жертвуя имъ ради извѣстныхъ публицистическихъ цѣлей. Это очень вредило таланту, но нисколько не мѣшало практическому дѣйствию сочиненій.

II.

Какія же практическія цѣли преслѣдовалъ Наумовъ въ своей литературной дѣятельности? Ихъ слѣдуетъ выяснитъ именно потому, что его дѣятельность встрѣчала такое горячее сочувствіе въ средѣ самой передовой молодежи семидесятыхъ годовъ.

Въ очеркѣ «Яшникъ» авторъ, приступая къ разсказу, дѣлаетъ слѣдующую знаменательную оговорку:

„Я не буду вдаваться въ подробное описаніе лишеній, горя и радостей, какія встрѣчались въ жизни Яшника, изъ опасенія не только утомить вниманіе читателя, но и показаться смѣшнымъ въ глазахъ его. Описывая жизнь героя, взятаго изъ интеллигентной среды, авторъ навѣрное можетъ рассчитывать, что возбудитъ въ читателѣ сочувствіе и интересъ къ горю и радостямъ избраннаго имъ лица, потому что горе и радость его будутъ понятны каждому изъ насъ. Но будутъ ли понятны намъ горе и радость такихъ людей, какъ Яшникъ? Что сказали бы читатель, если бы авторъ подробно описалъ ему радость, охватившую Яшника, когда у него отделилась корова, кушленная имъ послѣ многихъ трудовъ и лишеній и долго ходившая межумолокомъ, лишивъ дѣтей его единственной пищи—молока? Развѣ не осмѣялъ бы онъ претензіи его описывать подобныя радости такихъ ничтожныхъ людей, какъ Яшникъ? Въ состояніи ли мы понять глубокое горе Яшника, просчитавшагося однажды на рубль семь гривенъ при продажѣ на рынокѣ корытъ, кадушекъ, ковшей, которые онъ выдѣлывалъ изъ дерева въ свободное отъ полевыхъ работъ время? Конечно, мы бы съ удовольствіемъ поохотали, если бы намъ талантливо изобразили всю комичность этого бѣдняка, который нѣсколько дней послѣ того ходилъ, какъ потерянный, разводя руками и говоря: „А-ахъ ты, напасть, да не наказаніе ли это Божеское: на цѣлые рубль семь гривенъ обмишулился, а-а?“ Но понять горе человѣка, убивающагося изъ-за такой ничтожной суммы, мы не можемъ. Въ нашей жизни рубль семь гривенъ никогда не играютъ такой важной роли, какую играютъ они въ жизни такихъ людей, какъ Яшникъ. Мы отдаемъ болѣе лакею, подавшему намъ богатый обѣдъ въ ресторанахъ. Тогда какъ Яшникъ, для того, чтобы выручить рубль семь гривенъ и отдать ихъ въ уплату причитающейся съ него подати, выгребалъ послѣдній хлѣбъ изъ закрома и везъ его на рынокъ на продажу, питаясь съ семьей отрубями, смѣшанными съ сосновой корой и другими суррогатами, глядя на образцы которыхъ, выставляемые въ музеяхъ, мы только поднимаемъ плечами отъ удивленія: какъ могутъ люди питаться подобною мер-

тою. Но онъ, очевидно, даже и не замѣчаетъ его, будучи равнодушенъ къ формѣ своихъ произведеній.

зостью? Итакъ, избѣжавъ всѣхъ этихъ неинтересныхъ для насъ подробностей, я прямо перейду къ разсказу того эпизода въ жизни Яшника, который имѣлъ роковое вліяніе на судьбу его“ (т. I, стр. 213).

Эта длинная оговорка есть прямой упрекъ нашему «обществу», которое не умѣетъ сочувствовать народному горю. Изображенію этого горя въ одномъ изъ его безчисленныхъ проявленій посвященъ цитируемый очеркъ. Самъ по себѣ онъ очень плохъ: отъ него вѣетъ какою-то почти искусственною слезливостью. Но дѣль его совершенно ясна: Наумовъ хотѣлъ показать, что даже такой во всѣхъ смыслахъ маленькій человекъ, какъ Яшникъ—что-то въ родѣ «сидящаго на землѣ» Акакія Акакіевича—способенъ къ благороднымъ порывамъ и что уже по одному этому заслуживаетъ сочувствія. Мысль эта,—нечего говорить,—вполнѣ справедлива, но ужъ очень элементарна, до такой степени элементарна, что невольно спрашиваешь себя: да неужели же подобныя мысли были такъ новы для передовой интеллигенціи семидесятыхъ годовъ, что она считала нужнымъ горячо рукоплескать высказавшему ихъ писателю?

Въ дѣйствительности передовая интеллигенція семидесятыхъ годовъ увлеклась не этими элементарными мыслями Наумова, а тѣми радикальными выводами, которые она сама дѣлала изъ его сочиненій. Мы не знаемъ, когда былъ напечатанъ «Яшникъ», да это и неважно. Важно вотъ что: если этотъ очеркъ увидѣлъ свѣтъ еще въ семидесятыхъ годахъ, то онъ понравился передовымъ читателямъ, во-первыхъ, вышеприведеннымъ упрекомъ обществу, живущему на счетъ народа, но неспособному понять и облегчить его положеніе, а во-вторыхъ, изображеніемъ благороднаго характера несчастнаго Яшника. Это благородство являлось чрезвычайно отраднымъ и желаннымъ свидѣтельствомъ въ пользу «народнаго характера», идеализація котораго была совершенно естественной и необходимой потребностью лучшихъ людей того времени. Теперь мы твердо знаемъ, что такъ называемый народный характеръ ни въ какомъ случаѣ не ручается за будущія судьбы народа, потому что онъ самъ является слѣдствіемъ извѣстныхъ общественныхъ отношеній, съ болѣе или менѣе существеннымъ измѣненіемъ которыхъ и онъ долженъ будетъ измѣниться болѣе или менѣе существенно. Но это взглядъ, который былъ совершенно чуждъ народнической интеллигенціи семидесятыхъ годовъ. Она держалась противоположнаго взгляда, согласно которому основною причиною даннаго склада общественныхъ отношеній являются народные взгляды, чувства, привычки и вообще народный характеръ. Какой огромный интересъ должны были имѣть въ ея глазахъ сужденія о народномъ характерѣ; вѣдь отъ оцѣнокъ этого характера зависѣло, по ея мнѣнію, все будущее общественное развитіе нашего народа. Наумовъ правился ей именно тѣмъ, что, по крайней мѣрѣ отчасти, изображалъ народный характеръ такимъ, какимъ ей хотѣлось его видѣть. Даже очевидные теперь

недостатки его сочиненія тогда должны были казаться большими достоинствами. Такъ, у Наумова, собственно говоря, есть только два героя: эксплуататоръ и эксплуатируемый. Эти герои отдѣлены другъ отъ друга дѣлой бездной, и никакихъ переходовъ отъ одного къ другому, никакихъ связующихъ звеньевъ не замѣчается. Это, разумѣется, большой недостатокъ, сильно бросающійся въ глаза при сравненіи сочиненій Наумова, напримѣръ, съ сочиненіями Златовратскаго, гдѣ дѣйствующія лица являются по большей части уже живыми людьми, а не антропоморфными отвлеченностями. Но передовой интеллигенціи семидесятыхъ годовъ этотъ недостатокъ долженъ былъ казаться достоинствомъ. Она сама была убѣждена, что между крестьяниномъ-кулакомъ и крестьяниномъ—жертвой кулацкой эксплуатаціи, нѣтъ ровно ничего общаго; кулакъ казался ей случайнымъ плодомъ внѣшнихъ неблагоприятныхъ вліяній на народную жизнь, а не необходимымъ результатомъ той фазы экономического развитія, которую переживало крестьянство. Постоянно возбужденная и готовая на все ради народного блага, она была увѣрена, что въ сущности можно сразу и безъ очень большого труда, однимъ энергичнымъ усиленіемъ снять съ народнаго тѣла этотъ посторонній ему, извнѣ наложенный на него слой паразитовъ. А разъ у нея возникла и окрѣпла эта увѣренность, ей уже едѣлалось неприятно читать такіе очерки изъ народнаго быта, которые показывали ей, что она не совѣмъ права, т. е. что эксплуатація крестьянъ крестьяниномъ порождается не одними только т. н. «внѣшними» вліяніями на народную жизнь¹⁾,—и, наоборотъ, ей стали особенно нравиться такіа прозведенія, которыя хоть немного подтверждали ея любимую мысль.

Пусть вспомнить читатель, какъ сильно и горько упрекали тогда Г. И. Успенскаго за его будто бы излишній и неосновательный пессимизмъ. Въ чемъ заключался этотъ «пессимизмъ»? Именно въ указаніи тѣхъ сторонъ крестьянской жизни, благодаря которымъ неравенство, а съ нимъ и эксплуатація крестьянина крестьяниномъ возникаютъ въ сельской общинѣ даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда совершенно отсутствуютъ благоприятныя для ихъ роста *внѣшнія* вліянія. Народническая интеллигенція имѣла всѣ основанія быть недовольной Г. И. Успенскимъ: пытливая мысль этого замѣчательнаго человѣка разлагала одно за другимъ всѣ главныя положенія народничества и подготовляла почву для совершенно иныхъ взглядовъ на нашу народную жизнь. У Наумова не было ничего подобнаго; онъ не заставлялъ читателя вкушать отъ древа познанія добра и зла, плоды котораго, какъ извѣстно, бываютъ подчасъ очень горьки; онъ, не мудрствуя лукаво, возбуждалъ чувство ненависти къ эксплуататорамъ,

¹⁾ Подъ внѣшними вліяніями разумѣлось тогда вліяніе государства и высшихъ сословій.

т. е. какъ разъ то самое чувство, апелляція къ которому составляла главную, если не единственную, силу народническихъ доводовъ. Народникамъ не могли не нравиться у Наумова даже тѣ сцены объясненія кулаковъ съ ихъ жертвами, которыя, за небольшими исключеніями, кажутся намъ теперь страшно растянутыми и потому скучными: вѣдь въ нихъ кулаки выставляются къ позорному столбу, ихъ называютъ грабителями, бранятъ аспидами и т. д. Люди, собиравшіеся не сегодня—завтра положить конецъ существованію аспидовъ и не обладавшіе развитымъ эстетическимъ вкусомъ, должны были съ удовольствіемъ читать подобныя сцены.

Н. И. Наумовъ никогда не шелъ дальше проповѣди самой элементарной гуманности. Въ мужикѣ такая же душа, какъ и въ насъ ¹⁾, каторжникъ тоже человѣкъ, между такъ называемыми преступниками есть много душевно-больныхъ, которыхъ слѣдовало бы лечить, а не наказывать ²⁾,— вотъ къ какимъ азбучнымъ истинамъ сводится его проповѣдь. Къ этому надо прибавить, что никакихъ дѣйствительныхъ рѣшеній поднимаемыхъ имъ общественныхъ вопросовъ онъ не предлагаетъ, а, напротивъ, обнаруживаетъ явную готовность удовольствоваться палліативами ³⁾. Если бы увлекавшаяся сочиненіями Наумова передовая народническая интеллигенція семидесятыхъ годовъ когда-нибудь ясно представила себѣ тѣ практическія цѣли, которыя онъ преслѣдовалъ своими сочиненіями, то она взглянула бы на него, какъ на человѣка крайне отсталого. Но она не доискивалась этихъ цѣлей, вовсе и не интересовалась ими. У нея была своя, твердо поставленная цѣль. Ей казалось, что сочиненія Наумова являются новымъ и сильнымъ доводомъ въ пользу этой цѣли, и потому она зачитывалась ими, не справляясь ни объ ихъ художественномъ достоинствѣ, ни о практической «программѣ» ихъ автора.

Осуществленіе цѣли, которою она задавалась, предполагало, помимо всего другого, огромную самодѣятельность въ нашемъ крестьянствѣ. Но въ сочиненіяхъ Наумова нѣтъ ни малѣйшаго намека на такую самодѣятельность. Изображаемая бѣдность умѣетъ только хлопать себя по бедрамъ, восклицая: «а-а-ахъ!» или «есть ли Богъ-то у тебя!» Если изъ ея среды

¹⁾ См. стр. 74, т. I, гдѣ эта мысль высказывается устами добродѣтельнаго старшины Флегонта Дмитрича.

²⁾ См. разсказъ „Поскотникъ“ и сцену „Паутина“.

³⁾ Иногда онъ точно указываетъ эти палліативы. „Въ первые два года по приходѣ въ Сибирь переселенцы почти всегда бѣдствуютъ и нуждаются въ помощи, но выдавать имъ пособия однимъ только хлѣбомъ, по моему мнѣнію, есть крайняя ошибка, вытекающая изъ незнанія условій крестьянской жизни въ Сибири. Переселенцу прежде всего нужна помощь для пріобрѣтенія лошади, телѣги, саней, сельскохозяйственныхъ и домашнихъ орудій и избы“, и т. п. (т. II, стр. 376).

и выходятъ когда-нибудь люди, неспособные покорно подставлять шею подъ ярмо деревенскихъ эксплуататоровъ и призывающіе ее къ отпору, то она не умѣетъ поддержать такихъ людей. Разсказъ «Крестьянскіе выборы» хорошо обрисовываетъ это отношеніе сельской бѣдности къ ея собственнымъ защитникамъ. Умный и настойчивый крестьянинъ Егоръ Семеновичъ Бычковъ навлекаетъ на себя ненависть мироѣдовъ, волостного начальства и даже посредника своимъ независимымъ поведеніемъ и энергичнымъ, умѣлымъ отстаиваніемъ интересовъ крестьянскаго міра. Но зато его любятъ крестьяне, которые даже собираются выбрать его волостнымъ старшиною. Разумѣется, это намѣреніе очень не нравится мироѣдамъ, и по всей У... волости закипаетъ ожесточенная борьба партій. Чѣмъ болѣе приближается время выборовъ, тѣмъ сильнѣе нападаетъ партія кулаковъ на излюбленнаго міромъ человѣка, пуская въ ходъ и деньги и клевету. Въ числѣ другихъ небылицъ, распространяемыхъ насчетъ Бычкова, ходитъ слухъ о томъ, что его скоро посадятъ въ острогъ за то, что онъ будто бы подговаривалъ крестьянъ жаловаться высшему начальству на неправильныя дѣйствія посредника и чиновъ земской полиціи. Крестьяне отчасти догадываются, что этотъ слухъ распущенъ кулаками; но, съ другой стороны, они не могутъ же признать, что онъ заключаетъ въ себѣ значительную долю вѣроятности. Они отчасти и сами готовы признать бунтовщикомъ своего излюбленнаго человѣка. Они говорятъ: «Какъ знать, чужая душа потемки! А что Бычковъ съ начальствомъ мужикъ заворотый, не потаишь грѣха!» Такимъ образомъ, ловкая выдумка сильно дѣйствуетъ на сельскую бѣдноту; сознаваемый ею «грѣхъ» Бычкова значительно ослабляетъ ея энергію. А когда посредникъ доводитъ до свѣдѣнія крестьянъ, созванныхъ на волостной сходъ для избранія старшины, что онъ не допуститъ выбрать Бычкова и даже не позволитъ имъ развѣхаться по домамъ, пока они не подадутъ своихъ голосовъ за кандидата, выставленнаго мироѣдами,—они покоряются. «Не обошлось, конечно, и безъ говора рѣзкаго, желчнаго; не обошлось и безъ аханья и безъ любимаго, много выражающаго у крестьянина жеста—похлопыванія себя руками по бедрамъ, но все это въ концѣ концовъ привело къ тому, что многіе уѣхали молча, другіе же подали свой голосъ за Трофима Кирилловича (кандидата кулацкой партіи), и къ вечеру того же дня шумное село опустѣло, и всѣ дороги и тропинки усыялись народомъ, ѣхавшимъ по домамъ и громко толковавшимъ о наставшихъ порядкахъ» (т. I, стр. 500—501).

А Бычковъ?—А Бычкова посредникъ, вопреки закону, приказалъ посадить въ волостную тюрьму, гдѣ онъ и просидѣлъ, вынося страшныя лишенія и притѣвленія, около пяти мѣсяцевъ. Освобожденный, наконецъ, благодаря случайному заступничеству засѣдателя, онъ нашелъ свое хозяйство совсѣмъ разореннымъ, а своихъ бывшихъ сторонниковъ страшно запуганными.

«Онъ не лишился уваженія и сочувствія окружающихъ, — говоритъ Наумовъ, — потому что не въ натурѣ русскаго простолюдина отталкиваться отъ несчастья; но боязливость и таинственность, въ какой выражались они изъ опасенія вызвать преслѣдованія и на себя, больше отдавались въ немъ, чѣмъ если бы и совсѣмъ ихъ не было. Явно отъ него сторонились, какъ отъ зараженнаго, не рѣшаясь переступить и порога всегда привѣтливаго дома его» (т. I, стр. 506—507). Бычковъ сдѣлался нелюдимымъ, сталъ избѣгать всякихъ сношеній со своими односельчанами и, наконецъ, рѣшилъ выселиться въ другой округъ. Односельчане провожали его съ искреннимъ сожалѣніемъ, и, когда его кибитка скрылась изъ виду, они, расходясь по домамъ, долго еще толковали о томъ, какъ «ни за што» пропалъ этотъ человекъ, въ которомъ было такъ много правды.

Заканчивая исторію Егора Семеновича, Наумовъ замѣчаетъ, что онъ все-таки не погибъ и «встрѣтилъ себѣ достойную оцѣнку» на новомъ мѣстѣ жительства: его выбрали тамъ въ волостные старшины. Стало быть, добродѣтель въ концѣ концовъ все-таки восторжествовала. Но не знаемъ, какъ кого, а насъ мало радуетъ это ея торжество; оно кажется намъ *придуманнѣмъ*, и ужъ во всякомъ случаѣ совершенно *случайнѣмъ*. Такъ какъ крестьяне У... волости ничѣмъ не отличались отъ крестьянъ другихъ волостей, то ясно, что и на новомъ мѣстѣ своего жительства Бычковъ могъ оказаться согнутымъ въ бараній рогъ, а его новые односельчане не только могли, но и должны были оказаться въ этомъ случаѣ столь же пугливыми, какъ и прежніе.

Почему же передовая интеллигенція семидесятыхъ годовъ не замѣтила, что изображаемая Наумовымъ страдающая крестьянская масса совершенно лишена самостоятельности? Теперь нелегко отвѣтить на этотъ вопросъ, потому что уже нелегко теперь возстановить во всѣхъ частностяхъ психологію передового народника того времени. Вѣроятно же всего, что дѣло объясняется такъ: передовая интеллигенція полагала, что мірскіе люди, подобные Бычкову, гибли вслѣдствіе отсутствія всякой взаимной связи между ними и всякой помощи имъ, всякаго руководства извнѣ. Создать эту связь, принести эту помощь, дать это руководство и обязана интеллигенція. Когда эта обязанность будетъ исполнена, тогда мірскіе люди не будутъ уже безсильными одиночками, да и сама крестьянская масса перестанетъ пугаться первой встрѣчной кокарды и трусливо покидать въ нуждѣ своихъ защитниковъ. Именно ради исполненія этой обязанности и шла въ народъ тогдашняя передовая интеллигенція.

А мірскіе люди, подобные Бычкову, оставались ея любимыми типами. Наумовъ говоритъ о такихъ людяхъ: «Они всецѣло отдаются своему дѣлу, не останавливаясь ни передъ чѣмъ и не щадя себя; въ нихъ много неискоренимой вѣры въ правду, и они доискиваются ея всѣми путями; они

незнакомы съ разочарованіемъ; хотя жизнь на каждомъ шагу наталкиваетъ ихъ на него, и когда передъ ними закроются всё пути, ведущіе къ ихъ цѣли, они пробиваютъ новыя и все-таки идутъ, идутъ къ ней, пока не падутъ подъ бременемъ неравной борьбы» (т. I, стр. 435). Подумайте, съ какимъ восторгомъ должна была внимать изображенію такихъ людей тогдашняя передовая интеллигенція. Сколько самыхъ отраднѣхъ надеждъ она должна была связывать съ ихъ существованіемъ! И она, конечно, не ошиблась, высоко цѣня такихъ людей. Ея ошибка была не тутъ. Она заключалась въ легкомысленной идеализаціи нашего стараго, уже и тогда быстро разлагавшагося, экономическаго порядка. Увѣковѣченіе этого порядка необходимо повело бы за собою увѣковѣченіе тѣхъ самыхъ свойствъ народнаго характера, о которыя такъ часто разбивалась энергія Бычковыхъ и о которыя разбилося впоследствии самоотверженіе народниковъ.

III.

Посмотримъ, каковъ былъ этотъ старый экономическій порядокъ и какъ отражался онъ на взглядахъ, чувствахъ и привычкахъ народной массы, подвергавшейся его неотразимому вліянію.

Наумовъ совсѣмъ не задавался цѣлью его всесторонняго изображенія. Онъ подробно останавливался только на нѣкоторыхъ его соціальныхъ послѣдствіяхъ. Однако, у него мимоходомъ собрано довольно много матеріала для характеристики этого стараго порядка и его вліянія на народную жизнь.

Наблюденія Наумова относятся большею частью къ быту сибирскихъ крестьянъ, но это, разумѣется, нисколько не измѣняетъ дѣла.

Потрудитесь прислушаться къ слѣдующему разговору автора съ ямщикомъ, везущимъ его въ село Т...ь («Паутина»):

— Какія благодатныя мѣста у васъ...

— Мѣста у насъ—умирать, братъ, не надо!—отозвался ямщикъ.—По этимъ мѣстамъ только бы жить да жить нашему брату, а все, другъ мой сердешный, мается народъ-то: и хлѣба теперича урожай, не пожадуемся, и пчелка водится, медку-то тебѣ за лѣто съ избыткомъ принесетъ она, а маемся, диво вотъ!—заклучилъ онъ.

— Отчего же вы маетесь?

— Отчего?—повторилъ онъ.—И хорошія, братъ, мѣста у насъ, да глухія. Суди самъ: теперича въ урожайный-то годъ хлѣбъ-то хошь даромъ отдавай, такъ никто не беретъ у тебя, вотъ оно дѣло-то! А подать-то не ждеть, по хозяйству тоже безъ гроша клина не вобьешь, а гдѣ ихъ, грошей-то, братъ прикажешь? У кого лошадей много да во времени избытокъ нагрузить воза да въ Т...ь городъ везетъ; ему и выгода, и богатѣетъ, а нашему-то брату несподручно это, потому и лошадушекъ намаешь, и время-то тебѣ терять не приходится... Вотъ ты и у хлѣба сидишь, а горя не минуешь...» (т. I, стр. 54).

Справедливость этой мысли, что крестьянинъ можетъ натерпѣться гора, даже сидя у хлѣба, явствуетъ также изъ отзывать уже упомянутаго выше кулака, Кузьмы Терентьича. Въ отвѣтъ на наивный вопросъ, отчего онъ не займется хлѣбопашествомъ, торгашъ сухо отвѣчаетъ: «Отвыкли-съ!», а когда авторъ спрашиваетъ, неужели у нихъ въ селѣ никто уже не обрабатываетъ земли? ¹⁾—онъ говоритъ:

— «Кое-кто сѣются, есть, а намъ не къ чему-съ! Мало ли окрестъ насъ селъ и деревень хлѣбопашество-то ведутъ, въ хлѣбъ-то по уши зарылись, а все нищѣ, все около насъ же колотятся. Куды вы его сбывать-то будете? У нихъ вонъ есть хлѣбъ-то въ скирдахъ по пяти, по шести лѣтъ стоять, а у него бродней купить не на што, чтобы от холоду оборониться. Вотъ и сѣйте его. Нѣтъ, не дѣло это, сударь!» (т. I, стр. 65).

Въ другомъ мѣстѣ («Юровая») крестьянинъ, старающійся продать кулаку рыбу, разсуждаетъ такъ:

— «...И у хлѣба сидимъ, не погнѣвимъ Бога, да хлѣбъ-то энтотъ не по насъ. Неужъ ты думаешь, и мы не поѣли бы рыба-то? Поѣли бы, и какъ бы испо поѣли... Да вотъ съѣшь-ко ео, попробуй, такъ чѣмъ подушныя-то справишь? Чѣмъ по домашности дыры-то заткнешь? А много дыръ-то, о-охъ много! Успѣвай только конопатить! Иной бы и въ городъ чего свезъ, нашлось бы по домашности-то, да куды повезешь-то? Триста версть отмѣрять на одной животинкѣ—нагрѣешь ноги, и безъ пути нагрѣешь-то ихъ; што и выручишь, все на прокормъ тебѣ да лошадушкѣ уйдетъ, а домой-то сызнова прїѣдешь ни съ чѣмъ и проѣздишь-то не мало время, а кто робить-то безъ тебя дома-то будетъ. А вѣдь домашность-то тоже не ждетъ, иное время часть дорогъ. Вотъ и суди мужичье-то дѣло»... (т. I, стр. 353).

Полагаемъ, что этихъ выписокъ совершенно достаточно, чтобы составить себѣ понятіе о народномъ хозяйствѣ описываемыхъ Наумовымъ мѣстностей. Это хозяйство есть такъ называемое въ наукѣ *натуральное* хозяйство. Но это натуральное хозяйство уже переходитъ въ *товарное*. Крестьянину нужны не только естественныя произведенія его собственнаго поля, огорода и скотнаго двора; ему нуженъ также и «всеобщій товаръ», т. е. деньги, и даже сравнительно немало денегъ. И притомъ деньги нужны ему не только для удовлетворенія требованій государства, т. е. для уплаты податей, но и для собственной «домашности», гдѣ, какъ оказывается, много дыръ, которыя можно заткнуть только деньгами. Но деньги велегко достаются крестьянину. При обиліи естественныхъ произведеній сельскаго хозяйства и при отсутствіи широкаго и правильнаго

¹⁾ Это одно изъ тѣхъ селъ, жители которыхъ почти поголовно занимаются спаиваніемъ и обираніемъ присковыхъ рабочихъ.

изъ сбыта, эти произведенія отдаются чуть не даромъ. Поэтому денежные люди, захватывая въ свои руки всю торговлю ими, наживаютъ огромные барыши, которые ставятъ ихъ въ матеріальномъ отношеніи чрезвычайно высоко надъ крестьянской массой.

Но это не все. Являясь господиномъ быта естественныхъ произведенийъ крестьянскаго хозяйства, обладатель «всеобщаго товара» становится въ то же время господиномъ и надъ самимъ производителемъ. *Производитель* попадаетъ въ кабалу къ *скупщику*, и кабала эта тѣмъ безпощаднѣе и тѣмъ грубѣе, чѣмъ менѣе успѣло развиться уже начавшее развиваться денежное хозяйство. Скупщикъ хочетъ распоряжаться, и дѣйствительно распоряжается, не только *продуктами* крестьянскаго труда, но и *всѣмъ сердцемъ, всѣмъ помысленіемъ* крестьянина. «Въ этой бѣдной, забитой жизни,—говоритъ Наумовъ,—капиталъ играетъ еще большую роль, чѣмъ гдѣ-либо, подавляя всякую правдивую мысль, если бы она родилась въ умѣ бѣдняка, одѣтаго въ оборванный полушубокъ и такія же бродни» (т. I, стр. 344).

Народникамъ казалось, что кулаки вырастаютъ въ крестьянской средѣ вслѣдствіе неблагоприятныхъ внѣшнихъ вліяній на нее. Они считали кулачество такимъ элементомъ народно-хозяйственной жизни, который легко удалить, не только не измѣняя основъ этой жизни, но всѣми силами укрѣпляя ихъ. Мы видѣли, что кулакъ-скупщикъ является неизбѣжнымъ порожденіемъ извѣстной фазы общественно-экономическаго развитія. Если бы какой-нибудь общественный катаклизмъ удалилъ всѣхъ скупщиковъ, то они вновь народились бы въ самое короткое время по той простой причинѣ, что предполагаемый катаклизмъ не устранилъ бы экономической причины ихъ появленія.

Народники всегда склонны были идеализировать натуральное крестьянское хозяйство. Они отъ души радовались всѣмъ тѣмъ явленіямъ и всѣмъ тѣмъ правительственнымъ мѣропріятіямъ, которыя могли, казалось имъ, упрочить это хозяйство. Но такъ какъ въ дѣйствительности у насъ уже нѣтъ такихъ мѣстностей, гдѣ не начался бы и не совершался бы въ болѣе или менѣе значительной степени переходъ натурального хозяйства въ товарное, то мнимое упроченіе натурального хозяйства въ дѣйствительности означало не болѣе, какъ *упроченіе самыхъ первобытныхъ, самыхъ грубыхъ и самыхъ безпощадныхъ формъ эксплуатаціи производителя*.

Народники искренно желали добра нашей трудящейся массѣ, но, плохо выяснивъ себѣ смыслъ современной имъ русской экономики, они, по извѣстному выраженію Грибоѣдова, идя въ комнату, попадали въ другую.

Итакъ, населеніе описанныхъ Наумовымъ мѣстностей страдало и отъ развитія товарнаго производства и отъ недостатка его развитія.

Какія общественныя отношенія вырастаютъ на такой экономической почвѣ?

При натуральномъ хозяйствѣ каждая данная экономическая ячейка удовлетворяетъ продуктами своего собственного хозяйства почти всѣ свои нужды. Раздѣленія труда между этими ячейками не существуетъ: каждая изъ нихъ производитъ то же, что и всѣ остальные. Нашимъ народникамъ такой экономической порядокъ казался какимъ-то золотымъ вѣкомъ, въ которомъ не было ни печали, ни воздыханій, а было всестороннее, гармоничное развитіе трудящихся. Всѣ популярныя между народниками формулы *прогресса* такъ или иначе совѣтовали цивилизованному человечеству *регрессировать* вплоть до натурального хозяйства. Да и теперь еще очень многіе убѣждены у насъ, что крестьянинъ, способный своими собственными продуктами удовлетворить большую часть своихъ потребностей, непременно будетъ «развитѣе» любого промышленнаго рабочаго, всегда занятаго однимъ и тѣмъ же родомъ труда. Для провѣрки этого мнѣнія мы очень рекомендуемъ прочесть въ 1-мъ томѣ сочиненій Наумова рассказъ *Замора*.

Заморами называются рытвины, образующіяся на самой дорогѣ во время таянія снѣга. Изъ нихъ очень трудно выбраться разъ застрявшимъ въ нихъ проѣзжимъ. Поэтому ихъ очень боятся. Въ рассказѣ Наумова зовутъ Заморой крестьянина Максима Королькова, обладающаго неслыханнымъ въ «интеллигентной» средѣ свойствомъ—*запѣдливостью*. Изъ объясненій его односельчанъ выходитъ, впрочемъ, что это странное свойство есть не что иное, какъ склонность къ размышленію, къ *думѣ*: «Онъ Замора-то, сейчасъ это въ думу вдарится: почему да отъ чего все это, да гдѣ законъ екой?» Крестьянамъ эта склонность кажется совсѣмъ немѣстною въ ихъ быту; они убѣждены, что думать—это не «мужичье дѣло». Конечно, совсѣмъ безъ думы даже и мужику прожить невозможно: «и хотѣлъ бы, можетъ, въ нву пору жить безъ думы, да, вишь, дума-то не спрашиваетъ, надоть ее или нѣтъ, а сама тебѣ безъ спросу въ голову лѣзетъ». Но дума думѣ рознь. Иную думу крестьянинъ можетъ «свободно допускать» къ себѣ, а иную онъ долженъ гнать и «давить», какъ «блажную», т. е. вредную. Блажными думами считаются такія, которыя относятся не къ собственному хозяйству размышляющаго, а къ существующимъ общественнымъ отношеніямъ или хотя бы даже обычаямъ. Замора спрашиваетъ: «Почему, коли отъ Бога нѣтъ закона вино пить, а ты пьешь, вредительность себѣ приносишь»? По мнѣнію крестьянина, сообщавшаго объ этомъ автору, это была вредная дума, потому что «такъ» не можно.

— Отчего не можно, объясни ты мнѣ?—спрашиваетъ его авторъ.

— Не стать, не мужичье дѣло въ акія думы входить,—горячо отвѣчаетъ онъ.—Мужичье дѣло, батюшка, одно знать: паши, снѣгъ, блюда хо-

зайство, соблюдай, чего съ тебя начальство требуетъ, а не вникайся, ни Боже мой..

— Ни во что не вникайся, что бы ни дѣлалось вокругъ тебя, а?

— Ни въ малую соринку!

— А Замора вникалъ?

— Про то и говорю, что заѣдался! Дума-то, батюшка, что калачь на голодные зубы, приманчива; вдайся только въ нее—и не улыпишь, какъ облопаешься.

— Думой-то?

— Ну, помысломъ-то про то, да про се, чего тебѣ вовсе не слѣдъ знать и вѣдать» (т. I, стр. 285).

Человѣку, привыкшему къ «думѣ», трудно даже и понять, какъ это можно ею «облопаться». Между тѣмъ, бѣдный Замора дѣйствительно заболѣлъ отъ нея; онъ кончилъ галлюцинаціями и «пророчествами». Нѣчто подобное же Наумовъ изображаетъ въ этюдѣ «Умалшешенный». Крестьянинъ, начавшій «вникаться» въ окружающіе его порядки, сходять съ ума. Когда мы читали этотъ этюдъ, намъ вспомнилось, какую большую роль играли всякаго рода «видѣнія», «гласы», «пророчества» и т. п. въ исторіи нашего раскола. Расколъ, несомнѣнно, былъ одной изъ формъ протеста народа противъ тягостей, которыми обременяло его государство. Въ расколѣ народъ протестовалъ посредствомъ своей «думы», но это была надломленная, до горячки больная дума людей, совершенно не привыкшихъ размышлять о своихъ собственныхъ общественныхъ отношеніяхъ. Пока такіе люди довольны этими отношеніями, они считаютъ, что малѣйшая переменна въ нихъ можетъ разсердить небо; а когда эти отношенія становятся очень неудобными, люди осуждаютъ ихъ во имя небесной воли и ждутъ чуда, въ родѣ появленія ангела съ огненною метлою, который смететъ нечестивые порядки, расчистивъ мѣсто для новыхъ, болѣе удобныхъ Богу.

IV.

«Паша, сѣй, блюди хозяйство, соблюдай, чего съ тебя начальство требуетъ, а не вникайся, ни Боже мой!»—такъ говоритъ обстоятельный хозяйственный крестьянинъ. Область, въ которой можетъ безопасно вращаться крестьянская мысль, ограничивается предѣлами крестьянскаго хозяйства. Занимаясь хозяйствомъ, крестьянинъ становится въ извѣстные отношенія къ землѣ, къ навозу, къ орудіямъ труда, къ рабочему скоту. Допустимъ, что эти отношенія чрезвычайно разнообразны и крайне поучительны. Но они не имѣютъ ничего общаго со взаимными отношеніями людей въ общество, а именно этими-то отношеніями и воспитывается мысль гражданина, именно отъ нихъ-то и зависитъ большая или меньшая широта его взглядовъ, его понятія о справедливости, его обще-

ственные интересы. Пока мысль человека не выходит за пределы его хозяйства, до тех пор мысль эта спит мертвым сномъ, а если и пробуждается подъ влияніемъ какихъ-нибудь исключительныхъ обстоятельствъ, то пробуждается лишь для галлюцинацій. Натуральное хозяйство очень неблагоприятно для развитія чуткой общественной мысли и широкихъ общественныхъ интересовъ. Такъ какъ каждая данная экономическая ячейка довольствуется своими собственными продуктами, то сношенія ея съ остальнымъ міромъ крайне немногосложны, и она совершенно равнодушна къ его судьбамъ. У насъ привыкли перевозносить чувство солидарности, будто бы въ высокой степени свойственное крестьянамъ-общественникамъ. Но это совсѣмъ неосновательная привычка. Въ дѣйствительности, крестьяне-общинники такіе же индивидуалисты, какъ и крестьяне-собственники. «Фиктивно соединенные въ общество круговою порукою при исполненіи многочисленныхъ общественныхъ обязанностей, большею частью къ тому же навязываемыхъ извнѣ, — справедливо говоритъ Гл. И. Успенскій,—они, не какъ общинники и государственные работники, а просто какъ люди, предоставлены каждый самъ себѣ, каждый отвѣчай за себя, каждый самъ за себя страдай, справляйся, если можешь, если не можешь—пропадай» («Изъ деревенскаго дневника»). Правда, это замѣчаніе Гл. И. Успенскаго относится къ крестьянамъ новгородской губерніи, давно уже живущимъ при условіяхъ очень развитого товарнаго хозяйства. Но изъ сочиненій Наумова видно, что солидарности не больше и между сибирскими крестьянами, и тамъ бѣднякъ встрѣчаетъ мало сочувствія со стороны односельчанъ. Уже знакомый намъ крестьянинъ Яшникъ имѣлъ только одну лошаденку Пѣганку, изнуренную непрерывной работой и безкормицей. Часто выбившись изъ силъ, Пѣганка останавливалась на дорогѣ, и тогда ее не могли сдвинуть съ мѣста уже ни понуканія, ни удары. Яшнику только оставалось припречь самого себя къ возу, что немало веселило всю деревню.

«— Ну и рысаки, глянѣ-ка, братцы, ахъ, хи-хи-и-и! Того и гляди, что возъ-то вдребезги разобьютъ, а-а-а?»

— Пѣлковыхъ сто, поди, пара-то экихъ стоитъ, други, а-а?»

— Не купишь и за этакія деньги! Ты погляди только, вѣдь и рысью-то оба взяли, и мастью-то другъ къ другу подошли... Словно одной матки дѣти.

— А если по разницѣ тепереча взять ихъ, братцы, то которая форменѣй выйдутъ: корневикъ, аль пристяжная... а?»

— Корневикъ, извѣстное дѣло, потому у корневика-то хотя шкура цѣла, только вылиняла, а у пристяжной-то отъ заплатъ-то въ глазахъ рябитъ!—гадѣли деревенскіе остряки, намекая на множество разнообразныхъ заплатъ, украшавшихъ единственный полшубокъ Яшника, не снимавшійся съ плечъ его ни зимой, ни лѣтомъ» (т. I, стр. 212).

Такое безсердечное издѣвательство надъ бѣдностью возможно только тамъ, гдѣ во всей силѣ царить суровое правило: каждый за себя, а Богъ за всѣхъ, и гдѣ человѣкъ, не умѣющій собственными силами справиться съ нуждою, не вызываетъ въ окружающихъ ничего, кромѣ презрѣнія. Недурно выставлено Наумовымъ равнодушіе крестьянъ къ чужому горю и въ «*Деревенскомъ аукціонѣ*». У одного изъ нихъ продается съ аукціона имущество. Изъ открытыхъ оконъ его избы слышатся глухія рыданія, самъ онъ сидитъ на крыльцѣ, уныло свѣсивъ голову, а густая толпа крестьянъ, свѣхавшихся на аукціонъ изъ сосѣднихъ деревень, тѣснится вокругъ него, осматривая приготовленные къ продажѣ предметы и не обращая на его неподдѣльное горе ни малѣйшаго вниманія. Какой-то паренъ выгодно купилъ его мерина, какой-то старикъ «нагрѣлся», покупая двѣ сбруи. Этотъ послѣдній хнычетъ передъ засѣдателемъ, прося сбавить черезчуръ высокую цѣну сбруи: «сдѣлай милость, бѣдность», — говоритъ онъ. Но эта же самая «бѣдность» только что собиралась поживиться на счетъ своего же брата, разореннаго неблагоприятнымъ стеченіемъ обстоятельствъ. Онъ кричитъ: «Да будь они прокляты всѣ эти кціёны»... Но кричитъ единственно потому, что его расчетъ не оправдался, а вовсе не потому, что «вціёны» пустилъ по міру такого же, какъ и онъ, крестьянина.

Можно, конечно, сказать, что въ подобныхъ случаяхъ отсутствіе солидарности между крестьянами есть плодъ новаго, нарождавшагося *товарнаго* хозяйства, а вовсе не стараго *натуральнаго*. Но это будетъ невѣрно. Товарное хозяйство не создаетъ разобщенности между крестьянами; оно только обостряетъ все, *на нее же опираясь* въ своемъ развитіи. Мы уже видѣли, какъ отвратительны тѣ формы эксплуатаціи, которыя возникаютъ въ процессѣ перехода натуральнаго хозяйства въ товарное: ростовщикъ совершенно поработщаетъ производителей. Но чѣмъ же создается эта страшная, всеподавляющая сила ростовщическаго капитала? Именно тѣми отношеніями, которыя онъ, при своемъ появленіи, застаётъ между производителями, воспитавшимися при условіяхъ натуральнаго хозяйства. Разобщенные одни съ другими, совершенно неспособные къ дружному труду на общую пользу, едва только этотъ трудъ выходитъ за предѣлы вѣковѣчной рутинѣ, производители составляютъ естественную добычу ростовщика, который такъ же легко справляется съ ними, какъ коршунъ справляется съ цыплятами. И они сами видятъ не только свое экономическое безсиліе передъ ростовщикомъ, но также и его умственное превосходство надъ ними.

«— И голова же, братъ, о-о! — говоритъ у Наумова ямщикъ о кулакѣ Кузьмѣ Торентьичѣ.

— Умный?

— Ума этого у него въ три берема не облапишь. Да вотъ погля-

дите сами, каковъ онъ есть, Кузьма Терентьичъ...» и т. д. (т. I, стр. 56 «Паутина»).

Это преклоненіе обыкновеннаго крестьянина предъ умомъ кулака постоянно бросалось въ глаза лучшимъ изслѣдователямъ нашего народнаго быта. Его одного достаточно было бы для доказательства того, что кулачество порождается не вѣшними, а внутренними условіями крестьянской жизни. Вѣшнія условія оказались бы безсильными тамъ, гдѣ внутреннія условія дѣлали бы невозможнымъ выдѣленіе изъ крестьянскаго міра людей, носящихъ выразительное названіе *мирождовъ*.

Безсильные передъ кулакомъ вслѣдствіе своей разобщенности, производители разсматриваемаго нами періода экономическаго развитія являются также совершенно безсильными и по отношенію къ тому центру, который вѣдаетъ общія дѣла данной территоріи. Чѣмъ больше эта территорія, тѣмъ безсильнѣе оказываются передъ нимъ и отдѣльныя лица, и дѣля общины. Гордая независимость дикаря уступаетъ мѣсто жалкой приниженности поработеннаго варвара. Полное ничтожество каждаго изъ этихъ варваровъ по отношенію къ центру получаетъ до послѣдней степени непривлекательное вѣшнее, такъ сказать, церемоніальное выраженіе. Въ своихъ сношеніяхъ съ центромъ производитель варваръ уступаетъ не какъ человѣкъ, а лишь какъ вѣкое жалкое подобіе человѣка. Онъ называетъ себя не полнымъ человѣческимъ именемъ, а уничижительной кличкой, распространяя свое приниженіе на все, что имѣетъ къ нему извѣстное касательство: у него не жена, а женка, у него не дѣти, а дѣтишки, у него не скоть, а животишки. Наконецъ, онъ и самъ перестаетъ принадлежать себѣ, становясь собственностью государства. Его закрѣпощеніе, его *прикрѣпленіе къ землѣ* является при указанныхъ условіяхъ необходимымъ для удовлетворенія экономическихъ нуждъ государства. Если бы его не привязали къ землѣ, то онъ не пересталъ бы «брести розно», отнимая у государства всякую возможность прочнаго существованія. Государство даетъ ему землю, пока надѣленіе его землею остается единственнымъ средствомъ поддержанія его «платежной силы». Разъ прикрѣпленный къ землѣ, онъ срастается съ нею, какъ улитка съ своей раковиной, какъ растеніе съ той почвой, которая его питаетъ. Пока такой человѣкъ находится въ состояніи умственнаго равновѣсія, т. е., проще говоря, въ здоровомъ умѣ и твердой памяти, ему и въ голову не приходитъ задаваться вопросами, не имѣющими прямого отношенія къ процессу производства, поглощающему всѣ его духовныя и физическія силы. Онъ пахнетъ, сѣетъ, блюдетъ хозяйство, соблюдаетъ, чего съ него начальство требуетъ, но отнюдь и никогда «не вникается». Это не его дѣло. Вникаться должны люди, живущіе въ центрѣ, а онъ обязанъ обезпечить имъ экономическую возможность вниканія, т. е. опять-таки пахать, сѣять, соблюдать хозяйство и проч. Роскошь «думы» могутъ позво-

лить себя только производители, почему-либо поврежденные въ умѣ. На той ступени экономического развитія, о которой у насъ идетъ теперь рѣчь, отсутствіе раздѣленія труда въ процессѣ производства необходимо вѣлеть за собою *общественное* раздѣленіе труда, при которомъ «дума» становится совершенно лишнимъ и даже вреднымъ занятіемъ для производителя.

Пусть не указываютъ намъ на людей, подобныхъ Бычкову, какъ на доказательство того, что и здравомыслящіе люди могли «вникаться» при указанномъ экономическомъ порядкѣ. Бычковы, собственно говоря, не «вникаются» въ окружающія ихъ общественныя отношенія, а борются съ нѣкоторыми отдѣльными злоупотребленіями. Вопросы, возникающіе въ головахъ людей, подобныхъ Заморѣ, и Бычковымъ, показались бы въ большинствѣ случаевъ безумными. Бычковы не задаются цѣлью вести своихъ ближнихъ впередъ, они стараются только облегчить имъ ихъ неподвижное существованіе. Бычковы — честные консерваторы; да и эти консерваторы кончаютъ, какъ мы видѣли, плохо, и имъ приходится бѣжать въ другіе «округа». Бычковы населили всѣ наши восточныя окраины. Эти окраины нерѣдко «бунтовались», но онѣ не внесли ровно ничего новаго въ нашу народную жизнь по той простой и понятной причинѣ, что имъ самимъ не удавалось подняться на высшую ступень экономического развитія.

Со всѣхъ сторонъ тѣснимый гнетомъ суровой и беспощадной дѣйствительности, варварь-земледѣлецъ самъ становится суровымъ и беспощаднымъ. Онъ не знаетъ никакой жалости тамъ, гдѣ ему приходится вести борьбу за свое жалкое существованіе. Извѣстны расправы крестьянъ съ конокрадами. У Наумова разсказывается случай расправы сибирскихъ обозчиковъ съ тремя попавшимися имъ въ руки ворами, промышлявшими кражей чая: «Схватили, слышь, ихъ, уволокли въ лѣсъ за версту отъ дороги-то, раздѣли ихъ до-нага, развели три костра, да и привязали ихъ къ деревьямъ-то за руки и за ноги, штобъ спины-то надъ кострами висѣли, огнемъ-то и стали имъ спины грѣть... Такъ какъ, сказываютъ, молились они, просили предать ихъ смерти. Опосля, ужъ вдолги послѣ того, нашли ихъ: висятъ на деревьяхъ, а жареное-то мясо такъ и отстало отъ костей...» («Эскизы безъ тѣней», т. II, стр. 338).

Далѣе у Наумова подробно доказывается, что воры причиняютъ крестьянамъ-обозчикамъ огромные убытки. Никто не станетъ спорить съ этимъ. Но варварская жестокость остается варварскою жестокостью, а варварской жестокости всегда много у народовъ «*патріархально-земледѣльческихъ*». Примѣръ—утонченно-жестокіе китайцы.

Отсутствіе раздѣленія труда между производителями нисколько не устраняетъ раздѣленія труда между мужчиной и женщиной. Мужчина производитъ, женщина приспособляетъ для потребленія его продукты. Такимъ

образомъ женщина становится въ матеріальную зависимость отъ мужчины, а на разсматриваемой нами ступени экономического развитія матеріальная зависимость быстро ведетъ къ рабству. И дѣйствительно, женщина становится рабой мужчины, его вещью, его собственностью. Мужъ не только можетъ «поучить» жену, но часто *вынуждается къ этому* вліяніемъ общественнаго мнѣнія. Когда онъ «учитъ» ее, никто не считаетъ себя вправѣ вмѣшиваться, остановить его тяжелую руку, и нерѣдко сосѣди съ философскимъ спокойствіемъ смотрятъ, какъ мужъ забиваетъ свою жену до полусмерти. У Наумова въ «Эскизахъ безъ тѣней» мы находимъ рассказъ о томъ, какъ одинъ рабочій уступилъ жену другому. «Солдатъ это на прискѣ-то живетъ... блудящій такой, только Егорьемъ и хвалится. А жена-то у него добрая баба, работающая... Ну, и попуталъ ее грѣхъ-то съ дядей, прилѣпилась она къ нему. Сначала много у дяди грѣха-то съ солдатомъ было. Солдатъ-то однова съ ножомъ на дядю кинулся, а дядя-то, слышь, взялъ его, словно щенка, за загривокъ, опустилъ подъ жолобъ съ водой у машины, што золото моетъ, и говоритъ: отдавай добромъ жену, а то тутъ тебѣ и рѣшенье дѣлу, вмѣстѣ съ Егорьемъ утоплю... Ну, солдатъ-то это, какъ поостылъ въ холодной водѣ, сердце-то у него и спало: «Бери, говоритъ, жену, только пусти душу на покаянье!» Такъ съ этого слова дядя-то и завладѣлъ бабой, а штобъ крѣпче было, такъ солдатъ-то съ дядей бумагу сдѣлали промежъ себя; въ присковой конторѣ имъ и писали эту бумагу, што, стало быть, солдатъ отдалъ свою жену дядѣ, какъ бы въ ренту, за сто рублей одновременно, а напередъ съ благодарностью по силѣ возможенья, и штобъ солдату къ женѣ касательства не имѣть, а въ случаѣ, если дядю смертный часъ постигнетъ, то бабу препоручить на изволенье Божье» (т. II, стр. 333—334). Отдать жену въ аренду можно только тамъ, гдѣ на нее смотреть, какъ на собственность мужа. Но и эта форменная уступка женщины однимъ мужчиной другому есть уже въ сущности предвѣстникъ разложенія стараго крестьянскаго быта, результатъ неустойчивости, внесенной въ жизнь трудящейся массы золотыми присками. Настоящій крестьянинъ не уступитъ жены, такъ же какъ не продастъ безъ крайней надобности пришедшей «ко двору» лошади: подобная уступка вносила бы слишкомъ много неурядицы въ его хозяйство.

Разсматриваемые нами порядки отличаются удивительною живучестью. Ростовщическій капиталъ обираетъ и принижаетъ производителей, но онъ не измѣняетъ способовъ производства. Эти способы могутъ существовать цѣлыя тысячелѣтія почти безъ всякой перемѣны. Сообразно съ этимъ и вырастающія на ихъ основѣ общественныя отношенія отличаются паразитальною косностью. Страны, гдѣ они господствуютъ, по справедливости, считаются странами застоя. Человѣчество переходило на высшія ступени культурнаго развитія только тамъ, гдѣ благоприятное стеченіе обстоя-

тельность нарушало равновѣсіе этихъ варварскихъ порядковъ, гдѣ экономическое движеніе разогнало вѣковой сонъ варваровъ. Къ великому счастью для всѣхъ безъ исключенія русскихъ людей, Россіи не суждено было заснуть такъ крѣпко, какъ заснули другія историческія Обломовки, въ родѣ Египта или Китая. Ее спасло влияніе западныхъ сосѣдей, благодаря которому она уже безвозвратно выступила теперь на путь общеевропейскаго экономическаго развитія. Со времени отбѣны крѣпостнаго права крушеніе нашего стараго экономическаго быта пошло впередъ очень скоро, внося широкія полосы свѣта въ темное прежде царство. Несмотря на самыя усердныя попытки идеализаціи этого быта, нашимъ народникамъ-беллетристамъ оставалось лишь изображать какъ самый процессъ его разложенія, такъ и его общественныя и психологическія послѣдствія. Занятый своею гуманною проповѣдью, Наумовъ едва-едва касается этой стороны дѣла ¹⁾. Но она очень ярко выступаетъ у Гл. И. Успенскаго, Каронина, Златовратскаго.

По странной вроніи судьбы лучшимъ беллетристамъ-народникамъ пришлось изображать торжество новаго экономическаго порядка, который, по ихъ мнѣнію, не оулилъ Россіи ничего, кромѣ всякаго рода матеріальныхъ и нравственныхъ бѣдствій. Этотъ взглядъ на новый порядокъ не могъ не отразиться и на ихъ сочиненіяхъ. За весьма немногими исключеніями (напр., повѣсть Каронина «Снизу вверхъ»), въ нихъ изображаются лишь отрицательныя стороны переживаемаго нами процесса, а положительныя затрагиваются развѣ только невзначай, неволью и мимоходомъ. Надо надѣяться, что съ исчезновеніемъ народническихъ предразсудковъ у насъ явятся писатели, сознательно стремящіеся къ изученію и художественному воспроизведенію положительныхъ сторонъ этого процесса. Это будетъ большимъ шагомъ впередъ въ развитіи нашей художественной литературы. И чтобы сдѣлать такой шагъ, художникамъ не нужно заглушать въ себѣ то сочувствіе къ народной массѣ, которое составляло самую сильную и самую симпатичную сторону народничества. Совѣтъ нѣтъ. Характеръ оочувствія, конечно, будетъ уже не тотъ. Но отъ перемѣны онъ только усилится. Какъ ни идеализировали народники крестьянскую массу, но *они все-таки смотрѣли на нее сверху внизъ*, какъ на хорошій матеріалъ для ихъ благодѣтельныхъ историческихъ опытовъ. Въ на-

¹⁾ Онъ касается ея тамъ, гдѣ изображаетъ семейныя отношенія крестьянъ и вѣрگاющіяся въ нихъ новшества. „Молодяжничъ-то на стариковъ ропчетъ, што не по правдѣ болѣ живутъ... што сынъ-де на работу идетъ, а отецъ въ кабакъ,—говоритъ крестьянинъ въ „Эскизахъ безъ тѣней“:—Сынъ коровить, кабы въ домъ копейку принести, а отецъ—изъ дому. А старики говорятъ, что молоде-то отъ рукъ отбились... почему-де нѣтъ... послушанья...“ (т. II, стр. 346). Это уже явный признакъ разложенія старой домостроевщины, но для Наумова какъ будто еще неясно его значеніе.

родничествѣ была своя значительная доля барства. Призванная смѣнить народниковъ новая разновидность интеллигенціи неспособна относиться по-барски къ людямъ физическаго труда уже въ силу того убѣжденія, что историческое дѣло этихъ людей можетъ быть сдѣлано только ими самими. Она видитъ въ нихъ не дѣтей, которыхъ надо воспитать, не несчастнѣйшихъ, которыхъ надо облагодѣтельствовать, а товарищей, съ которыми надо идти рядомъ, дѣля и радость, и горе, и пораженія, и побѣду, съ которыми предстоитъ проходить вмѣстѣ великую воспитательную школу историческаго движенія впередъ къ одной общей цѣли. Ну, а кто же не знаетъ, что товарищеское сочувствіе есть нѣчто болѣе серьезное и болѣе цѣнное, чѣмъ сочувствіе, точнѣе—состраданіе, жалость благодѣтеля къ лилу, которое онъ собирается облагодѣтельствовать? Такимъ образомъ, исчезаетъ пропасть, издавна существовавшая между людьми мысли и людьми физическаго труда, потому что эти люди сами начинаютъ мыслить; сами становятся интеллигентными, чѣмъ прекращается неизбѣжная въ свое время, но крайне непривлекательная монополія интеллигентности. И прекращается она именно потому, что крушеніе старыхъ, дорогихъ народникамъ «устоевъ» разогнало тяжелый вѣковой сонъ нашихъ Обломовокъ. Крестьянинъ добраго стараго времени не долженъ былъ «вникаться» подѣ страхомъ упомощательства. Трудящійся человекъ нашихъ дней обязанъ «вникаться» просто въ силу экономическаго своего положенія, хотя бы только для того, чтобы отстаивать свое существованіе въ борьбѣ съ неблагоприятными, но въ то же время вѣчно подвижными, вѣчно измѣнчивыми экономическими условіями; ему, какъ Фигаро, нужно больше ума, чѣмъ требовалось его «для управленія всѣми Испаніями». Это колоссальная разница, существенно измѣняющая весь характеръ трудящейся массы, а съ нимъ и всѣ шансы нашего дальнѣйшаго историческаго развитія. Народники не видятъ и не признаютъ этой разницы. Но... *ignorantia non est argumentum.*

СТАТЬЯ II.

Гл. II. УСПЕНСКІЙ.

I.

Уничтоженіе крѣпостнаго права поставило передъ мыслящими людьми въ Россіи цѣлый рядъ вопросовъ, которыхъ нельзя было рѣшить, не отдавши себѣ предварительно отчета въ томъ, какъ живетъ, что думаетъ и куда стремится нашъ народъ. Всѣ наши общественные дѣятели понимали, что характеръ ихъ дѣятельности долженъ опредѣляться характеромъ и складомъ народной жизни. Отсюда возникло естественное стре-

мленіе изучити народъ, выяснитъ его положеніе, міросозерцаніе и потребности. Началось всестороннее изслѣдованіе народной жизни. Появляясь въ печати, результаты такого изслѣдованія встрѣчались публикой съ огромнымъ интересомъ и сочувствіемъ. Ихъ читали и перечитывали, ихъ клали въ основу всевозможныхъ «программъ» практической дѣятельности. Болѣе всего суетился и горячился нашъ разночинецъ, нашъ «мыслящій пролетарій», съ гордостью и съ нѣсколько забавною исключительностью называющій себя «интеллигенціей».

Образованный разночинецъ существовалъ и во времена крѣпостного права, но тогда онъ представлялъ собою слѣшкомъ малочисленную группу людей, которые могли дойти до абстрактнаго отрицанія на манеръ Базаарова, но не могли и подумать о томъ, чтобы составить какую-нибудь «партію». Тогда вообще невозможно было существованіе никакихъ партій, кромѣ литературныхъ. Съ паденіемъ крѣпостного права дѣло измѣнилось. Крушеніе старыхъ экономическихъ порядковъ въ огромной степени увеличило численность мыслящаго пролетаріата и вызвало въ немъ новыя надежды и новыя требованія. Требованія эти по большей части остались неудовлетворенными. Строй, по существу своему враждебный всякой нечиновной «интеллигенціи», все болѣе и болѣе возбуждалъ оппозиционный духъ въ нашемъ образованномъ пролетаріатѣ, между тѣмъ какъ неопредѣленность и двусмысленность его положенія между высшими классами, съ одной стороны, и народомъ, съ другой—заставляли его задуматься надъ вопросомъ о томъ, что дѣлать? Неудивительно поэтому, что именно нашъ разночинецъ съ такой жадностью набрасывался на всевозможныя изслѣдованія народной жизни. Одна часть этихъ свободныхъ пролетаріевъ неприводительнаго (въ экономическомъ смыслѣ этого слова) труда искала въ народѣ опоры и поддержки своимъ стремленіямъ, другая же просто смотрѣла на народъ какъ на такую среду, въ которой она могла бы жить и работать, не поступаясь своимъ человѣческимъ достоинствомъ и не прислуживаясь ни къ какому начальству. И для тѣхъ и для другихъ знакомство съ народомъ было обязательно. И вотъ нашъ разночинецъ не только глотаетъ изслѣдованія о народной жизни, но онъ-то, главнымъ образомъ, и пишетъ эти изслѣдованія. Онъ знакомится съ городскимъ ремесленникомъ и мѣщаниномъ, изучаетъ обычное право крестьянъ, наблюдаетъ поземельную общину и кустарные промыслы, записываетъ народныя сказки, пѣсни и пословицы, ведетъ богословскія бесѣды съ сектантами, собираетъ всевозможныя статистическія данныя, свѣдѣнія о санитарномъ положеніи народа,—словомъ, вникаетъ во все и во всемъ интересуется. Въ нашей литературѣ зарождается и быстро крѣпнетъ новое, *народническое*, направленіе, вліяніе котораго сказывается, между прочимъ, и въ беллетристикѣ. Рядомъ съ различными специальными изслѣдованіями является много очерковъ, сценъ, повѣстей

и рассказовъ изъ народнаго быта Разночинецъ несетъ свой вкладъ въ изящную литературу, какъ понесъ онъ его, нѣсколько позднѣе, въ живопись, гдѣ, впрочемъ, его дѣятельность была менѣе глубоко захватывающею и плодотворною.

Зная, что писатель является не только *выразителемъ* выдвинувшей его общественной среды, но и *продуктомъ* ея; что онъ вноситъ съ собою въ литературу ея симпатіи и антипатіи, ея міросозерцаніе, привычки, мысли и даже языкъ,—мы съ увѣренностью можемъ сказать, что и въ качествѣ художника нашъ разночинецъ долженъ былъ сохранить тѣ же характерныя черты, которыя вообще свойственны ему, какъ разночинцу.

II.

Какия же это черты?—Лучше всего укажетъ ихъ сравненіе.

Похожъ ли нашъ разночинецъ, напимѣръ, на стараго «либерала-идеалиста», воспѣтаго Н. А. Некрасовымъ?

Діалектикъ обаятельный,
Честенъ мыслью, сердцемъ чистъ,
Помню я твой взоръ мечтательный,
Либераль-идеалистъ.
Для дѣйствительности скованный,
Верхоглядомъ жилъ ты зря,
Ты бродилъ разочарованный,
Красоту боготворя...

Съ такимъ либераломъ у нашего разночинца общаго только то, что и онъ не менѣе его «честенъ мыслью, сердцемъ чистъ». Во всемъ остальномъ онъ составляетъ прямую противоположность ему. «Жить зря», бродить «разочарованнымъ» безъ всякаго дѣла, онъ не можетъ уже потому, что онъ не помѣщикъ, а пролетарій, хотя бы и дворянскаго происхожденія. Онъ долженъ въ потѣ лица своего зарабатывать хлѣбъ свой. Нашъ разночинецъ прежде всего специалистъ, химикъ, механикъ, медикъ, ветеринаръ и т. п. Правда, при современныхъ порядкахъ въ Россіи онъ также часто, почти всегда, оказывается «скованнымъ для дѣйствительности», если только не хочетъ входить съ своей совѣстью въ постыдныя сдѣлки. Въ этомъ-то и заключается трагизмъ его положенія, потому-то голова его и полна «проклятыхъ вопросовъ». Но онъ уже не складываетъ рукъ передъ окружающими его препятствіями, онъ смѣется надъ безплоднымъ разочарованіемъ, онъ ищетъ пракческаго выхода, стремится передѣлать общественныя отношенія. Поэтому общественные интересы преобладаютъ у него надъ всѣми прочими. Чисто-литературные вопросы занимаютъ его сравнительно очень мало. Еще не такъ давно онъ былъ даже въ формальной ссорѣ съ искусствомъ, хотѣлъ окончательно «разрушить эстетику», находилъ, что «хорошій сапожникъ лучше

всякаго Рафаэля», и презирала Пушкина за то, что тотъ не занимался естествознаніемъ и не писалъ тенденціозныхъ романовъ. Теперь онъ понимаетъ, что это было съ его стороны крайностью. Теперь онъ охотно отдаетъ должную дань искусству, гордится Пушкинымъ и Лермонтовымъ, восхищается Толстымъ и Тургеневымъ. Но и теперь онъ дѣлаетъ это какъ бы мимоходомъ, по пословицѣ: «дѣлу время, потѣхъ часъ». Съ восторгомъ прочитавши какую-нибудь «Анну Каренину», онъ опять и надолго принимается за статьи по общественнымъ вопросамъ, опять спорить объ общинѣ, наблюдаетъ и изслѣдуетъ народную жизнь. Въ иностранныхъ литературахъ онъ также ищетъ не столько художественныхъ произведеній, сколько сочиненій по общественнымъ вопросамъ. Для него Сэнъ-Симонъ или Луи-Бланъ гораздо интереснѣе Жоржъ Занда или Бальзака, а что касается Корнеля или Расина, то онъ и совсѣмъ незнакомъ съ ними, между тѣмъ какъ онъ хоть изъ плохой исторіи г. Щеглова знаетъ, о чемъ писали Томасъ Моръ и Кампанелла. Жестоко ошибаются, однако, тѣ, которые считаютъ его «грубымъ матеріалистомъ». Онъ какъ нельзя болѣе далекъ отъ нравственнаго матеріализма. Въ своей нравственности онъ чистокровный идеалистъ, но его идеализмъ носитъ особый отпечатокъ, вслѣдствіе особенностей его общественнаго и историческаго положенія. Извѣстный Марлинскій сказалъ когда-то въ одной изъ своихъ критическихъ статей, что «вѣкъ Петра некогда было заниматься словесностью, его поэзія проявлялась въ подвигахъ, не въ словахъ». Такое объясненіе литературной скудости «вѣка Петра», конечно, довольно односторонне, но мы упоминаемъ о немъ потому, что слова Марлинскаго вполне примѣнимы къ нашему разночинцу. Онъ протестантъ и борецъ по самому своему положенію. Его вниманіе поглощено борьбою, и ему просто «некогда заниматься словесностью» ради словесности, «боготворить красоту», наслаждаться искусствомъ. Онъ увлекается именно тою поэзіей, которая «проявляется въ подвигахъ, а не въ словахъ». И его общественная дѣятельность чрезвычайно богата примѣрами того, что можно назвать поэзіей подвига.

Если нашего разночинца мало привлекаетъ внутренняя красота художественнаго произведенія, то еще меньше можно соблазнить его внѣшней отдѣлкой, на примѣръ красивымъ слогомъ, которому французы до сихъ поръ придаютъ такое огромное значеніе. Онъ каждому писателю готовъ сказать: «Другъ мой, пожалуйста, не говори красиво», какъ совѣтовалъ Базаровъ молодому Кирсанову. Пренебреженіе къ внѣшности замѣтно на собственной рѣчи разночинца. Его грубоватый и неуклюжій языкъ далеко уступаетъ изящному, гладкому и блестящему языку «либерала-идеалиста» добраго стараго времени. Иногда онъ чуждъ не только «красоты», но — увы — даже и грамматической правильности. Въ этомъ отношеніи дѣло зашло такъ далеко, что когда разночинецъ обращался къ

публикѣ, стараясь воспламенить ее своей письменной или устной рѣчью, то, не умѣя владѣть словомъ, онъ, при всей своей искренности, оказывался не краснорѣчивымъ, а только фразистымъ. Извѣстно, что всѣ органы слабѣютъ отъ бездѣйствія.

Такъ какъ, кромѣ всего этого, нашъ разночинецъ всегда съ большимъ презрѣніемъ относился къ философіи, которую онъ называлъ метафизикой, то нельзя также сказать, чтобы онъ былъ «обаятельнымъ диалектикомъ». Гегель, навѣрное, не призналъ бы за нимъ большихъ достоинствъ по этой части. Отсутствіемъ философскаго развитія объясняются многіе тяжкіе теоретическіе грѣхи разночинца.

Не забудьте, наконецъ, что иностранные языки онъ знаетъ очень слабо: въ дѣтствѣ родители, по бѣдности, не обучали; въ школѣ обучали очень плохо, а въ зрѣломъ возрастѣ было не до языковъ. Поэтому съ иностранными литературами онъ знакомъ лишь кое-какъ, изъ вторыхъ рукъ, по переводамъ. Здѣсь мы также видимъ прямую противоположность «либералу-идеалисту»: тотъ говорилъ чуть ли не на всѣхъ европейскихъ языкахъ и, какъ свои пять пальцевъ, зналъ главнѣйшія иностранныя литературы.

III.

Таковъ нашъ разночинецъ вообще, таковъ и разночинецъ-писатель. Въ нашемъ литературномъ народничествѣ даже и въ народнической беллетристикѣ легко замѣтить воѣ свойственные разночинцу достоинства и недостатки. Чтобы убѣдиться въ этомъ, возьмите, напримѣръ, сочиненія Гл. И. Успенскаго и сравните ихъ съ сочиненіями Тургенева. Вы тотчасъ увидите, что эти два писателя принадлежатъ къ двумъ различнымъ общественнымъ слоямъ, воспитывались при совершенно различныхъ условіяхъ, ставили себѣ, въ своей художественной дѣятельности, совершенно различныя задачи. Тургеневъ не менѣе Успенскаго былъ отзывчавъ ко всему тому, что составляло животрепещущій общественный интересъ его времени. Но между тѣмъ какъ Тургеневъ былъ бытописателемъ «дворянскихъ гнѣздъ», Успенскій является бытописателемъ народа. Тургеневъ подходит къ явленіямъ какъ художникъ, и почти только какъ художникъ, даже тамъ, гдѣ онъ пишетъ на самыя животрепещущія темы, онъ интересуется больше *эстетикой*, чѣмъ «*вопросами*»; Успенскій очень часто подходит къ нимъ какъ публицистъ. Тургеневъ, за немногими исключеніями, давалъ намъ художественные образы и только образы; Успенскій, рисуя образы, сопровождаетъ ихъ своими толкованіями. Въ этомъ, конечно, слабая сторона Успенскаго, какъ и почти всѣхъ другихъ народниковъ-беллетристовъ, и намъ могли бы замѣтить, что странно противопоставлять сильныя стороны одного писателя или одного направленія слабымъ сторонамъ другого писателя или другой школы. Но откуда же взялась эта

слабая сторона народнической беллетристики? Она явилась именно въ силу преобладанія у народниковъ-писателей общественныхъ интересовъ надъ литературными. Съ чисто-литературной, художественной точки зрѣнія данный рассказъ или очеркъ много выигралъ бы отъ болѣе объективнаго отношенія автора къ предмету. Это хорошо знаетъ, вѣроятно, и самъ авторъ. Но его заставляеть взяться за перо не столько потребность въ художественномъ творествѣ, сколько желаніе выяснитъ себѣ и другимъ тѣ или другія стороны нашихъ общественныхъ отношеній. Поэтому разсужденіе идетъ рядомъ съ художественнымъ изображеніемъ, и авторъ нерѣдко является гораздо менѣе художникомъ, чѣмъ публицистомъ. Мало того, обратите вниманіе на тѣ произведенія народнической беллетристики, въ которыхъ художникъ беретъ верхъ надъ публицистомъ или даже окончательно вытѣсняетъ его; вы не встрѣтите въ нихъ ни такихъ рѣзко очерченныхъ, художественно обработанныхъ характеровъ, какіе встрѣчаются въ «Герои нашего времени», въ «Рудинѣ», въ «Наканунѣ», въ «Отцахъ и дѣтяхъ» и т. п. Вы не найдете въ нихъ и тѣхъ картинъ страстей, тѣхъ тонко подмѣченныхъ душевныхъ движеній, какими привлекаютъ васъ сочиненія Достоевскаго или Толстого. Народническая беллетристика рисуетъ намъ не индивидуальныя характеры и не душевныя движенія *личностей*, а привычки, взгляды и, главное, общественный бытъ *массы*. Она ищетъ въ народѣ не человѣка вообще, съ его страстями и душевными движеніями, а представителя извѣстнаго общественнаго класса, носителя извѣстныхъ общественныхъ идеаловъ. Передъ мысленнымъ взоромъ беллетристовъ-народниковъ носятя не яркіе художественные образы, а прозаическіе, хотя и жгучіе вопросы народной экономіи. Отношенію крестьянина къ землѣ составляетъ, поэтому, теперь главный предметъ ихъ quasi-художественныхъ описаній. Есть художники-психологи. Съ извѣстными оговорками, народниковъ-беллетристовъ можно бы, пожалуй, назвать художниками-соціологами.

Преобладаніемъ общественныхъ интересовъ надъ чисто-литературными объясняется и та небрежность художественной отдѣлки, которая сильно даетъ себя чувствовать въ произведеніяхъ беллетристовъ-народниковъ. Для примѣра возьмемъ опять сочиненія Гл. Успенскаго. Въ нихъ попадаются сцены и даже цѣлыя главы, которыя одѣлали бы честь самому первоклассному художнику. Такихъ сценъ немало, напримѣръ, въ «Разореніи». Но рядомъ съ ними, и въ томъ же «Разореніи», встрѣчаются сцены второстепеннаго или вовсе сомнительнаго достоинства. Временами самое симпатичное, живое лицо въ «Разореніи», Михаилъ Ивановичъ, становится просто смѣшнымъ, играя роль какого-то Чацкаго изъ фабричныхъ рабочихъ. Подобныхъ диссонансовъ много и въ другихъ его произведеніяхъ. Въ нихъ вообще нѣтъ строго выработаннаго плана, соразмѣрности частей и правильнаго отношенія ихъ къ цѣлому. Подобно нѣ-

которымъ философамъ древности, Гл. Успенскій «не приносить жертвъ граціямъ». Онъ гонится не за тѣмъ, чтобы придать художественную отдѣлку своимъ произведеніямъ, а за тѣмъ, чтобы схватить и вѣрно передать общественный смыслъ изображаемыхъ имъ явленій. Последнія же его произведенія не имѣютъ ничего общаго съ беллетристикой.

Само собою понятно, что авторъ, мало обращающій вниманія на художественную отдѣлку своихъ произведеній, еще меньше будетъ заботиться объ языкѣ. Въ этомъ отношеніи нашихъ беллетристовъ-народниковъ нельзя сравнивать не только съ Лермонтовымъ или Тургеневымъ, но даже и съ В. Гаршинымъ или М. Бѣлинскимъ.

Есть критики, считающіе своею обязанностью отгнать всѣ недостатки народнической беллетристики и осмѣивать ее на всѣ лады. Въ ихъ нападкахъ много справедливаго, но плохо, во-первыхъ, то, что они видятъ въ ней только недостатки и не видятъ ея достоинствъ, а во-вторыхъ, то, что они не замѣчаютъ, да притомъ, благодаря своей точкѣ зрѣнія, и не могутъ замѣтить самаго главнаго ея недостатка.

Наша народническая литература вообще и наша народническая беллетристика въ частности обладаетъ очень крупными достоинствами, которыя тѣсно связаны съ ея недостатками, какъ это бываетъ, впрочемъ, всегда. Врагъ всякихъ прикрасъ и искусственности, разночинецъ долженъ былъ создать, и дѣйствительно создалъ, глубоко правдивое литературное направленіе. Въ этомъ случаѣ онъ остался вѣрнѣйшимъ преданіемъ русской литературы. Наша народническая беллетристика вполне реалистична, и притомъ реалистична не на современный французскій ладъ: ея реализмъ согрѣтъ чувствомъ, проникнуть мыслью. И это различіе вполне понятно. Французскій натурализмъ или, по крайней мѣрѣ, золаизмъ служитъ литературнымъ выраженіемъ нравственной и умственной пустоты современной французской буржуазіи, давно уже оставленной «духомъ» всемірной исторіи ¹⁾. Русское же литературное народничество выражаетъ взгляды и стремленія того общественнаго слоя, который, въ теченіе трехъ десятилѣтій былъ самымъ передовымъ слоемъ Россіи. Въ этомъ заключается главная историческая заслуга названнаго направленія. Измѣнятся русскія общественныя отношенія (и они уже измѣняются), явятся на русскую историческую сцену новые, болѣе передовые слои или классы (и такое время уже недалеко), и тогда народническая беллетристика, какъ и вся вообще народническая литература, отойдетъ на задній планъ, уступитъ мѣсто новымъ направленіямъ. Но ея представители всегда будутъ имѣть право сказать, что и они писали не даромъ, что и они въ свое время умѣли послужить дѣлу русскаго общественнаго развитія.

¹⁾ Въ 1888 г., когда была написана эта статья, еще не существовало тѣхъ сочиненій Зола, которыя знаменовали поворотъ въ его творчествѣ.

Они служили ему, изображая бытъ своего народа. Никакія спеціальныя изслѣдованія не могутъ замѣнить нарисованной ими картины народной жизни. Произведенія нашихъ народниковъ-беллетристовъ надо изучать такъ же внимательно, какъ изучаются статистическія изслѣдованія о русскомъ народномъ хозяйствѣ или сочиненія по обычному праву крестьянъ. Ни одинъ общественный дѣятель, къ какому бы направленію онъ ни принадлежалъ, не можетъ сказать, что для него обязательно такое изученіе. Кажется, что на этомъ основаніи можно простить народникамъ-беллетристамъ много вольныхъ и невольныхъ прегрѣшеній противъ эстетики.

Вообще можно сказать, что наши эстетическіе критики осуждены на полное безсиліе въ своей борьбѣ противъ недостатковъ народнической беллетристики. Они берутся за дѣло не съ надлежащей стороны. *Убѣдить* народниковъ-беллетристовъ въ томъ, что имъ не слѣдуетъ интересоваться общественными вопросами, *невозможно*, а *убѣждать* ихъ въ этомъ *нельзя*. Россія переживаетъ теперь такое время, когда передовые слои ея населенія не могутъ не интересоваться подобными вопросами. Поэтому, какъ бы ни распинались господа эстетическіе критики, интересъ къ общественнымъ вопросамъ необходимо будетъ отражаться и въ беллетристикѣ.

Критика должна, по меньшей мѣрѣ, примириться съ этимъ обстоятельствомъ. Это не значитъ, однако, что она должна закрывать глаза на недостатки художественныхъ произведеній нашихъ народниковъ. Ей просто надо перемѣнить свое оружіе. Смѣшно подступать къ такимъ произведеніямъ со школьной указкой, «съ учебниками пѣтики и реторики въ рукахъ», какъ справедливо замѣчаетъ одинъ изъ критиковъ «Сѣвернаго Вѣстника». Но вовсе не смѣшно, а напротивъ вполне уместно было бы задаться вопросомъ о томъ, насколько основательны усвоенные нашими народниками-беллетристами взгляды на русскую жизнь, и не зависятъ ли главные художественные недостатки ихъ произведеній, хотя бы отчасти, отъ ошибочности и узости этихъ взглядовъ? Очень можетъ быть, что, сведя споръ на эту почву, критикѣ удалось бы указать другую, болѣе правильную точку зрѣнія, которая, не устраняя изъ беллетристики жгучихъ вопросовъ современности, повела бы выѣстъ съ тѣмъ къ устраненію многихъ изъ недостатковъ, свойственныхъ ей теперь. Тамъ, гдѣ беллетристы становятся публицистами, даже художественному критику не остается ничего другого, какъ запастись оружіемъ публициста.

Въ настоящей статьѣ мы хотимъ именно съ этой стороны взглянуть на произведенія самаго талантливаго изъ беллетристовъ-народниковъ— Гл. И. Успенскаго.

IV.

Гл. И. Успенскій началъ писать уже давно. Въ концѣ прошлаго года праздновалось двадцатипятилѣтіе его литературной дѣятельности. Бельтовъ. Т. I. Изд. 3.

ности ¹⁾). Въ теченіе всего этого времени онъ, въ общемъ, былъ вплоть вѣренъ разъ принятому направленію. Но такъ какъ само народничество измѣнялось въ нѣкоторыхъ существенныхъ чертахъ, то неудивительно, что характеръ произведеній нашего автора также не оставался неизмѣннымъ. Въ его дѣятельности можно различать три періода.

Въ первыхъ своихъ произведеніяхъ Гл. Успенскій является главнымъ образомъ *бытописателемъ* народной и отчасти *мелкочиновничьей жизни*. Онъ рисуетъ жизнь низшихъ классовъ общества, описываетъ, что видитъ, не стараясь объяснять видѣнное съ помощью какой-либо теоріи и даже едва ли интересуясь какой-либо опредѣленной общественной теоріей. Къ этому времени относятся «Нравы Растеряевой улицы», «Столичная бѣднота», «Зимній вечеръ», «Будка», «Извозчикъ», «Разореніе» и другіе очерки, составляющіе теперь первые томы его сочиненій. Въ нихъ фигурируютъ не только крестьянинъ, но и городской ремесленникъ, мелкое чиновничество, низшее духовенство и тому подобный бѣдный людъ, осужденный на вѣчную заботу о кускѣ хлѣба. Онъ описываетъ всю эту бѣдноту, всю эту среду «униженныхъ и обиженныхъ», съ большимъ юморомъ, умѣньемъ и самой глубокой, самой задушевной симпатіей къ человѣческому горю и страданію. Въ художественномъ смыслѣ это, несомнѣнно, лучшія изъ его произведеній.

Но «времена мѣнялись», а вмѣстѣ съ ними мѣнялся и характеръ нашего народничества. Вниманіе «интеллигенціи» сосредоточилось на крестьянствѣ, въ которомъ она видѣла сословіе, призванное исторіей обновить и перестроить всѣ наши общественныя отношенія. Повсюду слышались толки о «народномъ характерѣ», «народныхъ идеалахъ», причемъ и «характеръ», и «идеалы» разрисовывались самыми радужными красками. Охваченный общимъ увлеченіемъ, Гл. Успенскій также идетъ «въ народъ»—ковечно, съ самыми мирными литературными дѣлами—и дѣлаетъ крестьянина главнымъ героемъ своихъ произведеній. Но, какъ человѣкъ очень наблюдательный и очень умный, онъ скоро замѣчаетъ, что существующее у нашего разночинца понятіе о «народѣ» далеко не соответствуетъ дѣйствительности. Онъ высказываетъ по этому поводу много тяжелыхъ сомнѣній, которыя навлекаютъ на него горячія нападки со стороны правобѣрныхъ народниковъ. Ему кажется, напримѣръ, что старинный, идеализированный народниками складъ крестьянской жизни быстро разлагается отъ вторженія новой силы—денегъ. «Кто не сѣръ, у кого нужда не съѣла ума, кого случай или что другое заставило подумать о своемъ положеніи, кто чуть-чуть понялъ траги-комическія стороны крестьянскаго житья,—говоритъ онъ, описывая крестьянскій бытъ новгородской губ.,—тотъ не можетъ не видѣть своего избавленія исключительно только въ толстой пачкѣ денегъ, только въ пачкѣ, и не задумается ни передъ чѣмъ, лишь бы добыть

¹⁾ Напоминаемъ, что статья эта относится къ 1888 году.

ее». Описывая одну богатую деревню самарской губернии, которая обладала множеством угодий и изобиліем самой «удивительной» по плодородію земли, онъ съ недоумѣніемъ восклицаетъ: «И представьте себѣ: среди такой-то благодати не проходитъ дня, чтобы вы не натолкнулись на какое-нибудь явленіе, сцену или разговоръ, который бы мгновенно не разрушилъ всѣ ваши фантазіи, не изломалъ всѣ вычитанные вами соображенія и взгляды на деревенскую жизнь, словомъ не ставилъ бы васъ въ полную невозможность постичь, какъ при такихъ-то и такихъ-то условіяхъ могло произойти то, что вы видите во-очію». Отсюда уже недалеко было до того—возмутительнаго для прямолинейнаго народника—вывода, что не все хорошо въ деревенской общинѣ, что нельзя объяснять одною бѣдностью всѣ непривлекательныя стороны народной жизни и что «въ глубинѣ деревенскихъ порядковъ есть несовершенства интеллектуальныя, достойныя того, чтобы обратить на нихъ вниманіе». Нашъ авторъ видѣлъ, напиримѣръ, что богатыя общины самарской губернии могутъ «поставить работающаго, здороваго человѣка въ положеніе совершенно безпомощное, довести его до того, что онъ... ходитъ голодный съ голодными дѣтьми и говорить: «Главная причина, братецъ ты мой, пищи у насъ нѣту—вотъ!» Видѣлъ онъ, что «такое новое общественное деревенское учрежденіе, какъ сельское ссудосберегательное товарищество, ничуть не измѣняетъ своего банковаго духа, духа учрежденія, не претендующаго на болѣе или менѣе общинное распредѣленіе банковыхъ благъ. Давая тому больше, у кого много, мало тому, у кого мало, и вовсе не довѣряя тому, у кого ничего нѣтъ, сельскій банкъ производитъ въ деревнѣ свои операціи съ тою же неизмѣнностью, какъ и въ городѣ, гдѣ, какъ извѣстно, никакой общины не существуетъ, а всякій живетъ самъ по себѣ»... Видѣлъ, наконецъ, Гл. Успенскій, что кулачество представляетъ собою продуктъ внутреннихъ отношеній общины, а не виѣшнихъ только воздѣйствій на нее,—и въ концѣ концовъ приходилъ къ тому заключенію, что скоро можетъ наступить такое время, когда «деревня, т. е. все, что въ ней есть хорошаго, стоскуется, разбредется, а что и останется въ ней, потерявъ аппетитъ къ крестьянскому труду, будетъ только безсильнымъ рабочимъ матеріаломъ въ рукахъ тѣхъ, кто даетъ хоть какой-нибудь заработокъ». Гл. Успенскій звалъ въ деревню «новыхъ людей», говоря, что ей необходимы «новые взгляды на вещи, необходимы новые, развитые, образованные дѣятели», для того, чтобы въ самыхъ богатыхъ мѣстностяхъ и въ самыхъ зажиточныхъ общинахъ «не было тѣсноты, а среди возможнаго, находящагося подъ руками доволства—самой поразительной нищеты, не знающей, гдѣ преклонить голову». Онъ думалъ тогда, что указываетъ нашей интеллигенціи, если и не легкую, то во всякомъ случаѣ разрѣшимую задачу ¹⁾.

¹⁾ Относящіяся къ этому періоду очерки Гл. Успенскаго носятъ общее заглавіе «Изъ деревенскаго дневника».

Опытъ готовилъ ему, однако, новое разочарованіе. Чѣмъ дольше жилъ онъ въ деревнѣ, тѣмъ больше убѣждался въ полной невозможности привить крестьянамъ «новые взгляды на вещи», т. е. сознание «всей выгоды общиннаго, коллективнаго труда на общую пользу». Проповѣдь такихъ взглядовъ въ лучшемъ случаѣ вызывала въ слушателяхъ «ужаснѣйшую зѣвоту». А иногда, какъ мы увидимъ ниже, дѣло принимало совсѣмъ неожиданный оборотъ. Рядомъ практическихъ осображеній крестьяне доказывали Гл. Успенскому непримѣнимость его «новыхъ взглядовъ» къ деревенскимъ порядкамъ. Вообще отрицательное отношеніе «деревни» къ пропагандѣ автора было такъ велико и такъ постоянно, что онъ не разъ давалъ себѣ зарокъ «не говорить съ ними объ ихъ крестьянскихъ порядкахъ, такъ какъ въ большинствѣ случаевъ такіе разговоры совершенно бесплодны и ни къ чему практически-путному не ведутъ». Само собою понятно, что такое положеніе дѣлъ сильно огорчало нашего автора, пока одно случайное и «совершенно ничтожное обстоятельство» не придало новаго оборота его мыслямъ. Благодаря этому счастливому обстоятельству, у него выработался новый взглядъ на крестьянскую жизнь, его теоретическіе Wanderjahre окончились—и онъ вошелъ въ надежную, какъ ему казалось, гавань. Тогда начался третій и послѣдній періодъ его дѣятельности.

Въ чемъ же состоитъ сдѣланное Гл. И. Успенскимъ открытіе?

V.

Прежде онъ, подобно другимъ народникамъ, объяснялъ себѣ всё стороны крестьянскаго быта чувствами, понятіями и идеалами крестьянъ. И мы знаемъ уже, что при такомъ объясненіи многое оставалось для него необъясненнымъ и противорѣчивымъ.

Вышеупомянутое «случайное обстоятельство» заставило его поступить какъ разъ наоборотъ, т. е. въ формахъ народнаго быта поискать ключъ къ народнымъ понятіямъ и идеаламъ, а происхожденіе народныхъ бытовыхъ формъ попытаться объяснить «условіями земледѣльческаго труда». Попытка такого объясненія увѣнчалась значительнымъ успѣхомъ.

Жизнь и міросозерцаніе крестьянина, прежде казавшіяся ему темными, противорѣчивыми, безсодержательными и бессмысленными, неожиданно получили въ его глазахъ «удивительную стройность» и послѣдовательность. «Широта и основательность этой стройности,—говоритъ онъ,—выяснились мнѣ по мѣрѣ того, какъ я положилъ въ основаніе всей организаціи крестьянской жизни—семейной и общественной—земледѣльческій трудъ, попробовалъ вникнуть въ него подробнѣе, объяснить себѣ его соціальныя свойства и вліяніе на неразрывно связаннаго съ нимъ человѣка». Оказалось даже, что особенностями земледѣльческаго труда объясняется не только складъ крестьянской семьи и общины, но и его вѣками испытанное дол-

готерпѣніе, его религіозныя вѣрованія, его отношеніе къ правительству и, наконецъ, даже къ самимъ гг. народникамъ.

Земледѣльческій трудъ ставитъ крестьянина въ полную зависимость отъ непонятныхъ ему и, повидимому, совершенно случайныхъ явленій природы. Природа «учитъ его признавать власть, и притомъ власть безконтрольную, своеобразную, капризно-прихотливую и бездушно-жестокую». И крестьянинъ «умѣетъ терпѣть, терпѣть не думая, не объясняя, терпѣть безпрекословно. Онъ знакомъ съ этимъ выраженіемъ на фактъ, на своей шкурѣ, знакомъ до такой степени, что рѣшительно нѣтъ возможности опредѣлить этому терпѣнію болѣе или менѣе точнаго предѣла».

Само собой понятно, что крестьянинъ олицетворяетъ природу, случайности которой для него «сосредоточиваются въ Богѣ». Онъ вѣритъ въ Бога «крѣпко, непоколебимо» и «ощущаетъ его близость почти до осязанія». Онъ молится ему, чтобы снискать его расположеніе, хотя не знаетъ толкомъ ни одной молитвы. Гл. Успенскому удалось однажды услышать весьма интересное исповѣданіе вѣры. «Вѣрую во единого Бога отца»,— училъ знакомый ему крестьянинъ, Иванъ Ермолаевичъ, своего сына,— «и въ небо и въ землю. Видимо-невидимо, слышимо-неслышимо. Припопятился еси, распилатился еси... а дальше Богъ знаетъ, что было»,— замѣчаетъ авторъ. Все это крайне нелѣпо и безтолково, но необходимо, неизбѣжно и въ самомъ дѣлѣ очень «стройно». Религіозное суевѣріе представляетъ собою естественный продуктъ отношеній крестьянина къ природѣ, «особенностей земледѣльческаго труда». Мысль крестьянина поработана «властью земли» и природы. Въ лучшемъ случаѣ она можетъ дойти до созданія какой-нибудь «раціоналистической» секты, но никогда не можетъ возвыситься до матеріалистическаго и единственно-правильнаго взгляда на природу, до понятія *о власти человека надъ землею*.

Свойствами того же земледѣльческаго труда объясняется и власть большака въ крестьянской семьѣ.

«Глава въ домѣ, власть домашняя нужна,—говоритъ Гл. Успенскій.— Этого требуетъ опять же сложность земледѣльческаго труда, составляющаго основаніе хозяйства, и зависимость этого труда отъ велѣній и указаній природы».

Въ поземельныхъ отношеніяхъ крестьянъ легко прослѣдить рѣшающее вліяніе того же самого принципа. «Требованіями, основанными только на условіяхъ земледѣльческаго труда и земледѣльческихъ идеаловъ, объясняются и общинныя земельныя отношенія: безсильный, не могущій выполнить свою земледѣльческую задачу по недостатку нужныхъ для этого силъ, уступаетъ землю (на что она ему?) тому, кто сильнѣе, энергичнѣе, кто въ силахъ осуществить эту задачу въ болѣе широкихъ размѣрахъ. Такъ какъ количество силъ постоянно мѣняется, такъ какъ у безсильнаго сегодня силъ можетъ прибавиться завтра, а другого можетъ убавиться, то пе-

редвижка—какъ иногда крестьяне именуютъ передѣль—должна быть явленіемъ неизбѣжнымъ и справедливымъ».

Не подумайте, читатель, что эта земледѣльская «справедливость» осуществляется безъ малѣйшахъ неудобствъ для кого бы то ни было: въ сочиненіяхъ того же Гл. Успенскаго мы встрѣчаемъ на этотъ счетъ весьма поучительныя страницы.

«Вотъ рядошъ съ домошъ крестьянина, у котораго накоплено двадцать тысячъ рублей денегъ, живетъ старуха съ внучками, и у нея нечѣмъ топить, не на чемъ сострапать обѣда, если она гдѣ-нибудь не подберетъ, «уворуючи», щепочекъ, не говоря о зимѣ, когда она мерзнетъ отъ холода.

— Но вѣдь у васъ есть общинныя дѣса?—съ изумленіемъ восклицаете вы, диллетантъ деревенскихъ порядковъ.

— Нашей сестрѣ не даютъ оттедова.

— Почему же такъ?

— Ну, стало выходить, нѣтъ этого, чтобы то есть всѣмъ выдавать».

«Или:

— Подайте, Христа ради.

— Ты здѣшняя?

— Здѣшняя.

— Какъ же это такъ пришло на тебя?

— Да какъ пришло-то! Мы, другъ ты мой, хорошо жили, да мужъ у меня работалъ барскій сарай и свалился съ крыши, да вотъ и мается больше полгода... Говорать—въ городъ надуть везти, да какъ его повезешь-то? Я одна съ ребятами. Землю міръ взялъ.

— Какъ взялъ? Зачѣмъ?

— Кто же за нее души-то платить будетъ? Еще, слава Богу, души взяли. Вѣдь силы въ насъ нѣту», и т. д.

И ворующая щепочки старуха съ внучками, и жена пострадавшаго на барской работѣ крестьянина лишены земельного надѣла и дровъ именно въ силу той самой «стройности» земледѣльческихъ порядковъ, которая заставляетъ отнимать землю у «безсильнаго, не могущаго выполнить свою земледѣльческую задачу», и передавать ее тому, «кто сильнѣе, энергичнѣе». Гл. Успенскій прекрасно видитъ тѣневую сторону стройной деревенской жизни, но онъ мирится съ нею, становясь на крестьянскую точку зрѣнія. Онъ понимаетъ теперь неизбѣжность многихъ, прежде такъ сильно печалившихъ и возмущавшихъ его явленій. Нервы его становятся «какъ бы покрѣпче» и начинаютъ «обнаруживать нѣкоторую неподатливость въ такихъ случаяхъ, въ какихъ прежде, т. е. весьма недавно. они не могли не нуть, хотя, конечно, бесплодно».

Послѣдуемъ и мы примѣру нашего автора. Будемъ изучать, а не осуждать современные деревенскіе порядки. Прослѣдимъ вліяніе земледѣльческаго труда на правовыя и политическія воззрѣнія крестьянъ.

«Эти же сельско-хозяйственные идеалы и въ юридическихъ отношеніяхъ,—продолжаетъ Гл. Успенскій:—имущество принадлежитъ тому, чьимъ творчествомъ оно создано... Его получаетъ сынъ, а не отецъ, потому что отецъ пьянствовалъ, а сынъ работалъ; его получила жена, а не мужъ, потому что мужъ—олухъ царя небеснаго и лѣнтяй, и т. д. Объясненія высшаго государственнаго порядка также безъ всякаго затрудненія получаются изъ опыта, приобретаются крестьяниномъ въ области только сельско-хозяйственнаго труда и идеаловъ. На основаніи этого опыта можно объяснить высшую власть: «Нельзя безъ большака, это хотъ и нашего брата взять». Изъ этого же опыта наглядно объясняется и существованіе налоговъ: «Нельзя не платить, царю тоже деньги нужны... Это хотъ бы и нашего брата взять; пастуха нанять, и то нужно платить, а царь даетъ землю».

Словомъ, какъ случайности природы сосредоточиваются для крестьянина въ Богѣ, такъ случайности политики сосредоточиваются для него въ царѣ.

«Царь пошелъ воевать, царь далъ волю, царь даетъ землю, царь раздаетъ хлѣбъ,—что царь скажетъ, то и будетъ».

Земледѣльческій трудъ поглощаетъ все вниманіе крестьянина и составляетъ все содержаніе всей его умственной дѣятельности. «Ни въ какой иной сферѣ, кромѣ сферы земледѣльческаго труда, опять-таки въ безчисленныхъ развѣтвленіяхъ и осложненіяхъ, мысль его такъ не свободна, такъ не смѣла, такъ не напряжена, какъ именно здѣсь, тамъ, гдѣ соха, борона, овцы, куры, утки, коровы и т. д. Онъ почти ничего не знаетъ насчетъ своихъ «правовъ», ничего не знаетъ о происхожденіи и значеніи начальства, не знаетъ—за что началась война и гдѣ находится враждебная земля и т. д., потому что онъ заинтересованъ своимъ дѣломъ, ему некогда знать и интересоваться всѣмъ этимъ, точно такъ, какъ мнѣ и вамъ, заинтересованнымъ всѣмъ этимъ, нѣтъ ни охоты, ни возможности три вечера къ ряду думать объ уткѣ или грустить душевно, глядя на то, что овесъ вышелъ рѣдокъ... Но въ самомъ дѣлѣ онъ вникаетъ во всякую мелочь, у него каждая овца имѣетъ имя, смотря по характеру, онъ не спитъ изъ-за утки ночи, думаетъ о камнѣ и т. п.».

VI.

Такъ объясняетъ Гл. Успенскій всѣ стороны крестьянской жизни и всѣ особенности крестьянской мысли. Его объясненія послѣдовательно вытекаютъ изъ одного основнаго принципа. Но что такое самый этотъ принципъ, что такое «условія земледѣльческаго труда»? Нашъ авторъ выражается на этотъ счетъ нѣсколько неопредѣленно, что довольно невыгодно отзывается на выработанной имъ теоріи «власти земли». Говоря

вообще, подъ «условіями земледѣльческаго труда» можно понимать тѣ социальныя условія, въ которыя поставленъ земледѣлецъ данной страны въ данное время, т. е. правовыя отношенія земледѣльца къ своимъ братьямъ по труду—другимъ земледѣльцамъ,—его отношенія къ верховной власти, къ другимъ сословіямъ и т. п. Но Гл. Успенскій не довольствуется такимъ поверхностнымъ понятіемъ объ условіяхъ земледѣльческаго труда. Въ своемъ анализѣ онъ идетъ гораздо дальше и, какъ мы уже видѣли, старается объяснить всѣ общественныя отношенія земледѣльческой страны какими-то другими «условіями», изъ которыхъ эти отношенія вытекаютъ, какъ нѣчто производное. О какихъ же «условіяхъ» говорить Успенскій? Отвлекаясь отъ всѣхъ тѣхъ отношеній, въ которыя люди становятся въ процессѣ производства *другъ къ другу*, т. е., въ данномъ случаѣ, отвлекаясь отъ всѣхъ *общественныхъ* условій земледѣльческаго труда, мы имѣемъ дѣло лишь съ *отношеніями человека къ природѣ*. Именно отношеніе человека къ природѣ и имѣетъ въ виду Гл. Успенскій. Онъ прямо говоритъ, что считаетъ природу «*корнемъ*» всѣхъ «*вліяній*» земледѣльческаго труда на земледѣльца и на весь складъ его общественныхъ отношеній. «Съ нею человекъ дѣлаетъ дѣло, непосредственно отъ нея зависитъ». Отсюда и вытекаетъ «*власть*» природы и больше всего, конечно, земли надъ человекомъ. Справедливость этого не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. Но этого недостаточно. Зависимость человека отъ природы имѣетъ мѣру, которая сама измѣняется.

Достигнувъ извѣстной степени, это *количественное измѣненіе* мѣры зависимости человека отъ природы *качественно* измѣняетъ самое отношеніе человека къ природѣ. Находясь первоначально подъ *властью природы*, онъ постепенно самъ пріобрѣтаетъ *власть надъ природой*. Сообразно съ этимъ, измѣняются и отношенія людей не только въ самомъ процессѣ производства, но и во всемъ обществѣ. Прежде всего возрастаніе власти человека надъ природой выражается, конечно, въ увеличеніи производительности его труда, въ выростаніи количества находящихся въ его распоряженіи производительныхъ силъ. Поэтому, можно сказать, что степень развитія производительныхъ силъ опредѣляются какъ взаимныя отношенія людей въ производствѣ, такъ и всѣ ихъ общественныя отношенія. Обратилъ ли Гл. Успенскій вниманіе на эту сторону дѣла? Нѣтъ, не обратилъ, потому что если бы обратилъ, то не говорилъ бы объ «условіяхъ земледѣльческаго труда», какъ о чемъ-то вѣчномъ и неизмѣнномъ. Онъ и самъ увидѣлъ бы тогда, что они очень измѣнчивы и что измѣненіе ихъ должно вести къ измѣненію всего склада нашей деревенской жизни, всѣхъ взаимныхъ правовыхъ отношеній крестьянъ, ихъ отношеній къ общественному порядку и даже ихъ религіозныхъ представленій. Вмѣстѣ съ этимъ его собственные взгляды на русскую

жизнь очень много выиграли бы въ «стройности» и послѣдовательности. Ему оставалось бы только рѣшить, въ какую сторону должно совершиться измѣненіе условій нашего земледѣльческаго труда, чтобы съ ясностью указать «новымъ людямъ» наиболѣе подходящую для нихъ роль въ историческомъ ходѣ этого измѣненія.

Приведемъ нѣсколько примѣровъ въ поясненіе всего сказаннаго. Гл. Успенскій говоритъ объ отношеніяхъ крестьянъ къ общественно-политическому строю въ такихъ выраженіяхъ, что можно подумать, будто изъ «условія земледѣльческаго труда» и не можетъ вытекать никакого другого отношенія къ нему. Но вотъ мы видимъ, что въ Соединенныхъ Штатахъ очень распространенъ земледѣльческій трудъ, а между тѣмъ американскіе земледѣльцы относятся къ этому строю совсѣмъ не такъ, какъ русскіе крестьяне. Вообще, въ результатъ американскаго земледѣльческаго труда получается много хлѣба, но ни одного «Ивана Ермолаевича». Американскій земледѣлецъ дѣлаетъ свое дѣло, какъ извѣстно, гораздо лучше, чѣмъ русскій крестьянинъ, и въ то же время онъ умѣетъ думать не объ одной только «уткѣ»: онъ участвуетъ въ политической жизни своей страны. Откуда взялось такое различіе? Его нельзя объяснить простой ссылкой на «условія земледѣльческаго труда». Нужно показать, чѣмъ и почему условія земледѣльческаго труда въ Америкѣ не похожи на условія земледѣльческаго труда въ Россіи. Ученіе о производительныхъ силахъ легко объясняетъ все дѣло. Американскіе колонисты вывезли съ собою изъ Европы и развили на новой почвѣ производительныя силы гораздо болѣе высокаго порядка, чѣмъ тѣ, которыя находятся въ распоряженіи русскаго крестьянина. Иная степень развитія производительныхъ силъ,—иное отношеніе *людей* въ процессѣ производства, иной складъ всѣхъ общественныхъ отношеній.

Гл. И. Успенскому кажется, повидимому, что «условія земледѣльческаго труда» необходимо ведутъ къ существованію сельской общины съ передѣлами. Но и въ этомъ случаѣ исторія и этнографія сильно подрываютъ безусловное значеніе его выводовъ. Онѣ даютъ много примѣровъ другого рода земледѣльческихъ общинъ, начиная съ коммунистическихъ и кончая общинами съ подворно-наслѣдственнымъ землевладѣніемъ. Общины этого послѣдняго рода встрѣчаются и въ самой Россіи. Ясно, что происхожденіе всѣхъ этихъ видовъ и разновидностей общинъ опять-таки невозможно объяснить простой ссылкой на «условія земледѣльческаго труда». Нужно показать, какимъ образомъ различіе этихъ условій повело къ различію во внутренней организаціи общинъ. Мы не станемъ здѣсь, съ своей стороны, входить въ объясненіе того процесса, который приводитъ къ разложенію первобытныхъ коммунистическихъ общинъ. Въ прекрасной книгѣ г. Зибера «Очерки первобытной экономической культуры» показана связь этого процесса съ развитіемъ производительныхъ

силъ. Отсылая къ ней читателя, мы поищемъ въ сочиненіяхъ Гл. Успенскаго указанія того пути, который приводитъ къ разложенію сельской общины съ передѣлами.

По словамъ Успенскаго, упомянутый Иванъ Ермолаевичъ «ропщеть на родъ, на своихъ сельчанъ-сообщниковъ: народъ, видите ли, сталъ не тотъ, испортился, избаловался». Иначе сказать, Иванъ Ермолаевичъ уже недоволенъ современными общинными порядками. По его мнѣнію, при крѣпостномъ правѣ было, конечно, нехорошо: «что ужъ въ ту пору хорошаго?» Но все же между крестьянами было больше равенства. «Въ ту пору, надо такъ сказать, всѣмъ худо было, всѣмъ равно, а нынче стало такимъ образомъ: ты хочешь, чтобы тебѣ было хорошо, а сосѣди норовятъ тебѣ сдѣлать худо». Это, на первый взглядъ непонятное, явленіе онъ поясняетъ слѣдующимъ образомъ: «Посудите сами, я вамъ расскажу. Лядины у насъ дѣлятся на участки подъ вырубку; всякій рубить въ своемъ участкѣ. Вотъ я вырубилъ свой участокъ, пни выкорчевалъ, вычистилъ, стала у меня пашня. Какъ только у меня пашни прибавилось—передѣлять! У тебя, молъ, болѣе выходитъ земли, чѣмъ у другого съ тѣми же душами. Мѣрской земли прибавилось—передѣлять!

— Но вѣдь всякій можетъ расчислить свою лядину?—спрашиваетъ авторъ.

— Только не всякій захочетъ. Вотъ въ чемъ дѣло-то. Одинъ ослабѣлъ, другой обнищалъ, а третій лѣнивъ; есть лѣнныя, это вѣрно. Я встану до свѣту, бьюсь до поту, у меня хлѣба больше—отымутъ, будьте покойны! И по-много ли достанется-то! Какъ есть вотъ по ремешечку, по тоненькой тесемкѣ. Такимъ манеромъ два раза у меня землю-то отобрали, и все по закону,—земли прибавилось; не одному же тебѣ, надо всѣмъ прибавить. То есть, никакъ не подымешься. Хочу выписываться изъ общества; тутъ одинъ мнѣ мужичокъ сказывалъ, что будто можно; только не знаю какъ, много ли денегъ платить?»

Вы видите, что, сохраняя всю «стройность» своего землевладѣльческаго міросозерцанія, Иванъ Ермолаевичъ отрицательно относится къ той самой общинѣ съ передѣлами, которая, по мнѣнію Гл. Успенскаго, необходимо вытекаетъ изъ условій земледѣльческаго труда. Чѣмъ объяснить такое разногласіе? Тѣмъ, что Иванъ Ермолаевичъ лучше Успенскаго понимаетъ современное состояніе «условія земледѣльческаго труда» въ Россіи. Онъ видитъ, что для обработки истощенной земли нужно затратить больше орудствъ производства, чѣмъ затрачивалось ихъ въ прежнее время. Но находящіяся въ распоряженіи различныхъ домохозяевъ средства производства не одинаковы: «одинъ ослабѣлъ, другой обнищалъ, а третій лѣнивъ». Поэтому передѣлы общинныхъ земель ведутъ къ такимъ неудобствамъ, какихъ прежде не было. Поэтому же Иванъ Ермолаевичъ и собирается огорчить гг. народниковъ своимъ выходомъ изъ общины. Еще

болѣ рѣшительнымъ врагомъ общины сдѣлается онъ, перейдя къ интенсивной обработкѣ. Разложеніе общины логически вытекаетъ, такимъ образомъ изъ измѣненія техническихъ «условій земледѣльческаго труда».

Еще одно замѣчаніе. Видя въ правовыхъ отношеніяхъ крестьянъ существованіе того трудового начала, въ силу котораго продуктъ долженъ принадлежать производителю, Гл. Успенскій, не колеблясь, относитъ и это начало на счетъ условій земледѣльческаго труда. Но тотъ же трудовой принципъ существуетъ и въ обычномъ правѣ первобытныхъ охотничьихъ общинъ. Причемъ же тутъ условія земледѣльческаго труда? Очевидно, что не имъ обязанъ этотъ принципъ своимъ существованіемъ. Напротивъ, въ современной деревнѣ это пресловутое трудовое начало нерѣдко превращается въ прямую свою противоположность ¹⁾. Продавши на рынкѣ созданныя «трудами рукъ своихъ» продукты, крестьянинъ на вырученные деньги можетъ купить рабочую силу батрака и вести дальнѣйшее производство уже съ помощью рукъ своего ближняго.

А такое отношеніе людей въ производствѣ ведетъ, какъ извѣстно, къ присвоенію однимъ человѣкомъ продуктовъ труда другого человѣка или другихъ людей. Здѣсь мы опять видимъ, какимъ образомъ современное положеніе земледѣльческаго труда въ Россіи логически ведетъ къ отрицанію того, что кажется Гл. Успенскому необходимымъ слѣдствіемъ его «условій».

Повторяемъ, Гл. Успенскій не попалъ бы въ такія противорѣчія, если бы, придя къ мысли о зависимости всего склада крестьянской жизни отъ условій земледѣльческаго труда, онъ постарался бы выяснитъ самое понятіе объ этихъ условіяхъ. Это было бы тѣмъ легче для него, что ученіе о зависимости поступательнаго движенія человѣчества отъ развитія производительныхъ силъ давно уже разрабатывается въ западно-европейской литературѣ. Историческія идеи Маркса внесли бы много «стройности» въ міросозерцаніе Гл. Успенскаго.

Впрочемъ, сочиненія нашего автора заключаютъ въ себѣ богатый матеріалъ для сужденій о томъ, какому состоянію производительныхъ силъ соотвѣтствуетъ нарисованная имъ картина народной жизни. «На томъ самомъ мѣстѣ,—читаемъ мы у него,—гдѣ Иванъ Ермолаевичъ бьется надъ работою изъ-за того только, чтобы быть сытымъ, точно также бились, ни много, ни мало, какъ тысячу лѣтъ, его предки, и, можете себѣ представить, рѣшительно ничего не выдумали и не сдѣлали для того, чтобы облегчить себѣ возможность быть сытыми. Предки, тысячу лѣтъ жившіе на этомъ мѣстѣ (и въ настоящее время давно распаханное подъ овесъ и въ видѣ овса сѣданные скотиной), даже мысли о томъ, что

¹⁾ Вообще можно сказать, что именно это „трудовое начало“ ведетъ къ разложенію первобытнаго коммунизма. Это „начало“ есть, во всякомъ случаѣ, „начало“ частной собственности.

каторжный трудъ, изъ-за необходимости быть сытымъ, долженъ быть облегчаемъ, не оставивъ своимъ потомкамъ; въ этомъ смыслѣ о предкахъ нѣтъ ни малѣйшихъ воспоминаній. У Соловьева, въ «Исторіи», еще можно кое-что узнать насчетъ здѣшняго прошлаго, но здѣсь, на самомъ мѣстѣ, никому и ничего неизвѣстно. Хуже той обстановки, въ которой находится трудъ крестьянина, представить себѣ нѣтъ возможности, и надобно думать, что тысячу лѣтъ тому назадъ были тѣ же лапти, та же соха, та же тяга, что и теперь. Не осталось отъ прародителей ни путей сообщенія, ни мостовъ, ни малѣйшихъ улучшеній, облегчающихъ трудъ. Мостъ, который вы видите, построенъ предками и еле держится. Всѣ орудія труда первобытны, тяжелы, неудобны. Прародители оставили Ивану Ермолаевичу непроходимое болото, черезъ которое можно перебраться только зимой, и, какъ мнѣ кажется, Иванъ Ермолаевичъ оставить своему «мальченкѣ» болото въ томъ же самомъ видѣ. И его мальченка будетъ вязнуть, «биться съ лошадыю» такъ же, какъ бьется Иванъ Ермолаевичъ... Тысячу лѣтъ не могутъ завалить болота на протяженіи четверти версты, что сразу бы увеличило доходность здѣшнихъ мѣстъ, и между тѣмъ всѣ Иваны Ермолаевичи отлично знаютъ, что эту работу на вѣки-вѣковъ можно сдѣлать въ два воскресенья, если каждый изъ двадцати шести дворовъ выставитъ человѣка съ топоромъ и лошадь.

Поколѣніе смѣнялось поколѣніемъ, но каждое послѣдующее поколѣніе жило и трудилось при совершенно такихъ же условіяхъ, при которыхъ жило и трудилось предыдущее. Уже одного этого обстоятельства было совершенно достаточно, чтобы придать крестьянской жизни большую прочность и «стройность». Но это была, какъ видите, совсѣмъ варварская стройность. Русскій земледѣлецъ не можетъ остаться при тѣхъ условіяхъ земледѣльческаго труда, какія описаны Гл. Успенкамъ. Нужно надѣяться, что исторія сжалится, наконецъ, надъ своимъ пасынкомъ, выведетъ его изъ его застоя, дастъ ему въ руки большія производительныя силы, сообщить ему большую власть надъ природой. Достаточной порукой въ этомъ могутъ служить все болѣе и болѣе возрастающія сношенія съ Западомъ. Спрашивается только, въ какомъ смыслѣ увеличеніе производительности земледѣльческаго труда измѣнить наши деревенскіе порядки, и какимъ образомъ наши «новые люди» могутъ придти въ этомъ случаѣ на помощь крестьянину?

VII.

Прежде, чѣмъ искать въ сочиненіяхъ Гл. Успенскаго отвѣта на этотъ вопросъ, познакомимся съ нѣкоторыми другими сторонами «народнаго характера». Представимъ себѣ, что нашъ Иванъ Ермолаевичъ вырванъ изъ дорогой ему сферы земледѣльческаго труда и сдѣланъ, напримѣръ,

солдатомъ. Какъ будетъ онъ относиться въ этой новой роли къ различнымъ общественнымъ явленіямъ? Въ «Наблюденіяхъ одного дѣтяна» (третья часть «Разоренія») есть на этотъ счетъ весьма поучительное мѣсто.

Дьячекъ и отставной солдатъ, придя на богомолье къ угоднику, мирно бесѣдуютъ между собою въ ожиданіи церковной службы.

— Эта медаль гдѣ получена?

— За Польшу!

— Что же какъ?

— Насчетъ чего?

— Какъ, напрямѣръ, бунтъ этотъ... ихній?

— Да чего жер Больше ничего, хотѣли своего царя!

— Ахъ, безсовѣстные, — сказалъ дьячекъ, качая головой. — А какъ народъ?

— Народъ, обнаковенно, ничего.

— Ничего?

— Ничего.

Тотъ же украшенный медалью и уволенный въ отставку Иванъ Ермолаевичъ повѣствуетъ о томъ, какъ «усмирялъ» онъ своего брата-крестьянина:

— Ну, пришли. Стали за селомъ. Бабы, дѣвки разбѣжались, — думали, какое безобразіе отъ солдатъ, насильство будетъ...

— Ишь вѣдь безтолочь! — замѣчаетъ дьячекъ.

— Разбѣжались всѣ, кто куда... — А мужики съ хлѣбомъ-солью къ намъ пришли, думали, мы имъ снизойдемъ! Хе-хе!

— То-то, дурье-то, и-и!

— Ужъ и правда, горе горькое! Я говорю одному: вы, говорю, ребята, оставьте ваши пустяки! Мы шутить не будемъ; намъ ежели прикажутъ, мы послушаться не можемъ, а вамъ будетъ отъ этого очень дурно... Противъ насъ, говорятъ, пуль не отпущено.

— Вотъ дубье-то, и-и!

— Говорятъ: не отпущено пуль... Я говорю: а вотъ увидите, ежели не покоритесь.

— Ну, и что же?

— Ну, обнаковенно — непокорство... И шапокъ не снимаютъ! Начальство дѣлаетъ команду: холостыми! Какъ холостыми-то мы тронули, никто ни съ мѣста! Заготовали всѣ какъ меренья! Го-го-го! Пуль вѣтъ... Нѣтъ? Нѣтъ. Ну-ко! Скомандовали намъ. Мы — ррразъ. Батюшки мои! Кто куда! Отцу родному и лихому татарину, и-и-и... А-а! Вотъ тебѣ и пуль вѣту.

— А-а... Не любишь?

— Вотъ-те пуль вѣту!

— Ха-ха-ха!.. То-то дураки-то! Нѣту пуль! И заберется же въ голову!

— Послѣ ужь схватились... да ужь!..

— Ужь это завсегда схватятся!

Скажите, за что стрѣлялъ этотъ Иванъ Ермолаевичъ въ другихъ Ивановъ Ермолаевичей, оставленныхъ при сохѣ и не зачисленныхъ ни въ какой пѣхотный полкъ? За что стрѣлялъ онъ въ поляковъ, виновныхъ, по его словамъ, лишь въ томъ, что они «хотѣли своего царя»? Думаетъ ли онъ, что желаніе имѣть своего царя есть тяжкое преступленіе? Думаетъ ли онъ? Но что мы говоримъ—*думаетъ!* Все дѣло здѣсь въ томъ, что, разставшись съ сохой, бороной, утками и коровами, Иванъ Ермолаевичъ совсѣмъ перестаетъ думать. Мы уже видѣли, что его кругозоръ ограничивается узкими предѣлами крестьянскаго хозяйства. Мы уже знаемъ, какъ смутны его представленія обо всемъ, что выходитъ изъ этихъ предѣловъ. Мы могли въ особенности замѣтить, что онъ очень плохой политикъ, что онъ «ничего не знаетъ о происхожденіи и значеніи начальства», и т. д. На французскомъ языкѣ есть интересная книга Мэнана «*Annalles des rois d'Assyrie*». Книга эта представляетъ переводъ подлинныхъ надписей ассирійскихъ царей на различныхъ ниневійскихъ памятникахъ. Ассирійскіе цари, по восточному обычаю, нестерпимо хвастаются своими побѣдами и одолженіями. Повѣствуя объ усмиреніи какого-нибудь внутренняго или вишняго врага, они весьма картинно описываютъ сдѣланное ими кровопролитіе и опустошеніе. «Я перебилъ ихъ великое множество,—воскликаетъ побѣдитель,— и трупы ихъ плыли по рѣкѣ, какъ бревна». Само собой понятно, что на самомъ-то дѣлѣ усмиренія производили не цари, а находившіяся въ ихъ распоряженіи войска, состоявшія изъ ассирійскихъ Ивановъ Ермолаевичей. Эти послѣдніе, навѣрное, находили, что истребляемые ими племена и народы были «ничего», и сами по себѣ рѣшительно ничего противъ нихъ не имѣли, но свирѣпствовали просто въ силу того, что они были плохіе политики. Ассирійскимъ Иванамъ Ермолаевичамъ давали въ руки лукъ и стрѣлы, кричали имъ «ну-ко!», и они «покоряли», не мудрствуя лукаво, и трупы покоряемыхъ «плыли по рѣкѣ, какъ бревна». «Вліяніями» земледѣльческаго труда объясняются почти всѣ особенности древней исторіи Востока.

VIII.

Остановимся еще на одной «особенности», которую заимствуемъ на этотъ разъ изъ очерка «*Мелочи путевыхъ воспоминаній*».

Возвращался Гл. Успенскій изъ своихъ плаваній по Каспійскому морю и, къ удивленію своему, чувствовалъ какую-то странную, необъяс-

нимую тоску. Съ пароходомъ, на которомъ онъ находился, поминутно встрѣчались лодки съ только что пойманной рыбой. Какая это рыба? — спросилъ онъ. «Теперича пошла вобла,—отвѣчали ему...—Теперича сплошь вобла все... Ишь вонъ ее сколько валить! Теперича она сплошь пошла». Это слово «*сплошь*» пролило неожиданный для автора свѣтъ на его душевное настроеніе:—«Да,—подумалъ онъ,—вотъ отчего мнѣ и тоскливо... Теперь пойдетъ «все сплошь». И сомъ сплошь претъ, цѣлыми тысячами, цѣлыми полчищами, такъ что его разогнать невозможно, и вобла тоже «сплошь идетъ», милліонами существъ «одна въ одну», и народъ пойдетъ тоже «одинъ въ одинъ» и до Архангельска, и отъ Архангельска до «Адесты», и отъ «Адесты» до Камчатки, и отъ Камчатки до Владикавказа и дальше, до персидской, до турецкой границы... До Камчатки, до Адесты, до Петербурга, до Ленкорана,—все теперь пойдетъ сплошное, одинаковое, точно чеканенное: и поля, и колосья, и земля, и небо, и мужики, и бабы, все одно въ одно, одинъ въ одинъ, съ одними сплошными красками, мыслями, костюмами, съ одними пѣснями... Все сплошное,—и сплошная природа, и сплошной обыватель, сплошная нравственность, сплошная правда, сплошная поэзія, словомъ—однородное стомилліонное племя, живущее какой-то сплошной жизнью, какой-то коллективной мыслью и только въ сплошномъ видѣ доступное пониманію. Отдѣлить изъ этой милліонной массы единицу, положимъ, хотъ нашего деревенскаго старосту Семена Никитича и попробовать понять его — дѣло невозможное... Семена Никитича можно понимать только въ кучѣ другихъ Семеновъ Никитичей. Вобла сама по себѣ стоитъ грошъ, а милліонъ воблы—капиталь, а милліонъ Семеновъ Никитичей составляетъ тоже полное интереса существо, организмъ, а одинъ онъ, съ своими мыслями, непостижимъ и неизучимъ... Сейчасъ вотъ онъ сказалъ пословицу: кто чѣмъ не торгуешь, тотъ тѣмъ и не воруетъ. Что же, это онъ самъ выдумалъ? Нѣтъ, это выдумалъ океанъ людской, въ которомъ онъ живетъ, точь въ точь, какъ Каспійское море выдумало воблу, а Черное—камбалу. Самъ Семень Никитичъ не запомнитъ за собой никакой выдумки. «Мы этимъ не занимаемся,—нѣшто мы учены»,—говоритъ онъ, когда спросишь его о чемъ-нибудь самого. Но опять-таки этотъ Семень Никитичъ, исполненный всевозможной чепухи по части личнаго мнѣнія, дѣлается необыкновенно умнымъ, какъ только начнетъ предъявлять мнѣнія пословицы, цѣлыя нравоучительныя повѣсти, созданныя невѣдомо кѣмъ, океаномъ Семеновъ Никитичей, сплошнымъ умомъ милліоновъ. Тутъ и были, и поэзія, и юморъ, и умъ... Да, жутковато и страшно жить въ этомъ людскомъ океанѣ... Милліоны живутъ, «какъ прочіе», причемъ каждый отдѣльно изъ этихъ прочихъ чувствуетъ и сознаетъ, что «во всѣхъ смыслахъ» цѣна ему грошъ, какъ воблѣ, и что онъ что-нибудь значить только въ кучѣ; «жутковато было сознавать это»...

Тутъ опять есть неточности. Въ Россіи нѣтъ «однороднаго стомил-

ліоннаго племена». И, однако, все это, взятое въ надлежащихъ пропорціяхъ, неоспоримо, совершенно, поразительно вѣрно. Русскій народъ, дѣйствительно, живетъ «сплошной» жизнью, созданной не чѣмъ инымъ, какъ «условіями земледѣльческаго труда». Но «сплошной бытъ» не есть еще человѣческій бытъ въ настоящемъ смыслѣ слова этого. Онъ характеризуетъ собою ребяческій возрастъ человѣчества; черезъ него должны были пройти всѣ народы, съ тою только разницею, что счастливое стеченіе обстоятельствъ помогло нѣкоторымъ изъ нихъ отдѣлаться отъ него. И только тѣ народы, которымъ это удавалось, становились дѣйствительно цивилизованными народами. Тамъ, гдѣ нѣтъ внутренней выработки личности, тамъ, гдѣ умъ и нравственность еще не утратили своего «сплошного» характера,—тамъ, собственно говоря, нѣтъ еще ни ума, ни нравственности, ни науки, ни искусства, ни сколько-нибудь сознательной общественной жизни. Мысль человѣка спитъ тамъ глубокимъ сномъ, а вмѣсто нея работаетъ объективная логика фактовъ и самую природою навязанныхъ человѣку отношеній производства, земледѣльческаго или иного труда. Эта безсознательная логика создаетъ часто чрезвычайно «стройныя» общественныя организаціи. Но не обольщайтесь ихъ стройностью, и въ особенности не относите ея на счетъ *людей*, которые совершенно въ ней неповинны. За это ручается самъ Гл. Успенскій. Въ очеркѣ «Не своей волей» онъ заставляетъ нѣкоего Пигасова высказывать по этому поводу очень умныя мысли, къ сожалѣнію, перепутанныя по временамъ съ довольно странными разсужденіями относительно Запада. «Мнѣ кажется,—разсуждаетъ Пигасовъ (который, мимоходомъ сказать, посылаетъ по адресу теоріи Успенскаго одно весьма мѣткое критическое замѣчаніе),—что нашъ крестьянинъ, нашъ народъ живетъ безъ собственной воли, безъ собственной мысли, живетъ только подчиняясь волѣ своего труда... Онъ только выполняетъ тѣ обязанности, которыя на него налагаютъ этотъ трудъ. А такъ какъ этотъ трудъ весь въ зависимости отъ гармоническихъ законовъ природы, то и жизнь его гармонична и полна, но безъ всякаго съ его стороны усилія, безъ всякой *своей* мысли»... «Если вы поймаете галку и разсмотрите всю ея организацію, то вы поразитесь, какъ она удивительно умно устроена, какъ много ума положено въ ея организацію, какъ все соразмѣрно, пригнано одно къ одному, нѣтъ нигдѣ ни лишняго пера, ни угла, ни линія ненужной, негармоничной и не строго обдуманной»... «Но чей тутъ дѣйствовалъ умъ? Чья воля? Неужели вы все это припишете галкѣ? Вѣдь тогда любая галка—геніальнѣйшее существо, необъятный умъ?»... «Хвалиться нашей общиной, артелью—то же, что приписывать самому себѣ и своему уму геніальное устройство собственнаго тѣла своего, своей нервной и кровеносной системы,—то же, что приписывать галкѣ блестящій успѣхъ въ умственномъ развитіи, такъ какъ она удивительно сумѣла устроить самое себя и не только летаетъ

куда и когда ей угодно, но даже знаетъ, что за пять зерсть отсюда мужикъ просыпаль овесъ и что ей слѣдуетъ туда отпра- виться»...

Знаетъ ли Гл. Успенскій, что все сказанное имъ относительно сплош- ного быта представляетъ собою блестящую художественную иллюстрацію къ сочиненію одного нѣмецкаго философа, котораго нашъ образованный разночинецъ давно уже объявилъ отсталымъ метафизикомъ? Мы гово- римъ о Гегелѣ. Раскройте его «Философію исторіи» и прочтите тамъ относящіяся къ Востоку страницы. Вы увидите, что Гегель говоритъ о «сплошномъ бытѣ» восточныхъ народовъ совершенно то же, что гово- рить Успенскій о бытѣ русскаго народа. По мнѣнію Гегеля, «сплошная мысль», «сплошная нравственность» и вообще сплошная жизнь состав- ляютъ характерную особенность Востока вообще и Китая въ особенно- сти. Конечно, Гегель употребляетъ другую терминологию. По его словамъ, на Востокѣ отсутствуетъ принципъ индивидуальности, поэтому и нрав- ственность и умъ являются для индивидуума чѣмъ-то вѣшнимъ, вырос- шимъ и существующимъ помимо его содѣйствія: «Weil der Geist die Innerlichkeit noch nicht erlangt hat, so zeigt er sich überhaupt nur als nat- ürliche Geistigkeit». Въ Китаѣ, какъ въ Россіи (т. е. какъ она предста- вляется нашимъ народикамъ), нѣтъ ни классовъ, ни классовой борьбы. Китайъ есть страна абсолютнаго равенства, и всѣ различія, какія мы тамъ находимъ, обязаны своимъ существованіемъ механизму государственнаго управленія. Одно лицо можетъ быть выше другого лишь потому, что оно занимаетъ высшую ступень въ этомъ механизмѣ.

«Такъ какъ въ Китаѣ царствуетъ равенство, то въ немъ нѣтъ ника- кой свободы,—замѣчаетъ Гегель,—и деспотизмъ является тамъ необходи- мой правительственной формой... Китайское правительство не признаетъ правомѣрности частныхъ интересовъ, и все управленіе страной сосредо- точено въ рукахъ императора, который распоряжается черезъ посредство цѣлой арміи чиновниковъ или мандариновъ»... Благодаря отсутствію вся- кой выработки личности, въ народѣ совсѣмъ не развито чувство собствен- наго достоинства. «Онъ думаетъ, что существуетъ только за тѣмъ, чтобы везти на себѣ колесницу императорскаго величества. Бремя, пригибаю- щее его къ землѣ, онъ считаетъ своей неизбѣжной судьбой»... Тотъ же Гегель прекрасно понимаетъ, что исторія Китая есть по преимуществу исторія земледѣльческой страны.

Сходство съ Китаемъ, конечно, не можетъ льстить національному са- молюбію и, повидимому, не сулитъ блестящей будущности русскому про- грессу. Къ счастью, самъ Гл. Успенскій говоритъ намъ, что нашему «сплошному» быту уже недолго «жить на свѣтѣ». Ниже мы увидимъ, какимъ путемъ исторія ведетъ насъ къ совершенно инымъ, европейскимъ формамъ быта.

IX.

Теперь мы достаточно знаем, какимъ характеромъ обладаетъ наше земледѣльческое населеніе, пока оно дѣйствительно остается земледѣльскимъ. Народники-беллетристы считаютъ изображеніе этого характера главной своей задачей, и мы уже видѣли, какъ отразились на ихъ произведеніяхъ свойства той среды, къ которой принадлежать они сами. Но характеръ изображаемой среды, въ свою очередь, не можетъ остаться безъ вліянія на характеръ художественныхъ произведеній. Посмотримъ поэтому, какъ отразился характеръ крестьянской массы на характеръ нашей народнической беллетристики. Если бы мы не боялись обвиненія въ парадоксальности, то мы формулировали бы этотъ вопросъ иначе: мы спросили бы себя—въ какомъ смыслѣ современныя русскія «условія земледѣльческаго труда» повліяли на характеръ художественнаго творчества народниковъ-беллетристовъ? Намъ кажется, что разсужденія Гл. Успенскаго о «сплошномъ бытѣ нашего крестьянства» даютъ совершенно опредѣленный отвѣтъ на этотъ, повидимому, странный вопросъ. Въ самомъ дѣлѣ, много ли простора для размаха художественной кисти даетъ та среда, которая представляетъ собой «людокое океанъ», гдѣ миллионы живутъ, *какъ прочіе*, причемъ каждый отдѣльно изъ этихъ прочихъ чувствуетъ и сознаетъ, что «цѣна ему во всѣхъ смыслахъ грошъ, какъ вобль, и что онъ что-нибудь значить только въ кучѣ»?

Самъ Гл. Успенскій говоритъ, что «отдѣлить изъ этой миллионной массы единицы и попробовать понять ее—дѣло невозможное» и что «старосту Семена Никитича можно понимать только въ кучѣ другихъ Семеновъ Никитичей». А это далеко неблагоприятный трудъ для художника. Самъ Шекспиръ въ затрудненіи остановился бы передъ крестьянской массой, въ которой «и мужики и бабы, одна въ одну, одинъ въ одинъ съ одними сплошными мыслями, костюмами, съ одними сплошными пѣснями» и т. д. Художественному изображенію хорошо поддается только та среда, въ которой личность человѣческая достигла уже извѣстной степени выработки. Торжествомъ художественнаго творчества является изображеніе личностей, принимающихъ участіе въ великомъ прогрессивномъ движеніи человѣчества, служащихъ носительницами великихъ міровыхъ идей. Но само собой разумѣется, что подобной личностью не можетъ быть «староста Семень Никитичъ», для котораго вся окружающая его обстановка служить выраженіемъ не его собственной, а какой-то посторонней, совершенно чуждой ему мысли и воли. Мы видимъ, такимъ образомъ, что преобладающій общественный интересъ настоящаго времени привелъ нашихъ народниковъ-беллетристовъ къ изображенію крестьянской жизни, но характеръ этой жизни долженъ былъ невыгодно отразиться на характерѣ ихъ художественнаго творчества.

Объ этомъ можно было бы пожалѣть, но съ этимъ слѣдовало бы помириться, если бы названные писатели дѣйствительно разрѣшили, наконецъ, вопросъ о томъ—что могутъ и что должны дѣлать для народа русскіе интеллигентные люди, безкорыстно любящіе свою родину?

Посмотримъ, удалось ли Гл. Успенскому разрѣшить этотъ вопросъ? Заканчивая одинъ изъ цитированныхъ выше очерковъ, нашъ авторъ говоритъ: «Изъ всего сказаннаго можно видѣть, что народное дѣло можетъ и должно принять совершенно опредѣленные и реальныя формы и что работниковъ для него надо великое множество».

Тѣмъ лучше: значить, никто изъ насъ не останется безъ дѣла!

Но какія же, однако, это формы?

Можетъ быть, наша интеллигенція должна попытаться уговорить Ивана Ермолаевича не выходить изъ общины? Можетъ быть, она должна привить «новые взгляды на значеніе дружнаго артельного труда на общую пользу»? Но горькій опытъ уже убѣдилъ нашего автора въ томъ, что подобныя разговоры ни къ чему практически-нужному не приводятъ и способны лишь вызывать въ слушателяхъ «ужаснѣйшую зѣвоту». Мы не думаемъ, что другіе «интеллигентные работники» будутъ въ этомъ случаѣ счастливѣе Гл. Успенскаго. Причина неуспѣха глубоко коренится «въ условіяхъ земледѣльческаго труда», противъ которыхъ ничего не подѣлаешь словами, или, какъ выражается нашъ авторъ, «разглагольствованіями». Вдумайтесь, напр., въ слѣдующій разговоръ «новаго человѣка» съ Иваномъ Ермолаевичемъ:

— Скажите, пожалуйста, неужели нельзя исполнять вообще такихъ работъ, которыя не подъ силу въ одиночку? Вѣдь вотъ солдатъ, вашъ работникъ и другіе—каждый изъ нихъ мучается, выбивается изъ силъ, вретъ и обманывается, и, въ концѣ концовъ, нищенствуютъ всё... Но, соединивъ свои силы, своихъ лошадей, работниковъ и т. д., они были бы сильнѣй самой сильной семьи? Вѣдь тогда не за тѣмъ отдавать малолѣтнихъ дѣтей въ работу и т. д.

— То есть, это сообща работать?

— Да.

Иванъ Ермолаевичъ подумалъ и отвѣтилъ:

— Нѣтъ! Этого не выйдетъ.

Еще подумалъ и опять сказалъ:

— Нѣтъ! Куда! Какъ можно. Тутъ десять человѣкъ не поднимутъ одного бревна, а одинъ-то я его какъ перо снесу, ежели мнѣ потребуется... Нѣтъ, какъ можно! Тутъ одинъ скажетъ: «бросай, ребята, пойдемъ обѣдать»? А я хочу работать! Теперь какъ же будетъ?—онъ уйдетъ, а я за него работай. Да нѣтъ—невозможно этого!.. Это все равно, вотъ ежелибъ одно письмо для всей деревни писать».

*

Подобные же отвѣты слышать авторъ и отъ другихъ крестьянъ, котрымъ ояъ пытается доказать выгоды общинной обработки земли. Крестьянинъ Иванъ Босихъ, въ очеркѣ «Власть земли», съ энергіей и горячностью, «сверкая глазами», доказываетъ, что хорошій хозяинъ никогда «не довѣритъ своей лошади «чужому», и приводитъ множество другихъ, совершенно непредвидѣнныхъ «новымъ человѣкомъ» возраженій. Оказывается, что землю нужно удобрить, а между тѣмъ навозъ на различныхъ крестьянскихъ дворахъ далеко не одинаковъ. «Теперь я везу наземъ конинный, а другой какой-нибудь плетется съ коровьимъ,—какое же тутъ можетъ быть равновѣсіе?.. Нѣтъ, не выйдетъ этого... Да, нѣтъ! нѣтъ! Это и думать даже... Помилуйте, лошадь... да какъ же можно, чтобъ я, хозяинъ, довѣрилъ кому-нибудь? Навозятъ мнѣ на пашню невѣдомо чего... Нѣтъ, не выйдетъ!.. Тутъ съ однимъ наземомъ грѣха наживешь... Или взять такъ: я привезъ конинный (навозъ), а сосѣдъ куринный... ну, возможно ли ему дать согласіе?.. Вѣдь, куринный, птичій, все одно червонецъ... за что же ояъ долженъ? Да, нѣтъ, нѣтъ! Тутъ никакихъ способовъ нѣтъ. Какъ можно! Какой же я буду хозяинъ?»

«Милліоны самыхъ тончайшихъ хозяйственныхъ ничтожностей,—прибавляетъ Гл. Успенскій,—ни для кого, какъ мнѣ казалось, не имѣвшихъ рѣшительно ни малѣйшаго значенія, не оставявшихъ, какъ мнѣ казалось, даже возможности допустить къ себѣ какое-либо вниманіе, вдругъ выросли неодолимою преградой на пути ко всеобщему благополучію. Горячность, даже азартъ, какой овладѣлъ Иваномъ во время этого монолога, доказывали, что эти ничтожности задѣвали его за живое, т. е. за самое чувствительное мѣсто его личныхъ интересовъ».

На подобное же, совершенно отрицательное отношеніе крестьянъ къ общинной обработкѣ указываетъ и г. Энгельгардтъ въ своихъ «*Письмахъ изъ деревни*» ¹⁾. Мы вполне понимаемъ такое отношеніе. При общинномъ владѣніи землей въ нашей деревнѣ существуетъ частная или подворная собственность на движимость. Отсюда—неравенство въ хозяйственныхъ силахъ различныхъ дворовъ и полная невозможность такого соглашенія

¹⁾ Вотъ какъ описываетъ г. Энгельгардтъ крестьянскую работу „сообща“. „Пахать облогу (т. е. дугъ) нужно всѣмъ вмѣстѣ. Сговорились начать тогда-то. Выѣзжаютъ утромъ. Шестеро уже пріѣхали, а двоихъ нѣтъ: проспалъ, выпивши вчера былъ, сбруя разладилась. Пріѣхавшіе стоять на десятинахъ, поджидаютъ опоздавшихъ, лошадямъ сѣнца подкинули, трубочки покуриваютъ, ругаются. Но вотъ пріѣхали и остальные—кому впередъ ѣхать? Споръ. Наконецъ установили очередь. Пашутъ. У одного соха разладилась—всеъ стоятъ. Наладилъ, пошли; у одного лошадь и сбруя лучше, другой самъ плохъ; неудовольствіе. Кабы я отдѣльно пахалъ, то выѣхалъ бы до свѣту, а то въ деревнѣ жди пока встанутъ. Здѣсь жди на пашнѣ. Я на своихъ лошадяхъ давно бы вспахалъ, а тутъ жди—ну его, этотъ лень, говоритъ другой“, и т. д. („Письма изъ деревни“. С.-Петербургъ, 1885, стр. 205—206).

всѣхъ частныхъ интересовъ, которое позволило бы взяться за «дружный артельный трудъ на общую пользу». А противъ этого, дѣйствительно, безсилны всякія «разглагольствованія». Но, съ другой стороны, какъ же быть съ общиной? Вѣдь самъ Гл. Успенскій замѣтилъ въ ея организаціи такія «несовершенства», которыя ведутъ къ тому, что въ самыхъ богатыхъ мѣстностяхъ, при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ появляются «лондонская тѣснота» и «самая поразительная бѣдность». А много ли у насъ общинъ, поставленныхъ въ благопріятныя условія? Если «лондонская тѣснота» можетъ дать себя почувствовать даже и въ богатыхъ общинахъ, то что же происходитъ въ общинахъ бѣдныхъ или хотя бы просто небогатыхъ? Обратите вниманіе на положеніе Ивана Ермолаевича. Онъ, хорошій, «обстоятельный», хозяйственный мужикъ, «ропщеть» и даже хочетъ выходить изъ общины именно потому, что она мѣшаетъ ему жить сообразно его хозяйственнымъ идеаламъ. Рядомъ съ нимъ, обстоятельнымъ крестьяниномъ, въ общинѣ народились и два новыхъ слоя: богачи и бѣдность, или, какъ выражается Успенскій, третье и четвертое сословія. «Стройность сельско-хозяйственныхъ земледѣльческихъ идеаловъ беспощадно разрушается такъ называемой цивилизаціей». Ея вліяніе «отражается на простодушномъ поселянинѣ рѣшительно при самомъ ничтожномъ прикосновеніи. Буквально прикосновеніе, одно только легкое касаніе,—и тысячелѣтнія идеальныя постройки превращаются въ щепки». Гл. Успенскій думаетъ, что если дѣло пойдетъ такъ, какъ оно идетъ теперь, то «черезъ десять лѣтъ — много-много — Ивану Ермолаевичу нельзя будетъ жить на свѣтѣ». Гдѣ же выходъ изъ этого безнадежнаго положенія?

Въ прежнее время нѣкоторые наши народники полагали, что выходъ найти очень нетрудно: нужно было сдѣлать общественную реформу, которая въ корнѣ задавила бы зародыши третьяго и четвертаго сословія, такъ что Ивану Ермолаевичу осталось бы только жить, поживать да добра наживать. Опытъ показалъ, что легко говорить о такой реформѣ, но невозможно ее сдѣлать. Иванъ Ермолаевичъ чуждъ всякихъ реформаторскихъ стремленій. Онъ—консерваторъ и по мыслямъ и по положенію. Онъ думаетъ, что надо жить, какъ жили дѣды и отцы, и что задумываться о перемѣнахъ могутъ только самые пустые и вздорные люди. Гл. Успенскій никогда не думалъ «бунтовать» крестьянъ. Онъ пытался иногда лишь поколебать основы нѣкоторыхъ «интеллектуальныхъ несовершенствъ» деревенскихъ порядковъ. А между тѣмъ и онъ роковымъ образомъ пришелъ къ безотрадному выводу: «не суйся». Гл. Успенскій увидѣлъ, что въ отвѣтъ на всѣ его доводы «Иванъ Ермолаевичъ» можетъ сказать только одно: безъ этого нельзя. Но это *только* имѣетъ за себя вѣковѣчность и прочность самой природы. Но кроткимъ отвѣтомъ колебателя основъ Иванъ Ермолаевичъ можетъ ограничиться единственно только по своей

добротѣ; ежели же онъ человѣкъ не съ слишкомъ мягкимъ сердцемъ, то отвѣтъ его колебателью той или другой изъ основъ долженъ непремѣнно выразиться въ представленіи этого самаго колебателя «къ начальству».

Итакъ, ввести коллективную обработку полей невозможно; натолкнуть Ивана Ермолаевича на мысль о реформѣ немислимо; мало того, даже пытаться измѣнить что-либо въ его обиходѣ—значить являть изъ себя легкомысленнаго «колебателя основъ», котораго Иванъ Ермолаевичъ долженъ «представить къ начальству». Вотъ къ какимъ выводамъ приводитъ народника «удивительная стройность» народного міросозерцанія! Что же дѣлать? Обучать грамотѣ народъ? Но самъ Иванъ Ермолаевичъ плохо понимаетъ пользу грамоты, пока остается въ сферѣ своихъ земледѣльческихъ идеаловъ. Находясь подъ вліяніемъ этихъ идеаловъ, самъ авторъ никакъ не могъ понять, зачѣмъ нужно было бы учить грамотѣ сына Ивана Ермолаевича—Мишутку. «И, главное, рѣшительно не могъ представить себѣ того, чему бы именно нужно было его учить. Поэтому, въ разговорахъ объ ученіи, мы съ Иваномъ Ермолаевичемъ только твердили одно: надо... Надо, надо, а сущность и цѣли Ивану Ермолаевичу неизвѣстны, непонятны, а я ужъ лѣвлюсь разъяснить ихъ, да и призабылъ, чѣмъ именно это *надо* слѣдуетъ оправдать?»

Иванъ Ермолаевичъ все-таки отдаетъ сына въ ученье, но поступаетъ такъ единственно потому, что смутно чувствуетъ приближеніе новыхъ экономическихъ порядковъ. «Ему начинаетъ казаться, что гдѣ-то въ отдаленіи что-то зарождается недоброе, трудное, съ чѣмъ надо справляться умѣючи...» И въ такія-то минуты онъ говоритъ: «Нѣтъ, надо Мишутку обучить грамотѣ—надо!» Выходить, стало быть, что пока народный бытъ хоть немного соотвѣтствуетъ народническому «идеаламъ», до тѣхъ поръ въ грамотѣ не видится и надобности, а когда сознается польза ученія, тогда старые народные «устои» оказываются близкими къ разрушенію, въ деревнѣ является четвертое сословіе, и хозяйственному мужику, Ивану Ермолаевичу, остается «много-много десять лѣтъ жить на свѣтѣ». Какая злая насмѣшка исторіи! И до какой степени правъ нашъ авторъ, когда, подводя итогъ всѣмъ противорѣчіямъ положенія интеллигентнаго человѣка въ деревнѣ, онъ восклицаетъ: «И выходитъ, поэтому, для всякаго, что-нибудь думающаго о народѣ (т. е. думающаго о немъ съ народнической точки зрѣнія) человѣка, задача постигнѣ неразрѣшимая: цивилизація (т. е. капитализмъ) идетъ, а ты, наблюдатель русской жизни, мало того, что не можешь остановить этого шествія, но еще, какъ увѣряютъ, тебя и какъ доказываетъ самъ Иванъ Ермолаевичъ, не долженъ, не имѣешь ни права ни резона соваться, въ виду того, что идеалы земледѣльческіе прекрасны и совершенны. Итакъ—остановить шествія *не можешь*, и соваться *не долженъ!*» Народничество, какъ литературное теченіе, стремящееся къ изслѣдованію и правильному истолкованію народной жизни—совсѣмъ не

то, что народничество, какъ социальное ученіе, указывающее путь «ко всеобщему благополучію». Первое не только совершенно отлично отъ другого, но оно можетъ, какъ мы видимъ, придти къ прямому противорѣчію съ нимъ.

Самый наблюдательный, самый умный, самый талантливый изъ воѣхъ народниковъ-беллетристовъ, Гл. Успенскій, взявшись указать намъ «совершенно опредѣленные», «реальныя формы народнаго дѣла», совсѣмъ, незамѣтно для самого себя, пришелъ въ тому, что подписалъ смертный приговоръ народничеству и всѣмъ «программамъ» и планамъ практической дѣятельности, хоть отчасти съ нимъ связаннымъ. Но если это такъ, то мы рѣшительно не можемъ понять, какимъ образомъ постигнутая имъ «стройность» крестьянской жизни могла имѣть такое успокоительное вліяніе на него. Теоретическая ясность его взгляда на народъ была куплена цѣною безотраднато практическаго вывода: «не суйся!»

Но въ стремленіи рѣшить вопросъ «что дѣлать?» и заключался весь смыслъ существованія народническаго ученія. Несостоятельность по отношенію къ этому вопросу означаетъ полное его банкротство, и мы можемъ сказать, что *художественныя достоинства произведеній нашихъ народниковъ-беллетристовъ принесены были въ жертву ложному общественному ученію*. Весною 1886 г. въ «Историческомъ Вѣстникѣ» было напечатано письмо покойнаго редактора «Руси», Аксакова, писанное имъ за нѣсколько лѣтъ до смерти одному изъ своихъ молодыхъ друзей. Въ этомъ письмѣ послѣдній изъ могиканъ славянофильскаго ученія дѣлаетъ строгую оцѣнку народничества. Онъ смѣется надъ проектами Гл. Успенскаго относительно артельной обработки полей и земледѣльческихъ ассоціацій, видя въ нихъ несбыточную утопію. По его мнѣнію, народничество есть не болѣе, какъ искаженное, непослѣдовательное славянофильство. Онъ утверждаетъ, что народники присвоили себѣ всѣ основы славянофильства, отбросивъ всѣ вытекающіе изъ нихъ выводы. Но онъ думаетъ, что рано или поздно жизнь научитъ ихъ уму-разуму.

Мы видимъ теперь, что такому же точно аксаковскому уму-разуму могли бы научить и сочиненія Гл. Успенскаго: девизъ старой официальной народности—вотъ тотъ девизъ, котораго должны были бы держаться всѣ, восхищающіеся «стройностью» міросозерцанія Ивана Ермолаевича.

Мы говоримъ «могли бы» и «должны были бы» потому, что въ дѣйствительности нашъ разночинецъ никогда не въ состояніи будетъ заслужить одобреніе послѣдователя «Руси». Онъ слишкомъ образованъ для того, чтобы искренно усвоить себѣ этотъ девизъ. Нашъ разночинецъ, придя въ сердечное умиленіе, можетъ воскликнуть: «Народъ—это тотъ человекъ, который по изгнаніи изъ рая (?) непокорнаго собрата предпочелъ остаться тамъ, сказавъ себѣ: ладно и такъ»,—какъ восклицаетъ Пигасовъ у

Гл. Успенскаго; но тѣмъ не менѣе онъ прекрасно понимаетъ, что на самомъ дѣлѣ народную жизнь скорѣе можно сравнить съ *адамъ*. Чувствуетъ онъ, что и его собственное положеніе также совершенно невыносимо, а потому у него и не можетъ быть мира съ существующей дѣйствительностью. Онъ можетъ въ изнеможеніи опустить руки, какъ опускаютъ ихъ народники, можетъ *подчиниться* силѣ, но никогда искренно не примирится онъ съ существующимъ зломъ. Онъ всегда будетъ стремиться къ переустройству дѣйствительности. Но пока онъ будетъ искать себѣ поддержки только между Иванами Ермолаевичами, до тѣхъ поръ у него не будетъ *никакой поддержки*.

Идеализированный имъ «народъ» (т. е. «хозяйственный» крестьянинъ) останется глухъ къ его призывамъ. Вотъ почему, продолжая держаться народнической точки зрѣнія, онъ всегда будетъ находиться въ самомъ ложномъ и противорѣчивомъ положеніи. Онъ будетъ сочинять нескладныя общественныя теоріи, открывать давно уже открытыя Америки, не имѣя дѣйствительной связи съ жизнью, не чувствуя никакой прочной почвы подъ ногами. Задача плодотворной общественной дѣятельности останется для него неразрѣшимой задачей.

Унылое настроеніе, давно уже замѣтное въ средѣ нашихъ народниковъ и въ нашей народнической литературѣ, какъ нельзя лучше подтверждаетъ сказанное. У нашихъ «новыхъ людей» выработался даже особый языкъ, прекрасно характеризующій всю безнадежность ихъ положенія. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ они вели со славянофилами ожесточенные споры о томъ, какъ слѣдуетъ *плакать*: «съ народомъ», или «о народѣ». И дѣйствительно, имъ не остается ничего болѣе, какъ *плакать*,—плакать о нашествіи на насъ «цивилизациі» и о томъ, что Ивану Ермолаевичу остается «много-много десять лѣтъ» жизни; наконецъ, горше и больше всего имъ приходится оплакивать свое собственное безнадежное положеніе. Мы уже видѣли: крестьянская Азія упорно, съ энергіей, со страстью, «сверкая глазами», отрицаетъ «интеллигентную» Европу.

Прочна суровая среда,
Гдѣ поколѣнія людей
Живутъ и гибнутъ безъ слѣда
И безъ урока для дѣтей!

X.

Впрочемъ, что же мы говоримъ о безвыходномъ положеніи нашего народника! Выходы есть, ихъ указываютъ сами народническіе писатели. По нѣкоторымъ сочиненіямъ г. Златовратскаго можно думать, что онъ видитъ этотъ выходъ въ извѣстной теоріи графа Л. Толстого. Оно, конечно, почему бы нашимъ народникамъ и не усвоить это ученіе? Но страннымъ и неожиданнымъ образомъ оно приводитъ къ тому выводу,

что «мужику земли нужно ровно три аршина, чтобы было гдѣ его похоронить», а такой выходъ есть прямое отрицаніе народничества. Гл. Успенскій видитъ выходъ въ святой и безмятежной жизни «трудами рукъ своихъ». Въ «Дворянскомъ гнѣздѣ» Лаврецкій говоритъ Паншину, что будетъ «пахать землю и стараться какъ можно лучше ее вспахать». То же самое совѣтуетъ Гл. Успенскій и нашимъ «новымъ людямъ». Но выходъ ли это, и если—выходъ, то для кого? Во всякомъ случаѣ не для «народа», который и теперь пахнетъ землю и старается какъ можно лучше ее вспахать, насколько позволяютъ, конечно, его первобытныя земледѣльческія орудія. Черезъ этотъ узкій выходъ ни въ какомъ случаѣ не пройдетъ къ своему освобожденію русскій крестьянинъ. Черезъ него могутъ протискаться развѣ только нѣсколько человекъ изъ «скужающей публики», да и тѣ навѣрное не пришли бы черезъ него ни къ какой свободѣ, если бы даже и не были немедленно изловлены и водворены на прежнее мѣсто жительства. А при современныхъ порядкахъ дѣло легко можетъ принять этотъ послѣдній оборотъ. Цитированныя уже «Письма изъ деревни» г. Энгельгардта способны разочаровать на этотъ счетъ самаго крайняго оптимиста.

Показанія г. Энгельгардта заслуживаютъ въ данномъ случаѣ большого вниманія. Онъ убѣжденъ, что если бы наша интеллигенція рѣшилась, наконецъ, «пойти на землю», то мы «скоро достигли бы такихъ результатовъ, которые удивили бы міръ»; поэтому онъ настойчиво зоветъ интеллигенцію въ деревню. «И чего метаться!—воскликаетъ онъ.—Идите на землю, къ мужику! Мужику нуженъ интеллигентъ... Россія нужны деревни изъ интеллигентныхъ людей. Тѣ интеллигенты, которые пойдутъ на землю, найдутъ въ ней себѣ счастье, спокойствіе! Тяжелъ трудъ земледѣльца, но легокъ хлѣбъ, добытый своими руками. Такой хлѣбъ не ставитъ поперекъ горла. Съ легкимъ сердцемъ будетъ его ѣсть каждый. А это ли не счастье!

Когда некрасовскіе мужики, отыскивающіе на Руси счастливецъ, набредутъ на интеллигента, сидящаго на землѣ, на интеллигентную деревню, то тутъ-то вотъ они и услышатъ: мы счастливы, намъ хорошо жить на Русѣ» (стр. 482, «Письма изъ деревни»). Таковъ идеалъ. Посмотримъ, какова дѣйствительность.

Мы уже напоминали о томъ, что въ современной русской дѣйствительности существуютъ не только «интеллигенты», стремящіеся «сѣсть на землю», но также и различные чины, относящіеся къ этому стремленію весьма неодобрительно. И плохо же приходится бѣдному «интеллигенту» стѣ этихъ чиновъ! «Сидящій на землѣ» и, повидимому, «счастливый» г. Энгельгардтъ «никакъ не могъ привыкнуть къ колокольчикамъ, особенно вечеромъ, когда нельзя разсмотрѣть, кто ѣдетъ. Какъ слышу колокольчикъ,—признается онъ,—нервная дрожь, сердцебіеніе дѣлается и

безпокойство какое-то. Только водкой и спасался. Сейчас хлопъ рюмку. Проѣхали. Ну, слава Богу, отлегло отъ сердца.

«Если же на дворъ завернули, хватаю бутылку и прямо изъ горлышка... Такъ становой меня иначе, какъ выпивши, и не видалъ... Навъжалъ какъ-то начальникъ утромъ... Разумѣется, я, какъ слышалъ колокольчикъ, хватилъ.

«Взглянулъ въ окно, вижу начальническія лошади—еще хватилъ.

«Повеселѣлъ. Думалъ, за сборомъ. Нѣтъ. Такъ, пустыя бумаженки. Сидить, разговариваетъ, смотреть какъ-то странно, спрашиваетъ—кто у меня бываетъ? Насчетъ постороннихъ лицъ, что хозяйству приѣзжаютъ учиться, справляется. Узнаю потомъ, что и въ деревнѣ какой-то былъ, спрашивалъ и все больше у бабъ: кто у меня бываетъ, что дѣлаютъ? Какъ я живу? Какого я поведѣнія? т. е. какъ вы насчетъ женскаго пола? пояснили мнѣ мужики. Черезъ нѣсколько дней опять начальникъ изъ низшихъ, изъ новыхъ заѣхалъ. Попъ завернулъ. Вижу, какъ-то странно себя держитъ, говоритъ обиняками, намеками, точно оправдывается въ чемъ. Стало меня мнѣніе брать, а это ужъ послѣднее дѣло. Мужики говорятъ, что даже наносныя болѣзни больше отъ мнѣнія пристають. Сталъ я больше и больше пить. Слышу я между мужиками толки, подстраиваютъ ихъ, говорятъ: будете вы съ бариномъ въ отвѣтъ. Что у него тамъ дѣлается, какіе къ нему люди навъжаютъ? Виданное ли дѣло, чтобы баре сами работали ¹⁾).

«Или ужъ очень мнѣніе меня одолѣло, только замѣчаю: отдаешь деньги мужику, ужъ вертитъ бумажку, вертитъ, рассматриваетъ. Эге, думаю—подозрѣваютъ, не дѣлаются ли у меня фальшивыя бумаги. Весною еще чаще стали навъжать начальники: билеты у всѣхъ спрашиваютъ, прописываютъ, рассматриваютъ, приѣзжихъ осматриваютъ, примѣты ихъ списываютъ: приказано всѣхъ въ лицо знать, говорятъ... Сталъ я сильно пить, безъ перемежки... Заболѣлъ, ходить не могъ... Пойдешь въ поле, нѣтъ силы идти... Вернешься домой, возьмешь газетичу, еще болѣе раздражаешься. Буквы сливаются въ какой-то туманъ. И вдругъ съвозъ туманъ лѣзетъ лицо начальника въ кепкѣ» (стр. 417, 418, 419). Такъ вотъ какое счастье сулитъ г. Энгельгардтъ русской интеллигенціи!

Такимъ счастьемъ «удивить міръ» нетрудно, но немногіе удовольствуются имъ.

Да и что выиграло бы «народное дѣло» отъ того, что наши образованные разночинцы обработали бы нѣсколько сотенъ или даже тысячь десятинъ земля? Остановило ли бы это разложеніе старыхъ, крестьянскихъ сельскохозяйственныхъ «идеаловъ»? Могло ли бы это положить предѣлъ образо-

¹⁾ Известно, что къ г. Энгельгардту приѣзжали учиться работать нѣкоторые „интеллигенты“.

ванію въ деревнѣ третьяго и четвертаго сословія? Самъ Успенскій говорить, что скоро деревня разбѣжится, что скоро изъ нея уйдетъ все сильное, энергичное. Думаетъ ли онъ, что появленіе на «родной нивѣ» интеллигентнаго человѣка пополнитъ эту убыль?

Очевидно, что подобныя планы жизни «трудами рукъ своихъ» не имѣютъ въ виду народнаго блага, а предназначены лишь для того, чтобы служить для интеллигенціи чѣмъ-то вродѣ опиума, позволить ей уйти отъ тяжелой дѣйствительности, «забыться и заснуть». Но враждебныя силы сумѣютъ разбудить ее и снова поставить лицомъ къ лицу съ жгучими вопросами современности.

XI.

Выше было сказано, что, плохо владѣя иностранными языками, нашъ образованный разночинецъ мало знакомъ съ иностранными литературами. Поэтому, несмотря на весь свой интересъ къ западно-европейскимъ общественнымъ теоріямъ, онъ знаетъ ихъ крайне поверхностно съ пятаго на десятое, по случайнымъ журнальнымъ статьямъ и кое-какимъ переводамъ. Незрелое же состояніе русскихъ общественныхъ отношеній помѣшало выработкѣ у насъ сколько-нибудь серьезныхъ самостоятельныхъ социальныхъ ученій. Все это необходимо должно было произвести большую путаницу въ головѣ разночинца. Тейлоръ говоритъ въ своей «Антропологій», что китайцы, покушая англійскія суда и не умѣя обращаться съ ними, нарочно уродуютъ ихъ, передѣлывая въ свои безобразныя джонки. Также обращается нашъ разночинецъ съ общественными ученіями Запада.

Случайно поймавши какую-нибудь социальную идею, онъ немедленно передѣлываетъ ее на русскіе нравы, и въ результатѣ получается невѣдко поистинѣ реакціонная утопія.

Примѣровъ подобнаго обращенія съ западно-европейскими социальными теоріями немало и въ сочиненіяхъ Гл. Успенскаго. Онъ охотно сравниваетъ русскія общественныя отношенія съ западно-европейскими. Въ защиту же своихъ плановъ относительно прикрѣпленія къ землѣ русской интеллигенціи онъ пишетъ чуть ли не цѣлый трактатъ о вредныхъ послѣдствіяхъ раздѣленія труда. Но что это за трактатъ! Талантливѣйшій беллетристъ превращается въ самаго неудачнаго публициста и обнаруживаетъ рѣшительное незнакомство съ разбираемымъ предметомъ. Онъ смѣшиваетъ одну съ другою всѣ социальныя теоріи новаго времени, причѣмъ отъ каждой изъ нихъ, по его мнѣнію, вѣетъ «казармой и скукой». Онъ презрительно отворачивается отъ нихъ и спѣшитъ отдохнуть душой съ русскимъ крестьяниномъ, который, несмотря на свой «сплошной» характеръ, по-временамъ кажется ему образцомъ «всесторонняго разви-

тія». Но подобная идеализация крестьянской «всесторонности» показывает лишь, что онъ не знаетъ первобытной истории человѣчества.

Есть такія ступени общественнаго развитія, на которыхъ человѣкъ обладаетъ еще большей всесторонностью, чѣмъ русскій крестьянинъ. Дикарь-охотникъ еще менѣе знакомъ съ раздѣленіемъ труда, чѣмъ Иванъ Ермолаевичъ. У него нѣтъ начальства, въ которомъ сосредоточивалась бы для него политика. Онъ самъ занимается политикой, самъ объявляетъ войну, самъ заключаетъ миръ и, не въ примѣръ Ивану Ермолаевичу, прекрасно знаетъ, «гдѣ находится враждебная земля».

Первобытный человѣкъ не хуже своего колдуна знаетъ свою религію, не несетъ по поводу нея «для него самого удивительной ерунды» и не скажетъ, подобно старостѣ Семену Никитичу: «мы не ученые», «вамъ въ книжкахъ-то видѣе». Онъ всему «ученъ», все знаетъ, что можно только знать въ охотничьемъ періодѣ. Вообще, если русское крестьянское варварство, съ его отсутствіемъ раздѣленія труда, выше западной цивилизации, то первобытный дикій бытъ еще лучше русскаго варварства. И если Гл. Успенскій, видя русскихъ бабъ, могъ съ восторгомъ воскликнуть: «Что за молодчина наша русская женщина, воистину свободная душа!»—то еще большей «молодчиной» долженъ онъ считать какую-нибудь краснокожую или чернокожую матрону. Такая матрона цѣлой головой выше русской крестьянки: она не только не знаетъ подчиненія мужчинъ, но нерѣдко сама держитъ мужчинъ въ весьма значительномъ подчиненіи. Она кладетъ свою печать на всѣ юридическія отношенія, не признаетъ иного права, кромѣ материнскаго, принимаетъ участіе въ войнахъ и совершаетъ поистинѣ героическіе подвиги въ сраженіяхъ. Подите-ка, скажите ей: «Будетъ бить тебя мужъ-привередникъ и све-кровь въ три погибели гнуть»—она просто не пойметъ васъ. Что за молодчины первобытные дикари, поистинѣ свободныя душа! И не лучше ли намъ, вмѣсто того, чтобы пахать землю, создать «интеллигентныя» общины дикарей? Трудненько было бы одичать до такой степени, но при стараніи—возможно, прецеденты бывали.

Овелякъ, въ книгѣ «*Les débuts de l'humanité*» рассказываетъ, что въ одномъ южно-американскомъ городѣ былъ краснокожій докторъ, который нѣкоторое время практиковалъ довольно успѣшно. Но однажды, пойдя погулять и придя на опушку лѣса, этотъ «интеллигентъ» вспомнилъ свободныя души своихъ братьевъ, сбросилъ облежавшій его красное тѣло фракъ и прочія принадлежности костюма и, оставшись, въ чемъ мать родила, скрылся въ лѣсной глуши. Иногда его встрѣчали потомъ его бывшіе пациенты и пациентки, но онъ уже не прописывалъ рецептовъ и не обнаруживалъ ни малѣйшей склонности разстаться со своей «всесторонней» жизнью. Овелякъ замѣчаетъ по этому поводу, что *l'habit ne fait pas le moine*, и справедливость этого замѣчанія позволяетъ на-

дѣяться, что нашимъ интеллигентнымъ противникамъ раздѣленія труда удалось бы, пожалуй, одичать безъ большихъ усилій. Намъ скажутъ, что не слѣдуетъ говорить шутя о серьезныхъ предметахъ. Но есть ли какая-нибудь человѣческая возможность серьезно разсматривать подобныя теоріи? А впрочемъ, если ужъ вы хотите серьезности, то мы совершенно серьезно скажемъ, что Гл. Успенскій жестоко ошибается во всѣхъ своихъ соображеніяхъ относительно раздѣленія труда и роли его въ человѣческомъ обществѣ. Все, что онъ говоритъ объ его вредныхъ послѣдствіяхъ, никакъ не можетъ привести къ тому выводу, что его нужно уничтожить. Развитие машинъ, упрощая роль производителя въ процессѣ производства, создаетъ матеріальную возможность перехода отъ одного занятія къ другому, а слѣдовательно, и всесторонняго развитія¹⁾. Приводимые Гл. Успенскимъ примѣры, въ родѣ рогожного производства, относятся къ мануфактурному, а не къ машинному производству. Притомъ же машинное производство имѣетъ ту, ничѣмъ незамѣнимую выгоду, что оно впервые освобождаетъ человѣка отъ «власти земли» и природы и отъ всѣхъ связанныхъ съ этой властью духовныхъ и общественныхъ предраз-

¹⁾ „Когда Адамъ Смитъ писалъ свой безсмертный трудъ объ основаніяхъ политической экономіи,—говоритъ Андрю Юрѣ,—автоматическая, промышленная система была почти неизвѣстна. Раздѣленіе труда естественно показалось ему великимъ принципомъ усовершенствованія въ мануфактурѣ; онъ показалъ его выгоды на примѣрѣ булавочнаго производства... Но то, что могло служить подходящимъ примѣромъ во времена доктора Смита, могло бы теперь лишь ввести публику въ заблужденіе относительно истинныхъ принциповъ мануфактурной промышленности... Принципъ автоматической системы (т. е. машинной промышленности) состоитъ въ замѣнѣ *„раздѣленія труда между работниками разложеніемъ процесса производства на его составные элементы...“* Благодаря этому, промышленный трудъ уже не требуетъ большой специальной подготовки, и рабочіе въ крайнемъ случаѣ могутъ переходить по волѣ директора отъ одной машины къ другой (то, что Юрѣ считаетъ *крайнимъ случаемъ*, станетъ *правиломъ* въ будущемъ обществѣ. Все дѣло здѣсь въ томъ, что машинный трудъ дѣлаетъ такіе переходы возможными). Такіе переходы находятся въ явномъ противорѣчій со старой рутинной, которая раздѣляетъ трудъ и на всю жизнь приурочиваетъ одного рабочаго къ скучной и односторонней функціи изготовленія булавочной головки, другого—къ заостренію конца булавки“ и т. д... (Andrew Ure, Philosophie des Manufactures, Bruxelles, 1836, т. I, pp. 27—32). „Такъ какъ общій ходъ дѣла фабрики зависитъ не отъ рабочаго, а отъ машины, то персоналъ можетъ постоянно мѣняться безъ прекращенія рабочаго процесса“ (Карлъ Марксъ. „Капиталъ“, стр. 373 русскаго перевода). По словамъ Юрѣ, современная автоматическая промышленность отмѣняетъ знаменитый приговоръ: „Въ потѣ лица твоего будешь ѣсть хлѣбъ свой“. Конечно, въ буржуазномъ обществѣ этотъ приговоръ остается во всей своей силѣ. Но вѣроятно, что въ рукахъ пролетаріата машина дѣйствительно можетъ послужить для его отмѣны, т. е. для освобожденія человѣка отъ власти земли и природы. И только съ отмѣной этого приговора явится возможность настоящаго, невымышленнаго развитія всѣхъ физическихъ и духовныхъ силъ человѣка.

судковъ, подчиняя землю и природу его воли и разуму. Только съ развитіемъ и правильной организаціей машиннаго производства можетъ начаться дѣйствительно достойная человѣка исторія. А Гл. Успенскій толкаетъ насъ назадъ, къ первобытнымъ, «тяжелымъ» и «неудобнымъ» орудіямъ Ивана Ермолаевича, который тысячу лѣтъ «не можетъ осушить болота». Нѣтъ, господа, наше настоящее плохо, но мы станемъ спорить противъ этого; но, чтобы раздѣлаться съ нимъ, нужно не идеализировать наше прошлое, а съ энергіей и умѣнемъ работать на пользу лучшаго будущаго.

Еще одинъ примѣръ удивительнаго отсутствія «строиности» въ практическихъ предложеніяхъ нашего автора. Его справедливо возмущаютъ многія темныя стороны фабричнаго быта. Но, между тѣмъ, какъ западно-европейскій пролетаріатъ, указывая на эти темныя стороны, умозаключаетъ къ необходимости новой организаціи общества, Гл. Успенскій предлагаетъ... какъ бы вы думали, что? ни болѣе, ни менѣе, какъ распространеніе у насъ знаменитаго въ лѣтописяхъ экономической исторіи домашняго промышленнаго труда (такъ называемой нѣмцами *Hausindustrie*).

«Нѣмецкіе колонисты... не пошли на призывъ новоявленнаго купона... не отдали своихъ жёнъ и дочерей на съѣденіе этому владыкѣ нашего вѣка»,—говоритъ онъ въ статьѣ «Живыя цифры» (собран. сочин. т. II, стр. 1216). «Ни мало, однакъ, не брезгая деньгами, которыя сулилъ фабричный трудъ, они стали брать фабричную работу на домъ, и вмѣсто фабричныхъ станковъ образовались станки домашніе... Саратовская сарпинка оказалась и лучше, и прочнѣе, и дешевле какъ заграничной, такъ и московской. И, увѣряю васъ, когда я разговаривалъ объ этомъ съ торговцемъ мануфактурными товарами, рассказывавшимъ мнѣ этотъ новый опытъ производства, онъ, простой человѣкъ, можетъ быть, никогда не думавшій о томъ, какъ дѣлается этотъ ситецъ и сарпинка и умѣвшій только торговать имъ,—самъ, очевидно, былъ удивленъ этимъ блестящимъ опытомъ и самъ завелъ рѣчь о томъ, какая бездна мерзости и неправды, неразлучной съ производствомъ фабричнымъ, избѣгнута этимъ домашнимъ способомъ производства. Не только о дешевизнѣ и прочности говорилъ онъ, а о томъ,—и это гораздо больше, чѣмъ о дешевизнѣ,—какъ все это хорошо, справедливо вышло; вышелъ дешевый товаръ и не оказалось ни тѣни фабричнаго распутства и грѣха!» (Еще бы *купцу* не говорить съ умиленіемъ о домашней промышленности: вѣдь она-то именно и отдаётъ производителей во власть *скутчижовъ*!).

«Не человѣкъ ушелъ къ станку изъ своего дома, а станокъ пришелъ къ нему въ домъ». (Знаемъ мы, какъ станки «приходятъ въ домъ» къ мелкимъ производителямъ!).

«А развѣ въ нашей крестьянской семьѣ есть хоть малѣйшій признакъ

нежеланія осложнить домашній трудъ присоединеніемъ къ нему новыхъ родовъ труда! Ничего, кромѣ радости имѣть заработокъ, не принесетъ этому дому никакой станокъ и никакая машина, добромъ (!) вошедшая въ крестьянскій домъ. Крестьянская семья *любитъ работу* и даже сама трудная, тяжкія дѣла умѣетъ облегчать пѣсней».

Дѣло не въ пѣсняхъ, а въ томъ, что нѣмецъ-колонистъ и русскій крестьянинъ находятся въ совершенно различныхъ положеніяхъ. Первый, въ среднемъ по крайней мѣрѣ, въ пять разъ богаче второго. Тамъ, гдѣ колонистъ еще сумѣетъ отстоять свою экономическую самостоятельность, русскій крестьянинъ, навѣрное, попадетъ въ кабалу. Какъ могъ Успенскій забыть эту простую истину?

Торжество капитализма до такой степени неизбежно въ Россіи, что въ огромномъ большинствѣ случаевъ даже планы «новыхъ» людей относительно «всеобщаго благополучія» носятъ въ себѣ его печать. Эти планы отличаются тѣмъ, что, закрывая дверь для крупнаго капитала, они оставляютъ ее открытой для мелкой буржуазіи. Такова «обаятельная диалектика» русскаго разночинца.

Но если планы народниковъ кажутся вамъ фантастическими, реакціонными и потому неосуществимыми—скажетъ иной читатель,—то укажите гдѣ нибудь лучшіе; вѣдь не наниматься же намъ, въ самомъ дѣлѣ, въ услуженіе къ русскимъ капиталистамъ? Не утѣшаться же появленіемъ купоновъ?

Поищемъ этого лучшаго въ сочиненіяхъ самихъ беллетристовъ-народниковъ.

XII.

Передъ нами два произведенія г. Каронина: очеркъ «Молодежь въ Ямѣ» (названіе деревни) и повѣсть «Снизу вверхъ». И въ томъ и въ другомъ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ является молодой крестьянинъ Михаилъ Луниъ, не раздѣляющій многихъ взглядовъ Ивана Ермолаевича относительно того, что можно и чего «нельзя». Это происходитъ въ значительной степени потому, что дворъ, къ которому принадлежитъ Михайло, ни въ какомъ случаѣ не можетъ назваться «хорошимъ», зажиточнымъ крестьянскимъ дворомъ. Онъ недалекъ отъ полнаго разоренія, какъ почти всѣ дворы деревни Ямы. Невозможность спокойно продолжать «земледѣльческій трудъ» поневолѣ заставляетъ молодое поколѣніе деревни задуматься о своемъ положеніи. Къ этому присоединяется и то, что оно уже не знало крѣпостнаго права. Оно считало себя «вольнымъ», между тѣмъ какъ множество самыхъ вопіющихъ притѣсненій постоянно напоминали ему о томъ, что его «воля» совсѣмъ не настоящая. Михайлѣ Лунину «невольна» приходили на умъ самые неожиданныя сравненія. Воля... и отчехвостили (т. е. высѣкли въ волостномъ правленіи)... сво-

бодное земледѣшество... и «штука» (такъ называлъ онъ хлѣбъ, приготовленный со всевозможными подмѣсами и, по мнѣнію Михайлы, не заслуживавшій названія хлѣба). Подъ вліяніемъ такихъ размышленій онъ дѣлался угрюмымъ».

Плохое питаніе отразилось на организмѣ Михайлы самымъ губельнымъ образомъ. Онъ былъ малокровенъ, слабосиленъ и малъ, такъ что не годился въ военную службу. «Во всей фигурѣ въ исправности были только лицо, холодное, но выразительное, и глаза, сверкающіе, но темные, какъ загадка». Размысленія Михайлы приводили его къ самымъ горькимъ выводамъ. Онъ озлобился и сталъ презирать и «отрицать» прежде всего своего брата-мужика, старое поколѣніе деревни. Между нимъ и его отцомъ не разъ происходили такія сцены: отецъ доказывалъ, что имѣть право учить, т. е. бить его, а сынъ ни за что не хотѣлъ признать спаятельности палки.

«— Ну, скажи на милость,—возражалъ онъ,—хороша ли твоя участь? Ладно ли живешь ты? А вѣдь, кажись, дубья-то получилъ въ полномъ размѣрѣ».

— Что же, крестьянинъ я настоящій. Слава Богу!—честный крестьянинъ!—говорилъ отецъ.

— Какой ты крестьянинъ!—Всю жизнь шатаешься по чужимъ сторонамъ, бросая домъ, пашню, ни лошади путной, ни кола. Въ томъ только ты и крестьянинъ, что боками здоровъ отдуваться. Пойдешь на заработки, — ногу тебѣ тамъ переломать, а придешь домой, — тебя высѣкутъ».

— Не говори такъ Мишка,—съ страстной тоской огрызнулся отецъ.

— Развѣ неправда?—Барщина кончилась, а тебя все лупить».

— Мишка, оставь!

Но Михайло злобствовалъ до конца.

— Да есть ли въ тебѣ хоть единое живое мѣсто? Неужели ты меня думаешь учить также маяться?—Не хочу!

— Живи, какъ знаешь, Богъ съ тобой!—стоналъ отецъ.

Тогда Михайлѣ дѣлалось жалко отца, такъ жалко, что и сказать вельзя».

Михайло не хотѣлъ жить такъ, какъ жили его «прародители», но онъ еще не зналъ, какъ же нужно по-настоящему, и его страшно мучило это незнаніе. «Ничего не придумаешь! Какъ жить?—говорилъ онъ однажды своей невѣстѣ Пашѣ».

— Какъ люди, Миша,—робко замѣтила дѣвушка».

— Какіе люди?—Это наши старше-то?—Да неужели это настоящая жизнь? Побой принимать, срамъ... солому жрать! Человѣкомъ хочется жить... А какъ? Не знаешь ли, Паша, ты?—Скажи, какъ жить?—спросилъ оживленно Михайло».

— Не знаю, Миша, голова-то моя худая. Я могу только идти куда хочешь, хоть на край свѣта съ тобой...

— Какъ же намъ быть, чтобы честно, безъ сраму, не какъ скотина какая, а по-человѣчьему...—Михайло говорилъ спутанно, «но въ глазахъ его сверкали слезы».

Когда крестьянинъ попадаетъ въ такое положеніе, въ какомъ былъ Михайло, то передъ нимъ оказываются только два выхода: или оставить деревню и искать счастья на сторонѣ, стараясь найти новое занятіе и съ помощью его устроить «по-человѣчьему» свою новую жизнь, или примкнуть къ деревенскому «третьему сословію», сдѣлаться кулакомъ, который могъ бы ѣсть что-нибудь получше «штуки» и не опасаться розогъ, заготовленныхъ въ волостномъ правленіи. Наши народники не разъ подмѣчали и указывали, что кулаками дѣлаются въ деревнѣ, по большей части, очень талантливые и выдающіеся люди ¹⁾.

У Гл. Успенскаго и г. Златовратскаго есть примѣры того, какъ люди народа берутся за кулаческую наживу между прочимъ и за тѣмъ, чтобы оградить отъ поруганія свое человѣческое достоинство. Но для этого нужны: во-первыхъ, кое-какія средства и благоприятный случай, а во-вторыхъ, особый складъ характера. Въ числѣ деревенскихъ друзей Михайлы мы встрѣчаемъ нѣкоего Ивана Шарова, который имѣетъ, по-видимому, всѣ данныя, чтобы сдѣлаться достойнымъ представителемъ деревенской буржуазіи. У него есть живость, изобрѣтательность и замѣчательный «нохъ». Онъ кидается за грошемъ во всѣ стороны, такъ что «жизнь его походить на мельканіе». Но Михайло, хотя и питаль удивленіе къ талантамъ Ивана, но самъ «рѣшительно неспособенъ былъ вертѣться такимъ кубаремъ»... Всю жизнь крутиться, ускользать, ловить случай—это было не по его характеру.

— Не понимаю, какъ это ты все вертишься?—спрашивалъ онъ не разъ Шарова.

— Безъ этого нельзя, пропадешь,—возражалъ послѣдній.—Надо ловить случай, безъ дѣла сидѣть—смерть...

— Да развѣ ты работаешь? По-моему, ты только бѣгаешь зря.

¹⁾ Известной долей кулачества обладаетъ каждый крестьянинъ,—говоритъ г. Энгельгардтъ,—за исключеніемъ недоумковъ, да особенно добродушныхъ людей, вообще карасей. Каждый мужикъ въ известномъ смыслѣ кулакъ, щука, которая ва то и въ морѣ, чтобы карась не дремалъ... Я не разъ указывалъ, что у крестьянъ страшно развитъ эгоизмъ, индивидуализмъ, стремленіе къ эксплуатаціи. Зависть, недобѣре другъ къ другу, подкапываніе одного подъ другого, униженіе слабого передъ сильнымъ, высокомѣріе сильнаго, поклоненіе богатству—все это сильно развито въ крестьянской средѣ. Кулаческіе идеалы царятъ въ ней. Каждый гордится быть щукой и стремится пожрать карася». («Письма изъ деревни», стр. 491).

— Может и зря, а иной раз и подвернется счастье, а уж тут... На боку лежа, ничего не добудешь. За счастьем-то надо побегать.

Михайло былъ рожденъ не купцомъ, а работникомъ. Если онъ иногда отзывался о своемъ деревенскомъ хозяйствѣ въ такихъ выраженіяхъ, которыя легко могли бы привести въ отчаяніе хорошаго народника, то это происходило вслѣдствіе одной только причины: хозяйство это не давало ему возможности жить по-человѣчески. Явись такая возможность,—и Михайло вполне помирился бы со своей крестьянской участью. «Въ другое время, болѣе правильное,—говорить г. Каронинъ,—изъ Михайлы вышелъ бы довольный собой и своимъ хозяйствомъ крестьянинъ, для котораго достаточно хлѣба и навозу, хорошаго мерина и толстобревной избы, пары свиней и съ десятковъ барановъ, чтобы онъ считалъ себя счастливымъ». Онъ сдѣлался бы, словомъ, настоящимъ Иваномъ Ермолаевичемъ и сталъ бы восхищать гг. народниковъ «стройностью» своего міросозерцанія. Но у него нѣтъ ни хлѣба, ни навозу, ни хорошей избы, ни свиней, ни барановъ,—и потому его міросозерцаніе лишено всякой «стройности». Онъ злобствуетъ, презираетъ своихъ «предковъ», мучится надъ вопросомъ о томъ, какъ жить «по-человѣческому», и наконецъ, послѣ различныхъ злоключеній, послѣ столкновеній со старшиной и кулакомъ Трешниковымъ, онъ требуетъ у отца паспортъ и покидаетъ деревню. На этомъ оканчивается очеркъ «Молодежь въ Ямѣ».

Повѣсть «Снизу вверхъ» рисуетъ намъ его дальнѣйшія похождения. Придя въ городъ, Михайло прежде всего угодилъ въ острогъ за какую-то мошенническую штуку, на которую подвинула его роковая нужда въ деньгахъ. Къ счастью для него, недолго длившееся тюремное заключеніе не успѣло отучить его отъ труда и убить въ немъ проснувшуюся работу мысли. По выходѣ на волю онъ попадаетъ на кирпичные заводы, гдѣ жизнь его представляетъ непрерывную смѣну тяжелаго труда и нравственныхъ униженій. Онъ не выноситъ этой жизни. Толкаемый своимъ стремленіемъ «жить честно, по-человѣческому», онъ оставляетъ кирпичный заводъ и рѣшается искать новаго заработка. Ему не нужно большой платы, но нужно, чтобы хозяева не помыкали имъ, какъ пѣшкой, и уважали его достоинство. Онъ не хочетъ быть «рабомъ», онъ хочетъ отстоять свою свободу во что бы то ни стало. Нелегко рѣшить такую задачу рабочему, но Михайлѣ помогъ счастливый случай.

Работая на кирпичномъ заводѣ, онъ много слышалъ о нѣкомъ Омичѣ, простомъ слесарѣ, о которомъ всѣ рабочіе отзывались съ величайшимъ уваженіемъ. Разъ Омичъ пришелъ даже на заводъ, причемъ поразилъ Михайлу своей благообразной внѣшностью и европейскимъ костюмомъ. Къ нему-то и направился теперь юноша, «одаренный какой-то необычайной жадной борьбой съ чѣмъ-то, гонимый какой-то силой, нигдѣ не дававшей ему покоя».

Но войдя въ квартиру Омича, Михайло подумалъ, что по ошибкѣ попалъ къ какимъ-то господамъ. «Свѣтъ ярко горѣвшей лампы его ослѣпилъ, а четверо сидѣвшихъ за чаемъ, однимъ своимъ видомъ, такъ поразили его, что онъ сталъ, какъ вкопанный, у порога... Самоваръ, столъ, мебель, комната,—все это было такъ чисто и пріятно, что совсѣмъ довершило его изумленіе». Но обитателемъ квартиры оказался не кто иной, какъ Омичъ.

— Вотъ тебѣ разъ, а слесарь,—съ быстротой молніи подумалъ Михайло.

Съ величайшимъ смущеніемъ объяснилъ онъ Омичу цѣль своего прихода и заявилъ, что ни за что не вернется на кирпичный заводъ, потому что тамошняя обстановка отупляетъ его.

— Въ башкѣ цѣлый день ничего,—какъ пояснилъ онъ на своемъ грубомъ языкѣ.

У Омича было много работы на дому, и онъ взялъ Михайлу къ себѣ въ ученики. Тогда началась новая жизнь для этого послѣдняго. Онъ видѣлъ, что Омичъ сумѣлъ разрѣшить вопросъ о томъ, какъ жить по-человѣчески. Поэтому онъ чувствовалъ родъ благоговѣнія къ своему хозяину, къ его женѣ и ко всемъ ихъ друзьямъ. Они подавляли его своимъ умственнымъ превосходствомъ. «Сравнивая себя съ ними, онъ привыкъ считать себя круглымъ дуракомъ. Но однажды, ночью, оставшись одинъ въ мастерской, онъ вдругъ сообразилъ, что онъ, вѣдь, также можетъ учиться, что вѣдь Омичъ, откуда же онъ взялъ? Пораженный этой мыслью, онъ отъ радости подскочилъ съ постели, не зная еще самъ — зачѣмъ это сдѣлалъ». Схвативъ валявшееся въ мастерской руководство къ слесарному и другимъ ремесламъ, онъ сталъ припоминать полузабытую имъ грамоту, которой его обучали когда-то въ деревенской школѣ. Сперва дѣло пошло очень плохо... Успѣхи его ученія замедлились тѣмъ, что его застѣнчивость мѣшала ему обратиться за помощью къ новымъ друзьямъ. Но во всякомъ случаѣ начало было положено. «Съ этой минуты онъ каждый вечеръ упражнялся».

Но кто же этотъ Омичъ, этотъ слесарь, который кажется какимъ-то высшимъ существомъ простому деревенскому парню? Это тоже «сынъ народа», но сынъ, воспитанный при особыхъ условіяхъ. Онъ происходилъ изъ бѣдныхъ городскихъ мѣщанъ и въ дѣтствѣ отбылъ неизбѣжную каторгу ремесленного обученія. Впрочемъ, у него былъ сравнительно добрый мастеръ: онъ билъ его «не клещами», а «только» булакомъ. Жажда знанія пробудилась въ немъ довольно рано, а придя въ возрастъ, онъ «каждую свободную минуту употреблялъ на то, чтобы поучиться. Отъ постоянного урѣзыванья отдыха онъ ослабѣлъ, здоровье его пропадало, улыбка исчезла съ его добродушнаго лица». Но скоро сама судьба пришла къ нему на помощь. Съ нимъ случилось одно неожиданное обстоятельство, которое онъ самъ считалъ для себя большимъ «счастьемъ». Его посадили въ острогъ за стачку. Тамъ было плохо во всѣхъ отношеніяхъ,

кромѣ одного: у него было много свободнаго времени. «Что же мнѣ, въ самомъ дѣлѣ,—разсказывалъ онъ въ послѣдствіи,—квартира готовая; вотъ я и давай читать, радъ былъ! Потому что такой свободы у меня не было и не будетъ, какъ въ острогѣ, и много я тутъ сдѣлалъ хорошаго!» Въ острогѣ онъ «кончилъ ариметику, геометрію, прочиталъ множество книгъ, выучился понимать толкъ въ литературѣ, съ какимъ-то инстинктомъ дикаря чуя, что хорошо. Прошелъ онъ и грамматику, хотѣлъ даже попробовать нѣмецкій языкъ» и т. д., а затѣмъ его отправили въ ссылку. Въ томъ дрянномъ городишкѣ, куда онъ попалъ, жила одна смыльная, больная женщина изъ интеллигентной среды, Надежда Николаевна. Она-то и взяла на себя роль профессора всѣхъ наукъ въ этомъ своеобразномъ университетѣ. Съ нею Ѳомичъ прошелъ «географію и принялся за алгебру и физику». Когда, въ послѣдствіи, Ѳомичъ вернулся въ свой родной городъ, то былъ уже порядочно образованнымъ человѣкомъ. Какъ трезвый, трудолюбивый, хорошо знающій свое ремесло слесарь, онъ имѣлъ сравнительно хорошій заработокъ на какомъ-то механическомъ заводѣ. Такимъ образомъ, онъ имѣлъ возможность создать себѣ ту европейскую обстановку, которая такъ поразила Михайлу. Упорно трудясь цѣлый день, онъ по вечерамъ читалъ книги и газеты и вообще жилъ сознательной жизнью. Этому немало способствовала его жена, та самая Надежда Николаевна, которая когда-то обучала его въ ссылкѣ, «на краю свѣта».

Такова, въ немногихъ словахъ, исторія этого слесаря. Она позволяетъ подмѣтить одну, не лишнюю интереса, особенность городского, неземледѣльческаго труда. Трудъ этотъ не можетъ поглащать *всей мысли*, всего нравственнаго существа человѣка. Напротивъ, по справедливому замѣчанію Маркса, жизнь рабочаго начинается только тогда, когда оканчивается его работа. Такимъ образомъ, онъ можетъ имѣть другіе интересы, лежащіе внѣ сферы его труда. При благоприятныхъ обстоятельствахъ, которыя, какъ мы видѣли, встрѣчаются и въ русскихъ городахъ, его не занятая трудомъ мысль пробуждается и требуетъ пищи. Рабочій набрасывается на науку, проходитъ «грамматику, ариметику, физику, геометрію», читаетъ «хорошія книги». Ниже мы увидимъ, что у него необходимо должны пробуждаться и другія духовныя потребности.

Но возвратимся къ Михайлѣ. Какъ ни тайлся онъ отъ Ѳомича со своимъ ученіемъ, но въ концѣ концовъ тайна выплыла наружу. Само собой понятно, что Ѳомичъ вполне одобрилъ его начинанія и даже нашелъ ему хорошаго учителя. По отношенію къ Михайлѣ роль смыльной барышни суждено было сыграть нѣкому Колосову, образованному разночинцу, который очень «строго» обращался со своими учениками изъ рабочей среды. Такъ, напримѣръ, онъ совершенно запугалъ рабочаго Воронова, несчастное существо, забитое съ дѣтства и потомъ окончательно сбитое съ толку неумѣлою просвѣтительною дѣятельностью какихъ-

то либеральныхъ или радикальныхъ барчатъ. Ѳомичъ даже предупреждалъ Михайлу насчетъ строгости Колосова. Но тотъ не смутился. «Если онъ даже бить меня будетъ, я все-таки буду слушаться его»,—энергично заявилъ онъ.

Началось настоящее, «строгое» ученіе. Днемъ Михайло работалъ въ мастерской, а вечеромъ бѣжалъ къ Колосову и слушалъ его урокъ. «Занимался онъ не то что съ энтузіазмомъ, а съ какимъ-то остервенѣніемъ, и уже не учителю приходилось погонять его, а наоборотъ. Иногда ему приходили въ голову разные вопросы: а что если Колосовъ умретъ! или Ѳомичъ куда-нибудь уѣдетъ! Что тогда съ нимъ будетъ?» Но Колосовъ не умеръ. Ѳомичъ никуда не уѣхалъ, и молодому крестьянину удалось, наконецъ, осуществить свою завѣтную мечту, зажить честной и разумной жизнью. Мѣсто помощника машиниста на одномъ механическомъ заводѣ, которое нашелъ онъ, окончивъ свое профессиональное обученіе у Ѳомича, обезпечило ему сносное существованіе и нѣкоторый досугъ для умственныхъ занятій. Михайло хоть и пересталъ брать уроки у Колосова, но по-прежнему много учился и читалъ. Казалось бы, онъ могъ теперь считать себя счастливымъ, но неожиданно у него явились новыя нравственныя муки.

Однажды, отправившись въ бібліотеку переимѣнить книги, онъ столкнулся тамъ со своей, почти забытой имъ невѣстой, Пашей. Не получая никакихъ вѣстій отъ Михайлы, Паша на свой страхъ отправилась въ городъ и поступила въ кухарки. Она не могла достаточно надивиться тѣмъ переимѣнамъ, которыя нашла въ своемъ Мишѣ. «Господи, да кто же вы теперь будете?»—съ изумленіемъ воскликнула деревенская дѣвушка. Его комната, его костюмъ заставляли ее думать, что Михайло сдѣлался важнымъ баринкомъ. «Это все ваши пальты?»—спрашивала она.

— Одежда?—моя.

— Чай, дорого!»

Лампа съ абажуромъ также повергла ее въ немалое удивленіе, но всего болѣе поразило Пашу обиліе книгъ и газетъ въ комнатѣ Михайлы. «Ухъ, сколько вѣдомостей у васъ... Читаете?»—«Читаю». Паша съ испугомъ смотрѣла на груды печатной бумаги. «А эти книги?»—«Почти всѣ мои». Бѣдной дѣвушкѣ всѣ эти «пальты», лампы, книги и газеты казались странною, невиданною роскошью въ комнатѣ крестьянина.

Ѳомичъ и его друзья полагали, что Паша не пара Михайлѣ, и потому совѣтовали ему не жениться на ней, но Михайло не послушался. При всей разницѣ въ развитіи, у нихъ было кое-что общее,—замѣчаетъ авторъ,—и именно —деревенскія воспоминавія. Паша подробно рассказывала Михайлѣ обо всѣхъ мелочахъ деревенской жизни: объ отцѣ, о родныхъ и знакомыхъ. Михайло внималъ ей съ интересомъ, «ему не скучно было слушать эти, повидимому, ничтожныя пустяки». Его часто смѣшили

траги-комическія приключенія деревенскихъ обывателей, но въ то же время «ему было невесело. Повидимому, эти разговоры доставляли ему наслажденіе и вмѣстѣ муку». Михайло сталъ скучать, у него начали являться приступы какой-то странной, безпричинной тоски. «Это была не та тоска, которая приходитъ къ человѣку, когда ему ѣсть нечего, когда его бьютъ и оскорбляютъ, когда ему, словомъ, холодно, больно и страшно за свою жизнь. Нѣтъ, онъ нажилъ другую тоску—безпричинную, но всепроникающую, вѣчную!»

Подъ вліяніемъ этой тоски Михайло чуть было не запилъ. Однажды, въ воскресенье, отправившись съ Оумичемъ гулять за городъ, онъ сталъ тащить въ кабакъ своего спокойнаго и солиднаго друга.

— Войдемъ!—сказалъ онъ, страшно блѣдный.

Оумичъ не понялъ.—Куда?—спросилъ онъ.

— Въ кабакъ!—рѣзко выговорилъ Михайло.

— Зачѣмъ?

— Пить!

Оумичъ счелъ это за шутку.—Что еще придумаешь!

— Не слушаешь, ну, такъ я одинъ пойду, я хочу пить.

Сказавъ это, Михайло Григорьевичъ ступилъ на первую ступеньку грязнаго крыльца.

Но въ кабакъ онъ не вошелъ. «Его лицо облилось кровью, онъ медленно спустилъ ногу со ступеньки, потомъ рванулся впередъ къ Оумичу, пошелъ съ нимъ рядомъ».

Такіе жгучіе припадки тоски повторялись часто. Его влекло напиться, но, подходя къ кабаку, онъ колебался, медлить, боролся, пока страшнымъ усиліемъ воли не одолѣвалъ рокового желанія. Иногда случалось, что онъ уже войдетъ въ кабакъ, велитъ уже себѣ подать стаканъ водки, но вдругъ скажетъ первому кабацкому завсегдатаю: пей! А самъ выбѣжитъ за дверь. Иногда эта непосильная борьба повторялась нѣсколько разъ въ роковой день и домой онъ, приходилъ измученный, еле живой... Недугъ возобновлялся черезъ мѣсяць, черезъ два».

Что же это за странность? Въ народнической литературѣ намъ нѣкогда до сихъ поръ не приходилось читать, что «люди народа» могутъ страдать такой тоскою. Это какой-то байронизмъ, совсѣмъ неумѣстный въ рабочемъ человѣкѣ. Иванъ Ермолаевичъ, навѣрно, никогда не зналъ такой тоски! Чего же хотѣлъ Михайло? Постараемся выкинуть въ его новое душевное настроеніе—оно прекрасно описано г. Каронинымъ.

«Все свое онъ сталъ считать чѣмъ-то недорогимъ, неважнымъ или вовсе ненужнымъ. Даже его умственное развитіе, добытое имъ съ такими усиліями, стало казаться ему сомнительнымъ. Онъ спрашивалъ себя—да кому какая отъ этого польза и что же дальше? Онъ носилъ хорошую одежду, онъ не сидитъ на мякинѣ и не ѣстъ отрубей; онъ мы-

слить.. читаетъ книги, журналы, газеты. Онъ знаетъ, что земля стоитъ не на трехъ китахъ и киты не на слонѣ, а слонъ вовсе не на черепахѣ, знаетъ, кромѣ этого, въ миллионъ разъ больше. Но зачѣмъ все это? Онъ читаетъ ежедневно, что въ Уржумѣ—худо, что въ Белебеѣ—очень худо, а въ казанской губерніи татары пришли къ окончательному капуту; онъ читаетъ все это, и въ миллионъ разъ больше этого, потому что каждый день ѣздить по Россіи, облетая въ то же время весь земной шаръ... Но какая же польза отъ всего этого? Онъ читаетъ, мыслить, знаетъ... но что же дальше? Скучно! скучно!»

Дѣло немного разъясняется. Михайлѣ скучно потому, что его умственное развитіе не облегчаетъ положенія его брата—крестьянина и вообще всѣхъ тѣхъ, кому «худо, очень худо». Хотя мысль его и облетаетъ весь земной шаръ, но она все-таки или, вѣрнѣе, именно въ силу этого и съ тѣмъ большимъ вліяніемъ останавливается на безобразныхъ явленіяхъ русской дѣйствительности. Иванъ Ермолаевичъ не читаетъ газетъ, и самъ Гл. Успенскій находитъ, что ему, какъ хорошему крестьянину, ненадобно знать, когда «испанская королева разрѣшилась отъ бремени или какъ проворовался генералъ Сиссе съ госпожей Каула» ¹⁾. Но очевидно, что въ газетахъ Михайло могъ находить извѣстія другого рода, заставлявшія его спросить себя, какая кому польза отъ его умственного развитія? Быть можетъ, облетая мыслью весь земной шаръ, онъ видѣлъ, что гдѣ-то тамъ, далеко на Западѣ, люди борются за лучшее будущее; быть можетъ, ему уже удалось выяснять себѣ нѣкоторыя черты этого лучшаго будущаго, и онъ тосковалъ, не имѣя возможности принимать участіе въ великой освободительной работѣ. Дома, въ Россіи, онъ видѣлъ много нужды, но полное отсутствіе свѣта. Вотъ какъ высказывался онъ, напримѣръ, Оомичу, лежа на травѣ во время той прогулки, когда онъ впервые сталъ искать дороги къ кабаку.

— А вѣдъ они, Оомичъ, тамъ на днѣ!—проговорилъ онъ мрачно.

— Кто они?—Оомичъ удивился, не додвѣрвая, о комъ говорить его товарищъ.

— Воѣ. Я вотъ здѣсь, на свободѣ лежу, а они тамъ на днѣ, гдѣ темно и холодно.

Оомичъ не зналъ, что на это сказать.

— У меня въ деревнѣ и теперь живутъ отецъ, мать, сестры... А я здѣсь!—Михайло говорилъ тихо, какъ бы боясь, что изъ груди его вырвется крикъ.

¹⁾ Замѣчательно, что всѣ сторонники плановъ о прикрѣпленіи къ землѣ нашей интеллигенціи отрицательно относятся къ чтенію газетъ и къ политикѣ. Политика?—воскликаетъ г. Энгельгардтъ,—но позвольте васъ спросить, какое намъ здѣсь дѣло до того, кто императоръ во Франціи: Тьеръ, Наполеонъ или Бисмаркъ? («Письма изъ деревни», стр. 25).

— Посылай имъ побольше.

— Да что деньги!—крикнулъ Михайло.—Развѣ деньгами поможешь? У нихъ темно, а деньги не дадутъ свѣта!

Өмичъ чувствовалъ, что надо что-нибудь сказать, но не могъ. Оба въ некоторое время молчали.

— Знаешь, Өмичъ, ихъ вѣдь и теперь събуютъ.

— Что же дѣлать, Миша?

Давая такой отвѣтъ, Өмичъ самъ прекрасно сознавалъ, что говоритъ величайшую глупость, но въ эту минуту онъ не могъ придумать ничего другого.

Передъ Михайлой стоялъ тотъ же роковой вопросъ, надъ которымъ столько билась наша интеллигенція: *Что же дѣлать?* Что дѣлать для того, чтобы внести свѣтъ въ темную народную среду, чтобы избавить трудящійся людъ отъ матеріальной бѣдности и нравственныхъ униженій? Въ лицѣ Михайлы, самъ народъ, «снизу вверхъ», подошелъ къ этому роковому вопросу.

Въ самомъ дѣлѣ, вспомните, что Михайло еще въ юности чувствовалъ какую-то «необычайную жажду борьбы съ чѣмъ-то», вдумайтесь въ его душевное настроеніе,—и вамъ станетъ совершенно ясно, чего ему нужно. «На него иногда нахлынутъ силы, и онъ готовъ подпрыгнуть и чувствуетъ, что онъ долженъ идти куда-то, бѣжать и что-то дѣлать». Ему дѣйствительно нужно что-то дѣлать, ему нужно работать для того самаго народа, къ которому онъ принадлежитъ по плоти и крови. Не помнимъ уже, какой критикъ въ «Русской Мысли» говорилъ, будто Михайло тоскуетъ отъ того, что ему хочется назадъ, въ деревню. Весьма вѣроятно, даже навѣрное, и самъ г. Каронинъ, какъ народникъ, не прочь водворить свое дѣтище на старомъ мѣстѣ жительства, въ знакомой уже намъ полу-разоренной *Ямѣ*. Михайло, пожалуй, и согласился бы послѣдовать этому совѣту, но мы можемъ увѣрить гг. народниковъ, что онъ пошелъ бы туда не для того, чтобы восхищаться «стройностью крестьянскаго міросозерцанія». Помириться съ деревенской безурядицей онъ не могъ уже и тогда, когда былъ темнымъ, почти безграмотнымъ парнемъ. Сдѣлавшись развитымъ человѣкомъ, онъ хочетъ внести въ народъ свѣтъ и знаніе. Но какой же свѣтъ? Намъ кажется, что Михайло едва ли призналъ бы «свѣтомъ» то ученіе, которое, въ лицѣ самаго даровитаго своего представителя, пришло къ безотрадному выводу: «остановить шествіа цивилизаціи не можешь, а соваться не долженъ». Мы думаемъ, что онъ отнесся бы къ «цивилизациі» такъ же, какъ относятся къ ней его западно-европейскіе собратья. Онъ воспользовался бы ею для борьбы съ нею же. Онъ сталъ бы организовать создаваемыя ею силы для борьбы противъ ея темныхъ сторонъ.

Въ этомъ мораль всей повѣсти Каронина, и какъ обогатилась бы его художественная дѣятельность, если бы онъ созналъ эту мораль!

XIII.

Выше мы замѣтили, что въ произведеніяхъ нашихъ народниковъ-беллетристовъ нѣтъ ни рѣзко очерченныхъ характеровъ, ни тонко подмѣченныхъ душевныхъ движеній. Мы объяснили это тѣмъ, что у беллетристовъ-народниковъ общественные интересы преобладаютъ надъ интересами чисто литературными. Потомъ мы дополнили это объясненіе. Мы сказали, что «стройное» и уравновѣшенное міросозерцаніе Ивановъ Ермолаевичей исключаетъ такіа движенія, что они являются лишь на болѣе высокой ступени ихъ умственного и нравственного развитія, а полного своего расцвѣта достигаютъ лишь тогда, когда они начинаютъ жить исторической жизнью, участвовать въ великихъ движеніяхъ человѣчества.

Другими словами, мы указали на то, что «оплошной» характеръ земледѣльческаго населенія не даетъ большого простора для размаха художественной кисти. Но мы прибавили, что съ этимъ обстоятельствомъ можно было бы помириться, если бы народникамъ-беллетристамъ дѣйствительно удалось указать нашей интеллигенціи, что можетъ она сдѣлать для народа.

Затѣмъ оказалось, что народническая точка зрѣнія приводитъ народниковъ къ неразрѣшимымъ противорѣчіямъ. И мы сочли себя вправѣ сказать, что художественное достоинство произведеній названныхъ беллетристовъ принесено было въ жертву ошибочному общественному ученію. Теперь намъ остается только спросить себя: какая же точка зрѣнія могла бы примирить требованія художественности съ тѣмъ интересомъ къ общественнымъ вопросамъ, отъ котораго передовая часть нашихъ беллетристовъ не можетъ и ни въ какомъ случаѣ не должна отказываться. Мы сдѣлаемъ это въ немногихъ словахъ.

Среда, къ которой принадлежитъ Михайло Лунинъ, допускаетъ, какъ мы видѣли, весьма значительное умственное и нравственное развитіе личности. вмѣстѣ съ тѣмъ, она ставитъ принадлежащаго къ ней человѣка въ отрицательное отношеніе къ окружающей его дѣйствительности. Она будитъ въ немъ духъ протеста и жажду борьбы за лучшее будущее, за жизнь по-«человѣчѣму». Она «снизу вверхъ» подводитъ рабочаго къ тѣмъ же вопросамъ, къ которымъ сверху внизъ подошла наша интеллигенція. А разъ возникаютъ въ головѣ рабочихъ эти великіе вопросы, то можно сказать, что въ странѣ уже начинается историческое движеніе, способное вдохновить самаго великаго художника.

«Я съ давнихъ поръ считаю,—говоритъ Лассаль,—высочайшей задачей исторической, а вмѣстѣ съ нею и всякой другой трагедіи изображеніе великихъ культурно-историческихъ процессовъ различныхъ временъ и народовъ, въ особенности же своего времени и своего народа. Она должна сдѣлать своимъ содержаніемъ, своей душой великія культурныя

мысли и борьбу подобных поворотных эпохъ. Въ такой драмѣ рѣчь шла бы уже не объ отдѣльных лицахъ, являющихся лишь носителями и воплощеніемъ этихъ глубочайшихъ, враждебныхъ между собой противоположностей общественнаго духа, но именно о важнѣйшихъ судьбахъ націи,—судьбахъ, сдѣлавшихся вопросомъ жизни для дѣйствующихъ лицъ драмы, которыя борются за нихъ со всей разрушительной страстью, порождаемой великими историческими цѣлями... Передъ величіемъ подобныхъ всемірно-историческихъ цѣлей и порождаемыхъ ими страстей блѣднѣетъ всякое возможное содержаніе трагедіи индивидуальной судьбы».

То, что Лассаль говоритъ о трагедіи, можно сказать о беллетристикѣ вообще и о нашей беллетристикѣ въ особенности.

Нашимъ народникамъ-беллетристамъ стоило бы только понять смыслъ нашей поворотной эпохи, чтобы придать своимъ произведеніямъ высокое общественное и литературное значеніе.

Но для этого, конечно, нужно умѣть покончить со всѣми предрасудками народничества. И это, право, давно пора сдѣлать. Народничество, какъ литературное направленіе, естественно возникло изъ стремленія нашего образованнаго разночинца выяснить себѣ весь складъ народной жизни. Народничество, какъ общественное ученіе, было отвѣтомъ на вопросъ: что можетъ разночинецъ сдѣлать для народа? Но при неразвитости русскихъ общественныхъ отношеній и при плохомъ знакомствѣ разночинца съ западнымъ рабочимъ движеніемъ, этотъ отвѣтъ не могъ быть правильнымъ. Дальнѣйшее знакомство съ нашей народной жизнью съ поразительной ясностью обнаружило всю его несостоятельность. Оно же показываетъ, въ какомъ направленіи нужно искать правильнаго отвѣта. Мы знаемъ, что «остановить шествіе цивилизаціи» мы не можемъ. Остается, значить, сдѣлать само это «шествіе» средствомъ дальнѣйшаго развитія.

«Цивилизація» ведетъ къ образованію въ крестьянской средѣ двухъ новыхъ сословій, третьяго и четвертаго, т. е. буржуазіи и пролетаріата. Вмѣстѣ съ этимъ, въ ней возникаетъ та непримиримая противоположность интересовъ, при которой немислимъ никакой застой. Нашъ образованный разночинецъ долженъ примкнуть къ начинающемуся историческому движенію, стать на точку зрѣнія интересовъ пролетаріата. Этимъ онъ сразу разрѣшитъ всѣ противорѣчія своего двусмысленнаго промежуточнаго положенія между народомъ и высшими классами.

Вотъ вамъ и выходъ, да еще какой! Иванъ Ермолаевичъ только зѣвалъ, когда Гл. Успенскій пытался просвѣтить его, какъ умѣлъ. Мало того, самъ Успенскій признаетъ, что Иванъ Ермолаевичъ только по добродушію своему не представлялъ его къ начальству. Но рядомъ съ Иваномъ Ермолаевичемъ въ средѣ русскаго народа появляются новые люди, которые жадно стремятся къ свѣту и образованію. Они говорятъ ни-

талантливымъ разночинцамъ: «Если вы даже станете насъ бить, мы все-таки станемъ васъ слушать». Учите же ихъ, организуйте, поддерживайте ихъ въ борьбѣ и знайте, что въ этомъ и ваше, и ихъ спасеніе.

Гл. Успенскій не разъ высказывалъ ту мысль, что какъ только крестьянинъ выходитъ изъ-подъ «власти земли», то онъ тотчасъ же развращается. Повѣсть «Снизу вверхъ» показываетъ, что Гл. Успенскій ошибался, а сказанное выше относительно неясности его понятій объ «условіяхъ земледѣльческаго труда» легко объяснить намъ,—откуда произошла его ошибка.

Не обративъ должнаго вниманія на способность условій земледѣльческаго и всякаго другого труда къ измѣненію, онъ естественно сталъ считать тотъ нравственный *habitus*, который создается современными русскими условіями земледѣльческаго труда, какою-то единоспасающею нравственностью. Онъ забылъ о томъ, что кромѣ земледѣльческаго труда въ Россіи есть трудъ промышленный, кромѣ людей, находящихся подъ «властью земли», есть люди, работающіе съ помощью *машинъ*. Промышленный трудъ кладетъ такую же замѣтную печать на рабочаго, какъ земледѣльческій трудъ на крестьянина. Имъ обуславливаются весь складъ жизни, всѣ понятія и привычки рабочаго человѣка; но такъ какъ крупная промышленность соответствуетъ гораздо болѣе высокой степени экономического развитія, то неудивительно, что и нравственность промышленнаго работника-пролетарія шире нравственности крестьянской.

Оплакивая пришествіе къ намъ «цивилизациі», Гл. Успенскій вполне уподобился тѣмъ социалистамъ-утопистамъ, которые, по замѣчанію Маркса, видѣли въ злѣ только зло и не замѣчали его разрушительной стороны, которая низвергнетъ старые порядки. По неотвратимой логикѣ вещей, создаваемые «цивилизацией» новые люди будутъ самыми надежными служителями русскаго прогресса ¹⁾.

Эти новые люди совсѣмъ не похожи ни на ассирійскихъ, ни на рос-

¹⁾ Статья эта была уже написана, когда намъ попалась мартовская книжка „Русской Мысли“ за 1888 годъ, и мы прочитали въ ней письмо Успенскаго въ „общество любителей россійской словесности“. Въ этомъ письмѣ онъ сообщаетъ, что по поводу двадцатипятилѣтія его литературной дѣятельности онъ получилъ письменное выраженіе сочувствія отъ 15-ти рабочихъ. Благодаря названное общество за избраніе его въ члены, Успенскій говоритъ: „Я не могу съ своей стороны ни чѣмъ инымъ привѣтствовать его, какъ только радостнымъ указаніемъ на эти массы новаго *вредущаго* читателя, новаго, свѣжаго „любителя словесности“.—Но съ какой стороны „грядетъ“ этотъ „свѣжій читатель“, приходитъ ли онъ изъ деревни или съ фабрики? И если съ фабрики, то не доказываетъ ли это ошибочности взглядовъ Успенскаго, который не только всѣхъ фабричныхъ рабочихъ, но даже и всю интеллигенцію хотѣлъ бы превратить въ Ивана въ Ермолаевича? Какъ думалъ Гл. Успенскій, сильно ли сочувствуетъ Иванъ Ермолаевичъ его литературной дѣятельности?

сійскихъ Ивановъ Ермолаевичей. Ни Михайло Лунинъ, ни Омичъ, ни даже несчастный, изломанный жизнью Вороновъ не станутъ зѣвать при разговорѣ, касающемся общественной жизни. Русская критика должна была бы выяснить все это беллетристамъ. Но бѣда въ томъ, что наши передовые критики сами стояли на народнической точкѣ зрѣнія. Общественныя ученія Запада кажутся имъ или совершенно непримѣнными въ Россіи, или примѣнными лишь въ урѣзанномъ, искаженномъ, обезцвѣченномъ, такъ сказать, *православномъ* видѣ. Мы очень цѣнимъ всю чистоту намѣреній нашихъ «передовыхъ» критиковъ. Но когда мы читаемъ ихъ статьи, то намъ нерѣдко вспоминаются слова Грибоѣдова:

Какъ посмотрѣть, да посравнить
Вѣкъ нынѣшній и вѣкъ минувшій,
Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ.

Вѣдь было же время (и какъ недавно было оно!), когда наша критика ни на шагъ не отставала отъ западно-европейской мысли. Вѣдь былъ же у насъ Бѣлинскій, былъ «Современникъ». Тогда наши критики не боялись обвиненія въ западничествѣ, а теперь они ударились въ самобытность. Теперь попробуйте указать имъ на Маркса, какъ на такое ученіе, которое поможетъ намъ распутать путаницу русской жизни. Они осмѣютъ васъ, какъ сумасброда и фантазера. Они скажутъ, что ученіе Маркса не можетъ привиться на русской почвѣ. Но что же такое марксизмъ, какъ не новая фаза того самаго умственного движенія, которому мы обязаны Бѣлинскимъ? Неужели то, что было примѣнимо къ намъ въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, могло стать непримѣнимымъ въ настоящее время?

Но мы напередъ знаемъ всѣ возраженія нашихъ народниковъ. Много ли у насъ рабочихъ?—постоянно твердятъ они намъ. Много, господа, гораздо больше, чѣмъ вы думаете! Въ этомъ случаѣ можно безъ всякаго преувеличенія сказать словами евангелія: «Жатва велика, а жнецовъ мало». Спросъ гораздо больше предложенія, стремящихся къ свѣту рабочихъ гораздо больше, чѣмъ образованныхъ разночинцевъ, могущихъ нести имъ свѣтъ!

Вамъ все кажется, что мы страшно преувеличиваемъ развитіе капитализма въ Россіи. Вы думаете, что мы подходимъ къ этому вопросу съ предвзятымъ мнѣніемъ. Послушайте человѣка, чуждаго всякихъ «лжеученій», послушайте профессора Менделѣева. «Говорится такъ,—разсуждаетъ знаменитый химикъ,—изъ 100 милліоновъ только 10 живутъ у насъ по городамъ, и эти потребляютъ не Богъ вѣсть что. Остальные 90 милліоновъ довольствуются своими домашними продуктами, и всѣ ихъ стремленія составляютъ хлѣбъ, изба, топливо, подати—ничего имъ заводскаго и фабричнаго не надо. Тутъ ошибка и заднее число. Было такъ когда-то, еще недавно; но теперь уже не такъ, и скоро всѣмъ станетъ ясно, что

такъ и оставаться не можетъ... Россія пришла уже въ состояніе, изъ котораго исходъ въ правильную сторону цивилизаціи только одинъ и есть, а именно въ развитіи фабрично-заводской промышленности»¹⁾).

Но если это такъ, то я въ культурномъ отношеніи исходъ одинъ; онъ состоитъ въ развитіи самосознанія тѣхъ производителей, которые выдвигаются съ появленіемъ фабрично-заводской промышленности.

СТАТЬЯ Ш.

С. КАРОНИНЪ.

I.

Прошло уже около десяти—если не десять лѣтъ²⁾—съ тѣхъ поръ, какъ произведенія Каронина стали появляться въ лучшихъ нашихъ журналахъ. Его имя хорошо извѣстно читающей публикѣ. Но говорятъ о немъ мало какъ въ публикѣ, такъ и въ литературѣ. Его читаютъ, но рѣдко перечитываютъ.

Это плохой признакъ.

Это показываетъ, что г. Каронинъ по той или другой причинѣ не умѣлъ затронуть за живое своихъ читателей.

Но при этомъ нужно замѣтить, что въ той сравнительно немногочисленной публикѣ, которая не забываетъ объ его разсказахъ тотчасъ по ихъ прочтеніи, существуютъ самые различные взгляды на его дарованіе. Одни признаютъ въ немъ талантъ, и даже талантъ недюжинный. Другіе утверждаютъ, что у него есть только слабое подобіе таланта, дальнѣйшему развитію котораго мѣшаетъ будто бы ложная, искусственная манера автора. Это уже хорошій признакъ. Онъ наводитъ на мысль о томъ, что г. Каронинъ обладаетъ, по крайней мѣрѣ, нѣкоторою оригинальностью. Люди, лишеныя оригинальности, обыкновенно угождаютъ всѣмъ безразлично или всѣми безразлично осуждаются. Посмотримъ же, не обманываетъ ли насъ этотъ признакъ, и точно ли г. Каронинъ можетъ назваться оригинальнымъ писателемъ.

Г. Каронинъ принадлежитъ къ народническому лагерю нашей литературы. Въ его очеркахъ и разсказахъ главное мѣсто отводится крестьянской жизни. Онъ смотритъ на эту жизнь съ народнической точки зрѣнія и готовъ, при случаѣ, восторгаться «стройностью» крестьянскаго міросозерцанія. Онъ и восторгается ею въ нѣкоторыхъ своихъ произведеніяхъ. Но такія произведенія стоятъ одиноко.

¹⁾ Письма о заводахъ, „Новь“ 1885 г., № 10, стр. 246, № 21, стр. 34—35.

²⁾ Писано въ концѣ 1889 года.

Въ огромнѣйшемъ большинствѣ случаевъ г. Каронинъ описываетъ явчѣто совсѣмъ противоположное «стройности» названнаго міросозерцанія, а именно, ту путаницу, тотъ хаосъ, которые вносятся въ него новыми условіями деревенской жизни.

«Воздухъ, небо и земля остались въ деревнѣ тѣ же, какими были сотни лѣтъ назадъ, — говоритъ онъ въ своемъ разсказѣ «Деревенскіе нервы». — И такъ же росла на улицѣ трава, по огородамъ полынъ, по полямъ хлѣба, какіе только производила деревня, проливая потъ на землю. Время начево не измѣнило въ природѣ, окружающей съ испоконъ вѣковъ деревню. Все по-старому. Только люди, видимо, уже не тѣ: измѣнились ихъ отношенія другъ къ другу и къ окружающимъ—воздуху, солнцу, землѣ. Не проходило мѣсяца, чтобъ жители не были взволнованы какой-нибудь перемѣной или какимъ-нибудь событіемъ, совершенно идущимъ вразрѣзъ со всѣмъ тѣмъ, что помнили древнѣйшіе старики въ деревнѣ».

«Не бывало этого», «старики не помнят!»—говорили чужь ли не въждомѣсячно про такое происшествіе. Да и нельзя помнить «того, чего на самомъ дѣлѣ никогда не было». Это появленіе въ деревнѣ «того, чего никогда не было», какъ въ зеркалѣ отражается въ очеркахъ и разсказахъ г. Каронина. Они представляютъ собой настоящую лѣтопись историческаго процесса перерожденія русскаго крестьянства. Огромное значеніе этого процесса понятно само собою. Отъ него зависитъ весь дальнѣйшій ходъ нашего общественнаго развитія, потому что подъ его вліяніемъ измѣняются всѣ основы нашего общественнаго зданія, все частіачное строеніе нашего общественнаго тѣла.

Оригинальность г. Каронина въ томъ и заключается, что онъ, несмотря на всѣ свои народническіе пристрастія и предрассудки, взялся за изображеніе именно тѣхъ сторонъ нашей народной жизни, отъ столкновенія съ которыми разлетятся и уже разлетаются впрахъ всѣ «идеалы» народниковъ. Онъ долженъ былъ обладать сильно развитымъ художественнымъ инстинктомъ, долженъ былъ очень внимательно прислушиваться къ требованіямъ художественной правды, для того, чтобы, не смущаясь соботвенною непослѣдовательностью, опровергать въ качествѣ беллетриста все то, что самъ же онъ, навѣрное, горячо защищалъ бы на почвѣ публицистики. Если бы г. Каронинъ менѣе заботился о художественной правдѣ, то онъ давно уже могъ бы пожать, конечно, очень дешевые, но зато очень многочисленныя лавры, предаваясь какимъ-нибудь кислосладкимъ изображеніямъ исконныхъ, вѣковыхъ добродѣтелей крестьянъ-общинниковъ. Отъ этого много потеряло бы достоинство его сочиненій, но на нѣкоторое время много выиграла бы его литературная репутация.

Читатели-народники обратили бы на него благосклонное вниманіе. О немъ стали бы говорить, его стали бы разбирать въ печати, на него стали бы ссылаться... Извѣстно, что читатель-народникъ не любитъ

«искусства для искусства». На литературу, какъ и на жизнь, онъ смотритъ съ точки зрѣнія знаменитыхъ «устоевъ», которые онъ считаетъ несокрушимыми и непреоборимыми. Берясь за книгу, онъ прежде всего требуетъ, чтобы она изобразила ему церемониальное шествіе «устоевъ». Если онъ не находитъ въ ней искомага, онъ оставляетъ ее безъ вниманія. Газетныя извѣстія, статистическія данныя, доводы экономистовъ и указанія историковъ принимаются имъ къ свѣдѣнію лишь въ той мѣрѣ, въ какой они подтверждаютъ излюбленное ученіе. Нигдѣ, за исключеніемъ Германіи, не читаютъ Маркса больше, чѣмъ въ Россіи. А между тѣмъ въ Россіи его хуже всего понимаютъ.

Отчего это происходитъ?

Оттого, что и Маркса мы цѣнимъ лишь съ точки зрѣнія «устоевъ», а такъ какъ цѣнить его съ этой точки зрѣнія значитъ ничего въ немъ не видѣть, то результатъ понятенъ. Совершенно также относится читатель-народникъ и къ беллетристикѣ, по крайней мѣрѣ, къ той, которая изображаетъ народную жизнь. Онъ твердо убѣжденъ, что такая беллетристика должна дать ему лишній случай поблагодарить исторію за счастливую самобытность русскаго народа.

Сочиненія же, не оправдывающія такого довѣрія, оставляются имъ безъ вниманія. Этимъ въ значительной степени объясняется равнодушіе нашихъ народниковъ къ произведеніямъ г. Каронина. Правда, сочиненія другихъ беллетристовъ-народниковъ также не всегда подходятъ подъ указанную мѣрку.

Въ нихъ также рисуется довольно яркая картина разложенія «устоевъ». Но все дѣло въ степени. Не подлежитъ сомнѣнію, что никто не заходилъ въ этомъ отношеніи такъ далеко, никто не возвращался къ этому предмету такъ настойчиво и такъ часто, какъ г. Каронинъ. А это много значитъ въ глазахъ нашей «интеллигенціи», изъ которой состоитъ главный контингентъ читателей народнической беллетристики.

Мы помнимъ, какъ вознегодовали на Гл. Успенскаго народники во второй половинѣ семидесятыхъ годовъ, когда его очерки деревенской жизни пошли было слишкомъ вразрѣзъ съ общимъ народническимъ настроеніемъ. Литературная репутація Гл. И. Успенскаго къ тому времени совершенно установилась, игнорировать его огромный талантъ не было никакой возможности. Но мы все-таки увѣрены, что если бы не поправила дѣла знаменитая «власть земли», то произведенія Гл. И. Успенскаго читались бы теперь далеко не съ тѣмъ интересомъ, съ какимъ они читаются. При томъ же Успенскій, подобно большинству своихъ товарищей по перу и по направленію, настолько же публицистъ, насколько и беллетристъ. Онъ не только изображаетъ,—онъ и рассуждаетъ по поводу изображаемаго, и своими публицистическими рассужденіями онъ заглаживаетъ впечатлѣніе, производимое его беллетристическими изображеніями.

Каронинъ не имѣть этой привычки. Онъ предоставляетъ разсуждать самимъ читателямъ. Въ его сочиненіяхъ публицистъ не спѣшитъ на помощь беллетристу и поучительной надписью не возбуждаетъ вниманія зрителей къ картинѣ, содержаніе которой оставляетъ ихъ безучастными.

Каронина могъ бы выручить только огромный талантъ.

Огромный талантъ заставляетъ внимать себѣ даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда идетъ наперекоръ всѣмъ установившимся привычкамъ и всѣмъ самымъ дорогимъ взглядамъ публики. Но такого таланта у г. Каронина нѣтъ. Объемъ его дарованія невеликъ. Его навѣрное не хватило бы на большое, законченное произведеніе. Дальше повѣсти г. Каронинъ не пойдетъ, даже съ повѣстью онъ не всегда справляется, въ особенности, когда даетъ въ ней ходъ своимъ народническимъ пристрастіямъ, какъ онъ сдѣлалъ въ повѣсти «Мой міръ». Его область—небольшіе очерки и рассказы, и притомъ очерки и рассказы изъ народнаго быта. Произведенія, не затрагивающія этого быта,—каковы, напримѣръ: «Бебе», «Грязевъ», «Бабочкинъ»—недурны, а нѣкоторыя даже положительно хороши, но и только. Въ нихъ нѣтъ ничего оригинальнаго. Наоборотъ, большинство его рассказовъ изъ *народной* жизни отличается, какъ мы уже сказали, именно оригинальностью. Вообще въ этой области у г. Каронина есть все, что нужно для того, чтобы занять весьма почетное мѣсто въ современной русской беллетристикѣ. Серьезная критика всегда отдастъ должное г. Каронину: у него есть умъ, наблюдательность, здоровый, увѣсистый юморъ, теплое, сердечное отношеніе къ изображаемой средѣ и замѣчательное умѣніе хорошо обрисовать ея наиболѣе выдающіяся стороны. Правда, намъ приходилось иногда слышать обвиненія г. Каронина въ томъ, что сдѣланныя имъ изображенія будто бы совсѣмъ не вѣрны дѣйствительности. Въ особенности много нападали на г. Каронина за его повѣсть «Снизу вверхъ».

Многіе читатели до сихъ поръ пресерьезно убѣждены, что такіе рабочіе, какъ Өмичъ или Михайло Лунинъ (дѣйствующія лица названной повѣсти) представляютъ собою не болѣе, какъ продуктъ необузданной и тенденціозной фантазіи автора. Существованіе подобныхъ рабочихъ въ современной нашей дѣйствительной жизни кажется такимъ читателямъ совершенно невозможнымъ. Прислушиваясь къ ихъ нападкамъ, человекъ, незнакомый съ бытомъ нашихъ заводскихъ рабочихъ крупныхъ городскихъ центровъ, могъ бы, пожалуй, подумать, что въ лицѣ г. Каронина народническая беллетристика входитъ въ новый, такъ сказать, романтический періодъ своего развитія и что названный авторъ съ такою же безцеремонностью превращаетъ русскихъ рабочихъ въ парижскихъ ouvriers, съ какою Марлинскій превращалъ когда-то нашихъ офицеровъ въ героевъ мелодрамы. Но если вы спросите, на чемъ же собственно основываются эти обвиненія, то не получите и тѣни удовлетворительнаго

отвѣта. Тогда, навѣрное, окажется, что обвинители совѣмъ не знаютъ среды, о которой идетъ рѣчь въ повѣсти «Снизу вверхъ», и уже по одному этому не могутъ быть компетентными критиками этой повѣсти. «Не бывало этого!» «старика не помнить»—вотъ къ чему, въ сущности, сводятся всѣ доводы обвинителей. Эти добрые люди и не подозрѣваютъ, что авторитетные въ ихъ глазахъ «старики» вообще очень многого «не помнить», такъ какъ закрывавшая ихъ глаза повязка предвзятыхъ мнѣній мѣшала имъ видѣть окружающую ихъ дѣйствительность.

Просимъ замѣтить, что мы вовсе не намѣрены выдавать очерки и рассказы г. Каронина за образцовыя художественныя произведенія. До этого имъ далеко, какъ, впрочемъ, далеко произведеніямъ всѣхъ нашихъ беллетристовъ-народниковъ. Во всѣхъ произведеніяхъ этого направленія эстетическая критика можетъ указать множество недостатковъ.

Всѣ они немножко угловаты, немножко неприбраны, немножко растрепаны, немножко непричесаны. Этихъ общихъ недостатковъ совѣмъ не чужды и рассказы г. Каронина.

Укажемъ хоть на языкъ.

По словамъ нашего автора, одинъ изъ героевъ (именно Өмичъ) «загибалъ» иногда въ разговорѣ такую «корягу», что послѣ и самому стыдно становилось. Совершенно такія же «коряги» случается загибать и г. Каронину, и если самъ онъ мало смущается такими случаями, то онѣ, тѣмъ не менѣе, вполне способны привести въ конфузю иную пріятную во всѣхъ отношеніяхъ читательницу. На этотъ счетъ нечего грѣха таить: языкъ у г. Каронина самый разночинскій. И со всѣмъ тѣмъ, посмотрите, какъ много мѣстами выразительности въ этомъ грубоватомъ разночинскомъ языкѣ, въ которомъ образность соединяется съ совершенно непринужденнымъ лаконизмомъ. Временами одно выраженіе, одинъ глаголъ, напримѣръ, «поползла жизнь», или: «тогда онъ даже очень удачно колотился» замѣняетъ цѣлую характеристику. Неужели это не достоинство? И неужели въ виду такого достоинства нельзя забыть о «корягахъ»?

Наконецъ, повторяемъ, главное достоинство очерковъ и рассказовъ г. Каронина заключается въ томъ, что въ нихъ отразился важнѣйшій изъ нашихъ современныхъ общественныхъ процессовъ: разложеніе старыхъ деревенскихъ порядковъ, исчезновеніе крестьянской непосредственности, выходъ народа изъ дѣтскаго періода его развитія, появленіе у него новыхъ чувствъ, новыхъ взглядовъ на вещи и новыхъ умственныхъ потребностей. Дюжинный поставщикъ беллетристическихъ издѣлій никогда не попалъ бы на столь глубокую и благодарную тему.

II.

Если читатель желаетъ поближе ознакомиться съ указаннымъ процессомъ, то мы приглашаемъ его припомнить, вмѣстѣ съ нами, содержаніе

вѣкоторыхъ изъ произведеній г. Каронина. Такъ какъ время появленія ихъ въ печати не имѣетъ для насъ никакого значенія, то мы можемъ не стѣсняться хронологіей.

Начнемъ съ разсказа «Послѣдній приходъ Демы».

Деревенскій сходъ. Всѣ присутствующіе на немъ обыватели села Парашкина находятся въ страшномъ волненіи. Они спорятъ, кричатъ, ругаются.

Вслушиваясь въ ихъ сбивчивыя, безсвязныя рѣчи, нельзя даже и представить себѣ, что взгляды этихъ людей могли когда-то поражать господъ народниковъ своей «стройностью».

Впрочемъ, дѣло объясняется очень просто. Парашкинцы растерялись. Въ ихъ деревнѣ все чаще и чаще начинаютъ происходить странныя вещи. Нежданно-негаданно то одинъ, то другой общинникъ, являясь на сходку, рѣшительно заявляетъ, что не хочетъ больше заниматься земледѣліемъ и проситъ снять съ него «души».

Его стыдятъ, бранятъ, увѣщываютъ, но онъ упрямо стоитъ на своемъ, и парашкинцамъ, въ концѣ концовъ, приходится одаться. Уже много было подобныхъ случаевъ въ деревнѣ Парашкинѣ. «Петръ Безпаловъ—разъ? Потаповъ—два? Климъ Дальній—три?—высчитываютъ парашкинцы.—Кто еще? А Карюшка-то Савинъ—четыре? Семень Бѣлый... это который? пять! Семень Черный—шесть... ихъ не перечесть... Ахъ, вы, голоштанники... Кочевые народы!» Какъ тутъ не волноваться парашкинцамъ? Вопросъ о кочевыхъ народахъ принимаетъ въ ихъ глазахъ видъ совершенно неразрѣшимой финансовой задачи. «Я хозяйство брошу, другой броситъ, третій,—гремятъ деревенскіе ораторы,—бѣжимъ всѣ, ищи насъ, свищи, кто-жъ останется-то?.. *Кто будетъ платить*, ежели мы всѣ въ бѣга? а? кто?» Въ тотъ день, о которомъ идетъ рѣчь въ разсказѣ, этимъ роковымъ вопросомъ старались привести въ разсудокъ крестьянина Дему, рѣшившаго перейти въ «кочевое» состояніе. Какъ ни смиренъ былъ Дема, но и онъ остался непоколебимъ, подобно своимъ предшественникамъ. Парашкинцамъ волей-неволей пришлось еще разъ уступить и помириться съ мыслью о томъ, что въ его лицѣ община теряетъ еще одного члена.

Съ тяжелымъ сердцемъ разошлись они по домамъ.

«Бывали ли прежде подобные случаи? Слыхано ли было когда-нибудь, чтобы парашкинцы только и думали, какъ бы наплевать другъ на друга и разбѣжаться въ разныя стороны?»—спрашиваетъ авторъ. Не было этого, и парашкинцы объ этомъ не слыхали,—отвѣчаетъ онъ.

«Прежде ихъ гнали съ насиженнаго мѣста, а они возвращались назадъ; ихъ столкнуть, а глядишь—они опять лѣзутъ въ то мѣсто, откуда ихъ вытурили!»

«Прошло это время. Нынче парашкинецъ бѣжитъ, не думая возвра-

паться; онъ радъ, что выбрался по-добрѣ, по-здорову. Онъ часто уходитъ за тѣмъ, чтобы только уйти, провалиться. Ему тошно оставаться дома, въ деревнѣ; ему нуженъ какой-нибудь выходъ, хоть въ родъ проруби, какую дѣлаютъ зимой для ловли задыхающей рыбы». Въ немногихъ словахъ рассказанная авторомъ исторія Дема прекрасно показываетъ, какимъ образомъ возникаетъ, зрѣеть и наконецъ становится непреодолимымъ это стремленіе земледѣльца уйти изъ-подъ «власти земли», на которой сотни лѣтъ жили его предки, даже не помышляя о томъ, что для людей ихъ званія возможенъ какой-нибудь другой родъ жизни. Было время, когда Дема безотлучно жилъ въ деревнѣ и вообще употреблялъ всѣ усилія для того, чтобы оставаться «настоящимъ» крестьяниномъ. Но эти усилія были напрасны.

Экономическое положеніе парашкинцевъ было вообще очень шатко.

При отмѣнѣ крѣпостного права имъ отрѣзали въ надѣлъ «болотца». Такимъ образомъ, въ примѣненіи къ парашкинцамъ, рѣчь могла бы уже идти не о «власти земли»,—о которой идетъ рѣчь у Г. И. Успенскаго,—а развѣ лишь о власти «болотцевъ».

Власть «болотцевъ» не можетъ быть прочной. Вдобавокъ, награжденные болотцами парашкинцы обременены были ни съ чѣмъ несообразными податными тягостями.

При такомъ положеніи дѣлъ достаточно было нѣсколькихъ неурожайныхъ годовъ, падежа скота, или чего-нибудь подобнаго, чтобы окончательно выбить ихъ изъ равновѣсія.

Разумѣется, подобнаго рода напасти—повидимому, случайныя, но въ сущности вызываемыя хозяйственной несостоятельностью крестьянъ—не заставили себя долго ждать въ Парашкинѣ. Тогда парашкинцы стали покидать деревню. «Бѣжали и кучками и въ одиночку». Вмѣстѣ съ другими бѣжалъ и Дема. Иногда онъ возвращался домой, но нужда тотчасъ же снова гнала его вонъ, на заработки. Вообще связь его съ деревней стала, какъ выражается авторъ, двусмысленной. «Первое время, послѣ ухода изъ деревни, Дема употребилъ на то, чтобы наѣсться. Онъ былъ прожорливъ, потому что очень отощалъ у себя дома. Тѣ же деньги, которыя оставались у него отъ расходовъ на прокормленіе, онъ пропивалъ»...

«Дема сперва очередь доволенъ былъ жизнью, которую онъ велъ. Онъ вдохнулъ свободнѣе. Удивительна, конечно, свобода, состоящая въ возможности переходить съ мѣста на мѣсто по годовому паспорту, но по крайней мѣрѣ ему не за чѣмъ было нить съ утра до ночи, какъ это онъ дѣлалъ въ деревнѣ. Пища его тоже улучшилась, т. е. онъ былъ увѣренъ, что и завтра будетъ ѣсть, тогда какъ дома онъ не могъ предсказать этого». Тѣмъ не менѣе, временами на него нападала невыносимая тоска по деревнѣ. У него являлось страстное желаніе побывать тамъ. «Но лишь только Дема показывался въ деревню, его сразу обдавало холодомъ. Че-

резь въ некоторое время... онъ видѣлъ, что дѣлать ему здѣсь нечего и оставаться нельзя. Такимъ образомъ, поколотившись дома съ мѣсяцъ, онъ уходилъ снова бродяжить. Съ теченіемъ времени его появленія въ деревнѣ дѣлались все рѣже и рѣже. Его уже не влекло сюда съ такой силой, какъ прежде, въ началѣ его кочевой жизни»...

А потомъ пришло такое время, когда деревня опостылѣла Демѣ.

«Являясь туда, онъ не звалъ — какъ убраться назадъ; по приходѣ домой онъ не находилъ себѣ мѣста. На него разомъ наваливалось все, отъ чего онъ бѣжалъ; мигомъ онъ погружался въ обстановку, въ которой онъ раньше задыхался. Какъ ни жалки были условія его фабричной жизни, но, сравнивая ихъ съ тѣми, среди которыхъ онъ принужденъ былъ жить въ деревнѣ, онъ приходилъ къ заключенію, что жить на міру нѣтъ никакой возможности... Въ деревни Дему, по крайней мѣрѣ, никто не смѣлъ тронуть, и то мѣсто, гдѣ ему было не подъ силу и гдѣ ему не нравилось, онъ могъ оставить; а изъ деревни нельзя было уйти во всякое время... Но важнѣе всего: внѣ деревни его не оскорбляли, деревня же предлагала ему рядъ самыхъ унижительныхъ оскорбленій. Страдало человѣческое достоинство, проснувшееся отъ сопоставленія двухъ жизней, а деревня для Демы, въ его представленіяхъ, стала мѣстомъ мученія. Онъ бессознательно сталъ къ ней питать недоброе чувство. И чувство это росло и крѣпло». Демѣ оставалось только развязаться какъ-нибудь съ надѣломъ, чтобы связь его съ деревней порвалась, наконецъ, навсегда. Хотя онъ и продолжалъ еще числиться общинникомъ, но крестьянникомъ его можно было бы назвать развѣ только въ смыслѣ *сословія*. Смѣшно было бы и заикаться о «стройности» его земледѣльческихъ «идеаловъ». Такихъ идеаловъ у него уже совсѣмъ не имѣлось.

«Въ немъ произошло полное разрушеніе старыхъ понятій и желаній, съ которыми онъ жилъ въ деревнѣ».

II, однако, такъ велика сила привычки, что, когда Дема явился въ послѣдній разъ домой, у него зашевелилось сожалѣніе о своемъ старомъ крестьянскомъ житьѣ-бытьѣ. «Разъ ты ушелъ, хозяйство забросилъ и ужъ ты не вернешься»,—грустно говорилъ онъ, сидя въ компаніи такихъ же, какъ онъ, «кочевыхъ народовъ», собиравшихся на другой день уходить на заработки.

Такое же чувство испытывали и всѣ его собесѣдники. Но всѣ они понимали, что судьба ихъ рѣшена безповоротно, и потому только сердились на Дему за его бесполезныя сожалѣнія. «И не надо»,—угрюмо возразилъ Потаповъ въ отвѣтъ на ту мысль Демы, что «ужъ обратно пути тебѣ нѣту».

— Какъ не надо? Домой-то!—удивился Дема.

— Такъ и не надо. Будеть! Меня арканомъ сюда не затащишь, больно ужъ неспособно.

— Ну, все же домишка-то жалко, ежели онъ еще разваливается,— замѣтилъ Петръ Безпаловъ.

— И пушай его разваливается. Сытости въ немъ нѣтъ, потому что онъ гнилой!—сострилъ Климъ Дальній, но ему никто не сочувствовалъ.

— Про то-то я и говорю: ушелъ ты и хозяйство прахомъ,—настаивала Дема, въ головѣ котораго, повидимому, безотлучно сидѣла мысль о конечномъ его разореніи.

— Кто же этого не знаетъ?—съ неудовольствіемъ заговорилъ Кирюшка Савинъ, возмущившійся тоскливымъ однообразіемъ разговора.—И что ты наладилъ: ушелъ, ушелъ! Словно безъ тебя не знаемъ! Тоска одна.

Неожиданная смерть давно уже, впрочемъ, «лежавшей пластомъ» жены Демы замедлила его уходъ лишь на то короткое время, которое потребовалось для похоронъ. На другой же день послѣ погребенія, рано утромъ, «кочевые народы» двинулись въ путь.

— Приходи повидаться-то, — сдержанно выговорила старуха-мать Демы, старавшаяся не выказать своего волненія.

— А можетъ и не свидимся,—задумчиво отвѣчалъ онъ.

За Демой послѣдовали другіе. Разложеніе парашкинской общины быстро подвигалось впередъ. Неумолимая сила экономической необходимости гнала крестьянина отъ земли, обращая въ ничто всѣ его земледѣльческія привязанности. Вотъ передъ нами веселый крестьянинъ Минай Осиповъ («Фантастическіе замыслы Миная»). Это величайшій фантазеръ въ мірѣ, своего рода Донъ-Кихоть земледѣлія. «Оглушить» его, какъ выражается авторъ, т. е. показать ему воочию всю безнадежность его хозяйственнаго положенія, было очень трудно. «Онъ какъ будто въ крови отъ прародителей получилъ привычку глядѣть легкомысленно». Хлѣба у него никогда не хватаетъ до новой жатвы, такъ какъ полученныя имъ въ надѣлѣ «болотца» отказываются вознаграждать его трудъ. Скота у него мало, изба совсѣмъ разваливается. Но парашкинскій Донъ-Кихоть не унываетъ. Онъ тѣшитя своими «фантастическими замыслами» относительно будущаго. «Пріѣдетъ онъ съ зимняго извоза, раздѣнется, разуется, ляжетъ на палаты и начинаетъ фантазировать. Придумываетъ онъ тутъ разныя измышленія, высчитываетъ безчисленные счастливые случаи и самъ восхищается своими созданіями... Фантазія его ни передъ чѣмъ не останавливается... Въ концѣ концовъ всегда оказывается, что хлѣба достанетъ и подати будутъ уплачены». Чудеса, на которыя рассчитывалъ Минай въ дѣлѣ поправки своего хозяйства, были двоякаго рода. Одни относились къ области явленій природы, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, а пріурочивались, главнымъ образомъ, къ хорошему урожаю, которымъ, по его соображеніямъ, должны были отплатить за его труды «болотца». Другія—стояли въ тѣсной связи съ его общественными взглядами. Минай

мечталъ то о «черной банкѣ», которая позволить каждому крестьянину прикупить земли сколько его душѣ угодно, то объ еще болѣе отрадномъ событіи, о знаменитомъ черномъ передѣлѣ, который онъ называлъ «придѣломъ». Ему,—изволите ли видѣть,—сказывалъ на базарѣ знакомый мужикъ Захаръ, что «придѣлъ скоро будетъ, ужъ это, говорить, вѣрно... безпремѣнно, говорить». И Минай не только терпѣливо, но даже какъ-то радостно, съ шутками и прибаутками, несъ выпавшій ему на долю крестъ русскаго земледѣльца. Онъ любилъ свой домъ, свою общину и готовъ былъ до конца постоять за первое встрѣтившееся мірское «ащественное дѣло». Но печальная дѣйствительность все-таки нерѣдко брала верхъ надъ его фантазіями. Это случалось съ нимъ чаще всего подъ пьяную руку. «Слышь, Дунька,—кричалъ онъ, возвращаясь домой изъ кабака.—Слышь, Дунька, а хлѣба-то у насъ не будетъ... ни въ единомъ разѣ, ни единственномъ... не будетъ и не будетъ! Хлѣба-то не-е будетъ!» Минай принимался плакать, а жена его, Федосья, старалась поскорѣй уложить его спать.

Такое мрачное настроеніе исчезало, правда, вмѣстѣ съ виновными парами, но исчезало, какъ видно, не безслѣдно. Время отъ времени Минаю приходили мысли, очень плохо вьзавшіяся съ его ролью общинника. Его смущалъ кулакъ Епифанъ Ивановъ или, попросту, Епишка. Этотъ паразитъ нѣкогда былъ самымъ жалкимъ оборванцемъ и торговалъ на городскомъ базарѣ гнилой рыбой. Потомъ ему удалось попасть въ Парашкино, гдѣ онъ открылъ питейное заведеніе и понемногу разжился. Къ тому времени, о которомъ идетъ рѣчь въ очеркѣ г. Каронина, онъ уже совершенно забралъ парашкинцевъ въ свои руки. Его-то прихвѣръ и заставлялъ Миная задумываться.

«Минай часто надолго забывалъ Епишку, но когда ему приходилось жутко, онъ вспоминалъ его. Епишка самъ лѣзъ къ нему, мелькалъ передъ глазами, расшибалъ всѣ старыя его представленія и направлялъ мечты его въ другую сторону. Главное, Епишка во всемъ успѣвалъ; не потому ли онъ успѣвалъ, что никакого «опчисва» у него нѣтъ?»

На этомъ роковомъ для общинныхъ «идеаловъ» объясненіи онъ невольно останавливался все чаще и чаще. «Епишка ни съ чѣмъ не связанъ, Епишка никуда не прикрѣпленъ; Епишка можетъ всюду болтаться.. Были бы только деньги, а въ остальномъ прочемъ ему все тринь-трава... Минай неминуемо приходилъ къ выводу, что для полученія удачи необходимы слѣдующія условія: не имѣть ни сродственникововъ, ни знакомыхъ, ни «опчисва»—жить самому по себѣ. Быть отъ всего оторваннымъ и болтаться, гдѣ хочешь... Для Миная Епишка былъ фактъ, которымъ онъ поражался до глубины души. Сдѣлавъ свой доморощенный выводъ изъ факта, онъ принимался размышлять дальше». «Иногда ему приходило на мысль бѣгствомъ разорвать связывавшія его «ащественныя» путы. «Опчисво» казалось ему врагомъ, отъ котораго надо удрать какъ можно скорѣе. Но и

удрать нелегко было бѣдному фантазеру. Нелегко—по многимъ причинамъ. Во-первыхъ, Епишка былъ не только свободнымъ отъ общественной тяготы человѣкомъ, но еще и человѣкомъ съ деньгами, а именно денегъ-то и не было у нашего героя. Кроме того, Минай прекрасно зналъ, что «опчисво» не такъ-то легко отпускаетъ своихъ членовъ на всѣ четыре стороны. И на какомъ бы мѣстѣ ни садился Минай въ своемъ воображеніи, передъ нимъ всегда мелькаетъ такая картина:

— Минай Осиповъ, здѣсь?

— Я—Минай Осиповъ.

— Ложись...

Это представленіе преслѣдовало его, какъ тѣнь. Куда бы онъ ни леталъ въ своихъ фантастическихъ поѣздкахъ, но, въ концѣ концовъ, онъ соглашался, что его найдутъ, привезутъ и разложатъ.

Одного этого обстоятельства, такъ много говорящаго въ пользу несокрушимости «устоевъ», достаточно было, чтобы замедлить полетъ фантазіи Миная. Наконецъ, давала себя чувствовать также и сильно укоренившаяся привычка къ обществу. «Минай только на минуту забывалъ его. Когда же онъ долго останавливался на какой-нибудь картинѣ одиночной «жисти», его вдругъ охватывала тоска».

«Какъ же это такъ можно?—съ изумленіемъ спрашивалъ онъ себя.— Стало быть, я волкъ? И окромя, стало быть, берлоги мнѣ ужъ некуда будетъ сунуть носа?!» У него не будетъ тогда ни завалинки, на которой онъ по праздникамъ шутки шутить и разговоры разговариваетъ со всѣми парашкинцами, ни схода, на которомъ онъ пламенно оретъ и бушуетъ,—ничего ни будетъ! «Волкъ и есть»,—оканчивалъ свои размышленія Минай. Тоска, понятная только ему одному, охватывала его такъ сильно, что онъ яростно плевалъ на Епишку и ужъ больше не думалъ подражать ему».

Когда люди держатся за данныя общественныя отношенія лишь въ силу старой привычки, между тѣмъ какъ дѣйствительность идетъ вразрѣзъ съ ихъ привычкой, то можно съ увѣренностью сказать, что отношенія эти близятся къ концу. Тѣмъ или другимъ образомъ они будутъ замѣнены новымъ общественнымъ порядкомъ, на почвѣ котораго возникнутъ новыя привычки. Хотя нашъ Донъ-Кихотъ съ ужасомъ думалъ о разрывѣ съ общиной, но, тѣмъ не менѣе, связь его съ нею была уже окончательно порвана. Подъ нею не было никакой реальной основы. «Это только временная узда,—говоритъ Каронинъ. Придетъ время, когда парашкинское общество растаетъ, потому что Епишка недаромъ пришелъ... Онъ знаменуетъ собой пришествіе другого Епишки, множества Епишекъ, которые загаятъ парашкинское общество». Впрочемъ, Минаю пришлось покинуть деревню, не дожидаясь пришествія «множества Епишекъ». Онъ «утекъ» въ городъ, когда у него вышелъ послѣдній, взятый въ долгъ, мѣшокъ муки и когда занимать было уже негдѣ, потому что онъ и безъ того задолжалъ всѣмъ и

каждому. Чтобы обезопасить себя от всяких преслѣдованій со стороны парашкинскаго «опчисва», которое могло бы черезъ посредство администраціи его поймать, привести и «разложить» его въ волостномъ правленіи, Минай долженъ быть вступить въ таинственные переговоры съ писаремъ Семенычемъ, выдавшимъ ему годовой паспортъ. Община, уже неспособная поддерживать благосостоянія своихъ членовъ, могла еще сильно вредить попыткамъ ихъ устроиться на новомъ мѣстѣ.

Въ письмахъ къ женѣ Минай фантазировалъ попрежнему. Онъ увѣрялъ ее, что скоро заработаетъ большія деньги и что они купятъ новую избу и станутъ «жить семейственно съ дѣтками». Но авторъ не говоритъ, сбылись ли эти новые «фантастическіе замыслы» его героя.

III.

Вѣрнѣе всего, что не сбылись, потому что парашкинское общество совсѣмъ исчезло съ лица земли. Исторія его исчезновенія изложена въ разсказѣ *«Какъ и куда они переселились»*. Невозможно передать то невыносимо-тяжелое впечатлѣніе, какое производитъ этотъ разсказъ г. Каролина. Краски такъ черны, что читатель невольно спрашиваетъ себя: неужели здѣсь нѣтъ никакого преувеличенія?

Къ несчастью, преувеличенія нѣтъ, и мы увидимъ, что авторъ ни на шагъ не отступилъ отъ печальной русской дѣйствительности.

Когда мы перечитывали этотъ разсказъ, намъ припомнились слова Шиллера: *Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst*. Увы, къ намъ непримѣнимы эти слова! Печальна наша общественная жизнь и вовсе не весело искусство, служащее ей вѣрнымъ отраженіемъ.

Но вернемся къ нашему предмету. Парашкинское «опчисво» находилось при послѣднемъ издыханіи. Въ несчастной деревнѣ водворилась мерзость запустѣнія.

«Прежде деревня тянулась въ два ряда вдоль рѣки,—читаемъ мы въ разсказѣ,—а теперь остались отъ улицы одни только слѣды. На мѣстѣ большинства избъ виднѣлось пустое пространство, заваленное навозомъ, щепками и мусоромъ и поросшее травой. Кое-гдѣ, вмѣсто избъ,—просто ямы. Нѣсколько десятковъ избъ—вотъ все, что осталось отъ прежней деревни... Поля вокругъ деревни уже не засѣвались сплошь, какъ прежде; во многихъ мѣстахъ желтѣли большія заброшенныя плѣшины; тамъ и сямъ земля покрылась верескомъ», скотъ отошалъ и «едва волочилъ ноги, паршивый, худой, съ ребрами наружу и съ обостренными спинами».

Бѣдные парашкинскіе обыватели прониклись какимъ-то страннымъ равнодушіемъ ко всему окружающему. Они, когда-та съ тревогой и недоумѣніемъ задававшіе себѣ вопросъ,—«кто же будетъ платить, если мы всѣ разбѣжмся?»—теперь забыли и думать объ этомъ роковомъ вопросѣ, хотя онъ не только остался неразрѣшеннымъ, но дѣлался все болѣе и болѣе

неразрѣшимымъ, по мѣрѣ того, какъ суживался кругъ плательщиковъ. На нихъ накопились неоплатныя недоимки, кулакъ Епишка кругомъ запуталъ ихъ въ свои сѣти, у нихъ не было ни хлѣба, ни другихъ запасовъ,— и все это не могло пробить коры овладѣвшаго ими равнодушія. «Они перестали понимать себя и свои нужды, вообще потеряли смыслъ. Существованіе ихъ за это время было просто сказочное. Они и сами не сумѣли бы объяснить сколько-нибудь понятно, чѣмъ они жили». Иногда имъ подвергивались случайно заработки, иногда они ухитрялись находить новыя питательныя вещества въ родѣ отрубей, которыми они раздобылись у мельника Якова, или клевера, который получали отъ помѣщика Петра Петровича Абдулова.

Нѣсколько разъ приходила имъ на помощь земская ссуда, но всего этого, разумѣется, было недостаточно. Парашкинцы голодали. Встревоженное слухами объ ихъ безнадежномъ положеніи, губернское земство нарочно прислало гласнаго, который на мѣстѣ долженъ былъ ознакомиться съ ихъ нуждами. Гласный собралъ парашкинцевъ около волостного правленія и хотѣлъ вступить съ ними въ разговоръ. «Парашкинцы, однако, молчали, и каждое слово надо было вытягивать изъ ихъ устъ».

— Всѣ вы собрались?—спросилъ прежде всего гласный.

Парашкинцы переглянулись, потоптались на своихъ мѣстахъ, но молчали.

— Только васъ и осталось?

— А то сколько же!—грубо отвѣчалъ Иванъ Ивановъ.

— Остальные-то на заработкахъ, что ли?—спросилъ гласный, раздражаясь.

— Остальные-то? Эти ужъ не вернутся... нѣ-ѣтъ! Всѣ мы тутъ.

— Какъ же ваши дѣла? Голодуха?

— Да ужъ надо полагать она самая... Словно какъ бы дѣло выходить на эту точку... стало быть предѣлъ...—отвѣчало нѣсколько голосовъ вяло и апатично...

— И давно такъ?

На этотъ вопросъ за всѣхъ отвѣчалъ Егоръ Панкратовъ.

— Какъ же недавно?—сказалъ онъ.—Съ которыхъ уже это поръ идетъ, а мы все перемогались, все думали, авось пройдетъ, авось Богъ дастъ... Вотъ она, слѣпота-то наша, какая!

— Что же вы, чудаки, молчали?

— То-то она, слѣпота-то, и есть! и т. д.

Впрочемъ, изъ дальнѣйшаго разговора парашкинцевъ съ гласнымъ оказалось, что положеніе ихъ ни мало не измѣнилось бы даже и въ томъ случаѣ, если бы они не молчали.

«А что, ежели спросить вашу милость,—сказали они ему,—насчетъ, будемъ прямо говорить, ссуды... Будетъ намъ ссуда, ай нѣтъ?»—Ничего вамъ не будетъ,—мрачно отвѣтилъ онъ и уѣхалъ».

Его отказъ мало огорчилъ парашкинцевъ. Они уже и не ожидали помощи ни откуда. Повидимому, имъ оставалось только «помирать», какъ вдругъ крестьянинъ Ершовъ неожиданно заговорилъ о переселеніи на новыя мѣста. По его словамъ, онъ зналъ такія благодатныя мѣста, добравшись до которыхъ парашкинцамъ «помирать» не было бы уже никакой надобности. «Перво-на-перво—гѣсь, гущина такая, что просвѣту нѣтъ...—говорилъ онъ послѣ одной сходки,—и земля... сколько душѣ угодно, а наземъ, черноземъ стало быть, косая сажень въ глубину, во-какъ!» Радостно забились отъ этихъ словъ одичавшія сердца парашкинцевъ. Соблазнительная картина тѣхъ мѣстъ, гдѣ «земли сколько угодно», сообщила имъ новую энергію, «прежней апатіи и спокойствія не замѣчалось уже ни на одномъ лицѣ». Ершова окружили со всѣхъ сторонъ и засыпали вопросами.

Главный вопросъ, немедленно возникшій въ ихъ головахъ, заключался въ томъ, отпустить ли ихъ начальство.

— Ловокъ! Уйдешь! Какъ же ты уйдешь, выкрутишься-то какъ отсюда?—кричали Ершову.

— Отсѣль-то какъ выкрутишься? Говорю—возьмемъ паспорта и уйдемъ, по причинѣ, напримѣръ, заработковъ, — возразилъ Ершовъ и самъ началъ волноваться.

— А какъ поймають?

— На кой лядъ ты нуженъ? Поймають... Кто насъ ловить-то будетъ, коли ежели мы вниманія не стоимъ по причинѣ недоимокъ? А мы сдѣлаемъ все, какъ слѣдуетъ, честь-честью съ паспортами»...

Чтобы окончательно столковаться относительно того, какъ «выкрутиться», постановили устроить тайный сходъ ночью въ лѣсу, вдали отъ бдительнаго ока волостного начальства. На этомъ сходѣ рѣшено было на другой же день взять паспорта, а затѣмъ, не откладывая, выступить въ путь.

Весьма характерна слѣдующая подробность. Такъ какъ вмѣстѣ съ притокомъ новыхъ силъ къ парашкинцамъ возвратилось сознаніе о роковой необходимости платить, то они тотчасъ же поняли, что хотя они и «не стоютъ вниманія по причинѣ недоимокъ», какъ говорилъ Ершовъ, но ихъ исчезновеніе все-таки можетъ оказаться незаконнымъ.

Поэтому заговорщики упросили своего деревенскаго грамотѣя Фрола, всегда игравшаго у нихъ роль ходатая по дѣламъ, «отправиться немедленно по начальству и ходатайствовать за нихъ; хотъ заднимъ числомъ—все же можетъ простить ихъ!» Сказано—сдѣлано. Парашкинцы взяли паспорта и отправились въ путь-дорогу. На старомъ пепелищѣ осталось только четыре семьи: старуха Иваниха (мать знакомаго намъ Демы), да еще дѣдушка Титъ, сильно не одобрявшій затѣи парашкинцевъ. «Не донесете вы своихъ худыхъ головъ,—кричалъ онъ, грозно стуча въ землю

костылемъ,—свернуть вамъ шею? Помяните слово мое, свернуть!» У этого старика связь съ землею была, вообще, гораздо прочнѣе, чѣмъ у остальныхъ парашкинцевъ, принадлежавшихъ уже къ другому поколѣнію. «Гдѣ онъ родился, тамъ и помирать долженъ; которую землю облюбовалъ, въ ту и положить свои кости»,—такъ отвѣчалъ онъ на всѣ убѣжденія своихъ односельчанъ, казавшихся ему легкомысленными мальчишками. Эта черта заслуживаетъ большого вниманія. Н. Златовратскій также показываетъ во многихъ изъ своихъ очерковъ, что привычка къ «устоямъ» у стариковъ гораздо сильнѣе, чѣмъ у крестьянъ молодого поколѣнія.

Итакъ, парашкинцы двинулись на новыя мѣста. Они шли съ легкимъ сердцемъ, бодрые и радостные. Радость ихъ была, однако, очень кратковременна. За ними по пятамъ гнался становой, какъ фараонъ за бѣжавшими изъ Египта евреями.

— Это вы куда собрались, голубчики?—закричалъ онъ, нагнавши ихъ на пятнадцатой верстѣ.

«Парашкинцы въ оцѣпенѣніи молчали.

— Путешествовать вздумали? а?

Парашкинцы сняли шапки и шевелили губами.

— Путешествовать, говорю, вздумали? Въ какія же стороны?—спросилъ становой и, потомъ вдругъ перемѣняя тонъ, заговорилъ горячо.— Что вы затѣяли...а? Перес-е-леніе? Да я васъ... вы у меня вотъ гдѣ сидите! Я изъ-за васъ двое сутокъ не спавши... Маршъ домой... У! Покою не дадутъ!

Парашкинцы все еще стояли оцѣпенѣлые, но вдругъ, при одномъ словѣ домой, заодновались и почти въ разъ проговорили:

— Какъ тебѣ угодно, ваше благородіе, а намъ уже все едино! Мы убѣгемъ!»

Становой не испугался этой угрозы и повелъ бѣглецовъ назадъ, въ Парашкино. Двое повятыхъ сѣли на переднюю телѣгу переселенцевъ, а самъ онъ поѣхалъ сзади. Въ такомъ видѣ тронулся этотъ странный поѣздъ, напоминавшій, по словамъ г. Кароняна, «погребальное шествіе, въ которомъ везли нѣсколько десятковъ труповъ въ общую для нихъ могилу—въ деревню». На половинѣ дороги становой выѣхалъ на середину поѣзда и громко спросилъ:

— Ну, что, ребята, надумались? или все еще хотите бѣжать? Бросьте! Пустое дѣло!

— Убѣгемъ!—твердо отвѣчали парашкинцы.

Передъ въѣздомъ въ деревню становой возобновилъ *мтры кротости и утѣшанія*.

— «Убѣгемъ!»—съ тою же мрачною твердостью отвѣчали парашкинцы. Бдительный и расторопный начальникъ, не ожидавшій ничего подобнаго, струсилъ и растерялся.

Его положеніе въ самомъ дѣлѣ было затруднительно. Впрочемъ, онъ еще не окончательно потерялъ надежду сломить упорство бѣглецовъ, и, чтобы пробудить въ ихъ ожесточившихся сердцахъ любовь къ благодѣтельной «власти» болотцевъ, онъ рѣшилъ употребить нѣсколько болѣе энергичныя средства. Онъ заперъ пойманныхъ парашкинцевъ въ бревенчатый загонъ, куда пастухи помѣщика Абдулова загоняли скотъ. Тамъ онъ рѣшилъ держать ихъ, «пока не сознаются въ незаконности своихъ дѣйствій и не откажутся отъ желанія бѣжать».

Болѣе трехъ дней просидѣли плѣнники въ скотскомъ загонѣ, безъ пищи для себя, безъ корму для лошадей, но рѣшеніе ихъ было неизмѣнно.

— Убѣгемъ!—говорили они на всѣ угрозы. Наконецъ терпѣніе стало-вого лопнуло. На него напала такая «меланхолія», что онъ не зналъ, какъ вырваться изъ несчастной деревни. «Чортъ съ вами! Живите, какъ знаете»,—воскликнулъ онъ и уѣхалъ. «А черезъ день послѣ его отъѣзда парашкинцы бѣжали. Только не вмѣстѣ и не на новыя мѣста, а въ одиночку, кто куда могъ, сообразуясь съ направленіемъ, по которому въ данную минуту омотрѣли глаза. Одни бѣжали въ города... Другіе ушли неизвѣстно куда и никѣмъ послѣ не могли быть отысканы, продолжая, однако, числиться жителями деревни. Третьи бродили по окрестностямъ, не имѣя ни семьи, ни опредѣленнаго занятія, ни пристанища, потому что въ свою деревню ни за что не хотѣли вернуться. Такъ кончили парашкинцы».

Не правда ли, читатель, вамъ кажется все это страннымъ и до крайности тенденціознымъ преувеличеніемъ? Но мы можемъ увѣрить васъ, что нарисованная г. Каровичемъ картина совершенно вѣрна дѣйствительности. Разсказъ «Какъ и куда они переселились»,—это настоящій «протоколъ», хотя и не въ духѣ зорянствова. Вотъ вамъ довольно убѣдительно доказательство. Въ 1868 г. въ славянофильской газетѣ «Москва» (№ отъ 4 октября) было сообщено, что многіе крестьяне Смоленской губерніи продаютъ все свое имущество и бѣгутъ, куда глаза глядятъ. Порѣцкій исправникъ такъ излагалъ это явленіе въ своемъ донесеніи о немъ губернскимъ властямъ: «Волѣдствіе затруднительнаго въ послѣднемъ году положенія по продовольствію крестьянъ государственныхъ имуществъ вѣреннаго мнѣ уѣзда, Верховской, Касплинской, Лоинской и Иньковской волости, крестьяне-одиночки, обремененные семействами, распродали на продовольствіе скотъ и другое имущество; не удовлетворивъ же этимъ своихъ нуждъ по продовольствію, приступили къ распродажѣ засѣяннаго хлѣба, построекъ и всего остальнаго своего хозяйства и подъ предлогомъ заработковъ забираютъ свои семейства съ цѣлью переселиться въ другія губерніи»...

«Безысходное голодающее состояніе крестьянъ,—писалъ тотъ же исправникъ дальше,—поселило въ нихъ духъ отчаянія, недалекій до безпорядковъ»... Разбредавшихся крестьянъ отравились ловить и водворять

на мѣсто жительства смоленскій вице-губернаторъ, исправникъ и жандармскій полковникъ, но убѣжденія ихъ оказались тщетными. «Крестьяне Иньковской волости заявили вице-губернатору, что они во всякомъ случаѣ уйдутъ и что, если ихъ воротать съ дороги и подвергнуть тюремному заключенію, это все-таки будетъ лучше, чѣмъ умирать дома отъ голода».

Мы передали этотъ фактъ такъ, какъ онъ разсказанъ «Москвою». Скажите, заявленіе смоленскихъ крестьянъ—развѣ это не то же, что каронинское «убѣгемъ»? А ловля ихъ вице-губернаторомъ, исправникомъ и жандармскимъ офицеромъ,—вѣдь это нѣчто еще болѣе грандіозное, чѣмъ каронинская погоня станового за парашкинцами. Извольте же, послѣ этого, обвинять нашего автора въ преувеличеніяхъ!

IV.

Когда наша народническая «интеллигенція» разсуждаетъ о такъ называемыхъ «устояхъ» народной жизни, она забываетъ о реальныхъ, историческихъ условіяхъ, въ которыхъ этимъ «устоямъ» приходилось развиваться.

Даже не сомнѣваясь въ томъ, что сельская поземельная община очень хорошая вещь, слѣдовало бы помнить, что исторія часто шутитъ очень злые шутки съ самыми хорошими вещами и что подъ ея вліяніемъ сплошь да рядомъ разумное превращается въ нелѣпое, полезное во вредное. Это хорошо зналъ еще Гете. Недостаточно одобрять общину въ принципѣ, нужно спросить себя, каково живетъ *современнымъ русскимъ общинникамъ въ современной русской общинѣ* и не лучше ли было бы, если бы эта *современная* община,—со всѣми ея *современными, действительными, а не вымышленными* условіями — перестала существовать? Мы видѣли, что самымъ фактомъ своего бѣгства парашкиныцы отвѣтили на этотъ вопросъ утвердительно. И они были правы, потому что деревня стала для нихъ «могилой». Мы все боимся вторженія въ деревню «цивилизации», т. е. капитализма, который будто бы разрушитъ народное благосостояніе. Но, во-первыхъ, въ лицѣ «множества Епишекъ», т. е. въ лицѣ представителей ростовщическаго капитала, «цивилизация» уже вторглась въ деревню, несмотря на всѣ наши жалобы, а, во-вторыхъ, пора же, наконецъ, сообразить, что нельзя разрушить то благосостояніе, *которое не существуетъ*. Что потерялъ Дема, переходя изъ-подъ власти «бодотцевъ» подъ власть машины? Вы помните: «Какъ ни жалки были условія его фабричной жизни, но, сравнивая ихъ съ тѣми, среди которыхъ онъ принужденъ былъ жить на міру, нѣтъ никакой возможности... Пища его улучшилась, т. е. онъ былъ увѣренъ, что и завтра будетъ ѣсть, тогда какъ дома онъ не могъ предсказать этого... Но важнѣе всего: въ деревни его не оскорбляли, деревня же предлагала ему рядъ самыхъ унизительныхъ оскорбленій».

Вспомните также, что у Демы при мысли о деревнѣ «страдало *человѣческое достоинство*, проснувшееся отъ сопоставленія двухъ жизней», т. е. жизни деревенской, на почвѣ старыхъ «основъ», и жизни на фабрикѣ, подъ властью капитализма. «Меня арканомъ сюда не затащишь!» — говоритъ однопоревенецъ Дема, Потаповъ, можетъ быть, подъ вліяніемъ подобнаго же ощущенія. «Эти уже не вернутся, нѣ-ѣ-ты!» — увѣряетъ гласнаго Иванъ Ивановъ насчетъ покинувшихъ деревню «кочевыхъ народовъ». Или все это не убѣдительно? Или, можетъ быть, вы опять заговорите о преувеличеніяхъ? Но тогда обвиняйте всю *народническую* беллетристику, потому что и у Гл. Успенскаго, и у Златовратскаго, и даже у Рѣшетникова вы можете найти совершенно подобныя черты современной народной психологіи, хотя и въ менѣе яркомъ видѣ. Загляните также въ статистическія изслѣдованія, — и вы увидите тамъ, что многіе крестьяне-«собственники» платятъ своимъ арендаторамъ за то только, чтобы тѣ хоть на время развязали ихъ съ землею. Да что статистика! Снимите народническую повязку съ своихъ глазъ, примотритесь къ быту рабочихъ, познакомьтесь съ ними, — и вы у многого множества изъ нихъ встрѣтите по отношенію къ деревнѣ то же самое «недоброе чувство», какое, по словамъ г. Каровина, питалъ въ ней Дема.

Многому множеству изъ нихъ деревня и деревенское общество дѣйствительно представляются не чѣмъ инымъ, какъ «мѣстомъ мученій». Странно, въ виду этого, скорбѣть о пришествіи къ намъ «цивилизациа» и о разрушеніи фабрикой несуществующаго народнаго благосостоянія. Извѣстно, что нашего брата, русскаго марксиста, очень часто и очень охотно обвиняютъ въ *западничествѣ*. Вообще говоря, мы гордимся этимъ упрекомъ, потому что всѣ лучшіе русскіе люди, оставившіе наиболѣе благодѣтельные слѣды въ исторіи умственнаго развитія нашей страны, были рѣшительными и безусловными западниками. Но на этотъ разъ мы хотимъ повернуть противъ нашихъ противниковъ ихъ собственное оружіе и показать имъ, какъ много въ ихъ разсужденіяхъ безсознательнаго (а слѣдовательно и необдуманнаго) западничества.

Толки о разрушеніи капитализмомъ народнаго благосостоянія ведутся у насъ съ западно-европейскаго голоса. Но на Западѣ толки эти имѣли огромный смыслъ, потому что вполнѣ соответствовали дѣйствительности.

Развитіе капитализма въ большинствѣ западно-европейскихъ странъ дѣйствительно понизило уровень народнаго благосостоянія. И въ Англіи, и въ Германіи, и даже во Франціи передъ началомъ капиталистической эпохи, въ концѣ среднихъ вѣковъ, трудящіеся классы отличались такой степенью зажиточности, до какой имъ очень далеко въ настоящее время ¹⁾.

1) См. J. Янсена „Die allgemeinen Zustände des deutschen Völkes beim Ausgang des Mittelalters“ Freiburg 1831. Drittes Buch. Volkswirtschaft. О поло-

Поэтому западно-европейские социалисты правы, когда говорят, что капитализм принесъ къ нимъ съ собою народное оскудѣніе (хотя необходимо замѣтить, что они вовсе не заключаютъ отсюда, что капитализмъ былъ не нуженъ). Но развѣ же можно приравнивать современное положеніе русскихъ крестьянъ къ положенію, хотя бы, английскихъ трудящихся классовъ въ концѣ среднихъ вѣковъ? Вѣдь это же величины безконечно далека одна отъ другой? Английскій рабочий можетъ иногда вспомнить добромъ матеріальное положеніе своихъ средневѣковыхъ предковъ. Но слѣдуетъ ли отсюда, что современный нашъ русскій фабричный рабочий долженъ сожалѣть о современной намъ русскокой деревнѣ, въ которой онъ не испытывалъ ничего, кромѣ физическихъ и нравственныхъ страданій? Нѣтъ, вовсе не слѣдуетъ, не слѣдуетъ именно потому, что поминать о ней добромъ ему рѣшительно не за что.

Когда-то, во времена Мамаевской Руси, всѣ не выносившіе государственной тяготы бѣжали на окраины: на «тихий Довъ», на «матушку-Волгу» и оттуда, собравшись въ огромныя шайки «воровскихъ людей», не разъ угрожали государству. Теперь обстоятельства измѣнились. На пустынныхъ нѣкогда окраинахъ закипѣла новая экономическая жизнь, пульсъ которой бьется даже быстрѣе, чѣмъ къ центрѣ. Покинувшіе деревню «кочевые народы» не группируются теперь уже въ «воровскія» шайки; они представляютъ собою новый культурный элементъ, въ которомъ зрѣетъ новая, могучая историческая сила. Не стихійнымъ разбойничьимъ протестомъ знаменуетъ себя эта новая сила, а неудержимымъ стремленіемъ къ знанію и свѣту.

V.

Не подумайте, однако, что разложеніе старыхъ «устоевъ» народной жизни совершается исключительно подъ вліяніемъ вѣдомыхъ платежей, взваленныхъ на общину государствомъ. Во-первыхъ, дѣло не столько въ самыхъ тягостяхъ, сколько въ томъ характерѣ *денежныхъ* платежей, который необходимо принимаютъ эти платежи въ современной Россіи и подъ вліяніемъ котораго крестьянское хозяйство изъ натурального превратилось въ товарное. Кромѣ того, «когда общество напало на слѣдъ естественнаго закона своего развитія», всѣ его внутреннія силы, работая въ самыхъ различныхъ направленіяхъ, дѣлаютъ въ сущности одно и то же дѣло. Со времени петровской реформы государство сдѣлало очень много для того, чтобы толкнуть Россію на путь товарнаго, а затѣмъ и капиталистическаго производства.

Но въ настоящее время помимо государства есть другая, еще болѣе

женіи английскихъ рабочихъ наканунѣ окончательнаго торжества капитализма, см. Энгельса „Lage der Arbeitenden Klasse in England“, Маркса „Das Kapital“, а также книгу Роджерса „Six centuries of Work and Wages“.

страшная сила, ведущая Россію на путь капитализма. Она называется ломкой народных экономических отношеній. И нѣтъ власти, которая могла бы остановить ея дѣйствіе! Она проникаетъ вездѣ, ея вліяніе сказывается повсюду, она накладываетъ свою печать на всѣ попытки крестьянъ улучшить свое хозяйственное положеніе. Посмотрите, какъ хорошо изобразилъ эту сторону дѣла разбираемый нами авторъ. Крестьяне деревни Березовки (рассказъ «Братья») переселились изъ внутренней Россіи въ одну изъ привольныхъ степныхъ губерній. На родинѣ они бѣдствовали, на новыхъ мѣстахъ имъ удалось добиться «нѣкотораго матеріальнаго довольства». Казалось бы, что тутъ-то и должно было начаться блестящее развитіе знаменитыхъ «устоевъ». Вышло, однако, какъ разъ наоборотъ. На родинѣ, въ нуждѣ и несчастіи, у нихъ «была одна душа», какъ говорили старики; на новыхъ мѣстахъ началось внутреннее разложеніе ихъ общества, завязалась невидимая борьба между собою и «міромъ». Постепенно «каждый сельскій житель сталъ сознавать, что онъ вѣдь чело-вѣкъ, какъ всѣ, и созданъ для себя, и больше ни для когѣ, какъ именно для себя! И каждый вѣдь самъ можетъ жить, устраиваясь безъ помощи бурмистра, кокарды и «опчества». Въ доказательство этого открытія въ сосѣднихъ съ Березовкой мѣстахъ поселились примѣры. Первый примѣръ пріѣхалъ изъ сосѣдняго города, купилъ у казны участокъ степи и сталъ жить на немъ, подъ видомъ мѣщанина Ермолаева, и зажилъ, по выраженію всѣхъ березовцевъ, «дуже быстро». Другой примѣръ носилъ кокарду; самого его никто не видѣлъ, но вмѣсто него сѣлъ на степь второй гильдии купецъ Пролетаевъ: «превосходная шельма». «Третій примѣръ проявился въ этихъ мѣстахъ въ родѣ непомняшаго родства, потому что ни одинъ изъ березовцевъ не зналъ его происхожденія и званія: «кажись мужичекъ по обличью, но ужъ очень серьезности въ емъ много»...

А прочіе-то люди, жившіе въ предѣлахъ деревни, люди, ни къ какому обществу не приписанные и ни съ чѣмъ не связанные, развѣ они не были вѣскими доводами въ пользу новой жизни? Каждый изъ сельскихъ жителей очень часто *думалъ* объ этихъ явленіяхъ; и рѣшительно не было ни одного чело-вѣка, который въ свободныя минуты не думалъ бы купить себѣ участочекъ, завести «лавочку что ли, инъ кабакъ».

«Никто изъ мужиковъ не осуждалъ нравственно людей, жившихъ подобными предпріятіями; напротивъ—«любезное это дѣло!» Людей такого сорта уважали за умъ, считали шельмовство одной изъ способностей чело-вѣческаго разума. И въ то же самое время каждый изъ березовцевъ уважалъ міръ, покоряясь ему и продолжая жить въ немъ. Совѣсть мужика раскололась тогда пополамъ; къ одной половинѣ отлетѣли «примѣры», на другой остался міръ. Явились двѣ совѣсти, двѣ нравственности». Спрашивается, какъ отразилась, какъ *могла* отразиться на настроеніи отдѣльныхъ особей такая двойственность въ настроеніи всего

міра? Само собою разумѣется, что здѣсь дѣло видоизмѣнялось сообразно съ личными особенностями особей. У однихъ перевѣсъ брали пока еще старыя привычки; другія склонялись на сторону новшествъ, т. е. лавочки, габака и т. п.

И замѣчательно, что на сторону такихъ новшествъ склонялись наиболѣе энергичныя и наиболѣе даровитыя натуры. Впрочемъ, такъ всегда бываетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда извѣстный общественный порядокъ близится къ концу. Его дряхлость выражается въ томъ, что лишь пассивныя, недѣятельныя натуры продолжаютъ подчиняться ему безъ протеста и безъ разсужденія. Все, что покрупнѣе, посамобытнѣе и посмѣлѣе бѣжитъ вонъ или, по крайней мѣрѣ, настойчиво ищетъ выхода. Нечего и прибавлять, что когда новымъ наступающимъ порядкомъ является порядокъ *буржуазный*, то подобныя исканія часто принимаютъ очень некрасивый видъ. Въ разсказѣ «Братья» представителями этихъ двухъ началъ, пассивнаго и активнаго, являются два брата: Иванъ и Петръ Сизовы. Иванъ простодушенъ какъ ребенокъ. Онъ живетъ такъ, какъ жили его прародители, не воображая, что можно жить иначе. Да ему, по его характеру, въ иной жизни нѣтъ и надобности. Иная жизнь это жизнь *себяжникомъ*, вѣдь «міра», на свой страхъ и исключительно для своей пользы. А Иванъ—человѣкъ общественный, онъ любитъ свой міръ и никогда не бываетъ такъ счастливъ, какъ въ то время, когда приходится дѣлать какое-нибудь мірское дѣло сообща. Онъ лѣзетъ изъ кожи вонъ во время земельныхъ передѣловъ, которые, какъ извѣстно, являются въ деревнѣ настоящими священнодѣйствіями; онъ не пропускаетъ ни одного сборища, а когда дѣло доходитъ до общественной, мірской выпивки, то онъ немедленно принимаетъ на себя роль хозяина, потому что «никто такъ не умѣлъ дѣлить и подносить чарки общественной водки, когда міру удавалось содрать съ кого-нибудь *итрахъ*» (т. е. штрафъ). Міръ хорошо понималъ характеръ своего члена, и когда рѣшили прикупить у казны на общій счетъ участокъ земли, то Иванъ былъ выбранъ ходякомъ и ему вручили общественныя деньги.

Не таковъ былъ Петръ. Умный, настойчивый, дѣятельный, изобрѣтательный, себялюбивый и самолюбивый, онъ презиралъ и общину, и общинниковъ, и всѣ общинныя дѣла и интересы. Почти во всѣхъ поступкахъ своего добродушнаго и простоватаго брата онъ видѣлъ «одну сплошную глупость». Онъ мечталъ о быстрой и крупной наживѣ, а нажитья, живя по-старому, не было никакой возможности. Старый порядокъ крестьянской жизни сулилъ впереди не наживу, а множество всевозможныхъ тягостей. И вотъ Петръ Сизовъ замыкается въ себя, рѣдко появляется на общественныхъ сходкахъ и думаетъ уже не о томъ, чтобы, подобно брату, служить міру, а о томъ, чтобы поживиться на его счетъ. Онъ становится булакомъ. И міръ уважаетъ его, передъ нимъ всѣ сни-

мають шапки, его называютъ «башкою». Для покупки сказаннаго участка земли вмѣстѣ съ Иваномъ Сизовымъ посылають и Петра.

По дорогѣ въ городъ между братьями произошелъ слѣдующій многознаменательный разговоръ:

— Подлинно голова!—сказалъ Петръ, указывая на проѣзжающаго мимо ихъ старшину.

— А что?—откликнулся Иванъ.

— Разбогатѣлъ. Теперичи куда, а шапку не ломаетъ! Умень, шельма.

— Старшина, обыкновенно.

— Ничего не старшина. Старшина одна причина, а умъ другая.

— Должно быть на руку нечистъ, — замѣтилъ наивно Иванъ, улыаясь, чего его братъ нахмурился...

— Допрежь годъ мужиченко былъ, — замѣтилъ Петръ. — Значить, башка-то не дермомъ набита, есть же, значить, рассудительность. Слыхалъ, какъ онъ пошелъ въ ходъ? Семеновцы, такъ же, какъ къ примѣру мы, задумали прикупить дугъ. Хорошо. Выбрали. А старшину послали за купчей. А онъ не будь простъ, денежки за лужочекъ-то въ карманъ спустилъ. Туда-сюда, а купчая-то уже въ карманшкѣ. Смѣтается! Конечно, какъ надъ дураками и не смѣяться. Такъ и бросили.

— Безсовѣстный и есть!—съ негодованіемъ воскликнулъ Иванъ.

— Не безъ того. А между прочимъ, какъ судить. Судить надо по-просту. Оно и выйдетъ, что ловко вывернулся, уме-енъ! Умѣеть жить!

— Разбойствомъ-то.

— Для чего разбойствомъ? Все по закону. Нынче, братъ мой, все законъ, бумага.

— А грѣхъ?

— Всѣ мы грѣшны.

Иванъ помолчалъ.

— А Богъ?—потомъ спросилъ онъ.

— Богъ милостивъ, онъ разберетъ, что кому. А жить надо.

— Разбойствомъ! вѣдь онъ, стало быть, выходитъ воръ?

— Ну-у!—протянулъ глухо Петръ...

— Совѣсть, братъ, темное дѣло,—сказалъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія.

— А мѣръ?—спросилъ Иванъ.

— Какой такой мѣръ?—презрительно замѣтилъ Петръ.

— Да какже, а семеновцы-то!

— Каждый свою пользу наблюдаетъ, хотя бы и въ міру. Развѣ мѣръ тебя произродилъ?

— Что-жь...

— Мѣръ тебя поитъ, кормитъ?

— Ты не туда...

— Нѣтъ, я туда... Каждый гонить свою линію. Какъ есть ты чело-
вѣкъ и больше ничего. А міра нѣтъ... Ну, будетъ по пустому болтать,
слышь?

— Ась!—отелягнулся задумавшійся Иванъ.

— Подбери возжи!—рѣзко сказалъ Петръ.

Предметъ былъ исчерпанъ, и разговоръ болѣе не возобновлялся. Но
недаромъ заводилъ его Петръ. Примѣръ «умнаго» старшины не выхо-
дилъ у него изъ головы. Когда, послѣ долгихъ хожденій по бюрократи-
ческимъ мытарствамъ, нужный березовцамъ участокъ былъ приобрѣтенъ,
то оказалось, что купчая сдѣлана на имя Петра Сизова.

Бѣдный Иванъ, конечно, и не подозрѣвалъ обмана.

Что же сдѣлалъ міръ? Общинники отколотили ни въ чемъ неповиннаго
Ивана, но даже пальцемъ не тронули Петра.

Петръ сказалъ имъ, что бумага (т. е. купчая) «не для нихъ писана»
и обѣщалъ современемъ возвратить деньги. Но денегъ онъ не возвратилъ,
а березовцы поговорили-поговорили, да и пошли обрабатывать по найму
у Петра Тимофеевича Сизова у нихъ же украденный участокъ земли.
Иванъ и тутъ не отсталъ отъ міра. Онъ былъ въ числѣ другихъ рабочихъ
и съ увлеченіемъ варилъ для «опчиова» кашу.

Трудно ярче изобразить безсиліе современной общины въ борьбѣ съ
разлагающими ее вліяніями. На одной сторонѣ артельная каша, на дру-
гой—умъ, хитрость, «законъ», «бумага».

VI.

Впрочемъ, торжество кулачества въ борьбѣ съ общиной представляетъ
предметъ, давно и хорошо знакомый читателямъ. Г. Кароинъ немного
сказалъ бы вамъ новаго, если бы ограничился изображеніемъ этого эле-
мента внутренняго разложенія «устоевъ». Но въ его произведеніяхъ
отбѣляются еще и другіе элементы, какихъ очень мало касались, или
совсѣмъ не затрагивали наши народники-беллетристы. А между тѣмъ они
заслуживаютъ большого вниманія изслѣдователя.

Не всѣ даровитые люди современной деревни становятся кулаками.
Чтобы сдѣлаться кулакомъ, нужно извѣстное стеченіе обстоятельствъ, на
которое можетъ разсчитывать только небольшое меньшинство. Большин-
ству же приходится приспособляться къ переживаемому теперь деревней
историческому процессу иначе: оно или покидаетъ деревню, или продол-
жаетъ тамъ жить, устраиваясь на новыхъ началахъ, забывая о той
тѣсной, органической связи, которая соединяла когда-то членовъ одной
общины.

Индивидуализмъ, видѣраясь въ деревню со всѣхъ сторонъ, окраши-
ваетъ рѣшительно всѣ чувства и мысли крестьянина. Но въ высшей сте-
пени ошибочно было бы думать, что его торжество характеризуется одними

только мрачными чертами. Историческая действительность никогда не отличается подобною односторонностью.

Вторженіе индивидуализма въ русскую деревню пробуждаетъ къ жизни такія стороны крестьянскаго ума и характера, развитіе которыхъ было невозможно при старыхъ порядкахъ и въ то же время было необходимо для дальнѣйшаго поступательнаго движенія народа. Само кулачество нерѣдко знаменуетъ собою теперь пробужденіе именно этихъ *прогрессивныхъ* сторонъ народнаго характера. Наши слова могутъ показаться парадоксомъ, но парадокса въ нихъ нѣтъ и тѣни. Народническая беллетристика не разъ уже отгвѣняла то обстоятельство, что современный крестьянинъ часто ударяется въ кулацкую наживу именно потому, что видѣть въ деньгахъ единственное средство огражденія своего человѣческаго достоинства.

У Златовратскаго крестьянинъ Петръ — если не ошибаемся въ «Устояхъ» — становится кулакомъ, задавшій цѣлью охранить свой «ликъ» отъ безпрестаннаго оплеванія. Подобныя же черточки не разъ подмѣчалъ и Гл. Успенскій. И это очень важно и очень характерно для нашего времени. Кулаки существуютъ въ русской деревнѣ издавна, но навѣрное съ очень недавнихъ временъ въ темномъ кулацкомъ царствѣ существуютъ персонажи, думающіе о своемъ «ликѣ».

Но что еще болѣе важно, такъ это то, что забота о «ликѣ» извѣстна теперь не однимъ только кулакамъ. Она начинаетъ одолѣвать и горькую деревенскую бѣдноту; она, можетъ быть, еще лучше знакома «кочевымъ народамъ». Утрачивая свою непосредственность, оглядываясь на самого себя, крестьянинъ предъявляетъ русской общественной жизни новыя требованія. Конечно, пробуждаясь отъ тысячелѣтняго сна, крестьянская мысль далеко не сразу обнаруживаетъ всю ту силу и всю ту крѣпость, какихъ мы вправѣ ожидать отъ нея въ будущемъ. Ея первыя попытки встать на ноги оказываются часто неудачными, принимаютъ ложное, болѣзненное направленіе. Но хорошо уже и то, что подобныя попытки существуютъ; хорошо также то, что наша народническая беллетристика умѣла подмѣтить ихъ и занести на бумагу. Нѣкоторые рассказы Корниина спеціально посвящены ихъ изображенію. Остановимся пока на разсказѣ «Деревенскіе нервы».

Крестьянинъ Гаврило отличался значительной зажиточностью и, если мѣрять на старую крестьянскую мѣрку, могъ бы, казалось, считаться счастливымъ.

«Что такое счастье? — спрашиваетъ нашъ авторъ. — Или, лучше сказать, что для Гаврилы счастье? Земля, меринъ, телка и бычекъ, три овцы, хлѣбъ съ капустой и многія другія вещи; потому что если бы чего-нибудь изъ перечисленнаго недоставало, онъ былъ бы несчастливъ. Въ тотъ годъ, когда у него околѣла телка, онъ нѣсколько ночей стоналъ, какъ въ бреду...

Но такія катастрофы бывали рѣдко; онъ ихъ избѣгалъ, предупреждая или поправляя ихъ. Хлѣбъ? Хлѣбъ у него не переводился. Въ самые голодные годы у него сохранялся мѣшокъ—другой муки, хотя онъ это обстоятельство скрывалъ отъ жадныхъ сосѣдей, чтобы который изъ нихъ не попросилъ у него одолженія. Меринъ? Меринъ вѣрно служилъ ему пятнадцать лѣтъ и никогда не умиралъ; въ послѣднее время только замѣтно сталъ сопѣть и недостаточно ловко владѣлъ задними ногами, но въ виду его смерти, у Гаврилы былъ двухгодовалый подростокъ». Словомъ, такъ неподражаемо изображенный Гл. Успенскимъ и столь привлекательный для него Иванъ Ермолаевичъ на мѣстѣ Гаврилы навѣрное былъ бы воистинѣ доволенъ и собою и всѣмъ окружающимъ. Но самъ Успенскій сознается, что Иванъ Ермолаевичъ уже отживаетъ свой вѣкъ. Это типъ, осужденный исторіей на исчезновеніе. Герой разсказа «Деревенскіе нервы» совсѣмъ не обладаетъ деревенскою уравновѣшанностью Ивана Ермолаевича. Онъ страдаетъ «нервами», чѣмъ приводитъ въ величайшее изумленіе сельскаго фельдшера, а читателямъ даетъ лишній поводъ обвинить Каронина въ тенденціозности. Болѣзненное состояніе «деревенскихъ нервовъ» Гаврилы даетъ себя чувствовать тѣмъ, что на него вдругъ нападаетъ невыносимая, безысходная тоска, подъ вліяніемъ которой у него изъ рукъ валится всякая работа. «Ну ее къ дяду!»—отвѣчаетъ онъ на замѣчаніе жены, что пора ѣхать на пашню. Жена не можетъ придти въ себя отъ изумленія, да и самъ Гаврила страшится собственныхъ словъ; но «нервы» ни на минуту не даютъ успокоиться, и нашъ герой идетъ поговорить съ батюшкой. «Я бы передъ тобой все одно, какъ передъ Богомъ,—говоритъ онъ священнику.—Мнѣ ужъ таить нечего, дѣваться некуда, одно слово хотя бы руки на себя наложить, такъ въ пору. Значитъ, приперло же меня здорово». Достойный священнослужитель, привыкшій къ олимпійскому спокойствію Ивановъ Ермолаевичей, никакъ не могъ взять въ толкъ, чего нужно его странному собесѣднику.

— Да я не понимаю, какая это хворь?—воскликнулъ онъ. По-моему дурь одна... Какая это хворь!

— Жизни не радъ—вотъ такая моя хворь! *Не знаю, что къ чему, зачѣмъ... и къ какимъ правиламъ...*—упорно настаивалъ Гаврило.

— Ты вѣдь землешадецъ?—строго спросилъ батюшка.

— Землешадецъ, вѣрно.

— Что же тебѣ еще! Добывай хлѣбъ въ потѣ лица твоего, и благо тебѣ будетъ, какъ сказано въ писаніи...

— А зачѣмъ мнѣ хлѣбъ?—пытливо спросилъ Гаврило.

— Какъ зачѣмъ? Ты ужъ, кажется, замололся... Хлѣбъ потребенъ чловѣку.

— Хлѣбъ, точно, ничего... Хлѣбъ—оно хорошее дѣло. Но для чего онъ? вотъ какая штука-то? Нынче я ѣмъ, а завтра опять буду ѣсть

его... Вѣдь сваливаешь въ себя хлѣбъ, какъ въ прорву какую, какъ въ мѣшокъ пустой, а для чего? Вотъ оно и скучно... Такъ во всякомъ дѣлѣ: примешься хорошо, начнешь работать, да вдругъ спросишь себя: *зачѣмъ, и для чего? И скучно...*

— Такъ вѣдь тебѣ, дуракъ, жить надо! Затѣмъ ты и работаешь,—сказалъ гнѣвно батюшка.

— А зачѣмъ же мнѣ надо жить?—спросилъ Гаврило.

Батюшка плюнулъ.—Тѣфу! ты, дуракъ етакій!

— Ты ужь, отецъ, не изволь гнѣваться. Вотъ я тебѣ рассказываю, какія мои предсмертныя мысли... Я и самъ не радъ; ужь до той мѣры дойдетъ, что тошно, болитъ душа... Отчего это бываетъ?

— Будетъ тебѣ молотъ!—сказалъ строго батюшка, собираясь прекратить странный разговоръ.

— Главное—дѣваться мнѣ некуда,—возразилъ грустно Гаврило.

— Молись Богу, трудись, работай... Это все отъ лѣни и пьянства.—Больше мнѣ нечего тебѣ присовѣтовать. А теперь ступай съ Богомъ.

Батюшка при этомъ всталъ...

Случилось ли вамъ прочесть такъ называемую «Исповѣдь» графа Л. Толстого? Не правда ли, Гаврило задавалъ себѣ тѣ же самые вопросы: «Зачѣмъ, для чего, а послѣ что?»—какіе мучили знаменитаго романиста? Но между тѣмъ какъ богатый и образованный графъ имѣлъ полную возможность отвѣтить на эти вопросы менѣе уродливо, чѣмъ онъ отвѣтилъ,—Гаврило, самымъ положеніемъ своимъ, лишень былъ всякихъ средствъ и всякихъ пособій для правильного ихъ рѣшенія. Въ окружавшей его тѣмѣ ниоткуда не было просвѣта.

Онъ плакалъ, чудилъ, нагрубилъ священнику, обругалъ фельдшера, подрался со старшиною и угодилъ въ острогъ за эту драку. Его спасъ фельдшеръ, обратившій вниманіе суда на болѣзненное душевное состояніе подсудимаго. Успокоился онъ уже значительно позже, когда нашелъ мѣсто дворника въ сосѣднемъ городѣ. Тамъ *думать* было не о чемъ.

«Развѣ можно что-нибудь думать о метлѣ и по поводу нея? А у него въ жизни метла одна и осталась,—поясняетъ г. Каронинъ.—Вслѣдствіе этого, мыслей у него больше не появлялось. Онъ дѣлалъ то, что ему приказывали. Если бы ему приказали этой же метлой бить по спинамъ жильцовъ, онъ не отказался бы. Жильцы его не любили, какъ бы понимая, что этотъ человекъ совѣмъ не думаетъ. За его позу передъ воротами они называли его «идоломъ». А между тѣмъ онъ виноватъ былъ только тѣмъ, что оборванные деревней нервы сдѣлали его безчувственнымъ».

«Проницательный читатель» поспѣшитъ замѣтить намъ, что осаждавшіе Гаврилу вопросы ни мало не разрѣшались метлою, и что поэтому

совершенно непонятно, отчего мѣсто дворника дало этому странному крестьянину желанное успокоеніе. Но дѣло въ томъ, что, говоря вообще, Гаврило ставилъ себѣ вопросы совершенно неразрѣшимые, неразрѣшимые ни въ городѣ, ни въ деревнѣ, ни сохою, ни метлою, ни въ монашеской кельѣ, ни въ кабинетѣ ученаго.

«Зачѣмъ? Для чего? А послѣ что?» Помните гейневскаго юношу, который спрашиваетъ:

Was bedeutet der Mensch?

Wohin ist er gekommen? Wo geht er hin?

Нашелъ ли онъ отвѣтъ:

Es murmeln die Wogen

Ihr ewiges Gemürmel,

Es weht der Wind,

es fieber die Wolken,

Es blicken die Sterne gleichgültig und kalt

Und ein Narr wartet auf Antwort!

Да, это неразрѣшимые вопросы! Мы можемъ узнать, *какъ* происходитъ дѣло, но не знаемъ — *зачѣмъ* происходитъ оно. И однако замѣчательно, что неразрѣшимость подобныхъ вопросовъ мучить людей только при известномъ складѣ общественныхъ отношеній, только тогда, когда общество, или известный классъ, или известный слой общества находится въ состояніи болѣзненнаго кризиса.

Живой о живомъ и думаетъ. Физически и нравственно здоровымъ людямъ свойственно жить, работать, учиться, бороться, огорчаться и радоваться, любить и ненавидѣть, но вовсе не свойственно плакать надъ неразрѣшимыми вопросами. Такъ и поступаютъ обыкновенно люди, пока они здоровы физически и нравственно. А нравственно здоровыми они остаются до тѣхъ поръ, пока живутъ въ здоровой общественной средѣ, т. е. до тѣхъ поръ, пока данный общественный порядокъ не начинаетъ клониться къ упадку. Когда наступаетъ такое время, тогда сначала въ самыхъ образованныхъ слояхъ общества являются безпокойные люди, вопрошающіе: «Даръ напрасный, даръ случайный, жизнь, зачѣмъ ты мнѣ дана?» — потомъ, если это болѣзненное состояніе распространяется по всему общественному организму, недовольство собой и всѣмъ окружающимъ сказывается въ самыхъ темныхъ его слояхъ; и тамъ, какъ въ интеллигентной средѣ, находятъ «нервные» особи, одолеваемыя «предсмертными», какъ выразился Гаврило, мыслями. Употребляя выраженіе Свѣт-Симона, можно сказать, что болѣзненное стремленіе разрѣшить неразрѣшимое свойственно критическимъ и чуждо *органическимъ* эпохамъ общественнаго развитія. Но дѣло въ томъ, что и въ критическія эпохи подъ этимъ стремленіемъ задумываться надъ неразрѣшимыми вопросами скрывается вполнѣ естественная потребность открыть причину

испытываемой людьми неудовлетворенности. Какъ только она открыта, какъ только люди, переставшіе удовлетворяться своими старыми отношеніями, находятъ новую цѣль въ жизни, ставятъ передъ собою новыя нравственныя и общественныя задачи, отъ ихъ склонности къ неразрѣшимымъ метафизическимъ вопросамъ не остается и слѣда.

Изъ метафизиковъ они снова превращаются въ живыхъ людей, о живомъ думающихъ, но думающихъ уже не по-старому, а по-новому. Можно и иначе вылечиться отъ той же болѣзни: уйти изъ той среды, которая навела васъ на «предсмертныя» мысли, забыть о ней, найти такое занятіе, которое не имѣло бы ничего общаго съ вашей старой обстановкой. Очень можетъ быть, что въ пріютившей васъ новой средѣ окажутся свои «проклятые вопросы», но они будутъ вамъ чужды, и пока они найдутъ доступъ къ вашему уму и сердцу, вы успѣете отдохнуть, успѣете насладиться извѣстной степенью «безчувственности». Въ подобномъ леченіи посредствомъ бѣгства немного привлекательнаго, но несомнѣнно, что оно, при случаѣ, можетъ оказаться вполне дѣйствительнымъ. Гаврило прибѣгъ именно къ этому способу, и по-своему вылечился. Его вылечила не «метла», а просто перемѣна обстановки. Покинутая деревня перестала терзать его своими неурядицами, а вмѣстѣ съ этимъ пропали и «предсмертныя» мысли.

VII.

Болѣзненное нравственное настроеніе, овладѣвающее крестьяниномъ подѣ влияніемъ современной деревенской обстановки, составляетъ также главную мысль другого разсказа г. Каронина—*«Больной житель»*.

Герой этого разсказа, крестьянинъ Егоръ Ѳедоровичъ Горѣловъ, подобно Гаврилѣ, махнулъ рукой на свое хозяйство и почувствовалъ отвращеніе къ деревенскимъ порядкамъ, задумавшись все надъ тѣми же вопросамъ: «что къ чему, зачѣмъ и по какимъ правиламъ?» Однако, онъ пришелъ уже къ довольно опредѣленному и довольно конкретному отвѣту на этотъ счетъ. Изъ-подѣ «власти земли» онъ выбился такъ же безповоротно, какъ и Гаврило. Но онъ не одервенѣлъ, не превратился въ «идола». У него есть извѣстная цѣль, къ которой онъ и стремится по мѣрѣ силъ и возможности. «Разное бываетъ хозяйство,—отвѣчаетъ Егоръ Ѳедоровъ на вопросъ, почему онъ предпочитаетъ жить въ батракахъ, а не въ собственномъ домѣ. — *Главное, чтобъ въ умѣ былъ порядокъ. Который человекъ полуумный и никакого хозяйства въ душѣ у него не водится, тому все одно*... Странно звучать такія слова въ устахъ русскаго крестьянина, и неудивительно, что, по замѣчанію автора, послѣ разговора съ Егоромъ Ѳедоровичемъ на многихъ изъ его односельчанъ «напала тоска». Собесѣдникъ, выслушавшій вышеприведенный отвѣтъ на

счетъ хозяйства, не вѣрилъ своимъ ушамъ. «Изумленіе его было столь велико, какъ если бы ему сказали, что его ноги, собственно говоря, растутъ вмѣстѣ съ онучами у него на головѣ». Онъ могъ только произнести «вотъ оно какъ!» и съ этихъ поръ уже не разспрашивалъ Горѣлова, чувствуя къ нему непреодолимый страхъ. Этотъ собесѣдникъ, очевидно, не утратилъ еще старой крестьянской непосредственности и жилъ, не мудрствуя лукаво. Это былъ своего рода Иванъ Ермолаевичъ, не упускавшій, впрочемъ, случая зашибить копейку мелкой торговляшкой. Онъ не могъ понять Горѣлова, который въ свою очередь пересталъ понимать его и ему подобныхъ. Установивши извѣстный «порядокъ» въ своемъ собственномъ умѣ, Егоръ Ѳедоровичъ сталъ сильно задумываться объ участи своихъ односельчанъ. Слыхалъ онъ, «будто въ губерніяхъ насчетъ деревень нашихъ хлопчуть». Ему очень занято было послушать, «что такое и въ какомъ значеніи»—и вотъ онъ рѣшился идти на собесѣдованіе къ учителю Синицыну. Къ несчастью, изъ ихъ разговора вышло не больше, чѣмъ изъ разговора Гаврилы со священникомъ.

— Насчетъ чего хлопчуть въ губерні? — приставалъ къ учителю Горѣловъ.—Въ какомъ значеніи житель-то нашъ? Слыхалъ я, что въ мѣщане приписываютъ... или останется онъ на прежнемъ положеніи?

— Хлопчуть, чтобы какъ лучше ему было,—возразилъ учитель.—Ты вотъ не умѣешь читать, а я читалъ газету. Прямо написано: дать мужику въ нѣкоторомъ родѣ отдыхъ!

— Облегченіе?

— Облегченіе. По крайности, чтобы насчетъ пищи было благородно.

— А насчетъ прочаго?—съ тоской спросилъ Горѣловъ.

— Ну, въ отношеніи прочаго я тебѣ ничего пока не могу сказать. Пока не вычиталъ. А какъ вычитаю—приходи, расскажу досконально!

— А я такъ думаю, не миновать ему казни!—сказалъ Горѣловъ.

— Кому казни?—удивленно спросилъ учитель.

— Да жителю-то.

— Что ты говоришь?

— Да такъ... не минетъ онъ казни. Помани ты мое слово—будетъ ему казнь! Ужели же пользу ему возможно сдѣлать, ежели онъ ополоумѣлъ? Говоришь—хлопчуть, да, Господи Боже мой, зачѣмъ? Стало быть, пришелъ же ему конецъ, какъ скоро онъ все одно, что оглашенный. Нѣту ему больше ходу, и никто не воленъ облегчить его. Не знаю... не знаю, какъ нашимъ ребятамъ... имъ бы помочь, а нашему брату, деревенскому жителю, ничего ужъ намъ не надо! Одна единая дорога нашему брату, старому жителю— къ бочкѣ грѣшной...

— Въ кабакъ?

— Пря-амехонько въ кабакъ! По той причинѣ, что никто не воленъ дать намъ другой радости, окромя этой!

— А ты пьешь?—Я чтой-то не слыхалъ.

Горѣловъ покачалъ головою.

Вскорѣ послѣ этого разговора онъ окончательно покинулъ родныя мѣста.

Но неужели такъ трудно ужиться въ современной деревнѣ крестьянину съ нѣкоторымъ «порядкомъ» въ мысляхъ?—спросить, можетъ быть, читатель. Въмѣсто отвѣта мы укажемъ ему еще на два разсказа г. Карошина: «Вольный человѣкъ» и «Ученый».

Въ знакомомъ уже намъ Парашкинѣ, повидимому, еще задолго до массоваго бѣгства его обывателей, жили-были два крестьянина: Илья Малый и Егоръ Панкратовъ.

Они ни въ чемъ не походили одинъ на другого. «Илья Малый былъ простодушенъ; Егоръ Панкратовъ сосредоточенъ. Илья Малый молчалъ только тогда, когда говорить было нечего; Егоръ Панкратовъ говорилъ только тогда, когда молчать не было никакой возможности... Одинъ постоянно отчаивался, другой показывалъ видъ, что ему ничего», и т. д. Но главное различіе ихъ характеровъ заключалось въ томъ, что «Илья Малый жилъ такъ, какъ придется и какъ ему позволятъ; Егоръ Панкратовъ старался *жить по правиламъ*, не дожидаясь позволенія».

«Одинъ жилъ и не думалъ, другой думалъ и этимъ пока жилъ».

Несмотря на все несходство ихъ характеровъ, между Ильей Малымъ и Егоромъ Панкратовымъ существовала тѣсная дружба. Она завязалась съ тѣхъ поръ, какъ Егоръ отбилъ у старосты корову Ильи, предназначенную къ продажѣ за недоимку. Такой поступокъ Егора, мотивированный, впрочемъ, тѣмъ соображеніемъ, что «въ законѣ про корову нигдѣ не сказано», возбудилъ полнѣйшее удивленіе робкаго и беззащитнаго Ильи. Егоръ казался ему героемъ, и онъ безусловно подчинялся ему всегда и всюду, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда его другъ вступалъ въ столкновеніе съ бариномъ или съ сельскимъ начальствомъ.

Въ этихъ случаяхъ Илья немедленно обращался въ постыдное бѣгство, а Егоръ стоялъ на своемъ, и случалось—выходилъ побѣдителемъ, потому что всегда старался держаться законной почвы.

Стремленіе жить по закону и «по правиламъ» сдѣлалось маніей Егора. «Всѣ повинности онъ отправлялъ исправно, подати платилъ въ срокъ и съ презрѣніемъ глядѣлъ на голытьбу, которая доводитъ себя до самозабвенія. Порка для него казалась даже странной, онъ говорилъ: *чай, я не дитя малое*».

Со всѣмъ тѣмъ онъ смутно чувствовалъ, что твердой законной почвы у него подъ ногами не имѣется.

Его права, какъ «вольнаго человѣка» и самостоятельнаго хозяина, были ему очень неясны. И хотя онъ безусловно предпочиталъ новые де-

ревенскіе порядки старымъ, крѣпостническимъ, однако и новыя порядки далеко не могли удовлетворить его стремленіямъ къ самостоятельной жизни *по правиламъ*. «Душа, братецъ мой, вольна нынче, а тѣло нѣтъ, такъ-то!»—возразилъ онъ однажды своему пріятелю, утверждавшему, что нынче «ничего, жить можно».

Егоръ Панкратовъ никогда не могъ отдѣлаться отъ этого тяжелаго, хотя и смутнаго сознанія своей неволи. Его никогда не покидала мысль о поруганіи, угрожающемъ крестьянину при неисправномъ отправленіи имъ своихъ «обязанностей по отношенію къ государству». Онъ сталъ скулъ и жаденъ, хотя и собиралъ деньги единственно для своевременной уплаты податей. Но пришло время, когда всё его усилія оказались без-полезными.

Вмѣстѣ съ Ильей Егору не разъ случалось заниматься на работу у сосѣдняго помѣщика, который, подобно многимъ представителямъ доблестнаго російскаго дворянства, не имѣлъ привычки торопиться съ уплатой своихъ долговъ, въ особенности долговъ работникамъ. У Егора и прежде уже происходили по этому поводу довольно сильныя столкновенія съ беззаботнымъ бариномъ, но въ тотъ разъ, о которомъ идетъ рѣчь, дѣло принимало особенно неприятный оборотъ. Съ него и съ его друга требовали податей, а помѣщикъ отказывался расплатиться съ ними, отговариваясь недосугомъ.

И въ самомъ дѣлѣ, у него были гости, и онъ ужъ нѣсколько дней ку-талъ съ ними безъ перерыву. Въ числѣ гостей былъ и становой.

Егоръ находился въ крайности. «Предчувствіе о ней давно уже тяго-тѣло надъ нимъ, но смутно; онъ не очень беспокоился. А теперь эта крайность встала передъ глазами. Мысль же о поркѣ приводила его въ не-обузданное состояніе, и понятно, что онъ выглядѣлъ очень мрачно, когда предсталъ передъ бариномъ».

— Да что же это такое?—сказалъ онъ съ волненіемъ, стоя въ прихо-жей передъ бариномъ, также взбѣсившимся.

По обыкновенію, Егоръ Панкратовъ былъ впереди, а Илья Малый прятался за нимъ.

— Сколько разъ васъ гоняли и говорили вамъ, что некогда?—бѣшено говорилъ баринъ, чувствуя, что голова его сейчасъ треснетъ.

— Намъ, ваша милость, дожидаться нельзя. Описаніе! Мы за своимъ при-шли... кровнымъ!—отвѣтилъ съ возраставшимъ волненіемъ Егоръ Панкратовъ.

— Ступайте прочь! Душу готовы вытянуть за трешницу.

— Намъ, ваша милость, нельзя дожидать...

— Говорю вамъ—убирайтесь! Рыться я стану въ книгахъ!—кричалъ совсѣмъ вышедшій изъ себя баринъ.

А Егоръ Панкратовъ стоялъ передъ нимъ блѣдный и мрачно глядѣлъ въ землю.

— Эхъ, ваша милость! стыдно обижать вамъ насъ въ этомъ разѣ...—
сказалъ онъ.

— Да ты уйдешь? Эй, Яковъ! Гони!

«На шумъ вышли почти всѣ гости... и становой. Послѣдній, узнавъ, въ чемъ дѣло, приказалъ Егору Панкратову удалиться. Но Егоръ Панкратовъ не удалился; онъ съ отчаяніемъ глядѣлъ то на того, то на другого изъ гостей, и, наконецъ, сказалъ упавшимъ голосомъ:

— Ты, ваше благородіе, не путайся въ это мѣсто».

Скверно кончилась эта исторія для нашего сторонника законности. Его чуть было не высѣкли, и только по совѣту старшины, боявшагося «взбалмошнаго» права «Егорки», замѣнили это позорное наказаніе заключеніемъ въ «темную», на хлѣбъ и на воду!

Деревенскій староста боялся было, что онъ упрется, и униженно просилъ его «покориться». И Панкратовъ покорился. Молча и мрачно пошелъ онъ въ «канцерь», молча и мрачно вышелъ оттуда, приди домой, забрался на полаты, напился квасу, и... заболѣлъ гбрычкой. Всѣ сосѣди и даже всѣ деревенскіе начальники отнеслись къ нему съ полнѣйшимъ сочувствіемъ и не понимали только одного, что собственно такъ огорчило страннаго мужика. «Прохворалъ онъ почти всю зиму; покопошится на дворѣ, поработаетъ и опять сляжетъ. Илья Малый старался во всемъ ему помогать, но все-таки хозяйство его было уже разстроено, да и самъ онъ былъ не тотъ. Однажды, въ началѣ весны, онъ вышелъ на заваленку погрѣться на солнышкѣ, и всѣ, кто проходилъ мимо него, не узнавали въ немъ Егора Панкратова. Блѣдное лицо, тусклые глаза, вялыя движенія и странная, больная улыбка—вотъ чѣмъ сталъ Егоръ Панкратовъ. Къ нему подсѣлъ Илья Малый и, рассказавъ свои планы на наступающее лѣто, неосторожно коснулся происшествія, укоряя Егора Панкратова за то, что тогда онъ огорчился изъ-за пустяковъ. Егоръ Панкратовъ сконфузился и долго не отвѣчалъ, улыбаясь некстати... Потомъ сознался, что его тогда «нечистый попуталъ». Онъ стыдился за все прошлое. Такимъ Егоръ Панкратовъ остался навсегда. Онъ сдѣлался ко всему равнодушенъ. Ему было, повидимому, все равно, какъ ни жить, и если онъ жилъ, то потому, что другіе живутъ, напр., Илья Малый»...

Разумѣется, Егоръ Панкратовъ и Илья Малый остались по-прежнему друзьями-пріятелями; они «соопча» работали, «соопча» терпѣли невзгоды, ихъ и сѣкли за одинъ разъ.

Такъ наказала современная деревня «вольнаго человѣка» за его стремленіе къ жизни «по правиламъ».

VIII.

Въ рассказѣ «Ученый» передъ нами подобное же явленіе: проснувшееся въ крестьянинѣ сознаніе своего человѣческаго достоинства не вы-

держиваетъ столкновѣнія съ окружающею его тяжелой дѣйствительностью; загорѣвшійся огонекъ мысли гаснетъ подъ вліяніемъ тяжелаго нравственнаго оскорбленія.

На этотъ разъ мы имѣемъ дѣло съ «жителемъ», избравшимъ самый вѣрный путь для приведенія своего ума въ «порядокъ». Дядя Иванъ, тоже парашкинскій «житель», отличается необыкновенной жадной знанія, страстной любовью къ книгѣ. Несмотря на овой зрѣлый возрастъ, онъ ходитъ въ школу, гдѣ стойчески переноситъ насмѣшки шаловливыхъ ребятъ, съ дѣтской безпощадностью издѣвающихся надъ всѣми промахами и ошибками своего взрослого товарища. Но школьный учитель былъ плохъ, а вскорѣ, благодаря земству, школа совсѣмъ закрылась. Такъ и остался Иванъ полуграмотнымъ, умѣя только съ грѣхомъ пополамъ читать по печатному и смотря на искусство писать, какъ на высшую, недостижимую для него мудрость. Тѣмъ не менѣе, страсть «почитаться» осталась у него въ полной силѣ. Для него не было большого наслажденія, какъ купить въ городѣ книжку и засѣсть за нее въ свободное отъ хозяйственныхъ занятій время. Бѣда была лишь въ томъ, что онъ далеко не все понималъ въ покупаемыхъ книжкахъ. Иногда попадалось въ нихъ такое словечко, котораго онъ, при всѣхъ усиліяхъ, не могъ понять безъ посторонней помощи. Иногда Иванъ шелъ къ писарю Семенычу и за приличное вознагражденіе, въ видѣ шкалика водки, добивался разъясненія мудренаго «словечка». Правда, толкованія писаря далеко не всегда соответствовали истинному смыслу мудренаго слова, но безъ его помощи Иванъ обойтись все-таки не могъ. Семенычъ былъ самымъ ученымъ человѣкомъ въ деревнѣ. Со-временемъ Иванъ сталъ обращаться къ нему не только по поводу «словечекъ», но и вообще во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда въ его головѣ шевелились вопросы, неразрѣшенные «странною» философій предковъ. А такіе вопросы все чаще и чаще возникали въ головѣ темнаго читателя.

«Откуда вода? Или опять тоже земля?.. Почему? Куда бѣгутъ тучки?» Мало того, явился даже вопросъ о томъ—*«откуда мужикъ»*. Собесѣдованіе Ивана съ Семенычемъ по поводу этого вопроса прекрасно изображено авторомъ.

— Напримѣръ, мужикъ...—Дядя Иванъ остановился и сосредоточенно смотрѣлъ на Семеныча.

— Мужикъ у насъ счету нѣтъ,—возразилъ послѣдній.

— Погоди, Семенычъ... ты не сердись... Ну, напримѣръ, я мужикъ, темнота, одно слово—невѣжество... А почему?

Въ глазахъ дяди Ивана появилось мучительное выраженіе.

У Семеныча даже косушка вылетѣла изъ головы; онъ даже плюнулъ.

— Ну, мужикъ—мужикъ и есть! Ахъ! ты, дурья голова!

— То-то я и думаю: почему?

— Потому, мужикъ, необразованность... Тьфу, дурья голова!—съ удивленіемъ плюнулъ Семенычъ, начиная хохотать.

— Стало быть, въ другихъ царствахъ тоже мужикъ?

— Въ другихъ царствахъ-то?

— Ну.

— Тамъ мужика не дозволяется... тамъ этой самой нечистоты нѣтъ! Тамъ его духу не положено! Тамъ, братъ, чистота, наука.

— Стало быть, мужика...

— Ни-ни.

— Наука?

— Тамъ-то? Да тамъ, надо прямоговорить, ежели ты сунешься съ образиной своей, тамъ на тебя с-с-ообакъ напустятъ! Потому ты звѣрь звѣремъ!

Какъ ни глупо было вранье Семеныча, но въ данномъ случаѣ и его, вѣроятно, было достаточно, чтобы подлить масла въ огонь, толкнувъ на новую работу безпокойную мысль Ивана.

Узнавъ, что въ другихъ государствахъ и духу мужицкаго «не положено» и что это происходитъ отъ того, что «тамъ наука», Иванъ естественно долженъ былъ пойти далѣе и спросить себя,—нельзя ли и русскому труждающемуся населенію добиться подобной же степени образованія? А отсюда уже недалеко было и до очень важныхъ выводовъ. Съ нѣкоторыхъ поръ голова его стала работать, по выраженію автора, больше, чѣмъ руки. Въ его несложномъ хозяйствѣ явились упущенія, за нима оказались недоимки. Староста уже нѣсколько разъ напоминалъ ему объ этомъ, но Иванъ продолжалъ возиться съ вопросами. Печальная развязка сдѣлалась неизбѣжной. Въ одинъ изъ прїѣздовъ исправника Ивана позвали въ волость и тамъ розгами напомнили ему объ его гражданскихъ обязанностяхъ. Эта отеческая расправа поразила его, какъ громомъ. Возвращаясь домой, «онъ озирался по сторонамъ, боясь кого-нибудь встрѣтить,—онъ такъ бы и оцѣпенѣлъ отъ стыда, если бы встрѣтилъ; да, отъ стыда! потому что все, что дали ему чудесныя мысли—это стыдъ, ѣдкій, смертельный стыдъ».

Подъ вліяніемъ перваго впечатлѣнія Иванъ хотѣлъ было утопиться. Онъ даже прїѣжалъ на берегъ рѣки и уже готовился было броситься въ воду, но... его настигъ староста, которому до-зарѣзу нужны были люди для починки моста, совершенно нестати обвалившагося передъ прїѣздомъ исправника. «Гдѣ у тебя совѣсть, дьяволь ты этакій, какого лѣшаго ты тутъ проклажаешься?»—закричалъ блюститель деревенскаго порядка. И отъ этого окрика въ Иванѣ, повидимому, дѣйствительно проснулась «совѣсть», старая, завѣщанная прародителями совѣсть двуногаго вьючнаго животнаго, осужденнаго на вѣчную каторгу. Онъ безропотно пошелъ на работу.

Но съ тѣхъ поръ у него пропала новая, благопріобрѣтенная, изъ книжекъ почерпнутая совѣсть.

«Дядя Иванъ о книжкахъ и чудесныхъ мысляхъ больше не вспоминать. Онъ думалъ только о недоумкахъ... Книжекъ въ пятакъ онъ не носилъ больше за голенищемъ, онъ зарылъ ихъ въ яму, выкопанную нарочно на огородѣ... Если же на него нападала тоска, то онъ шелъ къ Семенычу и отправлялся вмѣстѣ съ нимъ въ кабакъ. Черезъ полчаса, много черезъ часъ, оба загадочные выходили оттуда уже готовыми»...

Впослѣдствіи дядя Иванъ принималъ участіе въ извѣстномъ уже намъ бѣгствѣ парашкинцевъ цѣлымъ «описовомъ».

IX.

Въ статьѣ о Гл. Успенскомъ мы противопоставили изображенному имъ крестьянину Ивану Ермолаевичу рабочаго Михайла Лунина, героя повѣсти г. Каронина «Снизу вверхъ». По этому поводу насъ, вмѣстѣ съ г. Каронинымъ, немало обвиняли въ преувеличеніи. Мы соглашаемся, что сдѣланное нами противопоставленіе было слишкомъ рѣзко. Михайло Луинъ есть дѣйствительно настоящій антиподъ Ивана Ермолаевича. Одинъ не понимаетъ существованія внѣ земледѣльческаго труда, а мысль его работаетъ лишь тамъ, гдѣ соха, борона, овцы, куры, утки, коровы и тому подобное. Другой нѣ имѣетъ ни сохи, ни бороны, ни овецъ, ни буръ, ни утокъ, ни коровъ и ничего подобнаго, и онъ не только мало сожалѣетъ объ этомъ, но ему трудно даже понять, какъ могутъ люди выносить тяжелую долю русскаго земледѣльца.

Иванъ Ермолаевичъ плохо соображаетъ, зачѣмъ собственно ему нужно учить грамотѣ своего сына Мишутку. Михайло Луинъ самъ учится «не то, что съ энтузіазмомъ, а съ какимъ-то остервенѣніемъ». Взгляды Ивана Ермолаевича поражаютъ своей «стройностью».

Михайло Луинъ, какъ и всякій человѣкъ, пережившій періодъ разлада съ окружающею его дѣйствительностью, долженъ былъ пройти черезъ всевозможныя сомнѣнія и недоумѣнія, а слѣдовательно и черезъ связанную съ нимъ путаницу понятій. Иванъ Ермолаевичъ лишь зѣваетъ «сокрушительнѣйшимъ образомъ», когда «новый человѣкъ» пытается ему привить «новые взгляды на вещи». Въ отвѣтъ на всѣ доводы такого человѣка онъ «можетъ сказать только одно: безъ этого нельзя».

Но это «только» имѣетъ за себя вѣковѣчность и незыблемость самой природы... Въ головѣ Ивана Ермолаевича нѣтъ мѣста для какихъ бы то ни было *вопросовъ*. Михайло Луинъ буквально осажденъ «вопросами» и способенъ замучить ими самаго неутомимаго «интеллигента». Взоры Ивана Ермолаевича устремлены на *прошлое*. Онъ живетъ или хотѣлъ бы жить такъ, какъ жили его «прародители», за исключеніемъ, конечно, крѣпостнаго права. Михайло Луинъ съ содроганіемъ и ужа-

сомъ слушаетъ рассказы о жизни «прародителей» и старается создать себѣ возможность иной, *новой* жизни, обезпечить себѣ иное, лучшее *будущее*. Словомъ, одинъ представляетъ собою старую, крестьянскую, допетровскую Русь, другой—новую, нарождающуюся, рабочую Россію, ту Россію, въ которой реформа Петра получаетъ, наконецъ, овсе крайнее логическое выраженіе.

Повторяемъ, противопоставленіе Лунина Ивану Ермолаевичу было чрезвычайно рѣзко. Но мы не могли избѣжать его, не желая оставить напу мысль недосказанной. Разобранные нами теперь очерки и рассказы г. Каронина даютъ намъ новый матеріалъ для ея поясненія, и если читатель подумаетъ надъ вышеуказанными характерами и сценами, то онъ, можетъ быть, и самъ увидитъ, что Михайло Лунинъ представляетъ собою явленіе вполне естественное и даже неизбѣжное въ современной нашей общественной жизни.

Все зависитъ отъ окружающей обстановки. Иванъ Ермолаевичъ находится подъ властью земли. Землѣ и только *землѣ*, земледѣльческому труду и только *земледѣльческому* труду онъ обязанъ своимъ «строинимъ» міросозерцаніемъ.

Но вотъ на него надвигается «цивилизациѣ» и, какъ карточные домики, разрушаетъ всѣ его вѣками установившіяся привычки. «Строинность сельско-хозяйственныхъ земледѣльческихъ идеаловъ безпощадно разрушается такъ называемой цивилизациѣй»,—говоритъ Гл. Успенскій.— «Ея вліяніе отражается на простодушномъ поселянинѣ рѣшительно при самомъ ничтожномъ прикосновеніи. Буквально прикосновеніе, одно только легкое касаніе,—и тысячелѣтнія идеальныя постройки превращаются въ щепки».—Мы видѣли, что не одна только «цивилизациѣ», но и само государство, правда, подъ вліяніемъ той же цивилизациѣ, сильно способствуетъ разложенію «сплошного» быта Ивановъ Ермолаевичей. Сообразно тысячамъ различныхъ случайностей, разложеніе принимаетъ различный видъ, создаетъ совершенно различныя типы и характеры. Одни изъ нихъ во многомъ, почти во всемъ, похожи на Ивана Ермолаевича, но у нихъ проявляются уже новыя черты, Ивану Ермолаевичу несвойственныя. У другихъ черты сходства уравниваются чергами различія. У третьихъ сходства съ Иваномъ Ермолаевичемъ уже совсѣмъ мало.

Наконецъ, появляются и такіе характеры, которые, выработавшись подъ вліяніемъ совершенно новой среды, оказываются совершенно на него непохожими, даже противоположными ему. Въ лицѣ Демы мы встрѣтились съ крестьяниномъ, бывшимъ вѣкогда настоящимъ Иваномъ Ермолаевичемъ. Только нужда могла оторвать его отъ земли; но, оторвавшись отъ нея, попавши въ новую обстановку, онъ мало-по-малу начинаетъ питать къ деревнѣ «недоброе чувство». Въ немъ пробуждаются новыя нравственныя потребности, какихъ онъ не зналъ въ деревнѣ и какія не мо-

гутъ найти тамъ удовлетворенія. То же можно сказать о фантазерѣ Минай. Онъ представляетъ собою не болѣе какъ разновидность Ивана Ермолаевича. Онъ держится за землю обѣими руками, и весь полетъ его пламенной фантази ограничивается сначала только областью земледѣльческаго труда. Но кулакъ Екишка своимъ примѣромъ вноситъ разладъ въ его міросозерцаніе: Минай мечтаетъ на тему о томъ, какъ бы раздѣлаться съ общиной и зажить, подобно Екишкѣ, одинокимъ и ничѣмъ не связаннымъ. Читатель помнитъ, что мысль о выходѣ изъ общины приходила и самому Ивану Ермолаевичу. Только у него она не окрашивалась завистью къ кулацкому благосостоянію, какъ это было у Миная. Покинувъ деревню, впечатлительный Минай, навѣрное, еще болѣе поддался влиянію «цивилизаци», и хотя онъ не имѣлъ возможности разжиться, но, конечно, міросозерцаніе его еще болѣе потеряло въ своей «стройности».

Плутоватый и дѣятельный Петръ Сизовъ любитъ свою землю, можетъ быть, не меньше Ивана Ермолаевича, но любитъ уже на другой ладъ: такъ, какъ любятъ ее кулаки и вообще люди наживы. Для него земля дорога уже не сама по себѣ, а потому, что имѣетъ извѣстную *мгновую* стоимость. «Власть земли» отходитъ здѣсь на задній планъ, уступая мѣсто *власти капитала*.

Но и Иванъ Ермолаевичъ, и Дема, и Петръ Сизовъ, и даже фантазеръ Минай, при всемъ сходствѣ или несходствѣ другъ съ другомъ, имѣютъ ту общую черту, что въ ихъ отношеніяхъ къ окружающему, — какъ бы ни было оно для насъ привлекательно или непривлекательно, — нѣтъ ничего болѣзненнаго.

Въ разстроенныхъ «деревенскихъ нервахъ» Гаврилы и въ «большомъ жителѣ» Горѣловѣ мы видимъ иную черту. Разложеніе стараго «сплошного» быта отразилось на нихъ болѣзненно. Пробудившаяся мысль, не довольствуясь старымъ «сплошнымъ» міросозерцаніемъ, поставила себѣ вопросъ: «зачѣмъ, для чего?» — и не нашла удовлетворительнаго отвѣта, запутавшись въ потемкахъ и противорѣчій. Но она не могла и поминуться со своимъ безсиліемъ, мстя за него отрицательнымъ отношеніемъ ко всему окружающему. И Гаврило и Егоръ Ѳеодорычъ Горѣловъ бѣгутъ изъ деревни, измучившей и разстроившей ихъ до крайности. Деревенская среда не можетъ внести искомаго «порядка» въ ихъ головы.

«Вольный человекъ» Егоръ Панкратовъ ищетъ не столько «порядка» въ мысляхъ, сколько возможности жить по «закону», не подчиняясь произволу людей, выше его поставленныхъ. Независимостью своей нравственной личности онъ дорожитъ больше всего на свѣтѣ. Это его конекъ, господствующее стремленіе въ его жизни. Подъ влияніемъ этого стремленія, которому такъ часто противорѣчитъ практика деревенской жизни, онъ дѣлается угрюмымъ, необщительнымъ и даже жаднымъ. Въ этой оригинальной личности, сосредоточившей всѣ свои силы на огражденіи

своего человеческого достоинства, также нельзя не видеть знаменія новаго времени.

Представитель «сплошного» быта и «сплошного» міросозерцанія, Иванъ Ермолаевичъ не имѣлъ никакихъ *исключительныхъ* стремленій; въ его сплошной, уравновѣшенной душѣ для нихъ не было мѣста. Только съ разрушеніемъ этого стихійно выросшаго сплошного равновѣсія является возможность развитія *личности*, съ ея особенными вкусами, наклонностями и стремленіями.

«Ученый» дядя Иванъ еще дальше ушелъ отъ Ивана Ермолаевича. Его, подобно Гаврилѣ и Горѣлову, осаждаютъ различные вопросы, о существованіи которыхъ Иванъ Ермолаевичъ не имѣлъ и понятія. Но его вопросы принимаютъ гораздо болѣе опредѣленное и совершенно реальное направленіе. Онъ идетъ къ ихъ разрѣшенію по вѣрному пути, онъ стучится въ дверь школы, вооружается книгой. «Откуда мужикъ? Почему мужикъ?» Разъ начали появляться такіе вопросы въ крестьянской головѣ, можно съ полною увѣренностью сказать, что старому, сплошному крестьянскому быту пришелъ конецъ. Правда, дядя Иванъ не выдерживаетъ характера, у него опускаются руки, какъ опустились онѣ и у Егора Панкратова. Но это только показываетъ лишній разъ, что современная деревня представляетъ собой среду, крайне неблагоприятную для развитія крестьянской мысли. Михайло Лунинь рано покинулъ деревню и уцѣлѣлъ. Между нимъ и дядей Иваномъ различіе въ судьбѣ, а не въ характерѣ. Попади дядя Иванъ на мѣсто Лунина, онъ, по всей вѣроятности, пришелъ бы къ тому же, къ чему пришелъ Лунинь. Дядя Иванъ относится къ Михайлѣ, какъ человѣкъ, поставившій себѣ извѣстную цѣль относиться къ человѣку, достигшему этой цѣли. Вотъ и все. Дядя Иванъ является антиподомъ Ивана Ермолаевича *въ стремленіи*, Михайло Лунинь — антиподомъ его *въ дѣйствительности*. Намъ замѣтатъ, вѣроятно, что немного рабочихъ попадаетъ въ такіа благоприятныя для умственного развитія условія, въ какія попалъ Лунинь. Это вѣрно. Но не въ томъ дѣло. Важно то, что современная русская жизнь, благодаря распаденію сплошного быта, создаетъ и чѣмъ далѣе, тѣмъ въ большемъ числѣ будетъ создавать такихъ личностей, какъ Егоръ Панкратовъ, дядя Иванъ и Михайло Лунинь. Важно то, что какъ ни плохо положеніе русскаго рабочаго, но все-таки городская жизнь гораздо болѣе деревенской благоприятна для дальнѣйшаго умственного и нравственнаго развитія подобныхъ личностей.

Хотите, чтобы она была еще благоприятнѣе? Это въ значительной степени зависитъ отъ васъ самихъ... Идите въ рабочую среду и помогите ей разобраться въ *вопросахъ*, поставленныхъ передъ нею самой жизнью. Въ этой средѣ растетъ та новая историческая сила, которая освободитъ современемъ *все* трудящееся населеніе страны.

Плохи люди, сидящіе сложа руки и возлагающіе все оное упованіе на естественный ходъ событий. Это трутни исторіи. Отъ нихъ никому ни жарко, ни холодно. Но немногимъ лучше ихъ и тѣ, которые упорно смотрятъ назадъ, не переставая говорить о поступательномъ движеніи народа. Эти люди осуждены на неудачи и разочарованія, потому что они добровольно поворачиваются спиною къ исторіи. Полезнымъ дѣятелемъ можетъ быть только тотъ, кто, не боясь борьбы, умѣетъ направлять оное усилія сообразно съ ходомъ общественнаго развитія. Русскій народъ не со вчерашняго дня переживаетъ процессъ разложенія старыхъ деревенскихъ порядковъ. Онъ успѣлъ уже весьма значительно измѣниться. А наша интеллигенція все еще продолжаетъ искать опоры въ старыхъ народныхъ «идеалахъ». Если она когда-нибудь пойметъ свою ошибку, то скажетъ, можетъ быть, какъ говорили губернскому гласному парашкинцы: «Съ которыхъ уже это поръ идетъ, а мы все перемогались, все думали, авось Богъ дастъ... Вотъ она, слѣпота-то наша, какая!»

И подлинно слѣпота! Рваться впередъ,—и въ то же время защищать отжившую свой вѣкъ старину! Желать добра народу,—и въ то же время отстаивать учрежденія, способныя только увѣковѣчить его рабство! Считать мертвое живымъ, а живое мертвымъ,—кто, кромѣ слѣпыхъ, не замѣтитъ бездонной пропасти подобныхъ противорѣчій. Имѣющій очи и пользующійся ими не боится ни историческаго развитія вообще, ни торжества капитализма въ частности. Онъ видитъ въ капитализмѣ не одно только зло; онъ замѣчаетъ также его разрушительную сторону, которая обновитъ наше общество. Вотъ почему, наблюдая современное разложеніе всѣхъ допотопныхъ «устоевъ» русской соціальной и политическаго жизни, имѣющій очи человекъ съ облегченнымъ сердцемъ воскликнетъ: *прощай, старая Обломовка, ты отжила свой вѣкъ!*

Н. А. НЕКРАСОВЪ.

Нъ 25-тилѣтію его смерти.

Нашъ геніальный критикъ В. Г. Бѣлинскій писалъ одному изъ своихъ московскихъ друзей о Некрасовѣ: «Что за талантъ у этого человѣка, и что за топоръ его таланты!» Эта восторженная похвала не лишена нѣкоторой двусмысленности. Топоръ—очень полезное орудіе труда; онъ составляетъ одно изъ первыхъ по времени культурныхъ приобрѣтеній человѣка. Но вещи, сдѣланныя топоромъ, обыкновенно неизящны; недаромъ мы говоримъ: «топорная работа». И надо признать, что произведенія Некрасова часто представляютъ собою именно такую работу. Я помню, какъ однажды, заспоривъ со мною о «Русскихъ женщинахъ», покойный Всеволодъ Гаршинъ, очень невысоко ставившій поэтическій талантъ Некрасова и рѣзко осуждавшій тогда (въ годы студенчества) «тенденціозность» его поэзіи, съ насмѣшкой продекламировалъ:

„Покоень, прочень и лежокъ
На диво слаженный возокъ“...

Несмотря на все свое пристрастіе къ поэту «мести и печали», я вынужденъ былъ согласиться, что «возокъ» плохо рифмуется съ «лежокъ». Некрасовъ, навѣрно, и самъ чувствовалъ, что тутъ дѣло идетъ не совсѣмъ ладно; однако, онъ не только не смутился этимъ, но нѣсколько ниже повторилъ:

„Покоень, прочень и лежокъ
Катится городомъ возокъ“...

Подобныя анти-эстетическія погрѣшности у Некрасова попадаютъ на каждомъ шагу. Его стихъ не гладокъ или, какъ онъ самъ характеризовалъ его, *тяжелъ и неуклюжъ*. Его языкъ рѣдко бываетъ звученъ. Людямъ, воспитаннымъ въ эстетическихъ преданіяхъ сороковыхъ годовъ и избалованнымъ роскошной музыкой стиховъ Пушкина и Лермонтова, должны были рѣзать ухо шипящіе звуки въ родѣ вотъ этихъ:

„Отъ ликующихъ, праздно болтающихъ,
Обагряющихъ руки въ крови
Уведи меня въ станъ погибающихъ“ и т. д.

Это очень неблагозвучно. Но это еще только полъ-бѣды; это касается только стиха, т. е. *внѣшности*, такъ сказать, поверхности поэтического произведенія. Бѣда заключается въ томъ, что стихотворенія Некрасова очень часто не удовлетворяютъ художественнымъ требованіямъ *даже по своему внутреннему строенію*. Для примѣра я укажу на одно изъ самыхъ знаменитыхъ и, по своему, самыхъ замѣчательныхъ его произведеній—на «Размышленія у параднаго подъязда». Вспомните это мѣсто:

„А владѣлецъ роскошныхъ палатъ
Еще своимъ былъ глубокимъ объять...
Ты, считающій жизнью завидною
Упоеніе дестью безстыдною,
Волокиство, обжорство, игру,—
Пробудись! Есть еще наслажденіе:
Вороти ихъ! Въ тебѣ ихъ спасеніе!
Но счастливые глухи къ добру...
Не страшать тебя громы небесные,
А земные ты держишь въ рукахъ,
И несутъ эти люди безвѣстные
Неисходное горе въ сердцахъ“...

Это благородно и краснорѣчиво; но, къ сожалѣнію, это не болѣе какъ *краснорѣчивая проза* (злые языки говорили: риторика). Поэзіи тутъ нѣтъ никакой, и потому все это мѣсто, такъ сильно заставлявшее биться тысячи и тысячи русскихъ сердецъ (я тѣмъ убѣдительно доказавшее, что въ немъ была не одна «риторика»), не только не украшаетъ стихотворенія, а прямо портитъ его, и было бы гораздо умѣстнѣе въ статьѣ или—еще лучше—въ рѣчи. Прозаическій элементъ вообще былъ очень силенъ въ поэзіи Некрасова, что и подало поводъ называть ее *тенденціозной*. Но дѣло тутъ собственно не въ тенденціозности, а просто въ томъ, что поэтический талантъ Некрасова былъ недостаточно силенъ и — это, можетъ быть, главное—недостаточно пластиченъ ¹⁾. Повторяю, топоръ представляетъ собою очень полезное орудіе труда, но топорная отдѣлка оставляетъ желать лучшаго.

¹⁾ Подъ тенденціозностью чаще всего понимаютъ искаженіе дѣйствительности въ угоду предвзятой идеѣ. Такой тенденціозности въ поэзіи Некрасова совсѣмъ не было (если не считать нѣкоторыхъ „неверныхъ звуковъ“, вырванныхъ у его музы тяжелыми политическими условіями Россіи, которымъ онъ по временамъ подчинялся больше, чѣмъ это было позволительно). Но иногда на счетъ тенденціозности относятъ то, что объясняется именно недостаточной пластичностью поэтического дарованія. Человѣкъ не справляется со своими поэтическими образами, и потому въ его стихотвореніи врывается проза. Это большой недостатокъ. Но происходитъ онъ часто не отъ желанія исказить дѣйствительность, и къ тому же самъ по себѣ онъ вовсе не ведетъ къ ея искаженію: проза не значитъ ложь; прозаическое описаніе можетъ быть вполне точно.

А въ пользу, принесенной нашему общественному самосознанію «топорнымъ» талантомъ Некрасова, теперь уже нельзя сомнѣваться и почти бесполезно о ней распространяться. Некрасовъ явился поэтическимъ выразителемъ цѣлой эпохи нашего общественного развитія. Эта эпоха начинается выступленіемъ на нашу историческую сцену образованнаго «разночинца» («интеллигенци» тожь) и оканчивается появленіемъ на этой сценѣ *рабочаго класса, пролетаріата* въ настоящемъ смыслѣ этого слова. Кто интересуется нравственнымъ или идейнымъ содержаніемъ этой замѣчательной эпохи, тотъ найдетъ въ поэзіи Некрасова богатѣйшій матеріалъ для его характеристики.

Поэзія и вся изящная литература предшествовавшей общественной эпохи была у насъ преимущественно *поэзіей высшаго дворянскаго сословія*. Я говорю: «преимущественно», такъ какъ были блестящія исключенія изъ этого общаго правила; достаточно назвать Кольцова. Но эти исключенія всѣми встрѣчались именно какъ исключенія, и потому подтверждали общее *правило*.

Что такое Евгенийъ Онегинъ? Образованный русскій дворянинъ «въ гарольдовомъ плащѣ». Что такое Печоринъ? Тоже образованный дворянинъ и въ томъ же плащѣ, только на другой ладъ скроенномъ. А что такое героя разныхъ «Дворянскихъ гнѣздъ» Тургенева? Что такое дѣйствующія лица «Войны и мира» или «Анны Карениной», всѣ эти Куракины, Болконскіе, Безухіе, Ростовы, Вронскіе, Облонскіе, Левины и т. д., и т. д.? Все это—кость отъ костей, плоть отъ плоти нашего дворянскаго сословія. Въ произведеніяхъ Толстого «народъ» фигурируетъ только мимоходомъ и только въ той мѣрѣ, въ какой онъ нуженъ художнику для того, чтобы изобразить душевное состояніе героя-дворянина: припомните, напримѣръ, солдата Платона Каратаева, вносящаго миръ въ мятущуюся душу графа Петра Безухаго. У Тургенева, въ его «Запискахъ охотника», народу,—крестьянину,—отводится уже гораздо болѣе широкое мѣсто. Но хотя «Записки охотника» сыграли довольно крупную и благотворную роль въ духовномъ развитіи нашего «общества», однако, не онѣ характеризуютъ собою талантъ Тургенева и не онѣ опредѣляютъ собою содержаніе его художественнаго творчества. «Записки охотника» не помѣшали Тургеневу остаться такимъ же бытописателемъ «дворянскихъ гнѣздъ» и такимъ же истолкователемъ душевной жизни ихъ обитателей, какими были Пушкинъ, Лермонтовъ, Толстой и многія-многія другія звѣзды меньшихъ величинъ. Называя ихъ всѣхъ бытописателями дворянскихъ гнѣздъ, указывая на ихъ дворянскую точку зрѣнія, я этимъ вовсе не хочу сказать, что они были ограниченными сторонниками сословныхъ привилегій, безсердечными защитниками эксплуатаціи крестьянина дворяниномъ. Совсѣмъ нѣтъ! Эти люди были по-своему очень добры и гуманны, а угнетеніе крестьянъ дворянами рѣзко осуждалось,—иногда, по крайней мѣрѣ,—нѣкоторыми изъ

нихъ. Но дѣло вовсе не въ этомъ. Какъ бы ни были добры и гуманны эти наши великіе художники, несомнѣнно все-таки то, что дворянскій бытъ изображается у нихъ не со своей отрицательной стороны, т. е. не съ той стороны, съ которой обнаружилось бы противорѣчіе интересовъ дворянства съ интересами крестьянства, а съ той, съ которой это *противорѣчіе совсѣмъ незамѣтно* и съ которой дворянинъ, жившій болѣе или менѣе суровой эксплуатаціей крестьянина, все-таки оказывается человекомъ, способнымъ понимать и переживать многія важнѣйшія человѣческія чувства: стремленіе къ истинѣ, исканіе серьезнаго общественнаго дѣла, жажду борьбы, любовь къ женщинѣ, наслажденіе природой и т. п., и т. п. Поскольку обитатели «дворянскихъ гнѣздъ» способны были испытывать эти чувства, постольку они и интересовали художника, а отношеніе этихъ людей къ подчиненному имъ сословію или совсѣмъ обходилось въ художественномъ произведеніи, — мы совсѣмъ не знаемъ, на примѣръ, какъ относился къ своимъ крестьянамъ Печоринъ, — или изображалось одной—двумя чертами: Онягиня замѣняетъ въ своемъ имѣніи легкимъ оброкомъ «яремъ барщины старинной»; Петръ Безухій строитъ для своихъ крѣпостныхъ школы и больницы; Андрей Болконскій переводитъ нѣкоторыхъ изъ нихъ въ вольные хлѣбопашцы; или, наконецъ, мѣстами изображается въ нихъ почти идеаллическими красками. Напомню сваточныя забавы въ рязанскомъ имѣніи графовъ Ростовыхъ, Отрадномъ: крѣпостные слуги наравнѣ со своими господами участвуютъ въ этихъ забавахъ, изображенныхъ съ такимъ неподражаемымъ, несравненнымъ искусствомъ. Рисуя отраденскую идиллію, Толстой вовсе не задавался цѣлью что-нибудь скрыть или скрасить: объ отраденскихъ крѣпостныхъ онъ вовсе и не думалъ. Его вниманіе сосредоточено было на изображеніи любви Николая Ростова къ Софьѣ, а участіе крѣпостныхъ въ сваточныхъ забавахъ изображено имъ совершенно мимоходомъ и просто потому, что нельзя было не изобразить его: вышло бы несогласно съ дѣйствительностью. Если же нарисованныя имъ бытовыя сцены оказываются настоящей идилліей, то это не вина художника и не его заслуга. Что же было ему дѣлать, если такія идеаллическія сцены имѣли мѣсто, несмотря на всѣ ужасы крѣпостнаго права? Толстому, конечно, хорошо было извѣстно существованіе этихъ ужасовъ. Но рисовать ихъ онъ не видѣлъ ни малѣйшей надобности, такъ какъ его героями были не крѣпостные люди, а благовоспитанные, по-своему добрые аристократы, которые *непосредственно*го отношенія къ названнымъ ужасамъ вовсе даже и не имѣли.

Зная нашъ крѣпостной бытъ и дополняя своей собственной фантазіей то, что не было досказано художникомъ, мы можемъ не безъ основанія предположить, что тотъ или другой изъ отраденскихъ крѣпостныхъ, забавлявшихся на Святкахъ вмѣстѣ съ молодыми господами, былъ очень скоро послѣ того подвергнутъ позорному наказанію на конюшнѣ. Но вѣдь

наказывали не молодые господа, не Наташа, не Соня, не Николай и даже не старый графъ Ростовъ. Наказаніями въ Отрадномъ распоряжался управляющій Митенька. Стало быть, Толстому нечего было и толковать о наказаніяхъ; у него рѣчь шла именно о господахъ: о Наташѣ, Сонѣ, Николаѣ, старомъ графѣ и т. д. Въ дворянскихъ романахъ, хотя бы и многотомныхъ, мало было мѣста для изображенія народнаго горя ¹⁾).

У Гоголя «дворянскія гнѣзда» изображаются, конечно, далеко не въ такомъ привлекательномъ свѣтѣ, какъ у Толстого или у Тургенева. Но если Гоголь больно бичуетъ Собакевичей, Ноздревыхъ, Маниловыхъ и т. п., то и онъ все-таки очень мало занимается Селифанами, Петрушками, дядями Митяями и другими представителями угнетеннаго сословія. Его мысль тоже мало останавливалась на психологіи «крещеной собственности».

У Некрасова мы видимъ уже совсѣмъ другое. Изображенію народнаго горя посвящены всѣ его наиболѣе извѣстныя произведенія. А на дворянскія гнѣзда эти произведенія проливаютъ совсѣмъ-таки непривлекательный свѣтъ. Уже въ одномъ изъ самыхъ раннихъ своихъ стихотвореній, именно въ такъ сильно нравившемся Бѣлинскому стихотвореніи «Родина», Некрасовъ говоритъ:

„И вотъ они опять, знакомыя мѣста,
Гдѣ жизнь отцовъ моихъ, безплодна и пуста,
Текла среди пировъ, бессмысленнаго чванства,
Разврата грязнаго и мелкаго тиранства!
Гдѣ рой подавленныхъ и трепетныхъ рабовъ.
Завидовалъ житю послѣднихъ барскихъ псовъ,
Гдѣ было суждено мнѣ Божій свѣтъ увидѣть,
Гдѣ научился я терпѣть и ненавидѣть,
Но, ненависть въ душѣ постыдно притая,
Гдѣ иногда помѣщикомъ бывалъ и я...“

Это стихотвореніе, написанное еще въ 1846 году, ясно опредѣляетъ намъ ту точку зрѣнія, съ которой Некрасовъ смотритъ на нашъ старый

¹⁾ Интересная подробность. Обѣзжая русскія позиціи наканунѣ Шенграбенскаго сраженія, князь Андрей Болконскій натолкнулся на сцену тѣлеснаго наказанія солдата. Одинъ изъ присутствовавшихъ при этой сценѣ офицеровъ, видимо испытывая нравственное страданіе, вопросительно смотритъ на князя, но... «князь Андрей, выхавъ въ переднюю линію, поѣхалъ по фронту» и не обратилъ на истязаніе солдата ни малѣйшаго вниманія. Не занимается имъ и графъ Толстой, ограничивающійся неожиданнымъ замѣчаніемъ, что наказываемый кричалъ „притворно“. Почему—*притворно*, это остается его тайной.

Толстой говоритъ гдѣ-то (кажется, въ своей „Исповѣди“), что для него, въ теченіе большей части его жизни, людьми въ настоящемъ смыслѣ этого слова были только такъ называемые благовоспитанные люди, а всѣ прочіе были—«такъ»... Это интересное признаніе; за его справедливость ручаются всѣ самыя замѣчательныя произведенія Толстого. И оно проливаетъ яркій свѣтъ на психологію художника-аристократа.

помѣщичій быть. Хотя онъ самъ былъ дворянскаго происхожденія, но у него нѣтъ уже и слѣда идеализаціи дворянской жизни: онъ глядитъ на нее глазами протестующаго разночинца. Она повернулась къ нему своей отрицательной стороной, ярко выставивъ передъ нимъ противорѣчіе интересовъ «благородныхъ» эксплуататоровъ съ интересами эксплуатируемой «черни». Если поэтъ и вспоминаетъ иногда о своей принадлежности къ «благородному» сословію, то лишь за тѣмъ, чтобы упрекнуть себя за тѣ періоды нравственной слабости, въ теченіе которыхъ онъ, постыдно затаивъ «ненависть» въ своей душѣ, самъ бывалъ помѣщикомъ. Впечатлѣнія юныхъ лѣтъ не оставили ничего отраднаго въ его душѣ и до краевъ наполнили ее враждою къ крѣпостному порядку:

„Нѣтъ! Въ юности моеи, мятежной и суровой,
Отраднато душѣ воспоминанья нѣтъ:
Но все, что, жизнь мою опутавъ съ первыхъ лѣтъ,
Проклятьемъ на меня легло неотразимымъ,—
Всему начало здѣсь, въ краю моемъ родимомъ!...
И съ отвращеніемъ кругомъ кидая взоръ,
Съ отрадой вижу я, что срубленъ темный боръ,—
Въ томящій лѣтній зной защита и прохлада,—
И нива выжжена, и праздно дремлетъ стадо,
Понутивъ голову надъ высохшимъ ручьемъ,
И на бокъ валится пустой и мрачный домъ,
Гдѣ вторилъ звуку чашъ и гласу ликованій
Глухой и вѣчный гулъ подавленныхъ страданій,
И только тотъ одинъ, кто всѣхъ собой душилъ,
Свободно и дышалъ, и дѣйствовалъ, и жилъ“...

Я сказалъ, что кого интересуеетъ идейное и нравственное содержаніе эпохи образованнаго разночинца, тотъ непремѣнно долженъ обратиться къ поэзіи Некрасова. И въ самомъ дѣлѣ, приведенный отрывокъ,—а я могъ бы привести много такихъ отрывковъ,—представляетъ собой интересный образчикъ той психологіи новаго, только что нарождавшагося тогда общественнаго слоя, не появивъ которой мы не поймемъ ни такъ рѣзко обнаружившагося впоследствии разрыва «дѣтей» съ «отцами», ни добролюбовскихъ нападокъ на *самодуровъ*, ни даже писаревскаго «разрушенія эстетики». Всѣ эти многообразныя черты одной и той же фізіономіи выражаютъ собою одно и то же настроеніе, и воѣ онѣ коренятся въ томъ рѣзко-отрицательномъ отношеніи къ нашему крѣпостному порядку, которымъ насъ сквозь пропитана поэзія Некрасова. Замѣтите, что отрицаніе не ограничивается въ ней однимъ только крѣпостнымъ правомъ или вообще однимъ помѣщичьимъ бытомъ. Нѣтъ, образованный разночинецъ отрицаетъ и ненавидитъ всю совокупность общественныхъ отношеній, *выросшую на почвѣ закрѣпощенія крестьянина*. Онъ враждебенъ дворянству; но и чиновничество не заслуживаетъ пощады въ его глазахъ. Онъ видитъ въ чинов-

никъ лишь другую, болѣе прожорливую и низкопоклонную разновидность эксплуататора. Некрасовъ клеймитъ его въ своей, полной безпощаднаго сарказма «Колыбельной пѣснѣ»:

„По губерніи раздался
Всѣмъ отрадный крикъ:
Твой отецъ подъ судъ попался—
Явныхъ тѣмъ уликъ.
Но отецъ твой—плутъ извѣстный—
Знаеть роль свою.
Спи, пострѣль, покуда честный!
Баюшки-баю“.

Передового разночинца не привлекаетъ къ себѣ *служебная карьера*. Если еще Чацкій находилъ, что служить значитъ прислуживаться, то теперь передовая «интеллигенція» видитъ въ службѣ школу помѣйшаго нравственнаго развращенія:

„Будешь ты чиновникъ съ виду
И подлець душой,
Провожать тебя я выйду
И махну рукой!
Въ день привыкнешь ты картинно
Спину гнуть свою...
Спи, пострѣль, пока невинный!
Баюшки-баю“.

Политическая идея строя, выросшаго на крѣпостной основѣ и, къ сожалѣнію, до сихъ поръ не отошедшаго въ область историческаго воспоминанія, состояла и состоитъ въ томъ, что мозгомъ страны является бюрократія, которая вѣдаетъ всѣ общественныя нужды и удовлетворяетъ ихъ въ той мѣрѣ, въ какой признаетъ ихъ законными. Обывателямъ остается при этомъ вѣдать лишь свои частныя нужды, вовсе не мѣшаясь въ дѣла общественныя или мѣшаясь въ нихъ лишь постольку, поскольку это разрѣшено благодѣтельной и предусмотрительной бюрократіей. *Обыватель*, въ которомъ пробуждается сознаніе обязанностей *гражданина*, до сихъ поръ считается неблагонадежнымъ и нерѣдко попадаетъ въ мѣста довольно «отдаленныя». Въ странѣ неограниченной власти бюрократіи и безграничнаго произвола администраціи гражданамъ нечего дѣлать. Такова *теорія*. Правда, *практика* давно перестала соответствовать ей въ томъ смыслѣ, что уже съ конца XVIII вѣка въ Россіи появляются люди, стремленія которыхъ рѣзко противорѣчатъ казенному идеалу. Новиковъ, Радищевъ, декабристы, Герценъ, Огаревъ, Бѣлинскій, петрашевцы умѣли смотрѣть несравненно дальше узкаго круга своихъ домашнихъ интересовъ и ни за что не хотѣли «позорить гражданина санъ». Но пока старый порядокъ еще не былъ распатанъ неудержимымъ ходомъ экономическаго развитія, эти «странные люди представляли собою чрезвычайно отрадное, но очень рѣдкое исключеніе, были тѣми одино-

ими ласточками, которыя не дѣлали весны, и сами задыхались въ тяжелой атмосферѣ всеобщей спячки. «Зачѣмъ мы проснулись!»—съ отчаяніемъ восклицаетъ Герценъ въ своемъ дневникѣ.

Только когда экономическое развитіе распатало основы крѣпостного порядка и выдвинуло на нашу историческую сцену цѣлый слой образованныхъ разночинцевъ, только тогда началось у насъ почти непрерывное общественное движеніе во имя болѣе или менѣе прогрессивныхъ, болѣе или менѣе широкихъ гражданскихъ идеаловъ. Чѣмъ болѣе препятствій встрѣчалось на пути этого движенія, тѣмъ рѣшительнѣе выбивались его участники изъ колеи обыденныхъ житейскихъ занятій и тѣмъ очевиднѣе становилось для нихъ, что ихъ житейская спеціальность заключается въ томъ, чтобы вовсе не имѣть никакой житейской спеціальности, кромѣ спеціальности гражданина-борца за лучшее будущее своей страны. Некрасову дѣлаетъ очень большую честь то обстоятельство, что онъ, который самъ борцомъ никогда не былъ, своимъ поэтическимъ чутьемъ понялъ психологію новаго общественнаго типа. Уже въ стихотвореніи «Поэтъ и гражданинъ» (1856 г.) мы встрѣчаемъ у него слѣдующія выразительныя строки:

„Ахъ! будетъ съ насъ купцовъ, кадетовъ,
Мѣщанъ, чиновниковъ, дворянъ,
Довольно даже намъ поэтовъ,
Но нужно, нужно намъ гражданъ!
Но гдѣ-жъ они? Кто ни сенаторъ,
Ни сочинитель, ни герой,
Ни предводитель, ни плантаторъ,
Кто гражданинъ страны родной?
Гдѣ ты? откликнись! Нѣтъ отвѣта,
И даже чуждъ душѣ поэта
Его могучій идеалъ!
Но если есть онъ между нами,
Какими плачетъ онъ слезами!“

До какой степени самому Некрасову не былъ чуждъ могучій идеалъ гражданина, показываетъ другое мѣсто того же стихотворенія:

„Не можетъ сынъ глядѣть спокойно
На горе матери родной,
Не будетъ гражданинъ достойный
Къ отчизнѣ холоденъ душой,
Ему нѣтъ горше укоризны...
Иди въ огонь за честь отчизны,
За убѣжденье, за любовь...
Иди и гибни безупречно;
Умрешь недаромъ... Дѣло прочно,
Когда подъ нимъ струится кровь“.

Въ другомъ мѣстѣ, обращаясь къ матери, которая грустно задумалась объ участи, ожидающей ея трехъ отроковъ-сыновей, поэтъ говоритъ:

„Не плачь надъ ними, мученица-мать!
Но говори имъ съ молодости ранней:
Есть времена, есть цѣлыя вѣка,
Въ которые нѣтъ ничего желаннѣй,
Прекраснѣе терноваго вѣнка!“...

Тутъ поэзія Некрасова, никогда не бывшаго *борцомъ*, становится *поэзіей борьбы*, и неудивительно, что отрывки, подобные только что приведенному, заучивались наизусть русскими передовыми людьми. Такіе отрывки нисколько не утратили своего значенія до настоящаго времени и не утратятъ его до тѣхъ поръ, пока передовое человѣчество останется вынужденнымъ тяжелою борьбой пролагать себѣ дорогу къ своему идеалу. А оно, какъ видно, еще не скоро избавится отъ этой необходимости, потому что обѣщаннаго «критиками марксизма» притупленія общественныхъ противорѣчій что-то нигдѣ незамѣтно.

Каковы же тѣ убѣжденія, за которыя гражданинъ долженъ идти въ огонь и, если понадобится, пролить свою кровь? Въ поэтическихъ произведеніяхъ вообще странно было бы искать точно формулированныхъ социальнo-политическихъ требованій. Но, выражая стремленія передового русскаго разночинца, поэзія Некрасова все-таки ставитъ 'передъ *гражданиномъ* довольно опредѣленную общественную задачу. Задача эта заключается въ избавленіи русскаго народа отъ многообразнаго гнета, наложеннаго на него нашимъ старымъ, какъ я уже сказалъ, до сихъ поръ еще далеко не совсѣмъ устраненнымъ, *крѣпостнымъ порядкомъ*. Какъ представлялось Некрасову положеніе русскаго народа, хорошо видно изъ цитированнаго уже мною стихотворенія «Размышленія у параднаго подъѣзда»:

„ Родная земля!
Назови мнѣ такую обитель,
Я такого угла не видалъ,
Гдѣ бы свѣтель твой и хранитель,
Гдѣ бы русскій мужикъ ни стоналъ.
Стонеть онъ по полямъ, по дорогамъ,
Стонеть онъ по тюрьмамъ, по острогамъ,
Въ рудникахъ на желѣзной цѣпи;
Стонеть онъ подъ овиномъ, подъ стогомъ,
Подъ телѣгой ночуя въ стени;
Стонеть въ собственномъ бѣдномъ домишкѣ,
Свѣту Божьяго солнцу не радъ;
Стонеть въ каждомъ глухомъ городишкѣ
У подъѣздовъ судовъ и налатъ.
Выдь на Волгу: чей стонъ раздается
Надъ великою русской рѣкой?
Этотъ стонъ у насъ пѣсней зовется,
То бурлаки идутъ бичевой.
Волга! Волга! весной многоводной
Ты не такъ заливаешь поля,

Какъ великою скорбью народной
Переполнилась наша земля!
Гдѣ народъ, тамъ и стонъ“...

Въ служеніи этому несчастному народу, въ борьбѣ съ порабощающей и угнетающей его «неправдою лукавой» и заключается первая обязанность гражданина, первый долгъ мыслящаго сына земли, не могущаго «глядѣть спокойно на горе матери родной»:

„Доля народа,
Счастье его,
Свѣтъ и свобода
Прежде всего!“

Это служеніе угнетенному народу, эта борьба за его освобожденіе составляетъ не только нравственную обязанность, но также и непреодолимую потребность честнаго и мыслящаго человѣка:

„Зрѣлище бѣдствій народныхъ
Невыносимо, мой другъ,
Счастье умовъ благородныхъ —
Видѣть довольство вокругъ“...

Совершенно такъ думала вся та самоотверженная «интеллигенція», которая уже съ конца пятидесятихъ годовъ спрашивала себя: «что *дѣлать*» для того, чтобы вывести народъ изъ его тяжелаго положенія, и для которой этотъ проклятый вопросъ понынѣ остается самымъ жгучимъ, самымъ «проклятымъ» изъ всѣхъ вопросовъ. Въ виду этого дѣлается совершенно понятнымъ, почему эта интеллигенція не только зачитывалась стихами Некрасова, но и ставила его талантъ выше таланта Пушкина и Лермонтова: онъ давалъ поэтическое выраженіе ея собственнымъ общественнымъ стремленіямъ; его «муза мести и печали» была ея *собственной музой*.

Въ своемъ предисловіи къ русскому переводу романа фонъ-Поленца «Крестьянинъ» гр. Л. Толстой высказываетъ сожалѣніе о томъ, что за послѣднія 50 лѣтъ сильно понизился вкусъ и здравый смыслъ русской читающей публики. «Прослѣдить можно это положеніе по всѣмъ отраслямъ литературы,—говоритъ онъ,—но укажу только на нѣкоторые, болѣе замѣтные и мнѣ знакомые примѣры. Въ русской поэзіи, на примѣръ, послѣ Пушкина, Лермонтова (Тютчевъ обыкновенно забывается) поэтическая слава переходитъ къ весьма сомнительнымъ поэтамъ—Майкову, Подонскому, Фету, потомъ къ совершенно лишенному поэтическаго дара Некрасову, потомъ къ искусственному и прозаическому стихотворцу Алексѣю Толстому, потомъ къ однообразному и слабому Надсону, потомъ къ совершенно бездарному Апухтину, а потомъ уже все мѣшается, и являются стихотворцы, имъ же имя легіонъ, которые даже не знаютъ, что такое поэзія и что значить то, что они пишутъ, и зачѣмъ они пишутъ».

Я не стану отмѣчать всѣхъ неточностей, содержащихся въ этомъ отрывкѣ.

Здѣсь, какъ и во всѣхъ сужденіяхъ гр. Л. Толстого, слишкомъ много прямолинейности и отвлеченности. Его слова интересуютъ меня теперь, однако, лишь въ той мѣрѣ, въ какой они касаются Некрасова. Но съ этой своей стороны они очень поучительны. Сказать, что Некрасовъ совершенно лишенъ поэтического дара, значить высказать мысль, ошибочность которой вполне очевидна. Хотя почти каждое стихотвореніе Некрасова *въ цѣломъ* отличается—какъ я уже указывалъ—болѣе или менѣе значительными погрѣшностями противъ требованій строгаго эстетическаго вкуса, но зато *во многихъ изъ нихъ* можно найти мѣста, ярко отмѣченныя печатью самаго несомнѣннаго таланта ¹⁾. А гр. Л. Толстой не замѣчаетъ этихъ мѣстъ, потому что ему вообще совершенно чуждо все настроеніе некрасовской музы. Его собственное умственное и нравственное развитіе шло путемъ, не имѣющимъ ничего общаго съ тѣмъ, по которому двигалось умственное и нравственное развитіе русскаго образованнаго разночинца. Л. Толстой—баринъ до конца ногтей даже тамъ, гдѣ онъ кажется революціонеромъ. Въ его отрицаніи нѣтъ ни одного атома новаторскихъ стремленій.

Вспомните некрасовскую «Пѣсню» изъ «Медвѣжьей охоты»:

„Отпусти меня родная,
„Отпусти, не споря!
„Я не травка полевая,
„Я выросла у моря,
„Не рыбацкій парусъ малый,
„Корабли мнѣ снятся
„Скучно! въ этой жизни вялой
„Дни такъ долго длятся.
„Здѣсь, какъ въ клеткѣ, заперта я,
„Сонъ кругомъ глубокій...
„Отпусти меня, родная,
„На просторъ широкій“ и т. д.

Вспомните это стихотвореніе и скажите, согласилась ли бы объявить его чуждымъ поэтическаго вдохновенія одна изъ тѣхъ, до сихъ поръ многочисленныхъ у насъ дѣвушекъ, которыя рвутся на просторъ,—куда-нибудь «на курсы», въ Петербургъ, въ Москву, за границу,—и которымъ приходится встрѣчать любвеобильное нѣжное, но тѣмъ труднѣе преодолимое сопротивленіе со стороны матерей, отцовъ или вообще близкихъ лицъ. Тяжело огорчать этихъ лицъ, трудно разставаться съ ними, а между тѣмъ вялая домашняя жизнь дѣлается все болѣе и болѣе нестерпимой, и все болѣе и болѣе величественными и привлекательными становятся образы тѣхъ «кораблей», которые носятся по «широкому раздолью» сознательной жизни и которые «снятся» молодому воображенію. И вотъ

¹⁾ Есть у него, впрочемъ, и вполне безукоризненные вещи, напримѣръ хотя бы его знаменитый «Дядя Власъ».

молодая дѣвушка начинаетъ увѣрять своихъ близкихъ, что только на одномъ изъ этихъ «кораблей» найдетъ она нравственное удовлетвореніе, и что напрасно спорять съ нею дорогіе ей люди,—и эти-то ея рѣчи Некрасовъ облакаетъ въ поэтическую форму: «отпусти меня, родная»!.. Какъ же ей не придти въ восторгъ отъ его стихотворенія? И какъ же ей не полюбить самого поэта? А у Некрасова много стихотвореній, такъ же удачно выражавшихъ чувства молодыхъ разночинцевъ. И вотъ почему молодые разночинцы просто-напросто не поняли бы человѣка, который вздумалъ бы доказывать имъ, что Некрасовъ не поэтъ! «Предоставьте намъ судить объ этомъ», сказали бы они такому человѣку и были бы *совершенно правы*.

Въ доказательство того, что Некрасовъ своими стихотвореніями будилъ и выражалъ прогрессивныя стремленія современной ему передовой молодежи, я приведу одно воспоминаніе изъ моей личной жизни.

Я былъ тогда въ послѣднемъ классѣ военной гимназіи. Мы сидѣли послѣ обѣда группою въ нѣсколько человѣкъ и читали Некрасова. Едва мы кончили «Желѣзную дорогу», раздался сигналъ, звавшій насъ на фронтовое ученіе. Мы спрятали книгу и пошли въ цейхгаузъ за ружьями, находясь подъ сильнѣйшимъ впечатлѣніемъ всего только что прочитаннаго нами. Когда мы стали строиться, мой пріятель С. подошелъ ко мнѣ и, сжимая въ рукѣ ружейный стволъ, прошепталъ: «Эхъ взялъ бы я это ружье и пошелъ бы сражаться за русскій народъ!» Эти слова глубоко вѣзались въ мою память; я вспоминалъ ихъ потомъ всякій разъ, когда мнѣ приходилось перечитывать «Желѣзную дорогу»...

Въ служеніи народу Некрасовъ видитъ главную задачу гражданина. Поэтому народъ становится главнымъ героемъ главныхъ его произведеній. Однако, что же мы узнаемъ отъ него объ этомъ его героѣ? Намъ уже извѣстно, что положеніе его крайне тяжело. Но этого намъ мало. Намъ хочется знать, что же дѣлаетъ онъ самъ для облегченія своей участи?

На этотъ счетъ Некрасовъ сообщаетъ намъ очень мало утѣшительнаго. Его народъ не умѣетъ бороться и не сознаетъ необходимости борьбы. Главной отличительной чертою этого народа является вѣчное терпѣніе. Вотъ что, напримѣръ, пишетъ Некрасовъ въ 1858 году:

„Пожелаемъ тому доброй ночи,
Кто все терпитъ во имя Христа,
Чьи не плачутъ суровыя очи,
Чьи не ропщутъ пѣныя уста,
Чьи работаютъ грубыя руки,
Предоставивъ почтительно намъ
Погружаться въ искусства, наукъ,
Предаваться мечтамъ и страстямъ;
Кто бредеть по житейской дорогѣ
Въ безпросвѣтной, глубокой ночи,

Безъ понятія о правѣ, о Богѣ,
Какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи“...

Нельзя вообразить ничего безотраднѣе такой картины. Это—послѣдняя степень подавленности. *Такому* народу только и можно пожелать что «*доброй ночи*»: проснуться снѣ неспособенъ. Некрасову, какъ видно, нерѣдко приходитъ эта мысль; его «Размышленія у параднаго подъѣзда» оканчиваются вопросомъ;

. „Эхъ сердечный!
Что же значить твой стонъ безконечный?
Ты проснешься-ль, исполненный силъ,
Иль, судьбѣ повинуваясь закону,
Все, что могъ, ты уже совершилъ,—
Создалъ пѣсню, подобную стону,
И духовно на вѣки почилъ?“.

Два года спустя, въ 1860 году, Некрасовъ, въ стихотвореніи «На Волгѣ», рисуетъ бурлака, который поражаетъ его все тѣмъ же безконечнымъ терпѣніемъ и все той же тупой неподвижностью мысли:

„Унылый, сумрачный бурлакъ!
Какимъ тебя я въ дѣтствѣ зналъ,
Такимъ и нынѣ увидалъ:
Все ту же пѣсню ты поешь,
Все ту же ляжку ты несешь,
Въ чертахъ усталаго лица
Все та-жъ покорность безъ конца...“

.
Отецъ твой сорокъ лѣтъ стоналъ,
Бродя по этимъ берегамъ,
И передъ смертію не зналъ,
Что заповѣдать сыновьямъ,
И, какъ ему, не довелось
Тебѣ наткнуться на вопросъ:
Чѣмъ хуже былъ бы твой удѣлъ,
Когда-бы ты менѣе терпѣлъ?“...

Некрасовъ знаетъ, что характеры людей складываются подъ влияніемъ окружающей ихъ общественной среды, и нисколько не обманываетъ себя насчетъ свойствъ той среды, въ которой складывался русскій народный характеръ:

„Прочна суровая среда,
Гдѣ поколѣнія людей
Живутъ и гибнутъ безъ слѣда
И безъ урока для дѣтей!“

Впослѣдствіи, когда «суровая среда» утратила часть своей прочности подъ напоромъ «новыхъ вѣяній» шестидесятихъ годовъ, и когда даже самые трезвые представители радикальной интеллигенціи, напр. Н. Г. Чернышевскій, не чужды были самыхъ радужныхъ ожиданій, у Некрасова является болѣе отрадный взглядъ на русскій народъ. Ему уже не

приходить въ голову тяжелое сомнѣніе относительно его будущности; напротивъ, будущность эта рисуется его воображенію въ свѣтлыхъ краскахъ. Онъ восклицаетъ въ «Желѣзной дорогѣ», написанной въ 1864 году:

„Да не робѣй за отчизну любезную...
Вынесъ достаточно русскій народъ,
Вынесъ и эту дорогу желѣзную—
Вынесетъ все, что Господь ни пошлетъ!
Вынесетъ все—и широкую, асную
Грудью дорогу проложить себѣ“...

Но старыя впечатлѣнія еще „слишкомъ живы въ поэтѣ, чтобы счастливое будущее русскаго народа могло представляться ему *ближкимъ*. Нѣтъ, оно еще очень, очень далеко; до него не доживетъ ни самъ поэтъ, ни даже тотъ мальчикъ Вана, съ которымъ онъ разговариваетъ:

„Жаль только—жить въ эту пору прекрасную
Ужъ не придется ни мнѣ, ни тебѣ“...

А настоящее все еще сохраняетъ въ себѣ мрачныя черты недавняго прошлаго. Народъ по-прежнему поражаетъ своимъ терпѣніемъ:

„Мы надрывались подъ зноемъ, подъ холодомъ,
Съ вѣчно согнутой спиной,
Жили въ землянкахъ, боролися съ голодомъ,
Мерзли и мокли, болѣли цынгой;
Грабили насъ грамотѣи-десятники,
Сѣкло начальство, давила нужда,
Все претерпѣли мы—Божіи ратники,
Мирныя дѣти труда!“

И,—тоже по-прежнему, — обираемый и угнетаемый народъ готовъ за жалкую подачку, за стаканъ водки чуть ли не боготворить своихъ притѣснителей. Это, какъ видно, всего больше Некрасову, и только что цитированное мною стихотвореніе его заканчивается безотрадной сценой:

„Въ синемъ кафтанѣ—почтенный лабазникъ,
Толстый, присадистый, красный, какъ мѣдъ,
Ѣдетъ подрядчикъ по ливніи въ праздникъ,
Ѣдетъ работы свои посмотреть.
Празднѣй народъ разступается чинно...
Потъ отираетъ куччина съ лица
И говоритъ, подбоченясь картинно:
„Ладно... ништо... молодца...! молодца!..
Съ Богомъ теперь по домамъ, поздравляю!
(Шапки долой,—коли я говорю)—
Бочку рабочимъ вина выставляю
И—нехониму дарю!..“
Кто-то „ура“ закричалъ. Подхватили

Громче, дружнее, протяжнее... Глядь —
Съ пѣсней десятички бочку катили...
Тутъ и лѣнливый не могъ устоять!
Выпрягъ народъ лошадей—и кучинну
Съ крикомъ „ура“ по дорогѣ помчалъ...”

Замѣчу мимоходомъ, что эта картина написана рукою истиннаго художника и что за нее одну можно простить Некрасову многіе шереховатости и недостатки его «Желѣзной дороги». Странно, какъ Л. Толстой могъ пройти мимо такой сцены!

Семидесятые годы были у насъ временемъ знаменитаго «хожденія въ народъ». Наша интеллигенція надѣялась, что ея просвѣтительная работа вызоветъ въ темной народной массѣ жажду борьбы за свои интересы. Некрасовъ высоко цѣнилъ самоотверженность просвѣтителей. Известно прекрасное стихотвореніе, написанное имъ, если не ошибаюсь, по поводу одной группы этихъ людей, судьба которыхъ въ свое время надѣлала много шума:

„Смогли честные, доблестно павшіе,
Смогли ихъ голоса одинокіе,
За несчастный народъ вопіившіе...”

Но по всему видно, что онъ ни на минуту не могъ повѣрить въ основательность тѣхъ упованій, которыя возлагались этими людьми на народъ. Въ томъ самомъ стихотвореніи, гдѣ онъ съ такимъ глубокимъ чувствомъ говоритъ о «доблестно павшихъ», онъ называетъ Россію безответною страной, въ которой косятся все честное и все живое. Но тутъ не хватало именно вѣры, а не симпатій.

Его «великій грѣшникъ», разбойничій атаманъ Кудеяръ, который впоследствии пошелъ въ монахи и на котораго «нѣкій угодникъ» наложилъ, въ видѣ эпитиміи, обязанность срубить ножомъ дубъ въ три обхвата, немедленно получилъ прощеніе грѣховъ, когда вонзилъ свой ножъ въ сердце жестокаго помѣщика, пана Глуховскаго:

„Только-что панъ окровавленный
Паль головой на сѣдло—
Рухнуло древо громадное,
Эхо весь лѣсъ потрясло!
Рухнуло древо, скатилось
Съ инока бремя грѣховъ!...”

Однако, вопросъ заключается не въ томъ, какъ отнесся бы самъ Некрасовъ къ народному движенію, а въ томъ, возможно ли оно было при тогдашнихъ обстоятельствахъ. Я скажалъ, что, по моему мнѣнію, оно представлялось Некрасову совершенно невыполнимымъ. Правда, у него выходило такъ, что весело и вольготно живется въ Россіи только тѣмъ представителямъ радикальной интеллигенціи, которые жертвуютъ собою для народа:

„Быть бы нашимъ странникамъ подь родною крышею,
Еслибъ знать могли они, что творилось съ Гришею...“

Но въ томъ-то и дѣло, что странники,—крестьяне разныхъ деревень порѣшившіе не возвращаться домой, пока не рѣшатъ, кому живется весело вольготно на Руси,—не знали того, что творится съ Гришею, и не могли знать. Стремленія нашей радикальной интеллигенціи оставались неизвѣстны и непонятны народу. Ея лучшіе представители, не задумываясь, приносили себя въ жертву его освобожденію; а онъ оставался глухъ къ ихъ призывамъ и иногда готовъ былъ побивать ихъ камнями, видя въ ихъ замыслахъ лишь новыя козни своего наследственнаго врага—дворянства ¹⁾. И въ этомъ заключалась великая трагедія исторіи русской радикальной интеллигенціи. Некрасовъ по-своему пережилъ эту трагедію. Онъ, считавшій себя призваннымъ воспыть страданія русскаго народа, грустно говоритъ почти накануне своей смерти:

„Скоро я стану добычею тлѣнья.
Тяжело умирать, хорошо умереть;
Ничьего не прошу сожалѣнья,
Да и некому будетъ жалѣть.
Я дворянскому нашему роду
Блеска лирой моею не стяжалъ;
Я настолько же чуждымъ народу
Умираю, какъ жить начиналъ“.

Грустный итогъ! Тяжелое сознаніе! И замѣчательно, что очень скоро послѣ смерти Некрасова почти подобный же итогъ многіе передовые люди увидѣли въ результатѣ своихъ просвѣтительныхъ усилій въ крестьянствѣ. Некрасовъ умеръ 27 декабря 1877 года. А въ концѣ 1879 г. значительная часть передовой русской интеллигенціи объявила, что работать въ народѣ при настоящихъ условіяхъ—значить *биться, какъ рыба объ ледъ*. Это было совершенно равносильно признанію того, что въ концѣ семидесятыхъ годовъ радикальная интеллигенція оставалась такою же *чуждою народу*, какою она была въ ту эпоху, когда Некрасовъ «жить начиналъ».

Существующія условія дѣлали невозможной работу въ народѣ; а безъ

¹⁾ Сознаніе народа опредѣляется образомъ его жизни. Экономическая основа русскаго строя—прикрѣпленіе крестьянъ къ землѣ, которая, въ сущности, принадлежитъ государству, хотя находится въ пользованіи отдѣльныхъ общинъ—была, какъ двѣ капли воды, похожа на тотъ экономическій фундаментъ, на которомъ покоились государства древняго Востока. Неудивительно, что нравы и взгляды русскаго народа тоже имѣли очень замѣтный восточный оттѣнокъ. „Свято-русскій богатырь“ Савелій („Кому на Руси жить хорошо“)—типичный крестьянинъ Востока. Читая его рассказъ о томъ, какъ его родная „Корежна“ уклонялась отъ платежа оброка своему помѣщику Шалашникову, можно вспоминать „Manners and Customs of ancient Egyptians“ Уилькинсона (см. 2-й томъ, стр. 40 и слѣд.; The bastinado).

работы въ народѣ нельзя было надѣяться на измѣненіе къ лучшему существующихъ условій, какъ это ясно показала неудача людей, пытавшихся силами одной интеллигенціи измѣнить положеніе дѣлъ къ лучшему. Вся духовная исторія нашей радикальной интеллигенціи сводится къ усилямъ разрѣшить это противорѣчіе.

Теперь, оно, къ величайшему счастью, уже разрѣшено жизнью, т. е. тѣмъ самымъ ходомъ экономическаго развитія, который сдѣлалъ когда-то необходимыми реформы 60-хъ годовъ.

Теперь, подъ вліяніемъ экономическаго развитія, въ нашемъ «народѣ» появился классъ несравненно болѣе чуткій, подвижной, отзывчивый и нетерпѣливый, нежели то крестьянство, которое надрывало сердце Некрасова своими стонами и доводило его до отчаянія своимъ долготерпѣніемъ. Этотъ классъ очень недвусмысленно показываетъ намъ, что онъ совѣмъ не намѣренъ «почтительно» предоставить другимъ классамъ наслажденіе всѣми матеріальными и духовными благами жизни, ничего не оставляя на свою долю, кромѣ тяжелаго физическаго труда. Его «суровыя очи» уже не «плачутъ», а горятъ сознаніемъ своей силы. И странно было бы теперь съ нашей стороны желать ему «доброй ночи».

Съ появленіемъ этого класса у насъ началась новая эпоха, замѣчательная тѣмъ, что даже крестьянинъ не такъ неподвиженъ теперь, какъ былъ онъ при жизни Некрасова. Новыя экономическія отношенія, заново передѣливая нашу общественную, когда-то столь «прочную» среду, заново передѣливаютъ также и нашъ народный характеръ.

Некрасову не суждено было дожить до новой эпохи. Но если бы онъ дожилъ до нея, онъ увидѣлъ бы, что въ современной Россіи есть люди, которымъ, несмотря ни на что, живется много веселѣе и гораздо вольготнѣе, чѣмъ жилось его Гришѣ.

А узнавъ и понявъ этихъ, новыхъ на Руси людей, онъ, можетъ быть, написалъ бы въ ихъ честь новую вдохновенную пѣсню: не «голодную» и не «соленую», а такую, въ которой по-прежнему слышались бы звуки «мести», но зато звуки «печали» замѣнились бы звуками радостной утѣренности въ побѣдѣ. Съ измѣненіемъ народнаго характера измѣнился бы, можетъ быть, и характеръ Некрасовской музы.

Но смерть давно уже скосила Некрасова. *Поэтъ разночинцевъ* 25 лѣтъ тому назадъ сошелъ съ литературной сцены,—остается ждать появленія поэта работниковъ.

СУДЬБЫ РУССКОЙ КРИТИКИ.

1. А. Л. Волынской. „Русские критики. Литературные очерки“.

I.

Г. Волынской написал книгу под заглавием *«Русские критики»*. Что это за книга?

По платью встрѣчаютъ, по уму провожаютъ,—говоритъ пословица. Въ жизни очень нехорошо встрѣчать людей по платью, но въ «республикѣ слова» это не только позволительно, а прямо неизбежно. Литературная внѣшность всякаго даннаго произведенія прежде всего бросается въ глаза, а на основаніи этого *«платья»* можно составить себѣ довольно точное понятіе объ авторѣ. *Le style c'est l'homme*.

Литературная внѣшность книги г. Волынскаго не только громко кричать, а—прямо надо говорить—вопить противъ него.

Фамусову нравилось когда-то, что московскія барышни ни одного слова не произносили просто, а все съ ужимкой. Г. Волынской почему-то вообразилъ, что слѣдуетъ подражать этимъ барышнямъ. Онъ положительно не говоритъ иначе, какъ съ ужимкой, и притомъ съ какой-то крикливой, истерической ужимкой. Коснется ли дѣло Пушкина, г. Волынской закатываетъ глазки и выкрикиваетъ: «Его паеосъ не въ томъ, въ чемъ видитъ его Бѣлинскій. Его свѣтлый геній широкъ и грустенъ, какъ русская природа. Раздолье безъ конца, просторъ, необъемлемый глазомъ, безконечные лѣса, по которымъ пробѣгаетъ таинственный шумъ, и во всемъ этомъ какое-то томленіе невыразимой тоски и печали. Порывъ, удалой разгулъ страстей и затѣмъ, черезъ нѣсколько мгновеній мысль о смерти, вопль неудовлетвореннаго чувства, настроеніе безсвязныхъ и своею безсвязностью мучительныхъ запросовъ, встающихъ въ туманѣ. Таковъ геній русской жизни. Такова русская душа», и т. д., и т. д. Заходитъ ли рѣчь о сатирѣ Гоголя, г. Волынской опять поднимаетъ

очи горѣ и вѣщаетъ: «Повсюду (у Гоголя) чувствуется сдавленный смѣхъ съвозъ слезы, фанатическая ненависть къ пороку, стремленіе оторваться отъ земной жизни, не оставляющей въ душѣ ничего, кромѣ отчаянія, страстный порывъ къ небу съ широко раскрытыми отъ ужаса глазами, ищущими пристанища и спасенія для измученнаго сердца». Добролюбовъ не зналъ, какъ увѣряетъ г. Волинскій, «никакихъ широкихъ увлеченій съ кипѣніемъ воѣхъ чувствъ»; статьи же Бѣлинскаго «облиты свѣтомъ внутренняго пожара». Короче, какую ни откройте страницу въ книгѣ «Русскіе критики», вы непременно встрѣтитесь или съ «дуновеніемъ вѣчныхъ идеаловъ», или «съ вдохновеніемъ свыше», или съ «человѣкомъ, который мыслилъ вѣчность» (это Гегель), или съ «порывистой повадкой борьбы въ народномъ духѣ» (это у Бѣлинскаго была, извольте ли видѣть, натура, отличающаяся такой «повадкой»), или, наконецъ, еще съ какимъ-нибудь другимъ высокопарнымъ вздоромъ.

Часто, при чтеніи книги г. Волинскаго, намъ хотѣлось воскликнуть словами Базарова: «Другъ мой, Аркадій Николаевичъ, пожалуйста, не говори красиво!» Однако, мы тутъ же сознавались, что мы несправедливы къ Кирсанову. Онъ былъ—нечего грѣха таить—порядочный фразеръ, но фраза у него была плодомъ почти дѣтской наивности; фразерство же г. Волинскаго съ наивностью общаго ничего не имѣетъ. Оно почему-то напоминаетъ «паеосъ» утѣшительнаго, о которомъ Швахневъ замѣчаетъ: «горячь необыкновенно: еще первыя два слова изъ того, что онъ говорить, можно понять, а уже дальше ничего не поймешь». Очень, очень дурно нарядилъ свои мысли г. Волинскій!

А каковы именно эти мысли? каковъ «умъ» его книги?

Издавая въ свѣтъ свою книгу, г. Волинскій «хотѣлъ представить болѣе или менѣе законченный трудъ по исторіи русской критики въ ея главнѣйшихъ моментахъ». Изъ этого «труда» явствуетъ, что у насъ до сихъ поръ не было «истинной критики» и что если насъ не выручить г. Волинскій, то и впредь ничего хорошаго намъ ожидать невозможно.

«Истинная критика» есть «философская» и именно *идеалистическая* критика. Въ качествѣ таковой, она должна, конечно, опираться на какую-нибудь идеалистическую систему. Изложеніе г. Волинскаго не даетъ вполнѣ яснаго понятія о томъ, какой именно философской системы онъ придерживается. Но, кажется, что наибольшимъ его расположеніемъ пользуется «человѣкъ, который мыслилъ вѣчность», т. е. Гегель. Мы предполагаемъ это потому, что, говоря объ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ, г. Волинскій дѣлаетъ несравненно болѣе ужимокъ, чѣмъ когда ему случается коснуться другихъ великихъ идеалистовъ. Если наше предположеніе справедливо, то нашъ авторъ представляетъ изъ себя чрезвычайно замѣчательное и едва ли не единственное въ своемъ родѣ явленіе: такъ рѣдки гегельянцы въ наше время.

Но съ тѣхъ поръ, какъ явилась система Гегеля, прошло, какъ извѣстно, немало времени. Философская мысль не стояла на одномъ мѣстѣ. Внутри гегелевской школы произошло многозначенательное раздѣленіе. Нѣкоторые изъ примыкавшихъ къ ней философовъ перешли къ матеріализму. А съ другой стороны естествознаніе и общественныя науки обогатились такими важными открытіями, что рѣшительно ни одинъ серьезный человѣкъ не можетъ теперь безъ очень и очень существенныхъ оговорокъ объявить себя послѣдователемъ Гегеля. Никакихъ такихъ оговорокъ мы не встрѣчаемъ въ книгѣ г. Волинскаго. Г. Волинскій не критикуетъ Гегеля. Критика замѣняется у него схоластическимъ и чрезвычайно малосодержательнымъ изложеніемъ нѣкоторыхъ параграфовъ гегелевской логики, да широковыщательными и въ то же время ровно ничего невыражающими тирадами, въ родѣ нижеслѣдующей:

«Дѣло не въ томъ, вѣрна ли эта система въ отдѣльныхъ своихъ частностяхъ, выдержана ли она во всѣхъ подробностяхъ. Промыслить (!) весь міръ въ его идеальныхъ основахъ, уловить законы его непрекращающагося движенія, постигнуть живого Бога въ его общихъ и конкретныхъ выраженіяхъ, дать жизненный импульсъ абстрактному и одушевить конкретное жаждой безконечнаго,—это *вѣчная* задача для философіи, которая не пожелаетъ ограничиться одними схоластическими, формальными построеніями. Тутъ неизбѣжны нѣкоторыя ошибки, которыя исчезнутъ въ потокѣ дальнѣйшаго философскаго прогресса. Тутъ неизбѣжны отдѣльные логическіе промахи. Но суть задачи, такимъ образомъ понятой, поставленной на такую реальную, историческую (sic!) почву, внутренними узами связанной съ интересами человѣческаго существованія, останется неизмѣнной для всѣхъ временъ и эпохъ». («Русскіе критики». Стр. 59—60).

Что г. Волинскій «горячъ необыкновенно», это не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. Но о немъ приходится сказать тѣми самыми словами, которыми онъ хочетъ характеризовать Вѣлинскаго: «Онъ не проявляетъ самобытнаго философскаго таланта». Да что тамъ говорить о самобытномъ философскомъ талантѣ! Г. Волинскій неспособенъ правильно понимать даже чужія философскія мысли. Вотъ, напримѣръ, онъ побиваетъ матеріализмъ доводами Юркевича, выступившаго когда-то въ «Трудахъ Кіевской Духовной Академіи» противъ автора знаменитой статьи «Антропологическій принципъ въ философіи». Между прочимъ, онъ приводитъ также слѣдующій рѣзкій приговоръ кіевского мыслителя: «Матеріализмъ, съ его категорическимъ утвержденіемъ, что физическія силы производятъ психическую жизнь, не имѣетъ права считать себя ни наукой, ни философіей, пригодной для современнаго человѣка. Это тоже метафизика, но притомъ метафизика грубая, догматически-перво-

бытная, не понимающая, что матерія только въ связи съ сознаниемъ такова, какою она является въ опытѣ». (Стр. 284).

Допустимъ, что здѣсь правильно изложенъ взглядъ матеріалистовъ на отношеніе физическихъ силъ къ психической жизни. Допустимъ также, что въ силу изложеннаго соображенія матеріализмъ оказывается грубой, догматически-первобытной метафизикой. Но не пострадаетъ ли отъ этого нашего допущенія и идеализмъ, столь любезный сердцу г. Волинскаго?

Г. Волинскій правильно говоритъ, что «въ основаніе всей своей системы Гегель *положилъ понятіе духа*» (стр. 57). На какомъ же основаніи сдѣлалъ это Гегель? Не показалось ли бы это грубой, первобытно-догматической метафизикой тѣмъ самымъ людямъ, которые считаютъ неотразимымъ вышеприведенный доводъ противъ матеріализма? Извѣстно ли г. Волинскому, какъ смотрѣлъ самъ Гегель на то философское ученіе, изъ арсенала котораго заимствованъ этотъ доводъ? Юркевичу это было, конечно, все равно: ему надо было только посрамить матеріалистовъ. Но нашъ-то гегельянецъ съ какой стати вздумалъ восхищаться аргументаціей Юркевича? Неужели онъ считаетъ возможнымъ валить въ одну кучу абсолютный идеализмъ и «критическую» философію?

А теперь вернемся къ взгляду матеріалистовъ на отношеніе физическихъ силъ къ психической жизни.

Матерія, «какою является намъ въ опытѣ», не есть вещь въ себѣ (Ding an sich), *но уменъ*; она есть явленіе, *феноменъ*. Это неоспоримо; это простая тавтологія. Но неоспоримо и то, что сознаніе, какимъ оно *является* намъ въ нашемъ внутреннемъ опытѣ, тоже есть *явленіе*, а не вещь въ себѣ. У насъ нѣтъ рѣшительно никакихъ основаній для того, чтобъ отождествлять одинъ изъ этихъ феноменовъ съ другимъ или вообще такъ или иначе сводить ихъ одинъ къ другому, напримѣръ, объявить матерію «инойтїемъ духа», какъ это дѣлалъ Гегель, или духъ—инойтїемъ матеріи, какъ это дѣлаютъ матеріалисты, по мнѣнію Юркевича, Волинскаго и прочихъ любомудровъ (имъ же имя легіонъ), не знающихъ исторіи матеріализма. Но у насъ есть воѣ необходимыя и достаточныя основанія для того, чтобы признать существованіе *извѣстной* связи между указанными феноменами.

Опытъ показываетъ, что *психическія* явленія вызываются извѣстными *физико-химическими* (физиологическими) явленіями въ нервной ткани. «Въ наши дни, конечно, никто изъ знакомыхъ съ дѣломъ и знающихъ факты не усомнится въ томъ, что основы психологіи заключаются въ физиологіи нервной системы»,—говоритъ Гексли. «Такъ называемыя дѣйствія духа представляютъ собою совокупность мозговыхъ функций, и явленія сознанія составляютъ результатъ дѣятельности мозга»¹⁾.

¹⁾ Hume, sa vie, sa philosophie, Paris 1880, p. 108. Надобно замѣтить, впрочемъ,

Такимъ образомъ, если бы мы сказали вмѣстѣ со Спинозой, что мысль и матерія представляютъ собою два различные атрибута одной и той же субстанции, то мы должны были бы въ то же время признать, что первый изъ этихъ атрибутовъ обнаруживается лишь благодаря второму. Это рѣшительно ни въ чемъ не противорѣчило бы выводамъ современной науки, а между тѣмъ это составляло бы какъ разъ тотъ взглядъ на «психическую жизнь», который такъ не понравился Юркевичу.

II.

Пойдемъ дальше. Юркевичъ увѣрялъ, что материализмъ не можетъ дать прочной основы истинно-прогрессивному міросозерцанію. То же повторяетъ г. Волинскій, стараясь выставить на видъ преимущества идеализма съ точки зрѣнія *практическаго разума*. Но, не обладая ни «самобытнымъ философскимъ талантомъ», ни даже простою способностью правильно понимать чужія мысли, нашъ авторъ и въ этомъ случаѣ плохо успѣваетъ въ своемъ намѣреніи. Вотъ, на примѣръ, Бѣлинскій упрекалъ Гегеля въ томъ, что «субъектъ у него не самъ себя цѣль, но средство для мгновеннаго выраженія общаго, а это общее является у него Молохомъ, ибо, пощеголявъ въ немъ, оно бросаетъ его, какъ старые штаны».

Г. Волинскій возражаетъ:

«Зависимость субъекта отъ мірового всеобъединяющаго духа—истинная сила этой системы, опредѣлившей (?) верховный законъ, смыслъ и порядокъ въ процессѣ жизни. Именно въ этомъ пунктѣ ученіе Гегеля поднимается надъ зауряднымъ знаніемъ (а! именно въ этомъ,—такъ и запишемъ), сливая науку съ религіей, давая твердый отвѣтъ на лучшіе запросы человѣческой души» (стр. 101).

Скажите, читатель,—«твердый» ли это отвѣтъ и вообще

...отвѣтъ ли это, полно!

Бѣлинскій говоритъ, что всѣ толки Гегеля о нравственности—пустяки, «ибо въ объективномъ царствѣ мысли нѣтъ нравственности». Нетрудно показать, что это «ибо» неосновательно. Но г. Волинскій ничего не показываетъ, а, закативши по своему обыкновенію глазки, даетъ волю своему «паэосу».

«Если, чтобы спасти человечество отъ безнравственности, нужны ребяческія выдумки диллетантскаго субъективизма, то не подлежатъ сомнѣнію, что человечество можетъ быть спасено только усиліями чисто-русской философіи (о которой Бѣлинскій никогда не мечталъ). Философія, мыслящая міровое начало, дѣлающая человѣка органомъ воплощенія объек-

что чувствительностью обладаютъ, повидимому, уже такіе организмы, у которыхъ еще нѣтъ отдѣльной нервной системы.

тивныхъ силъ, философія, созерцающая красоту и правду въ движеніи всеобщаго разума,—такая философія должна погубить человѣчество. Спасеніе только въ нутрѣ» (стр. 102).

Да, горячь, необыкновенно горячь г. Волинскій!

А то вотъ еще тирада не только съ «кипѣніемъ чувствъ», но даже какъ бы и съ нѣкою философическою хитростью.

«Прогрессивная сила идеализма—въ отчетливомъ пониманіи той борьбы, которая вѣчно происходитъ между высшими и низшими началами чело-вѣка. Видѣть всю природу въ свѣтѣ сознанія, подчинить механическое движеніе естественныхъ силъ высшему, духовному принципу, выдвинуть свободную человѣческую волю, какъ рычагъ перестройки грубыхъ формъ историческаго существованія,—вотъ въ чемъ задача идеализма, если обратить его не только къ теоретическимъ, но и практическимъ интересамъ чело-вѣчества. Вѣчные контрасты между идеей и фактомъ, между чувственнымъ опытомъ и требованіями разума—вотъ средство для настоящей гуманной и нравственной агитаціи. Прогрессивный по самой природѣ, идеализмъ только въ неопытныхъ рукахъ можетъ обратиться въ орудіе ретрограднаго вліянія» (стр. 86).

Хорошо сдѣлалъ бы г. Волинскій, если бы усвоилъ себѣ привычку перечитывать при «свѣтѣ сознанія» хоть тѣ строки, въ которыхъ кипѣніе чувствъ происходитъ по поводу важныхъ философическихъ матерій. Отъ многихъ пустяковъ спасла бы его такая привычка.

Прогрессивная сила діалектическаго идеализма заключалась вовсе не въ сочиненномъ г. Волинскимъ отчетливомъ пониманіи борьбы, происходящей между высшими и низшими началами чело-вѣка.

Католическіе патеры, а особенно іезуиты, всегда занимались этой борьбой гораздо больше и, конечно, понимали ее отчетливѣе, чѣмъ великіе идеалисты, у которыхъ, по крайней мѣрѣ въ лучшіе періоды ихъ жизни, было такъ много свѣтлаго языческаго духа древней Греціи. Прогрессивная сила діалектическаго идеализма заключалась въ томъ, что онъ разсматривалъ явленія въ процессѣ ихъ развитія, ихъ возникновенія и ихъ уничтоженія. Достаточно твердо усвоить себѣ точку зрѣнія развитія, чтобы лишиться всякой возможности быть искреннимъ консерваторомъ. А пока чело-вѣчскій родъ находится въ восходящей части кривой линіи своего историческаго движенія,—всякій, усвоившій себѣ точку зрѣнія развитія, непременно будетъ прогрессистомъ, если не пожелаетъ входить въ сдѣлки со своею совѣстью и не утратитъ въ сущности совершенно элементарной способности дѣлать правильныя умозаключенія изъ нимъ же самимъ принятыхъ посылокъ. Но для того, чтобы умѣть твердо стоять на указанной точкѣ зрѣнія, вовсе нѣтъ надобности быть идеалистомъ. Новѣйшій діалектическій матеріализмъ держится за нее по меньшей мѣрѣ такъ же прочно, какъ и идеализмъ первой половины XIX вѣка.

Видѣть всю природу въ свѣтѣ сознанія, подчинить механическое движеніе высшему духовному принципу... Это, конечно, было бы красиво, но, къ сожалѣнію, г. Волынской не объясняетъ, какимъ именно образомъ идеализмъ рѣшилъ эту «задачу», и въ чемъ рѣшеніе, данное идеализмомъ, отличается отъ рѣшенія, предлагаемаго современнымъ естествознаніемъ и современной техникой, которыя, какъ извѣстно, довольно успѣшно подчиняютъ силы природы («естественныя силы» г. Волынскаго) человѣческому разуму, т. е.—если вамъ угодно выражаться высокимъ стилемъ—высшему духовному принципу. Или, быть можетъ, г. Волынской какъ-нибудь иначе ухитрится видѣть природу въ свѣтѣ сознанія? Можетъ быть, видѣть природу въ этомъ оовѣщеніи значить просто объявить матерію «инобытіемъ духа» и построить сообразную этому основному положенію натурфилософію. Но вѣдь такая «задача» относится къ области *теоретическаго* разума, а мы съ г. Волынскимъ занимаемся въ настоящую минуту идеализмомъ, обращеннымъ «не только къ теоретическимъ, но и къ практическимъ интересамъ человѣчества». Какъ же понимать нашего мыслителя?

Охъ, горячъ, необыкновенно горячъ г. Волынской! Еще первыя два слова изъ того, что онъ говоритъ, можно понять, а ужъ дальше ничего не разберешь!

«Задача» идеализма заключается также и въ томъ, чтобы выдвинуть человѣческую волю, какъ рычагъ для перестройки грубыхъ формъ историческаго существованія.

Прекрасно. Но взглянемъ на это дѣло при «свѣтѣ сознанія».

По ученію великихъ идеалистовъ первой половины нашего вѣка, историческое развитіе человѣчества вовсе не есть продуктъ свободной воли людей. Совершенно наоборотъ. Исторія ведетъ человѣчество къ *свободе*, но задача философіи заключается въ томъ, чтобы понять это движеніе, какъ *необходимое*. Разумѣется, ни люди вообще, ни великіе историческіе дѣятели въ частности не лишены *воли*; но ихъ воля въ каждомъ своемъ, будто бы совершенно *свободномъ*, самоопредѣленіи всецѣло подчиняется *необходимости*. Притомъ же люди никогда не охватываютъ своихъ поступковъ во всей полнотѣ ихъ будущихъ послѣдствій. Поэтому историческое движеніе въ весьма значительной степени совершается совершенно независимо отъ человѣческаго сознанія и человѣческой воли. Такъ представлялось дѣло Шеллингу и Гегелю, когда они смотрѣли на него съ *теоретической* точки зрѣнія. Переходя къ *практическимъ* вопросамъ, они, конечно, должны были взглянуть на него съ другой стороны.

Въ своемъ самоопредѣленіи воля подчиняется необходимости. Но, какъ бы ни было необходимо всякое данное ея опредѣленіе (т. е. какъ бы ни была призрачна наша внутренняя *свобода*), воля людей, разъ

опредѣлившись, становится источникомъ *дѣйствія*, а слѣдовательно, также и *причиной общественныхъ явленій*. Человѣкъ не сознаетъ того процесса, которымъ опредѣляется его воля; но онъ болѣе или менѣе ясно сознаетъ *результаты* этого процесса, т. е. онъ знаетъ, что въ данную минуту онъ хочетъ дѣйствовать такъ, а не иначе. Когда мы добиваемся какой-нибудь практической цѣли, когда мы стремимся, напримѣръ, отмѣнить то или другое устарѣлое общественное учрежденіе, мы стараемся поступать такъ, чтобы воля окружающихъ насъ людей опредѣлилась именно сообразно нашему желанію. Мы убѣждаемъ ихъ, мы споримъ съ ними, мы взываемъ къ ихъ чувству. Это наше вліяніе на нихъ непремѣнно войдетъ въ число условій, которыми опредѣлится ихъ воля. Процессъ ея опредѣленія будетъ въ этомъ случаѣ, какъ и всегда, *необходимымъ* процессомъ; но въ разгарѣ нашей агитаціи мы совершенно позабудемъ объ этомъ. Наше вниманіе сосредоточится не на томъ обстоятельстве, что воля людей является *слѣдствіемъ*, а на томъ, что она *бываетъ причиной*, т. е. въ данномъ случаѣ можетъ вызвать желательныя для насъ измѣненія въ общественномъ быту. Такимъ образомъ, на *практикѣ* мы будемъ считаться съ волею людей, какъ будто бы она была свободна. Поступать иначе совершенно невозможно по самой природѣ явленія, называемаго самоопредѣленіемъ человеческой воли.

Это прекрасно знали идеалисты-діалектики. Поэтому, рассматривая въ теоріи волю, какъ *слѣдствіе*, они на практикѣ видѣли въ ней *причину*, т. е. какъ бы признавали ея свободу. Но это еще совсѣмъ не доказываетъ ихъ прогрессивныхъ стремленій, равно какъ и не составляетъ стличительной черты ни діалектическаго идеализма въ частности, ни идеализма вообще. Въ своей практической философіи материалисты (за исключеніемъ развѣ лишь Жака Фаталиста) никогда не высказывали другого взгляда на человеческую волю. Пусть г. Волынский припомнитъ хотя бы Дидро. Нынѣшніе же материалисты-діалектики особенно хорошо помнятъ, что на практикѣ воля людей есть необходимый рычагъ для перестройки грубыхъ формъ историческаго существованія. Почему же г. Волынский вообразилъ, что «рычагъ» извѣстенъ только идеалистамъ? Вѣроятно, потому, что отличительные признаки идеализма плохо извѣстны г. Волынскому.

Намъ сдается, впрочемъ, что тутъ была еще и другая причина. Въ теченіе послѣднихъ десятилѣтій у насъ много разсуждали какъ разъ на ту тему, что воля людей есть необходимый рычагъ общественнаго прогресса. Эта безспорная истина, понятная всякому, даже необучавшемуся въ семинаріи, была объявлена великимъ открытіемъ, ее старательно разводили въ водѣ будто бы научнаго... многословія, ее жевали и пережевывали, ее подпирали разнаго рода «законами», окружали «фор-

мулами», дополняли «поправками» и «поправками къ поправкамъ». Благодаря вознѣ съ нею, у насъ вдругъ явилось множество «нашихъ почтенныхъ соціологовъ», глубокомысліе которыхъ признано всѣми благомыслящими россіянами, а извѣстность того и гляди перешагнетъ за предѣлы отечества. Слава «нашихъ почтенныхъ соціологовъ» не давала спать г. Волинскому, подобно тому, какъ слава Мильгиада не давала уснуть Ѳемистоклу. Но идти по проложенной уже тропѣ онъ не хотѣлъ. Онъ ясно видѣлъ, что ему, несмотря ни на какія усилія и ужимки, не удалось бы превзойти своихъ предшественниковъ въ плодотворномъ дѣлѣ измышленія «законовъ», «формуль» и «поправокъ». И вотъ онъ рѣшился выступить на новый путь. Подмѣтивъ, что «наши почтенные соціологи» весьма слабоваты по части философіи, онъ объявилъ себя идеалистомъ и пошелъ, для острастки, поминутно (и всегда всуе) поминать то Шопенгауера, то Гегеля, то Шеллинга, то Фихте. А такъ какъ идеализму приписывали у насъ консервативныя тенденціи, то г. Волинскій сталъ, при каждомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, частью на языкѣ институтка, начитавшейся Марлинскаго, частью на языкѣ бурсака, сбитаго съ толку непереваренной «премудростью книжной», а частью, наконецъ, прямо на языкѣ Утѣшительнаго,—твердить своимъ читателямъ, что въ сущности онъ, идеалистъ г. Волинскій, нисколько не менѣе прогрессивенъ, чѣмъ «наши почтенные соціологи», но что онъ, будучи глубже и ученѣе, можетъ въ каждую данную минуту мобилизовать для защиты прогресса цѣлую армію самыхъ страшныхъ философовъ, между тѣмъ какъ они, «наши почтенные соціологи», знаютъ только «формулы» да «поправки». А чтобы у читателя не осталось никакого сомнѣнія насчетъ его прогрессивныхъ настрѣній, г. Волинскій выдвинулъ свободную волю, какъ рычагъ, и проч. Такимъ образомъ, вышло, что, раскланявшись съ «нашими почтенными соціологами» и подчинившись умственному руководительству г. Волинскаго, читатель цѣликомъ сохранилъ бы издавна любезный ему «рычагъ», а въ то же время приобрѣлъ бы цѣлую уйму философскаго глубокомыслія. Выгоднѣе такого обмѣна ничею и придумать невозможно.

Г. Волинскому хочется увѣрить своихъ читателей, что его взгляды заключаютъ въ себѣ полное отрицаніе тѣхъ философскихъ грѣховъ, которыхъ,—надо сознаться,—немало накопилось за русской мыслью, начиная съ двадцатыхъ годовъ и до настоящаго времени. На самомъ же дѣлѣ, его взгляды являются возведеніемъ этихъ самыхъ грѣховъ въ квадратъ, если не въ четвертую степень. Его теоретическая философія сводится къ совершенно безсодержательнымъ фразамъ; его практическая философія есть не болѣе, какъ чрезвычайно плохая пародія на нашу «субъективную соціологію».

III.

Разсужденія г. Волынскаго объ «истинной критикѣ» отличаются такою же безсодержательностью, какъ и всѣ другія его философскія упражненія.

«Изучая дѣятельность русскихъ критиковъ,—возвѣщаетъ онъ еще въ предисловіи,—я держался, какъ это будетъ видно изъ самой книги, того мнѣнія, что критика художественныхъ произведеній должна быть не публицистическою, а философскою,—должна опираться на твердую систему философскихъ понятій извѣстнаго идеалистическаго типа. Она должна слѣдить за тѣмъ, какъ поэтическая идея, возникнувъ въ таинственной глубинѣ человѣческаго духа, пробивается сквозь пестрый матеріалъ жизненныхъ представленій и взглядовъ автора. Эта поэтическая идея либо перерабатываетъ факты внѣшняго опыта и показываетъ ихъ въ томъ освѣщеніи, которое позволяетъ измѣрить ихъ истинную значительность, либо, при ограниченности природнаго таланта писателя, сама разлагается подъ вліяніемъ его психологическихъ особенностей и фальшивыхъ тенденцій его міровоззрѣнія. И настоящая литературная критика должна быть компетентна какъ въ оцѣнкѣ поэтическихъ идей, всегда имѣющихъ отвлеченную природу, такъ и въ раскрытіи творческаго процесса, который является взаимодействіемъ сознательныхъ и бессознательныхъ силъ художника. Искусство можетъ выдать свои тайны только пытливымъ мысли философомъ, который въ созерцательномъ экстазѣ соединяетъ все конечное съ безконечнымъ, связываетъ психологическія настроенія, выливающіяся въ поэтическихъ образахъ, съ вѣчными законами мірового развитія».

Уфъ! дайте перевести духъ... Мы потому сдѣлали эту длинную выписку, что намъ хотѣлось разомъ ознакомить васъ, читатель, съ «истинной критикой».

Теперь, если бы вы пять разъ перечитали книгу г. Волынскаго, то и тогда не нашли бы возможности прибавить какія-нибудь новыя черты къ почтенному, хотя и нѣсколько педантическому, образу этой старушки-критики. Все, что говорить о ней далѣе нашъ авторъ, представляетъ лишь краснорѣчивыя варіаціи (вамъ уже знакомо его высокое краснорѣчіе) на тему о необходимости раскрытія творческаго процесса и оцѣнки отвлеченныхъ идей, а также и о пользѣ созерцательнаго экстаза. Отъ всѣхъ этихъ варіацій вѣтъ поистинѣ смертельной скукой, а когда г. Волынский, говоря о какомъ-нибудь отдѣльномъ поэтическомъ произведеніи, высказываетъ правильный взглядъ на него, то, при ближайшемъ разсмотрѣніи, этотъ взглядъ оказывается заимствованнымъ у того самаго Бѣлинскаго, который «не умѣлъ спокойно допытываться истины» и не проявлялъ «самобытнаго философскаго таланта». Мучить читателя новыми выписками мы поэтому не станемъ, а только укажемъ на то, какъ чинить

г. Волынский оудъ и расправу надъ своими предшественниками въ области литературной критики.

Призывая ихъ одного за другимъ къ своему философскому трибуналу, онъ спрашиваетъ:

1) Всегда ли признавалъ подсудимый нѣкоторыя философскія понятія «навѣстнаго идеалистическаго типа»?

2) Всегда ли онъ былъ достаточно твердо убѣжденъ, что критика должна быть философскою, а не публицистическою?

Если за подсудимымъ оказываются кое-какіе проступки на этотъ счетъ, то съ нашимъ авторомъ немедленно начинается истерика. Онъ на разные голоса кричитъ о Богѣ, о небѣ, о вѣчности, объ истинѣ, о красотѣ, о поэтической идеѣ и прочихъ возвышенныхъ предметахъ.

Накричавшись вдоволь, онъ утихаетъ и спѣшитъ успокоить перепуганныхъ читателей, давая имъ понять, что, хотя въ лицѣ подсудимаго бѣдная русская мысль провинилась дѣйствительно очень сильно, но что унывать все-таки не надо, пока у насъ есть такой бравый литературный молодецъ, какъ онъ, г. Волынский, который, воздавъ кое-мудро по дѣломъ его, съ Божьею помощью все поправитъ, все уладитъ, все разберетъ, одѣлаетъ надлежащую оцѣнку всѣмъ отвлеченнымъ повзвѣсившимъ идеямъ и даже, въ соверзательномъ экстазѣ, соединитъ все конечное съ безконечнымъ. Проникаясь этимъ отраднымъ убѣжденіемъ, читатель тѣмъ презрительнѣе начинаетъ смотрѣть на всѣхъ этихъ Бѣлинскихъ и Добролюбовыхъ, которые выглядятъ такими жалкими пигмеями въ сравненіи съ великимъ авторомъ книги «Русскіе критики».

Бѣлинскому, Добролюбову да еще автору «Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности» всего сильнѣе достается отъ г. Волынскаго. Это понятно. Она виноваты уже тѣмъ, что позволили себѣ прославиться раньше его. Кроме того, за каждымъ изъ нихъ есть особая провинность. Бѣлинскій не понялъ выраженія Гегеля: что дѣйствительно, то разумно,—а потомъ измѣнилъ идеализму, разбранныхъ Гоголевскія «Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями», и проч. Авторъ «Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности» былъ авторомъ «Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности» и къ тому же въ философіи рѣзко разошелся съ Юревичемъ. Добролюбовъ не былъ склоненъ къ «кипѣнію всѣхъ чувствъ»; имѣлъ «узкій взглядъ на нужды общественной жизни, на цѣли прогресса»; занимался критикою публицистической, а отнюдь не философскою; былъ главнымъ сотрудникомъ «Свистка», и т. д., и т. д. Короче, невозможно даже и пересчитать проступки и преступленія этихъ неприятныхъ людей, которыми мыслящая Россія почему-то вздумала гордиться, не посоветовавшись предварительно на этотъ счетъ съ г. Волынскимъ.

Въ слѣдующихъ статьяхъ намъ придется говорить о взглядахъ этихъ

людей. Тамъ мы разберемъ, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя изъ обвиненій, выдвигаемыхъ противъ нихъ нашимъ будто бы гегельянцемъ. Теперь же мы сдѣлаемъ по ихъ поводу лишь нѣсколько отдѣльныхъ замѣчаній.

Кто не знаетъ у насъ теперь, что Бѣлинскій неправильно понялъ знаменитое положеніе Гегеля о разумности всего дѣйствительнаго? Объ этой ошибкѣ нашего великаго писателя говорили и писали такъ много, что о ней знаетъ каждый школьникъ. Но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что каждый школьникъ имѣетъ больше «самобытнаго, философскаго таланта», чѣмъ имѣлъ Бѣлинскій. Можно ошибаться на разные лады, точно такъ же, какъ можно на разные лады высказывать правильныя мысли. Иной и въ заблужденіяхъ своихъ обнаруживаетъ большой умъ, а иной и справедливыя мысли повторяетъ ва манеръ попугая. Мы покажемъ, что какъ разъ такимъ образомъ обстоитъ дѣло съ Бѣлинскимъ съ одной стороны и съ г. Волюнскимъ — съ другой. *Консервативные выводы, сдѣланные Бѣлинскимъ изъ философіи Гегеля, будучи совершенно неправильны, въ то же самое время дѣлаютъ ему величайшую честь, показывая, что онъ былъ едва ли не самымъ замѣчательнымъ изъ всѣхъ умовъ, когда-либо выступавшихъ у насъ на литературномъ поприщѣ; идеалистическій же либерализмъ г. Волюнскаго есть не болѣе, какъ фразерство самаго дурнаго тона.*

Еще одно слово. Когда «человѣкъ, мыслявшій вѣчность», бродя за изображеніе какого-нибудь процесса развитія, то онъ дѣйствительно умѣлъ подмѣтять и отбѣивать его *главнѣйшіе моменты*. Г. Волюнскій непохожъ въ этомъ отношеніи на «человѣка, мыслявшаго вѣчность». Онъ взялся показать намъ главнѣйшіе моменты въ исторіи развитія русской критики, но у него вышло, что никакихъ «моментовъ» у насъ вовсе и не было, а былъ одинъ хаосъ, были одни сплошныя заблужденія, черная туча которыхъ росла все болѣе и болѣе, все мрачнѣе и мрачнѣе облагая и безъ того уже неясное русское небо, пока не явился, наконецъ, нашъ критическій мессія и не возсіяло надъ нашей землей яркое солнце разума въ лицѣ г. Волюнскаго. Появленіе г. Волюнскаго составляетъ, такимъ образомъ, первый «моментъ» въ исторіи русской мысли.

«Человѣкъ, мыслявшій вѣчность», врядъ ли помирился бы съ такимъ результатомъ «труда» нашего автора.

IV.

Критика «должна слѣдять за тѣмъ, какъ поэтическая идея, возникнувъ въ таинственной глубинѣ человѣческаго духа, пробивается сквозь пестрый матеріалъ живенныхъ представленій и взглядовъ автора». Хорошо; положимъ, что это составляетъ важнѣйшую задачу критики. Но вѣдь *материалъ*, сквозь который будто бы «пробивается» поэти-

ческая идея, дается окружающей художника общественной средой, да и сама-то поэтическая идея, въ какой бы «глубинѣ духа» она ни зарождалась, не можетъ не испытать на себѣ вліянія этой среды. Поэтическія идеи Эсхила непохожи на поэтическія идеи Шекспира. И если правъ г. Волюнокій, говоря, что критика должна быть компетентна какъ въ оцѣнкѣ поэтическихъ идей, такъ и въ раскрытіи творческаго процесса, то не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что она должна «опираться» прежде всего на исторію. «Философскія понятія извѣстнаго идеалистическаго типа» немного уяснятъ тамъ, гдѣ рѣчь идетъ о фактахъ и о существующей между ними *причинной связи*. А что для пониманія процесса художественнаго творчества нужно знакомство съ фактами, т. е. съ исторіей искусства, въ этомъ невозможно и сомнѣваться. И необходимо замѣчать, что этотъ процессъ не есть однообразный процессъ, въ которомъ всегда участвуютъ однѣ и тѣ же способности. Въ различныхъ историческихъ эпохи онъ приводитъ въ движеніе весьма различныя «психическія силы» (скажемъ такъ, чтобы задобрить г. Волюнскаго), вслѣдствіе чего искусство, свойственное каждой изъ эпохъ, всегда имѣетъ свой особый характеръ.

Для поясненія нашей мысли возьмемъ примѣръ изъ исторіи живописи во Франціи. Въ картинахъ Бушэ преобладаетъ изящная граціозная чувственность; въ картинахъ Давида — извѣстная условная простота; наконецъ, въ картинахъ живописцевъ-романтиковъ, въ родѣ Делакруа или Жерико, равнодушныхъ къ граціи и ненавидящихъ условную простоту, господствуетъ то, что французы называютъ le pathétique (достаточно припомнить «Dante et Virgile» и «Le Radeau de la Méduse»). Это три особыхъ школы. И каждая изъ этихъ школъ иначе относится и къ рисунку, и къ краскамъ, и къ композиціи, чѣмъ другая. Понятно, что Бушэ для его творчества нужна была одна совокупность способностей, Давиду — другая, а романтикамъ-живописцамъ — третья. Но откуда же произошло это различіе? Не объясняется ли оно особенностями характера отдѣльныхъ лицъ? Нѣтъ, и именно потому нѣтъ, что мы говоримъ не о такихъ особенностяхъ, которыя свойственны были отдѣльнымъ живописцамъ, а о такихъ, которыя принадлежали цѣлымъ школамъ, а вѣрнѣе сказать — *цѣлымъ эпохамъ* ¹⁾.

Идеалистическая эстетика знала, разумѣется, что каждая великая

¹⁾ Давидъ говорилъ о себѣ: je n'aime ni je ne suis le merveilleux; je ne puis marcher à l'aise qu'avec le secours d'un fait réel (Delecluze, L. David, son école et son temps, Paris 1895, p. 338). Это чрезвычайно характерно для XIX вѣка вообще и для второй половины его въ особенности. *Разсудочность* была свойственна тогда всѣмъ (а особенно передовымъ людямъ); поэтому она нравилась и въ манерѣ Давида и его школы. А въ XIX вѣкѣ эту самую разсудочность поставили ему въ вину, горько упрекая его въ недостатокъ *воображенія*.

историческая эпоха имѣла свое искусство (напр., Гегель различаетъ восточное, классическое и романтическое искусство); но въ этомъ случаѣ она, констатируя очевидные факты, давала имъ совершенно неудовлетворительное объясненіе. Исторія искусства объяснялась въ послѣднемъ счетѣ свойствами *духа*, законами развитія *абсолютной идеи*. Когда за подобныя объясненія берется какой-нибудь г. Вольтинскій, то у него ровно ничего, кромѣ пустыхъ, будто бы философскихъ фразъ, не выходитъ. Но когда такимъ дѣломъ занимается гигантъ, подобный Гегелю, тогда безспорно въ результатѣ получаются подчасъ очень и очень остроумныя и даже прямо гениальныя логическія постройки. Одно плохо: эти гениальныя постройки обыкновенно ровно ничего не объясняютъ, т. е. совсѣмъ не ведутъ къ той цѣли, ради которой онѣ возводятся. Въ самомъ дѣлѣ, Гегель намъ говоритъ, что классическое искусство отличается полнымъ равновѣсіемъ между формой и содержаніемъ, между тѣмъ какъ въ романтическомъ искусствѣ содержаніе (идея) беретъ перевѣсъ надъ формой. Это очень интересное замѣчаніе, которое полезно помнить всякому, кто занимается исторіей искусства. Но *почему* же содержаніе перевѣшиваетъ форму въ романтическомъ искусствѣ? На это не умѣетъ отвѣтить идеалистическая эстетика Гегеля, такъ какъ нельзя же считать за отвѣтъ указанія на то, что *безконечное* (содержаніе, идея) въ своемъ логическомъ развитіи непременно должно перевѣсить конечное (форму). Тутъ повторяется у Гегеля то же, что мы видимъ въ его «*Philosophie der Geschichte*», гдѣ историческое движеніе человѣчества объясняется логическими законами развитія той же абсолютной идеи и гдѣ эти логическіе законы тоже ничего не объясняютъ. И точно такъ же, какъ въ «*Philosophie der Geschichte*», Гегель и въ «*Эстетикѣ*» временами самъ покидаетъ свое идеалистическое царство тѣней для того, чтобы подышать свѣжимъ воздухомъ житейской дѣйствительности. И замѣчательно, что грудь старика дышитъ въ этихъ случаяхъ такъ хорошо, какъ будто она никогда и не вдыхала другого воздуха. Напомнимъ его разсужденія о голландской живописи.

Извѣстно, что картины голландскихъ живописцевъ почти никогда не отличаются «возвышеннымъ» содержаніемъ. Эти живописцы какъ будто поклялись забыть «высокіе» предметы и изображать одну житейскую прозу. Гегель спрашиваетъ: не согрѣшили ли они этимъ противъ правилъ эстетики? И отвѣчаетъ, что—нѣтъ и что вообще ихъ сюжеты вовсе не такъ низки, какъ это могло бы показаться съ перваго взгляда.

«Голландцы,—говоритъ онъ,—взяли содержаніе своихъ картинъ изъ самихъ себя, изъ современной имъ ихъ общественной жизни; нельзя упрекать ихъ за то, что они съ помощью искусства воспроизвели эту современную имъ дѣйствительность». Если бы они не стали воспроизводить ея, то ихъ картины утратили бы всякій интересъ въ глазахъ современниковъ.

Чтобы понять голландскую живопись, надо вспомнить историю голландцев. Они отвоевали у моря ту почву, на которой они живут; благодаря их настойчивости, терпению и мужеству, им удалось свергнуть господство Филиппа II и завоевать религиозную и политическую свободу, а их трудолюбие и предприимчивость обеспечили им значительное благосостояние. Голландцам были дороги эти свойства их характера и эта их почтенная буржуазная зажиточность. А эти-то свойства и эту-то зажиточность и воспроизводили голландские живописцы. Мы видим их и в картинах Рембрандта, и в портретах Вань-Дика, и в сценах Ватермана ¹⁾. Для нас важно здесь не то, что Гегель старается оправдать голландских живописцев: по нашему мнению, они никогда ни в чьей защиту не нуждались. Но мы обращаем внимание читателя на то, что великий идеалист очень хорошо умел объяснять, по крайней мере, некоторые явления в истории искусства *ходомъ развитія общественной жизни*. Чтобы понять живопись голландцев, надо вспомнить их историю. Это совершенно справедливая мысль. Но эта справедливая мысль наводит на размышления, очень опасные для идеалистической эстетики.

Что, если мысль, справедливая в применении к голландской живописи, оказалась бы столь же справедливой в применении к живописи в Италии, к скульптуре в Греции, к поэзии во Франции и т. д., и т. д.? История искусства стала бы объясняться историей общественной жизни, и в хитроумных логических постройках идеалистов, апеллирующих к свойствам абсолютной идеи, не оказалось бы ни малейшей надобности. *Идеалистическая эстетика умерла бы сама собою.*

Такъ оно и произошло на самом деле. Пока идеалистическая эстетика возилась с абсолютной идеей, в литературе передовых европейских стран все больше и больше распространялся и укреплялся взгляд, согласно которому *духовное* развитие человечества есть лишь отражение его *общественного* развития. Уже на рубеже XIX века явилась книга г-жи Сталь: *De la littérature, considérée dans ses rapports avec les institutions sociales* (Paris, 8). Задача, которую поставила себе г-жа Сталь, была разрешена очень неудовлетворительно: она далеко превышала силы этой знаменитой, но в сущности поверхностной писательницы, едва ли даже вполне понимавшей все ее огромное значение. Но задача была поставлена, и это было уже чрезвычайно важно. За ее правильное решение ручалась сама общественная жизнь Западной Европы.

Франция сделала для этого решения больше, чем другие страны, а

¹⁾ Vorlesungen über die Aesthetik, 1-er Band. Berlin 1835, Ss. 216—217. Ср. также 2-er B. Ss. 222—223.

между французами люди, яснѣ другихъ понимавшіе дѣло, были далеко не всегда литераторами по специальности. Такъ, напримеръ, извѣстный историкъ *Гизо* несравненно правильнѣе и глубже понималъ его, чѣмъ Вильманъ или Викторъ Гюго. Въ своемъ замѣчательномъ сочиненіи «*Etude sur Shakspeare*» (1821 г.) Гизо безъ всякихъ колебаній и исполнѣ послѣдовательно держится того убѣжденія, что литературная исторія всякой данной страны есть плодъ ея соціальной исторіи. Шекспиръ является совершенно законнымъ дѣтищемъ англійскихъ общественныхъ отношеній и нравовъ времени Елизаветы. Точно также, если Гизо думаетъ, что классицизмъ отжилъ свое время, то это потому, что уже не существуетъ того общества, блестящимъ выраженіемъ котораго онъ явился. Наконецъ, если Гизо полагаетъ, что только «система Шекспира» способна дать теперь «тѣ планы, согласно которымъ долженъ работать гений» (*les plans d'après les quels le génie doit maintenant travailler*), то это опять по причинѣ, коренящейся въ общественномъ строѣ: «только эта система способна охватить всѣ общественныя положенія и всѣ чувства... столкновенія и дѣятельность которыхъ составляютъ для насъ зрѣлище человѣческой жизни».

Если мы сравнимъ этотъ этиодъ Гизо съ знаменитымъ предисловіемъ къ «Кромвеллю», которое считается литературнымъ манифестомъ романтиковъ, то увидимъ, что въ дѣлѣ объясненія историческаго развитія драмы поэтъ оказывается просто ребенкомъ передъ историкомъ. Оно и неудивительно. Богатый запасъ *историческихъ* знаній и самъ по себѣ очень хорошая вещь тамъ, гдѣ рѣчь идетъ объ *историческомъ* развитіи. Но нашъ историкъ былъ не просто историкомъ. Ученый, способный къ усидчивому кабинетному труду, дополнялся въ немъ *практическимъ* дѣятелемъ. Гизо былъ однимъ изъ самыхъ выдающихся политическихъ представителей французской буржуазіи XIX вѣка. Политическая борьба рано показала ему, гдѣ находятся незамѣтныя для глазъ, закрытыхъ поэтической завѣсой, тайныя пружины общественныхъ движеній. Онъ былъ однимъ изъ первыхъ, ясно сознавшихъ ту истину, что *политическія* отношенія народовъ коренятся въ ихъ *соціальныхъ* отношеніяхъ. А отъ этой истины было уже недалеко до убѣжденія въ томъ, что тѣ же соціальныя отношенія объясняютъ и литературную исторію народовъ.

Это еще не все. Принимая дѣятельное участіе въ современной ему политической борьбѣ буржуазіи съ аристократіей и духовенствомъ, Гизо понялъ значеніе взаимныхъ столкновеній общественныхъ классовъ въ историческомъ движеніи человѣчества. Онъ въ самыхъ смѣлыхъ и недвусмысленныхъ выраженіяхъ провозгласилъ, что вся исторія Франціи есть результатъ такихъ столкновеній. А разъ усвоивъ себѣ этотъ взглядъ, онъ естественно долженъ былъ попытаться примѣнить его и къ исторіи

литературы. Такая попытка и была сдѣлана имъ въ «Etude sur Shakespeare».

Драматическая поэзія родилась въ средѣ народа и для народа. Но мало-по-малу она вездѣ стала любимой забавой *высшихъ классовъ*, влияние которыхъ непременно должно было измѣнить весь ея характеръ. И не къ лучшему была эта перемѣна. Пользуясь своимъ привилегированнымъ положеніемъ, высшіе классы удаляются отъ народа, вырабатывая свои особые взгляды, обычаи, чувства и привычки. Простота и естественность уступаютъ мѣсто изысканности и искусственности, нравы становятся изнѣженными. Все это отражается и на драмѣ: ея область суживается, въ нее вторгается монотонность. Вотъ почему у народовъ новаго времени драматическая поэзія расцвѣтаетъ пышнымъ цвѣтомъ только тамъ, гдѣ, благодаря счастливому стеченію обстоятельствъ, искусственность, всегда господствующая въ высшихъ классахъ, еще не успѣла оказать на нее своего вреднаго влияния и гдѣ высшіе классы еще не совсемъ разорвали связь свою съ народомъ, сохранивъ общій съ нимъ запасъ вкусовъ и эстетическихъ потребностей. Именно такое стеченіе обстоятельствъ замѣчается въ царствованіе Елизаветы въ Англіи, гдѣ сверхъ того прекращеніе недавнихъ смутъ и повышеніе уровня народнаго благосостоянія дали сильнѣйшій толчокъ нравственнымъ и умственнымъ силамъ націи. Уже тогда накопилась та колоссальная энергія, которая сказалась впоследствии въ революціонномъ движеніи; но эта энергія пока еще сказывалась, главнымъ образомъ, на мирномъ поприщѣ. Шекспиръ выразилъ ее въ своихъ драмахъ. Его отечество, однако, не всегда умѣло цѣнить его гениальныя произведенія. Со времени реставраціи аристократія стремится перенести къ себѣ на родину вкусы и привычки блестящаго французскаго дворянства, забываетъ Шекспира. Драйденъ находитъ его языкъ устарѣлымъ, а въ началѣ XVIII вѣка лордъ Шефсбюри горько жалуется на его варварскій слогъ и на его старомодный духъ. Наконецъ, Попе сожалѣлъ, что Шекспиръ творилъ для народа, не стараясь понравиться зрителямъ «лучшаго сорта». Только со времени Гаррика Шекспира снова полностью (безъ подчистокъ и передѣлокъ) играли на англійской сценѣ.

Смѣшно было бы сказать, что Гизо перечислилъ всѣ тѣ историческія условія, которыя вызвали появленіе драмъ Шекспира. Кто былъ бы въ состояніи сдѣлать подобное перечисленіе, тотъ могъ бы прописывать исторія рецепты для производства гениальныхъ писателей. Но несомнѣнно, что Гизо шелъ въ своемъ изслѣдованіи по совершенно вѣрному пути и что исторія въ самомъ дѣлѣ много лучше выясняетъ дѣло, чѣмъ могла бы выяснить его «абсолютная идея». Если бы Гизо продолжалъ работать въ этой области или если бы его точка зрѣнія была лучше усвоена слѣдовавшими за нимъ писателями, то мы, конечно, имѣли бы теперь

много хорошо обработаннаго матеріала для всеобщей исторіи литературы. Но послѣдовательное проведеніе взгляда Гизо скоро сдѣлалось нравственно невозможнымъ для идеологовъ изъ буржуазной среды.

Уже въ 1830 г. крупная буржуазія занимаетъ господствующее положеніе во Франціи. Ея борьба съ дворянствомъ кончена; вѣкогда страшный врагъ побѣжденъ и обезсиленъ; отнынѣ нечего бояться новыхъ чувствительныхъ ударовъ съ его стороны. Но—увы!—земное счастье непрочно. Не успѣла крупная буржуазія раздѣлаться съ однимъ врагомъ, какъ на нее сталъ надвигаться другой — съ противоположной стороны. Рабочіе и мелкая буржуазія, принимавшіе такое энергичное участіе въ борьбѣ со старымъ порядкомъ, но оставшіеся по-прежнему въ тяжеломъ экономическомъ положеніи и лишеныя политическихъ правъ, начали предъявлять своей недавней союзницѣ такія требованія, удовлетворить которыя она частью не хотѣла, а частью и совсѣмъ не могла, не налагая на себя руку. Началась новая борьба, въ которой крупной буржуазіи пришлось уже стать въ оборонительное положеніе. Ну, а извѣстно, что оборонительныя положенія не способствуютъ развитію любви къ истинѣ въ общественныхъ слояхъ и классахъ, ихъ занявшихъ. «Жить среди собственныхъ согражданъ, какъ среди враговъ, считать врагомъ свой собственный народъ, воевать съ нимъ, хитря и скрывая свою вражду, облекая ее разными болѣе или менѣе искусственными покровами»,—это значитъ навсегда распротиться со всѣми благородными порывами, любить не то, что истинно, а то, что полезно, и опредѣлять добро по той формулѣ, которую далъ, говорятъ, какой-то дикарь какому-то миссіонеру: добро—это, когда я украду что-нибудь у другого, а зло—это, когда меня обкрадутъ. Ученые представители французской буржуазіи въ своихъ изслѣдованіяхъ по общественнымъ вопросамъ стали очень много и очень охотно толковать на ту тему, что уши выше лба не растутъ и что бѣдныяки только тогда показали бы себя людьми, полными высокой нравственности, если бы позабыли о своемъ непріятномъ положеніи, представивъ спокойно обогащаться тѣмъ, кому судьба дала возможность обогатиться. Всякое упоминаніе о борьбѣ общественныхъ силъ стало теперь считаться неприличнымъ въ средѣ буржуазіи, подобно тому, какъ лѣтъ за двадцать передъ тѣмъ оно считалось неприличнымъ въ средѣ аристократіи. И тотъ самый Гизо, который провозглашалъ когда-то, что вся исторія Франціи сводится къ такой борьбѣ и что этотъ общезвѣстный фактъ могутъ скрывать только лицемеры,—этотъ самый Гизо сталъ теперь читать проповѣди на противоположную тему. Особенно распространялся онъ на этотъ счетъ послѣ 1848 года, такъ сильно напугавшаго дорогіе ему «средніе классы».

Такъ какъ прежняя точка зрѣнія сдѣлалась практически нежелательной и нестерпимой для крупной буржуазіи, то неудивительно, что ея

идеологи начали неохотно усваивать и примѣнять ее и въ теоріи. Мало-по-малу они и совсѣмъ позабыли, что ихъ предшественники еще очень недавно держались этой точки зрѣнія съ большимъ успѣхомъ. Позабыли и стали проникаться убѣжденіемъ, что она придумана злыми потрясателями буржуазныхъ основъ съ гнусной цѣлью взволновать довѣрчивую массу и тѣмъ насолить порядочнымъ людямъ. Въ своихъ изслѣдованіяхъ по исторіи искусства они не переставали повторять, что искусство есть отраженіе общественныхъ потребностей и вкусовъ; но уже рѣдко случалось имъ вспоминать о томъ, что общество состоитъ изъ различныхъ классовъ, потребности и вкусы которыхъ непремѣнно должны измѣняться въ связи съ перемѣнами въ общественныхъ отношеніяхъ. Да и эти рѣдкіе случаи имѣли мѣсто только тогда, когда рѣчь заходила о явленіяхъ относящихся ко времени борьбы все того же третьяго сословія противъ стараго порядка; такъ старики хорошо помнятъ свое дѣтство и юношество, но забываютъ то, что было вчера, и не умѣютъ схватить очевидный смыслъ того, что совершается передъ ними въ настоящую минуту: имѣютъ очи и почти не видятъ, имѣютъ уши и едва слышатъ...

Мелкая буржуазія и рабочій классъ были поставлены событіями 1830 г. совсѣмъ въ иное отношеніе къ нелицеприятной теоретической истинѣ. Ненависть къ «привилегіямъ» порождала въ нихъ стремленіе къ справедливости, а негодованіе противъ лицемерія крупной буржуазіи заставляло ихъ любить истину независимо отъ какихъ бы то ни было практическихъ соображеній. Въ періодъ 1830—1848 гг. мелкая французская буржуазія выставила огромную массу всякаго рода талантовъ, а вопросы литературы и искусства пріобрѣли огромнѣйшее значеніе въ глазахъ ея образованной части. И при всемъ томъ, ея идеологи очень много сдѣлали для научной эстетики. Неопредѣленное положеніе ихъ класса (лучше сказать, общественнаго слоя) между крупной буржуазіей и пролетаріатомъ не позволяло имъ взглянуть на междуклассовыя отношенія съ той ясностью, съ какою смотрѣли на нихъ въ свое время Гизо и его единомышленники. Имъ хотѣлось стать *выше* классовъ, перенести вопросы общественной жизни и науки въ туманное царство отвлеченностей. О столкновеніи общественныхъ элементовъ эти люди, изъ которыхъ многіе увлекались ученіями утопическаго социализма и коммунизма, не хотѣли и слышать. Ясно, что не они могли понять колоссальную научную важность той точки зрѣнія, на которую твердой ногою сталъ Гизо въ «*Etude sur Shakspeare*».

Пролетаріатъ... Но ему было не до эстетики.

V.

Такимъ образомъ, теорія искусства по обстоятельствамъ, можно сказать, отъ нея совершенно независѣвшимъ, далеко не исполнила всего

того, что общала въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго вѣка. Однако, и одѣланнаго ею было достаточно, чтобы оказалась ненужной эстетика абсолютныхъ идеалистовъ.

Позабывъ о столкновеніяхъ и о треніи общественныхъ элементовъ и слоевъ, теоретики искусства закрыли глаза на чрезвычайно важный факторъ, очень много объясняющій въ исторіи всѣхъ вообще идеологій. Они лишили себя возможности понять многія частности въ исторіи искусства, безъ пониманія которыхъ невозможно отдѣлаться отъ схематизма и абстракцій въ теоріи. Но они все-таки не перестали держаться правильной теоріи. Никто изъ нихъ не сомнѣвался въ томъ, что исторія искусства объясняется исторіей общества, а нѣкоторые,—напримѣръ, Тэнъ,—развивали эту мысль въ высшей степени талантливо. Этой мысли мало для того, чтобы всесторонне понять исторію искусства, но ея совершенно достаточно для того, чтобы, занимаясь этой исторіей, даже и не вспоминать объ абсолютной идеѣ. Возьмемъ хоть приведенный нами выше примѣръ изъ исторіи французской живописи. Почему школа Бушэ уступила мѣсто школѣ Давида, а школу Давида смѣнила романтическая школа?

— Такъ нужно было по законамъ развитія абсолютной идеи,—скажетъ намъ г. Вольтинскій. Но мы, не ожидая ничего дѣльнаго изъ Назарета, г. Вольтинскаго слушать не станемъ, а постараемся рѣшить вопросъ съ помощью защищаемой нами теоріи.

Можетъ быть, вамъ случилось прочесть въ первомъ томѣ интереснаго сочиненія братьевъ Гонкуръ *«L'Art du dix-huitième siècle»* этуодъ о Бушэ. Если да, то вы, конечно, помните, какъ объясняетъ онъ появленіе этого живописца.

«Ни великій вѣкъ (т. е. вѣкъ Людовика XIV), ни великій король (т. е. самъ Людовикъ XIV) не любили истины въ искусствѣ. Поощренія, шедшія изъ Версаля, и рукоплесканія общественнаго мнѣнія заставляли литературу, живопись, скульптуру, архитектуру, короче—всѣ силы умовъ и талантовъ искать вымышленнаго величія и условнаго достоинства... Французское общество полагало, что въ этомъ фиктивномъ величіи заключается абсолютный идеалъ искусства, верховный законъ эстетики»...

«Когда вѣкъ Людовика XIV смѣнился вѣкомъ Людовика XV, а французская пышность уступила мѣсто французской галантности и когда измелъчали люди и вещи вокругъ королевской власти, въ свою очередь приблизившейся къ общечеловѣческому уровню, тогда идеалъ искусства остался все-таки фиктивнымъ и условнымъ, но отъ величественнаго онъ перешелъ къ изящному. Утонченное изящество и страсть къ чувственнымъ наслажденіямъ распространяются повсюду». Тогда-то и является Бушэ. «Чувственное наслажденіе—вотъ весь его идеалъ, вся душа его

живописи. Венера, о которой мечтаетъ и которую рисуетъ Бушэ, есть чисто физическая Венера» ¹⁾).

Къ этому надо прибавить одно: Венера Бушэ не только—«чувственная Венера». «Чувственныхъ Венеръ» рисуютъ немало и въ настоящее время для удовлетворенія «эстетическаго» чувства пресыщенныхъ жизнью развратниковъ изъ среды богатой буржуазіи. Но Венера Бушэ гораздо изящнѣе. Это кокетливая женщина именно XVIII вѣка, очень хорошо умѣющая сильно пожить въ свое удовольствіе, но умѣющая также и держать себя по всѣмъ утонченнымъ правиламъ того утонченнаго времени. Она воспитывалась, конечно, не на Олимпѣ, но и не въ бакалейной лавкѣ. Такимъ образомъ, Бушэ есть не только выразитель чувственныхъ стремленій: онъ выражаетъ чувственныя стремленія *изячнаго французскаго дворянства*, сильно измельчавшаго въ XVIII вѣкѣ и рѣшительно неспособнаго увлекаться тѣмъ холоднымъ величіемъ, какое царствовало въ эпоху Людовика XIV, въ золотое время стараго порядка. Значить, живопись Бушэ является выраженіемъ извѣстнаго момента въ исторіи французскаго общества,—мы скажемъ точнѣе: въ исторіи высшихъ сословій во Франціи.

По мѣрѣ того, какъ растутъ силы и самосознаніе третьяго сословія, растутъ также и его недовольство существующимъ порядкомъ, его неприязнь къ дворянству и духовенству. И хотя, конечно, богатые финансисты въ значительной степени усвоили себѣ испорченность высшихъ классовъ и ихъ пристрастіе къ «чувственной Венерѣ», но лучшая, здоровая часть буржуазіи съ презрѣніемъ смотрѣла на дворянскую распущенность нравовъ и горячо проповѣдывала «добродѣтель» (*la vertu*). Положимъ, что эта добродѣтель, часто даже въ сочиненіяхъ самыхъ передовыхъ «философовъ», была подчасъ буржуазно-безвкусна и весьма мало содержательна. Но въ ней слышны—и тѣмъ далѣе, тѣмъ сильнѣе—и другія, поистинѣ мужественныя ноты. Расписываніе прелестей семейной жизни и проповѣдь уваженія къ чужой собственности уступаютъ мѣсто восхваленію чувствъ гражданина, всегда готоваго пожертвовать своимъ личнымъ благосостояніемъ ради интересовъ страдающаго отечества. Тогда-то особенно распространилось и усилилось поклоненіе великимъ мужамъ древности. Молодежь зачитывалась Плутархомъ, прилежно учась «добродѣтели» по его героямъ.

Кто читалъ знаменитые «Салоны» (*Salons*) Дидро, тотъ знаетъ, съ какою ненавистью относился къ Бушэ этотъ гениальный представитель третьяго сословія. Оно понятно. Если Бушэ выражалъ вкусы испорченныхъ высшихъ классовъ, то онъ не могъ быть симпатиченъ тѣмъ, кто ненавидѣлъ и дворянство, и его вкусы, и особенно его испорченность.

¹⁾ L'Art du dix-huitième siècle, t. I, 3 éd. Paris 1880, pp. 135—136 и 145.

Такимъ образомъ, ходъ общественнаго развитія во Франціи необходимо долженъ былъ вызвать противъ Буше сильную реакцію.

Буше рисовалъ Венеръ и грацій, пастуховъ и пастушекъ, которые были тѣми же граціями, только одѣтыми (полуодѣтыми) во что-то, похожее на платье. Эти Венеры, граціи, пастухи и пастушки такъ опротивѣли той части французскаго общества, которая мечтала о герояхъ Плутарха, что ненависть и презрѣніе къ «недѣпой и чудовищной системѣ Буше» не преобразились и въ XIX вѣкѣ, когда къ ней можно было бы, повидимому, отнестись спокойнѣе ¹⁾. Совершенно согласно общему измѣненію вкуса, теперь въ живописи является подражаніе *древности* какъ въ рисункѣ, такъ и въ композиціи картинъ, содержаніе которыхъ, конечно, заимствуется изъ жизни великихъ людей древности. вмѣсто Венеръ и Діанъ являются братья Гораціи, Велизаріи и проч.

Такъ возникаетъ школа Давида.

«У Давида,—говоритъ Клеманъ,—вовсе не отсутствуетъ воображеніе, эта главная особенность артиста. Онъ былъ одаренъ имъ въ высокой степени, но оно было подавлено у него волей, его порывы задерживаются духомъ системы. Интеллигенція, разсудокъ или, вѣрнѣе, предвзятый взглядъ захватываетъ роль, совсѣмъ ему не принадлежащую, господствуя надъ вдохновеніемъ и чувствомъ» ²⁾.

Сильное воображеніе, подавленное еще болѣе сильной волей, порывъ новатора, управляемый разсудкомъ, твердо держащимся за свою «систему»,— что это, если не психологія якобинца? Навѣрное, именно такими качествами отличались многіе изъ товарищей Давида по конвенту. Наполеонъ очень хорошо понималъ смыслъ антикварскихъ увлеченій новой школы въ живописи, когда совѣтовалъ Давиду отказаться отъ нихъ и перейти къ изображенію «современныхъ» предметовъ.

Но вотъ революціонная гроза утихаетъ; общество, «спасенное» переворотомъ 18 брюмера, возвращается къ мирной житейской прозѣ, и хотя его «спаситель» обнаруживаетъ черезчуръ воинственный духъ, но теперь громъ гремѣть уже не въ Парижѣ, а гдѣ-то далеко-далеко, на поляхъ Аустерлица и Эйлау. Въ Парижѣ живетъ сравнительно очень спокойно, а такъ какъ всѣ существенныя экономическія требованія бывшаго третьяго сословія оказываются удовлетворенными, то оно уже не мечтаетъ о переворотахъ, а боится ихъ. Если его художники и теперь еще продолжаютъ рисовать великихъ мужей древности, то ни въ комъ ³⁾ уже эти мужи не будятъ тѣхъ чувствъ, которыя они будили до 1789 года. Теперь рисованіе этихъ мужей стало дѣломъ рутинны, отъ нихъ стало вѣять не

¹⁾ См. Géricaud, étude biographique et critique par Ch. Clément, Paris. 1868 p. 243.

²⁾ L. c., Introduction, p. 4.

³⁾ Исключенія крайне рѣдки, и ихъ можно не брать въ расчетъ.

меньшею условностью, чѣмъ отъ пастораей Бушэ. Если въ школахъ Давида разсудокъ продолжалъ по-прежнему подчинять себѣ воображеніе, то этотъ разсудокъ уже не служилъ никакой «системѣ» предвзятыхъ передовыхъ взглядовъ, а очень мирно уживался съ тѣмъ, что было вокругъ, а отчасти даже не прочь былъ сдѣлать нѣсколько реверансовъ по адресу стараго порядка. Изъ новатора онъ сталъ консерваторомъ. А отъ этого его положеніе стало неустойчивымъ. Обществу достаточно было сдѣлать новый значительный шагъ въ своемъ развитіи и выдвинуть новую фалангу новаторовъ, чтобы *воображеніе* этихъ послѣднихъ возстало противъ *разсудочности* охранителей, и артисты, зараженные духомъ новаго времени, открыли то, чего прежде никто не замѣчалъ, т. е. что художественные приемы Давида и его школы не удовлетворяютъ цѣлому ряду «вѣчныхъ» требованій искусства ¹⁾.

Такъ возникла романтическая школа въ живописи. Мы не будемъ останавливаться на ней, а спросимъ читателя: хорошо ли мы сдѣлали, на время совсѣмъ позабывъ о существованіи «абсолютной идеи»? Мы надѣемся, что наша забывчивость непріятности ему не причинила.

Намъ кажется, что если читатель можетъ сдѣлать намъ упрекъ, то развѣ вотъ какой: «Въ сущности вы не шли дальше поверхности явленій,—скажетъ онъ, пожалуй, намъ.—Справедливо, что ходъ развитія искусства опредѣляется ходомъ развитія общественной жизни; но вы не потрудились оказать, чѣмъ же опредѣляется, въ свою очередь, развитіе общественной жизни. А пока вы не сказали этого, до тѣхъ поръ вы по-минутно рискуете опять вернуться къ идеализму въ эстетикѣ, правда, не къ тому идеализму, который проповѣдывали Шеллингъ и Гегель, а къ тому идеализму Бокля и подобныхъ ему эпигоновъ, которые въ развитіи человѣческихъ идей видѣли главную причину историческаго движенія. А разъ вы станете на точку зрѣнія этого идеализма, вы уже не въ состояніи будете выбраться изъ заколдованнаго круга: исторія искусства и вообще всей духовной дѣятельности людей опредѣляется исторіей общественнаго развитія, а причины общественнаго развитія коренятся въ духовной дѣятельности людей. Если вы хотите не оставлять ничего недосказаннымъ, то вы должны, бросивъ всякія «иносказанія и гипотезы пустыя», отвѣтить мнѣ прямо на мой вопросъ».

¹⁾ Другими словами, живопись Давида—его рисунокъ, колоритъ, композиція—нравилась тѣмъ поколѣніямъ, которыя знали ее *въ одной ассоціаціи идей* и показалась неудовлетворительной и даже прямо непріятной другимъ поколѣніямъ, у которыхъ, *благодаря непрерывному ходу общественнаго развитія*, она, эта живопись, ассоціировалась съ другими идеями и представленіями. То же можно сказать и обо всѣхъ школахъ въ искусствѣ, когда-либо игравшихъ большую роль, а затѣмъ удаленныхъ со сцены явившейся противъ нихъ реакціей.

Мы очень рады были бы, если бы читатель обратился къ намъ въ умѣ именно съ такою рѣчью. Не менѣе рады были бы отвѣтить на его воображаемый вопросъ, только...

Чтобъ гусей не раздражить.

Впрочемъ, что же намъ за дѣло до гусей? Отвѣтимъ, какъ думаемъ; а тамъ пусть себѣ гогочуть неразумныя птицы!

Развитіе общества опредѣляется въ послѣднемъ счетъ его экономическимъ развитіемъ, изъ чего, однако, вовсе не слѣдуетъ, что мы должны интересоваться лишь «экономическою струною», какъ нѣкогда выразился почтенный соціологъ Н. К. Михайловскій.

VI.

Мы уже знаемъ: настоящая литературная критика должна быть компетентна въ оцѣнкѣ поэтическихъ идей, всегда имѣющихъ отвлеченную природу. Такъ говоритъ г. Волинскій. На стр. 214 своей книги этотъ настоящій литературный критикъ упрекаетъ Добролюбова въ томъ, что у того анализъ нигдѣ не углубляется въ сюжетъ литературнаго произведенія съ цѣлью «открыть какія-нибудь общія психологическія начала, освѣтить опредѣленнымъ философскимъ понятіемъ сложные процессы человѣческаго творчества». Къ сожалѣнію, самъ г. Волинскій ни разу не показалъ намъ собственнымъ примѣромъ, что собственно значить освѣтить философскимъ понятіемъ процессъ, происходящій въ головѣ художника: истерическіе припадки, происходящіе время отъ времени съ нашимъ критикомъ, разумѣется, не освѣщаютъ ничего, кромѣ нѣкоторыхъ «процессовъ», имѣющихъ мѣсто въ его собственной нервной системѣ. Поэтому намъ волей-неволей приходится опять обратиться къ «человѣку, мыслящему вѣчность».

Въ чемъ заключается идея Софокловой «Антигоны»? Въ столкновеніи родового права съ государственнымъ,—отвѣчаетъ Гегель: представительницей перваго является Антигона, а представителемъ второго—Креонъ. Антигона гибнетъ жертвою этого многозначительнаго столкновенія. Эта мысль Гегеля намъ гораздо понятнѣе, чѣмъ причитанія г. Волинскаго: мы отиѣчаемъ ее и идемъ далѣе. Мы спрашиваемъ: указаніе Гегеля на эту идею можетъ ли считаться равносильнымъ съ «открытіемъ какихъ-нибудь общихъ психологическихъ началъ»? «Нѣтъ,—отвѣтилъ бы намъ Гегель,—не вѣрьте г. Волинскому, если онъ станетъ говорить, что, по моему, освѣщать философскимъ понятіемъ творческій процессъ художника значить пускаться въ психологію. Вамъ извѣстно, что психологія вообще у меня не въ большомъ фаворѣ. Освѣтить художественное произведеніе свѣтомъ философіи значить понять его, какъ выраженіе одного изъ тѣхъ началъ, столкновеніемъ, *противорѣчіемъ* которыхъ обуславливается

ходъ всемірной исторіи. *Психологическіе процессы*, происходящіе въ душѣ индивидуума, интересны для меня лишь какъ выраженіе *общаго*, лишь какъ отраженіе *процесса развитія абсолютной идеи*.

Читателю уже извѣстно, что наша точка зрѣнія діаметрально противоположна идеалистической. Тѣмъ не менѣе, мы съ большимъ удовольствіемъ ссылаемся здѣсь на Гегеля. Въ его взглядахъ на искусство вообще много истиннаго, только истина стоитъ у него, по извѣстному выраженію, внизъ головой, и надо умѣть поставить ее на ноги.

Если «Антигону» разсматривали мы вмѣстѣ съ Гегелемъ какъ художественное выраженіе борьбы двухъ правовыхъ началъ, то мы уже и безъ Гегеля сумѣемъ разсмотрѣть, напримѣръ, «*Marriage de Figaro*» Бомарше, какъ выраженіе борьбы третьяго сословія со старымъ порядкомъ. А разъ мы научимся освѣщать художественныя произведенія свѣтомъ *такой* философіи, то намъ опять уже не будетъ никакой надобности въ абсолютной идеѣ, но зато намъ абсолютно необходимо будетъ признать, что человѣкъ, не отдающій себѣ яснаго отчета въ той борьбѣ, многовѣковой и многообразной процессъ которой составляетъ исторію,—не можетъ быть сознательнымъ художественнымъ критикомъ.

Смотря на «*Marriage de Figaro*», какъ на выраженіе борьбы третьяго сословія со старымъ порядкомъ, мы, само собою разумѣется, не будемъ закрывать глазъ на то, какъ выражена эта борьба, т. е. справился ли художникъ со своею задачею. Содержаніемъ художественнаго произведенія является извѣстная общая или (какъ выражается г. Волынскій, позабывъ терминологию «человѣка, мыслившаго вѣчность») отвлеченная идея. Но тамъ нѣтъ и слѣда художественнаго творчества, гдѣ эта идея такъ и является въ своемъ «отвлеченномъ» видѣ. Художникъ долженъ *индивидуализировать* то общее, что составляетъ содержаніе его произведенія. А разъ мы имѣемъ дѣло съ *индивидуумомъ*, то передъ нами являются *известные психологическіе процессы*, а тутъ уже не только совершенно умѣстенъ, но и вполне обязательенъ и даже чрезвычайно поучителенъ *психологическій анализъ*. Но психологія дѣйствующихъ лицъ потому и пріобрѣтаетъ въ нашихъ глазахъ огромную важность, что она есть психологія цѣлыхъ общественныхъ классовъ или, по крайней мѣрѣ, слоевъ и что, слѣдовательно, процессы, происходящіе въ душѣ отдѣльныхъ лицъ, являются отраженіемъ историческаго движенія.

Г. Волынскій, можетъ быть, разсердится на насъ и обвинить въ утилитаризмѣ, скажетъ, что мы быстрыми шагами приближаемся къ точкѣ зрѣнія ненавистной ему публицистической критики. Но мы отъ его ударовъ спрячемся за широкую спину «человѣка, мыслившаго вѣчность». Пусть г. Волынскій вѣдается уже съ самимъ Гегелемъ.

Гегель, навѣрное, съ величайшимъ презрѣніемъ отнесся бы къ тѣмъ нашимъ талантамъ и талантикамъ, которые обѣщаютъ показать намъ «но-

вую красоту», а пока что не всегда ладят даже и со старой. Онъ сказалъ бы, что въ ихъ произведеніяхъ нѣтъ сколько-нибудь значительнаго содержанія. А содержаніе было великое дѣло въ глазахъ Гегеля¹⁾. Извѣстно, напримѣръ, что на воспѣваніе любовныхъ чувствъ онъ смотрѣлъ какъ бы съ нѣкоторымъ недоброжелательствомъ и любилъ поворчать на поэтовъ, считающихъ Богъ знаетъ какимъ важнымъ дѣломъ, что вотъ этотъ (dieser) любить эту (diese), а эта любить этого и не хочетъ смотрѣть ни на кого другого, и т. д. Вообще, по его мнѣнію, поэзія еще не приобрѣла сколько-нибудь значительнаго содержанія, рассказывая, что вотъ молъ «ein Schaf sich verloren, ein Mädchen verliebt» (овечка пропала, дѣвица влюбилась). Такая воркотня, навѣрное, не понравилась бы нашимъ проповѣдникамъ искусства для искусства, которые увидѣли бы здѣсь склонность къ публицистической критикѣ, а съ г. Воынокиамъ могла бы сдѣлаться даже истерика, если бы онъ хоть на минуту позабылъ, что ворчить въ данномъ случаѣ Гегель, а не какой-нибудь «свистунъ». Вообще намъ кажется, что г. Воынский, объявивъ себя идеалистомъ, не далъ себѣ въполнѣ яснаго отчета въ томъ, сколько еретическихъ мыслей можно найти въ 18 томахъ сочиненій Гегеля.

Чтобы не раздражать «настоящаго» литературнаго критика, намъ все-таки надо было бы объявить на-чистоту, за какую именно критику мы стоимъ: за философскую или публицистическую. Но бѣда наша въ томъ, что мы сказать этого не можемъ, такъ какъ полагаемъ, что *истинно-философская критика является въ то же время критикой истинно-публицистической*.

Мы сейчасъ объяснимся; но прежде сдѣлаемъ маленькое замѣчаніе по части терминологіи. Мы назвали критику извѣстнаго рода *философской* единственно потому, что такъ угодно выразаться г. Воынскому, а мы не хотѣли, высказывая свою мысль, затемнять ее другой терминологіей. А на самомъ дѣлѣ мы убѣждены, что при нынѣшнемъ состояніи нашихъ знаній мы уже можемъ позволить себѣ роскошь замѣны старой *философской* критики и вообще эстетики — *научной* эстетикой и критикой.

Научная эстетика не даетъ искусству никакихъ предписаній; она не говоритъ ему: ты должно держаться такихъ-то и такихъ-то правилъ и приѣмовъ. Она ограничивается наблюденіемъ надъ тѣмъ, какъ *возникаютъ* различные правила и приѣмы, господствующіе въ различныхъ историческихъ эпохи. Она не провозглашаетъ *вѣчныхъ законовъ искусства*; она старается изучить *тѣ вѣчные законы, дѣйствіемъ которыхъ обусловливается его историческое развитіе*. Она не говоритъ: «француз-

¹⁾ „Denn der Gehalt ist es, der, wie in allen Menschenwerk, so auch in der Kunst, entscheidet. Die Kunst, ihrem Begriffe nach, hat nichts anderes zu ihrem Beruf, als das in sich selbst Gehaltvolle zu adäquater, sinnlicher Gegenwart herauszustellen“. Aesthetik, II Band. S. 240.

ская классическая трагедія хороша, а романтическая драма никуда не годится». У нея все хорошо въ свое время; у нея нѣтъ пристрастій именно къ тѣмъ, а не къ другимъ школамъ въ искусствѣ; а если (какъ это мы увидимъ ниже) у нея и возникаютъ подобныя пристрастія, то она, по крайней мѣрѣ, не оправдываетъ ихъ ссылками на вѣчные законы искусства. Словомъ, она объективна, какъ физика, и именно потому чужда всякой метафизики. И вотъ эта-то *объективная* критика, говоримъ мы, оказывается *публицистической* именно постольку, поскольку она является истинно-научной.

Чтобы пояснить нашу мысль, вернемся къ Гизо, объявившему «классическую систему» созданиемъ высшихъ классовъ французскаго общества. Представьте себѣ, что онъ въ своемъ этюдѣ не ограничился нѣсколькими отдѣльными замѣчаніями и указаніями, а, подробно охарактеризовавъ искусственность, царившую въ нравахъ аристократіи, вмѣстѣ съ этимъ подробно показавъ, на какой именно соціальной почвѣ она возникла и какую именно степень униженія третьяго сословія она собою знаменовала. Представьте себѣ также, что все это онъ написалъ совершенно объективно, какъ посѣдѣлый въ приказѣ дьякъ, который

Спокойно зрѣть на правыхъ и виновныхъ.
Добру и злу внимая равнодушно,
Не вѣдая ни жалости, ни гнѣва...

Представьте себѣ, наконецъ, что это объективное «сказанье» критики читается челоѣкомъ, принадлежащимъ къ буржуазіи. Если этотъ челоѣкъ не совершенно беззаботенъ насчетъ историческихъ судебъ своего класса, то онъ, навѣрное, почувствуетъ въ своей душѣ неприязнь къ тому порядку вещей, при которомъ дворянство и духовенство могли культивировать «тонкое «обращеніе», сидя на спинѣ tiers-état. А такъ какъ этюдъ Гизо появился въ то время, когда была въ самомъ разгарѣ послѣдняя борьба между старымъ порядкомъ и новымъ буржуазнымъ обществомъ, то мы можемъ съ увѣренностью сказать, что онъ имѣлъ не малое публицистическое значеніе и что это значеніе было бы еще больше, если бы авторъ дольше остановился на исторической причинной связи между старымъ порядкомъ и «классической системой». Тогда историко-литературное изслѣдованіе легко могло бы, ни на минуту не переставая удовлетворять самымъ строгамъ требованіямъ науки, оказаться, даже противъ воли автора, горячимъ воззваніемъ публициста. «Поэтъ, даже когда онъ учитъ терпѣнію, растравляетъ раны сердца, потому что всегда сильно потрясаетъ его» (сказалъ Фосколо). О научной критикѣ можно сказать, что она тѣмъ ярче отгнѣяетъ общественное зло, чѣмъ объективнѣе ея анализъ, т. е. чѣмъ ярче и рельефнѣе она это зло изображаетъ.

Внушать критикѣ: ты не должна ударяться въ публицистику,—такъ же

безполезно, какъ и разглагольствовать о «вѣчныхъ» законахъ искусства. Если васъ и послушаютъ, то лишь до поры, до времени, т. е. до тѣхъ поръ, пока, подъ влияніемъ общественнаго развитія, не измѣнятся господствующіе вкусы и не будутъ открыты новыя «вѣчныя» законы искусства. Врагъ публицистики, г. Волинскій, повидимому, и не подозреваетъ, что есть эпохи, когда не только критика, но и само *художественное творчество* бываетъ полно публицистическаго духа. Развѣ эта холодная пышность и это холодное царственное величіе, которыми дышитъ искусство «вѣка Людовика XIV», не являются отчасти публицистикой? Развѣ они не являются сознательно внесенными въ творчество ради возвеличенія извѣстной политической идеи? Развѣ нѣтъ публицистическаго элемента въ картинахъ Давида или въ такъ называемой мѣщанской драмѣ? Есть; его даже, если вамъ угодно, слишкомъ много. Но что же прикажете съ этимъ дѣлать? Если существуютъ дѣйствительно вѣчныя законы искусства, то это тѣ, въ силу которыхъ въ извѣстныя историческія эпохи публицистика неудержимо врывается въ область художественнаго творчества и распоряжается тамъ, какъ у себя дома.

То же и съ критикой. Во всѣ переходныя общественныя эпохи она пропитывается духомъ публицистики, а частью и прямо становится публицистикой. Дурно это или хорошо? *C'est selon!* Но главное—это неизбѣжно, и противъ этой болѣзни никакого медицинскаго снадобья никто еще не придумалъ.

Постойте, стойте! мы ошиблись: есть одно! Состоить оно не въ чемъ иномъ, какъ въ распространеніи здраваго взгляда на научную критику. Кто разъ узналъ великую общественную силу этой критики, тотъ уже не захочетъ браться за орудіе критики «публицистической» въ кавычкахъ, подобно тому, какъ человѣкъ, узнавшій силу магазиннаго ружья, не вернется къ первобытному луку.

Помните ли вы статью Писарева «Стоячая вода»? Это уже публицистическая критика въ полнѣйшемъ смыслѣ слова. Хотя подъ заглавіемъ статьи и стоитъ въ скобкахъ: *Сочиненія А. Ө. Писемскаго* и проч., но о сочиненіяхъ Писемскаго въ ней упоминается совершенно мимоходомъ, о чемъ самъ авторъ доводитъ, впрочемъ, до свѣдѣнія читателя въ первыхъ же строкахъ. Вообще же въ статьѣ рѣчь идетъ о нашей отсталости, безличности, безгласности, инертности, о нашихъ предрасудкахъ, о дикости нашихъ семейныхъ отношеній, объ угнетеніи женщины и т. п. Всѣ эти наши отрицательныя качества разсматриваются какъ простой результатъ нашей умственной неразвитости, противъ которой и направляется страстная проповѣдь автора. Словомъ, Писаревъ стоитъ здѣсь, какъ и вездѣ, на той точкѣ зрѣнія, которую нѣмцы называютъ *просвѣтительской* и съ которой видна лишь абстрактная противоположность между истиной и заблужденіемъ, между знаніемъ и невѣжествомъ, между умственною отста-

лостью и умственнымъ развитіемъ. Спора нѣтъ: Писаревъ прекрасно бичуетъ наше отсталое общество, но его горячая проповѣдь, порицаая невѣжество и клеймя самодурство, не указываетъ сколько-нибудь дѣйствительныхъ средствъ *борьбы съ ними*. Сказать: учитесь, развивайтесь— это все равно, что воскликнуть: покайтесь, братья! Время идетъ, а мы все что-то плохо каемся. Очевидно, существуютъ какія-то общія причины какъ нашей неразвитости, такъ и нашей нераскаянности. Пока не открыты и не указаны эти общія причины, до тѣхъ поръ проповѣдь знанія не принесетъ и сотой доли тѣхъ плодовъ, которые она способна принести. Да и самъ проповѣдникъ поневолѣ будетъ полонъ сомнѣній. Ужъ, кажется, трудно горячѣе вѣрить во всеспасающую силу знанія, чѣмъ вѣрилъ въ нее Писаревъ; кажется, трудно представить себѣ типъ, лучше приспособленный для борьбы съ самодурствомъ и съ предрасудками, чѣмъ Базаровъ, у котораго, по словамъ Писарева, есть и *знанія*, и воля. А между тѣмъ, какъ же понимаетъ Писаревъ дѣятельность, представляющую Базарову? Перечитайте окончаніе статьи «*Базаровъ*» — оно поразитъ васъ своимъ грустнымъ, безнадежнымъ тономъ: «А Базаровымъ все-таки плохо жить на свѣтѣ, хотя они припѣваютъ и посвящаются. Нѣтъ дѣятельности, нѣтъ любви,—стало быть, нѣтъ и наслажденія. Страдать они не умѣютъ, нить не стануть, а подчасъ чувствуютъ только, что пусто, скучно, безцвѣтно и бессмысленно». Отчего же нѣтъ дѣятельности? Да все оттого, что ужъ очень велика сила нашей отсталости, безличности, безгласности, инертности и прочихъ нашихъ отрицательныхъ качествъ, такъ часто вызывавшихъ краснорѣчивое негодованіе Писарева. Пока эти качества не поняты, какъ *историческія* категоріи», пока они не объяснены, какъ *преходящія явленія*, пока ихъ *возникновеніе*, равно какъ ихъ будущее *исчезновеніе*, не приурочены къ историческому развитію нашихъ общественныхъ отношеній,—до тѣхъ поръ они по необходимости должны представляться какой-то непобѣдимой силой, какой-то непреодолимой сущностью, несокрушимой «вещью въ себѣ», къ которой Базарову, несмотря на всѣ его знанія и на всю его твердую волю, нельзя и подступиться. А оттого ему и приходится, махнувъ рукой на окружающую общественную жизнь, искать спасенія въ «лабораторіи».

Французскіе «философы» XVIII вѣка тоже горячо вѣрили въ силу разума, но и они тоже нерѣдко приходили къ тому горькому выводу, что пусто, скучно, безцвѣтно и бессмысленно и что для мыслящаго человѣка нѣтъ дѣятельности. Вообще надо помнить, что у всѣхъ «просвѣтителей» (Aufklärer, какъ выражаются нѣмцы) твердая вѣра въ силу разума сопровождалась столь же сильной вѣрой въ силу невѣжества, такъ что ихъ настроеніе постоянно измѣнялось, смотря по тому, какая именно вѣра временно брала у нихъ перевѣсъ.

Итакъ, сила и дѣйствіе публицистической критики Писарева необходимо должны были ослабляться благодаря той точкѣ зрѣнія, на которой онъ стоялъ. Держась ея, можно было написать горячее обличеніе невѣжества и самодурства, но нельзя было указать тѣхъ роковыхъ общественныхъ силъ, еще несравненно болѣе могучихъ, чѣмъ всякое невѣжество и всякое самодурство, которыя, дѣйствуя, какъ всѣ стихійныя силы, въ то же время расчищаютъ почву для благороднаго и осмысленнаго труда людей, обладающихъ доброй волей и настоящимъ знаніемъ. Если бы, вмѣсто горячей статьи «Стоячая вода», Писаревъ написалъ совершенно спокойный и даже холодный разборъ повѣсти Писемскаго «Тюфякъ», разсматривая эту повѣсть, какъ изображеніе темныхъ сторонъ быта, уже ниспровергнутаго исторіей («Стоячая вода» напечатана въ октябрѣ 1861 года), то его спокойная рѣчь ободрительнѣе подѣйствовала бы на читателей, чѣмъ простыя, хотя и талантливыя нападки на слабохарактерность и тупоуміе.

Но въ такомъ случаѣ Писареву надо было бы, измѣнивъ весь характеръ своей литературной дѣятельности, взяться за социологическія изслѣдованія, замѣтитъ намъ читатель.

Справедливо—отвѣтимъ мы. Во времена Писарева *русскому* писателю невозможно было стать на указываемую нами точку зрѣнія, не рѣшивъ предварительно собственнымъ *умомъ* цѣлаго ряда основныхъ социологическихъ вопросовъ. Всякій, кто вздумалъ бы искать ихъ рѣшенія, былъ бы вполнѣ потерянъ для дѣятельности литературнаго критика. Но вѣдь мы не думаемъ винить Писарева; мы говоримъ только, что странно было бы теперь заниматься такой критикой, какой онъ долженъ былъ заниматься по обстоятельствамъ своего времени.

Теперь возможна научная литературная критика, потому что теперь уже установлены нѣкоторые необходимыя *prolegomena* общественной науки. А разъ возможна научная критика, то публицистическая критика, какъ нѣчто отъ нея отдѣльное и независимое, становится смѣшнымъ архаизмомъ. Вотъ все, что мы хотимъ сказать.

До сихъ поръ мы предполагали, что люди, занимающіеся научной критикой, должны и могутъ оставаться въ своихъ писаніяхъ холодными, какъ мраморъ, невозмутимыми, какъ дьяки, посѣдлые въ приказѣ. Но такое предположеніе, въ сущности, излишне. Если научная критика смотритъ на исторію искусства, какъ на результатъ общественнаго развитія, то вѣдь и сама она есть плодъ такого развитія. Если исторія и современное положеніе даннаго общественнаго класса необходимо порождаютъ въ немъ именно такіе, а не другіе эстетическіе вкусы и художественныя пристрастія, то у научныхъ критиковъ тоже могутъ явиться свои опредѣленные вкусы и пристрастія, потому что вѣдь не съ неба же сваливаются и эти критики, потому что вѣдь и они

тоже порождаются исторіей. Возьмемъ опять того же Гизо. Онъ былъ научнымъ критикомъ, поскольку онъ умѣлъ связать исторію литературы съ исторіей классовъ въ новѣйшемъ обществѣ. Указывая на такую связь, онъ провозглашалъ вполне научную *объективную* истину. Но эта связь стала замѣтна для него единственно потому, что исторія поставила его классъ въ извѣстное отрицательное отношеніе къ старому порядку. Не будь этого отрицательнаго отношенія, историческія послѣдствія котораго вообще неисчислимы, не была бы открыта и *объективная* истина, очень важная для исторіи литературы. Но именно потому, что самое открытіе этой истины было плодомъ исторіи и происходившихъ въ ней столкновений реальныхъ общественныхъ силъ, оно должно было сопровождаться опредѣленнымъ субъективнымъ настроеніемъ, которое, въ свою очередь, должно было найти извѣстное литературное выраженіе. И въ самомъ дѣлѣ, Гизо говоритъ не только о связи литературныхъ вкусовъ съ общественными порядками. Онъ осуждаетъ нѣкоторые изъ этихъ порядковъ; онъ доказываетъ, что художникъ *не долженъ* подчиняться капризамъ высшихъ классовъ; онъ совѣтуетъ поэту не служить своей лирой никому, кромѣ «народа».

Научная критика настоящаго времени имѣетъ полное право походить въ этомъ отношеніи на критику Гизо. Разница только въ томъ, что дальнѣйшее историческое развитіе современнаго общества точнѣе опредѣлило намъ, изъ какихъ противоположныхъ элементовъ состоялъ тотъ «народъ», во имя котораго Гизо осуждалъ старый порядокъ, и яснѣе показало намъ, какой именно изъ оныхъ элементовъ имѣетъ дѣйствительно прогрессивное историческое значеніе.

Бѣлинскій и разумная дѣйствительность.

Lucifer. Was not thy quest for knowledge?

Cain. Yes: as being the rood to happiness.

Byron. «Cain».

«Мы тогда въ философи искали всего на свѣтъ, кромѣ чистаго мышленія».

И. С. Тургеневъ.

I.

«Коренной вопросъ о вліяніи Гегеля на міросозерцаніе Бѣлинскаго поставленъ большинствомъ русскихъ критиковъ, но никѣмъ не разобранъ съ надежащей обстоятельностью посредствомъ сличенія извѣстныхъ взглядовъ Бѣлинскаго съ ихъ первоисточникомъ,—говорить г. Волинскій;—никто не разсмотрѣлъ тоже съ должнымъ вниманіемъ его эстетическихъ идей въ ихъ собственномъ оригинальномъ содержаніи и не подвергъ ихъ безпристрастному суду на основаніи опредѣленнаго теоретическаго критерія»¹⁾.

Все это нисколько не удивительно въ виду того, что до появленія г. Волинскаго у насъ не было ни «настоящей» философіи, ни «настоящей» критики. Если мы и знали что-нибудь, то знали безтолково и безпорядочно. Зато теперь, благодаря г. Волинскому, мы скоро упорядочимъ и обогатимъ бѣдный запасъ нашихъ знаній. Г. Волинскій очень надежный руководитель. Посмотрите, напримѣръ, какъ удачно рѣшаетъ онъ «коренной вопросъ о вліяніи Гегеля на міросозерцаніе Бѣлинскаго».

«Вырастая и развиваясь, мысль Бѣлинскаго, отчасти подъ вліяніемъ кружка Станкевича, отчасти самостоятельно перерабатывая впечатлѣнія, полученныя отъ статей Надеждина, быстро достигла своего высшаго подъема. Періодъ Шеллинга окончился для Бѣлинскаго уже въ 1837 г., и философія Гегеля, какъ она доходила до него въ бесѣдахъ съ друзьями и черезъ посредство журнальныхъ статей и переводовъ, заняла центральное мѣсто въ его литературныхъ и умственныхъ занятіяхъ. И вотъ тутъ-то ярче всего выступаетъ неумѣнье Бѣлинскаго дѣлать самостоятельные логи-

¹⁾ А. Волинскій, „Русскіе критики“, стр. 38.

ческие выводы примѣнительно къ вопросамъ политическимъ, гражданскимъ изъ сложныхъ философскихъ теоремъ. Систематическое мышленіе не давалось Бѣлинскому. Его поразило ученіе Гегеля, но у него не хватило силъ на то, чтобы продумать это ученіе во всѣхъ частяхъ и выводахъ. Гегель очаровалъ его воображеніе, но не далъ толчка его умственному творчеству. Надо было вооружиться терпѣніемъ для полнаго разбора основныхъ положеній идеализма. Надо было на время приостановить полетъ фантазіи и чувствъ, чтобы впоследствии дать имъ новыя крылья. Но Бѣлинскій не умѣлъ спокойно допытываться истины—и все его гегелианство, какъ и увлеченіе Шеллингомъ въ изложеніи Надеждина, должно было въ концѣ концовъ выродиться въ мышленіе нестройное, полное логическихъ ошибокъ и странныхъ мечтаній въ примирительно-консервативномъ направленіи¹⁾.

Такимъ образомъ, г. Волинскаго очень удивляетъ временное примиреніе Бѣлинскаго съ дѣйствительностью. Онъ можетъ объяснить его только тѣмъ, что Бѣлинскій плохо понялъ Гегеля. Сказать по правдѣ, такое объясненіе не ново. Его можно найти и въ «Быломъ и думамъ» Герцена, и въ воспоминаніяхъ И. С. Тургенева, и даже въ одномъ письмѣ Н. Станкевича къ Невѣрову, написанномъ почти тотчасъ по появленіи знаменитыхъ статей о Бородинѣ и о Менцелѣ. Г. Волинскому принадлежать собственно только ехидныя замѣчанія по поводу невѣжества Бѣлинскаго и тонкіе намеки на неоспоримое и несравненное умственное превосходство его, «Промисея нашихъ дней», г. Волинскаго.

На первый взглядъ объясненіе, воспроизводимое г. Волинскимъ,—оно имѣетъ нѣсколько вариантовъ,—кажется совершенно удовлетворительнымъ. Гегель провозгласилъ: *Was wirklich ist, das ist vernünftig*; а Бѣлинскій на этомъ основаніи посмѣивалъ объявить разумной, а потому священной и неприкосновенной всю тогдашнюю, очень некрасивую русскую дѣйствительность и сталъ горячо нападать на всѣхъ недовольныхъ ею. Статьи, въ которыхъ онъ высказалъ эти примирительные взгляды, были «гадкими» статьями, какъ выразился тогда же умѣренно и аккуратно либеральный Грановскій. Но Гегель былъ не виноватъ въ нихъ: у него ученіе о разумности всего дѣйствительнаго имѣетъ свой особый смыслъ, непонятый Бѣлинскимъ, который не зналъ нѣмецкаго языка и не имѣлъ способности къ «чистому мышленію». Впоследствии онъ, особенно подъ влияніемъ переѣзда въ Петербургъ, увидѣлъ, какъ жестоко онъ ошибался; позналъ настоящія свойства нашей дѣйствительности и проклялъ свои роковыя заблужденія. Что можетъ быть проще этого? Жаль только, что это простое объясненіе ровно ничего не объясняетъ.

Не вдаваясь въ разсмотрѣніе всѣхъ его вариантовъ, замѣтимъ, что

¹⁾ Тамъ же, стр. 90.

наши нынѣшніе «передовые» patriae patres (почтенные соціологи тожъ) смотрять на статьи о Бородинѣ и о Менцелѣ такими же глазами, какими библейскій отецъ долженъ былъ смотрѣть на «ошибки молодости» своего блуднаго сына: великодушно простивъ гениальному критику его «метафизическія» заблужденія, «передовые» неохотно возвращаются къ нимъ, по пословицѣ: «кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ». Но это не мѣшаетъ имъ кстати и некстати намекать на то, что они, «передовые», чуть ли не въ пеленкахъ познавшіе всю философскую и соціологическую истину, прекрасно понимаютъ всю глубину этихъ заблужденій и весь ужасъ того «паденія», къ которому привела Бѣлинскаго его неумѣстная и неблаго-разумная, — къ счастью, только временная, — страсть къ «метафизикѣ». Иногда объ этомъ паденіи напоминаютъ также молодымъ писателямъ, непочтительнымъ Коронатамъ литературы, осмѣливающимся усомниться въ правильности нашего «передового» катехизиса и обращающимся къ иностраннымъ источникамъ съ цѣлью лучшаго уясненія себѣ вопросовъ, волнующихъ современное цивилизованное человѣчество. Этими молодымъ писателямъ говорятъ: посмотрите, вотъ примѣръ для васъ...

И бывають случаи, когда молодые писатели утрушаются этого примѣра и изъ непочтительныхъ Коронатовъ обращаются въ почтительныхъ и насмѣшливо кланяются иностраннымъ «философскимъ колпакамъ» и благоразумно «прогрессируютъ» согласно нашимъ доморощеннымъ «формуламъ прогресса». Такимъ образомъ, примѣръ Бѣлинскаго служитъ для упроченія авторитета нашихъ «почтенныхъ соціологовъ».

По словамъ одного изъ этихъ соціологовъ, именно г. Михайловскаго, Бѣлинскій всю жизнь оставался только великомученикомъ правды. У него былъ замѣчательный даръ художественнаго критика. «Пройдетъ много лѣтъ, смѣнится много критиковъ и даже критическихъ пріемовъ, но нѣкоторые эстетическіе приговоры Бѣлинскаго останутся во всей силѣ. Но зато только въ этой области Бѣлинскій и находилъ для себя почти непрерывный рядъ наслажденій. Какъ только эстетическое явленіе осложнялось философскими и нравственно-политическими началами, такъ чутье правды болѣе или менѣе измѣняло ему, между тѣмъ какъ жажда оставалась все та же, и это-то и дѣлало изъ него того великомученика правды, какимъ онъ выступаетъ въ своей перепискѣ»¹⁾.

Если чутье правды вообще измѣняло Бѣлинскому всякій разъ, когда эстетическое явленіе осложнялось философскими и нравственно-политическими началами, то само собою понятно, что періодъ увлеченія гегелевской философіей вполне подходитъ подъ это общее правило. Весь этотъ періодъ, какъ видно, не вызываетъ въ г. Михайловскомъ ничего

¹⁾ См. статью „Прудонъ и Бѣлинскій“, которую г. Павленковъ украсилъ свое изданіе сочиненій Бѣлинскаго.

кромѣ жалостливаго участія къ «великомученику правды», да еще, можетъ быть, чувства негодованія противъ «метафизики». Жалостливое участіе идетъ у него рядомъ съ большимъ уваженіемъ. Но уваженіе относится *только* къ правдивости Бѣлинскаго, а что касается философскихъ и «нравственно-политическихъ» идей, тогда имъ высказанныхъ, то г. Михайловскій не видитъ въ нихъ ничего кромѣ «взора».

Пу существу этотъ взглядъ на временное примиреніе Бѣлинскаго съ дѣйствительностью одинаковъ съ приведеннымъ нами выше взглядомъ г. Волюнскаго. Разница лишь въ томъ, что по мнѣнію г. Михайловскаго примиреніе «навѣяно было Гегелемъ», а по мнѣнію г. Волюнскаго, заимствованному имъ у Станкевича, Герцена, Грановскаго, Тургенева и другихъ, Гегель былъ въ этомъ примиреніи совершенно не при чемъ. Но оба они—и г. Волюнскій и г. Михайловскій—твердо убѣждены въ томъ, что примирительные взгляды Бѣлинскаго представляютъ собою одну сплошную ошибку.

Какъ ни авторитетно мнѣніе этихъ двухъ мужей, изъ которыхъ одинъ столько же силенъ въ социологіи, сколько другой въ философіи,—мы позволимъ себѣ не согласиться съ ними. Мы думаемъ, что именно въ теченіе примирительнаго періода своего развитія, именно въ области «нравственно-политической», Бѣлинскій высказалъ много мыслей, не только вполне достойныхъ мыслящаго существа (какъ выражается гдѣ-то Байронъ), но до сихъ поръ заслуживающихъ полнаго вниманія со стороны всѣхъ тѣхъ, которые хотятъ найти правильную точку зрѣнія для оцѣнки окружающей насъ дѣйствительности. Чтобы обосновать этотъ теоретическій взглядъ, намъ нужно начать нѣсколько издалика.

II.

Въ 1764 г. Вольтеръ, въ письмѣ къ маркизу Шовелану, предсказывалъ предстоящее крушеніе стараго общественнаго порядка во Франціи. «Ce sera un beau tapage,—прибавлялъ онъ,—les jeunes gens sont heureux: ils verront de belles choses». Предсказаніе Вольтера исполнилось въ томъ смыслѣ, что «tapage» дѣйствительно вышелъ прекрасный; но можно съ увѣренностью сказать, что онъ не понравился многимъ изъ тѣхъ дожившихъ до него людей, которые принадлежали къ одному направленію съ фернѣйскимъ патріархомъ. Патріархъ не жаловалъ «черни», а она-то, главнымъ образомъ, и произвела tapage конца прошлаго вѣка. Правда, въ теченіе нѣкотораго времени поведеніе черни вполне соответствовало видамъ «порядочныхъ людей», т. е. просвѣщенной и либеральной буржуазіи. Но мало-по-малу чернь такъ расходилась, стала такъ непочтительна, дерзка и задорна, что «порядочные люди» пришли въ отчаяніе и, почувствовавъ себя побѣжденными жалкой и непросвѣщенной чернью, искренно усомнились въ силѣ того самаго разума, во имя котораго дѣй-

ствовали Вольтеръ и энциклопедисты и который, казалось бы, долженъ былъ поставить во главѣ событій именно своихъ носителей и представителей, т. е. тѣхъ же просвѣщенныхъ буржуа. Начиная съ 1793 года, вѣра въ силу разума значительно ослабляется у всѣхъ тѣхъ, кто чувствуетъ себя обитымъ съ позиціи и побѣжденнымъ неожиданнымъ и страшнымъ торжествомъ «черни». Послѣдующія событія съ ихъ безконечными войнами и пореворотами, въ которыхъ военная сила не разъ торжествовала надъ тѣмъ, что всѣ просвѣщенные люди считали самымъ безпорнымъ правомъ, могли только увеличить разъ начавшееся разочарованіе: они точно насмѣхались надъ требованіями разума. И вотъ мы видимъ, что къ концу XVIII вѣка вѣра въ разумъ совсѣмъ падаетъ, и хотя во время консульства и директоріи такъ называемые идеологи по старой памяти превозносятъ разумъ и истину (*la raison et la vérité*), но у нихъ уже совсѣмъ нѣтъ прежняго одушевленія, да и вліяніе ихъ незначительное; ихъ не слушаетъ публика, которая, какъ Понцій Пилать, со скептической улыбкой спрашиваетъ теперь: «а что есть истина?» Г-жа Сталь, хорошо знавшая французскую интеллигенцію того времени, говоритъ, что большинство (*la plupart des hommes*), испуганное страшнымъ ходомъ событій, потеряло всякое стремленіе къ самосовершенствованію и, «пораженное могуществомъ случайности, перестало вѣрить въ силу человеческихъ способностей» ¹⁾.

Это разочарованіе въ силѣ разума, далеко не ограничившееся предѣлами Франціи, нашло своего выразителя, между прочимъ, въ Байронѣ. Манфредъ называетъ философію:

...Of all our vanities the motliest,
The merest worth that ever fool'd the ear
From out the schoolman's jargon.

Современныя ему общественно-политическія событія кажутся Байрону бессмысленной и жестокой забавой, враждебной людямъ *«Немезиды»*, т. е. опять-таки той же *случайности*. И въ то же время его гордость возмущается противъ господства этой слѣпой силы. Паеосъ Манфреда, какъ выразился бы Бѣлинскій, составляетъ именно возстаніе гордаго человеческого духа противъ слѣпой «судьбы», стремленіе его покорить себѣ темныя силы природы и исторіи. Манфредъ отчасти разрѣшаетъ

¹⁾ De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales. Introduction, p. XVIII. На стр. IV того же введенія она выражается еще сильнѣе: „Les contemporains d'une révolution,—говоритъ она,—perdent souvent tout intérêt à la recherche de la vérité. Tant d'événements décidés par la force, tant de crimes absous par le succès, tant de vertus flétries par le blâme, tant d'infortune insultée par le pouvoir, tant de sentiments généraux devenus l'objets de la moquerie, tant de vils calculs philosophiquement commentés, tout lasse de l'espérance les hommes les plus fidèles au culte de la raison“.

эту задачу посредством волшебства. Но само собою понятно, что такимъ образомъ она могла быть разрѣшена только въ области фантазіи.

Разумъ третьяго сословія, т.-е., точнѣе говоря, разумъ буржуазіи, стремившейся къ своему освобожденію отъ гнета стараго порядка, не выдержалъ выпавшаго ему на долю строгаго историческаго испытанія; онъ оказался несостоятельнымъ; въ немъ разочаровалась сама буржуазія. Но если отдѣльныя, хотя бы и очень многочисленныя, личности могли доволствоваться такимъ разочарованіемъ и даже цеголять имъ, то для цѣлаго класса, для всего *si-devant* третьяго сословія это было совершенно невозможно въ его тогдашнемъ историческомъ положеніи. Политическія событія своей быстротой, крупной и капризной смѣной привели общественныхъ дѣятелей конца XVIII и начала XIX вѣка къ сомнѣнію въ силѣ разума. Эти же событія, въ своемъ дальнѣйшемъ движеніи, должны были дать новый толчокъ развитію общественной мысли, вызвать новыя попытки мыслящихъ людей найти скрытыя пружины общественныхъ явленій.

Во Франціи во время реставраціи многовѣковая тяжба буржуазіи съ аристократіей (свѣтской и духовной) возобновилась съ новою силой и при новыхъ общественно-политическихъ условіяхъ. Въ этой борьбѣ каждой изъ сторонъ необходима была хоть нѣкоторая способность предвидѣнія событій. И хотя огромное большинство борцовъ, какъ водится, уповало въ этомъ отношеніи лишь на свой «здравый смыслъ» да на «житейскій опытъ», но среди буржуазіи, тогда еще полной свѣжихъ силъ, уже въ самомъ началѣ двадцатыхъ годовъ появляется немало даровитыхъ людей, стремящихся посредствомъ *научнаго* предвидѣнія восторжествовать надъ силой слѣпой случайности. Это стремленіе вызываетъ толки о необходимости созданія общественной науки; оно же выдвигаетъ многихъ замѣчательныхъ дѣятелей въ области исторической науки. Но научное изслѣдованіе явленій есть именно дѣло разума. Такимъ образомъ, ходъ общественнаго развитія воскресилъ вѣру въ разумъ, хотя и поставилъ передъ нимъ новыя задачи, неизвѣстныя ила, по крайней мѣрѣ, очень мало извѣстныя «философамъ» XVIII вѣка.

Разумъ того вѣка былъ разумомъ «просвѣтителей». Историческая задача просвѣтителей заключалась въ оцѣнкѣ данныхъ, исторически унаслѣдованныхъ общественныхъ отношеній, учреждений и понятій съ точки зрѣнія новыхъ идей, порожденныхъ новыми общественными нуждами и отношеніями. Тогда надо было какъ можно скорѣе и безошибочнѣе отдѣлать овецъ отъ козлищъ, «истину» отъ «заблужденія». При этомъ совершенно неважно было знать, откуда явилось, какъ возникло и развивалось въ исторіи данное «заблужденіе»; важно было доказать, что оно есть не болѣе какъ «заблужденіе».

А заблужденіемъ считалось все, что противорѣчило новымъ идеямъ,

точно также какъ истинной—вѣчной, неизмѣнной истинной—признавалось все то, что соотвѣтствовало имъ.

Цивилизованное человѣчество пережило уже не одну просвѣтительную эпоху. Каждая изъ нихъ имѣетъ, конечно, свои частныя особенности, но всѣмъ имъ свойственна эта отличительная родовая черта: усиленная борьба со старыми понятіями во имя новыхъ идей, считающихся вѣчными истинами, независимыми отъ какихъ бы то ни было «случайныхъ» историческихъ условій. *Разумъ просвѣтителя* есть не болѣе, какъ *разсудокъ новатора*, закрывающаго глаза на историческій ходъ развитія человѣчества и объявляющаго свою природу человѣческой природой вообще, а свою философію—единой истинной философіей для всѣхъ временъ и народовъ.

Вотъ этотъ-то отвлеченный разсудокъ и потерпѣлъ крушеніе, благодаря таргеу конца XVIII вѣка. Тарге показали, что человѣчество, въ своемъ историческомъ движеніи, повинуется непонятному для него самого, но, тѣмъ не менѣе, неотразимому дѣйствию какихъ-то скрытыхъ силъ, которыя безпошадно разбиваютъ силу «разума» (т.-е. отвлеченнаго разсудка) всякій разъ, когда она приходитъ въ противорѣчіе съ этими силами.

Изученіе этихъ скрытыхъ силъ,—представлявшихся сначала въ видѣ силъ слѣпой «случайности»,—стало теперь болѣе или менѣе сознаннымъ цѣлью всѣхъ ученыхъ и мыслителей, занимавшихся такъ называемыми нравственными и политическими науками ¹⁾. Восемнадцатый вѣкъ пренебрегалъ исторіей. Теперь всѣ набрасываются на исторію. Но изучить какое-нибудь явленіе исторически значитъ изучать его въ *развитіи*. *Точка зрѣнія развитія* мало-по-малу становится господствующей въ философіи и въ общественной наукѣ девятнадцатаго вѣка.

Извѣстно, что точка зрѣнія развитія принесла особенно богатые плоды въ нѣмецкой философіи, т. е. въ философіи страны, которая *только въ теоріи* (въ лицѣ своихъ мыслителей) была современницей передовыхъ европейскихъ государствъ и потому могла, не развлекаясь практической борьбою, спокойно усваивать себѣ всѣ пріобрѣтенія научной мысли и внимательно изслѣдовать причины и послѣдствія совершавшихся на «Западѣ» (in den westlichen Ländern, какъ нерѣдко выражались тогда нѣмцы) общественныхъ движеній. Событія, происходившія во Франціи въ концѣ XVIII вѣка, пользовались сильнымъ сочувствіемъ со стороны передовыхъ людей Германіи вплоть до девятидесяти третьяго года, перепугавшаго огромнѣйшее большинство этихъ людей и заставившаго ихъ ус-

¹⁾ Яснѣ всего это выражено у Сэнъ-Симона: «La science de l'homme n'a été jusqu'à présent qu'une science conjecturale,—говоритъ онъ.—L'objet que je me suis proposé dans ce mémoire à été de lui imprimer le cachet de science d'observation» (Mémoire sur la science de l'homme).

ваться въ силу разума, какъ это случилось и съ просвѣщенной французской буржуазіей. Но нѣмецкая философія, расцвѣтавшая тогда пышнымъ цвѣтомъ, скоро увидѣла, какимъ путемъ можно придти къ побѣдѣ надъ слѣпой силой случайности. «*Въ свободу должна быть необходимость*»,—писалъ Шеллингъ въ своей «System des transcendentalen Idealismus», вышедшей какъ разъ въ началѣ XIX вѣка (въ 1800 году). Это значитъ, что свобода можетъ явиться лишь какъ результатъ извѣстнаго *необходимаго*, т. е. *законсообразнаго* историческаго развитія. А отсюда слѣдуетъ, что изученіе хода этого законсообразнаго развитія должно стать первѣйшей обязанностью всѣхъ истинныхъ друзей свободы. Деятнадцатый вѣкъ богатъ всякаго рода великими открытіями. Однимъ изъ самыхъ великихъ является этотъ взглядъ на *свободу*, какъ на продуктъ *необходимости*.

Начатое Шеллингомъ докончилъ Гегель, въ системѣ котораго идеалистическая нѣмецкая философія нашла свое блестящее завершеніе. Для Гегеля всемірная исторія была прогрессомъ въ сознаніи свободы, но такимъ прогрессомъ, который мы *должны понять въ его необходимости*. Людямъ, державшимся этого взгляда, «исторія человѣчества перестала казаться нелѣпой путаницей бессмысленныхъ насилій, которыя всѣ одинаково осуждаются передъ судейскимъ кресломъ теперь лишь созрѣвшаго философскаго разума и о которыхъ лучше всего забыть какъ можно скорѣе. Исторія людей явилась процессомъ развитія человѣчества, и задача научной мысли свелась къ тому, чтобъ прослѣдить послѣдовательныя ступени этого процесса среди всѣхъ его будто бы ложныхъ путей и доказать внутреннюю его законсообразность среди всѣхъ кажущихся случайностей» (Энгельсъ).

Открыть законы, подъ влияніемъ которыхъ совершается историческое развитіе человѣчества, значитъ обезпечить себѣ возможность сознательнаго воздѣйствія на процессъ этого развитія и изъ безсильной игрушки «случайности» стать ея господиномъ. Такимъ образомъ, нѣмецкій идеализмъ открывалъ передъ мыслящими людьми чрезвычайно широкія и въ высшей степени отрадныя перспективы: могущество случайности должно было смѣниться торжествомъ разума; необходимость должна была стать прочѣйшей основой свободы. Нетрудно представить себѣ, съ какимъ восторгомъ эти отрадныя перспективы были привѣтствуемы всѣми тѣми, которыхъ тяготило бесплодное разочарованіе и которые въ глубинѣ измученной души сохраняли и интересъ къ общественной жизни и «стремленіе къ самоусовершенствованію». Философія Гегеля воскрешала въ нихъ вѣру въ силу человѣческихъ способностей, возрождала ихъ къ новой умственной дѣятельности, и въ порывѣ овѣжаго увлеченія имъ казалось, что она скоро дастъ отвѣты на всѣ великіе вопросы знанія и жизни, разрешитъ всѣ противорѣчія и начнетъ новую эпоху сознательной жизни че-

ловѣчества. Ею безраздѣльно увлекалось все, что было овѣжаго и мыслящаго въ тогдашней Германіи, да, какъ извѣстно, и не въ одной только Германіи.

III.

«Послѣдняя философія есть результатъ всѣхъ предшествовавшихъ: ничто не пропало, всѣ принципы были сохранены,—говорилъ Гегель, заканчивая свои чтенія объ исторіи философіи...—Много времени должно было пройти, прежде чѣмъ могла возникнуть современная намъ философія... То, что мы быстро обозрѣваемъ въ воспоминаніи, медленнѣе совершалось въ дѣйствительности. Тѣмъ не менѣе, всемірный духъ никогда не стоитъ на одномъ мѣстѣ. Онъ постоянно идетъ впередъ, потому что въ этомъ движеніи впередъ и состоитъ его природа. Иногда кажется, что онъ останавливается, что онъ утрачиваетъ свое вѣчное стремленіе къ самопознанію. Но это только такъ кажется. На самомъ дѣлѣ въ немъ совершается тогда глубокая внутренняя работа, незамѣтная до тѣхъ поръ, пока не обнаружатся достигнутые ею результаты, пока не разлетится въ прахъ кора устарѣлыхъ взглядовъ, и самъ онъ, вновь помолодѣвшій, не двинется впередъ семимильными шагами. Гамлетъ восклицаетъ, обращаясь къ духу своего отца: «кротъ, ты хорошо роешь!» То же можно сказать и о всемірномъ духѣ: «онъ хорошо роетъ!»

Авторъ «Былого и думъ» назвалъ философію Гегеля алгеброй прогресса. Справедливость этого отзыва достаточно подтверждается только что приведенными взглядами великаго мыслителя. Идеалистическая философія, восторженно заявлявшая, что природа всемірнаго духа состоитъ въ вѣчномъ движеніи впередъ, не могла быть философіей застоя. Но временами Гегель выражался еще рѣшительнѣе. Для примѣра укажемъ хоть на то мѣсто въ тѣхъ же чтеніяхъ по исторіи философіи, гдѣ онъ говоритъ о судѣ надъ Сократомъ.

По мнѣнію Гегеля, распространеніе взглядовъ Сократа грозило полнымъ крушеніемъ старому порядку аѣнскон жизни. Поэтому нельзя винить аѣяннз, если они, почуявъ въ преданномъ ихъ суду мыслителѣ смертельнаго врага дорогаго имъ общественнаго порядка, осудили его на смерть. Этого мало: надо прямо сказать, что они *обязаны были* защищать этотъ общественный порядокъ. Но надо также признать и то, что Сократъ былъ правъ съ своей стороны. Онъ явился сознательнымъ представителемъ *новаго, высшаго* принципа; онъ былъ героемъ, нѣющимъ за себя абсолютное право духа. «Таково во всемірной исторіи положеніе героевъ, которые, создавая своею дѣятельностью новый міръ, приходятъ въ противорѣчіе со старымъ порядкомъ и разрушаютъ его: они являются нарушителями существующихъ законовъ. Поэтому они гибнутъ, но гибнутъ какъ отдѣльные лица; ихъ наказаніе не уничтожаетъ

представляемого ими принципа... принцип торжествуетъ въ послѣдствіи, хотя бы и въ другой формѣ».

Историческое движеніе нерѣдко представляетъ намъ зрѣлища враждебнаго столкновенія двухъ правовыхъ принциповъ. Одно право есть божественное право существующаго общественнаго порядка, установившихся нравственныхъ отношеній; другое есть столь же божественное право самосознанія, науки, субъективной свободы. Ихъ столкновеніе есть трагедія въ полномъ смыслѣ этого слова,—трагедія, въ которой есть погибающіе, но нѣтъ виноватыхъ: каждая сторона права по-своему.

Такъ говорилъ Гегель. Читатель видитъ, что его философія по существу своему въ самомъ дѣлѣ была настоящей алгеброй прогресса, хотя это не всегда сознавали современные ему прогрессисты. Нѣкоторыхъ смущала его, непонятная для профановъ, терминологія. Знаменитое положеніе: *что дѣйствительно, то разумно, что разумно, то дѣйствительно*, было принято иными за философское выраженіе самаго упрямаго консерватизма. Вообще говоря, это была ошибка. По логикѣ Гегеля, далеко не все существующее было дѣйствительнымъ. Дѣйствительное выше просто существующаго («die Wirklichkeit steht höher als die Existenz»). Случайное существованіе есть дѣйствительное существованіе. Дѣйствительное *необходимо*: «дѣйствительность развертывается, какъ необходимость». Но мы уже видѣли, что, по Гегелю, необходимо не только то, что уже существуетъ: всемірный духъ своей непрерывной кротовой работой подрываетъ существующее, превращаетъ его простую, лишнюю дѣйствительнаго содержанія форму и дѣлаетъ необходимымъ появленіе новаго, роковымъ образомъ сталкивающагося со старымъ.

Природа всемірнаго духа состоитъ въ вѣчномъ стремленіи впередъ. Поэтому и въ общественной жизни необходимымъ и разумнымъ оказывается въ послѣднемъ счетѣ лишь непрерывное поступательное движеніе, лишь постоянное, болѣе или менѣе быстрое крушеніе всего стараго, отживающаго. Этотъ выводъ неизбѣжно подokaзывается всѣмъ характеромъ и смысломъ гегелевой философіи, какъ *діалектической* системой.

Но философія Гегеля была *не только діалектической* системой, она объявляла себя *также системой абсолютной истины*. Но если абсолютная истина *уже найдена*, то цѣль всемірнаго духа — самопознаніе—*уже достигнута*, и его движеніе впередъ лишается всякаго смысла. Такимъ образомъ, претензія на обладаніе абсолютной истиной должна была привести Гегеля въ противорѣчіе съ его собственной діалектикой и поставить его во враждебное отношеніе къ дальнѣйшимъ успѣхамъ философіи. Но это еще не все. Она должна была сдѣлать изъ него консерватора и по отношенію къ общественной

жизни. По его учению, всякая философия есть идеальное выражение своего времени (*ihre Zeit in Gedanken erfasst*). Если онъ нашелъ абсолютную истину, то значить онъ жилъ въ такое время, которому соответствуетъ «абсолютный» общественный порядокъ, т. е. такой порядокъ, который является объективнымъ выраженіемъ найденной въ теоріи абсолютной истины. А такъ какъ абсолютная истина не можетъ устарѣть и, такимъ образомъ, превратиться въ заблужденіе, то ясно, что всякое стремленіе измѣнить выражающій ее порядокъ является грубымъ оскорбленіемъ святыни, дерзкимъ возстаніемъ противъ всемірнаго духа. Конечно, и въ этомъ «абсолютномъ» порядкѣ могутъ быть сдѣланы кое-какія частныя улучшенія, устраняющія частныя несовершенства, завѣщанныя прошлымъ. Но въ общемъ этотъ порядокъ долженъ остаться такимъ же вѣчнымъ и непоколебимымъ, какъ вѣчна и непоколебима объективно выражаемая имъ истина.

Глубокій мыслитель, гениальнѣйшая голова первой половины девятнадцатаго вѣка, Гегель былъ все-таки сыномъ своего времени и своей страны. Если общественное положеніе Германіи было удобно для спокойнаго теоретическаго изученія хода всемірныхъ событій, то оно было очень неудобно для *практическаго* примѣненія добытыхъ теоріей результатовъ. Въ практическомъ отношеніи смѣлые нѣмецкіе теоретики нерѣдко оставались самыми мирными филистерами. Немало филистерства было и въ такихъ великихъ людяхъ, какъ Гёте и Гегель. Въ молодости Гегель очень сочувствовалъ великой французской революціи, но съ лѣтами любовь къ свободѣ у него все ослабѣвала, а стремленіе жить въ мирѣ съ существующимъ порядкомъ вещей усиливалось, такъ что июльская революція 1830 года произвела на него тяжелое впечатлѣніе. Однѣ изъ «лѣвыхъ» гегельянцевъ, извѣстный Арнольдъ Руге, упрекали впоследствии философію своего учителя въ томъ, что она всегда ограничивалась *созерцаніемъ* явленій, нимало не стремясь перейти къ *дѣятелю*, и что, провозглашая свободу великой цѣлью историческаго развитія, она на практикѣ мирно уживалась съ самымъ несомнѣннымъ рабствомъ. Надо признать, что это справедливыя упреки, что въ философіи Гегеля, дѣйствительно, были указанные недостатки. Эти недостатки, развившіеся, между прочимъ, въ претензіи на обладаніе абсолютной истиной, замѣтны и въ тѣхъ самыхъ чтеніяхъ по исторіи философіи, въ которыхъ содержатся вышеизложенныя мысли, полныя мужественнаго и бодраго стремленія впередъ. Такъ, Гегель старается доказать, что въ новѣйшемъ обществѣ—въ противоположность античному—философская дѣятельность можетъ и должна ограничиться «внутреннимъ міромъ», міромъ идей, такъ какъ «внѣшній міръ» (общественныя отношенія) пришелъ теперь въ извѣстный разумный порядокъ, «успокоился» и «примирился» самъ съ собою» (*ist so mit sich versöhnt worden*). Но всего рѣзче консерва-

тивная сторона гегелевыхъ взглядовъ сказалась въ его «Philosophie des Rechts. Всякій, кто внимательно прочтетъ это сочиненіе, будетъ пораженъ гениальною глубиной многихъ изъ высказанныхъ въ немъ мыслей. И въ то же время всякій замѣтитъ, что здѣсь Гегель, болѣе чѣмъ гдѣ бы то ни было, старается примирить свою философію съ прусскимъ консерватизмомъ. Особенно поучительно въ этомъ отношеніи знаменитое предисловіе, въ которомъ ученіе о разумной дѣйствительности получаетъ совсѣмъ не тотъ смыслъ, какой оно имѣло въ «Логикѣ».

То, что существуетъ, существуетъ въ силу необходимости. Понять необходимость даннаго явленія значить открыть его разумность. Процессъ научнаго познанія состоитъ въ томъ, что духъ, стремящійся къ самопознанію, узнаетъ въ существующемъ самого себя, свой собственный разумъ. Философія должна понять то, что есть. Въ частности, наука права должна понять разумность государства. Гегель очень далеко отъ всякаго намѣренія «*построить государство, какъ оно должно было бы быть*». Подобныя построенія недѣльны: міра, «какъ онъ долженъ былъ бы быть», не существуетъ или, вѣрнѣе, существуетъ только въ данномъ личномъ мнѣніи, а личное мнѣніе—«мягкій элементъ», легко уступающій личному произволу и часто видоизмѣняющійся подъ вліяніемъ каприза или тщеславія. Кто понялъ дѣйствительность, кто открылъ скрытый въ ней разумъ, тотъ не возстаетъ противъ нея, а мирится съ нею ¹⁾ и радуется на нее. Онъ не отказывается отъ своей субъективной свободы; но она проявляется *не въ разладѣ, а въ согласіи* съ существующимъ. Вообще разладъ съ существующимъ, разногласіе между познающимъ разумомъ и разумомъ, воплотившимся въ дѣйствительности, вызывается лишь неполнымъ пониманіемъ этой дѣйствительности, промахами абстрактной мысли. Человѣкъ есть мыслящее существо; въ мысли заключается его свобода, его право, основа всей его нравственности. Но есть люди, въ глазахъ которыхъ свободной является только такая мысль, которая расходится со всѣмъ общепризнаннымъ. У такихъ людей само высокое и божественное право мысли превращается въ безправіе. Эти люди все готовы принести въ жертву произволу своего личнаго усмотрѣнія. Въ законѣ, подчиняющемъ человѣка известной обязанности, они видятъ лишь мертвую, холодную букву, лишь цепь, наложенную на субъективное убѣжденіе. Она гордятся своимъ отрицательнымъ отношеніемъ къ дѣйствительности, между тѣмъ какъ оно свидѣтельствуетъ только о слабостяхъ мысли и объ ихъ полной неспособности пожертвовать капризомъ личнаго усмотрѣнія ради общихъ интересовъ. Давно уже сказано, что если полужананіе ослабляетъ вѣру въ

¹⁾ Просимъ читателя замѣтить, что выраженіе—примиреніе съ дѣйствительностью (die Versöhnung mit der Wirklichkeit) употреблено самимъ Гегелемъ.

Бога, то истинное знание, напротив, укрепляет ее. То же можно сказать и объ отношеніи людей къ окружающей ихъ дѣйствительности: полузнаніе возбуждаетъ ихъ противъ нее; истинное знаніе миритъ ихъ съ нею. Такъ рассуждаетъ здѣсь Гегель ¹⁾.

Совершенно справедливо, что наука права вовсе не должна заниматься «государствомъ, какъ оно должно было бы быть»; ея задача заключается въ пониманіи того, что есть и что было, въ объясненіи историческаго развитія государственныхъ учрежденій. Гегель вполне правъ, нападаая на тѣхъ поверхностныхъ либераловъ (мы сказали бы теперь: субъективистовъ), которые, не умѣя связать «идеаловъ» съ развитіемъ окружающей дѣйствительности, навсегда остаются въ области безсильныхъ и несбыточныхъ субъективныхъ мечтаній. Но Гегель нападаетъ не только на подобный либерализмъ. Онъ возстаетъ противъ всякаго прогрессивнаго стремленія, исходящаго не изъ официальныхъ сферъ. Къ тому же здѣсь у него «то, что существуетъ», уже по одному тому, что оно существуетъ, признается необходимымъ, а потому и «разумнымъ». Возстаніе противъ существующаго объявляется возстаніемъ противъ разума. Все это подкрѣпляется доводами, которые, какъ небо отъ земли, далеки отъ вышеприведенныхъ рассужденій о судьбѣ Сократа и о божественномъ правѣ самосознанія и субъективной свободы. Изъ мыслителя, внимательно вдумывающагося въ историческое развитіе человѣчества и приходящаго къ тому выводу, что движеніе впередъ составляетъ природу всемірнаго духа, Гегель превращается въ раздражительнаго и подозрительнаго охранителя, готоваго кричать «караул!» при каждомъ новомъ усилии могучаго и вѣчнаго «крота», неумолимо подкапывающаго зданіе старыхъ понятій и учрежденій.

Изъ этого слѣдуетъ, что если ученіе Гегеля о разумности всего дѣйствительнаго многими понято было совершенно неправильно, то въ этомъ былъ виноватъ прежде всего онъ самъ, придавъ ему очень странное, *совсѣмъ не диалектическое* истолкованіе и провозгласивъ воплощеннымъ разумомъ тогдашній прусскій общественный порядокъ. Вотъ почему можетъ показаться страннымъ, что философія Гегеля не утратила своего вліянія на мыслящихъ людей того времени. Но какъ бы ни было это странно, а фактъ на-лицо: возстаніе противъ консервативныхъ выводовъ, сдѣланныхъ Гегелемъ изъ своей—въ сущности вполне прогрессивной—философіи, началось только гораздо позже; въ эпоху же появленія «Philosophie des Rechts» противъ Гегеля были только нѣсколько повер-

¹⁾ Интересно сопоставить этотъ взглядъ величайшаго изъ нѣмецкихъ идеалистовъ со взглядомъ его современника, гениальнаго француза Сэнъ-Симона: «Le philosophe... n'est pas seulement observateur, il est acteur, il est acteur du premier genre dans le monde morale, car ce sont ses opinions sur ce quelle monde doit devenir qui règlent la société humaine. (Travail sur la gravitation universelle)»

ностныхъ либераловъ, а все серьезное, молодое и энергичное шло за нимъ съ энтузіазмомъ, несмотря на его противорѣчія и даже не замѣчая ихъ. Это объясняется, конечно, неразвитостью тогдашней общественной жизни Германіи. Но въ прошломъ вѣкѣ, въ эпоху Лессинга, эта жизнь была еще менѣе развита, а между тѣмъ господствовавшія тогда философскія понятія были совсѣмъ непохожи на гегелевскія; если бы Гегель и могъ явиться въ то время, за нимъ навѣрное не пошелъ бы никто. Почему это? Потому что «довлѣтъ дневи злоба его» и потому что только девятнадцатый вѣкъ поставилъ передъ мыслящимъ человѣчествомъ ту великую задачу, на которую обѣщала дать отвѣтъ гегелева философія: *научное изученіе дѣйствительности, научное объясненіе историческаго развитія чело-вѣчества въ социальномъ, политическомъ и умственномъ отноше-ніяхъ, какъ необходимаго и потому законосообразнаго процесса*. Мы уже сказали, что только такое пониманіе исторіи могло устранить пессимистическій взглядъ на нее, какъ на царство слѣпой случайности. Поэтому на изученіе гегелевской философіи должны были съ жадностью наки-нуться молодые умы всюду, гдѣ хоть въ небольшихъ размѣрахъ совер-шалась подземная работа «всемирнаго духа», гдѣ «кротъ» подготавлилъ почву для новыхъ общественныхъ движеній. И чѣмъ серьезнѣе были въ молодыхъ головахъ запросы теоретической мысли, чѣмъ сильнѣе были въ молодыхъ сердцахъ стремленія къ личному самопожертвованію ради общихъ интересовъ, тѣмъ рѣшительнѣе должно было быть и тѣмъ рѣ-шительнѣе было ихъ увлеченіе гегелизмомъ. Начавшееся впоследствии возстаніе противъ сдѣланныхъ Гегелемъ консервативныхъ выводовъ было совершенно основательно. Но не надо забывать, что въ теоретическомъ смыслѣ оно было основательно лишь постольку, поскольку оно само опи-ралось на діалектику Гегеля, т.-е., главнымъ образомъ, на объясненіе исторіи, какъ законосообразнаго процесса, и на пониманіе свободы, какъ результата необходимости.

IV.

Теперь мы можемъ вернуться къ Бѣлинскому.

Приступая къ исторіи его умственнаго развитія, замѣтимъ прежде всего, что въ своей ранней юности онъ рѣзко возставалъ противъ нашей тогдашней дѣйствительности. Извѣстно, что трагедія, написанная имъ въ бытность его въ университетѣ и причинившая ему такъ много непріят-ностей, была пылкимъ, хотя и мало художественнымъ протестомъ про-тивъ крѣпостнаго права. Бѣлинскій цѣликомъ становится на сторону крѣпостныхъ.

«Неужели эти люди для того только рождаются на свѣтъ, чтобы слу-жить прихотямъ такихъ же людей, какъ и они сами? — восклицаетъ

одинъ изъ его героевъ.—Кто далъ это гибельное право однимъ людямъ поработать своей власти волю другихъ, подобныхъ имъ существъ, отнимать у нихъ священное оокровище—свободу? Кто позволяетъ имъ ругаться надъ правами природы и человѣчества?... Милосердый Боже, отецъ человѣковъ, отвѣтствуй мнѣ, твоя ли премудрая рука произвела на свѣтъ этихъ змѣевъ, этихъ крокодиловъ, этихъ тигровъ, питающихся костями и мясомъ своихъ ближнихъ и пьющихъ, какъ воду, ихъ кровь и слезы?»

Эта тирада, по своей пылкости, одѣлала бы честь самому Карлу Моору. И дѣйствительно, Бѣлинскій находился подъ сильнѣйшимъ влияніемъ раннихъ произведеній Шиллера: «Разбойниковъ», «Коварства и любви», «Фіеско». По его собственнымъ словамъ, эти драмы наложили на него тогда «дикую вражду съ общественнымъ порядкомъ во имя абстрактнаго идеала общества, оторваннаго отъ географическихъ и историческихъ условій развитія, построеннаго на воздухѣ». Впрочемъ, такъ вліяли на него не одни только вышеперечисленныя произведенія Шиллера. «Донъ Карлосъ,—говорилъ онъ,—бросилъ меня въ абстрактный героизмъ, въ котораго я все презиралъ и въ которомъ я очень хорошо, несмотря на свой неестественный и напряженный восторгъ, сознавалъ себя—нулемъ. «Орлеанская дѣва» ринула меня въ тотъ же абстрактный героизмъ, въ то же пустое, безличное, субстанціальное, безъ всякаго индивидуальнаго опредѣленія—общее». Мы очень просимъ читателя замѣтить это интересное свидѣтельство знаменитаго критика о самомъ себѣ. Его молодое увлеченіе «абстрактнымъ идеаломъ общества» составляетъ въ высшей степени важную страницу въ исторіи его умственнаго развитія, на которую до сихъ поръ не обратили всего того вниманія, какого она заслуживаетъ. Такъ, никто, насколько намъ извѣстно, не подчеркнул того обстоятельства, что даровитый и горячій молодой человѣкъ, будучи полонъ «абстрактнаго героизма», въ то же самое время «сознавалъ себя нулемъ». Такое сознаніе крайне мучительно. Оно необходимо должно было вызывать съ одной стороны не менѣе мучительныя сомнѣнія въ годности *абстрактнаго идеала*, а съ другой—попытки найти для своихъ общественныхъ стремленій *конкретную* почву. Мучительное сознаніе себя «нулемъ» было тогда свойственно не одному Бѣлинскому. Стремленія передовой интеллигенціи двадцатыхъ годовъ незадолго передъ тѣмъ потерпѣли жестокое крушеніе, и въ средѣ мыслящихъ людей воцарились грусть и отчаяніе ¹⁾. У насъ часто повторяли, что Надеждинъ имѣлъ сильное вліяніе на развитие взглядовъ Бѣлинскаго, по крайней мѣрѣ въ первый періодъ его развитія. Но много ли отраднаго было во взглядахъ самого Надеждина? Древняя русская жизнь казалась ему «дремучимъ лѣсомъ безличныхъ именъ,

¹⁾ См. объ этомъ Herzen, Du développement и т. д. Paris. 1851, стр. 97—98.

толкующихъ въ пустотѣ безжизненнаго хаоса»; онъ сомнѣвался даже въ томъ, что мы жили въ продолженіе тысячелѣтнаго существованія Россіи. Умственная жизнь начинается у насъ только съ Петра, а до сихъ поръ все европейское забрасывается къ намъ «рикошетами черезъ тысячи скачковъ и переломовъ и потому долетаетъ въ слабыхъ, издыхающихъ отголоскахъ».

«Наша литература была до сихъ поръ, если можно такъ выразиться, барщиною европейской; она обрабатывалась русскими руками не по-русски; истощала свѣжіе неистощимые соки юнаго русскаго духа для воспитанія чужихъ, не нашихъ»¹⁾).

Тутъ слышатся почти Чаадаевскія ноты. Въ своей знаменитой первой статьѣ, «*Литературныя мечтанія*», Бѣлинскій высказалъ, повидимому, довольно радужный взглядъ на наше будущее, если не на прошедшее и настоящее. Замѣтивъ, что намъ нужна пока не литература, которая сама явится въ свое время, а просвѣщеніе, онъ восклицаетъ:

«И это просвѣщеніе не закоснитъ, благодаря неуспыннымъ попеченіямъ мудраго правительства. Русскій народъ смысленъ и понятливъ, усерденъ и горячъ ко всему благову и прекрасному, когда рука царя-отца указываетъ ему на цѣль, когда его державный голосъ призываетъ его къ ней!..»

Одно учрежденіе сословія домашнихъ наставниковъ должно, по его словамъ, одѣлать настоящія чудеса въ смыслѣ просвѣщенія. Кромѣ того, наше дворянство увѣрилось, наконецъ, въ необходимости давать своимъ дѣтямъ прочное образованіе, а наше купеческое сословіе «быстро образуется и сближается въ этомъ отношеніи съ высшимъ». Словомъ, дѣло просвѣщенія идетъ у насъ хорошо: «въ настоящемъ времени зрѣютъ сѣмена для будущаго».

Все это написано было, конечно, совершенно искренно: въ то время, когда Бѣлинскій писалъ свою статью, ему хотѣлось вѣрить, и онъ въ пылу писательскаго увлеченія вѣрилъ, что просвѣщеніе быстро разольется по Руси. Но въ болѣе спокойныя минуты, когда остылъ жаръ увлеченія, онъ не могъ не увидѣть, что основанія, на которыя опиралась его вѣра въ быстрое развитіе просвѣщенія въ Россіи, были, по меньшей мѣрѣ, шатки. Да и могли ли успѣхи просвѣщенія—какъ бы ни были они «быстры»—удовлетворить челоуѣка, «враждовавшаго съ общественнымъ порядкомъ» во имя идеала и проникнутаго «абстрактнымъ героизмомъ»... Такому челоуѣку нужны были не такія перспективы. Словомъ, восторженный тонъ «*Литературныхъ мечтаній*» былъ плодомъ минутной вспышки и совсѣмъ не

¹⁾ Не имѣя подъ рукой статей Надеждина, мы вынуждены цитировать по книгѣ г. Пыпина: «Бѣлинскій, его жизнь и переписка», т. I, стр. 95. Излишне прибавлять, что изъ этого же сочиненія мы заимствуемъ большинство данныхъ, относящихся къ исторіи умственнаго развитія Бѣлинскаго. Мы только иначе группируемъ эти данныя.

исключалъ въ нихъ авторѣ тяжелого настроенія, какъ результата обиднаго сознанія себя нулемъ и неразрѣшеннаго противорѣчія между абстрактнымъ идеаломъ съ одной стороны и конкретной русской дѣйствительностью— съ другой.

Въ июлѣ 1836 г. Бѣлинскій поѣхалъ въ деревню Б—хъ въ тверской губерніи и тамъ, съ помощью одного изъ гостепріимныхъ хозяевъ, называемаго «диллетанта философін», или «философскаго друга», М. Б., ознакомился, — если не ошибаюсь, впервые, — съ философіею Фихте. «Я удѣпился за фихтеанскій взглядъ съ энергіею, съ фанатизмомъ», — говоритъ онъ. И это понятно. По его выраженію, въ его глазахъ всегда двоилась жизнь идеальная и жизнь дѣйствительная; Фихте убѣдилъ его въ томъ, что «идеальная-то жизнь есть именно жизнь дѣйствительная, положительная, конкретная, а такъ называемая дѣйствительная жизнь есть отрицаніе, призракъ, ничтожество, пустота». Такимъ образомъ, мучительное противорѣчье между абстрактнымъ идеаломъ и конкретной дѣйствительностью получало искомое философское рѣшеніе: оно разрѣшалось приведеніемъ къ нулю одной изъ сторонъ антиноміи.

Объявивъ дѣйствительность призракомъ, Бѣлинскій тѣмъ сильнѣе могъ враждовать съ нею во имя идеала, который оказывался теперь единственною дѣйствительностью, заслуживающею этого названія. Въ этомъ «фихтеанскомъ» періодѣ Бѣлинскій очень сосуственно относился къ французамъ. «Намъ рассказывали изъ тогдашней жизни Бѣлинскаго случай, — говоритъ г. Пыпинъ, — гдѣ онъ однажды въ большомъ обществѣ, ему совершенно незнакомомъ, въ разговорѣ о французскихъ событіяхъ конца прошлаго столѣтія, высказалъ мнѣніе, смутившее хозяина своею крайнею рѣзкостью» ¹⁾. Впослѣдствіи въ письмѣ къ одному пріятелю Бѣлинскій, вспоминая объ этомъ эпизодѣ, прибавилъ:

«Я нисколько не раскаиваюсь въ этой фразѣ и нисколько не смущаюсь воспоминаніемъ о ней: ею выразилъ я совершенно добросовѣстно и со всею полнотою моей неистовой природы тогдашнее состояніе моего духа. Да, я такъ думалъ тогда... Искренно и добросовѣстно выразилъ я эту фразу напряженное состояніе моего духа, черезъ которое *необходимо* долженъ былъ пройти».

Казалось бы, теперь Бѣлинскій могъ отдохнуть отъ терзавшихъ его сомнѣній. На самомъ же дѣлѣ онъ страдалъ теперь едва ли не болѣе, чѣмъ прежде.

Во-первыхъ, онъ усомнился въ своей собственной способности къ философскому мышленію. «И я узналъ о существованіи этой конкретной жизни для того, чтобы узнать свое безсиліе усвоить ее себѣ, я узналъ рай для того, чтобы удостовѣриться, что только приближеніе къ его воро-

¹⁾ „Бѣлинскій“, т. I, стр. 175.

тамъ, не наслажденіе, но только предощущеніе его гармоніи и его ароматовъ—единственно возможная моя жизнь!». Во-вторыхъ, отрицаніе дѣйствительности, какъ видно, не надолго избавило его и отъ старыхъ *теоретическихкихъ сомнѣній*. Дѣйствительная жизнь объявлена была призрачной, ничтожной и пустой. Но призракъ призраку рознь. Французская дѣйствительность была, съ новой точки зрѣнія Бѣлинскаго, такой же призрачной, какъ и всякая другая, т. е., между прочимъ, и русская. Но во французской общественной жизни были явленія, которымъ онъ, какъ мы уже знаемъ, горячо сочувствовалъ, а въ Россіи не было ничего подобнаго. Почему же французскіе «призраки» не похожи на наши родные?

На этотъ вопросъ «фихтеанство» не отвѣчало, а между тѣмъ онъ былъ лишь простымъ видоизмѣненіемъ стараго мучительнаго вопроса о томъ, почему конкретная дѣйствительность противорѣчитъ абстрактному идеалу, и какъ устранить это противорѣчіе. Выходило, что объявленіе дѣйствительности призракомъ въ сущности не помогало ровно ничему, а вслѣдствіе этого новая философская точка зрѣнія сама оказывалась сомнительной, если не вовсе «призрачной»: вѣдь она была дорога Бѣлинскому именно только въ той мѣрѣ, въ какой она, повидимому, обѣщала дать простые и убѣдительные отвѣты на осаждавшіе его вопросы.

Вслѣдствіи, въ одномъ изъ своихъ писемъ (20 іюня 1838 г.), Бѣлинскій высказалъ убѣжденіе въ томъ, что онъ «ненавидѣлъ мысль». «Да, я ненавижу ее, какъ отвлеченіе,—писалъ онъ.—Но развѣ она можетъ приобретаться, не будучи отвлеченною, развѣ мыслить должно всегда только въ минуту откровенія, а въ остальное время ни о чемъ не мыслить? Я понимаю всю нелѣпость подобнаго предположенія, но моя природа враждебна мышленію». Эти простодушныя, трогательныя строки лучше всего характеризуютъ отношеніе Бѣлинскаго къ философіи. Онъ не могъ удовольствоваться «отвлеченіями». Его могла удовлетворить только такая система, которая, сама вытекая изъ общественной жизни и сама объясняясь этой жизнью, въ свою очередь объясняла бы ее и давала бы возможность широкаго и плодотворнаго на нее воздѣйствія. Въ этомъ и состояла его мнимая ненависть къ мысли: онъ ненавидѣлъ, разумѣется, не философскую мысль вообще, а только такую мысль, которая, довольствуясь философскимъ «созерцаніемъ», поворачивается спиною къ жизни. «Мы тогда въ философіи искали всего на свѣтѣ, кромѣ чистаго мышленія»,—говоритъ Тургеневъ. Это совершенно справедливо, особенно въ примѣненіи къ Бѣлинскому. Онъ искалъ въ философіи пути къ счастью, the road to happiness, какъ выражается байрововскій Каинъ,—и, конечно, не къ личному счастью, а къ счастью своихъ ближнихъ, къ благу своей родной страны. На этомъ основаніи многіе вообразили, что онъ въ самомъ дѣлѣ не имѣлъ «философскаго таланта», и на него стали посматривать

сверху вниз, съ нѣкоторымъ снисходительнымъ одобреніемъ даже такіе люди, которые, въ смыслѣ способности къ философскому мышленію, недостойны были бы развязать ремень у ногъ его. Эти самодовольные господа забыли или не знали, что во времена Бѣлинскаго пути къ общественному счастью искала въ философіи почти вся мыслящая Европа. Потому-то философія и имѣла тогда такое огромное общественное значеніе. Теперь, когда путь къ счастью указываетъ *уже не философія*, ея прогрессивное значеніе равно нулю, и теперь ею могутъ спокойно заниматься любители «чистаго мышленія». Мы отъ всей души желаемъ имъ успѣха, но это не мѣшаетъ намъ остаться при особомъ мнѣніи насчетъ «философскаго таланта» Бѣлинскаго. Мы думаемъ, что у него было *огромное чутье теоретической истины*, къ сожалѣнію, не развитое систематическимъ философскимъ образованіемъ, но, тѣмъ не менѣе, совершенно вѣрно указывавшее ему важнѣйшія задачи тогдашней общественной науки. «Бѣлинскій былъ одною изъ высшихъ философскихъ организацій, какія я когда-либо встрѣчалъ въ жизни»,—говорилъ одинъ изъ образованнѣйшихъ русскихъ людей того времени, кн. Одоевскій. Мы полагаемъ, что Бѣлинскій былъ одной изъ высшихъ «философскихъ организацій», когда-либо выступавшихъ у насъ на литературное поприще.

Какъ бы то ни было, а проклятые вопросы не давали покоя Бѣлинскому въ теченіе всего «фихтеанскаго періода». Это были какъ разъ тѣ вопросы, на которые требуетъ отвѣта нѣмецкій поэтъ въ своемъ прекрасномъ стихотвореніи:

Отчего подъ ношей крестной
Изнываетъ вѣчно правый?
Отчего вездѣ богатый
Встрѣченъ почестью и славой?
Кто виной? Иль силъ правды
На землѣ не все доступно?
Иль она играетъ нами?—
Это подло и преступно!

Современная общественная наука окончательно разрѣшила эти вопросы. Она признала, что «силъ правды» на землѣ доступно пока еще далеко не все, и она объяснила, почему «правда» пока еще такъ мало значить въ нашихъ общественныхъ (особенно межклассовыхъ) отношеніяхъ. Съ точки зрѣнія современной общественной науки вопросы, волновавшіе и терзавшіе Бѣлинскаго, могутъ показаться довольно наивными.

Но для его времени они отнюдь не были наивны; ими занимались лучшіе умы того времени. Они логически вытекаютъ изъ коренного вопроса о томъ, почему случайность такъ часто оказывается сильнѣе разума. И нетрудно понять, что Бѣлинскій могъ удовольствоваться только такой философіей, которая дала бы ему простые и твердые отвѣты именно на эти вопросы.

Почему грубая матеріальная сила может безнаказанно издѣваться надъ самыми лучшими, самыми благородными стремленіями людей? Почему одни народы процвѣтаютъ, а другіе гибнутъ, попадая подъ власть суровыхъ завоевателей? Потому ли, что завоеватели всегда лучше и выше завоеванныхъ? Едва ли это такъ. Очень часто это происходитъ единственно потому, что у завоевателей больше войска, чѣмъ у завоеванныхъ. Но въ такомъ случаѣ чѣмъ же оправдывается это торжество силы? И какое значеніе могутъ имѣть «идеалы», никогда не покидающіе своей надзвѣздной области и оставляющіе нашу бѣдную практическую жизнь въ жертву всякаго рода ужасамъ? Назовите эти идеалы *абстрактными*, а дѣйствительность *конкретной*, или наоборотъ: объявите дѣйствительность абстракціей, а идеалы дѣйствительностью,—вы во всякомъ случаѣ вынуждены будете считаться съ этими вопросами, если только не обладаете «философскимъ талантомъ» Вагнера, т. е. не погружены въ «чистое мышленіе» и не принадлежите къ числу *декадентовъ*, способныхъ забавляться жалкими, ничего не разрѣшающими и никому не мѣшающими «*формулами прогресса*». Бѣлинскій не былъ, какъ извѣстно, ни Вагнеромъ, ни декадентомъ. И это, конечно, дѣлаетъ ему большую честь; но за эту честь онъ заплатилъ очень дорогою цѣною. Свой «*фихтеанскій періодъ*» онъ называлъ впоследствии періодомъ *распаденія*. Понятно, что онъ долженъ былъ стремиться выйти изъ этого тяжелаго состоянія. И не менѣе понятно, что это стремленіе должно было привести его къ разрыву съ философій Фихте.

Къ сожалѣнію, исторія этого разрыва, по недостатку данныхъ, до сихъ поръ остается очень мало разъясненной. Извѣстно, впрочемъ, что въ половинѣ 1837 года Бѣлинскій находился уже подъ сильнымъ вліяніемъ Гегеля, хотя успѣлъ ознакомиться только съ нѣкоторыми частями его системы. Извѣстно также, что въ это время онъ уже примирился съ той дѣйствительностью, съ которой такъ рѣшительно враждовалъ прежде. Довольно яркій свѣтъ на его тогдашнее настроеніе проливаетъ письмо изъ Пятигорска, написанное имъ 7-го августа 1837 г. къ одному своему молодому другу. Онъ горячо совѣтуетъ ему заниматься философійю. «Только въ ней ты найдешь отвѣты на вопросы души твоей, только она дастъ миръ и гармонію душъ твоей и подаритъ тебя такимъ счастьемъ, какого толпа и не подозреваетъ и какого внѣшняя жизнь не можетъ ни дать тебѣ, ни отнять у тебя. Ты будешь не въ мірѣ, но весь міръ будетъ въ тебѣ... Пуще всего оставь политику и бойся всякаго политическаго вліянія на свой образъ мыслей». Въ Россіи политика не имѣетъ никакого смысла, потому что «для Россіи назначена совсѣмъ другая судьба, нежели для Франціи, гдѣ политическое направленіе и наукъ, и искусствъ, и характера жителей имѣетъ свой смыслъ, свою законность и свою хорошую сторону». Вся надежда Россіи въ распространеніи просвѣщенія и въ нрав-

ственномъ самоусовершенствованіи ея гражданъ. «Если бы каждый изъ индивидовъ, составляющихъ Россію, путемъ любви дошелъ до совершенства, тогда Россія безъ всякой политики сдѣлалась бы счастливѣйшею страной въ мірѣ». Это, конечно, совсѣмъ не гегелевскій взглядъ, но мы уже сказали, что въ то время знакомство Бѣлинскаго съ Гегелемъ было очень неполно. Для насъ важно то, что къ примиренію съ *русской дѣйствительностью* Бѣлинскій пришелъ путемъ хотя бы и невѣрнаго и вообще крайне поверхностнаго *выясненія ея историческаго развитія*. Почему наша общественная жизнь не похожа на французскую? Потому что историческая судьба Россіи не похожа на историческую судьбу Франціи. Такой отвѣтъ дѣлалъ невозможными какія бы то ни было параллели между Россіей и Франціей. А такія параллели еще очень недавно должны были приводить Бѣлинскаго къ тяжелымъ и почти безнадежнымъ выводамъ. вмѣстѣ съ тѣмъ такой отвѣтъ давалъ возможность примиренія не только съ нашей русской, но и съ французской общественной жизнью, напимѣръ, съ тѣми событіями конца XVIII вѣка, къ которымъ Бѣлинскій еще очень недавно относился съ самымъ горячимъ сочувствіемъ: все хорошо на своемъ мѣстѣ. И мы видѣли, что онъ оправдываетъ «политическое направленіе» французовъ. Впрочемъ, въ своемъ увлеченіи «абсолютной» истиной нѣмецкой философіи онъ уже не уважаетъ этого направленія. У французовъ «нѣтъ вѣчныхъ истинъ, но истины дневныя, т. е. на каждый день новыя истины. Они все хотятъ вывести не изъ вѣчныхъ законовъ человѣческаго разума, а изъ опыта, изъ исторіи». Это до такой степени возмущаетъ Бѣлинскаго, что онъ посылаетъ «къ чорту» французовъ, вліяніе которыхъ ничего, кромѣ вреда, намъ, по его словамъ, никогда не приносило, и объявляетъ Германію Іерусалимомъ новѣйшаго человѣчества, на который съ надеждой и упованіемъ должны обратиться взоры мыслящей русской молодежи.

Очень ошибся бы, однако, тотъ, кто принялъ бы за *охранителя*, «примирившагося» съ русской дѣйствительностью, Бѣлинскаго. Онъ и тогда былъ еще очень далекъ отъ консерватизма. Петръ великій нравится ему именно своимъ рѣшительнымъ разрывомъ съ существовавшимъ въ его время порядкомъ вещей. «Цари всѣхъ народовъ развивали свои народы, опираясь на прошедшее, на преданіе; Петръ оторвалъ Россію отъ прошедшаго, разрушивъ ея традицію». Согласитесь, что такія рѣчи были бы очень странны въ устахъ охранителя. Точно также онъ вовсе не склоненъ и къ идеализаціи современной ему самому русской жизни; онъ находитъ, что въ ней много несовершенствъ, но онъ объясняетъ эти несовершенства молодостью Россіи: «Россія еще дитя, для котораго еще нужна нянька, въ груди которой билось бы сердце, полное любви къ своему питомцу, а въ рукѣ которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости». Онъ мирится теперь даже съ крѣпостнымъ правомъ, но ми-

рится только до поры, до времени, только потому, что считаетъ русскій народъ еще несозрѣвшимъ для свободы. По его словамъ, «правительство исподволь освобождаетъ», и это обстоятельство такъ же радуетъ его, какъ то, что, благодаря отсутствію у насъ майоратовъ, наше дворянство «издыхаетъ само собою, безъ всякихъ революцій и внутреннихъ потрясеній». Настоящіе охранители смотрѣли на вещи совсѣмъ иначе, и если бы кто-нибудь изъ нихъ и прочиталъ цитируемое нами письмо Бѣлинскаго, то нашелъ бы, что оно полно самыхъ «завирательныхъ идей», несмотря на свое отрицательное отношеніе къ политикѣ. И это было бы совершенно справедливо съ «охранительной» точки зрѣнія. Бѣлинскій мирился не съ дѣйствительностью, а съ печальной судьбой своего абстрактнаго идеала.

Еще недавно онъ мучился, сознавая, что этотъ идеалъ не находятъ никакого приложенія къ жизни. Теперь онъ отказывается отъ него, убѣдившись, что онъ неспособенъ привести ни къ чему, кромѣ] «абстрактнаго героизма», бесплодной вражды съ дѣйствительностью. Но это не значитъ, что Бѣлинскій поворачивается спиною къ прогрессу. Совсе нѣтъ. Это значитъ только, что теперь онъ собирается служить ему иначе, чѣмъ собирался служить прежде. «Будемъ подражать апостоламъ Христа,—воскликаетъ онъ,—которые не дѣлали заговоровъ и не основывали ни явныхъ, ни тайныхъ политическихъ обществъ, распространяя ученіе своего Божественнаго Учителя, но которые не отрекались отъ него передъ царями и судьями и не боялись ни огня, ни меча. Не суйся въ дѣла, которыя тебя не касаются, но будь вѣренъ своему дѣлу, а твое дѣло—любовь къ истинѣ... Къ чорту политику, да здравствуетъ наука!»

V.

Отрицательное отношеніе къ «политикѣ» вовсе не рѣшало, однако, вопроса о томъ, почему зло такъ часто торжествуетъ надъ добромъ, сила надъ правомъ, ложь надъ истиной. А пока этотъ вопросъ оставался неразрѣшеннымъ, нравственный выигрышъ отъ «примиренія» былъ еще невеликъ, такъ какъ Бѣлинскаго по-прежнему осаждали сомнѣнія. Но теперь онъ былъ убѣжденъ, что система Гегеля поможетъ ему навсегда раздѣлаться съ ними. Дальнѣйшему знакомству его съ этой системой помогъ тотъ же «диллетантъ философіи», который изложилъ ему ученіе Фихте. Какъ сильно было дѣйствіе гегелизма на Бѣлинскаго и на какіе именно его запросы онъ отвѣчалъ ему, показываютъ слѣдующія строки изъ его письма къ Станкевичу:

«Пріѣзжаю въ Москву съ Кавказа, пріѣзжаетъ Б. («диллетантъ философіи»), мы живемъ вмѣстѣ. Лѣтомъ просмотрѣлъ онъ философію религій и права Гегеля. Новый міръ намъ открылся. Сила есть право и право есть сила,—нѣтъ, не описать тебѣ, съ какимъ чувствомъ услышалъ я эти

слова,—это было освобожденіе. Я понялъ идею паденія царствъ, законность завоевателей. Я понялъ, что нѣтъ дикой матеріальной силы, нѣтъ владычества штыка и меча, нѣтъ произвола, нѣтъ случайности,—и кончилась моя опека надъ родомъ человѣческимъ, и значеніе моего отечества предстало мнѣ въ новомъ видѣ... Передъ этимъ еще К—въ (Катковъ) передалъ мнѣ, какъ умѣлъ, а я принялъ въ себя, какъ могъ, нѣсколько результатовъ эстетики. Боже мой! Какой новый, свѣтлый, безконечный міръ!... Слово «дѣйствительность» сдѣлалось для меня равносильно слову «Богъ». И ты напрасно совѣтуешь мнѣ чаще смотрѣть на синее небо,—образъ безконечнаго,—чтобы не впасть въ кухонную дѣйствительность: другъ, блаженъ, кто можетъ видѣть въ образѣ неба символъ безконечнаго, но вѣдь небо застилается сѣрыми тучами, потому тотъ блаженнѣе, кто и кухню умѣетъ просвѣтлить мыслью безконечнаго».

Теперь происходитъ настоящее примиреніе Бѣлинскаго съ дѣйствительностью. Человѣкъ, стремящійся даже кухню просвѣтлить мыслью безконечнаго, разумѣется, не захочетъ ничего передѣлывать въ окружающей его жизни. Онъ будетъ наслаждаться сознаніемъ и созерцаніемъ ея разумности, и чѣмъ болѣе онъ благоговѣетъ передъ разумомъ, тѣмъ больше будетъ возмущать его всякая критика дѣйствительности. Понятно, что страстная натура Бѣлинскаго должна была завести его очень далеко въ этомъ отношеніи. Трудно даже повѣрить теперь, что онъ наслаждался созерцаніемъ окружающей его дѣйствительности, какъ художникъ наслаждается зрѣлищемъ великаго произведенія искусства. «Такова моя натура,—говорилъ онъ:—съ напряженіемъ, горестно и трудно принимаетъ мой духъ въ себя и любовь, и вражду, и знаніе, и всякую мысль, всякое чувство; но принявъ, весь проникается ими, до окровавленныхъ и глубокихъ изгибовъ своихъ. Такъ въ горнилѣ моего духа выработалось самостоятельно значеніе великаго слова *дѣйствительность*... Я гляжу на дѣйствительность, столь презираемую прежде мною, и трепещу таинственнымъ восторгомъ, ссознавая ея разумность, видя, что изъ нея ничего нельзя выкинуть и въ ней ничего нельзя похулить и отвергнуть... Дѣйствительность, твержу я, вставая и ложась спать, днемъ и ночью,—дѣйствительность окружаетъ меня, и чувствую ее вездѣ и во всемъ, даже въ себѣ, въ этой новой перемѣнѣ, которая становится замѣтнѣе со дня на день».

Этотъ «таинственный» восторгъ передъ разумною дѣйствительностью напоминаетъ тотъ восторгъ, который испытываютъ въ общеніи съ природой люди, умѣющие одновременно наслаждаться и ея красотой и сознаніемъ своего неразрывнаго единства съ нею. Человѣкъ, любящій природу такую, въ одно то и же время, философской и поэтической любовью, съ равнымъ удовольствіемъ олдѣдитъ за всѣми проявленіями ея жизни. Точно также и Бѣлинскій съ одинаковымъ любовнымъ интересомъ вглядывается

теперь во все его окружающее. «Да, действительность вводитъ въ действительность,—воскликаетъ онъ.—Смотря на каждаго не по ранѣе заготовленной теоріи, а по даннымъ, имъ же самимъ представленнымъ, я начинаю умѣть становиться къ нему въ настоящихъ отношеніяхъ, и потому мною всё довольно, и я всёми доволенъ. Я начинаю находить въ разговорахъ общіе интересы съ такими людьми, съ какими никогда не думалъ имѣть чего-либо общаго». Опредѣлившись на службу въ межевой институтъ, онъ чрезвычайно доволенъ своей негромкой, но полезной дѣятельностью учителя. «Съ ненасытнымъ любопытствомъ вглядываюсь я въ эти средства, по наружности столь грубыя, пошлыя и *прозаическія*, которыми создается эта польза, неблестящая, незамѣтная, если не слѣдить за ея развитіемъ во времени, неуловимая для поверхностнаго взгляда, но великая, благодатная своими послѣдствіями для общества. Пока есть сила, я самъ рѣшаюсь на все, чтобъ принести на алтарь общественнаго блага и свою лепту».

Отъ «абстрактнаго героизма» не остается и слѣда. Измученный предыдущей работой мысли, Бѣлинскій какъ будто утрачиваетъ даже теоретическій интересъ къ великимъ общественнымъ вопросамъ. Онъ готовъ удовольствоваться инстинктивнымъ сознаніемъ разумности окружающей его жизни. «Знаніе действительности состоитъ въ какомъ-то инстинктѣ, тактъ,—говоритъ онъ,—вслѣдствіе которыхъ всякій шагъ человѣка вѣренъ, всякое положеніе истинно, всё отношенія къ людямъ безошибочны, не натянуты... Разумѣется, кто къ этому интеллектуальному проникновенію присоединитъ сознательное, черезъ мысль, тотъ вдвойнѣ овладѣетъ действительностью, но главное—знать ее, какъ бы ни знать».

Въ предыдущемъ періодѣ своего развитія Бѣлинскій старался, какъ мы видѣли, разрѣшить мучившее его противорѣчіе между абстрактнымъ идеаломъ и конкретной действительностью посредствомъ приравненія къ нулю одной изъ сторонъ этой антиноміи: онъ объявилъ *призракомъ* всякую действительность, противорѣчащую *идеалу*. Теперь онъ поступаетъ какъ разъ наоборотъ: теперь онъ приравниваетъ къ нулю другую сторону антиноміи, т. е. объявляетъ *призракомъ* всякій *идеалъ*, противорѣчащій *дѣйствительности*. Теоретически это новое рѣшеніе, разумѣется, такъ же неправильно, какъ и первое: какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ для приравниванія къ нулю одной изъ сторонъ антиноміи нѣтъ достаточныхъ основаній. И все-таки новая фаза философскаго развитія Бѣлинскаго представляетъ собою огромнѣйшій шагъ сравнительно съ предыдущей.

Чтобы вполнѣ выяснитъ себѣ ея значеніе, мы должны остановиться на статьѣ о Бородинской битвѣ.

Главный интересъ этой статьи заключается въ борьбѣ съ раціоналистическимъ взглядомъ на общественную жизнь и въ выясненіи отношенія

отдѣльныхъ личностей къ обществу, взятому въ его цѣломъ. Рационалистическій взглядъ, съ которымъ Бѣлинскій, повидимому, очень хорошо уживался въ своемъ фихтеанскомъ періодѣ, кажется ему теперь до послѣдней степени вздорнымъ, достойнымъ лишь французскихъ говорунувъ и либеральныхъ аббатиковъ. «Начиная отъ временъ, о которыхъ мы знаемъ только изъ исторіи, до нашего времени не было и нѣтъ ни одного народа, составившагося и образовавшагося по взаимному и сознательному условію извѣстнаго числа людей, изъявившихъ желаніе войти въ его составъ, или по мысли одного какого-нибудь, хотя бы геніальнаго человѣка. Возьмемъ хоть происхожденіе монархической власти. Либеральный говорунъ сказалъ бы, что она явилась результатомъ испорченности людей, которые, убѣдившись въ своей неспособности къ самоуправленію, увидѣли себя въ горькой необходимости подчиниться волѣ одного лица, ими самими же избраннаго и облеченнаго неограниченной властью. Для поверхностнаго взгляда и абстрактныхъ головъ, въ глазахъ которыхъ идеи и явленія не заключаютъ въ самихъ себѣ своей причины и необходимости, но вырастаютъ, какъ грибы послѣ дождя, не только безъ почвы и корней, а на воздухѣ,—для такихъ головъ нѣтъ ничего проще и удовлетворительнѣе такого объясненія; но для людей, духовному ясновидѣнію которыхъ открыта глубина и внутренняя сущность вещей, не можетъ быть ничего нецѣлѣ, смѣшнѣе и бессмысленнѣе. Все, что не имѣетъ причины въ самомъ себѣ и является изъ какого-то чуждаго ему «внѣ», не «внутри» самого себя, все такое лишено разумности, а слѣдовательно, и характера священности. Коренныя государственныя постановленія священны потому, что они суть основныя идеи не какого-нибудь извѣстнаго народа, но каждаго народа, и еще потому, что они, перешедши въ явленія, ставши фактомъ, діалектически развивались въ историческомъ движеніи, такъ что самыя ихъ измѣненія суть моменты ихъ же собственной идеи. И потому коренныя постановленія не бываютъ закономъ, изреченнымъ отъ человѣка, но являются, такъ сказать, довременно и только выговариваются и сознаются человѣкомъ».

Тутъ заключается нѣкоторая неловкость въ употребленія философскихъ терминовъ. Такъ, напримѣръ, изъ приведенныхъ нами строкъ выходитъ, что, по мнѣнію Бѣлинскаго, философу можетъ быть открыта *внутренняя сущность вещей*. Но что же это за *внутренняя сущность*? Намъ кажется, что Гете былъ совершенно правъ, когда говорилъ:

Nichts ist innen, nichts ist aussen,
Was ist drinnen, das ist draussen.

Но мы не будемъ останавливаться на частностяхъ. Намъ нужно напомнить читателю общій характеръ тогдашнихъ взглядовъ Бѣлинскаго.

Какова, съ его новой точки зрѣнія, роль личностей въ діалектическомъ процессѣ общественнаго развитія?

«Человѣкъ есть частное и случайное по своей личности, но общее и необходимое по духу, выраженіемъ котораго служить его личность,—говорить Бѣлинскій.—Отсюда выходитъ двойственность его положенія и его стремленій: его борьба между своимъ я и тѣмъ, что находится внѣ его я, составляетъ его не я... Чтобы быть дѣйствительнымъ человѣкомъ, а не призракомъ, онъ долженъ быть частнымъ выраженіемъ общаго или конечнымъ проявленіемъ безконечнаго. Вслѣдствіе этого онъ долженъ отрѣшиться отъ своей субъективной личности, признавъ ее ложью и призракомъ, долженъ смириться передъ мировымъ, общимъ, признавъ только его истиной и дѣйствительностью. Но какъ это мировое или общее находится не въ немъ, а въ объективномъ мірѣ, онъ долженъ сродниться, слиться съ нимъ, чтобы послѣ, усвоивъ объективный міръ въ свою субъективную собственность, стать снова субъективной личностью, но уже дѣйствительной, уже выражающей собою не случайную частность, а общее, мировое, словомъ, стать духомъ во плоти».

Чтобы не быть призракомъ, человѣкъ долженъ стать частнымъ выраженіемъ общаго. Съ этимъ взглядомъ на личность совмѣстимо самое прогрессивное міроозерцаніе. Когда Сократъ выступалъ противъ устарѣлыхъ понятій аѳинянъ, онъ служилъ именно «общему, мировому», его философская проповѣдь была идеальнымъ выраженіемъ новаго шага, сдѣланнаго Аѳинами въ ихъ историческомъ развитіи. Потому-то Сократъ и былъ *героемъ*, какъ назвалъ его Гегель. Такимъ образомъ, разладъ личности съ окружающею ее дѣйствительностью вполне оправдывается въ томъ случаѣ, когда личное, являясь *частнымъ выраженіемъ общаго*, своимъ отрицаніемъ подготавливаетъ историческую почву для новой дѣйствительности, для дѣйствительности завтрашняго дня. Но Бѣлинскій разсуждаетъ не такъ. Онъ проповѣдуетъ «смирненіе» передъ существующимъ. Какъ въ статьѣ о Вородинѣ, такъ, особенно, въ статьѣ о Менцелѣ онъ съ негодованіемъ обрушивается на «маленькихъ великихъ людей», для которыхъ исторія есть безсвязная сказка, полная случайныхъ и противорѣчивыхъ столкновеній между обстоятельствами. По его словамъ, такой взглядъ на исторію есть печальный продуктъ *разсудочности*. Разсудокъ всегда схватываетъ только одну сторону предмета, между тѣмъ какъ разумъ разсматриваетъ предметъ со всѣхъ сторонъ, хотя онъ какъ будто и противорѣчатъ одна другой. «И потому разумъ не создаетъ дѣйствительности, а оознаетъ ее, предварительно взявъ за аксіому, что все, что есть, все то и необходимо, и законно, и разумно».

«Дѣйствительность есть положительное въ жизни,—говоритъ Бѣлинскій въ другой статьѣ,—призрачность—ея отрицаніе». Если это такъ, то нападки его на отрицающихъ дѣйствительность «маленькихъ великихъ людей»

становятся совершенно понятны; люди, отрицающие действительность, представляют собой простые призраки. Понятно также, что Бѣлинскій впадаетъ въ самый крайній оптимизмъ. Если всякое отрицаніе действительности есть призрачность, то действительность—безупречна. Интересно слѣдить за тѣмъ, какъ Бѣлинскій старается доказать историческими примѣрами, что «судьбы земнородныхъ» не предоставлены слѣпому случаю. «Омаръ сжегъ Александрійскую бібліотеку: проклятіе Омару—онъ навѣки погубилъ просвѣщеніе древняго міра! Погодите, милостивые государи, проклинать Омара! Просвѣщеніе—чуждая вещь, будь оно океаномъ, и высуши этотъ океанъ какой-нибудь Омаръ, все останется подъ землей невидимый и сокровенный родникъ живой воды, который не замедлитъ пробиться наружу свѣтлымъ ключемъ и превратится въ океанъ»... Это, разумеется, очень странный доводъ: изъ того, что «Омарамъ» не удастся высушить всѣ источники просвѣщенія, вовсе не слѣдуетъ, что ихъ дѣятельность безвредна и что намъ слѣдуетъ «погодить проклинать ихъ». Въ своемъ оптимизмѣ Бѣлинскій доходитъ до величайшихъ наивностей. Но мы видѣли, что этотъ оптимизмъ совершенно неизбежно вытекалъ изъ его новаго взгляда на действительность. А этотъ новый взглядъ былъ обязанъ своимъ происхожденіемъ не тому, что Бѣлинскій будто бы плохо понималъ Гегеля, а, наоборотъ, что онъ вполне усвоилъ себѣ духъ той гегелевой философіи, которая выразилась въ предисловіи къ «Philosophie des Rechts».

Мы подробно изложили взгляды, высказанные Гегелемъ въ этомъ предисловіи. Пусть читатель сравнитъ ихъ съ примирительными взглядами Бѣлинскаго,—его поразитъ ихъ почти полное тождество. Разница только въ томъ, что «неистовый Виссаріонъ» горячится гораздо больше, чѣмъ спокойный нѣмецкій мыслитель, а потому и доходитъ до такихъ крайностей, до какихъ не договаривался Гегель. Бѣлинскій говоритъ, что «Вольтеръ былъ подобенъ сатанѣ, освобожденному высшею волею отъ алмазновыхъ цѣпей, которыми онъ прикованъ къ огненному жилищу вѣчнаго мрака, и воспользовавшемуся краткимъ срокомъ свободы на пагубу человѣчества». Ничего подобнаго не говорилъ и не сказалъ бы Гегель. Такихъ примѣровъ можно привести не мало, но все это частности, не измѣняющія сущности дѣла, которая состоитъ въ томъ, что, высказывая свои взгляды, Бѣлинскій былъ вполне вѣренъ духу «абсолютной» философіи Гегеля. И если эти примирительные взгляды кажутся г. Волынскому «странными», то это показываетъ, что онъ плохо знакомъ съ сочиненіями «человѣка, мыслившаго вѣчность», т. е. Гегеля. Правда, г. Волынскій повторяетъ въ этомъ случаѣ лишь то, что было раньше его высказано Н. Станкевичемъ, Герценомъ, Тургеневымъ и т. д. Но онъ обѣщаетъ раз-
омотрѣть вопросъ о вліяніи Гегеля на міросозерцаніе Бѣлинскаго «обстоя-
тельно» и посредствомъ «оличенія извѣстныхъ взглядовъ Бѣлинскаго съ
ихъ первоисточникомъ». Почему же онъ ограничился повтореніемъ чужихъ

ошибок? Ужь не потому ли, что ему самому «первоисточникъ» извѣстенъ довольно плохо ¹⁾).

Бѣлинскій полнѣе, чѣмъ кто бы то ни было изъ его друзей,—напр., М. Б. и Н. Станкевичъ,—усвоилъ консервативный духъ той философіи Гегеля, которая изъявляла претензію быть *абсолютной истиной*. Вѣроятно, онъ и самъ чувствовалъ это, и потому на него плохо дѣйствовали дружескія увѣщанія, имѣвшія цѣлью ослабить его «примирительную» горячность: вѣдь друзья стояли на точкѣ зрѣнія той же будто бы абсолютной истины, которую проповѣдывалъ теперь Бѣлинскій вслѣдъ за Гегелемъ, а съ этой точки зрѣнія всякія уступки «либеральнымъ говорунамъ» были лишь жалкой непослѣдовательностью ²⁾).

Конечно, можно сказать, что если Гегель въ эпоху появленія «*Philosophie des Rechts*» мирился съ прусскою дѣйствительностью, то изъ этого не слѣдуетъ, что онъ примирился бы съ дѣйствительностью русской. Это такъ. Но отрицаніе отрицанію рознь. Гегель объявилъ бы русскую дѣйствительность полуазиатской; онъ вообще полагалъ, что славянскій міръ составляетъ нѣчто среднее между Европой и Азіей. Но азиатская дѣйствительность есть тоже «отдѣсившійся разумъ», и Гегель — не Гегель-диалектикъ, а Гегель-глашатай «абсолютной истины»—едва ли одобрилъ бы возстаніе конечнаго разума отдѣльныхъ лицъ противъ дѣйствительности.

VI.

Разсмотримъ теперь примирительные взгляды Бѣлинскаго съ другой стороны.

Общественныя теоріи «либеральныхъ говоруновъ» возмущаютъ его своимъ поверхностнымъ, антинаучнымъ характеромъ. «Говоруны» воображаютъ, что общественныя отношенія могутъ быть измѣняемы по прихоти людей, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ жизнь и развитіе общества «условливаются непреложными законами, въ его же сущности заключенными». «Говоруны» видятъ произволь и случайность тамъ, гдѣ на самомъ дѣлѣ происходитъ необходимый процессъ развитія. Общественныя явленія диалектически развиваются сами изъ себя, по внутренней необходимости.

¹⁾ Г-нъ А. Станкевичъ въ своей книгѣ „Т. Н. Грановскій и его переписка“, Москва 1869 г., подобно г. Волюнскому, высказываетъ то мнѣніе, что примирительные взгляды Бѣлинскаго были невѣрными выводами изъ философіи Гегеля (ч. I, стр. 107 — 108). Извѣстно ли г. А. Станкевичу, что „невѣрные выводы“ были сдѣланы самимъ Гегелемъ?

²⁾ Въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Л. М. Невѣрову Грановскій говоритъ, что Бакунинъ первый возсталъ противъ статей Бѣлинскаго „О Бородинѣ“ и т. д. Къ сожалѣнію, изъ письма не видно, на чемъ основывалось это возстаніе. Во всякомъ случаѣ, оно не могло основываться на пониманіи прогрессивной стороны философіи Гегеля, къ которому М. Б. пришелъ позже.

Все, что не имѣетъ причины въ самомъ себѣ, а является изъ какого-то чуждаго ему «виѣ», лишено характера разумности, а то, что неразумно, есть не болѣе, какъ призракъ. Таковы тѣ воззрѣнія, которыя Бѣлинскій противопоставляетъ завѣщанному прошлымъ вѣкомъ рационалистическому взгляду на общественную жизнь. И они несравненно глубже и серьезнѣе рационалистическаго взгляда, не оставлявшаго никакого мѣста научному объясненію общественныхъ явленій. Нужно быть очень *почтеннымъ* русскимъ «соціологомъ», чтобы въ примирительныхъ взглядахъ Бѣлинскаго не замѣтить ничего, кромѣ «философскаго вздора». Точно также, только очень почтенный русскій «соціологъ» могъ, въ виду изложенныхъ воззрѣній Бѣлинскаго на жизнь и развитіе человѣческихъ обществъ, сдѣлать то замѣчательное открытіе, что нашему гениальному критику болѣе или менѣе измѣняло «чутье правды» всякій разъ, когда «эстетическое явленіе осложнялось философскими и политико-нравственными началами». Если подъ чутьемъ правды понимать чутье теоретической истины, — а только о ней и можетъ быть рѣчь въ такого рода вопросахъ, — то необходимо признать, что Бѣлинскій обнаружилъ огромное чутье правды, когда съ восторгомъ поспѣшилъ усвоить себѣ и съ жаромъ принялся проповѣдывать взглядъ на исторію, какъ на необходимый и потому законосообразный процессъ. Въ этомъ случаѣ въ лицѣ Бѣлинскаго русская общественная мысль впервые съ гениальной смѣлостью взялась за рѣшеніе той же великой задачи, которая, какъ мы видѣли, влекла къ себѣ лучшіе умы девятнадцатаго вѣка.

Почему плохо положеніе рабочаго класса? Потому что «современный экономическій порядокъ въ Европѣ началъ складываться еще тогда, когда наука, завѣдующая этимъ кругомъ явленій, не существовала». Такъ разсуждаетъ г. Михайловскій. Бѣлинскій узналъ бы въ этомъ разсужденіи ненавистный ему рационалистическій взглядъ на общественную жизнь и приравнялъ бы его, по его внутреннему достоинству, къ легкомысленнымъ сужденіямъ *либеральныхъ аббатовъ*. «Дѣйствительность, какъ явившійся, отлѣсившійся разумъ, — писалъ онъ, — всегда предшествуетъ сознанію потому что прежде, нежели сознать, надо имѣть предметъ для сознанія. Вотъ почему естествознаніе, или ученіе о природѣ, явилось гораздо позже самой природы, грамматика — послѣ языка, исторія — послѣ пережитой народомъ жизни». На томъ же самомъ основаніи онъ сказалъ бы, что наука, «завѣдующая» даннымъ экономическимъ порядкомъ, могла явиться уже только послѣ того, какъ онъ сложился, но что объяснять ея позднѣйшимъ появленіемъ тѣ или другія, положительныя или отрицательныя овойства этого порядка такъ же умно, какъ приписывать существованіе заразныхъ болѣзней тому обстоятельству, что во время сотворенія міра не было медиковъ, у которыхъ природа могла бы заимствовать правильныя понятія о гигиенѣ. Нечего и говорить, что Бѣлинскій былъ бы со-

вершено правъ съ точки зрѣнія современной намъ объективной науки. И выходитъ поэтому, что у Бѣлинскаго уже въ концѣ тридцатыхъ годовъ чуть теоретической истины было сильнѣе, чѣмъ у г. Михайловскаго и подобныхъ ему почтенныхъ социологовъ въ настоящее время. Нельзя сказать, чтобы этотъ выводъ былъ очень утѣшителенъ для друзей нашего отечественнаго прогресса, но правда прежде всего, и утаить его мы не можемъ.

Возьмемъ другой примѣръ. Народники много писали у насъ о нашей поземельной общинѣ. Они часто ошибались,—болѣе или менѣе искренно,—говоря объ ея исторіи и объ ея современномъ положеніи. Но допустимъ, что они не сдѣлали въ этомъ случаѣ ни одной ошибки, и спросимъ только: не ошибались ли они, когда кричали, что слѣдуетъ всѣми силами «укрѣплять» общину? Чѣмъ руководствовались они при этомъ? Убѣжденіемъ въ томъ, что современная община способна перейти въ высшую экономическую форму. Но каковы же существующія внутри общины экономическія отношенія? Можетъ ли ихъ развитіе привести къ переходу современной нашей общины съ передѣлами въ высшую форму общежитія? Нѣтъ, развитіе ихъ ведетъ, напротивъ, къ торжеству экономического индивидуализма. Съ этимъ не разъ соглашались сами народники,—по крайней мѣрѣ, наиболѣе толковые изъ нихъ. Но въ такомъ случаѣ, на что же они рассчитывали? Они рассчитывали на то, что *внѣшнее воздействие* на общину со стороны интеллигенціи и правительства пересилитъ *внутреннюю логику* ея собственнаго развитія. Бѣлинскій очень пренебрежительно отнесся бы къ подобнымъ упованіямъ. Онъ и въ нихъ справедливо усмотрѣлъ бы остатокъ рационалистическаго взгляда на общественную жизнь. Онъ объявилъ бы ихъ *призрачными* и абстрактными, такъ какъ призрачно все то, что не имѣетъ причины въ самомъ себѣ и является изъ какого-то чуждаго ему «внѣ», а не «изнутри». И это опять было бы совершенно справедливо. И опять приходится дѣлать тотъ неелестный для отечественнаго прогресса выводъ, что Бѣлинскій уже въ концѣ тридцатыхъ годовъ былъ ближе къ научному пониманію общественныхъ явленій, чѣмъ наши нынѣшніе сторонники старыхъ устоевъ¹⁾.

Коренныя государственныя постановленія «не бываютъ закономъ, изреченнымъ отъ человѣка, но являются, такъ сказать, довременно и только выговариваются человѣкомъ». Такъ это или не такъ? Разсужденія Бѣ-

1) Надо замѣтить, однако, что о переходѣ общины въ высшую форму общежитія мечтаютъ теперь уже только немногіе изъ народниковъ. Большинство же этихъ достойныхъ людей, оставивъ всякія „завиральныя“ идеи, „хлопочетъ“ лишь о благосостояніи хозяйственнаго мужичка, въ рукахъ котораго община становится страшнымъ орудіемъ эксплуатаціи сельскаго пролетаріата. Нельзя не признать, что такого рода хлопоты не „призрачны“ и не имѣютъ ничего общаго съ „абстрактнымъ идеаломъ“.

линскаго на эту тему значительно затемнены его тогдашней охранительной горячностью, вслѣдствіе которой онъ выражался подчасъ съ туманной напыщенностью. Однако, и въ нихъ нетрудно найти совершенно здоровое ядро. Съ точки зрѣнія нынѣшней общественной науки не подлежитъ никакому сомнѣнію, что не только коренныя государственныя постановленія, но и вообще правовыя учрежденія являются выраженіемъ фактическихъ отношеній, въ которыя люди становятся не произвольно, а въ силу необходимости. Въ этомъ смыслѣ всѣ вообще правовыя учрежденія «только выговариваются человѣкомъ». И поскольку слова Бѣлинскаго имѣютъ этотъ смыслъ, постольку они должны быть признаны безусловно справедливыми. Ихъ и теперь не мѣшало бы почаще припоминать тѣмъ нашимъ носителямъ «абстрактнаго идеала», которые воображаютъ, что правовыя нормы создаются прихотью людей, и что люди могутъ поэтому дѣлать изъ своихъ правовыхъ учрежденій какую имъ угодно эклектическую кашу¹⁾.

Повторяемъ, въ лицѣ нашего гениальнаго критика русская общественная мысль впервые и смѣло взялась за рѣшеніе той великой задачи, которую поставилъ девятнадцатый вѣкъ передъ всѣми мыслящими людьми Европы. Понявъ колоссальную важность этой задачи, Бѣлинскій вдругъ почувствовалъ подъ собою надежную почву, и, восхищенный открывшимся передъ нимъ необъятнымъ горизонтомъ, онъ, какъ мы видѣли, въ теченіе нѣкотораго времени глазами эпикурейца поглядывалъ на окружающую его дѣйствительность, предвкушая блаженство ея философскаго познанія. И какъ тутъ было не сердиться на «маленькихъ великихъ людей», которые своими,—*пора признать это*,—въ теоретическомъ отношеніи совершенно неосновательными разглагольствованіями мѣшали предаться спокойному и радостному наслажденію неожиданно открытымъ сокровищемъ истины? Какъ было не нападать на носителей «абстрактнаго идеала», какъ было не осыпать ихъ насмѣшками, когда Бѣлинскій по собственному опыту зналъ всю его практическую негодность, когда онъ еще такъ хорошо помнилъ то тяжелое сознаніе себя «нулемъ», которое постоянно сопровождало у него напряженный восторгъ, вызываемый этимъ идеаломъ? Какъ было не презирать людей, хотя и желающихъ счастья своимъ ближнимъ, но по своей близорукости считающихъ вредной ту самую философію, которая, по убѣжденію Бѣлинскаго, одна только и могла осчастливить человѣчскій родъ?

Но такое настроеніе было непродолжительнымъ; примиреніе съ дѣйствительностью оказалось непрочнымъ. Уже въ октябрѣ 1839 г., уязвая

¹⁾ Такъ, напримѣръ, многіе думаютъ у насъ, что Россія съ удобствомъ могла бы—съ одной стороны, „закрѣпить общину“, а съ другой—пересадить на эту „закрѣпленную“ почву, т. е. на почву азіатскаго землевладѣнія, нѣкоторыя учрежденія западно-европейскаго общественнаго права.

въ Петербургъ и увозя съ собою еще невапечатанную тогда статью объ «Очеркахъ Бородинскаго сраженія», Бѣлинскій былъ очень далеко отъ того свѣтлаго и отраднаго взгляда на все окружающее, который явился у него въ первое время увлеченія гегелевой философiей. «Внутреннiя моя страданiя обратились въ какое-то сухое ожесточенiе,—говоритъ онъ;—для меня никто не существовалъ, ибо я самъ былъ мертвъ». Правда, это новое тяжелое настроенiе въ значительной степени обусловливалось недостаткомъ личнаго счастья, но, зная характеръ Бѣлинскаго, можно съ увѣренностью сказать, что онъ даже не замѣтилъ бы этого недостатка, если бы философия Гегеля дала ему хоть часть того, что сулила. «Смѣшно и досадно,—воскликаетъ онъ въ длинномъ письмѣ къ Боткину, писанномъ отъ 16 декабря 1839 г. до первыхъ чиселъ февраля 1840 года,—любовь Ромео и Юлии есть общее, а потребность любви или любовь читателя есть призрачное, частное. Жизнь въ книгахъ, а въ жизни—ничто». Замѣьте эти слова. Они показываютъ, что онъ уже тогда плохо уживался съ «абсолютными» выводами Гегеля. Въ самомъ дѣлѣ, если задача мыслящаго человѣка ограничивается *познанiемъ* окружающей его дѣйствительности; если всякая его попытка «творческаго» отношенiя къ ней «призрачна» и заранѣе осуждена на неудачу, то ему въ самомъ дѣлѣ не остается ничего, кромѣ «*жизни въ книгахъ*». Далѣе, мыслящiй человѣкъ обязанъ примириться съ тѣмъ, что есть. Но живетъ не «*то, что есть*»; «то, что есть», уже окаменѣло, отъ него уже отлетѣло дыханiе жизни. Живетъ то, что *становится* (wird), то что вырабатывается процессомъ развитiя. Что такое жизнь, если не развитiе? А въ процессѣ развитiя необходимъ элементъ отрицанiя. Кто въ своихъ воззрѣнiяхъ не отводитъ достаточнаго мѣста этому необходимому элементу, для того жизнь въ самомъ дѣлѣ превращается въ «*ничто*», такъ какъ онъ, въ своемъ примиренiи съ «тѣмъ, что есть», имѣетъ дѣло не съ жизнью, а съ тѣмъ, что когда-то было, но что уже перестало быть ею. «Абсолютная» философия Гегеля, провозглашая современную ей дѣйствительность неподлежащею отрицанiю, тѣмъ самымъ объявила, что жизнь только и можетъ быть въ книгахъ, а въ книгѣ не должно быть жизни. Она правильно учила, что отдѣльный человѣкъ не долженъ ставить свои личныя прихоти и даже существенные интересы выше интересовъ «общаго». Но интересы дорогаго этой философи общаго были интересами застоя. Бѣлинскій почувствовалъ это инстинктомъ значительно раньше, чѣмъ созналъ разумомъ. Онъ ждалъ отъ философи указанiя пути къ человѣческому счастью. Общiй вопросъ о торжествѣ случайности надъ человѣческимъ разумомъ нерѣдко являлся ему въ видѣ частнаго вопроса о томъ: *почему сила торжествуетъ надъ правомъ?* Какъ отвѣтилъ ему на это Гегель? Мы видѣли—какъ: «Нѣтъ владычества дикой матеріальной силы; нѣтъ владычества штыка и меча; право есть сила, и

сила есть право». Оставляя въ сторонѣ нѣсколько парадоксальную форму этого отвѣта (принадлежащую не Гегелю, а Бѣлинскому), надо признать, что въ немъ кроется глубокая истина, на которой только и могутъ основываться упованія сторонниковъ поступательнаго движенія. Это странно, но это такъ. Вотъ наглядный примѣръ. «Наши феодальныя права основываются на завоеваніи»,—кричали Сіѣйсу защитники стараго порядка во Франціи. «Только-то!—возразилъ онъ,—мы станемъ завоевателями въ свою очередь». Въ этомъ гордомъ отвѣтѣ выразилось сознаніе того, что третье сословіе уже созрѣло для господства. И когда оно дѣйствительно сдѣлалось «завоевателемъ», въ его господствѣ было не одно только господство матеріальной силы: его сила была также и его правомъ, а его право основывалось на историческихъ нуждахъ общественнаго развитія Франціи. Все, что не соотвѣтствуетъ нуждамъ общества, не имѣетъ за собою никакого права, но зато все, что имѣетъ за собою *подобное* право, рано или поздно будетъ имѣть также и силу. Что можетъ быть оградителемъ такой увѣренности для всѣхъ истинныхъ друзей прогресса? А такая увѣренность неизбежно внушается взглядомъ Гегеля на отношеніе права къ силѣ, *если только онъ правильно понятъ*. Но, чтобы правильно понимать его, надобно было смотрѣть и на исторію и на современную дѣйствительность съ точки зрѣнія *діалектическаго развитія*, а не съ точки зрѣнія «абсолютной истины», знаменующей остановку всякаго развитія. Съ точки зрѣнія абсолютной истины право историческаго движенія превращалось въ священное и непрекаемое право прусскаго юнкерства на эксплоатацію зависимаго отъ него крестьянства, и всѣ угнетенные осуждались на вѣчное угнетеніе единственно потому, что «абсолютная истина», при своемъ появленіи въ мірѣ сознанія, застала ихъ слабыми, а потому и безправными. *C'était un peu fort*, какъ говорятъ французы; и это долженъ былъ замѣтить Бѣлинскій, едва только онъ сталъ разбираться въ частностяхъ своего новаго міросозерцанія. Изъ его переписки видно, что такъ называемый въ нашей литературѣ разрывъ его съ Гегелемъ вызванъ былъ неспособностью «абсолютной» гегелевой философіи отвѣтить на мучившіе его общественные и историческіе вопросы. «Мнѣ говорятъ: развивай всѣ сокровища своего духа для свободнаго самонаслажденія духомъ, плачь, дабы утѣшиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись къ совершенству, лѣзь на верхнюю ступень лѣстницы развитія, а споткнешься—падай—чортъ съ тобою, таковский и былъ... Благодарю покорно, Егоръ Федоровичъ, кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всѣмъ подобающимъ вашему философскому филистерству уваженіемъ честь имѣю донести вамъ, что если бы мнѣ и удалось взлѣзть на верхнюю ступень лѣстницы развитія, я и тамъ попросилъ бы васъ отдать мнѣ отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи Фи-

липпа II и пр., и пр.; иначе я съ верхней ступени бросаюсь внизъ головою. Я не хочу счастья и даромъ, если не буду спокоенъ насчетъ каждаго изъ моихъ братьевъ по крови... Говорять, что дисгармонія есть условіе гармоніи: можетъ быть, это очень выгодно и усладительно для меломановъ, но ужъ, конечно, не для тѣхъ, которымъ суждено выразить своею участіемъ идею дисгармоніи»...

Что значать дать отчетъ въ жертвахъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи и т. д.? По мнѣнію г. Волинскаго, это ровно ничего не значить. «На эти недоумѣнія Бѣлинскаго, изложенныя ради остроумія въ формѣ канцелярскаго донесенія и снабженныя ехиднымъ допросомъ такого компрометарнаго свойства,—говорить онъ,—Гегель, съ снисходительной улыбкой остановивъ раззадорившагося противника, могъ бы сказать: «Развитіе требуетъ жертвъ отъ человѣка, тяжелаго подвига самоотреченія, могучей скорби о благѣ людей, безъ котораго нѣтъ индивидуальнаго блага, но философія идеализма не освящаетъ случайныхъ жертвъ, не мирится съ суевѣріями, съ инквизиціей. Въ діалектическомъ процессѣ развитія есть могучее орудіе—*отрицаніе*, которое выводитъ людей изъ подземелій инквизиціонныхъ казематовъ на вольный воздухъ, на свободу. Случайность есть аномалія, и разумно только то, на чемъ лежитъ печать божественной справедливости и мудрости!»¹⁾

Въ этихъ краснорѣчивыхъ строкахъ, по обыкновенію, царствуетъ вопіющая путаница плохо переваренныхъ понятій, свойственная философскому таланту г. Волинскаго. Во-первыхъ, Гегель навѣрное ничего не сказалъ бы Бѣлинскому о тѣхъ жертвахъ и о томъ самоотреченіи, которыхъ требуетъ отъ личности ея собственное умственное и нравственное развитіе. Онъ понялъ бы, что Бѣлинскій говоритъ совсѣмъ не объ этихъ жертвахъ. Такимъ образомъ, нѣмецкій идеалистъ утратилъ бы, правда, драгоценный случай остряпать краснорѣчивую фразу согласно риторикѣ г. Волинскаго, но онъ скорѣе подошелъ бы къ дѣлу. А дѣло заключается здѣсь именно въ вопросѣ о томъ: не противорѣчили ли элементу *отрицанія*, не сводили ли на нѣтъ этого дѣйствительно «могучаго орудія» тѣ «абсолютныя» выводы, къ которымъ пришелъ Гегель, и то примиреніе съ дѣйствительностью, которое онъ проповѣдывалъ въ предисловіи къ «*Philosophie des Rechts*»? Мы уже видѣли, что—да, что такое противорѣчіе дѣйствительно существовало и что оно вытекало изъ кореннаго противорѣчія, свойственнаго всей вообще философіи Гегеля, т. е. изъ противорѣчія между *диалектическомъ* характеромъ этой философіи и ея претензіей на званіе *абсолютной истины*. Г. Волинскій, повидимому, даже не подозреваетъ этого противорѣчія. Это не дѣлаетъ чести его «философскому таланту». А вотъ Бѣлинскій, на

¹⁾ „Русскіе критики“, стр. 102.

котораго онъ позволяеть себѣ смотрѣть сверху внизъ, уже въ концѣ тридцатыхъ годовъ почувствовалъ, что это противорѣчіе существуетъ. «Я давно уже подозрѣвалъ,—говорить онъ въ томъ же письмѣ,—что философія Гегеля только моментъ, хотя и великій, но что абсолютность ея результатовъ никуда не годится ¹⁾, что лучше умереть, чѣмъ помириться съ ними». Русскій, «подозрѣвавшій» такія вещи и еще въ концѣ тридцатыхъ годовъ, въ самомъ дѣлѣ, долженъ былъ обладать высокой «философской организаціей». И плохи тѣ «философскія организаціи», которыя не понимаютъ его до сихъ поръ. Онѣ заслуживаютъ уже не «снисходительной», а самой что ни на есть презрительной улыбки.

Бѣлинскій, разумѣется, не дѣлаетъ Гегеля отвѣтственнымъ за подвиги инквизиціи, за жестокость Филиппа II и т. п. Когда онъ требуетъ у него отчета во всѣхъ жертвахъ историческаго движенія человѣчества, онъ обвиняетъ его въ измѣнѣ своей собственной философіи. И это обвиненіе какъ нельзя болѣе основательно. По Гегелю *свобода* есть *цѣль* историческаго развитія, а *необходимость*—*средство*, ведущее къ этой цѣли. Философа, смотрящаго на исторію съ этой возвышенной точки зрѣнія, конечно, нельзя обвинять въ томъ, что случилось совершенно независимо отъ его воли и вліянія. Но отъ него можно требовать указанія тѣхъ средствъ, съ помощью которыхъ разумъ восторжествуетъ надъ слѣпой случайностью. Эти средства могутъ быть даны только *процессомъ развитія*. Объявивъ себя обладателемъ абсолютной истины и примирясь съ существующимъ, Гегель повернулся спиною ко всякому развитію и призналъ *разумомъ ту необходимость*, отъ которой страдало современное ему человѣчество. Это было равносильно объявленію себя философскимъ банкротомъ. И вотъ это-то банкротство и возмущало Бѣлинскаго. Ему досадно было, что онъ вслѣдъ за Гегелемъ могъ въ тогдашней Пруссіи видѣть «*совершеннѣйшее государство*».

Это совершеннѣйшее государство опиралось на эксплуатацію (посредствомъ весьма старомодныхъ приемовъ) большинства въ пользу привилегированнаго меньшинства. Возставъ противъ «абсолютной» философіи Гегеля, Бѣлинскій прекрасно понималъ это. Онъ всецѣло перешелъ на сторону угнетенныхъ. Но угнетенные представлялись ему не производителями, живущими при опредѣленныхъ общественныхъ отношеніяхъ производства, а людьми вообще, угнетенной человѣческой личностью. «Пора,—воскликаетъ онъ,—освободиться личности человѣческой, и безъ того несчастной, отъ гнусныхъ оковъ неразумной дѣйствительности, мнѣнія черни и преданія варварскихъ временъ». На этомъ основаніи

¹⁾ Въ примѣчаніи г. Пыпинъ говоритъ: „Замѣняемъ болѣе рѣзкое выраженіе письма“.

иные не прочь были бы изобразить его чѣмъ-то въ родѣ либеральнаго индивидуалиста. Но это совершенно неосновательно. Бѣлинскій самъ хорошо поясняетъ свое тогдашнее настроеніе. «Во мнѣ развилась какая-то фантастическая любовь къ свободѣ и независимости человѣческой личности,—говоритъ онъ,—которая возможна только при обществѣ, основанномъ на правдѣ и доблести... Личность человѣческая сдѣлалась пунктомъ, на которомъ боюсь сойти съ ума. Я начинаю любить человечество маратовски: чтобы сдѣлать счастливою малѣйшую часть его, я, кажется, огнемъ и мечомъ истребилъ бы остальную». Это ужъ во всякомъ случаѣ не либеральный индивидуализмъ. Ничего не имѣетъ съ нимъ общаго и слѣдующее категорическое заявленіе Бѣлинскаго: «Я теперь въ новой крайности,—это идея социализма, которая стала для меня идеей идей... альфой и омегой вѣры и знанія... Она для меня поглотила и исторію, и религію, и философію. И потому ея я объясняю теперь мою жизнь, твою и всѣхъ, съ кѣмъ встрѣчался я на пути жизни» (въ письмѣ къ Боткину отъ 8-го сентября 1840 года).

Г. Пыпинъ торопится увѣрить насъ, что социализмъ Бѣлинскаго былъ въ сущности совершенно безобиденъ. Почтенный ученый въ этомъ случаѣ совершенно напрасно трудится: кто же не знаетъ, что тогдашній социализмъ вообще не заключалъ въ себѣ ничего практически опаснаго для тогдашняго общественнаго порядка? Но увлеченіе Бѣлинскаго социализмомъ, не заключая въ себѣ ничего страшнаго, является очень важнымъ событіемъ въ его умственной жизни. И потому его надо не оставлять въ тѣни, а освѣтить возможно болѣе яркимъ свѣтомъ.

VI.

Почему Бѣлинскій отъ «абсолютной» идеалистической философіи такъ быстро и рѣшительно перешелъ къ утопическому социализму? Чтобы объяснить этотъ переходъ, надо еще разъ взглянуть на отношеніе нашего критика къ Гегелю.

Уже тогда, когда Бѣлинскій проклиналъ свою статью о Бородинѣ, какъ глупую и недостойную порядочнаго писателя, онъ продолжалъ считать началомъ своей духовной жизни время своего возвращенія съ Кавказа, т. е. время *полнаго увлеченія гегелевой философіей*. Это время кажется ему «лучшимъ, по крайней мѣрѣ, примѣчательнѣйшимъ временемъ» его жизни. А статью о Бородинѣ онъ считаетъ глупой только въ виду ея выводовъ, а вовсе не въ виду основныхъ ея положеній. «Идея, которую я силится развить въ статьѣ по случаю книги Глянки «Очерки Бородинскаго сраженія»,—говоритъ онъ,—вѣрна въ своихъ основаніяхъ». Онъ только не сумѣлъ, какъ слѣдуетъ, воспользоваться этими вѣрными основаніями. «Должно было бы развить и идею отрицанія, какъ историческаго права, не менѣе перваго священнаго и

безъ котораго человѣчество превратилось бы въ стоячее и вонючее болото». Читатель не забудь, можетъ быть, выписокъ, сдѣланныхъ нами выше изъ чтеній Гегеля по исторіи философіи. Эти выписки показываютъ что Гегель, поскольку онъ оставался вѣренъ своей діалектикѣ, вполнѣ признавалъ историческое право отрицанія. Бѣлинскій, отвергая «абсолютные» выводы Гегеля, думалъ, что онъ совсѣмъ отказывается отъ его философіи. На самомъ же дѣлѣ онъ только переходилъ отъ Гегеля—глашатая «абсолютной истины», къ Гегелю—діалектику. Несмотря на насмѣшки надъ философскимъ колпакомъ Гегеля, онъ еще оставался чистѣйшимъ гегельянцемъ. Его первая статья о Петрѣ Великомъ вся пропитана духомъ гегелевой философіи. Во второй статьѣ преобладаетъ тотъ же духъ, хотя здѣсь Бѣлинскій пытается стать на другую точку зрѣнія въ своихъ разсужденіяхъ о вліяніи географической среды на духовныя свойства отдѣльныхъ народовъ, но эти довольно неудачныя разсужденія нимало не измѣняютъ общаго характера его тогдашняго міросозерцанія, которое остается совершенно идеалистическимъ ¹⁾. Идеалистами остаются и всѣ его тогдашніе единомышленники. Это, какъ кажется, не вполнѣ уяснилъ себѣ его біографъ. Г. Пыпинъ говоритъ, что въ «Письмахъ объ изученіи природы» Герцена (печатавшихся въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1843 г.) «задачи философіи и естествознанія были поставлены такъ, какъ лучшіе умы ставятъ ихъ и въ настоящую минуту»²⁾. Это большая ошибка. Г. Пыпина, какъ видно, ввело въ заблужденіе рѣшительное замѣчаніе автора «Писемъ»: «Гегель поставилъ мышленіе на той высотѣ, что нѣтъ возможности послѣ него сдѣлать шагъ, не оставивъ совершенно за собой идеализма». Но это замѣчаніе нисколько не помѣшало Герцену остаться идеалистомъ чистѣйшей воды какъ въ своихъ взглядахъ на природу (тутъ онъ совсѣмъ гегельянецъ), такъ и въ своей исторической философіи. Онъ думалъ, что «въ матеріализмъ дальше Гобса идти некуда». Матеріалистами въ исторіи онъ называлъ такихъ людей, которымъ «вся всемірная исторія кажется дѣломъ личныхъ выдумокъ и страннаго стеченія случайностей» (!) ³⁾. До половины 1844 г. Герценъ въ своемъ «Дневникѣ» всюду высказывается, какъ идеалистъ. Только въ іюлѣ этого года онъ съ похвалой говоритъ о матеріалистической статьѣ Юрдана въ трехмѣсячникѣ Виганда. Но и это замѣчаніе вовсе еще не знаменуетъ собою сколько-нибудь рѣшительнаго поворота въ его воззрѣніяхъ.

Г. Пыпинъ замѣчаетъ также, что «последнимъ философскимъ интере-

¹⁾ Въ этомъ отношеніи очень характерна статья, написанная по поводу рѣчи профессора Никитенко о критикѣ (С.-Петербургъ, 1842 года).

²⁾ „Бѣлинскій“ и т. д., т. I, стр. 228.

³⁾ Интересно сравнить это съ упреками, съ разныхъ сторонъ сыплющимися теперь на „экономическихъ“ матеріалистовъ.

сомъ» Бѣлинскаго былъ позитивизмъ О. Конта и Литра, «какъ рѣшительное отрицаніе метафизики». Очень жаль, что г. Пыпинъ не напечаталъ цѣликомъ того письма, въ которомъ, по его словамъ, Бѣлинскій долго останавливается на позитивизмѣ. Если судить по отрывку изъ этого письма, приводимому г. Пыпинымъ, то мнѣніе нашего критика объ О. Контѣ было неблагопріятно, какъ это признаетъ и самъ г. Пыпинъ: «Контъ замѣчательный человѣкъ,—говоритъ Бѣлинскій,—но чтобы онъ былъ основателемъ новой философіи — далеко кулику до Петрова дня! Для этого нуженъ гений, котораго нѣтъ и признаковъ въ Контѣ». Вотъ почему мы не думаемъ, что Бѣлинскій склонился бы къ позитивизму, если бы смерть не унесла его такъ преждевременно въ могилу. Если ужъ пошло на предположенія, то мы позволимъ себѣ предположить, что современемъ онъ сдѣлался бы ревностнымъ адептомъ того діалектическаго матеріализма, который во второй половинѣ девятнадцатаго вѣка явился на смѣну отжившей свое время идеалистической философіи: историческое развитие увлекшей его философской мысли направлялось какъ разъ въ эту сторону, и недаромъ онъ съ удовольствіемъ читалъ «Deutsch-Französische Jahrbücher», въ которыхъ писали будущіе основатели діалектическаго матеріализма. Если онъ ничего не имѣлъ противъ ихъ взглядовъ въ 1845 году, то почему возсталъ бы онъ противъ нихъ впоследствии, когда они развились и получили прочное обоснованіе?

Впрочемъ, тутъ нужно замѣтить вотъ что: въ пользу нашего предположенія говоритъ логическая філіація философскихъ идей. А противъ него можно сказать то, что Бѣлинскому, страшно удаленному отъ центровъ западно-европейской умственной жизни и вѣчно заваленному спѣшной работой, трудно было бы не отстать отъ лучшихъ умовъ Европы. Самый гениальный человѣкъ нуждается для своего развитія въ благопріятномъ вліяніи со стороны окружающей его среды; у насъ же эта среда была страшно неразвита во всѣхъ отношеніяхъ. Вотъ почему возможно, что Бѣлинскому до конца жизни не удалось бы добраться до вполне опредѣленнаго и стройнаго міросозерцанія, къ которому онъ такъ горячо и такъ постоянно стремился. Возможно также, что начавшееся во второй половинѣ пятидесятыхъ годовъ общественное возбужденіе сдѣлало бы изъ него вожака нашихъ тогдашнихъ просвѣтителей. Какъ мы это увидимъ въ слѣдующей статьѣ, въ послѣдніе годы его жизни въ его взглядахъ было не мало элементовъ, которые сдѣлали бы сравнительно нетруднымъ такой переходъ на вполне правомѣрную тогда въ Россіи просвѣтительную точку зрѣнія.

Однако, довольно гипотезъ. Вернемся къ фактамъ.

Бѣлинскому нужно было развить идею отрицанія. Г. Пыпинъ, вслѣдъ за авторомъ «Очерковъ гоголевскаго періода русской литературы», думаетъ, что въ дѣлѣ этого развитія ему значительную помощь оказалъ

Герценъ. Онъ, конечно, правъ въ томъ смыслѣ, что бесѣды и споры съ такимъ живымъ, умнымъ и разносторонне образованнымъ человѣкомъ, какимъ былъ Герценъ, не могли остаться безъ вліянія на взгляды Бѣлинскаго. Но мы думаемъ, что встрѣчи съ Герценомъ, давая сильный толчокъ умственной дѣятельности Бѣлинскаго, несмотря на это, мало способствовали развитію у него діалектическаго взгляда на общественныя явленія. Діалектика плохо далась Герцену. Извѣстно, что въ «Contradictions économiques» Прудона онъ до конца жизни видѣлъ въ высшей степени удачное примѣненіе діалектическаго метода къ изученію общественной экономіи. Онъ видѣлъ, что правильно понятая философія Гегеля не можетъ быть (что бы ни говорилъ самъ Гегель) философіей застоя. Но если кто плохо понималъ у насъ гегелево выраженіе о разумности всего дѣйствительнаго, то это былъ именно блестящій, но поверхностный Герценъ. Онъ говорилъ въ «Быломъ и думахъ»: «Философская фраза, надѣлавшая всего больше вреда, и на которой нѣмецкіе консерваторы стремились помирить философію съ политическимъ бытомъ Германіи: «все дѣйствительное разумно», была иначе высказанное начало *достаточной причины* и соответственности логики и фактовъ». Но Гегель никогда не удовольствовался бы такимъ общимъ мѣстомъ, какъ «начало достаточной причины». Философы XVIII вѣка тоже признавали это начало, однако они были очень далеки отъ гегелева взгляда на исторію, какъ на законосообразный процессъ. Все дѣло въ томъ, гдѣ и какъ данная теорія общества ищетъ достаточныхъ причинъ общественныхъ явленій. Отчего палъ старый порядокъ во Франціи? Оттого ли, что очень краснорѣчивъ былъ Мирабо? Или оттого, что бездарны были тогдашніе французскіе охранители? Или оттого, что не удался побѣгъ королевской семьи? Указанное Герценомъ «начало» ручается только за то, что была какая-то причина паденія стараго порядка, но не даетъ никакихъ указаній относительно метода изслѣдованія этой причины. Вотъ этому-то горю и старалась помочь философія Гегеля. Разсматривая историческое развитіе человѣчества, какъ законосообразный процессъ, она тѣмъ самымъ устраняла точку зрѣнія *случайности* ¹⁾. Да и *необходимость* понималась Гегелемъ совсѣмъ не въ обычномъ смыслѣ этого слова. Если мы говоримъ, напримѣръ, что старый порядокъ во Франціи палъ вслѣдствіе случайной неудачи королевскаго побѣга, то мы, признаемъ, что разъ не удался

¹⁾ Гегель говорилъ, правда, что во всемъ конечномъ есть элементъ случайности (in allem Endlichen ist ein Element des Zufälligen), но по смыслу его философіи *случайность* встрѣчается лишь въ точкѣ пересѣченія нѣсколькихъ необходимыхъ процессовъ. Поэтому принимаемое имъ (и совершенно правильное) понятіе о случайности совсѣмъ не мѣшаетъ научному объясненію явленій: чтобы понять данную *случайность*, надо умѣть найти удовлетворительное объясненіе по крайней мѣрѣ *двухъ необходимыхъ процессовъ*.

этот побѣгъ,—паденіе стараго порядка сдѣлалось *необходимымъ*. Понимаемая такимъ вулгарнымъ и поверхностнымъ образомъ необходимость есть лишь обратная сторона случайности. У Гегеля она имѣла другое значеніе. Когда онъ говорилъ, что данное общественное явленіе необходимо, это значило, что оно подготовлено внутреннимъ развитіемъ той страны, въ которой оно совершается... Да и это еще не все. По смыслу его философіи всякое явленіе въ процессѣ своего развитія само изъ себя создаетъ тѣ силы, которыя впоследствии его отрицаютъ. Въ примѣненіи къ общественной жизни это значитъ, что всякій данный общественный порядокъ самъ создаетъ тѣ отрицательные элементы, которые разрушаютъ его и замѣняютъ новымъ порядкомъ. Если вы поняли процессъ народоженія этихъ элементовъ, то вы поняли также и процессъ отмиранія стараго порядка. Когда Бѣлинскій говорилъ, что онъ «долженъ былъ развить идею отрицанія», онъ хотѣлъ этимъ сказать, что ему слѣдовало отмѣнить историческую неизбѣжность появленія указанныхъ элементовъ въ каждомъ данномъ общественномъ порядкѣ. Онъ очень ошибался въ то время, когда упускалъ изъ виду важную сторону задачи. Но указанное Герценомъ «начало достаточной причины» было вовсе не «достаточно» для исправленія его логическаго промаха. Въ этомъ смыслѣ Бѣлинскій былъ вполне предоставленъ своимъ собственнымъ силамъ.

Развить идею отрицанія значило, между прочимъ, признать право «идеала», который въ пылу увлеченія Гегелемъ былъ принесенъ въ жертву дѣйствительности. Но идеаль, правомѣрный съ новой точки зрѣнія Бѣлинскаго, не могъ быть «*абстрактнымъ идеаломъ*». Такъ какъ историческое отрицаніе дѣйствительности является результатомъ *ея собственнаго развитія*, то правомѣрнымъ *можетъ быть признанъ только такой идеаль, который опирается на это развитіе*. Такой идеаль не будетъ «оторванъ отъ географическихъ и историческихъ условій развитія»; о немъ нельзя сказать, что онъ «построенъ на воздухѣ». Онъ только выражаетъ въ мысляхъ и образахъ результаты того процесса развитія, который *уже совершается въ дѣйствительности*. И онъ *конкретенъ* ровно настолько, насколько конкретна эта развивающаяся дѣйствительность.

Изъ этого слѣдуетъ, что если Бѣлинскій въ первой фазѣ своего развитія жертвовалъ дѣйствительностью ради идеала, а во второй идеаломъ ради дѣйствительности, то въ третьей и послѣдней фазѣ онъ стремился примирить идеаль съ дѣйствительностью посредствомъ *идеи развитія*, которая дала бы идеалу прочное основаніе и превратила бы его изъ «*абстрактнаго*» въ *конкретный*.

Такова была теперь задача Бѣлинскаго. Это была великая задача. Пока люди не умѣютъ рѣшать такіа задачи, они не могутъ сознательно вліять на свое собственное и общественное развитіе и потому остаются

игрушкой случайности. Но чтобы поставить передь собою эту задачу, нужно было разорвать съ *абстрактнымъ* идеаломъ, понявъ и прочувствовавъ его полнѣйшее безсиліе. Другими словами: ему надо было пережить моментъ примиренія съ дѣйствительностью. Вотъ почему этотъ моментъ дѣлаетъ ему величайшую честь. И вотъ почему онъ самъ въ послѣдствіи считалъ его началомъ своей духовной жизни.

Но иное дѣло поставить передь собою извѣстную задачу, а иное дѣло рѣшить ее. Когда между молодыми людьми, входившими въ составъ кружка Станкевича-Бѣлинскаго, поднимались споры по поводу какого-нибудь труднаго вопроса, они, побившись надъ нимъ, приходили иногда къ такому заключенію, что «это былъ бы въ состояніи рѣшить только Гегель». Именно такъ могъ бы сказать себѣ Бѣлинскій теперь, когда ему пришлось примѣнить діалектическій методъ къ объясненію историческаго развитія Россіи. Но и Гегель не оправдалъ бы его довѣрія. Діалектическій идеализмъ правильно поставилъ великую задачу общественной науки девятнадцатаго вѣка: изученіе общественнаго развитія, какъ законосообразнаго процесса,—но онъ не рѣшилъ ея, хотя, правда, въ значительной степени подготовилъ ея рѣшеніе.

Изучить предметъ значитъ объяснить его развитіе прежде всего тѣми силами, которыя онъ самъ изъ себя порождаетъ. Такъ говорилъ Гегель. Въ своей философіи исторіи онъ въ *отдѣльныхъ случаяхъ* очень вѣрно указывалъ двигательныя силы историческаго развитія. Но въ *общемъ* его идеализмъ сбивалъ его съ правильного пути изслѣдованія. Если логическое развитіе «идеи» есть основа всякаго другого, въ томъ числѣ и историческаго развитія, то исторія объясняется въ послѣднемъ счетѣ логическими свойствами «идеи», а не діалектическимъ развитіемъ общественныхъ отношеній. И дѣйствительно, Гегель взывалъ къ этимъ свойствамъ всякій разъ, когда сталкивался съ тѣмъ или съ другимъ великимъ историческимъ вопросомъ. А это значило объяснять посредствомъ абстракціи совершенно конкретныя явленія. Ошибка идеализма въ томъ и заключается, что онъ приписываетъ абстракціямъ творческую и двигательную силу. Вотъ почему произвольныя логическія построенія такъ часто замѣняютъ у идеалистовъ изученіе дѣйствительно причинной связи событий. Правильная, истинно научная теорія историческаго развитія чело-вѣчества могла явиться только послѣ того, какъ діалектическій идеализмъ былъ смѣненъ діалектическимъ матеріализмомъ. Бѣлинскій не дожидъ до этой новой эпохи. Правда, въ его время было собрано немало разнообразныхъ матеріаловъ для выработки правильнаго взгляда на исторію. Въ апрѣльской книгѣ журнала «Новое Слово» за 1897 годъ были приведены нѣкоторыя мнѣнія В. П. Боткина относительно роли экономическихъ интересовъ въ историческомъ развитіи чело-вѣчества. Нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что у Боткина были такія мнѣнія. Прежде

чѣмъ увлечься философiей Гегеля, онъ былъ сенъ-симонистомъ; а у Сенъ-Симона вся новѣйшая исторiя Европы объясняется борьбой экономическихъ интересовъ ¹⁾. Впослѣдствiи Боткинъ могъ немало заимствовать въ этомъ отношенiи и у другихъ социалистовъ-утопистовъ, напримѣръ, у Виктора Консидерана ²⁾ и даже у Луи Блана (собственно изъ его «Histoire des dix ans»). Наконецъ, много могли ему дать и французскiе историки: Гизе, Минье, Токвилль. Трудно допустить, что Боткину осталось неизвѣстнымъ знаменитое сочиненiе «*De la démocratie en Amérique*», первый томъ котораго вышелъ еще въ 1836 году. Въ этомъ сочиненiи зависимость общественнаго развитiя отъ экономическихъ отношенiй (точнѣе, отъ отношенiй собственности) принимается за неоспоримую истину. По Токвиллю, разъ даны отношенiя собственности, ихъ «можно разсматривать какъ первую причину законовъ, обычаевъ и идей, опредѣляющихъ собою дѣятельность народовъ». Даже то, что создано не этими отношенiями, по крайней мѣрѣ, измѣняется сообразно съ ними. Поэтому, чтобы понять законодательство и нравы даннаго народа, надо изучить господствующiя у него отношенiя собственности ³⁾. Два послѣднiе тома этого перваго сочиненiя Токвилля цѣликомъ посвящены изслѣдованiю того, какимъ образомъ существующiя въ Соединенныхъ Штатахъ отношенiя собственности влiяютъ на умственныя и эстетическiя привычки и потребности американцевъ. Вслѣдствiе всего этого Боткинъ безъ большого труда могъ придти къ тому убѣжденiю, что духовное развитiе людей опредѣляется ходомъ общественнаго развитiя. Это его убѣжденiе навѣрно было извѣстно Вѣлинскому. Оно и сказалось, напримѣръ, въ его взглядѣ на историческое значенiе поэзи Пушкина ⁴⁾. Но оно не могло послужить ему надежной руководящей нитью при выработкѣ имъ *конкретнаго идеала*.

¹⁾ См. особенно Catechisme politique des industriels, гдѣ этотъ взглядъ изложенъ съ особенной ясностью въ примѣненiи къ исторiи Францiи. См. также письмо его къ редактору „Journal Général de France“ отъ 12 мая 1818 г., гдѣ Сенъ-Симонъ говоритъ: „La loi qui constitue la propriété est la plus importante de toutes; c'est elle que sert à l'édifice sociale“.

²⁾ Томъ I, стр. 74, изд. 1836 г.

³⁾ См. особенно Destinée sociale.

⁴⁾ И, разумѣется, не только въ этомъ взглядѣ. Въ статьѣ „Петербургъ и Москва“ Вѣлинскiй, сравнивая между собою эти два города, старается опредѣлить представляемую каждымъ изъ нихъ идею: „Петербургъ представляетъ собою идею, Москва—другую“. Это, конечно, совершенно идеалистическая точка зрѣнiя, господствовавшая въ міросозерцанiи нашихъ мыслящихъ людей того времени. Но посреди идеалистическихъ разсужденiй Вѣлинскаго вдругъ поражаетъ такая мысль: „Но съ существовавшего царствованiя Москва мало-помалу начала дѣлаться городомъ торговымъ, промышленнымъ и мануфактурнымъ. Она отдѣляетъ всю Россiю своими бумажно-прядильными (sic!) издѣльями; ея отдаленныя части, ея окрестности и ея уѣзды—все это усѣяно фабриками и заво-

Дѣло въ томъ, что какъ Сень-Симонъ, Консидеравъ и другіе социалысты-утопысты, такъ и историки, видѣвшіе въ отношеніяхъ собственности важнѣйшую основу общественнаго зданія, а въ развитіи этихъ отношеній главную причину общественнаго движенія, были все-таки *идеалистами*. Они понимали общественное значеніе экономики, но они не видѣли той коренной причины, отъ дѣйствія которой зависитъ экономическій строй всякаго даннаго общества. У нихъ выходило, что такой причиной является частью благоприятный или неблагоприятный случай (напримѣръ, выгодное географическое положеніе, завоеваніе и т. д.), а частью природа человѣка. Вотъ почему всѣ они, защищая дороги имъ общественныя учрежденія или планы такихъ учрежденій, апеллировали, главнымъ образомъ, къ этой природѣ. Но апеллировать къ человѣческой природѣ значитъ становиться на точку зрѣнія *абстрактнаго идеала*, а не на точку зрѣнія диалектическаго развитія общественныхъ отношеній. Въ этомъ и заключается сущность *утопическаго взгляда* на общество. До появленія исторической теоріи автора «Капитала» утопыстами въ большей или меньшей степени были всѣ—не вполнѣ беззаботные насчетъ теоріи—общественные дѣятели, отъ крайнихъ лѣвыхъ до крайнихъ правыхъ. Понятно поэтому, что и Бѣлинскій, по окончаніи его перемирія съ дѣйствительностью, долженъ былъ стать на утопическую точку зрѣнія, вопреки своему сознательному стремленію къ *конкретному идеалу*. Это стремленіе могло наложить свою печать лишь на нѣкоторые отдѣльные его взгляды, соображенія и приговоры.

VIII.

«Въ Москвѣ въ одномъ разговорѣ съ Грановскимъ, при которомъ я присутствовалъ,—говоритъ Кавелинъ въ своихъ воспоминаніяхъ,—Бѣлинскій... выражалъ славянофильскую мысль, что Россія лучше сумѣетъ, пожалуй, разрѣшить соціальный вопросъ и покончить съ враждой капитала и собственности съ трудомъ, чѣмъ Европа» ¹⁾.

Это, дѣйствительно, чисто славянофильскій взглядъ, усвоенный по-
дами, большими и малыми. И въ этомъ отношеніи не Петербургу тягаться съ нею, потому что самое положеніе ея почти въ серединѣ Россіи назначалось быть центромъ внутренней промышленности. И то ли будетъ она въ этомъ отношеніи, когда желѣзная дорога соединитъ ее съ Петербургомъ и, какъ артерія отъ сердца, потянутся отъ нея шоссе въ Ярославль, въ Казань, въ Воронежъ, въ Харьковъ, въ Кіевъ и Одессу"... Тутъ высказывается предчувствіе того, что съ измѣненіемъ экономической роли Москвы должна измѣниться и представляемая ею „идея“. Это любопытный образчикъ вторженія матеріализма въ міросозерцаніе, которое по основамъ остается еще совершенно идеалистическимъ.

¹⁾ *Пытинъ*, оп. сіт. т. II, р. 209. По словамъ Кавелина, этотъ разговоръ происходилъ черезъ *нѣсколько мѣтъ послѣ* описаннаго имъ времени, которое относится къ 1843 году.

томъ нашими народниками и субъективистами. У Бѣлинскаго, непримиримаго врага славянофиловъ, онъ могъ возникнуть только какъ результатъ увлеченія утопическимъ социализмомъ.

Мы уже видѣли, что онъ въ своемъ сочувствіи къ угнетеннымъ смотрѣлъ на нихъ не какъ на людей, живущихъ и трудящихся при опредѣленныхъ историческихъ условіяхъ, а какъ на совокупность «личностей», несправедливо лишенныхъ тѣхъ правъ, которыя естественно принадлежать человѣческой личности.

Съ этой абстрактной точки зрѣнія дальнѣйшее развитіе общественныхъ отношеній должно было представляться зависящимъ не столько отъ ихъ собственной внутренней логики, сколько отъ личныхъ свойствъ людей, такъ или иначе угнетенныхъ этими отношеніями. *Диалектика* должна была уступить мѣсто *утопії*.

Съ точки зрѣнія свойствъ русской «личности» Бѣлинскій смотрѣлъ подчасъ и на будущія судьбы Россіи. Въ статьѣ «*Взглядъ на русскую литературу 1846 года*» онъ говоритъ: «Да, въ насъ есть національная жизнь, мы призваны сказать міру свое слово, свою мысль». Какое же это слово? Онъ не хочетъ пускаться въ мечтанія и гаданія на этотъ счетъ, «пуще всего боясь произвольныхъ, имѣющихъ только субъективное значеніе, выводовъ». (Отношеніе къ субъективизму у него, какъ видимъ, осталось то же, какое было тогда, когда онъ писалъ статью о Бородинской годовщинѣ).

Но ему все-таки кажется, что многосторонность, съ какой русскій человекъ понимаетъ чуждыя ему національности, позволяетъ сдѣлать нѣкоторыя предположенія относительно его будущей культурной миссіи. «Мы не утверждаемъ за непреложное, что русскому народу предназначено выразить въ своей національности наиболѣе богатое и многостороннее содержаніе, и что въ этомъ заключается причина его удивительной способности воспринимать и усваивать себѣ все чуждое ему,—говоритъ онъ;—но смѣемъ думать, что подобная мысль, какъ предположеніе, высказываемое безъ самохвальства и фанатизма, не лишена основанія». Въ письмѣ къ Боткину отъ 8 марта 1847 года онъ рѣзко высказывается въ томъ же смыслѣ:

«Русская личность пока—эмбрионъ; но сколько широты и силы въ натурѣ этого эмбриона, какъ душна и страшна ей всякая ограниченность и узкость. Она боится ихъ, не терпитъ ихъ больше всего—и хорошо, по моему мнѣнію, дѣлаетъ, довольствуясь пока ничѣмъ, вмѣсто того, чтобы закабалиться въ какую-нибудь дрянную односторонность. А что мы всеоблемяюща потому, что намъ нечего дѣлать,—чѣмъ больше объ этомъ думаю, тѣмъ больше убѣждаюсь, что это ложь... Не думай, чтобы я въ этомъ вопросѣ былъ энтузіастомъ. Нѣтъ, я дошелъ до его рѣшенія (для себя) тяжелымъ путемъ сомнѣнія и отрицанія».

Подобное «рѣшеніе» широко открывало двери славянофильскому взгляду на социальный вопросъ въ Россіи. Извѣстно, на чемъ основывался этотъ взглядъ: на совершенно ошибочномъ понятіи объ историческомъ развитіи русской общины. Каково было это понятіе у тогдашнихъ передовыхъ людей, наглядно показываетъ, между прочимъ, слѣдующее замѣчаніе въ «Дневникѣ» Герцена: «*Образецъ высшаго развитія славянской общины — черногорцы*». Но черногорская община есть *родовая* община, совсѣмъ непохожая на нашу *сельскую* общину, созданную государствомъ ради лучшаго обезпеченія интересовъ фиска, уже гораздо позднѣе разложенія у насъ родового быта. Наша сельская община ни въ какомъ случаѣ не могла «развиться» въ направленіи къ черногорской ¹⁾. Но наши тогдашніе западники такъ же отвлеченно смотрѣли на «общину», какъ славянофилы. И если у нихъ являлось по временамъ убѣжденіе въ томъ, что ей предстоитъ блестящее будущее, то оно было простымъ дѣломъ вѣры, результатомъ настоятельной нравственной потребности позабыться, хотя бы въ вымыслахъ, отъ тяжелыхъ впечатлѣній, получаемыхъ отъ окружающей дѣйствительности. Герценъ прямо говоритъ въ своемъ «Дневникѣ»: «Чаадаевъ превосходно замѣтилъ однажды, что одинъ изъ величайшихъ характеровъ ²⁾ христіанскаго воззрѣнія есть поднятіе надежды въ добродѣтель и постановленіе ея съ вѣрою и любовью. Я съ нимъ совершенно согласенъ. Эту сторону упованія въ горести, твердой надежды въ повидимому безвыходномъ положеніи должны по преимуществу осуществить мы». Почему же люди, подобные Герцену, чувствовали себя въ безвыходномъ положеніи? Потому что имъ не удалось выработать себѣ сколько-нибудь конкретный идеалъ, т. е. такой идеалъ, который подсказывался бы историческимъ развитіемъ непріятной имъ дѣйствительности; а не доработавшись до такого идеала, они испытывали то же тяжелое сознаніе, которое пережилъ Бѣлинскій еще въ эпоху своихъ юношескихъ увлеченій абстрактнымъ идеаломъ: они чувствовали себя совершенно безсильными. «Мы виѣ народныхъ потребностей», жалуется Герценъ. Онъ не сказалъ бы этого, если бы видѣлъ, что свойственная ему «идея отрицанія» составляетъ результатъ внутренняго развитія народной жизни. Тогда онъ не могъ бы чувствовать себя виѣ народныхъ потребностей. Совершенно подобно Герцену, Бѣлинскій восклицаетъ: «Мы несчастные анахореты новой Скѣіи; мы люди безъ отечества, — нѣтъ, хуже, чѣмъ безъ отечества, мы люди, которыхъ отечество—призракъ, и диво ли, что сами мы призраки, что наша дружба, наша любовь, наши стремленія, наша дѣятельность—призракъ?» Въ виду подобнаго настроенія, времен-

¹⁾ О черногорской общинѣ см. очень интересную работу г. Поповича „*Recht und Gericht in Montenegro*“. Аgram, 1877.

²⁾ Слово *характеръ* здѣсь какъ будто неумѣстно. Не опечатка ли это? Впрочемъ, смыслъ цитаты совершенно понятенъ.

ная склонность къ славянофильскимъ фантазіямъ понятна даже и въ чловѣкѣ такого сильнаго логическаго ума, какъ Бѣлинскій.

Мы сказали—временная склонность. По всему видно, что у Бѣлинскаго, въ противоположность Герцену, она была не только временной, но и очень непродолжительной. Герценъ недаромъ говорилъ о немъ, что онъ «не умѣетъ чаять жизни будущаго вѣка». То, что нѣмцы называютъ jenseits, имѣло надъ нимъ мало власти. Ему нужна была твердая почва дѣйствительности. Уже въ статьѣ «Взглядъ на русскую литературу 1846 года», изъ которой мы выписали выше нѣкоторыя сомнительныя гипотезы насчетъ будущей русской цивилизаціи, онъ, опровергая нападки славянофиловъ на реформы Петра, замѣчаетъ: «Подобныя событія въ жизни народа слишкомъ велики, чтобы быть случайными, и жизнь народа не есть утлая лодочка, которой каждый можетъ давать произвольное направленіе легкимъ движеніемъ весла. вмѣсто того, чтобы думать о невозможномъ и смѣшать всѣхъ самолюбивымъ вмѣшательствомъ въ историческія судьбы, гораздо лучше, признавши неотразимую и неизмѣнную дѣйствительность существующаго, дѣйствовать на его основаніи, руководясь разумомъ и здравымъ смысломъ, а не маниловскими фантазіями». Въ другомъ мѣстѣ, признавая, что названная реформа имѣла нѣкоторое неблагопріятное вліяніе на русскій народный характеръ, онъ дѣлаетъ слѣдующую важную оговорку: «Но нельзя остановиться на признаніи справедливости какого бы то ни было факта, а должно изслѣдовать его причины, въ надеждѣ въ самомъ злѣ найти и средства къ выходу изъ него». Средства для борьбы съ неблагопріятными послѣдствіями петровской реформы надо искать въ ней самой, въ новыхъ элементахъ, внесенныхъ ею въ русскую жизнь. Это вполнѣ діалектическій взглядъ на вопросъ, и поскольку Бѣлинскій держится его въ спорѣ съ славянофилами, постольку его мысли чужды всякаго утопическаго элемента, постольку онѣ конкретны. Онъ и самъ чувствуетъ это, нанося мимоходомъ нѣсколько ударовъ своему старому, неотвязчивому врагу—*абстрактному идеалу*. «Безусловный или абсолютный способъ сужденія,—говоритъ онъ,—есть самый легкій, но зато и самый ненадежный; теперь онъ называется абстрактнымъ или отвлеченнымъ». Главная причина всѣхъ ошибокъ славянофиловъ заключается, какъ онъ думаетъ, «въ томъ, что они произвольно упреждаютъ время, процессъ развитія принимаютъ за его результатъ, хотятъ видѣть плодъ прежде цвѣта и, находя листы безвкусными, объявляютъ плодъ гнилымъ и предлагаютъ огромный лѣсъ, разросшійся на необозримомъ пространствѣ, пересадить въ другое мѣсто и приложить къ нему другой уходъ. По ихъ мнѣнію, это не легко, но возможно». Эти строки заключаютъ въ себѣ такой глубокой и серьезный взглядъ на общественную жизнь, что мы горячо рекомендуемъ ихъ вниманію нашихъ нынѣшнихъ славянофиловъ, т. е. народниковъ, субъекти-

вистовъ, г. Н.—она и прочихъ «враговъ капитализма». Кто усвоить себѣ этотъ взглядъ, тотъ не станетъ, подобно г. Н.—оному, лѣзть къ «обществу» съ пресловутой задачей, которой оно не только рѣшить, но даже и понять не въ состояніи; онъ не будетъ также, подобно г. Михайловскому, думать, что идти «*по слѣдамъ Петра*» значить культивировать утопію; словомъ, онъ ни за что не помирится съ «*абстрактнымъ идеаломъ*».

За три мѣсяца до своей смерти, 15-го февраля 1848 года, Бѣлинскій, уже жестоко пораженный болѣзью, продиктовалъ письмо къ Анненкову въ Парижъ, заключающее въ себѣ интересныя мнѣнія, но только недавно начавшее привлекать къ себѣ вниманіе мыслящихъ русскихъ людей.

«Когда я въ спорахъ съ вами о буржуазіи,—говорить онъ,—называлъ васъ консерваторомъ, я былъ глупецъ, а вы были умный человѣкъ ¹⁾. Вся будущность Франціи въ рукахъ буржуазіи, всякій прогрессъ зависитъ отъ нея одной, и народъ тутъ можетъ повременамъ играть пассивно-вспомогательную роль. Когда я, при моемъ вѣрующемъ другѣ ²⁾, сказалъ, что для Россіи нуженъ теперь Петръ Великій, онъ напалъ на мою мысль, какъ на ересь, говоря, что самъ народъ долженъ все для себя одѣлать. Что за наивная аркадская мысль!... Мой вѣрующій другъ доказывалъ мнѣ еще, что избави-де Богъ Россію отъ буржуазіи. А теперь ясно видно, что внутренній процессъ гражданскаго развитія въ Россіи начнется не раньше, какъ съ той минуты, когда русское дворянство обратится въ буржуазію... Странный я человѣкъ! Когда въ мою голову забьется какая-нибудь мистическая нелѣпость, здравомыслящимъ людямъ рѣдко удается выколотить ее изъ меня доказательствами: для этого мнѣ непременно нужно сойтись съ мистиками, пѣвистами и фантазерами, помѣшанными на той же мысли—тутъ я назадъ. Вѣрующій другъ и славянофилы наши оказали мнѣ большую услугу. Не удивляйтесь обличенію: лучшіе изъ славянофиловъ смотрятъ на народъ совершенно такъ, какъ мой вѣрующій другъ, они высосали эти понятія изъ социалстовъ»...

Это былъ одинъ изъ итоговъ заграничной поѣздки Бѣлинскаго. Въ то время въ Парижѣ очень сильно бился пульсъ общественной жизни, и социалисты различныхъ школъ приобрѣли значительное, хотя и не прочное, вліяніе на міросозерцаніе французской «интеллигенціи». Проживало тамъ тогда немало и русскихъ, горячо интересовавшихся социальнымъ вопросомъ, какъ это видно изъ воспоминаній Анненкова. Сильно возбужденные окружающей ихъ общественной средой, наши соотечественники, вѣроятно, должны были фантазировать на тему о

¹⁾ „Въ подлинникъ болѣе сильныя выраженія“, замѣчаетъ г. Пыпинъ.

²⁾ По замѣчанію г. Пыпина, „такъ называлъ Бѣлинскій одного изъ своихъ рижскихъ друзей“.

будущей роли Россіи въ дѣлѣ рѣшенія соціальнаго вопроса еще охотѣе и сильнѣе, чѣмъ они это дѣлали у себя дома. Столкнувшись съ крайними мнѣніями этого рода, Бѣлинскій, благодаря свойственному ему сильному чутью теоретической истины, тотчасъ подмѣтилъ ихъ слабую сторону: полную отвлеченность, полное отсутствіе сколько-нибудь разумной и сознательной связи съ историческимъ ходомъ развитія Россіи. Въ старомъ гегельянцѣ должна была опять заговорить давно знакомая ему и издавна мучившая его потребность связать идеалы съ жизнью, добиться отъ диалектики объясненія нашей дѣйствительности. И вотъ онъ ставитъ будущую судьбу Россіи въ зависимость отъ ея экономическаго развитія: внутренній процессъ гражданскаго развитія Россіи начнется не прежде, какъ съ той минуты, когда русское дворянство обратится въ буржуазію. При этомъ для него неясны историческія условія такого превращенія. По его словамъ, Россіи нуженъ новый Петръ. Онъ не видитъ, что экономическихъ послѣдствій реформы Петра Перваго вполне достаточно для развитія у насъ капитализма. Неясно ему также и историческое отношеніе буржуазіи къ «народу» въ Западной Европѣ. Народъ представляется ему осужденнымъ на «пассивно-вспомогательную роль». Это, конечно, ошибка. Но вѣдь въ сущности и социалисты-утописты отводили народу совершенно пассивную роль; разница только въ томъ, что, согласно ихъ взглядамъ, народъ долженъ былъ играть «пассивно-вспомогательную роль» не въ процессѣ дальнѣйшаго развитія уже существующаго экономическаго порядка, а въ дѣлѣ соціальной реформы, въ которой починъ и руководящая роль должны принадлежать благомыслящей и благородной интеллигенціи, т. е. въ сущности дѣлать той же буржуазіи. Отношеніе Бѣлинскаго къ социалистамъ довольно презрительное; онъ и ихъ, повидимому, готовъ третировать, какъ піетистовъ и мистиковъ. И онъ въ значительной степени правъ: въ ихъ взглядахъ, въ самомъ дѣлѣ, было много совершенно фантастическаго и ненаучнаго, а главная ихъ ошибка, какъ и ошибка славянофиловъ (по вышесприведенному замѣчанію Бѣлинскаго), была та, что они видѣли въ злѣ только зло, не замѣчая другой его стороны, радикально измѣняющей коренныя основы общества ¹⁾. Бѣлинскій неудачно поправляетъ эту ошибку, осуждая «народъ» на вѣчно-пассивную роль, но что онъ прекрасно видитъ ее, это доказывается именно тѣмъ, что онъ превозноситъ значеніе буржуазіи, т. е. капитализма. Въ его глазахъ капитализмъ представляетъ теперь идею развитія, не нашедшую себѣ достаточнаго мѣста въ ученіяхъ социалистовъ.

Это отношеніе къ утопистамъ заставляетъ невольнo вспомнить о пре-

¹⁾ Впрочемъ, отрицательное отношеніе къ социалистамъ явилось у Бѣлинскаго еще до поѣздки за границу. Литрѣ нравится ему, между прочимъ, тѣмъ, что не принадлежитъ къ нимъ (Письмо къ Боткину отъ 29 янв. 1847 года).

небрежительномъ отношеніи Бѣлинскаго къ «маленькимъ великимъ людямъ», которыхъ онъ такъ сильно бичевалъ въ эпоху своего примирительнаго настроенія. Маленькіе великіе люди возмущали его тѣмъ, что, смотря на общественную жизнь съ рационалистической точки зрѣнія, они даже не подозрѣвали существованія свойственной этой жизни внутренней діалектики. Бѣлинскій относится къ утопистамъ гораздо мягче, хотя и называетъ ихъ мистиками. Онъ понимаетъ, что ими въ ихъ увлеченіяхъ руководить не прихоть или тщеславіе, а стремленіе къ общественному благу, между тѣмъ какъ маленькіе великіе люди казались ему именно тщеславными фразерами. Но его недовольство утопистами вызывается тою же самою причиною, которою обуславливалась нѣкогда и его ненависть къ маленькимъ великимъ людямъ: *абстрактнымъ характеромъ ихъ идеала.*

И. С. Тургеневъ назвалъ Бѣлинскаго *центральной фигурой*. Мы назвали бы его такъ же, хотя и въ другомъ смыслѣ. По-нашему, Бѣлинскій является центральной фигурой во всемъ ходѣ развитія русской общественной мысли. Онъ ставитъ себѣ, а слѣдовательно и другимъ, ту великую задачу, не рѣшивъ которой, мы никогда не знали бы, какимъ путемъ идетъ цивилизованное человѣчество къ своему счастью и къ побѣдѣ разума надъ слѣпой, стихійной силой необходимости; мы навсегда остались бы въ бесплодной области «маниловскихъ» фантазій, въ области идеала, «оторваннаго отъ географическихъ и историческихъ условій, построеннаго на воздухѣ». Болѣе или менѣе вѣрное рѣшеніе этой задачи должно служить критеріемъ для оцѣнки всего дальнѣйшаго развитія нашихъ общественныхъ понятій. Онъ говорилъ о своихъ единомышленникахъ: «Наше поколѣніе—израильтяне, блуждающіе по степи, которымъ не суждено узрѣть обѣтованной земли. И всѣ наши вожди—Моисей, а не Навины».

Онъ былъ именно нашимъ Моисеемъ, который если не избавилъ, то всѣми силами старался избавить себя и своихъ ближнихъ по духу отъ египетскаго ига *абстрактнаго* идеала. Это—колоссальная, неопѣненная заслуга. И вотъ почему давно уже слѣдовало посмотреть исторію его умственнаго развитія и его литературной дѣятельности съ точки зрѣнія *конкретныхъ* взглядовъ нашихъ дней. Чѣмъ внимательнѣе изучаемъ мы эту исторію, тѣмъ глубже проникаемся убѣжденіемъ, что Бѣлинскій былъ самой замѣчательной философской организаціей, когда-либо выступавшей въ нашей литературѣ.

Насъ упрекнуть, можетъ быть, въ томъ, что мы до сихъ поръ не коснулись собственно литературныхъ взглядовъ Бѣлинскаго. Но эти взгляды всегда тѣсно связаны со всѣмъ его философскимъ міросозерцаніемъ, и намъ нужно было предварительно ознакомиться хоть съ нѣкоторыми наиболѣе важными сторонами этого міросозерцанія. Теперь, когда

они намъ уже знакомы, мы можемъ перейти къ рассмотрѣнiю руководящихъ принциповъ собственно критической дѣятельности Бѣлинскаго. Это мы и сдѣлаемъ въ слѣдующей статьѣ, гдѣ сопоставимъ эти принципы съ литературными теорiями, господствовавшими у насъ въ теченiе нашего просвѣтительнаго періода. А уяснивъ себѣ взгляды нашихъ *просвѣтителей*, мы очень легко поймемъ роль и значенiе нашихъ *усыпителей*, т. е. тѣхъ «соціологовъ» различныхъ толковъ, которые явились со своими отвлеченными «формулами прогресса» въ то время, когда, по разнымъ причинамъ, прекратилась литературная дѣятельность почти всѣхъ просвѣтителей. Въ этой статьѣ мы надѣемся окончательно рѣшить старый, но очень интересный вопросъ о томъ, почему *маленькіе люди кажутся большими, когда великіе сходятъ со сцены*.

III. Литературные взгляды В. Г. Бѣлинскаго.

I.

Какъ отразилось примиренiе Бѣлинскаго съ «разумною дѣйствительностью» на его литературныхъ взглядахъ?

«Увлечшись толкованiями Б—на гегелевой философіи, что «все дѣйствительное разумно», Бѣлинскій проповѣдывалъ о примиренiи въ жизни и искусствѣ,—говорить Панаевъ.—Онъ дошелъ до того (крайности были въ его натурѣ), что всякій общественный протестъ казался ему преступленiемъ... Онъ съ презрѣнiемъ отзывался о французскихъ энциклопедистахъ XVIII столѣтія, о критикахъ, не признававшихъ теорiи «искусства для искусства», о писателяхъ, стремившихся къ новой жизни, къ общественному обновленiю. Онъ съ особеннымъ негодованiемъ и ожесточенiемъ отзывался о Жоржъ Зандѣ. Искусство составляло для него какой-то высшій, отдѣльный міръ, замкнутый въ самомъ себѣ, занимающійся только вѣчными истинами и не имѣющій никакой связи съ нашими житейскими дразгами и мелочами, съ тѣмъ низшимъ міромъ, въ которомъ мы вращаемся. Истинными художниками почиталъ онъ только тѣхъ, которые творили *безсознательно*. Къ такимъ причислялись Гомеръ, Шекспиръ и Гете... Шиллеръ не подходилъ къ этому воззрѣнiю, и Бѣлинскій, нѣкогда восторгавшійся имъ, охлаждался къ нему по мѣрѣ проникновенiя своей новой теорiей. Въ Шиллерѣ не находилъ онъ того спокойствiя, которое было непремѣннымъ условiемъ свободного творчества... Свѣтлый взглядъ Бѣлинскаго затуманивался болѣе и болѣе, врожденное ему эстетическое чувство подавлялось неумолимой теорiей. Бѣлинскій незамѣтно запутывался въ ея сѣтяхъ».

Приведа этотъ отрывокъ изъ воспоминаній Панаева, г. Цыпинъ ограничился лаконическимъ замѣчаніемъ: «Выходъ изъ этого положенія Бѣлинскій нашелъ уже въ Петербургѣ». Такимъ образомъ, нашъ почтенный ученый безъ всякихъ оговорокъ принялъ взглядъ Панаева на значеніе примирительныхъ стремленій въ исторіи развитія литературныхъ понятій Бѣлинскаго. Взглядъ этотъ очень распространенъ теперь. Можно сказать, что онъ перешелъ даже въ учебники. Вотъ что мы читаемъ, напримѣръ, въ «*Исторіи русской литературы*» г. П. Полевого:

«Этотъ періодъ дѣятельности Бѣлинскаго, съ 1838 по 1841 годъ, представляетъ самые печальные и менѣе всего плодотворные годы его литературнаго поприща. Правда, онъ оказалъ и въ этотъ періодъ услугу русской литературѣ, познакоивши публику съ философіей Гегеля; но, въ то же время, усвоивши себѣ эту философію крайне односторонне, книжнымъ, отвлеченнымъ образомъ, онъ внесъ и въ эстетическія понятія односторонность и исключительность. Такъ, опираясь на то положеніе, что истинно-разумный человѣкъ долженъ безпристрастно и спокойно относиться ко всѣмъ невзгодамъ жизни, и, помня, что все дѣйствительное разумно, долженъ мирить въ своемъ разумѣ всѣ противорѣчія, Бѣлинскій началъ считать истинно-художественными произведеніями только такія, въ которыхъ онъ видѣлъ объективное, олимпийское, спокойное созерцаніе жизни... Требуя, чтобы поэзія, безстрастно созерцающая жизнь, существовала сама для себя и ни о чемъ болѣе не заботилась, какъ о художественности своихъ формъ, объявивши, что истинная поэзія есть поэзія же содержанія, какія бы высокія идеи въ себѣ ни заключала, есть ублюдохъ поэзіи и краснорѣчія,—Бѣлинскій выключилъ изъ области поэзіи и всѣ тѣ произведенія, въ которыхъ онъ видѣлъ увлеченіе со стороны поэтовъ живыми вопросами общественной жизни. Съ этой точки зрѣнія съ особенной злобой и ожесточеніемъ напалъ Бѣлинскій на современную французскую литературу, а вмѣстѣ съ тѣмъ и на самую народность французскую».

Это почти то же, что говорилъ Панаевъ.

По мнѣнію г. Полевого, возстаніе Бѣлинскаго противъ Гегеля и «разумной дѣйствительности» знаменовало собою цѣлый переворотъ въ эстетическихъ понятіяхъ Бѣлинскаго. Это мнѣніе вполне логично вытекаетъ изъ приведеннаго нами взгляда Панаева на «печальный періодъ» въ литературной дѣятельности Бѣлинскаго. А изъ этого мнѣнія, въ свою очередь, совершенно логично вытекаетъ тотъ выводъ, что увлеченіе гегелевой философіей ничего кромѣ вреда не принесло нашему гениальному критику.

Но такъ ли все это? Правда ли, что увлеченіе Гегелемъ вредно повліяло на развитіе эстетическихъ и вообще литературныхъ взглядовъ Бѣлинскаго?

Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, намъ полезно будетъ припомнить, каковы были эстетическія понятія Вѣлинскаго въ эпоху его полного примиренія съ дѣйствительностью, т. е. въ то время, когда онъ писалъ статью объ «*Очеркахъ Бородинскаго сраженія*».

Въ концѣ этой статьи находится слѣдующее весьма интересное и поучительное мѣсто:

«Мы думаемъ и убѣждены, что уже проходить въ нашей литературѣ время безотчетныхъ возгласовъ съ «ахами» и восклицательными знаками и точками для выраженія глубокихъ идей безъ всякаго смысла; что проходить уже время великихъ истинъ, съ диктаторской важностью изрекаемыхъ и ни на чемъ не основывающихся, ничѣмъ не подтверждающихся, кромѣ личнаго мнѣнія и произвольныхъ понятій мнимаго мыслителя. Публика начинаетъ требовать не мнѣній, а мысли. Мнѣніе есть произвольное понятіе, основанное на поговоркѣ: «мнѣ такъ кажется»; какое же дѣло публикѣ до того, что я какъ кажется тому или другому господину?.. Притомъ одинъ и тотъ же предметъ одному кажется такъ, другому иначе и большей части обыкновенно вверхъ ногами. Вопросъ не въ томъ, какъ кажется, а въ томъ, какъ *есть* въ самомъ дѣлѣ, и этотъ вопросъ можетъ рѣшаться не мнѣніемъ, а мыслью. Мнѣніе опирается на случайномъ убѣжденіи случайной личности, до которой никому нѣтъ дѣла и которая сама по себѣ—очень неважная вещь; мысль опирается на самой себѣ, на собственномъ внутреннемъ развитіи изъ самой себя, по законамъ логики».

Въ статьѣ «*Менцель, критикъ Гете*» мы читаемъ: «Искусство есть воспроизведеніе дѣйствительности; слѣдовательно, его задача не поправлять и не прикрашивать дѣйствительность, а показывать ее такъ, какъ она есть на самомъ дѣлѣ. Только при этомъ условіи поэзія и нравственность тождественны. Произведенія неистовой французской литературы не потому безнравственны, что представляютъ отвратительныя картины прелюбодѣнія, кровосмѣшенія, отцеубійства и сыноубійства, но потому, что они съ особенной любовью останавливаются на этихъ картинахъ и, отвлекая отъ полноты и цѣлости жизни только эти ея стороны, дѣйствительно ей принадлежація, исключительно выбираютъ ихъ. Но такъ какъ въ этомъ выборѣ, уже должномъ по своей односторонности, литературные санкюлоты руководствуются не требованіями искусства, которое само для себя существуетъ, а для подтвержденія своихъ личныхъ убѣжденій, то ихъ изображенія и не имѣютъ никакого достоинства, вѣроятности и истины, тѣмъ болѣе, что они съ умысломъ клеветаютъ на человеческое сердце. И въ Шекспирѣ есть тѣ же стороны жизни, за которыя неистовая литература такъ исключительно хватается, но въ немъ онѣ не оскорбляютъ ни эстетическаго, ни нравственнаго чувства, потому что вмѣстѣ съ ними у него являются и противоположныя имъ, а главное

потому, что онъ не думаетъ ничего разбирать и доказывать, а изображаетъ жизнь такую, какъ она есть.»

Еще одна выписка, на этотъ разъ изъ статьи о «Горь отъ ума». «Поэзія есть истина въ формѣ созерцанія; ея созданія — воплотившіяся идеи, видимыя, созерцаемыя идеи. Слѣдовательно, поэзія есть та же философія, то же мышленіе, потому что имѣетъ то же содержаніе — абсолютную истину, но только не въ формѣ діалектическаго развитія идеи изъ самой себя, а въ формѣ непосредственнаго явленія идеи въ образѣ. Поэтъ мыслить образами; онъ не доказываетъ истины, а показываетъ ее. Но поэзія не имѣетъ цѣли внѣ себя—она сама себѣ цѣль; слѣдовательно, поэтический образъ не есть что-нибудь внѣшнее для поэта или второстепенное, не есть средство, но есть цѣль: въ противномъ случаѣ онъ не былъ бы образомъ, а былъ бы символомъ. Поэту представляются образы, а не идея, которой онъ изъ-за образовъ не видитъ, и которая, когда сочиненіе готово, доступна мыслителю, нежели самому творцу. Поэтому поэтъ никогда не предполагаетъ себѣ развить ту или другую идею, никогда не задаетъ себѣ задачи; безъ вѣдома и безъ воли его возникаютъ въ фантазіи его образы, и, очарованный ихъ прелестью, онъ стремится изъ области идеаловъ къ возможности перенести въ дѣйствительность, т.-е. видимое одному ему сдѣлать видимымъ для всѣхъ. Высочайшая дѣйствительность есть истина; а какъ содержаніе поэзіи— истина, то и произведенія поэзіи суть высочайшая дѣйствительность. Поэтъ не украшаетъ дѣйствительности, не изображаетъ людей, какими они должны быть, но каковы они суть».

Теперь довольно выпишемъ; посмотримъ, что онѣ показываютъ.

Если мы не ошибаемся, онѣ показываютъ, во-первыхъ, что въ періодъ своего увлеченія гегелевой философіей Бѣлинскій дѣйствительно былъ сторонникомъ такъ называемой теоріи искусства для искусства.

Онѣ показываютъ, во-вторыхъ, что г. Полевой совершенно безъ всякаго основанія приписалъ примирившемуся съ дѣйствительностью Бѣлинскому исключительное пристрастіе къ «поэзіи формы» и «отрицательное отношеніе къ поэзіи содержанія».

Онѣ показываютъ, въ-третьихъ, что примирившійся съ дѣйствительностью Бѣлинскій очень презрительно относился къ *субъективному* методу (какъ сказали бы у насъ теперь) въ литературной критикѣ и твердо вѣрилъ въ возможность найти для нея *объективную* основу.

Онѣ показываютъ, въ-четвертыхъ, и еще кое-что, но показываютъ не вполне ясно, а потому мы и оставимъ это кое-что безъ вниманія до тѣхъ поръ, пока оно не обнаружится само собою въ одной изъ слѣдующихъ главъ. Теперь же посмотримъ, гдѣ искалъ нашъ критикъ объективной основы для оцѣнки художественныхъ произведеній.

II.

Въ этомъ отношеніи очень поучительной является неоконченная статья Бѣлинскаго о Фонвизинѣ и Загоскинѣ, напечатанная еще въ «Московскомъ Наблюдателѣ» 1838 года.

Бѣлинскій нападаетъ въ ней на французскую критику. «Для французовъ,—говоритъ онъ,—произведеніе писателя не есть выраженіе его духа, плодъ его внутренней жизни; нѣтъ, это есть произведеніе внѣшнихъ обстоятельствъ его жизни». Французской критикѣ онъ противопоставляетъ нѣмецкую философскую критику. Что такое философская критика? Бѣлинскій отвѣчаетъ на этотъ вопросъ изложеніемъ взглядовъ Ретшера, статья котораго о критикѣ была незадолго передъ тѣмъ напечатана въ «Московскомъ Наблюдателѣ».

Не нужно забывать, что мы имѣемъ дѣло съ идеалистомъ, для котораго все, что существуетъ, «весь безпредѣльный, прекрасный божій міръ», есть лишь воплощеніе абсолютной идеи, проявляющейся въ безчисленныхъ формахъ, «какъ великое зрѣлище абсолютнаго единства въ безконечномъ разнообразіи». Съ точки зрѣнія этого идеалиста, познать истину значитъ познать абсолютную идею, составляющую сущность всѣхъ явленій, а познать абсолютную идею значитъ открыть законы ея саморазвитія. Открытіе этихъ законовъ есть дѣло разума, который узнаетъ въ нихъ свои собственные законы. Философія имѣетъ дѣло съ *истиной*, какъ она существуетъ для разума. Но съ истиной имѣетъ дѣло не одна только философія, а также религія и искусство. Мы уже знаемъ, что, по опредѣленію Бѣлинскаго, поэзія есть истина въ формѣ созерцанія и что ея предметъ тотъ же, что и предметъ философіи, т. е. *абсолютная идея*, которая въ искусствѣ является въ образѣ. Но если это такъ, то легко видѣть, въ чемъ заключается задача *философской критики*. Эта критика переводитъ истину съ языка искусства на языкъ философіи, съ языка образовъ на языкъ логики.

Критикъ-философъ долженъ прежде всего понять ту идею, которая воплотилась въ данномъ художественномъ произведеніи, и подвергнуть ее своей оцѣнкѣ. Идея, выражаемая художественнымъ произведеніемъ, должна быть *конкретна*. Конкретная идея обнимаетъ предметъ со всѣхъ сторонъ и во всей его полнотѣ. Этимъ она отличается отъ неконкретной идеи, которая выражаетъ собою только часть истины, только одну сторону предмета. Неконкретная идея не можетъ воплотиться въ истиннохудожественномъ произведеніи: образъ, выражающій одностороннюю идею, по необходимости самъ будетъ лишенъ художественной полноты и цѣльности, т. е. жизни. Бѣлинскій вслѣдъ за Ретшеромъ (и вопреки г. Полевому) говоритъ, что форма должна оправдаться содержаніемъ, «потому

что невозможно, чтобы неконкретная идея могла воплотиться въ художественную форму, какъ невозможно, чтобы въ основаніи нехудожественнаго произведенія могла лежать конкретная идея».

Теперь пойдѣмъ далѣе. Когда критикъ-философъ нашелъ вдохновившую художника идею, онъ долженъ убѣдиться въ томъ, что она проникаетъ собою всѣ части разбираемаго произведенія. Въ художественномъ произведеніи нѣтъ ничего лишняго; всѣ его части составляютъ одно неразрывное цѣлое, и даже тѣ изъ нихъ, которыя, повидимому, чужды основной его идеѣ, существуютъ только для полнѣйшаго его выраженія. Бѣлинскій приводитъ въ примѣръ «Отелло», въ которомъ только главное лицо выражаетъ идею ревности, а прочія движутся другими страстями и интересами, тѣмъ не менѣе всѣ второстепенныя лица этой драмы служатъ выраженію основной идеи. Такимъ образомъ, «второй актъ процесса философской критики состоитъ въ томъ, чтобы показать идею художественнаго созданія въ ея конкретномъ проявленіи, прослѣдить ее въ образахъ и найти цѣлое и единое въ частностяхъ».

Полное и совершенное пониманіе художественнаго произведенія возможно только черезъ философскую критику, задача которой заключается въ томъ, чтобы найти въ частномъ и конечномъ проявленіи общаго и безконечнаго. Разумѣется, такая критика есть дѣло далеко не легкое. «Въ самой Германіи такая критика еще только началась, какъ результатъ послѣдней философіи вѣка». Намъ еще долго ждать ея, но и намъ полезно имѣть ее въ виду, какъ идеаль.

Философская критика должна быть безпощадна къ такимъ произведеніямъ, которыя вовсе не имѣютъ художественныхъ достоинствъ, и очень внимательна къ такимъ, которыя только отчасти лишены ихъ. Къ этому второму роду произведеній относятся, напримѣръ, лучшія произведенія Шиллера, «этого страннаго полухудожника и полуфилософа». Къ нему же Бѣлинскій относитъ «Юрія Милославскаго», который, по его словамъ, не лишентъ большого поэтическаго, если не художественнаго, достоинства и къ тому же имѣетъ крупное историческое значеніе.

Вопросъ объ историческомъ значеніи даннаго произведенія искусства очень важенъ для философской критики. Изваянія древне-эллинскаго или гіератическаго стила не имѣютъ никакой цѣны какъ художественныя произведенія, но они важны въ историческомъ смыслѣ какъ переходъ отъ символическаго искусства Востока къ греческому искусству. По мнѣнію Бѣлинскаго, которое, замѣчаетъ онъ, нисколько не противорѣчитъ мысли Ретшера, «есть еще и такія произведенія, которыя могутъ быть важны какъ моменты въ развитіи не искусства вообще, но искусства у какого-нибудь народа и сверхъ того какъ моменты развитія общности у народа». Съ этой точки зрѣнія «Недоросль» и «Бригадиръ» Фонвизина и «Ябеда» Капниста получаютъ важное значеніе, равно какъ и

такого рода явленія, каковы Кантемиръ, Сумароковъ, Херасковъ, Богдановичъ и прочіе».

Съ той же точки зрѣнія получаетъ свое относительное достоинство и французская историческая критика. Ея главный недостатокъ, составляющій въ то же время и ея главное отличіе отъ нѣмецкой критики, заключается въ томъ, что она не признаетъ законовъ изящнаго и не обращаетъ вниманія на художественныя достоинства произведенія. «Она беретъ произведеніе, какъ бы заранѣе условившись почитать его истиннымъ произведеніемъ искусства, и начинаеть отыскивать на немъ клеймо вѣка, не какъ историческаго момента въ абсолютномъ развитіи человѣчества или даже и одного какого-нибудь народа, а какъ момента гражданскаго и политическаго». «Она разсматриваетъ личный характеръ писателя, вѣщныя обстоятельства его жизни, его общественное положеніе, вліяніе на него разныхъ сторонъ окружающей его общественной жизни и на основаніи всего этого стараетъ объяснить, почему онъ писалъ такъ, а не иначе». Бѣлинскій говоритъ, что это не критика изящнаго произведенія, а комментарий на него, имѣющій большую или меньшую цѣнность единственно въ этомъ своемъ качествѣ комментарія. Онъ думаетъ, что подробности жизни поэта нисколько не поясняютъ его твореній. Намъ почти ничего неизвѣстно о жизни Шекспира, но это не мѣшаетъ намъ ясно понимать его творенія. Намъ вовсе не нужно знать, въ какихъ отношеніяхъ къ своему правительству и къ своимъ согражданамъ были Эсхиль и Софоклъ и что при нихъ дѣлалось въ Греціи. «Чтобы понимать ихъ трагедіи, намъ нужно знать значеніе греческаго народа въ абсолютной жизни человѣчества; намъ нужно знать, что греки выразили собою одинъ изъ прекраснѣйшихъ моментовъ живого, конкретнаго сознанія истины въ искусствѣ. До политическихъ событій и мелочей намъ нѣтъ дѣла». Въ художественныхъ произведеніяхъ французская историческая критика ровно ничего не объясняетъ, но она имѣетъ свою цѣнность тамъ, гдѣ рѣчь идетъ о произведеніяхъ, которыя, какъ, напримѣръ, сочиненія Вольтера, имѣютъ не художественное, а только историческое значеніе. Конечно, и здѣсь она неспособна исчерпать вопросъ вполне, но можетъ войти очень полезнымъ элементомъ «въ настоящую критику, которая, какой бы ни носила характеръ, обнаруживаетъ постоянное стремленіе изъ общаго объяснить частное и фактами подтверждать дѣйствительность своихъ началъ, а не изъ фактовъ выводить свои начала и доказательства».

III.

Отношеніе Бѣлинскаго къ французской исторической критикѣ несправедливо. Въ то время, къ которому относится разбираемая нами статья, самымъ виднымъ представителемъ этой критики былъ Сентъ-Бевъ. Можно ли сказать, что Сентъ-Бевъ не признавалъ законовъ изящнаго и не обра-

щаль вниманія на художественныя достоинства произведеній? Конечно, нѣтъ. Литературныя взгляды Сентъ-Бева были во многихъ отношеніяхъ близки ко взглядамъ Бѣлинскаго. Для него, какъ и для нашего критика, литература была выраженіемъ народнаго самосознанія ¹⁾. Но Сентъ-Бевъ не былъ приверженцемъ абсолютнаго идеализма; онъ искалъ послѣднихъ причинъ литературныхъ движеній не въ имманентныхъ законахъ развитія абсолютной идеи, а въ общественныхъ отношеніяхъ. «При каждомъ великомъ общественномъ и политическомъ переворотѣ, — говорилъ онъ, — измѣняется и искусство, которое принадлежитъ къ числу важнѣйшихъ сторонъ общественной жизни; въ немъ тоже совершается переворотъ, захватывающій не внутренній его принципъ, — этотъ принципъ всегда остается неизмѣннымъ, — но условія его существованія, способы его выраженія, его отношенія къ окружающимъ его предметамъ и явленіямъ, чувства и идеи, которыя кладутъ на него свою печать, равно какъ и источники художественнаго вдохновенія» ²⁾. Ставъ на эту точку зрѣнія, Сентъ-Бевъ, разумѣется, вынужденъ былъ считаться съ историческими условіями существованія художниковъ. Ему нужно было знать, что дѣлалось въ Греціи при Эсхилѣ и Софоклѣ и въ какихъ отношеніяхъ къ своему правительству и къ своимъ согражданамъ находились эти трагики. Онъ не могъ смотрѣть на политическія событія, какъ на «мелочи». Но отъ этого только выигрывала его критика. Правда, онъ придавалъ преувеличенное значеніе личному характеру писателей и внѣшнимъ обстоятельствамъ ихъ частной жизни. Это было несомнѣннымъ и очень важнымъ недостаткомъ его критики. Но этотъ недостатокъ порожденъ былъ вовсе не тѣмъ, что Сентъ-Бевъ «изъ фактовъ выводилъ свои начала и доказательства», а тѣмъ, что онъ выводилъ изъ фактовъ не всегда то, что изъ нихъ слѣдуетъ. Въ апрѣлѣ 1829 года, приступая къ характеристикѣ Буало, онъ писалъ: «Въ настоящее время во всѣхъ областяхъ

¹⁾ Отмѣтимъ здѣсь, en passant, одну довольно характерную подробность. Въ своихъ „Литературныхъ мечтаніяхъ“ Бѣлинскій говоритъ, что во Франціи литература всегда была вѣрнымъ отраженіемъ свѣтскаго общества, забывая о массѣ народа. Не то въ другихъ странахъ: тамъ литература всегда выражала народный духъ, „ибо нѣтъ ни одного народа, жизнь котораго преимущественно проявлялась въ обществѣ, и можно сказать утвердительно, что Франція составляетъ въ семь случаевъ исключеніе“. Излишне доказывать, что такой взглядъ на французскую литературу крайне одностороненъ и потому совсѣмъ невѣренъ. Къ сожалѣнію, у насъ нѣтъ данныхъ для сужденія о томъ, какъ относился Бѣлинскій къ этой литературѣ въ періодъ своего увлеченія философій Фихте. Но очевидно, что его отношеніе къ ней было несправедливо уже при самомъ началѣ его литературной дѣятельности, т. е. задолго до увлеченія Гегелемъ.

²⁾ См. статью: „Espoir et voeu du mouvement Littéraire et poétique après la revolution de 1830“, напечатанную въ „Globe“ того же года и перепечатанную въ 1-мъ томѣ „Premiers Lundis“.

исторической науки стали примѣнять высокофилософскій методъ. Чтобы имѣть возможность судить о жизни, дѣятельности и сочиненіяхъ знаменитаго человѣка, стараются изучить и описать ту эпоху, которая предшествовала его появленію, то общество, въ которомъ онъ родился, то движеніе умовъ, которое совершалось въ этомъ обществѣ,—словомъ, ту великую сцену, на которой онъ долженъ играть свою роль... Этотъ методъ особенно плодотворенъ въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло идетъ о государственныхъ людяхъ и завоевателяхъ, о богословахъ и философахъ. Но когда рѣчь заходитъ о поэтахъ и художникахъ, которые часто ведутъ уединенную и замкнутую жизнь, его надо примѣнять съ большою осторожностью, потому что тутъ очень часты исключительныя явленія». Въ области художественной и литературной дѣятельности «человѣческая инициатива стоитъ на первомъ планѣ и менѣе подчиняется общимъ причинамъ».

Единственный доводъ, которымъ Сентъ-Бевъ подкрѣплялъ эту мысль, состоитъ въ томъ, что художникъ можетъ, найдя гдѣ-нибудь какой-нибудь забытый уголокъ (*un coin oublié*) и уединившись въ немъ, избавиться отъ совершающагося вокругъ него общественнаго движенія ¹⁾. Этотъ доводъ очень слабъ. Философы и богословы тоже могутъ уединяться въ «забытыхъ уголкахъ», а между тѣмъ ихъ «инициатива» не избавляется отъ подчиненія общимъ причинамъ. Отчего же это такъ?

Сентъ-Бевъ, какъ видно, и самъ этого не зналъ, да рѣдко и задумывался надъ этимъ. Противорѣчіе между личной инициативой и общими законами осталось для него неразрѣшеннымъ ²⁾. Въ своихъ литературныхъ характеристикахъ («Портретахъ») онъ обращалъ главное вниманіе на одну сторону этой антиноміи: на инициативу, которая связывалась въ его представленіи преимущественно съ личнымъ характеромъ и частной жизнью писателя. Вотъ почему его «*Портреты*» хороши только съ этой психологической стороны, а историческое значеніе писателей выясняется въ нихъ довольно плохо. Но, повторяемъ, ошибка Сентъ-Бева причинена была не тѣмъ, что онъ опирался на факты, а тѣмъ, что для него не совсемъ ясно было философское значеніе фактовъ. Въ качествѣ ученика Гегеля, Бѣлинскій не смущался антиноміей, смущавшей Сентъ-Бева: онъ былъ убѣжденъ, что общее противорѣчитъ индивидуальному и что понятіе о свободѣ вполнѣ согласимо съ понятіемъ о необходимости.

¹⁾ *Portraits littéraires* (изд. братьевъ Гарнье), томъ I, стр. 6—7.

²⁾ Онъ задумывался надъ ними съ самаго начала своей литературной дѣятельности, какъ это видно изъ его статей, относящихся еще къ 1825 и 1826 годамъ (см. *Premiers Lundis*, томъ I, статьи по поводу сочиненій Тьера и Минье объ исторіи французской революціи). Тогда Сентъ-Бевъ склоненъ былъ придавать преувеличенное значеніе „личной инициативѣ“ не только у поэтовъ и художниковъ, но также и у политическихъ дѣятелей.

Въ этомъ случаѣ его взгляды высказывались съ своей сильной стороны. Но когда онъ говорилъ, что для пониманія греческой трагедіи неважно знаніе политической исторіи Греціи и отношенія греческихъ трагиковъ къ ихъ согражданамъ (т. е. знаніе общественной жизни грековъ), а достаточно выяснитъ себѣ значеніе греческаго народа въ абсолютной жизни человѣчества,—онъ обнаруживалъ слабую сторону своихъ взглядовъ. Абсолютный идеализмъ объяснялъ историческое движеніе человѣчества логическими законами развитія идеи. Исторія для него была чѣмъ-то въ родѣ прикладной логики. Гегель чрезвычайно внимательно относился къ событіямъ и явленіямъ общественно-исторической жизни и нерѣдко выказывалъ поразительную провицательность даже въ специальныхъ вопросахъ исторіи и политической экономіи. Но его идеалистическая точка зрѣнія мѣшала ему воспользоваться всѣмъ могуществомъ его собственнаго метода. А что касается до его послѣдователей, то взглядъ на исторію какъ на прикладную логику приводилъ ихъ иногда къ довольно невнимательному отношенію къ историческимъ «мелочамъ». Одинъ изъ примѣровъ такого невнимательнаго отношенія представлялъ Бѣлинскій, когда воображалъ, что «значеніе греческаго народа въ абсолютной жизни человѣчества» можетъ быть выяснено безъ помощи внимательнаго изученія соціально-политической исторіи Греціи. Тутъ самъ Гегель сказалъ бы, что онъ заблуждается, и отослалъ бы его къ своей «Philosophie der Geschichte».

Вообще, въ эпоху своего примирительнаго настроенія Бѣлинскій нерѣдко злоупотреблялъ апіорными логическими построеніями и пренебрегалъ фактами. Оно и понятно. Мы знаемъ уже изъ предыдущей статьи, что въ то время онъ увлекался Гегелемъ не какъ *диалектикомъ*, а какъ *провозвѣстникомъ абсолютной истины*. Это въ высшей степени важное обстоятельство наложило свою печать на всю его тогдашнюю литературную дѣятельность. Въ рецензій на «*Краткую исторію Франціи*» Мишле онъ съ жаромъ напалъ на Лерминье, который «объявилъ, что французы, какъ и всякій другой народъ, должны имѣть свою философію». Эта мысль кажется ему страшнымъ заблужденіемъ: «По его (Лерминье) теоріи, сколько головъ, столько и умовъ,—говоритъ онъ,—и всѣ эти умы суть разноцвѣтные очки, въ которые и міръ и истина кажутся разноцвѣтными; абсолютной истины нѣтъ, а все истины относительныя, хотя онѣ и явля къ чему не относятся». *Истина одна, истина абсолютна*,—вотъ та точка зрѣнія, съ которой Бѣлинскій смотритъ теперь на литературу. «Задача истинной критики,—говоритъ онъ въ своемъ разборѣ «*Очерковъ русской литературы*» Н. Полевого,—отыскать въ сужденіяхъ поэта общее, а не частное, человѣческое, а не людское, вѣчное, а не временное, необходимое, а не случайное, и опредѣлить на основаніи общаго, т. е. идеи, цѣну, достоинство, мѣсто и важность поэта». Стало быть,

истинной критикѣ нѣтъ дѣла до «временнаго». Но, отворачиваясь отъ «временнаго», критика тѣмъ самымъ отворачивается отъ всего историческаго.

Съ точки зрѣнія «абсолютной истины» сама исторія—*вопреки истинному смыслу абсолютнаго идеализма*—представлялась подчасъ простымъ сплетеніемъ бессмысленныхъ случайностей. Французская романтическая школа кажется Бѣлинскому явленіемъ «совершенно случайнымъ», произвольнымъ и потому ничтожнымъ. Да и вся вообще исторія французской литературы не имѣетъ въ его глазахъ большого смысла. «Четыре главные момента были въ исторіи французскаго искусства и литературы вообще,—говоритъ онъ:—вѣкъ стиховъ Ронсара и сентиментально-аллегорическихъ романовъ дѣвицы Скюдери, потомъ блестящій вѣкъ Людовика XIV, далѣе XVIII вѣкъ, за нимъ вѣкъ идеальности и неистовости (такъ называетъ онъ вѣкъ романтизма). И что же? Несмотря на внѣшнее различіе этихъ четырехъ періодовъ литературы, они тѣсно соединены внутреннимъ единствомъ, отличаются общностью основной идеи, которую можно опредѣлить такъ: надутость и приторность въ идеальности и искренность въ невѣріи, какъ выраженіе конечнаго разсудка, который составляетъ сущность французовъ и которымъ они торжественно превозносятся, величая его здравымъ смысломъ». Никакой другой идеи, кромѣ этой идеи приторности въ идеальности и искренности въ невѣріи, Бѣлинскій въ исторіи французской литературы не видитъ. Гегель былъ очень далекъ отъ такого взгляда на французскую литературу. Общественное движеніе во Франціи прошлаго вѣка пользовалось большимъ его сочувствіемъ. «Это былъ величественный восходъ солнца,—говорилъ онъ.—Всѣ мыслящія существа радостно привѣтствовали наступленіе новой эпохи. Торжественное настроеніе господствовало надъ этимъ временемъ, и весь міръ проникся энтузіазмомъ духа, какъ будто совершилось впервые его примиреніе съ божествомъ». Сопоставьте съ этимъ слѣдующій отзывъ Бѣлинскаго о литературной дѣятельности Вольтера: «Вольтеръ въ своемъ сатанинскомъ могуществѣ, подъ знаменемъ конечнаго разсудка, бунтовалъ противъ вѣчнаго разума, ярясь на свое безсиліе постичь разсудкомъ постижимое только разумомъ, который есть въ то же время и любовь, и благодать, и откровеніе». Какая колоссальная разница! Въ виду ея вполне позволительно предположить, что Бѣлинскій совсѣмъ не понималъ Гегеля. Но читатель уже знаетъ, что Гегель-діалектикъ былъ вовсе не похожъ на Гегеля-провозвѣстника абсолютной истины. Сочувственный отзывъ о французскомъ общественномъ движеніи принадлежитъ Гегелю-діалектику, а Гегелю-провозвѣстнику абсолютной истины принадлежало сочувствіе такимъ порядкамъ въ Германіи, при увѣковѣченіи которыхъ остановилось бы въ ней всякое общественное развитіе.

Въ эпоху своего примирительнаго настроенія Бѣлинскій зналъ именно

этого Гегеля, и онъ справедливо говорилъ впоследствии, что «быть вѣрнѣ ему въ ощущеніи, мирясь съ русской дѣйствительностью» ¹⁾.

Г. Пыпинъ полагаетъ, что въ концѣ 1842 или въ началѣ 1843 года Бѣлинскій «окончательно освободился отъ идеалистическаго романтизма, и въ его взглядахъ начинаетъ господствовать критическое отношеніе къ дѣйствительности, историческая и общественная точка зрѣнія». Это и неопредѣленно и невѣрно. Мы уже сказали въ предыдущей статьѣ, что возстаніе Бѣлинскаго противъ «философскаго колпака» Гегеля вовсе еще не означало разрывъ его съ философскимъ идеализмомъ. Послѣ этого возстанія въ его взглядахъ дѣйствительно сталъ господствовать историческій и общественный элементъ. Но это произошло единственно потому, что онъ покинулъ «абсолютную» точку зрѣнія для *діалектической*. Такъ какъ насъ занимаютъ теперь литературныя понятія Бѣлинскаго, то мы и прослѣдимъ на нихъ влияніе этого перехода.

Въ абсолютную эпоху своего философскаго развитія Бѣлинскій думалъ, что въ произведеніяхъ поэта критика должна найти «общее» и необходимое, а до временнаго и случайнаго ей нѣтъ никакого дѣла. Въ статьѣ «Взглядъ на русскую литературу 1847 года», т. е., стало быть, незадолго до своей смерти, онъ говоритъ: «Поэтъ долженъ выражать не частное и случайное, но общее и необходимое». Это, повидимому, тотъ же взглядъ. Но этотъ взглядъ существенно измѣнился введеніемъ въ него діалектическаго элемента. Бѣлинскій уже не противопоставляетъ теперь «общаго» «временному» и не отождествляетъ временнаго со «случайнымъ». *Общее развивается во времени, придавая временнымъ явленіямъ ихъ смыслъ и ихъ содержаніе.* Временное необходимо именно потому, что необходимо діалектическое развитіе общаго. Случайно только то, что не имѣетъ никакого значенія для хода этого развитія, что не играетъ въ немъ никакой роли. При нѣсколько внимательномъ чтеніи сочиненій Бѣлинскаго легко убѣдиться, что именно этой существенной переменной въ философ-

¹⁾ Какъ человѣкъ сильнаго логическаго ума, Бѣлинскій не могъ не замѣчать тѣхъ частныхъ противорѣчій, въ которыя попадалъ Гегель, благодаря указанному основному противорѣчію. Онъ разрѣшалъ эти противорѣчія такъ, что доводилъ до крайняго вывода „абсолютную“ тенденцію своего учителя. Очень ошибается тотъ, кто думаетъ, что, подчинившись влиянію Гегеля, Бѣлинскій отказался отъ всякой самостоятельности въ сужденіяхъ. Въ одномъ изъ своихъ писемъ отъ 1838 года онъ говоритъ: „Когда дѣло идетъ объ искусствѣ и особенно о его непосредственномъ пониманіи, я смѣлъ и дерзокъ, и моя смѣлость и дерзость въ этомъ отношеніи простираются до того, что и авторитетъ самого Гегеля имъ не предѣлъ... Понимаю мистическое уваженіе ученика къ своему учителю, но не почитаю себя обязаннымъ, не будучи ученикомъ въ полномъ смыслѣ этого слова, играть роль Сеида. Глубоко уважаю Гегеля и его философію, но это мнѣ не мѣшаетъ думать... что еще не всѣ приговоры во имя ея неприкосновенно святы и непреложны.

скихъ его воззрѣнiяхъ, т. е. этимъ введенiемъ въ нихъ діалектическаго элемента, обусловливаются почти всѣ тѣ измѣненiя, которыя совершились въ его литературныхъ взглядахъ послѣ разрыва съ Гегелемъ.

Покинувъ абсолютную точку зрѣнiя, онъ сталъ иначе, чѣмъ прежде смотрѣть на историческое развитiе искусства.

«Ничто не является вдругъ, ничто не рождается готовымъ,—говоритъ онъ въ статьѣ о Державинѣ;—но все, имѣющее идею своимъ исходнымъ пунктомъ, все развивается по моментамъ, движется діалектически, изъ низшей ступени переходя въ высшую. Этотъ непреложный законъ мы видимъ и въ природѣ, и въ человѣкѣ, и въ человечествѣ... Тотъ же законъ существуетъ и для искусства. Искусство также проходитъ различные фазисы развитiя. Такъ, въ Индiи оно является на первой ступени своего развитiя; оно имѣетъ тамъ символическiй характеръ; его образы выражаютъ идеи условно, а не непосредственно. Въ Египтѣ оно дѣлаетъ шагъ впередъ, нѣсколько приближаясь къ природѣ. Въ Греции оно совсѣмъ отрѣшается отъ символизма, и его образы облекаются въ простоту и истину, которая составляетъ высочайшiй идеалъ красоты».

Такъ какъ содержанiемъ искусства служить та же вѣчная идея, которая своимъ діалектическимъ движенiемъ опредѣляетъ все историческое движенiе человечества, а слѣдовательно, и развитiе человѣческаго духа, то понятно, что искусство всегда развивается въ связи съ развитiемъ общественной жизни и различныхъ сторонъ человѣческаго сознанiя. На первыхъ ступеняхъ своего развитiя оно въ большей или меньшей степени выражаетъ религiозныя идеи; затѣмъ оно становится выраженiемъ философскихъ понятiй. Тамъ, гдѣ искусство выражаетъ религiозныя идеи, его развитiе естественно обусловливается развитiемъ этихъ послѣднихъ. «Индiйское искусство не могло возвыситься до изображенiя человѣческой красоты, ибо въ пантеистической религiи индусовъ богъ есть природа, а человѣкъ—только ея служитель, жрецъ и жертва». Египетская мифологiя занимаетъ середину между индiйской и греческой: между ея богами встрѣчаются уже человѣческiе образы, но только въ Греции боги являются идеальными человѣческими образами, только здѣсь человѣческiй образъ является просвѣтленнымъ и возвышеннымъ, выражая собою высшую идеальную красоту. Въ Греции искусство впервые становится искусствомъ въ истинномъ смыслѣ этого слова, потому что въ немъ уже нѣтъ символизма и аллегорiи. «Объясненiе этого должно искать въ греческой религiи и глубоко, вполне развившемся и опредѣлившимся смыслѣ ея мирообъемлющихъ мифовъ»,—замѣчаетъ Бѣлинскiй.

На развитiе и характеръ искусства влияетъ также природа: «Огромность архитектурныхъ зданiй, колоссальность статуй индiйскихъ—явное отраженiе гигантской природы страны Гималаевъ, слоновъ и удавовъ. Нагота греческихъ изваянiй находится въ большей или меньшей связи

сь благословеннымъ климатомъ Эллады... Бѣдная и величаво дикая природа Скандинавіи была для нормановъ откровеніемъ ихъ мрачной религіи и сурово-величавой поэзіи».

Бѣлинскій, по-прежнему, нападаетъ на тѣхъ критиковъ, которые стараются личною жизнью поэта объяснить характеръ и исторію его творчества. Онъ называетъ ихъ теперь эмпириками. По его мнѣнію, эмпирическіе критики изъ-за частнаго не видятъ общаго, изъ-за деревьевъ—лѣса. Узнавъ изъ біографіи какого-нибудь поэта, что онъ былъ несчастенъ, они воображаютъ, что нашли ключъ къ пониманію его грустныхъ произведеній. Съ помощью такого приѣма чрезвычайно легко объясняется, напримѣръ, мрачный характеръ поэзіи Байрона. Эмпирическіе критики укажутъ на то, что у Байрона былъ раздражительный характеръ, что онъ былъ склоненъ къ ипохондріи; другіе прибавятъ, можетъ быть, что онъ страдалъ расстройствомъ пищеваренія, «добродушно не догадываясь, въ неизмѣнной простотѣ своихъ гастрическихъ воззрѣній, что такія малыя причины не могутъ имѣть своимъ результатомъ такія явленія, какъ поэзію Байрона». На самомъ дѣлѣ великій поэтъ только потому и великъ, что является органомъ и выразителемъ своего времени, своего общества, а слѣдовательно, и человѣчества. «Чтобы разгадать загадку мрачной поэзіи такого необъятно-колоссальнаго поэта, какъ Байронъ, должно сперва разгадать тайну эпохи, имъ выраженной, а для этого должно факеломъ философіи освѣтить историческій лабиринтъ событій, по которому шло человѣчество къ своему великому назначенію—быть олицетвореніемъ вѣчнаго разума, и должно опредѣлить физически градусъ широты и долготы того мѣста пути, на которомъ засталъ поэтъ человѣчество въ его историческомъ движеніи. Безъ того всѣ ссылки на событія, весь анализъ нравовъ и отношеній общества къ поэту и къ самому себѣ ровно ничего не объясняютъ».

Читателямъ уже извѣстно, что прежде Бѣлинскій очень несправедливо относился къ французской литературѣ. Корнель и Расинъ были для него поэтическими уродами ¹⁾. Ставъ на новую—*диалектическую*—точку зрѣнія, онъ уже иначе относится къ этимъ писателямъ. «Трагедіи Корнеля, правда, очень уродливы по ихъ классической формѣ,—говоритъ онъ,—и теоретики имѣютъ полное право нападать на эту китайскую форму, которой поддался величавый и могущественный геній Корнеля вслѣдствіе насильственнаго вліянія Ришилье, который и въ литературѣ хотѣлъ быть первымъ министромъ. Но теоретики жестоко ошиблись бы, если бы за уродливой псевдо-классической формой корнелевскихъ трагедій

¹⁾ Это напоминаетъ крайности „неистой“ (т. е. романической) школы, для самыхъ горячихъ представителей которой Расинъ былъ не болѣе, какъ *polisson*.

проглядѣли страшную внутреннюю силу ихъ паёса». Расинъ продолжаетъ казаться ему чопорнымъ и натанутымъ, но онъ замѣчаетъ, что этотъ чопорный и натанутый Расинъ въ древней Греціи былъ бы страстнымъ и глубокомысленнымъ Эврипидомъ. Вообще Бѣлинскій все больше и больше проникается тѣмъ убѣжденіемъ, что развитіе таланта вполне опредѣляется вліяніемъ окружающей его общественной среды. Поэтому его собственная критика все болѣе и болѣе становится *исторической*. Такою она является, напримѣръ, въ статьяхъ о Пушкинѣ, гдѣ проницательный историческій взглядъ Бѣлинскаго затемняется вліяніемъ другого, тоже очень важнаго элемента его критики, о которомъ мы будемъ говорить ниже.

IV.

Всѣ эти взгляды Бѣлинскаго представляютъ собою чистѣйшій гегелизмъ, взятый съ его діалектической стороны, и, говоря по правдѣ, нужно весьма основательное незнаніе исторіи новѣйшей философіи, чтобы этого не замѣтить. Разумѣется, переходъ съ абсолютной точки зрѣнія на діалектическую не могъ остаться безъ нѣкотораго вліянія на нѣкоторыя эстетическія сужденія Бѣлинскаго. Но въ общемъ эти сужденія почти не измѣнились. Возьмемъ хоть «Горе отъ ума». Въ письмѣ къ Боткину отъ 10—11 декабря 1840 года Бѣлинскій высказываетъ горячее сожалѣніе о томъ, что онъ плохо отзывался объ этой комедіи, которую онъ «осудилъ съ художественной точки зрѣнія» и о которой онъ говорилъ свысока, съ пренебреженіемъ, не догадываясь, что это благороднѣйшее, гуманическое произведеніе, эвергическій (и притомъ еще первый) протестъ противъ гнусной россійской дѣйствительности, противъ чиновниковъ-взяточниковъ, баръ-развратниковъ, противъ... свѣтскаго общества, противъ невѣжества, добровольнаго холопства и пр., и пр., и пр.¹⁾ Эта рѣзкость и искренность самообличенія дѣлаютъ большую честь Бѣлинскому. Но онъ не ручаются за то, что онъ вѣрно оцѣнилъ свое собственное сужденіе о комедіи Грибоедова. Поэтому припомнимъ, что сказалъ онъ о ней въ своей большой статьѣ, написанной еще въ эпоху мира съ дѣйствительностью.

Онъ сказалъ, что «Горе отъ ума» есть явленіе необыкновенное, произведеніе таланта яркаго, живого, свѣжаго, сильнаго, могучаго; что оно превосходно въ своихъ частностяхъ; что Наталья Дмитриевна съ своимъ мужемъ и ихъ взаимныя отношенія, князь Тугоуховскій и княгиня съ шестью дочерьми, графиня Хрюмины, бабушка и внучка, Загорѣцкій— все это типы, созданные рукою истиннаго художника, а ихъ рѣчи, слова, обращенія, манеры, образъ мыслей, пробивающійся изъ-подъ нихъ,—

¹⁾ Пышинъ, „Бѣлинскій“ и т. д., т. II, стр. 77—78.

геніальная живопись, поражающая вѣрностью, истинной и творческой объективностью; что комедія Грибоѣдова есть зданіе, построенное изъ драгоцѣннаго паросскаго мрамора, съ золотыми украшениями, дивной рѣзбой, изящными колоннами; но что при всемъ томъ нѣтъ въ ней художественной *цѣльности*, такъ какъ нѣтъ объективности, вслѣдствіе чего великолѣпное зданіе оказывается ничтожнымъ по своему назначенію, подобно какому-нибудь сараю, и критика должна признать, что «Горе отъ ума» есть собственно не комедія, а только сатира. Свою мысль объ отсутствіи художественной цѣльности въ знаменитомъ произведеніи Грибоѣдова Бѣлинскій подтверждаетъ довольно подробнымъ разборомъ его на основаніи «законовъ изящнаго». Изъ этого разбора оказывается, что характеры главныхъ дѣйствующихъ лицъ не выдержаны и что эти невыдержанные характеры не составляютъ комедіи своими взаимными отношеніями. Дѣйствующія лица очень много говорятъ и мало дѣлаютъ. Конечно, въ разговорахъ высказываются характеры. Но разговоры не должны быть сами себѣ цѣлью. «Въ истинно-художественномъ произведеніи дѣйствующія лица говорятъ не потому, что читателю или зрителю надо составить себѣ понятіе объ ихъ характерахъ, а потому, что не могутъ не говорить по самому своему положенію и по ходу дѣйствія. Такъ говорятъ, напримѣръ, въ «Ревизорѣ», но не такъ говорятъ въ «Горе отъ ума», гдѣ дѣйствующія лица провозносятъ такія рѣчи, которыя очень странны въ ихъ устахъ и которыя становятся намъ понятны только тогда, когда мы вспоминаемъ, что это говорятъ собственно не они, а самъ Грибоѣдовъ». Бѣлинскій думаетъ, что недостатки комедіи Грибоѣдова обуславливаются отсутствіемъ въ ней объективности. Въ другомъ мѣстѣ своей статьи онъ выражается еще рѣшительнѣе: «Въ комедіи нѣтъ цѣлаго, потому что нѣтъ идеи». Противорѣчіе Чацкаго съ окружающимъ его обществомъ не могло лечь въ основу истинно-художественнаго произведенія. Одно изъ двухъ: или въ русскомъ обществѣ не было круговъ, стоящихъ выше круга Фамусовыхъ, Тугоуховскихъ, Загорѣцкихъ и проч., или такіе круги существовали. Въ первомъ случаѣ общество было право, изгнавъ изъ своей среды человѣка ему чуждаго: «Общество всегда правѣе и выше частнаго человѣка, и частная индивидуальность только до той степени и дѣйствительность, а не призракъ, до какой она выражаетъ собою общество». Во второмъ случаѣ остается только удивляться, зачѣмъ Чацкій лѣзъ именно въ кругъ Фамусовыхъ, а не старался проникнуть въ другіе круги, ему болѣе близкіе и родственные. Вотъ почему противорѣчіе Чацкаго съ обществомъ кажется Бѣлинскому случайнымъ, а не дѣйствительнымъ. «Очевидно, что идея Грибоѣдова была сбивчива и неясна ему самому, а потому и осуществилась какимъ-то недоноскомъ». Теперь спрашивается — какъ же смотрѣлъ Бѣлинскій на Грибоѣдова, когда миновало его увлеченіе Гегелемъ, и «философскій колпакъ» нѣмец-

баго мыслителя сталъ вызывать въ немъ даже недоброжелательныя чувства. Въ статьѣ «Русская литература 1841 г.» онъ говоритъ слѣдующее:

«Содержаніе этой комедіи взято изъ русской жизни; паеосъ ея—негодование на дѣйствительность, запечатлѣнную печатью старины. Вѣрность характеровъ въ ней часто побѣждается сатирическимъ элементомъ. Полнотѣ ея художественности помѣшала неопредѣленность идеи, еще не вполне созрѣвшей въ сознаніи автора; справедливо вооружаясь противъ безсмысленнаго обезьянства въ подражаніи всему иностранному, онъ зоветъ общество къ другой крайности—къ «китайскому незнанію иноземцевъ». Не понявъ, что пустота и ничтожество изображеннаго имъ общества происходятъ отъ отсутствія въ немъ всякихъ убѣжденій, всякаго разумнаго содержанія, онъ слагаетъ всю вину на емѣшныя, бритые подбородки, на фраки съ хвостомъ назадъ, съ выемкой впереди и съ восторгомъ говоритъ о величавой одеждѣ долгополой старины. Но это показываетъ только незрѣлость, молодость таланта Грибоѣдова: «Горе отъ ума», несмотря на всѣ свои недостатки, кишитъ гениальными силами вдохновенія и творчества. Грибоѣдовъ еще не былъ въ состояніи владѣть такими исполинскими силами. Если бы онъ успѣлъ написать другую комедію, она далеко оставила бы за собой «Горе отъ ума». Это видно изъ самого «Горе отъ ума»: въ немъ такъ много речательствъ за огромное поэтическое развитіе».

Бѣлинскій говоритъ здѣсь объ идеѣ Грибоѣдова совсѣмъ не то, что говорилъ прежде. Въ этомъ отношеніи разница колоссальная. Но она не касается оцѣнки художественныхъ достоинствъ «Горе отъ ума». Оцѣнка этихъ достоинствъ ничѣмъ не отличается отъ той, какая была сдѣлана имъ въ примирительный періодъ. А между тѣмъ обозрѣніе русскои литературы за 1841 годъ писано, вѣроятно, около года послѣ того, какъ Бѣлинскій, въ письмѣ къ Боткани, сожалѣлъ о своемъ несправедливомъ отношеніи къ Грибоѣдову. Но въ 1841 г. новыя литературныя взгляды Бѣлинскаго еще не вполне установились, и потому сужденія, высказанныя имъ въ то время о тѣхъ или другихъ произведеніяхъ литературы, не могутъ считаться окончательными сужденіями. Поэтому мы укажемъ на статью «Мысли и замѣтки о русской литературѣ», которую Бѣлинскій написалъ для «Петербургскаго сборника», вышедшаго въ 1846 году. Въ этой статьѣ онъ называетъ комедію Грибоѣдова высокимъ образцомъ ума, таланта, остроумія, гениальности, злого, желчнаго вдохновенія, но въ то же время признаетъ ее только на половину ¹⁾.

Въ сужденіяхъ Бѣлинскаго о поэзи Шиллера тоже незамѣтно коренныхъ измѣненій, хотя несомнѣнно, что на первый взглядъ и здѣсь

¹⁾ Подобный же взглядъ онъ высказываетъ и въ одной изъ статей о Пушкинѣ.

дѣло должно представляться совсѣмъ иначе. Вспомнимъ исторію его отношеній къ драматическимъ произведеніямъ Шиллера. Сначала онъ восхищался ими и всецѣло находился подъ ихъ вліяніемъ.

Потомъ онъ пишетъ: «Можетъ я ошибаюсь, но, право, слесарша Пошлепкина для меня выше Теклы, этого десятого, послѣдняго, улучшеннаго, просмотрѣннаго и исправленнаго изданія одной и той же женщины Шиллера. А Орлеанка—что же мнѣ дѣлать съ самимъ собой! Орлеанка за исключеніемъ нѣсколькихъ чисто лирическихъ мѣсто, имѣющихъ особенное, свое собственное значеніе, для меня—пузырь бараній—не больше!» Въ это время онъ относился къ «странному полухудожнику, полуфилософу» почти съ ненавистью, во всякомъ случаѣ съ большимъ раздраженіемъ. Послѣ разрыва съ «колпакомъ» онъ провозглашаетъ Шиллера Тиверіемъ Гракомъ нашего времени и восторженно восклицаетъ: «Да здравствуетъ великій Шиллеръ, благородный адвокатъ челоувѣчества, яркая звѣзда спасенія, эмансипаторъ общества отъ кровавыхъ предразсудковъ преданія!» Кажется, невозможно измѣниться рѣзче въ своемъ отношеніи къ писателю.

Но въ томъ же письмѣ, изъ котораго мы заимствовали эти строки, заключается и разгадка новаго отношенія къ Шиллеру: «Для меня теперь челоувѣческая личность выше исторій, выше общества, выше челоувѣчества». Это прямая противоположность тому, что Бѣлинскій говоритъ объ отношеніи личности къ обществу по поводу «Горе отъ ума». Само собою понятно, что эта коренная переиѣнка во взглядѣ его на личность должна была повести за собой такую же коренную переиѣну въ его сужденіяхъ о писателяхъ, поэтически выражавшихъ стремленія и страданія личности, борющейся съ общественными предразсудками, и прежде всего о Шиллерѣ. Бѣлинскій не возмущается теперь его драматическими произведеніями, онъ вполне оправдываетъ ихъ и даже восхищается ими, но восхищается съ совершенно особой точки зрѣнія. Онъ говоритъ, что преобладающій характеръ шиллеровскихъ драмъ чисто лирическій и что «онъ ничего общаго не имѣютъ съ прототипомъ драмы, изображающей дѣйствительность, съ драмой Шекспира». Онъ называетъ шиллеровскія драмы великими, вѣковыми созданіями «въ своей сферѣ», но тутъ же прибавляетъ, что ихъ не должно смѣшивать съ настоящей драмой новаго міра, и замѣчаетъ: «Надо быть слишкомъ великимъ лирикомъ, чтобы свободно ходить на котурнѣ шиллеровской драмы: простой талантъ, взобравшійся на ея котурнѣ, непременно падаетъ съ него прямо въ грязь. Вотъ отчего всѣ подражатели Шиллера такъ притворны, пошлы и несносны». Это значитъ, что шиллеровскія драмы плохи, какъ драмы, и хороши лишь, какъ лирическія произведенія ¹⁾. По существу этотъ при-

¹⁾ Только въ „Валленштейнѣ“ Бѣлинскій видѣлъ стремленіе къ непосредственному творчеству.

говоръ мало отличается отъ того, который былъ произнесенъ и такъ страстно повторяемъ Бѣлинскимъ въ «печальное» время его дѣятельности. Г. П. Полевой говоритъ, что въ это время Бѣлинскому, благодаря его тогдашнимъ эстетическимъ понятіямъ, «пришлось выкинуть изъ области поэзіи всю субъективную лирику».

Но всякая лирика субъективна; по крайней мѣрѣ, такъ думалъ Бѣлинскій: «Въ эпосѣ, — говорилъ онъ, — субъектъ поглощенъ предметомъ; въ лирикѣ онъ не только переноситъ себя въ предметъ, растворяетъ, проникаетъ его собою, но и изводитъ изъ своей внутренней глубины всѣ тѣ ощущенія, которыя пробудило въ немъ столкновение съ предметомъ». Короче, содержаніе лирическаго произведенія есть самъ субъектъ и все, что происходитъ въ немъ. Поэтому выкинуть изъ области поэзіи субъективную лирику — значить выкинуть изъ нея всю лирику вообще. Но Бѣлинскому въ примирительный его періодъ чрезвычайно правилась лирика Гете, и «Московскій Наблюдатель» напечаталъ нѣкоторые превосходные переводы гетевскихъ лирическихъ стихотвореній. Поэзія Кольцова — тоже лирическая, а Бѣлинскій всегда очень цѣнилъ ее. Выходить, что лирики изъ поэзіи онъ не выкидывалъ.

Отрицательно относился онъ въ эпоху примиренія только къ такой лирикѣ, къ которой выражалось недовольство поэта «разумной дѣйствительностью». Слѣдовательно, только эту лирику ему и пришлось реабилитировать впоследствии. Но наши критики и историки литературы обыкновенно забываютъ или не знаютъ, что, допуская правомѣрность элемента рефлексіи въ поэзіи, Бѣлинскій только полнѣе усвоилъ себѣ эстетическую теорію Гегеля; самъ онъ хорошо зналъ это. Осуждая рефлексивную поэзію, онъ понималъ, что расходится съ нѣмецкимъ мыслителемъ. Защищая ее впоследствии, онъ ссылаясь на Гегелеву «Эстетику» ¹⁾. Этого мало. Бѣлинскій отчасти оставался на почвѣ гегелевой «Эстетики» даже тогда, когда нападалъ на такъ называемую теорію искусства для искусства. Въ своемъ обзорѣ русской литературы за 1847 годъ онъ говоритъ: «Вообще, характеръ новаго искусства — перевѣсъ важности содержанія надъ важностью формы, тогда какъ характеръ древняго искусства — равновѣсіе содержанія и формы». Это цѣлкомъ взято у Гегеля.

Отношеніе Бѣлинскаго къ Жоржъ-Зандъ напоминаетъ его отношеніе къ Шиллеру. Сначала онъ и слышать не хотѣлъ объ ея романахъ, а потомъ превозносить ихъ, можно сказать, безо всякой мѣры ²⁾. Но за что же

¹⁾ „Гегель въ своей „Эстетикѣ“ въ особенную услугу поставляетъ Шиллеру преобладаніе въ его произведеніяхъ рефлектирующаго элемента, называя его преобладаніе выраженіемъ духа новѣйшаго времени“. Объясненіе на объясненіе по поводу поэмы Гоголя „Мертвыя души“.

²⁾ Въ письмѣ къ Панаеву отъ 5 дек. 1842 г., написанномъ тотчасъ по прочтеніи „Мельхіора“, онъ восклицаетъ: „Мы счастливыцы—очи наши зрѣли спасеніе

онъ превозносить ихъ? Прежде всего за благородное негодованіе ихъ автора противъ лжи, «легитимированной насиліемъ невѣжества». Горячо сочувствуя благородному негодованію французской писательницы, Бѣлинскій анализируетъ и ея романы съ точки зрѣнія тѣхъ самыхъ «законовъ изящнаго», которые составляли его неизмѣнный эстетическій кодексъ. И онъ совсѣмъ не остается слѣпымъ къ художественнымъ недостаткамъ этихъ романовъ. Напомнимъ хоть его отрицательное отношеніе къ *Isidore*, «*Le meunier Angibault*», «*Le péché de Monsieur Antoine*».

Не знаемъ, нужно ли приводить новыя доказательства замѣчательной устойчивости эстетическихъ сужденій Бѣлинскаго, ярче всего проявившейся въ его отношеніи къ Гоголю. На всякій случай укажемъ на статьи о Лермонтовѣ. Правда, статьи эти написаны уже во время перехода Бѣлинскаго съ «абсолютной» точки зрѣнія на діалектическую. Но на первой статьѣ еще очень мало замѣтно вліяніе этого переходнаго времени. Бѣлинскій категорически заявляетъ тамъ, что искусство нашего вѣка есть воспроизведеніе разумной дѣйствительности. У него выходитъ, что Печоринъ страдаетъ только потому, что еще не примирился съ этой дѣйствительностью. Г. Пыпинъ сказалъ бы, что это чистѣйшій романтическій идеализмъ. Но романтическій идеализмъ не помѣшалъ Бѣлинскому хорошо понять, съ какимъ поѣтомъ онъ имѣлъ дѣло. Впослѣдствіи, совершенно перейдя на діалектическую точку зрѣнія, онъ лучше понималъ общественное значеніе лермонтовскаго творчества, но на *художественную* его сторону онъ продолжалъ смотрѣть такъ же, какъ смотрѣлъ и прежде ¹⁾.

«Критика Бѣлинскаго развивалась совершенно послѣдовательно и постепенно,—говоритъ авторъ «Очерковъ гоголевскаго періода русской литературы»,—статья объ «Очеркахъ бородинскаго сраженія» противоположна статьѣ о «Выбранныхъ мѣстахъ» (т. е. о «Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ друзьями» Гоголя), потому что онѣ составляютъ двѣ крайнія точки пути, пройденнаго критикой Бѣлинскаго, но если будемъ

наше—и мы отпущены съ миромъ владыкою, мы дождались пророковъ нашихъ—и узнали ихъ, мы дождались знаменій—и поняли ихъ“, и т. д. Это поистинѣ безпредѣльный восторгъ.

¹⁾ Сужденія его о Лермонтовѣ лучше всего показываютъ, что восторженное отношеніе къ писателю не мѣшало ему быть очень строгимъ къ художественнымъ недостаткамъ его произведеній. Такъ, въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Боткину, относящихся къ 1842 г., онъ рассказываетъ, какъ онъ ушивался „Вояриномъ Оршей“: „Есть мѣста убійственно-хорошія, а *тонъ* цѣлаго—страшное, дикое наслажденіе. Мочи нѣтъ, я пьянъ и неистовъ. Такіе стихи охмеляютъ лучше всѣхъ винъ“. Но въ томъ же году и къ тому же Боткину Бѣлинскій писалъ, что въ художественномъ отношеніи „Орша“ есть дѣтское произведеніе и что въ художественности Лермонтовъ уступитъ не только Пушкину, но даже Майкову, въ его антологическихъ стихотвореніяхъ.

перечитывать его статьи въ хронологическомъ порядкѣ, мы нигдѣ не замѣтимъ крутого перелома или перерыва; каждая послѣдующая статья очень тѣсно примыкаетъ къ предыдущей, и прогрессъ совершается, при всей своей огромности, постепенно и совершенно логически».

Это справедливо; надобно было лишь прибавить, что статья объ «Очеркахъ бородинскаго сраженія» противоположна статьѣ о «Выбренныхъ мѣстахъ», *главнымъ образомъ, въ публицистическомъ отношеніи.*

V.

Изъ какихъ же законовъ состоялъ неизмѣнный эстетическій кодексъ Бѣлиноскаго?

Этихъ законовъ немного,—всего пять, и они указаны имъ еще въ статьяхъ, относящихся къ *примирительному періоду его дѣятельности.* Впослѣдствіи онъ только пояснял и иллюстрировалъ ихъ новыми примѣрами.

Первымъ изъ нихъ, такъ сказать, основнымъ закономъ является тотъ, согласно которому поэтъ долженъ *показывать*, а не *доказывать*; «мыслить образами и картинами, а не силлогизмами и дилеммами». Этотъ законъ вытекаетъ изъ самаго опредѣленія поэзіи, которая, какъ мы знаемъ, есть непосредственное созерцаніе истины или мышленіе въ образахъ. Тамъ, гдѣ не соблюденъ этотъ законъ, нѣтъ поэзіи, а есть только символика и аллегорія. Бѣлинскій никогда не забывалъ взглянуть на разбираемое имъ произведеніе съ точки зрѣнія этого закона. Онъ вспоминаетъ о немъ и въ своемъ послѣднемъ годичномъ обзорѣ русской литературы: «Философы говорятъ силлогизмами, поэтъ—образами и картинами».

Такъ какъ предметъ поэзіи—истина, то величайшая красота заключается именно въ истинѣ и простотѣ, а правдивость и естественность составляютъ необходимое условіе истинно-художественнаго творчества. Поэтъ долженъ изображать жизнь, какъ она есть, не прикрашая ее и не искажая. *Это второй законъ* художественнаго кодекса Бѣлинскаго. Онъ настаивалъ на немъ съ одинаковой энергіей во всѣ періоды своей литературной дѣятельности. Произведенія Гоголя и натуральной школы нравились ему, между прочимъ, своей полной правдивостью и простотой, въ которыхъ онъ видѣлъ отраднѣйшій признакъ зрѣлости. «Послѣдній періодъ русской литературы, періодъ прозаическій, рѣзко отличается отъ романтическаго какой-то мужественной зрѣлостью,—говоритъ онъ въ обзорѣ русской литературы за 1842 г.—Если хотите, онъ не богатъ числомъ произведеній, но зато все, что являлось въ немъ посредственнаго и обыкновеннаго, все это не пользовалось никакимъ успѣхомъ или имѣло только успѣхъ мгновенный; а все то немногое, что выходило

изъ ряда обыкновеннаго, ознаменовано печатью зрѣлой и мужественной силы, осталось навсегда и въ своемъ торжественномъ, побѣдоносномъ ходѣ, постепенно приобрѣтая вліяніе, прорывавало на почвѣ литературы и общества глубокіе слѣды. Сближеніе съ жизнью, съ дѣйствительностью есть прямая причина мужественной зрѣлости послѣдняго періода нашей литературы». Нѣсколько лѣтъ спустя, снѣ повторяетъ: «Если бы насъ спросили, въ чемъ состоитъ отличительный характеръ современной русской литературы, мы отвѣчали бы: въ болѣе или менѣе тѣсномъ сближеніи съ жизнью, съ дѣйствительностью, въ болѣе и болѣе зрѣлости и возмужалости».

Третій законъ изящнаго гласитъ, что идея, лежащая въ основѣ художественнаго произведенія, должна быть конкретной идеей, охватывающей весь предметъ, а не только какую-нибудь одну его сторону. Эта конкретная мысль должна отличаться единствомъ. Если же она «переходитъ другую, хотя бы и имѣющую къ ней отношеніе мысль, — тогда нарушается единство художественнаго произведенія, а слѣдовательно единство и сила впечатлѣнія, производимаго на читателя. Прочтя такое произведеніе, чувствуешь себя обезпокоеннымъ, но не удовлетвореннымъ».

Въ силу *четвертаго закона* форма художественнаго произведенія должна соответствовать его идеѣ, а идея—формѣ.

Наконецъ, единству мысли должно соответствовать единство формы. Другими словами, всѣ части художественнаго произведенія должны составлять одно гармоническое цѣлое. Это *пятый* и послѣдній законъ кодекса Бѣлинскаго. Этотъ кодексъ и составляетъ ту объективную основу, на которую опирался Бѣлинскій въ своихъ критическихъ сужденіяхъ. Такъ какъ поэтъ мыслить образами, а не силлогизмами, то естественно, что онъ, ясно видя образъ, не всегда ясно видитъ выражающуюся въ немъ идею. Въ этомъ смыслѣ его творчество можно назвать бессознательнымъ. Въ первые два періода своей дѣятельности (т. е. до увлеченія абсолютной философіей Гегеля и во время его) Бѣлинскій думалъ, что бессознательность составляетъ главную отличительную черту и необходимое условіе всякаго поэтическаго творчества: впоследствии онъ выражался на этотъ счетъ не такъ рѣшительно, но онъ никогда не пересталъ приписывать бессознательности большое значеніе въ дѣятельности истинныхъ художниковъ.

«Теперь всѣхъ увлекаетъ волшебное слово «направленіе»,—писалъ онъ въ обзорѣ литературы за 1847 годъ,—думаютъ, что все дѣло въ немъ, и не понимаютъ, что въ сферѣ искусства, во-первыхъ, никакое направленіе гроша не стоитъ безъ таланта, а во-вторыхъ, самое направленіе должно быть не въ головѣ только, а прежде всего въ сердцѣ, въ крови пишущаго; прежде всего должно быть чувствомъ, инстинктомъ, а потомъ уже, пожалуй (sic!), и сознательной мыслью,—что для него, этого

направленія, такъ же надобно родиться, какъ и для самого искусства». Въ этомъ же обзорѣнн, защищая натуральную школу отъ упрека въ томъ, что она наводила литературу мужиками, Бѣлинскій замѣчаетъ, что писатель (т. е. писатель-художникъ) не ремесленникъ и что въ выборѣ предметовъ сочиненія онъ не можетъ руководствоваться ни чуждой ему волей, ни даже собственнымъ произволомъ, а долженъ остаться вѣрнъ своему таланту и своей фантазій. Мы сочли нужнымъ отмѣтить здѣсь этотъ взглядъ Бѣлинскаго потому, что въ шестидесятыхъ годахъ наши просвѣтителы, и особенно Писаревъ, отрицали всякій элементъ безсознательности въ художественномъ творчествѣ.

Возстаніе противъ русской дѣйствительности измѣнило основныя эстетическія понятія Бѣлинскаго лишь въ одномъ отношеніи, именно,— онъ сталъ иначе *интерпретировать* тотъ законъ эстетическаго кодекса, въ силу котораго идея художественнаго произведенія должна быть конкретна, т. е. охватывать предметъ со всѣхъ сторонъ. Что значить охватывать предметъ со всѣхъ сторонъ? Въ примирительную эпоху это значило у Бѣлинскаго то, что поэтическое произведеніе должно изображать разумность окружающей поэта дѣйствительности. Если же оно не достигаетъ этой цѣли, если оно приводитъ насъ къ полуубѣжденію, что дѣйствительность не совсѣмъ разумна, то это значить—въ немъ изображена только одна сторона предмета, т. е. что оно не *художественно*. Такая интерпретація узка и потому совсѣмъ неправильна. Идея ревности вовсе не охватываетъ всѣхъ отношеній, существующихъ между мужемъ и женой въ цивилизованномъ обществѣ, но это не помѣшало Шекспиру дать вполне художественное ея изображеніе. Такой конкретной идеи, которая охватывала бы рѣшительно всѣ стороны общественной жизни, быть не можетъ: жизнь слишкомъ сложна для этого. Чтобы идея была конкретной, достаточно, чтобы она вполне охватывала одно какое-нибудь явленіе. Если бы Гюго вздумалъ писать «Отелло», онъ навѣрное далъ бы намъ натянутую, нехудожественную драму. Отчего? Оттого, что идею ревности онъ понялъ бы такъ, какъ понималъ все—отвлеченно односторонне. Критика имѣла бы полное основаніе упрекнуть его за это; но она была бы совершенно неправа, если бы поставила ему въ вину то, что онъ изобразилъ несчастный, патологическій случай любовныхъ отношеній, а не далъ всесторонняго ихъ изображенія. Покинувъ абсолютную точку зрѣнія, Бѣлинскій понялъ, какъ неправильно было его пониманіе указаннаго нами закона, но самому закону, какъ и всему своему эстетическому кодексу, онъ продолжалъ придавать такое же большое значеніе, какъ и прежде. Но если возстаніе противъ дѣйствительности мало измѣнило собственно *эстетическія* понятія Бѣлинскаго, то оно произвело цѣлый переворотъ въ его общественныхъ понятіяхъ. Неудивительно поэтому, что измѣнился, между прочимъ, и взглядъ его на ту роль, которую должно искус-

ство играть въ общественной жизни, а также и на задачу критики. Прежде онъ говорилъ, что поэзія сама по себѣ цѣль. Теперь онъ оспариваетъ такъ называемую теорію чистаго искусства. Онъ доказываетъ, что мысль объ искусствѣ, отрѣшенномъ отъ жизни и не имѣющемъ ничего общаго съ другими ея сторонами, «есть мысль отвлеченная, мечтательная», которая могла родиться только въ Германіи, т. е. у народа мыслящаго и мечтающаго, но чуждаго широкой и живой общественной дѣятельности. Чистаго искусства нигдѣ и никогда не было. Поэтъ—гражданинъ своей страны, сынъ своего времени. Духъ этого времени дѣйствуетъ на него не менѣе, чѣмъ на его соотечественниковъ. Вотъ почему исключительно эстетическая критика, которая хочетъ разбирать произведеніе поэта, не обращая вниманія на историческій характеръ его эпохи и на обстоятельства, вліявшія на его творчество, утратила всякій кредитъ, стала невозможной. «Обыкновенно ссылаются на Шекспира и особенно на Гете, какъ на представителей свободнаго чистаго искусства; но это одно изъ самыхъ неудачныхъ указаній,—говоритъ Бѣлинскій:—Шекспиръ все передаетъ черезъ поэзію, но передаваемое имъ далеко отъ того, чтобы принадлежать одной поэзіи». Ссылка на Гете кажется Бѣлинскому еще менѣе удачной. Какъ на произведеніе чистаго искусства; подчиняющагося только своимъ собственнымъ законамъ, указываютъ на «Фаустъ». Но «Фаустъ» является полнымъ отраженіемъ всей жизни современнаго ему нѣмецкаго общества; въ немъ выразилось все философское движеніе Германіи конца прошлаго вѣка. «Гдѣ же тутъ чистое искусство?»—спрашиваетъ Бѣлинскій.—Онъ думаетъ, что къ идеалу чистаго искусства больше всякаго приближается греческое искусство. Но и оно брало свое содержаніе изъ религіи и гражданской жизни. «Стало быть, и греческое искусство только ближе другихъ къ идеалу абсолютнаго искусства, но нельзя назвать его абсолютнымъ, т. е. независимымъ отъ другихъ сторонъ національной жизни». Новѣйшее искусство всегда было далеко отъ этого идеала и все болѣе и болѣе удаляется отъ него, такъ какъ служитъ другимъ, болѣе важнымъ для человечества интересамъ. И несправедливо было бы ставить ему это въ вину: отнимать у него право служить общественнымъ интересамъ—значитъ не возвышать, а унижать его, лишать его живой силы, т. е. мысли, и дѣлать его «предметомъ какого-то сибаритскаго наслажденія, игрушкой праздныхъ лѣнливцевъ».

Прежде Бѣлинскому нравилась мысль извѣстнаго стихотворенія Пушкина «Чернь», теперь онъ возмущается ею; теперь онъ убѣжденъ, что такъ какъ всякая дѣйствительная поэзія вытекаетъ изъ народной почвы, то поэтъ не имѣетъ ни основанія, ни права относиться съ презрѣніемъ къ толпѣ въ смыслѣ народной массы. Къ тому же мы вправѣ требовать, чтобы въ творествѣ поэта отражались современные великіе общественные вопросы. «Кто поэтъ для себя и про себя, презирая толпу,

тотъ рискуеть быть единственнымъ читателемъ своихъ произведеній»,— такъ говоритъ Бѣлинскій въ своей пятой статьѣ о Пушкинѣ. Въ разговорѣ съ друзьями онъ — какъ это видно изъ воспоминаній Тургенева— высказался еще рѣзче. Особенное негодованіе его вызывали два стиха:

Печной горшокъ тебѣ дороже—
Ты пищу въ немъ себѣ варишь.

«И конечно,—твердилъ Бѣлинскій, сверкая глазами и бѣгая изъ угла въ уголъ,—конечно, дороже. Я не для себя одного, я для своего семейства, я для другого бѣдняка въ немъ пишу варю, и прежде, чѣмъ любоваться красотой истукана,—будь онъ распрефидасовскій Аполлонъ,—мое право, моя обязанность накормить своихъ и себя на зло всякимъ негодующимъ баричамъ и виршеплетамъ». Мысль пушкинскаго «Поэта» Бѣлинскій также считаетъ теперь совершенно ложной. Поэтъ долженъ быть чистъ и благороденъ не только тогда, когда Аполлонъ потребуеть его къ священной жертвѣ, а всегда, въ теченіе всей своей жизни. «Наше время преклонитъ колѣна только передъ художникомъ, котораго жизнь есть лучшій комментарий на его творенія, а творенія—лучшее оправданіе его жизни. Гете не принадлежалъ къ числу пошлыхъ торгашей идеями, чувствами и поэзіей; но практическій и историческій индифферентизмъ не далъ бы ему сдѣлаться властителемъ думъ нашего времени, несмотря на всю широту его мірообъемлющаго генія».

VI.

Рѣзко-отрицательное отношеніе къ теоріи искусства для искусства представляетъ собою самое большое и самое крѣпкое изъ тѣхъ звеньевъ, которыя связывали критику Бѣлинскаго съ критикой второй половины пятидесятихъ и первой половины шестидесятихъ годовъ. Вотъ почему оно заслуживаетъ удвоеннаго вниманія.

Наши просвѣтители не могли простить Пушкину его презрительнаго отношенія къ «червямъ земли», къ «черни»; его одного было бы достаточно, чтобы настроить ихъ противъ великаго поэта. Но вѣрно ли поняли они Пушкина? О какой черни говоритъ онъ въ своихъ стихотвореніяхъ? Бѣлинскій думалъ, что это слово означаетъ *народную массу*. У Писарева это мнѣніе перешло въ непоколебимое убѣжденіе. Оттого-то онъ и отвѣчалъ поэту съ такою неудержимою страстью: «Ну, а ты, возвышенный критикъ, ты, сынъ небесъ, ты въ чемъ варишь себѣ пищу: въ горшкѣ или въ бельведерскомъ кумирѣ?... *Червь земли* живетъ впроголодь, а *сынъ неба* приобрѣтаетъ себѣ надежный слой жира, который даетъ ему полную возможность создать себѣ мраморныхъ боговъ и беззастѣнчиво плевать въ печные горшки неимущихъ соотечественниковъ». Но откуда же видно, что у Пушкина поэтъ громитъ именно своихъ

«неимущихъ соотечественниковъ», именно бѣдноту, живущую впроголодь? Этого рѣшительно ни откуда не видно.

Въ статьяхъ и письмахъ самого Бѣлинскаго нерѣдко встрѣчаются нападки на «чернь» и на «толпу», которая не понимаетъ ничего высокаго. Но странно было бы на этомъ основаніи обвинять его въ презрительномъ отношеніи къ бѣднымъ. Въ «*Отвѣтъ анониму*» Пушкинъ восклицаетъ:

Смѣшонъ, участія кто требуетъ у свѣта!
Холодная толпа взираетъ на поэта,
Какъ на завѣжаго фигляра...

Неужели и здѣсь слово «толпа» надо понимать въ смыслѣ народной массы?

Въ письмѣ къ кн. Н. А. Вяземскому (1825 г.) онъ такъ отзывается о толпѣ: «Толпа жадно читаетъ исповѣди, записки etc., потому что въ подлости своей радуется униженію высокаго, слабостямъ могучаго. При открытіи всякой мерзости она въ восхищеніи: онъ малъ, какъ и мы, онъ мерзокъ, какъ и мы! Врете, подлецы: онъ и малъ, и мерзокъ не такъ, какъ вы—иначе!»

Народъ ли эта толпа, жадно читающая исповѣди и записки великихъ людей? А вѣдь нельзя отрицать, что у Пушкина холодная толпа есть то же самое, что хладный и надменный народъ, тупая чернь и т. д.

Въ «Евгеніи Онѣгинѣ» онъ говоритъ, что жить въ свѣтѣ—значить жить

Среди бездушныхъ гордецовъ,
Среди блистательныхъ глупцовъ,
Среди лукавыхъ, малодушныхъ,
Шальныхъ, балованныхъ дѣтей,
Злодѣевъ и смѣшныхъ и скучныхъ,
Тупыхъ, привязчивыхъ судей,
Среди кокетокъ богомольныхъ,
Среди холоповъ добровольныхъ,
Среди всеневныхъ модныхъ сценъ,
Учтивыхъ, ласковыхъ намѣнъ,
Среди холодныхъ приговоровъ
Жестокосердой суеты,
Среди холодной пустоты
Разчетовъ, думъ и приговоровъ...

Какъ вы полагаете, читатель, очень ли цѣнять бельведерскій кумарь эти богомольныя кокетки, эти бездушные гордецы и эти блистательные глупцы? Мы думаемъ, что они очень равнодушны къ искусству и ко всѣмъ кумирамъ, кромѣ золотого тельца. Откуда же происходитъ это равнодушіе? Вѣдь блистательные глупцы врядъ ли могутъ сослаться въ свое оправданіе на гнетущую бѣдность и на тяжелый трудъ, не оставляющій времени на духовныя наслажденія? Конечно, не въ бѣдности

тутъ дѣло. Предпочтеніе печного горшка Аполлону Бельведерскому означаетъ у Пушкина просто полную незначительность духовныхъ интересовъ въ сравненіи съ матеріальными. Пушкинъ имѣетъ въ виду не только потребительную, но также и мѣновую стоимость печного горшка. Мѣновая стоимость его ничтожна, а блистательные глупцы, надменная и холодная свѣтская чернь, просвѣщенная изобиліемъ и матеріальными наслажденіями всякаго рода, все-таки дорожить имъ больше, чѣмъ великимъ произведеніемъ искусства. Она умѣетъ найти употребленіе печному горшку и не знаетъ, зачѣмъ существуютъ эти произведенія. Неужели она права, а виновата поэтъ, упрекающій ее въ томъ, что она знаетъ одну наживу?

Мысль стихотворенія «Чернь», очевидно, та же, что мысль драмы Альфреда де-Виньи «Чаттертонъ». Въ этой драмѣ дошедшій до нищеты поэтъ убиваетъ себя, убѣдившись, что ему никогда не добьется сочувствія со стороны окружающей его холодной и надменной черни. А въ составъ этой черни входятъ далеко не бѣдняки: молодые лорды, преданные свѣтскому разврату, фабрикантъ, выжимающій соки изъ своихъ рабочихъ, и лондонскій мэръ. Этотъ почтенный буржуа, какъ видно, тоже дорожить печнымъ горшкомъ больше, чѣмъ бельведерскимъ кумиромъ; онъ даетъ Чаттертону благоразумный совѣтъ оставить ничего не приносящее занятіе поэзіей и взяться за полезный трудъ: поступить въ лакеи. Неужели упрекнуть сытаго и самодовольнаго лордъ-мера въ тупости,—значало бы оскорбить трудящееся человѣчество? ¹⁾

Каково жить среди блистательныхъ глупцовъ, это видно изъ собственнаго примѣра Пушкина:

...Они вѣнецъ терновый,
Увитый лаврами, надѣли на него;
Но иглы тайныя сурово
Явили славное чело...

Все, что намъ извѣстно о жизни Пушкина въ тотъ періодъ его жизни, который начался послѣ его Wanderjahre и въ теченіе котораго сложились его окончательные взгляды на искусство, показываетъ, что въ приведенныхъ нами словахъ Лермонтова нѣтъ и тѣни преувеличенія. Пушкину было страшно тяжело въ окружавшей его общественной средѣ. «Пошлость и глупость нашихъ обѣихъ столицъ одна и та же, хотя и въ различномъ родѣ»,—жалуется онъ въ письмѣ къ П. А. Осиповой, написанномъ весною 1827 года. Въ январѣ 1828 года онъ повторяетъ ей же: «Признаюсь, что шумъ и суета Петербурга сдѣлались мнѣ совершенно чужды, я съ трудомъ ихъ переношу». Приблизительно къ тому же времени относится его полное отчаянія стихотвореніе «Даръ напрас-

¹⁾ По словамъ Нисарева, Пушкинъ отрицалъ и проклиналъ все трудящееся человѣчество.

ный, даръ случайный», и эти безотрадныя стихи, которые такъ часто повторялъ Бѣлинскій въ тяжелыя минуты недовольства собою и окружающею жизнью:

Въ степи мірской, печальной и безбрежной,
Таинственно пробились три ключа;
Ключъ юности—ключъ быстрый и мятежный—
Кипить, бѣжить, сверкая и журча;
Кастальскій ключъ волною вдохновенья
Въ степи мірской изгнанниковъ поить.
Послѣдній ключъ—холодный ключъ забвенья—
Онъ слаще всѣхъ жаръ сердца утопить.

Бѣлинскій говоритъ, что поэтъ не можетъ и не долженъ пѣть для себя и про себя. Но для кого же станетъ онъ пѣть тамъ, гдѣ его никто не слушаетъ и гдѣ его пѣснямъ предпочитаютъ водевильныя куплеты? Въ такомъ обществѣ остается одно изъ двухъ: или, оттолкнувъ отъ себя напрасный и случайный даръ жизни, утолить жаръ сердца въ ключѣ забвенья, т. е. поступить такъ, какъ поступилъ Чаттертонъ, или пѣть для самого себя и для немногихъ избранныхъ, которымъ искусство дорого, какъ искусство, а не какъ средство привлечь къ себѣ милость чиновнаго покровителя или какъ лишній предметъ для пустой болтовни салона.

Писаревъ негодуетъ на то, что пушкинскій поэтъ презрительно отклоняетъ отъ себя предложеніе толпы пѣть для ея нравственнаго исправленія, проповѣдать ей мораль. Но мораль морали рознь. Откуда зналъ Писаревъ мораль толпы, бесѣдовавшей съ поэтомъ? Упомянутые нами лордъ-мэръ и фабрикантъ изъ «Чаттертона» тоже очень одобрили бы поэта, взявшагося за проповѣдь ихъ морали, но прежде, чѣмъ взяться за нее, ему нужно было бы убить самыя лучшія стремленія своего сердца. И потому, признаемся, насъ нисколько не огорчило бы, если бы онъ гордо отвѣтилъ имъ:

Подите прочь, какое дѣло
Поэту мирному до васъ:
Въ развратѣ каменѣйте смѣло,
Не оживить васъ лиры гласъ!...

Пушкину не разъ предлагали писать полезныя для славы отечества правоучительныя произведенія. Онъ предпочиталъ «чистое» искусство и именно этимъ доказалъ, что былъ выше ходячей тогда морали.

Говорятъ, зачѣмъ же Пушкинъ лѣзъ въ среду, съ которой у него не было ничего общаго? Это тотъ же самый вопросъ, который ставитъ Бѣлинскій по поводу Чацкаго. Мы отвѣтимъ на него другимъ вопросомъ: какой общественный слой былъ тогда, по своему нравственному и умственному развитію, выше свѣтскаго слоя? Конечно, Пушкинъ могъ бы собрать вокругъ себя небольшой дружескій кружокъ образованныхъ дво-

рягъ и разночинцевъ и замкнуться въ немъ. Ему помѣшали въ этомъ воспитаніе и привычки. Его тянуло въ свѣтъ, какъ тянуло туда, напри- мѣръ, его друга Чаадаева, который, по словамъ хорошо его знавшаго автора «Былого и думъ», живой протестаціей смотрѣлъ на вихрь лицъ, бессмысленно вертѣвшихся около него, капризничалъ, дѣлался стран- нымъ, отчуждался отъ общества и не могъ его покинуть. И такъ же, какъ Чаадаевъ, Пушкинъ, ища разобъясненія въ высшемъ словѣ общества, берегъ для себя свои лучшія мысли. Бѣлинскій находилъ, что Чацкому совсѣмъ не слѣдовало идти въ кругъ Фамусовыхъ, князей Тугоуховскихъ, графинь Хрюминыхъ и т. д. Интересно, что въ замѣчаніяхъ Пушкина на «Горе отъ ума» высказывается иной взглядъ. Пушкинъ не удивляется тому, что Чацкій возвращается въ свѣтскомъ обществѣ. Онъ думаетъ только, что непростительно было произносить въ этомъ обществѣ такіа рѣчи, какія произносилъ Чацкій. «Первый признакъ умнаго человѣка—съ перваго взгляда знать, съ кѣмъ имѣешь дѣло, и не метать бисера передъ Репетилковыми и т. д.». Это будетъ вѣрно, если мы къ эпитету «умнаго» прибавимъ: *и не лишеннаго житейской опытности*. Но не въ томъ дѣло. Важно то, что *въ извѣстныя историческія эпохи нежеланіе метать бисеръ передъ холодной и неразвитой толпой необходимо должно приводить умныхъ и талантливыхъ людей къ теоріи искусства для искусства*.

Мысль стихотворенія «Поэтъ» тоже была неправильно понята Бѣ- линскимъ. Пушкинъ вовсе не даетъ въ немъ поэтамъ разрѣшенія быть пошляками до тѣхъ поръ, пока Аполлонъ не потребуетъ ихъ къ свя- щенной жертвѣ. Онъ говоритъ не о томъ, чѣмъ *долженъ* быть поэтъ, а показываетъ, чѣмъ поэтъ *бываетъ* и что значить для него вдохно- веніе. Въ «Египетскихъ ночахъ» итальянскій композиторъ является лицомъ очень непривлекательнымъ: онъ необразованъ, пусть, не чуждъ низкопоклонства и жаденъ. Но этотъ же композиторъ перерождается подъ влияніемъ вдохновенія. Спрашивается, бываетъ ли такъ на самомъ дѣлѣ, или Пушкинъ оклеветалъ психологію таланта, приписывалъ ей черту, съ талантомъ не вяжущуюся? Намъ кажется, что никакой клеветы тутъ нѣтъ; указанную Пушкинымъ черту можно встрѣтить всегда; но бывають эпохи, въ которыя почти всѣ талантливые люди извѣстнаго общественнаго класса походятъ на пушкинскаго итальянца-композитора. Это эпохи общественнаго индифферентизма и упадка гражданской нрав- ственности. Онѣ соответвуютъ той фазѣ общественнаго развитія, когда данный господствующій классъ готовится сойти съ исторической сцены, но еще не сходить съ нея потому, что не вполне созрѣлъ классъ, ко- торый долженъ положить конецъ его господству. Въ такіа эпохи люди господствующаго класса слѣдуютъ принципу «après nous le déluge» и думаютъ каждый о самомъ себѣ, оставляя общественное благо на произ-

воля слѣпного случая. Понятно, что въ такія эпохи и поэты не избѣгаютъ общей участи: ихъ души погружаются въ «хладный сонъ», ихъ нравственный уровень страшно понижается. Тогда они не спрашиваютъ себя, право ли то дѣло, хорошъ ли тотъ порядокъ, которому они служатъ своимъ талантомъ. Они ищутъ только богатыхъ покровителей, заботятся только о выгодномъ сбытѣ своихъ произведеній. Но и на нихъ сказывается магическое дѣйствіе таланта, и они становятся выше и нравственнѣе въ минуты вдохновенія. Въ такія минуты даровитый поэтъ думаетъ только о своемъ трудѣ, испытываетъ безкорыстное наслажденіе творчества и становится чище, потому что забываетъ низкія страсти, волнующія его въ другое время! Вотъ на это-то облагораживающее вліяніе поэтическаго творчества и хотѣлъ указать Пушкинъ, не вдававшійся въ философско-историческія соображенія, но, какъ видно, очень интересовавшійся психологіей художника ¹⁾. Ему отраднo было думать, что какъ бы ни гнала его судьба, какія бы униженія она ни готовила, она не можетъ отнять у него высокія наслажденія творчества.

VII.

Вообще возраженія Бѣлинскаго сторонникамъ чистаго искусства малоубѣдительны. Онъ говоритъ имъ, что хотя Шекспиръ все передавалъ черезъ поэзію, но передаваемое имъ принадлежитъ не одной поэзіи. Какъ понимать это? Развѣ есть область, составляющая исключительную собственность поэзіи? Вѣдь ея содержаніе то же, что и содержаніе философіи: вѣдь между поэтомъ и философомъ разница лишь въ томъ, что одинъ мыслитъ образами, а другой силлогизмами. Или это не такъ? Изъ словъ Бѣлинскаго выходитъ, что и въ самомъ дѣлѣ не такъ. Но онъ съ полнымъ убѣжденіемъ повторяетъ мысль о тождествѣ содержанія поэзіи съ содержаніемъ философіи въ той же самой статьѣ, въ которой находится интересующее насъ указаніе на Шекспира. Ясно, что онъ просто не свелъ концовъ съ концами въ своей аргументаціи.

Также путается онъ, говоря, что «Фаустъ» явился отраженіемъ всей общественной жизни и всего философскаго движенія современной его автору Германіи. Его противники могли бы спросить: что же изъ этого слѣдуетъ? Искусство является выраженіемъ общественной жизни и философской мысли по той простой причинѣ, что оно не можетъ выражать другое: вѣдь его содержаніе одинаково съ содержаніемъ философіи. Но это вовсе не опровергаетъ той теоріи, по которой искусство должно быть само себѣ цѣлью, и даже не имѣетъ къ этой теоріи никакого прямого отношенія. То же можно сказать и о соображеніяхъ Бѣлинскаго о грече-

¹⁾ Напомнимъ, что его Модартъ говоритъ: „Геній и злодѣйство—двѣ вещи несовмѣстимыя“.

скомъ искусствѣ: конечно, оно заимствовало свои идеи изъ религіи и общественной жизни. Но вопросъ въ томъ, какъ оно относилось къ дѣлу выраженія этихъ идей въ образахъ, вытекающихъ изъ самой природы искусства. Если для греческихъ художниковъ оно было само себѣ цѣлью, то ихъ искусство было чистымъ искусствомъ, а если это дѣло выраженія идей въ образахъ было у нихъ лишь средствомъ для достиженія какихъ-нибудь постороннихъ цѣлей,—все равно, какихъ именно,—то оно противорѣчило идеалу искусства. Далѣе. Ссылаясь на то, что въ новѣйшемъ искусствѣ содержаніе вообще перевѣшиваетъ форму, Бѣлинскій придаетъ этой мысли Гегеля не тотъ смыслъ, какой она имѣла у нѣмецкаго мыслителя. У того она означала только то, что въ греческомъ искусствѣ красота составляла главный элементъ, а въ новѣйшемъ—она часто уступаетъ первое мѣсто другимъ элементамъ. Это вѣрная мысль, и мы еще вернемся къ ней. Но изъ нея тоже совоѣмъ не слѣдуетъ, что въ новѣйшемъ обществѣ искусство играло или должно играть служебную роль, что оно не можетъ быть теперь само себѣ цѣлью.

Повторяемъ, Бѣлинскій путается въ своихъ доводахъ. Но у людей выдающагося ума самыя ошибки бываютъ иногда чрезвычайно поучительны. Почему ошибался нашъ критикъ?

Вопросъ о томъ, можетъ ли быть искусство само себѣ цѣлью, рѣшался различно въ различныя историческія эпохи. Возьмемъ хоть Францію. Вольтеръ, Дидро и вообще такъ называемые энциклопедисты ни мало не сомнѣвались въ томъ, что искусство должно служить *«добродѣтели»*. Въ концѣ XVIII вѣка между передовыми французами распространилось убѣжденіе въ томъ, что искусство должно служить *«добродѣтели и свободѣ»*. М. Ж. Шенье, поставившій въ 1789 году трагедію «Charles IX ou l'École des Rois», хотѣлъ, чтобы французскій театръ внушалъ гражданамъ отвращеніе къ суевѣрью, ненависть къ притѣснителямъ, любовь къ свободѣ, уваженіе къ законамъ и т. д., и т. д. ¹⁾

Въ слѣдующіе годы театръ, какъ и все вообще французское искусство, дѣлается простымъ орудіемъ для политической пропаганды. Въ началѣ XIX вѣка нарождающійся романтизмъ тоже совершенно сознательно преслѣдуетъ *«соціально-политическія цѣли»*. L'histoire des hommes,—говорилъ Викторъ Гюго,—ne présente de poésie que jugée du haut des idées monarchiques et des croyances» (исторія поэтична только тогда, когда мы смотримъ на нее съ высоты монархическихъ идей и вѣры). Журналъ «La Muse Française» радовался тому, что у литературы, какъ у политики и религіи, есть свой символъ вѣры (comme la politique et la religion, les lettres ont leur profession de foi). Около 1824 года, послѣ войны съ Испаніей, замѣчается значительный

¹⁾ См. его Discours préliminaire, подписанную 22 августа 1788 г.

поворотъ въ отношеніи романтиковъ къ социальнo-политическому элементу въ поэзіи. Этотъ элементъ отходитъ на задній планъ, искусство становится «*безкорыстнымъ*» (désintéressé). Въ тридцатыхъ годахъ часть романтиковъ, съ Теофиломъ Готье во главѣ, съ жаромъ проповѣдуетъ теорію искусства для искусства. Теофиль Готье говорилъ, что поэзія не должна не только «доказывать», но даже и «разсказывать» (elle ne prouve rien, ne raconte rien). Для него вся поэзія сводилась къ музыкѣ и ритму. Послѣ 1848 года нѣкоторые французскіе писатели,—какъ Г. Флоберъ,—продолжаютъ держаться теоріи искусства для искусства, а другіе,—какъ А. Дюма-сынъ,—объявляютъ, что эти три слова (l'art pour l'art) не имѣютъ ни маѣйшаго смысла, и утверждаютъ, что литература непременно должна имѣть въ виду общественную пользу. Кто говорилъ правду: М. Ж. Шенье или Т. Готье; Г. Флоберъ или Дюма-сынъ? Мы думаемъ, что все они говорили правду, такъ какъ у каждаго изъ нихъ была своя *относительная* правда. Вольтеръ, Дидро, М. Ж. Шенье и другіе литературные представители третьяго сословія, боровагося съ аристократіей и духовенствомъ, не могли быть сторонниками чистаго искусства, потому что для нихъ отказаться отъ социальнo-политической пропаганды посредствомъ своихъ болѣе или менѣе художественныхъ произведеній значило бы добровольно ослабить шансы успѣха своего собственнаго дѣла. *Они были правы, какъ представители третьяго сословія на известной степени его историческаго развитія.* Гюго, находившій поэтическими только тѣ историческія событія, которыя знаменовали торжество монархіи и католицизма, былъ въ эту эпоху своей жизни представителемъ высшихъ сословій, пытавшихся возстановить старыи порядокъ. *Онъ былъ правъ въ томъ смыслѣ, что социальнo-политическая пропаганда посредствомъ поэзіи и искусства была очень полезна для названныхъ сословій.* Но ряды приверженцевъ французскаго романтизма стали все болѣе пополняться образованными дѣтьми буржуазіи, имѣвшей, разумѣется, совсѣмъ другія стремленія. На сторону этой буржуазіи перешли нѣкоторые изъ тѣхъ его сторонниковъ, которые прежде воспѣвали старыи порядокъ. Такъ поступилъ, наприимѣръ, Гюго. Сообразно съ этимъ измѣнился и романтическій «символь вѣры». Послѣ 1830 года нѣкоторые романтики, не вдаваясь въ разсужденія объ общественной роли искусства, дѣлаются выразителями довольно неопредѣленныхъ идеаловъ мелкой буржуазіи, а другіе проповѣдуютъ теорію искусства для искусства, ради формы совсѣмъ забывая подчасъ о содержаніи. И все правы по-своему. *Мелкая буржуазія оставалась неудовлетворенной: ей естественно было выразить эту неудовлетворенность въ литературѣ.* Съ другой стороны, правы были и сторонники чистаго искусства. Ихъ теоріи означали, во-первыхъ, реакцію противъ социальнo-политическихъ тенденцій прежняго романтизма, а во-вторыхъ, *несоответствіе* прозы *торгашескаго* суще-

створенія съ бурными стремленіями буржуазной молодежи, взволнованной шумомъ еще не вполне закончившейся тогда борьбы буржуазіи за свою эмансипацію. Во многихъ буржуазныхъ семьяхъ того времени проходила своеобразная борьба «отцовъ» съ «дѣтьми». Отцы говорили: сиди въ лавкѣ, наживай деньгу—человѣкомъ будешь; а дѣти отвѣчали: мы хотимъ учиться, хотимъ писать картины, какъ Делакруа, или стихи, какъ Викторъ Гюго. Отцы указывали на то, что искусство рѣдко обогащало своихъ служителей; дѣти возражали, что имъ ничего не нужно, что искусство выше почестей и богатства, что оно можетъ и должно *само себя служить цѣлью*. Теперь французскіе буржуа уже въ самыхъ молодыхъ лѣтахъ смѣются надъ ребяческимъ пренебреженіемъ романтиковъ къ деньгамъ. Теперь они, можно сказать, еще въ пеленкахъ приспособляются къ прозаическимъ условіямъ своего существованія. А тогда это приспособленіе происходило гораздо медленнѣе. И вотъ тогда-то и ооздалась теорія искусства для искусства. Въ періодъ своего возникновенія она выражала собою лишь стремленіе безкорыстно служить искусству, т. е. *преобладаніе въ известномъ слогѣ французской буржуазіи духовныхъ интересовъ надъ матеріальными*.

Но за буржуазіей шелъ рабочій классъ. Защиту его интересовъ взяли на себя Сэнъ-Симонъ, Фурье, а послѣ нихъ и другіе писатели, принадлежавшіе къ разнымъ школамъ, но къ одному направленію. Люди этого направленія приглашали искусство служить прогрессу, содѣйствовать улучшенію участи трудящейся массы. Тогда теорія искусства для искусства сразу приобрѣла новый смыслъ; *она стала выражать собою реакцію противъ новыхъ, прогрессивныхъ стремленій во Франціи*. Этотъ новый смыслъ ея довольно ясно обозначался уже въ предисловіи къ «Made-moiselle de Maupin», хотя тогдашніе французскіе охранители, напуганные псевдореволюціонной внѣшностью литературныхъ приемовъ Теофила Готье, и не оцѣнили этой заслуги его передъ французской буржуазіей. Когда Александръ Дюма-сынъ возсталъ противъ формулы l'art pour l'art, онъ сдѣлалъ это въ *интересахъ «старого общества»*, которое—говорилъ онъ—рушится со всѣхъ сторонъ. Конечно, драматическія пошлости, въ родѣ его «Fils naturel», «Père prodigue» и т. д., не много сдѣлали для упроченія буржуазнаго порядка. Но Дюма-сынъ былъ все-таки правъ. Послѣ 1848 года буржуазное общество въ самомъ дѣлѣ нуждалось въ заплатахъ и подпоркахъ, и этому его состоянію уже не соотвѣтствовала теорія искусства для искусства; ему нужна была апологія въ стихахъ и прозѣ, на театральныхъ подмосткахъ и на полотнахъ живописцевъ. Если Флоберъ не раздѣлялъ этого взгляда, то единственно потому, что слишкомъ мало заботился объ интересахъ буржуазіи.

У насъ въ Россіи теорія чистаго искусства тоже не всегда имѣла одинаковый смыслъ. При жизни Пушкина, послѣ крушенія надеждъ на-

шей интеллигенціи двадцатыхъ годовъ, она выражала стремленіе лучшихъ умовъ уйти отъ тяжелой дѣйствительности въ единственную, доступную имъ тогда сферу высшихъ интересовъ. Но когда Бѣлинскій возставалъ противъ нея устно и письменно, она стала означать совсѣмъ другое. Трудящаяся масса, крѣпостное крестьянство не существовало для Пушкина, какъ для писателя. При Пушкинѣ о немъ не было и не могло быть рѣчи въ литературѣ. Но въ сороковыхъ годахъ натуральная школа «наводнила литературу мужиками». Когда противники этой школы выставляли противъ нея теорію чистаго искусства, они дѣлали изъ этой теоріи *орудіе борьбы противъ освободительныхъ стремленій того времени*. Авторитетъ Пушкина и его чудные стихи были для нихъ въ этой борьбѣ чистой находкой. Когда они, во имя бельведерскаго кумира, строили презрительныя гримасы по адресу печного горшка, то у нихъ это выражало лишь опасеніе того, что возрастающій общественный интересъ къ положенію крестьянина невыгодно отразится на содержаніи ихъ *собственныхъ* печныхъ горшковъ. Этотъ новый смыслъ нашей теоріи искусства для искусства былъ очень хорошо схваченъ Бѣлинскимъ и просвѣтителями шестидесятыхъ годовъ. Оттого-то они и нападали на нее съ такимъ жаромъ. Нападая на нее, они были совершенно правы. Но они не замѣтили, что у Пушкина она имѣла совсѣмъ другой смыслъ, и дѣлали его отвѣтственнымъ за чужіе грѣхи. Это была ошибка. И это была неизбежная ошибка. Ее причинило ихъ неумѣнье стать въ споръ съ противниками на историческую точку зрѣнія. Но тогда некогда было разсуждать объ исторіи; тогда нужно было во что бы то ни стало защитить извѣстныя прогрессивныя стремленія и добиться удовлетворенія общественныхъ нуждъ. Наши просвѣтители, подобно французскимъ просвѣтителямъ XVIII вѣка, боролись оружіемъ «разума» и «здраваго смысла», т. е., иначе сказать, опирались на совершенно *отвлеченныя соображенія*. Отвлеченная точка зрѣнія составляетъ отличительную черту всѣхъ извѣстныхъ намъ просвѣтительныхъ періодовъ.

VIII.

Съ отвлеченной точки зрѣнія видна только отвлеченная противоположность между истиной и заблужденіемъ, между добромъ и зломъ, между тѣмъ, что есть, и тѣмъ, чему слѣдовало бы быть. Въ борьбѣ противъ отжившаго свой вѣкъ порядка такой отвлеченный, а потому односторонній, взглядъ на вещи иногда даже очень полезенъ. Но онъ препятствуетъ всестороннему изученію предмета. Благодаря ему литературная критика превращается въ публицистику. Критикъ занимается не тѣмъ, что сказано въ разбираемомъ имъ произведеніи, а тѣмъ, что можно было бы сказать въ немъ, если бы его авторъ усвоилъ себѣ общественныя взгляды критика.

Публицистическій элементъ очень замѣтенъ во многихъ сужденіяхъ Бѣлинскаго о Пушкинѣ. Но Пушкинъ прежде всего такой поэтъ, для пониманія котораго необходимо покинуть отвлеченную точку зрѣнія просвѣтителей. Просвѣтителю трудно понять Пушкина. Вотъ почему Бѣлинскій часто несправедливъ къ нему, несмотря на все свое замѣчательное художественное чутье.

Алеко, герой поэмы «Цыгане», изъ ревности убиваетъ свою возлюбленную, цыганку Земфиру. Бѣлинскій горячо нападаетъ на него за это, а кстатѣ зацѣпляеть и неискреннихъ либераловъ, о которыхъ говорить Д. Давыдовъ:

А глядишь,—нашъ Лафазъ,
Брутъ или Фабрицій,
Мужичковъ подъ прессъ кладезь
Вмѣстѣ съ свежловицей.

Горячая проповѣдь истинной нравственности, проявляющейся въ дѣлахъ, а не только въ словахъ, и горячій протестъ противъ ревности, какъ чувства, недостойнаго нравственно-развитаго человѣка, наполняютъ большинство страницъ, посвященныхъ Бѣлинскимъ разбору «Цыганъ». Все это очень умно само по себѣ; все это, по обыкновенію Бѣлинскаго, очень хорошо сказано, и все это чрезвычайно важно для опредѣленія и изученія нитей, связывающихъ его съ послѣдующимъ поколѣніемъ просвѣтителей. Но все это еще не выясняетъ истиннаго смысла поэмы. У Бѣлинскаго выходитъ, что Пушкинъ хотѣлъ изобразить въ своихъ «Цыганахъ» человѣка, чрезвычайно дорожащаго человѣческимъ достоинствомъ и потому разрывающаго съ обществомъ, унижающимъ это достоинство на каждомъ шагѣ, а на самомъ дѣлѣ написалъ жестокою сатиру какъ на самого Алеко, такъ и на воѣхъ ему подобныхъ. Но эта поэма Пушкина далеко не представляетъ собою простой сатиры на эгоизмъ и непослѣдовательность. Она беретъ вещи гораздо глубже, она объясняетъ психологію цѣлой исторической эпохи. Алеко громитъ нынѣшніе общественные порядки, но, попавъ въ почти первобытную среду цыганъ, онъ въ своихъ отношеніяхъ къ любимой женщинѣ продолжаетъ руководиться взглядами, господствующими въ покинутомъ имъ обществѣ. Онъ стремится возстановить то, что ему хотѣлось разрушить. Его психологія есть психологія французскаго романтика. Французскіе романтики тоже не умѣли и не могли разорвать съ тѣми самыми общественными отношеніями, противъ которыхъ они возставали. «Я нападаю не на бракъ, а на мужей»,—писала Жоржъ Зандъ. Это чрезвычайно характерно. Романтикамъ случалось нападать на капиталистовъ, но они никогда ничего не имѣли противъ капитализма, они сочувствовали бѣднымъ, но готовы были съ оружіемъ въ рукахъ отстаивать тотъ общественный порядокъ, который опирается на эксплуатацію

бѣдняковъ. Нашъ романтизмъ, бывшій во многихъ отношеніяхъ подражаніемъ французскому, грѣшилъ тѣмъ же грѣхомъ, но въ еще большей степени. Современное намъ народничество, громко и жалостно вопиющее противъ капитализма, а на самомъ дѣлѣ культивирующее мелкій капитализмъ, ясно показываетъ, что мы и до сихъ поръ не раздѣлялись съ романтизмомъ. Пушкинъ хорошо схватилъ коренное противорѣчіе романтиковъ, хотя, конечно, не въ состояніи былъ объяснить себѣ его исторически. Притомъ же въ то время, когда онъ писалъ свою поэмъ, онъ самъ еще не вполне раздѣлялся съ романтизмомъ. «Цыгане»—романтическая поэма, обнажающая Ахиллесову пятю романтизма.

Въ характерѣ Алеко нѣтъ ничего фальшиваго! Алеко — таковъ, какимъ долженъ быть по своему происхожденію. Фальшивы скорѣе характеры второстепенныхъ лицъ поэмы. Такъ, напримѣръ, характеръ Земфиры не выдержанъ въ ея отношеніяхъ къ мужу. Она признаетъ, что онъ имѣетъ какія-то права надъ нею. Но откуда же взялись эти права? Вѣдь по всему видно, что среда, окружающая Земфиру, ихъ не признаетъ. Старый цыганъ говорить:

...Вольнѣ птицы младость,
Кто въ силахъ удержать любовь?

Пушкину самому неясны были отношенія, которыя должны были установиться между Алеко и Земфирой. Отсюда непоследовательность въ ихъ изображеніи. Но Бѣлинскій не отиѣтилъ ея, потому что его вниманіе сосредоточено было на вопросѣ о томъ, какъ должны относиться къ чувству ревности истинно-развитые люди.

Той же отвлеченной точкой зрѣнія Бѣлинскаго объясняются и многія страницы въ его разборѣ «Онѣгина». Мы уже не говоримъ о тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ разсуждаетъ о человѣческой природѣ вообще и о томъ, для чего родится человѣкъ: для добра или для зла; тамъ онъ является просвѣтителемъ чистѣйшей воды. Мы укажемъ на его отношеніе къ Татьянѣ. Онъ очень симпатизируетъ ей, но не можетъ простить ей послѣдняго объясненія съ Онѣгинымъ. Онъ не понимаетъ вѣчной вѣрности безъ любви. «Вѣчная вѣрность—кому и въ чемъ?—спрашиваетъ онъ:—вѣрность такимъ отношеніямъ, которыя составляютъ профанацію чувства и чистоты женственности, потому что нѣкоторыя отношенія, не освящаемыя любовью, въ высшей степени безнравственны... Но у насъ какъ-то все это клеится вмѣстѣ: поэзія и проза, любовь и бракъ по расчету, жизнь сердцемъ и строгое исполненіе внѣшнихъ обязанностей, внутренне ежечасно нарушаемыхъ». Въ концѣ концовъ характеръ Татьяны представляется ему смѣшеніемъ деревенской мечтательности съ городскимъ благоразуміемъ, и ему больше нравится характеръ Маріи въ «Полтавѣ», лучше котораго не создавала, по его мнѣнію, творческая кисть Пушкина.

Извѣстно, что Писаревъ отнесся къ Татьянѣ совсѣмъ отрицательно и удивлялся, какимъ образомъ въ сердцѣ Бѣлинскаго нашлась симпатія къ неразвитой «мечтательной дѣвѣ».

Эта разница въ отношеніи двухъ просвѣтителей къ одному и тому же женскому типу чрезвычайно замѣчательна. Дѣло въ томъ, что взглядъ Бѣлинскаго на женщину существенно отличался отъ взгляда на нее просвѣтителей шестидесятыхъ годовъ. Татьяна подкупала его силой любви, а онъ продолжалъ думать, что въ любви главное назначеніе женщины. Въ шестидесятыхъ годахъ такъ уже не думали, и потому для тогдашнихъ просвѣтителей перестало существовать смягчающее обстоятельство, въ значительной степени мирявшее Бѣлинскаго съ Татьяной.

По поводу «Родословной моего героя» Бѣлинскій дѣлаетъ Пушкину строгій выговоръ за его аристократическія пристрастія. Онъ говоритъ: «Поэтъ обвиняетъ родовитыхъ людей нашего времени въ томъ, что они презираютъ своихъ отцовъ, ихъ славу, права и честь—упрекъ столько же ограниченный, сколько и неосновательный. Если человѣкъ не чванится тѣмъ, что происходитъ по прямой линіи отъ какого-нибудь великаго человѣка, неужели это непременно значить, что онъ презираетъ своего великаго предка, его славу, его великія дѣла? Кажется, тутъ слѣдствіе выведено совсѣмъ произвольно. Презирать предковъ, когда они и ничего не сдѣлали хорошаго,—смѣшно и глупо: можно не уважать ихъ, если не за что уважать, но въ то же время не презирать, если не за что презирать. Гдѣ нѣтъ мѣста уваженію, тамъ не всегда есть мѣсто презрѣнію: уважается хорошее, презирается дурное; но отсутствіе хорошаго не всегда предполагаетъ присутствіе дурного и наоборотъ. Еще смѣшнѣе гордиться чужимъ величіемъ или стыдиться чужой нивости. Первая мысль превосходно объяснена въ превосходной баснѣ Крылова «Гуси»; вторая ясна сама по себѣ». Въ другомъ мѣстѣ статья онъ замѣчаетъ: «Какъ потомка старинной фамиліи, Пушкина зналъ бы только его кругъ знакомыхъ, а не Россія, для которой въ этомъ обстоятельствѣ не было ничего интереснаго; но, какъ поэта, Пушкина узнала вся Россія и теперь гордится имъ, какъ сыномъ, дѣлающимъ честь своей матери... Кому нужно знать, что бѣдный дворянинъ, существующій своими литературными трудами, богатъ длиннымъ рядомъ предковъ, мало извѣстныхъ въ исторіи? Гораздо интереснѣе было знать, что напишетъ новаго этого гениальный поэтъ?» Это правда, но все-таки вопросъ объ аристократическихъ пристрастіяхъ Пушкина гораздо сложнѣе, чѣмъ это думалъ Бѣлинскій. Въ этихъ пристрастіяхъ было не одно подражаніе Байрону и вообще аристократическимъ писателямъ Западной Европы. Нѣтъ, въ нихъ было очень много своего русскаго, такого, чего во Франціи или въ Англіи уже нельзя было встрѣтить въ XIX столѣтіи. Чтобы пояснить нашу мысль, мы попросимъ читателя вообразить, что Молча-

ланъ, пресмыкавшійся передъ Фамусовымъ и всякимъ другимъ чиновнымъ бариномъ, самъ дошелъ до степеней извѣстныхъ, какъ это предсказывалъ Чацкйй. Можно быть увѣреннымъ, что въ такомъ случаѣ онъ гордо задралъ бы голову, и отъ его прежняго смиренья не осталось бы и слѣда. А дѣти его съ малыхъ лѣтъ проявляли бы нестерпимую заносчивость и навѣрное возомнили бы себя большими аристократами. Мы вообще не сочувствуемъ аристократическимъ претензіямъ, но право же, самозванный аристократизмъ чиновныхъ *raguenus* гораздо несноснѣе аристократизма родовитаго дворянина, если онъ вздумаетъ оборвать зазнавашагося выскочку злой эпиграммой, если онъ скажетъ ему, какъ Пушкинъ:

Не торговалъ мой дѣдъ блинами,
Въ князя не прыгалъ изъ холодовъ,
Не пѣлъ на крылосѣ съ дьячками,
Не ваксилъ царскихъ сапоговъ.
И не былъ бѣглымъ онъ солдатомъ
Нѣмецкихъ пудреныхъ дружинъ.
Куда-жъ мнѣ быть аристократомъ—
Я, слава Богу—мѣщанинъ.

Въ ожиданіи того блаженнаго времени, которое сдѣлаетъ изъ него совсѣмъ-совсѣмъ большого барина, Молчалинъ могъ бы проявить свою новорожденную спею особымъ родомъ демократизма, выражающагося въ беззубыхъ выходкахъ противъ людей знатной породы,—конечно, въ томъ только случаѣ, если эти люди далеки отъ власти. Такой демократизмъ близокъ къ фальшивому демократизму разбогатѣвшаго буржуа, который изъ зависти нападаетъ на аристократію, мечтая въ то же время о томъ, какъ бы пристроить за князя или хоть за барона свою буржуазную дочку. Пушкину не разъ приходилось сталкиваться съ жалкимъ и гнуснымъ демократизмомъ молчалинскаго пошиба, и онъ насмѣхался надъ его *ослинымъ копытомъ*. Что же? По-своему онъ былъ правъ. Въ сравненіи съ демократизмомъ Китая даже индйскія касты являются большимъ шагомъ впередъ: въ сравненіи съ новѣйшей разновидностью молчалинскаго демократизма, т. е. съ демократизмомъ гг. Воронцовыхъ, Гофштеттеровъ и компаніи, даже чистѣшее манчестерство представляетъ собою прогрессивное явленіе.

Все на свѣтѣ относительно. Это всегда забываютъ просвѣтителы, но въ разные эпохи общественнаго развитія они забываютъ это на разные лады. Писаревъ, подобно Бѣлинскому, смотрѣлъ на характеръ Онѣгина глазами просвѣтителя, и, однако, онъ безусловно и крайне рѣзко осудилъ его, между тѣмъ какъ Бѣлинскій отнесся къ нему очень мягко. Онѣгинъ подкупалъ Бѣлинскаго трезвостью взглядовъ и отсутствіемъ напыщенности въ рѣчахъ. Приведа тѣ строфы, въ которыхъ Пушкинъ описываетъ свое знакомство съ Онѣгинымъ, Бѣлинскій замѣчаетъ: «Изъ этихъ стиховъ мы ясно видимъ, по крайней мѣрѣ, то, что Онѣгинъ не

былъ ни холоденъ, ни сухъ, ни черствъ, что въ душѣ его жила поэзія и что вообще онъ былъ не изъ числа обыкновенныхъ, дюжинныхъ людей. Невольная преданность мечтамъ, чувствительность и безпечность при созерцаніи красокъ природы и при воспоминаніи о романахъ любви прежнихъ лѣтъ,—все это говоритъ больше о чувствѣ и поэзіи, нежели о холодности и сухости. Дѣло только въ томъ, что Онѣгинъ не любилъ расплываться въ мечтахъ, больше чувствовалъ, нежели говорилъ, и не всякому открывался. Озлобленный умъ есть тоже признакъ высшей природы, потому что человѣкъ съ озлобленнымъ умомъ бываетъ недоволенъ не только людьми, но и самимъ собой». Писаревъ тоже не любилъ напыщенныхъ рѣчей, но уже не могъ удовольствоваться трезвостью и умомъ Онѣгина; онъ даже совсѣмъ не считалъ его умнымъ человѣкомъ, такъ какъ вся жизнь Онѣгина противорѣчила тому, чего требовали отъ умнаго человѣка просвѣтители шестидесятыхъ годовъ. Бѣлинскій говоритъ, что Пушкинъ очень хорошо сдѣлалъ, выбравъ себѣ героя изъ высшаго круга общества. Въ глазахъ Писарева Онѣгинъ былъ виноватъ уже однимъ тѣмъ, что принадлежалъ къ высшему кругу, раздѣляя его привычки и предрасудки. Конечно, тутъ Бѣлинскій былъ правъ, а Писаревъ ошибался. Но между статьями о Пушкинѣ Бѣлинскаго и статьями о немъ же Писарева лежалъ 1861 годъ, поставившій интересы дворянства въ противорѣчіе съ интересами другихъ сословій, т. е. почти всей Россіи. Въ статьяхъ Писарева мы ничего не поймемъ, не принявъ въ соображеніе этого обстоятельства, и, наоборотъ: въ нихъ становится ясно все до послѣдняго слова, если мы взглянемъ на нихъ съ исторической точки зрѣнія. Впрочемъ, о Писаревѣ мы будемъ говорить потомъ; мы упоминаемъ о немъ теперь единственно для оттъненія нѣкоторыхъ взглядовъ Бѣлинскаго.

IX.

Въ своихъ спорахъ съ защитниками чистаго искусства Бѣлинскій покидаетъ точку зрѣнія *діалектики* и становится на *просвѣтительную* точку зрѣнія. Но мы уже видѣли, что во многихъ другихъ случаяхъ онъ оставался вполнѣ вѣренъ діалектическому идеализму, смотря на исторію литературы и искусства, какъ на проявленіе мірового закона діалектическаго развитія. Разберемъ нѣкоторые изъ взглядовъ, высказанныхъ Бѣлинскимъ въ такихъ случаяхъ.

Онъ говорилъ, что развитіе литературы и искусства тѣсно связано съ развитіемъ другихъ сторонъ народнаго сознанія; онъ указывалъ на то, что на разныхъ ступеняхъ овоего развитія искусство заимствуетъ свои идеи изъ различныхъ источниковъ: сначала изъ религіи, потомъ изъ философіи. Это совершенно справедливо. Странникамъ діалектическаго матеріализма, смѣнившаго собою діалектической идеализмъ Гегеля и его послѣдователей, приписываютъ обыкновенно ту мысль, что развитіе всѣхъ

сторонъ народнаго сознанія совершается подъ исключительнымъ вліяніемъ «экономическаго фактора». Трудно было бы ошибочнѣе истолковать ихъ взгляды: они говорятъ совсѣмъ другое. Они говорятъ, что въ литературѣ, искусствѣ, философіи и т. д. выражается общественная психологія, а характеръ общественной психологіи опредѣляется свойствами тѣхъ взаимныхъ отношеній, въ которыхъ находятся люди, составляющіе данное общество. Эти отношенія зависятъ въ послѣднемъ счетѣ отъ степени развитія общественныхъ производительныхъ силъ. Каждый значительный шагъ въ развитіи этихъ силъ ведетъ за собою измѣненіе въ общественныхъ отношеніяхъ людей, а вслѣдствіе этого и въ общественной психологіи. Перемѣны, совершившіяся въ общественной психологіи, непременно отразятся также, съ большей или меньшей яркостью, и на литературѣ, и на искусствѣ, и на философіи и т. д. Но измѣненія общественныхъ отношеній приводятъ въ движеніе самыя различныя «факторы», и какой изъ факторовъ сильнѣе другихъ повліяетъ въ данный моментъ на литературу, на искусство и т. д.—это зависитъ отъ множества второстепенныхъ и третьестепенныхъ причинъ, вовсе не имѣющихъ прямого отношенія къ общественной экономіи. *Непосредственное* вліяніе экономіи на искусство и другія идеологіи вообще замѣчается крайне рѣдко. Чаше всего вліяютъ другіе «факторы»: политика, философія и проч. Иногда дѣйствіе одного изъ нихъ становится замѣтнѣе, чѣмъ дѣйствіе другихъ. Такъ, въ Германіи прошлаго вѣка на развитіе искусства очень сильно повліяла критика, т. е. философія. Во Франціи временъ реставраціи литература находилась подъ сильнымъ вліяніемъ политики. А во Франціи конца XVIII вѣка очень замѣтно вліяніе литературы на развитіе политическаго краснорѣчія. Политическіе ораторы говорили тогда, какъ герои Корнеля. Вотъ вамъ *трагедія въ качествѣ фактора, дѣйствующаго на политику*. Да нельзя и пересчитать тѣхъ разнообразныхъ сочетаній, въ которыя сплетаются разные «факторы» въ различныхъ странахъ и въ различныя эпохи общественнаго развитія. Матеріалисты-діалектики прекрасно знаютъ это. Но они не останавливаются на поверхности явленій и не довольствуются ссылкой на взаимодѣйствіе разныхъ «факторовъ». Когда вы говорите: въ данномъ случаѣ вліяетъ политическій факторъ,—они поясняютъ: это значитъ, что взаимныя отношенія людей въ общественномъ процессѣ производства замѣтнѣе всего выразились черезъ посредство политики; когда вы указываете на философскій или религіозный «факторъ»,—они опять стараются опредѣлить то сочетаніе общественныхъ силъ, которымъ было, въ послѣднемъ счетѣ, вызвано преобладаніе этого фактора. Вотъ и все. Бѣлинскій былъ близокъ къ матеріалистамъ-діалектикамъ въ томъ смыслѣ, что, какъ гегельянецъ, онъ не довольствовался указаніемъ на взаимодѣйствіе различныхъ сторонъ общественной жизни и общественнаго сознанія.

Къ числу второстепенныхъ причинъ, влияющихъ на искусство, онъ относилъ и влияніе *географической среды*. Не вдаваясь въ пространныя разсужденія по этому поводу, замѣтимъ, что географическая среда влияетъ на развитіе искусства *посредственно*, т. е. черезъ общественныя отношенія, вырастающія на основѣ производительныхъ силъ, развитіе которыхъ всегда въ большей или меньшей степени зависитъ отъ географической среды. *Непосредственное* же влияніе этой среды на искусство врядъ ли существуетъ въ сколько-нибудь замѣтной степени. Кажется, очень естественно предполагать, что развитіе ландшафтной живописи находится въ тѣснѣйшей связи съ географической средою, а между тѣмъ на самомъ дѣлѣ связь эта вовсе незамѣтна, и исторія названной живописи опредѣляется смѣной общественныхъ настроеній, въ свою очередь, зависящихъ отъ измѣненій въ общественныхъ отношеніяхъ.

Мы не станемъ разбирать здѣсь эстетическій кодексъ Бѣлинскаго, такъ какъ намъ придется вернуться къ нему при разборѣ «*Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности*». Скажемъ только, что вопросъ о томъ, существуютъ ли какіе-нибудь неизмѣнные законы изящнаго, можетъ быть разрѣшенъ лишь на основаніи внимательнаго изученія исторіи искусства, а не на основаніи отвлеченныхъ соображеній. Еще въ статьѣ о Державинѣ Бѣлинскій говорилъ: «Задача истинной эстетики состоятъ не въ томъ, чтобы рѣшить, чѣмъ должно быть искусство, а въ томъ, чтобы опредѣлить, что такое искусство. Другими словами: эстетика не должна разсуждать объ искусствѣ, какъ о чемъ-то предполагаемомъ, какъ о какомъ-то идеалѣ, который можетъ осуществиться только по ея теоріи; нѣтъ, она должна разсматривать искусство, какъ предметъ, который существовалъ давно прежде нея, и существованію котораго она сама обязана своимъ существованіемъ». Это именно то, что мы хотимъ сказать. Но, обдумывая свой эстетическій кодексъ, Бѣлинскій не всегда помнилъ это золотое правило. Онъ забывалъ о немъ, какъ забывалъ и самъ Гегель. Если изслѣдователь смотритъ на исторію вообще и на исторію искусства въ частности, какъ на прикладную логику, то очень естественно, что у него часто является желаніе построить а priori то, что должно было бы явиться лишь какъ выводъ изъ фактовъ. Бѣлинскій, какъ и Гегель, поддавался этому искушенію. Вотъ почему его эстетическій кодексъ *узокъ*. Во имя этого кодекса нельзя не осудить, напримѣръ, французскую трагедію, и Бѣлинскій дѣйствительно считалъ ее *уродливой*. Онъ думалъ, что «теоретики» совершенно правы, нападая на ея форму, и что, подчиняясь правилу трехъ единствъ, могучій геній Корнея уступалъ насильственному влиянію Ришелье. Но можетъ ли данная литературная форма возникнуть и утвердиться по капризу отдѣльнаго человѣка, хотя бы этотъ человѣкъ былъ всемогущимъ министромъ? Въ другомъ случаѣ самъ Бѣлинскій объявилъ бы такое мнѣніе наивнымъ.

На самомъ дѣлѣ французская трагедія обязана была своей формой цѣлому ряду причинъ, коренившихся въ ходѣ общественнаго и литературнаго развитія Франціи. Эта форма была въ свое время торжествомъ реализма надъ театральными переживаниями наивной средневѣковой фантазіи. То, что Бѣлинскій считалъ условнымъ и неправдоподобнымъ, въ дѣйствительности явилось въ силу стремленія довести до минимума сценическую условность и сценическое неправдоподобіе. Конечно, во французской трагедіи осталось много условнаго и неправдоподобнаго. Но такъ какъ это условное было опредѣлено разъ навсегда и было извѣстно публикѣ, то оно и не мѣшало ей *видѣть истину*. Надо еще помнить, что многое изъ того, что кажется условнымъ и натянутымъ въ настоящее время, казалось простымъ и естественнымъ въ XVII столѣтіи. Въ виду этого странно было бы мѣрять художественныя произведенія того вѣка мѣркой нынѣшнихъ нашихъ эстетическихъ понятій. Впрочемъ, Бѣлинскій и самъ чувствовалъ, что въ пользу французской трагедіи можно привести чрезвычайно много смягчающихъ обстоятельствъ. Въ статьѣ о «Борисѣ Годуновѣ» онъ, замѣтивъ, что Пушкинъ очень идеализировалъ Пимена въ его первомъ монологѣ, говоритъ: «Слѣдовательно, эти прекрасныя слова—ложь, но ложь, которая стоитъ истины: такъ наполнена она поэзіи, такъ обаятельно дѣйствуетъ на умъ и чувство! Сколько жги въ этомъ родѣ сказали Корнель и Расинъ; однако жъ просвѣщеннѣйшая и образованнѣйшая нація въ Европѣ до сихъ поръ рукоплещетъ этой лжи! И не диво: въ ней, въ этой лжи относительно времени, мѣста и нравовъ, есть истина относительно человѣческаго сердца, человѣческой природы». Съ своей стороны мы скажемъ, что «ложь» Корнеля и Расина была истиной не столько относительно человѣческаго сердца вообще, сколько относительно сердца тогдашней французской образованной публики. Но какъ бы тамъ ни было, несомнѣнно, что для такой «лжи» *suu generis* должно найтись мѣстечко въ эстетическомъ кодексѣ, построенномъ на широкой исторической основѣ.

Взглядъ Бѣлинскаго на роль великихъ людей въ исторіи литературы вѣренъ и для настоящаго времени. И въ настоящее время нельзя не признать, что великій поэтъ великъ лишь постольку, поскольку является выразителемъ великаго момента въ историческомъ развитіи общества. При сужденіи о великомъ писателѣ, какъ и о всякомъ другомъ великомъ историческомъ дѣятелѣ, прежде всего нужно, по прекрасному выраженію Бѣлинскаго, опредѣлить то мѣсто пути, на которомъ онъ засталъ человѣчество. Многие и до сихъ поръ думаютъ, что такой взглядъ на роль личности въ исторіи оставляетъ слишкомъ мало мѣста для человѣческой индивидуальности. Но это мнѣніе рѣшительно ни на чемъ не основано. Индивидуумъ не перестаетъ быть индивидуумомъ, являясь выразителемъ общихъ стремленій своего времени. Но оправедливо вотъ

что: вполне удовлетворительно обосновать гегельянский взгляд Бѣлинскаго на роль великихъ людей въ исторіи искусства и во всей вообще исторіи человѣчества можно только съ помощью теоріи историческаго материализма. Въ самомъ дѣлѣ, припомните, что говоритъ Бѣлинскій въ статьѣ о «Горѣ отъ ума»: «Общество всегда правѣе и выше частнаго человѣка, и частная индивидуальность только до такой степени и дѣйствительность, а не призракъ, до какой выражаетъ собой общество». Въ какомъ же смыслѣ индивидуальность должна выражать собой общество? Когда Сократъ сталъ проповѣдывать въ Аѣнахъ свою философію, онъ несомнѣнно выражалъ не тѣ *взгляды*, которыхъ держалось большинство его согражданъ. Стало быть, тутъ дѣло не во взглядахъ? А если нѣтъ, то въ чемъ же? И составляетъ ли большинство то «общее», которому должна служить и подчиняться индивидуальность? На эти вопросы Бѣлинскій не отвѣтилъ ни въ статьяхъ своихъ, ни въ письмахъ. Покинувъ «абсолютную» точку зрѣнія, онъ просто объявилъ, что для него личность выше исторіи, выше общества, выше человѣчества. Это не философское рѣшеніе вопроса. У Гегеля Сократъ является героемъ потому, что его философія выражаетъ собой новый шагъ въ историческомъ развитіи Аѣнъ. Но гдѣ же критерій для сужденія объ этомъ шагѣ? Такъ какъ у Гегеля исторія есть въ концѣ концовъ лишь прикладная логика, то критерій надо искать въ законахъ діалектическаго развитія абсолютной идеи. Это по меньшей мѣрѣ темно. Совсѣмъ иначе представляется дѣло новѣйшимъ материалистамъ: по мѣрѣ того, какъ развиваются производительныя силы общества, измѣняются и существующія внутри его отношенія между людьми. Однако, новыя общественныя отношенія не сразу и не сами собой возникаютъ на основѣ новыхъ производительныхъ силъ. Это приспособленіе должно явиться *дѣломъ людей*, результатомъ борьбы между охранителями и новаторами. Тутъ-то и открывается широкое поле для личной инициативы. Геніальный общественный дѣятель раньше и лучше другихъ предвидитъ тѣ перемѣны, которыя должны совершиться въ общественныхъ отношеніяхъ. Такая выдающаяся дальновидность ставитъ его въ противорѣчіе со взглядами его согражданъ онъ можетъ оставаться *въ меньшинствѣ* до самой смерти; но это не помѣшаетъ ему быть выразителемъ *общаго*, представителемъ и указателемъ предстоящихъ перемѣнъ въ общественномъ устройствѣ. Вотъ это-то *общее* и составляетъ его силу, которой не отнять у него ни насмѣшки, ни оскорбленія, ни остракизмъ, ни цюкута. Для оцѣнки этого общаго новѣйшіе материалисты апеллируютъ къ состоянію общественныхъ производительныхъ силъ. А эти силы лучше поддаются измѣренію, чѣмъ всемірный духъ Гегеля.

Великій поэтъ великъ потому, что выражаетъ собою великій шагъ въ общественномъ развитіи. Но, выражая этотъ шагъ, онъ не перестаетъ

быть *индивидуумомъ*. Въ его характерѣ и въ его жизни есть, навѣрное, очень много чертъ и обстоятельствъ, не имѣющихъ ни малѣйшаго отношенія къ его исторической дѣятельности и не оказывающихъ на нее ни малѣйшаго вліянія. Но есть въ ней, навѣрное, и такія черты, которыя, ни мало не измѣняя общаго историческаго характера этой дѣятельности, придаютъ ей *индивидуальный оттѣнокъ*. Эти черты могутъ и должны быть выяснены подробнымъ изученіемъ личнаго характера и частныхъ обстоятельствъ жизни поэта. Вотъ эти-то черты и изучала та «эмпирическая критика», противъ которой возставалъ Бѣлинскій. Осуждать ее можно только тогда, когда она воображаетъ, что изучаемыя ею частныя черты объясняютъ *общій* характеръ дѣятельности великаго человѣка. Но когда она приводитъ ихъ лишь для объясненія *индивидуальнаго* характера этой дѣятельности, она и полезна, и интересна. Къ сожалѣнію, она—въ лицѣ лучшаго своего представителя Сентъ-Бева—имѣла притязанія, не оправдываемыя такою скромною ролью. Бѣлинскій сознавалъ это и потому говорилъ объ «эмпирикахъ» съ большимъ раздраженіемъ.

Теперь намъ пора перейти къ тѣмъ страницамъ въ статьяхъ нашего критика о Пушкинѣ, которыя одновременно показываютъ и его замѣчательную критическую проникательность, и его выдающуюся способность дѣлать крайніе и вполнѣ послѣдовательные выводы изъ однажды принятыхъ посылокъ.

X.

По словамъ Бѣлинскаго, Пушкинъ принадлежалъ къ той школѣ искусства, пора которой уже совершенно миновала въ Европѣ и которая даже въ Россіи уже не можетъ создать ни одного великаго произведенія. Исторія опередила Пушкина, отнявъ у большинства его созданій тотъ животрепещущій интересъ, который возбуждается мучительными и тревожными вопросами нашего времени. Этотъ отзывъ возбуждалъ и возбуждаетъ сильное неудовольствіе всѣхъ сторонниковъ чистаго искусства до г. Волынскаго включительно: они твердили и твердятъ, что содержаніе пушкинской поэзіи всегда будетъ имѣть одинаковый интересъ въ глазахъ русскихъ читателей. Но они не замѣтили еще большей ереси Бѣлинскаго, такой страшной ереси, въ сравненіи съ которой только что указанный нами взглядъ является чѣмъ-то совсѣмъ невиннымъ. Дѣло въ томъ, что Бѣлинскій разсматривалъ Пушкина, *какъ поэта дворянскаго сословія*. «Въ лицѣ Онѣгина, Ленскаго и Татьяны Пушкинъ изобразилъ русское общество въ одномъ изъ фазисовъ его образованія, его развитія, — говоритъ онъ, — и съ какою вѣрностью, какъ полно и какъ художественно изобразилъ онъ его! Мы не говоримъ о множествѣ вставочныхъ портретовъ и силуэтовъ, вошедшихъ въ его поэму и довершающихъ собой картину русскаго общества высшаго и средняго; не говоримъ о картинахъ

сельскихъ баловъ и столичныхъ раутовъ: все это такъ извѣстно нашей публикѣ и такъ давно оцѣнено по достоинству... Замѣтимъ одно: личность поэта, такъ полно и ярко отразившаяся въ этой поэмѣ, вездѣ является такой прекрасной, такой гуманной, но въ то же время по преимуществу аристократической. Вездѣ видите вы въ немъ человѣка, душой и тѣломъ принадлежащаго къ основному принципу, составляющему сущность изображаемаго имъ класса; короче, вездѣ видите русскаго помѣщика... Онъ нападаетъ въ этомъ классѣ на все, что противорѣчитъ гуманности; но принципъ класса для него—вѣчная истина... И потому въ самой сатирѣ его такъ много любви, самое отрицаніе его такъ часто похоже на одобреніе и на любованіе... Вспомните описаніе семейства Ларинныхъ во второй главѣ, особенно портретъ самого Ларина... Это было причиной, что въ «Онѣгинѣ» многое устарѣло теперь. Но безъ этого, можетъ быть, и не вышло бы изъ «Онѣгина» такой полной и подробной поэмы русской жизни, такого опредѣленнаго факта для отрицанія мысли, въ самомъ же этомъ обществѣ такъ быстро развивающейся». Когда мы перечитывали это мѣсто, мы спрашивали себя: «Сколько разъ упалъ бы въ обморокъ г. Волинскій, если бы появля все его ужасное значеніе?» Но такъ какъ очевидно, что г. Волинскій этого мѣста не понялъ, то мы сдѣлаемъ ему нѣкоторыя разъясненія, которыя, надѣемся, придадутъ еще больше жару его грознымъ филиппикамъ противъ матеріализма.

Еще въ неоконченной своей статьѣ о Фонвизинѣ и Загоскинѣ Бѣлинскій говорилъ, что такъ какъ поэзія—истина въ формѣ созерцанія, то критикъ долженъ прежде всего опредѣлить ту идею, которая воплотилась въ художественномъ произведеніи. Опредѣлить идею художественнаго произведенія значило для Бѣлинскаго тогда—перевести истину съ языка образовъ на языкъ логики. А переводя истину на языкъ логики, критикъ долженъ былъ, по его тогдашнему мнѣнію, опредѣлить мѣсто, занимаемое идеей разбираемаго имъ художественнаго произведенія въ ходѣ развитія абсолютной идеи. Г. Волинскій по существу ничего не имѣетъ противъ этого взгляда на критику, такъ какъ онъ былъ заимствованъ Бѣлинскимъ у Ретшера, котораго нашъ нынѣшній «истинный критикъ» не шутя считаетъ глубокимъ мыслителемъ. Но взглядъ Бѣлинскаго на историческое значеніе «Евгенія Онѣгина» показываетъ, что въ послѣдніе годы своей жизни онъ приурочивалъ идею этого романа уже не къ развитію абсолютной идеи, а къ *развитію русскихъ общественныхъ отношеній, къ исторической роли и смѣнѣ нашихъ сословій*. Это цѣлый переворотъ, это какъ разъ то, что рекомендуютъ нынѣшнимъ критикамъ «экономическіе» матеріалисты. И г. Волинскому вполне позволительно было бы закричать на разные голоса въ виду столь непохвального поведенія Бѣлинскаго.

Апеллируя въ свой критикѣ къ развитію, Бѣлинскій сближался съ Бельтовъ. Т. I. Изд. 3.

французской критикой, къ которой онъ такъ презрительно относился въ началѣ своей литературной дѣятельности. Чтобы выяснитъ, насколько именно облизился онъ съ нею, мы укажемъ на Альфреда Микіельса, писателя, мало извѣстнаго во Франціи и совсѣмъ неизвѣстнаго у насъ въ Россіи, но заслуживающаго большого вниманія, потому что Тэнъ *заимствовала у него всѣ свои общіе взгляды на историческое развитіе искусства.*

Въ своей «Histoire de la peinture flamande», первое изданіе которой вышло въ 1844 г., Микіельсъ говоритъ, что онъ хочетъ найти объясненіе исторіи фламандской живописи въ социальномъ, политическомъ и промышленномъ положеніи породившей ее страны (*expliquer les variations de la peinture à l'aide de l'état social, politique et industriel*). По поводу извѣстнаго опредѣленія: *литература есть выраженіе общества*, онъ рассуждаетъ такъ: «Это безспорно, но къ несчастью это слишкомъ неопредѣленный принципъ. Какимъ образомъ литература выражаетъ общество? Какъ развивается само это общество? Какія формы искусства соотвѣтствуютъ каждой данной фазѣ общественнаго развитія? Какіе элементы искусства соотвѣтствуютъ каждому данному общественному элементу? Неизбѣжныя задачи, огромные и плодотворные вопросы! Указанный принципъ получить истинное свое значеніе только тогда, когда спустится съ блѣдныхъ высотъ, на которыхъ онъ теперь витаетъ, и тѣмъ пріобрѣтетъ точность, поучительную полноту и свѣтлое глубокомысліе обширной, подробно изложенной системы» ¹⁾.

Бѣлинскій объяснялъ поэзію Пушкина общественнымъ положеніемъ Россіи, исторической ролью и состояніемъ того сословія, къ которому принадлежалъ нашъ великій поэтъ. Микіельсъ примѣнялъ такой же приемъ къ исторіи фламандской живописи. Очень возможно, что Бѣлинскій не продумалъ, во всей ихъ полнотѣ, всѣхъ задачъ, указанныхъ критикѣ и исторіи искусства Микіельсомъ. Въ этомъ отношеніи Микіельсъ, можетъ быть, опередилъ Бѣлинскаго, но онъ отсталъ отъ него въ другомъ и очень важномъ отношеніи. Размышляя о зависимости, существующей между формами искусства съ одной стороны и фазами общественнаго развитія съ другой, Микіельсъ упустилъ изъ виду то обстоятельство, что всякое цивилизованное общество состоитъ изъ сословій или классовъ, развитіе и историческія столкновенія которыхъ проливаютъ чрезвычайно яркій свѣтъ на исторію всѣхъ идеологій. Бѣлинскій, какъ видно, уже понималъ важное значеніе этого обстоятельства, хотя еще не совсѣмъ уяснилъ его себѣ. И въ той мѣрѣ, въ какой онъ понималъ, его взгляды приближались ко взглядамъ новѣйшихъ материалистовъ.

Не въ обиду г. Волынскому будь сказано, взгляды на Пушкина, какъ на гуманнаго и образованнаго поэта русскаго дворянства, не только

¹⁾ L. c. seconde edition, p. 21. Микіельсъ—фламандецъ, и мы пишемъ его имя, слѣдуя фламандскому произношенію.

вѣренъ самъ по себѣ, но и указываетъ правильную точку зрѣнія для пониманія отношенія къ Пушкину нашихъ позднѣйшихъ просвѣтителей. Во второй половинѣ сороковыхъ годовъ Бѣлинскій былъ убѣжденъ, что недалеко паденіе у насъ крѣпостного права, а слѣдовательно, и дворянства, какъ сословія, противостоящаго другимъ сословіямъ. «Принципъ» дворянства былъ въ его глазахъ отжившимъ принципомъ. Но онъ умѣлъ цѣнить историческое значеніе этого принципа. Онъ указываетъ эпоху, въ теченіе которой дворянство было самымъ образованнымъ и «*во всѣхъ отношеніяхъ лучшимъ сословіемъ*». Поэтому онъ могъ хорошо схватывать поэзію его жизни и сочувствовать ей. Во второй половинѣ пятидесятыхъ и въ началѣ шестидесятыхъ годовъ наши просвѣтители уже не могли такъ безпристрастно относиться къ дворянству. Принципъ дворянскаго сословія подвергся безусловному осужденію съ ихъ стороны. Неудивительно, что они осудили также и поэта, въ глазахъ котораго этотъ принципъ былъ вѣчной истиной. Поэзія Пушкина была чужда всякой мечтательности; она была трезва, она изображала одну дѣйствительность. Этого было достаточно, чтобы привлечь къ ней горячія симпатіи Бѣлинскаго. А Писарева должно было раздражать именно это изображение нашего стараго быта въ чарующемъ свѣтѣ поэзіи. И чѣмъ сильнѣе былъ талантъ Пушкина, тѣмъ отрицательнѣе должны были отнестись къ нему наши просвѣтители шестидесятыхъ годовъ. Впрочемъ, объ этомъ у насъ рѣчь впереди.

Резюмируемъ: въ эпоху своего примиренія съ дѣйствительностью Бѣлинскій задался цѣлью найти объективныя основы для критики художественныхъ произведеній и поставить эти основы въ связь съ логическимъ развитіемъ абсолютной идеи. Эти искомыя объективныя основы онъ нашелъ въ нѣкоторыхъ законахъ изящнаго, которые въ значительной степени были построены имъ (и его учителемъ) a priori, безъ достаточно внимательнаго отношенія къ ходу историческаго развитія искусства. Но въ высшей степени важно то, что въ послѣдніе годы своей жизни онъ видитъ послѣднюю инстанцію для критики уже не въ абсолютной идеѣ, а въ историческомъ развитіи общественныхъ классовъ и классовыхъ отношеній. Отъ этого направленія, совершенно тождественнаго съ тѣмъ направленіемъ, въ которомъ развивалась философская мысль современной ему передовой Германіи, его критика отклонялась только въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ покидалъ точку зрѣнія *діалектики* и становился на точку зрѣнія *просвѣтителя*. Такія отклоненія, неизбежныя при нашихъ тогдашнихъ историческихъ условіяхъ и по-своему очень полезныя для нашего общественнаго развитія, сдѣлали изъ него родоначальника русскихъ просвѣтителей.

IV. Эстетическая теорія Н. Г. Чернышевскаго.

I.

Если Бѣлинскій былъ *родоначальникомъ* нашихъ просвѣтителей, то Чернышевскій является *самымъ крупнымъ ихъ представителемъ*. Его литературные и вообще эстетическіе взгляды имѣли огромное вліаніе на дальнѣйшее развитіе русскоѣ критики. Поэтому мы должны обратить на нихъ большое вниманіе.

Наиболѣе полно и ярко она изложена въ его знаменитой диссертациі: *«Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности»*, представленной въ мартѣ 1855 года въ петербургскій университетъ для полученія степени магистра словесности. Ея разборомъ мы и займемся въ этой статьѣ, обращаясь къ другимъ произведеніямъ Чернышевскаго только въ той мѣрѣ, въ какой они объясняютъ и дополняютъ основныя положенія диссертациі. Въ этомъ смыслѣ для насъ очень важна статья, написанная имъ по поводу появленія трактата Аристотеля о поэзиі въ русскомъ переводѣ и съ объясненіями Б. Ордынскаго (Москва 1854) и напечатанная въ отдѣлѣ критики въ 9-й книжкѣ *«Отечественныхъ Записокъ»* за 1854 годъ. А еще важнѣе его собственный разборъ *«Эстетическихъ отношеній»*, появившійся въ 1855 г. въ шестой книжкѣ *«Современника»*.

Но прежде чѣмъ говорить о диссертациі Чернышевскаго, полезно будетъ выяснитъ себѣ, почему она посвящена была именно эстетикѣ, а не какой-нибудь другой наукѣ.

Въ своей статьѣ *«Разрушеніе эстетики»*, до сихъ поръ приводящей въ негодованіе всѣхъ русскихъ филистеровъ идеализма и эклектизма, Писаревъ говоритъ, что Чернышевскій взялся за свою диссертацию съ «коварной» цѣлью погубить эстетику, разбить всю ее на мелкіе кусочки, потомъ всѣ эти кусочки превратить въ порошокъ и развѣять этотъ порошокъ на всѣ четыре стороны. Это остроумно, но невѣрно. Писаревъ плохо понялъ основную мысль *«Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности»*. Принимаясь за свою диссертацию, Чернышевскій вовсе не задавался цѣлью «погубить эстетику». Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно перечитать упомянутую нами статью о книгѣ Ордынскаго. Чернышевскій написалъ ее какъ разъ въ то время, когда работалъ надъ своей диссертацией. Въ ней онъ не только не нападаетъ на эстетику, но, напротивъ, горячо защищаетъ ее отъ тѣхъ ея «недоброжелателей», которые говорятъ, что не слѣдуетъ заниматься ею, какъ наукой слишкомъ отвлеченной и потому неосновательной. «Мы понимали

бы вражду противъ эстетики,—говорить онъ,—если бы она сама была враждебна исторіи литературы; но, напротивъ, у насъ всегда провозглашалась необходимость исторіи литературы; и люди, особенно занимавшіеся эстетическою критикою, очень много,—больше, нежели кто-либо изъ нашихъ нынѣшнихъ писателей, сдѣлали и для исторіи литературы! (Тутъ очевиденъ намекъ на Бѣлинскаго). У насъ эстетика всегда признавала, что должна основываться на точномъ изученіи фактовъ, и упреки въ отвлеченной неосновательности содержанія могутъ идти къ ней такъ же мало, какъ, напр., къ русской грамматикѣ. Если же прежде она не заслуживала вражды со стороны приверженцевъ историческаго изслѣдованія литературы, то еще менѣе можетъ заслуживать ее теперь, когда всякая теоретическая наука основывается на возможно полномъ и точномъ изслѣдованіи фактовъ».

Онъ замѣчаетъ далѣе, что даже устарѣлые нынѣ курсы идеалистической эстетики основываются на гораздо большемъ числѣ фактовъ, нежели думаютъ ихъ противники. Въ подтвержденіе этого онъ справедливо указываетъ на эстетику Гегеля, состоящую изъ трехъ томовъ: два послѣдніе тома совершенно заняты въ ней исторической частью и большая половина перваго тоже занята историческими подробностями. «Словомъ,—заключаетъ онъ,—намъ кажется, что весь споръ противъ эстетики основывается на недоразумѣніи, на ошибочности понятій о томъ, что такое эстетика и что такое всякая теоретическая наука вообще. Исторія искусства служитъ основаніемъ теоріи искусства, потому теорія искусства помогаетъ болѣе совершенной, болѣе полной обработкѣ исторіи его; лучшая обработка исторіи послужитъ дальнѣйшему усовершенствованію теоріи, и такъ далѣе, до безконечности, будетъ продолжаться это взаимодѣйствіе на обоюдную пользу исторіи и теоріи, пока люди будутъ изучать факты и дѣлать изъ нихъ выводы, а не обратятся въ ходячія хронологическія таблицы и библиографическіе реестры, лишенные потребности мыслить и способности соображать. Безъ исторіи предмета нѣтъ теоріи предмета; но и безъ теоріи предмета нѣтъ даже и мысли объ его исторіи, потому что нѣтъ понятій о предметѣ, его значеніи и границахъ. Это такъ же просто, какъ то, что дважды два—четыре, а единица есть единица».

Въ другомъ мѣстѣ той же статьи онъ восклицаетъ: «Эстетика наука мертвая! Мы не говоримъ, чтобы не было наукъ живѣй ея; но хорошо было бы, если бы мы думали объ этихъ наукахъ. Нѣтъ, мы превозносимъ другія науки, представляющія гораздо менѣе живого интереса. Эстетика наука бесплодная! Въ отвѣтъ на это спросимъ: помнимъ ли мы еще о Лессингѣ, Гете и Шиллерѣ, или ужъ они потеряли право на наше воспоминаніе съ тѣхъ поръ, какъ мы познакомились съ Теккеремъ? признаемъ ли мы достоинство нѣмецкой поэзіи второй половины прошедшаго вѣка!»

Намъ кажется, что такъ не могъ бы писать человекъ, считавшій эстетику вздоромъ. А если бы намъ сказали, что эта горячая защита эстетики была не искренняя, что ее продиктовало Чернышевскому его «коварное» намѣреніе усыпить подозрительность читателя и тѣмъ полнѣе разрушить въ его мнѣніи всѣ основы эстетической науки, мы отвѣтили бы, что, задавшись такой цѣлью, нашъ авторъ сталъ бы въ противорѣчіе со своими собственными философскими взглядами вообще и со своимъ собственнымъ взглядомъ на прекрасное въ частности. Согласно этому послѣднему взгляду, ощущеніе, производимое въ человекѣ прекраснымъ, есть свѣтлая радость, похожая на ту, какою наполняетъ насъ присутствіе милаго для насъ существа.

Эта безкорыстная радость была въ глазахъ Чернышевскаго чувствомъ вполне законнымъ, заслуживающимъ осужденія только въ тѣхъ случаяхъ, когда оно вызывается въ насъ предметами, которые *только кажутся* намъ прекрасными вслѣдствіе испорченности нашего вкуса. Въ устраненіи ложныхъ понятій о прекрасномъ заключалась, по его мнѣнію, одна изъ важнѣйшихъ задачъ эстетики. А такъ какъ онъ былъ убѣжденъ кромѣ того, что ложныя понятія этого рода очень распространены теперь особенно въ высшихъ классахъ общества, самымъ положеніемъ своихъ осужденныхъ иногда почти на полную праздность, то онъ сказалъ бы, что у эстетиковъ, правильно понимающихъ задачу своей науки, еще очень много дѣла и что «разрушать» эту науку, по меньшей мѣрѣ, преждевременно.

Писаревъ думалъ, что толковать объ эстетикѣ бесполезно уже по одному тому, что о вкусахъ не спорятъ. «Эстетика, или наука о прекрасномъ, имѣетъ разумное право существовать только въ томъ случаѣ, если прекрасное имѣетъ какое-нибудь самостоятельное значеніе, независимое отъ безконечнаго разнообразія личныхъ вкусовъ. Если же прекрасно только то, что нравится намъ, и если вслѣдствіе этого всѣ разнообразнѣйшія понятія о красотѣ оказываются одинаково законными, тогда эстетика разсыпается въ прахъ. У каждаго отдѣльнаго человека образуется своя собственная эстетика, и, слѣдовательно, общая эстетика, приводящая личные вкусы къ обязательному единству, становится невозможной».

Чернышевскій возразилъ бы на это, что безконечно разнообразны скорѣе *прихоти* людскія, чѣмъ *нормальныя* вкусы, и что прекрасное, несомнѣнно, имѣетъ самостоятельное значеніе, совершенно независимое отъ безконечнаго разнообразія личныхъ вкусовъ. По его опредѣленію, *прекрасное есть жизнь*. Такъ, напримѣръ, красивымъ въ царствѣ животныхъ человекъ кажется то, въ чемъ выражается, по человѣческимъ понятіямъ, жизнь свѣжая, полная здоровья и силъ. Въ млекопитающихъ животныхъ, организація которыхъ болѣе близкимъ образомъ сравнивается нашими глазами съ наружностью человека, намъ ка-

жутся прекрасными округленность формъ, полнота, свѣжесть и грація, «потому что граціозными бываютъ движенія какого-нибудь существа тогда, когда оно хорошо сложено, т. е. напоминаетъ человѣка хорошо сложеннаго, а не урода». Формы крокодила или ящерицы напоминаютъ млекопитающихъ животныхъ, но только въ уродливомъ видѣ. Поэтому они кажутся намъ отвратительными. Лагушка не только уродлива по своимъ формамъ, но еще, кромѣ того, покрыта холодною слизью, какою покрывается трущ. Поэтому она еще болѣе отвратительна для насъ. Словомъ, въ основѣ всѣхъ нашихъ эстетическихъ сужденій лежитъ наше понятіе о жизни. Если бы мы встрѣтили такого человѣка, который, прикасаясь къ покрытому слизью трупу, испытывалъ бы пріятное ощущеніе, то мы, конечно, не стали бы доказывать ему, что онъ ошибается: силлогизмы не устраняютъ ощущеній. Но мы имѣли бы полное право считать его организацію исключительной, не нормальной, т. е. не соответствующей *природѣ человека*. Мы могли бы не знать, какая именно патологическая причина вызвала такое отклоненіе отъ человѣческой природы, но мы не усомнились бы въ томъ, что была такая причина. Значеніе прекраснаго такъ же самостоятельно, какъ значеніе человѣческой природы.

II.

Такъ рассуждалъ Чернышевскій. Правда, въ своемъ опредѣленіи прекраснаго онъ имѣлъ въ виду не одну только органическую жизнь. Говоря: «прекрасное есть жизнь», онъ прибавлялъ: «прекраснымъ существомъ кажется человѣку то существо, въ которомъ онъ видитъ жизнь, *какъ онъ ее понимаетъ*». На этомъ основаніи Писаревъ и думалъ, что цѣль Чернышевскаго заключалась въ разрушеніи всякой эстетики. «Доктрина эстетическихъ отношеній именно тѣмъ и замѣчательна,—говоритъ онъ,—что, разбивая оковы старыхъ эстетическихъ теорій, она совсѣмъ не замѣняетъ ихъ новыми оковами. Эта доктрина говоритъ прямо и рѣшительно, что право произносить окончательный приговоръ надъ художественными произведеніями принадлежитъ не эстетикъ, который можетъ судить только о формѣ, а мыслящему человѣку, который судитъ о содержаніи, т. е. о явленіяхъ жизни». Но это—опять неправильный выводъ. Въ самомъ дѣлѣ, Бѣлинскій думалъ, какъ мы знаемъ, что содержаніе поэзіи тождественно съ содержаніемъ философіи и что критикъ, разбирая художественное произведеніе, прежде всего обязанъ выяснитъ его идею и только уже потомъ,—во «второмъ актѣ» разбора,—прослѣдитъ идею въ образахъ, т. е. подвергнуть оцѣнкѣ *форму*. Значитъ ли это, что, по мнѣнію Бѣлинскаго, право произносить окончательный приговоръ надъ художественными произведеніями принадлежитъ не эстетикъ, а мыслителю? Вовсе нѣтъ! Бѣлинскій сказалъ бы, что такое противопоставле-

нiе мыслителя эстетику совершенно произвольно и ни на чемъ не основано. Разобрать художественное произведенiе значитъ *понять его идею и оцнить его форму*. Критикъ долженъ судить и о *содержанiи* и о *формѣ*; онъ долженъ быть и *эстетикомъ* и *мыслителемъ*; короче, идеалъ критики есть *философская критика*, которой и принадлежитъ право произнесенiя окончательнаго приговора надъ художественными произведенiями. Почти то же можно было бы сказать, основываясь на эстетической теорiи Чернышевскаго. Люди далеко не одинаково понимаютъ жизнь, и потому они очень сильно расходятся въ своихъ сужденiяхъ о красотѣ. Но можно ли сказать, что всѣ они правы? Нѣтъ, одинъ имѣетъ правильныя понятiя о жизни, а другой ошибается; поэтому одинъ правильно судитъ о красотѣ, а другой ошибочно. Критикъ непремѣнно долженъ быть мыслящимъ человекомъ. Но не всякiй мыслящiй человекъ можетъ быть критикомъ. Чернышевскiй говоритъ: «Изъ опредѣленiя—прекрасное есть жизнь—становится понятно, почему въ области прекраснаго нѣтъ отвлеченныхъ мыслей, а есть только индивидуальныя существа—жизнь мы видимъ только въ дѣйствительныхъ, живыхъ существахъ, а отвлеченныя общiя мысли не входятъ въ область жизни». Поэтому недостаточно опредѣлить достоинство художественнаго произведенiя съ точки зрѣнiя *«отвлеченной мысли»*: нужно еще умѣть оцнить его *форму*, т. е. прослѣдить, насколько удачно художникъ воплотилъ свою мысль въ образахъ. Когда мы видимъ прекрасное, насъ охватываетъ чувство свѣтлой радости. Но это чувство не всегда одинаково сильно даже у людей, имѣющихъ совершенно одинаковыя взгляды на жизнь. У однихъ оно сильнѣе, у другихъ слабѣе. Люди, у которыхъ оно сильнѣе, болѣе способны оцнить форму даннаго художественнаго произведенiя, чѣмъ тѣ, у которыхъ оно сравнительно слабо. Поэтому хорошимъ критикомъ художественныхъ произведенiй можетъ быть только тотъ, у кого съ сильно развитой *мыслительной способностью* соединяется также сильно развитое *эстетическое чувство*.

Кромѣ того, Писаревъ не замѣтилъ, что у него слово *эстетика* имѣетъ другой смыслъ, чѣмъ у Чернышевскаго. Для него эстетика была *«наукой о прекрасномъ»*, а для Чернышевскаго—*«теорiей искусства, системой общихъ принциповъ искусства вообще и поэзи въ особенности»*. Чернышевскiй доказываетъ въ своей диссертации, что *«область искусства не ограничивается и не можетъ ограничиваться областью прекраснаго»*. Если даже огласиться, что возвышенное и комическое—моменты прекраснаго,—говоритъ онъ,—то множество произведенiй искусства не подойдутъ по содержанiю подъ эти три рубрики: прекрасное, возвышенное, комическое... Прекрасное, трагическое, комическое—только три наиболѣе опредѣленные элементы изъ тысячи элементовъ, отъ которыхъ зависитъ интересъ жизни и перечислить которые значило бы перечислить

всѣ чувства, всѣ стремленія, отъ которыхъ можетъ волноваться сердце человѣка» ¹⁾).

Онъ говоритъ также, что если прекрасное считаютъ обыкновенно единственнымъ содержаніемъ искусства, то причина этого заключается въ неясномъ различеніи прекраснаго, какъ объекта искусства, отъ прекрасной формы, которая дѣйствительно составляетъ необходимое качество всякаго произведенія искусства. Но изъ того, что форма всякаго произведенія искусства должна быть прекрасна, не слѣдуетъ, что искусство должно и можетъ ограничиться воспроизведеніемъ прекраснаго. «Искусство воспроизводитъ все, что есть интереснаго для человѣка въ жизни». Если это такъ, то само собою понятно, что искусство не перестанетъ существовать до тѣхъ поръ, пока жизнь не перестанетъ интересоваться человѣка, и что «погубить» эстетику, т. е. теорію искусства, «разрушить» ее— просто невозможно.

Писаревъ плохо понялъ Чернышевскаго. Мы не винимъ его въ этомъ, а просто отмѣчаемъ здѣсь это важное обстоятельство.

Итакъ, Чернышевскій вовсе не собирался разрушать эстетику. Принимаясь за свою диссертацию, онъ преслѣдовалъ другія цѣли. Одна изъ нихъ намъ теперь извѣстна: онъ хотѣлъ доказать, что сфера искусства несравненно шире сферы прекраснаго. Чтобы выяснить себѣ, откуда явилась у него эта цѣль, надо припомнить споры Бѣлинскаго со сторонниками теоріи искусства для искусства. Въ своемъ послѣднемъ годичномъ обзорѣ русской литературы умирающій Бѣлинскій, опровергая эту теорію, старался доказать, что искусство никогда не ограничивалось элементомъ прекраснаго. Молодой, полный силъ Чернышевскій положилъ эту мысль въ основу своего перваго крупнаго теоретическаго изслѣдованія. Этимъ лучше всего характеризуется его отношеніе къ «*критикѣ гоголевскаго періода*». Диссертация Чернышевскаго являлась *дальнѣйшимъ развитіемъ тѣхъ взглядовъ на искусство, къ которымъ пришелъ Бѣлинскій въ послѣдніе годы своей литературной дѣятельности.*

Въ статьѣ о литературныхъ взглядахъ Бѣлинскаго мы сказали, что въ своихъ спорахъ со сторонниками чистаго искусства онъ покидалъ точку зрѣнія *диалектика* для точки зрѣнія *просвѣтителя*. Но Бѣлинскій все-таки охотнѣе разсматривалъ вопросъ исторически; Чернышевскій окончательнo перенесъ его въ область *отвлеченнаго разсужденія* о «сущности» искусства, т. е., вѣрнѣе, о томъ, *чѣмъ оно должно быть.* «Наука

¹⁾ Въ своей книгѣ объ искусствѣ гр. Л. Толстой доказываетъ, что область искусства несравненно ниже области прекраснаго. Но о Чернышевскомъ онъ не упоминаетъ ни единымъ словомъ. Это тѣмъ болѣе жаль, что рационалистическіе приемы разсужденія нашего знаменитаго романиста объ искусствѣ очень напоминаютъ приемы тѣхъ разсужденій, съ которыми мы встрѣчаемся въ диссертаци: «*Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности*».

не думаетъ быть выше дѣйствительности; это не стыдъ для нея,—говорить онъ въ концѣ своей диссертации.—Искусство также не должно быть выше дѣйствительности... Пусть искусство довольствуется своимъ высокимъ, прекраснымъ назначеніемъ: въ случаѣ отсутствія дѣйствительности быть нѣкоторою замѣной ея и быть для человѣка учебникомъ жизни». Это уже взглядъ просвѣтителя чистой воды.

Онъ не мѣшалъ Чернышевскому заниматься изученіемъ исторіи литературы въ Россіи и на Западѣ. Уже вскорѣ по выходѣ въ свѣтъ «Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности» въ «Современникѣ» стали печататься «Очерки гоголевскаго періода русской литературы» и довольно большое сочиненіе о Лессингѣ. Но «точное изученіе фактовъ» имѣло для Чернышевскаго, какъ и для всѣхъ просвѣтителей, главнымъ образомъ, тотъ интересъ, что давало ему новыя данныя для подтвержденія его мысли о томъ, чѣмъ должно быть искусство и чѣмъ станетъ оно, когда художники познають его истинную «сущность».

«Быть учебникомъ жизни» значить содѣйствовать умственному развитію общества. Просвѣтитель видитъ въ этомъ главное назначеніе искусства. Такъ было вездѣ, гдѣ обществу случалось пережить такъ называемую эпоху просвѣщенія: въ Греціи, во Франціи, въ Германіи. Такъ было и въ Россіи, когда послѣ севастопольскаго погрома передовые слои нашего общества взяли за пересмотръ нашихъ тогдашнихъ устарѣлыхъ общественныхъ отношеній и нашихъ традиціонныхъ понятій.

«Искусство для искусства—мысль такая же странная въ наше время, какъ и богатство для богатства, наука для науки и т. д.,—говоритъ Чернышевскій въ своей статьѣ о книгѣ Ордынскаго.—Всѣ человѣческія дѣла должны служить на пользу человѣку, если не хотятъ быть пустымъ и празднымъ занятіемъ: богатство существуетъ для того, чтобъ имъ пользовался человѣкъ, наука—для того, чтобы быть руководительницей человѣка; искусство также должно служить на какую-нибудь существенную пользу, а не на бесплодное удовольствіе». А такъ какъ приобрѣтеніе полезныхъ свѣдѣній и вообще умственное развитіе составляютъ первую потребность людей, стремящихся къ правильному устройству своей жизни, то искусство и должно служить этому развитію. Искусство гораздо больше науки привлекаетъ къ себѣ вниманіе публики.

«Надобно признаться, что увлекаетъ огромную массу оно очень удачно и этимъ самымъ, вовсе о томъ не думая, содѣйствуетъ распространенію образованности, ясныхъ понятій о вещахъ,—всего, что приноситъ умственную, а потомъ принесетъ и матеріальную пользу людямъ»,—говоритъ Чернышевскій въ той же статьѣ. «Искусство или, лучше сказать, поэзія (одна только поэзія, потому что другія искусства очень мало дѣлаютъ въ этомъ отношеніи) распространяетъ въ массѣ читателей огромное количество свѣдѣній и, что еще важнѣе, знакомство съ понятіями,

вырабатываемыми наукою; вотъ въ чемъ заключается великое значеніе поэзіи для жизни».

III.

Уже изъ этихъ словъ видно, какую свирѣпую и недѣльную неправду говорили тѣ филистеры чистаго искусства и якобы философской критики, которые увѣрили читающую публику, что наши просвѣтители готовы были пожертвовать головой и сердцемъ желудку, духовными интересами человѣчества—матеріальнымъ его выгодамъ. Просвѣтители говорили: содѣйствуя распространенію здравыхъ понятій въ обществѣ, искусство будетъ приносить *умственную пользу* людямъ, а *потомъ* принесетъ имъ и *матеріальную выгоду*. Матеріальная выгода являлась въ ихъ глазахъ простымъ, но зато неизбѣжнымъ результатомъ умственнаго развитія людей; толки о ней значили лишь то, что умнаго человѣка труднѣе «объегорить», чѣмъ дурака, и что, когда большинство пріобрѣтетъ здравыя понятія, оно легко сброситъ съ себя иго тѣхъ щукъ, сила которыхъ прочна лишь до тѣхъ поръ, пока не проснулись караси. Чтобы приблизить желанное время пробужденія карасей, просвѣтители готовы были совсѣмъ отказаться отъ употребленія печныхъ горшковъ и питаться однѣми акридами (даже не приправляя ихъ дикимъ медомъ), а ихъ обвиняли въ томъ, что они дорожатъ только печными горшками, которые для нихъ будто бы дороже величайшихъ произведеній человѣческаго генія. Это могли дѣлать или совсѣмъ уже наивные люди, или тѣ самыя щуки, для которыхъ пробужденіе карасей совсѣмъ невыгодно. Щука—хитрая рыба, она рѣшительнѣе всего стоитъ за безкорыстіе именно тогда, когда собирается проглотить зазѣвавшагося карася.

Когда мы слышимъ или читаемъ нападки на тенденціозность въ искусствѣ, намъ почти всегда вспоминается рыцарь Бертранъ де Борнъ какъ извѣстно, хорошо владѣвшій, не только мечемъ, но и «лирой». Этотъ славный рыцарь, который говорилъ, что человѣкъ только и цѣнится по числу полученныхъ и нанесенныхъ имъ ударовъ, сочинилъ, между прочимъ, одно чрезвычайно поэтическое стихотвореніе, въ которомъ воспѣвалъ весну и бранную забаву. «Любо мнѣ,—говорилъ онъ тамъ,—теплое весеннее время, когда распускаются листья и цвѣты; любо мнѣ слушать щебетанье птицъ и ихъ веселое пѣнье, раздающееся въ кустахъ». Не менѣе любо славному рыцарю, когда «люди и скотъ разбѣгаются передъ скачущими воинами», и ни ѣда, ни питье, ни сонъ, ничто такъ не мавитъ его, какъ «видъ мертвецовъ, въ которыхъ торчитъ насквозь пронзившее ихъ оружіе». Онъ находилъ, что *убитый всегда лучше живого*.

Не правда ли, все это поэтично?

Но мы иногда спрашиваемъ себя: какое впечатлѣніе должна была производить эта поэзія на тѣхъ *«вилэновъ»*, которые въ ужасѣ разбѣга-

лишь со своими стадами передъ скачущими воинами? Очень можетъ быть, что они, по своей «грубости», не видѣли въ ней ничего хорошаго. Очень можетъ быть, что она казалась имъ нѣсколько *тенденціозной*. Очень можетъ быть, наконецъ, что нѣкоторые изъ нихъ, въ свою очередь, сочиняли поэтическія пѣсенки, въ которыхъ выражали свою грусть по поводу опустошеній, производимыхъ бранными подвигами рыцарей, и говорили, что *живой всегда лучше убитаго*. Если такія пѣсенки дѣйствительно сочинялись, то рыцари, навѣрное, считали ихъ очень *тенденціозными* и пылали негодованіемъ противъ грубыхъ людей, не желавшихъ фигурировать въ видѣ мертвецовъ, насквозь пронзенныхъ оружіемъ, и, вслѣдствіе своей полной эстетической неразвитости, находившихъ, что ихъ скоть производить болѣе пріятное впечатлѣніе, когда онъ мирно пасется на поляхъ, чѣмъ когда онъ въ ужасѣ разбѣгается во всѣ стороны передъ скачущими рыцарями. Все на свѣтѣ относительно, все зависитъ отъ точки зрѣнія, хотя это и не нравится г. Н.—ону.

Наши просвѣтители вовсе не пренебрегали поэзіей, но они предпочитали *поэзію дѣйствія* всякой другой. Ихъ сердца почти совсѣмъ перестали отзываться на голосъ поэтовъ мирнаго созерцанія, еще недавно властвовавшихъ надъ думами своихъ современниковъ; имъ нужна была муза борьбы, «муза мести и печали», воспѣвающая

Необузданную, дикую
Къ лютой подлости вражду
И довѣренность великую
Къ безкорыстному труду.

Они готовы были слушать съ восторгомъ напѣвы этой музы, а ихъ обвиняли въ сухости сердца, въ черствости, въ эгоизмѣ, въ плотугодіи. Такъ пишутъ исторію!

Но вернемся къ Чернышевскому.

Если искусство не можетъ быть само себѣ цѣлью, если главное его назначеніе заключается въ содѣйствіи умственному развитію общества, то понятно, что оно должно отходить на второй планъ въ тѣхъ случаяхъ, когда является возможность распространять въ обществѣ здоровыя понятія болѣе короткимъ путемъ. Просвѣтитель не враждуетъ съ искусствомъ, но онъ не имѣетъ къ нему и безусловнаго пристрастія. У него вообще нѣтъ исключительнаго пристрастія ни къ чему, кромѣ своей великой и единственной цѣли: распространенія въ обществѣ здоровыхъ понятій. Это хорошо видно изъ слѣдующаго отзыва Чернышевскаго о Лессингѣ, къ которому онъ всегда относился съ самою восторженною любовью и на котораго онъ самъ ходилъ во многихъ отношеніяхъ.

«Къ какимъ бы отраслямъ умственной дѣятельности ни влекли его собственныя наклонности, но говорилъ и писалъ онъ только о томъ, къ чему была устремлена или готова была устремиться умственная

жизнь его народа. Все, что не могло имѣть современнаго значенія для націи, какъ бы ни было интересно для него самого, не было предметомъ ни сочиненій, ни разговоровъ его... Безъ всякаго сомнѣнія, если былъ въ Германіи до Канта человекъ, одаренный природою для философіи, то это былъ Лессингъ... А между тѣмъ, онъ почти ни одного слова не писалъ собственно о философіи... Дѣло въ томъ, что не время еще было чистой философіи стать живымъ средоточіемъ нѣмецкой умственной жизни,—и Лессингъ молчалъ о философіи; умы современниковъ были готовы оживиться поэзіею, а не были еще готовы къ философіи,—и Лессингъ писалъ драмы и толковалъ о поэзи... Для натуръ, подобныхъ Лессингу, существуетъ служеніе болѣе милое, нежели служеніе любимой наукѣ,—это служеніе развитію своего народа. И если какой-нибудь «Лаокоонъ» или какая-нибудь «гамбургская Драматургія» приходится болѣе въ пользу націи, нежели система метафизики или антологическая теорія, такой человекъ молчитъ о метафизикѣ, съ любовью разбирая литературные вопросы, хотя съ абсолютной научной точки зрѣнія. Виргиліева «Энеида» и Вольтерова «Семирамида»—предметы мелкіе и почти пустые для ума, способнаго созерцать основные законы человѣческой жизни».

Въ началѣ своей литературной дѣятельности Чернышевскій находилъ, что передовые словъ общества болѣе всего интересуются *литературой*; поэтому онъ взялся за изслѣдованіе эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности. Впослѣдствіи наша общественная жизнь поставила на очередь *экономическіе вопросы*; тогда и онъ перешелъ *отъ эстетики къ политической экономіи*. Какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случаѣ ходъ его занятій цѣлкомъ опредѣлялся ходомъ умственнаго развитія его читателей, вызываемымъ ходомъ развитія нашей общественной жизни.

Въ предисловіи къ своей диссертациі Чернышевскій говоритъ: «Уваженіе къ дѣйствительной жизни, недовѣрчивость къ апріорическимъ, хотя бы и пріятнымъ для фантазій, гипотезамъ—вотъ характеръ направленія, господствующаго нынѣ въ наукѣ. Автору кажется, что необходимо привести къ этому знаменателю и наши эстетическія убѣжденія, если еще стоитъ говорить объ эстетикѣ».

Многіе — между ними и Писаревъ—увидѣли въ этихъ словахъ намекъ на выраженное убѣжденіе въ томъ, что эстетическая наука подлежитъ полному разрушенію. Мы показали, насколько ошибочно было это мнѣніе. На самомъ дѣлѣ слова: «если еще стоитъ толковать объ эстетикѣ» означали лишь сомнѣніе Чернышевскаго насчетъ того, съ какими именно вопросами слѣдуетъ ему обращаться въ данную минуту къ читающей публикѣ. Такое сомнѣніе станетъ вполне понятно, если мы вспомнимъ, что диссертациія вышла въ свѣтъ въ апрѣлѣ 1855 года, т. е. въ самомъ

началъ царствованія императора Александра, вызвавшего большія ожиданія въ нашемъ обществѣ.

Въ своихъ отношеніяхъ къ читателямъ Чернышевскій обнаруживаетъ только то «коварство», которое всегда есть у любящаго свое дѣло учителя. Учитель старается прохотить ученика къ дѣлу. Но онъ, разумѣется, не ограничиваетъ содержанія своей бесѣды одними этими предметами. Онъ старается внести въ нее все то, что можетъ содѣйствовать расширенію умственного кругозора ученика и что не превышаетъ уровня его развитія. Такъ всегда поступалъ и Чернышевскій, слѣдуя правилу того же Лессинга. Въ разборѣ своей собственной диссертации онъ говоритъ: «Эстетика можетъ представить нѣкоторый интересъ для мысли, потому что рѣшеніе задачъ ея зависитъ отъ рѣшенія другихъ, болѣе интересныхъ вопросовъ. Мы надѣемся, что съ этимъ согласится каждый, знакомый съ хорошими сочиненіями по этой наукѣ». И онъ сожалѣетъ, что «Чернышевскій слишкомъ бѣгло проходитъ пункты, въ которыхъ эстетика соприкасается съ общою системою понятій о природѣ и жизни». По его словамъ, «это важный недостатокъ, и онъ причиною того, что внутренній смыслъ теоріи, принимаемой авторомъ, можетъ для многихъ показаться темнымъ, а мысли, развиваемыя авторомъ, принадлежащими лично автору, на что онъ не можетъ имѣть ни малѣйшаго притязанія». Нетрудно сообразить, однако, откуда произошелъ этотъ недостатокъ: «система понятій», съ которой тѣсно связаны были эстетическіе взгляды Чернышевскаго, могла показаться тогдашнему ученому университетскому синедріону опаснымъ философскимъ новшествомъ. Поэтому диссертации приходилось ограничиваться одними намеками на нее. Въ «Современникѣ» Чернышевскій могъ высказаться нѣсколько свободнѣе. Онъ и воспользовался этимъ обстоятельствомъ для того, чтобы, подъ видомъ разбора сочиненія «г. Чернышевскаго», нѣсколько оттъннить связь своей эстетики съ общою системою своихъ философскихъ взглядовъ.

IV.

Что же эта за система? Чернышевскій ни въ одномъ изъ своихъ сочиненій не высказываетъ прямо, кого онъ считаетъ своимъ учителемъ въ философіи. Дальше намековъ онъ не идетъ нигдѣ; но его намеки очень прозрачны. Вотъ, напримѣръ, въ своихъ «*Полемическихъ красотахъ*» онъ говоритъ, что система его учителя составляетъ самое послѣднее звено въ ряду философскихъ системъ и вышла изъ гегелевой системы точно такъ, какъ система Гегеля вышла изъ шеллинговой. «Вамъ, вѣроятно, хотѣлось бы знать, кто же такой этотъ учитель, о которомъ я говорю?—спрашиваетъ онъ, обращаясь къ своему противнику Дудышкину.—Чтобы облегчить вамъ поиски, я, пожалуй, скажу вамъ, что онъ не русскій, не французъ, не англичанинъ, не Бюхнеръ, не Максъ Штирнеръ, не Бруно

Бауеръ, не Молешоттъ, не Фогтъ.—Кто же онъ такой?... Нужно быть очень недогадливымъ, чтобы не отвѣтить: *Людвигъ Фейербахъ*. И дѣйствительно, въ философіи Чернышевскій былъ послѣдователемъ Фейербаха.

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что философія Фейербаха развилась изъ философіи Гегеля, какъ эта послѣдняя развилась изъ философіи Шеллинга. Но Гегель былъ рѣшительнымъ идеалистомъ, а Фейербахъ былъ не менѣе рѣшительнымъ противникомъ идеализма. А такъ какъ онъ въ то же время хорошо понималъ, въ чемъ заключается слабая сторона «критическаго» дуализма Канта ¹⁾, то необходимо причислить его къ материалистамъ ²⁾. Нѣкоторые изъ важнѣйшихъ неокантіанцевъ находятъ, что материалистомъ онъ никогда не былъ. Но это ошибочный взглядъ. Если читатель захочетъ убѣдиться въ этомъ, мы предложимъ ему простое, но очень дѣйствительное средство: пусть онъ прочитаетъ въ апрѣльской и майской книжкахъ «Современника» за 1860 г. надѣлавшую такъ много шума статью Чернышевскаго: «*Антропологическій принципъ въ философіи*», и пусть онъ рѣшитъ, можно ли хоть на минуту усомниться въ томъ, что въ ней излагается материалистическій взглядъ на природу и человѣка. Всякій непредубѣжденный читатель скажетъ: нѣтъ, въ этомъ совсѣмъ нельзя усомниться. А если это такъ, то нельзя не назвать материалистомъ и Фейербаха, изъ сочиненій котораго цѣликомъ заимствованъ взглядъ Чернышевскаго ³⁾. Но въ такомъ случаѣ насъ спросятъ, можетъ быть, почему же неокантіанцы отказываются признавать Фейербаха материалистомъ? Мы, ни мало не колеблясь, отвѣтимъ: *просто и только потому, что гг. неокантіанцы имѣютъ ошибочное представление о материализмѣ*.

Такое представление въ значительной степени поддерживается извѣстной книгой Ланге. Здѣсь не мѣсто разбирать ее; мы ограничимся возраженіями на то, что сказано въ ней специально о философіи Фейербаха.

Фейербахъ говоритъ въ своихъ «*Grundsätze*»: «Новая (т. е. его) философія дѣлаетъ человѣка, со включеніемъ природы, какъ базиса человѣка, единственнымъ, всеобщимъ и высшимъ предметомъ философіи,—стало быть, антропологию, со включеніемъ физиологии, универсальною наукою».

По этому поводу Ланге замѣчаетъ: «Въ этомъ одностороннемъ возвы-

¹⁾ Die Kantische Philosophie,—говоритъ онъ,—ist der Widerspruch von Subject und Object, Wesen und Existenz, Denken und Sein. Das Wesen fällt hier in den Verstand, die Ekistenz in die Sinne. Grundsätze, 22.

²⁾ Можно бы спросить, конечно: а не былъ ли онъ гилозоистомъ? Но въ его сочиненіяхъ на гилозоизмъ нѣтъ и намека.

³⁾ Въ основу его статьи легли главнымъ образомъ „Grundsätze der Philosophie der Zukunft“ и поясненія къ нимъ, озаглавленныя: „Wider der Dualismus von Leib und Seele, Fleisch und Geist“.

шеніи челоуѣка заключается черта, идущая отъ гегелевской философіи и отдѣляющая Фейербаха отъ собственно матеріалистовъ. Именно это опять философія духа, являющаяся намъ здѣсь въ формѣ философіи чувственности. Настоящій матеріалистъ всегда будетъ склоненъ направлять свой взглядъ на великое цѣлое внѣшней природы и разсматривать челоуѣка, какъ волну на океанѣ движенія вещества. Природа челоуѣка для матеріалиста есть лишь частный случай въ цѣпи физическихъ процессовъ жизни. Онъ ставитъ физиологію всего охотнѣе въ рядъ общихъ явленій физики и химіи, и ему болѣе нравится отодвинуть челоуѣка возможно дальше въ рядъ остальныхъ существъ. Несомнѣнно, что въ практической философіи онъ будетъ сосылаться также на природу челоуѣка, но и здѣсь онъ будетъ мало склоненъ придавать этой природѣ, какъ Фейербахъ, божескіе атрибуты» ¹⁾).

Замѣтимъ, прежде всего, что божественность атрибутовъ челоуѣческой природы имѣетъ у Фейербаха совершенно особый смыслъ. Французскіе матеріалисты прошлаго вѣка, разсуждая объ этихъ атрибутахъ, конечно, не одобрили бы фейербаховой терминологіи. Но это терминологическое разногласіе не имѣло бы никакого существеннаго значенія и вызывалось бы чисто практическими соображеніями. Подобныхъ соображеній уже не было у тѣхъ французскихъ писателей XIX вѣка, которые,—подобно, на примѣръ, Дэзами,—являлись горячими послѣдователями матеріализма прошлаго столѣтія. И мы не думаемъ, что Дэзами сталъ бы возражать противъ приписыванія челоуѣческой природѣ божественныхъ атрибутовъ въ томъ смыслѣ, какой они имѣютъ у Фейербаха. Его взглядъ на эту природу, вообще, очень напоминаетъ то, что говорить о ней Фейербахъ. И хотя Дэзами очень рѣшительно ставитъ физиологическія явленія въ рядъ общихъ явленій физики и химіи, но онъ убѣжденъ въ то же время, «что принципъ и критерій всякой достовѣрности лежитъ въ совершенномъ и синтетическомъ знаніи челоуѣка и всего того, что на челоуѣка вліяетъ» ²⁾. Это почти буквально то же, что челоуѣкъ и природа, какъ базисъ челоуѣка. Въ системѣ Дэзами есть мѣсто и для религіи, опять-таки въ томъ же самомъ смыслѣ, какой она имѣетъ у Фейербаха. И ошибочно было бы предполагать, что въ этой системѣ французскій матеріализмъ претерпѣлъ сильное видоизмѣненіе. Въ томъ-то и дѣло, что совсѣмъ нѣтъ! Измѣнились только частности ³⁾. Матеріалисты XVIII вѣ-

¹⁾ „Исторія матеріализма“, переводъ Н. Н. Стрхова, томъ второй, стр. 82.

²⁾ Le principe et criterium de toute certitude git dans la connaissance synthétique et parfaite de l'homme et des tous ses modificateurs. „Code de la communauté“, Paris, 1842, p. 261.

³⁾ Замѣчательно, что Ланге въ своемъ очеркѣ „Философскаго матеріализма послѣ Канта“ совсѣмъ игнорируетъ Дэзами, а между тѣмъ анализъ матеріалистическихъ взглядовъ этого писателя важенъ былъ уже по одному тому, что

ка, конечно, не назвали бы того религіей, что носить это названіе у Дэзами; но и они не отказались бы признать, что признакъ всякой достовѣрности лежитъ въ знаніи человѣка и всего того, что на него вліяетъ. Вообще, надо замѣтить, что фейербахова «*философія чувственности*» и матеріалистическая философія автора «*Systeme de la Nature*» чрезвычайно сходны между собою. Разница лишь въ томъ, что Фейербахъ рѣшительнѣе Гольбаха. «Истина, дѣйствительность, чувственность тождественны,—говоритъ Фейербахъ.—Только чувственное существо есть истинное и дѣйствительное существо, только чувственность есть истина и дѣйствительность». Осторожный Гольбахъ выражается иначе: «Намъ неизвѣстна сущность, ни одной вещи, если словомъ сущность называется внутренняя природа вещей. Мы познаемъ матерію лишь по воспріятіямъ, ощущеніямъ и идеямъ, которыя она намъ доставляетъ... Намъ неизвѣстна ни сущность, ни истинная природа матеріи, хотя, по ея дѣйствию на насъ, мы можемъ судить о нѣкоторыхъ ея свойствахъ... Для насъ (т. е. для людей) матерія есть то, что такъ или иначе вліяетъ на наши чувства». Это—та же «*философія чувственности*». Если бы Ланге принялъ въ соображеніе эти мысли Гольбаха, то онъ, во-первыхъ, не сказалъ бы, что «матеріализмъ упрямо принимаетъ міръ чувственной видимости за міръ дѣйствительныхъ предметовъ» ¹⁾, а, во-вторыхъ, онъ не поколебался бы

показалъ бы, какимъ образомъ одна изъ разновидностей французскаго коммунизма XIX вѣка цѣликомъ вышла изъ матеріалистическаго ученія Гольбаха и особенно Гельвеція. Къ удивленію читателя, мы вынуждены замѣтить, что книга Ланге вообще очень поверхностна.

¹⁾ Л. с., т. I, стр. 349; рѣчь идетъ тамъ именно о Гольбахѣ.

Надо замѣтить, однако, слѣдующее. Если французскіе матеріалисты не принимали «міра чувственной видимости за міръ дѣйствительныхъ предметовъ», то это не значитъ, что они провозглашали *непознаваемость* этихъ предметовъ. Мы видѣли, что, по мнѣнію Гольбаха, намъ извѣстны нѣкоторыя свойства матеріи, благодаря ея дѣйствию на наши чувства. Новѣйшіе матеріалисты думаютъ, что философскія измышленія насчетъ непознаваемости вещей въ себѣ лучше всего разбиваются опытомъ и промышленностью. Мы можемъ доказать правильность нашего пониманія даннаго явленія природы тѣмъ, что мы сами его вызываемъ, порождаемъ его изъ его условій и заставляемъ служить нашимъ цѣлямъ. Такимъ образомъ, кантовской «вещи самой по себѣ» приходитъ конецъ: химическія соединенія, образующіяся въ тѣлахъ животныхъ и растений, оставались подобными вещами по себѣ, пока органическая химія не научилась готовить нѣкоторыя изъ нихъ; но когда она постепенно дошла до этого, эти «*вещи сами по себѣ*» стали вещами для насъ. Система Коперника въ теченіе трехсотъ лѣтъ оставалась гипотезой, въ высшей степени вѣроятной, но все-таки гипотезой. Когда же Лавуазье, на основаніи данныхъ этой системы, не только доказалъ, что должна существовать еще одна неизвѣстная до тѣхъ поръ планета, но опредѣлилъ, посредствомъ вычисленія, мѣсто, занимаемое ею въ небесномъ пространствѣ, и, когда послѣ этого Галле дѣйствительно нашелъ эту планету, система Коперника была доказана. И если неокантіанцы стараются

относити Фейербаха къ числу матеріалистовъ. Онъ понялъ бы тогда, что система этого мыслителя представляетъ собою лишь одну изъ разновидностей матеріализма.

«Если прежняя философія,—говорить Фейербахъ,—имѣла своимъ исходнымъ пунктомъ положеніе: я есть абстрактное, лишь мыслящее существо, тѣло не принадлежитъ къ моей сущности, то новая философія, напротивъ, начинается съ положенія: я есмь дѣйствительное, чувственное существо; тѣло принадлежитъ къ моему существу, даже въ своемъ цѣломъ тѣло есть мое я, сама моя сущность». Изъ этихъ словъ очень хорошо видно, что именно понималъ онъ подъ чувственностью, и какимъ путемъ онъ пришелъ къ ней. Она явилась какъ отрицаніе гегелевскаго *интеллектуализма*.

Что такое абсолютная идея Гегеля? Это не болѣе, какъ процессъ нашего мышленія, взятый независимо отъ его субъективнаго характера и провозглашенный сущностью всего мірового процесса. Показать, что абсолютная идея есть простая психологическая абстракція—значило обнажить Ахиллесову пятку тогдашняго нѣмецкаго идеализма. Это и сдѣлалъ Фейербахъ. Показавъ, что абсолютная идея есть лишь «сущность человѣка», представляемая намъ въ видѣ независимой отъ этого послѣдняго міровой сущности, онъ показалъ въ то же время, что Гегель смотрѣлъ на человѣческую сущность односторонне: для него сущностью человѣка была *мысль*, между тѣмъ какъ въ дѣйствительности къ ней принадлежитъ также и *ощущеніе*: «лишь посредствомъ чувствъ дается предметъ въ его истинномъ видѣ, а не мышленіемъ самимъ по себѣ».

«Чувственность» выдвинулась и должна была выдвинуться на первый планъ въ философіи, представляющей собою не только дальнѣйшее *развитіе* гегелевой философіи, но также и ея *отрицаніе* ¹⁾. Философія Фейербаха не могла выступить иначе, какъ въ костюмѣ своего времени. Но если мы пойдемъ дальше ея костюма и присмотримся къ ея «сущности», то мы поразимся ея сходствомъ съ французскимъ матеріализмомъ прошлаго вѣка. Главныя усилія Фейербаха были направлены на борьбу

воскресить взгляды Канта, а англійскіе агностики—взгляды Юма (никогда не вымравшіе окончательно въ Англии,—несмотря на то, что и теорія, и практика давно уже отвергли и тѣ, и другіе),—то въ научномъ смыслѣ это представляетъ собою понятное движеніе, а на практикѣ даетъ этимъ стыдливымъ людямъ возможность впустить черезъ заднюю дверь тотъ самый матеріализмъ, который изгоняется на глазахъ публики (Энгельсъ).

¹⁾ Die Vollendung der neuern Philosophie ist die Hegelsche Philosophie. Die historische Nothwendigkeit und Rechtfertigung der neuen Philosophie knüpft sich daher hauptsächlich an die Kritik Hegels. Такъ говоритъ Фейербахъ въ своихъ „Grundsätze“, и этимъ объясняется *внѣшній видъ* его философіи, принятый Ланге за ея „сущность“.

противъ дуализма духа и матеріи. Тотъ же дуализмъ составляетъ главную цѣль нападокъ Гольбаха. Удивительно, какъ не замѣтилъ этого Ланге.

Правда, самъ Фейербахъ, насколько мы можемъ припомнить, нигдѣ прямо не называетъ себя матеріалистомъ. Напротивъ, даже въ сочиненіи, специально направленномъ противъ дуализма тѣла и духа, онъ говоритъ: «Истина не въ матеріализмѣ и не въ идеализмѣ, не въ физиологіи и не въ психологіи, истина въ антропологіи». Въ его «*Nachgelassene Aphorismen*» есть, повидимому, еще болѣе рѣшительныя мѣста.

«Матеріализмъ,—говоритъ онъ тамъ,—есть совсѣмъ неподходящее названіе, которое ведетъ за собой неправильное представленіе и можетъ быть оправдано лишь желаніемъ противопоставить нематеріальности мысли ея матеріальность; но для насъ существуетъ только органическая жизнь, только органическое дѣйствіе, только органическое мышленіе. Поэтому правильнѣе было бы говорить *организмъ*. Послѣдовательный спиритуалистъ отрицаетъ, что для мышленія нуженъ органъ, между тѣмъ какъ при естественномъ взглядѣ на дѣло оказывается, что безъ органа нѣтъ и дѣятельности». Въ тѣхъ же «*Афоризмахъ*» Фейербахъ говоритъ, что матеріализмъ составляетъ только основу человѣческой сущности и человѣческаго знанія, но еще не самое знаніе, какъ это думаютъ физиологи, натуралисты въ узкомъ смыслѣ этого слова, напримѣръ Молешоттъ. Тамъ же онъ заявляетъ, что онъ идетъ вмѣстѣ съ матеріалистами лишь до известной точки (*Rückwärts stimme ich den Materialisten vollkommen bei; aber nicht vorwärts*) ¹⁾.

Почему же не вполне удовлетворяетъ его «физиологія»? Отвѣтъ на это находится въ не разъ уже цитированномъ нами сочиненіи его противъ дуализма тѣла и духа. Въ немъ Фейербахъ говоритъ, что «физиологія все сводитъ къ мозгу, а мозгъ есть не болѣе, какъ физиологическая абстракція; онъ лишь до тѣхъ поръ является органомъ мышленія, пока соединенъ съ головою и съ тѣломъ» ²⁾. Это, какъ видите, совсѣмъ не существенное разногласіе съ «физиологіей» и матеріализмомъ. Вѣрнѣе будетъ сказать, что тутъ совсѣмъ нѣтъ никакого разногласія, такъ какъ, разумѣется, никакой физиологъ и никакой матеріалистъ не скажетъ, что умственная дѣятельность можетъ продолжаться въ головѣ, отрубленной отъ тѣла. Фейербахъ слишкомъ охотно приписывалъ матеріалистамъ склонность къ тому, что онъ называлъ физиологическими абстракціями.

Это происходило оттого, что онъ былъ плохо знакомъ съ исторіей матеріализма. Въ доказательство мы сошлемся, напримѣръ, на его сочиненіе «*Ueber Spiritualismus und Materialismus besonders in Beziehung auf*

¹⁾ „Nachgelassene Aphorismen“ напечатаны у Грюна: Ludwig Feuerbach in seinem Briefwechsel und Nachlass, Zweiter Band, S. 307—308.

²⁾ Ww. T. II, S. 362.

die Willensfreiheit», гдѣ онъ противопоставляетъ нѣмецкій матеріализмъ, которому очень сочувствуетъ, матеріализму Гольбаха и «трюфельному паштету» Ла-Меттри, повидимому, даже и не подозревая, какъ самъ онъ близокъ къ нимъ обимъ ⁴⁾. Указывая отличительныя черты нѣмецкаго матеріализма, онъ тѣмъ самымъ,—и опять-таки самъ того не сознавая,—указываетъ отличительныя черты матеріализма, выразившагося въ «*Systeme de la Nature*» и въ «*Homme machine*». Такой ошибки, казалось бы, трудно было ожидать отъ человѣка, всю жизнь свою посвятившаго изученію философіи. Но надо вспомнить, въ какой умственной атмосферѣ выросъ Фейербахъ. Въ то время, когда онъ учился, идеализмъ безраздѣльно господствовалъ въ Германіи, лишь изрѣдка вспоминая о своемъ антагонистѣ—матеріализмѣ, какъ объ ученіи, совсѣмъ уже мертвомъ и похороненномъ. Въ исторіяхъ философіи о матеріализмѣ, особенно о французскомъ матеріализмѣ XVIII вѣка, упоминалось совершенно мимоходомъ. Гегель гораздо справедливѣе другихъ идеалистовъ относился къ французскому матеріализму, но и онъ отвелъ ему чрезвычайно мало мѣста въ своихъ «*Ученіяхъ по исторіи философіи*». При такомъ положеніи дѣлъ ошибочный взглядъ на французскій матеріализмъ могъ спокойно существовать даже въ самыхъ безпокойныхъ и мыслящихъ головахъ. Впослѣдствіи, возставъ противъ идеализма, Фейербахъ, разумѣется, могъ бы и долженъ былъ бы внимательнѣе отнестись къ французскому матеріализму. Но сначала его отвлекла необходимость разбить идеализмъ его же собственнымъ діалектическимъ оружіемъ, и въ этой борьбѣ знакомство съ французскимъ матеріализмомъ не было необходимымъ для него. А въ пятидесятыхъ годахъ въ Германіи явилась такая разновидность матеріализма, которая могла только укрѣпить все уцѣлѣвшіе въ его головѣ предрасудки противъ этого ученія. Мы говоримъ о матеріализмѣ Карла Фогта, Молешотта и проч. Ничего удивительнаго нѣтъ въ томъ, что Фейербахъ не вполне сочувствовалъ этому матеріализму. Удивительно скорѣе то, что онъ сочувствовалъ ему хоть отчасти, что онъ шелъ съ матеріалистами этого вида хоть до известной точки. Эти матеріалисты дѣйствительно путались въ абструпціяхъ, и по поводу ихъ теорій Фейербахъ имѣлъ полное право сказать, что онѣ еще не составляютъ всей истины. Это было даже слишкомъ мягко.

Вотъ, напримѣръ, эти матеріалисты говорили, что мысль есть движеніе вещества. Но согласиться съ этимъ—значить объявить ошибочнымъ законъ сохранения силы, т. е., другими словами, это значитъ отказаться отъ всякой мысли о научномъ объясненіи природы. Когда Фейербахъ говоритъ, что истина не въ матеріализмѣ и не въ идеализмѣ, а въ

⁴⁾ У Гольбаха есть, между прочимъ, и зачатокъ фейербаховской философіи религій.

«организмъ», онъ хочетъ только сказать, что мысль (ощущеніе) есть не движеніе, а внутреннее состояніе вещества, поставленнаго въ извѣстныхъ условія (мозга, соединеннаго съ тѣломъ, и т. д.). Но именно такъ и думали всѣ выдающіеся матеріалисты XVII и XVIII столѣтій. Когда Гоббсъ спрашивалъ: «Какого рода можетъ быть то движеніе, которое производитъ ощущеніе и фантазію въ живыхъ существахъ?»—онъ, очевидно, не отождествлялъ матерію съ движеніемъ. То же можно сказать и о Толандѣ и о французскихъ матеріалистахъ. Толандъ «разсматриваетъ мысль, какъ нѣкоторое явленіе въ нервной системѣ, сопутствующее ея матеріальнымъ движеніямъ»,—говоритъ Ланге. Это справедливо. Но именно такъ разсматривалъ ее и Фейербахъ. Толандъ—матеріалистъ. Почему же Фейербаха нельзя назвать матеріалистомъ? Мы не понимаемъ!

V.

Однако, довольно о матеріализмѣ Фейербаха. Для насъ важно здѣсь, главнымъ образомъ, то, что Чернышевскій считалъ своего учителя матеріалистомъ и что «*Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности*» представляютъ собою интересную и единственную въ своемъ родѣ попытку построить эстетику на основѣ матеріалистической философіи Фейербаха. Чтобы правильно понять эту попытку, надо выяснитъ себѣ еще одну сторону фейербаховой философіи.

По Фейербаху, предметъ въ его истинномъ смыслѣ дается, какъ мы знаемъ, лишь ощущеніемъ; «*чувственность или дѣйствительность пождественна съ истинной*». Спекулятивная философія пренебрежительно относилась къ «чувственному», т. е. къ свидѣтельству нашихъ органовъ чувствъ, полагая, что представленія о предметахъ, основанныя лишь на чувственномъ опытѣ, остаются несоотвѣтствующими дѣйствительной природѣ предметовъ и нуждаются въ провѣркѣ посредствомъ «чистаго» мышленія. Фейербахъ не могъ не возстать противъ такого отношенія къ «чувственному». Онъ доказывалъ, что если бы наши представленія о предметахъ основывались на нашемъ чувственномъ опытѣ, то они вполне соотвѣтствовали бы ихъ истинной природѣ. Но наша фантазія часто искажаетъ наши представленія, которыя поэтому стоятъ въ противорѣчій съ чувственнымъ опытомъ. Задача философіи и вообще науки заключается въ томъ, чтобы изгнать изъ нашихъ представленій и изъ основанныхъ на нихъ понятій фантастическій элементъ и привести ихъ въ согласіе съ чувственнымъ опытомъ. «Сначала люди видятъ вещи не такими, каковы онѣ на самомъ дѣлѣ, а такими, какими онѣ кажутся,—говорилъ онъ;—люди видятъ не вещи, а то, что они вообразили о нихъ, приписываютъ имъ свою собственную сущность, не различаютъ предмета отъ своего представленія о немъ» То же происходитъ и въ области мышленія. Люди охотнѣе занимаются отвлеченными понятіями, чѣмъ дѣйствитель-

ными предметами, а такъ какъ отвлеченныя понятія представляютъ собою тѣ же предметы въ переводѣ на языкъ мысли, то люди больше интересуются переводомъ, чѣмъ подлинникомъ. Только въ самое послѣднее время человѣчество начинаетъ возвращаться къ неискаженному, объективному созерцанію чувственнаго, т. е. дѣйствительныхъ предметовъ ¹⁾. Возвращаясь къ такому созерцанію,—господствовавшему въ древней Греціи,—человѣчество, можно сказать, возвращается къ самому себѣ, потому что люди, занимающіеся лишь вымыслами и абстракціями, сами могутъ быть только фантастическими и абстрактными, а не дѣйствительными существами. Реальность человѣка зависитъ лишь отъ реальности того предмета, которымъ онъ занимается ²⁾.

Но если сущность человѣка—«чувственность», дѣйствительность, а не вымыселъ и не абстракція, то всякое произнесеніе вымысла и абстракціи надъ дѣйствительностью не только ошибочно, а прямо вредно. И если задача науки вообще заключается въ реабилитаціи дѣйствительности, то въ этой же реабилитаціи заключается и задача эстетики, какъ отдѣльной научной отрасли. *Этотъ выводъ, неизбѣжно слѣдующій изъ философскаго ученія Фейербаха, цѣликомъ легъ въ основу встѣхъ разсужденій Чернышевскаго объ искусствѣ.*

Эстетики-идеалисты говорили, что искусство имѣетъ своимъ источникомъ стремленіе человѣка освободить прекрасное, существующее въ дѣйствительности, отъ недостатковъ, мѣшающихъ ему быть вполнѣ удовлетворительнымъ для человѣка. Чернышевскій же утверждаетъ, наоборотъ, что прекрасное въ дѣйствительности всегда выше прекраснаго въ искусствѣ. Для доказательства этой мысли онъ подробно разбираетъ всѣ «упреки, дѣлаемые прекрасному въ дѣйствительности» Фишеромъ, который былъ тогда едва ли не самымъ виднымъ представителемъ идеалистической эстетики въ Германіи. Упреки эти кажутся ему неосновательными. По его мнѣнію, прекрасное, какъ оно существуетъ въ живой дѣйствительности, или совсѣмъ не имѣетъ тѣхъ недостатковъ, которые хотятъ въ немъ видѣть идеалисты, или имѣетъ ихъ лишь въ слабой степени. Притомъ отъ нихъ совсѣмъ не свободны и произведенія искусства. Всѣ недостатки прекраснаго, существующаго въ дѣйствительности, принимаютъ въ произведеніяхъ искусства гораздо большіе размѣры. Чернышевскій рассматриваетъ каждое искусство въ отдѣльности и старается показать, что ни одно изъ нихъ не можетъ соперничать съ живою дѣйствительностью по красотѣ своихъ созданій. Изъ невозможности такого соперничества онъ заключаетъ, что искусство и не могло имѣть своимъ источни-

¹⁾ „Чувства говорятъ все,—замѣчаетъ Фейербахъ,—но, чтобы умѣть читать ихъ показанія, надо умѣть связывать эти показанія одно съ другимъ. Думать—значитъ умѣть связно читать евангеліе чувствъ“.

²⁾ „Grundsätze“, § 43.

комъ стремленіе освободить прекрасное отъ недостатковъ, будто бы овы-
ственныхъ ему въ дѣйствительности и мѣшающихъ людямъ наслаждаться
имъ. Искусство относится къ дѣйствительности такъ же, какъ гравюра
относится къ картинѣ. Гравюра не можетъ быть лучше картины, но
картина одна, а гравюра во множествѣ экземпляровъ расходится по
всему свѣту и ею наслаждаются люди, которымъ, можетъ быть, никогда
не удастся увидѣть картину. Произведенія искусства представляютъ со-
бою суррогатъ прекраснаго въ дѣйствительности; они знакомятъ съ пре-
краснымъ явленіемъ тѣхъ, которые его не видали; они возбуждаютъ
и оживляютъ воспоминаніе о немъ у тѣхъ, которымъ удалось его
видѣть.

Назначеніе искусства заключается въ воспроизведеніи *прекраснаго,
существующаго въ дѣйствительности*. Но мы уже знаемъ, что, по мнѣ-
нію Чернышевскаго, сфера искусства гораздо шире сферы прекраснаго
въ собственномъ смыслѣ этого слова. Выходитъ, стало быть, что задача
искусства заключается въ воспроизведеніи всѣхъ тѣхъ явленій дѣйстви-
тельной жизни, которыя почему-либо интересны для людей. «Подъ дѣй-
ствительной жизнью,—прибавляетъ Чернышевскій,—конечно, понимаются
не только отношенія человѣка къ предметамъ и существамъ объективнаго
міра, но и внутренняя жизнь; иногда человѣкъ живетъ мечтами—тогда
мечты имѣютъ для него (до нѣкоторой степени и на нѣкоторое время)
значеніе чего-то объективнаго; еще чаще человѣкъ живетъ въ мірѣ своего
чувства; эти состоянія, если достигаютъ интересности, также воспроизво-
дятся искусствомъ». Это очень важное дополненіе, о которомъ намъ при-
дется много говорить впоследствии; поэтому мы просимъ читателя обра-
тить на него большое вниманіе.

Многія произведенія искусства не только воспроизводятъ жизнь, а еще
объясняютъ намъ ее, почему и служатъ для насъ *учебникомъ жизни*.
По замѣчанію Чернышевскаго, «особенно слѣдуетъ сказать это о поэзіи,
которая не въ силахъ объять всѣхъ подробностей, и потому, по необхо-
димости выпуская изъ своихъ картинъ очень многія мелочи, сосредотоочи-
ваетъ наше вниманіе на немногихъ удержанныхъ чертахъ,—если удер-
жаны, какъ и слѣдуетъ, черты существенныя, то этимъ самымъ для не-
опытнаго глаза облегчается обзоръ сущности предмета».

Наконецъ, Чернышевскій приписываетъ искусству — особенно поэ-
зіи—еще и третье значеніе—значеніе «приговора мысли о воспроизводи-
мыхъ явленіяхъ». Если художникъ—человѣкъ мыслящій, то онъ не мо-
жетъ не судить о томъ, что онъ воспроизводитъ, и его сужденіе непре-
мѣнно отразится на его произведеніи. Намъ кажется, впрочемъ, что это
третье значеніе искусства сливается со вторымъ: художникъ не можетъ
произнести свой приговоръ надъ явленіями жизни, не сообщивъ въ то
же время намъ, какъ онъ ихъ понимаетъ, т. е. не объяснивъ ихъ

намъ по-своему. Нечего и говорить, что если бы художникъ задался цѣлью *реабилитации действительности*, то ему пришлось бы разъяснять истинный смыслъ жизни всякій разъ, когда онъ нашелъ бы, что люди забываютъ о немъ ради «грезъ воображенія». Излишне прибавлять также, что такому художнику всецѣло принадлежало бы сочувствіе Чернышевскаго.

Мы видаемъ отсюда, что отрицательное отношеніе къ теоріи искусства для искусства было неразрывно связано со всей системой его философскихъ взглядовъ.

VI.

Чтобы ближе ознакомить читателя съ аргументаціей нашего автора, мы подробно изложимъ здѣсь возраженія его противъ нѣкоторыхъ изъ «упрековъ», дѣлаемыхъ идеалистами прекрасному въ действительности.

Эстетики-идеалисты говорили: неодушевленная природа не заботится о красотѣ своихъ произведеній; потому они не могутъ быть такъ хороши, какъ созданіе художника, сознательно стремящагося осуществить свой идеалъ красоты. Чернышевскій возражаетъ на это, что преднамѣренное произведеніе будетъ по своему достоинству выше непреднамѣренного только въ томъ случаѣ, когда силы производителей равны. Но силы человѣка гораздо слабѣе силъ природы; потому его созданія грубы, неловки и неуклюжи въ сравненіи съ произведеніями природы. Притомъ же красота непреднамѣренна только въ мертвой природѣ: животныя уже заботятся о своей внѣшности; нѣкоторыя изъ нихъ безпрестанно охорашиваются; въ человѣкѣ же красота очень рѣдко бываетъ непреднамѣренной; мало людей, которые не заботились бы о своей наружности. Нельзя сказать, что природа не стремится къ произведенію прекраснаго. Конечно, у нея нѣтъ никогда *сознательныхъ* стремленій, но, «понимая прекрасное, какъ полноту жизни, мы должны будемъ признать, что стремленіе къ жизни, проникающее всю природу, есть вмѣстѣ и стремленіе къ произведенію прекраснаго». Безсознательность этого стремленія не мѣшаетъ его реальности, какъ бессознательность стремленія къ симметріи нисколько не устраняетъ симметричности двухъ половинокъ листа.

Прекрасное въ искусствѣ преднамѣренно. Правда, и здѣсь есть исключенія изъ общаго правила. Нерѣдко художникъ дѣйствуетъ безсознательно; тамъ же, гдѣ онъ руководствуется сознательнымъ намѣреніемъ, онъ не всегда заботится только о красотѣ, имѣя, кромѣ стремленія къ ней, также и другія стремленія. Несомнѣнно, однако, что въ произведеніяхъ искусства преднамѣренности больше, чѣмъ въ созданіяхъ природы. «Но, выигрывая преднамѣренностью съ одной стороны, искусство проигрываетъ тѣмъ же самымъ—съ другой; дѣло въ томъ, что художникъ, задумывая прекрасное, очень часто задумываетъ вовсе не прекрасное: мало

хотѣтъ прекраснаго, надобно умѣть постигать его въ его истинной красотѣ, — а какъ часто художники заблуждаются въ своихъ понятіяхъ о красотѣ! Какъ часто обманываетъ ихъ даже художнической инстинктъ, не только рефлексивныя понятія, большею частью одностороннія! Всѣ недостатки индивидуальности неразлучны въ искусствѣ съ преднамѣренностью».

«Говорятъ еще, что прекрасное рѣдко встрѣчается въ дѣйствительности. Чернышевскій несогласенъ и съ этимъ. По его словамъ, прекраснаго въ дѣйствительности вовсе не такъ мало, какъ утверждаютъ нѣмецкіе эстетики. Вотъ, на примѣръ, прекрасныхъ и величественныхъ пейзажей въ природѣ очень много, и есть страны, гдѣ они встрѣчаются на каждомъ шагу; таковы — Швейцарія, Италія, даже Финляндія, Крымъ, берега Днѣпра и Волги. Величественное въ жизни человѣка встрѣчается сравнительно рѣдко. Но всегда было много людей, вся жизнь которыхъ была непрерывнымъ рядомъ возвышенныхъ чувствъ и дѣлъ. Мы не можемъ также пожаловаться на рѣдкость прекрасныхъ минутъ нашей жизни, потому что отъ насъ самихъ зависитъ наполнить ее великимъ и прекраснымъ.

«Пуста и безцвѣтна бываетъ жизнь только у безцвѣтныхъ людей, которые толкуютъ о чувствахъ и потребностяхъ, на самомъ дѣлѣ не будучи способны имѣть никакихъ особенныхъ чувствъ и потребностей, кромѣ потребности рисоваться». Наконецъ красота, собственно такъ называемая женская красота, вовсе не рѣдкое явленіе, «людей съ прекраснымъ лицомъ нѣсколько не меньше, нежели людей добрыхъ, умныхъ и т. д.». И во всякомъ случаѣ прекрасное чаще встрѣчается въ дѣйствительности, чѣмъ въ искусствѣ. Въ жизни совершается множество истинно-драматическихъ событій, а истинно-прекрасныхъ трагедій или драмъ очень мало: всего нѣсколько десятковъ во всей западно-европейской литературѣ; въ Россіи всего двѣ: «Борисъ Годуновъ» и «Сцены изъ рыцарскихъ временъ». Прекрасные пейзажи чаще встрѣчаются въ природѣ, нежели въ живописи.

Произведеніямъ скульптуры, статуямъ, очень далеко до живыхъ лицъ. «Обратилось въ какую-то аксіому,—говоритъ нашъ авторъ,—что красота очертаній Венеры Медицейской или Милосской, Аполлона Бельведерскаго и т. д. гораздо выше, нежели красота живыхъ людей. Въ Петербургѣ нѣтъ ни Венеры Медицейской, ни Аполлона Бельведерскаго, но есть произведенія Кановы; потому мы, жители Петербурга, можемъ имѣть смѣлость судить до нѣкоторой степени о красотѣ произведеній скульптуры. Мы должны сказать, что въ Петербургѣ нѣтъ ни одной статуи, которая по красотѣ очертаній лица не была бы гораздо ниже безчисленнаго множества живыхъ людей, и что надобно только пройти по какой-нибудь многолюдной улицѣ, чтобы встрѣтить нѣсколько такихъ лицъ». Чернышевскій думаетъ, что съ нимъ согласится въ этомъ

случаѣ большинство людей, судящихъ самостоятельно. Однако, онъ не считаетъ собственнаго впечатлѣнія доказательствомъ. Онъ приводитъ другое—«болѣе твердое». Въ искусствѣ исполненіе всегда неизмѣримо ниже идеала, существующаго въ воображеніи художника. А идеалъ художника не можетъ быть выше тѣхъ людей, которыхъ онъ встрѣчалъ въ жизни: творческая фантазія только комбинируетъ тѣ впечатлѣнія, которыя производятъ на насъ дѣйствительность; «воображеніе только раз-нообразить и экстенсивно увеличиваетъ предметъ, но интенсивнѣе того, что мы наблюдали или испытали, мы ничего не можемъ вообразить». Скажутъ, пожалуй, что, комбинируя впечатлѣнія, полученные изъ опыта, творческая фантазія художника можетъ соединить въ одномъ лицѣ черты, принадлежащія различнымъ лицамъ. Чернышевскій сомнѣвается и въ этомъ. Онъ говоритъ: «Сомнительно, во-первыхъ, нужно ли это; во-вторыхъ, въ состояніи ли воображеніе соединить эти части, когда онѣ дѣйствительно принадлежатъ разнымъ лицамъ». Эклектизмъ нигдѣ не ведетъ ни къ чему хорошему, и, заразившись имъ, художникъ обнаружилъ бы свое безвкусіе или свое неумѣнье найти дѣйствительно прекрасное лицо для модели.

Этому какъ будто противорѣчатъ нѣкоторые общезвѣстные факты изъ исторіи искусства. Кто не слыхалъ о жалобѣ Рафаэля на «неурожай красавицъ въ Италіи»? Чернышевскій не позабылъ о ней. Только онъ думалъ, что она вызвана была вовсе не недостаткомъ красавицъ въ этой странѣ. Дѣло въ томъ, что Рафаэль «искалъ наилучшей красавицы, а наилучшая красавица, конечно, одна въ цѣломъ свѣтѣ,—говоритъ онъ,—и гдѣ же отыскать ее? Первостепеннаго въ своемъ родѣ всегда очень и очень мало, по очень простой причинѣ: если его соберется много, то мы опять раздѣлимъ его на классы и будемъ называть первостепеннымъ то, чего найдется два—три индивидуума; все остальное назовемъ второстепеннымъ. И вообще надобно оказать, что мысль, будто бы прекрасное рѣдко встрѣчается въ дѣйствительности, основана на смѣшеніи понятія «вполнѣ» и «первое»: вполнѣ величественныхъ рѣкъ очень много, первая изъ величественныхъ рѣкъ, конечно, одна; великихъ полководцевъ много, первымъ полководцемъ въ мірѣ былъ кто-нибудь одинъ изъ нихъ».

Мечты воображенія всегда далеко уступаютъ своею красотой тому, что представляетъ собою дѣйствительность. Въ признаніи этого состоитъ, по мнѣнію Чернышевскаго, «одно изъ существеннѣйшихъ различій между устарѣвшимъ міросозерцаніемъ, подъ влияніемъ котораго возникли трансцендентальныя системы науки, и нынѣшнимъ воззрѣніемъ на природу и жизнь».

VII.

Эстетики-идеалисты считали такъ называемое *возвышенное* «моментомъ» прекраснаго. Чернышевскій доказываетъ, что возвышенное не

есть видоизмѣненіе прекраснаго и что идеи возвышеннаго и прекраснаго совершенно различны между собою, между ними «нѣтъ ни внутренней связи, ни внутренней противоположности». Онъ даетъ свое собственное опредѣленіе возвышеннаго, обнимающее и объясняющее, какъ ему кажется, всё явленія, относящіяся къ этой области: «возвышеннымъ кажется человѣку то, что гораздо больше предметовъ или гораздо сильнѣе явленій, съ которыми сравнивается человѣкъ».

Къ своему опредѣленію возвышеннаго Чернышевскій приходитъ путемъ слѣдующихъ разсужденій: «Господствующая эстетическая система говоритъ, что возвышенное есть проявленіе абсолютнаго или перевѣсъ идеи надъ формою». Но эти два опредѣленія совершенно различны по своему смыслу, такъ какъ перевѣсъ идеи надъ формою производить не собственно понятіе возвышеннаго, а понятіе туманнаго, неопредѣленнаго и понятіе безобразнаго. Опредѣленіемъ собственно возвышеннаго остается, слѣдовательно, лишь то, согласно которому возвышенное есть проявленіе абсолютнаго. Но и оно не выдерживаетъ критики. Если мы захотимъ вдуматься въ то, что происходитъ въ насъ при созерцаніи возвышеннаго, то убѣдимся, что возвышеннымъ представляется намъ самый предметъ, а не вызываемое имъ настроеніе: величественно море, величественна такая-то гора, величественна такая-то личность. Конечно, созерцаніе возвышеннаго можетъ навести на различныя размышленія, усиливающія испытываемое нами впечатлѣніе: во созерцаемый нами предметъ остается возвышеннымъ совершенно независимо отъ того, являются или нѣтъ такія мысли. «И потому, если бы даже и согласиться, что созерцаніе возвышеннаго всегда ведетъ къ идеѣ безконечнаго, то возвышенное, порождающее такую мысль, а не порождаемое ею, должно имѣть причину своего дѣйствія на насъ не въ ней, а въ чемъ-нибудь другомъ». Но на самомъ дѣлѣ созерцаніе возвышеннаго далеко не всегда приводитъ насъ къ мысли о безконечномъ. Монбланъ и Казбекъ—величественныя горы, но никто не скажетъ, что онѣ безконечно велики; гроза—очень величественное явленіе, но между грозой и безконечностью нѣтъ ничего общаго; любовь или страсть можетъ быть чрезвычайно величественна, но и она не можетъ вызвать идею безконечнаго. Нѣкоторые предметы и явленія кажутся намъ возвышенными просто потому, что они больше другихъ. «Монбланъ и Казбекъ—величественныя горы, потому что гораздо огромнѣе дожинныхъ горъ и пригорковъ, которые мы привыкли видѣть... Гладкая площадь моря гораздо обширнѣе площади прудовъ и маленькихъ озеръ, которые безпрестанно попадаютъ путешественникамъ; волны моря гораздо выше волнъ этихъ озеръ, потому буря на морѣ возвышенное явленіе, хотя бы никому не угрожала опасностью... Любовь гораздо сильнѣе нашихъ мелочныхъ разчетовъ и побужденій; гнѣвъ, ревность, всякая вообще страсть также гораздо сильнѣе ихъ—потому страсть воз-

вышненное явленіе... Гораздо больше, гораздо сильнѣе—вотъ отличительная черта возвышеннаго».

Приступая къ критикѣ господствующихъ опредѣленій возвышеннаго, Чернышевскій сожалѣетъ о томъ, что онъ не можетъ въ своей диссертациі показати настоящее значеніе абсолютнаго въ области метафизическихъ понятій. Онъ не безъ причины сожалѣетъ объ этомъ. Показать значеніе абсолютнаго—значило бы для него опровергнуть абсолютный идеализмъ въ его основаніи, а, опровергнувъ основу абсолютнаго идеализма, поставивъ читателя на свою собственную матеріалистическую точку зрѣнія, онъ уже безъ труда заставилъ бы его признати несостоятельность идеалистическихъ опредѣленій возвышеннаго, а также и другихъ эстетическихъ понятій. Мы доскажемъ то, чего не досказалъ нашъ авторъ.

Абсолютный идеализмъ считаетъ сущностью всего мірового процесса абсолютную идею. Эстетики школы Гегеля апеллировали къ абсолютной идеѣ, какъ къ послѣдней инстанціи, отъ которой зависятъ всѣ (т. е. и эстетическія) понятія и въ которой разрѣшаются всѣ смущающія насъ противорѣчія ¹⁾. Фейербахъ показалъ, какъ мы уже знаемъ, что абсолютная идея есть процессъ мышленія, разсматриваемый какъ сущность мірового процесса. Онъ развѣнчалъ абсолютную идею. Но вмѣстѣ съ могучей царицей падали и всѣ ея многочисленныя вассалы. Всѣ отдѣльныя идеи и понятія, получавшія свой высшій смыслъ отъ абсолютной идеи, оказывались какъ бы лишенными содержанія и потому нуждались въ коренномъ пересмотрѣ. Возьмемъ хоть понятіе возвышеннаго. Пока абсолютная идея считалась основой всего сущаго, эстетики-идеалисты никого не удивляли, говоря: возвышенное есть проявленіе абсолютнаго. Но, когда абсолютное оказалось сущностью нашего собственнаго мыслительнаго процесса, это опредѣленіе утратило всякій смыслъ. Гроза есть возвышенное явленіе природы; но какъ же можетъ проявляться въ ней наше собственное мышленіе? Ясно, стало быть, что понятіе возвышеннаго необходимо перестроить заново. Сознаніе этой необходимости и сказалося въ попыткѣ Чернышевскаго найти новое опредѣленіе для этого понятія.

То же и съ понятіемъ трагическаго.

Трагическое составляетъ важнѣйшее видоизмѣненіе возвышеннаго. Разойдясь съ идеалистами въ понятіи этого послѣдняго, Чернышевскій, конечно, долженъ былъ разойтись съ ними и во взглядѣ на трагическое. Чтобы уяснить себѣ, чѣмъ именно вызвано было здѣсь его разногласіе съ идеалистами, надо вспомнить нѣкоторые историческіе взгляды Гегеля.

¹⁾ См. эстетику Фишера (особенно т. I, стр. 47 или слѣдующія) и самого Гегеля.

По Гегелю, Сократъ былъ представителемъ новаго принципа въ общественной и умственной жизни Аѳинъ; въ этомъ—его слава и его историческая заслуга. Но выступивъ представителемъ новаго принципа, Сократъ пришелъ въ столкновение съ существовавшими въ Аѳинахъ законами. Онъ нарушилъ ихъ и погибъ жертвою этого нарушения. И такова вообще судьба историческихъ героевъ: смѣлые новаторы, они нарушаютъ установившійся законный порядокъ; въ этомъ смыслѣ они преступны. Установленный законный порядокъ вещей наказываетъ ихъ гибелью. Но ихъ гибелью искупается то, что было преступнаго въ ихъ дѣятельности, и представляемые ими принципы торжествуютъ послѣ ихъ смерти. Такой взглядъ на историческую дѣятельность героевъ заключаетъ въ себѣ два существенно-различныхъ элемента. Первый элементъ состоитъ въ указаніи очень часто повторяющагося въ исторіи факта столкновения новаторовъ съ установившимся законнымъ порядкомъ. Второй заключается въ стремленіи оправдать тоже нерѣдко повторяющійся фактъ гибели новаторовъ. Эти два элемента соотвѣтствуютъ двойственному характеру абсолютнаго идеализма. Въ качествѣ діалектической системы философіи, абсолютный идеализмъ разсматривалъ явленія въ ихъ развитіи, въ ихъ возникновеніи и уничтоженіи. Процессъ развитія историческихъ явленій совершается посредствомъ человѣческой дѣятельности. Борьба стараго съ новымъ есть борьба людей противоположныхъ направленій. Эта борьба стоитъ подчасъ очень многихъ невинныхъ жертвъ. Таковъ неоспоримый историческій фактъ. Гегель указываетъ его и выясняетъ его неизбежность. Но идеализмъ Гегеля есть не только діалектическая система; онъ хочетъ быть также системой абсолютной истины. Онъ общаетъ ввести насъ въ міръ абсолютнаго. А въ мірѣ абсолютнаго нѣтъ несправедливости. Поэтому абсолютный идеализмъ Гегеля увѣряетъ, что, собственно говоря, безвинно люди никогда не гибнутъ; что такъ какъ ихъ поступки—поступки индивидовъ—по необходимости носятъ на себѣ печать ограниченности, то, будучи справедливыми съ одной стороны, они несправедливы съ другой. И вотъ эта-то ихъ несправедливость и является причиною ихъ гибели. Такимъ образомъ, съ «абсолютной идеи», со «всемирнаго духа» снимается всякая отвѣтственность за страданія, которыми сопровождается поступательное движеніе человечества. Разсматриваемая такимъ образомъ исторія становится своего рода *теодицеей*.

Основанное на философіи Гегеля ученіе о трагическомъ станетъ вполне понятно читателямъ, если мы скажемъ, что, согласно этому ученію, судьба Сократа есть одинъ изъ высочайшихъ примѣровъ трагическаго. Аѳинскій мудрецъ своей гибелью искупилъ неизбежную односторонность своего собственнаго дѣла. Его гибель была необходимой искупительной жертвой. Безъ такой жертвы осталось бы неудовлетвореннымъ

наше нравственное чувство. Согласитесь, что очень странно это нравственное чувство, требующее гибели всѣхъ тѣхъ, которые энергичнѣе и успѣшнѣе другихъ борются противъ общественнаго застоя! Такого чувства не можетъ быть у непредубѣжденнаго человѣка. Оно было придумано, «конструировано» философами. Это, разумѣется, не укрылось отъ Чернышевскаго, совершенно справедливо говорившаго, что мысль—видѣть виновнаго въ каждомъ погибающемъ—*натянута и жестокая мысль*. Она выросла, по его словамъ, изъ древнегреческой идеи судьбы. Но «всякій образованный человѣкъ понимаетъ, какъ смѣшно смотрѣть на міръ тѣми глазами, какими смотрѣли греки геродотовскихъ временъ; всякій нынѣ очень хорошо понимаетъ, что въ страданіи и гибели великихъ людей нѣтъ ничего необходимаго; что не всякій гибнущій человѣкъ гибнетъ за свои преступленія, что не всякій преступникъ погибаетъ, что не всякое преступленіе наказывается судомъ общественнаго мнѣнія и проч. Потому нельзя не сказать, что трагическое не всегда пробуждаетъ въ насъ идею необходимости и что вовсе не въ идеѣ необходимости основаніе дѣйствія его на человѣка и сущность его».

Какъ же понимаетъ трагическое самъ Чернышевскій?

Послѣ всего оказаннаго, намъ нетрудно уже предвидѣть, какой взглядъ на трагическое найдемъ мы въ «Эстетическихъ отношеніяхъ». Чернышевскій говоритъ: «Трагическое есть страданіе или гибель человѣка—этого совершенно достаточно, чтобы исполнить насъ ужасомъ и состраданіемъ, хотя бы въ этомъ страданіи, въ этой гибели и не проявлялась никакая «безконечно могущественная и неотразимая сила». Случай или необходимость причина страданія и гибели человѣка—все равно, страданіе и гибель ужасны. Намъ говорятъ: «чисто-случайная гибель—нелѣпость въ трагедіи»; въ трагедіяхъ, писанныхъ авторами, можетъ быть, а въ дѣйствительной жизни—нѣтъ. Въ поэзіи авторъ считаетъ необходимою обязанностью «выводить развязку изъ самой завязки»; въ жизни развязка часто совершенно случайна, и трагическая участь можетъ быть совершенно случайной, не переставая быть трагическою. Мы согласны, что трагична участь Макбета и леди Макбетъ, необходимо вытекающая изъ ихъ положенія и дѣлъ. Но неужели не трагична участь Густава-Адольфа, который погибъ совершенно случайно въ битвѣ подъ Люцерномъ, на пути торжества и побѣды?»

Въ концѣ концовъ Чернышевскій опредѣляетъ трагическое, какъ *ужасное въ человѣческой жизни*. Онъ думаетъ, что это наиболѣе полное опредѣленіе трагическаго. «Правда,—прибавляетъ онъ,—что большая часть произведеній искусства даетъ право прибавить: «ужасное, постигающее человѣка болѣе или менѣе неизбежно»; но, во-первыхъ, сомнительно до какой степени справедливо поступаетъ искусство, представляя это ужасное почти всегда неизбѣжнымъ, когда въ самой дѣйствительности

оно бываетъ большею частью вовсе не неизбѣжно, а чисто-случайно; вторыхъ, кажется, что очень часто только по привычкѣ доискиваться во всякомъ произведеніи искусства «необходимаго сѣвленія обстоятельствъ», «необходимаго развитія дѣйствія изъ сущности самаго дѣйствія», мы находимъ, съ грѣхомъ пополамъ, «необходимость въ ходѣ событій» и тамъ, гдѣ ея вовсе нѣтъ, напримѣръ, въ большей части трагедій Шекспира». Итакъ, трагическимъ называется ужасное въ жизни человѣка, и было бы ошибкой считать это ужасное результатомъ «необходимаго хода событій». Такова мысль Чернышевскаго. Справедлива ли она? Прежде, чѣмъ отвѣтить на этотъ вопросъ, полезно спросить себя: почему же думаетъ нашъ авторъ, что необходимость отсутствуетъ въ большей части «трагедій» Шекспира? И о какой необходимости можно говорить здѣсь? Очевидно, только о *психологической необходимости*. Что понимаемъ мы подъ этими словами? То, что мысли, чувства и дѣйствія данаго лица, — въ нашемъ случаѣ даннаго героя драмы, — съ необходимостью вытекаютъ изъ его характера и его положенія. Но можно ли сказать, что въ драмахъ Шекспира отсутствуетъ эта необходимость? Совсѣмъ нѣтъ! Совсѣмъ напротивъ! Она составляетъ главную отличительную черту драматическихъ произведеній Шекспира. Какъ же понимать слова Чернышевскаго? Повидимому, ихъ можно понять только въ томъ смыслѣ, что онъ отказывается признать неизбѣжнымъ, необходимымъ все то зло и всѣ тѣ человѣческія страданія, которыя находятъ свое выраженіе у Шекспира. Общественная точка зрѣнія Чернышевскаго была точка зрѣнія, такъ сказать, *условнаго оптимизма*. Онъ считалъ, что люди будутъ очень счастливы, если они надлежащимъ образомъ организуютъ свои общественныя отношенія. Это — вполне понятный, очень почтенный, и — при наличности извѣстныхъ психологическихъ условий — совершенно неизбѣжный оптимизмъ. Но собственно къ вопросу о трагическомъ онъ не имѣетъ прямого отношенія. Шекспиру приходилось изображать не то, что *могло бы быть*, а то, что *было*; онъ бралъ психологическую природу человѣка не въ томъ ея видѣ, который она приметъ въ будущемъ, а въ томъ, какой былъ извѣстенъ ему на основаніи его наблюденій надъ людьми, *ему современными*. И эта психологическая природа современныхъ людей представляла собою не случайное, а необходимое явленіе. Да и что такое случайность, если не необходимость, ускользающая отъ нашего вниманія? Конечно, мы не можемъ представлять себѣ необходимость въ видѣ греческаго *рока*. Но вѣдь ее можно представить себѣ совсѣмъ иначе. Въ наше время врядъ ли кто станетъ приписывать, напримѣръ, гибель Гракховъ волѣ «рока», силѣ «судьбы» и т. д. Всякій, или почти всякій, согласится съ тѣмъ, что она была подготовлена *ходомъ развитія римской общественной жизни*. Но если этотъ ходъ развитія былъ необходимъ, то ясно, что и знаменитые народ-

ные трибуны погибли въ силу «необходимаго сѣпленія обстоятельствъ». Это вовсе не значить, что мы должны равнодушно относиться къ гибели такихъ людей. Мы можемъ отъ всей души желать имъ побѣды. Но это не мѣшаетъ намъ понимать, что ихъ побѣда возможна при наличности такихъ-то и такихъ-то общественныхъ условий и невозможна при отсутствіи этихъ условий. Вообще противоположеніе желательнаго необходимому не выдерживаетъ критики и представляетъ собою лишь частный случай того дуализма,—осужденнаго, между прочнымъ, и Фейербахомъ, учителемъ Чернышевскаго,—того дуализма, который разрываетъ связь между субъектомъ и объектомъ. Всякая *монистическая философія*,—а философія Чернышевскаго не безъ основанія объявляла себя таковою,—обязана стремиться къ тому, чтобы объяснить желательное необходимымъ, *понять возникновеніе данныхъ желаній у даннаго общественнаго чловѣка, какъ законообразный, и потому необходимый, процессъ*. Чернышевскій—да и самъ Фейербахъ—призналъ за своей философіей эту обязанность, поскольку указанная нами задача представлялась ему въ *своей общей отвлеченной формулировкѣ*. Но ни Фейербахъ, ни Чернышевскій не понимали, что эта задача неизбежно встаетъ передъ каждымъ изъ тѣхъ, которые хотятъ понять чловѣческую исторію вообще и исторію идеологій въ частности. Этимъ и объясняется неудовлетворительность изложеннаго въ диссертациі Чернышевскаго взгляда на трагическое. Гегель, разсматривавшій судьбу Сократа, какъ драматическій эпизодъ изъ исторіи внутренняго развитія аѣнскаго общества, глубже понималъ трагическое, нежели Чернышевскій, которому судьба эта, повидимому, представлялась просто-на-просто ужасною случайностью. Чернышевскій только тогда сравнялся бы съ Гегелемъ въ пониманіи трагическаго, если бы онъ, подобно великому нѣмецкому идеалисту, сталъ на точку зрѣнія развитія, которая, къ сожалѣнію, почти вполнѣ отсутствуетъ въ его диссертациі. Слабая сторона взгляда Гегеля на судьбу того же Сократа заключается въ стремленіи убѣдить насъ въ томъ, что гибель аѣнскаго мудреца была необходима для примиренія кого-то съ чѣмъ-то и для удовлетворенія требованій высшей справедливости, которыя будто бы были отчасти нарушены Сократомъ. Но это стремленіе Гегеля не имѣетъ ничего общаго съ его діалектикой. Оно было внушено тѣмъ метафизическимъ элементомъ, который былъ свойственъ его философіи и который придавалъ ей столь замѣтный отпечатокъ консерватизма. Задача Фейербаха и его учениковъ, критиковавшихъ философію Гегеля, заключалась въ безпощадной борьбѣ съ этимъ метафизическимъ элементомъ, устраненіе котораго должно сдѣлать ее *алгеброй процесса*. Последовательно держась точки зрѣнія развитія, Чернышевскій сумѣлъ бы, съ одной стороны, понять трагическое положеніе Сократа, какъ результатъ перелома внутренней жизни Аѣнъ, а съ другой—не только обнаружить

слабую сторону предложенной Гегелемъ теоріи трагическаго,—представленіе о гибели героя, какъ о необходимомъ условіи уже извѣстнаго намъ «примиренія»,—но и показать, откуда собственно она явилась, т. е., иначе сказать, примѣнить орудіе діалектики къ разсмотрѣнію самой философіи Гегеля. Но ни самъ Чернышевскій, ни его учитель Фейербахъ не въ состояніи были сдѣлать этого. Діалектическая критика гегелевской философіи была дана лишь Марксомъ и Энгельсомъ.

Въ ученіи о комическомъ нашъ авторъ мало разошелся съ «господствующей эстетической системой». Это произошло по той простой причинѣ, что съ принятаго идеалистами опредѣленія: *«комическое есть перевѣсъ образа надъ идеей»*, онъ могъ безъ большихъ діалектическихъ усилій стереть всякій слѣдъ идеализма. Онъ говоритъ, что комическое есть «внутренняя пустота и ничтожность, имѣющая притязаніе на содержаніе и реальное значеніе». И онъ прибавляетъ, что эстетики-идеалисты слишкомъ съуживали понятіе комическаго, противопоставляя его лишь понятію возвышеннаго: «комическое мелочное и комическое глупое или тупоумное, конечно, противоположно возвышенному; но комическое уродливое, комическое безобразное противоположно прекрасному, а не возвышенному».

VIII.

Произведеніе искусства по своей красотѣ гораздо ниже созданія природы. Искусство выросло вовсе не изъ стремленія людей устранить недостатки прекраснаго, какъ оно существуетъ въ дѣйствительности. Чернышевскій твердо убѣжденъ въ этомъ. Но если мы допустимъ, что онъ правъ, то у насъ неизбежно возникаетъ вопросъ: откуда же взялась у людей мысль о превосходствѣ произведеній искусства надъ созданіями природы? Чернышевскій предвидитъ этотъ неизбежный вопросъ и старается на него отвѣтить.

Человѣкъ вообще склоненъ цѣнить трудность дѣла и рѣдкость вещи. Такъ, напримѣръ, мы, русскіе, несколько не удивляемся тому, что французы хорошо говорятъ по-французски: имъ это ничего не стоитъ. Но мы готовы удивляться иностранцу, хорошо говорящему на этомъ языкѣ. Въ сущности иностранецъ, навѣрное, никогда не сравняется въ этомъ отношеніи съ французами; но мы очень охотно простимъ ему недостатки его французской рѣчи и даже вовсе ихъ не замѣтимъ. Мы безпристрастные судьи и въ этомъ случаѣ. Намъ подкупаетъ сознаніе превзойденной иностранцемъ трудности. То же мы видимъ и въ отношеніяхъ эстетики къ созданіямъ природы и искусства; малѣйшій истинный или мнимый недостатокъ произведенія природы,—и эстетика толкуетъ объ этомъ недостатокѣ, шокируется имъ, готова забывать о всѣхъ достоинствахъ, о всѣхъ красотахъ: стоитъ ли цѣнить ихъ, въ самомъ дѣлѣ, когда онѣ

явилсяъ безъ всякаго усилія! Тотъ же самый недостатокъ въ произведеніи искусства во сто разъ больше, грубѣе и окруженъ еще сотнями другихъ недостатковъ—и мы не видимъ всего этого, а если видимъ, то прощаемъ и восклицаемъ: и на солнцѣ есть пятна!.. Чернышевскій находитъ, что мы очень хорошо поступаемъ, цѣня трудность дѣла. Но онъ требуетъ справедливости. «Не должно забывать и существеннаго, внутренняго достоинства, которое независимо отъ трудности; мы дѣлаемся рѣшительно несправедливыми, когда трудность исполненія предпочитаемъ достоинству исполненія». Чтобы доказать, какъ высоко цѣнятся трудность исполненія и какъ много теряетъ въ глазахъ человѣка то, что дѣлается само собой, Чернышевскій указываетъ на дагерротипные портреты: «Въ числѣ ихъ найдется много не только вѣрныхъ, но и передающихъ въ совершенствѣ выраженіе лица—цѣнимъ ли мы ихъ? Странно даже услышать апологію дагерротипныхъ портретовъ».

Другимъ источникомъ нашего пристрастія къ произведеніямъ искусства служитъ то обстоятельство, что они представляютъ собой дѣло рукъ человѣка. Они свидѣтельствуютъ о человѣческихъ способностяхъ, и потому мы дорожимъ ими. «Всѣ народы, кромѣ французовъ, очень хорошо видятъ, что между Корнелемъ или Расиномъ и Шекспиромъ неизмѣримое разстояніе; но французы до сихъ поръ еще сравниваютъ ихъ; трудно дойти до сознанія: «наше не совѣмъ хорошо»; между нами найдется очень много людей, готовыхъ утверждать, что Пушкинъ всемірный поэтъ; есть даже люди, думающіе, что онъ выше Байрона: такъ высоко человѣкъ ставитъ свое. Какъ отдѣльный народъ преувеличиваетъ достоинство своихъ поэтовъ, такъ человѣкъ вообще преувеличиваетъ достоинство поэзіи вообще».

Третья причина предпочтительной нашей любви къ *искусству* заключается въ томъ, что оно льститъ нашимъ искусственнымъ вкусамъ. Мы понимаемъ теперь, какъ искусственны были нравы, привычки и весь образъ мыслей людей XVII вѣка; мы теперь ближе къ природѣ, мы лучше понимаемъ и цѣнимъ ее, но мы все еще очень далеки отъ нея и все еще болѣны искусственностью. У насъ искусственно все, начиная съ нашей одежды и кончая нашими кушаньями, которыя приправляются всевозможными примѣсами, совершенно измѣняющими естественный вкусъ пищи. Произведенія искусства льстятъ нашей любви къ искусственности, и именно потому мы предпочитаемъ ихъ созданіямъ природы.

Первыя двѣ причины нашего пристрастія къ произведеніямъ искусства заслуживаютъ, по словамъ Чернышевскаго, уваженія, потому что они естественны: «какъ человѣку не уважать человѣческаго труда, какъ человѣку не любить человѣка, не дорожить произведеніями, свидѣтельствующими объ умѣ и силѣ человѣка?» Но что касается третьей причины, то онъ относится къ ней съ порицаніемъ, возмущаясь тѣмъ, что

произведенія искусства льстятъ нашимъ мелочнымъ требованіямъ, происходящимъ отъ любви къ искусственности. Чернышевскій не хочетъ останавливаться на вопросѣ о томъ, до какой степени мы еще любимъ до сихъ поръ «умывать» природу; по его словамъ, это завлекло бы его въ слишкомъ длинныя разсужденія о томъ, что такое «грязное» и до какой степени оно допустимо въ произведеніяхъ искусства. «Но до сихъ поръ въ произведеніяхъ искусства господствуетъ мелочная оцѣнка подробностей, которой цѣль не приведеніе подробностей въ гармонію съ духомъ цѣлаго, а только то, чтобы сдѣлать каждую изъ нихъ въ отдѣльности интереснѣе или красивѣе, почти всегда во вредъ общему впечатлѣнію произведенія, его правдоподобию и естественности; господствуетъ мелочная погоня за эффектностью отдѣльныхъ словъ, отдѣльныхъ фразъ и цѣлыхъ эпизодовъ, расцвѣчиваніе не совсѣмъ натуральными, но рѣзкими красками лицъ и событій. Произведеніе искусства мелочнѣе того, что мы видимъ въ жизни и въ природѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ эффектнѣе—какъ же не утвердиться мнѣнію, что оно прекраснѣе дѣйствительной природы и жизни, въ которыхъ такъ мало искусственности, которымъ чуждо стремленіе заинтересовать?» Искусственно развитой человекъ имѣетъ много искусственныхъ, мелочныхъ и часто искажившихся до фантастичности требованій, которыя правильнѣе назвать прихотями. Угодить прихотямъ человека вовсе не значитъ удовлетворять его потребностямъ, между которыми первое мѣсто занимаетъ его потребность въ истинѣ.

Чернышевскій указываетъ еще нѣсколько другихъ причинъ предпочтенія, отдаваемого искусству предъ дѣйствительностью. Мы не станемъ перечислять ихъ здѣсь и ограничимся тѣмъ замѣчаніемъ, что всѣ онѣ, по его мнѣнію, только объясняютъ, а не оправдываютъ это предпочтеніе. Не соглашаясь съ тѣмъ, чтобы искусство стояло выше дѣйствительности, Чернышевскій естественно не могъ согласиться и съ господствовавшимъ въ его время идеалистическимъ взглядомъ на то, изъ какихъ потребностей возникаетъ оно, въ чемъ состоитъ его назначеніе. Идеалисты говорили: человекъ имѣетъ непреодолимое стремленіе къ прекрасному, но не находитъ истинно прекраснаго въ объективной дѣйствительности; не осуществляемая объективной дѣйствительностью, идея прекраснаго осуществляется произведеніями искусства. Чернышевскій возражаетъ на это, что если подъ прекраснымъ понимать полное согласіе идеи и формы, то изъ стремленія къ прекрасному надо выводить не искусство въ частности, а всю вообще дѣятельность человека, основное начало которой—полное осуществленіе извѣстной мысли. «Стремленіе къ единству идеи и образа—формальное начало всякой техники, стремленіе къ сознанію и усовершенствованію всякаго произведенія или издѣлія». Чернышевскій утверждаетъ, что подъ прекраснымъ должно понимать то, въ чемъ человекъ видитъ жизнь. Отсюда онъ дѣлаетъ тотъ очевидный

*

для него выводъ, что изъ стремленія къ прекрасному происходитъ радостная любовь ко всему живому и что это стремленіе въ высочайшей степени удовлетворяется живою дѣйствительностью. «Если бы произведенія искусства возникали вслѣдствіе нашего стремленія къ совершенству и пренебреженія всѣмъ несовершеннымъ, человѣкъ долженъ былъ бы давно покинуть, какъ бесплодное усиліе, всякое стремленіе къ искусству, потому что въ произведеніяхъ искусства нѣтъ совершенства; кто недоволенъ дѣйствительною красотой, тотъ еще меньше можетъ удовлетвориться красотой, создаваемою искусствомъ». Не соглашаясь съ идеалистическимъ объясненіемъ значенія искусства, Чернышевскій находитъ, однако, что въ немъ есть намеки на правильное истолкованіе дѣла.

Идеалисты правы, говоря, что человѣкъ не удовлетворяется прекраснымъ въ дѣйствительности, но они ошибаются при указаніи тѣхъ причинъ, вслѣдствіе которыхъ происходитъ его неудовлетворенность. Чернышевскій понимаетъ этотъ вопросъ совсѣмъ иначе.

Когда мы любимъ море, то намъ въ голову не приходитъ желаніе чѣмъ-нибудь дополнить или исправить представляемую имъ картину. «Но не всѣ люди живутъ близъ моря, многимъ не удается ни разу въ жизни взглянуть на него; а имъ хотѣлось бы полюбоваться на море—и для нихъ являются картины, изображающія море». Цѣль большей части произведеній искусства заключается въ томъ, чтобы дать возможность познакомиться съ дѣйствительностью тѣмъ людямъ, которые почему-либо не могли познакомиться съ нею на самомъ дѣлѣ. Искусство воспроизводитъ природу и жизнь такъ же, какъ гравюра воспроизводитъ картину. «Гравюра не думаетъ быть лучше картины, она гораздо хуже ея въ художественномъ отношеніи; такъ и произведеніе искусства никогда не достигаетъ красоты или величія дѣйствительности; но картина одна, ею могутъ любоваться только люди, пришедшіе въ галлерею, которую она украшаетъ; гравюра расходуется въ сотняхъ экземпляровъ по всему свѣту, каждый можетъ любоваться ею когда ему угодно, не выходя изъ своей комнаты, не вставая съ своего дивана, не скидая своего халата; такъ и предметъ прекраснаго въ дѣйствительности доступенъ не всякому и не всегда; воспроизведенный (слабо, грубо, блѣдно, это правда, но все-таки воспроизведенный) искусствомъ, онъ доступенъ всякому и всегда».

Чернышевскій спѣшитъ замѣтить, однако, что словами: искусство есть воспроизведеніе дѣйствительности—опредѣляется только формальное начало искусства. Для опредѣленія же существеннаго содержанія искусства онъ напоминаетъ о томъ, что оно далеко не ограничивается областью прекраснаго. Искусство обнимаетъ все то, что «въ дѣйствительности (въ природѣ и въ жизни) интересуется человѣка, не какъ ученаго, а просто какъ человѣка». Прекрасное, трагическое, комическое представляютъ собою лишь три наиболѣе опредѣленныхъ элемента изъ множества тѣхъ

элементовъ, отъ которыхъ зависитъ интересъ человѣческой жизни. Но почему же прекрасное считается единственнымъ содержаніемъ искусства? Только вслѣдствіе смѣшенія прекраснаго, какъ предмета искусства, съ прекрасной формой, составляющей необходимую принадлежность всякаго произведенія искусства. Прекрасная форма получается благодаря взаимному соответствію, единству идеи и образа. Но эта формальная красота не составляетъ, по мнѣнію Чернышевскаго, такой особенности, которая отличала бы произведенія искусства отъ другихъ отраслей человѣческой дѣятельности. «Дѣйствіе человѣка всегда имѣетъ цѣль, которая составляетъ сущность дѣла; по мѣрѣ соответствія нашего дѣла съ цѣлью, которую мы хотѣли осуществить имъ, цѣнится достоинство самаго дѣла; по мѣрѣ совершенства выполненія оцѣнивается всякое человѣческое произведеніе. Это общій законъ и для ремесла, и для промышленности, и для научной дѣятельности и т. д.; онъ примѣняется и къ произведеніямъ искусства». Смыслъ словъ: гармонія идеи и образа—сводится къ той простой мысли, что всякое дѣло должно быть выполнено.

Выше мы сказали, что, кромѣ воспроизведенія жизни, искусство имѣетъ, по мнѣнію Чернышевскаго, еще и другое значеніе: объясненіе этой жизни. Человѣкъ, интересуясь явленіями жизни, не можетъ не судить о нихъ такъ или иначе. Поэтому и художникъ не можетъ отказаться отъ произнесенія своего приговора надъ тѣми явленіями, которыя онъ изображаетъ. Въ этомъ состоитъ другое назначеніе искусства, благодаря которому «искусство становится въ число нравственныхъ двигателей человѣка». Чѣмъ сознательнѣе относится художникъ къ изображаемымъ имъ явленіямъ, тѣмъ болѣе онъ становится мыслителемъ и тѣмъ болѣе его произведенія, оставаясь въ области искусства, пріобрѣтаютъ научное значеніе.

Резюмируя все имъ сказанное по этому поводу, Чернышевскій даетъ слѣдующую окончательную формулировку своего взгляда на искусство: «Существенное значеніе искусства—воспроизведеніе всего, что интересно для человѣка въ жизни; очень часто, особенно въ произведеніяхъ поэзіи, выступаетъ также на первый планъ объясненіе жизни, приговоръ о явленіяхъ ея».

IX.

Насколько правъ нашъ знаменитый авторъ? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, мы рассмотримъ сначала его опредѣленіе прекраснаго. Прекрасное есть жизнь, говоритъ онъ, — и, основываясь на этомъ опредѣленіи, онъ старается объяснить, почему мы любимъ, напримѣръ, цвѣтущую растительность. «Въ растеніяхъ,—говоритъ онъ,—намъ нравится свѣжесть цвѣта и роскошь, богатство формы, обнаруживающія богатую силой, свѣжую жизнь. Увядающее растеніе не хорошо; растеніе, въ которомъ мало жизненныхъ соковъ, не хорошо». Это очень остроумно

сказано и въ извѣстныхъ предѣлахъ совершенно правильно. Но вотъ въ чемъ затрудненіе. Извѣстно, что первобытныя племена, напримѣръ, бушмены, австралійцы и другіе «дикари», стоящіе на одинаковой съ ними ступени развитія, никогда не украшаютъ себя цвѣтами, хотя живутъ въ мѣстностяхъ, очень богатыхъ ими. Современная этнологія твердо установила тотъ фактъ, что указанные племена заимствуютъ мотивы своей орнаментики исключительно изъ животнаго міра. Выходитъ, стало быть, что эти дикари совсѣмъ не интересуются растениями и что къ ихъ психологіи совершенно непримѣнимы только что приведенныя нами остроумныя соображенія Чернышевскаго. Спрашивается, почему же непримѣнимы? На это можно отвѣтить, что они (дикари) еще не имѣютъ вкусовъ, свойственныхъ нормально развитому человѣку. Но это не отвѣтъ, а отговорка. Въ чемъ заключается тотъ критерій, съ помощью котораго мы опредѣляемъ, какіе вкусы людей нормальны и какіе ненормальны? Чернышевскій сказалъ бы, вѣроятно, что этотъ критерій надо искать въ природѣ человѣка. Но природа человѣка сама измѣняется вмѣстѣ съ ходомъ культурнаго развитія: природа первобытнаго охотника совсѣмъ не та, что природа парижанина XVII вѣка, а природа парижанина XVII вѣка имѣла такія существенныя особенности, которыхъ мы тщетно стали бы искать въ природѣ современныхъ намъ нѣмцевъ, и т. д. Да и это еще не все. Въ каждое данное время природа людей одного класса общества во многомъ непохожа на природу людей другого класса. Какъ же тутъ быть? Гдѣ же искать выхода? Поищемъ его сначала въ разбираемой нами диссертаци.

Чернышевскій говоритъ: «Хорошая жизнь, жизнь, какъ она должна быть, у простаго народа состоитъ въ томъ, чтобы сытно ѣсть, жить въ хорошей избѣ, спать вдоволь; но вмѣстѣ съ этимъ у поселянина въ понятіи «жизнь» всегда заключается понятіе о работѣ: жить безъ работы нельзя, да и скучно было бы. Слѣдствіемъ жизни въ довольствѣ, при большой работѣ, не доходящей, однако, до изнуренія силъ, у молодого поселянина или сельской дѣвушки будетъ чрезвычайно свѣжій цвѣтъ лица и румянецъ во всю щеку—первое условіе красоты по простонароднымъ понятіямъ. Работая много, поэтому будучи крѣпко сложена, сельская дѣвушка будетъ при сытной пищѣ довольно плотна,—это также необходимое условіе красавицы сельской; свѣтская, «воздушная красавица» кажется поселянину рѣшительно «невзрачной», даже производить на него непріятное впечатлѣніе, потому что онъ привыкъ считать «худобу» слѣдствіемъ болѣзненности или «горькой доли». Но работа не даетъ разжирѣть; если сельская дѣвушка толста, это родъ болѣзненности, знакъ «рыхлаго» сложения, и народъ считаетъ большую полноту недостаткомъ; у сельской красавицы въ народныхъ пѣсняхъ не найдется ни одного признака красоты, который не былъ бы

выраженіемъ цвѣтущаго здоровья и равновѣсія силъ въ организмѣ, все-гдашняго слѣдствія жизни въ довольствѣ при постоянной и нешуточной, но не чрезмѣрной работѣ. Совершенно другое дѣло свѣтская красавица: уже нѣсколько поколѣній предки ея жили, не работая руками. При бездѣйственномъ образѣ жизни, крови льется въ конечности мало; съ каждымъ новымъ поколѣніемъ мускулы рукъ и ногъ слабѣютъ, кости дѣлаются тоньше; необходимымъ слѣдствіемъ всего этого должны быть маленькія ручки и ножки; онѣ признакъ такой жизни, которая одна и кажется жизнью для высшихъ классовъ общества—жизни безъ физической работы; если у свѣтской женщины большія руки и ноги, это признакъ или того, что она дурно сложена, или того, что она не изъ старинной, «хорошей» фамиліи... Здоровье, правда, никогда не можетъ потерять своей цѣны въ глазахъ человѣка, потому что и въ довольствѣ и въ роскоши плохо жить безъ здоровья,—вслѣдствіе того румянецъ на щекахъ и цвѣтущая здоровьемъ свѣжесть продолжаютъ быть привлекательными и для свѣтскихъ людей; но болѣзненность, слабость, вялость, томность также имѣютъ въ глазахъ ихъ достоинство красоты, какъ скоро кажутся слѣдствіемъ роскошно-бездѣйственного образа жизни. Блѣдность, томность, болѣзненность имѣютъ еще другое значеніе для свѣтскихъ людей: если поселянинъ ищетъ отдыха, спокойствія, то люди образованнаго общества, у которыхъ матеріальной нужды и физической усталости не бываетъ, но которымъ зато часто бываетъ скучно отъ бездѣлія и отсутствія матеріальныхъ заботъ, ищутъ «сильныхъ ощущеній, волненій, страстей», которыми придаетъ цвѣтъ, разнообразіе, увлекательность свѣтской жизни, безъ того монотонной и скучной. А отъ сильныхъ ощущеній, отъ пылкихъ страстей человѣкъ скоро изнашивается: какъ же не очаровываться томностью, блѣдностью красавицы, если томность и блѣдность ея служатъ признакомъ, что она много жила?»

Что же выходитъ? Выходитъ, что искусство воспроизводить жизнь, а жизнь, «хорошая жизнь, жизнь, какъ она должна быть», у различныхъ классовъ различна.

Почему же различна? Только что приведенная нами длинная выписка не оставляетъ никакого сомнѣнія на этотъ счетъ: она различна потому, что различно экономическое положеніе этихъ классовъ; Чернышевскій очень хорошо разъяснилъ это. Стало быть, мы имѣемъ право сказать, что представленія людей о жизни, а потому ихъ понятіе о красотѣ, мѣняются въ связи съ ходомъ экономическаго развитія общества. Но если это такъ, то, спрашивается: правъ ли былъ Чернышевскій, когда такъ рѣшительно оспаривалъ эстетиковъ-идеалистовъ, утверждавшихъ, что прекрасное, встрѣчающееся въ дѣйствительности, оставляетъ человѣка неудовлетвореннымъ и что въ этой неудовлетворенности надо искать причины, которыя побуждаютъ его заниматься художественнымъ творче-

ством? Чернышевскій возражалъ имъ, что прекрасное въ дѣйствительности превосходить прекрасное въ искусствѣ. Въ извѣстномъ смыслѣ это— неоспоримая истина, но только въ извѣстномъ смыслѣ. Искусство воспроизводитъ жизнь; это такъ. Но мы видѣли, что, согласно Чернышевскому, представленіе о жизни, «о хорошей жизни, о жизни, какъ она должна быть», неодинаково у людей, принадлежащихъ къ различнымъ классамъ общества. Какъ же будетъ относиться человѣкъ низшаго общественнаго класса къ той жизни, которую ведетъ высшій классъ, и къ тому искусству, которое воспроизводитъ эту жизнь высшаго класса? Надо думать, что онъ,—если только въ немъ уже начала работать мысль, соответствующая его собственному классовому положенію,—отнесется и къ этой жизни и къ этому искусству отрицательно. Если онъ имѣетъ какое-нибудь отношеніе къ художественному творчеству, то онъ захочетъ реформировать господствующія понятія объ искусствѣ,—а господствуютъ обыкновенно до поры до времени понятія высшаго класса,—онъ станетъ «творить» на свой особый, новый ладъ. Тогда и окажется, что его художественное творчество обязано своимъ происхожденіемъ тому обстоятельству, что его не удовлетворяло прекрасное, встрѣчаемое имъ въ дѣйствительности. Можно, конечно, сказать, что его собственное творчество будетъ лишь воспроизводить ту жизнь, ту дѣйствительность, которая хороша по понятіямъ его собственного класса. Но вѣдь господствуетъ не эта жизнь и не эта дѣйствительность, а та жизнь и та дѣйствительность, которыя созданы высшимъ классомъ и которыя отражаются въ господствующей школѣ искусства. Значитъ, если правъ Чернышевскій, то не совсѣмъ неправа и оспариваемая имъ идеалистическая школа. Возьмемъ примѣръ. Во французскомъ обществѣ время Людовика XV господствовали извѣстные понятія о жизни, какъ она должна быть, нашедшія свое выраженіе въ различныхъ отрасляхъ художественной дѣятельности. Эти понятія были понятіями клонившейся къ упадку аристократіи. Ихъ не раздѣляли духовные представители средняго сословія, стремившагося къ своей эмансипаціи; напротивъ, эти представители подвергали ихъ рѣзкой, беспощадной критикѣ. И когда эти представители сами взялись за художественную дѣятельность, когда они создали свои художественныя школы, то они сдѣлали это потому, что ихъ не удовлетворяло прекрасное, встрѣчавшееся въ той дѣйствительности, которую создалъ, представлялъ и защищалъ высшій классъ. Стало быть, тутъ дѣло происходило несомнѣнно такъ, какъ его изображали въ своихъ теоріяхъ эстетяки-идеалисты. Мало того, даже художники, принадлежавшіе къ этому же высшему классу, могли не удовлетворяться прекраснымъ, встрѣчаемымъ ими въ дѣйствительности, потому что жизнь не стоитъ на одномъ мѣстѣ, потому что она развивается и потому, что ея развитіе вызываетъ несоответствіе между тѣмъ, что есть, и тѣмъ, что, по мнѣнію

людей, должно быть. Значить, въ этомъ отношеніи идеалисты-эстетики вообще не ошибались. Ошибка ихъ состояла совсѣмъ въ другомъ. Для нихъ прекрасное было выраженіемъ абсолютной идеи, развитіе которой, по ихъ понятіямъ, лежало въ основѣ всего мірового, а слѣдовательно и всего общественнаго процесса. Когда Фейербахъ возсталъ противъ идеализма, онъ былъ совершенно правъ. Точно также, когда его ученикъ Чернышевскій возсталъ противъ идеалистическаго ученія объ искусствѣ, онъ совсѣмъ не ошибался. Онъ говорилъ совершенную правду, когда утверждалъ, что прекрасное есть жизнь «какъ она должна быть», и что искусство вообще занимается воспроизведеніемъ «хорошей жизни». Его ошибка лишь заключалась въ томъ, что онъ недостаточно выяснилъ себѣ, какимъ образомъ развиваются въ исторіи человѣческія представленія о «жизни». «Воззрѣніе на искусство,—говорилъ онъ,—нами принимаемое, происходитъ изъ воззрѣній, принимаемыхъ новѣйшими нѣмецкими эстетиками, и возникаетъ изъ нихъ чрезъ діалектическій процессъ, направленіе котораго опредѣляется общими идеями современной науки». Это такъ. Но эстетическіе взгляды Чернышевскаго были *только зародышемъ* того правильнаго воззрѣнія на искусство, которое, усвоивъ и усовершенствовавъ діалектическій методъ старой философіи, въ то же время отрицаетъ ея метафизическую основу и апеллируетъ къ конкретной общественной жизни, а не къ отвлеченной абсолютной идеѣ. Чернышевскій не сумѣлъ утвердиться на діалектической точкѣ зрѣнія; поэтому въ его собственныя представленія о жизни и объ искусствѣ проникъ очень значительный элементъ метафизики. Онъ раздѣлялъ человѣческія потребности на естественныя и искусственныя; сообразно съ этимъ и «жизнь» представлялась ему частью нормальной,—поскольку она соответствовала естественнымъ потребностямъ,—а частью, и притомъ большею частью, ненормальной,—поскольку ея складъ обуславливается искусственными потребностями челоука. Пользуясь такимъ критеріемъ, нетрудно было придти къ тому выводу, что жизнь всѣхъ высшихъ классовъ общества ненормальна. А отсюда было рукой подать до того вывода, что искусство, выражавшее въ различныя эпохи эту ненормальную жизнь, было ложнымъ искусствомъ. Но общество раздѣлилось на классы уже въ то отдаленное время, когда оно стало выходить изъ состоянія дикости. Стало быть, Чернышевскому нужно было признать ошибочной ненормальной всю историческую жизнь челоучества и объявить болѣе или менѣе ложными всѣ тѣ представленія о жизни, которыя въ теченіе этого длиннаго періода времени возникали на этой ненормальной почвѣ. Такой взглядъ на исторію и на развитіе челоуческихъ понятій могъ быть, и дѣйствительно бывалъ, могучимъ *орудіемъ борьбы* въ эпохи общественныхъ перемѣнъ, въ эпохи «отрицанія». И неудивительно, что за него крѣпко держались наши просвѣтители 60-хъ годовъ. Но онъ не могъ послужить

орудіемъ научнаго *объясненія историческаго процесса*. Поэтому самому онъ не могъ лечь въ основу научной эстетики, о которой мечтали нѣкогда Бѣлинскій и которая *не осуждаетъ*,—это вообще не дѣло «теоретическаго разума»,—а *объясняетъ*. Чернышевскій правильно называлъ искусство воспроизведеніемъ «жизни». Но именно потому, что искусство воспроизводитъ «жизнь», научная эстетика,—вѣрнѣе сказать, правильное ученіе объ искусствѣ,—могло лишь тогда встать на твердую почву, когда возникло правильное ученіе о «жизни». Философія Фейербаха заключала въ себѣ только нѣкоторые намеки на такое ученіе. Поэтому и основанное на ней ученіе объ искусствѣ лишено было твердой научной основы.

Таковы тѣ общія замѣчанія, которыя мы хотѣли сдѣлать объ эстетической теоріи Чернышевскаго. Что касается частныхъ, то мы отмѣтимъ здѣсь только вотъ что.

Въ русской литературѣ не разъ возмущались тѣмъ,—приведеннымъ нами выше,—сравненіемъ, согласно которому искусство относится къ жизни, какъ гравюра къ картинѣ, и которое Чернышевскій сдѣлалъ для поясненія той своей мысли, что люди дорожатъ созданіями въ искусствѣ не потому, что прекрасное въ дѣйствительности не удовлетворяетъ ихъ, а потому, что они не имѣютъ къ нему доступа по той или другой причинѣ. Но эта мысль далеко не такъ неосновательна, какъ это думаютъ критики Чернышевскаго. Въ живописи можно указать множество такихъ созданій искусства, цѣль которыхъ заключается въ томъ, чтобы дать людямъ возможность насладиться хотя бы только *снимкомъ* съ привлекательной для нихъ дѣйствительности. Чернышевскій указывалъ на картины, изображающія морскіе виды. И онъ былъ въ значительной степени правъ. Многія такія картины обязаны своимъ существованіемъ тому, что люди,—напримѣръ, голландцы,—любили море и хотѣли наслаждаться его видами даже тогда, когда оно было далеко отъ нихъ. Нѣчто подобное мы видимъ и въ Швейцаріи. Швейцарцы любятъ свои горы, но и они не имѣютъ возможности постоянно наслаждаться настоящими альпійскими видами: огромное большинство населенія этой страны живетъ въ долинахъ и въ предгоріяхъ; поэтому тамъ существуетъ много живописцевъ,—Люгардонъ и другіе,—воспроизводящихъ эти виды. Ни публикѣ, ни самимъ живописцамъ при этомъ и въ голову не приходитъ, что эти произведенія искусства прекраснѣе дѣйствительности. Но они *напоминаютъ* о ней, и этого достаточно для того, чтобы они нравились, для того, чтобы ими дорожили. Мы видимъ, стало быть, неоспоримые факты, ясно говорящіе въ пользу Чернышевскаго. Но есть другіе факты, говорящіе противъ него, и на нихъ стоитъ остановиться.

Знаменитый французскій живописецъ-романтикъ Делякруа замѣчаетъ въ своемъ дневникѣ, что картины не менѣе знаменитаго Давида пред-

ставляют собою своеобразную смѣсь реализма съ идеализмомъ ¹⁾. Это совершенно вѣрно и, — что для насъ здѣсь всего важнѣе, — это вѣрно не только по отношенію къ Давиду. Это вѣрно вообще по отношенію къ искусству, выражающему собою стремленія новыхъ общественныхъ слоевъ, стремящихся къ своему освобожденію. Жизнь господствующаго класса представляется новому, — восходящему и недовольному, — классу ненормальной, достойной осужденія. А потому и приемы художниковъ, воспроизводящихъ эту жизнь, не удовлетворяютъ его, кажутся ему *искусственными*. Новый классъ выдвигаетъ своихъ художниковъ, которые, въ борьбѣ со старой школой, апеллируютъ къ жизни, выступаютъ какъ реалисты. Но жизнь, къ которой они апеллируютъ, есть «хорошая жизнь, какъ она должна быть»... согласно понятіямъ новаго класса. А эта жизнь еще не совсѣмъ сложилась: вѣдь новый классъ только еще стремится къ своему освобожденію; она въ значительной степени сама остается еще *идеаломъ*. Поэтому и искусство, созданное представителями новаго класса, будетъ представлять собою «своеобразную смѣсь реализма съ идеализмомъ». А объ искусствѣ, представляющемъ собою такую смѣсь, нельзя сказать, что оно стремится къ воспроизведенію прекраснаго, существующаго въ дѣйствительности. Нѣтъ, художники такого рода не удовлетворяются и не могутъ удовлетворяться дѣйствительностью; имъ, какъ и всему представляемому ими классу, хочется частью *передѣлать*, а частью *дополнить* ее сообразно своему *идеалу*. По отношенію къ такимъ художникамъ и къ такому искусству мысль Чернышевскаго была ошибочна. Но замѣчательно, что само русское искусство времени Чернышевскаго представляло собою своеобразную, — очень привлекательную, — смѣсь реализма съ идеализмомъ. Это обстоятельство объясняетъ намъ, почему въ примѣненіи къ этому искусству теорія Чернышевскаго, требовавшая строгаго реализма, оказывалась *слишкомъ узкой*.

Но Чернышевскій самъ былъ сыномъ, — и еще какимъ сыномъ! — своего времени. Онъ самъ не только не чуждался передовыхъ идеаловъ своего времени, но былъ ихъ преданнѣйшимъ и сильнѣйшимъ защитникомъ. Поэтому его теорія, защищая строгій *реализмъ*, все-таки отводила мѣсто и *идеализму*. Чернышевскій говоритъ, что искусство не только воспроизводитъ жизнь, но также истолковываетъ ее, служить ей учебникомъ. Самъ онъ интересовался искусствомъ, главнымъ образомъ, какъ учебникомъ жизни, и въ своихъ критическихъ статьяхъ онъ задавался цѣлью помогать художникамъ въ истолкованіи жизненныхъ явленій. Такъ же поступалъ его литературный послѣдователь Добролюбовъ: достаточно вспомнить его знаменитую и поистинѣ превосходную статью «Когда же придетъ настоящій день», написанную по поводу повѣсти Тургенева

¹⁾ См. Journal d'Éugène Delacroix, Paris 1893, t. III, p. 382.

«Наканунѣ». Въ этой статьѣ Добролюбовъ говоритъ: «Писатель-художникъ, не заботясь ни о какихъ общихъ заключеніяхъ относительно состоянія общественной мысли и нравственности, всегда умѣетъ, однако же, уловить ихъ существеннѣйшія черты, ярко освѣтить и прямо поставить ихъ предъ глазами людей размышляющихъ. Вотъ почему и полагаемъ мы, что какъ скоро въ писатель-художникѣ признается талантъ, т. е. умѣніе чувствовать и изображать жизненную правду явленій, то уже въ силу этого самаго признанія произведенія его даютъ законный поводъ къ разсужденіямъ о той средѣ жизни, о той эпохѣ, которая вызвала въ писатель то или другое произведеніе. И мѣркою для таланта писателя будетъ здѣсь то, до какой степени широко захвачена имъ жизнь, въ какой мѣрѣ прочны и многообразны тѣ образы, которые имъ созданы». Сообразно съ этимъ Добролюбовъ ставилъ главной задачей литературной критики «разъясненіе тѣхъ явленій дѣйствительности, которыя вызвали извѣстное художественное произведеніе». Такимъ образомъ, эстетическая теорія Чернышевскаго и Добролюбова сама была своеобразной смѣсью реализма съ идеализмомъ. Разъясняя жизненные явленія, она не довольствовалась констатированіемъ того, что *есть*, а указывала также — и даже главнымъ образомъ — то, что *должно быть*. Она *отрицала* существующую дѣйствительность и въ этомъ смыслѣ служила выраженіемъ тогдашняго «отрицательнаго» направленія. Но она не сумѣла «развить идею отрицанія», какъ выразился когда-то о самомъ себѣ Бѣлинскій; она не сумѣла поставить эту идею въ связь съ объективнымъ ходомъ развитія русской общественной жизни, — короче, она не сумѣла дать ей соціологическую основу. Въ этомъ заключался главный ея недостатокъ. Но оставаясь на точкѣ зрѣнія Фейербаха, нельзя было ни устранить, ни даже замѣтить этотъ недостатокъ. Онъ становится замѣтнымъ только съ точки зрѣнія ученія Маркса.

Мѣсто не позволяетъ намъ критиковать отдѣльныя положенія Чернышевскаго. Повтому мы ограничимся еще однимъ только замѣчаніемъ. Чернышевскій рѣшительно отвергалъ идеалистическое опредѣленіе возвышеннаго, какъ выраженія идеи безконечнаго. Онъ былъ правъ, потому что подъ идеей безконечнаго идеалисты понимали абсолютную идею, для которой не было мѣста въ ученіи Фейербаха-Чернышевскаго. Но онъ ошибался, говоря, что хотя содержаніе возвышеннаго и можетъ наводить насъ на различныя мысли, усиливающія то впечатлѣніе, которое мы отъ него получаемъ, но что самъ по себѣ предметъ, производящій такое впечатлѣніе, остается возвышеннымъ независимо отъ этихъ мыслей. Отсюда логически слѣдуетъ тотъ выводъ, что возвышенное существуетъ само по себѣ, независимо отъ нашихъ о немъ мыслей. По мнѣнію Чернышевскаго, возвышеннымъ представляется намъ самый предметъ, а не вызываемое имъ настроеніе. Но его опровергаютъ имъ самимъ приводя-

ные примѣры. Онъ говоритъ, что Монбланъ и Казбекъ—величественныя горы, но никто не скажетъ также, что онѣ величественны сами по себѣ, независимо отъ производимаго ими на насъ впечатлѣнія. То же приходится сказать и о прекрасномъ. По Чернышевскому выходитъ, съ одной стороны, что прекрасное въ дѣйствительности прекрасно само по себѣ; но, съ другой стороны, онъ самъ же объясняетъ, что прекраснымъ намъ кажется только то, что соответствуетъ нашему понятію о «хорошей жизни», о «жизни, какъ она должна быть». Стало быть, предметы прекрасны не сами по себѣ.

Эти ошибки нашего автора объясняются—кратко говоря—уже указаннымъ нами отсутствіемъ у него діалектическаго взгляда на вещи. Онъ не умѣлъ найти истинную связь между объектомъ и субъектомъ, объяснить ходъ идей ходомъ вещей. Поэтому онъ по необходимости пришелъ къ противорѣчію съ самимъ собой и, вопреки всему духу своей философіи, придавъ объективное значеніе нѣкоторымъ идеямъ. Но и эта ошибка могла быть замѣчена только тогда, когда философія Фейербаха, лежащая въ основѣ эстетической теоріи Чернышевскаго, стала уже «превзойденной ступенью». А для своей эпохи диссертация нашего автора все-таки была въ высшей степени серьезнымъ и замѣчательнымъ произведеніемъ.

Французская драматическая литература и французская живопись XVIII вѣка съ точки зрѣнія соціологіи.

Изученіе быта первобытныхъ народовъ, какъ нельзя лучше подтверждаетъ то основное положеніе историческаго матеріализма, которое гласитъ, что *сознаніе* людей опредѣляется ихъ *бытіемъ*. Въ подтвержденіе этого здѣсь достаточно сослаться на тотъ выводъ, къ которому пришелъ Бюхеръ въ своемъ замѣчательномъ изслѣдованіи «Arbeit und Rhythmus». Онъ говоритъ: «Я пришелъ къ тому заключенію, что работа, музыка и поэзія на первой ступени развитія сливались вмѣстѣ, но что основнымъ элементомъ этой тріады была работа, между тѣмъ какъ обѣ остальные имѣли лишь второстепенное значеніе». По Бюхеру, происхожденіе *поэзіи* объясняется *работою* («der Ursprung der Poesie ist in der Arbeit zu suchen»). И кто знакомъ съ литературой этого предмета, тотъ не обвинитъ Бюхера въ преувеличеніи ¹⁾. Возраженія, которыя были сдѣланы ему компетентными людьми, касаются не сущности, а только нѣкоторыхъ второстепенныхъ частностей его взгляда. По существу дѣла, Бюхеръ, безъ сомнѣнія, правъ.

Но его выводъ касается именно только *происхожденія поэзіи*. А что можно сказать объ ея *дальнѣйшемъ развитіи*? Какъ обстоитъ дѣло съ поэзіей и вообще съ искусствомъ на болѣе высокихъ ступеняхъ общественнаго развитія? Можно ли, и на какихъ ступеняхъ, подмѣтить существованіе причинной связи между *бытіемъ* и *сознаніемъ*, между *техникой* и *экономикой* общества, съ одной стороны, и его *искусствомъ*,—съ другой?

¹⁾ М. Горнесъ говоритъ о первобытной орнаментикѣ, что она „могла развиваться, только опираясь на промышленную дѣятельность“, и что тѣ народы, которые, подобно цейлонскимъ веддахамъ, еще не знаютъ никакой промышленной дѣятельности, не имѣютъ и орнаментики (Urgeschichte der bilden den Kunst in Europa, Wien, 1898, стр. 38). Это—выводъ, совершенно подобный вышеприведенному нами выводу Бюхера.

Отвѣта на этотъ вопросъ мы будемъ искать въ этой статьѣ, опираясь на исторію французскаго искусства въ XVIII столѣтіи.

Здѣсь намъ необходимо, прежде всего, одѣлать оговорку.

Французское общество XVIII вѣка съ точки зрѣнія социологіи характеризуется, прежде всего, тѣмъ обстоятельствомъ, что оно было *обществомъ, раздѣленнымъ на классы*. Это обстоятельство не могло не отразиться на развитіи искусства. Въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ хоть *театръ*. На средневѣковой сценѣ во Франціи, какъ и во всей Западной Европѣ, важное мѣсто занимаютъ такъ называемые *фарсы*. Фарсы очинялись для народа и разыгрывались передъ народомъ. Они всегда служили выраженіемъ взглядовъ народа, его стремленій и—что особенно полезно отмѣтить здѣсь—его неудовольствій противъ высшихъ сословій. Но, начиная съ царствованія Людовика XIII, фарсъ склоняется къ упадку; его относятъ къ числу тѣхъ развлеченій, которыя приличны только для лакеевъ и недостойны людей утонченнаго вкуса: «*érogués des gens sages*», какъ говоритъ одинъ французскій писатель въ 1625 г. На смѣну фарсу является *трагедія*. Но французская трагедія не имѣетъ ничего общаго со взглядами, стремленіями и неудовольствіями народной массы. Она представляетъ собой созданіе аристократіи и выражаетъ взгляды, вкусы и стремленія высшаго сословія. Мы сейчасъ увидимъ, какую глубокую печать наложило это сословное происхожденіе на весь ея характеръ; но сначала мы хотимъ обратить вниманіе читателя на то, что въ эпоху возникновенія трагедіи во Франціи аристократія этой страны совершенно не занималась производительнымъ трудомъ и жила, потребляя тѣ продукты, которые создавались экономической дѣятельностью третьяго сословія (*tiers état*). Нетрудно понять, что этотъ фактъ не могъ не имѣть вліянія на тѣ произведенія искусства, которыя возникали въ аристократической средѣ и которыя выражали собой ея вкусы. Вотъ, напримѣръ, извѣстно, что новозеландцы воспѣваютъ въ нѣкоторыхъ своихъ пѣсняхъ воздѣлываніе бататовъ. Извѣстно также, что ихъ *пѣсни* нерѣдко сопровождаются *пляской*, представляющей собою не болѣе, какъ *воспроизведеніе тѣхъ тѣлодвиженій, которыя совершаются земледѣльцемъ при воздѣлываніи этихъ растений*. Тутъ ясно видно, какимъ образомъ производительная дѣятельность людей вліяетъ на ихъ искусство, и не менѣе ясно, что такъ какъ высшіе классы не занимаются производительнымъ трудомъ, то *искусство, возникающее въ ихъ средѣ, не можетъ имѣть никакого прямого отношенія къ общественному процессу производства*. Но значить ли это, что въ обществѣ, раздѣленномъ на классы, ослабляется причинная зависимость *сознанія* людей отъ ихъ *бытія*? Нѣтъ, несколько не значить, потому что раздѣленіе общества на классы само обуславливается экономическимъ его развитіемъ. И если искусство, создаваемое высшими классами, не имѣетъ никакого прямого отношенія къ произво-

дительному процессу, то это объясняется въ последнемъ счетѣ тоже экономическими причинами. Стало быть, материалистическое объясненіе исторіи вполне примѣнимо и въ этомъ случаѣ; но само собою разумѣется, что въ этомъ случаѣ уже не такъ легко обнаруживается несомнѣнная причинная связь между *бытіемъ* и *сознаніемъ*, между общественными отношеніями, возникающими на основѣ «работы», и искусствомъ. Здѣсь, между «работой» съ одной стороны и искусствомъ—съ другой, образуются нѣкоторыя промежуточные инстанции, часто привлекавшія къ себѣ все вниманіе изслѣдователей и тѣмъ затруднявшія правильное пониманіе явленій.

Сдѣлавъ эту необходимую оговорку, мы переходимъ къ нашему предмету и, прежде всего, обращаемся къ трагедіи.

«Французская трагедія,—говоритъ Тэнъ въ своихъ «Чтеніяхъ объ искусствѣ»,—является въ то время, когда благоустроенная и благородная монархія при Людовикѣ XIV учреждаетъ господство приличій, изящную аристократическую обстановку, великолѣпныя представленія, придворную жизнь, и она исчезаетъ съ того момента, когда дворянство и придворные нравы падаютъ подъ ударами революціи».

Это совершенно справедливо. Но историческій процессъ возникновенія, а особенно *паденія* французской классической трагедіи былъ нѣсколько сложнѣе, чѣмъ изображаетъ его знаменитый теоретикъ искусства.

Присмотримся къ этому роду литературныхъ произведеній со стороны его формы и со стороны его содержанія.

Со стороны *формы* въ классической трагедіи должны, прежде всего, обратить на себя наше вниманіе знаменитыя *три единства*, изъ-за которыхъ велось такъ много споровъ впоследствии, въ эпоху вѣчно памятной въ лѣтописяхъ французской литературы борьбы романтиковъ съ классиками. Теорія этихъ единствъ была извѣстна во Франціи еще со времени Возрожденія; но литературнымъ закономъ, непререкаемымъ правиломъ хорошаго «вкуса» она стала только въ семнадцатомъ вѣкѣ. «Когда Корнель писалъ свою «Медею» въ 1629 г.,—говоритъ Лансонъ,—онъ еще ничего не зналъ о трехъ единствахъ»¹⁾. Пропагандистомъ теоріи трехъ единствъ выступилъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ восемнадцатаго вѣка Мера. Въ 1634 г. поставлена была его трагедія «Sophonisbe»,—первая трагедія, написанная по «правиламъ». Она вызвала полемику, въ которой противники «правиль» выставляли противъ нихъ доводы, во многомъ напоминающіе разсужденія романтиковъ. На защиту трехъ единствъ ополчились ученые поклонники античной литературы (*les prudits*), и они одержали рѣшительную и прочную побѣду. Но чему обязаны они были своей побѣдой? Во всякомъ случаѣ, не своей «эрудиціи», до которой

¹⁾ Histoire de la littérature française, p. 415.

публикѣ было очень мало дѣла, а возраставшей требовательности высшаго класса, для котораго становились невыносимы наивныя сценическія несообразности предшествовавшей эпохи. «Единства имѣли за себя такую идею, которая должна была увлечь благовоспитанныхъ людей,—продолжаетъ Лансонъ,—идею точнаго подражанія дѣйствительности, способнаго вызвать надлежащую иллюзію. Въ своемъ настоящемъ значеніи единства представляютъ собою *минимумъ* условности... Такимъ образомъ, торжество единствъ было на самомъ дѣлѣ побѣдою реализма надъ воображеніемъ» 1).

Такимъ образомъ, побѣдила здѣсь, собственно, утонченность аристократическаго вкуса, возраставшая вмѣстѣ съ упроченіемъ «благородной и благосклонной монархіи». Дальнѣйшіе успѣхи театральной техники одѣлали точное подражаніе дѣйствительности вполне возможнымъ безъ соблюденія единствъ; но представленіе оныхъ ассоціровалось въ умахъ зрителей съ пѣльмъ рядомъ другихъ, дорогихъ и важныхъ для нихъ представлений, и потому ихъ теорія пріобрѣла какъ бы самостоятельную цѣнность, опирающуюся на будто бы неоспоримыя требованія хорошаго вкуса. Впослѣдствіи господство трехъ единствъ поддержано было, какъ мы увидимъ ниже, другими общественными причинами, и потому ихъ теорія защищалась даже тѣми, кто ненавидѣлъ аристократію. Борьба съ ними стала очень трудною: чтобы ниспровергнуть ихъ, романтикамъ потребовалось много остроумія, настойчивости и почти революціонной энергіи.

Разъ коснувшись театральной техники, замѣтимъ еще слѣдующее.

Аристократическое происхожденіе французской трагедіи наложило свою печать, между прочимъ, и на искусство актеровъ. Всѣмъ извѣстно, напримѣръ, что игра французскихъ драматическихъ актеровъ до сихъ поръ отличается нѣкоторою искусственностью и даже ходульностью, производящей довольно непріятное впечатлѣніе на непривычнаго зрителя. Кто видѣлъ Сарру Бернаръ, тотъ не станетъ спорить съ нами. Такая манера игры унаслѣдована французскими драматическими актерами отъ той поры, когда на французской сценѣ господствовала классическая трагедія. Аристократическое общество XVII и XVIII столѣтій обнаружило бы большое недовольство, если бы трагическіе актеры вздумали играть свои роли съ тою простотою и съ тою естественностью, которыми чаруетъ насъ, напримѣръ, Элеонора Дуза. Простая и естественная игра рѣшительно противорѣчила всѣмъ требованіямъ аристократической эстетики. «Французы не ограничиваются костюмомъ, чтобы придать актерамъ и трагедіи необходимыя для нихъ благородство и достоинство,—съ гордостью говоритъ аббатъ Дюбо.—Мы хотимъ еще, чтобы актеры говорили тономъ болѣе высокимъ и болѣе протяжнымъ, чѣмъ тотъ, которымъ го-

1) L. c., p. 416.

Вельтовъ. Т. I. Изд. 3.

ворять въ обыденной рѣчи. Это болѣе трудная манера (sic), но въ ней болѣе достоинства. Жестикуляція должна соотвѣтствовать тону, потому что наши актеры должны обнаруживать величіе и возвышенность во всемъ, что они дѣлають».

Почему же актеры должны были обнаруживать величіе и возвышенность? Потому что трагедія была дѣтищемъ придворной аристократіи и что главными дѣйствующими лицами въ ней выступали короли, «герои» и вообще такіа «высокопоставленныя» лица, которыхъ, такъ сказать, долгъ службы обязывалъ казаться, если не быть, «величавыми» и «возвышенными». Драматургъ, въ произведеніяхъ котораго не было надлежащей дозы условной придворно-аристократической «возвышенности», даже при большомъ талантѣ никогда не дождался бы рукоплесканій отъ тогдашнихъ зрителей.

Это лучше всего видно изъ тѣхъ сужденій, которыя высказывались о Шекспирѣ въ тогдашней Франціи, а подъ вліяніемъ Франціи даже и въ Англии.

Юмъ находилъ, что не слѣдуетъ преувеличивать геній Шекспира: непропорціональныя тѣла часто кажутся выше своего дѣйствительнаго роста; для своего времени Шекспиръ былъ хорошъ, но онъ не подходитъ для утонченной аудиторіи. *Попе* высказывалъ сожалѣніе о томъ, что Шекспиръ писалъ для народа, а не для свѣтскихъ людей. «Шекспиръ писалъ бы лучше,—говорилъ онъ,—если бы пользовался покровительствомъ государя и поддержкой со стороны придворныхъ». Самъ Вольтеръ, который въ своей литературной дѣятельности являлся глашатаемъ новаго времени, враждебнаго «старому порядку», и который далъ многимъ своимъ трагедіямъ «философское» содержаніе, заплатилъ огромную дань эстетическимъ понятіямъ аристократическаго общества. Шекспиръ казался ему гениальнымъ, но грубымъ *варваромъ*. Его отзывъ о «Гамлетѣ» въ высшей степени замѣчательнъ. «Эта пьеса,—говоритъ онъ,—полна анахронизмовъ и нелѣпостей» въ ней хоронятъ Офелію на сценѣ, а это такое чудовищное зрѣлище, что знаменитый Гарриксъ выкинулъ сцену на кладбищѣ... Эта пьеса изобилуетъ вульгарностями. Такъ, въ первой сценѣ часовой говоритъ: «Я не слыхалъ даже мышинаго топота». Можно ли допускать подобныя несообразности? Безъ сомнѣнія, солдаты способны выразиться такъ въ своей казармѣ, но онъ не долженъ выражаться такъ на сценѣ, передъ избранными особами націи,—особами, которыя говорятъ благороднымъ языкомъ и въ присутствіи которыхъ надо выражаться не менѣе благородно. Вообразите вы, господа, Людовика XIV въ его зеркальной галлерей, окруженнаго блестящимъ дворомъ, и представьте, что покрытый лохмотьями шутъ расталкиваетъ толпу героевъ, великихъ людей и красавицъ, составляющихъ этотъ дворъ; онъ предлагаетъ имъ покинуть Корнеля, Расина и Мольера для петрушки, который имѣетъ проблески таланта, но кривляется. Какъ вы думаете? Какъ встрѣтили бы подобнаго шута?»

Въ этихъ словахъ Вольтера заключается указаніе не только на аристократическое происхожденіе французской классической трагедіи, но также и на причины ея упадка ¹⁾. *Изысканность* легко переходитъ въ *манерность*, а манерность исключаетъ серьезную и вдумчивую обработку предмета. И не только обработку. *Кругъ выбора* предметовъ непремѣнно долженъ былъ сузиться подъ вліяніемъ сословныхъ предразсудковъ аристократіи. Сословное понятіе о причинѣ подрѣзывало крылья искусству. Въ этомъ отношеніи чрезвычайно характерно и поучительно то требованіе, которое предъявляетъ къ трагедіи Мармонтель.

«И мирная и благовоспитанная нація,—говоритъ онъ,—въ которой каждый считаетъ себя обязаннымъ приспособлять свои идеи и чувства къ нравамъ и обычаямъ общества, нація, въ которой приличія служатъ законами,—такая нація можетъ допустить только такіе характеры, которые смягчены уваженіемъ къ окружающимъ, и только такіе пороки, которые смягчены приличіемъ».

Сословное приличіе становится критеріемъ при оцѣнкѣ художественныхъ произведеній. Этого достаточно для того, чтобы вызвать паденіе классической трагедіи. Но этого еще не достаточно для того, чтобы объяснить появленіе на французской сценѣ новаго рода драматическихъ произведеній. А между тѣмъ, мы видимъ, что въ тридцатыхъ годахъ XVIII вѣка появляется новый литературный жанръ—такъ называемая *Comédie satyrique*, слезливая комедія, которая въ теченіе нѣкотораго времени пользуется весьма значительнымъ успѣхомъ. Если сознаніе объясняется бытіемъ, если такъ называемое духовное развитіе человечества находится въ причинной зависимости отъ его экономическаго развитія, то экономика XVIII вѣка должна объяснить намъ, между прочимъ, и появленіе слезливой комедіи. Спрашивается, можетъ ли она сдѣлать это?

Не только можетъ, но отчасти уже и сдѣлала, правда, безъ серьезнаго метода. Въ доказательство сошлемся, на примѣръ, на Геттнера, который въ своей исторіи французской литературы разсматриваетъ слезливую комедію, какъ слѣдствіе роста французской буржуазіи. Но ростъ буржуазіи, какъ и всякаго другого класса, можетъ быть объясненъ только экономическимъ развитіемъ общества. Стало быть, Геттнеръ, самъ того не подозревая и не желая,—онъ большой врагъ матеріализма, о которомъ, мимоходомъ сказать, онъ имѣетъ самое недѣльное представленіе,—прибѣгаетъ къ матеріалистическому объясненію исторіи. И не одинъ Геттнеръ поступаетъ такъ. Гораздо лучше Геттнера обнаружилъ искомую нами причинную

¹⁾ Замѣтимъ мимоходомъ, что именно эта сторона взглядовъ Вольтера отталкивала отъ него Лессинга, который былъ послѣдовательнымъ идеологомъ германскаго бюргерства, и это прекрасно выяснено Фр. Мерингомъ въ его книгѣ: „Die Lessings Legendie“.

зависимость Брюнэтьеръ въ своей книгѣ «*Les époques du théâtre français*». Онъ говоритъ тамъ: «Со времени краха, постигшаго банкъ *Lau*,— чтобы не заходить дальше,—аристократія съ каждымъ днемъ теряетъ почву подъ ногами. Она какъ будто торопится сдѣлать все, что только можетъ сдѣлать данный классъ для того, чтобы дискредитироваться... но въ особенности она *разоряется*, а буржуазія, третье сословіе, *обогащается* и, приобретаая все больше и больше значенія, приобретаетъ также сознаніе своихъ правъ. Существующее неравенство возмущаетъ ее теперь болѣе, чѣмъ когда либо прежде. Злоупотребленія кажутся ей теперь болѣе неносимыми, чѣмъ раньше. Какъ выразился впоследствии одинъ поэтъ, *въ сердцахъ зародилась ненависть одновременно съ жаждой справедливости* ¹⁾. Возможно ли, чтобы, располагая такимъ средствомъ пропаганды и вліянія, какимъ служить театр, буржуазія не воспользовалась имъ? чтобы она не приняла всерьезъ, не взглянула съ трагической точки зрѣнія на тѣ неравенства, которыя только забавляли автора комедій: «*Bourgeois gentilhomme*» и «*Georges Dandin*»? А больше всего, возможно ли было, чтобы эта, уже торжествующая буржуазія помирилась съ постояннымъ представленіемъ на сценѣ императоровъ и королей, и чтобы она, если можно такъ выразиться, не воспользовалась своими сбереженіями для того, чтобы заказать свой портретъ?»

Итакъ, *слезливая комедія была портретомъ французской буржуазіи XVIII вѣка*. Это совершенно вѣрно. Недаромъ же она называется также *буржуазной драмой*. Но у Брюнэтьера этотъ вѣрный взглядъ имѣетъ слишкомъ общій, а слѣдовательно, отвлеченный характеръ. Постараемся развить его нѣсколько подробнѣе.

Брюнэтьеръ говоритъ, что буржуазія не могла помириться съ вѣчными изображеніями на сценѣ однихъ только императоровъ и королей. Это очень вѣроятно послѣ тѣхъ объясненій, которыя сдѣланы имъ въ приведенной нами цитатѣ, но это пока только вѣроятно; несомнѣннымъ это станетъ только тогда, когда мы ознакомимся съ психологіей хотя нѣкоторыхъ изъ лицъ, принимавшихъ дѣятельное участіе въ литературной жизни тогдашней Франціи. Къ числу ихъ, несомнѣнно, принадлежалъ талантливый Бомарше, авторъ нѣсколькихъ слезливыхъ комедій. Что же думалъ Бомарше о «вѣчномъ изображеніи на сценѣ однихъ только императоровъ и королей»?

Онъ рѣшительно и страстно возставалъ противъ него. Онъ рѣзко смѣялся надъ тѣмъ литературнымъ обычаемъ, въ силу котораго героями трагедіи являлись короли и другіе сильные міра сего, а комедія бичевала людей низшаго сословія. «Изображать людей средняго состоянія въ несчастіи! *Fi donc!* Ихъ всегда надо осмѣивать. Смѣшные граждане,

¹⁾ Курсивъ нашъ.

несчастный король; вотъ весь возможный театр; я приму это къ свѣдѣнію» ¹⁾).

Это ѣдкое восклицаніе одного изъ самыхъ видныхъ идеологовъ третьяго сословія видимо подтверждаетъ, стало быть, вышеприведенныя психологическія соображенія Брюнэтъера. Но Бомарше не только желаетъ изображать «въ несчастіи» людей средняго состоянія. Онъ протестуетъ также противъ обычая выбирать дѣйствующихъ лицъ «серьезныхъ» драматическихъ произведеній между героями античнаго міра. «Какое дѣло,—спрашиваетъ онъ,—мнѣ, мирному подданному монархическаго государства XVIII вѣка, до аѳинскихъ и римскихъ происшествій? Могу ли я сильно интересоваться смертью какого-нибудь пеллопонесскаго тирана или принесеніемъ въ жертву молодой царевны въ Авлидѣ? Все это меня совсѣмъ не касается; изъ всего этого не вытекаетъ для меня никакого значенія» ²⁾).

Выборъ героевъ изъ античнаго міра былъ однимъ изъ чрезвычайно многочисленныхъ проявленій того увлеченія древностью, которое само было идеологическимъ отраженіемъ борьбы новаго, нарождавшагося общественнаго порядка съ *феодализмомъ*. Изъ эпохи Возрожденія это увлеченіе античной цивилизаціей перешло въ вѣкъ Людовика XIV, который, какъ извѣстно, очень охотно сравнивали съ вѣкомъ Августа. Но когда буржуазія начала проникаться оппозиціоннымъ настроеніемъ, когда въ ея сердцѣ начала зарождаться «ненависть одновременно съ жаждой справедливости», тогда увлеченіе античными героями,—воплнѣ раздѣлявшееся прежде ея образованными представителями,—начало казаться ей неумѣстнымъ, а «происшествія» античной исторіи недостаточно поучительными. Героемъ буржуазной драмы является тогдашній «человѣкъ средняго состоянія», болѣе или менѣе идеализированный тогдашними идеологами буржуазіи. Это характерное обстоятельство, разумѣется, не могло повредить «портрету».

Пойдемъ дальше. Истиннымъ творцомъ буржуазной драмы во Франціи является *Нивзаль-де-ля-Шоссэ*. Что же мы видимъ въ его многочисленныхъ произведеніяхъ? Возстаніе противъ тѣхъ или другихъ сторонъ аристократической психологіи, борьбу съ тѣми или другими дворянскими предрассудками или,—если вамъ угодно,—пороками. Современники болѣе всего цѣнили въ этихъ произведеніяхъ именно заключающуюся въ нихъ *нравственную проповѣдь* ³⁾. И съ этой своей стороны слезливая комедія была вѣрна своему происхожденію.

¹⁾ Lettre sur la critique du „Barbier de Séville“.

²⁾ Essai sur le genre dramatique sérieux, Oeuvres, I, 11.

³⁾ Д'Аламберъ говоритъ о Нивзаль-де-ля-Шоссэ: „Какъ въ своей литературной дѣятельности, такъ и въ своей частной жизни онъ держался того правила, что мудростью обладаетъ тотъ человѣкъ, желанія и стремленія котораго пропорціональны его средствамъ“. Это апологія *уравновѣщенности, умѣренности и аккуратности*.

Извѣстно, что идеологи французской буржуазіи, стремившіеся дать намъ ея «портретъ» въ своихъ драматическихъ произведеніяхъ, не *обна- ружили* большой оригинальности. Буржуазная драма была не создана ими, а только перенесена во Францію изъ Англіи. Въ Англіи же этотъ родъ драматическихъ произведетій возникъ, — въ концѣ семнадцатаго вѣка,—какъ реакція противъ страшной распущенности, господствовавшей тогда на сценѣ и служившей отраженіемъ нравственнаго упадка тогдашней англійской аристократіи. Боровшаяся съ аристократіей буржуазія захотѣла, чтобы комедія одѣлалась «достойной христіанъ», она стала проповѣдывать въ ней свою *мораль*. Французскіе литературные новаторы XVIII вѣка, вообще широко заимствовавшіе изъ англійской литературы все то, что соотвѣтствовало положенію и чувствамъ оппозиціонной французской буржуазіи, цѣлкомъ перенесли во Францію эту сторону англійской слезливой комедіи. Французская буржуазная драма не хуже англійской проповѣдуетъ буржуазныя семейныя добродѣтели. Въ этомъ заключалась одна изъ тайнъ ея успѣха, и въ этомъ же заключается разгадка того, на первый взглядъ, совершенно непонятнаго обстоятельства, что французская буржуазная драма, которая около половины восемнадцатаго вѣка кажется твердо установившимся родомъ литературныхъ произведетій, довольно скоро отходитъ на задній планъ, отстываетъ передъ классической трагедіей, которая, казалось бы, должна была отступить передъ нею.

Мы сейчасъ увидимъ, чѣмъ объясняется это странное обстоятельство; но прежде намъ хочется отмѣтить еще вотъ что.

Дидро, который, благодаря своей натурѣ страстнаго новатора, не могъ не увлечься буржуазной драмой и который, какъ извѣстно, самъ упражнялся въ новомъ литературномъ родѣ (припомнимъ его «*Le fils naturel*» 1757 г. и его «*Le père de famille*» 1758 года), требовалъ, чтобы сцена давала изображеніе не *характеровъ*, а *положеній*, и именно — *общественныхъ положеній*. Ему возражали, что общественное положеніе еще не опредѣляетъ собою человѣка. «Что такое,—спрашивали его,—судья самъ по себѣ (*le juge en soi*)? Что такое купецъ самъ по себѣ (*le négociant en soi*)?» Но тутъ было огромное недоразумѣніе. У Дидро рѣчь шла не о купцѣ «*en soi*» и не о судѣѣ «*en soi*», но о тогдашнемъ купцѣ и особенно о *тогдашнемъ судѣѣ*. А что тогдашніе судьи давали много поучительнаго матеріала для весьма живыхъ сценическихъ изображеній, это прекрасно показываетъ знаменитая комедія «*Le mariage de Figaro*». Требованіе Дидро было лишь литературнымъ отраженіемъ революціонныхъ стремленій тогдашняго французскаго «средняго состоянія».

Но именно революціонный характеръ этихъ стремленій и помѣшалъ французской буржуазной драмѣ окончательно побѣдить классическую трагедію.

Дитя аристократіи, классическая трагедія безпредѣльно и неоспоримо господствовала на французской сценѣ, пока нераздѣльно и неоспоримо господствовала аристократія... въ предѣлахъ, отведенныхъ сословной монархіей, которая сама явилась историческимъ результатомъ продолжительной и ожесточенной борьбы классовъ во Франціи. Когда господство аристократіи стало подвергаться оспариванію, когда «люди среднего состоянія» прониклись оппозиціоннымъ настроеніемъ, старыя литературныя понятія начали казаться этимъ людямъ неудовлетворительными, а старый театръ недостаточно «поучительнымъ». И тогда рядомъ съ классической трагедіей, быстро клонившейся къ упадку, выступила буржуазная драма. Въ буржуазной драмѣ французскій «человѣкъ среднего состоянія» противопоставилъ свои домашнія добродѣтели глубокой испорченности аристократіи. Но то общественное противорѣчіе, которое надо было разрѣшить тогдашней Франціи, не могло быть рѣшено съ помощью нравственной проповѣди. Рѣчь шла тогда не объ устраненіи аристократическихъ пороковъ, а объ устраненіи самой аристократіи. Понятно, что тутъ не могло обойтись безъ ожесточенной борьбы, и не менѣе понятно, что отецъ семейства («Le père de famille»), при всей неоспоримой почтенности своей буржуазной нравственности, не могъ послужить образцомъ неутомимаго и неустрашимаго борца. *Литературный «портретъ» буржуазіи не внушалъ героизма.* А между тѣмъ противники стараго порядка чувствовали потребность въ героизмѣ, сознавали необходимость развитія въ третьемъ сословіи гражданской добродѣтели. Гдѣ можно было тогда найти образцы такой добродѣтели? Тамъ же, гдѣ прежде искали образцовъ литературнаго вкуса: въ античномъ мірѣ.

И вотъ опять явилось увлеченіе античными героями. Теперь противникъ аристократіи уже не говоритъ, — подобно Бомарше: — «какое мнѣ, мирному подданному монархическаго государства XVIII вѣка, дѣло до афинскихъ и римскихъ провсшествій?» Теперь афинскія и римскія «провсшества» опять стали вызывать въ публикѣ живѣйшій интересъ. Но интересъ къ нимъ пріобрѣлъ теперь совсѣмъ другой характеръ.

Если молодые идеологи буржуазіи интересовались теперь «принесеніемъ въ жертву молодой царевны въ Авлидѣ», то они интересовались имъ, преимущественно, какъ матеріаломъ для обличенія «суевѣрія»; если ихъ вниманіе могла привлечь къ себѣ «смерть какого-нибудь пеллопонесскаго тирана», то она привлекала ихъ не столько своей психологической, сколько своей политической стороною. Теперь увлекались уже не монархическимъ вѣкомъ Августа, а республиканскими героями Плутарха. Плутархъ сдѣлался настольной книгой молодыхъ идеологовъ буржуазіи, какъ это показываютъ, на примѣръ, мемуары г-жи Роланъ. И это увлеченіе республиканскими героями вновь оживило интересъ ко всей вообще античной жизни. Подражаніе древности сдѣлалось модой и наложило глу-

бокую печать на все тогдашнее французское искусство. Ниже мы увидимъ, какой большой слѣдъ оставило оно въ исторіи французской живописи, а теперь замѣтимъ, что оно же ослабило интересъ къ буржуазной драмѣ, вслѣдствіе буржуазной обыденности ея содержанія, и надолго отсрочило смерть классической трагедіи.

Историки французской литературы нерѣдко съ удивленіемъ спрашивали себя: чѣмъ объяснить тотъ фактъ, что подготовители и дѣатели великой французской революціи оставались консерваторами въ области литературы? И почему господство классицизма пало лишь довольно долго послѣ паденія стараго порядка? Но на самомъ дѣлѣ литературный консерватизмъ новаторовъ того времени былъ чисто внѣшнимъ. Если трагедія не измѣнилась, какъ *форма*, то она претерпѣла существенное измѣненіе въ смыслѣ *содержанія*.

Возьмемъ хотя трагедію Сорэна «Spartacus», появившуюся въ 1760 году. Ея герой, Спартакъ, полонъ стремленія къ свободѣ. Ради своей великой идеи онъ отказывается даже отъ женитьбы на любимой дѣвушкѣ, и на протяжении всей пьесы онъ въ своихъ рѣчахъ не перестаетъ твердить о свободѣ и о челоѣколюбіи. Чтобы писать такіа трагедіи и рукоплескать имъ, нужно было именно не быть литературнымъ консерваторомъ. Въ старыя литературныя мѣха тутъ влило было совершенно новое, революціонное *содержаніе*.

Трагедіи въ родѣ трагедій Сорэна или Лимверра (см. его Guillaume Tell) осуществляютъ одво изъ самыхъ революціонныхъ требованій литературнаго новатора Дидро: онѣ изображаютъ не *характеры*, а общественныя *положенія* и особенно революціонныя общественныя *стремленія* того времени. И если это новое вино вливалось въ старыя мѣха, то это объясняется тѣмъ, что мѣха эти заѣщаны были той самой древностью, всеобщее увлеченіе которой было однимъ изъ наиболѣе знаменательныхъ, наиболѣе характерныхъ симптомовъ *новаго* общественного настроенія. Рядомъ съ этой новой разновидностью классической трагедіи буржуазная драма, эта,—какъ съ похвалой выражается о ней Бомарше,—*tragédie en action*, казалась и не могла не казаться слишкомъ блѣдной, слишкомъ прѣзной, слишкомъ *консервативной* по своему содержанію.

Буржуазная драма была вызвана къ жизни *оппозиционнымъ* настроеніемъ французской буржуазіи и уже не годилась для выраженія *революціонныхъ* ея стремленій. Литературный «портретъ» хорошо передавалъ временныя, переходящія черты оригинала; поэтому имъ перестали заниматься, когда оригиналъ утратилъ эти черты, и когда черты эти перестали казаться пріятными. Въ этомъ все дѣло.

Классическая трагедія продолжала жить вплоть до той поры, когда французская буржуазія окончательно восторжествовала надъ защитниками стараго порядка, и когда увлеченіе республиканскими героями

древности утратило для нея всякое общественное значеніе ¹⁾. А когда эта пора наступала, тогда буржуазная драма воскресла къ новой жизни и, претерпѣвъ нѣкоторыя измѣненія, сообразныя съ особенностями новаго общественнаго положенія, но вовсе не имѣющія существеннаго характера, окончательно утвердилась на французской сценѣ.

Даже тотъ, кто отказался бы признать кровное родство романтической драмы съ буржуазной драмой восемнадцатаго вѣка, долженъ былъ бы согласиться съ тѣмъ, что, напримѣръ, драматическія произведенія Александра Дюма-сына являются настоящей буржуазной драмой девятнадцатаго столѣтія.

Въ произведеніяхъ искусства и въ литературныхъ вкусахъ даннаго времени выражается общественная психологія, а въ психологіи общества, раздѣленнаго на классы, многое останется для насъ непонятнымъ и парадоксальнымъ, если мы будемъ продолжать игнорировать,—какъ это дѣлаютъ теперь историки-идеалисты вопреки лучшимъ завѣтамъ буржуазной исторической науки, — взаимное отношеніе классовъ и взаимную классовую борьбу.

Теперь оставимъ театральныя подмостки и обратимся къ другой отрасли французскаго искусства, именно къ живописи.

Подъ влияніемъ уже знакомыхъ намъ общественныхъ причинъ, развитіе совершается здѣсь параллельно тому, что мы видѣли въ области драматической литературы. Это замѣтилъ еще Геттнеръ, который справедливо говоритъ, что, напримѣръ, слезливая комедія Дидро была не чѣмъ инымъ, какъ жанровой живописью, перенесенною на сцену.

Въ эпоху Людовика XIV, т. е. въ то время, когда сословная монархія достигла своего апогея, французская живопись имѣла очень много общаго съ классической трагедіей. Въ ней, какъ и въ этой послѣдней, господствовали «le sublime» и «la dignité». И точно такъ же, какъ классическая трагедія, она выбирала своихъ героевъ только изъ числа сильныхъ міра сего. Шарль Ле-Брэнъ, бывшій тогда законодателемъ художественнаго вкуса въ живописи, зналъ, собственно говоря, только одного героя: Людовика XIV, котораго онъ одѣвалъ, впрочемъ, въ античный костюмъ.

Его знаменитыя «Batailles d'Alexandre»,—которые теперь можно видѣть въ Луврѣ и которыя поистинѣ заслуживаютъ вниманія посѣтителя этого музея,—были написаны послѣ фландрской военной кампаніи 1667 г.,

¹⁾ „L'ordre de Lycurge qui n'y pensait guère,—говоритъ Пети-де-Жюлевицъ,—protège a les trois unités“ (Le théâtre en France, p. 334). Лучше выразиться невозможно. Но накануне великой революціи идеологи буржуазіи не видѣли въ этой тѣни ничего консервативнаго. Напримѣръ, они видѣли въ ней лишь революціонную гражданскую добродѣтель („vertu“). Это необходимо помнить.

покрывшей французскую монархію громкой славой ¹⁾). Онѣ были всецѣло посвящены прославленію «короля-солнца». И онѣ слишкомъ соотвѣтствовали тогдашнему настроенію умовъ, стремившихся къ «величественному», къ славѣ, къ побѣдамъ, чтобы общественное мнѣніе господствовавшего сословія не было окончательно поражено ими. Ле-Брэнъ уступилъ, можетъ быть, самъ того не подозревая, потребности говорить громко, поразить взглядъ, привести блескъ широкихъ художественныхъ замысловъ въ соотвѣтствіе съ тою пышностью, которая окружала короля,—говоритъ А. Жеверай.—Тогдашняя Франція резюмировалась въ особѣ своего короля. Поэтому передъ изображеніями Александра зрители рукоплескали Людовику XIV ²⁾).

Огромное впечатлѣніе, которое производила въ свое время живопись Ле-Брена, характеризуется патетическимъ восклицаніемъ Этьена Карно: *Que tu brilles, le Brun, d'une lumière pure!* ³⁾

Но все течетъ, все измѣняется. Кто достигъ вершины, тотъ идетъ внизъ. Для французской сословной монархіи спускъ внизъ начался, какъ извѣстно, уже при жизни Людовика XIV и затѣмъ непрерывно продолжался вплоть до революціи. «Король-солнце», говорившій: «государство, это—я», все-таки по-своему заботился о величіи Франціи. А Людовикъ XV, нисколько не отказывавшійся отъ притязаній абсолютизма, думалъ только о своихъ наслажденіяхъ. Ни о чемъ другомъ не думало и огромное большинство окружавшей его аристократической челяди. Его время было временемъ ненасытной погони за удовольствіями, временемъ веселаго прожиганія жизни. Но какъ ни грязны были подчасъ забавы аристократическихъ бездѣльниковъ, вкусы тогдашняго общества все-таки отличались неоспоримымъ изяществомъ, красивой утонченностью, дѣлавшими Францію «законодательницей модъ». И эти изящные, утонченные вкусы нашли свое выраженіе въ эстетическихъ понятіяхъ того времени.

«Когда вѣкъ Людовика XIV смѣнился вѣкомъ Людовика XV, идеалъ искусства отъ величественнаго перешелъ къ пріятному. Повсюду распространяется утонченность эlegantности и тонкость чувственнаго наслажденія» ⁴⁾). И этотъ идеалъ искусства лучше и ярче всего осуществился въ картинахъ Бушэ.

«Чувственное наслажденіе,—читаемъ мы въ только что цитированномъ нами сочиненіи,—идеалъ Бушэ, душа его живописи. Венера, о которой

¹⁾ Осада Турнэ увѣнчалась успѣхомъ послѣ *двухъ* дней; осада Фюрна, Куртрэ, Дуэ, Армантьера тоже длилась самое короткое время. Лилль былъ взятъ въ девять дней и т. д.

²⁾ A. Gevegay, Charles Le-Brun, p. 220.

³⁾ Какимъ чистымъ свѣтомъ блещешь ты, Ле-Брэнъ!

⁴⁾ Goncour, L'art au dix-huitième siècle, p. 135—136.

онъ мечтаетъ и которую онъ изображаетъ,—чисто-чувственная Венера» ¹⁾. Это совершенно справедливо, и это очень хорошо понимали современники Бушэ. Въ 1740 году его пріятель Ниронъ, въ одномъ изъ своихъ стихотвореній, говорить отъ лица знаменитаго живописца госпожѣ Помпадуръ:

Je ne recherche, pour tout dire,
Qu'élégance, grâces, beauté,
Douceur, gentillesse et gaieté;
En un mot, ce qui respire
Ou badinage, ou volupté,
Le tout sans trop de liberté.
Drapé du voile que désire
La scrupuleuse honneteté.

Это—превосходная характеристика Бушэ, его музой была *изящная чувственность*, которою пропитаны всѣ его картины. Этихъ картинъ тоже немало въ Луврѣ, и кто хочетъ составить себѣ понятіе о томъ, какое разстояніе отдѣляетъ дворянско-монархическую Францію Людовика XV отъ таковой же Франціи Людовика XIV, тому мы рекомендуемъ сравнить картины Бушэ съ картинами Ле-Брѣна. Подобное сравненіе будетъ поучительнѣе цѣлыхъ томовъ отвлеченныхъ историческихъ разсужденій.

Живопись Бушэ имѣла такой же огромный успѣхъ, какой встрѣтила въ свое время живопись Ле-Брѣна. Вліяніе Бушэ было, поистинѣ, колоссально. Справедливо было замѣчено, что тогдашніе молодые французскіе живописцы, ѣхавшіе въ Римъ для завершенія своего художественнаго образованія, покидали Францію съ его созданіями въ глазахъ и, возвращаясь домой привозили съ собою не впечатлѣнія, полученныя отъ великихъ мастеровъ эпохи Возрожденія, а воспоминанія о немъ же. Но господство и вліяніе Бушэ были непрочны. Освободительное движеніе французской буржуазіи поставило въ отрицательное къ нему отношеніе передовую критику того времени.

Уже въ 1753 году Гриммъ строго осуждаетъ его въ своей *Congespondance libéraise*. «Boucher n'est pas fort dans le masculin», говорить онъ (Бушэ не силенъ въ томъ, что мужского пола). И въ самомъ дѣлѣ, le masculin представленъ на картинахъ Бушэ, главнымъ образомъ, *амурами*, разумѣется, не имѣвшими ни малѣйшаго отношенія къ освободительнымъ стремленіямъ той эпохи. Еще рѣзче Гримма напалъ на Бушэ Дидро въ своихъ «Салонахъ».

«У него извращеніе вкуса, колорита, композиціи, характеровъ, воображенія, рисунка,—пишетъ Дидро въ 1765 году,—шагъ за шагомъ слѣдовало за развращеніемъ нравовъ». По мнѣнію Дидро, Бушэ пересталъ быть

¹⁾ L. c., p. 145.

художникомъ. «И тогда-то его сдѣлали природнымъ живописцемъ!» Особенно достается отъ Дидро вышеупомянутымъ амурамъ Бушэ. Пылкій энциклопедистъ нѣсколько неожиданно замѣчаетъ, что во всей многочисленной толпѣ этихъ амуровъ нѣтъ ни одного ребенка, который годился бы для дѣйствительной жизни,—«напримѣръ, для того, чтобы учить свой урокъ, читать, писать или мять коноплю». Этотъ упрекъ, отчасти напоминающій обвиненія, съ которыми нашъ Д. И. Писаревъ обрушился на голову Евгенія Овѣгина, заставляетъ презрительно пожимать плечами многихъ и многихъ изъ нынѣшнихъ французскихъ критиковъ. Эти господа говорятъ, что «мять коноплю» вовсе и не пристало амурамъ, и они правы. Но они не видятъ, что въ наивномъ негодованіи Дидро противъ «маленькихъ развратныхъ сатировъ» сказалась классовая ненависть трудолюбивой тогда буржуазіи къ празднымъ утѣхамъ аристократическихъ бездѣльниковъ.

Не нравится Дидро и то, что, несомнѣнно, составляло силу Бушэ: его *femini* (женскій полъ). «Одно время онъ любилъ изображать дѣвушекъ. Каковы же были эти дѣвушки? Изящныя представительницы полусвѣта». Эти изящныя представительницы полусвѣта были очень красивы на свой ладъ. Но ихъ красота не привлекала, а возмущала идеологовъ третьяго сословія. Она нравилась только аристократамъ и тѣмъ людямъ изъ *tier-état*, которые, находясь подъ вліяніемъ аристократовъ, усвоили аристократическіе вкусы.

«Мой и вашъ живописецъ,—говоритъ Дидро, обращаясь къ читателямъ,—Грезъ. Грезъ первый догадался сдѣлать искусство нравственнымъ». Эта похвала настолько же характерна для настроенія Дидро,—а съ нимъ и всей тогдашней мыслящей буржуазіи,—какъ и гнѣвные упреки, посылаемые имъ по адресу ненавистнаго ему Бушэ.

Грезъ въ самомъ дѣлѣ былъ до послѣдней степени *нравственнымъ* живописцемъ. Если буржуазныя драмы Нивелля-де-ля-Шоссе, Бомарше, Стедэна и пр. были *des moralités en action*, то картины Греза можно назвать *moralités sur la toile*. «*Отецъ семейства*» занимаетъ у него почетное мѣсто, передній уголь, фигурируетъ въ самыхъ различныхъ, но всегда трогательныхъ положеніяхъ и отличается такими же почтенными домашними добродѣтелями, которыя украшаютъ его въ буржуазной драмѣ. Но хотя этотъ патріархъ, безспорно, достоинъ всякаго уваженія, онъ не обнаруживаетъ *никакого политическаго интереса*. Онъ стоитъ «воплощенной укоризною» передъ распущенной и развратной аристократіей и дальше «укоризны» не идетъ. И это совсѣмъ неудивительно, потому что создавшій его художникъ тоже ограничивается «укоризной». Грезъ далеко не революціонеръ. Онъ стремится не къ устраненію стараго порядка, а лишь къ его исправленію въ духъ морали. Французское духовенство для него—хранитель религіи и добрыхъ нравовъ; французскіе священники—

духовные отцы всѣхъ гражданъ»¹⁾. А между тѣмъ, духъ революціоннаго недовольства уже проникаетъ въ среду французскихъ художниковъ. Въ пятидесятыхъ годахъ исключаютъ изъ французской академіи художествъ въ Римѣ ученика, отказавшагося говѣть.

Въ 1767 г. другой ученикъ той же академіи, архитекторъ Адр. Мутона, подвергается той же карѣ за тотъ же проступокъ. Къ Мутону присоединяется скульпторъ Клодъ Моно,—его тоже удаляютъ изъ заведенія. Общественное мнѣніе Парижа рѣшительно становится на сторону Мутона, который подаетъ на директора римской академіи жалобу въ судъ, а судъ (châtelet) признаетъ этого послѣдняго виновнымъ и приговариваетъ его къ уплатѣ 20.000 ливровъ въ пользу Мутона. Общественная атмосфера все болѣе и болѣе нагрѣвается, и по мѣрѣ того, какъ революціонное настроеніе овладѣваетъ третьимъ сословіемъ, увлеченіе жанровой живописью—этой смѣливой комедіей, писанной масляными красками—остываетъ. Перемѣна въ настроеніи передовыхъ людей того времени приводитъ къ измѣненію ихъ эстетическихъ запросовъ,—какъ она привела къ измѣненію ихъ литературныхъ понятій,—и жанровая живопись въ духѣ Греза, еще не такъ давно вызывавшая всеобщій энтузіазмъ²⁾, затмевается революціонной живописью Давида и его школы.

Впослѣдствіи, когда Давидъ былъ уже членомъ конвента, онъ, въ своемъ докладѣ этому собранію, говорилъ: «Всѣ виды искусства только и дѣлали, что служили вкусамъ и капризамъ кучки сибаритовъ съ карманами, набитыми золотомъ, и цехи (Давидъ называетъ такъ академіи) преслѣдовали гениальныхъ людей и вообще всѣхъ тѣхъ, которые приходили къ нимъ съ чистыми идеями нравственности и философіи». По мнѣнію Давида, искусство должно служить народу, республикѣ. Но тотъ же Давидъ былъ рѣшительнымъ сторонникомъ классицизма. Мало того: его художественная дѣятельность оживила клонившійся къ упадку классицизмъ и на цѣлые десятки лѣтъ продлила его господство. Примѣръ Давида лучше всего подсказываетъ, что французскій классицизмъ конца восемнадцатаго столѣтія былъ консервативенъ,—или, если хотите, реакціоненъ, потому что, вѣдь, онъ стремился *назадъ*, отъ новѣйшихъ подражателей къ античнымъ образцамъ,—только по *формѣ*. *Содержаніе* же его было насквозь пропитано самымъ революціоннымъ духомъ.

Одной изъ наиболѣе характерныхъ въ этомъ отношеніи и наиболѣе замѣчательныхъ картинъ Давида былъ его «*Брутъ*». Ликторы несутъ тѣла его дѣтей, только что казненныхъ за участіе въ монархическихъ проискахъ; жена и дочь Брута плачутъ, а онъ сидитъ, суровый и непо-

¹⁾ См. его „Lettre à Messieurs les cures“ въ „Journal de Paris“ отъ 5-го декабря 1786 г.

²⁾ Такой энтузіазмъ вызвала, напримѣръ, въ 1775 г. выставленная въ Салонѣ картина Греза „Le père de famille“, а въ 1761 г. его же „L'accordée du village“.

колебимый, и вы видите, что для этого человека благо республики есть, въ самомъ дѣлѣ, высшій законъ. Брутъ—тоже «отецъ семейства». Но это отецъ семейства, ставшій гражданиномъ. Его добродѣтель есть политическая добродѣтель революціонера. Онъ показываетъ намъ, какъ далеко ушла буржуазная Франція съ того времени, когда Дидро превозносилъ Греза за моральный характеръ его живописи ¹⁾.

Выставленный въ 1789 году, въ томъ году, когда началось великое революціонное землетрясеніе, «Брутъ» имѣлъ потрясающій успѣхъ. Онъ доводилъ до *сознанія* то, что стало самой глубиной, самой насущной потребностью *бытія*, т. е. общественной жизни тогдашней Франціи. Эрнестъ Шэно совершенно справедливо говоритъ въ своей книгѣ о школахъ французской живописи:

«Давидъ точно отражалъ чувство націи, которая, рукоплещая его картинамъ, рукоплещала своему собственному изображенію. Онъ писалъ тѣхъ самыхъ героевъ, которыхъ публика брала себѣ за образецъ; восторгаясь его картинами, она укрѣпляла свое собственное восторженное отношеніе къ этимъ героямъ. Отсюда та легкость, съ которой совершился въ искусствѣ переворотъ, подобный перевороту, происходившему тогда въ нравахъ и въ общественномъ строѣ».

Читатель очень ошибся бы, если бы подумалъ, что переворотъ, совершенный въ искусствѣ Давидомъ, простирался только на выборъ предметовъ. Будь это такъ, мы еще не имѣли бы права говорить о *переворотѣ*. Нѣтъ, могучее дыханіе приближающейся революціи кореннымъ образомъ измѣнило все отношеніе художника къ своему дѣлу. Манерности и слащавости старой школы,—см., напримѣръ, картины Ванъ-Лоо,—художники новаго направленія противопоставили суровую простоту. Даже недостатки этихъ новыхъ художниковъ легко объясняются господствовавшимъ среди нихъ настроеніемъ. Такъ, Давида упрекали въ томъ, что дѣйствующія лица его картинъ похожи на статуи. Этотъ упрекъ, къ сожалѣнію, не лишенъ основанія. Но Давидъ искалъ образцовъ у древнихъ, а для новаго времени преобладающимъ искусствомъ древности является скульптура. Кромѣ того, Давиду ставили въ вину слабость его воображенія. Это былъ тоже справедливый упрекъ: Давидъ самъ признавалъ, что у него преобладаетъ разсудочность. Но разсудочность была самой выдающейся чертою всѣхъ представителей тогдашняго освободительнаго движенія. И не только тогдашняго,—разсудочность встрѣчаетъ широкое поле для своего развитія и широко развивается у всѣхъ цивилизованныхъ народовъ, переживающихъ эпоху перелома, когда старый общественный порядокъ клонится къ упадку и когда представители новыхъ общественныхъ стре-

¹⁾ „Брутъ“ виситъ теперь въ Луврѣ. Русскій человекъ, которому случится быть въ Парижѣ, обязанъ пойти поклониться ему.

мленій подвергаютъ его своей критикѣ. У грековъ время Сократа разсудочность была развита не меньше, чѣмъ у французовъ восемнадцатаго вѣка. Нѣмецкіе романтики недаромъ нападали на разсудочность Эврипида. Разсудочность является плодомъ борьбы новаго со старымъ, и она же служитъ ея орудіемъ. Разсудочность свойственна была также всѣмъ великимъ якобинцамъ. Ее вообще совершенно напрасно считаютъ монополіей Гамлетовъ ¹⁾.

Выяснивъ себѣ тѣ общественныя причины, которыя породили школу Давида, нетрудно объяснить и ея упадокъ. Тутъ мы опять видимъ то, что видѣли въ литературѣ.

Послѣ революціи, придя къ своей цѣли, французская буржуазія перестала увлекаться древними республиканскими героями, и потому классицизмъ представлялся ей тогда совершенно въ другомъ свѣтѣ. Онъ сталъ казаться ей холоднымъ, полнымъ условности. И онъ въ самомъ дѣлѣ сдѣлался такимъ. Его покинула его великая революціонная *душа*, сообщавшая ему такое сильное обаяніе, и у него осталось одно *тѣло*, совокупность вышнихъ пріемовъ художественнаго творчества, ни для чего теперь ненужная, странная, неудобная, несоотвѣтствовавшая новымъ стремленіямъ и вкусамъ, порожденнымъ новыми общественными отношеніями. Изображеніе древнихъ боговъ и героевъ сдѣлалось теперь занятіемъ, достойнымъ лишь старыхъ педантовъ, и очень естественно, что молодое поколѣніе художниковъ не видѣло въ этомъ занятіи ничего привлекательнаго. Неудовлетворенность классицизмомъ, стремленіе выйти на новую дорогу замѣчается уже у непосредственныхъ учениковъ Давида, напримѣръ, у Гро. Напрасно учитель напоминаетъ имъ о старомъ идеалѣ, напрасно сами они осуждаютъ свои новые порывы: ходъ идей неудержимо измѣняется измѣнившимся ходомъ вещей. Но Бурбоны, вернушіеся въ Парижъ «въ казенномъ обрѣзѣ», и здѣсь отсрочиваютъ на время окончательное исчезновеніе классицизма. Реставрація замедляетъ и даже грозитъ совсѣмъ остановить побѣдное шествіе буржуазіи. Поэтому буржуазія не рѣшается разстаться съ «тѣнью Ликурга». Эта тѣнь, нѣсколько оживляющая старые завѣты въ политикѣ, поддерживаетъ ихъ въ живописи. Но Жерико уже пишетъ свои картины. Романтизмъ уже стучится въ дверь.

Впрочемъ, здѣсь мы заходимъ впередъ. О томъ, какъ далъ классицизмъ, мы поговоримъ когда-нибудь въ другой разъ, а теперь намъ хочется въ немногихъ словахъ сказать, какъ отразилась на эстетическихъ понятіяхъ современниковъ сама революціонная катастрофа.

¹⁾ Поэтому можно было бы сдѣлать много сильныхъ возраженій противъ взгляда, изложеннаго И. С. Тургеневымъ въ его знаменитой статьѣ „Гамлетъ и Донъ-Кихотъ“.

Борьба съ аристократіей, достигшей теперь своего крайняго напряженія, вызываетъ ненависть ко всѣмъ аристократическимъ вкусамъ и преданіямъ. Въ январѣ 1870 г. журналъ «La chronique de Paris» пишетъ: «Всѣ наши приличія, вся наша вѣжливость, вся наша галантность, всѣ наши взаимныя выраженія въ уваженіи, въ преданности, въ покорности должны быть выброшены изъ нашего языка. Все это слишкомъ напоминаетъ старый порядокъ». Два года спустя журналъ «Les annales patriotiques» говоритъ: «Приемы и правила вѣжливости были выдуманы во время рабства; это—суевѣріе, которое должно быть унесено вѣтромъ свободы и равенства». Тотъ же журналъ доказываетъ, что мы должны снимать шапку съ головы только тогда, когда намъ жарко, или тогда, когда мы обращаемся къ цѣлому собранію; точно также слѣдуетъ оставить привычку раскланиваться, потому что эта привычка тоже идетъ изъ временъ рабства. Нужно, кромѣ того, забыть, исключить изъ нашего словаря фразы или выраженія въ родѣ: «честь имѣю», «вы сдѣлаете мнѣ честь» и т. п. Въ концѣ письма не слѣдуетъ писать: «вашъ покорнѣйшій слуга», «вашъ всенижайшій слуга» (Votre très humble serviteur). Всѣ такія выраженія, унаслѣдованныя отъ стараго порядка, недостойны свободнаго человѣка. Надо писать: «остаюсь вашимъ согражданиномъ», или: «вашимъ братомъ», или: «вашимъ товарищемъ», или, наконецъ, «вашимъ равнымъ» (votre égal). Гражданинъ Шалье посвятилъ и преподнесъ конвенту цѣлый трактатъ о вѣжливости, въ которомъ, строго осуждая старую аристократическую вѣжливость, онъ утверждаетъ, что даже излишняя забота о чистотѣ платья смѣшна, потому что аристократична. А нарядная одежда—цѣлое преступленіе; это кража у государства (Un vol fait à l'état). Шалье находить, что всѣ должны говорить другъ другу *ты*: «Говоря другъ другу *ты*, мы завершаемъ крушеніе старой системы наглости и тиранніи». Трактатъ Шалье, повидимому, произвелъ впечатлѣніе: 8-го ноября 1793 г. конвентъ предписалъ всѣмъ чиновникамъ употреблять въ своихъ взаимныхъ сношеніяхъ мѣстоимѣніе *ты*. Нѣкто Лебонъ, убѣжденный демократъ и пылкій революціонеръ, получилъ въ подарокъ отъ своей матери дорогой костюмъ. Не желая огорчить старуху, онъ принялъ подарокъ, но его стали жестоко терзать мученія совѣсти. По этому поводу онъ писалъ своему брату:

«Вотъ уже десять ночей, какъ я совѣмъ не сплю, благодаря этому несчастному костюму. Я, философъ, другъ человѣчества, одѣваюсь такъ богато, между тѣмъ какъ тысячи моихъ ближнихъ умираютъ съ голоду и носятъ жалкія лохмотья! Одѣвшись въ свой пышный костюмъ, какъ войду я въ ихъ скромныя жилища? Какъ буду я защищать бѣдняка отъ эксплуатаціи со стороны богатаго? Какъ буду я воставать противъ богачей, если я самъ подражаю имъ въ роскоши и въ пышности? Меня безпрестанно преслѣдуютъ эти мысли и не даютъ мнѣ покоя».

И это вовсе не единичное явление. Вопрос о костюмѣ сталъ тогда вопросомъ совѣсти, подобно тому, какъ это было у насъ во время такъ называемаго нигилизма. И по тѣмъ же мотивамъ. Въ январѣ 1793 г. журналъ «Le courrier de l'égalité» говоритъ, что стыдно имѣть два костюма, когда солдаты, отстаивающіе на границѣ независимость республиканской Франціи, совершенно обносились. Въ то же время знаменитый «Père Duchêne» требуетъ, чтобы модные магазины были превращены въ мастерскія; чтобы экипажные мастера строили только телѣги для возчиковъ; чтобы золотыхъ дѣлъ мастера сдѣлались слесарями, а кафе, гдѣ собираются праздные люди, были отданы рабочимъ для ихъ собраний.

При такомъ состояніи «нравовъ» совершенно понятно, что искусство дошло до крайней степени въ своемъ отрицаніи всѣхъ старыхъ эстетическихъ преданій аристократической эпохи.

Театръ,—который, какъ мы видѣли, уже въ эпоху, предшествовавшую революціи, служилъ третьему сословію духовнымъ оружіемъ въ его борьбѣ со старымъ порядкомъ,—осмѣиваетъ теперь безъ всякихъ стѣсненій духовенство и дворянство. Въ 1790 г. большой успѣхъ имѣетъ драма: «La liberté conquise ou le despotisme renversé». Присутствующая на представленіи публика хоромъ поетъ: «аристократы, вы побѣждены!» Въ свою очередь, побѣжденные аристократы бѣгутъ на представленія трагедій, напоминающихъ имъ доброе старое время: «Cinna», и «Athalie» и т. п. Въ 1793 г. на сценѣ танцуютъ карманьолу и насмѣхаются надъ королями и эмигрантами. По выраженію Гонкура,—у котораго мы заимствуемъ относящіяся къ этому періоду данныя,—театръ est sans-culottisé. Актеры издѣваются надъ напыщенными манерами актеровъ стараго времени; они держатъ себя до крайности непринужденно: лазятъ въ окно, вмѣсто того чтобы входить въ дверь, и т. д. Гонкуръ говоритъ, что однажды, во время представленія пьесы «Le faux saigante», одинъ актеръ, вмѣсто того чтобы войти въ дверь, спустился на сцену черезъ каминную трубу. Si non e'vero, é ben trovato!

Что театръ былъ sans-culottisé революціей, это нисколько не удивительно, такъ какъ на нѣкоторое время революція доставила господство «санкулотамъ». Но для насъ важно констатировать тотъ фактъ, что и во время революціи—какъ и во всѣ предыдущія эпохи—театръ служилъ вѣрнымъ отраженіемъ общественной жизни съ ея противорѣчійми и съ вызываемою этими противорѣчійми *борьбой классовъ*. Если въ доброе старое время, когда, по вышеприведенному выраженію Мармонтеля, приличія служили законами, театръ выражалъ *аристократическіе* взгляды на взаимныя отношенія людей, то теперь, при господствѣ «санкулотовъ», осуществился идеалъ М. Ж. Шенье, говорившаго, что театръ долженъ внушать гражданамъ отвращеніе къ суевѣрью, ненависть къ притѣснителямъ и любовь къ свободѣ.

Идеалы того времени требовали отъ гражданина такой усиленной и непрерывной работы на пользу общую, что собственно эстетическія потребности не могли занимать много мѣста въ общей совокупности его духовныхъ нуждъ. Гражданинъ этой великой эпохи восхищался больше всего *воздѣйствіемъ, красотой гражданскаго подвига*. И это обстоятельство придавало подчасъ довольно своеобразный характеръ эстетическимъ сужденіямъ французскихъ «патріотовъ». Гонкуръ говоритъ, что одинъ изъ членовъ жюри, избраннаго для оцѣнки художественныхъ произведеній, выставившихся въ Салонѣ 1793 года, нѣкто Флеріо, сожалѣлъ о томъ, что барельефы, представленные для соисканія премій, недостаточно ярко выражаютъ великіе принципы революціи. «Да и вообще,—спрашиваетъ Флеріо,—что за люди эти господа, занимающіеся скульптурой въ то время, когда ихъ братья проливаютъ кровь за отечество? По моему мнѣнію, не надо премій!» Другой членъ жюри Ассэнфратцъ, сказалъ: «Я буду говорить откровенно: по моему мнѣнію, талантъ артиста—въ его сердцѣ, а не въ его рукѣ; то, что можетъ быть усвоено рукою, сравнительно неважно». На замѣчаніе нѣкоего Нэве о томъ, что надо же обращать вниманіе и на ловкость руки (не забывайте, что рѣчь идетъ о скульптурѣ), Ассэнфратцъ горячо отвѣтилъ: «Гражданинъ Нэве, ловкость руки—ничто; на ловкость руки не слѣдуетъ основывать свои сужденія». Рѣшено было *премій* по отдѣлу скульптуры *не выдавать*. Во время преній о картинахъ тотъ же Ассэнфратцъ горячо доказывалъ, что лучшіе живописцы—это тѣ граждане, которые дерутся за свободу на границѣ. Въ своемъ увлеченіи онъ высказалъ даже ту мысль, что живописецъ долженъ былъ бы обходиться просто съ помощью циркуля и линейки. Въ засѣданіи по отдѣлу архитектуры нѣкто Дюфурни утверждалъ, что всѣ постройки должны быть просты, какъ добродѣтель гражданина. Не нужно излишнихъ украшеній. Геометрія должна возродить искусство.

Нечего и говорить, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ огромнѣйшимъ преувеличеніемъ, что здѣсь мы дошли до того предѣла, дальше котораго разсудочность не могла идти даже въ то время крайнихъ выводовъ изъ разъ принятыхъ посылокъ, и не трудно осмѣять—какъ дѣлаетъ это Гонкуръ—всѣ разсужденія подобнаго рода. Но очень неправъ былъ бы тотъ, кто на основаніи ихъ рѣшилъ бы, что революціонный періодъ былъ совершенно неблагопріятенъ для развитія искусства. Шовторяемъ, жестокая борьба, которая велась тогда не только «на границѣ», но и на всей французской территоріи отъ края до края, оставляла гражданамъ мало времени для спокойнаго занятія искусствомъ. Но оно вовсе не заглушило эстетическихъ потребностей народа; совершенно наоборотъ. Великое общественное движеніе, сообщившее народу ясное сознаніе своего достоинства, дало сильный, небывалый толчокъ развитію этихъ по-

требностей. Чтобы убедиться въ этомъ, достаточно посѣтить парижскій Musée Carnavalet. Коллекціи этого интереснаго музея, посвященнаго времени революціи, неопровержимо доказываютъ, что, сдѣлавшись «санкюлотскимъ», искусство вовсе не умерло и не перестало быть искусствомъ, а только прониклось совершенно новымъ духомъ. Какъ добродѣтель (vérité) тогдашняго французскаго «патріота» была по преимуществу *политической* добродѣтелью, такъ и его искусство было по преимуществу *политическимъ* искусствомъ. Не пугайтесь, читатель. Это значитъ, что гражданинъ того времени,—т. е., само собою разумѣется, гражданинъ, достойный своего названія,—былъ равнодушенъ или почти равнодушенъ къ такимъ произведеніямъ искусства, въ основѣ которыхъ не лежала какая-нибудь дорогая ему политическая идея ¹⁾. И пусть не говорятъ, что такое искусство не можетъ быть бесплоднымъ. Это ошибка. Неподражаемое искусство древнихъ грековъ въ весьма значительной степени было именно такимъ политическимъ искусствомъ. Да и одно ли оно? Французское искусство «вѣка Людовика XIV» тоже служило извѣстнымъ политическимъ идеямъ, что не помѣшало, однако, ему расцвѣсть пышнымъ цвѣтомъ. А что касается французскаго искусства эпохи революціи, то «санкюлоты» и вывели его на такой путь, по какому не умѣло ходить искусство *высшихъ классовъ*: оно стало *всенароднымъ* дѣломъ.

Многочисленные гражданскіе праздники, процессіи и торжества того времени являются самымъ лучшимъ и самымъ убѣдительнымъ свидѣтельствомъ въ пользу «санкюлотской» эстетики. Только это свидѣтельство не всѣми принимается во вниманіе.

Но по историческимъ обстоятельствамъ той эпохи всенародное искусство не имѣло подъ собою прочной общественной основы. Свирѣпная термидорская реакція скоро положила конецъ господству «санкюлотовъ» и, открывъ собою новую эру въ политикѣ, открыла также новую эпоху въ искусствѣ,—эпоху, выражающую стремленія и вкусы новаго высшаго класса, добившейся господства буржуазіи. Здѣсь мы не будемъ говорить объ этой новой эпохѣ: она заслуживаетъ подробнаго разсмотрѣнія, но намъ пора кончать.

Что же слѣдуетъ изъ всего сказаннаго нами?

Слѣдуютъ выводы, подтверждающіе слѣдующія положенія.

Во-первыхъ, сказать, что искусство,—равно какъ и литература,—есть отраженіе жизни, значитъ высказать хотя и вѣрную, но все-таки еще очень неопредѣленную мысль. Чтобы понять, *какимъ образомъ* искусство отражаетъ жизнь, надо понять механизмъ этой послѣдней. А у

¹⁾ Мы употребляемъ слово политическій въ томъ же широкомъ смыслѣ, въ которомъ было сказано, что всякая классовая борьба есть борьба политическая.

цивилизованныхъ народовъ борьба классовъ составляетъ въ этомъ механизмѣ одну изъ самыхъ важныхъ пружинъ. И только рассмотрѣвъ эту пружину, только принявъ во вниманіе борьбу классовъ и изучивъ ея многоразличныя перипетіи, мы будемъ въ состояніи сколько-нибудь удовлетворительно объяснить себѣ *«духовную»* исторію цивилизованнаго общества; «ходъ» его «идей» отражаетъ собою исторію его классовъ и ихъ борьбы другъ съ другомъ.

Во-вторыхъ, Кантъ говоритъ, что наслажденіе, которое опредѣляетъ сужденіе вкуса, свободно отъ всякаго интереса, и что то сужденіе о красотѣ, къ которому примѣшивается малѣйшій интересъ, очень партійно и отнюдь не есть чистое сужденіе вкуса ¹⁾. Это вполнѣ вѣрно въ примѣненіи къ *отдѣльному лицу*. Если мнѣ нравится данная картина только потому, что я могу выгодно продать ее, то мое сужденіе, конечно, отнюдь не будетъ чистымъ сужденіемъ вкуса. Но дѣло измѣняется, когда мы становимся на точку зрѣнія общества. Изученіе искусства первобытныхъ племенъ показало, что общественный человѣкъ сначала смотритъ на предметы и явленія съ точки зрѣнія утилитарной и только впоследствии переходитъ, въ своемъ отношеніи къ нѣкоторымъ изъ нихъ, на точку зрѣнія эстетическую. Это проливаетъ новый свѣтъ на исторію искусства. Разумѣется, не всякій полезный предметъ кажется общественному человѣку красивымъ; но несомнѣнно, что красивымъ можетъ ему казаться только то, что ему полезно,—т. е. что имѣетъ значеніе,—въ его борьбѣ за существованіе съ природой или съ другимъ общественнымъ человѣкомъ. Это не значитъ, что для общественнаго человѣка утилитарная точка зрѣнія *совпадаетъ* съ эстетической. Совсе нѣтъ! Польза познается *разсудкомъ*; красота—*созерцательной способностью*. Область первой—*разсчетъ*; область второй—*инстинктъ*. Притомъ же,—и это необходимо помнить,— область, принадлежащая созерцательной способности, несравненно шире области разсудка: наслаждаясь тѣмъ, что кажется ему прекраснымъ, общественный человѣкъ почти никогда не отдаетъ себѣ отчета въ той пользѣ, съ представленіемъ о которой связывается у него представленіе объ этомъ предметѣ ²⁾. Въ огромнѣйшемъ большинствѣ случаевъ эта польза могла бы быть открыта только научнымъ анализомъ. Главная отличительная черта эстетическаго наслажденія—его *непосредственность*. Но польза все-таки существуетъ; она все-таки лежитъ въ основѣ эстетическаго наслажденія (напоминаемъ, что рѣчь идетъ не объ отдѣльномъ лицѣ, а объ общественномъ человѣкѣ); если бы ея не было, то предметъ не казался бы прекраснымъ.

¹⁾ Критика способности силы сужденія, переводъ Н. М. Соколова, стр. 41, 44.

²⁾ Подъ *предметомъ* здѣсь надо понимать не только матеріальныя вещи, но и явленія природы, человѣческія чувства и отношенія между людьми.

На это возразятъ, пожалуй, что *цвѣтъ* предмета нравится человѣку независимо отъ того значенія, какое могъ или можетъ имѣть для него этотъ предметъ въ его борьбѣ за существованіе. Не вдаваясь въ длинныя соображенія по этому поводу, я напомнимъ лишь замѣчаніе Фехнера. Красный цвѣтъ нравится намъ, когда мы видимъ его, скажемъ, на щекахъ молодой и красивой женщины. Но какое впечатлѣніе произвелъ бы на насъ этотъ цвѣтъ, если бы мы увидѣли его не на щекахъ, а на носу нашей красавицы?

Тутъ замѣчается полная параллель съ *нравственностью*. Далекое не все то, что полезно обществу, нравственно. Но нравственное значеніе можетъ приобрести для него только то, что полезно для его жизни и для его развитія: не человѣкъ для нравственности, а нравственность для человѣка. Точно также можно сказать, что не человѣкъ для красоты, а красота для человѣка. А это уже утилитаризмъ, понимаемый въ его настоящемъ, широкомъ смыслѣ, т. е. въ смыслѣ полезнаго не для отдѣльнаго человѣка, а для общества: племени, рода, класса.

Но именно потому, что мы имѣемъ въ виду не отдѣльное лицо, а общество (племя, народъ, классъ), у насъ остается мѣсто и для кантовскаго взгляда на этотъ вопросъ: *сужденіе вкуса, несомнѣнно, предполагаетъ отсутствіе всякихъ утилитарныхъ соображеній у индивидуума, его высказывающаго*. Тутъ тоже полная параллель съ сужденіями, высказываемыми съ точки зрѣнія нравственности: если я объявляю данный поступокъ нравственнымъ только потому, что онъ *мнѣ* полезенъ, то я не имѣю никакого нравственнаго инстинкта.

„Исторія новѣйшей русской литературы 1848—1892 гг.“ А. М. Скабичевскаго.

Къ періоду, охватываемому «Исторіей новѣйшей литературы» г. Скабичевскаго, относится дѣятельность знаменитыхъ «свистуновъ» «Современника» и горячая проповѣдь Писарева: въ продолженіе его окончательно сложились великіе таланты Толстого, Тургенева, Гончарова и проч.; онъ ознаменовался возникновеніемъ народничества и субъективной русской социологіи; наконецъ, въ теченіе его возникло направленіе такъ называемыхъ «учениковъ» этихъ «свистуновъ» нашихъ дней. Положимъ, что по своей почтенности г. Скабичевскій не могъ заниматься такими сорванцами, какъ «ученики», не признающіе литературныхъ авторитетовъ и открыто осмѣивающіе нѣкоторыхъ титановъ нашего отечественнаго прогресса; но зато сколько было другого, уже несомнѣнно важнаго матеріала въ его распоряженіи, и какой яркій свѣтъ онъ могъ пролить съ помощью этого матеріала на жгучіе вопросы, волнующіе насъ въ настоящее время! Какъ же не читать его книгу съ жаднымъ интересомъ! И ее, дѣйствительно, читаютъ. Она вышла теперь (1897 г.) уже третьимъ изданіемъ, а первое изданіе ея появилось всего нѣсколько лѣтъ тому назадъ: въ 1891 году. Успѣхъ огромный. Жаль только, что ему совсѣмъ не соотвѣтствуютъ внутреннія достоинства книги.

Общественное развитіе остальныхъ странъ цивилизованнаго міра всегда совершается подъ болѣе или менѣе сильнымъ вліяніемъ передовыхъ народовъ. Поэтому нельзя понять исторію духовнаго развитія этихъ странъ, не составивъ себѣ напередъ понятія о ходѣ духовнаго развитія у народовъ, далѣе ихъ ушедшихъ по пути цивилизаціи. Нельзя написать, напримѣръ, сколько-нибудь дѣльную исторію русской литературы, не зная исторіи западно-европейскихъ литературъ. Но именно этихъ-то литературъ и не знаетъ г. Скабичевскій. Говоря о нихъ, онъ на каждомъ шагу дѣ-

дасть самые невозможные, самые непозволительные промахи. Такъ, онъ довольно пренебрежительно относится къ французской философіи эпохи энциклопедистовъ, которая характеризуется, по его мнѣнію, поверхностнымъ скептицизмомъ и превознесеніемъ сенсуализма, какъ послѣдняго слова морали (стр. 8). Мы не станемъ доказывать, что такой взглядъ на философію энциклопедистовъ цѣликомъ займствованъ былъ нашими отечественными любомудрами у нѣмецкихъ и французскихъ филистеровъ: мы надѣемся, что это хорошо извѣстно всѣмъ образованнымъ людямъ нашего времени. Мы только выразимъ свое удивленіе по поводу того, что тотъ же г. Скабичевскій считаетъ Бокля, Милля, Бюхнера и Молашотта великими мыслителями и столпами европейской науки (стр. 8). Онъ, какъ видно, не знаетъ, что эти люди были лишь *эпигонами* XVIII вѣка. Онъ даже и не подозрѣваетъ, что только при кругломъ невѣжествѣ по части философіи можно «*дѣлать фи*» по адресу ученій энциклопедистовъ и въ то же самое время почтительно склоняться передъ «реальнымъ міросозерцаніемъ» Бюхнера и Молашотта, которые были бы недостойны развязать ремень у ногъ Дидро или Гельвеція. Такое же полное отсутствіе всякихъ знаній обнаруживаетъ г. Скабичевскій и при характеристикѣ другого движенія, въ сороковыхъ годахъ «господствовавшаго преимущественно на французской почвѣ и имѣвшаго характеръ исключительно общественный». Вотъ какъ характеризуетъ онъ это движеніе:

«Это была полная, радикальная переработка тѣхъ рационалистическихъ политическихъ формулъ, какія были завѣщаны XVIII столѣтіемъ. Формулы эти хотя и представлялись идеально совершенными и логически неопровержимыми, тѣмъ не менѣе были крайне отвлеченными, и потому разбились при первомъ столкновеніи съ суровою дѣйствительностью, которая оказалась слишкомъ неподатливою, чтобы сразу уложиться въ нихъ. Розовая мечта XVIII вѣка объ основаніи рациональныхъ общественныхъ связей на свободныхъ договорахъ исчезла, какъ дымъ. Оказалось, что какіе прекрасные договоры ни изобрѣтай и какъ ихъ ни усовершенствуй, независимо отъ нихъ, и часто совершенно вопреки имъ, жизнь продолжаетъ течь въ издревле проложенныхъ руслахъ, слѣпо повиная историческимъ традиціямъ. Это сознаніе, явившееся результатомъ тяжкихъ опытовъ и разочарованій, привело къ убѣжденію, что недостаточно однихъ вѣщныхъ формъ, допускающихъ подъ блестящею наружностью все ту же отжившую ветошь; необходимо, чтобы всѣ общественныя отношенія были переработаны въ основаніяхъ. И вотъ начался тщательный, кропотливый анализъ всѣхъ основъ общественной и индивидуальной жизни, — безпощадный, разлагающій философско-научный анализъ, о которомъ и не мечталъ XVIII вѣкъ. Возникъ рядъ роковыхъ и существенныхъ вопросовъ, рѣшеніе которыхъ оказалось тождественно гамлетовскому *быть или не быть*. Таковы были вопросы: дѣтскій—о воспитаніи здороваго и силь-

наго поколѣнія; семейный— объ основаніи семьи на началахъ любви и довѣрія, вмѣсто прежнихъ страха, принужденія и самодурства; женскій— объ освобожденіи женщинъ отъ гражданскаго и имущественнаго безправія; а надъ всѣми этими вопросами господствовалъ вопросъ объ увеличеніи народнаго благосостоянія!»!

Тутъ что ни слово, то изумительная путаница. Восемнадцатый вѣкъ и не мечталъ о томъ глубокомъ анализѣ, благодаря которому выдвинуть былъ вопросъ объ увеличеніи народнаго благосостоянія. Выходитъ, что XVIII вѣкъ не заботился объ этомъ благосостояніи (г. Скабичевскій понималъ бы, какой это вздоръ, если бы прочелъ хотя книгу Морлея: «*Дидро и энциклопедисты*»). Выходитъ также, что XVIII вѣкъ не задумывался о дѣтскомъ вопросѣ, о «воспитаніи здороваго и сильнаго поколѣнія» (хоть бы «*Емилия*»-то вспомнилъ г. Скабичевскій!). Выходитъ, что онъ и не мечталъ объ основаніи семьи на началахъ любви и довѣрія (видно, что г. Скабичевскому незнакома, напримѣръ, «*Morale Universelle*» Гольбаха). Выходитъ, что *соціальный* переворотъ конца прошлаго XVIII вѣка былъ какимъ-то *внѣшнимъ* переворотомъ, а что «формулы» общественныхъ реформаторовъ первой половины нашего столѣтія не были «крайне *отвлеченными*». Выходитъ, наконецъ... но мало ли что выходитъ изъ такого понятія дѣтскаго представленія о философіи энциклопедистовъ? Если бы г. Скабичевскій далъ себѣ трудъ хоть немного ознакомиться съ нею, то онъ не написалъ бы о ней такихъ пустяковъ. Но онъ услышалъ однимъ ухомъ о теоріи свободнаго договора и о нѣкоторыхъ неблагоклонныхъ выраженіяхъ Вольтера насчетъ «*непросвѣщенной черни*» и рѣшилъ, что философія энциклопедистовъ ему хорошо извѣстна и что онъ можетъ, принявъ ученый видъ знатока, сравнивать ее съ общественными теоріями первой половины XIX вѣка, извѣстными ему тоже лишь по слуху. Въ результатъ такого сравненія получилось нѣчто неудобосказуемое. Столь же неудобосказуемы и разсужденія г. Скабичевского о нѣмецкой философіи. По его словамъ, «великое несчастье А. Григорьева заключалось въ томъ, что онъ слишкомъ увлекся нѣмецкой метафизикой, заблудился въ ея лабиринтахъ и остался въ нихъ навсегда». Напуганный этимъ печальнымъ случаемъ, г. Скабичевскій, какъ видно, не только никогда не хотѣлъ проникнуть въ опасные лабиринты нѣмецкаго идеализма, но всегда держался отъ нихъ на весьма почтительномъ разстояніи, слѣдуя правилу: *тойди отъ зла—сотворишь благо*. Это неудивительно со стороны человѣка, «реальное міросозерцаніе» котораго сложилось въ то время, когда философія у насъ изучалась лишь «по Льюису». Но можете представить себѣ, въ какой просакъ попадаетъ этотъ человѣкъ всякій разъ, когда ему приходится судить о Шеллингѣ или Гегелѣ. Можете представить себѣ также тѣ промахи, которые онъ дѣлаетъ при сужденіи о теоріяхъ людей, испытавшихъ на себѣ сильное

вліяніє этихъ великихъ мыслителей! Однимъ изъ такихъ людей былъ, какъ извѣстно, Бѣлинскій. Г. Скабичевскій увѣряетъ, что знаменитый критикъ въ эстетикѣ держался старыхъ метафизическихъ теорій, по которымъ «искусство имѣетъ совершенно особенную, свою самостоятельную область, вполнѣ исчерпывающую все его значеніе» (стр. 57). На самомъ дѣлѣ Бѣлинскій отъ начала до конца своей литературной дѣятельности проповѣдывалъ какъ разъ обратное: онъ всегда говорилъ, что искусство вовсе не имѣетъ особенной, самостоятельной области, что его содержаніе,—тождественное съ содержаніемъ философіи,—*есть истина, т. е. вся дѣйствительность*. Говоря это, онъ, правда, повторялъ «старую» эстетическую теорію, т. е. теорію Гегеля; но эта теорія на самомъ дѣлѣ имѣла совсѣмъ не тотъ омыслъ, какой приписываетъ ей нашъ историкъ литературы. И если Бѣлинскій не сумѣлъ обосновать съ ея помощью принципъ «искусства для жизни», то винить въ этомъ надо не ее, а развѣ только самого Бѣлинскаго, котораго, впрочемъ, тоже очень легко оправдать въ виду неопредѣлившагося, переходнаго характера эпохи сороковыхъ годовъ.

Изложивъ теорію В. Майкова, согласно которой художественное творчество есть «пересозданіе дѣйствительности, совершаемое не измѣненіемъ ея формъ, а возведеніемъ ихъ въ міръ человѣческихъ интересовъ (въ поэзію)», г. Скабичевскій замѣчаетъ: «Первое ея достоинство заключается въ томъ, что она стоитъ вполнѣ на реальной почвѣ и въ то же время значительно расширяетъ сферу искусства согласно новымъ требованіямъ; сообразно ей сфера искусства заключается не въ одномъ только прекрасномъ, а въ изображеніи всего, что какъ бы то ни было относится къ намъ и возбуждаетъ въ насъ какія бы то ни было эмоціи. Въ то же время и принципъ утилитаризма же только стоитъ въ противорѣчій съ этою теорією, а прямо вытекаетъ изъ нея. Искусство, сообразно теоріи Майкова, является не безцѣльнымъ списываніемъ съ дѣйствительности, а возведеніемъ ея въ міръ человѣческихъ интересовъ. Интересы же бываютъ различны: узко-эгоистичныя, грубо-матеріальныя, низменныя и высокія, общечеловѣческія и альтруистическія. Спору не можетъ быть, что съ какими бы интересами ни имѣло дѣло искусство, оно остается искусствомъ, но неоспоримо и то, что тѣмъ оно выше, достойнѣе и благотворнѣе, чѣмъ выше тѣ интересы, которымъ оно служитъ» (стр. 58).

На основаніи этихъ словъ можно подумать, что «старая» эстетическая теорія рекомендовала безцѣльное списываніе съ дѣйствительности. Но это опять пустяки. Гегель говорилъ, что въ искусствѣ, какъ и во всякомъ другомъ человѣческомъ дѣлѣ, *содержаніе имѣетъ рѣшающее значеніе* (der Gehalt ist es, der, wie in allem Menschenwerk, so auch in der Kunst entscheidet). И если тотъ же Гегель ставилъ прекрасное въ природѣ несравненно ниже прекраснаго въ искусствѣ, то это происхо-

дило уже, конечно, не отъ равнодушія его къ міру человѣческихъ интересовъ. Наконецъ, когда тотъ же Гегель говорилъ, что въ новѣйшемъ искусствѣ, въ отличіе его отъ греческаго, *содержаніе* преобладаетъ надъ *формой*, это значило именно то, что *элементъ* красоты пересталъ играть въ немъ преобладающую роль. Оказывается, стало быть, что счастливыя особенности, приписываемыя г. Скабическимъ эстетической теоріи В. Майкова, вовсе не составляютъ ея исключительной собственности, а принадлежатъ также и «*метафизической*» эстетикѣ Гегеля. Оказывается, кромѣ того, что, разсуждая объ этой теоріи, г. Скабичевскій попадаетъ, по своему обыкновенію, въ просакъ.

Не болѣе счастливъ онъ и въ своихъ сужденіяхъ объ «*Эстетическихъ отношеніяхъ искусства къ дѣйствительности*» Чернышевскаго. Чернышевскій говоритъ: «Область искусства не ограничивается областью прекраснаго въ эстетическомъ смыслѣ слова... искусство воспроизводитъ все, что есть интереснаго для человѣка въ жизни». Г. Скабичевскій замѣчаетъ, что слово *интересное* употребляется Чернышевскимъ въ общемъ и неопредѣленномъ смыслѣ, вслѣдствіе чего искусство оказывается у него тождественнымъ съ наукою (стр. 67). Разумѣется, Чернышевскому легко было бы показать неосновательность подобнаго замѣчанія. Ему достаточно было бы напомнить, что у него рѣчь идетъ о *воспроизведеніи* жизни: наука не воспроизводитъ жизнь, а *объясняетъ* ее, въ чемъ и заключается ея существенное отличіе отъ искусства. На вопросъ г. Скабичевскаго: какую же роль должна играть творческая *фантазія*?—Чернышевскій отвѣтилъ бы: ея роль заключается именно въ *воспроизведеніи* того, что интересуетъ человѣка въ жизни и что *объясняется научной мыслью*. Правда, Чернышевскій думалъ, что кромѣ воспроизведенія жизни искусство имѣетъ еще и другую задачу: оно объясняетъ жизнь. Съ этой стороны оно, повидимому, совсѣмъ сливается, въ теоріи Чернышевскаго, съ наукою. Но это только повидимому. На самомъ дѣлѣ и здѣсь между искусствомъ и наукою остается весьма существенная разница: искусство объясняетъ *образами*, а наука—*логическими доводами*.

«Воззрѣніе на искусство, нами принимаемое,—писалъ Чернышевскій,—проистекаетъ изъ воззрѣній, принимаемыхъ новѣйшими нѣмецкими эстетиками, и возникаетъ изъ нихъ черезъ діалектическій процессъ, направленіе котораго опредѣляется общими идеями современной науки». («Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности», С.-Петербургъ, 1865, стр. 131). И дѣйствительно, его матеріалистическая эстетика логически выросла изъ идеалистической эстетики великихъ нѣмецкихъ мыслителей, какъ и вообще основныя философскія его взгляды, заимствованныя у Фейербаха, логически выросли изъ философіи Гегеля путемъ весьма поучительнаго діалектическаго процесса, благодаря которому

идеализмъ породилъ матеріализмъ. Но новѣйшій діалектическій матеріализмъ является въ міросозерцаніи Чернышевскаго лишь въ зачаточномъ состояніи. Чернышевскій гораздо болѣе просвѣтитель, чѣмъ діалектикъ. Отсюда—многія противорѣчія въ его философскихъ, экономическихъ, политическихъ и эстетическихъ взглядахъ. Давно уже пора указать и выяснитъ эти противорѣчія. Но само собою понятно, что такая задача не по плечу г. Скабичевскому, который по своему образованію стоитъ только одной ступенью выше г. В. В. Овъ и пишетъ едва-едва лучше почтеннѣйшаго теоретика народничества. По его словамъ, въ критическихъ статьяхъ Чернышевскаго «вы видите отсутствіе того же, чѣмъ хромаетъ и диссертация» (стр. 68). Но чѣмъ же хромаетъ диссертация? Отсутствіемъ эстетическаго чувства. Стало быть, критическія статьи страдаютъ *отсутствіемъ отсутствія*, т. е. *присутствіемъ* этого чувства. Очень хорошо, г. Скабичевскій; сейчасъ видно, что у васъ его много!

Отсутствіе эстетическаго чувства повело Чернышевскаго къ нѣкоторымъ вопіющимъ промахамъ,—разоказываетъ г. Скабичевскій. Однимъ изъ нихъ является сочувственный отзывъ его о разказахъ Николая Успенскаго. Г. Скабичевскій, напротивъ, не одобряетъ этихъ разказовъ. Онъ видитъ въ нихъ плодъ того же смѣхотворно-отрицательнаго отношенія къ народу, которое онъ замѣтилъ и въ разказахъ Слѣпцова. По поводу такого отношенія къ народу г. Скабичевскій высказываетъ нѣсколько глубоко-мысленныхъ замѣчаній, пропитанныхъ духомъ благонамѣреннаго демократизма. Ему и въ голову не приходитъ спросить себя: почему «насмѣшки» Слѣпцова и Н. Успенскаго надъ народомъ могли встрѣтить одобреніе со стороны людей, подобныхъ Чернышевскому? Неужели единственно потому, что у автора «Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности» было мало эстетическаго чувства? На самомъ дѣлѣ, причина лежитъ, конечно, вовсе не въ этомъ. Демократизмъ Чернышевскаго и Слѣпцова относятся къ демократизму г. Скабичевскаго и всѣхъ людей его направленія, какъ демократизмъ *Рязанова* относится къ демократизму *Щетинина* въ «Трудномъ времени» того же Слѣпцова. И если, тѣмъ не менѣе, Слѣпцовъ могъ писать «смѣхотворные» очерки изъ народнаго быта, а Чернышевскій могъ одобрять еще болѣе смѣхотворные разказы Н. Успенскаго, то объясняется это всѣмъ міросозерцаніемъ просвѣтителей, какими были и Слѣпцовъ и Чернышевскій. Г. Скабичевскому представлялся случай провести интересную параллель между отношеніемъ къ народу нашихъ просвѣтителей и отношеніемъ къ нему дѣваго крыла французскихъ энциклопедистовъ,—параллель, которая могла бы пролить не мало свѣта на наше послѣдующее демократическое движеніе. Но онъ, конечно, не въ силахъ былъ сдѣлать этого и ограничился простымъ порицаніемъ насмѣшниковъ съ точки зрѣнія своего самодовольнаго, мелко-мѣщанскаго демократизма.

О Писаревѣ и его «сенсуализмѣ» г. Скабичевскій говорить поистинѣ вопіющія вещи. Къ сожалѣнію, мы не можемъ остановиться на нихъ за недостаткомъ мѣста. Скажемъ только, что такого вздора о Писаревѣ не говорилъ даже и г. Волюнскій.

«Съ тѣхъ поръ, какъ Гл. Успенскій и Н. Златовратскій обратили на себя вниманіе, какъ двѣ крупныя силы литературы,—повѣствуетъ далѣе г. Скабичевскій,—между ними постоянно усматривался взаимный антагонизмъ, какъ бы два противоположные полюса возрѣній на народъ,—отрицательный и пессимистическій со стороны Гл. Успенскаго и положительный, оптимистическій со стороны Н. Златовратскаго. На самомъ же дѣлѣ оба писателя, при всемъ антагонизмѣ, зависящемъ отъ особенностей ихъ талантовъ, различными путями пришли къ одной и той же цѣли. Въ то время, какъ Гл. Успенскій своимъ разлагающимъ, чисто прудоновскимъ анализомъ, вооруженнымъ безошаднымъ юморомъ, разрушилъ всѣ накопившіяся съ сороковыхъ годовъ апріорныя иллюзіи, которыя мѣшали видѣть народъ въ его истинномъ свѣтѣ, Н. Златовратскій, на развалинахъ этихъ иллюзій, возвелъ новое зданіе, показавши намъ не воображаемая, а дѣйствительныя положительныя начала народной жизни, о которыхъ до тѣхъ поръ никому не снилось» (стр. 249).

Какое же зданіе возвелъ г. Златовратскій? Сейчасъ увидимъ это, но сперва посмотримъ, какія иллюзіи разрушилъ Гл. Успенскій. Въ очеркахъ его «мы видимъ, что восхваляемые общинные порядки допускаютъ непризнанныхъ стариковъ, вдовъ (куда же допускаютъ?) и воспитываютъ въ нихъ (въ непризнанныхъ старикахъ и вдовахъ!!) деревенскихъ злодѣевъ, обращающихся въ конокрадовъ и поджигателей (вотъ такъ вдовы!!), на которыхъ сельскій міръ, допустившій на свою голову развитіе такихъ чудовищъ, обрушивается съ безошаднымъ сомосудомъ. Крестьянское самоуправленіе оказывается миражемъ. Никакой общественной силы въ немъ нѣтъ, и проявить и практиковать ее не на чемъ. Какіе бы вопросы или проекты «оздоровленія», «образованія», «поднятія народной нравственности» ни поднимались въ обществѣ, въ деревнѣ изъ нихъ образуются другія, уже грустныя слова: «по гривенику», «по двугривенному», «по полтнѣ», и вся умственная дѣятельность крестьянина занята одной заботой: «достать денегъ». Такъ говоритъ г. Скабичевскій (стр. 257), прибавляя затѣмъ, что Гл. Успенскій не въ силахъ былъ остановиться на одномъ отрицательномъ отношеніи къ народу и создалъ теорію «власти земли». По словамъ г. Скабичевскаго, смыслъ этой теоріи тотъ, что «община» (подчеркнуто у г. Скабичевскаго) представляетъ собой чисто зоологическій типъ, нѣчто въ родѣ пчелинаго улья или муравейника». Г. Скабичевскому, какъ видно, очень нравится эта теорія. Онъ говоритъ: «Образы и идеи, проведенныя имъ (Гл. Успенскимъ) въ очеркахъ, написанныхъ въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ,

стоять на высотѣ послѣднихъ словъ науки». Прекрасно, перейдемъ теперь къ Златовратскому, который, какъ мы уже знаемъ, возвелъ новое зданіе на развалинахъ иллюзій, разрушенныхъ Гл. Успенскимъ. На стр. 269, подводя итогъ всему оказанному въ главѣ, посвященной этимъ двумъ писателямъ, г. Скабичевскій говоритъ: «Изъ всего этого явствуетъ, что Златовратскій вовсе не идеализируетъ деревенскую жизнь и мужика, въ чемъ его нѣкоторые заподозрѣвали. Подобно Гл. Успенскому, онъ ставитъ на видъ, что нравственные устои деревни покоятся на инстинктивной и не разсуждающей вѣрности традиціямъ и совершенно чужды того сознательно-разумнаго отношенія къ нимъ, при которыхъ только и возможно ихъ развитіе. «Умственность» же, т. е. начало сознанія и критики, вело до сихъ поръ не къ усовершенствованію и развитію самихъ устоевъ, а къ стремленію выдѣлиться изъ нихъ на почву эгоистическаго индивидуализма городской жизни». Гдѣ же новое зданіе? Гдѣ новыя, положительныя начала народной жизни, «о которыхъ до тѣхъ поръ никому и не снилось?» Ихъ нѣтъ и слѣда. Нечего сказать, хорошо объясняетъ г. Скабичевскій новѣйшую исторію русской литературы!

Еще интереснѣе его сужденіе о г. Ник. Михайловскомъ. Можно вообразить, что этотъ писатель сыгралъ у насъ ту же роль, которая въ древней Греціи выпала на долю Сократа. Онъ явился въ «эпоху полной умственной анархіи, когда новыя реальныя идеи проповѣдывались и принимались по большей части въ видѣ прекрасныхъ, но отрывочныхъ афоризмовъ, безъ всякой систематической овязи и зрѣлой философской работы». Г. Михайловскій «обладалъ умомъ сильнымъ, свѣтлымъ, философски развитымъ и снабженнымъ богатой начитанностью, и принялъ на себя трудную и неблагодарную обязанность расчистить хаотическую грудку отъ всего накопившагося въ ней мусора, собрать все, что было въ ней драгоцѣннаго, и облечь его въ стройную философскую систему» (стр. 108—109). Г. Скабичевскій не излагаетъ этой стройной системы, но считаетъ нужнымъ защищать г. Ник. Михайловскаго отъ упрека въ томъ, что въ его статьяхъ преобладаетъ философскій элементъ. По мнѣнію г. Скабичевскаго, въ этихъ статьяхъ философскаго элемента дѣйствительно очень много, но это-то и хорошо, это-то и было нужно въ эпоху умственной анархіи: «Главная сила таланта Михайловскаго заключается именно въ философски воспитанномъ умѣ», говоритъ онъ: Читателя, знающаго, какое прекрасное философское воспитаніе получилъ умъ г. Скабичевскаго, не удивитъ такое мнѣніе, какъ не удивитъ его и та мысль, что статьи г. Михайловскаго «о Спенсерѣ, о Дарвинѣ и вообще по социологій представляютъ цѣнный вкладъ въ науку, и, если бы ихъ перевести на одинъ изъ иностранныхъ языковъ, онѣ не замедлили бы доставить автору общеевропейскую извѣстность» (стр. 109—110). Всякій знаетъ, что у насъ теперь столько же великихъ социологовъ, сколько было

великихъ повтовъ,—россійскихъ Гомеровъ, Пиндаровъ, Гораціевъ, Корнелей, Расиновъ и т. д., и т. д.,—до возникновенія серьезной литературной критики.

Г. Скабичевскій попытался въ своей книгѣ дать систематическую оцѣнку одного изъ важнѣйшихъ періодовъ нашего общественнаго и умственнаго развитія. Его попытка окончилась полнѣйшей неудачей. Она и не могла окончиться иначе. И не только потому, что у г. Скабичевского нѣтъ ни тѣни таланта, ни клочка дѣльныхъ знаній. Причина его неудачи лежитъ гораздо глубже. Она заключается въ общей и безусловной негодности того, будто бы реального міросозерцанія, которое стало господствовать въ нашихъ передовыхъ литературныхъ кругахъ съ конца шестидесятихъ годовъ. Г. Скабичевскій и его единомышленники не болѣе, какъ *декаденты*, вообразившіе себя столпами прогресса. Отъ такихъ декадентовъ нельзя ожидать сколько-нибудь дѣльныхъ произведеній.

Объ искусствѣ.

Мы скажемъ безъ обиняковъ, что мы смотримъ на искусство, какъ и на всѣ общественныя явленія, съ точки зрѣнія материалистическаго пониманія исторіи.

Что такое материалистическое пониманіе исторіи?

Извѣстно, что въ математикѣ существуетъ способъ *доказательства отъ противнаго*. Мы прибѣгнемъ здѣсь къ способу, который можно назвать *способомъ объясненія отъ противнаго*. Именно: мы напомнимъ сначала, въ чемъ заключается *идеалистическое* пониманіе исторіи, а затѣмъ покажемъ, чѣмъ отличается отъ него противоположное ему *материалистическое* пониманіе того же предмета.

Идеалистическое пониманіе исторіи, взятое въ своемъ чистомъ видѣ, заключается въ томъ убѣжденіи, что развитіе мысли и знаній есть послѣдняя и самая отдаленная причина историческаго движенія человечества. Этотъ взглядъ цѣликомъ господствовалъ въ восемнадцатомъ столѣтіи, откуда онъ перешелъ въ девятнадцатый вѣкъ. Его еще крѣпко держались Сэнъ-Симонъ и Огюсть Контъ, хотя ихъ взгляды въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ составляютъ прямую противоположность взглядамъ философовъ предшествующаго столѣтія. Сэнъ-Симонъ задается, напримѣръ, вопросомъ о томъ, какъ возникла общественная организація грековъ ¹⁾. И онъ находитъ такой отвѣтъ на него: «религіозная система (le système religieux) послужила у нихъ основаніемъ политической системы... Эта послѣдняя была создана по образцу первой». А въ доказательство онъ ссылается на тотъ фактъ, что Олимпъ грековъ былъ «республиканскимъ собраніемъ» и что конституція всѣхъ народовъ Греціи, какъ бы ни отличались онѣ одна отъ другой, имѣли ту общую черту, что всѣ онѣ были республиканскими ²⁾. Но это еще не все. Религіозная система, лежащая въ основѣ политической системы грековъ, сама вытекала, по мнѣнію Сэнъ-Симона, изъ совокупности ихъ научныхъ понятій, изъ ихъ *научной системы міра*. Научныя понятія грековъ являлись, такимъ образомъ, самымъ глубокимъ основаніемъ ихъ общественнаго быта, а

¹⁾ Греція имѣла въ глазахъ Сэнъ-Симона особенное значеніе, потому что, по его мнѣнію, „C'est chez les grecs que l'esprit humain a commencé à s'occuper sérieusement de l'organisation sociale“.

²⁾ См. его „Mémoires sur la science de l'homme“.

развитіе этихъ понятій—главнѣйшей пружиной историческаго развитія этого быта, главнѣйшей причиной исторической смѣны однѣхъ его формъ другими.

Подобно этому, Огюсть Контъ думалъ, что «весь общественный механизмъ покоится въ окончательномъ счетѣ на мѣнѣяхъ» ¹⁾. Это—простое повтореніе того взгляда энциклопедистовъ, согласно которому *c'est l'opinion que gouverne le monde* (міръ управляется мнѣніемъ).

Есть другая разновидность идеализма, нашедшая свое крайнее выраженіе въ абсолютномъ идеализмѣ Гегеля. Какъ объясняется историческое развитіе человѣчества съ его точки зрѣнія? Поясню это примѣромъ. Гегель спрашиваетъ себя: отчего пала Греція? Онъ указываетъ много причинъ этого явленія; но самую главную изъ нихъ было въ его глазахъ то обстоятельство, что Греція выражала собою лишь одну ступень развитія абсолютной идеи и должна была пасть, когда эта ступень была пройдена.

Ясно, что по мнѣнію Гегеля,—знавшаго, однако, что «*Лакедемонъ палъ, благодаря неравенству имуществъ*»,—общественныя отношенія и весь ходъ историческаго развитія человѣчества опредѣляются въ послѣднемъ счетѣ законами логики, *ходомъ развитія мысли*.

Материалистическій взглядъ на исторію диаметрально противоположенъ этому взгляду. Если Сэнъ-Симонъ, смотря на исторію съ *идеалистической* точки зрѣнія, думалъ, что общественныя отношенія грековъ объясняются ихъ религіозными воззрѣніями, то мы, стоя на своей *материалистической* точкѣ зрѣнія, скажемъ обратное. И если Сэнъ-Симонъ на вопросъ о томъ, откуда взялись религіозныя взгляды грековъ, отвѣчалъ, что они вытекали изъ ихъ научнаго міросозерцанія, то мы скажемъ, что общественныя отношенія грековъ, обусловившія собою и складъ ихъ религіозныхъ понятій и развитіе ихъ научнаго міросозерцанія, сами обуславливались въ своемъ историческомъ развитіи, въ своемъ возникновеніи и уничтоженіи развитіемъ производительныхъ силъ, находившихся въ распоряженіи народовъ Эллады.

Таковъ нашъ взглядъ на исторію вообще. Вѣренъ ли онъ? Здѣсь не мѣсто доказывать его вѣрность. Здѣсь мы просимъ читателя *предположить*, что онъ вѣренъ, и взять, вмѣстѣ съ нами, это предположеніе за *исходную точку нашего изслѣдованія объ искусствѣ*. Само собою разумѣется, что изслѣдованіе *частнаго вопроса объ искусствѣ* будетъ въ то же время и повѣркой *общаго взгляда на исторію*. Въ самомъ дѣлѣ, если ошибоченъ этотъ общій взглядъ, то мы, взявъ его за исходную точку, немногого объяснимъ въ эволюціи искусства. А если мы убѣдимся, что эта эволюція объясняется съ его помощью лучше, нежели съ помощью

¹⁾ „Cours de philosophie positive“, Paris 1869, I. pp. 40—41.

другихъ взглядовъ, то у насъ окажется новый и сильный доводъ въ его пользу.

Но тутъ мы уже предвидимъ одно возраженіе. Дарвинъ, въ своей извѣстной книгѣ «Происхожденіе человѣка и половой подборъ», приводитъ, какъ извѣстно, множество фактовъ, свидѣтельствующихъ о томъ, что *чувство красоты* (Sense of beauty) играетъ довольно важную роль въ жизни животныхъ. Намъ укажутъ на эти факты и сдѣлаютъ изъ нихъ тотъ выводъ, что происхожденіе чувства красоты должно быть объяснено *биологіей*; намъ замѣтятъ, что непозволительно («узко») приурочивать эволюцію этого чувства у людей къ *одной экономикѣ ихъ общества*. А такъ какъ взглядъ Дарвина на развитіе видовъ есть несомнѣнно материалистическій взглядъ, то намъ скажутъ также, что биологическій материализмъ даетъ прекрасный матеріалъ для критики односторонняго историческаго («экономическаго») материализма.

Мы понимаемъ всю серьезность этого возраженія и потому остановимся на немъ. Намъ тѣмъ полезнѣе будетъ сдѣлать это, что, отвѣчая на него, мы отвѣтимъ въ то же время на цѣлый рядъ подобныхъ возраженій, которыя можно заимствовать изъ области психической жизни животныхъ.

Прежде всего постараемся какъ можно точнѣе опредѣлить тотъ выводъ, который мы должны сдѣлать на основаніи фактовъ, приводимыхъ Дарвиномъ. А для этого посмотримъ, какое умозаключеніе строить на нихъ онъ самъ.

Во второй главѣ первой части (русскаго перевода) его книги о происхожденіи человѣка мы читаемъ:

«*Чувство красоты.*—Это чувство было тоже провозглашено исключительной особенностью человѣка. Но если мы припомнимъ, что самцы нѣкоторыхъ птицъ намѣренно распускаютъ свои перья и щеголяютъ яркими красками передъ самками, тогда какъ другіе, не имѣющіе красивыхъ перьевъ, не кокетничаютъ такимъ образомъ, то, конечно, не будемъ сомнѣваться, что самки любятъ красотой самцовъ. А такъ какъ, даѣе, женщины воѣхъ странъ убираются такими перьями, то, конечно, никто не станетъ отрицать изящества этого украшенія. Плещеносцы, убирающіе съ большимъ вкусомъ свои игральныя бесѣдки ярко окрашенными предметами, и нѣкоторые колибри, украшающіе такимъ же образомъ свои гнѣзда, ясно доказываютъ, что они имѣютъ понятіе о красотѣ. То же можно сказать и относительно пѣнія птицъ. Нѣжныя пѣсни самцовъ въ пору любви, несомнѣнно, нравятся самкамъ. Если бы самцы птицъ были неспособны цѣнить яркія краски, красоту и пріятный голосъ самцовъ, всѣ старанія и хлопоты послѣднихъ очаровать ихъ этими свойствами были бы потеряны, а этого, очевидно, нельзя предположить. Почему извѣстные цвѣта и извѣстные звуки, сгруппи-

рованные извѣстнымъ образомъ, доставляютъ наслажденіе, можетъ быть такъ же мало объяснено, какъ и то, почему тотъ или другой предметъ пріятенъ для обонянія или вкуса. Можно, однако, сказать съ увѣренностью, что одни и тѣ же цвѣта и звуки нравятся и намъ и низшимъ животнымъ»¹⁾.

Итакъ, факты, приводимые Дарвиномъ, свидѣлствуютъ о томъ, что низшія животныя, подобно человѣку, способны испытывать эстетическія наслажденія и что нерѣдко наши эстетическіе вкусы совпадаютъ со вкусами низшихъ животныхъ. Но эти факты не объясняютъ намъ происхожденія названныхъ вкусовъ. А если біологія не объясняетъ намъ происхожденія нашихъ эстетическихъ вкусовъ, то тѣмъ менѣе можетъ объяснить она ихъ историческое развитіе. Но пусть опять говорятъ самъ Дарвинъ.

«Понятіе о прекрасномъ,—продолжаетъ онъ,—по крайней мѣрѣ, насколько оно относится къ женской красотѣ, не имѣетъ опредѣленнаго характера у людей. Въ самомъ дѣлѣ, оно весьма различно у разныхъ человѣческихъ племенъ, какъ мы увидимъ ниже, и даже неодинаково у отдѣльныхъ націй одной расы. Судя по отвратительнымъ украшеніямъ и столь же отвратительной музыкѣ, которыми восхищается большинство дикарей, можно было бы сказать, что ихъ эстетическія понятія развиты менѣе, чѣмъ у иныхъ низшихъ животныхъ, напримѣръ, у птицъ»²⁾.

Если понятіе о прекрасномъ различно у отдѣльныхъ націй одной и той же расы, то ясно, что не въ біологіи надо искать причинъ такого различія. Самъ Дарвинъ говоритъ намъ, что наши поиски должны быть направлены въ другую сторону. Во второмъ англійскомъ изданіи его книги мы, въ только что цитированномъ нами параграфѣ, встречаемъ слѣдующія слова, которыхъ нѣтъ въ (имѣющемся у насъ) русскомъ переводѣ, сдѣланномъ подъ редакціей И. М. Сѣченова съ перваго англійскаго изданія. With cultivated men such (т. е. эстетическія) sensations are however intimately associated with complex ideas and trains of thoughts³⁾. Это значитъ: «у цивилизованнаго человѣка эти ощущенія тѣсно ассоціируются, однако, со сложными идеями и съ ходомъ мыслей». Это чрезвычайно важное указаніе. Оно отсылаетъ насъ отъ біологіи къ социологіи, такъ какъ, очевидно, именно общественными причинами обуславливается, по мнѣнію Дарвина, то обстоятельство, что у цивилизованнаго человѣка ощущенія красоты ассоціируются со многими сложными идеями. Но правъ ли Дарвинъ, когда онъ думаетъ, что такая ассоціація имѣетъ мѣсто только у цивилизованныхъ людей? Нѣтъ, не правъ, и въ этомъ очень легко

¹⁾ Дарвинъ, „Происхожденіе человѣка“, т. I, стр. 45.

²⁾ Тамъ же, стр. 45.

³⁾ The Descent of Man, London, 1883, p. 92. Вѣроятно, эти слова имѣются въ новомъ русскомъ переводѣ Дарвина, но у насъ его нѣтъ подъ руками.

убѣдиться. Возьмемъ примѣръ. Извѣстно, что шкуры, когти и зубы животныхъ играютъ очень важную роль въ украшеніяхъ первобытныхъ народовъ. Чѣмъ же объясняется эта роль? Сочетаніемъ цвѣтовъ и линій въ этихъ предметахъ? Нѣтъ, тутъ дѣло въ томъ, что, украшая себя, на примѣръ, шкурой, когтями и зубами тигра или кожей и рогами бизона, дикарь намекаетъ на свою собственную ловкость или силу: тотъ, кто побѣдилъ ловкаго, самъ ловецъ; тотъ, кто побѣдилъ сильнаго, самъ силенъ. Возможно, кромѣ того, что тутъ замѣшано и нѣкоторое суевѣріе. Скульпрафтъ сообщаетъ, что краснокожія племена сѣверо-американскаго запада чрезвычайно любятъ украшения, изготовляемыя изъ когтей сѣраго медвѣдя, самаго свирѣпаго изъ тамошнихъ хищниковъ. Краснокожіи воины думаютъ, что свирѣпость и храбрость сѣраго медвѣдя сообщаются тому, кто украшаетъ себя его когтями. Такимъ образомъ, эти когти служатъ для него, по замѣчанію Скульпрафта, частью украшеніемъ, а частью амулетомъ ¹⁾. Въ этомъ случаѣ нельзя, конечно, думать, что звѣринныя шкуры, когти и зубы первоначально нравились краснокожимъ единственно въ силу свойственныхъ этимъ предметамъ сочетаній цвѣтовъ и линій ²⁾. Нѣтъ, гораздо вѣроятнѣе обратное предположеніе, т. е., что эти предметы сначала носились лишь какъ вывѣска храбрости, ловкости и силы, и только потомъ, и именно вслѣдствіе того, что она были вывѣской храбрости, ловкости и силы, они начали вызывать эстетическія ощущенія и попали въ разрядъ украшеній. Выходитъ, что эстетическія ощущенія не только могутъ ассоціироваться у дикарей со сложными идеями, но и *возникаютъ* иногда именно подъ вліяніемъ такихъ идей.

Другой примѣръ. Извѣстно, что женщины многихъ африканскихъ племенъ носятъ на рукахъ и на ногахъ желѣзныя кольца. Жены богатыхъ людей носятъ на себѣ иногда чуть не цѣлый пудъ такихъ украшеній ³⁾. Это, конечно, очень неудобно, но неудобство не мѣшаетъ имъ съ удовольствіемъ носить эти, какъ выражается Швейнфуртъ, цѣпи рабства. Почему же негритянкѣ пріятно таскать на себѣ подобныя цѣпи? Потому что, благодаря имъ, она кажется *красивой* и себѣ и другимъ. А почему она кажется красивой? Это происходитъ въ силу довольно сложной ассоціаціи идей. Страсть къ такимъ украшеніямъ развивается именно у тѣхъ племенъ, которыя, по словамъ Швейнфурта, переживаютъ теперь *желѣзный вѣкъ*, т. е., иначе сказать, у которыхъ желѣзо является драгоценнымъ металломъ. *Драгоценное* кажется *красивымъ*, потому что

¹⁾ Historical and statistical Information respecting the history, condition and Prospects of the Indian Tribes of the United States. T. III, p. 216.

²⁾ Есть случаи, когда предметы того же рода нравятся единственно благодаря своему цвѣту, но о нихъ въ дальнѣйшемъ изложеніи.

³⁾ Швейнфуртъ, Au Coeur d'Afrique, Paris 1875, t. I, p. 148. См. также Du Chailly, Voyage et aventures dans l'Afrique équatoriale. Paris, 1863, p. 11.

съ нимъ ассоціируется идея богатства. Надѣвши на себя, положимъ, *двадцать* фунтовъ желѣзныхъ колець, женщина племени Динка кажется и себѣ и другимъ красивѣй, чѣмъ была, когда носила ихъ только *десять*, т. е. когда была *бѣднѣе*. Ясно, что тутъ дѣло не въ красотѣ колець, а въ той идеѣ богатства, которая съ ними ассоціируется.

Третій примѣръ. У племени Батока, въ верховьяхъ Замбези, считается некрасивымъ человекъ, у котораго не вырваны верхніе рѣзцы. Откуда это странное понятіе о красотѣ? Оно образовалось тоже благодаря довольно сложной ассоціи идей. Вырывая свои верхніе рѣзцы, Батока стремятся подражать *жвачнымъ животнымъ*. На нашъ взглядъ это—нѣсколько непонятное стремленіе. Но Батока—пастушеское племя и почти боготворятъ своихъ коровъ и быковъ ¹⁾. Тутъ опять красиво то, что драгоцѣнно, и эстетическія понятія возникаютъ на почвѣ идей совсѣмъ другого порядка.

Наконецъ, возьмемъ примѣръ, приводимый со словъ Ливингстона самимъ Дарвиномъ. Въ племени Макалоло прокалывается верхняя губа и въ отверстіе вдѣвается большое металлическое или бамбуковое кольцо, называемое *пелеле*. Когда одного предводителя этого племени спросили, зачѣмъ женщины носятъ такія кольца, онъ, «видимо удивленный столь нелѣпымъ вопросомъ», отвѣчалъ: «Для красоты! Это единственное украшеніе женщинъ. Мужчины имѣютъ бороды, у женщинъ ихъ нѣтъ. Что бы такое была женщина безъ пелеле?»—Трудно сказать теперь съ увѣренностью, откуда взялся обычай носить *пелеле*; но ясно, что его происхожденіе надо искать въ какой-нибудь очень сложной ассоціи идей, а не въ законахъ біологіи, къ которымъ онъ, очевидно, не имѣетъ ни малѣйшаго отношенія.

Въ виду подобныхъ примѣровъ мы считаемъ себя вправѣ утверждать, что ощущенія, вызываемыя извѣстными сочетаніями цвѣтовъ или формой предметовъ, даже у первобытныхъ народовъ ассоціируются съ весьма сложными идеями, и что по крайней мѣрѣ многія изъ такихъ формъ и сочетаній кажутся имъ красивыми только благодаря такой ассоціи.

Чѣмъ же она вызывается, и откуда берутся тѣ сложные идеи, которыя ассоціируются съ ощущеніями, вызываемыми въ насъ видомъ предметовъ? Очевидно, что отвѣтить на этотъ вопросъ можетъ не биологъ, а только соціологъ. И если матеріалистическій взглядъ на исторію болѣе способствуетъ его разрѣшенію, чѣмъ какой бы то ни было другой взглядъ на нее, если мы убѣдимся, что указанная ассоціи и упомянутыя сложные идеи обуславливаются и создаются въ послѣднемъ счетѣ состояніемъ производительныхъ силъ даннаго общества и его экономикой, то слѣдуетъ признать, что дарвинизмъ нисколько не противорѣчитъ тому матеріали-

¹⁾ Швейфуртъ, l. c., I, 148.

стическому взгляду на исторію, который мы старались характеризовать выше.

Мы не можем много говорить здѣсь объ отношеніи дарвинизма къ этому взгляду. Но мы все-таки позволимъ себѣ сказать о немъ еще нѣсколько словъ.

Обратимъ вниманіе на нижеслѣдующія строки:

«Я считаю необходимымъ заявить съ самаго начала, что я далеко отъ мысли, будто каждое общежительное животное, умственное способности котораго разовьются до такой дѣятельности и высоты, какъ у человѣка, приобрететъ нравственные понятія, сходныя съ нашими. Подобно тому, какъ всѣмъ животнымъ присуще чувство прекраснаго, хотя они и восхищаются очень разнородными вещами, они могутъ имѣть и понятіе о добрѣ и злѣ, хотя это понятіе и ведетъ ихъ къ поступкамъ, совершенно противоположнымъ нашимъ. Если бы, напр.,—я намѣренно беру крайній случай,—мы были воспитаны въ совершенно тѣхъ же условіяхъ, какъ улейныя пчелы, то нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что наши незамужнія женщины, подобно пчеламъ-работницамъ, считали бы священнымъ долгомъ убивать своихъ братьевъ, матери стремились бы убивать своихъ плодотыхъ дочерей,—и никто не думалъ бы протестовать противъ этого. Тѣмъ не менѣе пчела (или всякое другое общежительное животное) имѣла бы въ приведенномъ случаѣ, какъ мнѣ кажется, понятіе о добрѣ и злѣ или совѣсть» ¹⁾).

Что слѣдуетъ изъ этихъ словъ? То, что въ нравственныхъ понятіяхъ людей нѣтъ ничего *абсолютнаго*; что они измѣняются вмѣстѣ съ измѣненіями тѣхъ условій, въ которыхъ живутъ люди.

А чѣмъ создаются эти условія? Чѣмъ вызывается ихъ измѣненіе? На этотъ счетъ Дарвинъ не говоритъ ничего; и если мы скажемъ и докажемъ, что они создаются состояніемъ производительныхъ силъ и измѣняются вслѣдствіе развитія этихъ силъ, то мы не только не придемъ въ противорѣчіе съ Дарвиномъ, но, напротивъ, дополнимъ сказанное имъ, объяснимъ то, что осталось у него необъясненнымъ, и сдѣлаемъ это, примѣнивъ къ изученію *общественныхъ явленій* тотъ самый принципъ, который оказалъ ему такія огромныя услуги въ *биологii*.

Вообще, чрезвычайно странно противопоставлять дарвинизмъ защищаемому нами взгляду на исторію. Область Дарвина была совсѣмъ другая. Онъ разсматривалъ происхожденіе человѣка, какъ *зоологическаго вида*. Сторонники названнаго взгляда хотятъ объяснить *историческую судьбу* этого вида. Область ихъ изслѣдованій начинается какъ разъ тамъ, гдѣ кончается область изслѣдованій дарвинистовъ. Ихъ работы не могутъ замѣнить того, что даютъ намъ дарвинисты, и точно также самыя блестя-

¹⁾ Дарвинъ, «Пропсх. человѣка», т. I, стр. 52.

щія открытія дарвинистовъ не могутъ замѣнить ихъ изслѣдованій, а могутъ только подготовить для нихъ почву, подобно тому, какъ физикъ подготавливаетъ почву для химика, нисколько не устраняя своими работами необходимости собственно химическихъ изслѣдованій ¹⁾. Весь возросъ тутъ вотъ въ чемъ. Теорія Дарвина явилась въ свое время какъ большой и необходимый шагъ впередъ въ развитіи *биологической* науки, вполне удовлетворяя самымъ строгимъ изъ тѣхъ требованій, которыя могла тогда предъявлять эта наука своимъ работникамъ. Можно ли сказать нѣчто подобное о материалистическомъ взглядѣ на исторію? Можно ли утверждать, что онъ въ свое время явился большимъ и неизбѣжнымъ шагомъ впередъ въ развитіи общественной науки? И способенъ ли онъ удовлетворить теперь всѣмъ ея требованіямъ? На это мы съ полной увѣренностью отвѣчаемъ: да, можно! Да, способенъ! И мы надѣемся показать отчасти и въ предлагаемомъ этюдѣ, что такая увѣренность не лишена основанія.

Но вернемся къ эстетикѣ. Изъ вышеприведенныхъ словъ Дарвина видно, что на развитіе *эстетическихъ вкусовъ* онъ смотритъ съ той же точки зрѣнія, какъ и на развитіе *нравственныхъ чувствъ*. Людямъ, равно какъ и многимъ животнымъ, свойственно чувство прекраснаго, т. е. у нихъ есть способность испытывать особаго рода («эстетическое») удо-

¹⁾ Тутъ мы должны оговориться. Если, по нашему мнѣнію, изслѣдованія биологовъ-дарвинистовъ готовятъ почву для социологическихъ изслѣдованій, то это надо понимать лишь въ томъ смыслѣ, что успѣхи биологовъ,—*поскольку она имѣетъ дѣло съ процессомъ развитія органическихъ формъ*,—не могутъ не содѣйствовать усовершенствованію научнаго метода въ социологіи, *поскольку она имѣетъ дѣло съ развитіемъ общественной организаци и ея продуктовъ: чело-вѣческихъ мыслей и чувствъ*. Но мы нисколько не раздѣляемъ общественныхъ взглядовъ дарвинистовъ, подобныхъ Геккелю. Въ нашей литературѣ уже было замѣчено, что биологи-дарвинисты въ своихъ разсужденіяхъ о чело-вѣческомъ обществѣ вовсе не пользуются *методомъ* Дарвина, а лишь возводятъ въ идеальны инстинкты животныхъ (преимущественно хищныхъ), бывшихъ предметомъ изслѣдованія для великаго биолога. Дарвинъ далеко не былъ «Sattelfest» въ общественныхъ вопросахъ; но тѣ общественныя взгляды, которые явились у него какъ выводъ изъ его теоріи, мало похожи на выводы, дѣлаемые изъ нея большинствомъ дарвинистовъ. Дарвинъ думалъ, что развитіе общественныхъ инстинктовъ «крайне полезно для преуспѣянія вида». Этого взгляда не могутъ раздѣлять дарвинисты, проповѣдующіе общественную борьбу *естягъ противъ естягъ*. Правда, Дарвинъ говоритъ: «Конкуренція должна быть открыта для всѣхъ людей, и законы и обычаи не должны препятствовать способнѣйшимъ имѣть наибольшій успѣхъ и самое многочисленное потомство (There Should be open competition for all men; and the most able should not be prevented by laws and customs from succeeding best and reaching the largest number of offspring). Но напрасно ссылаются на эти слова сторонники социальной войны всѣхъ противъ всѣхъ. Пусть они припомнятъ сенъ-симонистовъ. Тѣ говорили какъ разъ то же самое и во имя конкуренціи требовали такихъ общественныхъ реформъ, за которыя едва ли высказались бы Геккель и его единомышленники. Есть «competition» и «competition», подобно тому, какъ, по словамъ Сганареля, есть *fagot et fagot*.

вольствие подъ влияніемъ извѣстныхъ вещей и явленій. Но какіи именно вещи и явленія доставляютъ имъ такое удовольствіе, это зависитъ отъ условій, подъ влияніемъ которыхъ они воспитываются, живутъ и дѣйствуютъ. *Природа человека дѣлаетъ то, что у него могутъ быть эстетическіе вкусы и понятія. Окружающія его условія опредѣляютъ собою переходъ этой возможности въ действительность*; има объясняется то, что данный общественный человекъ (т. е. данное общество, данный народъ, данный классъ) имѣетъ именно эти эстетическіе вкусы и понятія, а не другіе.

Таковъ окончательный выводъ, самъ собою вытекающій изъ того, что говорить объ этомъ Дарвинъ. И этого вывода, разумѣется, не станетъ оспаривать ни одинъ изъ сторонниковъ матеріалистическаго взгляда на исторію. Совершенно напротивъ, каждый изъ нихъ увидитъ въ немъ новое подтвержденіе этого взгляда. Вѣдь никому изъ нихъ никогда не приходило въ голову отрицать то или другое изъ основныхъ свойствъ человѣческой природы или пускаться въ какія-нибудь произвольныя толкованія по ея поводу. Они только говорили, что если эта природа неизмѣнна, то она не объясняетъ историческаго процесса, который представляетъ собою сумму постоянно *измѣняющихся* явленій; а если она сама *измѣняется* вмѣстѣ съ ходомъ историческаго развитія, то очевидно, что есть какая-то внѣшняя причина ея измѣненій. И въ томъ и въ другомъ случаѣ задача историка и социолога выходитъ, слѣдовательно, далеко за предѣлы разсужденій о свойствахъ человѣческой природы.

Возьмемъ хоть такое ея свойство, какъ *стремленіе къ подражанію*. Г. Тардъ, написавшій о законахъ подражанія очень интересное изслѣдованіе, видитъ въ немъ какъ бы душу общества. По его опредѣленію, всякая социальная группа есть совокупность существъ, частью подражающихъ другъ другу въ данное время, частью подражавшихъ прежде одному и тому же образцу. Что подражаніе играло очень большую роль въ исторіи всѣхъ нашихъ идей, вкусовъ, моды и обычаевъ, это не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. На его огромное значеніе указывали еще матеріалисты XVIII вѣка. Человекъ весь состоитъ изъ подражанія,—говорилъ Гельвецій. Но такъ же мало можетъ подлежать сомнѣнію и то обстоятельство, что Тардъ поставилъ изслѣдованіе законовъ подражанія на ложную основу.

Когда реставрація Стюартовъ временно возстановила въ Англіи господство стараго дворянства, это дворянство не только не обнаружило ни малѣйшаго стремленія *подражать* крайнимъ представителямъ революціонной мелкой буржуазіи, пуританамъ, но проявило сильнѣйшую склонность къ привычкамъ и вкусамъ, *прямо противоположнымъ* пуританскимъ правиламъ жизни. Пуританская строгость правовъ уступила мѣсте самой невѣроятной распущенности. Тогда стало признакомъ хорошаго тона лю-

бить и дѣлать именно то, что запрещали пуритане. Пуритане были очень религіозны: свѣтскіе люди временъ реставраціи щеголяли своимъ безбожіемъ. Пуритане преслѣдовали театръ и литературу: ихъ паденіе дало сигналъ къ новому и сильному увлеченію театромъ и литературой. Пуритане носили короткіе волосы и осуждали изысканность въ одеждѣ: послѣ реставраціи явились на сцену длинныя парики и роскошныя наряды. Пуритане запрещали игру въ карты: послѣ реставраціи картежная игра стала страстью, и т. д., и т. д. ¹⁾). Словомъ, тутъ дѣйствовало не *подражаніе*, а *противорѣчіе*, которое, очевидно, тоже коренится въ свойствахъ чело-вѣческой природы. Но почему же противорѣчіе, коренящееся въ свойствахъ чело-вѣческой природы, проявилось съ такой силой въ Англии XVII вѣка во взаимныхъ отношеніяхъ буржуазіи и дворянства? Потому что это былъ вѣкъ очень сильнаго обостренія борьбы между дворянствомъ и буржуазіей, а лучше сказать—всѣмъ «третьимъ сословіемъ». Стало быть, мы можемъ сказать, что хотя у чело-вѣка несомнѣнно есть сильное стремленіе къ подражанію, но это стремленіе проявляется лишь при извѣстныхъ *общественныхъ отношеніяхъ*,—напримѣръ, при тѣхъ отношеніяхъ, которыя существовали во Франціи XVII вѣка, гдѣ буржуазія охотно, хотя и не очень удачно, подражала дворянству: вспомните мольеровскаго «*Мъщанина въ дворянствѣ*». А при другихъ общественныхъ отношеніяхъ стремленіе къ подражанію исчезаетъ, уступая мѣсто противоположному стремленію, которое мы назовемъ пока стремленіемъ къ *противорѣчію*. Впрочемъ, нѣтъ, мы выражаемся неправильно. Стремленіе къ подражанію не исчезло у англичанъ XVII вѣка; во-первыхъ, оно, навѣрное, съ прежней силой проявлялось во взаимныхъ отношеніяхъ людей одного и того же класса. Бельжамъ говоритъ о тогдашнихъ англичанахъ высшаго общества—«Эти люди даже не были невѣрующими; они отрицали а ріогі, чтобы ихъ не приняли за круглоголовыхъ и чтобы не давать себѣ труда думать» ²⁾). Объ этихъ людяхъ мы, не боясь ошибиться, можемъ сказать, что они отрицали изъ *подражанія*. Но, *подражая* болѣе серьезнымъ *отрицателямъ*, они тѣмъ самымъ *противорѣчили пуританамъ*. Подражаніе являлось, стало быть, *источникомъ противорѣчія*. Но мы знаемъ, что если между англійскими дворянами слабые люди подражали въ невѣріи болѣе сильнымъ, то это происходило потому, что невѣріе было дѣломъ хорошаго тона, а оно стало таковымъ единственно только въ силу *противорѣчія*, единственно только какъ реакція противъ пуританства,—реакція, которая, въ свою очередь, явилась результатомъ вышеуказанной *классовой*

¹⁾ Ср. Alexandre Beljame. Le Public et les Hommes de lettres en Angleterre du dix-huitième siècle. Paris, 1881, стр. 1—10. Ср. также Тэна, Histoire de la littérature anglaise, t. II, p. 443 и слѣд.

²⁾ L. с., стр. 7—8.

борьбы. Стало быть, въ основѣ всей этой сложной діалектики психическихъ явленій лежали факты общественнаго порядка. А изъ этого ясно, до какой степени и въ какомъ смыслѣ вѣренъ выводъ, сдѣланный нами выше изъ нѣкоторыхъ положеній Дарвина: человѣческая природа дѣлаетъ то, что у человѣка *могутъ* быть извѣстныя понятія (или вкусы, или склонности), а отъ окружающихъ его условій зависитъ переходъ этой возможности въ *дѣйствительность*; они дѣлаютъ то, что у него являются именно эти понятія (или склонности, или вкусы), а не другія. Если мы не ошибаемся, это то же самое, что уже раньше насъ высказалъ одинъ русскій сторонникъ матеріалистическаго взгляда на исторію:

«Разъ желудокъ снабженъ извѣстнымъ количествомъ пищи, онъ принимается за работу согласно общимъ законамъ желудочнаго пищеваренія. Но можно ли, съ помощью этихъ законовъ, отвѣтить на вопросъ, почему въ вашъ желудокъ ежедневно отправляется вкусная и питательная пища, а въ моемъ она является рѣдкимъ гостемъ? Объясняютъ ли эти законы, почему одни ѣдятъ слишкомъ много, а другіе умираютъ съ голоду? Кажется, что объясненія надо искать въ какой-то другой области, въ дѣйствіи законовъ иного рода. То же и съ умомъ человѣка. Разъ онъ поставленъ въ извѣстное положеніе, разъ окружающая среда даетъ ему извѣстныя впечатлѣнія, онъ сочетаетъ ихъ по извѣстнымъ общимъ законамъ, причемъ и здѣсь результаты до крайности разнообразятся разнообразіемъ получаемыхъ впечатлѣній. Но что же ставить его въ такое положеніе? Чѣмъ обуславливается притокъ и характеръ новыхъ впечатлѣній? Вотъ вопросъ, котораго не разрѣшить никакими законами мысли».

И даѣе. «Вообразите, что упругій шаръ падаетъ съ высокой башни. Его движеніе совершается по всѣмъ извѣстному и очень простому *закону механики*. Но вотъ шаръ ударился о наклонную плоскость. Его движеніе видоизмѣняется по другому, тоже очень простому и очень извѣстному *механическому закону*. Въ результатъ у насъ получается ломаная линія движенія, о которой можно и должно сказать, что она обязана своимъ происхожденіемъ соединенному дѣйствію обоихъ упомянутыхъ законовъ. Но откуда явилась наклонная плоскость, о которую ударился нашъ шаръ? Этого не объясняютъ ни первый, ни второй законъ, ни ихъ соединенное дѣйствіе. Совершенно то же и съ человѣческой мыслью. Откуда взялись тѣ обстоятельства, благодаря которымъ ея движенія подчинялись соединенному дѣйствію такихъ-то и такихъ-то законовъ? Этого не объясняютъ ни отдѣльные ея законы, ни ихъ совокупное дѣйствіе».

Мы твердо убѣждены, что исторія идеологій можетъ быть понятна только тѣмъ, кто вполне усвоилъ себѣ эту прочную и ясную истину.

Пойдемъ дальше. Говоря о подражаніи, мы упомянули о прямо противоположномъ ему стремленіи, которое мы назвали стремленіемъ къ противорѣчію.

Его надо изучить внимательно.

Мы знаемъ, какую большую роль играетъ, согласно теоріи Дарвина-«начало антитеза» при выраженіи ощущеній у людей и животныхъ. «Нѣкоторыя душевныя настроенія вызываютъ... извѣстныя привычныя движенія, которыя, при первомъ своемъ появленіи, даже и теперь принадлежать къ числу полезныхъ движеній... При совершенно противоположномъ умственномъ настроеніи существуетъ сильное и произвольное стремленіе къ выполненію движеній совершенно противоположнаго свойства, хотя эти послѣднія никогда не могли приносить никакой пользы»¹⁾. Дарвинъ приводитъ множество примѣровъ, весьма убѣдительно показывающихъ, что «началомъ антитеза», дѣйствительно, многое объясняется въ выраженіи ощущеній. Мы спрашиваемъ: не замѣтно ли его дѣйствіе въ происхожденіи и развитіи *обычаевъ*?

Когда собака опрокидывается передъ хозяиномъ брюхомъ вверхъ, то ея поза, составляющая все, что только можно выдумать противоположнаго всякой тѣни сопротивленія, служитъ выраженіемъ полнѣйшей покорности. Тутъ оразу бросается въ глаза дѣйствіе начала антитеза. Мы думаемъ, однако, что оно также бросается въ глаза и въ слѣдующемъ случаѣ, сообщаемомъ путешественникомъ Бертономъ. Негры племени *Вуаньямуэзи*, проходя недалеко отъ деревень, населенныхъ враждебнымъ имъ племенемъ, не носятъ съ собой оружія, чтобы не раздражать ихъ его видомъ. Между тѣмъ у себя дома, гдѣ они сравнительно безопасны, каждый изъ нихъ всегда вооруженъ, по крайней мѣрѣ, дубиной²⁾. Если, по замѣчанію Дарвина, собака, опрокидываясь на брюхо, какъ бы говорить этимъ человѣку или другой собакѣ: «Смотри! Я раба твоя», то негръ *Вуаньямуэзи*, разоружающійся именно тогда, когда ему, казалось бы, непременно надо вооружиться, тѣмъ самымъ говоритъ своему неприятелю: «Отъ меня далека всякая мысль о самозащитѣ; я вполне полагаюсь на твое великодушіе».

И тамъ и тутъ — одинаковый смыслъ и одинаковое его выраженіе, т. е. выраженіе посредствомъ дѣйствія, прямо противоположнаго тому, которое неизбежно было бы въ томъ случаѣ, если бы вмѣсто покорности существовали враждебныя намѣренія.

Въ обычаяхъ, служавшихъ для выраженія печали, также замѣчается дѣйствіе начала антитеза. По словамъ *Дю Шалью*, въ Африкѣ, по смерти человѣка, занимавшаго важное положеніе въ своемъ племени, многіе негритянскіе народы одѣваются въ *грязныя одежды*³⁾. Давидъ и Чарльзъ Ливингстоны говорятъ, что негритянка никогда не выходитъ изъ дому

¹⁾ „О выраженіи ощущеній у человѣка и животныхъ“. 1872, стр. 43.

²⁾ Voyage aux grands lacs de l'Afrique orientale. Paris, 1862, p. 610.

³⁾ Voyage et aventures dans l'Afrique équatoriale, p. 268.

безъ украшеній, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда она носитъ трауръ ¹⁾. Когда у негра племени Ніамъ-Ніамъ умираетъ кто-нибудь изъ близкихъ, онъ немедленно обрѣзываетъ, въ знакъ печали, свои волосы, убранству которыхъ посвящается много заботъ и вниманія какъ имъ самимъ, такъ и его женами ²⁾. Во всѣхъ этихъ случаяхъ чувство выражается *дѣйствіемъ, противоположнымъ тому, которое считается полезнымъ или пріятнымъ при нормальномъ теченіи жизни*. И если такихъ случаевъ можно указать очень много, — а кто же не знаетъ ихъ? — то ясно, что очень значительная часть обычаевъ обязана своимъ происхожденіемъ дѣйствию начала антитеза. А если это ясно, то можно предположить, что и развитіе нашихъ эстетическихъ понятій также совершается подъ его вліяніемъ.

Въ Сенегамбіи богатыя негрятки носятъ туфли, которыя настолько малы, что нога не входитъ въ нихъ цѣликомъ, и оттого эти дамы отличаются очень неловкой походкой. Но эта-то неловкая походка и считается крайне привлекательной ³⁾. Какимъ образомъ она могла стать таковой? Чтобы понять это, надо предварительно замѣтить, что бѣдныя и трудящіяся негрятки указанныхъ туфель не носятъ и имѣютъ обыкновенную походку. Имъ нельзя ходить такъ, какъ ходятъ богатые кокетки, потому что это повело бы за собой большую трату времени; но именно потому и кажется привлекательной неловкая походка богатыхъ женщинъ, что имъ не дорого время, такъ какъ онѣ избавлены отъ необходимости работать. Сама по себѣ такая походка не имѣетъ ни малѣйшаго смысла и пріобрѣтаетъ значеніе *лишь въ силу противоположности съ походкой обремененныхъ работой (и, стало быть, бѣдныхъ) женщинъ*. Дѣйствіе «начала антитеза» здѣсь очевидно. Но замѣйте, что оно вызывается *общественными причинами*: существованіемъ имущественнаго неравенства между неграми Сенегамбіи.

Припомните сказанное выше о нравахъ англійскаго придворнаго дворянства временъ реставраціи Стюартовъ, и вы, надѣюсь, безъ труда согласитесь, что обнаружившееся въ нихъ стремленіе къ противорѣчію представляетъ собой частный случай дѣйствія въ *общественной психологии* дарвинова начала антитеза. Такія добродѣтели, какъ трудолюбіе, трезвость, строгость семейныхъ нравовъ и проч., были очень полезны для буржуазіи, стремившейся занять болѣе высокое общественное и политическое положеніе. Но полезны ли были боровшемуся съ нею дворянству пороки, противоположные буржуазнымъ добродѣтелямъ? Нѣтъ, у него эти пороки возникли не какъ средство борьбы за существованіе, а какъ

¹⁾ Exploration du Zambèze et de ses affluents, Paris, 1866, p. 109.

²⁾ Schweinfurth, Au Cœur de l'Afrique, t. II, p. 33.

³⁾ L. J. B. Béranger-Férand. Les peuplades de la Sénégambie. Paris, 1879, p. 11.

психологическій результатъ ея: ненавѣда революціонныя стремленія буржуазіи, дворянство почувствовало отвращеніе и къ ея добродѣтелямъ и поэтому стало щеголять пороками, составляющими прямую противоположность имъ. Дѣйствіе начала антитеза и здѣсь вызвано было, значить, общественными причинами ¹⁾.

Изъ исторіи англійской литературы извѣстно, какъ сильно отразилось это вызванное классовою борьбой психологическое дѣйствіе начала антитеза на эстетическихъ понятіяхъ высшаго класса. Англійскіе аристократы, жившіе во Франціи во время своего изгнанія, познакомились тамъ съ французскою литературою и французскимъ театромъ, которые представляли собою образцовый, единственный въ своемъ родѣ продуктъ утонченнаго аристократическаго общества, и потому гораздо болѣе соотвѣтствовали ихъ собственнымъ аристократическимъ тенденціямъ, нежели англійскій театръ и англійская литература вѣка Елизаветы. Послѣ реставраціи началось господство французскихъ вкусовъ на англійской сценѣ и въ англійской литературѣ. Шекспира стали третировать такъ, какъ третировали его впослѣдствіи, ознакомившись съ нимъ, французы, твердо державшіеся классическихъ традицій, т. е. какъ *«пьянаго дикаря»*. Его *«Ромео и Джульета»* считалась тогда *«плохой»*, *«Сонъ въ лѣтнюю ночь»*—*«глупой и смѣшной»* пьесой; *«Генриха VIII»* находили *«наивнымъ»*, *«Отелло»*—*«посредственнымъ»* ²⁾. Такое отношеніе къ нему не вполне исчезаетъ даже и въ слѣдующемъ столѣтіи. Юмъ думалъ, что драматическій геній Шекспира обыкновенно преувеличивается по той же причинѣ, по которой кажутся очень большими всѣ уродливыя и непропорціонально сложенныя тѣла. Онъ упрекаетъ великаго драматурга въ полномъ незнааніи правилъ театральнаго искусства (total ignorance of all theatrical art and conduct). Понне сожалѣлъ о томъ, что Шекспиръ писалъ для народа (for the people) и обходился безъ покровительства со стороны двора, безъ поддержки со стороны придворныхъ (the protection of his drince and the enconragement of the court). Даже знаменитый Гаррикъ, поклонникъ Шекспира, старался *«облагородить»* своего «идола»: въ своемъ представленіи «Гамлета» онъ опускалъ, какъ слишкомъ грубую, сцену съ могильщиками; къ «Королю Лиру» онъ придѣлалъ счастливую развязку. Но зато *демократическая* часть публики англійскихъ театровъ продолжала питать самую горячую приверженность къ Шекспиру. Гаррикъ сознавался, что, передѣлывая его пьесы, онъ рисковалъ вызвать бурный протестъ со стороны этой части публики.

¹⁾ Надо замѣтить кромѣ того, что только благодаря своему социальному положенію дворянство могло противопоставить свои блестящіе пороки будничнымъ добродѣтелямъ буржуазіи. Въ психологій борющагося крестьянства или рабочаго класса дѣйствіе начала антитеза не могло бы проявиться такимъ образомъ.

²⁾ Бельжамъ, I. с., pp. 40—41. Ср. Тэна, I. с., pp. 508—512.

Его французскіе друзья дѣлали ему въ своихъ письмахъ комплименты по поводу «мужества», съ которымъ онъ встрѣчалъ эту опасность: «*car je soppais la populace anglais*», прибавляетъ одинъ изъ нихъ 1).

Распущенность дворянскихъ нравовъ второй половины семнадцатаго столѣтія отразилась, какъ извѣстно, и на англійской сценѣ, гдѣ она приняла поистинѣ невѣроятныя размѣры. Комедіи, написанныя въ Англіи въ промежутокъ времени съ 1660 по 1690 годъ, почти всѣ безъ исключенія принадлежатъ, по выраженію Эдуарда Энгеля, къ области порнографіи 2). Въ виду этого можно а priori сказать, что рано или поздно въ Англіи долженъ былъ явиться, по началу антитеза, такой родъ драматическихъ произведеній, главной цѣлью которыхъ было бы изображеніе и превознесеніе домашнихъ добродѣтелей и мѣщанской чистоты нравовъ. И такой родъ дѣйствительно созданъ былъ впоследствии умственными представителями англійской буржуазіи.

Насколько намъ извѣстно, Ипполитъ Тэнъ лучше другихъ подмѣтилъ и остроумнѣе другихъ отмѣтилъ значеніе начала антитеза въ исторіи эстетическихъ понятій 3).

Въ остроумной и интересной книгѣ «*Voyage aux Pyrénées*» онъ передаетъ свой разговоръ со своимъ «застольнымъ собесѣдомъ», господиномъ Полемъ, какъ это по всему видно, выражающимъ взгляды самого автора.

«Вы ѣдете въ Версаль, — говоритъ г-нъ Поль, — и возмущаетесь вкусомъ XVII вѣка. Но перестаньте на время судить съ точки зрѣнія вашихъ собственныхъ нуждъ и вашихъ собственныхъ привычекъ... Мы правы, когда восхищаемся дикимъ пейзажемъ, какъ они были правы, когда такой пейзажъ нагонялъ на нихъ скуку. Для людей семнадцатаго вѣка не было ничего некрасивѣе настоящей горы 4). «Она вызывала въ нихъ множество непріятнѣйшихъ представленій. Люди, только что пережившіе эпоху гражданскихъ войнъ и полуварварства, при ея видѣ вспоминали о голодѣ, о длинныхъ переѣздахъ верхомъ подъ дождемъ или по снѣгу, о плохомъ черномъ хлѣбѣ пополамъ

1) Объ этомъ см. въ интересномъ изслѣдованіи J. J. Jusserand: *Shakespeare en France sous l'ancien regime*. Paris, 1898, pp. 247—248.

2) *Geschichte der englischen Litteratur*, 3 Auflage, Leipzig. 1897. S. 264.

3) Тарду представлялся прекраснѣйшій случай изслѣдовать *психологическое* дѣйствіе этого начала въ книгѣ „*L'opposition universelle, essai d'une théorie des Contraires*“, вышедшей въ 1897 г. Но онъ почему-то не воспользовался имъ, ограничившись очень немногими замѣчаніями насчетъ указаннаго дѣйствія. Правда, Тардъ говоритъ (стр. 245), что эта его книга не социологическій трактатъ. Но даже и въ трактатѣ, специально посвященномъ социологіи, онъ навѣрное не справился бы съ этимъ предметомъ, если бы не покинулъ своей идеалистической точки зрѣнія.

4) Не забудемъ, что разговоръ идетъ въ Пиренейскихъ горахъ.

съ мякиной, который имъ подавали въ грязныхъ, полныхъ паразитовъ, гостиницахъ. Они были утомлены варварствомъ, какъ мы утомлены цивилизаціей... Эти горы... даютъ намъ возможность отдохнуть отъ нашихъ тротуаровъ, бюро и лавокъ. Дикій пейзажъ нравится вамъ только по этой причинѣ. И если бы ея не существовало, то онъ показался бы вамъ такимъ же отвратительнымъ, какимъ онъ былъ когда-то для мадамъ Ментэнонь» ¹⁾).

Дикій пейзажъ нравится намъ по контрасту съ надоевшими намъ городскими видами. Городскіе виды и подстриженные сады нравились людямъ семнадцатаго вѣка по контрасту съ дикими мѣстностями. Дѣйствіе «начала антитеза» и здѣсь несомнѣнно. Но именно потому, что оно несомнѣнно, оно наглядно показываетъ намъ, въ какой мѣрѣ психологическіе законы могутъ служить ключомъ къ объясненію исторіи идеологіи вообще и исторіи искусства въ частности. Въ психологіи людей семнадцатаго вѣка начало антитеза играло такую же роль, какъ и въ психологіи нашихъ современниковъ. Почему же наши эстетическіе вкусы противоположны вкусамъ людей семнадцатаго вѣка? Потому, что мы находимся въ совершенно иномъ положеніи. Стало быть, мы приходимъ къ уже знакомому намъ выводу: психологическая природа человѣка дѣлаетъ то, что у него могутъ быть эстетическія понятія и что дарвиново *начало антитеза* (гегелево «*противорѣчіе*») играетъ чрезвычайно важную, до сихъ поръ недостаточно оцѣненную роль въ механизмѣ этихъ понятій. Но почему данный общественный человѣкъ имѣетъ именно эти, а не другіе вкусы; отчего ему нравится именно эти, а не другіе предметы,—это зависитъ отъ окружающихъ условій. Примѣръ, приведенный Тэнномъ, хорошо показываетъ также, каковъ характеръ этихъ условій; изъ него видно, что это—общественныя условія, совокупность которыхъ опредѣляется... мы выразимся пока неопредѣленно—ходомъ развитія человѣческой культуры ²⁾).

¹⁾ Voyage aux Pyrénées, singulière édition. Paris. 1867, pp. 190—293.

²⁾ Уже на низшихъ ступеняхъ культуры дѣйствіе психологическаго начала противорѣчія вызывается раздѣленіемъ труда между мужчиной и женщиной. По словамъ В. И. Юхельсона, «типичнымъ для первобытнаго строя югагировъ является противоположеніе между собой мужчинъ и женщинъ, какъ двухъ отдѣльныхъ группъ. Это проглядываетъ и въ играхъ, въ которыхъ мужчины и женщины составляютъ двѣ враждебныхъ партій, въ языкѣ, нѣкоторые звуки котораго произносятся женщинами отлично отъ мужчинъ, въ томъ, что для женщинъ родство по матери важнѣе, а для мужчины—родство по отцу, и въ той специализаціи занятій между полами, которая создала для каждаго изъ нихъ особую и самостоятельную среду дѣятельности». („По рѣкамъ Ясачной и Коркодону, древній югагирскій ³⁾ быть и письмена“. Сиб. 1898, стр. 53). Г. Юхельсонъ какъ будто не замѣчаетъ здѣсь, что специализація занятій между полами и была причиной указаннаго имъ противоположенія, а не наоборотъ. О томъ, что это противоположеніе отражается на украшеніяхъ различныхъ половъ, сви-

Намъ могутъ возразить: положимъ, что примѣръ, приведенный Тэномъ, указываетъ на *общественныя* условія, какъ на причину, приводящую въ дѣйствіе основные законы нашей психологіи; положимъ, что на то же указываютъ и примѣры, которые привели вы сами. Но развѣ нельзя привести примѣровъ, доказывающихъ совсѣмъ иное? Развѣ неизвѣстны примѣры, которые показываютъ, что законы нашей психологіи приходятъ въ дѣйствіе подъ вліяніемъ *окружающей насъ природы*? Конечно, извѣстны; и въ примѣрѣ, приведенномъ Тэномъ, рѣчь идетъ именно о нашемъ отношеніи къ впечатлѣніямъ, произведеннымъ на насъ *природой*. Но въ томъ-то и дѣло, что вліяніе на насъ такихъ впечатлѣній измѣняется въ зависимости отъ того, какъ измѣняется наше собственное отношеніе къ природѣ, а это послѣднее опредѣляется ходомъ развитія нашей (т. е. общественной) культуры.

Въ примѣрѣ, приведенномъ Тэномъ, говорится о *пейзажѣ*. Замѣтите, читатель, что въ исторіи живописи пейзажъ вообще занимаетъ далеко не постоянное мѣсто. Микель-Анджело и его современники пренебрегали имъ. Онъ расцвѣтаетъ въ Италіи лишь въ самомъ концѣ эпохи Возрожденія, въ моментъ упадка. Точно также и для французскихъ художниковъ семнадцатаго и даже восемнадцатаго столѣтій онъ не имѣетъ самостоятельнаго значенія. Въ девятнадцатомъ вѣкѣ дѣло круто измѣняется; пейзажемъ начинаютъ дорожить ради пейзажа, и молодые живописцы, Флэръ, Каба, Теодоръ Руссо, ищутъ на лонѣ природы, въ окрестностяхъ Париза, въ Фонтенебло и въ Медонѣ такихъ вдохновеній, самой возможности которой не подозрѣвали художники времени Ле-Брена и Бушэ. Почему это? Потому, что измѣнились общественныя отношенія Франціи, а вслѣдъ за ними измѣнилась также психологія французовъ. Итакъ, въ различныя эпохи общественнаго развитія человѣкъ получаетъ отъ природы различныя впечатлѣнія, потому что онъ смотритъ на нее съ различныхъ точекъ зрѣнія.

Дѣйствіе общихъ законовъ психической природы человѣка не прекращается, конечно, ни въ одну изъ этихъ эпохъ. Но такъ какъ въ раз-

дѣлствуютъ многие путешественники. Напримѣръ: „Здѣсь, какъ и вездѣ, сильный полъ тщательно старается отличить себя отъ другого. И мужской гуа-летъ очень сильно отличается отъ женскаго“ (Schweinfurth, Au coeur de l'Afrique, I, p. 281). „Мужчины (въ племени Niam-Niam) тратятъ много труда на убранство своихъ волосъ, между тѣмъ какъ прическа женщинъ совершенно проста и скромна“ (ibid., II, p. 8). О вліяніи раздѣленія труда между мужчиной и женщиной на *танцы* см. у фонъ-денъ-Штейна: Unter Völkern Zentral-Brasiliens. Berlin, 1894, S. 298. Можно сказать съ увѣренностью, что у мужчины стремленіе къ противоположенію себя *женщинамъ* является раньше, чѣмъ стремленіе противопоставить себя *низшимъ животнымъ*. Не правда ли, что въ этомъ случаѣ основные свойства психологической природы человѣка получаютъ довольно парадоксальное выраженіе?

ныя эпохи, вслѣдствіе различія въ общественныхъ отношеніяхъ, въ человѣческія головы попадаетъ совсѣмъ неодинаковый матеріалъ, то неудивительно, что и результаты его обработки совсѣмъ неодинаковы.

Еще одинъ примѣръ. Нѣкоторые писатели высказывали ту мысль, что въ наружности человѣка намъ кажется некрасивымъ все то, что напоминаетъ черты низшихъ животныхъ. Это справедливо въ примѣненіи къ цивилизованнымъ народамъ, хотя и тутъ есть немало исключеній: львиная голова никому изъ насъ не кажется уродливой. Однако, несмотря на такія исключенія, все-таки можно утверждать, что цивилизованный человѣкъ, сознавая себя несравненно вышшимъ существомъ въ сравненіи со всѣми своими родственниками въ животномъ мірѣ, боится уподобиться имъ и даже старается *оттѣнить, преуменьшить* свое несходство съ ними ¹⁾. Но въ примѣненіи къ первобытнымъ народамъ это положительно невѣрно. Извѣстно, что одни изъ нихъ вырываютъ свои верхніе рѣзцы, чтобы походить на жвачныхъ животныхъ, другіе подпиливаютъ ихъ, чтобы походить на хищныхъ звѣрей, третьи заплетаютъ свои волосы такъ, чтобы изъ нихъ вышли рога, и т. д., и т. д., почти до безконечности ²⁾. Часто это стремленіе подражать животнымъ связано съ религіозными вѣрованіями первобытныхъ народовъ ³⁾. Но это ни мало не измѣняетъ дѣла. Вѣдь, если бы первобытный человѣкъ смотрѣлъ на низшихъ жи-

1) In dieser Idealisierung der Natur liess sich die Sculptur von Fingerzeigen der Natur selbst leiten; sie überschätzte hauptsächlich Merkmale, die den Menschen vom Thiere unterscheiden. Die aufrechte Stellung führte zu grösserer Schlankheit und Länge der Beine, die zunehmende Steile des Schädelwinkels in dem Thierreiche zur Bildung des griechischen Profils, der allgemeine schon von Winkelmann ausgesprochene Grundsatz, dass die Natur, wo sie Flächen unterbreche, dies nicht stumpf, sondern mit Entschiedenheit thue, liess die scharfen Bänder der Augenhöhle und der Nasenbeine sowie den eben so scharfgerandeten Schnitt der Lippen vorziehen. Lotze, Geschichte der aesthetiken Deutschland, München, 1868, S. 568.

2) Миссіонеръ Гекевальдеръ рассказываетъ, какъ онъ, заѣхавъ однажды къ знакомому индѣйцу, засталъ его за приготовленіемъ къ пляскѣ, которая, какъ извѣстно, у первобытныхъ народовъ имѣетъ важное общественное значеніе. Индѣецъ разрисовалъ себѣ лицо слѣдующимъ замысловатымъ образомъ: „Когда я смотрѣлъ на него въ профиль съ одной стороны, его носъ изображалъ собою очень хорошо поддѣланный орлиный клювъ; когда я смотрѣлъ съ другой стороны, тотъ же носъ походилъ на свиную морду... Онъ былъ, повидимому, очень доволенъ своей работой, и такъ какъ онъ принесъ съ собою зеркало, то овъ глядѣлъ въ него съ удовольствіемъ и съ нѣкоторой гордостью“. Histoire, mœurs et coutumes des nations indiennes, qui habitaient autre fois la Pensylvanie et les états voisins, par le révérend père Heckerwelder, missionnaire morave, trad de l'anglais par le chevalier Du Ponceau. A Paris, 1822, p. 324. Мы выписали полный титулъ этой книги потому, что она содержитъ множество интереснѣйшихъ свѣдѣній, и намъ хочется рекомендовать ее читателю.

3) Ср. J. O. Frazer. „Le Totemisme“ Paris, 1898, p. 39 и слѣд.; Schweinfurth, Au coeur de l'Afrique, I, p. 381.

вотныхъ нашими глазами, то имъ навѣрное не было бы мѣста въ его религіозныхъ представленіяхъ. Онъ смотритъ на нихъ иначе. Отчего же иначе? Оттого, что онъ стоитъ на иной ступени культуры. Значить, если въ одномъ случаѣ человѣкъ старается уподобиться низшимъ животнымъ, а въ другомъ противопоставляетъ себя имъ, то это зависитъ отъ состоянія его культуры, т. е. опять-таки отъ тѣхъ же *общественныхъ* условій, о которыхъ у насъ была рѣчь выше. Впрочемъ, тутъ мы можемъ выразиться точнѣе; мы скажемъ: это зависитъ отъ степени развитія его производительныхъ силъ, отъ его *способа производства*. А чтобы не обвинили насъ въ преувеличеніи и въ «односторонности», мы представимъ говорить за себя уже цитированному нами ученому нѣмецкому путешественнику—фонъ-денъ-Штейнену.

«Мы только тогда поймемъ этихъ людей, — говоритъ онъ о бразильскихъ индѣйцахъ,—когда станемъ разсматривать ихъ какъ созданіе охотничьяго быта. Важнѣйшая часть всего ихъ опыта связана съ животнымъ міромъ, и на основаніи этого опыта составилось ихъ міросозерцаніе. Соотвѣтственно этому и ихъ художественные мотивы съ удручающимъ однообразіемъ заимствуются изъ міра животныхъ. Можно сказать, что все ихъ удивительно богатое искусство коренится въ охотничьей жизни»¹⁾.

Чернышевскій писалъ когда-то въ своей диссертациі «Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности»: «Въ растеніяхъ намъ нравится свѣжесть, цвѣта и роскошь, богатство формы, обнаруживающія богатую силами, свѣжую жизнь. Увядающее растеніе нехорошо; растеніе, въ которомъ мало жизненныхъ соковъ, нехорошо». Диссертациія Чернышевскаго есть чрезвычайно интересный и единственный въ своемъ родѣ примѣръ приложенія къ вопросамъ эстетики общихъ принциповъ Фейербахова матеріализма. Но исторія всегда была слабымъ мѣстомъ этого матеріализма, и это хорошо видно изъ только что цитированныхъ нами строкъ. «Въ растеніяхъ намъ нравится»... Кому же «намъ»? Въдъ вкусы людей чрезвычайно измѣнчивы, какъ на это не разъ указывалъ въ томъ же сочиненіи самъ Чернышевскій. Извѣстно, что первобытныя племена,—напримѣръ, бушмены и австралійцы,—никогда не украшаютъ себя цвѣтами, хотя живутъ въ странахъ очень богатыхъ ими. Говорятъ, что тасманцы были въ этомъ отношеніи исключеніемъ, но теперь уже нельзя провѣрить справедливость этого извѣстія: тасманцы вымерли. Во всякомъ случаѣ, очень хорошо извѣстно, что въ *орнаментикѣ* первобытныхъ,—скажемъ точнѣе: *охотничьихъ*, — народовъ, заимствующей свои мотивы изъ *животнаго* міра, растенія совершенно отсутствуютъ. Современная наука это объясняетъ ничѣмъ инымъ, какъ состояніемъ производительныхъ силъ. «Мотивы орнаментики, заимствуемые охотничьими племенами

¹⁾ L. c., S. 201.

Бельтовъ. Т. I. Изд. 3.

изъ природы, состоятъ исключительно изъ животныхъ и человѣческихъ формъ»,—говоритъ Эрнстъ Гроссе. Они выбираютъ, стало быть, именно тѣ явленія, которыя имѣютъ для нихъ наибольшій практическій интересъ. Собираніе растений, которое, конечно, тоже необходимо для него, первобытнѣйшій охотникъ предоставляетъ, какъ занятіе низшаго рода, женщинѣ, и самъ вовсе не интересуется имъ. Этимъ объясняется то, что въ его орнаментикѣ мы не встрѣчаемъ даже и слѣда растительныхъ мотивовъ, такъ богато развившихся въ декоративномъ искусствѣ цивилизованныхъ народовъ. Въ дѣйствительности переходъ отъ животныхъ орнаментовъ къ растительнымъ является символомъ величайшаго прогресса въ исторіи культуры—«перехода отъ охотничьяго быта къ земледѣльческому»¹⁾.

Первобытное искусство такъ ясно отражаетъ въ себѣ состояніе производительныхъ силъ, что теперь въ сомнительныхъ случаяхъ по искусству судятъ о состояніи этихъ силъ. Такъ, напримѣръ, бушмены очень охотно и сравнительно очень хорошо рисуютъ людей и животныхъ. Въ обитаемой ими мѣстности нѣкоторые гроты представляютъ собою настоящія картинныя галлерей. Но растений бушменъ совсѣмъ не рисуетъ. Въ единственномъ извѣстномъ исключеніи изъ этого общаго правила, въ изображеніи прячущагося за кустомъ охотника, неумѣлый рисунокъ *куста* лучше всего показываетъ, какъ необиченъ былъ этотъ сюжетъ для первобытнаго художника. На этомъ основаніи нѣкоторые этнологи заключаютъ, что если бушмены и стояли когда-нибудь прежде на нѣсколько болѣе высокой ступени культуры, чѣмъ теперь,—что, говоря вообще, не невозможно,—то они навѣрное никогда не знали *земледѣлія* ²⁾.

Если справедливо все это, то мы можемъ слѣдующимъ образомъ формулировать выводъ, сдѣланный нами выше изъ словъ Дарвина: психологическая природа первобытнаго охотника обуславливаетъ собою то, что у него, вообще, могутъ быть эстетическіе вкусы и понятія, а состояніе его производительныхъ силъ, его охотничій бытъ, ведетъ къ тому, что у него складываются именно эти эстетическіе вкусы и понятія, а не другіе. Этотъ выводъ, проливающий яркій свѣтъ на искусство охотничьихъ племенъ, является въ то же время лишнимъ доводомъ въ пользу материалистическаго взгляда на исторію.

У цивилизованныхъ народовъ техника производства гораздо рѣже оказываетъ непосредственное вліяніе на искусство. Этотъ фактъ, какъ будто говорящій противъ материалистическаго взгляда на исторію, на самомъ дѣлѣ служитъ блестящимъ его подтвержденіемъ. Но объ этомъ когда-нибудь въ другой разъ.

¹⁾ Die Anfänge der Kunst, S. 149.

²⁾ См. интересное введеніе Рауля Аселье къ книгѣ Фридерика Кристоля: Au Sud de l'Afrique. Paris, 1897.

Къ психологіи рабочаго движенія.

(Максимъ Горькій. „Враги“).

О «*Дѣтяхъ солнца*» и о «*Варварахъ*» мнѣ не разъ приходилось слышать неблагоприятные отзывы. «Талантъ Горькаго падаетъ; его новыя драматическія произведенія слабы въ художественномъ отношеніи и не удовлетворяютъ запросамъ времени»,—такъ говорили даже люди, считающіе себя ближайшими единомышленниками нашего высоко-талантливаго художника-пролетарія. Теперь, когда я прочиталъ «Враговъ», мнѣ хотѣлось бы знать, что думаютъ о нихъ люди, пожимающіе плечами по поводу «*Варваровъ*» и «*Дѣтей солнца*». Неужели и «Враги» кажутся имъ вещью слабой и несвоевременной? Чего добраго. Вѣдь это очень «сурьезные» люди. Они умѣютъ цѣнить искусство!

Что касается меня, грѣшнаго, то я скажу прямо: новыя сцены Горькаго—превосходны. Онѣ обладаютъ чрезвычайно богатымъ содержаніемъ, и нужно умышленно закрыть глаза, чтобъ его не замѣтить.

И, конечно, не потому нравятся мнѣ «Враги», что они изображаютъ борьбу классовъ, и притомъ изображаютъ ее въ той спеціальной обстановкѣ, въ какой происходитъ она у насъ, благодаря неумолимому усердію попечительнаго начальства. Волненіе рабочихъ на заводѣ, убійство одного изъ собственниковъ завода, появленіе солдатъ и жандармовъ,—во всемъ этомъ, конечно, очень много драматическаго и «актуальнаго». Но всѣмъ этимъ дана только *возможность* хорошаго драматическаго произведенія. Вопросъ въ томъ: перешла ли эта возможность въ *дѣйствительность*? А рѣшеніе этого вопроса зависитъ, какъ извѣстно, отъ того, насколько удовлетворительна художественная обработка интереснаго матеріала. Художникъ не публицистъ. Онъ не *разсуждаетъ*, а *изображаетъ*. Тотъ художникъ, который изображаетъ классовую борьбу, долженъ показать намъ, какъ опредѣляется ею душевный складъ дѣйствующихъ лицъ, какъ онъ опредѣляетъ собою ихъ мысли и чувства. Словомъ, такой художникъ необходимо долженъ быть *психологомъ*. И новое произведеніе Горькаго тѣмъ хорошо, что оно удовлетворяетъ даже строгому требованію съ этой стороны. «Враги» интересны именно въ

соціально-психологическомъ смыслѣ. Я очень рекомендую эти сцены всѣмъ тѣмъ, которыхъ интересуеъ психологія современнаго рабочаго движенія.

Освободительная борьба пролетаріата есть *массовое движеніе*. Поэтому и психологія этого движенія есть *психологія массы*. Разумѣется, масса состоитъ изъ отдѣльныхъ лицъ, а отдѣльныя лица не тождественны между собою. Въ массовомъ движеніи участвуютъ и худые и полные, и низкіе и высокорослые, и русые и черноволосые, и робкіе и смѣлые, и слабые и сильные, и мягкіе и жесткіе индивидуумы. Но индивидуумы, являющіеся созданиемъ массы, плотью отъ ея плоти и костью отъ ея костей, не противопоставляютъ себя ей,—какъ любятъ противопоставлять себя *толькѣ герои* изъ буржуазной среды,—а сознаютъ себя ея частью и чувствуютъ себя тѣмъ лучше, чѣмъ явственнѣе ощущается ими тѣсная связь, соединяющая ихъ съ нею. Пролетарій есть прежде всего «общественное животное», чтобы употребить здѣсь, слегка измѣняя его смыслъ, извѣстное выраженіе Аристотеля. Это бросается въ глаза всѣмъ сколько-нибудь наблюдательнымъ людямъ. Вернеръ Зомбартъ, далеко не съ любовью описывающій душу современнаго пролетарія, говоритъ, что этотъ послѣдній чувствуетъ себя такою величиной, которая ничего не значить, будучи взята сама по себѣ, и пріобрѣтаетъ значеніе, лишь будучи сложена со многими другими ¹⁾. Отсюда, конечно, иному буржуазному «сверхъ-человѣку» недалеко до того вывода, что сама по себѣ эта величина ничтожна, и что въ пролетарской средѣ нѣтъ мѣста сильнымъ «личностямъ». Но это самая жестокая ошибка, обусловливаемая ограниченностью буржуазнаго кругозора. Развитіе личности, *какъ характера*, прямо пропорціонально развитію въ ней *самостоятельности*, т. е. способности твердо стоять на своихъ собственныхъ ногахъ. А эту способность пролетарій пріобрѣтаетъ и обнаруживаетъ, по признанію того же Вернера Зомбарта, въ гораздо болѣе раннемъ возрастѣ, нежели буржуа. Пролетарій содержитъ себя своимъ собственнымъ,—и какии упорнымъ, тяжелымъ,—трудомъ въ такомъ возрастѣ, въ какомъ дѣти «хорошихъ семей» умѣютъ только висѣть на чужой шеѣ. И если, тѣмъ не менѣе, пролетарій въ самомъ дѣлѣ чувствуетъ себя такой величиной, которая теряетъ свое значеніе, не будучи сложена со многими другими, то на это есть двѣ причины. Одна изъ нихъ заключается въ *технической* организаціи, современнаго производства, другая—въ его соціальной организаціи или, какъ выражается Марксъ, въ *производственныхъ отношеніяхъ*, свойственныхъ капиталистическому обществу. Пролетарій не имѣетъ средствъ производства и существуетъ только продажей своей рабочей силы. Въ качествѣ продавца рабочей силы,—

¹⁾ Die Gesellschaft, herausgegeben von Martin Buber. Das Proletariat von Werner Sombart, S. 86.

т. е. въ качествѣ такого товаровладѣльца, который ничего не продаетъ на рынокѣ, кромѣ *самого себя*,—пролетарій дѣйствительно представляетъ собою нѣчто крайне слабое, можно сказать *безпомощное*. Онъ цѣликомъ зависить отъ тѣхъ, которые покупаютъ его рабочую силу и въ чьихъ рукахъ сосредоточены средства производства. И эту *зависимость* отъ обладателя средствъ производства пролетарій начинаетъ чувствовать тѣмъ раньше, чѣмъ раньше онъ становится на свои собственные ноги, т. е. чѣмъ раньше дѣлается онъ *самостоятельнымъ*. Такимъ образомъ, *пролетарская самостоятельность* обуславливаетъ собою сознание пролетаріемъ своей *зависимости* отъ капиталиста и стремленіе отъ нея *избавиться* или хотя бы только ее *ослабить*. А для этого нѣтъ другого пути, кромѣ сплоченія пролетаріевъ; нѣтъ другого пути, кромѣ ихъ объединенія для совмѣстной борьбы за существованіе. Поэтому чѣмъ сильнѣе становится въ рабочемъ недовольство зависимостью отъ капиталиста, тѣмъ сильнѣе укрѣпляется въ немъ сознание того, что ему необходимо дѣйствовать согласно съ другими рабочими, что ему нужно возбудить во всей ихъ массѣ чувство солидарности. Его *тяготѣніе къ массѣ* прямо пропорціонально его *стремленію къ независимости*, его *сознанію собственного достоинства*, словомъ — развитію его *индивидуальности*. Вернеръ Зомбартъ этого, конечно, не замѣтилъ.

Такъ представляется дѣло съ точки зрѣнія современныхъ *производственныхъ отношеній*. Съ точки же зрѣнія современной *техники* оно представляется въ слѣдующемъ видѣ. Пролетарій, трудящійся въ капиталистическомъ предпріятіи, производитъ не продуктъ, а только извѣстную часть продукта. Продуктъ же, какъ цѣлое, представляетъ собою плодъ соединенныхъ и организованныхъ усилій многихъ, иногда очень многихъ, производителей. Такимъ образомъ, современная техника тоже ведетъ къ тому, что пролетарій чувствуетъ себя такой величиной, которая имѣетъ значеніе только тогда, когда она сложена съ другими. Короче—техника тоже способствуетъ тому, что пролетарій становится животнымъ общественнымъ по преимуществу.

Эти два обстоятельства, накладывающія такой рѣшительный отпечатокъ на пролетарскую психологію, опредѣляютъ собой также,—черезъ посредство той же психологіи,—и *тактику* пролетаріата въ его борьбѣ съ буржуазіей. Его движеніе есть массовое движеніе; его борьба—массовая борьба. Чѣмъ больше сплочены усилія отдѣльныхъ лицъ, составляющихъ массу, тѣмъ вѣроятнѣе побѣда. Рабочій и это познаетъ на опытѣ съ юныхъ лѣтъ. И это наивно выражаетъ одинъ изъ героевъ Горькаго рабочій Ягодянъ, говоря: «соединимся, окружимъ, тиснемъ и готово». Правда, «готово» бываетъ въ дѣйствительности не такъ скоро, какъ это выходитъ на словахъ у Ягодина; но отсюда слѣдуетъ, что тѣмъ больше и тѣмъ тѣснѣе нужно соединяться, чтобы было, наконецъ, «готово».

Въ эту сторону объединенія и организаціи пролетарскихъ силъ естественно, почти инстинктивно, направляется дѣятельность передовыхъ представителей рабочаго класса. Объединеніе и организація естественно представляются имъ самымъ могучимъ, самымъ плодотворнымъ тактическимъ приѣмомъ борьбы за лучшее будущее. И въ сравненіи съ этимъ плодотворнымъ и могучимъ тактическимъ приѣмомъ всѣ другіе приемы кажутся имъ второстепенными, несущественными, а нѣкоторые изъ нихъ,— иногда не безъ успѣха практикуемые при другихъ общественныхъ условіяхъ,—иногда даже и прямо нецѣлесообразными. Въ новой пьесѣ Горькаго рабочій Лѣвшинъ замѣчаетъ по поводу убійства его товарищемъ Якимовымъ одного изъ собственниковъ завода, жестокаго Михаила Скроботова: «Эхъ, напрасно Андрей курокъ спустил! Что сдѣлаешь убійствомъ? Ничего не сдѣлаешь! Одного пса убить—хозяину другого купить... вотъ и вся сказка». Такъ называемый терроризмъ—не пролетарскій приѣмъ борьбы. Настоящій террористъ—индивидуалистъ по характеру или по «независящимъ обстоятельствамъ». Шиллеръ понялъ это чутьемъ гениальнаго художника. Его Вильгельмъ Телль—индивидуалистъ въ полномъ смыслѣ этого слова. Когда Штауффахеръ говоритъ ему: «мы могли бы многое сдѣлать, если бы держались вмѣстѣ», онъ отвѣчаетъ: «при кораблекрушеніи легче спастись въ одиночку». А когда тотъ же Штауффахеръ упрекаетъ его за то, что онъ холодно отворачивается отъ общаго дѣла, онъ возражаетъ, что каждый съ увѣренностью можетъ рассчитывать *только на самого себя*. Это два діаметрально противоположныхъ взгляда. Штауффахеръ доказываетъ, что «въ союзѣ и слабые сильны», а Вильгельмъ Телль упрямо твердитъ, что «сильный наиболѣе силенъ въ одиночку».

Этому убѣжденію Телль остается неизмѣнно вѣрнымъ до конца. Онъ «въ одиночку» расправляется съ Гесслеромъ. Наоборотъ, Штауффахеръ изображенъ у Шиллера типичнымъ агитаторомъ, организаторомъ и руководителемъ массоваго движенія. Подобно Теллю, этотъ энергичный чловѣкъ тоже не уступаетъ передъ самыми крайними средствами. На собраніи въ Грютли онъ произноситъ знаменитыя слова о томъ, что и власть тирановъ не безпредѣльна, и что когда угнетенный нигдѣ не находитъ правосудія, когда его, его гнетущее, становится нестерпимымъ, тогда онъ апеллируетъ къ своимъ вѣчнымъ, неотчуждаемымъ правамъ и хватается за мечъ. Но онъ видитъ главный залогъ успѣха въ объединеніи; ему нужно, чтобы въ освободительной борьбѣ приняли участіе всѣ лѣсные кантоны и чтобы всѣ они дѣйствовали заодно:

Wenn Uri ruft, wenn Unterwalden hilft,
Der Schwytzer wird die alten Bünde ehren... ‘).

) Когда раздастся призывъ изъ Ури, когда встанетъ на помощь Унтервальденъ, тогда Швицъ не измѣнитъ старому союзу.

А иначе нечего и выступать. Штауффахеръ даже боится отдѣльныхъ выступлений, потому что они могутъ помѣшать успѣху общаго дѣла. Онъ настоятельно совѣтуетъ собравшимся на Грютли:

Jetzt gehe jeder seines Weges still
Zu seiner Freundschaft und Genossame.
Wer Hirt ist, wintre ruhig seine Herde
Und werb'im Stillen Freunde für den Bund.
Was noch bis dahin muss erduldet werden,
Erduldet's! Lasst die Rechnung der Tyrannen
Anwachsen, bis ein Tag... и т. д. ¹⁾.

Въ высшей степени характерна слѣдующая подробность. Когда Телль убиваетъ Гесслера, онъ оказываетъ этимъ услугу всей Швейцаріи, но онъ не справляется съ тѣмъ, какъ обстоитъ въ данную минуту освободительное движеніе, и, убивая злого тирана, онъ все-таки выступаетъ «въ одиночку», мститъ за самого себя. На личный мотивъ его подвига обращалъ вниманіе еще Лассаль. Съ другой стороны, Штауффахеръ говоритъ:

Raub begeht am allgemeinen Gut,
Wer selbst sich hieft in seiner eignen Sache ²⁾.

Похищаетъ общее достояніе—потому что для успѣха общаго дѣла необходимы общія, согласованныя дѣйствія. И Штауффахеръ вопль правъ. Одиночныя выступленія ничего не *рѣшаютъ* въ исторіи. И это тоже отмѣчаетъ Шиллеръ. Подвигъ Телля у него служитъ только *поводомъ* для революціи, освободившей отъ австрійскаго ига средневѣковую Швейцарію. *Средства* для нея подготовила агитаціонная и организаціонная дѣятельность Штауффахеровъ. Сила тѣхъ сильныхъ, которые «сильнѣе всего въ одиночку», лишь *косвенно* принадлежитъ къ числу двигательныхъ силъ исторіи.

Шиллеровскій Телль—индивидуалистъ по своей природѣ. Но, какъ уже сказано, бываютъ индивидуалисты «по независящимъ обстоятельствамъ». Такими надо признать многихъ изъ нашихъ террористовъ конца семидесятыхъ и начала восьмидесятыхъ годовъ. Они и рады были бы пойти въ ногу съ народной массой; они и пытались это сдѣлать; но масса стояла на одномъ мѣстѣ, она не откликнулась на ихъ зовъ,—или, вѣрнѣе, у нехъ не хватило терпѣнія ждать, пока она откликнется,—и они «пошли въ одиночку». Это были очень сильные люди, но энергія, проявленная

¹⁾ Теперь идите каждый къ себѣ, занимайтесь каждый своимъ дѣломъ и безъ шума вербуйте въ союзъ новыхъ членовъ. Терпите то, что нужно терпѣть, до поры до времени. Пусть возрастаетъ счетъ тирановъ до тѣхъ поръ, когда, наконецъ... и т. д.

²⁾ Похищаетъ общее достояніе тотъ, кто помогаетъ самъ себѣ въ своемъ собственномъ дѣлѣ.

ими въ террористическихъ дѣйствіяхъ, въ значительной степени явилась энергіей отчаянія. И эти сильные люди были побѣждены.

Сознательные пролетаріи, выступающіе въ новой пьесѣ Горькаго, тоже сильные люди, но, къ счастью для нихъ, у нихъ нѣтъ никакого основанія сомнѣваться въ отзывчивости рабочей массы. Совершенно наоборотъ! Рабочая масса все громче и громче отзывается на ихъ призывъ. «Поднимается народъ разомъ,—говоритъ Лѣвшинъ,—слушаетъ, читаетъ, думаетъ». Чего же лучше? Въ такое время даже и у нетерпѣливыхъ «интеллигентовъ» нѣтъ повода отворачиваться отъ массы. Тѣмъ меньше поводовъ для этого у пролетаріевъ физическаго труда, органически сросшихся съ массой.

Но каковы бы ни были времена, а фактъ тотъ, что «интеллигентъ» болѣе склоненъ уповать на «личность», а сознательный рабочий—на массу. Отсюда—*два тактики*. И «Враги» Горькаго даютъ богатый матеріалъ для правильнаго пониманія психологической основы *рабочей тактики*.

II.

Я не собираюсь исчерпать весь этотъ матеріалъ, но и не хочу ограничиться только что сказаннымъ. Я пойду дальше.

Извѣстно, что у насъ многіе считали и считаютъ «терроризмъ» героическимъ по преимуществу средствомъ борьбы. Уже «Телль» Шиллера показываетъ, что это ошибка. Развѣ Телль обнаруживаетъ больше героизма, нежели Штауффахеръ? Вовсе нѣтъ! Нетрудно было бы показать, что если у Телля больше *непосредственности*, то у Штауффахера больше *сознательнаго самоотверженія въ интересахъ общаго дѣла*. Для этого достаточно было бы припомнить приведенныя мною выше благородныя слова Штауффахера о расхищеніи общаго достоянія. Но если это такъ, то почему же званіе героя присвоено общественнымъ мнѣніемъ Теллю, а не Штауффахеру? Это обусловливается многими обстоятельствами. Вотъ два изъ нихъ.

Въ дѣйствіяхъ, подобныхъ подвигу Телля, вся сила личности обнаруживается въ одинъ моментъ. Поэтому такими дѣйствіями достигается *максимумъ впечатлѣнія*. Тѣмъ, которые видятъ это дѣйствіе или слышать о немъ, нѣтъ надобности напрягать свое вниманіе, чтобы оцѣнить проявляющуюся силу. И безъ того видно, что это большая сила.

Не то съ дѣятельностью Штауффахеровъ. Она растягивается на несравненно болѣе продолжительное время, и потому сила, обнаруживающаяся въ такой дѣятельности, несравненно менѣ замѣтна. Чтобы опредѣлить ея размѣры, нужно сдѣлать извѣстное умственное усиліе, которое не всѣ расположены, да и не всѣ могутъ сдѣлать.

Я потому говорю «не всѣ могутъ», что наше отношеніе къ различ-

нымъ видамъ исторической дѣятельности зависитъ отъ нашего общаго пониманія исторіи. Было время, когда на нее смотрѣли съ точки зрѣнія подвиговъ отдѣльныхъ лицъ, Ромуловъ, Августовъ или Брутовъ. Народная масса, воѣ тѣ, которыхъ угнетали или освобождали Августы и Бруты, ускользала изъ поля зрѣнія историковъ. А такъ какъ она ускользала изъ ихъ поля зрѣнія, то естественно, что они не занимались и тѣми общественными дѣятелями, которые вліяли на исторію своей страны *посредствомъ вліянія на массу*. Неумѣстно было бы разсматривать здѣсь, откуда взялось такое пониманіе исторіи хотя бы въ новѣйшей Европѣ. Достаточно сказать, что уже Огюстенъ Тьері очень удачно ставилъ его въ причинную связь съ существованіемъ въ передовыхъ странахъ Запада *аристократической монархіи*. О массѣ историка вспоминала, — я Огюстенъ Тьері вспомнилъ о ней однимъ изъ первыхъ, — только тогда, когда она ниспровергла аристократическую монархію. Теперь уже рѣдко можно встрѣтить такого историка, который думалъ бы, что исторія находитъ себѣ достаточное объясненіе въ сознательной дѣятельности отдѣльныхъ, болѣе или менѣе властолюбивыхъ, болѣе или менѣе героическихъ лицъ. Наука уже понимаетъ необходимость болѣе глубокихъ объясненій. Но «широкая публика» еще плохо сознаетъ эту необходимость. Ея взоры еще останавливаются на поверхности историческихъ движеній. А на поверхности видны только отдѣльныя личности. А между отдѣльными личностями Телли понятнѣе для «широкой публики», нежели Штауффахеры. И вотъ почему «широкая публика», вѣнчая Теллей лавровымъ вѣнкомъ, почти не достаиваетъ Штауффахеровъ своего «просвѣщеннаго вниманія»¹⁾.

Но масса можетъ смотрѣть на исторію такими глазами только до тѣхъ поръ, пока она не достигла самосознанія, пока она не поняла своей силы и своего значенія. Если уже ученый идеологъ буржуазіи, Огюстенъ Тьері, рѣдко осуждалъ тѣхъ историковъ, которые все относятъ на счетъ королей и ничего на счетъ народовъ, то сознательные представители рабочей массы тѣмъ менѣе могутъ удовлетвориться такимъ объясненіемъ исторіи, которое все приурочиваетъ къ подвигамъ блестящихъ «героевъ» и ничего — къ движеніямъ сѣрой «толпы». Поэтому сознательные представители пролетаріата, собственнымъ опытомъ узнавшіе, какъ много нравственной силы нужно для упорной работы надъ пробужденіемъ сознанія

¹⁾ Какъ распространенъ предрасудокъ насчетъ „терроризма“, показываетъ, между прочимъ, слѣдующій совершенно свѣжій примѣръ. Въ сборникѣ „Галлея шлассельбургскихъ узниковъ“ (ч. I, Спб., 1907) объ участіи М. Р. Попова въ воронежскомъ съѣздѣ 1879 года говорится: „на съѣздѣ онъ былъ однимъ изъ самыхъ правыхъ“ (стр. 160). Это значитъ, что Михаилъ Родионовичъ былъ однимъ изъ самыхъ рѣшительныхъ противниковъ „терроризма“. А между тѣмъ лицо, написавшее статью о М. Р. Поповѣ, къ эсъ-эрамъ не принадлежитъ.

въ пролетарской средѣ, отдадутъ, конечно, полную дань уваженія Теллю, но сочувствовать они навѣрно будутъ больше Штауффахеру. Разумеетсяъ, если они не попадутъ въ исключительное положеніе Халтуриныхъ.

Словомъ, тутъ обнаружится разница взглядовъ, определяемая различіемъ общественнаго, классоваго положенія. И эта неизбѣжная разница хорошо подмѣчена Горькимъ. Рабочіе, выводимые имъ во «Врагахъ», полны самаго высокаго самоотверженія. Припомните хотя бы слѣдующую сцену, въ которой Лѣвшинъ и Ягодинъ предлагаютъ молодому рабочему Рябцову взять на себя вину убійства капиталиста Михаила Скроботова.

Рябцовъ. Я рѣшилъ.

Яудинъ. Погоди, подумай.

Рябцовъ. Чего же думать? Убили, такъ кто-нибудь долженъ терпѣть за это.

Лѣвшинъ. Вѣрно! Долженъ. Мы по чести,—вашего вышибли, нашихъ платимъ. А ежели одному не пойти, многихъ потревожатъ. Потревожатъ лучшихъ, которые дороже тебя, Пашокъ, для товарищескаго дѣла.

Рябцовъ. Да вѣдь я ничего не говорю. Хотъ молодой, а я понимаю, намъ надо цѣпью... Крѣпче другъ за друга...

Яудинъ (улыбаясь). Соединимся, окружимъ, тиснемъ и готово!

Рябцовъ. Ладно. Я ужъ кончилъ это. Чего же? Я одинъ, мнѣ и слѣдуетъ! Только противно, что за такую кровь...

Лѣвшинъ. За товарищей, а не за кровь.

Рябцовъ. Нѣтъ, я про то, что человекъ онъ былъ ненавистный... Злой очень..

Лѣвшинъ. Злого и убить. Добрый самъ помретъ, онъ людямъ не помѣха.

Рябцовъ. Ну, все?

Яудинъ. Все, Пашокъ! Такъ, значить, завтра утромъ скажешь?

Рябцовъ. Да чего же до завтра-то? Я говорю—я иду.

Лѣвшинъ. Нѣтъ, ты лучше завтра скажи! Ночь, какъ мать, она добрая со-
вѣтница...

Рябцовъ. Ну, ладно... Я пойду теперь?

Лѣвшинъ. Съ Богомъ!

Яудинъ. Иди, братъ види твердо...

(Рябцовъ уходитъ, не слыша. Ягодинъ вертитъ пазку въ рукахъ, рассматривая ее. Лѣвшинъ смотритъ въ небо).

Лѣвшинъ (тихо). Хорошій народъ расти началъ, Тимофѣй!

Яудинъ. По погодѣ и чеснокъ...

Лѣвшинъ. Этакъ-то пойдетъ, выправимся мы...

Что можетъ быть выше молодого самоотверженнаго Рябцова? И какъ высоки побужденія его болѣе зрѣлыхъ товарищей, указывающихъ ему путь къ подвигу! У нихъ все сводится къ тому, чтобы «выправился» народъ. Это—несомнѣнные герои. Но это герои особаго рода, особаго закала, это герои изъ пролетарской среды. И посмотрите, какое впечатлѣніе производитъ ихъ особый, новый закалъ на талантливую актрису Татьяну Луговую, присутствующую при ихъ допросѣ. Ея мужъ говорить: «Нравятся мнѣ эти люди». Она отвѣчаетъ: «Да, но почему они такъ просты?.. Такъ просто говорятъ, просто смотрятъ... и страдаютъ? Почему! Въ нихъ вѣтъ страсти? Нѣтъ героизма?»

Яковъ (мужъ Татьяны). Они спокойно вѣрятъ въ свою правду.

Татьяна. Должна быть у нихъ страсти! И должны быть герои!.. Но здѣсь... ты чувствуешь—они презируютъ всѣхъ!

Хорошая актриса должна знать свое дѣло. Она должна умѣть понять чужую страсть, опредѣлять чужой характеръ. Татьяна Луговая, вѣроятно, и умѣла все это. Но она наблюдала страсти, вспыхивавшія въ совершенно иной средѣ; изучала характеры, сложившіеся въ совершенно иной обстановкѣ. Съ сознательнымъ рабочимъ она еще не встрѣчалась ни въ жизни, ни въ драматической литературѣ. И, случайно присутствуя при допросѣ этихъ, никогда не виданныхъ ею представителей человѣческой породы—*сознательныхъ рабочихъ*, она оказалась «не на высотѣ призванія», она попала въ смѣшное положеніе крыловскаго чудака, гулявшаго по кунсткамерѣ: она не замѣтила героизма тамъ, гдѣ онъ руководилъ всѣми дѣйствіями обвиняемыхъ.

А на самомъ дѣлѣ именно въ простотѣ этого героизма сказывается его болѣе высокая природа. Вспомните, какъ уговариваетъ Лѣвшинъ Рябцова. Рябцовъ не потому долженъ пожертвовать собою, что *онъ лучше другихъ*, а наоборотъ—потому, что *другіе лучше его*: «Потревожить лучшихъ, которые дороже тебя, Пашокъ, для товарищескаго дѣла». Мнѣ сдается, что любой изъ тѣхъ героевъ, страсти которыхъ умѣетъ понимать талантливая актриса Татьяна Луговая, очень обидѣлся бы, если бы его вздумали уговаривать такимъ образомъ, и тогда его себе-сѣбѣдикамъ поневолѣ пришлось бы оставить всякую мысль о томъ, чтобы подвигнуть его на самоотверженный поступокъ. Герои, которыхъ умѣетъ понимать Татьяна Луговая, очень любятъ комплименты...

Героизмъ героизму рознь. Герои, выдвигаемые высшими классами, не похожи на героевъ, выдвигаемыхъ пролетариатомъ. Татьяна этого не знаетъ. И это понятно: она не занимается матеріалистическимъ объясненіемъ исторіи. Но мы съ вами, читатель, иногда задумываемся о немъ. И вотъ я предлагаю вамъ, ради лучшаго пониманія предмета и какъ бы въ видѣ психологическаго эксперимента, вообразить, что Татьяна Луговая усвоила себѣ социаль-демократическія идеи и сдѣлалась членомъ рабочей партіи. Для этого у нея есть, пожалуй, нѣкоторые задатки. Она не только талантливая актриса. Она къ тому же и правдивая натура. И недаромъ, къ концу допроса, она замѣчаетъ объ арестованныхъ рабочихъ: «Эти люди побѣдятъ». Такъ вотъ и предположимъ, что она рѣшилась идти съ ними по одному пути. Что же будетъ? Думаете ли вы, что съ ея души сотрутся, вслѣдствіе этого рѣшительнаго шага, всѣ слѣды старыхъ впечатлѣній, вынесенныхъ изъ буржуазной среды? Это просто-на-просто невозможно. И этого, конечно, никто не имѣетъ права отъ нея требовать. Воспитаніе оставляетъ много неизгладимыхъ слѣдовъ. Потому-то людямъ такъ трудно «совлечь съ себя ветхаго Адама». Въ новой дѣ-

ятельности Татьяны Луговой непременно дало бы себя знать ее старое представление о героизмѣ. И она, навѣрно, не разъ разошлась бы со своими товарищами-пролетаріями по вопросу о средствахъ достиженія конечной цѣли пролетарской борьбы. Тотъ путь агитаціи и организаціи массъ,— путь, на который почти инстинктивно выступаютъ Ягодини и Лѣвшины,— не разъ представился бы ей недостаточно *героичнымъ*. И не разъ сознательные пролетаріи огорчили бы ее такими поступками, которые показались бы ей лишенными революціонной страсти, «оппортунистическими». И она спорила бы со своими новыми товарищами, старалась бы убѣдить ихъ въ томъ, что они «должны быть герсы». Удалось ли бы ей это? Я не знаю. Это зависѣло бы отъ обстоятельствъ. Можетъ быть, и удалось бы, если бы вмѣстѣ съ нею на сторону рабочихъ перешло порядочное число другихъ, подобныхъ ей, интеллигентовъ. Исторія показываетъ, что первые шаги рабочаго движенія нерѣдко совершаются подъ рѣшительнымъ вліяніемъ интеллигенціи. Но тутъ не обходится безъ внутренней борьбы. Тутъ внутри движенія борются опять «двѣ тактики». Но когда рабочее движеніе крѣпнетъ, когда пролетаріатъ привыкаетъ ходить безъ интеллигентскихъ помочей, тогда окончательно торжествуетъ *пролетарская тактика*... И тогда интеллигенція мало-по-малу отворачивается отъ него.

Въ разговорѣ Лѣвшина и Ягодина съ Рябцовымъ есть еще одно мѣсто, на которое полезно обратить вниманіе при выясненіи психологическихъ условій пролетарской тактики. Вотъ оно.

Лѣвшинъ. Зря куда-то надо идти, надо понять... Ты молодой, а это каторга.

Рябцовъ. Ничего, я убѣгу.

Ягодинъ. Можетъ, и не каторга! Для каторги тебѣ, Пашокъ, года не вышли.

Лѣвшинъ. Будемъ говорить — каторга! Въ этомъ дѣлѣ—страшнѣе—лучше. Ежели человекъ и каторги не боится, значитъ, рѣшилъ твердо!

Это вѣрно! Старикъ Лѣвшинъ, который, по его собственнымъ словамъ, пожилъ и подумалъ, хорошо понимаетъ это. Но если бы ему пришлось спорить о революціонномъ «героизмѣ» съ Татьяной Луговой, то онъ, можетъ быть, и не сумѣлъ бы надлежащимъ образомъ использовать свое глубоко вѣрное замѣчаніе. «Въ этомъ дѣлѣ—страшнѣе—лучше». Справедливо! Но только ли въ томъ дѣлѣ, о которомъ идетъ рѣчь у Лѣвшина съ Рябцовымъ? О, нѣтъ! На свѣтѣ есть много-много дѣлъ, въ которыхъ «страшнѣе—лучше». И къ числу этихъ дѣлъ принадлежитъ освободительная борьба пролетаріата. Тутъ именно приходится постоянно помнить, что «страшнѣе—лучше», потому что если люди, борющіеся за освобожденіе пролетаріата, и страшнаго не боятся, то, *значитъ, твердо рѣшили*. А что же страшнѣе всего въ этой борьбѣ? Та гибель, которую она грозитъ своимъ участникамъ? Нѣтъ, гибелью ихъ испугать не такъ легко. Подите-ка испугайте гибелью молодого Рябцова, который спокойно и

просто, даже какъ бы съ легкой досадою на людей, считающихъ нужнымъ ободрять его, говорить: «Я рѣшилъ. Чего же?» Чтобы смутить такого человѣка, надо придумать нѣчто пострашнѣ гибели. Что же можетъ быть для него страшнѣ гибели? Для него страшнѣ гибели можетъ быть одно: *неудача того дѣла, которому онъ отдался вѣрнѣ своимъ сердцемъ и вѣрнѣ своимъ помышленіемъ.* И даже не полная неудача, не окончательное крушеніе надеждъ, связывавшихся съ этимъ дѣломъ, а хотя бы простое сознаніе того, что торжество дѣла, казавшееся близкимъ, уходитъ въ неопредѣленное будущее. При извѣстномъ настроеніи подобное сознаніе несомнѣнно страшнѣ смерти. И когда оно навязывается человѣку жизнью,—т. е. когда жизнь разбиваетъ слишкомъ оптимистическія представленія о близости побѣды,—тогда оно способно ввести отчаяніе даже и въ очень сильную душу. Вотъ почему участники освободительнаго движенія пролетаріата не должны обольщать себя слишкомъ розовыми надеждами; они должны избѣгать излишняго оптимизма. «Въ этомъ дѣлѣ—страшнѣ—лучше». Если люди готовы бороться, даже не питая никакихъ надеждъ на *близкую* побѣду; если они готовы даже на очень продолжительную борьбу, если ихъ рѣшимости не уничтожаетъ даже мысль о томъ, что имъ, можетъ быть, суждено умереть, не увидѣвъ, хотя бы издалека, обѣтованной земли, то, значитъ, они «рѣшили твердо». «Въ этомъ дѣлѣ—страшнѣ—лучше». Лѣвшинъ, разумѣется, сейчасъ не согласился бы съ этимъ. А бывшая актриса Татьяна Луговая, пожалуй, объявила бы это соображеніе «меньшевикскимъ» (или, тамъ, еще какимъ) «оппортунизмомъ». Революціонеры изъ буржуазной среды очень любятъ обманывать себя преувеличенными надеждами. Эти надежды нужны имъ, какъ воздухъ. Ихъ энергія поддерживается иногда именно только такими надеждами. Долгая, кропотливая работа систематическаго воздѣйствія на массу представляется имъ прямо скучной; они не видятъ въ ней ни страсти, ни героизма. И пока пролетарское движеніе подчиняется *ихъ* вліянію, оно само отчасти заражается ихъ романтическимъ оптимизмомъ. Романтическій оптимизмъ покидаетъ его только тогда, когда оно совершенно становится самимъ собой. Но такъ какъ неосновательный оптимизмъ,—именно въ слѣдствіе своей неосновательности,—периодически смѣняется крайнимъ упадкомъ духа, то онъ поистинѣ представляетъ собою проклятіе почти всякаго молодого рабочаго движенія, поддающаго подъ вліяніе интеллигенціи. Имъ объясняется значительная часть неудачъ, испытываемыхъ этимъ движеніемъ.

Интересно, что Горькій, писавшій въ «Новой Жизни»,—самъ, какъ видно, попалъ съ этой стороны подъ сильнѣйшее вліяніе интеллигенціи. Тактика «большевиковъ» кажется ему, какъ показала бы она и его Татьяна Луговой,—наиболѣе «страстной» и «героичной». Будемъ надѣяться, что его пролетарскій инстинктъ рано или поздно обнаружитъ не-

редь нимъ несостоятельность тѣхъ тактическихъ приѣмовъ, которые Энгельсъ еще въ началѣ пятидесятихъ годовъ такъ мѣтко называлъ *революціонной алхіміей*.

III.

Однако, вернемся къ нашимъ «сценамъ».

Буржуа, смотрящій на рабочую массу сквозь призму своихъ застарѣлыхъ предрассудковъ, не видитъ въ ней ничего, кромѣ сѣрой «толпы», а въ психологическихъ мотивахъ ея борьбы—ничего, кромѣ грубыхъ, почти животныхъ побужденій. Вѣдь, кто же не слышалъ о томъ, что классовая точка зрѣнія, на которую становятся сознательные пролетаріи, отличается крайней узкостью и исключаетъ всякую любовь къ «человѣку вообще». Максимъ Горькій, самъ вышедшій изъ пролетарской среды, знаетъ, до какой степени это невѣрно, и, въ своемъ качествѣ художника, показываетъ намъ это посредствомъ интереснаго художественнаго образа. Его Лѣвшинъ смотритъ на всѣхъ людей добрымъ, всепрощающимъ взглядомъ полумифическаго мученика, который, говорятъ, молился о своихъ смертельныхъ врагахъ: «не вѣдаютъ, что творять». Когда становой кричитъ на Лѣвшина по поводу его ареста: «Не стыдно тебѣ? Старый чортъ!» и когда рабочій Грековъ возражаетъ становому: «Зачѣмъ же вы ругаетесь?»,—Лѣвшинъ съ своей стороны спокойно замѣчаетъ: «Ничего! Должность такая... обижающая!» *Злобы* не вызываютъ въ немъ даже и обижающіе люди. Борьба за существованіе въ капиталистическомъ обществѣ производитъ на него тяжелое впечатлѣніе безчеловѣчной давки. Онъ говоритъ хозяйской племянницѣ Надѣ: «Все человѣческое на землѣ мѣдью отравлено, милая барышня. Вотъ отчего скучно душѣ вашей молодой... Всѣ люди связаны мѣдной копейкой, а вы свободная еще, и нѣтъ вамъ мѣста въ людяхъ. На землѣ каждому человѣку копейка звенить: возлюбилъ меня, яко самого себя... а васъ это не касается!» Рабочій Ягодинъ не безъ насмѣшки замѣчаетъ ему: «Ты, Ефимычъ, и на камнѣ сѣшь... Чудакъ... напрасно стараешься... Развѣ они поймутъ? Рабочая душа пойметъ, а господской это не по недугу». Но онъ не поддается на этотъ доводъ: «Душа душой,—говоритъ онъ,—да, вѣдь, всѣ около одного мѣста трутся». Онъ, повидимому, еще раньше, чѣмъ столкнулся съ социалистами, пришелъ къ тому твердому выводу, что зло не въ людяхъ, а именно въ «копейкѣ». Его несложный, но своеобразный и глубоко человѣчный взглядъ на жизнь ярко выразился въ его разговорѣ съ той же Надѣй и съ уже знакомой намъ актрисой Татьяной Луговой.

Послѣ убійства Михаила Скроботова, когда тѣло убитаго еще лежитъ въ домѣ въ ожиданіи похоронъ и... судебного слѣдствія, впечатлительная Надя спрашиваетъ Татьяну: «Тетя Тая! Почему, когда въ домѣ мертвый, всѣ говорятъ тихо?» Татьяна отвѣчаетъ: «Я не знаю». А Лѣв-

шинъ, оказавшійся въ роли караульщика, слѣшитъ сказать свое грустное слово:

Львшинъ (съ улыбкой). Потому, барышня, что виноваты мы передъ покойникомъ, кругомъ виноваты...

Надя. Но, вѣдь, не всегда, Ефимычъ, людей... вотъ такъ... убиваютъ... При всякомъ покойникѣ тихо говорить...

Львшинъ. Милая! Всѣхъ мы убиваемъ! Которыхъ пулями, которыхъ словами; всѣхъ мы убиваемъ дѣлами нашими. Гонимъ людей со свѣту въ землю и не видимъ этого и не чувствуемъ... а вотъ, когда бросимъ челоуѣка смерти, тогда и пойдемъ нашу вину передъ нимъ. Станетъ жалко умершаго, стыдно передъ нимъ и страшно въ душѣ... вѣдь, и насъ также гонять, и мы въ могилу приготовлены!..

Надя. Да-а... это страшно!

Львшинъ. Ничего! Теперь—страшно, а завтра—все пройдетъ. И опять начнутъ люди толваться... упадетъ челоуѣкъ, котораго затолкаютъ, всѣ замолчатъ на минутку, сконфузятся... вздохнуть — да и опять за старое!.. опять своимъ путемъ.. Темнота! А путь у всѣхъ одинъ... тѣсно, да... А вотъ вы, барышня, вины своей не чувствуете,—вамъ и покойники не мѣшаютъ, вы и при нихъ можете громко говорить...

Татьяна. Что нужно сдѣлать, чтобы жить иначе?.. Вы знаете?

Львшинъ (таинственно). Копейку надо уничтожить... скоронить ее надо... Ее не будетъ—зачѣмъ враждовать, зачѣмъ тѣснить другъ друга?

Татьяна. Это—все?

Львшинъ. Для начала—хватить.

Татьяна. Хочешь пройтись по саду, Надя?

Надя (задумчиво). Хорошо...

Конецъ разговора кажется мнѣ характернымъ для Татьяны. Своеобразный «экономическій матеріализмъ» Лѣвшина могъ вызвать въ ней на первый разъ только желаніе «пройтись по саду». Мы уже знаемъ, что ей нужны страсти и героизмъ, а разсужденія о копейкѣ какъ будто не оставляютъ даже самомалѣйшаго мѣста ни для страсти, ни для героизма. Копейка, это—ничто до такой степени прозаическое, что всякіе толки о ней должны нагонять,—по крайней мѣрѣ, съ непривычки,—непроходимую скуку на «тонко» чувствующаго «культурнаго» челоуѣка. Но въ томъ-то и дѣло, что Лѣвшину этотъ вопросъ представляется въ совершенно другомъ свѣтѣ. И это вполне объясняется тѣмъ, что онъ смотритъ на прозаическую копейку со своей осбой, пролетарской точки зрѣнія.

Тутъ я позволю себѣ сдѣлать маленькое отступленіе. Когда-то покойный Некрасовъ, изобразивъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній старуху-крестьянку, оплакивающую смерть своего сына, заставилъ ее причитать:

Кто, какъ износится пубонька теплая,
Зайчиковъ новыхъ набьетъ?

Потомъ старуха со слезами вспоминая о своемъ сынѣ, говоря о томъ, что у нея вся развалилась изба, и т. д. Это не понравилось нѣкоторымъ изъ тогдашнихъ критиковъ. Они нашли, что это «грубо». До

избы ли и до шубоньки ли тутъ,—закричали они,—когда умеръ любимый сынъ! Если память мнѣ не измѣняется, кто-то даже упрекнулъ Некрасова въ оклеветаніи народа. Оно, и въ самомъ дѣлѣ, у Некрасова на первый взглядъ выходитъ какъ будто слишкомъ «матеріалистично». Старуха оплакиваетъ какъ будто не столько смерть сына, сколько утрату возможности получить новую «шубоньку». И если сравнить съ этимъ произведеніемъ русской «музы и печали», напимѣръ, стихотвореніе, написанное Викторомъ Гюго на смерть своего ребенка, то упрекъ, сдѣланный Некрасову упомянутыми критиками, покажется еще болѣе основательнымъ. У знаменитаго французскаго романиста нѣтъ и помину не только объ избенкѣ и шубонькѣ, но и вообще ни о чемъ матеріальномъ. У него говорится только о чувствахъ, и, конечно, о самыхъ искреннихъ и достойныхъ уваженія чувствахъ. Поэтъ вспоминаетъ, какъ онъ вечеромъ, отдыхая отъ работы, бралъ къ себѣ на колѣни своего ребенка, подавалъ ему игрушки и т. д. Мнѣ очень жаль, что у меня въ данную минуту нѣтъ подъ руками этихъ двухъ стихотвореній и что я не помню ихъ наизусть. Достаточно было бы сопоставить нѣкоторые отрывки изъ нихъ, чтобы съ ясностью видѣть, какъ сильно отличается способъ изображенія горя у Гюго отъ некрасовскаго способа изображенія того же чувства. Однако, это еще отнюдь не доказываетъ, что правы были критики, обвинявшіе несчастную некрасовскую старуху въ грубомъ матеріализмѣ. Чѣмъ, собственно, отличается горе Гюго отъ горя некрасовской старухи? Тѣмъ, что у Гюго воспоминаніе объ утраченномъ любимомъ существѣ *сочетается* съ совершенно другими представленіями, нежели у старухи. *И только.* Чувство—одно и то же, но сопровождающая его *ассоціація представленій* совершенно другая. Чѣмъ же вызвано это различіе въ ассоціаціи представленій? Обстоятельствами, отъ чувства совершенно независящими. Во-первыхъ, ребенокъ, вообще, не можетъ ни избы построить, ни зайчиковъ набить. Во-вторыхъ, — и это здѣсь, конечно, самое главное,—Викторъ Гюго былъ настолько обезпеченъ въ матеріальномъ отношеніи, что ему и не приходилось связывать вопросъ о средствахъ къ существованію съ вопросомъ о жизни своихъ дѣтей. Это послѣднее обстоятельство я и называю обстоятельствомъ, отъ чувства нисколько независящимъ: извѣстно, что матеріальная обезпеченность человѣка не стоитъ въ причинной связи съ его чувствами вообще и съ его родительскими чувствами въ частности. Матеріальная обезпеченность человѣка зависитъ отъ его *экономическаго положенія въ обществѣ*; положеніе же это опредѣляется не психологическими, а совсѣмъ другими причинами.

Но если экономическое положеніе людей нисколько не зависитъ отъ глубины ихъ чувствъ, то отъ этого положенія зависитъ *im Grossen und Ganzen* та обстановка, въ которой живутъ люди; а этой обстановкой опредѣляется характеръ тѣхъ представленій, съ которыми сочетается (ассо-

цируется) у нихъ представленіе о дорогихъ имъ существахъ. Такимъ образомъ, *экономія* общества опредѣляетъ собою *психологию* его членовъ.

Условія жизни Виктора Гюго не были похожи на условія жизни русскаго крестьянства. Неудивительно, что и представленіе объ утраченномъ ребенкѣ ассоциировалось у него съ представленіями, совершенно непохожими на тѣ, съ которыми должны сочетаться у крестьянъ представленія объ утрачиваемыхъ ими дорогихъ существахъ. Поэтому и горе, вызванное этой утратой, непременно должно было выразиться у него иначе, нежели выражается оно у людей, находящихся въ положеніи некрасовской старухи. Выходить, стало быть, что Некрасовъ, пожалуй, и не такъ неправъ, какъ это кажется на первый взглядъ. Но главное въ томъ, что имъ не сдѣлано было даже и *попытки* къ оклеветанію народа. Горе, вызываемое утратой любимаго существа, отнюдь не перестаетъ быть глубокимъ отъ того, что представленіе о такой утратѣ *сочетается съ представленіями, относящимися къ, такъ называемымъ, матеріальнымъ потребностямъ*. Некрасовская старуха вспоминаетъ о зайчикахъ и о развалившейся избенкѣ не потому, что удовлетвореніе ея матеріальныхъ потребностей дороже для нея, нежели сыновняя любовь, а потому, что сыновняя любовь,—которая, вѣроятно, была ей дороже всего на свѣтѣ,—*проявлялась въ заботахъ сына объ удовлетвореніи матеріальныхъ потребностей матери*. У богатыхъ людей дѣтская любовь проявляется въ заботахъ другого рода, потому что *матеріальныя потребности «господъ» удовлетворяются услугами наемныхъ,—а раньше крѣпостныхъ,—слугъ*. Оттого-то «городскія» чувства могутъ показаться на первый, поверхностный, взглядъ болѣе тонкими и возвышенными. Критики, осуждавшіе Некрасова, привыкли наблюдать именно «господскія», *по внѣшности болѣе тонкія и возвышенныя чувства*. Поэтому они и обрушились на совершенно невинныхъ «новыхъ» зайчиковъ бѣдной некрасовской старушки. Поэтому они и закричали о клеветѣ.

Все это я говорю для того, чтобы представить въ надлежащемъ освѣщеніи выдвинутый Лѣвшинымъ вопросъ о «копейкѣ». Люди, такъ или иначе принадлежащіе къ «вышнимъ классамъ» общества, привыкли считать этотъ вопросъ очень прозаическимъ. И они правы въ томъ смыслѣ, что разъ человѣкъ пользуется матеріальной обезпеченностью, то для него вопросъ о большемъ или меньшемъ числѣ копеекъ, находящихся въ его распоряженіи, *въ огромнѣйшемъ большинствѣ случаевъ* сводится къ вопросу о возможности полученія большаго или меньшаго количества матеріальныхъ наслажденій: «приставить кушетку къ камину, друзей угостить за столомъ» и т. п. И тотъ человѣкъ, который, принадлежа къ вышнимъ классамъ, не интересуется разговорами о «копейкѣ», справедливо считается человѣкомъ болѣе тонкихъ стремленій. Но для людей, принадлежащихъ къ, такъ называемымъ, низшимъ классамъ,—особенно для пролетаріата,

съ пробуждающимся въ немъ стремленіемъ къ знанію, — «копейка» имѣетъ совсѣмъ другой смыслъ. Можно статистически доказать, что чѣмъ выше заработная плата даннаго слоя рабочихъ, тѣмъ большая доля ея идетъ на удовлетвореніе *духовныхъ* потребностей рабочаго. Стало быть, для пролетарія борьба за «копейку» уже сама по себѣ есть борьба за сохраненіе и развитіе своего человѣческаго достоинства. Этого обыкновенно не хотятъ понять люди «высшихъ классовъ», презрительно пожимающіе плечами по поводу «грубости» цѣлей, преслѣдуемыхъ освободительной борьбой рабочаго класса. И это вполне понятно мыслящимъ пролетаріямъ вродѣ Лѣвшина. Но, необходимо замѣтить, стремленіе Лѣвшина вовсе не ограничивается умноженіемъ числа «копеекъ», составляющихъ доходъ рабочаго. Для него «копейка» — символъ цѣлаго строя. Его любящая душа изстрадалась отъ зрѣлища той жестокой свалки, которая происходитъ ради «копейки» въ капиталистическомъ обществѣ. Онъ «конфузится» отъ этой свалки за себя и за своихъ ближнихъ. И онъ пристаетъ къ социалистамъ, желающимъ того же, къ чему стремится его честная и чуткая душа: «уничтожить копейку», т. е. устранить нынѣшній экономическій строй. Волѣдствіе этого вопросъ о «копейкѣ», нагоняющій такую скуку на нелишенныхъ высокихъ стремленій людей «высшихъ классовъ», приобретаетъ въ его глазахъ величайшее общественное значеніе: «уничтожить копейку» для него значитъ уничтожить все то зло, которое дѣлается теперь людьми въ экономической борьбѣ за существованіе. А это уже, какъ видите, не *проза*; увлеченіе этимъ — это самая высокая *поэзія*, до которой только способенъ дорасти нравственно развитой человѣкъ.

IV.

«Уничтожить копейку!» Прекратить ту жестокою и позорною борьбу за существованіе, которая ведется теперь въ человѣческомъ обществѣ!

Величіемъ этой цѣли вполне способенъ проникнуться даже и человѣкъ, стоящій на точкѣ зрѣнія «высшихъ классовъ». Но мы уже видѣли: для него стремленіе къ «копейкѣ» равносильно стремленію приобрести новыя средства къ удовлетворенію *матеріальныхъ* потребностей. Поэтому для него вопросъ объ «уничтоженіи копейки» не затрагиваетъ общественныхъ отношеній, а переносится *въ область морали*. Уничтожить власть копейки значитъ — жить просто, не приучать себя къ роскоши, довольствоваться малымъ. Уничтожить копейку значитъ — уничтожить въ себѣ самомъ алчность и другіе пороки. Справьтесь съ самимъ собою, и все пойдетъ хорошо. «Царство Божіе внутри васъ».

Для Лѣвшинныхъ вопросъ объ уничтоженіи «копейки» по необходимости становится общественнымъ вопросомъ. Лѣвшинъ принадлежитъ къ тому общественному классу, который не могъ бы перестать бороться за

«копейку» даже въ томъ случаѣ, если бы онъ рѣшился слѣдовать хорошему совѣту хорошихъ людей изъ «высшихъ классовъ»: жить просто,— не могъ бы по той простой причинѣ, что ему приходится вести борьбу *не за излишнее, а за необходимое*. Для него это заключается не въ томъ, что «копейка» развращаетъ его, рисуя передъ нимъ картину тѣхъ «искусственныхъ» удовольствій, которыя онъ могъ бы получить въ обмѣнъ на нее, а въ томъ, что онъ долженъ подчиняться ей, потому что, не подчинившись ей, онъ лишается всякой возможности удовлетворить самыя «естественныя» и самыя насущныя свои физическія и духовныя потребности; стало быть, для него вопросъ о нравственности неизбѣжно становится *соціальнымъ* вопросомъ. «Царство Божіе», конечно, «внутри насъ». Но, чтобы обрѣсти его внутри насъ, нужно сокрушить «врата адовы», а эти «врата» не *внутри*, а *внѣ* насъ, не въ нашей *душѣ*, а въ нашихъ общественныхъ отношеніяхъ. Такъ долженъ былъ бы отвѣтить Лѣвшинъ, если бы какой-нибудь «хорошій господинъ» пришелъ къ нему съ проповѣдью, скажемъ гр. Льва Толстого.

Лѣвшинъ потому и сдѣлался социалистомъ, что на опытѣ узналъ силу «копейки» во всемъ ея объективномъ, т. е. общественномъ значеніи. И именно потому, что онъ узналъ эту силу, онъ, по природѣ самый мягкій человекъ, онъ, склонный ко всепрощенію, не отступаетъ даже передъ насильственными средствами. Мы уже знаемъ, что онъ далеко не сторонникъ, такъ называемаго, террора. Но онъ противъ него собственно по *тактическимъ* соображеніямъ, т. е. по соображеніямъ *цѣлесообразности*. Когда Рябовъ выражаетъ свое сожалѣніе о томъ, что ему приходится погибать изъ-за злого человека, добрый и всепрощающій Лѣвшинъ съ жестокостью, можно сказать, совершенно неожиданной, возражаетъ: «Злого и убить. Добрый самъ помретъ». Онъ полонъ любви, но диалектика общественной жизни отражается въ его душѣ въ видѣ диалектики чувства, и любовь дѣлаетъ его борцомъ, способнымъ на самыя суровыя рѣшенія. Онъ чувствуетъ, что безъ нихъ нельзя обойтись, что безъ нихъ зла будетъ еще больше, и онъ не отступаетъ передъ ними, хотя ихъ необходимость и ощущается имъ, какъ нѣчто весьма тяжелое.

«Не противьтесь злу насиліемъ», учить гр. Толстой. И онъ подкрѣпляетъ свою проповѣдь чѣмъ-то вродѣ элементарнаго арифметическаго расчета. Насиліе само по себѣ есть зло. Противопоставлять насиліе злу значить не устранять зло, а прибавлять новое зло къ старому. Эта аргументація чрезвычайно характерна для гр. Л. Толстого. Противопоставленіе насилія злу представляется нашему аристократическому «учителю жизни» въ видѣ наказанія смертью за убійство: *убійство+убійство=* *=двумъ убійствамъ*. Выражая это въ общей формулѣ, получаемъ: *насиліе+насиліе=двумъ насиліямъ*. А потомъ—новое убійство и новая смертная казнь, т. е. еще одно убійство. Зло не устраняется здѣсь наси-

ліемъ,—это такъ. Но почему такъ? Потому что преступность всякаго даннаго общества зависитъ отъ его устройства, и пока не измѣнилось это устройство,—или, по крайней мѣрѣ, пока не *смягчились* извѣстныя черты его,—нѣтъ и причины для уменьшенія преступности. Теперь спрашивается: измѣняетъ ли палачъ общественное устройство? Конечно, нѣтъ. Палачъ не революціонеръ и даже не реформаторъ; онъ консерваторъ по преимуществу. Ясно, что странно было бы ждать отъ насилія, практикуемаго палачемъ, уменьшенія зла, выражающагося въ преступности. А если бы насиліе измѣнило къ лучшему общественное устройство, если бы оно устранило значительную часть тѣхъ *причинъ*, которыми вызывается преступность, то оно привело бы *не къ умноженію зла, а къ его уменьшенію*. Такимъ образомъ, вся аргументація гр. Толстого распадается, какъ картонный домикъ, едва только мы покидаемъ точку зрѣнія уголовного возмездія и переходимъ на *точку зрѣнія общественного устройства*. Но гр. Толстой никогда не умѣлъ усвоить себѣ эту точку зрѣнія: онъ слишкомъ пропитанъ аристократическимъ консерватизмомъ. А пролетаріи, подобные Лѣвшину и его товарищамъ, самымъ положеніемъ своимъ въ обществѣ вынуждаются къ ея усвоенію: вѣдь извѣстно, что они ничего не могутъ потерять, кромѣ своихъ цѣпей, а выиграть они должны, благодаря цѣлесообразной передѣлкѣ общественнаго строя, цѣлый міръ. Точка зрѣнія общественного переустройства есть та точка зрѣнія, къ которой они предрасполагаются *инстинктомъ*, прежде чѣмъ научаются понимать ее *разумомъ*. Ихъ поле зрѣнія *не суживается, а расширяется*, благодаря ихъ общественному положенію. И потому имъ легко понять холодную *безнравственность* толстовской *нравственности*. И потому ихъ человѣколюбіе имѣетъ прежде всего *дѣятельный* характеръ. Они считаютъ себя обязанными *устранять зло, а не устранять себя* отъ участія въ немъ.

«Милая, всѣхъ мы убиваемъ! Которыхъ пулями, которыхъ словами; всѣхъ мы убиваемъ дѣлами нашими. Гонимъ челоуѣка со свѣту въ землю и не видимъ этого и не чувствуемъ... и насъ также гонятъ, и мы въ могилу приготовлены»...

Такъ говоритъ Лѣвшинъ Надѣ. Можете ли вы утверждать, что это не правда? И можете ли вы сказать, что не изъ-за «копейки» дѣлается все это? А если не можете, если правъ Лѣвшинъ, говорящій, что «всѣхъ мы убиваемъ», то непротивленіе злу насиліемъ, составляющее одинъ изъ видовъ *косвеннаго поддержанія* существующаго порядка, само является однимъ изъ видовъ косвеннаго участія въ насиліи. Моралисты съ психологіей людей изъ «высшихъ классовъ» могутъ утѣшаться тѣмъ соображеніемъ, что это участіе въ насиліи имѣетъ все-таки только *косвенный* характеръ. Чуткая совѣсть Лѣвшиныхъ такимъ соображеніемъ не удовлетворяется.

Моралисты изъ «высшихъ классовъ» говорятъ: отойди отъ зла, сотворишь благо. Мораль пролетаріата говоритъ: «отходя отъ зла, ты все-таки продолжаешь поддерживать его существованіе; надо уничтожить зло, чтобы сотворить благо». Эта разница въ морали коренится въ различіи общественнаго положенія. Максимъ Горькій въ лицѣ Лѣвшина ярко иллюстрировалъ передъ нами указываемую мною сторону пролетарской морали. И этого одного было бы достаточно, чтобы сдѣлать его новую пьесу замѣчательнымъ художественнымъ произведеніемъ.

Говорятъ, что это произведеніе не имѣло успѣха въ Берлинѣ, гдѣ «На дни» выдержало, однако, множество представленій. Меня это нисколько не удивляетъ. Хорошо изображенный босякъ ((Lumpenproletarier) можетъ заинтересовать буржуазнаго любителя искусства; хорошо изображенный сознательный рабочий долженъ вызвать въ немъ цѣлый рядъ самыхъ непріятныхъ представленій. Что же касается берлинскихъ пролетаріевъ, то имъ вынѣшней зимой было не до театра.

Но буржуазный любитель искусства можетъ сколько ему угодно хвалить или порицать произведенія Горькаго. Фактъ останется фактомъ. У художника Горькаго, у покойнаго художника Г. И. Успенскаго можетъ многому научиться самый ученый соціологъ. Въ нихъ—цѣлое откровеніе.

А какимъ языкомъ говорятъ всѣ эти пролетаріи Горькаго! Тутъ все хорошо, потому что тутъ нѣтъ ничего придуманнаго, а все «настоящее». Пушкинъ совѣтовалъ когда-то нашимъ писателямъ учиться русскому языку у московскихъ просвиренъ. Максимъ Горькій, художникъ-пролетарій, у колыбели котораго не стояли иностранныя «бонны», не имѣетъ нужды слѣдовать пушкинскому совѣту. Онъ и безъ просвиренъ прекрасно владѣетъ великимъ, богатымъ и могучимъ русскимъ языкомъ.

СТАТЬИ ЭКОНОМИЧЕСКІЯ
И
ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКІЯ.

Новое направленіе въ области политической экономіи ¹⁾.

D-r. Moritz Meyer—*Die neuere National-Oekonomie in ihren Hauptrichtungen.*
Em. de Laveley—*Le socialisme contemporain.*

Всякій, кто слѣдилъ за современной литературой въ области экономической науки, не могъ оставить незамѣченнымъ то явленіе, что на-ряду съ «ортодоксальными» ученіями, какъ они вышли нѣкогда изъ-подъ пера экономистовъ-классиковъ,—ученіями, дополненными и исправленными «учеными» вродѣ Бастіа, — вырастаетъ новое направленіе, отрекающееся одновременно отъ Рикардо и отъ Бастіа и грозящее, повидимому, не оставить камня на камнѣ въ зданіи «манчестерства». Это новое направленіе въ экономической наукѣ пріобрѣтаетъ все большее количество послѣдователей и уже въ настоящее время занимаетъ довольно крѣпкую позицію въ литературѣ и въ университетахъ передовыхъ европейскихъ народовъ. Значительная часть нѣмецкихъ университетскихъ кафедръ занята, такъ называемыми, катедеръ-соціалистами, взгляды которыхъ встрѣчаютъ сочувствіе и поддержку въ цѣлой фалангѣ итальянскихъ, датскихъ и даже англійскихъ ученыхъ.

Только въ странахъ французскаго языка новаторскія стремленія катедеръ-соціалистовъ встрѣтили равнодушный и даже враждебный пріемъ. Но и здѣсь ученая ересь начинаетъ оказывать свое вліяніе. И здѣсь, рядомъ съ сочиненіями, вродѣ книги Молиари «L'évolution économique du XIX siècle»; рядомъ съ увѣреніями въ томъ, что «естественные законы» народнаго хозяйства продолжаютъ какъ нельзя лучше содѣйствовать развитію общаго богатства и благосостоянія; рядомъ съ традиціоннымъ «laissez faire, laissez passer»,—слышатся другія слова, раздаются другія увѣренія, предлагаются новые девизы. Къ числу такихъ, пока еще немногочисленныхъ тамъ, отщепенцевъ принадлежитъ извѣстный авторъ книги о «Первобытной собственности»—Эмиль-де-Лавелъ, выпустившій

¹⁾ Написано въ 1885 году.

недавно въ свѣтъ новое сочиненіе «О современномъ социализмѣ». Нѣкоторыя главы этого, вообще небезынтереснаго съ фактической стороны труда бельгійскаго профессора затрагиваютъ вопросы «о новыхъ тенденціяхъ въ политической экономіи», объ «отношеніи политической экономіи къ морали, праву, политикѣ и исторіи и т. д., и т. д. Разсматривая каждый изъ этихъ вопросовъ, авторъ настаиваетъ на необходимости пересмотра положеній «старой школы» съ точки зрѣнія катедеръ-соціализма, или, какъ его правильнѣе называютъ, «историко-реалистическаго направленія».

Чѣмъ же вызывается это критическое отношеніе къ догматамъ школы, считавшейся нѣкогда непогрѣшимой? Съ какой стороны затрагиваетъ «старую школу» критика экономистовъ-«реалистовъ»? Наконецъ, отказываясь отъ завѣщаннаго классической и вульгарной экономіи наслѣдства, расходясь какъ со Смитомъ и Рикардо, такъ и съ Бастіа, представляетъ ли собою «историко-реалистическое» направленіе самостоятельную и цѣльную систему, охватившую всѣ явленія современной экономической жизни, всѣ завоеванія современной науки?

Въ предлагаемой статьѣ мы попытаемся отвѣтить на эти вопросы, опираясь на данныя, заключающіяся въ выписанныхъ выше новостяхъ иностранной экономической литературы. При этомъ вопросъ о причинахъ постоянно возрастающаго критическаго отношенія къ положеніямъ «манчестерства» заставитъ насъ бросить бѣглый взглядъ на обстоятельства, при которыхъ это ученіе начало клониться къ упадку и уступать мѣсто новымъ экономическимъ теоріямъ.

I.

Сочиненія Д. Рикардо представляютъ собою высшую, кульминационную точку въ развитіи классической политической экономіи. Основныя положенія тогдашней науки были съ неуклонной послѣдовательностью приложены знаменитымъ экономистомъ къ рѣшенію всѣхъ вопросовъ производства, обмена и распредѣленія, обращавшихъ на себя въ то время вниманіе изслѣдователя. Эти вопросы были, разумѣется, непохожи на «проклятые вопросы» настоящаго времени. Не нужно забывать, что главное сочиненіе Рикардо, «Начала политической экономіи», появилось еще въ 1817 году, т. е. шестьдесятъ четыре года тому назадъ. Капиталистическій способъ производства тогда еще только завоевывалъ себѣ господствующее положеніе въ сферѣ западно-европейскихъ экономическихъ отношеній; буржуазія спорила еще за власть и преобладаніе съ поземельной аристократіей; наконецъ, промышленныя кризисы не сдѣлались еще въ то время періодически возвращающимся бѣдствіемъ цивилизованныхъ націй. Къ общественнымъ же наукамъ, болѣе чѣмъ къ какимъ-либо другимъ, примѣнимы слова Ж. Б. Вико, утверждавшаго,

что «все науки родились изъ общественныхъ потребностей и нуждъ народовъ» и что «ходъ идей соотвѣтствуетъ ходу вещей». «Общественныя потребности» и нужды западно-европейскихъ народовъ были совсѣмъ иныя въ началѣ XIX вѣка, чѣмъ въ настоящее время. Передъ современниками Рикардо не стоялъ еще грознымъ призракъ рабочей вопросъ; они не знали еще, до какихъ противорѣчій можетъ дойти капиталистическій способъ производства. Они видѣли капитализмъ лишь съ его положительной стороны, съ точки зрѣнія увеличенія національнаго богатства. Правда, ученымъ того времени былъ уже извѣстенъ законъ заработной платы, названный впоследствии «железнымъ и жестокимъ» закономъ. Еще Тюрго писалъ, что «во всѣхъ отрасляхъ труда должно происходить и происходить въ самомъ дѣлѣ, что плата рабочаго ограничивается тѣмъ, что необходимо ему для поддержанія его существованія» ¹⁾.

Вслѣдъ за нимъ, отыскивая естественную норму заработной платы, Ад. Смитъ также находилъ, что она должна дать рабочему средства, необходимыя для его существованія и воспитанія сына, который могъ бы замѣнить своего отца, когда руки послѣдняго окажутся неудовлетворяющими болѣе своему назначенію ²⁾. Что касается Рикардо, то онъ не только не отрицалъ указанной его предшественниками нормы заработной платы, но, напротивъ, придавалъ ученію о ней тотъ законченный видъ, въ которомъ оно стало извѣстно подъ именемъ «закона заработной платы Рикардо». «Естественная цѣна трула есть, по мнѣнію этого послѣдняго, та, которая, вообще, необходима для доставленія рабочимъ средствъ къ существованію и продолженію своего рода, какъ безъ возрастанія, такъ и безъ уменьшенія» ³⁾. Такимъ образомъ, Рикардо и его предшественники—основатели экономической науки имѣли уже совершенно опредѣленный и далеко не розовый взглядъ на положеніе рабочихъ въ капиталистическомъ обществѣ (о дирирамбахъ «экономической гармоніи» въ то время еще не задумывались), но тѣмъ не менѣе рабочей вопросъ, въ собственномъ смыслѣ этого слова, интересовалъ ихъ еще очень мало. Безучастность отношенія экономистовъ-классиковъ къ судьбѣ рабочаго класса можетъ иногда показаться просто невѣроятною для современнаго читателя. Такъ, напр., по поводу вопроса о заработной платѣ Ад. Смида цитируетъ Кантильона, утверждавшаго, что плата рабочаго должна дать ему средства для содержанія двухъ дѣтей. Смитъ замѣчаетъ, что при большой смертности дѣтей, доходящей до 50%, «бѣднѣйшіе рабочіе должны стараться воспитать, по крайней мѣрѣ, 4-хъ дѣтей, чтобы только

¹⁾ См. *Reflexions sur la formation et distribution des richesses*, p. 10.

²⁾ *Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations*, p. 88—89.

³⁾ Сочиненіе Рикардо, выпускъ 1, стр. 54—55.

двое изъ нихъ могли достигъ зрѣлаго возраста»¹⁾ и служить, такимъ образомъ, для «поддержанія рода». И этотъ фактъ громадной смертности, поражающей, главнымъ образомъ, молодое рабочее поколѣнiе,—смертности, при которой половина дѣтей заранѣе обрекается на гибель, чтобы другая могла удостоиться счастья и чести вынести на рынокъ свои «руки»,—не останавливаетъ на себѣ вниманія «отца политической экономіи».

«Адамъ Смитъ,—воскликаетъ Прудонъ въ своихъ «экономическихъ противорѣчiяхъ»,—видитъ и не понимаетъ; онъ рассказываетъ и не разумѣетъ смысла своего разсказа; онъ говоритъ по внушенію Бога, безъ удивленія и благоговѣнія, и внутренній смыслъ его словъ остается для него закрытою книгою!» И дѣйствительно, истинный смыслъ и значеніе капитализма оставались «*lettre close*» для экономистовъ-классиковъ. Интересы рабочихъ они продолжали связывать съ возрастаніемъ «народнаго богатства» и въ этомъ возрастаніи видѣли единственное средство врачеванія общественныхъ бѣдствій.

Впрочемъ, и во время Рикардо были уже явленія, обнаруживавшія нѣкоторыя изъ противорѣчій капитализма. Однимъ изъ важнѣйшихъ явленій этого рода была борьба рабочаго съ усовершенствованнымъ орудіемъ его труда—машиной. Введеніе машинъ затрагивало интересы всѣхъ участвующихъ въ производствѣ «факторовъ», но затрагивало ихъ съ совершенно различныхъ сторонъ и въ діаметрально-противоположномъ смыслѣ. Для работодателей введеніе машинъ означало увеличеніе производительности труда занятыхъ въ производствѣ рабочихъ, или, какъ выражались тогда, уменьшеніе издержекъ производства, удешевленіе продуктовъ, расширеніе сбыта, пожалуй, завоеваніе новыхъ рынковъ и т. п. Словомъ, фабрикантъ по самому своему положенію склоненъ былъ видѣть лишь положительную сторону послѣдствій введенія машинъ. Для рабочаго, напротивъ, это введеніе знаменовало собою уменьшеніе спроса на трудъ, пониженіе задѣльной платы, а временами и безработицу. Немудрено поэтому, что рабочій недружелюбно относился къ машинамъ. Противорѣчiя капитализма обнаруживались прежде всегда недѣльнымъ явленіемъ борьбой производителя съ орудіемъ его труда. Изъ средства облегченія физическаго труда и увеличенія власти человѣка надъ природой—машина сдѣлалась вѣрнѣйшимъ средствомъ угнетенія трудящихся. И вотъ послѣдніе борются противъ введенія машинъ какъ путемъ петицій, такъ и открытыми бунтами. Во время кризиса 1815 года «все ожесточеніе рабочихъ, по словамъ Макса Вирта, обратилось на машины, въ которыхъ они видѣли причину застоя въ дѣлахъ. Въ различныхъ мѣстностяхъ затѣвались бунты съ цѣлью уничтоженія машинъ; молотилки, прядильныя машины и ткацкіе станки ломали

¹⁾ Ad. Smith, *ibid*, p. 89.

и бросали въ огонь». Когда тотъ или другой жизненный вопросъ требуетъ такъ настойчиво своего разрѣшенія, то онъ, разумѣется, не можетъ остаться незамѣченнымъ наукою, если только ея представители не закрываютъ на него умышленно глазъ. Но въ то время къ такому умышленному закрытію глазъ на явленія жизни еще не было поводовъ. Протестъ рабочихъ выражался въ такой грубой, примитивной формѣ; онъ направлялся противъ такихъ необходимыхъ и очевидно полезныхъ для производства техническихъ усовершенствованій; наконецъ, сознание особенностей своего положенія, какъ класса, было еще такъ слабо развито въ умахъ самихъ рабочихъ, что ни самой буржуазіи, ни ученымъ ея представителямъ не могло внушить серьезныхъ опасеній констатированіе указаннаго выше противорѣчія капитализма. Каждый изъ лучшихъ и честнѣйшихъ представителей буржуазной экономіи могъ, какъ это сдѣлалъ Рикардо, признать, что «замѣна машинами человѣческаго труда наноситъ часто большой вредъ интересамъ рабочаго класса», и въ то же время, безъ всякихъ сдѣлокъ со своею совѣстью, прибавить: «надѣюсь, что установленныя мною положенія не ведутъ къ заключенію, что машины не должны быть доопрямлены». Рикардо совершенно вѣрно полагалъ, что «употребленію машинъ никогда нельзя препятствовать въ государствѣ безнаказанно».

Такъ современная имъ экономическая жизнь передовыхъ европейскихъ народовъ позволяла Рикардо и его непосредственнымъ ученикамъ сохранять полную научную безпристрастность, стоя, въ то же время, цѣликомъ на точкѣ зрѣнія буржуазіи, отождествляя процессы ея обогащенія съ исторіей обогащенія всего общества. Благодаря этой объективности положенія школы Рикардо имѣли и имѣютъ огромное научное значеніе. Систематичность, ясность и строгая научность ученій Рикардо оставляли желать весьма немногаго. Казалось бы, что экономистамъ послѣдующаго времени оставалось лишь принять полностью завѣщанное великимъ экономистомъ наслѣдство и продолжать строить начатое имъ зданіе науки по выработанному имъ плану.

Но развитіе экономической жизни западно-европейскихъ народовъ шло своимъ путемъ; на историческую арену стали пробиваться новыя общественныя группы; незамѣтныя прежде, противорѣчія капитализма обнаруживались все съ большею и большею ясностью, а вмѣстѣ съ этимъ и въ наукѣ стали обнаруживаться новыя теченія, болѣе или менѣе сильно отклоняющіяся отъ направленія Рикардо-Смитовской школы. Короче сказать, измѣнялся «ходъ вещей»,—измѣнялся и «ходъ идей», и правильное пониманіе перваго должно дать намъ ключъ къ уразумѣнію послѣдняго.

Замѣтнѣе и ранѣе всего обнаружилось это измѣненіе въ «ходѣ идей» въ экономической литературѣ той страны, гдѣ зарожденіе и

развитіе капитализма совершалось при нѣскольکو иныхъ условіяхъ, чѣмъ происходило оно на родинѣ экономической науки, въ Англіи и во Франціи.

Мы говоримъ о Германіи, гдѣ, по признанію Морица Мейера, «пре-образованію ученія Смита, независимо отъ критики соціалистовъ, выступившихъ уже гораздо позже, болѣе всего способствовали политическія и экономическія отношенія». Какъ мы увидимъ ниже, и соціалистическая критика была вызвана къ жизни условіями совершенно опредѣленнаго экономического и политическаго характера.

Но каковы же были «политическія и экономическія отношенія», повлиявшія на развитіе экономической науки въ Германіи и обусловившія собою характеръ господствующихъ тамъ ученій?

II.

Начало XIX столѣтія застало большую часть Германіи на весьма низкой ступени экономического развитія. Страна, которой суждено было играть такую видную и потомъ даже рѣшающую роль въ судьбахъ остальной Германіи, Пруссія, была еще совершенно земледѣльческимъ государствомъ. Болѣе 80% населенія занималось исключительно земледѣльческою работою; только въ западной части государства, въ Силезіи и Маркѣ, именно въ Берлинѣ и Магдебургѣ, существовала нѣкоторая фабричная промышленность.

Земля, представлявшая собою главный объектъ труда тогдашняго населенія Пруссіи, рѣзко раздѣлялась на помѣщичьи (Rittersgütern) и государственныя имѣнія (Domänen), съ одной стороны, и крестьянскіе участки—съ другой.

По закону, «рыцарскими» помѣстьями могли владѣть только дворяне. Дворянскія имѣнія платили весьма умѣренный поземельный налогъ, который существовалъ притомъ не во всѣхъ частяхъ государства. Крестьянское населеніе, обложенное гораздо болѣе тяжелыми налогами, стояло въ обязательныхъ отношеніяхъ къ дворянскимъ имѣніямъ (Gutsunterthänigkeit). Города платили многочисленныя налоги въ видѣ такъ называемыхъ, акцизныхъ сборовъ, которыми обложены были воѣ предметы потребленія горожанъ.

Старая меркантильная система связывала торговую дѣятельность страны по рукамъ и ногамъ и совершенно парализовала ея успѣхи. Свобода торговли не допускалась даже между отдѣльными провинціями. Каждая изъ нихъ имѣла свои особыя таможи и свои тарифы. Внѣшняя торговля была опутана еще большими стѣненіями. Ввозъ многихъ заграничныхъ издѣлій былъ запрещенъ совсѣмъ; другія были обложены высокими пошлинами, доходившими до 50 и даже болѣе процентовъ ихъ стоимости. Въ 1800 году былъ совершенно запрещенъ ввозъ иностран-

ныхъ шелковыхъ, полушелковыхъ и хлопчатобумажныхъ издѣлій. Уже послѣ окончанія наполеоновскихъ войнъ тогдашній министръ финансовъ фонъ-Бюловъ, указывая королю на необходимость измѣненія торговаго устава, говорилъ, что сборами обложено 2775 предметовъ, и въ томъ числѣ почти всѣ предметы первой необходимости. По его словамъ, въ однѣхъ старыхъ провинціяхъ Пруссія существовало до 60-ти различныхъ тарифовъ для городскихъ и таможенныхъ сборовъ. Всѣ эти тарифы имѣли обязательную законную силу, хотя запомнить ихъ не могла никакая человеческая память.

Промышленная дѣятельность была скована цеховыми уставами, не позволявшими ей выходить за городскія ворота.

Результатомъ всего этого была отсталость прусской промышленности. И хотя, вѣрное духу кольбертизма, правительство въ теченіе предшествовавшихъ 80 лѣтъ на однѣ только шелковыя фабрики въ Берлинѣ, Потсдамѣ, Франкфуртѣ на Одерѣ и Келпикѣ издержало болѣе 10-ти милліоновъ талеровъ, но французскія и англійскія шелковыя издѣлія были настолько лучше, прочѣе и дешевле прусскихъ, что, какъ мы видѣли, пришлось совершенно запретить ввозъ первыхъ въ Пруссію, чтобы не дѣлать подрыва мѣстнымъ промышленникамъ. Но это запрещеніе обходилось страшною контрабандой, которой не могли искоренить никакія строгія мѣры законодательства.

Экономическая отсталость влекла за собою общую бѣдность страны. По вычисленіямъ Дитеричи, передъ роковымъ для Пруссіи 1806 годомъ средней доходъ населенія, въ самыхъ лучшихъ случаяхъ, не простирался выше 16—25 талеровъ на человѣка.

Австрія того времени находилась на еще болѣе отсталой степени хозяйственнаго развитія, и только нѣкоторыя мелкія государства—или, вѣрнѣе, только нѣкоторыя части нѣкоторыхъ мелкихъ государствъ—поднимались нѣсколько надъ низкимъ уровнемъ національно-экономической культуры Германіи.

Таковы были ресурсы нѣмецкаго народа въ періодъ, непосредственно предшествовавшій войнамъ 3-й и 4-й коалиціи. Извѣстно, какой исходъ имѣли эти войны. Аустерлицъ, Йена и Эйлау сдѣлали Наполеона владыкою Германіи. Для французской буржуазіи не могло быть лучшаго случая расширить сбытъ своихъ товаровъ. И вотъ вмѣстѣ съ вторженіемъ французскихъ войскъ въ нѣмецкіе предѣлы, совершается наплывъ французскихъ товаровъ въ завоеванныя мѣстности. Въ началѣ декабря 1806 года французы требуютъ пропуска всѣхъ французскихъ товаровъ съ оплатою невысокой таможенной пошлиной во всѣ занятыя наполеоновскою арміею части Пруссіи. Напрасно прусское правительство ставитъ завоевателямъ на видъ, что туземная промышленность не сможетъ вынести конкуренціи французскихъ фабрикантовъ. Напрасно доказываетъ оно, что берлинскія фабрики дер-

жались до сихъ поръ лишь благодаря покровительственному тарифу, съ паденіемъ котораго населеніе окончательно обнищаетъ и фабричныя рабочіе пойдутъ по міру. Напрасно также старается оно подбѣйствовать на корыстолюбіе завоевателей, говоря, что отъ пониженія таможенныхъ пошлинъ потеряетъ само же временное французское правительство, въ пользу котораго собирались таможенныя пошлины въ завоеванныхъ мѣстностяхъ. Побѣдоносные полководцы буржуазной Франціи отвѣчаютъ, что ввозъ въ страну французскихъ товаровъ представляетъ «естественное слѣдствіе» завоеванія. Послѣ долгихъ споровъ и пререканій, французскіе товары получаютъ свободный доступъ въ занятія завоевателями мѣстности, съ платою лишь небольшой пошлины.

Такимъ образомъ, рядомъ съ политическою борьбою правительствъ шла экономическая борьба народовъ или, вѣрнѣе, тѣхъ слоевъ французскаго и нѣмецкаго народовъ, въ рукахъ которыхъ и до сихъ поръ сосредоточиваются средства производства. Рядомъ съ борьбою армій шла борьба фабрикантовъ; рядомъ съ соперничествомъ полководцевъ шла конкуренція товаровъ. Французской буржуазіи нужно было свладѣть новымъ рынкомъ; нѣмецкая—всеми силами старалась отстоять тотъ, который былъ въ ея рукахъ, благодаря покровительственному тарифу. Это обстоятельство, въ связи съ оборотомъ, принятымъ международной торговлей послѣ паденія континентальной системы, имѣло огромное вліяніе на настроеніе умовъ въ Германіи, когда, убѣдившись въ невозможности остаться при старыхъ порядкахъ, нѣмецкія правительства взяли, наконецъ, за реформы. Первый починъ въ дѣлѣ преобразованій принадлежалъ, какъ извѣстно, прусскому королю Фридриху-Вильгельму III.

III.

Въ сентябрѣ 1807 года Гарденбергъ представилъ королю записку о преобразованіи государства. Онъ исходилъ въ ней изъ того положенія, что міровыя событія и судьбы народовъ совершаются по извѣстному плану и что задача правительствъ заключается въ введеніи мирнымъ путемъ преобразованій, требуемыхъ духомъ времени. Государства, общественный строй которыхъ удовлетворяетъ требованіямъ духа времени, тѣмъ самымъ пріобрѣтаютъ, по мнѣнію Гарденберга, огромную силу и устойчивость. Въ разъясненіе и подтвержденіе своей мысли знаменитый государственный человѣкъ ссылался на примѣръ Франціи. Только что пережитая ею революція дала новый толчокъ ея развитію, разбудила дремавшія силы страны, вмѣстѣ съ отжившими учрежденіями уничтожила старыя предрассудки и дала французскому народу силы съ успѣхомъ бороться противъ коалиціонныхъ армій европейской реакціи. Всего ошибочнѣе и опаснѣе казалось Гарденбергу мнѣніе, что революцію можно предотвратить упорнымъ отстаиваніемъ старыхъ порядковъ и строгимъ преслѣ-

дованіємъ всего новаго. Рано или поздно государство должно будетъ подчиниться требованіямъ времени или придетъ въ окончательный упадокъ. Поэтому Гарденбергъ желалъ «революціи въ хорошемъ смыслѣ слова» или, иначе говоря, широкіхъ реформъ сверху.

Ничего не могло быть разумнѣе и своевременнѣе этихъ требованій. Записка Гарденберга представляла собою вполне вѣрное отраженіе въ ясномъ умѣ знаменитаго канцлера тогдашнихъ нуждъ и потребностей Пруссіи. Старый, полуфеодальный строй Германіи доказалъ полную свою несостоятельность, когда ему пришлось столкнуться съ обновленною революціонною грозою Франціей. Военные расходы, уплата контрибуцій, необходимость содержать громадную оккупационную французскую армію, — все это требовало огромнаго напряженія экономическихъ силъ страны, а между тѣмъ онѣ пришли въ полное истощеніе и, скованныя феодальными путами, подавали очень плохую надежду въ будущемъ. Главный источникъ доходовъ страны — земледѣліе — былъ въ упадкѣ, многія поля лежали необработанными, во многихъ имѣніяхъ скотъ былъ совершенно уничтоженъ. Промышленность страдала, какъ мы видѣли, отъ конкуренціи Франціи; наконецъ, торговля, и прежде находившаяся въ зачаточномъ состояніи, сильно терпѣла отъ континентальной системы, лишившей ее возможности обывать въ Англію хлѣбъ — главный предметъ вывоза тогдашней Пруссіи.

Только немедленныя и какъ можно болѣе широкія реформы могли возродить и оживить упавшія экономическія силы государства.

Но какъ взяться за эти реформы? По какому плану ихъ совершить? Какіхъ перестроекъ и поправокъ въ государственномъ зданіи Пруссіи требовалъ «духъ времени», къ которому апеллировали передовые люди Германіи?

Пока вопросъ оставался еще въ области общихъ теоретическихъ рѣшеній, всѣмъ мыслящимъ людямъ Германіи казалось, что на него возможенъ только одинъ отвѣтъ. Передовыя страны Запада, Англія и Франція, являлись лучшими образцами для подражанія. Онѣ были могущественны и богаты, ихъ промышленность и торговля находились въ цвѣтущемъ, по тогдашнему времени, состояніи. Надъ ихъ общественною жизнью не тяготѣло бремя мелочной регламентаціи; частной инициативѣ гражданъ была предоставлена значительная свобода. Естественно было поэтому, что теоретики капитализма находили себѣ горячихъ адептовъ въ Германіи. «Богатство народовъ» Смита было переведено на нѣмецкій языкъ еще въ концѣ XVIII столѣтія, и молодое поколѣніе германской интеллигенціи пропитывалось теоріями свободной торговли и государственнаго невмѣшательства. Люди, занявшіе въ штейно-гарденберговскій періодъ и по окончаніи наполеоновскихъ войнъ важныя мѣста на государственной службѣ, всѣ въ большей или меньшей степени принадлежали къ послѣдователямъ шотландскаго экономиста.

Самъ прусскій король былъ сторонникомъ свободы торговли и говорилъ, что его «приводятъ въ ужасъ» многотомные тарифы таможенныхъ и акцизныхъ сборовъ.

Практическая жизнь скоро, однако, положила предѣлъ нѣмецкому «западничеству» или, по крайней мѣрѣ, вынудила его на компромиссы, отступленія и оговорки. И хотя въ пятилѣтній періодъ 1807—1812 гг. ни одна отрасль государственной жизни и народной экономіи не осталась безъ реформъ «въ духѣ времени», такъ горячо рекомендованныхъ Гарденбергомъ, хотя мотивировка почти всѣхъ тогдашнихъ правительственныхъ эдиктовъ напоминала собою политико-экономическіе трактаты въ духѣ Ад. Смита, но именно по вопросу о свободной торговлѣ и потребовала практическая жизнь весьма серьезныхъ уступокъ. Мы видѣли уже, какъ солоно пришлось нѣмецкимъ фабрикантамъ «естественное слѣдствіе» французскаго завоеванія, т. е. ввозъ въ Пруссію французскихъ товаровъ. Когда, вслѣдъ за объявленіемъ войны 1813 года, прусскіе промышленники избавились, наконецъ, отъ своихъ французскихъ конкурентовъ, у нихъ явились новые, еще болѣе опасные противники. Паденіе континентальной системы открыло англійскимъ товарамъ доступъ на европейскіе рынки. Огромное количество этихъ товаровъ наводнило Пруссію. Дешевизна ихъ, особенно хлопчатобумажныхъ издѣлій, дѣлала конкуренцію съ ними невозможною для мѣстныхъ производителей при той невысокой пошлинѣ, которою были обложены теперь товары дружественныхъ и нейтральныхъ государствъ. Подъ вліяніемъ жалобъ прусскихъ фабрикантовъ правительство скоро увидѣло себя вынужденнымъ отказаться отъ своихъ фритредерскихъ симпатій и ограничить ввозъ въ Пруссію, по крайней мѣрѣ, хлопчатобумажныхъ издѣлій.

Не довольствуясь этою временной уступкой правительства, прусскіе промышленники стремились оградить себя болѣе прочными законодательными постановленіями противъ иностранной конкуренціи. И чѣмъ болѣе становилось извѣстнымъ, что правительство хочетъ принять политику свободной торговли, тѣмъ сильнѣе обнаруживалась реакція противъ нея прусской промышленной буржуазіи. Въ особенности берлинскіе и силезскіе фабриканты опасались низкихъ пошлинъ на иностранные товары. Они требовали, напротивъ, очень высокаго тарифа, частью совершенно запрещенія ввоза иностранныхъ товаровъ. Въ этомъ смыслѣ они вели очень дѣятельную агитацію и подавали петиціи правительству. Назначенная по этому поводу комиссія высказалась въ ихъ пользу. Она нашла, что положеніе и интересы прусской промышленности дѣлали невозможнымъ принятіе политики свободной торговли. Принципы послѣдней могли быть проведены въ жизнь, по мнѣнію комиссіи, лишь постепенно и съ большою осмотрительностью. На доводы противниковъ свободнаго обмѣна, утверждавшихъ, что государству невыгодно произво-

дить товары, которые оно может дешевле купить за границей, возражали, что это справедливо только при известных условиях. Если бы дѣло шло о возникновеніи новыхъ отраслей промышленности, то по отношенію къ нимъ вышеприведенный доводъ имѣлъ бы полную силу. Но когда рѣчь заходитъ о затраченныхъ уже капиталахъ, о болѣе или менѣе привившихся уже въ странѣ промышленныхъ предпріятіяхъ, то оставлять ихъ беззащитными въ виду иностранной конкуренціи значило бы подвергать интересы государства, предпринимателей и рабочихъ слишкомъ тяжелому испытанію.

Съ своей стороны, торговый слой прусской буржуазіи находилъ болѣе сообразнымъ съ принципами «науки», «справедливости» и «государственныхъ»,—а главное, разумѣется, своихъ собственныхъ,—интересовъ—предоставленіе торговлѣ возможно болѣе широкой свободы. Интересы и мнѣнія этого слоя нашли энергичную поддержку какъ въ меньшинствѣ комиссіи, такъ и въ государственномъ совѣтѣ.

Законъ 26-го мая 1818 года «о пошлинахъ на ввозъ и потребление иностранныхъ товаровъ и о торговыхъ сношеніяхъ между провинціями государства» явился равнодѣйствующею указаннымъ теченій. «Этотъ законъ,—говоритъ Морицъ Мейеръ,—создалъ экономическое единство Пруссіи... и поставилъ ее въ совершенно новое положеніе къ иностранцамъ, потому что хотя въ основаніе торговыхъ сношеній съ другими странами и былъ принятъ принципъ свободной торговли, однако при этомъ было обращено серьезное вниманіе и на національные интересы». Эти интересы, которые были, какъ мы видѣли, прежде всего интересами прусской промышленной буржуазіи, и теперь охранялись ввозными пошлинами.

Мы остановились на этой страницѣ изъ экономической исторіи Пруссіи потому, что ея правительство было тогда болѣе другихъ склонно понимать требованія «духа времени» и дѣлать ему уступки. Въ общемъ экономическія отношенія остальной Германіи представляли знакомую уже намъ изъ примѣра Пруссіи картину. Разница заключается лишь въ томъ, что указанная нами противоположность интересовъ промышленнаго и торговаго слоевъ буржуазіи нашла свое выраженіе въ экономическомъ антагонизмѣ различныхъ частей Германіи. Такъ, на примѣръ, когда обнаружилась необходимость принятія однообразной торговой политики на прострaнствѣ всей раздробленной Германіи и началась агитація въ пользу общегерманскаго таможеннаго союза, то промышленныя части Германіи, какъ и слѣдовало ожидать, стояли за покровительственный тарифъ, между тѣмъ какъ сѣверныя, торговыя, государства отстаивали свободу торговли и отказывались примкнуть къ проектировавшемуся союзу.

Таковы были положеніе, нужды и потребности нѣмецкой промышленности въ эпоху возникновенія самостоятельной экономической литературы въ Германіи. Съ одной стороны, жизнь настойчиво требовала реформъ,

въ духѣ завоеваній французской революціи, и отказа отъ старой меркантильной системы. Но интересы нѣмецкой промышленности нуждались въ то время въ охранѣ и въ поддержкѣ со стороны государства противъ конкуренціи болѣе передовыхъ націй, которыя, вооружившись лучшими способами производства, отъ удовольствіемъ готовы были, по совѣту Тюрго, «забыть, что есть политическія государства, отдѣленные одно отъ другого и различно организованныя». Нѣмецкая буржуазія выросла уже изъ помочей меркантильной системы, но отнюдь не прочь была опираться на руку покровительственнаго тарифа. Отсюда—осторожное отношеніе къ рекомендованной Смитомъ и Рикардо экономической политикѣ, отрицаніе абсолютнаго ея значенія и повсемѣстной приимчивости. Сама жизнь указывала на необходимость пересмотра «британскихъ преданій» въ экономической наукѣ и перекройки ея теорій по росту тогдашней буржуазіи.

Этотъ пересмотръ «британскихъ преданій» взялъ на себя Фридрихъ Листъ, получившій за это почетные титулы «Лютера экономической науки», «величайшаго экономиста Германіи» и т. д., и т. д., чуть не до «отца отечества» включительно. Сочиненія Ф. Листа, въ которыхъ, какъ въ зеркалѣ, отразились состояніе и нужды современной ему германской промышленности, представляютъ собою первую попытку систематической критики классической политической экономіи. Критика его оказалась, однако, весьма поверхностной и односторонней.

IV.

Всѣ главныя положенія *«Национальной системы политической экономіи»* тѣсно связаны съ ученіемъ о торговой политикѣ, служащимъ центромъ, вокругъ котораго группируются изслѣдованія «величайшаго изъ нѣмецкихъ экономистовъ». По мнѣнію Фр. Листа, промышленное развитіе каждой страны проходитъ черезъ нѣсколько фазисовъ, изъ которыхъ каждый требуетъ особой торговой политики.

Сначала земледѣліе получаетъ толчокъ благодаря ввозу заграничныхъ мануфактурныхъ товаровъ и вывозу земледѣльческихъ продуктовъ за границу. Потомъ, рядомъ съ ввозомъ иностранныхъ товаровъ, въ странѣ появляются зачатки самостоятельной промышленной дѣятельности. Развиваясь далѣе, мѣстная промышленность начинаетъ доставлять продукты въ количествѣ, достаточномъ для удовлетворенія потребностей внутренняго рынка. Страна перестаетъ нуждаться въ иностранныхъ продуктахъ и тѣмъ самымъ избавляется отъ экономической зависимости по отношенію къ другимъ государствамъ. Наконецъ, четвертый, высшій фазисъ промышленнаго развитія каждой страны характеризуется вывозомъ мануфактурныхъ издѣлій за границу и ввозомъ сырыхъ продуктовъ извнѣ.

Соотвѣтственно этому каждая страна должна, по мнѣнію Листа, начи-

нать съ свободной торговли, чтобы путемъ обмѣна со богатыми промышленными націями возбудить свою экономическую самодѣятельность. Затѣмъ правительство должно мало-по-малу ввести покровительственный тарифъ, чтобы дать національной промышленности возможность и время окрѣпнуть для борьбы на всемірномъ рынкѣ. Какъ только система «промышленнаго воспитанія націи» принесла эти желанные плоды, снова дѣлается необходимымъ возвратъ къ свободной торговлѣ и принципамъ государственнаго невмѣшательства.

Англійская школа, имѣвшая, какъ мы видѣли, немало послѣдователей и въ Германіи, налегла, главнымъ образомъ, на то обстоятельство, что покровительственный тарифъ ложится тяжелымъ бременемъ на интересы потребителей, принося пользу лишь ограниченному кругу промышленниковъ. Чтобы устранить это главное возраженіе сторонниковъ безусловно свободной торговли, Листу необходимо было указать на такія послѣдствія покровительственной системы, которыя могли бы вознаграждать временныя потери потребителей. Это былъ вопросъ не только теоретической, но и практической важности, такъ какъ Германія того времени нуждалась еще, по мнѣнію Листа, въ охранѣ своего внутренняго рынка отъ иностранной конкуренціи.

Отстаивая свое ученіе, Листъ упрекаетъ смитовскую школу въ томъ, что она занимается лишь индивидуумами и частными хозяйствами, забывая о націи, которая стоитъ между индивидуумомъ и человѣчествомъ и является представительницей самостоятельной хозяйственной жизни. Богатство этой коллективной хозяйственной единицы зависитъ, по мнѣнію Листа, не столько отъ количества находящихся въ ея распоряженіи мѣновыхъ цѣнностей, сколько отъ развитія ея производительныхъ силъ. Въ прямой пропорціональности съ этимъ развитіемъ находится способность страны дать средства существованія болѣе или менѣе густому населенію. Чѣмъ болѣе высокой степени развитія достигаютъ производительныя силы страны, тѣмъ болѣе густое населеніе способна она выдержать. Такъ увеличивается, напримѣръ, эта способность въ земледѣльческой странѣ при переходѣ части ея населенія къ промышленному труду. Анализъ этого явленія ведетъ Листа къ вопросу объ издержкахъ на перевозку товаровъ и о возможномъ ихъ сокращеніи.

Въ международной торговлѣ издержки перевозки оплачиваются, по мнѣнію Листа, той страной, которая вывозитъ свои сырыя произведенія и ввозитъ мануфактурныя издѣлія изъ-за границы. Выводъ отсюда тотъ же, что изъ всѣхъ другихъ изслѣдованій Листа: Германія должна освободиться отъ экономической зависимости по отношенію къ болѣе передовымъ странамъ; она должна перейти въ болѣе высокій фазисъ промышленнаго развитія и обрабатывать свое сырье дома. А для этого опять-таки «нужно разрушить Кареагенъ», нужно избавить германскихъ про-

мыслениковъ отъ иностранной конкуренціи и создать имъ болѣе широкій и свободный внутренній рынокъ, соединяя отдѣльныя нѣмецкія государства въ одинъ обще-германскій таможенный союзъ.

Этотъ постоянный возвратъ къ практическимъ нуждамъ и потребностямъ нѣмецкой буржуазіи и это подыскиваніе научныхъ аргументовъ въ пользу извѣстныхъ законодательныхъ мѣропріятій сдѣлали то, что имя Листа, вопреки мнѣнію его поклонниковъ, имѣетъ гораздо болѣе значенія какъ имя талантливаго и образованнаго агитатора въ пользу таможеннаго союза, чѣмъ какъ имя самостоятельнаго критика рикардо-смитовской школы.

Въ этомъ послѣднемъ отношеніи заслуга автора «*Национальной системы политической экономіи*» ограничивается указаніемъ на «относительное» значеніе открытыхъ предшествовавшими экономистами законовъ народнаго хозяйства.

Французскіе и англійскіе экономисты вѣдали лишь съ «абсолютными», вѣчными истинами. Они отыскивали законы того «естественнаго порядка вещей», который представлялся имъ гармоническимъ сочетаніемъ свободы и справедливости, личной выгоды и общественной пользы. Законы этого идеальнаго порядка вещей были, по ихъ мнѣнію, примѣнимы ко всѣмъ человѣческимъ обществамъ, на всѣхъ стадіяхъ ихъ развитія. Только невѣжество и вытекающее изъ него неумѣлое законодательство мѣшаютъ людямъ осуществить этотъ для всѣхъ одинаково выгодный общественный строй. «Всѣ люди и всѣ области человѣчскія,—писалъ глава физиократовъ Кене,—подчинены этимъ высшимъ законамъ (законамъ Естественнаго Порядка), установленнымъ верховнымъ существомъ; эти законы неизмѣнны и неотвратимы и лучше изъ всѣхъ возможныхъ законовъ. Поэтому они одни могутъ составить основу самаго совершеннаго правительства и главное руководящее правило для положительныхъ законовъ» ¹⁾.

Съ своей стороны, Тюрго замѣчаетъ, что «тотъ, кто не забудетъ, что существуютъ политическія государства, отдѣленные одно отъ другого и различно организованныя, никогда не будетъ въ состояніи хорошо обсудить какой бы то ни было вопросъ политической экономіи» ²⁾.

Въ противоположность этому, Листъ энергически настаиваетъ на хозяйственныхъ особенностяхъ различныхъ государствъ и ограничиваетъ сферу дѣйствія «неизмѣнныхъ и неотвратимыхъ законовъ» своихъ предшественниковъ извѣстными фазисами развитія народнаго хозяйства. Принципы экономической политики, законъ народонаселенія, самое

¹⁾ Quesnay, „Le droit naturel“, p. 53, édition Guillaumin, Paris, 1846.

²⁾ Цитировано у В. Скаржинскаго, „Ad. Smith, als Moralphilosoph und Schöpfer der Nationalökonomie“, p. 256.

понятіе о богатствѣ страны теряють у него «абсолютное» значеніе и становятся весьма «относительными».

Это признаніе необходимости изученія экономическихъ явленій въ ихъ историческомъ развитіи представляетъ, во всякомъ случаѣ, значительный шагъ впередъ въ исторіи политической экономіи. И если новый методъ не далъ, въ рукахъ «историко-реалистической» нѣмецкой школы, тѣхъ результатовъ, которыхъ можно было отъ него ожидать, то причина этого лежитъ въ положеніи, занятомъ этой школой по отношенію къ важнѣйшимъ общественнымъ вопросамъ ея времени. Неудобства этого положенія для объективнаго изслѣдованія явленій не лишали историческаго метода его важнаго и плодотворнаго значенія. Но, не забывая впередъ, посмотримъ, какой вкладъ внесла въ науку новая «историко-реалистическая» школа и насколько она подвинула впередъ разработку и критику классической экономіи.

V.

Почва, породившая «величайшаго экономиста Германіи», была настолько подготовлена къ «реформаціи», что голосъ Листа не могъ остаться одинокимъ. У него нашлись послѣдователи, нашлись товарищи по наукѣ, одновременно съ нимъ пришедшіе къ тѣмъ же выводамъ. Нашлись ученые, какъ Вильгельмъ Рошеръ, утверждавшіе даже, что въ ученіяхъ Листа нѣтъ ничего оригинальнаго и что все сказанное имъ говорилось уже ранѣе въ нѣмецкихъ университетахъ¹⁾. Вокругъ знамени «экономической реформаціи» группируется цѣлая фаланга патентованныхъ экономистовъ, и къ концу пятидесятихъ годовъ «историко-реалистическая» школа становится прочною ногою въ нѣмецкихъ университетахъ. Она имѣетъ свои журналы, создаетъ цѣлую литературу. Сущность ея положеній, въ этотъ періодъ ея развитія, можетъ быть резюмирована слѣдующимъ образомъ.

«Историко-реалистическая» школа рассматриваетъ народное хозяйство, какъ одну изъ сторонъ народной жизни, тѣсно связанную съ общимъ историческимъ развитіемъ даннаго народа и специальными условіями его существованія. Эти специальные условія опредѣляютъ собою направленіе хозяйственной дѣятельности и распредѣленіе экономическихъ силъ націи. Къ ихъ числу относится, прежде всего, территория даннаго государства. Она составляетъ данное самой природой основаніе, опредѣляющее какъ родъ, такъ и успѣшность хозяйственной дѣятельности націи.

Вліяніе климата, распредѣленіе водъ, свойства почвы, величина данной территоріи, густота ея населенія—всѣ эти моменты обуславливають

¹⁾ См. „Kritische Geschichte der Nationalökonomie und des Sozialismus“ Dühring'a, стр. 368—369.

собою весьма важныя различія въ экономическомъ положеніи народовъ,— различія, которыя сглаживаются иногда весьма значительно, но никогда не могутъ быть уничтожены окончательно.

Въ тѣснѣйшей связи съ естественными условіями данной мѣстности стоитъ природа людей, ее населяющихъ, свойства «національнаго чело-вѣка». Само собою понятно, что экономическіе успѣхи народа опредѣляются его духовными и физическими свойствами. Расовыя особенности, величина мускульной силы, умственные способности, нравы, обычаи и привычки оказываютъ огромное вліяніе на экономическія отношенія.

Все это измѣняется съ теченіемъ времени, вліяніе котораго испыты-ваютъ даже физическія свойства страны. Крупныя національно-полити-ческія движенія сопровождаются, обыкновенно, успѣхами въ области экономической жизни. Затѣмъ слѣдуютъ періоды реакціи, ослабленія пульса экономической и политической жизни. Короче сказать, экономическая жизнь народовъ отражаетъ въ себѣ колебательныя движенія чело-вѣческой культуры. Представители «историко-реалистической» школы раздѣляютъ отчасти только то мнѣніе, что, подъ вліяніемъ постоянно усиливающихся международныхъ сношеній, условія экономической дѣя-тельности культурныхъ народовъ становятся все болѣе и болѣе сход-ными. Экономисты этой школы не признаютъ возможности полного уни-чтоженія національныхъ различій въ экономической жизни народовъ. Нѣкоторые изъ замѣтныхъ ея представителей держатся даже того убѣ-жденія, что указанныя различія, съ теченіемъ времени, увеличиваются въ своей интенсивности. Такъ, напримѣръ, Кнись думаетъ, что возра-станіе національныхъ особенностей въ экономикѣ народовъ необходимо соотвѣтствуетъ культурному прогрессу.

Всѣ указанныя особенности, къ которымъ нужно прибавить еще разли-чія въ политическомъ строѣ народовъ, въ ихъ религіи, въ организаціи церкви и т. п., должны быть приняты во вниманіе, по ученію «исто-рико-реалистической» школы, при изслѣдованіи экономическихъ явленій. Экономическая наука должна отказаться отъ дедуктивнаго метода старой школы и устроить свое зданіе не на отвлеченныхъ положеніяхъ о свой-ствѣ чело-вѣческой природы, но на опытѣ и наблюденіи. Она должна сдѣлаться наукой индуктивной и черпать свой матеріаль въ данныхъ статистики и исторіи.

Пока изслѣдованія экономистовъ «историко-реалистическаго» напра-вленія оставались чисто методологическими, они обѣщали оказать боль-шія услуги наукѣ о народномъ хозяйствѣ. Отказъ отъ завѣщаннаго XVIII столѣтіемъ дедуктивнаго метода и стремленіе поставить науку на твердую почву положительнаго знанія предвѣщали, казалось, огромный успѣхъ изслѣдованіямъ новой школы. Признаніе же взаимной зависимости различныхъ категорій общественныхъ явленій, въ связи съ изученіемъ

экономическихъ отношеній въ историческомъ процессѣ ихъ развитія, должно было пролить новый свѣтъ на прочія отрасли соціальной науки—исторію права, политику, ученіе о нравственности. Въ этомъ отношеніи неважно было, какъ именно была понята взаимная связь различныхъ сторонъ общественной жизни тѣмъ или другимъ представителемъ новаго направленія или даже всей школой въ данный періодъ ея развитія. Трудная задача классификаціи и опредѣленія взаимной зависимости не тѣхъ или другихъ единичныхъ фактовъ, но цѣлыхъ категорій общественныхъ явленій не могла быть рѣшена скоро и безошибочно. Въ вышеприведенныхъ общихъ положеніяхъ «историко-реалистической» школы читатель могъ уже замѣтить много неточностей, промаховъ и недомыслия. Такъ, напримѣръ, можно было бы сказать, что «свойства національнаго человѣка», которыя, по мнѣнію названной школы, опредѣляютъ собою характеръ и спѣшность экономической дѣятельности даннаго народа, сами находятся въ тѣснѣйшей зависимости отъ существующихъ въ средѣ этого народа экономическихъ отношеній. Въ доказательство можно было бы сослаться на тотъ общезвѣстный фактъ, что съ измѣненіемъ матеріальныхъ условій жизни измѣняются какъ физическія «свойства» человѣка, его здоровье, сила, средняя продолжительность жизни, такъ и нравы, воззрѣнія и привычки индивидуумовъ, обществъ или общественныхъ классовъ. Внутри одного и того же народа «свойства національнаго человѣка» неодинаковы на различныхъ ступеняхъ общественной іерархіи. «Свойства» свободнаго, полноправнаго гражданина, патриція, средневѣковаго дворянина, наконецъ, современнаго буржуа непохожи на «свойства» раба, плебея, крѣпостнаго крестьянина или бездомнаго пролетарія. Раздѣленіе же общества на классы обуславливается причинами чисто-экономическаго свойства. Затѣмъ, можно было бы припомнить, что крупныя національно-политическія движенія не только *сопровождаются* успѣхами въ области экономической жизни. Гораздо важнѣе этого для философа исторіи то обстоятельство, что ни одно сколько-нибудь замѣтное національно-политическое движеніе не являлось безъ предварительныхъ измѣненій въ экономическихъ отношеніяхъ даннаго народа,—измѣненій, направленіемъ которыхъ опредѣлялись характеръ и направленіе политической жизни. Примѣромъ можетъ служить исторія третьяго сословія. Политическія движенія средневѣковыхъ городскихъ общинъ, французская революція—всѣ эти весьма крупныя національно-политическія движенія были возможны только потому, что имъ *предшествовалъ* экономическій переворотъ, поставившій буржуазію въ новое и болѣе благоприятное положеніе по отношенію къ прочимъ общественнымъ силамъ средневѣковой Европы.

Наконецъ, читатель могъ бы сказать, что въ историческомъ процессѣ борьбы за существованіе цѣлыхъ обществъ или различныхъ общественныхъ классовъ имѣютъ шансы явиться и выжить только такіе правовые

понятія и институты, которые являются наиболѣе выгодными для цѣлаго общества или сильнѣйшей, руководящей его части. А такъ какъ никакой правовой институтъ не могъ быть выгоднымъ для господствующаго или стремящагося къ господству класса, если онъ препятствовалъ обезпеченію и возрастанію матеріальнаго его благосостоянія, то нужно признать, что ключъ къ пониманію правовой исторіи общества лежитъ въ экономической его исторіи, а не наоборотъ. Въ простѣйшей и самой общей ея формѣ, мысль эта выражена еще у Аристотеля, который замѣчаетъ, что «люди устраиваютъ свой образъ жизни сообразно своимъ потребностямъ и способу ихъ удовлетворенія». Можно было бы найти и еще цѣлый рядъ возраженій, которыя, какъ и вышеприведенныя, показали бы, что «историко-реалистическая» школа весьма односторонне и поверхностно исполнила взятую на себя задачу опредѣленія взаимной зависимости различныхъ сторонъ общественной жизни. Но, повторяемъ, важнѣе былъ принципъ, принятый названною школою, ошибки же ея были дѣломъ весьма поправимымъ. Стоя на правильномъ пути историческаго изслѣдованія, молодое поколѣніе экономистовъ новой школы легко могло бы исправить ошибки своихъ предшественниковъ.

Неудавшееся Рошеру, Гильдебранту или Кнису могло бы быть исполнено Адольфомъ Вагнеромъ, Лавелё или фонъ-Шелемъ, если бы сами общественныя отношенія западно-европейскихъ обществъ не помѣшали «историко-реалистической» школѣ сохранить то спокойное и безпристрастное отношеніе къ предмету изслѣдованія, которое, какъ мы видѣли, характеризовало Рикардо и его послѣдователей. А они именно помѣшали ей въ этомъ, принявъ совершенно новое направленіе.

Это новое направленіе въ исторіи западно-европейскихъ общественныхъ отношеній, роковое для «историко-реалистической» школы и буржуазной экономіи вообще, выражается двумя словами: *рабочій вопросъ*.

VI.

Эпоха, предшествующая возникновенію «историко-реалистической» школы въ Германіи, можетъ быть названа, съ точки зрѣнія экономической исторіи общества, эпохой споровъ между защитниками свободной торговли и сторонниками покровительственнаго тарифа. Эти разногласія вызваны были къ жизни, — какъ справедливо полагаетъ Кнись, — «раздѣленіемъ внутри третьяго сословія, сдѣлавшагося господствующимъ со времени революціи, противоположностью интересовъ промышленнаго и торговаго слоевъ, выразившеюся въ девизахъ борющихся партій: покровительственномъ тарифѣ, съ одной стороны, свободной торговлѣ — съ другой».

Но это раздѣленіе интересовъ внутри названнаго сословія не помѣшало усиленію его господства и вліянія ни въ самой Германіи, ни въ другихъ болѣе передовыхъ странахъ Западной Европы. Буржуазія на-

ходила тогда въ восходящей части кривой своего движенія по всемірно-исторической сценѣ. Въ Германіи въ то время не было еще и зачатковъ рабочаго движенія, въ другихъ странахъ оно ограничивалось незначительными вспышками и частными проявленіями неудовольствія рабочихъ той или другой мѣстности, того или другого патрона.

Но мало-по-малу эти частныя вспышки неудовольствія стали принимать болѣе общій характеръ. Во Франціи раздражается возстаніе лійонскихъ ткачей, въ Англии начинается движеніе чартистовъ, и въ «сумасшедшемъ» 1848 году, когда буржуазія только что готовилась отдохнуть на лаврахъ своей окончательной побѣды надъ реакціонными партіями, рабочій вопросъ отравляетъ ея торжество и настоятельно требуетъ своего разрѣшенія. Онъ становится злобою дня въ республиканской Франціи, его вліяніе сказывается на всѣхъ сторонахъ ея политической и духовной жизни. Изъ наступательнаго положенія, котораго держалась буржуазія по отношенію къ высшимъ сословіямъ, ей приходится стать въ оборонительное—по отношенію къ пролетариату. Кровавое іюньское столкновеніе не могло, разумѣется, разрѣшить противорѣчія интересовъ этихъ двухъ классовъ. Оно повело лишь къ усиленію существовавшего между ними антагонизма.

Торжество буржуазіи куплено было,—какъ писалъ Марксъ въ іюлѣ того же года,—«исчезновеніемъ всѣхъ иллюзій февральской революціи, разложеніемъ старой республиканской партіи, раздѣленіемъ французской націи на двѣ враждебныя другъ другу націи: націю имущихъ и націю работниковъ».

Но дѣло не кончилось антагонизмомъ общественныхъ классовъ. Подвигаясь впередъ съ возрастающей быстротою, развитіе капитализма обнаруживало все новыя и новыя темныя стороны этого способа производства. Промышленные и финансовыя кризисы принимали все болѣе широкіе размѣры, и каждый новый кризисъ оставлялъ далеко за собою всѣ предшествующіе по громадности причиненныхъ имъ убытковъ. Отъ этого бича страдало не одно только четвертое сословіе, но и сама буржуазія, къ бѣдствіямъ которой западно-европейскіе парламенты, составленные изъ ея представителей, относились уже съ гораздо большимъ вниманіемъ. Каждый разъ, когда раздражался кризисъ и гг. финансистами и предпринимателями овладѣвала паника, еще болѣе ухудшавшая и безъ того разстроенное положеніе дѣлъ, въ парламентахъ поднималась тревога. Произносились рѣчи, издавались декреты, государство старалось возстановить кредитъ, оживить упавшую торговлю. Но такъ какъ, говоря словами того же Маркса, нѣтъ законодательнаго собранія, нѣтъ короля, который могъ бы крикнуть «стой» всемірному промышленному кризису, то буржуазныя государственныя дѣятели оказывали очень немного помощи буржуа-предпринимателямъ.

«Временное стѣсненіе»,—какъ называлъ саръ Робертъ Пиль кризисъ 1847 года,—стало періодическимъ. И эта періодически возвращающаяся болѣзнь промышленныхъ обществъ приводила къ удивительнымъ противорѣчіямъ. Товары переполняли магазины и склады и продавались за ничто, между тѣмъ, какъ большинство населенія, рабочіе, оставшіеся безъ занятій именно потому, что рынки были переполнены, терпѣли невѣроятную нужду и угрожали общественному спокойствію. Такъ оправдывались слова Фурье—«въ цивилизаціи бѣдность рождается изъ самаго изобилія» Съ другой стороны, эта «рождающаяся изъ самаго изобилія» бѣдность рабочихъ классовъ вредно отзывалась на состояніи рынковъ. «Не уменьшайте благосостоянія низшихъ классовъ, — совѣтовалъ Кейнъ въ своихъ «Правилахъ» ¹⁾,—потому что они не будутъ имѣть возможности содѣйствовать потребленію». Но каждый капиталистъ, стремясь увеличить свою прибыль, тѣмъ самымъ необходимо долженъ былъ понижать заработную плату, т. е. уменьшать покупательную силу рабочихъ и ограничивать «потребленіе» внутри страны.

Все это, вмѣстѣ взятое, создавало такое положеніе дѣлъ, надъ которымъ задумывались люди самыхъ различныхъ направленій, самаго противоположнаго образа мыслей. Въ 1850 г. бывший прусскій министръ земледѣлія Карлъ Родбертусъ-Ягцовъ слѣдующимъ образомъ охарактеризовалъ его въ своихъ «Письмахъ къ Кирхману»: «Пауперизмъ и торговые кризисы—таковы, стало быть, жертвы, которыми заплатило общество за свою свободу. Новыя правовыя учрежденія освободили его отъ прежнихъ цѣпей, оно вступило въ обладаніе всѣми своими производительными силами; механика и химія отдали въ его распоряженіе силы природы, кредитъ подаетъ надежду на устраненіе другихъ препятствій; словомъ, матеріальныя условія, необходимыя для того, чтобы свободное общество одѣлать также и счастливымъ, находятся на-лицо,—а между тѣмъ, смотрите, новое бѣдствіе заняло мѣсто стараго безправія. Рабочіе классы, которые прежде приносились въ жертву юридической привилегіи, отданы во власть привилегіи фактической, и эта фактическая привилегія обращается, по-временамъ, противъ самихъ привилегированныхъ. Вмѣстѣ съ ростомъ національнаго богатства растутъ обѣднѣніе рабочихъ классовъ; чтобы воспрепятствовать удлиненію рабочаго дня, является надобность въ специальныхъ законахъ; наконецъ, численный составъ рабочаго класса увеличивается въ пропорціи большей, чѣмъ численность всѣхъ остальныхъ классовъ общества».

Такъ смотрѣлъ на современныя ему отношенія человекъ, который говорилъ, что его теорія составляютъ лишь послѣдовательный выводъ изъ

¹⁾ Quesnay, Maximes générales du gouvernement économique d'un Royaume Agricole, p. 99, maxime XX.

«введеннаго въ науку Смитомъ и еще глубже обоснованнаго Рикардо ученія о цѣнности». Какъ же отразились они на развитіи «историко-реалистической» школы?

Послѣ 1848 года въ экономической литературѣ всей западной Европы замѣчается двойственное теченіе, вызванное обрисованнымъ выше историческимъ развитіемъ общества. Представители одного направленія продолжали восхвалять преимущества теперь уже господствовавшаго «естественнаго порядка» и отрицать противоположность интересовъ предпринимателей и рабочихъ. Экономическія побасенки Бастіа могутъ считаться типическимъ литературнымъ выраженіемъ этого «гармоническаго» направленія. Экономисты другого отгѣнка, желавшіе «быть болѣе чѣмъ софистами и сикофантами господствующихъ классовъ, старались примирить политическую экономію капитала съ недавно еще бывшими въ пренебреженіи требованіями пролетариата» ¹⁾. Къ этому направленію принадлежалъ извѣстный русскимъ читателямъ Дж. Ст. Милль. Ученые этого лагеря признавали, что не все идетъ къ лучшему въ капиталистическомъ обществѣ; они понимали, что об'единеніе рабочихъ классовъ грозитъ серьезными замѣшательствами западно-европейскимъ государствамъ, и старались найти мѣры, которыми можно было бы предупредить дальнѣйшее развитіе пауперизма. Въ этихъ попыткахъ имъ пришлось отказать отъ многихъ изъ положеній ихъ предшественниковъ.

Въ числѣ выброшенныхъ за бортъ заповѣдей старой школы было знаменитое правило «laissez faire, laissez passer». Государственное вмѣшательство признавалось не только невреднымъ, но даже необходимымъ для правильнаго и спокойнаго развитія общества.

«Историко-реалистическая» школа, съ самаго своего возникновенія отрицательно относившаяся къ ученіямъ школы свободной торговли, не могла, разумѣется, примкнуть къ первому изъ выше указанныхъ направленій, не могла ожидать исцѣленія очевидныхъ для всѣхъ общественныхъ недуговъ отъ примѣненія никогда не раздѣлявшихся ею принциповъ государственнаго невмѣшательства. Тѣмъ болѣе, что сами событія заставили западно-европейскія правительства выйти изъ нейтральнаго положенія по вопросу объ отношеніяхъ работодателей къ рабочимъ. Пришлось ввести законы, регулирующие эти отношенія, ограничить женскій и дѣтскій трудъ и даже продолжительность рабочаго дня взрослыхъ работниковъ. «Историко-реалистическая» школа находила въ этомъ полное оправданіе своего ученія объ «относительности» догматовъ классической экономіи. Къ этому присоединилось еще и то обстоятельство, что безсиліе софизмовъ «гармоническаго направленія» слишкомъ уже бросало въ глаза, и негодность «научныхъ» положеній Бастіа, совершенная безосновательность

¹⁾ Das Kapital, von K. Marx, S. 816.

его розовыхъ взглядовъ были окончательно разоблачены его противниками.

Оставался другой способъ соглашенія общественныхъ противорѣчій. Эклектизмъ Джона Стюарта Милля какъ нельзя болѣе совпадалъ съ принятымъ «историко - реалистической» школой направленіемъ. Молодые отпрыски этой школы, названные впоследствии «катедеръ-соціалистами», не только не возставали противъ реформаторскихъ тенденцій англійскаго философа, но многіе пошли гораздо далѣе его по этому пути.

Англійскій ученый все-таки былъ духовнымъ сыномъ экономистовъ-классиковъ, ученикомъ Смита, Мальтуса и Рикардо. Онъ не могъ и не хотѣлъ отказаться отъ основныхъ научныхъ положеній своихъ предшественниковъ. Теорія цѣнности, ренты, распредѣленія и заработной платы Рикардо, ученіе о народонаселеніи Мальтуса — олужили фундаментомъ экономическихъ воззрѣній Милля, исходнымъ пунктомъ всѣхъ его изслѣдованій. «Историко - реалистическая» школа, напротивъ, была давно уже свободна отъ «британскихъ преданій». Ее не связывали ни установившіеся приемы и догматы классической экономіи, ни авторитетъ того или другого изъ ея представителей. Въ своемъ реформаторскомъ рвеніи молодое поколѣніе экономистовъ «историко-реалистическаго» направленія рѣшилось подвергнуть критикѣ всѣ положенія «манчестерцевъ», начать сызнова постройку всего зданія экономической науки.

Насколько удалось имъ это смѣлое предпріятіе, читатель увидитъ въ слѣдующихъ главахъ.

VII.

«Новая политическая экономія, — говоритъ Эмиль де Лавеле, — иначе чѣмъ старая понимаетъ основанія, методъ, задачу и выводы науки. Катедеръ-соціалисты исходятъ изъ совершенно иной точки отправленія, чѣмъ ортодоксальные экономисты» ¹⁾. Прежде всего, разумѣется, это различіе сказывается по вопросу о роли и значеніи государства въ экономической жизни народа. «Экономисты новой школы не питаютъ по отношенію къ государству того ужаса, который заставлялъ ихъ предшественниковъ называть государство то язвою, то необходимымъ зломъ. Для нихъ, напротивъ, государство — представитель національнаго единства — является органомъ высшаго права, орудіемъ справедливости. Эманация живыхъ силъ и духовныхъ стремленій страны, государство обязано благопріятствовать ея развитію во всѣхъ направленіяхъ. Какъ это показываетъ исторія, оно есть могущественнѣйшій факторъ цивилизаціи и прогресса» ²⁾.

¹⁾ Le socialisme contemporain par Em. de Laveleye, p. 2.

²⁾ Ibid., p. 8.

Съ своей стороны, нѣмецкій послѣдователь историко-реалистической школы, д-ръ Морицъ Мейеръ, находитъ, что «государство, какъ стоящая выше частныхъ интересовъ сила, обязано активно вмѣшиваться въ борьбу интересовъ повсюду, гдѣ она угрожаетъ благу общества» ¹⁾...

«Какъ воплощеніе чувства общественности, государство должно по-полнять вытекающіе изъ эгоизма недостатки и несовершенства экономической жизни» ²⁾.

Вопросъ о значеніи государства въ экономической и вообще культурной дѣятельности націи до такой степени важенъ для оцѣнки существующихъ въ обществѣ потребностей и стремленій, что мы позволимъ себѣ остановить вниманіе читателя на томъ рѣшеніи этого вопроса, которое заключается въ вышеприведенныхъ выпискахъ. «Государство является органомъ высшаго права, орудіемъ справедливости»... «воплощеніемъ чувства общественности». Все это не только очень хорошо сказано, но и знакомо, вѣроятно, читателю изъ сочиненій писателей, не имѣвшихъ ничего общаго съ историко-реалистической школою. Впрочемъ, не все. Многое изъ того, что было ясно подъ перомъ этихъ писателей,—стало темнымъ и сомнительнымъ въ редакціи «новыхъ» экономистовъ. Извѣстно, что «исторія показываетъ» часто именно то, что людямъ хочется въ ней увидѣть. Нельзя поэтому ограничиваться безсодержательными ссылками на исторію вообще, нужно было нѣсколько подробнѣе выяснитъ и доказать вышеприведенныя мысли, составляющія, по мнѣнію самого Лавеля, существенный пунктъ разногласія «старой» и «новой» школы. Нужно было внимательнѣе разсмотрѣть вопросъ о томъ, при какихъ обстоятельствахъ и въ какихъ случаяхъ государство является и являлось «факторомъ цивилизаціи и прогресса». Намъ кажется, что такое служеніе дѣлу прогресса со стороны государства было далеко не непрерывнымъ. Нельзя же, напримѣръ, признать, что римское государство являлось «могущественнѣйшимъ факторомъ цивилизаціи и прогресса» въ то время, когда оно обрушивалось преслѣдованіями на первыхъ христіанъ. Не мѣшало бы также нѣсколько вразумительнѣе выразиться о «вышемъ правѣ» и «справедливости», «органомъ и орудіемъ» котораго является государство. Едва ли современный европеецъ признаетъ, что римское, построенное на рабствѣ государство служило «орудіемъ справедливости». Вообще, по вопросу о «вышемъ правѣ» и «справедливости» нужно остановиться на чемъ-нибудь одномъ. Или разбираемые нами авторы должны признать, что вплоть до современнаго, основаннаго на наемномъ трудѣ, буржуазнаго государства всѣ предшествовавшія формы государственной организаціи, какъ покоившіяся на рабствѣ и крѣпостничествѣ,

¹⁾ Die neuere Nationalökonomie in ihren Hauptrichtungen, S. 168.

²⁾ Ibid., S. 170.

были вопіющимъ нарушеніемъ «справедливости» и отрицаніемъ «высшаго права». Въ такомъ случаѣ они должны признать, что «исторія показываетъ» совершенно противоположное тому, что видятъ въ ней Лавелъ. Или они должны согласиться, что «высшее право» и «справедливость», какъ понятія вполне относительныя, имѣютъ для современнаго европейца совершенно другое содержаніе, чѣмъ имѣли они, напримѣръ, для Аристотеля или Платона, то есть, что можно говорить лишь о свойственномъ той или другой эпохѣ понятіи о «вышемъ правѣ» и т. д., а не о «правѣ» и «справедливости» вообще, безъ всякаго отношенія къ мѣсту и времени. Историко-реалистической школь, такъ возстающей противъ «абсолютныхъ» положеній и законовъ старой школы, едва ли позволительно было бы не признавать «относительности» самыхъ понятій о «правѣ» и «справедливости». А разъ признана эта относительность, немудрено припомнить и то обстоятельство, которое «исторія показываетъ» намъ съ такой наглядностью, что новыя нравственныя ученія, новыя понятія о «вышемъ правѣ» и «справедливости» не сразу прокладывали себѣ пути въ сознаніе всего общества, и не сразу же государство становилось ихъ «органомъ» и «орудіемъ». Христіанство, напр., добилось этого путемъ долгой и тяжелой борьбы съ язычествомъ. Какъ обострялась по-временамъ эта борьба, можно видѣть хотя бы изъ знаменитыхъ «факаловъ Нерона».

Въ концѣ концовъ, новыя ученія дѣйствительно дѣлали государство своимъ «органомъ» и «орудіемъ», но это было тогда, когда извѣстная часть общества видѣла въ нихъ выраженіе удобнѣйшаго для себя общественнаго строя и находила въ себѣ достаточно силы и энергіи для ихъ защиты. Отсюда слѣдуетъ, что государство не всегда являлось «орудіемъ» современной ему идеи «высшаго права», но лишь при извѣстныхъ условіяхъ. Поэтому и въ настоящее время можно ожидать этого отъ западно-европейскихъ государствъ только условно, а вовсе не во всѣхъ возможныхъ комбинаціяхъ общественныхъ силъ.

Это-то и забываютъ или, по крайней мѣрѣ, недостаточно отбѣняютъ экономисты «новой школы». Они дѣлаютъ при этомъ ошибку, подобную имъ же указанной ошибкѣ рикардо-смитовской школы. Еще Листъ упрекалъ англійскую школу въ томъ, что она не видѣла никакихъ промежуточныхъ звеньевъ между индивидуумомъ и человѣчествомъ, между частнымъ хозяйствомъ и хозяйствомъ всего культурнаго міра, которое представлялось ей не болѣе, какъ суммой индивидуальныхъ экономическихъ предпріятій. Листъ и историко-реалистическая школа утверждали, что между индивидуумомъ и человѣчествомъ стоитъ *государство*, какъ самостоятельный и живой экономическій организмъ. Этому коллективному цѣлому они приписывали различныя свойства, признавали и признаютъ за нимъ различныя обязанности. Но намъ кажется, что они

до тѣхъ поръ не выйдутъ изъ области бессодержательныхъ фразъ о «цивилизаци и прогрессѣ», «правѣ и справедливости», пока не поведутъ своего анализа еще далѣе и не увидятъ, что коллективное цѣлое— государство—далеко не представляется однороднымъ. Напротивъ, въ каждое данное время оно составляется изъ нѣсколькихъ слоевъ, изъ нѣсколькихъ сословій или классовъ, интересы которыхъ стоятъ въ большемъ или меньшемъ взаимномъ противорѣчїи. Другими словами, между индивидуумомъ и государствомъ стоитъ классъ, положеніемъ котораго опредѣляется, въ значительной степени, и положеніе индивидуума, его отношеніе къ государству и отношеніе государства къ нему. Если за подтвержденіемъ нашей мысли мы обратимся къ тому, что «показываетъ исторія», то увидимъ, что только новѣйшее, такъ называемое *правовое* государство является юридически безусловнымъ. Во всѣхъ же предшествовавшихъ формахъ государственной организаци раздѣленіе индивидуумовъ на касты, классы или сословія находило свое выраженіе въ весьма опредѣленныхъ и недвусмысленныхъ юридическихъ формахъ. Но юридическая безусловность правового государства не мѣшаетъ фактическому его раздѣленію на классы имущихъ и неимущихъ, предпринимателей и рабочихъ, буржуа и пролетаріевъ. Экономическая зависимость одного изъ этихъ классовъ отъ другого отражается и въ политической жизни западно-европейскихъ государствъ. Писатель, который возвелъ въ теорію примиряющую и водворяющую справедливость миосію государства, Лоренцъ фонъ-Штейнъ, признаетъ, что экономическая зависимость однихъ отъ другихъ ведетъ къ тому, что вышіе классы стремятся захватить въ свои руки всѣ пружины государственнаго управленія, создаетъ и въ политической жизни «порядокъ зависимости неимущихъ отъ имущихъ». Этотъ порядокъ зависимости передается, по мнѣнію Штейна, отъ родителей къ дѣтямъ; переходъ же изъ одного класса въ другой все болѣе затрудняется, по мѣрѣ того, какъ экономически-самостоятельная дѣятельность, съ развитіемъ крупной промышленности, требуетъ все большаго и большаго запаса средствъ.

Въ виду этого, явившагося съ первыхъ же шаговъ исторіи, факта подраздѣленія общества на классы, стоящіе въ различныхъ отношеніяхъ взаимной зависимости, неудивительно, что понятія о «вышемъ правѣ» и «справедливости» бывають по временамъ различны на различныхъ ступеняхъ общественной гѣстницы.

Каждая составная часть общества стремится устроиться по-своему, каждый классъ отстаиваетъ или стремится завоевать наивыгоднѣйшія для него условія существованія. И нужно сознаться, что «органъ вышаго права»—государство—находилось бы въ большемъ затрудненіи—какой изъ рекомендуемыхъ ему видовъ «справедливости» должно осуществить оно въ данное время, если бы только оно дѣйствительно су-

ществовало как нечто стоящее внѣ экономической іерархіи классовъ и совершенно независимое отъ ихъ интересовъ и стремленій. Но въ томъ-то и дѣло, что въ каждый данный моментъ историческаго развитія организація государства опредѣлялась отношеніемъ силъ составныхъ его частей. Если бы взаимное отношеніе этихъ силъ оставалось неизмѣннымъ, то и воплотившіяся въ формахъ государственной организаціи идеи «права» и «справедливости» также не измѣнились бы въ своемъ содержаніи. Но исторія никогда не стоитъ на одномъ мѣстѣ. Медленно и незамѣтно, но неуклонно и «неукоснительно» совершаются измѣненія въ фактическихъ отношеніяхъ силъ различныхъ общественныхъ классовъ, пока, наконецъ, эти измѣненія не достигнутъ извѣстной степени интенсивности. Но разъ необходимая степень этихъ измѣненій достигнута—и только когда она достигнута—государственная организація въ свою очередь подвергается переустройству, становится воплощеніемъ новыхъ идей и принциповъ. Исторія третьяго сословія можетъ служить нагляднымъ доказательствомъ всего вышесказаннаго. Эта же исторія можетъ убѣдить читателя, что буржуазія совершила бы самоубійство, если бы въ періодъ своей юности, въ то время, когда еще только стремилась быть «чѣмъ-нибудь», она пришла къ тѣмъ же взглядамъ, которые проповѣдуетъ нынѣ Лавелл съ голоса историко-реалистической школы. Она и донынѣ осталась бы «ничѣмъ», если бы, проникнувшись убѣжденіемъ, что государство есть «органъ высшаго права», въ бездѣйствіи ожидала осуществленія своихъ идеаловъ отъ феодальнаго государства. Но такая ошибка возможна только въ теоріи, въ головѣ того или другого «ученаго» или хотя бы цѣлой когорты «ученыхъ» извѣстнаго направленія. Уроки же практической жизни слишкомъ дорого оплачиваются человечествомъ, чтобы оно могло забыть извѣстное изреченіе—«въ борьбѣ обрѣтешь право свое». Третье сословіе никогда не забывало этой истины, и только благодаря неутомимой, многолѣтней борьбѣ, могло оно сбросить иго феодализма. Какъ бы по ироніи судьбы, именно историко-реалистическая школа и забыла поучительную исторію этой борьбы. Мы говорили уже выше и еще вернемся къ вопросу о причинахъ, обусловившихъ недостаточно критическое отношеніе историко-реалистической школы къ предметамъ ея изслѣдованій. Теперь же, отмѣтивши основную ошибку этой школы, состоящую въ игнорированіи повсюду отражающагося въ политикѣ расчлененія общества на классы, мы перейдемъ къ оцѣнкѣ другихъ упрековъ, направляемыхъ «новой политической экономіей» по адресу ненавистнаго ей «маячестерства».

VIII.

Въ основаніи всѣхъ ученій Смита-Рикардо лежало, какъ извѣстно, то принятое еще физиократами положеніе, что въ «естественномъ по-

рядѣ», который они рекомендовали взаимнѣ феодально-меркантильнаго, каждый индивидуумъ, преслѣдуя цѣль личнаго своего обогащенія, способствуетъ въ то же время возрастанію благосостоянія всей націи и каждаго изъ ея членовъ. Въ «естественномъ порядкѣ» солидарность должна была родиться изъ самаго эгоизма, и такого рода солидарность естественно казалась самой прочной и ненарушимой. Не болѣе полустолѣтія нужно было, чтобы поставить внѣ всякаго сомнѣнія ту истину, что въ капиталистическомъ обществѣ не только обогащеніе одного индивидуума, но даже колоссальное возрастаніе богатства цѣлаго общественнаго класса уживается съ обѣдненіемъ большинства населенія. Съ тридцатыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія вышеприведенное положеніе смитовской школы подвергалось такимъ ожесточеннымъ нападкамъ, что историко-реалистической школѣ не нужно было особеннаго мужества, чтобы атаковать этотъ разрушенный бастионъ воздвигнутой старою школою крѣпости. И она дѣйствительно не замедлила напасть съ этой стороны на «манчестерцевъ», но и здѣсь осталась вѣрна своей обычной тактикѣ, свойства которой имѣютъ очень мало общаго съ строгимъ и послѣдовательнымъ научнымъ анализомъ.

«Безъ сомнѣнія,—говоритъ Лавелъ отъ имени «новой политической экономіи»,—человѣкъ преслѣдуетъ свои интересы. Но не одинъ, а нѣсколько двигателей вліяютъ на его душу и регулируютъ его дѣйствія. Рядомъ съ эгоизмомъ существуетъ еще чувство общественности, *Gemeinsinn*, выражающееся въ образованіи семьи, общины, государства. Человѣкъ не походитъ на животное, которое знаетъ лишь удовлетвореніе своихъ нуждъ; онъ — существо нравственное, умѣющее повиноваться долгу и подъ вліяніемъ религіознаго или философскаго убѣжденія жертвующее часто удовлетвореніемъ своихъ потребностей, благосостояніемъ, самою жизнью—родитѣ, человечеству, истинѣ, Богу. Ошибочно поэтому основывать цѣлый рядъ истинъ на томъ афоризмѣ, что человѣкъ дѣйствуетъ лишь подъ вліяніемъ одного двигателя—личнаго интереса» (стр. 5).

Какъ и о всѣхъ почти положеніяхъ новой школы, по поводу этихъ словъ Лавелъ приходится сказать, что съ нами можно согласиться, но только съ оговорками. Притомъ оговорокъ этихъ требуется такъ много, что заключающаяся въ приведенныхъ его словахъ доля истины теряетъ всякое значеніе въ массѣ запутанныхъ и противорѣчивыхъ положеній.

Люди, впервые ополчившіеся на смитовскую школу, были вполне правы, утверждая, что эгоизмъ не только не приноситъ тѣхъ золотыхъ горъ, которыхъ насудили за него экономисты, но, напротивъ, порождаетъ цѣлый рядъ бѣдствій, угрожающихъ общественному спокойствію. Но, указывая на эти бѣдствія, первые критики «естественнаго порядка» не думали ограничиться указаніемъ на то, что въ человѣкѣ, кромѣ эгоизма,

существуют еще альтруистическія побужденія. Они понимали, что если бы при данныхъ общественныхъ отношеніяхъ альтруизмъ могъ служить достаточнымъ противѣсомъ человѣческому эгоизму, то онъ предупредилъ бы ими же указанную общественную неурядицу, совершенно независимо отъ того, признаетъ или отрицаетъ его вліяніе извѣстная часть писателей. Не могло же имъ придти въ голову, что альтруизмъ не вмѣшивается въ междуличовѣскія отношенія и не смягчаетъ ихъ темныхъ сторонъ лишь потому, что экономисты оказывали до сихъ поръ исключительное вниманіе его антагонисту—эгоизму. Они утверждали, напротивъ, что альтруистическія побужденія человѣческой души не находятъ себѣ мѣста въ системѣ существующихъ экономическихъ отношеній и не найдутъ его, пока будутъ существовать эти отношенія. Въ силу этого убѣжденія они требовали измѣненій въ современномъ имъ экономическомъ строѣ общества и предлагали цѣлый рядъ проектовъ новыхъ общественныхъ отношеній. Положимъ, въ большинствѣ случаевъ проекты эти были наивны и неосуществимы, но исходныя точки разсужденій ихъ авторовъ—необходимость радикальнаго измѣненія условій, въ которыя поставлена экономическая дѣятельность человѣка—эта точка зрѣнія была и остается безупречною, такъ какъ построенная на конкуренціи система частныхъ хозяйствъ, дѣйствительно, ведетъ къ самой ожесточенной борьбѣ за существованіе, вызываетъ и воспитываетъ въ человѣкѣ самыя эгоистическія истинны.

Не такъ разсуждаютъ экономисты этической школы. Они надѣются, повидимому, что рядъ помѣщенныхъ въ ихъ трактатахъ похвальныхъ отзывовъ объ альтруизмѣ разбудитъ дремавшее до сихъ поръ въ душѣ современнаго европейца чувство общественности, и это чувство уврачуеетъ всѣ соціальныя недуги. Правда, оставаясь въ сферѣ общихъ разсужденій, они еще признаютъ, что довольствоваться одною проповѣдью невозможно. «Нужно,—говоритъ Лавелъ,—подавлять эгоизмъ, а не давать ему свободнаго поприща: въ этомъ заключается прежде всего задача морали, затѣмъ государства—органа справедливости». Но и государство не всемогуще и не можетъ изъ ничего сдѣлать что-либо. «Подавить эгоизмъ» оно можетъ только рядомъ цѣлесообразныхъ мѣропріятій. Какія же мѣры рекомендуютъ «государству—органу справедливости» бельгійскій профессоръ и вся вообще историко-реалистическая школа? Трудно дать сколько-нибудь опредѣленный отвѣтъ на этотъ неизбѣжный вопросъ. Нашъ «этический» экономистъ, съ такой важностью утверждавшій, что «новая политическая экономія» умѣетъ отличать «осуществимыя реформы» отъ утопій, слишкомъ, повидимому, увлекся преслѣдованіемъ этихъ послѣднихъ «шагъ за шагомъ» и позабылъ указать хоть на одну изъ «осуществимыхъ», по его мнѣнію, реформъ. Въ его весьма почтенной по объему книгѣ есть цѣлая глава, посвященная роскоши, по отношенію къ которой онъ

является непримиримымъ и громить ее во всѣхъ ея проявленіяхъ. Но въ этой роли мелкобуржуазнаго проповѣдника онъ выступаетъ «миссіонеромъ морали», а не реформаторомъ. «Христіанство право,—воскликаетъ онъ:—богатство налагаетъ на человѣка извѣстныя обязанности, *richesse oblige*. Тѣ, которымъ достается чистый доходъ страны, должны употребить свой избытокъ не на утонченіе своихъ матеріальныхъ наслажденій или возбужденіе нездоровыхъ инстинктовъ тщеславія и гордости, но на дѣла общественной пользы, какъ это уже сдѣлали многіе американскіе граждане и европейскіе монархи». И едва читатель успѣваетъ придти въ себя, едва успѣваетъ онъ отереть слезу изумленія, какъ профессоръ-проповѣдникъ перескакиваетъ отъ Іоанна Златоуста къ Вольтеру и начинаетъ возражать самому себѣ. «Какъ сказалъ еще Вольтеръ, не рѣчи проповѣдниковъ, не разсужденія экономистовъ заставятъ исчезнуть роскошь,—заявляетъ онъ,—а медленный и постоянный прогрессъ учреждений и законовъ». Остается только пожалѣть, что эти слова Вольтера такъ поздно пришли на память нашему автору. Вспомни онъ ихъ ранѣе, онъ не написалъ бы 59 страницъ «разсужденій» о роскоши и, вѣроятно, съ большою подробностью указалъ бы «измѣненія въ законахъ и учрежденіяхъ», способныя, по его мнѣнію, уничтожить ненавистное ему явленіе. Но этого не случилось, и читателю приходится довольствоваться тирадами въ родѣ слѣдующихъ: «Не забудемъ, что всѣ античныя демократіи погибли въ междособіяхъ. Та же опасность является передъ нами и проявляется иногда въ ужасныхъ катастрофахъ... Ни одинъ писатель не понялъ лучше Аристотеля ужасную проблему, вызываемую учрежденіемъ демократическаго режима. Въ своей замѣчательной книгѣ, «Подитакѣ», онъ въ одно и то же время указываетъ и опасность и лекарство. Опасность происходитъ отъ неравенства, лекарство состоитъ въ распространеніи собственности. Когда каждый отецъ семейства сдѣлается собственникомъ маленькаго поля, дома, акціи, облигаціи, ренты, нечего будетъ болѣе бояться соціальной революціи. Нужно, слѣдовательно, сообщать трудящимся классамъ съ дѣтства и въ школахъ привычку къ сбереженію; сдѣлать насколько возможно легкимъ приобрѣтеніе собственности; отмѣнить тѣ законы, которые приводятъ къ ея концентраціи въ немногихъ рукахъ, и, наоборотъ, установить такіе, которые сдѣлали бы ее доступной самому большому числу людей. Что касается до богатыхъ классовъ, то они обязаны содѣйствовать этому освободительному движенію. Прилежаніе, любовь къ полямъ, простота жизни, высокая нравственная и умственная культура—такіе примѣры нужно показывать народу» (стр. 480—481).

Помимо сомнительной параллели между древнимъ, рабовладѣльческимъ, и современнымъ, буржуазнымъ, обществомъ, въ этой тирадѣ заслуживаетъ вниманія неопредѣленность выраженій, въ которыхъ Лавелэ рекомендуетъ свои «осуществимыя реформы». Какіе законы «способствуютъ концен-

траціи собственности въ немногихъ рукахъ»? Какіе дѣлають ее доступной самому большому числу людей—объ этомъ «новый экономистъ» не говоритъ ни слова, а между тѣмъ

Das ist des Pudels Kern,

Судя по репутаціи Лавела, прибрѣтенной имъ книгою о «Первобытной собственности», читатель могъ бы, пожалуй, предположить, что нашъ авторъ имѣетъ въ виду общинное землевладѣніе и производительныя ассоціаціи, земледѣльческія и промышленныя. Но такое предположеніе было бы ошибочнымъ. Лавелъ вообще совершенно безнадежно смотритъ на поземельную общину. «Менѣе чѣмъ черезъ полстолѣтія,—говоритъ онъ,—когда желѣзныя дороги и новѣйшая промышленность разовьютъ богатство южныхъ славянъ, прежнее равенство уступитъ мѣсто антагонизму между трудомъ и капиталомъ, какъ въ нашихъ западныхъ странахъ... Тенденціи настоящаго времени оказываются смертельными для деревенскихъ общинъ». Что касается производительныхъ ассоціацій, то пользу ихъ и осуществимость Лавелъ признаетъ тоже съ весьма большими оговорками. «Государственные осуды—гибель рабочихъ товариществъ... это фактъ констатированный: деньги, ссуженныя государствомъ, приносятъ несчастье». Это положеніе могло бы привести въ восторгъ любого изъ «манчестерцевъ». Оказывается, что во многихъ, по крайней мѣрѣ, практическихъ случаяхъ «новая» школа вовсе не такъ уже радикально расходится со «старой» и не менѣе послѣдней «испытываетъ ужась» передъ государственнымъ вмѣшательствомъ. Но чѣмъ же объясняется приведенный выше «констатированный фактъ»? «Тотъ, кто не сумѣетъ сконить капитала сбереженіемъ, окажется еще менѣе способнымъ сохранить его, употребляя его въ дѣло. Именно благодаря стараніямъ накопить необходимый для ихъ предпріятія капиталъ члены товарищества прибрѣтутъ коммерческую опытность, нужную для обезпеченія ихъ успѣха» (стр. 138—139).

Такимъ образомъ, мы снова приходимъ къ «сбереженію», которое одно, повидимому, и въ состояніи совершить общинныя намъ чудеса, въ видѣ «дома, акцій, облигацій», принадлежащихъ «каждому отцу семейства». Какъ извѣстно, Бастіа, «компрометировавшій, по мнѣнію Лавела, защиту общественнаго порядка», не говорилъ ничего, что могло бы идти вразрѣзъ съ этой безобидной программой «новаго экономиста».

Если, обсуждая вопросъ о сбереженіи, какъ о панацее общественныхъ золъ, читатель вспомнитъ о законѣ заработной платы Тюрго-Рикардо, то этимъ онъ докажетъ только свое незнакомство съ ученіями историко-реалистической школы, по мнѣнію которой законъ этотъ—не болѣе, какъ грубая ошибка «манчестерцевъ». Большая часть современныхъ экономистовъ,—жалуется Лавелъ,—считаетъ вліянія, регулирующія за-

работную плату, естественными законами, дѣйствіе которыхъ неотразимо, какъ дѣйствіе законовъ физическихъ явленій... Но это совершенно ошибочная точка зрѣнія. Конечно, законы, регулирующие заработную плату, являются «естественнымъ» слѣдствіемъ данной общественной организаціи, существующихъ нравовъ и привычекъ, составляющихъ результатъ исторіи. Но факты и учрежденія, слѣдствіемъ которыхъ являются эти законы, суть факты, проистекающіе изъ свободной воли человѣка. Создавшіе ихъ люди могутъ и измѣнить ихъ, какъ они уже не разъ дѣлали въ теченіе столѣтій, и тогда «естественныя» слѣдствія будутъ другія... Мы подчинены эгоистическимъ законамъ, но мы сами создаемъ законы общественные».

Оставимъ пока въ сторонѣ вопросъ о томъ, какимъ образомъ «реализмъ» новой школы привелъ ее къ отрицанію законсообразности общественныхъ явленій и къ установленію зависимости замѣчаемыхъ въ общественной организаціи измѣненій лишь «отъ свободной воли человѣка». Укажемъ, также лишь мимоходомъ, на то, что нашъ экономистъ-реалистъ смѣшалъ юриспруденцію съ философіей исторіи, писанные законы общества съ законами, управляющими историческимъ развитіемъ этого общества. Людямъ, воображающимъ что имъ удалось указать хоть нѣкоторые законы не изъ тѣхъ, которые «мы создаемъ сами», а изъ числа тѣхъ, подъ вліяніемъ которыхъ мы *создаемся* сами, этимъ людямъ послѣ замѣчательнаго открытія Лавелю, оставалось бы только воскликнуть словами Фауста:

Da steh'ich nun, ich armer Thor!
Und bin so klug, als wie Zuvor.

Къ счастью, мы можемъ утѣшить ихъ, напомнивши имъ, что есть, по крайней мѣрѣ, одинъ «констатированный фактъ», не зависящій отъ «свободной воли человѣка», а именно: «деньги, ссуженныя государствомъ, приносятъ несчастье»... рабочимъ товариществамъ, конечно, а не крупнымъ акціонернымъ компаніямъ. И, довольствуясь этимъ «фактомъ», посмотримъ — при какихъ обстоятельствахъ могло бы измѣниться, по мнѣнію Лавелю, дѣйствіе «железнаго и жестокаго закона» заработной платы.

Бельгійскій профессоръ охотно признаетъ, что уровень заработной платы не можетъ надолго *опуститься ниже* минимума, необходимаго для удовлетворенія самыхъ насущныхъ потребностей рабочаго. «Съ этой стороны желѣзный законъ составляетъ несомнѣнную дѣйствительность» (стр. 118). Что же касается до другой стороны этого закона, по которой уровень рабочей платы не можетъ *возвыситься* надолго надъ указаннымъ минимумомъ, то Лавелю оспариваетъ ее самымъ энергическимъ образомъ. «Человѣкъ — существо свободное, — философствуетъ онъ, — которое поступаетъ не всегда одинаково и поведение

котораго измѣняется его вѣрованіями и надеждами, господствующими идеями и окружающими его учрежденіями. Возвышеніе благосостояніа рабочаго причинило бы пониженіе заработной платы лишь въ томъ случаѣ, если бы онъ воспользовался этимъ возвышеніемъ исключительно для увеличенія количества своихъ дѣтей. Но это слѣдствіе до такой степени далеко отъ того, чтобы быть необходимымъ, что большая часть замѣченныхъ фактовъ скорѣе заставляетъ ожидать противоположныхъ результатовъ. Бѣдность уноситъ много дѣтей, но она же вызываетъ и большее количество рожденій. Напротивъ, благосостояніе, вызывая предусмотрительность, уменьшаетъ плодовитость браковъ и самое ихъ число» (стр. 116). За доказательствами нашъ авторъ, разумѣется, въ карманъ не лѣзетъ. Населеніе Ирландіи бѣдствуетъ и въ то же время размножается чрезвычайно быстро. Во Франціи, Швейцаріи и Норвегіи, гдѣ «собственность находится въ большемъ числѣ рукъ и благосостояніе распределено болѣе равномерно», населеніе возрастаетъ всего медленнѣе. Отсюда онъ дѣлаетъ двоякаго рода выводъ. Во-первыхъ, если бы рабочіе имѣли маленькіе участки земли, то, вопреки мнѣнію Милля, утверждавшаго, что это повело бы лишь къ уменьшенію платы за трудъ, благосостояніе рабочихъ могло бы подняться надолго, такъ какъ оно повело бы за собою лишь уменьшеніе числа рожденій и ослабленіе конкуренціа «рукъ» вслѣдствіе уменьшенія ихъ предложенія. Во-вторыхъ, если бы предприниматели строили для своихъ рабочихъ дома, которые они затѣмъ отдавали бы по дешевой цѣнѣ въ наемъ этимъ же рабочимъ, то это не дало бы возможности предпринимателямъ повысить заработную плату, потому что предложеніе рукъ не возрасло бы вслѣдствіе этого. Но и этимъ не довольствуется послѣдователь «новой политической экономіи». «Пусть дѣлаютъ еще лучше, — увлекается онъ, — пусть строятъ большіе отели, гдѣ рабочіе нашли бы помѣщеніе, пищу и честныя развлеченія за плату, меньше трети или даже четверти ихъ ежедневнаго заработка. Благодаря этому они... могли бы сберечь маленькій капиталъ, усвоили бы лучшія привычки и, такимъ образомъ, не спѣшили бы бросаться навстрѣчу бѣдствіямъ слишкомъ ранней женитьбы. Приближаясь къ буржуазіи, они усвоили бы инстинкты порядка и осторожности» (стр. 12).

Итакъ, «железный законъ» оказывается, по изслѣдованіямъ экономистовъ «новой» школы, вовсе не «жестокимъ», какъ называли его Родбертусъ и Лассаль. Его скорѣе слѣдовало бы назвать «золотымъ» закономъ, такъ какъ онъ, во всякомъ случаѣ, гарантируетъ рабочему удовлетвореніе минимума его потребностей и въ то же время нисколько не препятствуетъ какому угодно возвышенію заработной платы надъ этимъ минимумомъ. Такова ужъ предустановленная гармонія, которую, напомнимъ мы Лавелю, усмотрѣлъ впервые все тотъ же, безъ вины обиженный имъ Бастіа.

Морицъ Мейеръ смотритъ на дѣло именно съ этой точки зрѣнія, причемъ, со свойственной нѣмцамъ основательностью, идетъ даже далѣе. «Непонятно,—удивляется онъ,—что же жестокаго въ томъ, что рабочій постоянно имѣетъ лишь столько, сколько ему, сообразно его привычкамъ, требуется. Много ли вообще людей, доходы которыхъ превосходили бы ихъ обычные потребности? Можно даже сказать, что въ высшихъ классахъ менѣе значительное уменьшеніе благосостоянія причиняетъ сравнительно большія страданія, чѣмъ въ средѣ живущихъ въ лишеніяхъ рабочихъ. Если же доходъ и потребности почти соотвѣтствуютъ другъ другу, то въ этомъ еще нѣтъ никакой желѣзной жестокости» ¹⁾).

Совершенно справедливо! А когда, по совѣту Лавеле, фабриканты понастроятъ для рабочихъ отелей, въ которыхъ стоимость «помѣщенія, пищи и честныхъ развлеченій» будетъ равняться «трети или даже четверти (послѣднее-то ужъ, пожалуй, черезчуръ щедро!) ихъ ежедневнаго заработка», то «доходъ» пролетарія будетъ, по меньшей мѣрѣ, вдвое превосходить его потребности, и рабочій классъ будетъ «относительно» вдвое богаче всѣхъ другихъ классовъ общества. Вслѣдствіе этого для него также будетъ вдвое легче и сбереженіе, покупка «дома, акціи, облигаціи, маленькаго поля» и т. п., и т. п. Все это ясно, какъ божій день. «Никогда ни одинъ геометръ не чертилъ на пескѣ болѣе очевиднаго доказательства», какъ говоритъ Эразмъ Роттердамскій въ своей «Похвалѣ глупости».

Одна только мысль можетъ омрачить радужное настроеніе, овладѣвающее всякимъ «истиннымъ другомъ челоѣчества» въ виду открытій «новыхъ» экономистовъ. Извѣстно, что «сухой и жестокой, какъ силлогизмъ», Карлъ Марксъ также занимался вопросомъ о заработной платѣ и о законѣ народонаселенія, и этотъ «сухой» челоѣкъ пришелъ къ нѣсколько другимъ выводамъ по этому поводу. «Накопленіе капитала,—говоритъ онъ ²⁾),—которое первоначально является количественнымъ его увеличеніемъ, всегда сопровождается качественнымъ измѣненіемъ его состава, непрерывнымъ возрастаніемъ постоянной его части на счетъ переменнѣйшей... При возрастающемъ накопленіи отношеніе постояннаго капитала къ переменному изъ 1 : 1, какъ оно было, положимъ, сначала, переходитъ къ 2 : 1, 3 : 1, 4 : 5 : 1, 7 : 1 и т. д., такъ что, при возрастаніи капитала, вмѣсто половины общей его суммы, на рабочую плату расходуется $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, и т. д.; напротивъ, на средства производства затрачивается, соотвѣтственно этому, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{7}{8}$ и т. д. Такъ какъ спросъ на трудъ опредѣляется не общимъ размѣромъ капитала, а переменнѣйшей его частью, то онъ прогрессивно падаетъ вмѣстѣ съ ростомъ общей суммы капитала, вмѣсто того, чтобы возрасти въ одинаковой съ

¹⁾ Die neuere Nationalökonomie, S. 91.

²⁾ Das Kapital, zweite Auflage, S. 653.

ней прогрессіи». «Это, вмѣстѣ съ ростомъ капитала возрастающее уменьшеніе переменнѣйшей его части,—уменьшеніе, совершающееся быстрѣе роста самого капитала, представляется, съ другой стороны, наоборотъ, болѣе быстрымъ возрастаніемъ рабочаго населенія, сравнительно съ переменнымъ капиталомъ... Капиталистическое накопленіе порождаетъ, и притомъ прямо пропорціонально своей энергіи и объему, относительное, то есть для среднихъ размѣровъ производства ненужное, а потому и излишнее рабочее населеніе или перенаселеніе» ¹⁾).

Это «относительно излишнее» рабочее населеніе является самымъ опаснымъ конкурентомъ занятыхъ уже въ производствѣ рабочихъ и понижаетъ заработную плату до послѣднихъ предѣловъ возможности. Но и это не все. Благодаря успѣхамъ крупной машинной промышленности, трудъ фабричнаго работника настолько упрощается, что женщины и дѣти съ успѣхомъ конкурируютъ съ мужчинами, и относительное перенаселеніе является, такимъ образомъ, еще скорѣе, достигаетъ еще большей интенсивности. «Относительно излишній» рабочій, разумѣется, не въ состояніи требовать отъ фабриканта «отеля», гдѣ «за плату, меньшую трети или даже четверти его ежедневнаго заработка», онъ могъ бы имѣть «помѣщеніе, пищу и честныя развлеченія». У него просто-на-просто нѣтъ ни заработка, ни «пищи», ни «развлеченій». Законъ относительнаго перенаселенія «приковываетъ работника къ капиталу прочіе, чѣмъ цѣпи Вулкана приковывали Прометея къ скалѣ». Онъ вызываетъ соотвѣтствующее накопленію капитала—накопленіе нищеты» ²⁾).

И этой-то «нищетѣ» реалистическая политическая экономія,—которая хочетъ наблюдать дѣйствительность и отказывается строить свои выводы на «нѣсколькихъ абстрактныхъ положеніяхъ», этому-то классу, все большая часть котораго становится «излишней», «новые экономисты», проповѣдники «морали» и «альтруизма», совѣтуютъ сбереженіе, какъ единственное средство выхода изъ того ужаснаго положенія, въ которомъ надъ нимъ, какъ Дамокловъ мечъ, постоянно висятъ безработица и всѣ связанные съ нею ужасы безпріютности, голоданія и безпомощнаго скитальчества!

«Приблизившись къ буржуазіи, вы приобретете инстинкты порядка и осторожности, перестанете размножаться съ такою гибельною для васъ быстротою, и заработная плата не будетъ падать вождѣствіе вашей взаимной конкуренціи». Но весь ходъ развитія капитализма идетъ какъ разъ обратнымъ путемъ: не рабочіе «приближаются къ буржуазіи», а наоборотъ—ряды самой буржуазіи постоянно рѣдѣютъ, и все большее количество когда-то самостоятельныхъ производителей переходитъ въ дѣй-

¹⁾ Ibid., S. 654.

²⁾ Ibid., S. 671.

ствующую или «резервную» армию пролетариата. Какимъ же чудомъ могутъ рабочіе привести въ исполненіе благоразумныя совѣты Лавеля? Какъ достигнуть они обѣтованной страны, гдѣ у нихъ разовьются инстинкты «порядка и осторожности», гдѣ они могутъ, говоря словами поэта:

...auf Erden schon
Das Himmelreich errichten!

Да и въ томъ ли вообще дѣло, что «благосостояніе, вызывая пред-усмотрительность, уменьшаетъ плодovitость браковъ и самое ихъ число»? Можетъ ли уменьшеніе цифры рожденій ослабить конкуренцію рабочихъ, понижающую ихъ заработную плату до крайняго минимума?

Оставимъ Маркса, книга котораго кажется «новымъ» экономистамъ «поражающимъ примѣромъ злоупотребленія дедуктивнымъ методомъ», и возьмемъ сочиненія писателя, охотно цитируемаго самимъ Лавелемъ, хотя и непонятаго этимъ послѣднимъ.

«Не говоря уже о томъ, что новорожденные выйдутъ на рынокъ конкурировать со взрослыми только спустя долгое время послѣ ихъ появленія на свѣтъ, количество рожденій не даетъ вѣрнаго масштаба ни для возрастанія народонаселенія, ни для его здоровья,—говоритъ Фр. Лангъ ¹⁾.—Въ настоящее время во всей наукѣ о народонаселеніи можетъ считаться основнымъ то положеніе, что болѣе быстрое размноженіе народа или извѣстной его части вызывается не увеличеніемъ его плодovitости, но уменьшеніемъ смертности. Такъ, напримѣръ, несомнѣнно, что въ большей части европейскихъ государствъ евреи размножаются быстрѣе, чѣмъ христіанское населеніе. Но несомнѣнно и то, что это происходитъ не потому, что въ еврейскихъ бракахъ родится большее количество дѣтей, но скорѣе потому, что смертность менѣе въ средѣ евреевъ, что большее число новорожденныхъ достигаетъ зрѣлаго возраста, и что вообще средняя продолжительность жизни у евреевъ болѣе. Въ свою очередь, эта меньшая смертность является слѣдствіемъ того, что евреямъ удалось, безъ тяжкаго физическаго труда, создать себѣ болѣе удобное жизненное положеніе, въ которомъ и уходъ за дѣтьми поставленъ въ болѣе благопріятныя условія».

Выходитъ, что если бы рабочіе, подъ вліяніемъ улучшившагося, по щучьему велѣнію, заработка, «приблизились къ буржуазіи» и приобрѣли инстинкты умѣренности и аккуратности, то отъ этого увеличилась бы средняя продолжительность ихъ жизни, большее число ихъ дѣтей достигло бы зрѣлаго возраста, и населеніе, а вмѣстѣ съ нимъ и конкуренція «рукъ» на рабочемъ рынкѣ, возрастали бы пропорціональнаго улучшенію жизненной обстановки рабочаго. Конкуренція, въ свою очередь, нейтрализовала бы причины, вызвавшія повышеніе рабочей платы, и

¹⁾ Die Arbeiterfrage, dritte Auflage, Winterthur, 1875, S. 31—37.

последняя снова упала бы до уровня самых насущных потребностей трудящихся. Чтобы все это произошло, вовсе не нужно, чтобы «рабочие воспользовались увеличением заработка исключительно для увеличения количества своих детей». Нужно только, чтобы они не доводили рекомендуемой им «новой школой» умеренности и аккуратности до безчеловечного и невѣроятного скряжничества. Нужно, чтобы они не отказывали себя и своим детям в болѣе, чѣмъ прежде, питательной пищѣ, чтобы они не поскупились позвать доктора, въ случаѣ болѣзни кого-нибудь изъ ихъ домашнихъ, чтобы они одѣвались сами и одѣвали своихъ детей болѣе сообразно требованіямъ климата и т. п., и т. п. И они сдѣлаютъ это, вопреки всѣмъ причитаніямъ «этическихъ» экономистовъ, насколько позволить имъ возвышеніе ихъ заработка. Но въ такомъ случаѣ населеніе будетъ возрастать, хотя бы даже количество рожденій и уменьшалось, если бы рабочіе и «не спѣшили бросаться навстрѣчу слишкомъ ранней женитьбѣ». Увеличеніе средней продолжительности жизни съ избыткомъ возмѣститъ уменьшеніе числа рожденій. Съ своей стороны, и капиталисты не откажутся извлечь выгоду изъ увеличившагося предложенія рабочихъ рукъ. Несмотря на присущій человѣку *Gemeinsinn*, предприниматели очень хорошо понимаютъ, что прибыль ихъ обратно пропорціональна величинѣ заработной платы и, не будучи себѣ врагами, стараются и будутъ стараться, пока останутся на свѣтѣ предприниматели въ нынѣшнемъ смыслѣ этого слова, понизить заработокъ пролетарія, насколько это допускается условіями рабочаго рынка. Желѣзный законъ оказывается, значитъ, «несомнѣнной дѣйствительностью» не съ одной только пріятной своей стороны, съ такимъ глубокомысліемъ и пронизательностью оцѣненной д-ромъ Морицемъ Мейеромъ. Слѣдовательно, и всѣ построенныя на отрицаніи этого закона рецепты бельгійскаго профессора падаютъ, какъ карточные домики, оказываются именно тою «утопіей», которую почтенный экономистъ обѣщался преслѣдовать «шагъ за шагомъ». Этими мы избавляемся отъ необходимости оцѣнивать внутренній смыслъ этихъ рецептовъ, экономическое значеніе предложеній, въ родѣ того, чтобы «каждый отецъ семейства сдѣлался собственникомъ маленькаго поля, дома, акціи, облигаціи» и т. п. Въ виду невозможности для рабочихъ сдѣлаться такими собственниками, мы можемъ оставить въ сторонѣ вопросъ о томъ, въ какомъ положеніи стоитъ въ настоящее время мелкая поземельная собственность въ промышленно развитыхъ странахъ Западной Европы, какая участь постигаетъ мелкихъ капиталистовъ въ виду все болѣе обнаруживающейся концентраціи капиталовъ и т. д., и т. д. Остановившись слишкомъ уже долгое время на «реалистическихъ» теоріяхъ Лавела, мы не оказали до сихъ поръ должнаго вниманія нѣмецкому представителю «новой политической экономіи», д-ру Морицу Мейеру, о взглядѣ котораго на за-

конъ заработной платы мы считаемъ нелишнимъ сказать нѣсколько словъ.

Но такъ какъ почтенный докторъ цѣликомъ списалъ свои размышления о заработной платѣ со страницъ книги Луйо Brentano «Das Arbeitsverhältnismäss dem heutigen Recht», причѣмъ обнаружилъ большую сдержанность по отношенію къ вноснымъ знакамъ, то мы съ вами, читатель, предпочтемъ «оригиналъ списку» и обратимся къ самому Луйо Brentano.

Въ противность Лавела Brentano находить, что отрицать существованіе желѣзнаго закона заработной платы «нелѣпно», такъ какъ онъ признается всѣми «серьезными экономистами». Но, какъ мы видѣли уже изъ разсужденій его послѣдователя Мейера, онъ не находить въ этомъ законѣ ничего «жестокаго». Онъ думаетъ, напротивъ, что экономическую основу рабочаго вопроса нужно искать не въ томъ, что рабочая плата колеблется около насущныхъ потребностей рабочаго, подобно тому, какъ цѣна другихъ товаровъ колеблется около издержекъ ихъ производства, не въ томъ, что трудъ... является въ видѣ товара. Она лежитъ, напротивъ, въ томъ, что трудъ не во всѣхъ отношеніяхъ сходенъ съ другими товарами, что рабочій не стоитъ въ положеніи продавца другихъ товаровъ ¹⁾.

Исходя изъ этого, въ свою очередь заимствованнаго имъ у Торнтона положенія, Луйо Brentano предлагаетъ рядъ мѣръ, которыя могли бы, по его мнѣнію, оказать рабочимъ ту великую услугу, что они поставили бы ихъ въ положеніе «продавцовъ другихъ товаровъ». Однимъ изъ самыхъ дѣйствительныхъ средствъ достиженія этого завиднаго положенія онъ считаетъ организацію рабочихъ союзовъ, опираясь на которые рабочій могъ бы договариваться съ капиталистомъ на болѣе выгодныхъ для себя условіяхъ ²⁾. Затѣмъ онъ проектируетъ устройство особыхъ палатъ для соглашенія рабочихъ съ предпринимателями въ случаяхъ споровъ о повышеніи или пониженіи заработной платы. Рѣшеніямъ этихъ палатъ, основаннымъ на данномъ состояніи рынка, онъ предлагаетъ присвоить обязательную силу и т. д.

Изъ всего этого читатель можетъ видѣть, что, совѣтуя рабочимъ всѣми зависящими отъ нихъ средствами стремиться къ повышенію ихъ заработка, этотъ послѣдователь историко-реалистической школы не находить нужнымъ и возможнымъ устраненіе продажи человѣческаго труда на рынкѣ; по его мнѣнію, не въ этомъ лежитъ «основа рабочаго вопроса». Въ этомъ отношеніи онъ сходится съ большинствомъ экономистовъ новой школы, которые, стремясь тѣмъ или другимъ спосо-

¹⁾ Das Arbeitsverhältniss, etc, S. 182.

²⁾ Ibid., S. 221—231.

бомъ смягчить антагонизмъ «важнѣйшихъ факторовъ производства», труда и капитала, въ то же время стараются сохранить во всей ея цѣлости капиталистическую систему производства. Они, говоря словами Маркса, хотятъ «буржуазіи безъ пролетаріата», или, по крайней мѣрѣ, пролетаріата безъ пауперизма, что невозможно уже въ силу приведеннаго выше закона относительнаго перенаселенія. Вотъ почему всѣ подобнаго рода проекты страдаютъ неразрѣшимымъ внутреннимъ противорѣчіемъ.

IX.

Выше мы указывали на то, что воззрѣнія Лавелё на значеніе государственной помощи рабочимъ вовсе уже не такъ сильно расходятся со взглядами «манчестерцевъ», какъ этого можно было бы ожидать, судя по ожесточеннымъ нападкамъ его на «старую школу». Въ виду этого могло бы показаться непонятнымъ: въ чемъ же собственно заключаются разногласія «старой» и «новой» школъ? Но дѣло не замедлитъ разъясниться, если мы припомнимъ, что «старая школа» не ограничивалась разсужденіями о самопомощи и выгодахъ сбереженія. Экономисты-классики разрабатывали ученіе о цѣнности, о рентѣ, распредѣленіи вообще и т. п. Въ этихъ вопросахъ историко-реалистическая школа расходится съ ними уже гораздо серьезнѣе. Здѣсь, по мнѣнію, напримѣръ, Лавелё, ошибочна сама исходная точка классической экономіи, которую составляла, какъ извѣстно, теорія цѣнности. «Основное заблужденіе Маркса, — говоритъ онъ по поводу «Капитала», — заключается въ его понятіи о цѣнности, измѣряемой, по его мнѣнію, трудомъ. Безъ сомнѣнія, онъ сдѣлалъ гораздо болѣе вѣроятной теорію Смита и Рикардо, говоря, что стоимость предмета опредѣляется количествомъ труда, «общественно-необходимаго» для его производства. Но даже такимъ образомъ дополненное, это ученіе ложно. Мы настаиваемъ на этомъ пунктѣ, такъ какъ онъ имѣетъ существенную важность».

Въ этомъ случаѣ Лавелё высказываетъ взглядъ, раздѣляемый всѣми «серьезными экономистами» реалистической школы. Всѣ они въ большей или меньшей степени расходятся съ ученіемъ о цѣнности Рикардо. Такъ, напримѣръ, Гельдъ удивляется, какимъ образомъ «такой умный человекъ, какъ Родбертусъ», могъ принимать теорію Рикардо. У него является даже подозрѣніе, что «дѣйствительнымъ намѣреніемъ Родбертуса было подогрѣть недовольство рабочихъ и, заставивши ихъ разорвать съ либеральной буржуазіей, воспользоваться этимъ въ интересахъ крупныхъ землевладѣльцевъ»¹⁾.

Германа Реслера также немало огорчаетъ теорія цѣнности Рикардо-Маркса. «Неочастливая идея, что трудъ есть источникъ цѣнности, — ме-

¹⁾ См. Морница Мейера Die nenere Nationalökonomie, etc., S. 78.

ланхолически замѣчаетъ онъ, — дѣлаетъ невозможнымъ возникновеніе правильнаго ученія о цѣнности». Даже наиболѣе выдающійся изъ всѣхъ катедеръ-соціалистовъ, Шеффле, не соглашается съ принятымъ въ классической экономіи и дополненнымъ Марксомъ взглядомъ на этотъ предметъ. По его мнѣнію, мѣновая цѣнность всякой вещи опредѣляется не только необходимымъ для ея производства количествомъ труда, но и потребительною ея цѣнностью, которую имѣетъ она въ каждое данное время для покупщика (Gebrauchswertschätzung).

Въ чемъ же дѣло? Какая изъ этихъ двухъ сторонъ заблуждается въ рѣшеніи этого дѣйствительно важнаго вопроса? И неужели классическая экономія не выработала даже правильнаго понятія о мѣновой (стоимости) цѣнности, этого краеугольнаго камня всѣхъ разсужденій объ экономическихъ явленіяхъ въ обществѣ, богатство котораго «является огромнымъ скопленіемъ товаровъ»?

Читателю извѣстно, безъ сомнѣнія, изъ какихъ посылокъ выводили свое ученіе о цѣнности экономисты-классики. Выслушаемъ теперь ихъ противниковъ.

«Вотъ факты,—говоритъ Лавелэ,—доказывающіе, что мѣновая цѣнность непропорціональна труду. Въ одинъ день охоты я убиваю козу, вы убиваете зайца. И заяцъ, и коза будутъ продуктомъ одного и того же усилія, въ теченіе одного и того же времени; но будутъ ли они имѣть одинаковую мѣновую цѣнность? Нѣтъ: коза можетъ служить мнѣ пищей въ теченіе пяти дней, заяцъ—въ теченіе одного. Цѣнность (потребительная?) первой будетъ въ пять разъ болѣе цѣнности второго. Вино Шато-Лафитъ стоитъ по 15 франковъ за бутылку, вино сосѣдняго холма стоитъ франкъ. И, однако, первое не требуетъ вдвое большаго труда, чѣмъ второе, и т. д., и т. д.; слѣдовательно, мѣновая цѣнность непропорціональна труду».

Но чему же она въ такомъ случаѣ «пропорціональна»? «Въ дѣйствительности мѣновая цѣнность проистекаетъ изъ полезности,—отвѣчаетъ Лавелэ.—Къ полезности нужно прибавить, какъ условіе, опредѣляющее цѣнность, рѣдкость вещи... Однако, если ближе всмотрѣться, можно увидѣть, что рѣдкость вещи есть одна изъ формъ полезности» (?!).

Можно бы подуматъ, что нашъ реформаторъ экономической науки окончательно зарпортовался, утверждая, что «чѣмъ рѣже тотъ или другой предметъ, тѣмъ полезнѣе обладаніе имъ», но мы увидимъ ниже, о какой полезности онъ говоритъ, и хотя его разсужденія не выиграютъ ничего отъ этого разъясненія, но тѣмъ не менѣе нужно признать, что пунктъ логическаго грѣхопаденія нашего автора лежитъ нѣсколько далѣе.

Утверждая, что мѣновая цѣнность вещи, какъ товара, не зависитъ отъ «полезности» ея, какъ предмета потребленія, экономисты-классики

ссылались обыкновенно на воздухъ и воду, огромная «полезность» которыхъ не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнiю. Они говорили, что мгновенная цѣнность этихъ предметовъ, въ томъ случаѣ, когда для доставленiя ихъ потребителю не нужно никакого труда, равняется нулю. Если же для доставленiя потребителю этихъ «полезныхъ вещей» нужна известная затрата человѣческаго труда, какъ, напр., въ случаѣ необходимости устройства вентиляторовъ, водопроводовъ и т. п., то цѣнность ихъ, по учению классической экономiи, равняется именно этому количеству труда, и только ему одному. Такое же разсужденiе применялось «старыми» экономистами ко всѣмъ предметамъ, количество которыхъ могло быть увеличиваемо по произволу, съ затратой, разумѣется, большихъ или меньшихъ «усилiй». «Полезность» данной вещи, потребительная ея цѣнность, являлась, такимъ образомъ, необходимымъ предположенiемъ для того, чтобы предметъ могъ имѣть какое-либо хозяйственное значенiе, чтобы онъ могъ явиться на товарномъ рынкѣ. Но количества, въ которыхъ обмѣнивался бы этотъ предметъ на другiе предметы, опредѣлялись бы, по мнѣнiю «старыхъ» экономистовъ, относительными количествами труда, овеществленными въ этихъ предметахъ. Лавелэ находитъ всѣ вышеприведенные примѣры и основанныя на нихъ разсужденiя въ высшей степени ошибочными.

«Вотъ въ чемъ заключается ошибка. Подъ водою въ одномъ случаѣ разумѣютъ воду вообще, стихiю, и въ этомъ случаѣ она имѣетъ также огромную полезность, но она имѣетъ также и величайшую цѣнность, потому что человѣкъ, заблудившiйся въ пустынѣ, отдастъ бы все за воду. Когда же говорятъ, что вода не имѣетъ цѣнности, (то) разумѣютъ известное количество воды, и въ этомъ случаѣ она обладаетъ также очень малой полезностью. Что стоитъ ведро воды на берегу рѣки? Ничего, кромѣ труда, необходимаго для того, чтобы почерпнуть его. На четвертомъ этажѣ оно будетъ стоить нѣсколько сантимовъ, представляющихъ собою заработную плату водоноса. Въ Сахарѣ, для путешественника, который ни за какую цѣну не можетъ получить его, оно будетъ стоить всѣхъ миллионовъ мiра; цѣнность возрастаетъ, такимъ образомъ, сообразно рѣдкости и трудности воспроизведенiя. Слѣдовательно, можно сказать, оставляя словамъ ихъ обычный смыслъ, что предметы имѣютъ тѣмъ болѣе цѣнности, чѣмъ они полезнѣе, въ томъ ли отношенiи, что они удовлетворяютъ существующей потребности, или въ томъ, что они избавляютъ отъ необходимости пожертвовать деньгами или усилiями, которыя пришлось бы затратить для ихъ воспроизведенiя» (стр. 87—89).

Читатель не посѣтуетъ на насъ за длинныя и, въ сущности, весьма скучныя выписки, которыя намъ пришлось сдѣлать, чтобы показать, какъ «критикуютъ» классическую экономiю многiе представители «новой школы», какимъ оружиемъ они пытаются разбить основныя положенiя

ученія Смита-Рикардо. Въ этомъ отношеніи разсужденія Лавелэ, какъ весьма характерныя, заслуживаютъ полнаго вниманія не по внутренней своей «цѣнности» или «полезности», а потому, что ими опредѣляется все научное значеніе по меньшей мѣрѣ трехъ четвертой «новыхъ экономистовъ». Недаромъ же говорятъ, что ученіе о цѣнности можетъ служить пробнымъ камнемъ для опредѣленія достоинства данной экономической системы. Поэтому мы и позволимъ себѣ остановить вниманіе читателя на разборѣ вышеприведенныхъ положеній Лавелэ.

Конечно, онъ очень хорошо дѣлаетъ, восхваляя индуктивный методъ и стремясь построить свое ученіе «на наблюденіи дѣйствительности». Жаль только, что его старанія не увѣнчиваются ни малѣйшимъ успѣхомъ. Его попытки перестроить «старую» теорію цѣнности не имѣютъ ничего общаго не только съ «индуктивнымъ методомъ», но и вообще съ какимъ бы то ни было научнымъ методомъ. Вся его «критика» основывается на двухъ - трехъ «фактахъ», взятыхъ безъ всякой «критики» и безъ всякой оцѣнки ихъ, какъ экономическихъ явленій. Затѣмъ на сцену выступаетъ пустая и бессодержательная игра словъ, основанная на самомъ вопіющемъ смѣшеніи понятій и самой удивительной неспособности ихъ разграниченія. Всѣ эти «зайцы» и «козы», «Шато-Лафитъ» и «вино сосѣдняго холма», «вода, какъ стихія» и вода «въ извѣстномъ количествѣ»,—все это привело бы въ ужасъ самого Бастіа, который имѣлъ бы полное право замѣтить, что его сказочки, напримѣръ, о «капиталѣ и рентѣ» и остроумнѣе задуманы и вообще гораздо менѣе «компрометируютъ защиту порядка», чѣмъ «реалистическія» измышленія Лавелэ. Подумайте, въ самомъ дѣлѣ! «Я убиваю козу, вы убиваете зайца въ одинъ и тотъ же промежутокъ времени; цѣнность первой будетъ въ пять разъ болѣе цѣнности второго, потому что коза можетъ служить пищею въ теченіе пяти дней, заяцъ—въ теченіе одного». Но, во-первыхъ, гдѣ же и когда видано, чтобы потребность капиталистическаго общества въ пищѣ удовлетворялась тѣмъ же способомъ, какъ удовлетворяютъ ее краснокожіе индѣйцы, то-есть охотой? Что стало бы со всею историко-реалистической школой, если бы профессоръ Лавелэ принужденъ былъ охотиться за козами, а почтенный Вильгельмъ Рошеръ, передъ тѣмъ какъ идти на лекціи, долженъ былъ бы «убивать зайцевъ», которые затѣмъ и «служили бы ему пищею» въ теченіе одного дня каждый? Во-вторыхъ, была ли бы какая-нибудь мѣншая цѣнность у убитыхъ бельгійскимъ профессоромъ козы и подстрѣленныхъ Рошеромъ зайцевъ, если бы каждый изъ нихъ питался продуктами своей охотничьей ловкости, какъ это предположено въ приведенномъ примѣрѣ, гдѣ «я» питаюсь убитою «мною» козой, а «вы» убитымъ «вами» зайцемъ? Какъ опредѣлить мѣншую цѣнность предметовъ, которые не обмѣниваются между собою ни непосредственно, то есть одинъ на другой, ни посредствомъ какаго-либо третьяго товара?

Но если бы—какъ ни негѣпы такія «робинзонады»—между «мною» и «вами» установилось правильное раздѣленіе нашего охотничьяго труда и обмѣнъ его продуктовъ, то произошло бы одно изъ двухъ. Или «я» долженъ былъ бы платить «вамъ» за «зайца» «козой», если бы убить козу было всегда такъ же легко, какъ зайца, или «вы» прекратили бы охоту за «зайцами» и стали бы въ свою очередь «убивать козъ». Такъ какъ мы говоримъ о предметахъ, количество которыхъ можетъ быть увеличено по произволу, подѣ условіемъ лишь затраты опредѣленнаго количества труда, то въ «вашемъ» переходѣ отъ одного рода охоты къ другому нѣтъ ничего выходящаго за предѣлы нашего примѣра. Но «ваши» зайцы были «миѣ» необходимы, потому что иначе между нами не установилось бы предположенное раздѣленіе труда. Не получая ихъ богѣе отъ «васъ», «я» долженъ былъ бы самъ охотиться за ними, примирившись съ мыслью тратить по одному дню труда и на «козу» и на «зайца». Что же «я» выигралъ бы, отказавшись обмѣнивать продуктъ «моего» труда на продуктъ равнаго количества «вашего» труда? Не только ровно ничего, но еще и потерялъ бы, потому что прежнее раздѣленіе труда увеличивало его производительность, а теперь, съ прекращеніемъ этого раздѣленія, и «заяцъ» и «коза» каждому изъ насъ стоили бы уже не одного, а полутора или двухъ дней охоты. Увидѣвши, къ чему привело «меня» ученіе о цѣнности историко-реалистическихъ экономистовъ, «я» принужденъ былъ бы вернуться къ воззрѣніямъ Адама Смита, учившаго, что «трудъ есть истинный масштабъ мѣрной цѣнности всѣхъ предметовъ» ¹⁾. «Я» припомнилъ бы тогда, что Лавеле и самъ говорилъ что-то въ этомъ родѣ, хотя и не сдѣлалъ надлежащаго вывода изъ своихъ посылкъ. «Что стоитъ ведро воды на берегу рѣки? Ничего, кромѣ труда, нужнаго, чтобы зачерпнуть его. На четвертомъ этажѣ оно будетъ стоять нѣсколько сантимовъ, представляющихъ собою заработную плату водоноса». Развѣ это не варіація на вышеприведенное положеніе Смита? Вся разница лишь въ томъ, что Смитъ, а тѣмъ болѣе Рикардо, не отождествили бы мѣрной цѣнности предмета—въ данномъ случаѣ воды—съ рыночной цѣною рабочей силы, то есть съ «заработной платой водоноса». Такое смѣшеніе двухъ совершенно различныхъ экономическихъ категорій допускается только вульгарными экономистами «старой школы», отъ родства съ которыми напрасно отрещиваются многіе представители «новой политической экономіи».

Но пойдѣмъ далѣе. На берегу рѣки ведро воды имѣетъ меньшую цѣнность, чѣмъ на четвертомъ этажѣ, потому что во второмъ случаѣ требуется болѣе труда для доставки его потребителю. Въ Сахарѣ это ведро воды «будетъ стоять всѣхъ милліоновъ міра». «Оставляя словамъ

¹⁾ Ad. Smith, *ibid.*, кн. 1, гл. V, стр. 38, édition Guilleaumain.

ихъ обычный смыслъ», Лавелэ приходитъ на этомъ основаніи къ тому заключенію, что предметы имѣютъ тѣмъ болѣе цѣнности, чѣмъ они полезнѣе». Для кого и для чего «полезнѣе»? Чѣмъ опредѣляется у него понятіе полезности?

Почему ведро воды «полезнѣе на четвертомъ этажѣ, чѣмъ на берегу рѣки въ Сахарѣ—«полезнѣе», чѣмъ на четвертомъ этажѣ? Вѣдь вода вообще, какъ стихія, не приобрѣла новыхъ качествъ отъ того, что потребитель ея взобрался на мансарду или «заблудился» въ пустынь. Потребительная стоимость ея, «полезность» ея для организма или для хозяйства, осталась, слѣдовательно, неизмѣнной. О какомъ же измѣненіи «полезности» говорить нашъ «новый экономистъ»? «Ведро воды,—отвѣчаетъ онъ,—полезнѣе на четвертомъ этажѣ, чѣмъ на берегу рѣки, въ томъ отношеніи, что въ первомъ случаѣ воспроизведеніе его стоило бы дороже, чѣмъ во второмъ; обладаніе имъ избавляетъ насъ поэтому «отъ необходимости пожертвовать деньгами или усиліями большими, чѣмъ оказались бы они во второмъ случаѣ». Какъ же велика эта разница пожертвованій деньгами или усиліями? Она равняется ни болѣе, ни менѣе, какъ разности мѣнновой цѣнности одного и того же ведра воды, но перенесеннаго на различныя разстоянія. Съ возрастаніемъ мѣнновой цѣнности воды, доставляемой жильцамъ верхнихъ этажей, возрастетъ и полезность для нихъ тѣхъ ведеръ, которыя уже находятся въ ихъ обладаніи. Съ повыженіемъ этой цѣнности упадетъ и «полезность» послѣднихъ, потому что сдѣлается меньше то «пожертвованіе деньгами или усиліями», отъ котораго они избавляютъ своихъ обладателей. Оказывается, слѣдовательно, что «полезность», о которой говоритъ Лавелэ, есть «полезность» совершенно особаго рода, не имѣющая ничего общаго съ потребительною цѣнностью предмета. Эта «полезность» опредѣляется не потребностями человѣческаго организма, а потребностью мелкаго буржуа быть увѣреннымъ въ томъ, что ему не скоро еще придется разстаться съ находящимися у него въ карманѣ франками и сантимами. Эта «полезность» опредѣляется, словомъ, по отношенію къ кошельку и равняется она мѣнновой цѣнности предмета.

Мы пришли, такимъ образомъ, къ слѣдующему замѣчательному открытію. «Предметы имѣютъ тѣмъ большую мѣнновую стоимость, чѣмъ они полезнѣе», а полезны они тѣмъ болѣе, чѣмъ большую мѣнновую цѣнность они имѣютъ. Вотъ что значить «оставлять словамъ ихъ обычный смыслъ!» «Старая школа», съ ея абстрактной теоріей цѣнности, должна послѣ этого считать себя окончательно похороненной. Злоумышленность Родбертуса, цѣликомъ принявшаго эту «абстрактную» теорію, также можетъ считаться доказанной!

Но Лавелэ не довольствуется, какъ мы видѣли, этимъ блестящимъ разсужденіемъ. Онъ дополняетъ его глубокомысленными соображеніями о

«водѣ, какъ стихіи», имѣющей «огромную цѣнность» (мѣнову?), и «водѣ въ извѣстномъ количествѣ», имѣющей цѣнность очень малую, соображеніями, подкрѣпленными тѣмъ «констатированнымъ фактомъ», что «человѣкъ, заблудившійся въ пустынь, отдасть бы все за воду». Затѣмъ, онъ постоянно отождествляетъ «денежныя пожертвованія», которыхъ требуетъ покупка извѣстнаго предмета, съ усиліями, которыя пришлось бы сдѣлать, чтобы вплавь достигнуть Америки или переплыть океанъ въ маленькой лодкѣ! Авторъ «Первобытной собственности» постоянно забываетъ, что рѣчь идетъ о капиталистическомъ обществѣ, въ которомъ существуетъ раздѣленіе труда и товарное производство. Далѣе слѣдуетъ нелѣпое опредѣленіе мѣновой цѣнности, или, какъ любитъ выражаться Лавела, «полезности» предмета (для кошелька его владѣльца), тѣмъ «количествомъ затратъ и усилій», которыхъ *не нужно* дѣлать, благодаря обладанію этимъ предметомъ. Если взять всѣ эти образчики «историко-реалистической» мудрости и полюбоваться ихъ букетомъ во всемъ его грандіозномъ цѣломъ, то передъ нами снова вырастаетъ Фридрихъ Бастіа, на этотъ разъ въ самомъ лубочномъ изданіи. Одного взгляда на этотъ букетъ будетъ достаточно, чтобы отвѣтить на поставленный вопросъ: удалось ли «новой школѣ» заново перестроить воздвигнутое экономистами-классиками зданіе науки?

Что помѣшало экономистамъ «новаго направленія» выполнить взятую ими задачу? Какимъ образомъ, становясь въ критическое отношеніе къ «манчестерству», дѣйствительно оовершенно уже отжившему, многіе, по крайней мѣрѣ, представителя «новой школы» только и сдѣлали, что отказывались отъ всѣхъ серьезныхъ пріобрѣтеній классической экономіи и дружно присоединялись къ хору вульгарныхъ экономистовъ? Отвѣтъ на эти вопросы заключается въ указанной выше борьбѣ классовъ въ западно-европейскомъ обществѣ. Эта борьба, заставившая европейскіе парламенты отказаться отъ политики невмѣшательства и издать рядъ фабричныхъ законовъ, окрасила собою весь ходъ какъ политической жизни, такъ и умственного развитія Запада. Въ политикѣ она заставила буржуазію отказаться отъ золотыхъ грезъ ея юности о «овободѣ, равенствѣ и братствѣ» и привела ее въ объятія военной диктатуры и исключительныхъ законовъ, какъ это было во Франціи и какъ это происходитъ нынѣ въ Германіи. Въ области экономической науки она лишила ученыхъ представителей третьяго сословія необходимыхъ для научныхъ изслѣдованій спокойствія и безпристрастія.

Въ виду угрожающихъ движеній пролетаріата, «дѣло шло уже не о томъ, вѣрна ли та или другая теорема, а о томъ, вредна или полезна, удобна или неудобна она для капитала» ¹⁾. То, что,

¹⁾ Karl Marx, *ibid.*, S. 816.

вопреки завѣщаніямъ экономистовъ-классиковъ, вошло уже въ житейскую практику, благодаря неотложнымъ требованіямъ жизни, волей или неволей пришлось занести, подъ той или другой рубрикой, въ сводъ «новой науки».

Такъ было съ фабричнымъ законодательствомъ и переходомъ нѣкоторыхъ отраслей народнаго хозяйства въ вѣдѣніе государства. И во имя этой научной санкціи совершившемуся уже факту была объявлена война застарѣлымъ «манчестерцамъ», которые въ экономическихъ отношеніяхъ конца XIX столѣтія хотѣли видѣть то же, что видѣли ихъ великіе предшественники три четверти вѣка тому назадъ. При этомъ нужно замѣтить, что борьба съ «манчестерствомъ» требовала со стороны экономистовъ «новаго направленія» скорѣе пріятной военной прогулки, чѣмъ серьезной и трудной кампаніи. Критика «манчестерства» представляла собою вполне законченное цѣлое на страницахъ сочиненій Фурье, Сэнъ-Симона, Родбергуса и, главнымъ образомъ, Маркса. Оставалось только черпать ее оттуда, разумѣется, въ благоразумныхъ пропорціяхъ и въ не слишкомъ сильныхъ дозахъ. А между тѣмъ, благодаря этой борьбѣ чужимъ и умышленно притупленнымъ оружіемъ, экономисты «историко-реалистической» школы пріобрѣтали симпатіи всѣхъ «истинныхъ друзей человечества», говоря проще—всѣхъ тѣхъ, которые, исходя изъ самыхъ различныхъ побужденій, требовали государственнаго вмѣшательства въ слишкомъ уже обострившуюся распрю между трудомъ и капиталомъ. Главное же, во-время принятыхъ учено-литературныхъ диверсій давали возможность скрыть неловкость положенія, въ которое ставили гг. экономистовъ беззаботная откровенность Смита и ученое прямотуше Рикардо. Мы уже знаемъ, что въ трудахъ экономистовъ-классиковъ были серьезные изслѣдованія о цѣнности, распредѣленіи, заработной платѣ и т. п.

Неразвитое состояніе между-классовой борьбы позволяло авторамъ этихъ изслѣдованій оставаться на высотѣ безстрастнаго отношенія къ предмету. Но когда вмѣстѣ съ развитіемъ капиталистическаго производства вышли наружу и свойственныя капитализму противорѣчія, научныя положенія классической буржуазной экономіи превратились въ обвинительные пункты противъ буржуазнаго способа производства. Мы видѣли уже, какъ формулировалъ эти пункты продолжатель Смита и Рикардо, Карлъ Родбергусъ-Ягцовъ. Буржуазная наука обращалась, такимъ образомъ, противъ самой буржуазіи. Экономистамъ историко-реалистической школы оставалось выбирать одно изъ двухъ: остаться вѣрными наукѣ и тѣмъ самымъ отказаться отъ буржуазіи или, наоборотъ, разрушить зданіе классической экономіи, чтобы подъ развалинами его похоронить противниковъ третьяго сословія. «Ученые» à la Морицъ Мейеръ и Лавелъ предпочли второй исходъ. Но мы видѣли уже, что разрушеніе грандіозныхъ построекъ первыхъ основателей науки оказалось не по плечу этимъ посредствен-

ностямъ. Нѣсколькими обрушившимися камнями они лишь придавили самихъ себя, и придавили такъ сильно, что едва ли имъ уже удастся выбраться на дорогу серьезнаго научнаго изслѣдованія.

Такъ отомстила наука своимъ невѣрнымъ жрецамъ и служителямъ.

Нѣсколько словъ въ защиту экономическаго матеріализма.

(Открытое письмо къ В. А. Гольцеву.)

Милостивый государь!

Въ апрѣльской книгѣ *«Русской Мысли»* вы напечатали статью объ «экономическомъ» ¹⁾ матеріализмѣ. Эта статья, навѣрное, вызоветъ много продолжительныхъ и одушевленныхъ споровъ въ лучшей части нашей читающей публики. А такъ какъ редакція *«Русской Мысли»* дорожитъ, конечно, прежде всего интересами истины, то я увѣренъ, что она не откажется помѣстить на своихъ страницахъ нѣсколько возраженій на вашу статью, идущихъ отъ человѣка, тоже очень горячо любящаго истину.

Вашу статью можно подраздѣлить на двѣ части. Въ одной вы подвергаете ученіе «экономическихъ» матеріалистовъ общей теоретической оцѣнкѣ, а въ другой разсматриваете это ученіе въ примѣненіи къ нашей русской дѣйствительности. Я долженъ сознаться, милостивый государь, что ваша теоретическая критика «экономическаго» матеріализма кажется мнѣ не совсѣмъ удачной. Вы приводите противъ него лишь такія возраженія, на которыя ужъ не разъ отвѣчали его сторонники. И еслибы вы нѣсколько внимательнѣе прочитали, на примѣръ, книгу Бельтова *«Къ вопросу о развитіи монистическаго взгляда на исторію»*, то вы не сдѣлали бы многихъ изъ вашихъ возраженій, потому что въ этой книгѣ вы нашли бы довольно полный отвѣтъ на нихъ.

По моему мнѣнію, ваша статья интересна и даже замѣчательна, но интересна и замѣчательна не критикой экономическаго матеріализма, а такой постановкой нѣкоторыхъ нашихъ практическихъ вопросовъ, благодаря которой можетъ значительно приблизиться къ концу ожесточенный споръ, вотъ уже нѣсколько лѣтъ волнующій нашу читающую публику. Въ

¹⁾ Правильнѣе было бы сказать—о *діалектическомъ*, но я о словахъ спорить не хочу.

своемъ письмѣ къ вамъ я охотно ограничился бы именно этой послѣдней, практической стороною дѣла. Но я боюсь, что безъ нѣкоторыхъ замѣчаній общаго характера мои взгляды будутъ неправильно истолкованы; а потому я начинаю съ этихъ общихъ замѣчаній.

Вы думаете, что невозможно «вывести всю культурно-историческую жизнь какъ слѣдствіе изъ однихъ только производственныхъ отношеній» Вы «признаете психическій факторъ историческаго развитія, какъ самостоятельный». Въ этомъ заключается ваше «основное возраженіе» противъ экономическаго матеріализма.

Остановимся на этомъ основномъ возраженіи.

Вы указываете на Фюстель-де-Куланжа, по мнѣнію котораго первоначальная религія грековъ и римлянъ опредѣлила ихъ семью, установила бракъ и власть отца, обозначила степени родства, освятила право собственности и право наслѣдства. Мнѣ очень хорошо извѣстенъ этотъ взглядъ Фюстель-де-Куланжа, но я думаю, что онъ совершенно ошибоченъ и противорѣчитъ самымъ безспорнымъ выводамъ новѣйшей исторической науки. И не я одинъ такъ думаю.

Когда въ 1879 г. вышло въ Парижѣ седьмое изданіе цитируемой вами книги Фюстель-де-Куланжа, профессоръ лейденскаго университета Оортъ напечаталъ интересное возраженіе на нее въ журналѣ «*Teologische Tijdschrift*». Оортъ опровергалъ, какъ глубокое заблужденіе, ту мысль, что первоначальныя религіозныя вѣрованія опредѣляли собою складъ античной семейной жизни. Совсе нѣтъ. «Когда возникла семейная жизнь, религія дала ей свою санкцію». То же было и въ области государственной жизни: «религія освящала и поддерживала status quo». Наконецъ, то же самое мы видимъ и въ области частнаго права; и здѣсь религіозная мысль санкционировала учрежденія, возникшія вовсе не подъ ея вліяніемъ: Мимодомиъ Оортъ замѣчаетъ, что самъ Фюстель-де-Куланжъ, въ томъ же самомъ изслѣдованіи, вынужденъ былъ отступить отъ своего основного положенія; онъ самъ призналъ, что революціи, разрушившія античную гражданскую общину, вызваны были не развитіемъ языческой религіозной мысли, а дѣйствіемъ постороннихъ ей причинъ и главнымъ образомъ *борьбою матеріальныхъ интересовъ* (я сказалъ бы—борьбою классовъ) въ нѣдрахъ античнаго общества. И это совершенно справедливо. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только перечитать четвертую книгу того же самаго изслѣдованія Фюстель-де-Куланжа, одну изъ первыхъ страницъ котораго цитируете вы, милостивый государь, въ своей статьѣ. Правда, Фюстель-де-Куланжъ, отводя борьбѣ классовъ очень большую роль во внутренней исторіи Греціи и Рима, пытается доказать, что сами борюшіеся между собою классы обязаны своимъ происхожденіемъ первоначальной религіи этихъ странъ. Но именно эта попытка съ особенною ясностью показываетъ, до какой степени неполны и ошибочны были взгляды этого—въ дру-

гихъ отношеніяхъ чрезвычайно серьезнаго—ислѣдователя на развитіе первобытныхъ учрежденій античнаго міра. Если вы, милостивый государь, захотите провѣрить мои слова, то я попрошу васъ сравнить четвертую книгу «*Cité antique*» съ соотвѣтствующими главами въ сочиненіи «*Ancient Society*» Моргана или хотя бы въ трудѣ Летурио «*L'Evolution de la propriété*».

Статья Оорта была переведена на французскій языкъ и напечатана и въ специальномъ парижскомъ журналѣ «*Revue de l'histoire des religions*» (II-ème année, tome III) съ сочувственнымъ замѣчаніемъ отъ редакціи. Если я не ошибаюсь, милостивый государь, это обстоятельство показываетъ, что приводимый нами взглядъ Фюстель-де-Куланжа не раздѣляется многими специалистами по исторіи религіи.

Да и какъ могли бы раздѣлять его специалисты? Кому придетъ теперь въ голову называть *первоначальной* ту религію грековъ и римлянъ, о которой говорить Фюстель-де-Куланжъ? Эта будто бы первоначальная религія имѣла свою длинную исторію, которая не можетъ быть даже приблизительно понята, если мы не покинемъ основного взгляда Фюстель-де-Куланжа и не взглянемъ на античную религію, какъ на продуктъ внутренняго развитія античныхъ обществъ.

Вообще можно безъ всякаго преувеличенія сказать, что едва ли хоть одинъ серьезный историкъ согласится теперь со взглядомъ Фюстель-де-Куланжа безъ самыхъ рѣшительныхъ и самыхъ существенныхъ оговорокъ.

Вотъ, папримѣръ, предо мною лежитъ извѣстное сочиненіе В. Дюрюи: «*Histoire des Romains*». Тамъ, на 76-й страницѣ I тома (изд. 1877 г.), я нахожу слѣдующія строки:

«Религія (въ древней Италіи) до вторженія въ нее греческихъ и восточныхъ идей была очень проста: она обусловливалась житейскими нуждами, полевыми работами, страхомъ и восторгомъ, вызываемыми прекрасною, вѣчно подвижною природою. Это была религія земледѣльческая по своему существу¹⁾. Боги Италіи—охранители собственности, супружеской вѣрности и справедливости, покровители земледѣлія, податели вѣхъ земныхъ благъ, руководители поступками людей» и т. д.

Позвольте мнѣ спросить васъ, милостивый государь, похожъ ли взглядъ Дюрюи на взглядъ Фюстель-де-Куланжа? И чей взглядъ вѣрнѣе? Позвольте мнѣ спросить васъ: явились ли земледѣліе и связанныя съ нимъ житейскія нужды и формы общежитія, существовавшія у древнихъ обитателей Италіи, какъ результатъ ихъ «первоначальной» религіи, «земледѣльческой по своему существу», или, наоборотъ, эта первоначальная, «земледѣльческая по своему существу» религія яви-

¹⁾ Въ примѣчаніи Дюрюи указываетъ, что старый римскій календарь не зналъ другихъ праздниковъ, кромѣ земледѣльческихъ.

лась результатомъ земледѣльческаго быта? Кажется, достаточно поставить этотъ вопросъ, чтобы тотчасъ же и разрѣшить его, не оставляя мѣста ни для какихъ сомнѣній. Вѣдь если бы религія обуславливала собою соціальный бытъ древнихъ обитателей Италіи, то было бы совершенно непонятно, почему же эта религія была именно земледѣльческой, а не какой-нибудь другою. Или вы думаете, что это произошло въ силу особыхъ законовъ «самостоятельнаго» развитія языческой религіозной мысли?

Правда, по мнѣнію Дюрюв, языческіе боги древней Италіи были покровителями не только земледѣлія, но также и собственности, семьи, супружеской вѣрности и оправедливости. Поэтому можно сказать, — сказать все можно, милостивый государь, — что если *земледѣліе* и его нужды и не были созданы «первоначальной религіей Италіи, то понятія древнихъ итальянцевъ о собственности, о семьѣ, о взаимныхъ отношеніяхъ супруговъ и справедливости обязаны были своимъ происхожденіемъ именно первоначальной религіи и въ этомъ смыслѣ подчинялись, въ своихъ видоизмѣненіяхъ, законамъ самостоятельнаго психическаго развитія.

Такого рода взгляды особенно охотно высказываются у насъ теперь, когда многіе, болѣе или менѣе передовые, люди задались цѣлью опровергнуть экономическихъ матеріалистовъ, которые будто бы намѣреваются воскресить идеалистическую «метафизику» Гегеля. Жаль только, что эти взгляды представляютъ собою не что иное, какъ буквальное повтореніе взгляда того же Гегеля на саморазвитіе понятій вообще и правовыхъ понятій въ частности. Такъ, напримѣръ, извѣстный гегельянецъ Гансъ полагалъ, что «отдѣльныя системы положительнаго права... представляютъ собою отдѣльные моменты въ развитіи общей правовой идеи, постоянно и все дальше развертывающейся по вѣчнымъ законамъ», и что задача науки заключается въ изученіи каждого изъ этихъ моментовъ и ихъ необходимой смѣны. Экономическіе матеріалисты не раздѣляютъ этого взгляда, которымъ нѣкогда очень дорожили Гегель, Гансъ и подобные имъ идеалисты, а теперь очень дорожатъ наши русскіе противники гегелевской «метафизики». По мнѣнію экономическихъ матеріалистовъ, правовыя понятія развиваются не сами собою, а подъ вліяніемъ тѣхъ взаимныхъ отношеній, въ которыя становятся производители подъ вліяніемъ экономической необходимости. «Правовая идея издавна шла рука объ руку съ экономической необходимостью», — говорилъ Родбертусъ. Правъ ли онъ былъ? Достаточно припомнить хотя бы исторію первобытной семьи, чтобы видѣть, что онъ не ошибался.

Одно изъ двухъ: или правовыя учрежденія данной страны соответствуютъ ея экономическимъ нуждамъ, или они не соответствуютъ имъ. Рассмотримъ каждый изъ этихъ случаевъ отдѣльно.

Если правовыя учрежденія данной страны соотвѣтствуютъ ей экономическимъ нуждамъ, т. е., выражаясь точнѣе, господствующему въ ней способу производства, то необходимо возникаетъ вопросъ: чѣмъ вызвано было такое соотвѣтствіе? Разумѣется, на это можно отвѣтить различно.

Можно сказать такъ.

Правовыя учрежденія данной страны соотвѣтствуютъ господствующему въ ней способу производства по той причинѣ, что сами они явились какъ слѣдствіе и выраженіе тѣхъ общественныхъ нуждъ и отношеній, которыя необходимо возникаютъ при господствѣ данного способа производства. Цѣлесообразная, т. е. соотвѣтствующая способу производства, система положительнаго права является простымъ слѣдствіемъ того, что правовыя учрежденія, ставшія нецѣлесообразными, утрачиваютъ свою жизнеспособность и постепенно умираютъ или отминаятся послѣ болѣе или менѣе упорной борьбы между защитниками стараго порядка и его противниками. Цѣлесообразныя (въ указанномъ смыслѣ) правовыя учрежденія составляютъ необходимое условіе существованія человѣческихъ обществъ. И вотъ почему эти общества постоянно стремятся къ такимъ цѣлесообразнымъ учрежденіямъ, хотя достигаемое ими равновѣсіе постоянно нарушается въ слѣдствіе развитія производительныхъ силъ: каждый новый шагъ въ развитіи этихъ силъ вызываетъ новое несоотвѣтствіе между способами производства, съ одной стороны, и правовыми учрежденіями—съ другой. Тогда начинается новая борьба между охранителями и прогрессистами, происходитъ новый переворотъ въ области права и т. д., вплоть до нашихъ дней. Правовая идея всегда и вездѣ идетъ рука объ руку съ экономической необходимостью.

Такъ говорятъ «экономическіе» матеріалисты.

Я думаю, что они совершенно правы. Но положимъ, что они ошибаются; положимъ, что развитіе правовыхъ *учрежденій* есть,—какъ говорили Гегель и гегельянцы,—простое слѣдствіе развитія правовыхъ *понятій*. Какъ объяснимъ мы въ этомъ случаѣ соотвѣтствіе правовыхъ учрежденій данной страны съ господствующимъ въ ней способомъ производства?

Для объясненія этого соотвѣтствія намъ остается только допустить, что существуетъ предустановленная гармонія между развитіемъ правовыхъ понятій, съ одной стороны, и развитіемъ экономическихъ отношеній—съ другой.

Это можетъ показаться вамъ, милостивый государь, смѣлымъ, а, пожалуй, подъ сердитую руку, и нелѣпымъ парадоксомъ. Но я говорю совершенно серьезно.

Въ самомъ дѣлѣ, согласно вашему предположенію, понятія развиваются самостоятельно по своимъ особымъ законамъ. Способы производства

тоже развиваются самостоятельно, и тоже по своимъ особымъ законамъ¹⁾. Если въ данную эпоху результаты *развитія понятій* оказываются соответствующими *результатамъ экономическаго развитія*, то я не могу объяснить это иначе, какъ. предустановленной гармоніей или случайностью. Но случайность не объясненіе, и потому остается одна предустановленная гармонія.

Здѣсь вы нетерпѣливо прерываете меня и упрекаете въ томъ, въ чемъ такъ часто, хотя и незаслуженно, упрекаютъ теперь «экономическихъ» матеріалистовъ: въ склонности къ метафизикѣ.

— Вольно же, — восклицаете вы, — добровольно гнѣзъ въ метафизическое болото. Изъ этого болота, можетъ быть, и нельзя выбраться иначе, какъ по тропинкѣ предустановленной гармоніи. Но вѣдь можно и совсѣмъ миновать его. И это очень легко сдѣлать. Стоитъ только держаться точной дорожки реализма. Надо только помнить, что экономика развивается въ зависимости отъ человѣческихъ понятій, а человѣческія понятія испытываютъ на себѣ вліяніе экономики. Между этими двумя факторами существуетъ несомнѣнное *взаимодѣйствіе*, которымъ и разрѣшаются всѣ указанныя затрудненія. Зачѣмъ же намъ гипотеза предустановленной гармоніи?

Мы сейчасъ увидимъ, разрѣшаетъ ли взаимодѣйствіе указанныя нами затрудненія. Но прежде надо рассмотретьъ второй изъ предположенныхъ нами случаевъ, т. е. тотъ, когда правовыя учрежденія данной страны не соответвуютъ ей экономикѣ.

Мы уже видѣли, что онъ прекрасно объясняется съ точки зрѣнія экономическаго матеріализма. Правовыя учрежденія данной страны оказываются несоответствующими ей экономикѣ каждый разъ, когда новый ростъ производительныхъ силъ ставитъ людей въ новыя взаимныя отношенія; тогда является нужда въ пересмотрѣ существующей системы положительнаго права (частнаго и обществениаго); тогда наступаетъ эпоха общественнаго переворота.

Какъ объясняется этотъ случай съ точки зрѣнія тѣхъ, кто считаетъ возможнымъ самостоятельное развитие правовыхъ понятій? На первый взглядъ и тутъ дѣло кажется простымъ и очень яснымъ. Правовыя понятія перестаютъ соответствовать экономикѣ страны по той причинѣ, что они опережаютъ ходъ развитія экономики или, наоборотъ, эта послѣдняя опережаетъ ходъ развитія правовыхъ понятій. Если правовыя понятія опередили экономику, то она будетъ рано или поздно передѣлана сообразно прогрессу понятій; если экономика опередила понятія, то новый шагъ въ развитіи этихъ послѣднихъ возста-

¹⁾ Гегель не согласился бы съ этимъ послѣднимъ предположеніемъ: онъ сказалъ бы, что и способы производства опредѣляются ходомъ развитія абсолютной идеи. Но вѣдь мы съ вами не гегельянцы, милостивый государь.

новить въ ней желанное соотвѣтствіе. Такимъ образомъ, здѣсь ничто, повидимому, не противорѣчитъ предположенію о самостоятельномъ развитіи психическаго фактора.

При ближайшемъ разсмотрѣніи это простое объясненіе оказывается, однако, очень запутаннымъ. Возьмемъ хоть Францію XVIII вѣка. Правовыя учрежденія отстали отъ понятій значительной части французскаго населенія. Можно подумать, что причина всѣхъ волненій во внутренней жизни тогдашней Франціи заключалась именно въ этой отсталости *учрежденій* сравнительно съ *понятіями*, что, слѣдовательно, волненія были вызваны ростомъ понятій, и что поэтому исторія Франціи второй половины XVIII вѣка вполне подтверждаетъ мысль о самостоятельномъ развитіи человѣческой психики. Но это слишкомъ поспѣшное умозаключеніе. Не надо забывать, что тогдашнимъ правовымъ учрежденіямъ Франціи противорѣчили понятія совершенно опредѣленной части французскаго населенія, именно *третьяго сословія*, т. е. класса людей, имѣвшаго опредѣленное экономическое положеніе. Уже это обстоятельство даетъ поводъ думать, что тогдашнія правовыя понятія этой части населенія явились не какъ продуктъ самостоятельнаго развитія, а вслѣдствіе пережбіи въ ея экономическомъ положеніи. Это не все. Въ борьбѣ противъ устарѣлыхъ правовыхъ учрежденій мыслящіе представители третьяго сословія апеллировали къ *справедливости*. И нельзя не согласиться, что справедливо было отмѣнить тѣ учрежденія, которыя стали стѣснительны для большинства французовъ. Но справедливость очень неопредѣленное и, притомъ, крайне отвлеченное понятіе. Все дѣло въ томъ, какое конкретное содержаніе вкладывается въ него даннымъ человѣкомъ или даннымъ классомъ людей. Каковы же были тѣ правовыя учрежденія, которыя казались *справедливыми* мыслящимъ представителямъ третьяго сословія? Какъ разъ тѣ, которыя соотвѣтствовали капиталистическому способу производства, т. е. тому способу, который былъ результатомъ предыдущаго экономическаго развитія Франціи ¹⁾. Согла-

¹⁾ Мы могутъ напомнить такихъ писателей, какъ Морелли и Мабли, склонявшихся къ коммунизму. Но я замѣчу, что коммунизмъ этихъ писателей былъ въ сущности довольно безсодержательною декламацией въ пользу равенства,—декламацией, которой и сами они не придавали *практическаго* значенія. Насколько тогдашнія нападки на собственность сводились къ простой декламации, показываетъ примѣръ Бриссо: его, вслѣдствіи заимствованное у него Прудономъ, опредѣленіе — собственность есть кража — нисколько не помѣшало ему быть выразителемъ *буржуазныхъ* тенденцій. Во французскихъ декламаторскихъ выходкахъ противъ собственности и въ защиту *античнаго* равенства вообще не было анализа различныхъ историческихъ видовъ собственности. А поскольку былъ такой анализъ въ сочиненіяхъ французскихъ передовыхъ писателей прошлаго вѣка, постольку всѣ эти писатели, за исключеніемъ, можетъ быть, Руссо, отстаивали *буржуазную* собственность.

ситеобъ, м. г., что это очень интересное явление! Если мы оставимъ мысль о предустановленной гармоніи, то явление это должно будетъ послужить въ нашихъ глазахъ новымъ доводомъ противъ мысли о самостоятельномъ развитіи понятій и новымъ доказательствомъ въ пользу теории «экономическаго» матеріализма.

Конечно, можно сказать,—повторяю, сказать все можно,—что если передовые французскіе философы, возставаая противъ феодальной собственности, ничего не имѣли противъ собственности капиталистической, то это происходило единственно потому, что они еще не додумались до другихъ понятій, а вовсе не потому, что они испытывали на себѣ непобѣдимое вліяніе новаго, торжествующаго способа производства. Но я спрошу: *почему же не додумались?* Неужели потому, что, по закону самостоятельнаго развитія психики, люди непременно должны были, на извѣстной стадіи своего историческаго развитія, придти къ признанію буржуазной собственности? И я прибавлю, что ссылка на будто бы самостоятельное развитіе человѣческихъ понятій не объясняетъ въ сущности равно ничего. Люди имѣли такіа-то понятія, потому что они необходимо должны были ихъ имѣть по законамъ самостоятельнаго развитія психики! Но развѣ это отвѣтъ? Развѣ это разрѣшеніе задачи? Это просто изложеніе ея другими словами: *votre fille est malade, parce qu'elle est tombée en maladie.* Далекое ли подвигаютъ насъ подобнаго рода объясненія?

Но и это еще не все. Французскіе просвѣтителы боролись противъ остатковъ *феодальныхъ* учреждений. Откуда взялись феодальныя учрежденія? Откуда взялся феодальный строй? Просвѣтителы считали его продуктомъ человѣческихъ заблужденій, т. е., иначе сказать, результатомъ неправильнаго развитія человѣческихъ понятій. Но уже историки эпохи реставраціи пытаются объяснить его, какъ продуктъ средневѣковыхъ экономическихъ отношеній. И тѣмъ дальше подвигается изученіе феодальнаго быта у различныхъ народовъ Европы и Азии, тѣмъ болѣе подтверждается правильность ихъ точки зрѣнія, тѣмъ очевиднѣе становится, что феодальныя учрежденія не были и не могли быть простымъ результатомъ развитія человѣческихъ понятій.

Къ сожалѣнію, мѣсто не позволяетъ мнѣ пускаться въ дальнѣйшія разсужденія на этотъ счетъ. Къ тому же я чувствую, что мнѣ давно пора перейти къ вопросу о *взаимодѣйствіи* между различными факторами общественнаго развитія,—о томъ *взаимодѣйствіи*, понятіе о которомъ должно, по мнѣнію многихъ русскихъ, да и не однихъ русскихъ, людей, лежать въ основѣ всякой здравой, не «*метафизической*» философіи исторіи.

Положимъ, мы имѣемъ систему силъ: А, В, С и т. д. Меня спрашиваютъ, откуда взялись эти силы. Я отвѣчаю: каждая изъ нихъ дѣй-

ствуетъ на всѣ остальные. Допустимъ, что я правъ, что взаимодѣйствіе между этими силами дѣйствительно существуетъ. Но согласитесь, м. г., что заданный мнѣ вопросъ все-таки остается безъ отвѣта; что, указавъ на взаимодѣйствіе между силами, я все-таки не объяснилъ, откуда же онѣ явились. И люди, задавшіе мнѣ указанный вопросъ, будутъ имѣть полное право сказать, что я *просто уклоняюсь отъ отвѣта*.

То же приходится замѣтить и объ указаніи на взаимодѣйствіе между общественной экономіей и человѣческой мыслью, къ которому нерѣдко прибѣгаютъ, какъ къ самому рѣшительному, самому побѣдоносному возраженію противъ «односторонней теоріи экономического матеріализма». Это указаніе не разрѣшаетъ вопроса, на который, дурно или хорошо, отвѣчаетъ названная теорія; оно представляетъ собою лишь дорожку, по которой люди, сознательно или безсознательно, *удаляются отъ этого вопроса*.

Экономическіе матеріалисты ни мало не отрицаютъ взаимодѣйствія между различными «факторами» историческаго развитія. Они говорятъ только, что взаимодѣйствіе само по себѣ еще ровно ничего не объясняетъ. И тутъ они совершенно правы; тутъ логика безусловно на ихъ сторонѣ, потому что всякое взаимодѣйствіе между данными силами уже предполагаетъ существованіе этихъ силъ, и оказать, что они дѣйствуютъ одна на другую, вовсе не значить объяснить ихъ происхожденіе.

Вы возразите мнѣ, что происхожденіе психическаго «фактора» объясняется физической организаціей человѣка. Но я отвѣчу, что рѣчь идетъ не о происхожденіи человѣческой способности къ *мысленію*, а о происхожденіи человѣческихъ *понятій*, о происхожденіи данныхъ, совершенно опредѣленныхъ взглядовъ на собственность, на отношеніе между мужчиной и женщиной, на взаимныя отношенія членовъ семьи и общества и на отношенія людей къ «первоначальнымъ» языческимъ божествамъ. Этихъ взглядовъ ни въ какомъ случаѣ нельзя считать продуктомъ биологической эволюціи. Нельзя также объяснить ихъ возникновеніе взаимодѣйствіемъ между ними и общественной экономіей, такъ какъ, повторяю, для того, чтобы испытать на себѣ вліяніе экономіи и въ свою очередь вліять на нее, они уже должны быть налицо. И если вы опять скажете мнѣ, что они возникли самостоятельно, въ силу особыхъ законовъ психической эволюціи человѣка, то я,—замѣтивъ, что и вы оказались вынужденнымъ покинуть точку зрѣнія взаимодѣйствія, повидимому, такъ много общавшую,—повторю: указаніе на особый законъ самостоятельной психической эволюціи есть не рѣшеніе задачи, а лишь новая ея формулировка, лишь изложеніе ея новыми словами.

Возьмемъ примѣръ. По словамъ Сямонди, «во Франціи при Филиппѣ V рыцарскіе романы, которые одни только и читались тогда при

дворѣ и въ замкахъ, измѣнили національные нравы, показавъ всему дворянству, къ чему оно должно было стремиться, какъ къ совершенству»¹⁾.

Литература повліяла на нравы. Но откуда же взялась она? Чѣмъ вызвано было существованіе рыцарскихъ романовъ? Ясное дѣло: существованіе рыцарскихъ романовъ вызвано было существованіемъ рыцарскихъ нравовъ. Вотъ вамъ интересный примѣръ взаимодѣйствія: литература феодальнаго общества вліяетъ на его нравы; его нравы вліяютъ на его литературу. Но откуда взялось самое феодальное общество,—этого вовсе не объясняетъ намъ несомнѣнный фактъ интереснаго взаимодѣйствія.

Возьмемъ другой примѣръ. Когда вышла знаменитая книга Гельвеція *De l'esprit*, нѣкоторые суровые охранители стараго порядка говорили, что этого философа слѣдовало бы сжечь живьемъ вмѣстѣ съ его прозведеніемъ. Они говорили также, что для подобнаго приговора во французскомъ законодательствѣ можно найти вполне достаточныя основанія. Эта жестокая мысль не была приведена въ исполненіе: нравы французскаго общества слишкомъ смягчились къ тому времени, чтобы можно было съ легкимъ сердцемъ и часто пользоваться удѣлѣвшими остатками средневѣковаго варварства²⁾. Такимъ образомъ, смягченіе нравовъ отразилось на юридической практикѣ, оказало свое благотельное вліяніе на нравы. Нравы повліяли на юридическую практику, юридическая практика повліяла въ свою очередь на нравы. Взаимодѣйствіе очевидно. Но почему произошло смягченіе нравовъ? Откуда взялась та юридическая практика, которая смягчилась подъ вліяніемъ смягченія нравовъ,—этого мы не знаемъ; это указаннымъ взаимодѣйствіемъ не объясняется.

Возьмемъ третій примѣръ. Существованіе феодальныхъ учреждений несомнѣнно замедляло экономическое развитіе Франціи прошлаго вѣка. Эти учрежденія пали подъ напоромъ новыхъ экономическихъ нуждъ. Ихъ паденіе послужило новымъ толчкомъ для экономическаго развитія Франціи. Здѣсь взаимодѣйствіе опять очевидно. Но чѣмъ было вызвано появленіе новыхъ экономическихъ отношеній во Франціи? Откуда взялись тѣ учрежденія, которыя въ теченіе довольно продолжительнаго времени задерживали ихъ развитіе,—это опять-таки ни мало не объясняется указаннымъ взаимодѣйствіемъ.

Но если взаимодѣйствіе ничего не объясняетъ; если предположеніе о существованіи предустановленной гармоніи между развитіемъ учреждений (а также и понятій), съ одной стороны, и развитіемъ общественной экономикі—съ другой, совершенно невѣроятно, то остается аппе-

¹⁾ Histoire de Français, t. X, p. 56.

²⁾ Что ими все-таки иногда пользовались, показываютъ нѣкоторые другіе, всѣмъ извѣстные примѣры.

ливать лишь къ тому фактору, на который указываютъ «экономическіе» материалисты. Только онъ съ удивительной легкостью объясняетъ всё тѣ многочисленныя затрудненія, въ которыя мы попадаемъ на каждомъ шагу при изученіи общественнаго развитія.

Припомните Дарвина, м. г.! Этотъ гениальный изслѣдователь объясняетъ происхожденіе человѣка и его способностей съ точки зрѣнія *біологіи*. Но у него есть нѣсколько страницъ, имѣющихъ огромное значеніе и для социологовъ. По его мнѣнію, нравственныя чувства и понятія людей объясняются вліяніемъ *общественныхъ отношеній*. Если бы люди жили при совершенно такихъ же условіяхъ, при которыхъ живутъ пчелы, то у нихъ господствовала бы пчелиная нравственность, и они со спокойнымъ сердцемъ совершали бы то избіеніе себѣ подобныхъ, которое періодически совершается въ пчелиномъ ульѣ¹⁾. Даже болѣе того, они считали бы своей святой обязанностью совершеніе этихъ ужасовъ, а каждый, кто отказался бы совершать ихъ погрѣшилъ бы противъ нравственности.

Разъ существовала бы такая нравственность, она, несомнѣнно, оказала бы вліяніе на общественныя отношенія, она содѣйствовала бы ихъ упрощенію и ихъ дальнѣйшему развитію. Тутъ установилось бы несомнѣнное взаимодѣйствіе. Но, несмотря на это, все-таки, очевидно, что не нравственность создала бы общественныя отношенія, а общественныя отношенія создали бы нравственность.

Откуда же берутся общественныя отношенія?

Мы говоримъ объ общественныхъ отношеніяхъ, существующихъ въ *человѣческихъ* обществахъ. Эти отношенія суть отношенія *людей*; они созданы людьми. Поэтому они кажутся продуктомъ свободной человѣческой дѣятельности. Но что такое свободная воля человѣка? «L'illusion d'un être qui a conscience de lui même comme cause et n'a pas conscience de lui même comme effet» (иллюзія существа, сознающаго себя какъ *причину*, но не сознающаго себя, какъ *слѣдствіе*). Это прекрасное опредѣленіе Дидро примѣнимо какъ къ *индивидууму*, такъ и къ *общественному человѣку* (Gesellschaftsmensch, какъ выражается Марксъ). Когда людямъ кажется, что данныя общественныя отношенія сзданы ихъ свободною волей, то тутъ повторяется та вѣчная иллюзія, благодаря которой люди «не сознаютъ себя, какъ слѣдствіе». Всякая данная система отношеній создана волею людей, но воля людей направляется на созданіе этой системы по причинамъ, отъ людей независящимъ. Прежде чѣмъ стать причиной, воля является *слѣдствіемъ*, и задача социологіи, какъ науки, заключается въ томъ, чтобы понять, какъ *слѣдствіе*, ту волю общественнаго человѣка, которая направляется на поддержаніе или на созданіе данной системы общественныхъ отношеній.

¹⁾ The Descent of man, London, 1883, p. 99—100.

Бельтовъ. Т. I. Изд. 3.

Общественный человекъ есть продуктъ длиннаго зоологическаго развитія. Но *культурная* исторія этого человека начинается лишь съ тѣхъ поръ, когда онъ, не довольствуясь присвоеніемъ готовыхъ даровъ природы, самъ начинаетъ производить нужные для него предметы потребленія. Размѣры и характеръ этого производства въ каждое данное время опредѣляются состояніемъ производительныхъ силъ. Первый толчокъ къ развитію производительныхъ силъ даетъ *сама природа*, окружающая человека *географическая среда*. Но по мѣрѣ того, какъ растетъ значеніе производства въ жизни общественнаго человека, растетъ также и значеніе общественной среды для развитія производительныхъ силъ. Чтобы производить, люди должны стать въ извѣстныя отношенія къ природѣ. Но этого мало. Общественный процессъ производства предполагаетъ также извѣстныя взаимныя отношенія *между самими производителями*. Эти взаимныя отношенія между производителями опредѣляются въ каждое данное время состояніемъ производительныхъ силъ. Каждый новый великій историческій шагъ въ развитіи производительныхъ силъ вызываетъ цѣлый переворотъ во взаимныхъ отношеніяхъ производителей, а вмѣстѣ съ тѣмъ и во всемъ общественномъ устройствѣ ¹⁾.

Такъ возникаютъ общественныя отношенія, отъ которыхъ, какъ мы сказали выше, зависятъ нравственныя и всякія другія понятія людей.

Чтобы пояснить эту мысль, возьмемъ первобытныя родовыя общины. Въ этихъ общинахъ почти нѣтъ частной собственности. Но мало-по-малу развитіе производительныхъ силъ подрываетъ первобытный коммунизмъ. Частная собственность растетъ и укрѣпляется; она захватываетъ все новые и новые объекты; въ нѣдрахъ общества, нѣкогда основаннаго на равенствѣ, появляются богатые и бѣдные. Это цѣлый переворотъ который роковымъ образомъ ведетъ за собой измѣненіе въ семейномъ правѣ и въ политическомъ устройствѣ общества. Возникаетъ государство, конституція котораго служитъ выраженіемъ экономическихъ

¹⁾ „При производствѣ люди воздѣйствуютъ не только на природу, но и другъ на друга. Они не могутъ производить, не соединяясь извѣстнымъ образомъ для совмѣстной дѣятельности и для взаимнаго обмѣна своею дѣятельностью. Чтобы производить, люди вступаютъ въ опредѣленныя связи и отношенія и только черезъ посредство этихъ общественныхъ связей и отношеній имѣетъ мѣсто воздѣйствіе людей на природу, имѣетъ мѣсто производство.“

Въ зависимости отъ того или иного характера средствъ производства измѣняются, конечно, и общественныя отношенія производителей другъ къ другу, измѣняются условія, при которыхъ они обмѣниваются своею дѣятельностью и участвуютъ во всемъ процессѣ производства. Съ изобрѣтеніемъ новаго военнаго орудія, огнестрѣльнаго оружія, необходимо должна была измѣниться вся внутренняя организація арміи, должны были измѣниться тѣ отношенія, на основаніи которыхъ отдѣльныя личности сплачиваются въ армію и могутъ дѣйствовать, какъ армія, равно какъ и взаимныя отношенія различныхъ армій“. (*Марксъ*).

отношеній общества. Такъ, напримѣръ, вся внутренняя политическая исторія той гражданской общины древняго міра, о которой говорите вы, м. г., въ вашей статьѣ, есть не что иное, какъ выраженіе борьбы между богатыми и бѣдными, между аристократіей и демократіей (это прекрасно зналъ еще Аристотель). На основѣ этихъ новыхъ учреждений вырастаютъ извѣстныя понятія о частномъ, семейномъ и общественномъ правѣ, объ отношеніяхъ къ другимъ народамъ и даже къ «первоначальнымъ» языческимъ божествамъ.

Да, м. г., даже къ «первоначальнымъ» языческимъ божествамъ! Языческая религія есть обоготвореніе непонятыхъ человѣкомъ силъ природы. Религія первоначальная въ настоящемъ смыслѣ этого слова есть та религія, которую Максъ Мюллеръ называетъ *натуральной*. Эта натуральная, основанная на обоготвореніи силъ природы религія существуетъ на зарѣ культурной исторіи общественнаго человѣка. Но по мѣрѣ того какъ растутъ производительныя силы этого человѣка и общественная среда переживаетъ болѣе или менѣе глубокія измѣненія, первоначальная религія приобретаетъ новый характеръ: изъ *натуральной* она превращается въ *общественную*. Боги, бывшіе когда-то простымъ олицетвореніемъ силъ природы, становятся покровителями и даже воображаемыми творцами того или другого вида собственности, семьи, государственнаго устройства и международныхъ отношеній. Когда между людьми возникаетъ борьба,—скажемъ изъ-за той или другой формы семейнаго быта,—языческіе боги также начинаютъ ссориться между собою, становясь одни на сторону охранителей старины, а другіе — на сторону новаторовъ. Такъ, у Эсхила эвмениды отстаиваютъ *материнское* право, а Минерва защищаетъ власть отца. Эта интересная богиня не имѣла, какъ извѣстно, матери. Съ этой стороны она сама была въ глазахъ людей не чѣмъ инымъ, какъ фантастическимъ отраженіемъ той борьбы, которая имѣла мѣсто при переходѣ отъ материнскаго права къ отцовскому.

Что на почвѣ извѣстныхъ отношеній людей является извѣстная «психика», это какъ нельзя болѣе понятно. А что на почвѣ данной «психики» вырастаютъ извѣстныя теченія философской мысли и художественнаго творчества, это тоже нетрудно показать. Припомните французскую философію XVIII вѣка, и вы увидите, до какой степени вся она, во всѣхъ своихъ частностяхъ, создана психикой третьяго сословія, борющагося съ духовенствомъ и дворянствомъ. Объ искусствѣ я не хочу распространяться здѣсь: я ограничусь указаніемъ на «Философію искусства» Тэна ¹⁾).

¹⁾ Впрочемъ, позволю себѣ одно маленькое замѣчаніе. Г. Кудринъ въ «Русскомъ Богатствѣ» очень удивился, услышавъ отъ Бельтова, что борьба классовъ отражается, между прочимъ, и на развитіи архитектуры. Я думаю, что Бельтова можно упрекнуть лишь въ одномъ — въ томъ, что онъ не придалъ своей

Человѣческія понятія возникаютъ на почвѣ общественныхъ отноше- ній. Разъ возникли данныя понятія, они непремѣнно сами вліяютъ на общественныя отношенія. Между различными сферами понятій и пред- ставленій также существуетъ взаимное вліяніе: религія вліяетъ на право; перевороты, происходящіе въ области права, отражаются, какъ мы ви- дѣли, на религіозныхъ представленіяхъ и т. д.

Такъ объясняется съ точки зрѣнія экономическаго матеріализма взаимо- дѣйствіе между различными факторами историческаго развитія.

Вы замѣчаете, м. г., что исторія сложнѣе, чѣмъ это думаютъ эконо- мическіе матеріалисты. Я отвѣчаю вамъ: теорія экономическаго матеріа- лизма вовсе не такъ узка, плоска и одностороння, какъ думаютъ это ея противники.

Вы указываете на международныя столкновенія и на результаты этихъ столкновеній, какъ на такія явленія, которыхъ нельзя объяснить съ точ- ки зрѣнія экономическаго матеріализма. Къ величайшему моему сожалѣ- нію, мѣсто не позволяетъ мнѣ разсмотрѣть здѣсь приводимые вами примѣры. Я вынужденъ ограничиться слѣдующимъ общимъ положеніемъ: *въ каждое данное время столкновение двухъ силъ, равно какъ и самая возможность ихъ столкновенія, опредѣляется характеромъ (свойствами) этихъ силъ.* Въ примѣненіи къ международнымъ столкновеніямъ это общее положе- ніе будетъ гласить такъ: въ каждое данное время результатъ столкнове- нія двухъ обществъ, равно какъ и самая возможность ихъ столкновенія, опредѣляются характеромъ (свойствами) этихъ обществъ, т. е., иначе ска- зать, ихъ *внутреннимъ* строемъ. Если теорія экономическаго матеріализма удовлетворительно объясняетъ происхожденіе внутренняго устройства человѣческихъ обществъ, то она тѣмъ самымъ объясняетъ и результаты и самую возможность ихъ столкновеній.

«Въ наши дни,—говоритъ Мольтке,—биржа приобрѣла такое вліяніе, что она можетъ для защиты своихъ интересовъ приводить въ движеніе цѣ- лья арміи. Европейскія арміи появились въ Мексикѣ и Египтѣ по требо- ванію вышшаго финансоваго міра»¹⁾. «Какъ вы думаете, м. г., почему

мысли болѣе общаго выраженія. Что архитектура каждой данной историче- ской эпохи зависитъ отъ хозяйственнаго быта этой эпохи, говорилъ еще Род- бертусъ: «In dem Baustil jeder Zeit spiegeln sich in der That die Grundzüge des volkwirtschaftlichen Lebens vor. Das römische Haus, das mittelalterliche städtische Bürgerhaus mit seinen Sprecherräumen... und das moderne Familien und Salonhaus sind bezeichnete Marksteine einer dritthalbtausendjährigen volkwirtschaftlichen Entwicklung, denn keine Kunst steht in grösseren Abhän- gigkeit von den sozialen Verhältnissen, als die Baukunst, und man hat daher mit Recht gevagt: einen neuen charakteristischen Baustil erhalten wir erst mit neuen sozialen Grunblagen»... *Robertus*, «Zur Frage des Sachwerths des Geldes im Alterthum». Hild Jahrbücher, S. 365, B. XIV.

¹⁾ La Guerre de 1870. Paris, 1894, p. 2.

биржа можетъ въ настоящее время рѣшать вопросы войны и мира? Не зависятъ ли это отъ экономическаго состоянія цивилизованныхъ обществъ?

Результаты столкновений между охотничьими племенами не бывають похожи и не могутъ быть похожи на результаты столкновений между земледѣльческими народами; результаты столкновений между земледѣльческими народами, живущими при условіи натурального хозяйства, не бывають похожи и не могутъ быть похожи на результаты столкновений между новѣйшими капиталистическими странами. Почему это? Не потому ли, что результаты столкновений зависятъ отъ экономическаго быта воюющихъ сторонъ?

Но, повторяю, я не могу пускаться въ подробное обоснованіе этой мысли. Если вамъ угодно, я посвящу этому предмету особую статью. А пока я долженъ перейти къ другому предмету.

Въ Россіи до сихъ поръ распространены тотъ странный предрасудокъ, что теорія экономическаго матеріализма осуждаетъ личность на бездѣйствіе; что если правы «экономическіе» матеріалисты, то «все» произойдетъ само собою; личности же остается только скрестить на груди руки. Не стану разсматривать здѣсь, откуда явился этотъ предрасудокъ; скажу только, что онъ тотчасъ же исчезнетъ, какъ только наша интеллигенція дастъ себѣ трудъ вдуматься въ теорію «экономическаго» матеріализма.

Неужели въ частной жизни мыслящій человекъ непремѣнно долженъ обратиться въ Обломова, если только онъ согласится съ вышеприведеннымъ опредѣленіемъ Дидро: свобода воли есть иллюзія существа, сознающаго себя какъ причину и не сознающаго себя какъ слѣдствіе? Неужели гениальный музыкантъ перестанетъ заниматься музыкой, когда узнаетъ, что гениальность есть результатъ извѣстнаго, а лучше сказать, пока еще неизвѣстнаго, состоянія мозга? Конечно, нѣтъ! Смѣшно и говорить объ этомъ. Но почему же общественный дѣятель перестанетъ дѣйствовать, если убѣдится, что его идеалы сами представляютъ собой продуктъ экономическаго развитія? Если они, дѣйствительно, представляютъ собой такой продуктъ, то тѣмъ больше ручательствъ за ихъ будущее осуществленіе. «Человѣчество ставитъ себѣ всегда только такія задачи,—говоритъ Маркозъ,—которыя оно можетъ рѣшить, такъ какъ при ближайшемъ разсмотрѣніи всегда окажется, что самая задача только тогда выдвигается, когда существуютъ уже матеріальныя условія, необходимыя для ея разрѣшенія, или когда они, по крайней мѣрѣ, находятся въ процессѣ возникновенія». Если это такъ, то съ тѣмъ большею вѣрою въ успѣхъ, съ тѣмъ большею бодростью можемъ и должны мы работать надъ разрѣшеніемъ великихъ задачъ, волнующихъ современное цивилизованное человѣчество. Или, можетъ быть, нашу энергію подорветъ то обидное соображеніе, что дѣло, за ко-

торое мы беремса, уже въ значительной степени подготовлено исторіей? Можетъ быть, намъ хотѣлось бы стать въ такое положеніе, при которомъ мы имѣли бы право сказать во всеуслышаніе: вотъ, не будь насъ, человечество коснуло бы въ невѣжествѣ, погибло бы отъ всякаго рода бѣдствій, а явились мы—и все пошло какъ по маслу? Но, вѣдь это странное соображеніе, достойное лишь блаженной памяти Кита Китыча.

Когда говорятъ, что по теоріи экономическаго матеріализма все совершается и совершится само собою, то совершенно искажаютъ сущность этой теоріи. По ея смыслу, общественныя отношенія (въ *человѣческомъ* обществѣ) суть отношенія *людей*, и ни одинъ великій шагъ въ историческомъ движеніи человечества не можетъ совершиться не только безъ участія людей, но и безъ участія великаго множества людей, т. е. *массъ*. Необходимость участія массы въ великихъ историческихъ событіяхъ обуславливаетъ собою необходимость воздѣйствія на эту массу болѣе развитыхъ, болѣе нравственныхъ личностей. Такимъ образомъ открывается широкій просторъ для плодотворной дѣятельности отдѣльныхъ личностей, и если между этими личностями нашлась бы такія, которыя превратились бы въ Обломовыхъ подъ влияніемъ экономическаго матеріализма, то въ этомъ надобно было бы винить не экономическій матеріализмъ, а именно эти личности: очевидно, онѣ представляютъ собою очень уже неспособное къ логическому мышленію и очень уже оклонное къ бездѣйствію *«слабствіе»*.

Замѣчательно, м. г., что у насъ «личности» стали особенно охотно противопоставлять себя «естественному ходу событій» именно въ послѣдніи 10—15 лѣтъ, когда, по признанію самихъ «личностей», произошло значительное пониженіе нравственнаго и умственнаго уровня интеллигенціи. Въ семидесятыхъ годахъ самыя передовыя, самыя энергичныя личности охотно смотрѣли на себя, какъ на простыя орудія исторіи. «Мы не вѣримъ въ возможность, путемъ предварительной работы, создать въ народѣ идеалы, отличные отъ развитыхъ въ немъ всей предшествующей исторіей»,—писалъ одинъ энергичный выдающійся (теперь, къ сожалѣнію, уже умершій) народникъ въ концѣ семидесятыхъ годовъ. «Великія событія,—продолжалъ онъ,—дѣло народныхъ массъ. Подготавливаетъ ихъ исторія. Отдѣльныя лица ничего направить не въ силахъ. Они могутъ быть только орудіями исторіи, выразителями народныхъ стремленій». Въ настоящее время такими разсужденіями возмущались бы даже такія лица, которыя по своей самодѣятельности не могли бы выдержать и отдаленнаго сравненія съ человѣкомъ, написавшимъ приведенныя мною строки. Откуда это различіе? Вотъ откуда. Лѣтъ двадцать тому назадъ наши передовыя личности дѣйствительно вѣрили въ народъ, онѣ дѣйствительно были убѣждены, что въ народной средѣ существуетъ теченіе, по смыслу своему тождественное съ идеалами интеллигенціи. Вотъ почему онѣ, эти личности, охотно смотрѣли на себя, какъ на простыя орудія исторіи, какъ на про-

стыхъ выразителей народныхъ стремлений. А теперь значительная часть такихъ «личностей», въ сущности, извѣрилась въ народъ, хотя и говорить о немъ по старой привычкѣ весьма чувствительно; теперь эти «личности» видятъ, что въ народѣ преобладаютъ индивидуалистическія теченія, что народная экономія противорѣчитъ ихъ идеаламъ; и вотъ почему они сами противорѣчатъ экономіи, вотъ почему онѣ противопоставляютъ себя ей. Еслибъ онѣ умѣли согласовать свои идеалы къ современнымъ состояніемъ русской экономіи, то онѣ непременно стали бы сослаться на эту послѣднюю, какъ на лучшій доводъ въ защиту своихъ идеаловъ. Но онѣ не умѣютъ согласовать свои идеалы съ современной русской экономіей, а не умѣютъ именно потому, что не поняли теоріи экономическаго матеріализма.

Въ своей статьѣ вы, м. г., противопоставляете экономическимъ матеріалистамъ тѣхъ людей, «которые признаютъ возможнымъ сознательное, цѣлесообразное вмѣшательство отдѣльнаго человѣка, общества и государства въ народно-хозяйственную жизнь». Но развѣ экономическіе матеріалисты отрицаютъ возможность подобнаго вмѣшательства? Развѣ они говорили, напр., подобно такъ называемымъ манчестерцамъ, что государство не должно вмѣшиваться въ экономическую жизнь народа? Нѣтъ, м. г., ничего подобнаго они никогда не говорили. Но то правда, что возможность государственнаго вмѣшательства они никогда не понимали такъ отвлеченно, какъ это понимаютъ теперь гг. русскіе народники. По мнѣнію экономическихъ матеріалистовъ, все зависитъ отъ обстоятельствъ времени и мѣста, какъ выразался авторъ примѣчаній къ Миллю.

Когда крупная французская буржуазія временъ Луи-Филиппа отстаивала охранительныя пошлины, долженствовавшія спасти ее отъ англійской конкуренціи, она, во-первыхъ, приняла въ принципѣ возможность государственнаго вмѣшательства въ экономическую жизнь народа, а во-вторыхъ, ясно видѣла *практическую* возможность такого вмѣшательства именно въ ея интересахъ, въ интересахъ крупной буржуазіи; власть была въ ея рукахъ, оставалось лишь воспользоваться ею.

Но во времена реставраціи она не всегда видѣла передъ собою практическую возможность подобнаго вмѣшательства. Его часто дѣлало невозможнымъ преобладающее вліяніе аристократіи. Чтобы одѣлать его возможнымъ, крупной буржуазіи непременно нужно было преодолѣть вліяніе этой аристократіи, т. е. совершить нѣкоторыя передѣлки въ «надстройкѣ», выросшей на экономической почвѣ.

Совершенно также, когда, при упомянутомъ выше Луи-Филиппѣ, мелкая буржуазія и рабочій классъ задумывались объ улучшеніи своей участи, они хотя и допускали въ принципѣ возможность государственнаго вмѣшательства въ экономическую жизнь народа, но не видѣли передъ собою практической возможности такого вмѣшательства въ ихъ интересахъ:

власть была не въ ихъ рукахъ, а въ рукахъ крупной буржуазіи. И вотъ мелкая буржуазія и рабочіе стремятся къ избирательной реформѣ.

Бываютъ эпохи, когда полезное для даннаго класса вмѣшательство въ экономическую жизнь народа предполагаетъ наличность нѣкоторыхъ политическихъ условій, при отсутствіи которыхъ нечего и говорить о государственномъ вмѣшательствѣ. Въ дѣйствительности, разумѣется, и тогда говорятъ о немъ, но говорятъ пустые, недалковидные люди, сами не понимающіе значенія тѣхъ интересовъ, которые они берутся защищать.

На длинной кривой линіи историческаго развитія человѣчества существуютъ точки великихъ, многозначительныхъ поворотовъ. Обозначимъ эти точки буквами А, В, С, D и т. д. Когда экономическое развитіе доходить до точки А, торжествуетъ одинъ классъ; когда оно доходитъ до точки В, прежде господствовавшій классъ отходитъ на задній планъ, его мѣсто занимаетъ новый господствующій классъ; наконецъ, когда движеніе доходитъ, скажемъ до точки S, борьба классовъ уже не имѣетъ мѣста, потому что исчезаетъ самое раздѣленіе общества на классы. Движеніе человѣчества отъ точки А до точки В, отъ точки В до точки С и т. д., вплоть до точки S, *никогда не совершается въ плоскости одной экономики*. Чтобы перейти отъ точки А до точки В, отъ точки В до точки С и т. д., нужно каждый разъ подняться въ «надстройку» и совершить тамъ нѣкоторыя передѣлки. Только совершивъ эти передѣлки, можно достигнуть желанной точки. *Путь отъ одной точки поворота къ другой всегда лжзитъ черезъ «надстройку»*. Экономика почти никогда не торжествуетъ сама собою, о ней никогда нельзя сказать: *farà da se*. Нѣтъ, никогда не *da se*, а всегда *только черезъ посредство надстройки*, всегда *только* черезъ посредство извѣстныхъ политическихъ учрежденій. Таковъ несомнѣнный смыслъ теоріи экономическаго материализма, когда мы смотримъ на нее съ точки зрѣнія «практическаго разума».

Отчего зависятъ политическія учрежденія данной страны? Мы уже знаемъ, что они выражаютъ собою экономическія отношенія. Но для того, чтобы войти въ жизнь, эти подсказываемыя экономикой политическія учрежденія должны предварительно пройти черезъ головы людей въ видѣ извѣстныхъ *понятій*. И вотъ почему человѣчество никогда не можетъ перейти отъ одной поворотной точки своего экономическаго движенія до другой, не переживъ предварительно цѣлаго переворота въ своихъ *понятіяхъ*.

Но, заговоривъ о понятіяхъ, мы переходимъ къ вопросу о *просвѣщеніи*, о которомъ идетъ, между прочимъ, рѣчь и въ вашей статьѣ.

Вы говорите, что со всѣхъ сторонъ изъ глубины нашего народа идутъ запросы на образованіе и что въ эту сторону должны быть направлены усилія всѣхъ благородныхъ людей. Это—великая, безспорная

истина! Да, именно здѣсь должны, прежде всего и больше всего, потрудиться всѣ тѣ, которые не хотятъ, по выраженію поэта, позорить гражданина санъ. Но развѣ въ этомъ нужно убѣждать экономическихъ матеріалистовъ? Развѣ не говорятъ и не говорили они, что въ настоящее время необходимо, прежде всего, развивать самосознаніе производителей? Вѣдь это почти то же, что говорите вы. *Почти то же*, потому что развитіе самосознанія производителей есть задача еще болѣе опредѣленная, хотя, правда, и гораздо болѣе трудная, чѣмъ простое распространеніе знаній въ народѣ. Производитель, умѣющій читать и писать и обладающій нѣкоторыми, болѣе или менѣе элементарными научными свѣдѣніями, во всѣхъ отношеніяхъ выше производителя, погруженнаго въ тотъ непроницаемый мракъ невѣжества, въ которомъ жалко прозябалъ такъ художественно изображенный Г. И. Успенскимъ носитель стройныхъ земледѣльческихъ идеаловъ, крестьяннинъ Иванъ Ермолаевичъ. Иванъ Ермолаевичъ, несмотря на стройность своихъ идеаловъ, еще не человѣкъ въ собственномъ смыслѣ этого слова: это еще только *возможность* человѣка. Если сынъ человѣкоподобнаго Ивана Ермолаевича, Мишутка, почувствовалъ жажду знанія (у Успенскаго онъ совсѣмъ не чувствовалъ ея), то онъ уже сталъ *человѣкомъ*. Если онъ приобрѣлъ нѣкоторыя, хотя бы элементарныя свѣдѣнія, то онъ уже сдѣлалъ нѣсколько, хотя бы и небольшихъ, шаговъ по пути человѣческаго развитія, и уже тѣмъ самымъ онъ сталъ много выше своего отца. Но, обладая кое-какими арифметическими и естественно-научными свѣдѣніями, онъ можетъ остаться круглымъ невѣждой въ томъ, что касается его собственнаго общественнаго положенія и тѣхъ задачъ, которыя вытекаютъ для него изъ этого положенія. А пока онъ не созналъ этихъ задачъ, онъ, уже сдѣлавшій нѣсколько шаговъ по пути человѣческаго развитія, продолжаетъ оставаться *нулемъ* въ смыслѣ сознательнаго воздѣйствія на слѣдующую силу экономіи. И сколько бы мы, интеллигенція, ни разсуждали о возможности разумнаго вліянія людей на ходъ развитія экономическихъ отношеній, это вліяніе не будетъ имѣть мѣста въ интересахъ Мишутки, пока онъ самъ не задастся цѣлью повліять на указанныя отношенія.

Въ послѣднемъ отчетѣ освобожденіе Мишутки отъ власти слѣпой силы экономической необходимости можетъ быть лишь дѣломъ самого Мишутки. И потому нѣтъ работы плодотворнѣе работы тѣхъ людей, которые возьмутся объяснить это Мишуткѣ.

Вы говорите, что благородная жажда знаній пробудилась въ деревнѣ. Это вполнѣ вѣрно, и это очень хорошо. Но непонятно, почему вы вспоминаете *только* о деревнѣ. Въ городахъ, въ крупныхъ промышленныхъ центрахъ, благородная жажда знаній еще сильнѣе. Жители этихъ центровъ гораздо болѣе воспріимчивы по самому своему положенію. Къ нимъ и надо обратиться прежде всего. Но объ этомъ когда-нибудь въ другой разъ.

Вы видите, м. г., что экономической материализм вовсе не осуждает своих сторонников на бездѣйствіе, что квіетизмъ и экономической материализмъ—не одно и то же.

«Марксистъ, убѣжденный въ неминуемомъ наступленіи торжества капитализма и въ Россіи,—говорите вы,—какъ бы ни огорчали его бѣдствія народа, какъ бы ни страдалъ онъ отъ сознанія всей тяжести этихъ бѣдствій, долженъ, однако, ускорять этотъ процессъ для возможно быстрого наступленія капиталистической стади, послѣ которой производственныя отношенія вызовутъ иной экономической строй, совпадающій съ тѣмъ, что мы называемъ требованіемъ справедливости».

Оставляя въ сторонѣ неопредѣленность выраженія «экономическій строй, совпадающій съ требованиями справедливости», я замѣчу вамъ, что вы дѣлаете не совсемъ правильный выводъ изъ того, что говорятъ экономическіе материалисты о неизбѣжности окончательнаго торжества капитализма въ Россіи.

Положимъ, что какой-нибудь свободомыслящій австріецъ сороковыхъ годовъ высказалъ бы то убѣжденіе, что Меттернихъ своей реакціонною политикою самъ ведетъ къ гибели свою систему.

Скажите ли вы, что еслибъ этотъ свободомыслящій австріецъ былъ человѣкомъ сильной логики и глубокаго убѣжденія, то ему слѣдовало бы сдѣлаться агентомъ Меттерниха и обѣими руками поддерживать всѣ его реакціонныя мѣры?

Вы этого не скажете; вы хорошо видите, что у свободомыслящаго австріяца нашлось бы другое, гораздо болѣе плодотворное дѣло на почвѣ, невольна воздѣлываемой Меттернихомъ.

Но по отношенію къ экономическимъ материалистамъ вы рассуждаете иначе. Услышавъ, что, по ихъ мнѣнію, капитализмъ подготовляетъ почву для торжества экономического порядка, совпадающаго съ требованіями справедливости, вы говорите: у нихъ не можетъ быть теперь другого дѣла, кромѣ насажденія капитализма. Откуда эта разница? Почему ваше отношеніе къ экономическимъ материалистамъ не совпадаетъ съ «требованіями справедливости»? Потому, что вы хорошо понимаете, какое именно дѣло нашлось бы у противника меттерниховой системы, между тѣмъ какъ вамъ непонятно, что же могутъ дѣлать тѣ люди, которые, будучи въ принципѣ противниками капитализма, не приходятъ, однако, въ ужасъ при видѣ его несомнѣннаго торжества въ Россіи.

Я надѣюсь, что сказанное мною о необходимости развитія самосознанія производителей и о прочемъ до известной степени устранить это печальное недоразумѣніе.

«Ускорять этотъ процессъ»... Да, ускорять! Но «ускорять» можно различно. Только напрасно думаетъ, наприм., г. Оболенскій, что обѣднѣніе народа могло бы ускорить развитіе капитализма. Обѣднѣніе народа

не ускоряетъ, а замедляетъ его. И наоборотъ, ростъ самосознанія производителей несомнѣнно ускоряетъ его, что блистательно доказывается практикой западно-европейской общественной жизни. Но, съ другой стороны, этотъ же ростъ улучшаетъ положеніе производителя, т. е. устраняетъ, по крайней мѣрѣ, *нѣкоторыя* вредныя стороны капитализма. И съ нѣкоторыми оговорками можно сказать, что положеніе производителя тѣмъ болѣе улучшается, чѣмъ болѣе растетъ его самосознаніе. Выходить, стало быть, что можно содѣйствовать ускоренію капиталистическаго процесса, всецѣло становясь въ то же время на сторону производителя. Этого-то, кажется, и не понимаетъ г. Оболенскій.

Экономическіе матеріалисты не считаютъ возможнымъ въ настоящее время сознательное вмѣшательство государства въ экономическую жизнь русскаго народа съ цѣлью осуществленія «требованія справедливости». Васъ, повидимому, это огорчаетъ. Но позвольте спросить васъ: да развѣ вы сами считаете его возможнымъ; развѣ вы забыли, что все зависитъ отъ обстоятельствъ времени и мѣста? Но, по вашимъ словамъ, люди, стоящіе за справедливость, «должны, по мѣрѣ своихъ силъ, бороться за спасеніе каждаго живого человѣка, за то, чтобы крестьянинъ не отрывался отъ земли», и т. д. Это все прекрасно, но бороться за спасеніе «живыхъ людей» *по одиночку*, значить заниматься простою филантропіей. Спора нѣтъ, филантропія хорошая вещь, но вѣдь мы съ вами говоримъ не о филантропіи.

Хорошо «бороться» за то, чтобы крестьянинъ не отрывался отъ земли. Но хорошо опять-таки при извѣстныхъ обстоятельствахъ времени и мѣста, какъ это вамъ выяснилъ еще Н. Г. Чернышевскій. Онъ горячо и талантливо спорить съ профессоромъ Вернадскимъ, защищая общинное землевладѣніе. Нынѣшніе наши сторонники старыхъ устоевъ тоже защищаютъ общину и тоже готовы спорить, по мѣрѣ силъ и способностей, съ противниками общины. Отсюда дѣлается тотъ выводъ, что, по крайней мѣрѣ во взглядѣ на общину, наши нынѣшніе сторонники устоевъ стоятъ на точкѣ зрѣнія названнаго автора. Но это слишкомъ поспѣшный выводъ. Между Н. Г. Чернышевскимъ и нынѣшними его будто бы послѣдователями та огромная разница, что они относятся *догматически* къ тому самому предмету, къ которому онъ относился *критически*. Другими словами: между тѣмъ какъ онъ отстаивалъ общину, *предполагая наличность извѣстныхъ условій*, при отсутствіи которыхъ она утрачивала всякій смыслъ въ его глазахъ, его нынѣшніе будто бы послѣдователи стоятъ за общину *quand même* и готовы защищать ее, какъ бы радикально ни измѣнялись внѣшнія и внутреннія условія ея существованія. И вотъ почему я говорю: если бы эти люди и остались вѣрны *буквѣ* ученія названнаго писателя, то все-таки было бы несомнѣнно, что они совершенно позабыли его *духъ*.

Но на самомъ дѣлѣ они плохо усвоили себѣ даже его *букву*. Они говорятъ вовсе не то, что говорилъ Н. Г. Чернышевскій.

Вы помните, конечно, м. г., знаменитую статью: «Критика философскихъ предубѣжденій противъ общиннаго землевладѣнія». Въ этой статьѣ видятъ обыкновенно защиту нашей русской общины. Но это большая ошибка. Авторъ названной статьи защищаетъ въ ней не нашу русскую общину, а коллективную собственность вообще, опровергая то мнѣніе недобролюбивыхъ имъ либеральныхъ экономистовъ, что цивилизація несомѣстима съ коллективною собственностью. Онъ говоритъ: первый шагъ цивилизаціи есть отрицаніе этой собственности; второй будетъ отрицаніемъ отрицанія, возвратомъ къ коллективизму. Мимоходомъ онъ доказываетъ, что продолжительность второго періода, періода господства индивидуальной собственности, можетъ—*при известныхъ обстоятельствахъ и при известномъ положеніи дѣлъ у болѣе передовыхъ народовъ*—сократиться до нуля, т. е. что первобытная коллективная собственность можетъ мѣстами сразу перейти въ высшую форму коллективизма. Я не буду разсматривать здѣсь, нуждается ли въ какихъ-либо дополненіяхъ и оговоркахъ мысль о возможности минованія цѣлаго историческаго періода, а спрошу только: о нашей ли русской общинѣ говорится въ названной статьѣ? И отвѣчу: нѣтъ, въ ней говорится *по поводу* спора объ этой общинѣ, *но уже не о ней*, не объ этой общинѣ, и потому къ ней не относятся и разсужденія о возможности миновать періодъ индивидуальной собственности.

Вы хотите доказательствъ, м. г.?—Вотъ они.

«Я стыжусь самого себя,—говоритъ въ предисловіи авторъ статьи.—Мнѣ совѣстно вспомнить о безвременной самоувѣренности, съ которою я поднялъ вопросъ объ общинномъ землевладѣніи. Этимъ дѣломъ я сталъ безразсуденъ, скажу прямо, сталъ глупъ въ своихъ собственныхъ глазахъ... Трудно объяснить причину моего стыда, но постараюсь сдѣлать, какъ могу. Какъ ни важенъ представляется мнѣ вопросъ о сохраненіи общиннаго землевладѣнія, но онъ все-таки составляетъ одну сторону дѣла, къ которому принадлежитъ. Какъ высшая гарантія благосостоянія людей, до которыхъ онъ относится, этотъ принципъ получаетъ омысль только тогда, когда уже даны другія, низшія гарантіи благосостоянія, нужны для доставленія его дѣйствию простора. Такими гарантіями должны считаться два условія. Во-первыхъ, принадлежность ренты тѣмъ самымъ лицамъ, которыя участвуютъ въ общинномъ владѣніи. Но этого еще мало. Надобно также замѣтить, что рента только тогда серьезно заслуживаетъ своего имени, когда лицо, ее получающее, не обременено кредитными обязательствами, вытекающими изъ самаго ея полученія... Когда человекъ уже не такъ счастливъ, чтобы получить ренту, чистую отъ всякихъ обязательствъ, то, по крайней мѣрѣ, предполагается, что уплата по этимъ обязательствамъ не

очень велика по сравненію съ рентою... Только при соблюденіи этого второго условія люди, интересующіеся его благосостояніемъ, могутъ желать ему полученія ренты». Но это условіе не могло быть соблюдено въ дѣлѣ освобождаемыхъ крестьянъ; поэтому авторъ цитируемой статьи и считаетъ бесполезнымъ защищать не только общинное землевладѣніе, но и самое надѣленіе крестьянъ землею. У кого оставалось бы какое-нибудь сомнѣніе на этотъ счетъ, того совершенно убѣдитъ слѣдующій примѣръ, приводимый нашимъ авторомъ. «Предположимъ,—говоритъ онъ, обращаясь къ своему любимому способу объясненія посредствомъ «параболъ»,—предположимъ, что я былъ заинтересованъ принятіемъ средствъ для сохраненія провизіи, изъ запаса которой составляется вашъ обѣдъ. Само собою разумѣется, что если я это дѣлалъ собственно изъ расположенія къ вамъ, то моя ревность основывалась на предположеніи, что провизія принадлежитъ вамъ, и что приготовляемый изъ нея обѣдъ здоровъ и выгоденъ для васъ. Представьте же себѣ мои чувства, когда я узнаю, что провизія вовсе не принадлежитъ вамъ и что за каждый обѣдъ, приготовленный изъ нея, берутся съ васъ деньги, которыхъ не только не стоитъ самый обѣдъ, но которыхъ вы вообще не можете платить безъ крайняго стѣсненія. Какія мысли приходятъ мнѣ въ голову при этихъ столь странныхъ открытіяхъ?... Какъ я былъ глупъ, что хлопоталъ о сохраненіи собственности въ извѣстныхъ рукахъ, не удостовѣрившись прежде, что собственность достанется въ эти руки и достанется на выгодныхъ условіяхъ? Лучше пропадай вся эта провизія, которая приноситъ только вредъ любимому мною человѣку! Лучше пропадай все дѣло, которое приноситъ вамъ только разореніе!»

Въ другомъ сочиненіи тотъ же авторъ говоритъ: «Пусть дѣло освобожденія крестьянъ будетъ передано въ руки помѣщичьей партіи. Разница не велика». И на замѣчаніе о томъ, что разница колоссальная, такъ какъ помѣщичья партія высказывается противъ надѣленія крестьянъ землею, онъ рѣшительно отвѣчаетъ: «Нѣтъ, не колоссальная, а ничтожная. Была бы колоссальная, еслибъ крестьяне получили землю безъ выкупа. Взять у человѣка вещь или оставить ее человѣку—разница, но взять съ него плату за нее—все равно. Планъ помѣщичьей партіи разнится отъ плана прогрессистовъ тѣмъ, что онъ проще, короче. Поэтому онъ даже лучше. *Меньше проволочекъ, стroyтнo, меньше и обремененія для крестьянъ* ¹⁾. У кого изъ крестьянъ есть деньги, тотъ купить себѣ землю. У кого нѣтъ, тѣхъ нечего и обзывать покупать ее. *Это будетъ только разорять ихъ* ¹⁾. Выкупъ—та же покупка. Если сказать правду, лучше пусть будутъ освобождены безъ земли... Вопросъ поставленъ такъ, что я не нахожу причинъ горячиться даже изъ-за того, будутъ или не будутъ освобожденные

¹⁾ Курсивъ нашъ.

ны крестьяне, тѣмъ меньше изъ-за того, кто станетъ освобождать ихъ—либералы или помѣщики. По-моему—все равно. Или помѣщики даже лучше».

Въ другомъ мѣстѣ того же сочиненія онъ замѣчаетъ: «Толкутъ освобождать крестьянъ. Гдѣ силы на такое дѣло? Еще нѣтъ силъ. Нелѣпо приниматься за дѣло, когда нѣтъ силъ на него: А видите къ чему идетъ: станутъ освобождать. Что выйдетъ,—сами судите; что выходитъ, когда берешься за дѣло, котораго не можешь сдѣлать?... Испортишь дѣло, выйдетъ мерзость. Эхъ, наши господа эмансипаторы, всѣ эти ваши Рязанцевы съ компаніей! Вотъ, хвастуны-то; вотъ болтуны-то! вотъ, дурачье-то»...

Я полагаю, м. г., что эти выписки довольно убѣдительно подтверждаютъ справедливость сказаннаго мною о взглядѣ Н. Г. Чернышевскаго на русскую общину. Сначала онъ защищалъ ее; потомъ увидѣлъ, что нѣтъ на-лицо тѣхъ условій, при которыхъ общинное землевладѣніе—и даже вообще надѣленіе крестьянъ землею—могло бы принести пользу народу. Тогда онъ сталъ *стыдиться* той безвременной самоувѣренности, съ которой онъ выступалъ на защиту общины. («Лучше пусть пропадаетъ»... и т. д.).

Его нынѣшніе будто бы послѣдователи разсуждаютъ не такъ. Они дорожатъ общиной и забываютъ о тѣхъ условіяхъ, при отсутствіи которыхъ общинное землевладѣніе можетъ стать,—и въ самомъ дѣлѣ становится,—*вреднымъ* для народа. Они превратили въ мертвую *догму* то, на что онъ смотрѣлъ съ *критической* точки зрѣнія.

Я знаю, что меня упрекнуть въ несправедливости. Мнѣ скажутъ: «Да когда же защитники общины забывали о тѣхъ условіяхъ, которыя необходимы для того, чтобы она принесла пользу народу? Развѣ не народники поминутно твердятъ, что вотъ надо было бы сдѣлать и то и это для упроченія и процвѣтанія устоевъ?» Гг. народники, дѣйствительно, придумали немало проектовъ для поддержанія и усовершенствованія устоевъ. Но немало проектовъ, полезныхъ для народа, придумано было уже и въ то время, когда появилась статья «Критики философскихъ предубѣжденій». Однако, автору этой статьи однихъ хорошихъ проектовъ, какъ мы видѣли, было недостаточно. Суровый и насмѣшливый критикъ, онъ спрашивалъ себя: *гдѣ силы для осуществленія этихъ проектовъ?* И когда видѣлъ, что силъ нѣтъ, что *хорошимъ* проектамъ суждено остаться *проектами*, онъ находилъ постыднымъ тратить слова на ихъ обсужденіе и желчно обзывалъ людей, носившихся съ ними, глупцами, хвастунами, болтунами и т. д. Такъ ли относятся къ дѣлу нынѣшніе сторонники устоевъ? Нѣтъ, ихъ отношеніе къ нимъ совершенно другое. Для нихъ слова—все; они не спрашиваютъ себя—гдѣ силы для осуществленія хорошихъ проектовъ; они заражены тою бесплодною мечтательностью, которую такъ осуждалъ Н. Г. Чернышевскій и которую такъ жестоко подчасъ осмѣивалъ знаменитый «Свистокъ».

Недавно г. Глинскій въ «Историческомъ Вѣстникѣ» обрушился на эконо-

номическихъ матеріалистовъ за ихъ будто бы непочтеніе къ «шестидесятникамъ». Я осмѣлюсь замѣтить г. Глинскому, что онъ играетъ словами. Экономическіе матеріалисты могли бы сказать ему: есть шестидесятники и шестидесятники, подобно тому, какъ есть «мужикъ и мужикъ». Если шестидесятники по своимъ стремленіямъ и по направленію своихъ мыслей похожи на автора примѣчаній къ Миллю, то экономическіе матеріалисты глубоко уважаютъ ихъ. Но они не могутъ питать уваженія къ тѣмъ шестидесятникамъ, прекраснѣшніе которыхъ жестоко возмутило бы и автора примѣчаній къ Миллю и всѣхъ его сотрудниковъ.

Экономическіе матеріалисты, подобно этому автору, враги индивидуализма. Они убѣждены, что высшая фаза цивилизаціи необходимо придетъ къ той формѣ собственности, которая характеризуетъ собою первую фазу. Но они думаютъ, что это еще недостаточное основаніе для того, чтобы отстаивать *современное наше общинное землевладѣніе*. Это землевладѣніе бесполезно въ данное время для народа, потому что нѣтъ (да, кажется, никогда и не было) въ наличности такихъ условій, при которыхъ оно могло бы сдѣлаться полезнымъ ему ¹⁾, и нѣтъ тѣхъ силъ, которыя могли бы создать наличность такихъ условій. Экономическіе матеріалисты очень рѣзко относятся къ мечтаніямъ людей, воображающихъ, что эти условія могутъ быть созданы схоластическими разсужденіями на тему о роли личности въ исторіи, о томъ, что всякій честный соціологъ непременно субъективенъ и т. п. Ихъ осуждаютъ за рѣзкость ихъ отношенія къ этимъ людямъ. Но что же имъ дѣлать? У Добролюбова, Чернышевскаго и другихъ, подобныхъ имъ героевъ русской мысли научились они ѣдко смѣяться надъ маниловскими мечтаніями, и въ этомъ отношеніи привычка вкоренилась въ нихъ такъ сильно, что ихъ исправить только могла. Но мнѣ кажется, что это не очень дурная привычка. Жестоко ошибается или жестоко искажаетъ истину тотъ, кто говоритъ, что экономическіе матеріалисты равнодушны къ экономическимъ интересамъ народа. Нѣтъ, они вовсе не равнодушны къ нимъ. Но они глубоко убѣждены, что ничего хорошаго, ни въ какомъ отношеніи, не принесутъ народу тѣ приемы «борьбы» за народное благосостояніе, которые рекомендуютъ наши сторонники старыхъ «устоевъ». Въ *этомъ отношеніи* между экономическими матеріалистами и народниками бездонная пропасть. Никакое соглашеніе между ними невозможно. Но вы, м. г., не принадлежите, думается мнѣ, къ числу защитниковъ «устоевъ» quand même. И я надѣюсь, что съ людьми *вашего* направленія экономическіе матеріалисты могли бы сойтись во многомъ, хотя, конечно, и не во всемъ.

¹⁾ Объ этомъ см. Волгина: «Основаніе народничества въ трудахъ г. Воронцова (В. В.)».

Къ вопросу о роли личности въ исторіи.

I.

Во второй половинѣ семидесятыхъ годовъ покойный Каблицъ написалъ статью: «Умъ и чувство, какъ факторы прогресса», въ которой, осылаясь на Спенсера, доказывалъ, что въ наступательномъ движеніи человечества главная роль принадлежитъ чувству, а умъ играетъ второстепенную и къ тому же совершенно подчиненную роль. Каблицу возражалъ одинъ «почтенный соціологъ», выразившій насмѣшливое удивленіе по поводу теоріи, ставившей умъ «на запятки». «Почтенный соціологъ» былъ, разумѣется, правъ, защищая умъ. Однако, онъ былъ бы гораздо болѣе правъ, если бы, не касаясь сущности поднятаго Каблицемъ вопроса, показалъ, до какой степени невозможна и непозволительна была самая его постановка. Въ самомъ дѣлѣ, теорія «факторовъ» неосновательна уже и сама по себѣ, такъ какъ она произвольно выдѣляетъ различныя стороны общественной жизни и ипостазируетъ ихъ, превращая ихъ въ особаго рода силы, съ разныхъ сторонъ и съ неодинаковымъ успѣхомъ влекуція общественнаго человѣка по пути прогресса. Но еще болѣе неосновательна эта теорія въ томъ видѣ, какой она получила у Каблица, превращавшаго въ особаго соціологическія ипостаси уже не тѣ или другія стороны дѣятельности *общественнаго* *человѣка*, а различныя области *индивидуальнаго* *сознанія*. Это поистинѣ Геркулесовы столбы абстракціи; дальше идти некуда, потому что дальше начинается комическое царство вполне уже очевиднаго абсурда. Вотъ на это-то и слѣдовало «почтенному соціологу» обратить вниманіе Каблица и его читателей. Обнаруживъ, въ какія дебри абстракціи завело Каблица стремленіе найти господствующій «факторъ» въ исторіи, «почтенный соціологъ», можетъ быть, невзначай сдѣлалъ бы кое-что и для критики самой теоріи факторовъ. Это было бы очень полезно всѣмъ намъ въ то время. Но онъ оказался не на высотѣ призванія. Онъ самъ стоялъ на точкѣ зрѣнія той же теоріи, отличаясь отъ Каблица лишь склонностью къ *эклектизму*, благодаря которому всѣ «факторы» казались ему одинаково важными. Эклектическія свойства его ума особенно ярко выразились въ послѣдствіи

въ нападкахъ его на діалектическій матеріализмъ, въ которомъ онъ увидѣлъ ученіе, жертвующее экономическому «фактору» всѣми другими и сводящее къ нулю роль личности въ исторіи. «Почтенному соціологу» и въ голову не приходило, что діалектическій матеріализмъ чуждъ точки зрѣнія «факторовъ» и что только при полной неспособности къ логическому мышленію можно видѣть въ немъ оправданіе такъ называемаго *квіетизма*. Надо замѣтить, впрочемъ, что въ этомъ промахѣ «почтеннаго соціолога» нѣтъ ничего оригинальнаго: его дѣлали, дѣлаютъ и, вѣроятно, долго еще будутъ дѣлать многіе и многіе другіе...

Матеріалистовъ стали упрекать въ склонности къ «квіетизму» уже тогда, когда у нихъ еще не выработался діалектическій взглядъ на природу и на исторію. Не уходя въ «глубь временъ», мы напомнимъ споръ извѣстнаго англійскаго ученаго Пристлея съ Прайсомъ. Разбирая ученіе Пристлея, Прайсъ доказывалъ, между прочимъ, что матеріализмъ несогласимъ съ понятіемъ о свободѣ и устраняетъ всякую самодѣятельность личности. Въ отвѣтъ на это Пристлей сослался на житейскій опытъ. «Я не говорю о самомъ себѣ, хотя конечно, и меня нельзя назвать самымъ неподвижнымъ изъ всѣхъ животныхъ (*am not the most torpid and lifeless of all animals*); но я спрашиваю васъ: гдѣ вы найдете больше энергіи мысли, больше активности, больше силы и настойчивости въ преслѣдованіи самыхъ важныхъ цѣлей, чѣмъ между послѣдователями ученія о необходимости?» Пристлей имѣлъ въ виду религіозную демократическую секту такъ называвшихся тогда *christian necessarians* ¹⁾. Не знаемъ, точно ли она была такъ дѣятельна, какъ это думалъ принадлежавшій къ ней Пристлей. Но это и не важно. Не подлежитъ никакому сомнѣнію то обстоятельство, что матеріалистическій взглядъ на человѣческую волю прекрасно уживается съ самой энергичной дѣятельностью на практикѣ. Лансонъ замѣчаетъ, что «всѣ доктрины, обращавшіяся съ наибольшими требованіями къ человѣческой волѣ, утверждали въ принципѣ безсиліе воли; онѣ отрицали свободу и подчиняли міръ фатализму» ²⁾. Лансонъ неправъ, думая, что всякое отрицаніе такъ называемой свободы воли приводитъ къ фатализму; но это не помѣшало ему подмѣтить въ высшей степени интересный историческій фактъ: въ самомъ дѣлѣ, исторія показываетъ, что даже фатализмъ не только не всегда мѣшаетъ энергическому дѣйствію на практикѣ, но, напротивъ, въ извѣстныя эпохи былъ *психологически необходимой основой такого дѣйствія*. Въ доказательство сошлемся на пуританъ, превзошедшихъ своей энергіей всѣ другія партіи въ Англіи XVII вѣка,

¹⁾ Француза XVIII вѣка очень удивило бы такое сочетаніе матеріализма съ религіозной догматикой. Въ Англіи оно никому не казалось страннымъ. Пристлей самъ былъ очень религіознымъ человѣкомъ. Что городъ, то норовъ.

²⁾ См. русскій переводъ его «Исторіи французской литературы», т. 1, стр. 511.

и на послѣдователей Магомета, въ короткое время покорившихъ своей власти огромную полосу земля отъ Индіи до Испаніи. Очень ошибаются тѣ, по мнѣнію которыхъ стоитъ намъ только убѣдиться въ неизбѣжномъ наступленіи даннаго ряда событій, чтобы у насъ исчезла всякая психологическая возможность одѣйствовать или противодѣйствовать ему ¹⁾.

Тутъ все зависитъ отъ того, составляетъ ли моя собственная дѣятельность необходимое звено въ цѣпи необходимыхъ событій. Если да, то тѣмъ меньше у меня колебаній и тѣмъ рѣшительнѣе я дѣйствую. И въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго: когда мы говоримъ, что данная личность считаетъ свою дѣятельность необходимымъ звеномъ въ цѣпи необходимыхъ событій, это значитъ, между прочимъ, что отсутствіе свободы воли равносильно для нея совершенной *неспособности къ бездѣйствию*, и что оно, это отсутствіе свободы воли, отражается въ ея сознаніи въ видѣ *невозможности поступать иначе, чѣмъ она поступаетъ*. Это именно то психологическое настроеніе, которое можетъ быть выражено знаменитыми словами Лютера: «*Hier stehe ich, ich kann nicht anders*», и благодаря которому люди обнаруживаютъ самую неукротимую энергію, совершаютъ самые поразительные подвиги. Это настроеніе было неизвѣстно Гамлету; оттого онъ и былъ способенъ только мыслить да рефлексировать. И оттого Гамлетъ никогда не помирится бы съ философіей, по смыслу которой свобода есть лишь необходимость, перешедшая въ сознаніе. Фихте справедливо сказалъ: *каковъ человекъ, такова и его философія*.

II.

Нѣкоторые приняли у насъ въ серьезъ замѣчаніе Штамплера насчетъ будто бы неразрѣшимаго противорѣчія, якобы свойственнаго одному изъ западно-европейскихъ соціально-политическихъ ученій. Мы имѣемъ въ виду извѣстный примѣръ луннаго затменія. На самомъ дѣлѣ это архи-нелѣпный примѣръ. Въ число тѣхъ условій, сочетаніе которыхъ необходимо для луннаго затменія, человѣческая дѣятельность никакимъ образомъ не входитъ и входитъ не можетъ, и уже по одному этому партія для со-

¹⁾ Извѣстно, что, по ученію Кальвина, всѣ поступки людей предопредѣлены Богомъ. *Praedestinationem vocamur aeternum. Dei decretum, quo apud se constitutum habuit, quid de unoquoque homine fieri valet (Institutio, lib. III, cap. 5)*. По этому же ученію, Богъ набираетъ нѣкоторыхъ изъ своихъ служителей для освобожденія несправедливо угнетенныхъ народовъ. Таковъ былъ Моисей, освободитель израильскаго народа. По всему видно, что такимъ же орудіемъ Бога считалъ себя и Кромвель; онъ всегда и, вѣроятно, въ силу совершенно искренняго убѣжденія называлъ свои дѣйствія плодомъ воли Божіей. Всѣ эти дѣйствія были *напередъ окрашены для него въ цвѣтъ необходимости*. Это не только не мѣшало ему стремиться отъ побѣды къ побѣдѣ, но придавало этому его стремленію неукротимую силу.

дѣйствія лунному затменію могла бы возникнуть только въ сумасшедшемъ домѣ. Но если бы человѣческая дѣятельность и входила въ число названныхъ условий, то въ партію луннаго затменія не вошелъ бы никто изъ тѣхъ, которые, очень желая его видѣть, въ то же время были бы убѣждены, что оно непременно совершится и *безъ ихъ содѣйствія*. Въ этомъ случаѣ ихъ «квіетизмъ» былъ бы только воздержаніемъ отъ *излишняго, т. е. бесполезнаго дѣйствія* и не имѣлъ бы ничего общаго съ настоящимъ квіетизмомъ. Чтобы примѣръ луннаго затменія пересталъ быть бессмысленнымъ въ разсматриваемомъ нами случаѣ указанной выше партіи, надо было бы совершенно измѣнить его. Надо было бы вообразить, что луна одарена сознаниемъ, и что то положеніе ея въ небесномъ пространствѣ, благодаря которому происходятъ ея затменія, кажется ей плодомъ самоопредѣленія ея воли и не только доставляетъ ей огромное наслажденіе, но и безусловно нужно для ея нравственнаго спокойствія, вождѣтвіе чего она всегда страстно стремится занять это положеніе ¹⁾. Вообразивъ все это, надо было бы спросить себя: что почувствовала бы луна, если бы она, наконецъ, открыла, что въ дѣйствительности не воля и не «идеалы» ея опредѣляютъ собою ея движеніе въ небесномъ пространствѣ, а наоборотъ—ея движеніе опредѣляетъ собою ея волю и ея «идеалы». По Штаммлеру выходитъ, что такое открытіе непременно сдѣлало бы ее неспособной къ движенію, если бы она не выпуталась изъ бѣды посредствомъ какого-нибудь логическаго противорѣчія. Но такое предположеніе рѣшительно ни на чемъ не основано. Это открытіе могло бы явиться однимъ изъ *формальныхъ* основаній дурнаго настроенія луны, ея нравственнаго разлада съ самой собою, противорѣчія ея «идеаловъ» съ механической дѣйствительностью. Но такъ какъ мы предполагаемъ, что *все вообще* «психическое состояніе луны» обуславливается въ концѣ концовъ ея движеніемъ, то въ движеніи надо было бы искать и причины ея душевнаго разлада. При внимательномъ отношеніи къ дѣлу оказалось бы можетъ быть, что когда луна находится въ апогеѣ, она горюетъ о томъ, что ея воля несвободна, а въ перигеѣ это же обстоятельство является для нея новымъ формальнымъ источникомъ нравственнаго блаженства и нравственной бодрости. Можетъ быть вышло бы и наоборотъ: можетъ быть оказалось бы, что не въ перигеѣ, а въ апогеѣ находитъ она средство примирить свободу съ необходимостью. Но какъ бы то ни было, несомнѣнно, что такое примиреніе вполне возможно; что сознание необходимости прекрасно уживается съ самымъ энергическимъ дѣйствіемъ на практикѣ. По крайней мѣрѣ, такъ было до сихъ поръ

1) C'est comme si l'aiguille aimantée prenait plaisir de se tourner vers le nord car elle croirait tourner indépendamment de quelque autre cause, ne s'apercevant pas des mouvements insensibles de la matière magnétique. *Leibnitz*, Théodicée. Lausanne, MDCCLX, p. 598.

въ исторіи. Люди, отрицавшіе свободу воли, часто превосходили всѣхъ своихъ современниковъ силою собственной воли и предъявляли къ ней наибольшія требованія. Такихъ примѣровъ много. Они общезвѣстны. Забыть о нихъ, какъ забываетъ, повидимому, Штаммлеръ, можно только при умышленномъ нежеланіи видѣть историческую дѣйствительность такую, какова она есть. Подобное нежеланіе очень сильно, напримѣръ, у нашихъ субъективистовъ и нѣкоторыхъ вѣмецкихъ филистеровъ. Но филистеры и субъективисты не люди, а простые *призраки*, какъ сказалъ бы Бѣлинскій.

Разсмотримъ, однако, поближе тотъ случай, когда собственныя—прошедшія, настоящія или будущія—дѣйствія челоуѣка представляются ему сплошь окрашенными въ цвѣтъ необходимости. Мы уже знаемъ, что въ этомъ случаѣ челоуѣкъ,—считая себя посланникомъ Божіимъ, подобно Магомету, избранникомъ ничѣмъ неотвратимой судьбы, подобно Наполеону, или выразителемъ никѣмъ непреодолимой силы историческаго движенія, подобно нѣкоторымъ общественнымъ дѣателямъ XIX вѣка,—обнаруживаетъ почти стихійную силу воли, разрушая, какъ карточные домики, всѣ препятствія, воздвигаемыя на его пути Гамлетами и Гамлетиками разныхъ уѣздовъ¹⁾. Но насъ этотъ случай интересуеъ теперь съ другой стороны, и именно вотъ съ какой стороны. Когда сознаніе несвободы моей воли представляется мнѣ лишь въ видѣ полной субъективной и объективной невозможности поступать иначе, чѣмъ я поступаю, и когда данныя мои дѣйствія являются въ то же время наиболѣе для меня желательными изъ всѣхъ возможныхъ дѣйствій, тогда необходимость отождествляется въ моемъ сознаніи со свободой, а свобода съ необходимостью, и тогда я не свободенъ только въ томъ смыслѣ, *что не могу нарушить это тождество свободы съ необходимостью; не могу противопоставить ихъ одну другой; не могу почувствовать себя стѣсненнымъ необходимостью. Но подобное отсутствіе свободы есть вмѣстѣ съ тѣмъ ея полнѣйшее проявленіе.*

Зиммель говоритъ, что свобода есть всегда свобода отъ чего-нибудь, и что тамъ, гдѣ свобода не мыслится какъ противоположность связан-

¹⁾ Приведемъ еще одинъ примѣръ, наглядно показывающій, какъ сильно чувствуютъ люди этой категоріи. Герцогиня Ферарская Ренэ (домъ Людовика XII) говоритъ въ письмѣ къ своему учителю Кальвину: «Нѣтъ, я не забыла того, что вы мнѣ писали: что Давидъ питалъ смертельную ненависть къ врагамъ Божіимъ; и я сама никогда не стану поступать иначе; ибо если бы я знала, что король, мой отецъ, и королева, моя мать, и покойный господинъ мой мужъ (le monsieur mon mari) и всѣ мои дѣти были отвержены Богомъ, я возненавидѣла бы ихъ смертельною ненавистью и хотѣла бы, чтобы они попали въ адъ», и т. д. Какую страшную всеокрушающую энергію способны были обнаруживать люди, питавшіе такіа чувства! А вѣдь эти люди отрицали свободу воли.

ности, она не имѣетъ смысла. Это, конечно, такъ. Но на основаніи этой маленькой азбучной истины нельзя опровергнуть то положеніе, составляющее одно изъ гениальнѣйшихъ открытій, когда-либо сдѣланныхъ философской мыслью, что свобода есть сознанныя необходимость. Опредѣленіе Зиммеля слишкомъ узко: относится оно только къ свободѣ отъ вѣшняго стѣсненія. Пока рѣчь идетъ лишь о такихъ стѣсненіяхъ, отождествленіе свободы съ необходимостью было бы до послѣдней степени комично: воръ не свободенъ вытащить у васъ изъ кармана носовой платокъ, если вы мѣшаете ему сдѣлать это и пока онъ не преодолѣлъ такъ или иначе вашего сопротивленія. Но кромѣ этого элементарнаго и поверхностнаго понятія о свободѣ есть другое, несравненно болѣе глубокое. Это понятіе совсѣмъ не существуетъ для людей, неспособныхъ къ философскому мышленію, а люди, способные къ такому мышленію, доходятъ до него только тогда, когда имъ удастся раздѣлаться съ дуализмомъ и понять, что между субъектомъ, съ одной стороны, и объектомъ, съ другой, вовсе не существуетъ той пропасти, какую предполагають дуалисты.

Русскій субъективистъ противопоставляетъ свои утопическіе идеалы нашей капиталистической дѣйствительности и не идетъ дальше такого противопоставленія. Субъективисты завязли въ болотѣ *дуализма*. Идеалы такъ называемыхъ русскихъ «учениковъ» несравненно менѣе похожи на капиталистическую дѣйствительность, чѣмъ идеалы субъективистовъ. Но, несмотря на это, «ученики» сумѣли найти мостъ, соединяющій идеалы съ дѣйствительностью. «Ученики» возвысились до *монизма*. По ихъ мнѣнію, капитализмъ ходомъ своего собственнаго развитія приведетъ къ своему собственному отрицанію и къ осуществленію ихъ—русскихъ, да и не однихъ только русскихъ, «учениковъ»—идеаловъ. Это историческая *необходимость*. «Ученикъ» *служитъ однимъ изъ орудій этой необходимости и не можетъ не служить имъ* какъ по своему общественному положенію, такъ и по своему умственному и нравственному характеру, созданному этимъ положеніемъ. Это тоже *сторона необходимости*. Но разъ его общественное положеніе выработало у него именно этотъ, а не другой характеръ, онъ не только служитъ орудіемъ необходимости и не только не можетъ не служить, но и *страстно хочетъ и не можетъ не хотѣть* служить. Это—*сторона—свободы* и притомъ свободы, выросшей изъ необходимости, т. е., вѣрнѣе сказать,—это свобода, отождествившаяся съ необходимостью, — это необходимость, преобразившаяся въ свободу ¹⁾. Такая свобода есть тоже свобода отъ нѣкотораго стѣсненія; она тоже противоположна нѣкоторой связанности: глубокія опредѣленія не опровергаютъ поверхностныхъ, а, дополняя ихъ, сохраняютъ ихъ въ себѣ

¹⁾ Die Nothwendigkeit wird nicht dadurch zur Freiheit, dass sie verschwindet, sondern dass nur ihre noch innere Identität manifestirt wird. Hegel, Wissenschaft der Logik. Nürnberg 1816. Zweites Buch, S. 281.

Но о какомъ же стѣсненіи, о какой связанности можетъ идти рѣчь въ этомъ случаѣ? Это ясно: о томъ нравственномъ стѣсненіи, которое тормозитъ энергію людей, не раздѣланныхъ съ дуализмомъ; о той связанности, отъ которой страдаютъ люди, не умѣющіе перекинуть мостъ черезъ пропасть, раздѣляющую идеалы отъ дѣйствительности. Пока личность не завоевала *этой* свободы мужественнымъ усиленіемъ философской мысли, она еще не вполне принадлежитъ самой себѣ и своими собственными нравственными муками платитъ позорную дань противостоящей ей вѣшной необходимости. Но зато та же личность родится для новой, полной, ей до тѣхъ поръ невѣдомой жизни, едва только она свергнетъ съ себя иго этого мучительнаго и постыднаго стѣсненія, и ея *свободная* дѣятельность явится *сознательнымъ и свободнымъ* выраженіемъ *необходимости* ¹⁾. Тогда она становится великой общественной силой, и тогда уже ничто не можетъ помѣшать ей и ничто не помѣшается

Надъ неправдою лукавою
Грянуть Божьею грозою...

III.

Еще разъ: сознаніе безусловной необходимости даннаго явленія можетъ только усилить энергію человѣка, сочувствующаго ему и считающаго себя одной изъ силъ, вызывающихъ это явленіе. Если бы такой человѣкъ сложилъ руки, сознавъ его необходимость, онъ показалъ бы этимъ, что плохо знаетъ арифметику. Въ самомъ дѣлѣ, положимъ, что явленіе А необходимо должно наступить, если окажется на-лицо данная сумма условій S. Вы доказали мнѣ, что эта сумма частью уже есть въ наличности, а частью будетъ въ данное время T. Убѣдившись въ этомъ, я,—человѣкъ, сочувствующій явленію А,—восклицаю: «какъ это хорошо!»—и заваливаюсь спать вплоть до радостнаго дня предсказаннаго вами событія. Что же выйдетъ изъ этого? Вотъ что. Въ вашемъ расчетѣ, въ сумму S, необходимую для того, чтобы совершилось явленіе А, входила *также и моя дѣятельность*, равная, положимъ, *a*. Такъ какъ я погрузился въ спячку, то въ моментъ T сумма условій, благоприятныхъ наступленію даннаго явленія, будетъ уже не S, но $S - a$, что измѣняетъ состояніе дѣла. Можетъ быть, мое мѣсто займетъ другой человѣкъ, который тоже былъ близокъ къ бездѣйствію, но на котораго спасительно повлиялъ примѣръ моей апатіи, показавшейся ему крайне возмутительной. Въ такомъ случаѣ сила *a* будетъ замѣщена силой *b*, и если *a* равно *b* ($a = b$), то сумма условій, способствующихъ наступленію А, останется равной S, и явленіе А все-таки совершится въ тотъ же самый моментъ T.

¹⁾ Тотъ же старый Гегель прекрасно говоритъ въ другомъ мѣстѣ: «Die Freiheit ist diess, Nichts zu wollen als sich». Werke, B. 12, S. 98. (Philosophie der Religion).

Но если мою силу нельзя признать равной нулю, если я ловкий и способный работник и если меня никто не замѣнилъ, то у насъ уже не будетъ полной суммы S , и явленіе A совершится позже, чѣмъ мы предполагаемъ, или не въ той полнотѣ, какой мы ожидали, или даже совсѣмъ не совершится. Это ясно, какъ день, и если я не понимаю этого, если я думаю, что S остается S и послѣ моей измѣны, то единственно потому, что не умѣю считать. Да и одинъ ли я не умѣю считать? Вы, предсказывавшій мнѣ, что сумма S непремѣнно будетъ на-лицо въ моментъ T , не предвидѣли, что я лягу спать сейчасъ же послѣ моей бесѣды съ вами; вы были увѣрены, что я до конца останусь хорошимъ работникомъ; вы приняли менѣе надежную силу за болѣе надежную. Слѣдовательно, вы тоже плохо сосчитали. Но предположимъ, что вы ни въ чемъ не ошиблись, что вы все приняли въ соображеніе. Тогда вашъ расчетъ приметъ такой видъ: вы говорите, что въ моментъ T сумма S будетъ на-лицо. Въ эту сумму условій войдетъ, какъ *отрицательная величина*, моя измѣна; сюда же войдетъ, какъ *величина положительная*, и то ободряющее дѣйствіе, которое производитъ на людей, сильныхъ духомъ, увѣренность въ томъ, что ихъ стремленія и идеалы являются субъективнымъ выраженіемъ объективной необходимости. Въ такомъ случаѣ сумма S дѣйствительно окажется на-лицо въ означенное вами время, и явленіе A совершится. Кажется, что это ясно. Но если ясно, то почему же, собственно, меня смутила мысль о неизбежности явленія A ? Почему мнѣ показалось, что она осуждаетъ меня на бездѣйствіе? Почему, разсуждая о ней, я позабылъ самыя простыя правила ариеметики? Вѣроятно, потому, что по обстоятельствамъ моего воспитанія у меня уже было сильнѣйшее стремленіе къ бездѣйствію, и мой разговоръ съ вами явился каплей, переполнившей чашу этого похвальнаго стремленія. Вотъ только и всего. *Только въ этомъ смыслъ,—въ смыслъ повода для обнаруженія моей нравственной дряблости и негодности,—фигурировало здѣсь сознаніе необходимости. Причиной же этой дряблости его считать никакъ невозможно: причина не въ немъ, а въ условіяхъ моего воспитанія. Стало быть... стало быть,—ариметика есть чрезвычайно почтенная и полезная наука, правилъ которой не должны забывать даже господа философы, и даже особенно господа философы.*

А какъ подѣйствуетъ сознаніе необходимости даннаго явленія на сильнаго человѣка, который ему *не сочувствуетъ и противодействуетъ* его наступленію? Тутъ дѣло нѣсколько измѣняется. Очень возможно, что оно *ослабитъ* энергію его сопротивленія. Но когда противники даннаго явленія убѣждаются въ неизбежности? Когда благоприятствующія ему обстоятельства становятся очень многочисленны и очень сильны. Сознаніе его противниками неизбежности его наступленія и упадокъ ихъ

энергія представляют собою лишь проявленія силы благопріятствующих ему условій. Такія проявленія въ свою очередь входятъ въ число этихъ благопріятныхъ условій.

Но энергія сопротивленія уменьшится не у всѣхъ его противниковъ. У нѣкоторыхъ она только возрастетъ, вслѣдствіе сознанія его неизбѣжности превратившись въ энергію *отчаянія*. Исторія вообще и исторія Россіи въ частности представляетъ немало поучительныхъ примѣровъ энергіи этого рода. Мы надѣемся, что читатель припомнитъ ихъ безъ нашей помощи.

Тутъ насъ прерываетъ г. Карѣвъ, который хотя, разумѣется, и не раздѣляетъ нашихъ взглядовъ на свободу и необходимость и къ тому же не одобряетъ нашего пристрастія къ «крайностямъ» сильныхъ людей, но все-таки съ удовольствіемъ встрѣчаетъ на страницахъ нашего журнала ту мысль, что личность можетъ явиться великой общественной силой. Почтенный профессоръ радостно восклицаетъ: «Я всегда говорилъ это!» И это вѣрно. Г. Карѣвъ и всѣ субъективисты всегда отводили личности весьма значительную роль въ исторіи. И было время, когда это вызвало большое сочувствіе къ нимъ передовой молодежи, стремившейся къ благородному труду на общую пользу и потому естественно склонной высоко цѣнить значеніе личной инициативы. Но въ сущности субъективисты никогда не умѣли не только рѣшить, но даже и правильно поставить вопросъ о роли личности въ исторіи. Они противопоставляли «дѣятельность критически мыслящихъ личностей» влиянію *законовъ* общественно-историческаго движенія и, такимъ образомъ, создавали какъ бы новую разновидность теоріи факторовъ; критически мыслящія личности являлись *однимъ факторомъ* названнаго движенія, а *другимъ* его факторомъ служили его же собственные законы. Въ результатѣ получалась сугубая несообразность, которою можно было довольствоваться только до тѣхъ поръ, пока вниманіе дѣятельныхъ «личностей» сосредоточивалось на практическихъ злобахъ дня и пока имъ повѣтому некогда было заниматься философскими вопросами. Но съ тѣхъ поръ какъ наступившее въ восьмидесятыхъ годахъ затихше дало невольный досугъ для философскихъ размышленій тѣмъ, которые способны были мыслить, ученіе субъективистовъ стало трещать по всѣмъ швамъ и даже совсѣмъ распалось, подобно знаменитой шинели Акакія Акакіевича. Никакія заплаты ничего не поправляли, и мыслящіе люди одинъ за другимъ стали отказываться отъ субъективизма, какъ отъ ученія явно и совершенно несостоятельнаго. Но, какъ это всегда бываетъ въ такихъ случаяхъ, реакція противъ него привела нѣкоторыхъ изъ его противниковъ къ противоположной крайности. Если нѣкоторые субъективисты, стремясь отвести «личности» какъ можно болѣе широкую роль въ исторіи, отказывались признать историческое движеніе человѣчества законосообразнымъ процессомъ, то нѣ-

которые изъ ихъ новѣйшихъ противниковъ, стремясь какъ можно лучше отбѣнить законосообразный характеръ этого движенія, повидимому, готовы были забыть, что *исторія дѣлается людьми* и что *поэтому дѣятельность личностей не можетъ не имѣть въ ней значенія*. Они признали личность за *quantité négligeable*. Теоретически такая крайность столь же не позволительна, какъ и та, къ которой пришли наиболѣе рьяные субъективисты. Жертвовать *тезой антитезъ* такъ же неосновательно, какъ и забывать объ *антитезъ* ради *тезы*. Правильная точка зрѣнія будетъ найдена только тогда, когда мы сумѣемъ объединить въ *синтезъ* заключающіеся въ нихъ моменты истины ¹⁾.

IV.

Насъ давно интересуесть эта задача, и давно уже намъ хотѣлось пригласить читателя взяться за нее вмѣстѣ съ нами. Но насъ удерживали нѣкоторыя опасенія: мы думали, что можетъ быть наши читатели уже рѣшили ее для себя, и наше предложеніе явится запоздалымъ. Теперь у насъ уже нѣтъ такихъ опасеній. Насъ избавили отъ нихъ нѣмецкіе историки. Мы говоримъ это серьезно. Дѣло въ томъ, что въ теченіе послѣдняго времени между нѣмецкими историками шелъ довольно горячій споръ о великихъ людяхъ въ исторіи. Они склонны были видѣть въ политической дѣятельности такихъ людей главную и чуть ли не единственную пружину историческаго развитія; а другіе утверждали, что такой взглядъ одностороненъ, и что историческая наука должна имѣть въ виду не только дѣятельность великихъ людей и не только политическую исторію, а вообще всю совокупность исторической жизни (*das Ganze des geschichtlichen Lebens*). Однимъ изъ представителей этого послѣдняго направленія выступилъ Карлъ Лампрехтъ, авторъ «Исторіи нѣмецкаго народа», переведенной на русскій языкъ г. П. Николаевымъ. Противники обвиняли Лампрехта въ «коллективизмъ» и въ матеріализмъ, его—*horribile dictu!*—даже ставили на одну доску съ «соціалъ-демократическими атеистами», какъ выразился онъ въ заключеніе спора. Когда мы ознакомились съ его взглядами, мы увидѣли, что обвиненія, выдвинутыя противъ бѣднаго ученаго, были совершенно неосновательны. Въ то же время мы убѣдились, что нынѣшніе нѣмецкіе историки не въ состояніи рѣшить вопроса о роли личности въ исторіи. Тогда мы сочли себя вправѣ предположить, что онъ до сихъ поръ остается нерѣшеннымъ и для нѣкоторыхъ русскихъ читателей, и что по поводу его и теперь еще можно сказать нѣчто, не совсѣмъ лишенное теоретическаго и практическаго интереса.

¹⁾ Въ стремленія къ синтезу насъ опередилъ тотъ же г. Карѣевъ. Но, къ сожалѣнію, онъ не пошелъ дальше сознанія той истины, что человекъ состоитъ изъ души и тѣла.

Лампрехтъ собралъ цѣлую коллекцію (eine artige Sammlung, какъ выражается онъ) взглядовъ выдающихся государственныхъ людей въ отношеніи ихъ собственной дѣятельности къ той исторической средѣ, въ которой она совершилась; но въ своей полемикѣ онъ ограничился пока ссылкой на нѣкоторыя рѣчи и мнѣнія *Бисмарка*. Онъ приводитъ слѣдующія слова, произнесенныя желѣзнымъ канцлеромъ въ сѣверно-германскомъ рейхстагѣ 16 апрѣля 1869 года: «Мы не можемъ, господа, ни игнорировать исторію прошлаго, ни творить будущее. Мы хотѣлось бы предохранить васъ отъ того заблужденія, благодаря которому люди переводятъ впередъ свои часы, воображая, что этимъ они ускоряютъ теченіе времени. Обыкновенно очень преувеличиваютъ мое вліяніе на тѣ событія, на которыя я опирался, но все-таки никому не придетъ къ голову требовать отъ меня, чтобы я *дѣлалъ* исторію. Это было бы невозможно для меня даже въ соединеніи съ вами, хотя, соединившись вмѣстѣ, мы могли бы сопротивляться цѣлому міру. Но мы не можемъ дѣлать исторію; мы должны ожидать, пока она сдѣлается. Мы не ускоримъ созрѣванія плодовъ тѣмъ, что поставимъ подъ нихъ лампу; а если мы будемъ срывать ихъ незрѣлыми, то только помѣшаемъ ихъ росту и испортимъ ихъ». Основываясь на свидѣтельствѣ Жоли, Лампрехтъ приводитъ также мнѣнія, не разъ высказанныя Бисмаркомъ во время франко-прусской войны. Ихъ общій смыслъ опять тотъ, «что мы не можемъ дѣлать великія историческія событія, а должны сообразовываться съ естественнымъ ходомъ вещей и ограничиваться обезпеченіемъ себѣ того, что уже созрѣло». Лампрехтъ видитъ въ этомъ глубокую и полную истину. По его мнѣнію, современный историкъ не можетъ думать иначе, если только умѣетъ заглянуть въ глубь событій и не ограничивать своего поля зрѣнія слишкомъ короткимъ промежуткомъ времени. Могъ ли бы Бисмаркъ вернуть Германію къ натуральному хозяйству? Это было бы невозможно для него даже въ то время, когда онъ находился на вершинѣ своего могущества. Общія историческія условія сильнѣе самыхъ сильныхъ личностей. Общій характеръ его эпохи является для великаго человѣка *«эмпирически данной необходимостью»*.

Такъ разсуждаетъ Лампрехтъ, называя свой взглядъ *универсальнымъ*. Нетрудно замѣтить слабую сторону «универсальнаго» взгляда. Приведенныя мнѣнія Бисмарка очень интересны, какъ психологическій документъ. Можно не сочувствовать дѣятельности бывшаго германскаго канцлера, но нельзя сказать, что она была ничтожна, что Бисмаркъ отличался «квіетизмомъ». Вѣдь это о немъ говорилъ Лассаль: «Слуги реакціи не краснѣютъ, но дай Богъ, чтобы у прогресса было побольше такихъ слугъ». И вотъ этотъ-то человѣкъ, проявившій подчасъ по-истинѣ желѣзную энергію, считалъ себя совершенно безсильнымъ передъ естественнымъ ходомъ вещей, очевидно, смотря на себя, какъ на простое орудіе исто-

рическаго развитія: это еще разъ показываетъ, что можно видѣть явленія въ свѣтѣ необходимости и въ то же время быть очень энергичнымъ дѣятелемъ. Но только въ этомъ отношеніи и интересны мнѣнія Бисмарка; отвѣтомъ же на вопросъ о роли личности въ исторіи ихъ считать невозможно. По словамъ Бисмарка, событія дѣлаются сама собою, а мы можемъ только обезпечивать себѣ то, что готовится ими. Но каждый актъ «обезпеченія» тоже представляетъ собою историческое событіе: чѣмъ же отличаются такіа событія отъ тѣхъ, которыя дѣлаются сами собою? Въ дѣйствительности почти каждое историческое событіе является одновременно и «обезпеченіемъ» кому-нибудь уже созрѣвшихъ плодовъ предшествовавшаго развитія и однимъ изъ звеньевъ той цѣпи событій, которая готовится плоды будущаго. Какъ же можно противопоставлять акты «обезпеченія» естественному ходу вещей? Бисмарку хотѣлось, какъ видно, сказать, что дѣйствующія въ исторіи личности и группы личностей никогда не были и никогда не будутъ всемогущи. Это, разумѣется, не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. Но намъ все-таки хотѣлось бы знать, отчего зависитъ ихъ,—конечно, далеко не всемогущая,—сила; при какихъ обстоятельствахъ она растетъ и при какихъ—уменьшается. На эти вопросы не отвѣчаетъ ни Бисмаркъ, ни цитирующій его слова ученый защитникъ «универсальнаго» взгляда на исторію.

Правда, у Лампрехта встрѣчаются и болѣе вразумительныя цитаты ¹⁾. Онъ приводитъ, напримѣръ, слѣдующія слова Моно, одного изъ самыхъ видныхъ представителей современной исторической науки во Франціи: «Историки слишкомъ привыкли обращать исключительное вниманіе на блестящія, громкія и эфемерныя проявленія человѣческой дѣятельности, на великія событія и на великихъ людей, вмѣсто того, чтобы изображать великія и медленныя движенія экономическихъ условій и социальныхъ учрежденій, составляющихъ дѣйствительно интересную и непреходящую часть человѣческаго развитія,—ту часть которая, въ извѣстной мѣрѣ можетъ быть сведена къ законамъ и подвергнута до извѣстной степени точному анализу. Дѣйствительно, важныя событія и личности важны именно какъ знаки и символы различныхъ моментовъ указаннаго развитія. Большинство же событій, называемыхъ историческими, такъ относится къ настоящей исторіи, какъ относится къ глубокому и постоянному движенію приливовъ и отливовъ волны, которыя позникаютъ на морской поверхности, на минуту блещутъ яркимъ огнемъ свѣта, а потомъ разбиваются о песчаный берегъ, ничего не оставляя послѣ себя». Лампрехтъ заявляетъ, что онъ готовъ подписаться подъ каждымъ изъ

¹⁾ Не касаясь другихъ философско-историческихъ статей Лампрехта, мы имѣли и будемъ здѣсь имѣть въ виду его статью „Der Ausgang des Geschichtswissenschaftlichen Kampfes“, Die Zukunft 1897, № 41.

этихъ словъ Моно. Извѣстно, что нѣмецкіе ученые не любятъ соглашаться съ французскими, а французскіе съ нѣмецкими. Поэтому бельгійскій историкъ Пирэннъ съ особеннымъ удовольствіемъ подчеркнул въ «Revue historique» это совпаденіе историческихъ взглядовъ Моно со взглядами Лампрехта. «Это согласіе весьма многозначительно,—замѣтилъ онъ.—Оно доказываетъ, повидимому, что будущее принадлежитъ новымъ историческимъ взглядамъ».

V.

Мы не раздѣляемъ пріятныхъ надеждъ Пирэнна. Будущее не можетъ принадлежать взглядамъ неяснымъ и неопредѣленнымъ, а именно таковы взгляды Моно и, особенно, Лампрехта. Нельзя, конечно, не привѣтствовать то направленіе, которое объявляетъ важнѣйшей задачей исторической науки изученіе общественныхъ учрежденій и экономическихъ условій. Эта наука подвинется далеко впередъ, когда въ ней окончательно укрѣпится такое направленіе. Но, во-первыхъ, Пирэннъ ошибается, считая это направленіе новымъ. Оно возникло въ исторической наукѣ уже въ двадцатыхъ годахъ XIX столѣтія: Гизо, Минье, Огюстенъ Тьерри, а впоследствии Токвилль и другіе были блестящими и послѣдовательными его представителями. Взгляды Моно и Лампрехта являются лишь слабой копіей со стараго, но очень замѣчательнаго оригинала. Во-вторыхъ, какъ ни глубоки были для своего времени взгляды Гизо, Минье и другихъ французскихъ историковъ, въ нихъ многое осталось невыясненнымъ. Въ нихъ нѣтъ точнаго и полнаго отвѣта на вопросъ о роли личности въ исторіи. А историческая наука, дѣйствительно, должна рѣшить его, если ея представителямъ суждено избавиться отъ односторонняго взгляда на свой предметъ. Будущее принадлежитъ той школѣ, которая дастъ наилучшее рѣшеніе, между прочимъ, и этого вопроса.

Взгляды Гизо, Минье и другихъ историковъ этого направленія явились какъ реакція историческимъ взглядамъ восемнадцатаго вѣка и оставляютъ ихъ *антитезу*. Въ восемнадцатомъ вѣкѣ люди, занимавшіеся философій исторіи, все сводили къ *сознательной дѣятельности личностей*. Были, правда, и тогда исключенія изъ общаго правила: такъ, философски-историческое поле зрѣнія Вико, Монтескье и Гердера было гораздо шире. Но мы не говоримъ объ исключеніяхъ; огромное же большинство мыслителей восемнадцатаго вѣка смотрѣло на исторію именно такъ, какъ мы сказали. Въ этомъ отношеніи очень любопытно перечитывать въ настоящее время историческія сочиненія, напримѣръ, Мабли. У Мабли выходитъ, что Миньось цѣликомъ создалъ соціально-политическую жизнь и нравы критянъ,

а Ликургъ оказалъ подобную же услугу Спартѣ. Если спартанцы «презирали» матеріальное богатство, то этимъ они обязаны были именно Ликургу, который «спустился, такъ сказать, на дно сердца своихъ согражданъ и подавилъ тамъ зародыши любви къ богатствамъ» (descendit pour ainsi dire jusque dans le fond du coeur des citoyens etc. ¹⁾). А если спартанцы покинули вполнѣдствіи путь, указанный имъ мудрымъ Ликургомъ, то въ этомъ виноватъ былъ Лизандръ, увѣрившій ихъ въ томъ, что «новыя времена и новыя обстоятельства требуютъ отъ нихъ новыхъ правилъ и новой политики» ²⁾. Исслѣдованія, написанныя съ точки зрѣнія такого взгляда, имѣли очень мало общаго съ наукой и писались, какъ проповѣди, только ради вытекающихъ изъ нихъ нравственныхъ «уроковъ». Противъ такихъ-то взглядовъ и возстали французскіе историки временъ реставраціи. Послѣ потрясающихъ событій конца XVIII вѣка уже рѣшительно невозможно было думать, что исторія есть дѣло болѣе или менѣе выдающихся и болѣе или менѣе благородныхъ и просвѣщенныхъ личностей, по своему произволу внушающихъ непросвѣщенной, но послушной массѣ тѣ или другія чувства и понятія. Къ тому же такая философія исторіи возмущала плебейскую гордость теоретиковъ буржуазіи. Тутъ сказались тѣ самыя чувства, которыя еще въ XVIII вѣкѣ обнаружались при возникновеніи буржуазной драмы. Тьерри употреблялъ въ борьбѣ со старыми историческими взглядами, между прочимъ, тѣ самыя доводы, которые выдвинуты были Бомарше и другими противъ этой старой эстетики ³⁾. Наконецъ, бури, еще такъ недавно пережитыя Франціею, очень ясно показали, что ходъ историческихъ событій опредѣляется далеко не одними только сознательными поступками людей; уже одно это обстоятельство должно было наводить на мысль о томъ, что эти событія совершаются подъ вліяніемъ какой-то скрытой необходимости, дѣйствующей, подобно стихійнымъ силамъ природы, слѣпо, но сообразно извѣстнымъ непреложнымъ законамъ. Чрезвычайно замѣчательнъ,—хотя до сихъ поръ, насколько мы знаемъ, никѣмъ еще не указанъ,—тотъ фактъ, что новыя взгляды на исторію, какъ на законосообразный процессъ, были наиболѣе послѣдовательно проведены французскими историками реставраціонной эпохи, именно въ сочиненіяхъ, посвященныхъ французской революціи. Таковы были, между прочимъ, сочиненія Минье. Штабобригъ называлъ новую историческую школу *фаталистическою*. Формулируя задачи, которыя она ставила передъ изслѣдователемъ, онъ говорилъ: «Эта система требуетъ, чтобы историкъ по-

¹⁾ См. Oeuvres complètes de l'abbé de Mably. Londres, 1783, tome quatrième, p. 3, 14—22, 34 et 192.

²⁾ Ibid., p. 101.

³⁾ Сравни первое изъ писемъ объ «Исторіи Франціи» съ «Essai sur le genre dramatique sérieux» въ первомъ томѣ Oeuvres complètes Бомарше.

вѣствоваль безъ негодованія о самыхъ свирѣпныхъ звѣрствахъ, говорили безъ любви о самыхъ высокихъ добродѣтеляхъ и своимъ ледянымъ взоромъ видѣль въ общественной жизни лишь проявленіе неотразимыхъ законовъ, въ силу которыхъ всякое явленіе совершается именно такъ, какъ оно неизбѣжно должно было совершиться ¹⁾. Это, конечно, невѣрно, Новая школа вовсе не требовала безстрастія отъ историка: Огюстенъ Тьерри даже прямо заявилъ, что политическія страсти, изощряя умъ изслѣдователя, могутъ послужить могущественнымъ средствомъ открытія истины ²⁾. И достаточно хотъ немного ознакомиться съ историческими сочиненіями Гизо, Тьерри или Минье, чтобы увидѣть, что они очень горячо почувствовали буржуазію какъ въ ея борьбѣ со свѣтской и духовной аристократіей, такъ и въ ея стремленіи подавить требованія нарождавшагося пролетариата. Но неоспоримо вотъ что. Новая историческая школа возникла въ двадцатыхъ годахъ XIX вѣка, т. е. въ такое время, когда аристократія была уже побѣждена буржуазіей, хотя и пыталась еще возстановить кое-что изъ своихъ старыхъ привилегій. Гордое сознаніе побѣды ихъ класса сказывалось во всѣхъ разсужденіяхъ историковъ новой школы. А такъ какъ буржуазія рыцарскою тонкостью чувствъ никогда не отличалась, то въ разсужденіяхъ ея ученыхъ представителей слышилось иногда жестокое отношеніе къ побѣжденнымъ. «Le plus fort absorbe le plus faible,—говоритъ Гизо въ одной изъ своихъ полемическихъ брошюръ,—elle est de droit» (Сильный поглощаетъ слабого, и онъ имѣетъ право на это). Не менѣе жестоко его отношеніе къ рабочему классу. Эта жестокость, принимавшая повременамъ форму опокійнаго безстрастія, и ввела въ заблужденіе Шатобриана. Кромѣ того, тогда еще не вполне ясно было, какъ надо понимать *законосообразность* историческаго движенія. Наконецъ, новая школа могла показаться фаталистической именно потому, что, стремясь стать твердой ногой на точку зрѣнія законосообразности, она мало занималась великими историческими личностями ³⁾. Съ этимъ трудно было помириться людямъ, воспитавшимся на историческихъ идеяхъ восемнадцатаго вѣка. Возраженія посыпались на новыхъ

¹⁾ Oeuvres complètes de Chateaubriand, Paris, MDCCCLX, t. VII, p. 58. Рекомендую вниманію читателя также слѣдующую страницу; можно подумать, что ее написалъ г. Ник. Михайловскій.

²⁾ См. Considérations sur l'histoire de France, приложенныя къ „Récits des temps Mérovingiens. Paris, 1840, p. 72.

³⁾ Въ статьѣ, посвященной 3-му изданію „Истории французской революціи“ Минье, Сентъ-Бёвъ такъ характеризоваль отношеніе этого историка къ личностямъ: „A la vue des vastes et profondes émotions populaires qu'il avait à décrire au spectacle de l'impuissance et du néant où tombent les plus sublimes génies les vertus les plus saintes, alors que les masses se soulèvent il s'est pris de pitié pour les individus, n'a vu en eux pris isolement bue faiblesse, et ne leur a reconnu d'action efficace, que dans leur union avec la multitude“.

историковъ со всѣхъ сторонъ, и тогда завязался споръ, не кончившійся, какъ мы видѣли, еще и поныгѣ.

Въ январѣ 1826 г. Сентъ-Бёвъ писалъ въ «Globe» по поводу выхода въ свѣтъ пятого и шестого томовъ «Исторіи французской революціи» Мишле: «Въ каждую данную минуту человѣкъ можетъ внезапнымъ рѣшеніемъ своей воли ввести въ ходъ событій новуу, неожиданную и измѣнчивую силу, которая способна придать ему иное направленіе, но которая, однако, сама не поддается измѣренію вслѣдствіе своей измѣнчивости».

Не надо думать, что Сентъ-Бёвъ полагалъ, будто «внезапныя рѣшенія» человѣческой воли являются безъ всякой причины. Нѣтъ, это было бы слишкомъ наивно. Онъ только утверждалъ, что умственные и нравственные свойства человѣка, играющаго болѣе или менѣе важную роль въ общественной жизни, его таланты, знанія, рѣшительность или нерѣшительность, храбрость или трусость и т. д., и т. д. не могутъ остаться безъ замѣтнаго вліянія на ходъ и исходъ событій, а между тѣмъ эти свойства объясняются не одними только общими законами народнаго развитія: они всегда и въ значительной степени складываются подъ дѣйствіемъ того, что можно назвать случайностями частной жизни. Приведемъ нѣсколько примѣровъ для поясненія этой, кажется, впрочемъ, и безъ того ясной мысли.

Въ войнѣ за австрійское наслѣдство французскія войска одержали нѣсколько блестящихъ побѣдъ, и Франція могла, повидимому, добиться отъ Австріи уступки довольно обширной территоріи въ нынѣшней Бельгій; но Людовикъ XV не требовалъ этой уступки, потому что онъ воевалъ, по его словамъ, не какъ купецъ, а какъ король, и аахенскій миръ ничего не далъ французамъ; а если бы у Людовика XV былъ другой характеръ, то можетъ быть увеличилась бы территорія Франціи, вслѣдствіе чего нѣсколько измѣнился бы ходъ ея экономическаго и политическаго развитія.

Семилѣтнюю войну Франція вела, какъ извѣстно, уже въ союзѣ съ Австріей. Говорятъ, что этотъ союзъ былъ заключенъ при сильномъ содѣйствіи г-жи Помпадуръ, чрезвычайно польщенной тѣмъ, что гордая Марія Тереза назвала ее въ письмѣ къ ней своей кузиной или своей дорогой подругой (*bien bonne amie*). Можно сказать поэтому, что если бы Людовикъ XV имѣлъ болѣе строгіе нравы или если бы онъ менѣе поддавался вліянію своихъ фаворитокъ, то г-жа Помпадуръ не приобрѣла бы такого вліянія на ходъ событій, и они приняли бы другой оборотъ.

Далѣе. Семилѣтняя война была неудачна для Франціи: ея генералы потеряли нѣсколько постыднѣвшихъ пораженій. Вообще они вели себя болѣе чѣмъ странно. Ришелье занимался грабежомъ, а Субизъ и Бролли постоянно мѣшали другъ другу. Такъ, когда Бролли атаковалъ непріа-

теля при Филлингаузенѣ, Субизъ слышалъ пушечные выстрѣлы, но не пошелъ на помощь къ товарищу, какъ это было условлено и какъ онъ, безъ сомнѣнія, долженъ былъ сдѣлать, и Брольи вынужденъ былъ отступить ¹⁾. Крайне неспособному Субизу покровительствовала та же г-жа Помпадуръ. И можно опять сказать, что если бы Людовикъ XV былъ менѣе сластолюбивъ или если бы его фаворитка не вмѣшивалась въ политику, то событія не сложились бы такъ неблагопріятно для Франціи.

Французскіе историки говорятъ, что Франціи вовсе и не нужно было воевать на европейскомъ материкѣ, а слѣдовало сосредоточить всѣ свои усилія на морѣ, чтобы отстоять отъ посягательства Англіи свои колоніи. Если же она поступила иначе, то тутъ опять была виновата неизбѣжная г-жа Помпадуръ, желавшая угодить «своей дорогой подругѣ» Маріи-Терезѣ. Вслѣдствіе Семилѣтней войны Франція лишилась лучшихъ своихъ колоній, что, безъ сомнѣнія, сильно повліяло на развитіе ея экономическихъ отношеній. Женское тщеславіе выступаетъ здѣсь передъ нами въ роли вліятельнаго «фактора» экономического развитія.

Нужны ли другіе примѣры? Приведемъ еще одинъ, можетъ быть наиболѣе поразительный. Во время той же Семилѣтней войны, въ августѣ 1761 г., австрійскія войска, соединившись съ русскими въ Силезіи, окружили Фридриха около Штригау. Его положеніе было отчаянное, но союзники медлили нападеніемъ, и генераль Вутурлинь, простоя въ 20 дней передъ непріателемъ, даже совсѣмъ ушелъ изъ Силезіи, оставивъ тамъ только часть своихъ силъ для подкрѣпленія австрійскаго генерала Лаудона. Лаудонъ взялъ Швейдницъ, около котораго стоялъ Фридрихъ, но этотъ успѣхъ былъ маловаженъ. А если бы Вутурлинь имѣлъ болѣе рѣшительный характеръ? Если бы союзники напали на Фридриха, не давъ ему окопаться въ своемъ лагерѣ? Возможно, что они разбили бы его на-голову, и онъ долженъ былъ бы подчиниться всѣмъ требованіямъ побѣдителей. И это произошло едва за нѣсколько мѣсяцевъ до того, какъ новая случайность, смерть императрицы Елисаветы, сразу и сильно измѣнила положеніе дѣлъ въ благопріятномъ для Фридриха смыслѣ. Спрашивается, что было бы, если бы Вутурлинь имѣлъ больше рѣшительности или если бы его мѣсто занималъ человекъ, подобный Суворову?

Разбирая взгляды историковъ-«фаталистовъ», Сентъ-Бѣвъ высказалъ еще и другое соображеніе, на которое тоже слѣдуетъ обратить вниманіе. Въ цитированной уже нами статьѣ объ «Исторіи французской революціи» Минье онъ доказывалъ, что ходъ и исходъ французской революціи

¹⁾ Другіе говорятъ, впрочемъ, что виноватъ былъ не Субизъ, а Брольи, который не сталъ ждать своего товарища, не желая дѣлится съ нимъ славу побѣды. Для насъ это не имѣетъ никакого значенія, такъ какъ ни мало не имѣетъ дѣла.

обусловлены были не только тѣми общими причинами, которыя ее вызвали, и не только тѣми страстями, которыя она вызывала въ свою очередь, но также и множествомъ мелкихъ явленій, ускользающихъ отъ вниманія изслѣдователя и даже совсѣмъ не входящихъ въ число общественныхъ явленій, собственно такъ называемыхъ. «Въ то время, какъ дѣйствовали эти (вызванныя общественными явленіями) страсти,—писалъ онъ,—физическія и физиологическія силы природы тоже не бездѣйствовали: камень продолжалъ подчиняться силѣ тяжести; кровь не переставала обращаться въ жилахъ. Неужели не измѣнился бы ходъ событій, если бы, положимъ, Мирабо не умеръ отъ горячки; если бы случайно упавшій кирпичъ или апоплексическій ударъ убилъ Робеспьера; если бы пуля сразила Бонапарта? И неужели вы рѣшитесь утверждать, что исходъ ихъ былъ бы тотъ же самый? При достаточномъ числѣ случайностей, подобныхъ предположеннымъ мною, онъ могъ бы быть совершенно противоположенъ тому, который, по-вашему, былъ неизбѣженъ. А вѣдь я имѣю право предполагать такія случайности, потому что ихъ не исключаютъ ни общія причины революціи, ни страсти, порожденныя этими общими причинами». Онъ приводитъ далѣе извѣстное замѣчаніе о томъ, что исторія пошла бы совсѣмъ иначе, если бы носъ Клеопатры былъ нѣсколько короче, и въ заключеніе, признавая, что въ защиту взгляда Минье можно сказать очень многое, онъ еще разъ указываетъ, въ чемъ заключается ошибка этого автора: Минье приписываетъ дѣйствию однихъ только общихъ причинъ тѣ результаты, появленію которыхъ способствовало также множество другихъ, мелкихъ, темныхъ и неуловимыхъ причинъ; его строгій умъ какъ бы не хотѣлъ признать существованія того, въ чемъ онъ не видитъ порядка и законосообразности.

VI.

Основательны ли возраженія Сентъ-Бева? Кажется, въ нихъ есть нѣкоторая доля истины. Но какая же именно? Чтобы опредѣлить ее, рассмотримъ сначала ту мысль, что человѣкъ можетъ «внезапными рѣшеніями своей воли» ввести въ ходъ событій новую силу, способную значительно измѣнить его. Мы привели нѣсколько примѣровъ, какъ намъ кажется, хорошо ее поясняющихъ. Вдумаемся въ эти примѣры.

Всѣмъ извѣстно, что въ царствованіе Людовика XV военное дѣло все болѣе и болѣе падало во Франціи. По замѣчанію Анри Мартэна, во время Семилѣтней войны французскія войска, за которыми всегда тянулось множество публичныхъ женщннъ, торговцевъ и слугъ, и въ которыхъ было втрое больше обозныхъ лошадей, чѣмъ верховыхъ, напоминали собою скорѣе полчища Дарія и Ксеркса, чѣмъ арміи Тюрэнна и Густава-Адольфа ¹⁾).

¹⁾ „Histoire de France“, 4-me édition, t. XV, p. 520—521.
Бельтовъ. Т. I. Изд. 3.

Архенгольцъ говоритъ въ своей исторіи этой войны, что французскіе офицеры, назначенные въ карауль, часто покидали ввѣренныя имъ посты, отправляясь потанцовать гдѣ-нибудь по сосѣдству, и исполняли приказанія начальства только тогда, когда находили это нужнымъ и удобнымъ. Такое жалкое положеніе военнаго дѣла обуславливалось упадкомъ дворянства, которое продолжало, однако, занимать всѣ высшія должности въ арміи, а общимъ разстройствомъ всего «старого порядка», быстро шедшаго къ своему разрушенію. Однѣхъ этихъ *общихъ* причинъ было бы вполне достаточно для того, чтобы придать Семилѣтней войнѣ невыгодный для Франціи оборотъ. Но несомнѣнно, что неспособность генераловъ, подобныхъ Субизу, еще болѣе умножила для французской арміи шансы неудачи, обусловленные общими причинами. А такъ какъ Субизъ держался благодаря г-жѣ Помпадуръ, то необходимо признать, что тщеславная маркиза была однимъ изъ «факторовъ», значительно усилившихъ неблагоприятное для Франціи вліяніе *общихъ* причинъ на положеніе дѣлъ во время Семилѣтней войны.

Маркиза де-Помпадуръ сильна была не своей собственной силой, а властью короля, подчинившагося ея волѣ. Можно ли сказать, что характеръ Людовика XV былъ именно таковъ, какимъ онъ непремѣнно долженъ былъ быть по общему ходу развитія общественныхъ отношеній во Франціи? Нѣтъ, при томъ же самомъ ходѣ этого развитія на его мѣстѣ могъ оказаться король, иначе относившійся къ женщинамъ. Сентъ-Бевъ сказалъ бы, что для этого достаточно было бы дѣйствія темныхъ и неумовимыхъ физиологическихъ причинъ. И онъ былъ бы правъ. Но если такъ, то выходитъ, что эти темныя физиологическія причины, повліявъ на ходъ и исходъ Семилѣтней войны, тѣмъ самымъ повліяли и на дальнѣйшее развитіе Франціи, которое пошло бы иначе, если бы Семилѣтняя война не лишила ея большей части колоній. Спрашивается, не противорѣчатъ ли этотъ выводъ понятію о законосообразности общественнаго развитія?

Нѣтъ, нисколько. Какъ ни несомнѣнно въ указанныхъ случаяхъ дѣйствіе личныхъ особенностей, не менѣе несомнѣнно и то, что оно могло совершиться *лишь при данныхъ общественныхъ условіяхъ*. Послѣ сраженія при Росбахѣ французы страшно негодовали на покровительницу Субиза. Она каждый день получала множество анонимныхъ писемъ, полныхъ угрозъ и оскорбленій. Это очень сильно волновало г-жу Помпадуръ; она стала страдать бессонницей¹⁾. Но она все-таки продолжала поддерживать Субиза. Въ 1762 г. она,—замѣтивъ ему въ одномъ изъ своихъ писемъ, что онъ не оправдалъ возложенныхъ на него надеждъ,—прибавляла: «Не бойтесь, однако, ничего, я позабочусь о вашихъ интересахъ и постараюсь примирить васъ съ королемъ»²⁾. Какъ видите, она не уступила обществен-

¹⁾ См. „Mémoires de madame du Haliffet“. Paris, 1824, стр. 181.

²⁾ „Lettres de la marquise de Pompadour“, Londres, LDCLXXII, t. I.

ному мнѣнію. Почему же не уступила? Вѣроятно потому, что тогдашнее французское общество *не имѣло возможности принудить* ее къ уступкамъ. А почему же тогдашнее французское общество не могло сдѣлать этого? Ему препятствовала въ этомъ его организація, которая, въ свою очередь, зависѣла отъ соотношенія тогдашнихъ общественныхъ силъ во Франціи. Слѣдовательно, соотношеніемъ этихъ силъ и объясняется въ послѣднемъ счетѣ то обстоятельство, что характеръ Людовика XV и прихоти его фаворитокъ могли имѣть такое печальное вліяніе на судьбу Франціи. Вѣдь если бы слабостью по отношенію къ женскому полу отличался не король, а какой-нибудь королевскій поварь или конюхъ, то она не имѣла бы никакого историческаго значенія. Ясно, что дѣло тутъ не въ слабости, а въ общественномъ положеніи лица, страдающаго ею. Читатель понимаетъ, что эти разсужденія могутъ быть примѣнены и ко всѣмъ другимъ вышеприведеннымъ примѣрамъ. Въ этихъ разсужденіяхъ нужно лишь измѣнить то, что подлежитъ измѣненію, напримѣръ, вмѣсто Франціи поставить Россію, вмѣсто Субиза—Бутурлина и т. д. Поэтому мы не будемъ повторять ихъ.

Выходитъ, что личности, благодаря даннымъ особенностямъ своего характера, могутъ вліять на судьбу общества. Иногда вліяніе бываетъ даже очень значительно, но какъ самая возможность подобнаго вліянія, такъ и размѣры его опредѣляются организаціей общества, соотношеніемъ его силъ. Характеръ личности является «факторомъ» общественнаго развитія лишь тамъ, лишь тогда и лишь постольку, гдѣ, когда и поскольку ей позволяютъ это общественныя отношенія.

Намъ могутъ замѣтить, что размѣры личнаго вліянія зависятъ также и отъ талантовъ личности. Мы согласимся съ этимъ. Но личность можетъ проявить свои таланты только тогда, когда она займетъ необходимое для этого положеніе въ обществѣ. Почему судьба Франціи могла оказаться въ рукахъ чловѣка, лишеннаго всякой способности и охоты къ общественному служенію? Потому, что такова была ея общественная организація. Этой организаціей и опредѣляются въ каждое данное время тѣ роли,— а слѣдовательно, и то общественное значеніе,—которыя могутъ выпасть на долю даровитыхъ или бездарныхъ личностей.

Но если роли личностей опредѣляются организаціей общества, то какимъ же образомъ ихъ общественное вліяніе, обусловленное этими ролями, можетъ противорѣчить понятію о законосообразности общественнаго развитія? Оно не только не противорѣчитъ ему, но служитъ одной изъ самыхъ яркихъ его иллюстрацій.

Но тутъ надо замѣтить вотъ что. Обусловленная организаціей общества возможность общественнаго вліянія личностей открываетъ дверь вліянію на историческія судьбы народовъ для такъ называемыхъ *случайностей*. Слостолюбіе Людовика XV было необходимымъ слѣдствіемъ состоянія его

организма. Но по отношенію къ общему ходу развитія Франціи это состояніе было *случайно*. А между тѣмъ оно не осталось, какъ мы уже сказали, безъ вліянія на дальнѣйшую судьбу Франціи и само вошло въ число причинъ, обусловившихъ собою эту судьбу. Смерть Мирабо, конечно, причинена была вполне законосообразными патологическими процессами. Но необходимость этихъ процессовъ вытекла вовсе не изъ общаго хода развитія Франціи, а изъ нѣкоторыхъ частныхъ особенностей организма знаменитаго оратора и изъ тѣхъ физическихъ условій, при которыхъ онъ заразился. По отношенію къ общему ходу развитія Франціи эти особенности и эти условія являются *случайными*. А между тѣмъ смерть Мирабо повліяла на дальнѣйшій ходъ революціи и вошла въ число причинъ, обусловившихъ его собою.

Еще поразительнѣе дѣйствіе случайныхъ причинъ въ вышеприведенномъ примѣрѣ Фридриха II, вышедшаго изъ крайне затруднительнаго положенія лишь благодаря нерѣшительности Бутурлина. Назначеніе Бутурлина даже по отношенію къ общему ходу развитія Россіи могло быть случайнымъ въ опредѣленномъ нами смыслѣ этого слова, а къ общему ходу развитія Пруссіи оно, конечно, не имѣло никакого отношенія. А между тѣмъ не лишено вѣроятія то предположеніе, что нерѣшительность Бутурлина выручила Фридриха изъ отчаяннаго положенія. Если бы на мѣстѣ Бутурлина былъ Суворовъ, то, можетъ быть, исторія Пруссіи пошла бы иначе. Выходить, что судьба государствъ зависитъ иногда отъ случайностей, которыя можно назвать *случайностями второй степени*.

«In allem Endlichen ist ein Element des Zufälligen», говорилъ Гегель (во всемъ конечномъ есть элементъ случайнаго). Въ наукѣ мы имѣемъ дѣло только съ «конечнымъ»; поэтому можно сказать, что во всѣхъ процессахъ, изучаемыхъ ею, есть элементъ случайности. Не исключаетъ ли это возможность научнаго познанія явленій? Нѣтъ. *Случайность есть нѣчто относительное*. Она является лишь въ точкѣ пересѣченія *необходимыхъ* процессовъ. Появленіе европейцевъ въ Америкѣ было для жителей Мексики и Перу *случайностью* въ томъ смыслѣ, что не вытекало изъ общественнаго развитія этихъ странъ. Но не случайностью была страсть, къ мореплаванію, овладѣвшая западными европейцами въ концѣ среднихъ вѣковъ; не случайностью было то обстоятельство, что сила европейцевъ легко преодолѣла сопротивленіе туземцевъ. Не случайны были и послѣдствія завоеванія Мексики и Перу европейцами; эти послѣдствія опредѣлялись въ концѣ концовъ равнодѣйствующею двухъ силъ: экономическаго положенія завоеванныхъ странъ, съ одной стороны, и экономическаго положенія завоевателей—съ другой. А эти силы, какъ и ихъ равнодѣйствующая, вполне могутъ быть предметомъ строгаго научнаго изслѣдованія.

Случайности Семилѣтней войны имѣли большое вліяніе на дальнѣй-

шую исторію Пруссіи. Но ихъ вліаніе было бы совсѣмъ не таково, если бы онѣ застали ее на другой стадіи развитія. Послѣдствія случайностей и здѣсь были опредѣлены равнодѣйствующею двухъ силъ: соціально-политическаго состоянія Пруссіи, съ одной стороны, и соціально политическаго состоянія вліявшихъ на нее европейскихъ государствъ—съ другой. Слѣдовательно, и здѣсь случайность нисколько не мѣшаетъ научному изученію явленій.

Теперь мы знаемъ, что личности часто имѣютъ большое вліаніе на судьбу общества, но что вліаніе это опредѣляется его внутреннимъ строемъ и его отношеніемъ къ другимъ обществамъ. Но этимъ еще не исчерпанъ вопросъ о роли личности въ исторіи. Мы должны подойти къ нему еще съ другой стороны.

Сентъ-Бевъ думалъ, что при достаточномъ числѣ мелкихъ и темныхъ причинъ указаннаго имъ рода французская революція могла бы имѣть исходъ *противоположный* тому, который мы знаемъ. Это большая ошибка. Въ какія бы замысловатыя сплетенія ни соединялись мелкія психологическія и фізіологическія причины, онѣ ни въ какомъ случаѣ не устраняли бы великихъ общественныхъ нуждъ, вызвавшихъ французскую революцію; а пока эти нужды оставались бы неудовлетворенными, во Франціи не прекратилось бы революціонное движеніе. Чтобы исходъ его могъ быть противоположенъ тому, который имѣлъ мѣсто въ дѣйствительности, нужно было замѣнить эти нужды другими, имъ противоположными, а этого, разумѣется, никогда не въ состояніи были бы сдѣлать никакія сочетанія мелкихъ причинъ.

Причины французской революціи заключались въ свойствахъ *общественныхъ отношеній*, а предположенныя Сентъ-Бевомъ мелкія причины могли корениться только въ *индивидуальныхъ особенностяхъ* отдѣльныхъ лицъ. Последняя причина общественныхъ отношеній заключается въ состояніи производительныхъ силъ. Оно зависитъ отъ индивидуальныхъ особенностей отдѣльныхъ лицъ развѣ лишь въ смыслѣ большей или меньшей способности такихъ лицъ къ техническимъ усовершенствованіямъ, открытіямъ и изобрѣтеніямъ. Сентъ-Бевъ имѣлъ въ виду не такія особенности. А всевозможныя другія особенности не обезпечиваютъ отдѣльнымъ лицамъ непосредственнаго вліанія на состояніе производительныхъ силъ, а слѣдовательно, и на тѣ общественныя отношенія, которыя имъ обуславливаются, т. е. на *экономическія отношенія*. Каковы бы ни были особенности данной личности, она не можетъ устранить данныя экономическія отношенія, разъ они соотвѣтствуютъ данному состоянію производительныхъ силъ. Но индивидуальныя особенности личности дѣлаютъ ее болѣе или менѣе годной для удовлетворенія тѣхъ общественныхъ нуждъ, которыя вырастаютъ на основѣ данныхъ экономическихъ отношеній, или для противодѣйствія такому удовлетворенію. Насущнѣйшей общественной

нуждою Франціи конца XVIII вѣка была замѣна устарѣвшихъ политическихъ учрежденій другими, болѣе соответствующими ея новому экономическому строю. Наиболѣе видными и полезными общественными дѣятелями того времени были именно тѣ, которые лучше всѣхъ другихъ способны были содѣйствовать удовлетворенію этой насущнѣйшей нужды. Положимъ, что такими людьми были Мирабо, Робеспьеръ и Бонапартъ. Что было бы, если бы преждевременная смерть не устранила Мирабо съ политической сцены? Партія конституціонной монархіи долѣе сохранила бы крупную силу; ея сопротивление республиканцамъ было бы поэтому энергичнѣе. Но и только. Никакой Мирабо не могъ тогда предотвратить торжества республиканцевъ. Сила Мирабо цѣликомъ основывалась на сочувствіи и на довѣрїи къ нему народа, а народъ стремился къ республикѣ, такъ какъ дворъ раздражалъ его своей упрямой защитой стараго порядка. Если только народъ убѣдился бы, что Мирабо не сочувствуетъ его республиканскимъ стремленіямъ, онъ самъ пересталъ бы сочувствовать Мирабо, и тогда великій ораторъ потерялъ бы почти всякое вліяніе, а затѣмъ, вѣроятно, палъ бы жертвой того самаго движенія, которое онъ напрасно старался бы задержать. Приблизительно то же можно сказать и о Робеспьерѣ. Допустимъ, что онъ въ своей партіи представлялъ собою совершенно незамѣнимую силу. Но онъ былъ, во всякомъ случаѣ, не единственной ея силой. Если бы случайный ударъ кирпича убилъ его, скажемъ, въ январѣ 1793 года, то его мѣсто, конечно, было бы занято кѣмъ-нибудь другимъ, и хотя бы этотъ другой былъ ниже его во всѣхъ смыслахъ, событія все-таки пошли бы *въ томъ самомъ направленіи*, въ какомъ они пошли при Робеспьерѣ. Такъ, напримѣръ, жирондисты, навѣрное, и въ этомъ случаѣ не миновали бы пораженія; но возможно, что партія Робеспьера нѣсколько раньше лишилась бы власти, такъ что мы говорили бы теперь не о термидорской, а о флоріальской, преріальской или мессидорской реакціи. Иные скажутъ можетъ быть, что Робеспьеръ своимъ неумолимымъ терроризмомъ ускорилъ, а не замедлил паденіе своей партіи. Мы не станемъ разсматривать здѣсь это предположеніе, а примемъ его, какъ будто бы оно было вполне основательно. Въ такомъ случаѣ нужно будетъ предположить, что паденіе партіи Робеспьера совершилось бы, вмѣсто термидора, въ теченіе фруктидора или вандемьера, или брюмера. Короче, оно совершилось бы можетъ быть раньше, а можетъ быть позже, но все-таки непременно совершилось бы, потому что тотъ слой народа, на который опиралась эта партія, былъ вовсе не готовъ для продолжительнаго господства. О результатахъ же, «противоположныхъ» тѣмъ, которые явились при энергичномъ содѣйствіи Робеспьера, во всякомъ случаѣ не могло бы быть и рѣчи.

Не могли бы они явиться и въ томъ случаѣ, если бы пуля поразила Бонапарта, скажемъ, въ сраженіи при Арколе. То, что сдѣлалъ

онъ въ итальянскихъ и другихъ походахъ, сдѣлали бы другіе генералы. Они, вѣроятно, не проявили бы такихъ талантовъ, какъ онъ, и не одержали бы такихъ блестящихъ побѣдъ. Но французская республика все-таки вышла бы побѣдительницей изъ своихъ тогдашнихъ войнъ, потому что ея солдаты были несравненно лучше всѣхъ европейскихъ солдатъ. Что касается 18 брюмера и его вліянія на внутреннюю жизнь Франціи, то и здѣсь общій ходъ и исходъ событій *по существу* были бы, вѣроятно, тѣ же, что при Наполеонѣ. Республика, на смерть пораженная 9 термидора, умирала медленной смертью. Директорія не могла возстановить порядокъ, котораго больше всего жаждала теперь буржуазія, избавившаяся отъ господства высшихъ сословій. Для возстановленія порядка нужна была «хорошая шпага», какъ выражался Сіейсъ. Сначала думали, что роль благодѣтельной шпаги сыграетъ генераль Журданъ, а когда онъ былъ убитъ при Нови, стали говорить о Моро, о Макдональдѣ, о Бернадотѣ ¹⁾. О Бонапартѣ заговорили уже послѣ; а если бы онъ былъ убитъ, подобно Журдану, то о немъ и совѣтъ не вспомнили бы, выдвигнувъ впередъ какую-нибудь другую «шпагу». Само собою разумѣется, что человѣкъ, возводимый событіями въ званіе диктатора, долженъ былъ съ своей стороны неутомимо пробиваться къ власти, энергично расталкивая и безпощадно давя всѣхъ, заграждавшихъ ему дорогу. У Бонапарта была желѣзная энергія, и онъ ничего не шадилъ для достиженія своихъ цѣлей. Но и кромѣ него тогда было немало энергичныхъ, талантливыхъ и честолюбивыхъ эгоистовъ. Мѣсто, которое удалось ему занять, навѣрное, не осталось бы незанятымъ. Положимъ, что другой генераль, добившись этого мѣста, былъ бы миролюбивѣе Наполеона, что онъ не возстановилъ бы противъ себя всей Европы и потому умеръ бы въ Тюльери, а не на островѣ святой Елены. Тогда Бурбоны вовсе не возвратились бы во Францію; для нихъ такой результатъ былъ бы, конечно, «противоположенъ» тому, который получился на самомъ дѣлѣ. Но по своему отношенію ко всей внутренней жизни Франціи онъ мало чѣмъ отличался бы отъ дѣйствительнаго результата. «Хорошая шпага», возстановивъ порядокъ и обезпечивъ господство буржуазіи, скоро надѣла бы ей своими казарменными привычками и своимъ деспотизмомъ. Началось бы либеральное движеніе, подобное тому, которое происходило при реставраціи; борьба постепенно бы стала разгораться, а такъ какъ «хорошія шпаги» не отличаются уступчивостью, то можетъ быть добродѣтельный Луи-Филиппъ сѣлъ бы на тронъ своихъ нѣжнолюбимыхъ родственниковъ не въ 1830, а въ 1820 или въ 1825 году. Всѣ такія измѣненія въ ходѣ событій могли бы отчасти повліять на дальнѣйшую политическую,

¹⁾ La vie en France sous le premier Empire par le vicomte de Broc. Paris, 1895, pp. 35—36 и слѣд.

а черезъ ея посредство и на экономическую жизнь Европы. Но окончательный исходъ революціоннаго движенія все-таки ни въ какомъ случаѣ не былъ бы «противоположенъ» дѣйствительному исходу. Вліятельныя личности, благодаря особенностямъ своего ума и характера, могутъ измѣнять индивидуальную фیزیономію событій и нѣкоторыя частныя ихъ послѣдствія, но онѣ не могутъ измѣнить ихъ общее направленіе, которое опредѣляется другими силами.

VII.

Кромѣ того, надо замѣтить еще и вотъ что. Разсуждая о роли великихъ личностей въ исторіи, мы почти всегда дѣлаемся жертвой нѣкотораго оптическаго обмана, на который полезно будетъ указать читателямъ.

Выступивъ въ роли «хорошей шпаги», спасающей общественный порядокъ, Наполеонъ тѣмъ самымъ устранилъ отъ этой роли всѣхъ другихъ генераловъ, изъ которыхъ иные можетъ быть сыграли бы ее такъ же или почти такъ же, какъ и онъ. Разъ общественная потребность въ энергическомъ военномъ правителѣ была удовлетворена, общественная организація загородила всѣмъ другимъ военнымъ талантамъ дорогу къ мѣсту военнаго правителя. Ея сила стала силой неблагоприятной для проявленія другихъ талантовъ этого рода. Благодаря этому и происходитъ тотъ оптический обманъ, о которомъ мы говоримъ. Личная сила Наполеона является намъ въ крайне преувеличенномъ видѣ, такъ какъ мы относимъ на ея счетъ всю ту общественную силу, которая выдвинула и поддерживала ее. Она кажется чѣмъ-то совершенно исключительнымъ, потому что другія, подобныя ей силы не перешли изъ возможности въ дѣйствительность. И когда намъ говорятъ: а что было бы, если бы не было Наполеона, то наше воображеніе пугается, и намъ кажется, что безъ него совсѣмъ не могло бы совершиться все то общественное движеніе, на которомъ основывались его сила и вліяніе.

Въ исторіи умственнаго развитія человѣчества успѣхъ одной личности несравненно рѣже препятствуетъ успѣху другой. Но и тамъ мы не свободны отъ указаннаго оптическаго обмана. Когда данное положеніе общества ставитъ передъ его духовными выразителями извѣстныя задачи, онѣ привлекаютъ къ себѣ вниманіе выдающихся умовъ до тѣхъ поръ, пока имъ не удастся рѣшить ихъ. А разъ имъ удастся это, вниманіе ихъ направляется на другой предметъ. Рѣшивъ задачу, данный талантъ А тѣмъ самымъ направляетъ вниманіе таланта В отъ этой, уже рѣшенной, задачи къ другой задачѣ. И когда насъ спрашиваютъ, что было бы, если бы А умеръ, не успѣвъ рѣшить задачу X, мы воображаемъ, что порвалась бы нить умственнаго развитія общества. Мы забываемъ, что, въ случаѣ смерти А, за

рѣшеніе задачи могъ бы взятъся В или С, или D, и что такимъ образомъ нить умственного развитія осталась бы цѣлой, несмотря на преждевременную гибель А.

Чтобы человѣкъ, обладающій талантомъ извѣстнаго рода, приобрѣлъ, благодаря ему, большое вліяніе на ходъ событій, нужно соблюденіе двухъ условій. Во-первыхъ, его талантъ долженъ сдѣлать его болѣе другихъ соответствующимъ общественнымъ нуждамъ данной эпохи: если бы Наполеонъ вмѣсто своего военного генія обладалъ музыкальнымъ дарованіемъ Бетховена, то онъ, конечно, не сдѣлался бы императоромъ. Во-вторыхъ, существующій общественный строй не долженъ заграждать дорогу личности, имѣющей данную особенность, нужную и полезную какъ разъ въ это время. Тотъ же *Наполеонъ* умеръ бы мало извѣстнымъ генераломъ или полковникомъ *Буонапарте*, если бы старый режимъ существовалъ во Франціи лишнихъ семьдесятъ пять лѣтъ ¹⁾. Въ 1789 году Даву, Дезе, Мармонъ и Маедональдъ были *подпоручиками*, Вернадотъ—*сержантъ-майоромъ*; Гошъ, Марсо, Лефевръ, Пишегрю, Ней, Массена, Мюратъ, Сультъ—*унтеръ офицерами*; Ожаро—*учителемъ фехтованія*; Ланнъ—*красильщикомъ*; Гувіонъ Сэнъ-Сиръ—*актеромъ*; Журданъ—*разносчикомъ*; Бесьеръ—*парикмахеромъ*; Брюнъ—*наборщикомъ*; Жуберъ и Жюно—*студентами юридическаго факультета*; Клеберъ—*архитекторомъ*; Мортъе не поступалъ въ военную службу ²⁾ вплоть до революціи.

Если бы старый режимъ продолжалъ существовать до нашихъ дней, то никому изъ насъ и въ голову не пришло бы теперь, что въ концѣ прошлаго вѣка во Франціи нѣкоторые актеры, наборщики, парикмахеры, красильщики, юристы, разносчики и учителя фехтованія были военными талантами въ возможности ³⁾.

Стендаль замѣчаетъ, что человѣкъ, родившійся одновременно съ Тицианомъ, т. е. въ 1477 г., могъ бы прожить 40 лѣтъ съ Рафаэлемъ и Леонардо-да-Винчи, изъ которыхъ первый умеръ въ 1520, а второй въ 1519 г., что онъ могъ бы провести долгіе годы съ Корреджіо, умершимъ въ 1534 году, и съ Микель Анджело, прожившимъ до 1563 года, что ему было бы не больше тридцати четырехъ лѣтъ, когда умеръ Джорджіони, что онъ могъ бы быть знакомъ съ Тинтаретто, Бассано, Веро-

¹⁾ Возможно, что тогда Наполеонъ уѣхалъ бы въ Россію, куда онъ собирался ѣхать, едва за нѣсколько лѣтъ до революціи. Здѣсь онъ отличился бы, вѣроятно, въ битвахъ съ турками или съ кавказскими горцами, но никто не подумалъ бы здѣсь, что этотъ бѣдный, но способный офицеръ при благоприятныхъ обстоятельствахъ могъ бы сдѣлаться господиномъ міра.

²⁾ См. *Histoire de France* par V. Dnapu, Paris 1893, т. II, pp. 524—525.

³⁾ При Людовикѣ XV только одинъ представитель третьяго сословія, Шавьеръ, могъ дослужиться до чина генералъ-лейтенанта. При Людовикѣ XVI еще болѣе затруднена была военная карьера людей этого сословія. См. ст. Rambaud, *Histoire de la civilisation française*; sixième édition, т. II, p. 226.

незе, Юлиемъ Романо и Андреемъ дель-Сарто; что, однимъ словомъ, онъ былъ бы современникомъ всѣхъ великихъ живописцевъ, за исключеніемъ тѣхъ, которые принадлежатъ къ Болонской школѣ, явившейся цѣлымъ столѣтіемъ позже ¹⁾. Точно также можно сказать, что человѣкъ, родившійся въ одномъ году съ Воуэрманомъ, могъ бы лично знать почти всѣхъ великихъ живописцевъ Голландіи ²⁾, а ровесникъ Шекспира жилъ одновременно съ цѣлымъ рядомъ замѣчательныхъ драматурговъ ³⁾.

Давно уже было замѣчено, что таланты являются всюду и всегда, гдѣ и когда существуютъ общественныя условія, благоприятныя для ихъ развитія. Это значитъ, что всякій талантъ, *проявившійся въ дѣйствительности*, т. е. всякій талантъ, ставшій *общественной силой*, есть плодъ *общественныхъ отношеній*. Но если это такъ, то понятно, почему талантливые люди могутъ, какъ мы сказали, измѣнить лишь индивидуальную фязіономію, а не общее направленіе событій; *они сами существуютъ только благодаря такому направленію; если бы не оно, то они никогда не перешагнули бы порога, отдѣляющаго возможность отъ дѣйствительности*.

Само собою понятно, что талантъ таланту рознь. «Когда новый шагъ въ развитіи цивилизаціи вызываетъ къ жизни новый родъ искусства,—справедливо говоритъ Тэнъ,—являются десятки талантовъ, выражающихъ общественную мысль только наполовину, вокругъ одного или двухъ геніевъ, выражающихъ ее въ совершенствѣ ⁴⁾. Если бы какія-нибудь механическія или фязіологическія причины, не связанныя съ общимъ ходомъ соціально-политическаго и духовнаго развитія Италіи, еще въ дѣтствѣ убили Рафаэля, Микель-Анджело и Леонардо-да-Винчи, то итальянское искусство было бы менѣе совершенно, но общее направленіе его развитія въ эпоху Возрожденія осталось бы то же. Рафаэль, Леонардо-да-Винчи и Микель-Анджело не создали этого направленія: они были только лучшими его выразителями. Правда, вокругъ геніальнаго человѣка

¹⁾ Histoire de la Peinture en Italie, Paris, 1892, pp. 24—25.

²⁾ Въ 1608 родились Тербургъ, Броуэръ и Рембрандтъ; въ 1610 — Адрианъ Ванъ-Остаде и Фердинандъ Боль; въ 1615—Ванъ-деръ-Гельстъ и Жераръ-Дюу; въ 1615—Метцу; въ 1620—Воуэрманъ; въ 1621—Верниксъ, Эвердингенъ и Пайнакеръ; въ 1624—Бергеми; въ 1629—Пауль Поттеръ; въ 1626—Янъ Стеенъ; въ 1630—Рюисдель; въ 1637—Ванъ-деръ-Гейденъ; въ 1658—Гоббема; въ 1639—Адрианъ Ванъ-де-Вельде.

³⁾ «Шекспиръ, Бьюмонтъ, Флетчеръ, Джонсонъ, Уэбстеръ, Мэссинджеръ, Фордъ, Миддלטонъ и Гейвудъ, явившіеся въ одно и то же время или одинъ за другимъ, представляютъ собою новое поколѣніе, которое, благодаря своему благоприятному положенію, пышно расцвѣло на почвѣ, подготовленной усліями предыдущаго поколѣнія». Тэнъ, Histoire de la littérature anglaise, Paris, 1863, t. I, p. 468.

⁴⁾ L. c., t. II, p. 5.

возникаетъ, обыкновенно, цѣлая школа, приче́мъ его ученики стараются усвоить даже мельчайшіе его приемы; поэтому пробѣлъ, который остался бы въ итальянскомъ искусствѣ эпохи Возрожденія вслѣдствіе ранней смерти Рафаэля, Микель-Анджело и Леонардо-да-Винчи, оказалъ бы сильное вліяніе на многія второстепенныя особенности въ его дальнѣйшей исторіи. Но и эта исторія не измѣнилась бы по существу, если бы только не произошло, по какимъ-нибудь общимъ причинамъ, какого-нибудь существеннаго измѣненія въ общемъ ходѣ духовнаго развитія Италіи.

Извѣстно, однако, что количественныя различія переходятъ, наконецъ, въ качественныя. Это вѣрно вездѣ слѣдовательно, вѣрно и въ исторіи. Данное теченіе въ искусствѣ можетъ совсѣмъ остаться безъ сколько-нибудь замѣчательнаго выраженія, если неблагоприятное стеченіе обстоятельствъ унесетъ, одного за другимъ, нѣсколькихъ талантливыхъ людей, которые могли бы стать его выразителями. Но преждевременная гибель такихъ людей помѣшаетъ художественному выраженію этого теченія только въ томъ случаѣ, если оно недостаточно глубоко, чтобы выдвинуть новые таланты. А такъ какъ глубина всякаго даннаго направленія въ литературѣ и искусствѣ опредѣляется значеніемъ его для того класса или слоя, вкусы котораго оно выражаетъ, и общественною ролью этого класса или слоя, то и здѣсь все зависитъ въ послѣднемъ счетѣ отъ хода общественнаго развитія и отъ соотношенія общественныхъ силъ.

VIII.

Итакъ, личныя особенности руководящихъ людей опредѣляютъ собою индивидуальную фізіономію историческихъ событій, и элементъ случайности, въ указанномъ нами смыслѣ, всегда играетъ нѣкоторую роль въ ходѣ этихъ событій, направленіе котораго опредѣляется въ послѣднемъ счетѣ такъ называемыми общими причинами, т. е. на самомъ дѣлѣ развитіемъ производительныхъ силъ и взаимными отношеніями людей въ общественно-экономическомъ процессѣ производства. Случайныя явленія и личныя особенности знаменитыхъ людей несравненно замѣтнѣе, чѣмъ глубоко лежація общія причины. Восемнадцатый вѣкъ мало задумывался надъ этими общими причинами, объясняя исторію сознательными поступками и «страстями» историческихъ дѣятелей. Философы того вѣка утверждали, что исторія могла бы пойти совершенно другими путями подъ вліяніемъ самыхъ ничтожныхъ причинъ,—напримѣръ, вслѣдствіе того, что въ головѣ какого-нибудь правителя зашалилъ бы какой-нибудь «атомъ» (соображеніе, не разъ высказанное въ *Système de la Nature*).

Защитники новаго направленія въ исторической наукѣ стали доказывать, что исторія не могла пойти иначе, чѣмъ она шла на самомъ дѣлѣ, несмотря ни на какіе «атомы». Стремясь какъ можно лучше отгнать дѣй-

ствіе общихъ причинъ, они оставляли безъ вниманія значеніе личныхъ особенностей историческихъ дѣятелей. У нихъ выходило, что историческія событія ни на волосъ не измѣнились бы отъ замѣны однихъ лицъ другими, болѣе или менѣе способными ¹⁾. Но разъ мы допускаемъ такое предположеніе, мы необходимо должны признать, что *личный элементъ не имѣетъ въ исторіи ровно никакого значенія*, и что все сводится въ ней къ дѣйствию общихъ причинъ, общихъ законовъ историческаго движенія. Это была крайность, вовсе не оставлявшая мѣста для той доли истины, которая заключалась въ противоположномъ взглядѣ. Но именно поэтому противоположный взглядъ продолжалъ сохранять за собою нѣкоторое право на существованіе. Столкновеніе этихъ двухъ взглядовъ приняло видъ антимоніи, первымъ членомъ которой являлись общіе законы, а вторымъ — дѣятельность личностей. Съ точки зрѣнія второго члена антимоніи исторія представлялась простымъ сплещеніемъ случайностей; съ точки зрѣнія перваго члена казалось, что дѣйствіемъ общихъ причинъ были обусловлены даже индивидуальныя черты историческихъ событій. Но если индивидуальныя черты событій обусловливаются вліяніемъ общихъ причинъ и не зависятъ отъ личныхъ свойствъ историческихъ дѣятелей, то выходитъ что эти черты *опредѣляются общими причинами* и не могутъ быть измѣнены, какъ бы ни измѣнились эти дѣятели. Теорія принимаетъ такимъ образомъ *фаталистическій* характеръ.

Это не ускользнуло отъ вниманія ея противниковъ. Сентъ-Бевъ сравнивалъ историческіе взгляды Минье съ историческими взглядами Боссюа. Боссюа думалъ, что сила, дѣйствіемъ которой совершаются историческія событія, идетъ свыше, что событія служатъ выраженіемъ божественной воли. Минье искалъ этой силы въ человѣческихъ страстяхъ, проявляющихся въ историческихъ событіяхъ съ неумолимостью и непреклонностью силъ природы. Но оба они смотрѣли на исторію, какъ на цѣпь такихъ явленій, которыя ни въ какомъ случаѣ не могли бы быть иными; оба они — фаталисты: въ этомъ отношеніи философъ былъ близокъ къ священнику (*le philosophe se rapproche du prêtre*).

Такой упрекъ оставался основательнымъ до тѣхъ поръ, пока ученіе о законосообразности общественныхъ явленій приравнивало къ нулю вліяніе на событія личныхъ особенностей выдающихся историческихъ дѣятелей. И этотъ упрекъ долженъ былъ производить тѣмъ болѣе сильное впечатлѣніе, что историки новой школы, подобно историкамъ и философамъ восемнадцатаго вѣка, считали *человѣческую природу* высшей

¹⁾ Т. е. выходило, когда они начинали разсуждать о законосообразности историческихъ событій. А когда нѣкоторые изъ нихъ просто описывали эти явленія, то они подчасъ придавали личному элементу даже преувеличенное значеніе. Но насъ интересуютъ теперь не разказы ихъ, а разсужденія.

инстанціей, изъ которой исходили и которой подчинялись всѣ *общія* причины историческаго движенія. Такъ какъ французская революція показала, что историческія событія обуславливаются не одними только *сознательными* поступками людей, то Минье, Гизо и другіе ученые того же направленія выдвигали на первый планъ дѣйствіе *страстей*, часто сбрасывающихъ съ себя всякій *контроль* *сознанія*. Но если страсти являются послѣдней и самой общей причиной историческихъ событій, то почему неправъ Сентъ-Бевъ, утверждающій, что французская революція могла бы имѣть исходъ, противоположный тому, который мы знаемъ, разъ нашлись бы дѣятели, способные внушить французскому народу страсти, противоположныя тѣмъ, которыя его волновали? Минье сказалъ бы: потому что другія страсти не могли взволновать тогда французовъ по самымъ свойствамъ человеческой природы. Въ извѣстномъ смыслѣ это была бы правда. Но эта правда имѣла бы сильный фаталистическій оттѣнокъ, такъ какъ она была бы равносильна тому положенію, что исторія человечества во всѣхъ своихъ подробностяхъ предопредѣлена *общими* свойствами человеческой природы. Фатализмъ явился бы здѣсь какъ результатъ исчезновенія *индивидуальнаго въ общемъ*. Впрочемъ, онъ и всегда является результатомъ такого исчезновенія. Говорятъ: «если всѣ общественныя явленія необходимы, то наша дѣятельность не можетъ имѣть никакого значенія». Это неправильная формулировка правильной мысли. Надо сказать: если все дѣлается посредствомъ *общаго*, то *единичное*, а въ томъ числѣ и мои усилія не имѣютъ никакого значенія. *Такой* выводъ правиленъ, только имъ неправильно пользуются. Онъ не имѣетъ никакого смысла въ примѣненіи къ современному материалистическому взгляду на исторію, въ которомъ есть мѣсто и для *единичнаго*. Но онъ былъ основателенъ въ примѣненіи ко взглядамъ французскихъ историковъ времени реставраціи.

Въ настоящее время нельзя уже считать человеческую природу послѣдней и самой общей причиной историческаго движенія: если она постоянна, то она не можетъ объяснить крайне измѣчивый ходъ исторіи, а если она измѣняется, то очевидно, что ея измѣненія сами обуславливаются историческимъ движеніемъ. Въ настоящее время послѣдней и самой общей причиной историческаго движенія человечества надо признать развитіе производительныхъ силъ, которыми обуславливаются послѣдовательныя измѣненія въ общественныхъ отношеніяхъ людей. Рядомъ съ этой *общей* причиной дѣйствуютъ *особенныя* причины, т. е. та *историческая обстановка*, при которой совершается развитіе производительныхъ силъ у даннаго народа и которая сама создана въ послѣдней инстанціи развитіемъ тѣхъ же силъ у другихъ народовъ, т. е. той же общей причиной.

Наконецъ, вліяніе *особенныхъ* причинъ дополняется дѣйствіемъ при-

чинъ *единичныхъ*, т. е. личныхъ особенностей общественныхъ дѣятелей и другихъ «случайностей», благодаря которымъ событія получаютъ, наконецъ, свою *индивидуальную физиономію*. Единичныя причины не могутъ произвести коренныхъ измѣненій въ дѣйствіи *общихъ* и *особенныхъ* причинъ, которыми, къ тому же, обуславливаются направленіе и предѣлы вліянія единичныхъ причинъ. Но все-таки несомнѣнно, что исторія имѣла бы другую физиономію, если бы вліявшія на нее единичныя причины были замѣнены другими причинами того же порядка.

Моно и Лампрехтъ до сихъ поръ стоятъ на точкѣ зрѣнія человѣческой природы. Лампрехтъ категорически и не однажды заявлялъ, что, по его мнѣнію, социальная психика составляетъ коренную причину историческихъ явленій. Это большая ошибка, и благодаря такой ошибкѣ само по себѣ очень похвальное желаніе принимать въ соображеніе всю совокупность общественной жизни можетъ привести лишь къ безсодержательному, хотя и пухлому эклектизму или—у наиболѣе послѣдовательныхъ—къ разсужденіямъ à la Каблицъ о сравнительномъ значеніи ума и чувства.

Но вернемся къ нашему предмету. Великій человѣкъ великъ не тѣмъ, что его личныя особенности придаютъ индивидуальную физиономію великимъ историческимъ событіямъ, а тѣмъ, что у него есть особенности, дѣлающія его наиболѣе способнымъ для служенія великимъ общественнымъ нуждамъ своего времени, возникшимъ подъ вліяніемъ общихъ и особенныхъ причинъ. Карлейль, въ своемъ извѣстномъ сочиненіи о герояхъ, называетъ великихъ людей *начинателями* (Beginners). Это очень удачное названіе. Великій человѣкъ является именно начинателемъ, потому что онъ видитъ *дальше* другихъ и хочетъ *сильнѣе* другихъ. Онъ рѣшаетъ научныя задачи, поставленныя на очередь предыдущимъ ходомъ умственного развитія общества; онъ указываетъ новыя общественныя нужды, созданныя предыдущимъ развитіемъ общественныхъ отношеній; онъ беретъ на себя починъ удовлетворенія этихъ нуждъ. Онъ—герой. Не въ томъ смыслѣ герой, что онъ будто бы можетъ остановить или измѣнить естественный ходъ вещей, а въ томъ, что его дѣятельность является сознательнымъ и свободнымъ выраженіемъ этого необходимаго и безсознательнаго хода. Въ этомъ—все его значеніе; въ этомъ—вся его сила. Но это—колоссальное значеніе, страшная сила.

Бисмаркъ говорилъ, что мы не можемъ дѣлать исторію, а должны ожидать, пока она сдѣлается. Но кѣмъ же дѣлается исторія? Она дѣлается *общественнымъ человѣкомъ*, который есть ея *единственный факторъ*. Общественный человѣкъ самъ создаетъ свои, т. е. общественныя, отношенія. Но если онъ создаетъ въ данное время именно такія, а не другія отношенія, то это происходитъ, разумѣется, не безъ

причины; это обуславливается состояніем его производительныхъ силъ. Никакой великій человѣкъ не можетъ навязать обществу такіа отношенія, которыя *уже* не соотвѣтствуютъ состоянію этихъ силъ или *еще* не соотвѣтствуютъ ему. Въ этомъ смыслѣ онъ, дѣйствительно, не можетъ дѣлать исторію, и въ этомъ случаѣ онъ напрасно сталъ бы переставлять свои часы: онъ не ускорилъ бы теченія времени и не повернулъ бы его назадъ. Тутъ Лампрехтъ совершенно правъ: даже находясь на вершинѣ своего могущества, Бисмаркъ не могъ бы вернуть Германію къ натуральному хозяйству.

Въ общественныхъ отношеніяхъ есть своя логика: пока люди находятся въ данныхъ взаимныхъ отношеніяхъ, они непремѣнно будутъ чувствовать, думать и поступать именно такъ, а не иначе. Противъ этой логики тоже напрасно сталъ бы бороться общественный дѣятель: естественный ходъ вещей (т. е. эта же логика общественныхъ отношеній) обратилъ бы въ ничто всѣ его усилія. Но если я знаю, въ какую сторону измѣняются общественныя отношенія благодаря даннымъ перемѣнамъ въ общественно-экономическомъ процессѣ производства, то я знаю также, въ какомъ направленіи измѣнится и социальная психика; слѣдовательно, я имѣю возможность вліять на нее. Вліять на социальную психику значитъ вліять на историческія событія. Стало быть, въ извѣстномъ смыслѣ я все-таки *могу дѣлать исторію*, и мнѣ нѣтъ надобности ждать, пока она «сдѣлается».

Моно полагаетъ, что дѣйствительно важныя въ исторіи событія и личности важны только какъ знаки и символы развитія учрежденій и экономическихъ условий. Это—справедливая, хотя и очень неточно выраженная мысль, но именно потому, что эта мысль справедлива, неосновательно противопоставляетъ дѣятельность великихъ людей *«медленному движенію»* названныхъ условий и учрежденій. Болѣе или менѣе медленное измѣненіе «экономическихъ условий» періодически ставитъ общество въ необходимость болѣе или менѣе быстро передѣлать свои учрежденія. Такая передѣлка никогда не происходитъ «сама собою»; она всегда требуетъ внимательства *людей*, передъ которыми возникаютъ, такимъ образомъ, великія общественныя задачи. Великими дѣятелями и называются тѣ, которые больше другихъ способствуютъ ихъ рѣшенію. *А рѣшить задачу* не значитъ быть только «символомъ» и «знакомъ» того, что она рѣшена.

Намъ кажется, что Моно сдѣлалъ свое противопоставленіе главнымъ образомъ потому, что увлекся пріятнымъ словечкомъ *«медленный»*. Это словечко любятъ очень многіе современные эволюціонисты. *Психологически* такое пристрастіе понятно: оно *необходимо* рождается въ благонамѣренной средѣ умѣренности и аккуратности. Но *логически* оно не выдерживаетъ критики, какъ это показалъ еще Гегель.

И не для однихъ только «начинателей», не для однихъ «великихъ» людей открыто широкое поле дѣйствія. Оно открыто для всѣхъ, имѣющихъ очи, чтобы видѣть, уши, чтобы слышать, и сердце, чтобы любить своихъ ближнихъ. Понятіе *великій* есть понятіе относительное. Въ нравственномъ смыслѣ великъ каждый, кто, по евангельскому выраженію, «полагаетъ душу свою за други своя».

Экономическая теорія Карла Родбертуса-Ягцеова.

Судьба Родбертуса, какъ писателя, представляетъ собою довольно поучительное и, на первый взглядъ, непонятное явленіе. Ученый, обладавшій огромною и разностороннею эрудиціей, оригинальный и глубоко-мысленный экономическій писатель, Родбертусъ не удостоился, однако, до самаго послѣдняго времени не только надлежащей оцѣнки со стороны огромнаго большинства своихъ товарищей по наукѣ, но, можно сказать, совершенно игнорировался ими. «Конечно,—говоритъ берлинскій профессоръ Ад. Вагнеръ,—каждому экономисту въ Германіи извѣстно имя Родбертуса и названіе главныхъ его сочиненій, о содержаніи которыхъ каждый экономистъ также имѣетъ хоть приблизительное понятіе»¹⁾. Но дѣло въ томъ, что Родбертусъ не принадлежитъ къ числу писателей, по отношенію къ которымъ можно было бы довольствоваться «приблизительнымъ понятіемъ о содержаніи ихъ сочиненій». Съ самыхъ первыхъ шаговъ своихъ въ экономической литературѣ Родбертусъ является не популяризаторомъ ученій господствующей школы, даже не комментаторомъ того или другого новаго писателя. Онъ былъ оригинальнымъ мыслителемъ, пролагавшимъ новые пути въ области науки,—однимъ изъ первыхъ серьезныхъ критиковъ классической экономіи. Чтобы понять роль и значеніе его теорій въ исторіи политической экономіи, необходимо было ознакомиться съ ними изъ первыхъ источниковъ, т. е. изъ его сочиненій. Въ особенности слѣдовало сдѣлать это нѣмецкимъ экономистамъ, главное достоинство которыхъ заключается, какъ извѣстно, въ добро-совѣстной и полной «Bücherkenntniss». Однако, они довольствовались «приблизительнымъ» понятіемъ объ ученіяхъ Родбертуса, да и этимъ, болѣе чѣмъ поверхностнымъ, знаніемъ дѣлились съ публикой весьма не-

¹⁾ См. статью Ад. Вагнера въ „Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft“, 1878 года, erstes u. zweites Heft: „Einiges von und über Rodbertus-Jagetzow“.

охотно. Д-ръ Гумпловицъ, въ своемъ «*Rechtsstaat und Sozialismus*», не безъ основанія быть можетъ упрекаетъ нѣмецкихъ ученыхъ въ томъ, что «многіе изъ нихъ умышленно обходили молчаніемъ этого выдающагося экономиста».

Такъ продолжалось долго, очень долго, едва ли не до начала семидесятыхъ годовъ, когда отношеніе къ Родбертусу, по крайней мѣрѣ, части нѣмецкихъ экономистовъ радикально измѣнилось. Съ нимъ вошли въ сношенія и старались привлечь его къ своему «соціально-политическому» союзу такъ называемые катедеръ-соціалисты; о немъ заговорили, какъ о «самомъ оригинальномъ представителѣ экономического социализма», какъ о писателѣ, «стоящемъ выше Лассала, Маркса и Энгельса». Такъ отзывается о немъ, напримѣръ, уже цитированный нами Ад. Вагнеръ. Разумѣется, похвальные отзывы о писателѣ, подобномъ Родбертусу, не заключали бы въ себѣ ничего удивительнаго, если бы дѣло не осложнялось нѣсколькими довольно характерными обстоятельствами.

Во-первыхъ, странно встрѣчать горячихъ поклонниковъ Родбертуса въ средѣ молодого поколѣнія той самой школы, «отцы» которой болѣе всего заслужили упрекъ въ «умышленномъ игнорированіи» его ученій. Ад. Вагнеръ и его сотоварищи по эйзенахскому союзу превозносятъ того самаго экономиста, на котораго Рошеръ и Карлъ Книскъ почти не обращали вниманія. Но это было бы, какъ говорится, полбѣды, если бы въ научномъ міросозерцаніи катедеръ-соціалистовъ теоріямъ Родбертуса дѣйствительно отводилось сколько-нибудь видное мѣсто. На дѣлѣ же оказывается, что отличительною чертою подобныхъ Ад. Вагнеру поклонниковъ «нѣмецкаго Рикардо» является полное ихъ несогласіе съ ученіями послѣдняго. Сочиняемые ими панегирики Родбертусу нисколько не мѣшаютъ имъ исповѣдывать теорію, не имѣющую ничего общаго съ его ученіемъ. Это отлично сознавалъ и самъ Родбертусъ, рѣшительно отказавшійся пристать къ Эйзенахскому союзу катедеръ-соціалистовъ. «Я убѣжденъ, — писалъ онъ тому же Ад. Вагнеру, — что изъ Эйзенаха ничего не выйдетъ: ромашкой нельзя даже облегчить, не только излечить соціальныя вопросы»... Не смущаясь такимъ строгимъ приговоромъ «оригинальнѣйшаго представителя экономического социализма», члены эйзенахскаго союза продолжали и продолжаютъ выдавать себя за горячихъ его поклонниковъ, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда заходитъ рѣчь о сравнительной оцѣнкѣ Родбертуса — съ одной стороны и Карла Маркса — съ другой.

Съ тѣмъ же рвеніемъ превозносятъ Родбертуса на счетъ Маркса и такъ называемые «соціальныя консерваторы» (*social-conservativen*), въ родѣ Рудольфа Мейера, довольно извѣстнаго въ Германіи автора книги о «борьбѣ четвертаго сословія за свое освобожденіе».

Незнакомому съ дѣломъ могло бы показаться, что теоріи Родбертуса представляютъ собою послѣднее «трезвенное слово» буржуазно-юнкерской экономіи,—слово, облеченное въ ярко демократическій нарядъ и потому оцѣненное по достоинству лишь въ наше время заигрыванія съ народомъ даже самыхъ закоснѣлыхъ консерваторовъ. Однако, такое предположеніе было бы совершенно ошибочно, такъ какъ причину странной перемены въ отношеніи къ Родбертусу консервативныхъ и буржуазныхъ писателей нужно искать не во внутреннемъ достоинствѣ его теорій. Она лежитъ въ исторіи борьбы различныхъ классовъ европейскаго общества, имѣвшей такое огромное вліяніе на развитіе экономическихъ ученій. Различныя перипетіи этой борьбы отразились на литературной судьбѣ Родбертуса и обуславливали то или другое отношеніе къ нему его ученыхъ современниковъ изъ среды «охранителей». Дѣло въ томъ, что Родбертусъ съ полнымъ основаніемъ можетъ быть причисленъ къ той блестящей, хотя и немногочисленной фалангѣ экономистовъ, которая украшается именами Маркса, Энгельса и Лассаля. Почти одновременно съ двумя первыми изъ названныхъ писателей выступилъ онъ на поприще экономической литературы и такъ же, какъ они, посвятилъ свои силы изученію вопроса о положеніи и роли труда въ современномъ обществѣ. Правда, «практическія предложенія» его далеко не были такъ радикальны, какъ стремленія Маркса и Энгельса. Но теоретическія основы этихъ «предложеній» сильно противорѣчили ученіямъ господствовавшихъ школъ и весьма близко подходили къ ученіямъ крайнихъ партій. Лѣтъ двадцать тому назадъ одного этого было достаточно, чтобы вызвать негодованіе и высокомерное презрѣніе патентованныхъ экономистовъ. Родбертуса «замалчивали» тогда какъ опаснаго и легкомысленнаго новатора.

Не такъ обстоитъ дѣло теперь. Уже со второй половины сороковыхъ годовъ сдѣлавшееся замѣтнымъ новое направленіе въ экономической наукѣ окончательно сложилось нынѣ въ стройную систему, самымъ полнымъ выраженіемъ которой служить «Капиталъ». Авторъ его оказался вооруженнымъ такимъ громаднымъ количествомъ данныхъ, обнаружилъ такую колоссальную ученость, что волей-неволей приходилось съ нимъ считаться. Но Марксъ, какъ извѣстно, не останавливался на «критикѣ политической экономіи». Послѣдовательный до конца, онъ взялся за практическую дѣятельность и обнаружилъ при этомъ такія неприятыя для буржуазіи наклонности, что Родбертусъ, несмотря на всю свою ученую ересь, явился просто агнцемъ въ сравненіи съ этимъ безпокойнымъ челоѣкомъ. Кромѣ того, и среда, къ которой обращались Марксъ и его послѣдователи, къ концу шестидесятихъ годовъ стала гораздо болѣе воспримчивой къ ихъ проповѣди, чѣмъ была она до февральской революціи. Движеніе западно-европейскаго рабочаго класса принимало все болѣе и болѣе грозный характеръ. Не дождавшись отъ буржуазіи облегченія своего положенія,

*

пролетаріи пришли къ тому убѣжденію, что «освобожденіе рабочихъ должно быть дѣломъ самихъ рабочихъ». Понятно, что «самопомощь», къ которой стремились теперь рабочіе, не имѣла ничего общаго съ «самопомощью», рекомендованной имъ, напимѣръ, Шульце-Деличемъ. Тогда-то вспомнили буржуазные экономисты, что гдѣ-то въ Помераніи проживаетъ, въ своемъ имѣніи, ученый, держащійся такихъ же, повидимому, какъ и Марксъ, научныхъ воззрѣній, но отличающійся гораздо болѣе смиреннымъ нравомъ. Особенно привлекательнымъ казалось для почтенныхъ ученыхъ то обстоятельство, что въ политикѣ Родбертусъ не только не раздѣлялъ воззрѣній Маркса или Лассалю, но и прямо объявлялъ себя консерваторомъ. Понятно, что въ томъ затруднительномъ положеніи, въ которое поставилъ экономистовъ авторъ «Капитала», Родбертусъ представлялъ для нихъ настоящую находку. Онъ являлся противоядіемъ, весьма полезнымъ для рабочихъ, зараженныхъ «лжеученіями» Маркса. Окончательнаго излеченія теоріи Родбертуса, конечно, принести имъ не могли, потому что въ сравненіи съ «любезновѣрными» бисмарковскому режиму катедеръ-соціалистами Родбертусъ все-таки, говоря его собственными словами, являлся «черною экономической душою». Но упомянутый выше консерватизмъ Родбертуса, считавшаго вредной всякую политическую самостоятельность рабочаго класса, дѣлалъ его гораздо менѣе опаснымъ для буржуазіи, чѣмъ Марксъ и его послѣдователи. Кромѣ того, Родбертусъ, какъ это видно изъ переписки его съ Лассалемъ, полагалъ, что окончательное осуществленіе его теоріи возможно не ранѣе... пятихотъ лѣтъ. Дѣло откладывалось, слѣдовательно, въ такой долгій ящикъ, что ученая «ересь» нашего автора утрачивала немалую долю своего пракческаго значенія. Оставались лишь ближайшія требованія Родбертуса, представлявшія собою самую слабую часть его воззрѣній и тѣмъ охотнѣе выдвигавшіяся на первый планъ буржуазными экономистами, чѣмъ меньше нужно было остроумія для обнаруженія ихъ несостоятельности.

Такимъ образомъ, Родбертусъ являлся меньшимъ изъ двухъ почти неизбежныхъ въ настоящее время на Западѣ золь. И несомнѣнно, что именно этому стеченію обстоятельствъ обязанъ онъ тѣмъ вниманіемъ, которое стали оказывать ему теперь катедеръ-соціалисты. Тому, кто называлъ бы наше объясненіе невѣроятнымъ, мы напомнимъ приемъ, оказанный книгѣ Кэри со стороны нѣмецкихъ «манчестерцевъ». Автору ея прощалось пристрастіе его къ покровительственному тарифу,—пристрастіе, составляющее, какъ извѣстно, смертный грѣхъ въ глазахъ «манчестерцевъ». Его провозгласили великимъ экономистомъ единственно во вниманіе къ заслугамъ его по измысленію новаго закона заработной платы, отличающагося весьма успокоительными свойствами.

Вообще, западно-европейскіе буржуазные экономисты находятся теперь далеко не въ такомъ положеніи, чтобы ихъ могла интересовать та

или другая теорія *an und für sich*. Рѣшающее значеніе имѣютъ въ ихъ глазахъ практическія стремленія авторовъ этихъ теорій и прежде всего, разумѣется, вопросъ о политической самодѣятельности рабочихъ классовъ. Писатель, выступающій противъ организаціи рабочихъ въ особую политическую партію, навѣрно пріобрѣтаетъ симпатіи буржуазныхъ экономистовъ, какими бы теоретическими соображеніями онъ при этомъ ни руководствовался.

Но если восторженные отзывы Ад. Вагнера о Родбертусѣ вызываются побужденіями, имѣющими очень мало общаго съ наукой, то это не уменьшаетъ заслугъ самого Родбертуса и не мѣшаетъ ему занимать одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ среди экономическихъ писателей XIX вѣка. Ставить его «выше Маркса и Энгельса», конечно, невозможно. Ученіе его не можетъ быть поставлено даже рядомъ съ ученіемъ этихъ послѣднихъ. Невѣрно также и то, что Родбертусъ, будто бы, *ранѣе* Маркса и Энгельса высказалъ тѣ положенія, которые легли потомъ въ основу «Капитала». Первое сочиненіе Родбертуса, «*Zur Erkenntniss unserer staatswirthschaftlichen Zustände*», появилось въ 1842 году. Менѣе чѣмъ черезъ два года послѣ этого начали выходить въ Парижѣ «*Deutsch-französische Jahrbücher*», издававшіяся Арнольдомъ Руге и Карломъ Марксомъ. Печатавшіяся въ этомъ изданіи статьи Маркса и Энгельса вовсе не были повтореніемъ мыслей, высказанныхъ въ 1842 году Родбертусомъ. Въ нихъ выражались, напротивъ, самостоятельныя воззрѣнія ихъ авторовъ, во многихъ случаяхъ несогласныя съ ученіемъ Родбертуса. Мы не говоримъ уже о книгѣ Энгельса «*Lage der arbeitenden Klassen in England* (1845), о «*Misère de la philosophie*» (1847) Маркса и другихъ сочиненіяхъ, въ которыхъ экономическая теорія означенныхъ авторовъ является уже въ довольно законченномъ видѣ. Факты не позволяютъ, слѣдовательно, утверждать, что авторъ «Капитала» заимствовалъ основныя свои положенія у Родбертуса. Они показываютъ, что Родбертусъ, Марксъ и Энгельсъ одновременно выступили на литературное поприще, и что первый изъ названныхъ писателей съ одной стороны, Энгельсъ и Марксъ—съ другой, уже съ начала сороковыхъ годовъ держались самостоятельныхъ, имѣвшихъ, правда, много общаго, но во многомъ и расходившихся теорій.

Но, оставляя въ сторонѣ излишнія притязанія, къ которымъ былъ склоненъ иногда и самъ Родбертусъ ¹⁾, за нимъ все-таки, повторяемъ, нужно признать огромныя заслуги въ экономической наукѣ. Сочиненія его должны возбуждать тѣмъ большій интересъ всякаго безпристрастнаго

¹⁾ „Вы увидите,—говоритъ онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Вагнеру,— что уже съ 1842 года я неизмѣнно держусь однихъ и тѣхъ же воззрѣній и что другіе, какъ, напримѣръ, Марксъ, натолкнулись на многое изъ того, что уже раньше было напечатано мною“.

человѣка, чѣмъ болѣе склонности къ злоупотребленію его именемъ обнаруживаютъ люди той или другой партіи. Ученіе его сохранило весь свой интересъ до настоящаго времени, такъ какъ многія положенія, общія ему съ Марксомъ и Энгельсомъ, и нынѣ еще вызываютъ ожесточенныя нападки буржуазныхъ экономистовъ. Еще большее значеніе имѣютъ его сочиненія для тѣхъ, кто желалъ бы ознакомиться съ исторіей экономическихъ ученій во второй половинѣ XIX столѣтія. Сравнительная оцѣнка теорій Родбертуса съ одной стороны и ученій «историко-реалистической школы»—съ другой какъ нельзя болѣе ясно показываетъ, кто внесъ дѣйствительно новый вкладъ въ науку и кто ограничился пережевываніемъ, перекраиваніемъ и даже порчей оставшагося отъ экономистовъ-классиковъ наслѣдства.

Въ виду этого нельзя не порадоваться появленію перевода, на русскій языкъ, историко-экономическихъ изслѣдованій Родбертуса. Съ своей стороны, мы считаемъ нелишнимъ представить читателямъ изложеніе экономической доктрины этого замѣчательнаго писателя.

I.

Прежде чѣмъ перейти къ экономическому ученію Родбертуса, мы позволимъ себѣ остановить вниманіе читателя на его жизни и практической дѣятельности. На это потребуется тѣмъ менѣе времени, что, во-первыхъ, сколько-нибудь полной его біографіи до сихъ поръ не существуетъ, а во-вторыхъ, большая часть жизни Родбертуса протекла въ мирной тиши ученаго кабинета, вдали отъ политическихъ тревогъ и волненій. Естественно поэтому, что біографія Родбертуса и не могла бы возбуждать въ читателѣ того живого интереса, который вызывается одной какой-нибудь «страницей изъ жизни Лассаля».

Карлъ Родбертусъ-Ягцовъ родился въ 1805 году въ Помераніи, учился сначала во Фридландѣ, потомъ въ Геттингенѣ и въ 1827 году, окончивши университетскій курсъ, поступилъ на службу. Но уже въ началѣ тридцатыхъ годовъ онъ вышелъ въ отставку и всецѣло посвятилъ себя научнымъ занятіямъ, обращая главное вниманіе на политическую экономію и родственныя ей отрасли общественной науки. Первымъ плодомъ этихъ занятій было упомянутое уже сочиненіе Родбертуса «Zur Erkenntniss unserer staatswirthsch. Zustände». Въ этомъ изслѣдованіи міросозерцаніе его, какъ экономиста, является уже въ совершенно законченномъ видѣ. Въ послѣдующихъ своихъ сочиненіяхъ Родбертусъ лишь дополнял и развивалъ тѣ положенія, которыя легли въ основу его перваго труда. Въ томъ видѣ, въ какомъ книга эта вышла въ свѣтъ, она представляетъ собою лишь первый выпускъ («erstes Heft») сочиненія, посвященнаго вопросу о «несовершенствахъ современныхъ общественно-

экономическихъ отношеній» и о способахъ устраненія этихъ «несовершенствъ». «Я старался—говорить онъ въ предисловіи,—доказать въ этомъ первомъ выпускѣ нѣкоторыя абстрактныя положенія, стоящія въ противорѣчій съ ходячими воззрѣніями, но представляющія собою необходимую теоретическую основу для моихъ практическихъ предложеній». Революціонная буря 1848 года помѣшала, однако, продолженію этого труда нашего автора и выдвинула его на политическую арену. Оригинальный, смѣлый и послѣдовательный мыслитель, онъ оказался, однако, плохимъ практическимъ дѣятелемъ, и не только не приобрѣлъ сильнаго вліянія на политическую жизнь своей родины, но даже не выработалъ себѣ, повидимому, сколько-нибудь опредѣленной программы. Въ періодъ самой горячей борьбы партій, когда каждая изъ нихъ стремилась повернуть ходъ событій, Родбертусъ находился въ какомъ-то нервнѣйшемъ состояніи, не защищалъ стараго, но и не боролся за торжество новаго. Мы сказали уже выше, что Родбертусъ называлъ себя консерваторомъ; но, строго говоря, опредѣленіе это не совсѣмъ точно. Воззрѣнія его, какъ практическаго дѣятеля, представляли собою оригинальную амальгаму экономическаго радикализма и политическаго консерватизма. «Мы переживаемъ теперь такую фазу историческаго развитія, въ которой радикализмъ и консерватизмъ... нисколько не противорѣчатъ другъ другу»—писалъ онъ въ 1851 году, когда опытъ только что пережитаго Европой революціоннаго движенія оставался еще совершенно свѣжимъ въ его памяти. Исходя изъ этого убѣжденія, онъ всегда смотрѣлъ на рѣшенія соціальнаго вопроса, какъ на важнѣйшую задачу осмысленнаго консерватизма. «Если подъ консерватизмомъ понимать охраненіе совершенно уже истлѣвшаго либеральнаго или антилиберальнаго тряпья, то нѣтъ ничего антиконсервативнѣе соціальнаго вопроса,—писалъ онъ въ началѣ семидесятыхъ годовъ.—Но если подъ консерватизмомъ разумѣть усиленіе монархической государственной власти, мирныя реформы, примиреніе общественныхъ классовъ подъ эгидой и на основаніи лучезарнаго «*summi cuique*», то нѣтъ ничего болѣе консервативнаго, чѣмъ соціальныя вопросы». Такой взглядъ на способы рѣшенія соціальнаго вопроса всегда отталкивалъ Родбертуса отъ крайнихъ демократическихъ партій. Но такъ какъ въ 48 году реакціонеры не додумались еще до бисмарковскаго заигрыванія съ рабочими классами, то и съ ихъ стороны онъ не могъ встрѣтить хотя бы притворно радушный пріемъ ¹⁾).

Когда учредительное собраніе въ Берлинѣ отклонило предложенный правительствомъ проектъ конституціи и когда, вслѣдствіе этого, ми-

¹⁾ «Въ 1848 году,—говоритъ онъ самъ въ одномъ изъ писемъ своихъ къ Рудольфу Мейеру,—меня считали то за реакціонера, то за краснаго» *einen Blutrothen*.

нистръ-президентъ Кампгаузенъ принужденъ былъ подать въ отставку, Родбертусъ попалъ было даже въ министры. Но въ этомъ званіи онъ оставался всего двѣ недѣли, убѣдившись вѣроятно, что «*suum cuique*» руководящихъ сферъ не совсѣмъ соотвѣтствовало его понятіямъ о справедливости. Въ слѣдующемъ году онъ снова былъ избранъ депутатомъ въ трирскомъ округѣ и въ Берлинѣ одновременно. На этотъ разъ онъ примкнулъ къ оппозиціи, что и дало, вѣроятно, поводъ нѣкоторымъ историкамъ, какъ, напримѣръ, Лоренцу, поставить его рядомъ съ Якоби и другими «демократическими вожаками». Впрочемъ, Родбертусъ не долго пробылъ и въ рядахъ оппозиціи. Отказавшись отъ политической дѣятельности, онъ поселился въ своемъ померанскомъ имѣніи «Ягцовъ» и сталъ дѣлать свое время лишь между сельскимъ хозяйствомъ и научными занятіями. Въ 1850 году онъ уже началъ изданіе своего новаго сочиненія, «Соціальныхъ писемъ къ Кирхману» (*Sociale Briefe an von-Kirchmann*). Поводомъ къ появленію этихъ писемъ послужили экономическія статьи фонъ-Кирхмана въ «*Democratischen Blättern*» 1849 года. Проникнутый симпатіями къ низшимъ классамъ общества, хорошо знакомый съ экономической литературой, фонъ-Кирхманъ производилъ тѣмъ болѣе сильное впечатлѣніе на своихъ читателей, что статьи его отличались живымъ и легкимъ изложеніемъ. Но хотя онъ сумѣлъ стать въ критическое отношеніе ко многимъ догматамъ современной ему экономической науки, однако въ воззрѣніяхъ его не было послѣдовательности и строгой систематичности, необходимыхъ для того, чтобы пролить новый свѣтъ на «несовершенства» общественно - экономического строя. По примѣру многихъ и многихъ писателей, міросозерцаніе которыхъ сложилось подъ влияніемъ борьбы различныхъ привилегированныхъ слоевъ общества за свое исключительное преобладаніе, фонъ-Кирхманъ нападалъ на «монополію» въ нѣкоторыхъ изъ ея проявленій, беря подъ свою защиту другіе виды той же самой «монополіи». Такъ, напримѣръ, онъ становился въ очень рѣзкое отношеніе къ поземельнымъ собственникамъ и «капиталистамъ», т. е. людямъ, доходъ которыхъ образуется изъ процентовъ съ отданнаго займа денежнаго капитала. По его мнѣнію, эти способы полученія дохода, безъ всякаго труда, были главной причиной большей части общественныхъ бѣдствій настоящаго времени. Фонъ-Кирхманъ совершенно упускалъ изъ виду, что прибыль предпринимателя представляетъ собою такой же неоплаченный трудъ работника, какъ и поземельная рента или процентъ на денежный капиталъ. Отвѣтомъ на эти статьи фонъ-Кирхмана и явились «*Соціальныя письма*» Родбертуса, въ которыхъ послѣдній противопоставилъ взглядамъ Кирхмана и другихъ писателей свою собственную теорію ренты и промышленныхъ кризисовъ. «*Sociale Briefe an von-Kirchmann*», вышедшія въ 1850—51 годахъ, содержатъ уже болѣе полное и подробное из-

ложенеі экономическаго ученія Родбертуса, чѣмъ первый трудъ его «Zur Erkenntniss etc». Вмѣстѣ съ тѣмъ, они являются послѣднимъ сочиненіемъ нашего автора, посвященнымъ общимъ вопросамъ народнаго хозяйства. Правда, нѣмецкая литература обогатилась съ тѣхъ поръ еще не однимъ трудомъ, вышедшимъ изъ-подъ пера Родбертуса. Но это были спеціальныя сочиненія, посвященныя частнымъ практическимъ вопросамъ и лишь мимоходомъ, затрагивавшія основныя теоремы экономической науки. Къ этой категоріи относятся изслѣдованія Родбертуса о поземельномъ кредитѣ, изъ которыхъ главное, «Zur Erklärung und Abhülfe der heutigen Kreditnoth des Grundbesitzes», вышло въ 1869 году въ Іенѣ. Къ тому же періоду литературной дѣятельности нашего автора относятся двѣ небольшія брошюры его по рабочему вопросу. Когда Лассаль началъ свою агитацію въ средѣ нѣмецкихъ рабочихъ, комитетъ «Рабочаго союза» обратился къ автору «Соціальныхъ писемъ» съ просьбой вступить въ какую-нибудь организацію или, по крайней мѣрѣ, помочь ей совѣтами и указаніями. Лассаль съ самымъ горячимъ сочувствіемъ относился къ мысли привлечь на сторону «Союза» Родбертуса, «Письма» котораго онъ, по его собственнымъ словамъ, прочелъ еще въ 1853 г. «съ величайшимъ вниманіемъ». Родбертусъ уступилъ письменнымъ настояніямъ Лассала и переслалъ ему для напечатанія свое «Открытое письмо комитету нѣмецкаго рабочаго союза», которое и появилось въ 1863 году въ Лейпцигѣ. Но желаннаго Лассалемъ полнаго соглашенія между нимъ и Родбертусомъ все-таки не произошло. Послѣдній не принялъ активнаго участія въ начинавшемся рабочемъ движеніи и, несмотря на неоднократныя просьбы Лассала, не появился даже ни на одномъ рабочемъ собраніи. Родбертуса смущала выработанная Лассалемъ программа союза, въ которой требованіе всеобщаго избирательнаго права занимало первое мѣсто. Лассаль добивался его, какъ извѣстно, съ цѣлью образованія особой политической партіи рабочихъ, что, какъ мы уже сказала выше, казалось Родбертусу не только излишнимъ, но даже и вреднымъ. Это и былъ важнѣйшій пунктъ разногласія, о который разбились воѣ стремленія этихъ замѣчательныхъ людей къ взаимному сближенію.

Съ бѣльшимъ сочувствіемъ отнесся Родбертусъ къ «соціально-консервативному» изданію «Berliner Revue», издававшемуся Рудольфомъ Мейеромъ. Родбертусъ не отказался сотрудничать въ немъ и написалъ для него нѣсколько статей. Самую интересную изъ нихъ является статья «О нормальномъ рабочемъ дѣѣ», вышедшая въ 1871 году отдѣльной брошюрой. Родбертусъ излагаетъ въ ней подробности, чѣмъ въ какомъ-либо другомъ своемъ сочиненіи, «практическія предложенія» свои, для которыхъ главныя труды его являлись лишь «необходимой теоретической основой». Онъ доказываетъ въ ней необходимость такихъ законодательныхъ постановленій, которыя позволили бы рабочимъ воспользоваться увеличеніемъ

производительности національнаго труда», не нарушая въ то же время «правъ поземельныхъ собственниковъ и капиталистовъ». Для оцѣнки экономической доктрины нашего автора брошюра эта имѣетъ очень важное значеніе. Намъ придется, поэтому, еще неоднократно возвращаться къ ней въ нашемъ дальнѣйшемъ изложеніи. Теперь же мы скажемъ нѣсколько словъ о другого рода работахъ Родбертуса, тѣсно связанныхъ съ экономическимъ его изслѣдованіемъ.

Какъ увидитъ читатель изъ слѣдующихъ главъ нашей статьи, одною изъ характернѣйшихъ особенностей ученія Родбертуса было убѣжденіе его въ томъ, что существующія нынѣ формы общественно-экономическихъ отношеній нельзя разсматривать, какъ постоянныя и неизмѣнныя, возникшія съ первыхъ же шаговъ экономической дѣятельности человѣка и безусловно для нея необходимыя. Свойственный капиталистическому обществу способъ производства, обмѣна и распределенія представлялся ему не болѣе какъ «*исторической категоріей*», созданной экономической необходимостью и носящей въ самой себѣ задатки дальнѣйшаго своего развитія и преобразованія. Естественно было поэтому, что изслѣдованія Родбертуса не ограничивались экономической жизнью современнаго общества. Ему необходимо было обратиться къ изученію исторіи, чтобы открыть въ ней законы, подъ вліяніемъ которыхъ совершаются образованіе и смѣна общественно-экономическихъ формаций. И онъ не только хорошо ознакомился съ экономической исторіей цивилизованныхъ народовъ, но и внесъ нѣсколько цѣнныхъ вкладовъ въ литературу этого предмета. Съ 1864 г. онъ сталъ помѣщать свои изслѣдованія по политической экономіи классической древности въ «*Jahrbücher für Nationale-Oekonomie und Statistik*», издававшихся Бруно Гильдебрандомъ. Первымъ изъ этихъ историко-экономическихъ трудовъ Родбертуса былъ переведенный нынѣ на русскій языкъ опытъ объ «адскрипціяхъ, инквилинахъ и колонатахъ». За нимъ послѣдовали статьи «объ исторіи римскаго трибута со временъ Августа», «о стоимости денегъ въ древнемъ мірѣ» и т. д. И хотя работы этого рода далеко не составляютъ главной ученой заслуги Родбертуса, но историки оказались болѣе внимательными къ трудамъ непринадлежавшаго къ ихъ цеху писателя, чѣмъ экономисты. Историческія изслѣдованія Родбертуса еще при жизни его обратили на себя серьезное вниманіе спеціалистовъ. По словамъ Ад. Вагнера, изслѣдованія эти «высоко цѣнятся историками-спеціалистами. Хотя нѣкоторыя его заключенія, — напримѣръ, по вопросу о возникновеніи колоната, — до сихъ поръ еще подвергаются оспариванію, но даже тѣ, которые пришли по этому вопросу къ другимъ выводамъ, относятся къ трудамъ его съ величайшимъ уваженіемъ. Даже такой выдающійся знатокъ римскихъ древностей, какъ Л. Фридлендеръ, сознается, что ему въ его изслѣдованіяхъ о римскомъ народонаселеніи «оказали существенную услугу подробныя письменныя

указанія Родбертуса». Ад. Вагнеръ совершенно вѣрно прибавляетъ, что Родбертусъ имѣлъ «почти передъ всѣми безъ исключенія историками и филологами огромное преимущество, заключавшееся въ основательномъ знакомствѣ съ политической экономіей и сельско-хозяйственной техникой». Благодаря своимъ экономическимъ познаніямъ онъ умѣлъ поставить изучаемое имъ историческое явленіе на реальную почву развитія общественнаго хозяйства. Такимъ образомъ, онъ сразу выходилъ изъ заколдованнаго круга туманныхъ гипотезъ о «народномъ духѣ» и вліяніи этого «духа» на политическую и правовую исторію общества. Для примѣра сошлемся на вопросъ о причинахъ перехода рабства въ ту форму зависимости, которая извѣстна подъ именемъ крѣпостничества. Извѣстно, что вопросъ этотъ давно уже привлекалъ къ себѣ вниманіе историковъ, причѣмъ одни приписывали названый переходъ вліянію христіанства, другіе апеллировали къ особымъ свойствамъ «германскаго духа». Первымъ противорѣчили несомнѣнные историческіе факты ¹⁾, вторые ничѣмъ не могли подтвердить свою мысль. Родбертусъ взглянулъ на дѣло съ точки зрѣнія экономической, и оно,—по крайней мѣрѣ, по отношенію къ римскимъ хозяйственнымъ условіямъ,—представилось въ совершенно ясномъ свѣтѣ. Въ своемъ изслѣдованіи объ «адскрипціяхъ, инквилинахъ и колонахъ» онъ показалъ, что для «интенсивнаго, отличнаго отъ римскаго способа обработки полей необходима была непосредственная выгода самого воздѣльвателя, а отсюда—участіе владѣльца и, вслѣдствіе этого, только мелкое хозяйство. При нашихъ теперешнихъ общественныхъ условіяхъ это повело бы къ образованію свободнаго класса арендаторовъ мелкихъ участковъ, съ платою аренды деньгами. «Но однихъ вольноотпущенниковъ было недостаточно для образованія такого класса, да къ тому же существовали уже кромѣ того рабы, которые приставлены были къ лавкамъ и мелочнымъ лавочкамъ на условіяхъ, аналогичныхъ съ полевыми институтами. Что же касается денежной аренды, то, повидному, и начато было съ нея, но по тѣмъ же причинамъ, которыя лежали въ общихъ условіяхъ древняго натуральнаго хозяйства, и вслѣдствіе обезцѣненія денегъ, отъ нея должны были отказаться. Словомъ, мелкое хозяйство и мелкая аренда, вынужденныя обстоятельствами, видоизмѣнились подъ вліяніемъ существовавшихъ условій такъ, что въ арендаторы бралась, главнѣйшимъ образомъ, раба, и аренда уплачивалась при этомъ натурой». Затѣмъ, подъ вліяніемъ государственныхъ потребностей, «законодательство прикрѣпило колоновъ къ землѣ», и рабы-арендаторы превратились въ крѣпостныхъ, платившихъ «вмѣсто прежней произвольной аренды только канонъ» ²⁾.

¹⁾ Ср. Histoire de l'esclavage ancien et moderne par A. Tourmagne, главу III пятой книги (Le christianisme a-t-il détruit l'esclavage?), а также F. Laurent „La féodalité et l'église“ главу—„Affranchissement des serfs“.

²⁾ См. „Изслѣдованія въ области національной экономіи классической древности“. Выпускъ первый, стр. 15, 34—35.

Это изслѣдованіе Родбертуса показываетъ, что и рѣшеніе болѣе общаго вопроса о причинахъ исчезновенія рабства и замѣны его крѣпостною зависимостью въ средневѣковой Европѣ можетъ быть найдено лишь въ хозяйственныхъ условіяхъ того времени. И въ этомъ смыслѣ «Изслѣдованія въ области національной экономіи классической древности» имѣютъ большое философско-историческое значеніе.

Но если до сихъ поръ рѣдки экономисты, рассматривающіе хозяйственный строй современной Европы какъ переходящую «историческую категорию», то нужно сознаться, что еще рѣже встрѣчаются историки, отводящіе экономическому «фактору» надлежащее мѣсто въ своихъ обобщеніяхъ. Неудивительно поэтому, что интересъ, возбужденный историческими изслѣдованіями Родбертуса въ средѣ специалистовъ, ограничивался предѣлами того или другого изъ разработанныхъ имъ вопросовъ. Его оригинальные философско-историческіе взгляды,—по свидѣтельству того же Ад. Вагнера,—«обратили на себя гораздо менѣе вниманія», а еще того менѣе встрѣтили они согласія и одобренія.

Сотрудничество Родбертуса въ гильдебрандовскихъ «Jahrbücher» продолжалось до 1874 года, къ которому относится послѣднее напечатанное историческое его изслѣдованіе «Bedenken gegen den von den Topographen Rom's angenommenen Tract der Aurelianischen Mauer». Исторія не отвлекла его, однако, отъ главнаго предмета его занятій—общихъ вопросовъ политической экономіи. Въ 1875 году вышло новое изданіе двухъ послѣднихъ «Писемъ» его къ Кирхману. Въ предисловіи къ этому изданію Родбертусъ говоритъ, что онъ «намѣревался прибавить къ этимъ двумъ письмамъ новый отдѣлъ, который рассматривалъ бы логическую сущность главныхъ національно-экономическихъ понятій въ различныхъ историческихъ, одна другую смѣняющихъ формахъ ихъ развитія».

Въ этомъ отдѣлѣ онъ имѣлъ въ виду «провести рѣзкую черту различія между логическими и историческими категоріями во всѣхъ частяхъ экономической науки, главнымъ же образомъ въ ученіи о капиталѣ». Но ему не удалось исполнить это намѣреніе. Продолжительная болѣзнь, къ которой присоединилась еще потеря глаза, помѣшала ему докончить этотъ написанный уже начерно отдѣлъ ко времени печатанія второго изданія его «Соціальныхъ писемъ къ Кирхману», а черезъ пять мѣсяцевъ по выходѣ въ свѣтъ этого изданія Родбертуса уже не стало. Онъ скончался въ своемъ имѣніи Ягцевоѣ 6-го декабря 1875 года отъ воспаленія легкихъ. Одинъ изъ друзей покойнаго, биографъ и издатель фонъ-Тюнена, Шумахеръ-Цархлинъ взялъ на себя приведеніе въ порядокъ и изданіе оставшагося послѣ него «литературнаго наслѣдства». А оно оказалось очень цѣннымъ. Въ бумагахъ Родбертуса было найдено введеніе къ «Соціальнымъ письмамъ», написанное для предполагавшагося второго изданія его пер-

ваго «Письма», не вошедшаго въ изданіе 1875 года. Почти совершенно окончениымъ и готовымъ къ печати оказалось новое, четвертое «Письмо», представляющее собою, очевидно, тотъ «новый отдѣлъ», который Родбертусъ считалъ необходимымъ для законченнаго изложенія своихъ воззрѣній. Этому отдѣлу былъ посвященъ послѣдній остатокъ силъ семидесятилѣтняго ученаго. Не далѣе какъ за двѣ недѣли до своей смерти Родбертусъ писалъ Ад. Вагнеру, что его «пріѣздъ въ Берлинъ замедляется все болѣе и болѣе», такъ какъ онъ «непремѣнно хочетъ окончить» свое продолженіе «Соціальныхъ писемъ къ Кирхману». Это сочиненіе появилось въ печати подъ именемъ «Капитала» послѣ того, какъ написаны были эти статьи. Оно не даетъ, однако, ничего новаго для характеристики экономическихъ взглядовъ Родбертуса. Изъ другихъ рукописей заслуживаетъ особеннаго интереса незаконченнае еще изслѣдованіе о распредѣленіи національнаго дохода въ Англіи. Это изслѣдованіе должно было служить иллюстраціей къ ученію Родбертуса о распредѣленіи дохода между различными классами современнаго общества.

Весьма интереснымъ дополненіемъ къ литературнымъ трудамъ Родбертуса можетъ служить переписка со многими изъ его современниковъ. По замѣчанію Ад. Вагнера, «Родбертусъ былъ однимъ изъ тѣхъ немногихъ, которые пишутъ теперь длинныя ученые письма». Онъ охотно вступалъ въ переписку со всѣми, обращавшими на себя его вниманіе оригинальностью своихъ воззрѣній или готовностью содѣйствовать осуществленію его «практическихъ предположеній». Мы говорили уже выше, что въ самый горячій періодъ агитаціи Лассаля Родбертусъ состоялъ съ нимъ въ перепискѣ, касавшейся какъ практической злобы дня, такъ и общихъ вопросовъ экономіи и права. Письма Лассаля къ Родбертусу, найденныя въ бумагахъ послѣдняго, вышли потомъ отдѣльнымъ изданіемъ. Нельзя не пожалѣть, что до сихъ поръ не найдены письма Родбертуса къ Лассалю, и, такимъ образомъ, знакомство наше съ перепискою этихъ двухъ замѣчательныхъ людей остается одностороннимъ. Но зато уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ обнародованы письма Родбертуса къ Ад. Вагнеру и архитектору Петерсу въ Шверинѣ ¹⁾. Въ профессорѣ Вагнерѣ онъ надѣялся, по-видимому, встрѣтить экономиста, способнаго усвоить болѣе широкое міросозерцаніе, чѣмъ то, на которомъ остановились молодые отпрыски «историко-реалистической школы» — катедеръ-соціалисты. Впослѣдствіи онъ убѣдился, по-видимому, въ неосновательности своихъ ожиданій, какъ объ этомъ можно судить, по крайней мѣрѣ, по письму его къ тому же Ад. Вагнеру отъ

¹⁾ Статья эта была уже окончена, когда появилась въ печати переписка Родбертуса съ Рудольфомъ Мейеромъ, въ видѣ двухъ небольшихъ томиковъ, содержащихъ въ себѣ также нѣкоторыя статьи Родбертуса изъ «Berliner Review». Намъ придется коснуться этого изданія при оцѣнкѣ «практическихъ предложеній» автора.

20-го іюня 1872 года. Мы приведемъ отрывокъ изъ этого письма, такъ какъ самъ Ад. Вагнеръ справедливо замѣчаетъ, что «оно характеризуетъ принципиальное отношеніе Родбертуса къ соціальному вопросу». Рѣчь идетъ въ этомъ письмѣ о задуманномъ въ 1872 году планѣ объединенія экономистовъ «антаманчестерскаго» направленія. «Я не могу выразить вамъ,—писалъ по этому поводу Родбертусъ,—до какой степени счастливою кажется мнѣ мысль объ объединеніи людей науки противъ этого псевдо-научнаго направленія (т. е. «манчестерства»)». Но, признаюсь вамъ, я не думаю, чтобы ваше объединеніе могло и должно было идти дальше единодушнаго протеста противъ манчестерства. Въ соціальномъ вопросѣ вы не согласитесь и не можете согласиться между собою. Въ лучшемъ случаѣ вы должны будете выработать, чтобы не разойтись, родъ мозаичной программы (eine Art Mosaikprogramm), въ которую каждый положитъ свой камень. Но я думаю, что это имѣло бы свои большія неудобства и скорѣе усыпило бы, чѣмъ возбудило вниманіе общества». Поэтому Родбертусъ проситъ при выработкѣ программы «обойтись безъ его участія». Онъ прибавляетъ, что участіе повело бы ко взаимнымъ неудовольствіямъ. «При вашемъ благосклонномъ мнѣніи обо мнѣ вы совершенно упустили изъ виду, какимъ злостнымъ еретикомъ, какою черною національно-экономическою душою являюсь я въ нашей наукѣ... Поэтому многіе приняли бы меня за «Бебеля высшаго сорта», и вы сами были бы, въ концѣ концовъ, не рады, что связались со мною по поводу соціальнаго вопроса». И дѣйствительно, членамъ айзенаскаго союза вообще, а профессору Ад. Вагнеру въ особенности, Родбертусъ былъ далеко не товарищъ. При всемъ своемъ «радикальномъ консерватизмѣ», онъ никогда не сталъ бы провозглашать бисмарковскій способъ рѣшенія вопроса квинтъ-эссенціей соціально-реформаторской мудрости, какъ это дѣлалъ Ад. Вагнеръ во время послѣднихъ выборовъ въ рейхстагъ.

Что касается архитектора Петерса, то онъ заинтересовалъ Родбертуса составленіемъ «Вспомогательныхъ таблицъ» для опредѣленія «нормальнаго рабочаго дня». Таблицы эти имѣли огромное значеніе для «практическихъ предложеній» автора «Соціальныхъ писемъ къ Кирхману», и намъ придется еще коснуться ихъ, равно какъ и возникшей по поводу ихъ переписки, когда мы будемъ говорить о предложенныхъ Родбертусомъ способахъ рѣшенія соціальнаго вопроса.

Переходя теперь къ изложенію его экономической теоріи, мы напомнимъ читателю, что нашему автору не удалось издать ни одного сочиненія, которое могло бы назваться полнымъ и систематическимъ изложеніемъ его ученія. Намъ придется, поэтому, пользоваться какъ различными литературными произведеніями, такъ и ученою перепискою Родбертуса. При этомъ мы можемъ не стѣсняться, въ нашемъ изложеніи, соображеніями о времени выхода того или другого изъ его

сочиненій. Онъ самъ говорилъ, что во все продолженіе своей учено-литературной дѣятельности онъ неизмѣнно держался однихъ и тѣхъ же политико-экономическихъ воззрѣній.

II.

По основнымъ положеніямъ своей доктрины, Родбертусъ былъ ученикомъ и послѣдователемъ Смита и Рикардо. Во второмъ *«Письмѣ къ Кирхману»* онъ самъ говоритъ, что теорія его «есть лишь послѣдовательный выводъ изъ того — введеннаго въ науку Смитомъ и еще глубже обоснованнаго школой Рикардо — положенія, по которому *все предметы потребленія, съ экономической точки зрѣнія, должны разсматриваться лишь какъ продукты труда, которые ничего кромѣ труда не стоятъ»*. Но къ тому времени, когда нашъ авторъ выступилъ на литературное поприще, это основное положеніе классической экономіи далеко не могло назваться общепризнаннымъ въ наукѣ. Съ легкой руки Ж. Б. Сая возникло и развилось новое ученіе о стоимости которое, на мѣсто вполне опредѣленнаго понятія о трудѣ старалось поставить лишенное всякаго реального содержанія понятіе о «производительныхъ услугахъ»; трудъ, затраченный въ производствѣ, смѣшивало съ заработной платой и т. д., и т. д. Мало-по-малу въ заложенное Смитомъ и Рикардо зданіе экономической науки нанесена была такая масса всякаго хлама, что невозможно было продолжать постройку этого зданія безъ предварительной радикальной его очистки. Кромѣ того и само ученіе школы Смита-Рикардо, въ чистомъ его видѣ, нуждалось въ пересмотрѣ и сообразныхъ съ обстоятельствами времени поправкахъ. Нужно было отдѣлить сущность ученія экономистовъ-классиковъ отъ ихъ второстепенныхъ, болѣе или менѣе случайныхъ, болѣе или менѣе ошибочныхъ положеній. Нужно было сопоставить ихъ взгляды на вѣроятный исходъ общественнаго развитія съ тѣмъ состояніемъ, въ которомъ находилась Западная Европа въ концѣ первой половины XIX столѣтія. Чувствовалась потребность подвести итоги всему тому, что выиграло и потеряло общество съ тѣхъ поръ, какъ, освободившись отъ феодальныхъ путъ, оно пошло по пути капиталистическаго развитія. Экономическая наука пришла въ «критическій періодъ» своего развитія. Люди безпристрастные находили, что не все идетъ къ лучшему въ царствѣ «свободной конкуренціи», что невыносимое положеніе рабочихъ классовъ грозитъ дѣльнымъ рядомъ революціонныхъ движеній и требуетъ безотлагательнаго принятія самыхъ серьезныхъ мѣръ. А періодическіе промышленные кризисы, губительно отражавшіяся на благосостояніи всѣхъ классовъ общества, заставляли задуматься даже тѣхъ, которые изъ-за благоденствія буржуазіи не за-

мѣтили бы бѣдствій пролетаріата. «Недостатки экономическихъ отношеній нашего времени,—писалъ Родбертусъ,—признаются теперь всѣми: аристократіей и народомъ, людьми, стремящимися вернуть прошлое, защитниками настоящаго и провозвѣстниками будущаго, тѣми, которые воображаютъ, что наука о народномъ хозяйствѣ достигла уже высшей точки своего развитія, равно какъ и тѣми, которые едва признаютъ ее за науку». Но когда заходила рѣчь о способахъ устраненія этихъ недостатковъ, то различіе интересовъ, положеній и направленій вступало въ свои права и подсказывало весьма различныя, часто диаметрально противоположныя мнѣнія. Между реакціонерами, которые, по словамъ Родбертуса, «искали спасенія въ возвратѣ къ средневѣковымъ отношеніямъ», и тѣми крайними партіями, которыя «хотѣли однимъ скачкомъ перенестись въ общественный строй, не имѣющій никакихъ точекъ соединенія съ настоящимъ», располагалось множество отгѣнковъ болѣе умѣреннаго образа мыслей. Нашъ авторъ былъ однимъ изъ первыхъ экономистовъ, пришедшихъ къ тому убѣжденію, что причина этихъ «несовершенствъ» лежитъ въ эксплуатаціи человѣка человекомъ, и рѣшившихся искать способовъ къ ея устраненію или, по крайней мѣрѣ, ограниченію. Чуждый того пододрѣтаго оптимизма, который уже въ то время считался однимъ изъ несомнѣннѣйшихъ признаковъ благонамѣренности, Родбертусъ не скрывалъ отъ своихъ читателей ни размѣровъ зла, ни историческаго его значенія. Рѣзкими и смѣлыми штрихами нарисовалъ онъ безотрадную картину современныхъ общественныхъ отношеній. «Пауперизмъ и торговые кризисы,—писалъ онъ въ первомъ «Письмѣ къ Кирхману»,—таковы, стало быть, жертвы, которыми заплатило общество за свою свободу. Новыя правовыя учрежденія освободили его отъ прежнихъ цѣпей; оно вступило въ обладаніе всѣми своими производительными силами; механика и химія отдали въ его распоряженіе силы природы; кредитъ подаетъ надежду на устраненіе другихъ препятствій,—словомъ, матеріальныя условія, необходимыя для того, чтобы свободное общество сдѣлать также и счастливымъ, находятся налицо,—а между тѣмъ, смотрите, новое бѣдствіе заняло мѣсто стараго безправія. Рабочіе классы, которые приносились прежде въ жертву юридической привилегіи, отданы во власть привилегіи фактической, и эта послѣдняя обращается повременамъ противъ самихъ привилегированныхъ. Пять шестыхъ націи, благодаря ничтожности своего дохода, не только были лишены до сихъ поръ всѣхъ благодѣяній цивилизаціи, но претерпѣвали иногда самыя страшныя бѣдствія нищеты, которая угрожаетъ имъ непрерывно. А между тѣмъ они — творцы всего общественнаго богатства. Ихъ работа начинается съ восходомъ и кончается только съ закатомъ солнца, часто продолжается и ночью, но никакія усилія съ ихъ стороны не могутъ измѣнить ихъ положенія. №

возвышая своего заработка, они теряют послѣдніе остатки времени, которыми могли бы воспользоваться для своего образованія... вмѣстѣ съ ростомъ національнаго богатства растутъ объѣднѣніе рабочихъ классовъ; чтобы воспрепятствовать удлинению рабочаго дня, является надобность въ спеціальныхъ законахъ; наконецъ, численный составъ рабочаго класса увеличивается въ пропорціи большей, чѣмъ численность остальныхъ классовъ общества». Какъ человѣкъ, сумѣвшій возвыситься надъ классовыми предрасудками буржуазныхъ экономистовъ, Родбертусъ увидѣлъ, что главною задачей политической экономіи должно быть отнынѣ изысканіе средствъ для облегченія бѣдственнаго положенія пролетаріата. Онъ понималъ, что рабочіе классы, какъ «творцы общественнаго богатства», имѣютъ неоспоримое право на болѣе широкое пользованіе этимъ богатствомъ. «Я согласенъ,—продолжаетъ онъ, обрисовавши бѣдственное положеніе «пяти шестыхъ націи»,—что до настоящаго времени цивилизація нуждалась въ такомъ огромномъ количествѣ бѣдствій для своего пьедестала. Но цѣлый рядъ удивительнѣйшихъ изобрѣтеній, увеличившихъ производительность человѣческаго труда болѣе чѣмъ во сто разъ, далъ возможность устранить эту печальную необходимость. Благодаря названнымъ изобрѣтеніямъ національное богатство увеличивается въ возрастающей прогрессіи... Я спрашиваю: можетъ ли существовать болѣе справедливое требованіе, чѣмъ требованіе того, чтобы творцы этого стараго и новаго богатства получили хоть какую-нибудь пользу отъ его увеличенія; чтобы увеличился ихъ доходъ, или сократилась продолжительность ихъ работы, или, наконецъ, чтобы все большее число ихъ переходило въ ряды тѣхъ очастливцевъ, которые пожинаютъ плоды ихъ труда? Но общественное хозяйство приносило до сихъ поръ прямо противоположные результаты».

Констатировавши такимъ образомъ, что распредѣленіе продуктовъ въ буржуазномъ обществѣ противорѣчитъ «самымъ справедливымъ требованіямъ», Родбертусъ переходитъ къ другому «недостатку» современнаго экономическаго строя — періодически возвращающимся торговымъ кризисамъ.

Если современный способъ распредѣленія губительно отзывается на благосостояніи рабочихъ, то промышленные кризисы не падаютъ и капиталистовъ. «Они представляютъ собою бичъ, терзающій повременамъ черезчуръ ожирѣвшее тѣло капитала». Но рабочимъ отъ этого, разумѣется, не легче. «Болѣзнь охватываетъ весь общественный организмъ и въ особенности поражаетъ тѣ классы общества, которые менѣе всего могутъ назваться ея виновниками. Тогда выступаетъ на сцену нелѣпое явленіе, магазины оказываются переполненными товарами въ то время, когда рабочіе терпятъ самую страшную нужду. Тогда соединяются вещи, по видимому, совершенно несоединимыя».

Торговые кризисы самым тѣснымъ образомъ связаны, по мнѣнію Родбертуса, съ пауперизмомъ, а этотъ послѣдній является слѣдствіемъ того закона заработной платы, который, подъ именемъ «железнаго закона Лассалья», надѣлалъ столько шуму въ нѣмецкой экономической литературѣ. Въ дѣйствительности законъ этотъ такъ же мало можетъ назваться «закономъ Лассалья», какъ теорія происхожденія видовъ можетъ назваться теоріей Геккеля или теоріей какого-нибудь другого изъ ея популяризаторовъ. Даже еще менѣе, потому что «железный законъ» почти такъ же старъ, какъ стара *наука* о народномъ хозяйствѣ. Законъ этотъ признавался еще Тюрго, Смитомъ и Рикардо, и Лассаль былъ совершенно правъ, говоря, что онъ можетъ, въ подтвержденіе своихъ словъ, сослаться на столько великихъ и славныхъ именъ, сколько ихъ было въ исторіи экономической науки. Какъ писатель, не отказавшійся отъ научнаго наследства экономистовъ-классиковъ, Родбертусъ принималъ этотъ законъ вмѣстѣ со всѣми вытекавшими изъ него выводами. Но само собою понятно, что въ половинѣ XIX столѣтія сама жизнь сдѣлала такіе выводы изъ этого закона, какихъ и не подозревали Тюрго, Смитъ или Рикардо. Родбертусъ не могъ поэтому формулировать его съ олимпійскимъ спокойствіемъ экономистовъ-классиковъ. Адамъ Смитъ ограничился по поводу этого закона тѣмъ замѣчаніемъ, что «мало утѣшительнаго въ судьбѣ челоуѣка, не имѣющаго другихъ источниковъ дохода кромѣ своего труда». Родбертусъ сдѣлалъ его исходной точкой своихъ реформаторскихъ плановъ.

«Главною цѣлью моихъ изслѣдованій,—писалъ онъ въ первомъ своемъ сочиненіи ¹⁾),—будетъ увеличеніе доли рабочаго класса въ національномъ продуктѣ, — увеличеніе, избавленное отъ измѣнчивыхъ вліяній рынка и построенное на прочномъ основаніи. Я хочу доставить этому классу возможность извлекать пользу изъ возрастанія производительности труда. Я хочу устранить господство того закона, который иначе можетъ оказаться гибельнымъ для нашихъ общественныхъ отношеній,—закона, по которому заработная плата самыми условіями рынка всегда понижается до уровня насущнѣйшихъ потребностей рабочаго, какъ бы ни возвышалась при этомъ производительность труда. Этотъ уровень платы лишаетъ рабочихъ возможности получить надлежащее образованіе и составляетъ самое вопіющее противорѣчіе съ ихъ современнымъ правовымъ положеніемъ, съ тѣмъ формальнымъ равенствомъ ихъ съ прочими сословіями, которое провозглашено нашими важнѣйшими учрежденіями». Обнаруженіе тѣсной связи между пауперизмомъ и торговыми кризисами Родбертусъ считаетъ одною изъ главныхъ заслугъ своей экономической теоріи. Онъ неоднократно повторяетъ это во второмъ «Письмѣ къ Кирхману». Всѣ разногласія между нимъ и Кирхманомъ авторъ «Письма» объясняетъ именно

¹⁾ См. „Zur Erkenntniss unserer staatswirthsch. Zustände“, S. 28—29 въ при-
мѣчаніи.

тѣмъ, что Кирхманъ, «подобно многимъ другимъ, сводить эти печальныя явленія не къ одному и тому же основанію, не къ одному и тому же недостатку въ современной общественно-экономической организаціи»¹⁾. Неудивительно поэтому, что, обезпечивая рабочимъ большую долю въ національномъ продуктѣ, нашъ авторъ надѣялся тѣмъ самымъ «устранить періодическіе, страшные промышленные кризисы»²⁾. Посмотримъ же внимательнѣе, какъ доказываетъ Родбертусъ существованіе «железнаго закона» и связь его съ науперизмомъ и кризисами, этими «бичами», изъ которыхъ послѣдній терзаетъ, безъ разбора, и исхудавшія плечи труда и «ожирѣвшее тѣло капитала».

«Если экономическая жизнь общества,—говоритъ нашъ авторъ,—въ отношеніи распредѣленія національнаго продукта предоставлена самой себѣ, то извѣстныя, связанныя съ развитіемъ общества условія ведутъ къ тому, что при возрастающей производительности общественнаго труда заработная плата составляетъ все меньшую и меньшую часть національнаго продукта» (Курсивъ Родбертуса). Это относительное уменьшеніе заработной платы не всегда сопровождается уменьшеніемъ количества предметовъ потребленія, поступающихъ въ распоряженіе рабочаго. Другими словами, относительное уменьшеніе заработной платы не всегда сопровождается абсолютнымъ ея уменьшеніемъ. Допустимъ, что въ настоящее время каждый земледѣльческій рабочій производитъ своимъ трудомъ вдвое больше хлѣба, чѣмъ производилъ онъ въ прошломъ столѣтіи. Предположимъ также, что заработная плата его равняется пятидесяти четвертямъ хлѣба, и что тому же равнялась она и въ прошломъ столѣтіи. Тогда окажется, что, не потерпѣвши никакого количественнаго измѣненія, заработная плата все-таки стала представлять собою вдвое меньшую часть земледѣльческаго продукта. Если прежде она составляла *половину* всего произведеннаго трудомъ работника хлѣба, то теперь она будетъ равняться *четвертой части* его количества. Какъ *часть* продукта, она уменьшилась бы даже въ томъ случаѣ, если вмѣсто пятидесяти четвертей хлѣба она равнялась бы теперь шестидесяти или даже восьмидесяти четвертямъ. Только поднявшись до ста четвертей, стала бы она въ прежнее отношеніе къ общей суммѣ продукта, т. е., какъ и въ прошломъ столѣтіи, составляла бы ея половину. Но Родбертусъ не допускаетъ возможности подобнаго возвышенія заработной платы въ современномъ обществѣ. Вся суть социальнаго вопроса именно въ томъ, по его мнѣнію, и заключается, что возрастаніе производительности труда не сопровождается пропорціональнымъ ему увеличеніемъ заработной платы.

«Я убѣжденъ,—говоритъ нашъ авторъ,—что плата за трудъ, разсматриваемая какъ часть продукта, *падаетъ* по меньшей мѣрѣ въ той

1) См. Zur Beleuchtung der socialen Frage, Zweiter Brief, S. 1.

2) Zur Erkenntniss etc. S, 29.

же, если еще не въ большей пропорціи, въ какой увеличивается производительность труда»¹⁾).

«Вы должны согласиться,—продолжалъ онъ, обращаясь къ Кирхману,—что ежели можетъ быть доказано постоянное уменьшеніе заработной платы, какъ части продукта, то связь этого обстоятельства съ пауперизмомъ и торговыми кризисами обнаружится сама собою».

Въ самомъ дѣлѣ, благодаря относительному уменьшенію заработной платы, положеніе рабочихъ классовъ нисколько не улучшается съ возрастаніемъ національнаго богатства. Въ то время, какъ высшіе классы общества достигаютъ неслыханнаго прежде благосостоянія, количество предметовъ потребленія, достаемыхся рабочимъ въ видѣ заработной платы, остается неизмѣннымъ, да и это бываетъ, по мнѣнію Родбертуса, лишь «въ лучшемъ случаѣ». Очень часто обогащеніе высшихъ классовъ сопровождается *уменьшеніемъ* дохода рабочихъ. Такое распределеніе продуктовъ, естественно, влечетъ за собою появленіе пауперизма, именно въ тотъ періодъ экономическаго развитія, когда улучшенные способы производства могли бы, казалось, обезпечить благосостояніе всѣхъ классовъ общества. Нужно помнить, что понятіе о богатствѣ или бѣдности даннаго лица или класса—понятіе относительное. Родбертусъ полемизируетъ противъ Адама Смита, утверждавшаго, что «человѣкъ богатъ или бѣденъ, смотря по тому, въ какой мѣрѣ можетъ онъ обезпечить себѣ удовлетвореніе своихъ потребностей, наслажденія и удобства жизни». Онъ справедливо замѣчаетъ, что, держась даннаго Смитомъ опредѣленія, мы пришли бы къ весьма страннымъ выводамъ. Мы должны были бы признать, «что зажиточный нѣмецъ нашего времени богаче древнихъ королей, или даже, что въ древности совсѣмъ не было богатыхъ. Однако, богатые и бѣдные существовали и въ самыя древнія времена. Поэтому подъ богатствомъ (лица или класса) нужно понимать *относительную долю* (этого лица или класса), въ общей массѣ продуктовъ, существующей на извѣстной стадіи культурнаго развитія народа»²⁾, независимо отъ того, какое количество удобствъ и наслажденій можетъ доставить эта *доля* ея обладателю. Возрастающее обѣдненіе рабочихъ классовъ можетъ, слѣдовательно, считаться доказаннымъ, если будетъ доказано, что *относительная доля* рабочихъ въ національномъ продуктѣ падаетъ въ той же пропорціи, въ какой увеличивается производительность ихъ труда.

Перейдемъ къ промышленнымъ кризисамъ. Если заработная плата, какъ *часть* продукта, постоянно понижается, то покупательная сила рабочихъ классовъ, т. е. четырехъ пятыхъ или пяти шестыхъ всего населенія, не можетъ оставаться въ соотвѣтствіи съ развитіемъ производи-

¹⁾ „Zur Beleuchtung etc.“ S. 25.

²⁾ Zur Erkenntniss, SS. 38—39.

тельныхъ силъ общества. Она остается на прежнемъ уровнѣ, или даже уменьшается, въ то самое время, когда производство достигаетъ все болѣе и болѣе высокой степени развитія и рынки переполняются товарами. Это ведетъ къ затрудненію сбыта, застою въ дѣлахъ, а наконецъ, и къ кризисамъ. «Пусть не возражаютъ мнѣ,—говоритъ Родбертусъ,—что отнятая у рабочихъ покупательная сила остается въ рукахъ вышнихъ классовъ и должна поэтому съ прежнею интенсивностью дѣйствовать на рынкѣ. Продукты теряютъ всякую стоимость тамъ, гдѣ не существуетъ въ нихъ надобности. Продуктъ, который могъ бы имѣть стоимость въ глазахъ рабочихъ, оказывается совершенно излишнимъ для другихъ классовъ общества и остается непроданнымъ. Въ національномъ производствѣ должна произойти временная остановка, пока скопившіяся на рынкѣ массы товаровъ не разойдутся мало-по-малу и пока направленіе производительной дѣятельности не приспособится къ потребностямъ тѣхъ, въ чьи руки перешла отнятая у рабочихъ покупательная сила»¹⁾.

Центромъ тяжести всей аргументаціи Родбертуса является, какъ видѣть читатель, ученіе его о заработной платѣ, какъ *части* національнаго дохода. Чтобы судить о вѣрности его выводовъ, мы должны, разумѣется, провѣрить основательность его посылокъ. Мы должны взвѣсить доказательства, приводимыя имъ, во-первыхъ, въ пользу того положенія, что производительность труда не только возрастала прежде, но возрастаетъ и по настоящее время. Мы должны спросить себя, во-вторыхъ: вѣрно ли, что *количество предметовъ потребления*, поступающихъ въ распоряженіе рабочаго класса, возрастало, по меньшей мѣрѣ, не въ той же пропорціи, въ какой увеличивалась производительность труда, а пожалуй и совсѣмъ осталась неизмѣннымъ или даже упала?

Разъ будутъ доказаны эти два положенія, то ученіе Родбертуса о заработной платѣ явится вполне законнымъ выводомъ изъ нихъ. Мы должны будемъ признать, что рассматриваемая, какъ *часть* національнаго дохода, заработная плата, дѣйствительно, падаетъ, въ томъ или другомъ отношеніи къ возрастающей производительности труда. Посмотримъ же; на чемъ основывалъ нашъ авторъ свои «предварительныя положенія». И прежде всего постараемся отдѣлать въ нихъ несомнѣнное отъ гадательнаго, аксіомы отъ гипотезъ, данныя, твердо установленныя классической экономіей, отъ того, что нуждалось еще въ доказательствахъ, будучи впервые высказано Родбертусомъ. Припомнимъ ученіе Рикардо о томъ же предметѣ. Рикардо также признавалъ, что производительность труда не остается неизмѣнной, но онъ допускалъ возможность ея возрастанія далеко не во всѣхъ отрасляхъ производства. Что касается фабричной обработки сырыхъ произведеній, то здѣсь постоянное увеличеніе

¹⁾ См. брошюру «Der Normal-Arbeitstag», перепечатанную въ «Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft» 1878 года. Erstes u. zweites Heft, S. 345.

производительности человеческого труда стоит, по его мнѣнію, въ всякаго оспариванія. Оно обусловливается «усовершенствованіемъ машинъ, лучшимъ раздѣленіемъ и распредѣленіемъ труда и постоянно возрастающею ловкостью производителей». Не такъ смотрѣлъ Рикардо на земледѣліе. Въ основу его теоріи ренты легло убѣжденіе въ томъ, что производительность земледѣльческаго труда въ цивилизованныхъ странахъ постоянно уменьшается, такъ какъ подъ влияніемъ возрастающаго спроса въ обработку поступаютъ все менѣе и менѣе плодородныя земли. Вслѣдствіе этого и цѣна земледѣльческихъ продуктовъ должна, по его ученію, постоянно возрастать. А такъ какъ заработная плата должна быть достаточна «для доставленія рабочимъ средствъ къ существованію и къ продолженію своего рода»; такъ какъ кромѣ того главнымъ предметомъ потребленія рабочихъ являются произведенія почвы, то и содержаніе ихъ должно съ теченіемъ времени становиться дороже. Отсюда онъ дѣлалъ тотъ выводъ, что заработная плата, какъ часть продукта, стремится къ повышенію, прибыль же «имѣетъ естественное стремленіе понижаться».

Это ученіе Рикардо не имѣло, однако, ничего общаго съ оптимизмомъ Кэри, полагавшаго, что буржуазныя общества сумѣютъ подъ эгидой покровительственнаго тарифа соединить *возрастаніе* производительности земледѣльческаго труда съ увеличеніемъ заработной платы, какъ части продукта. Авторъ «*Началь политической экономіи*» стоялъ, напротивъ, гораздо ближе къ Родбертусу, хотя и пришелъ къ совершенно другому выводу, чѣмъ этотъ послѣдній. «Естественная цѣна труда возрастаетъ, по мнѣнію Рикардо, въ соотвѣтствіи съ увеличеніемъ цѣны на пищу и на другіе необходимые предметы; она падаетъ въ соотвѣтствіи съ пониженіемъ этой цѣны» ¹⁾. Если бы, слѣдовательно, ему было доказано, что производительность земледѣльческаго труда возрастаетъ, а не понижается, то онъ, совершенно въ духѣ Родбертуса, сказалъ бы, что заработная плата, какъ часть продукта, «имѣетъ стремленіе къ пониженію, а не къ повышенію». Но во время появленія «*Началь политической экономіи*» убѣжденіе въ томъ, что съ возрастаніемъ народонаселенія производительность земледѣльческаго труда постоянно уменьшается, было весьма распространеннымъ. Многіе изъ современныхъ Родбертусу экономистовъ также принимали это положеніе за безспорную истину. Милль, напримѣръ, считалъ его «важнѣйшимъ закономъ въ наукѣ о народномъ хозяйствѣ». На него же опирался, въ своихъ разсужденіяхъ, и фонъ-Кирхманъ, съ которымъ вступилъ въ полемику Родбертусъ. Высказывая противоположное мнѣніе, нашъ авторъ расходился, слѣдовательно, со школою Рикардо. Собственно говоря, его убѣжденіе въ томъ, что производительность труда возрастаетъ также и

¹⁾ Сочиненія Рикардо, выпускъ I, стр. 55.

въ земледѣліи, было единственнымъ пунктомъ, въ которомъ его ученіе о заработной платѣ разошлось съ ученіемъ экономистовъ-классиковъ. На этотъ спорный пунктъ ему, казалось бы, и нужно было направить всѣ силы своей критики. Но мы сказали уже выше, что рядомъ со школой Смита-Рикардо развилась другая школа, имѣвшая своимъ родоначальникомъ Ж. Б. Сая и распавшаяся современемъ на нѣсколько различныхъ направленій. Несмотря на свои разногласія, экономисты воѣхъ этихъ направленій сходились въ томъ, что какимъ-то чутьемъ угадывали, сколько хлопотъ надѣляетъ буржуазіи, впоследствии, ученіе Рикардо о мѣновой стоимости, о заработной платѣ, о распредѣленіи національнаго дохода и т. д. Поэтому они взапуски принялись дополнять и поправлять «одностороннія» и «безсердечныя» теоріи Рикардо. Одной изъ услугъ, оказанныхъ «учеными» этого пошиба «дѣлу порядка», была, какъ замѣчаетъ Марксъ, Бастиатовская «категорія услуги». Съ своей стороны, и такъ называемая историко-реалистическая школа, эта нѣмецкая разновидность «вульгарной экономіи», не мало способствовала искаженію здравыхъ политико-экономическихъ понятій. Все это привело къ тому, что при защитѣ своихъ «предварительныхъ положеній» Родбертусъ долженъ былъ начать чуть ли не съ азбуки хозяйственной науки. «Повидимому,—говоритъ онъ во второмъ «Письмѣ къ Кирхману»,—мнѣ нужно немедленно приступить къ доказательству моихъ двухъ предварительныхъ положеній, чтобы непосредственно затѣмъ показать, въ какой связи стоятъ они съ вопросомъ о науперизмѣ и кризисахъ. Однако, дѣло далеко не такъ просто! При вашемъ знакомствѣ съ современнымъ положеніемъ теоріи, вы прекрасно знаете, какое множество невыясненныхъ понятій, какое множество научныхъ предразсудковъ стоитъ въ противорѣчій съ основнымъ пунктомъ моихъ воззрѣній. Вѣдь теперь оспаривается даже то, что заработная плата, вообще, должна быть рассматриваема какъ часть продукта! А до какой степени расходятся ходячія воззрѣнія на природу и происхождение прибыли съ основными положеніями моей теоріи! Въ какомъ противорѣчій съ нею находится господствующее ученіе о происхожденіи и возрастаніи поземельной ренты! Безъ преувеличенія можно сказать, что весь методъ, которому слѣдовала до сихъ поръ наша наука, затрудняетъ пониманіе положенія, лежащаго въ основѣ моего объясненія экономическихъ бѣдствій нашего времени» 1).

Ошибочность и смутность господствующихъ въ наукѣ понятій обусловливается, по его мнѣнію, прежде всего тѣмъ, что сама исходная точка разсужденій экономистовъ не соотвѣтствуетъ характеру изучаемыхъ ими явленій. Національное хозяйство представляется имъ про-

1) Zur Beleuchtung etc., S. 25.

стымъ собраніемъ частныхъ хозяйствъ, не имѣющихъ никакой органической связи между собою. Естественно поэтому, что индивидуумъ становится центромъ тяжести всѣхъ ихъ разсужденій. Хозяйствомъ и потребностями индивидуума, его капиталомъ и доходомъ ограничивается все поле зрѣнія экономистовъ, и эта «атомистическая точка зрѣнія» ведетъ ихъ, по мнѣнію Родбертуса, къ цѣлому ряду противорѣчій. «Вмѣсто того, чтобы исходить изъ признанія того факта, что раздѣленіе труда связываетъ общество въ одно неразрывное хозяйственное цѣлое; вмѣсто того, чтобы объяснять отдѣльныя общественно-экономическія понятія и явленія съ точки зрѣнія этого цѣлага; вмѣсто того, чтобы понятія о національномъ (общественномъ) имуществѣ, національномъ производствѣ, національномъ капиталѣ, національномъ доходѣ и его раздѣленіи на поземельную ренту, прибыль и заработную плату — эти общественныя понятія — поставить во главѣ своихъ изслѣдованій и съ помощью ихъ объяснить положеніе и роль индивидуумовъ, — наука о народномъ хозяйствѣ поддалась вліянію индивидуалистическихъ стремленій нашего времени. Она разорвала на клочки то, что, благодаря раздѣленію труда, составляетъ одно социальное цѣлое, что не можетъ и существовать иначе, какъ цѣлое; и отъ этихъ клочковъ, отъ экономической дѣятельности индивидуумовъ, она старалась возвыситься до понятія о цѣломъ. Такъ, напримѣръ, она положила въ основу своихъ изслѣдованій понятія объ имуществѣ отдѣльнаго лица, не подозревая даже, что имущество человѣка, связаннаго со своими ближними посредствомъ раздѣленія труда, существенно разнится отъ имущества индивидуума, ведущаго изолированное хозяйство. Точно такъ же исходила она изъ понятія о рентѣ отдѣльнаго землевладѣльца, забывая, что понятіе о поземельной рентѣ предполагаетъ уже понятіе о прибыли и заработной платѣ, и что обо всѣхъ этихъ понятіяхъ мы можемъ говорить, имѣя въ виду лишь современное общество и его доходъ, частями котораго являются поземельная рента, прибыль и т. д.»¹⁾

Если бы экономическая наука не держалась этого ошибочнаго метода, она имѣла бы теперь, по мнѣнію Родбертуса, совершенно другой видъ, и, конечно, гораздо дальше ушла бы впередъ въ своемъ развитіи.

Затронувъ вопросъ о методѣ, Родбертусъ разошелся уже не только съ «вульгарными экономистами», сомнѣвавшимися даже въ томъ, что заработная плата представляетъ собою часть національнаго продукта. Онъ коснулся одного изъ слабыхъ мѣстъ самой классической экономіи.

Конечно, Рикардо въ несравненно меньшей степени заслуживалъ упрека въ излишнемъ «атомизмѣ», чѣмъ какой-нибудь правовѣрный «Freihändler vulgaris». Авторъ «Началь политической экономіи» отличо

1) Zur Beleuchtung etc., S. 25—26.

понималъ, что, несмотря на экономическую «войну всѣхъ противъ всѣхъ», производительный механизмъ современнаго общества связанъ въ «одно неразрывное цѣлое», въ которомъ каждый работаетъ на всѣхъ и всѣ на каждого. Онъ не оказалъ бы, какъ это и до сихъ поръ говорятъ нѣкоторые экономисты, что современное общество есть «собраніе индивидуумовъ и семействъ», обмѣнивающихъ между собою излишекъ своихъ продуктовъ. Выработанная же окончательно Рикардо теорія распредѣленія національнаго дохода легла потомъ въ основу ученія самого Родбертуса. Но экономисты-классики, не исключая и Рикардо, были до такой степени дѣтскими своего времени, что не допускали даже и мысли о возможности существованія экономическихъ отношеній, непохожихъ на буржуазныя. Общественное хозяйство античныхъ государствъ, организація производства и распредѣленія въ далекомъ будущемъ, даже жизнь первобытныхъ, дикихъ племенъ—представлялись имъ болѣе или менѣе яркими копіями экономической жизни современной имъ Англій или Франціи. Они допускали еще, что лэндлорды существовали не на воѣхъ ступеняхъ общественнаго развитія; но безъ капиталистовъ и пролетаріевъ они не могли вообразить себѣ даже охотничьяго племени. Они считали—чтобы употребить выраженіе Родбертуса— «*дѣломъ природы*» то, что было лишь «*дѣломъ исторіи*». Въ своихъ сочиненіяхъ они часто приглашали читателя вообразить себѣ капиталиста-охотника, рыбака-рабочаго и тому подобныя, будто бы поясняющіе дѣло примѣры. Но само собою разумѣется, что эта «*Ur Fischer-Methode*», какъ называлъ ее Ланге, только затрудняла пониманіе господствующихъ въ капиталистическомъ обществѣ отношеній. Еще болѣе затрудняла она—или, вѣрнѣе, дѣлала совершенно невозможнымъ—пониманіе историческаго значенія капитализма, какъ одного изъ фазисовъ экономическаго развитія человѣческихъ обществъ.

Какъ человѣкъ, задавшійся цѣлью «провести рѣзкую черту различія между логическими и историческими категоріями во всѣхъ частяхъ экономической науки», Родбертусъ не могъ не замѣтить указанной ошибки экономистовъ-классиковъ. Онъ понялъ, что хозяйственный строй всякаго даннаго общества есть результатъ длиннаго процесса развитія, и, какъ всякое «дѣло исторіи», измѣчивъ не только въ количественномъ, но и въ качественномъ отношеніи. Онъ видѣлъ также, въ какомъ направленіи должны совершаться эти измѣненія. «Цѣлый міръ лежитъ между двумя понятіями: капиталъ самъ по себѣ, и капиталъ, составляющій частную собственность (*Priwatkapital*)!»—воскликаетъ онъ въ одномъ изъ писемъ своихъ къ Вагнеру.—Чтобы выяснитъ себѣ существующее между ними различіе, нужно припомнить античное общество, въ которомъ люди (т. е. рабы) также принадлежали къ капиталу частныхъ лицъ; затѣмъ нужно представить себѣ слѣдующій всемірноисторическій періодъ, въ которомъ только земля и капиталы являются объектами частной собственности и

въ которомъ средства существованія работниковъ еще принадлежатъ къ капиталу частныхъ предпринимателей; наконецъ, нужно выяснитъ себѣ будущій періодъ, въ которомъ объектами частной собственности будутъ лишь предметы потребленія, почва же и продуктъ національнаго производства, пока онъ не сдѣлался еще *доходомъ*, составляютъ собственность всего государства»¹⁾. Только уяснивши себѣ различія въ хозяйственной организаціи этихъ трехъ «слѣдующихъ одинъ за другимъ» періодовъ, можно, по мнѣнію Родбертуса, увидѣть совершенно ясно, что такое капиталъ самъ по себѣ (или капиталъ въ логическомъ смыслѣ этого слова) и что такое капиталъ, составляющій частную собственность (или капиталъ въ *историческомъ* смыслѣ этого слова). Такъ какъ классическая экономія даже и не подозрѣвала, что эти два понятія могутъ не совпадать между собою, то всѣ ея изслѣдованія ограничивались только однимъ изъ названныхъ всемірноисторическихъ періодовъ, именно современнымъ, буржуазнымъ періодомъ. Естественно было поэтому, что на многія явленія этого періода она смотрѣла не такъ, какъ взглянулъ на нихъ Родбертусъ, утверждавшій, что онъ «слышитъ уже приближеніе новой эры». Считаая «дѣломъ природы» то, что было лишь «дѣломъ исторіи», экономисты-классики не могли воспользоваться сравнительнымъ методомъ, съ помощью котораго Родбертусъ надѣялся выяснитъ характеристическія особенности каждаго изъ «всемірноисторическихъ періодовъ». Поэтому, когда нашъ авторъ пришелъ къ вопросу о томъ, въ какомъ же порядкѣ должны быть расположены различныя части экономической науки, онъ не могъ признать удовлетворительнымъ планъ, принятый его предшественниками. Современная политическая экономія казалась ему «простымъ ученіемъ о природѣ обмѣна». Это ученіе нужно было, по его мнѣнію, отнести къ *первой части* науки, выясняющей законы «производства, распредѣленія и потребленія продуктовъ» въ современномъ обществѣ. За нею логически слѣдовала бы *вторая часть*, «указывающая тѣ опасности, которыми можетъ угрожать обществу дальнѣйшее развитіе его экономическихъ отношеній, при сохраненіи нынѣшнихъ правовыхъ учреждений». Наконецъ, предметомъ *третьей* и послѣдней *части* экономической науки долженъ былъ явиться вопросъ о мѣрахъ, съ помощью которыхъ общество могло бы избѣгать этихъ опасностей.

Всякій знакомый съ сочиненіями буржуазныхъ экономистовъ знаетъ, какъ мало задумывались они о мѣрахъ, могущихъ отвратитъ тревожившія Родбертуса «опасности». Они полагаютъ, что мѣры эти должны находиться въ вѣдѣніи «исполнительной власти», которая, съ своей стороны, не могла предложить ничего, кромѣ осаднаго положенія и военной диктатуры. Правда, катедеръ-соціалисты немало толкуютъ теперь объ «обя-

¹⁾ „Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft“, S. 219—320.

занностяхъ государства» по отношенію къ рабочему классу, но мы знаемъ уже, что нашъ авторъ называлъ предлагаемыя ими мѣры «ромашкой, которая не можетъ не только исцѣлить, но даже и облегчить социальный вопросъ». Излишне прибавлять, поэтому, что ни «вторая», ни «третья» части науки, въ томъ смыслѣ, какъ понималъ ихъ Родбертусъ, не находили себѣ мѣста въ сочиненіяхъ его предшественниковъ. Самое «ученіе о природѣ обмѣна» понимали они далеко не такъ, какъ понималъ ихъ авторъ «*Соціальныхъ писемъ къ Кирхману*». Мы видѣли уже, съ какою горячностью нападалъ онъ на «атомистическую точку зрѣнія» буржуазныхъ экономистовъ. По его мнѣнію, экономическая наука «должна была бы исходить изъ понятій о національномъ трудѣ и національномъ имуществѣ, понимая подъ национальнымъ или общественнымъ трудомъ кооперацию всѣхъ единичныхъ силъ, связанныхъ путемъ раздѣленія труда въ одно неразрывное цѣлое; подъ национальнымъ имуществомъ—сумму всѣхъ единичныхъ имуществъ данной націи, также связанныхъ въ одно неразрывное цѣлое благодаря потребленію плодовъ національнаго труда». Затѣмъ она должна была бы перейти къ оцѣнкѣ вліянія, оказываемаго раздѣленіемъ труда на организацію національнаго производства. Она должна была показать, какъ при производствѣ любого продукта общественный трудъ подраздѣляется на добываніе сырья, фабричную его обработку и наконецъ перевозку, и какъ, въ свою очередь, эти большія отрасли національнаго производства дробятся на отдѣльныя предпріятія. Соотвѣтственно раздѣленію общественнаго труда на добываніе сырья и его обработку нужно было бы установить различіе той части національнаго имущества, которая заключается въ національной почвѣ, отъ той, которая представляетъ собою национальный капиталъ, т. е. продуктъ, предназначенный для дальнѣйшаго производства и распредѣленный между различными предпріятіями. Далѣе необходимо было бы сопоставить понятіе о національномъ капиталѣ съ понятіемъ о національномъ продуктѣ, какъ о результатѣ національнаго производства, полученномъ въ теченіе опредѣленнаго времени. Уяснивши себѣ понятіе о національномъ продуктѣ, нужно было бы показать, какъ одна часть его идетъ на возстановленіе потребленнаго въ производствѣ капитала, другая же — служить для удовлетворенія непосредственныхъ потребностей всего общества и отдѣльныхъ его членовъ и въ этомъ видѣ представляетъ собою национальный доходъ. Отъ понятія объ этомъ послѣднемъ оставался бы затѣмъ одинъ только шагъ до понятія о національномъ богатствѣ, величина котораго опредѣляется степенью производительности общественнаго труда. «Послѣ этого анализа общихъ политико-экономическихъ понятій и ихъ взаимной связи нужно было бы, — прибавляетъ Родбертусъ, — показать, въ какой зависимости стоятъ организація и ходъ національнаго производства, равно какъ и распредѣленіе его продуктовъ, отъ существующихъ въ обществѣ правовыхъ учрежденій».

Еще въ первомъ своемъ сочиненіи нашъ авторъ совершенно вѣрно замѣтилъ, что «правовая идея и экономическая необходимость издавна шли рука объ руку» ¹⁾. Онъ поступилъ бы поэтому послѣдовательно, если бы постарался обнаружить связь между современными правовыми учреждениями, съ одной стороны, и вызвавшей ихъ къ жизни экономической необходимостью—съ другой. Отъ такого выясненія много выигралъ бы имъ же самимъ поднятый вопросъ о мѣрахъ, способныхъ устранить «недостатки современной общественно-экономической организаціи». Тогда было бы видно, какія учрежденія уже отжили свой вѣкъ и какія, напротивъ, продолжаютъ соотвѣтствовать общественнымъ потребностямъ. Критеріемъ явилась бы, въ этомъ случаѣ, та самая экономическая необходимость, «рука объ руку» съ которой «издавна шло» и всегда будетъ идти развитіе правовой идеи.

Родбертусъ избралъ, къ сожалѣнію, обратный путь. Онъ рѣшился искать въ правовыхъ учрежденіяхъ объясненія общественно-экономическихъ явленій и тѣмъ не только отнялъ у себя возможность найти это объясненіе, но и лишилъ себя единственнаго разумнаго критерія для оцѣнки самихъ «правовыхъ учрежденій». Въмѣсто *объясненія* ему пришлось ограничиться простымъ *описаніемъ* экономической жизни общества на различныхъ стадіяхъ ея развитія. Впрочемъ, вредное вліяніе закрапшейся въ разсужденія Родбертуса непослѣдовательности отразилось болѣе всего на его «практическихъ предложеніяхъ». Сдѣланное же имъ *описание* общественно-экономическихъ явленій, которое, повторяемъ, онъ принималъ за *объясненіе* этихъ явленій, имѣетъ и само по себѣ большой интересъ и потому заслуживаетъ полнаго вниманія читателя. Интересъ этотъ обуславливается тѣмъ, что, вѣрный своему взгляду на «историческія категоріи», Родбертусъ сопоставилъ, въ своемъ описаніи, хозяйственный строй современнаго общества съ тою организаціей производства и распредѣленія, которая должна, по его мнѣнію, имѣть мѣсто въ «будущемъ всемірно-историческомъ періодѣ».

Для оцѣнки вліянія, оказываемаго правовыми учреждениями на экономическую жизнь общества, нужно, — говоритъ нашъ авторъ, — прежде всего имѣть въ виду важнѣйшій правовой институтъ нашего времени—частную собственность на землю и капиталы. Въ самомъ дѣлѣ, национальное производство и распредѣленіе его продуктовъ приняли бы совершенно иной видъ, если бы земля и капиталы составляли собственность не частныхъ лицъ, а всего общества. Тогда не было бы, конечно, частной собственности на орудія труда, но что касается до распредѣленія продуктовъ, то оно не должно было бы непременно происходить на коммунистическихъ основаніяхъ. Предметы потребленія продолжали бы

¹⁾ «Zur Erkenntniss unserer staatswirthschaftlichen Zustände», 75, въ примѣчаніи.

составлять частную собственность благодаря тому, что продукты общественного труда распределялись бы между отдельными лицами, соответственно участию этих лиц в национальном производстве. При таком порядке вещей доход каждого члена общества зависел бы лишь от количества затраченного им труда, и собственность не только не была бы уничтожена, но, напротив, была бы «окончательно приведена к ее первоначальному и истинному принципу»¹⁾. Устроенное на таких основаниях общество не объявило бы, по примеру Прудона, что «собственность есть кража», оно — и только оно — предохранило бы, наоборот, собственность от «кражи»²⁾.

Против вышеизложенных оснований распределения продуктов обыкновенно возражают, что производительность труда различных работников никогда не бывает одинакова: один работник может в два часа сделать больше, чем другой в четыре — утверждают экономисты. Кроме того, иногда говорят, что невозможно сравнить труд работников, занятых в различных отраслях производства. Луи Рейбо в своих «Etudes sur les réformateurs» удивляется, каким образом такой умный человек, как Оуэн, мог придти к «неудной мысли» сравнивать труд сапожника с совершенно будто бы несходным с ним трудом булочника или ткача. «Но если противники этой системы, — говорит Родбертус, — не имеют против нея других аргументов, кроме того, что производительные способности работников неодинаковы, то возражения их стоят очень немного»³⁾.

Труд данного работника всегда может сравниваться и соизмеряться с трудом других работников, занятых в различных отраслях производства. Для этого нужно при установлении «нормального рабочего дня» определить то среднее количество продукта, которое производят, обыкновенно, работники данной отрасли труда. Рабочий, сделавший меньше этого среднего количества, получил бы меньше, чем за целый рабочий день и, наоборот, сделавший больше, получил бы, соответственно с этим, право на большее вознаграждение. Считалось бы, что один трудился например, в продолжение $\frac{7}{8}$, между тем как другой в течение $\frac{5}{8}$ нормального рабочего дня.

Кроме того, нужно было бы принять в соображение степени интенсивности и утомительности труда в различных отраслях производства. Если, положим, труд углекопа утомительнее труда ткача, то пришлось бы поставить, что рабочий день углекопа должен быть на несколько часов короче. Несмотря на свою большую продолжительность, рабочий

1) „Zur Beleuchtung etc.“, S. 28.

2) Ibid., S. 150.

3) См. „Zeitschrift für die ges. Staatswissensch.“, S. 337.

день ткача долженъ былъ бы считаться равноцѣннымъ рабочему дню углекопа, такъ какъ работа послѣдняго требуетъ большаго напряженія силъ. Проработавши установленное для каждаго изъ нихъ время, углекопъ и ткачъ имѣли бы право на полученіе одинаковаго количества продуктовъ изъ общественныхъ магазиновъ. Родбертусъ не отрицаетъ, что опредѣленіе средней производительности и интенсивности труда въ каждой отрасли производства было бы дѣломъ далеко не легкимъ. Но онъ считаетъ вполне устранимыми всѣ могущія встрѣтиться на этомъ пути практическія затрудненія. Вообще, онъ не сомнѣвается въ возможности осуществить такого рода организацію производства и распредѣленія, въ которой доходъ каждаго отдѣльнаго лица соотвѣтствовалъ бы участію этого лица въ общественномъ трудѣ. Важнѣе всѣхъ техническихъ затрудненій былъ бы вопросъ о нравственной подготовленности народа для такихъ общественныхъ отношеній. Все дѣло зависяетъ, по мнѣнію Родбертуса, отъ того, «достаточно ли развитъ народъ, чтобы по свободному побужденію принимать участіе въ національномъ трудѣ, или, что то же, въ національномъ прогрессѣ, не видя передъ собою того бича бѣдности, которымъ современная частная собственность на землю и капиталы выгоняетъ его на работу» ¹⁾).

Нашъ авторъ справедливо полагаетъ, что экономисты много выиграли бы въ пониманіи хозяйственной жизни современнаго общества, если бы они постарались ясно представить себѣ всѣ тѣ измѣненія въ организаціи производства и распредѣленія, которыя явились бы слѣдствіемъ «приведенія собственности къ ея первоначальному принципу». Но предшественники Родбертуса, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, не только не интересовались «первоначальнымъ принципомъ собственности», но и вообще полагали, что разсуждать о подобныхъ «принципахъ» — дѣло юриста, а не политико-эконома. Какъ мы сказали уже выше, экономисты считали буржуазный строй послѣднимъ или, вѣрнѣе, единственно возможнымъ шагомъ въ развитіи человѣчества и не могли даже представить себѣ никакихъ серьезныхъ измѣненій въ экономическихъ отношеніяхъ современной Европы. Родбертусъ, принадлежавшій къ числу немногихъ экономистовъ, «слышавшихъ приближеніе новой эры», долженъ былъ самъ взяться за рѣшеніе всѣхъ тѣхъ вопросовъ, которые относятся къ экономіи «будущаго всемірноисторическаго періода». Ему пришлось приняться за обработку почти совершенно невоздѣланнаго экономистами поля, т. е. за изображеніе экономической дѣятельности того гипотетическаго общества, которое взяло бы въ свое непосредственное завѣдываніе всѣ средства производства.

¹⁾ Zur Beleuchtung, S. 28.

Въ такомъ обществѣ всѣ экономическія явленія приняли бы характеръ совершенно отличный отъ современнаго. Организация производства измѣнилась бы, прежде всего, въ томъ отношеніи, что для завѣдыванія производительною дѣятельностью и для приведенія ея въ соотвѣтствіе съ общественными потребностями необходимо было бы существованіе особаго учрежденія. Задачу этого учрежденія, говоритъ нашъ авторъ, составляло бы цѣлесообразное употребленіе въ дѣло національнаго имущества. Въ современномъ же обществѣ, въ которомъ національное имущество дробится между частными лицами, мѣсто такого рода учрежденія занимаетъ интересъ собственниковъ и предпринимателей. Онъ побуждаетъ ихъ производить лишь продукты, находящіе себѣ сбытъ на рынкѣ, т. е. удовлетворяющіе потребности всего общества или извѣстной его части.

Обращеніе орудій и объектовъ труда въ коллективную собственность придало было также новый видъ тому переходу продуктовъ изъ одной отрасли производства въ другую и тому передвиженію ихъ съ мѣста на мѣсто, которые обусловливаются раздѣленіемъ общественнаго труда. Читателю извѣстно, что самая обыкновенная вещь домашняго обихода, прежде чѣмъ быть готовой для употребленія, претерпѣваетъ цѣлый рядъ разнообразнѣйшихъ метаморфозъ. Она появляется на свѣтъ въ видѣ сырого матеріала и путешествуетъ въ такомъ видѣ въ тотъ или другой промышленный центръ, чтобы подвергнуться фабричной обработкѣ. Здѣсь она переходитъ изъ одной отрасли производства въ другую, пока не получитъ окончательной отдѣлки и не отправится, наконецъ, на мѣсто сбыта. Въ современномъ обществѣ этимъ метаморфозамъ продуктовъ соотвѣтствуетъ переходъ ихъ черезъ руки цѣлаго ряда предпринимателей, оптовыхъ и мелочныхъ торговцевъ, а слѣдовательно, и цѣлый рядъ продажъ и покупокъ. «Отъ начала до конца,—говоритъ Родбертусъ,—отъ производства сырья до окончательной выдѣлки предметовъ потребленія обмѣнъ продуктовъ представляетъ собою въ настоящее время длинную цѣпь передачъ и отчужденій собственности, совершаемыхъ при посредствѣ денегъ».

Не такъ происходило бы дѣло въ нашемъ гипотетическомъ обществѣ съ его центральнымъ учрежденіемъ, завѣдующимъ всѣмъ ходомъ производства. Въ такомъ обществѣ каждый продуктъ представлялъ бы собою національную собственность вплоть до окончательной своей отдѣлки. И тогда достаточно было бы предписанія названнаго центрального учрежденія, чтобы передавать его изъ одной отрасли производства въ другую и доставить, наконецъ, потребителю. То же центральное учрежденіе должно было бы озаботиться тѣмъ, чтобы изъ общей суммы національнаго продукта отдѣлать часть, необходимую для возстановленія затраченнаго въ производствѣ капитала. Только послѣ вычета этой части

національний продукт сталь бы національнымъ доходомъ и служить бы для удовлетворенія потребностей какъ общества, такъ и отдѣльныхъ его членовъ. «Въ настоящее же время,—говорить Родбертусъ,—мѣсто этой предусмотрительности центрального учрежденія занимаетъ интересъ владѣльцевъ капитала или предпринимателей. Ихъ собственныя выгоды побуждаютъ ихъ браться только за такія предпріятія, которыя, по замѣщеніи капитала, дадутъ имъ извѣстный излишекъ, называемый прибылью».

Если мы теперь отъ производства перейдемъ къ распредѣленію, то здѣсь наше гипотетическое общество представитъ еще болѣе своеобразныя особенности, соотвѣтственно предположеннымъ нами измѣненіямъ въ отношеніи людей къ вещамъ. Разъ былъ бы установленъ тотъ правовой принципъ, по которому доходъ каждаго члена общества опредѣляется участіемъ его въ производствѣ, то національный продуктъ уже не поступалъ бы въ раздѣлъ между землевладѣльцами, капиталистами и рабочими, какъ это имѣетъ мѣсто въ настоящее время. Онъ составлялъ бы тогда достояніе однихъ рабочихъ. Каждый членъ общества получалъ бы свидѣтельство, удостоверяющее, что онъ затратилъ извѣстное количество труда. Предъявивши это свидѣтельство въ государственныя магазины, онъ получилъ бы въ обмѣнъ необходимыя для него предметы потребленія. И эти предметы потребленія составляли бы такую же неотъемлемую собственность его, какою является заработная плата по отношенію къ современнымъ рабочимъ. Но заработная плата опредѣляется теперь не количествомъ затраченнаго работникомъ труда: она испытываетъ на себѣ вліяніе рыночной конкуренціи, понижающей ее до уровня насущнѣйшихъ потребностей трудящихся. Вся же разность между заработной платой и стоимостью произведеннаго работникомъ продукта остается въ рукахъ землевладѣльцевъ и капиталистовъ и, за вычетомъ части, необходимой для возстановленія капитала, дѣлится между ними на основаніи особуыхъ экономическихъ законовъ.

Выяснивши вліяніе правовыхъ учрежденій на распредѣленіе продуктовъ, слѣдовало бы, по мнѣнію Родбертуса, обратить вниманіе на то, какимъ образомъ распредѣленіе вліяетъ, въ свою очередь, на направленіе общественнаго производства. Для этого опять нужно было бы держаться сравнительнаго метода: нужно было бы посмотрѣть, какъ происходитъ дѣло въ настоящее время и какъ происходило бы оно въ обществѣ, установившемъ коллективную собственность на землю и капиталы.

И въ томъ и въ другомъ случаѣ направленіе производства не можетъ не сообразоваться съ потребностями лицъ, участвующихъ въ раздѣлѣ національнаго продукта. Но въ обществѣ, взявшемъ въ свое непосредственное завѣдываніе всѣ средства производства, это послѣднее сообразовалось бы съ потребностями только тѣхъ лицъ, которыя получили благодаря сво-

ему труду право на требованіе изъ общественныхъ магазиновъ извѣстнаго количества продуктовъ. Въ настоящее же время направленіе производства опредѣляется потребностями не однихъ только трудящихся, но также капиталистовъ и землевладѣльцевъ.

Интересъ предпринимателей заставляетъ ихъ оособразоваться съ покупательною силой всѣхъ трехъ классовъ современнаго общества. Такимъ образомъ, чѣмъ большая часть стоимости національнаго продукта поступить въ распоряженіе одного изъ этихъ классовъ, тѣмъ большая часть производительныхъ силъ страны будетъ занята приготовленіемъ необходимыхъ для него предметовъ потребленія. Этимъ и объясняется, по мнѣнію Родбертуса, то обстоятельство, что теперь часто «строятъ блестящіе пассажи, въ то время какъ рабочіе не имѣютъ здоровыхъ жилищъ... На рынокъ доставляется лишь то, за что можно получить деньги. Богатые фланеры могутъ оплачивать содержаніе роскошныхъ пассажировъ, рабочіе же, получающіе ничтожную плату, не могутъ заплатить за постройку здоровыхъ жилищъ» ¹⁾ и потому должны довольствоваться нездоровыми.

На основаніи всего высказаннаго нетрудно также убѣдиться въ томъ, что такъ называемое *сбереженіе*, которое, какъ извѣстно читателю, вмѣняется въ заслугу современнымъ капиталистамъ, есть особый способъ увеличенія національнаго капитала, обусловленный существованіемъ частной собственности на землю, матеріалы и орудія труда. При другихъ же обстоятельствахъ увеличеніе національнаго капитала могло бы, по мнѣнію Родбертуса, достигаться путемъ кредита ²⁾.

Выяснивши, такимъ образомъ, значеніе общихъ экономическихъ понятій, обнаруживши вліяніе правовыхъ учрежденій на движеніе производства и распредѣленіе продуктовъ, нужно было бы,—продолжаетъ нашъ авторъ,—перейти къ вопросу объ измѣненіи производительныхъ силъ общества. Измѣненіе это можетъ прозойти двоякимъ образомъ. Во-первыхъ, благодаря распашкѣ новыхъ земель, расширенію фабричной дѣятельности, увеличенію народонаселенія и т. д., національный продуктъ можетъ возрасти въ томъ или другомъ количественномъ отношеніи. Сумма производимыхъ въ обществѣ предметовъ потребленія можетъ, напимѣръ, удвоиться, но для приготовленія каждаго изъ этихъ предметовъ можетъ тре-

¹⁾ Zeitschrift für die ges. Staatswiss., 345.

²⁾ Къ «теоретикамъ сбереженія» (Spartheoretikern) Родбертусъ обращается съ слѣдующими словами Гейне:

Ich kenne die Weise, ich kenne den Text,
Ich kenn' auch die Herrn Verfasser,
Ich weiss, sie trinken heimlich Wein
Und predigen öffentlich Wasser.

См. Zur Erklärung und Abhilfe der heutigen Creditnoth des Grundbesitzes, II, S. 294, въ примѣчаніи.

Вельтовъ. Т. I. Изд. 3.

боваться не меньшая, чѣмъ прежде, затрата человѣческаго труда. Національное производство расширится, но въ способахъ его не окажется никакого улучшенія. Земледѣльческая культура, фабричная техника и пути сообщенія останутся, слѣдовательно, на той же ступени развитія, на которой находились и прежде. Такой случай Родбертусъ называетъ увеличеніемъ *суммы производительныхъ силъ*.

Но можетъ случиться, что при такомъ же, какъ и прежде, количествѣ рабочихъ силъ, при той же площади обрабатываемыхъ земель, словомъ, при той же *суммѣ* производительныхъ силъ, на выдѣлку каждаго предмета въ отдѣльности потребуется меньше времени, чѣмъ нужно было прежде. Это можетъ произойти во слѣдствіе улучшеній въ способахъ производства, изобрѣтенія новыхъ машинъ и т. п. Въ результатъ каждаго дня работы окажется большее, чѣмъ прежде, количество продуктовъ, и національный доходъ возрастетъ, потому что возрасла *производительность труда*.

Именно этотъ второй путь измѣненія производительныхъ силъ страны и ведетъ къ увеличенію *національнаго богатства*. Подъ національнымъ богатствомъ понимаютъ обыкновенно отношеніе національнаго имущества къ общей цифрѣ народонаселенія. А это отношеніе будетъ, разумѣется, тѣмъ благоприятнѣе для общества, чѣмъ большее количество продуктовъ произведетъ каждый работникъ въ единицу времени, т. е. чѣмъ *производительнѣе* будетъ *трудъ* этого работника. Но Родбертусъ не смѣшиваетъ,—какъ это умышленно дѣлали буржуазные экономисты,—понятія о національномъ богатствѣ съ понятіемъ о благосостояніи большей части членовъ общества. По его мнѣнію, между этими двумя понятіями существуетъ огромная разница, и, чтобы лучше отгѣнить ее, онъ снова беретъ въ примѣръ гипотетическое общество, обратившее землю и капиталы въ національную собственность. Въ такомъ обществѣ доходъ каждаго члена былъ бы, какъ мы знаемъ, прямо пропорціоналенъ участию его въ общественномъ трудѣ, и увеличеніе національнаго дохода дѣйствительно повело бы къ улучшенію положенія всѣхъ трудящихся. Въ настоящее же время, при господствѣ того экономическаго закона, который понижаетъ заработную плату до уровня насущнѣйшихъ потребностей рабочаго, возрастаніе производительности національнаго труда ведетъ, по мнѣнію Родбертуса, къ обогащенію однихъ только капиталистовъ и землевладѣльцевъ.

Послѣ того, какъ изучено было бы вліяніе производительности труда на благосостояніе различныхъ классовъ общества, экономисты должны были бы перейти къ вопросу о финансовомъ хозяйствѣ и о налогахъ, и показать вліяніе этихъ послѣднихъ на движеніе производства и распределеніе національнаго продукта. Это и составило бы предметъ послѣдняго отдѣла первой части экономической науки, «соотвѣтствующей современному ученію о прирѣдѣ обмѣна».

«Если бы,—говорит Родбертусъ,—въ наукѣ держались этого метода, если бы переходили, такимъ образомъ, съ цѣлаго къ его частямъ, то избѣжали бы очень многихъ изъ существующихъ въ ней теперь предразсудковъ. Тогда была бы подготовлена почва для пониманія тѣхъ обстоятельствъ, въ которыхъ я вижу причину кризисовъ и пауперизма. Тогда я могъ бы, для обоснованія своихъ положеній, прямо перейти къ доказательству того, что производительность труда возрасла, между тѣмъ какъ заработная плата не увеличилась или даже упала. Послѣ этого мнѣ оставалось бы только показать, что названныя выше бѣдствія составляютъ необходимое слѣдствіе пониженія заработной платы, какъ *части* національнаго продукта. Теперь же я вынужденъ къ набросанному мною очерку лучшаго метода прибавить соответствующую ему теорію, по крайней мѣрѣ, распредѣленія національнаго продукта»¹).

Эта «изъ самой жизни заимствованная» теорія распредѣленія и представляетъ собою то, что можетъ быть названо экономической теоріей Родбертуса, въ собственномъ смыслѣ этого слова.

III.

Ученіе Родбертуса о причинѣ кризисовъ и пауперизма такъ и осталось незаконченнымъ. Ни въ одномъ изъ своихъ появившихся въ печати сочиненій Родбертусъ не перешелъ еще къ доказательству того «предварительнаго положенія», что «заработная плата не увеличилась или даже упала», несмотря на колоссальное возрастаніе производительности труда. Правда, положеніе это составляло вполне логичный выводъ изъ того закона заработной платы Тюрго-Рикардо, который, по справедливому замѣчанію Брентано, «признается всѣми серьезными экономистами», а оспаривается, замѣтимъ мы мимоходомъ, только нѣкоторыми представителями «историко-реалистической школы». Но въ экономической наукѣ, такъ же, какъ и въ наукахъ естественныхъ, дедукція должна и можетъ стоять въ тѣсной связи съ индукціей, и добытыя путемъ вывода положенія должны быть провѣрены на фактахъ. Разумѣется, въ соціальной наукѣ, невозможенъ *опытъ*, составляющій такой могучій рычагъ въ развитіи нѣкоторыхъ отраслей естествознанія, но исторія и статистика представляютъ собою обширное поле для *наблюденія*, играющаго не менѣе важную роль въ точныхъ наукахъ. Чтобы поставить внѣ всякаго сомнѣнія свое ученіе о заработной платѣ, Родбертусъ долженъ былъ провѣрить, на основаніи данныхъ статистики и исторіи, выводъ, сдѣланный имъ изъ закона Тюрго-Рикардо. Это тѣмъ болѣе было необходимо, что Рикардо зналъ, какъ извѣстно, только «цвѣточки» капитализма, «ягодки» же его начали поспѣвать въ половинѣ нашего вѣка. Передъ глазами современ-

¹ Zur Beleuchtung der socialen Frage, S. 32.

никовъ Родбертуса развертывалась гораздо болѣе яркая картина положенія рабочихъ классовъ въ капиталистическомъ обществѣ, и они должны были пополнить, такъ или иначе, теорію Рикардо. Родбертусъ хорошо сознавалъ эту необходимость, и, какъ видно изъ писемъ его къ архитектору Петерсу, его ученіе о заработной платѣ опиралось не на одну только дедукцію. «Сила машинъ въ современной Англіи,—говоритъ онъ въ одномъ изъ этихъ писемъ,—равняется, по крайней мѣрѣ, силѣ 600 милліоновъ работниковъ. Въ 1800 году она не превышала силы 50 милліоновъ рабочихъ. На основаніи исторіи распредѣленія національнаго дохода Англіи съ 1800 года и раздѣленія его на заработную плату, поземельную ренту и прибыль, мнѣ удастся, какъ я надѣюсь, доказать, что продуктъ труда 550 милліоновъ неумолимыхъ, день и ночь трудящихся, деревянныхъ и желѣзныхъ работниковъ ни на іоту не увеличитъ собою общей суммы заработка живыхъ работниковъ, но цѣликомъ былъ поглощенъ поземельной рентой и прибылью». Къ сожалѣнію, занятый борьбой противъ укоренившихся въ наукѣ «предразсудковъ» Родбертусъ не успѣлъ окончить своего опыта о распредѣленіи дохода въ Англіи, этой классической странѣ капитализма. Съ этого опыта только и началось бы, строго говоря, доказательство ученія его о заработной платѣ, которому онъ считалъ нужнымъ предполатъ изложеніе правильной теоріи распредѣленія.

Что касается ученія Родбертуса о распредѣленіи продуктовъ въ современномъ обществѣ, то оно, дѣйствительно, явилось лишь «послѣдовательнымъ выводомъ» изъ основныхъ положеній школы Рикардо во всѣхъ своихъ частяхъ, кромѣ теоріи поземельной ренты. Мы оказали уже выше, что изъ всѣхъ возрѣвій Рикардо только ученіе его о производительности земледѣльческаго труда противорѣчило теоріи кризисовъ и пауперизма Родбертуса. Такъ понималъ, повидимому, свое отношеніе къ Рикардо и самъ Родбертусъ. Въ письмѣ къ Ад. Вагнеру отъ 20-го іюня 1872 года онъ говоритъ, что теорія поземельной ренты Рикардо несогласима съ его ученіемъ о пауперизмѣ и кризисахъ только въ одной (и даже несущественной) своей части,—въ той именно части, гдѣ высказывается убѣжденіе, что земледѣльческій трудъ становится все менѣе и менѣе производительнымъ, и пища становится повтому все дороже. «Мое же ученіе,—продолжаетъ онъ,—основывается на совершенно обратномъ положеніи: я утверждаю, что земледѣльческій трудъ становится все болѣе и болѣе производительнымъ, и что цѣна пищи, измѣряемая *трудомъ*, постоянно падаетъ» ¹⁾. Но въ своихъ ученіяхъ Родбертусъ не ограничился, къ сожалѣнію, опроверженіемъ этой «несущественной части» ученія Рикардо

¹⁾ Zeitschrift für die gesam. Staatswiessen., S. 234.

о рентѣ. Онъ отнесъ къ числу научныхъ «предразсудковъ» все это ученіе и рѣшилъ противопоставить ему свою собственную теорію поземельной ренты, которая вообще составляетъ самую слабую сторону всего ученія его о распредѣленіи. Этой теоріи онъ придавалъ огромное значеніе и, весьма невыгоднымъ для себя образомъ, связывалъ съ нею всѣ остальные свои «теоретическія положенія» и всѣ свои «практическіе» планы. Какковы именно были взгляды Родбертуса на природу и происхожденіе поземельной ренты, объ этомъ намъ придется говорить въ слѣдующихъ главахъ, теперь же мы должны познакомить читателя съ основными «теоремами» его ученія о распредѣленіи.

Первое, по важности, мѣсто занимаетъ между ними «теорема», гласящая, что «*всѣ предметы потребленія—съ экономической точки зрѣнія—должны быть разсматриваемы какъ продукты труда, и только труда*». Теорема эта «пріобрѣла уже, по словамъ нашего автора, полное право гражданства въ ученіяхъ англійскихъ экономистовъ, нашла своего защитника даже въ лицѣ Бастіа, хотя и получила въ его «Экономическихъ гармоніяхъ» совершенно невѣрное приложеніе, но—что всего важнѣе—она глубоко вкоренилась въ народномъ сознаніи, несмотря на софизмы нѣкоторыхъ таящихъ заднюю мысль ученій»¹⁾. Посмотримъ же, какъ поясняетъ и доказываетъ ее Родбертусъ.

Если бы,—говоритъ онъ,—предметы потребленія существовали въ неограниченномъ количествѣ и притомъ, какъ воздухъ или солнечный свѣтъ, непосредственно могли бы служить для удовлетворенія человѣческихъ потребностей, то люди не имѣли бы никакихъ побужденій къ труду и веденію хозяйства. Но въ томъ-то и дѣло, что предметы, самой природой приспособленныхъ къ нуждамъ человѣка, очень немного. Большинство же существующихъ въ природѣ предметовъ должно быть подвергнуто извѣстной предварительной обработкѣ, чтобы служить для удовлетворенія человѣческихъ потребностей. «Щедрость природы должна быть дополнена дѣятельностью человѣка. Само собою разумѣется, что дѣятельность его можетъ быть весьма неодинаковой по своему характеру и интенсивности. Между собираніемъ дикорастущихъ плодовъ и тою въ высшей степени сложной работой, которая необходима для постройки паровой машины, лежитъ цѣлая бездна. Но, несмотря на все разнообразіе проявленій человѣческой дѣятельности, *природа* ея всегда остается неизмѣнной. «Во всѣхъ различныхъ случаяхъ она есть не что иное, какъ затрата силъ и времени человѣка, съ цѣлью пріобрѣтенія извѣстнаго предмета. Во всѣхъ этихъ случаяхъ она остается *трудою*»²⁾).

1) Zur Beleuchtung der socialen Frage, S. 70—71.

2) Zur Erkenntniss unserer staatswirth. Zustände, S. 5.

Теперь понятно, какой смысл имѣетъ *хозяйство*. Человѣческія потребности очень разнообразны и многочисленны. Приобрѣсти необходимые для ихъ удовлетворенія предметы человекъ можетъ лишь цѣною затраты своего времени и своихъ усилій. Какъ находящееся въ его распоряженіи время, такъ и способность его къ труду, разумѣется, не безграничны. Онъ долженъ поэтому стараться раскодовать свой трудъ и свое время, равно какъ и приобрѣтенные цѣною ихъ затраты продукты, съ возможно большею осмотрительностью: онъ долженъ вести *хозяйство*. Въ область этого хозяйства будутъ, очевидно, входить лишь тѣ предметы, приобрѣтеніе которыхъ стоило человеку извѣстнаго труда, или, какъ выражается Родбертусъ, «причины, сдѣлавшія необходимымъ веденіе хозяйства, опредѣляютъ и границы его области». Всѣ предметы, владельцемъ которыхъ человекъ становится безъ всякихъ усилій съ своей стороны, будутъ *естественными благами*, не представляющими собою объектовъ его хозяйственной дѣятельности.

Вмѣстѣ съ этимъ «опредѣленіемъ границъ хозяйственной области» человека становится яснымъ и то положеніе, что *предметы потребленія стоятъ труда, и только труда*,— другими словами, что «въ исторіи возникновенія предметовъ потребленія нѣтъ помимо труда другихъ элементовъ, которые можно было бы разсматривать съ точки зрѣнія *стоимости* этихъ предметовъ. Никто, конечно, не станетъ отрицать, что для производства извѣстнаго продукта нуженъ еще матеріалъ, къ которому могъ бы быть приложенъ трудъ человека. Но этотъ матеріалъ даетъ ему природа. И нужно было бы, замѣчаетъ нашъ авторъ, олицетворять природу, чтобы говорить о томъ, чего *стоитъ для нея* матеріалъ или такъ называемыя силы ея, утилизируемыя человекомъ для облегченія своего труда. А если нельзя говорить о томъ, чего *стоитъ* первоначальный матеріалъ *природы*, то нельзя, стало быть, и вообще говорить о его стоимости. Онъ существуетъ помимо труда человека, а кромѣ человека нѣтъ другого субъекта, которому могъ бы *стоять* чего-либо тотъ или другой предметъ: природа безлична. Поэтому человекъ можетъ быть очень благодаренъ природѣ за то, что силы ея облегчаютъ ему трудъ производства необходимыхъ для него продуктовъ; но въ хозяйствѣ его эти продукты будутъ имѣть значеніе лишь постольку, поскольку ему придется дополнять своимъ трудомъ дѣло природы. «Кто смотритъ на предметы потребленія иначе, тотъ разсматриваетъ ихъ съ естественно-исторической точки зрѣнія», замѣчаетъ Родбертусъ ¹⁾).

При этомъ нужно помнить, что экономическая наука имѣетъ дѣло только съ матеріальными продуктами и только съ тѣмъ трудомъ, который имѣетъ цѣлью производство этихъ продуктовъ. Съ легкой руки Ж. Б. Сэя фран-

¹⁾ Zur Beleuchtung der socialen Frage, S. 69.

цзские экономисты особенно склонны были умалывать различіе между всѣми видами «производительной дѣятельности» чловѣка. Они утверждали, что трудъ юристовъ, писателей и чиновниковъ такъ же входитъ въ область національно-экономическихъ изслѣдованій, какъ трудъ машиниста или земледѣльца. Впрочемъ, на дѣлѣ и они не оставались, по словамъ Родбертуса, вѣрными этому взгляду. «Заявивши на первыхъ страницахъ своихъ сочиненій, что нематеріальные продукты также подлежатъ вѣдѣнію хозяйственной науки, они ни единымъ словомъ не упоминали объ этихъ продуктахъ во всѣхъ остальныхъ частяхъ своихъ изслѣдованій» и рассуждали лишь о матеріальныхъ предметахъ потребленія. Если бы они захотѣли быть послѣдовательными, то должны были бы «писать не о политической экономіи, а о соціальной наукѣ въ обширномъ смыслѣ этого слова; тогда можно было бы говорить о теологіи или юриспруденціи рядомъ съ технологіей или сельскимъ хозяйствомъ». Но дѣятельность, направленная на добываніе матеріальныхъ продуктовъ, во всякомъ случаѣ, настолько важна и обширна, что можетъ и должна составить предметъ особой науки, область которой была бы разграничена съ областью другихъ общественныхъ наукъ. Съ точки же зрѣнія этой науки производительнымъ можетъ назваться только тотъ трудъ, который непосредственно направленъ на производство матеріальныхъ предметовъ потребленія. Судья, занимающійся охраненіемъ существующаго въ обществѣ правового порядка, косвеннымъ образомъ способствуетъ, конечно, производству матеріальныхъ продуктовъ. За эту дѣятельность онъ имѣетъ, разумѣется полное право требовать извѣстнаго вознагражденія. Но предметомъ непосредственныхъ его занятій является право, а не фабричный или земледѣльческій трудъ. И если нельзя сказать, что рабочіе принимаютъ участіе въ дѣятельности судьи, обезпечивая ему матеріальныя средства существованія, то и наоборотъ, нельзя утверждать, что судья участвуетъ въ производствѣ матеріальныхъ предметовъ, занимаясь охраненіемъ правового порядка. «Необходимая взаимная связь различныхъ общественныхъ функцій составляетъ,—говоритъ Родбертусъ,—гораздо болѣе широкое понятіе, чѣмъ понятіе о раздѣленіи труда, направленнаго на добываніе матеріальныхъ предметовъ».

Но если всѣ «хозяйственныя блага» стоятъ труда, то подъ этимъ послѣднимъ нужно понимать не только ту непосредственную работу, которая дѣлаетъ матеріальнъ годнымъ для потребленія. Съ тѣми *орудіями* труда, которыми снабдила его природа, то есть съ органами своего тѣла, чловѣкъ ушелъ бы очень недалеко, такъ какъ органы эти слишкомъ слабы для успѣшной борьбы за существованіе. Поэтому съ самыхъ первыхъ шаговъ своего культурнаго развитія онъ вооружается искусственными орудіями, для приготовления которыхъ онъ долженъ, разумѣется, затратить извѣстное количество силъ и времени: они также *стоятъ ему труда*. Каждый приготовленный не голыми руками продуктъ бу-

детъ стоять, слѣдовательно, во-первыхъ, труда, съ помощью котораго орудія производства были употреблены въ дѣло, а во-вторыхъ, той работы,—или, вѣрнѣе, извѣстной части той работы,—которая нужна была для выдѣлки самихъ орудій производства. Если данное орудіе могло служить для выдѣлки одного только предмета, который мы назовемъ X, то стоимость его пѣликомъ перенесется на этотъ предметъ. Если же съ помощью нашего орудія можно произвести не одинъ, а нѣсколько,—напримѣръ, хоть десять,—такихъ предметовъ, то на каждый изъ нихъ въ отдѣльности перенесется только одна десятая часть стоимости орудія. Такимъ образомъ, стоимость каждаго изъ нихъ будетъ равняться, во-первыхъ, десятой части стоимости орудія, къ которой нужно прибавить, во-вторыхъ, трудъ, затраченный на приведеніе орудія въ дѣйствіе во время производства. Если мы этотъ трудъ обозначимъ черезъ m , а трудъ, необходимый для приготовленія орудія, черезъ n , то у насъ получится слѣдующая формула стоимости нашего предмета:

$$x = m + \frac{n}{10}$$

До сихъ поръ мы предполагали, что имѣемъ дѣло съ человѣкомъ, ведущимъ совершенно изолированное хозяйство. Для простоты примѣра было допущено, что трудящійся самъ выдѣлываетъ необходимыя для него орудія и самъ же подвергаетъ существующій въ природѣ матеріалъ всѣмъ послѣдовательнымъ видамъ обработки. Но извѣстно, что такихъ Робинзоновъ въ дѣйствительности не существуетъ. Уже на самыхъ низшихъ ступеняхъ развитія человѣческихъ обществъ въ ихъ средѣ замѣчается извѣстное раздѣленіе труда, дѣлающее возможной кооперацію нѣсколькихъ производителей. Затѣмъ появляется частная собственность, обнаруживаются имущественныя неравенства, земля и орудія производства скопляются въ рукахъ высшихъ сословій. Спрашивается, не вноситъ ли этотъ ходъ развитія человѣческихъ обществъ какихъ-либо ограниченій въ то положеніе, что «всѣ продукты стоятъ труда и только труда»? Если это положеніе вѣрно для человѣка, ведущаго изолированное хозяйство, то не возникаютъ ли, съ теченіемъ времени, какіе-нибудь другіе элементы, которые рядомъ съ трудомъ входили бы составною частью въ стоимость продуктовъ? Извѣстно, что этотъ вопросъ былъ поводомъ ожесточенныхъ споровъ между различными школами экономистовъ. Каждая изъ нихъ отвѣчала на него по-своему, и каждая утверждала, что она развиваетъ лишь ученіе Ад. Смита объ этомъ предметѣ. И нужно сознаться, что Смитъ выражался по этому поводу такъ сбивчиво и неопредѣленно, что, дѣйствительно, могъ поддерживать своимъ авторитетомъ самыя противоположныя мнѣнія.

По словамъ Родбертуса, вышеприведенная «истина не измѣняется ни вслѣдствіе раздѣленія труда, ни вслѣдствіе того, что людямъ удастся, съ

теченіемъ времени, съ меньшимъ количествомъ усилій производить большее количество продуктовъ» ¹⁾).

Раздѣленіемъ труда обуславливается лишь то обстоятельство, что надъ производствомъ каждаго даннаго продукта трудится уже не одно, а нѣсколько лицъ. Продуктъ стоитъ, въ такомъ случаѣ, труда всѣхъ тѣхъ рабочихъ, черезъ руки которыхъ онъ проходилъ на различныхъ стадіяхъ его приготовленія. Если къ труду этихъ работниковъ прибавить ту часть стоимости, которую утратили употреблявшіяся ими орудія, то мы получимъ полную стоимость даннаго продукта. А такъ какъ орудія производства, въ свою очередь, «стоятъ труда и только труда», то мы должны признать, что теперь—какъ и въ изолированномъ хозяйствѣ—въ стоимость продуктовъ не входитъ никакихъ элементовъ кромѣ человѣческой работы.

Точно также не измѣняется сущность дѣла и съ возникновеніемъ частной собственности на землю и капиталы. Оно ведетъ лишь къ тому, что производители не трудятся болѣе для себя, но работаютъ на землевладѣльцевъ и капиталистовъ. Поэтому и продуктъ труда принадлежитъ уже этимъ послѣднимъ, между тѣмъ какъ рабочіе получаютъ, если они пользуются личной свободой, извѣстное вознагражденіе въ видѣ заработной платы. Но продукты не перестанутъ быть результатомъ ихъ труда и только ихъ труда. Конечно, землевладѣльцы и капиталисты могутъ и сами принимать участіе въ трудѣ ихъ работниковъ, и тогда продукты будутъ результатомъ, между прочимъ, и ихъ труда. Но они выступаютъ, въ такомъ случаѣ, уже въ качествѣ работниковъ, а не въ качествѣ капиталистовъ и землевладѣльцевъ. Продукты будутъ результатомъ «ихъ труда, а не почвы ихъ или капиталовъ» ²⁾. Словомъ, все, что составляетъ доходъ собственниковъ, поземельная рента и прибыль на капиталъ, представляетъ собою такой же продуктъ труда, какъ и заработная плата.

«Всѣ передовые эконоимисты согласны между собою въ этомъ отношеніи,—говоритъ Родбертусъ,—хотя они и держатся различныхъ взглядовъ на правомѣрность существованія ренты и прибыли». Даже Бастиа и Тьеръ признаютъ, что рента и прибыль составляютъ продуктъ труда. Но, по мнѣнію этихъ послѣднихъ, каждый поземельный собственникъ представляетъ собою именно то лицо,—или наслѣдника того лица,—которое впервые расчистило данный участокъ земли и сдѣлало его годнымъ для обработки. Точно также и въ капиталистахъ видятъ они лицъ, собственнымъ трудомъ приготовившихъ тѣ средства производства, которыя употребляются нынѣ въ дѣло рабочими. Въ этомъ пунктѣ,—равно какъ и въ вопросѣ о томъ, не являются ли рента и прибыль нѣсколько преуве-

¹⁾ Zur Beleuchtung etc., S. 71.

²⁾ Zur Beleuchtung, S. 71.

личнымъ вознагражденіемъ за когда-то сдѣланную работу,—и лежитъ по мнѣнію Родбертуса, начало всѣхъ споровъ и несогласій между «передовыми экономистами».

Если раздѣленіе труда и переходъ его орудій и объектовъ въ руки высшихъ сословій не могли поколебать вышеприведенной «теоремы», то возрастаніе производительности труда еще менѣе способно принести съ собою какіе-нибудь новые элементы стоимости. Единственнымъ результатомъ увеличенія плодородности почвы или прогресса промышленной техники можетъ быть лишь уменьшеніе затраты труда, необходимой для производства земледѣльческихъ или фабричныхъ продуктовъ.

«Но никогда,—говоритъ Родбертусъ,—хлѣбъ, выросшій на болѣе плодородной почвѣ, не будетъ продуктомъ чего-либо другого, кромѣ труда; никогда не можетъ онъ быть названъ—съ экономической точки зрѣнія—продуктомъ самой почвы или землевладѣльца, какъ такового». То же нужно помнить и относительно фабричныхъ продуктовъ. Съ экономической точки зрѣнія было бы невозможно сказать, что производимые нынѣ съ меньшими, чѣмъ прежде, затратами труда фабрикаты являются отчасти продуктомъ дѣйствующей въ машинахъ естественной силы, или продуктомъ предпринимателя, какъ такового. И до и послѣ введенія машинъ фабричныя издѣлія являются продуктами труда: въ первомъ случаѣ большаго, во второмъ—меньшаго его количества.

Связанное съ употребленіемъ машинъ возрастаніе количества продуктовъ, производимыхъ работникомъ въ единицу времени, даетъ намъ только понятіе о роли и значеніи производительности труда въ экономической исторіи общества, но на на іоту не ограничиваетъ правила, по которому *«всѣ предметы потребления стоятъ труда и только труда»*.

Если «въ исторіи возникновенія предметовъ потребления нѣтъ, кромѣ труда, другихъ элементовъ, которые можно было бы разсматривать съ точки зрѣнія *стоимости* этихъ предметовъ», то мы имѣемъ право предположить, что трудъ является единственной нормой, регулирующей обмѣнъ продуктовъ на рынкѣ. Иначе сказать, мы имѣемъ всѣ основанія согласиться съ Рикардо, утверждавшимъ, что мѣновая стоимость предмета «или количество всякаго другого предмета, на которое онъ обмѣнивается, зависитъ отъ сравнительнаго количества труда, необходимаго на его производство» ¹⁾. Правда, такъ называемая, рыночная цѣна предметовъ постоянно колеблется подъ вліяніемъ измѣненій въ спросѣ и предложеніи. Но она стремится, по крайней мѣрѣ, совпасть съ «естественной цѣною» предметовъ, которая опредѣляется количествомъ труда, необходимаго на ихъ производство. Совершенно въ духѣ Рикардо, Родбертусъ замѣчаетъ, что это тяготѣніе рыночной цѣны обусловливается конкуренціей пред-

1) Сочиненія Давида Рикардо, выпускъ I, стр. 1.

принимателей. Въ самомъ дѣлѣ, если бы въ какой-нибудь отрасли производства предпринимателямъ удалось получить, въ обмѣнъ за свои продукты, количество предметовъ, стоившее большаго труда, чѣмъ стоили имъ собственныя издѣлія, то это было бы равносильно увеличенію ихъ прибыли. Каждый, располагающій свободнымъ капиталомъ, поспѣшилъ бы употребить его въ «дѣло» именно въ этой, болѣе выгодной отрасли производства. Тогда предложеніе ея продуктовъ превысило бы спросъ ихъ на рынкѣ; упала бы ихъ рыночная цѣна, а вмѣстѣ съ нею и прибыль предпринимателей и мѣновая стоимость предметовъ снова стала бы въ зависимость единственно «отъ количества труда, необходимаго на ихъ производство». Въ томъ случаѣ, когда рыночная цѣна предметовъ упала бы слишкомъ низко, то есть, если бы въ обмѣнъ за нихъ стали давать количество другихъ предметовъ, стоившее меньшаго труда, чѣмъ стоили они сами, произошло бы явленіе обратное вышеописанному. Производство этихъ продуктовъ сдѣлалось бы, сравнительно, невыгоднымъ, предприниматели стали бы переводить свои капиталы въ болѣе прибыльныя отрасли промышленности, и рыночная цѣна этихъ продуктовъ, вслѣдствіе уменьшенія предложенія, снова поднялась бы до надлежащаго уровня. Такъ, подобно маятнику, вѣчно колеблется рыночная цѣна продуктовъ то въ ту, то въ другую сторону, никогда, быть можетъ, не совпадая, но всегда стремясь совпасть съ точкой покоя, т. е. съ «естественной» ихъ цѣною.

Таково общее правило. Но извѣстно, что на всякое правило есть исключенія. «Въ частностяхъ, т. е. въ каждомъ данномъ ремеслѣ и на каждой данной ступени раздѣленія труда, продукты не всегда могутъ обмѣниваться,—говоритъ Родбертусъ,—на точномъ основаніи заключающагося въ нихъ количества труда» ¹⁾. Эти отклоненія отъ нормы вызываются, по его мнѣнію, двумя причинами:

1) тѣмъ, что прибыль капиталистовъ «имѣетъ, по крайней мѣрѣ, тенденцію сдѣлаться равной во всѣхъ предпріятіяхъ»;

2) тѣмъ, что мѣновая стоимость продуктовъ даннаго рода опредѣляется количествомъ труда, необходимаго на ихъ производство въ тѣхъ именно предпріятіяхъ, которыя вынуждены работать при наименѣе благоприятныхъ условіяхъ.

Остановимся сначала на первой изъ этихъ причинъ. Читателю извѣстно, какъ опредѣляется уровень прибыли промышленныхъ предпріятій: сумма такъ называемаго чистаго дохода дѣлится на общую сумму предпринимательскаго фонда. Если фабрикантъ затратилъ на свое предпріятіе 100.000 рублей и получилъ 20.000 руб. чистаго дохода, то прибыль будетъ равняться пятой части его капитала, или, иначе сказать,

¹⁾ Zur Erkenntniss etc., S. 130.

онъ получить 20% прибыли на свой капиталъ. Предположимъ теперь, что два предпринимателя «работаютъ» въ двухъ различныхъ отрасляхъ промышленности. Допустимъ также, что каждый изъ нихъ «даетъ работу» одинаковому числу «рукъ» и что «руки» эти затрачиваютъ въ теченіе рабочаго дня одинаковое количество труда въ каждой изъ этихъ отраслей промышленности. Тогда одинъ изъ элементовъ общей стоимости продуктовъ—трудъ непосредственно занятыхъ въ производствѣ работниковъ—будетъ также одинаковъ въ обоихъ предпріятіяхъ. Если мы предположимъ кромѣ того, что каждый изъ нашихъ предпринимателей употребляетъ машины одинаковой стоимости и одинаковой прочности, то въ обоихъ предпріятіяхъ на продуктъ перенесется одинаковая стоимость съ орудій труда. Но въ обществахъ, основанныхъ на раздѣленіи труда, существуетъ еще третій элементъ мѣновой стоимости продуктовъ: стоимость матеріала, изъ котораго они приготовляются. Мы говорили выше, что *первоначальный матеріалъ* дается человѣку самой природой и потому не можетъ быть разсматриваемъ съ точки зрѣнія стоимости. Поэтому мы просимъ читателя обратить вниманіе на то, что теперь рѣчь идетъ уже не о *первоначальномъ* матеріалѣ. Извѣстно, что при раздѣленіи общественнаго труда одинъ и тотъ же предметъ является *продуктомъ* по отношенію къ одной отрасли производства и *материаломъ* по отношенію къ другой. Каменный уголь, напримѣръ, можетъ назваться *продуктомъ труда* рабочихъ, добывающихъ его въ шахтахъ, и *материаломъ*—по отношенію къ рабочимъ газовыхъ заводовъ; полотно есть продуктъ труда ткача, матеріалъ—для труда швеи и т. д., и т. д. Мы знаемъ также, что при современныхъ общественныхъ отношеніяхъ переходъ продуктовъ изъ одной отрасли производства въ другую, т. е. съ одной ступени обработки на другую, болѣе высокую, «представляетъ собою длинную цѣпь передачъ и отчужденій собственности, совершаемыхъ при посредствѣ денегъ». Чѣмъ больше ступеней обработки прошелъ извѣстный продуктъ, тѣмъ онъ дороже, потому что тѣмъ большее количество труда онъ, по выраженію Родбертуса, «въ себѣ заключаетъ». Если взятые нами для примѣра два предпринимателя нуждаются въ матеріалѣ различной степени обработки, то и стоимость этого матеріала будетъ неодинакова: одному изъ нихъ придется заплатить за него, положимъ, 50.000 р., другому—100.000 или болѣе. Разумѣется, стоимость матеріала перенесется на продуктъ и составитъ, рядомъ съ двумя указанными выше, третій элементъ его мѣновой стоимости. Благодаря неодинаковымъ затратамъ на матеріалъ, *валовой доходъ* нашихъ предпринимателей будетъ, слѣдовательно, неодинаковъ. Первый выручитъ меньшую, второй большую сумму за свой продуктъ. Что же касается *чистаго дохода*, то на него стоимость матеріала не можетъ оказать вліянія, если только продукты обмѣниваются сообразно «количествамъ труда, необходимаго на ихъ производство». Въ самомъ

дѣлѣ, ни матеріалъ, ни орудія труда не создаютъ новой стоимости. Ее создаетъ только живой человѣческой трудъ. Стало быть, секрета *чистаго дохода* мы должны искать въ трудѣ занятыхъ производствомъ продуктовъ рабочихъ. И дѣйствительно, ларчикъ открывается именно съ этой стороны. *Чистый доходъ* предпринимателей обязанъ своимъ существованіемъ единственно тому, что рабочіе получаютъ, въ видѣ заработной платы, стоимость значительно меньшую, чѣмъ та, которую они создаютъ своимъ трудомъ и прибавляютъ, такимъ образомъ, къ стоимости матеріала. Ниже мы еще вернемся къ этому предмету, а теперь обратимъ вниманіе на «барыши» нашихъ предпринимателей. Каждый изъ нихъ «даетъ работу» одинаковому числу «рукъ». Каждый удерживаетъ, при равной продолжительности и интенсивности работы и равной заработной платѣ въ обоихъ предпріятіяхъ, одинаковую часть стоимости произведенныхъ этими «руками» продуктовъ. Чистый доходъ ихъ будетъ, слѣдовательно, одинаковъ. Но одинъ изъ нихъ долженъ былъ сдѣлать большія затраты на матеріалъ, чѣмъ другой. Поэтому, равный въ обоихъ предпріятіяхъ чистый доходъ не будетъ стоять въ одинаковомъ отношеніи къ общей суммѣ издержекъ каждаго изъ нашихъ предпринимателей. Онъ будетъ составлять, положимъ, четвертую часть издержекъ одного и только пятую часть издержекъ другого предпринимателя, которому пришлось употреблять въ дѣло болѣе дорогой матеріалъ. Первый получилъ 25% прибыли на затраченный имъ капиталъ, между тѣмъ какъ второму удается «заработать» только 20%. Но какой же предприниматель согласится затрачивать свой капиталъ въ менѣе выгодной отрасли промышленности? Разумѣется, никакой, если только не существуетъ законодательныхъ постановленій, стѣсняющихъ переходъ отъ одного занятія къ другому. Поэтому Родбертусъ и полагаетъ, что мѣновая стоимость продуктовъ не всегда «зависитъ отъ сравнительнаго количества труда, необходимаго на нихъ производство». Продукты тѣхъ отраслей производства, которыя обрабатываютъ болѣе дорогой матеріалъ, *всегда* должны, по его мнѣнію, продаваться по цѣнѣ, нѣсколько превышающей эту норму. И это отклоненіе отъ общаго правила должно быть достаточно для того, чтобы во всѣхъ отрасляхъ промышленности отношеніе чистаго дохода къ общей суммѣ издержекъ предпріятія было одинаково или, другими словами, чтобы уровень прибыли стоялъ на одной высотѣ.

Перейдемъ теперь ко второму изъ указанныхъ Родбертусомъ ограниченій общаго закона мѣновой стоимости.

Увеличеніе спроса на продукты извѣстнаго рода вынуждаетъ, конечно, къ расширенію производства этихъ продуктовъ. При этомъ можетъ случиться, что добавочное ихъ количество потребуетъ большей затраты труда, чѣмъ нужно было прежде для производства равнаго ему количества этихъ продуктовъ.

По мнѣнію Родбертуса, стоимость всѣхъ находящихся на рынкѣ продуктовъ этого рода должна возрасти пропорціонально увеличенію трудности производства добавочнаго ихъ количества. Такъ, напримѣръ, Рикардо утверждалъ, что съ развитіемъ общества производство земледѣльческихъ продуктовъ можетъ расширяться только на счетъ худшихъ участковъ земли. Если бы онъ былъ правъ, то мѣновая стоимость хлѣба постоянно возрастала бы, въ зависимости отъ большей трудности производства его на менѣ плодородныхъ участкахъ. Вслѣдствіе этого, хлѣбъ, снятый съ *лучшихъ участковъ*, приобрѣлъ бы стоимость, нѣсколько превышающую количество труда, затраченнаго на его производство. Другими словами, при обмѣнѣ этого хлѣба, напримѣръ, на фабричные продукты, за него давали бы количество этихъ продуктовъ, стоявшее большаго труда, чѣмъ стоитъ онъ обладателю плодороднаго участка. Но если за продуктъ трехъ дней труда на *лучшемъ* участкѣ даютъ продуктъ четырехъ дней фабричнаго труда, то одинъ день фабричнаго труда создаетъ стоимость, равную только тремъ четвертямъ дня работы на названномъ участкѣ. Такимъ образомъ, «нарушеніе общаго закона мѣновой стоимости по отношенію къ какому-нибудь продукту оказываетъ обратное дѣйствіе на стоимость тѣхъ продуктовъ, на которые этотъ продуктъ обмѣнивается».

Но этимъ исключеніямъ не нужно придавать преувеличеннаго значенія. «Они доказываютъ только, что общій законъ мѣновой стоимости примѣнимъ не во всѣхъ частныхъ случаяхъ, но не опровергаютъ его вѣрности въ общемъ» ¹⁾.

Частныя отступленія уравновѣшиваютъ другъ друга, и мѣновая стоимость предметовъ не перестаетъ «зависѣть отъ сравнительнаго количества труда, необходимаго на ихъ производство». Нельзя, напримѣръ, утверждать, — какъ это, не безъ задней мысли, дѣлали нѣкоторые экономисты, — что мѣновая стоимость *всякаго* продукта нѣсколько превышаетъ количество затраченнаго на его производство труда. Такого рода превышеніе возможно, по мнѣнію Родбертуса, только въ частныхъ случаяхъ. «Дѣлаясь общимъ правиломъ, — говоритъ онъ, — оно тѣмъ самымъ потеряло бы всякое реальное значеніе». На кого падало бы это повышеніе мѣновой стоимости предметовъ? Въ обществѣ, основанномъ на раздѣленіи труда, потребители однихъ продуктовъ являются въ то же время производителями другихъ. Въ случаѣ предположеннаго общаго возвышенія мѣновой стоимости предметовъ производители продавали бы свои продукты по той же возвышенной цѣнѣ, по какой покупали бы продукты всѣхъ другихъ отраслей производства. Положенное въ одинъ карманъ они вынимали бы изъ другого, и само собою разумѣется, что такого рода упражненія такъ же не увеличили бы стоимости всѣхъ продуктовъ, какъ

¹⁾ Zur Erkenntniss, S. 132.

не увеличиваетъ разности прибавка одного и того же числа къ уменьшаемому и вычитаемому.

Но все это до такой степени просто и ясно, скажетъ читатель, что едва ли стоило останавливаться на этомъ; еще болѣе странно считать такое простое и очевидное для всѣхъ положеніе краеугольнымъ камнемъ какой-то новой теоріи, которая должна будто бы исправить ошибки прежнихъ экономистовъ. Все это, дѣйствительно, очень просто и очень ясно, отвѣтимъ мы, съ своей стороны. Но такъ уже изстари ведется, что всѣ какъ нельзя болѣе ясныя научныя истины подвергаются оспариванію, какъ только онѣ становятся въ противорѣчіе съ интересами сколько-нибудь вліятельныхъ классовъ общества. Недаромъ же говорить, что математическія аксіомы обязаны своею общепризнанностью единственно тому обстоятельству, что онѣ не затрагиваютъ ничьихъ интересовъ. А такъ какъ вопросъ о мѣновой стоимости очень недвусмысленнымъ образомъ касается интересовъ предпринимателей, то, разумѣется, не могло быть недостатка въ ученыхъ, готовыхъ оспаривать самыя неоспоримыя истины экономической науки. За примѣромъ, какъ говорится, ходить недалеко. Тотъ самый Германнъ, котораго профессоръ Адольфъ Вагнеръ относитъ къ числу самыхъ выдающихся нѣмецкихъ экономистовъ ¹⁾, утверждалъ, что обыкновенно продукты обмѣниваются на продукты большаго количества труда, чѣмъ то, которое нужно было на ихъ производство» (!). И такія «теоріи» стоимости не только не вызывали гомерическаго хохота, но выдавались за послѣднее слово экономической науки, и авторы ихъ до сихъ поръ, какъ читатель видитъ на примѣрѣ Германна, пользуются почетомъ со стороны «благодарнаго потомства». Родбертусъ взялъ на себя трудъ напомнить экономистамъ ученіе Рикардо о мѣновой стоимости. Онъ понималъ, что, пока этотъ вопросъ не будетъ выясненъ окончательно, невозможно будетъ окольцо-нибудь научное обоснованіе ученія о распредѣленіи. Поэтому онъ и направилъ свои усилія прежде всего на доказательство того положенія, что *«всѣ предметы потребленія стоятъ труда и только труда»*. Этою «теоремой» начинается первое, вышедшее еще въ 1842 году, его сочиненіе—*«Zur Erkenntniss unserer staatswirthschaftlichen Zustände»*. И эта «теорема» одна уже показываетъ въ немъ истиннаго ученика и послѣдователя Смита и Рикардо.

IV.

Если «всѣ предметы потребленія стоятъ труда и только труда», то весь національный доходъ обязанъ своимъ существованіемъ труду работниковъ. Какъ же объяснить,—спрашиваетъ Родбертусъ,—то обстоя-

¹⁾ См. Zeitschrift für die gesam. Staatswissensch., S. 203.

тельство, что въ современномъ обществѣ часть національнаго дохода достается лицамъ, пальцемъ не пошевелившимъ для его производства? Известно, что есть много, даже цѣлые классы лицъ, не принимающихъ участія въ производствѣ матеріальныхъ продуктовъ. Судьи, врачи, писатели, учителя и т. д., и т. д. получаютъ известное количество предметовъ потребления, произведенныхъ безъ всякаго съ ихъ стороны участія и составляющихъ, слѣдовательно, продуктъ труда другихъ членовъ общества. Правда, доходъ этихъ лицъ является результатомъ того, что называется «производнымъ распредѣленіемъ продуктовъ». Они получаютъ его, въ видѣ вознагражденія за свои услуги, отъ другихъ лицъ, принимающихъ участіе въ «первоначальномъ распредѣленіи продуктовъ». Но какъ происходитъ это послѣднее? Не видимъ ли мы, что лица, не принимавшія никакого участія въ производствѣ и не оказавшія никакихъ услугъ ни цѣлому обществу, ни отдѣльнымъ его членамъ, получаютъ, тѣмъ не менѣе, часть національнаго дохода? Здѣсь предъявляетъ на нее свои права землевладѣлецъ, весь трудъ котораго состоялъ въ томъ, что онъ подписалъ контрактъ, заключенный имъ со своимъ арендаторомъ. Тамъ капиталистъ—не менѣе легкимъ путемъ—получаетъ проценты на деньги, положенныя имъ въ банкъ или отданныя взаимъ частнымъ лицамъ. Предприниматель можетъ поручать веденіе всего своего дѣла управляющему, а, тѣмъ не менѣе, онъ будетъ получать доходъ, въ видѣ прибыли на затраченный въ производство капиталъ, даже въ томъ случаѣ, если капиталъ этотъ не составляетъ его собственности. Онъ можетъ занять его у другого лица и получать прибыль, отдавая капиталисту часть ея, въ видѣ процента. Конечно, лица эти могутъ заниматься весьма полезными для общества дѣлами, могутъ облагодѣтельствовать своихъ согражданъ тѣмъ или другимъ научнымъ открытіемъ или изобрѣтеніемъ. Но доходъ свой они получаютъ вовсе не въ видѣ вознагражденія за эти возможные услуги. Они не потеряли бы своихъ правъ на него даже въ томъ случаѣ, если бы стали вести совершенно праздный образъ жизни.

Что же даетъ этимъ лицамъ право на ихъ доходъ, который—называется ли онъ поземельною рентою, прибылью или процентами на капиталъ—всегда представляетъ собою продуктъ труда другихъ членовъ общества? И что заставляетъ трудящихся членовъ общества передавать продукты ихъ работы своимъ празднымъ согражданамъ, не получая отъ нихъ никакой полезной услуги? «Отвѣтъ на эти вопросы есть теорія ренты вообще, т. е. прибыли на капиталъ и поземельной ренты» ¹⁾, говоритъ Родбертусъ.

1) Zur Beleuchtung, S. 75.

Разумѣтся, предшественники Родбертуса въ экономической наукѣ, равно какъ и современные ему школы, также должны были столкнуться съ этими вопросами и искать того или другого ихъ рѣшенія. Но каждая изъ школъ отвѣчала на нихъ различнымъ образомъ, и каждая ошибалась, по мнѣнію нашего автора, въ томъ или другомъ отношеніи. Англійская школа осталась болѣе всѣхъ другихъ вѣрною «тому великому положенію Смита, что всѣ предметы потребленія являются результатомъ труда». Рикардо цѣликомъ принимаетъ это положеніе и признаетъ, что поземельная рента и прибыль представляютъ собою продуктъ труда, и притомъ труда не тѣхъ лицъ, которыя пользуются ими какъ доходомъ. Но, обстоятельно трактуя вопросъ о поземельной рентѣ, онъ «слишкомъ поверхностно касается принципа прибыли». Онъ существуетъ, по его мнѣнію, уже въ самыя раннія эпохи общественнаго развитія. «Первоначально,—говоритъ онъ,—когда приступаютъ къ земледѣлю, почва приноситъ только заработную плату и прибыль». Онъ пытается объяснить происхожденіе прибыли, называя ее «вознагражденіемъ за сбереженіе капитала». Но, по справедливому замѣчанію Родбертуса, это можетъ назваться лишь болѣе или менѣе удачнымъ сравненіемъ, но никакъ не объясненіемъ. Нѣкоторые же изъ послѣдователей Рикардо смѣшали прибыль съ процентомъ на отданный имъ заемъ капиталъ, между тѣмъ какъ, въ сущности, это два совершенно различныхъ понятія.

Процентомъ называется та часть прибыли, которую предприниматель отдаетъ лицу, ссудившему ему необходимый для веденія дѣла денежный капиталъ. Но откуда же берется самая прибыль, откуда получаетъ предприниматель возможность уплачивать проценты своему займодавцу? Вопросъ остается открытымъ, и если Рикардо давалъ на него весьма неясный отвѣтъ, то школа Сэя совершенно запутала дѣло. Она отрицала, что доходъ поземельныхъ собственниковъ и капиталистовъ представляетъ собою продуктъ труда. По ея мнѣнію, доходъ этотъ обязанъ своимъ существованіемъ «производительнымъ услугамъ» заключающимся въ почвѣ и капиталѣ естественныхъ силъ. Но, совершенно неожиданно для нея самой, школа Сэя дала своей теоріей новое оружіе въ руки французскихъ социалистовъ. «Если поземельная рента и прибыль являются результатомъ дѣйствія естественныхъ силъ,—говорили социалисты,—то справедливо ли обращать эти силы въ собственность частныхъ лицъ? Не разумнѣе ли было бы передать ихъ въ обладаніе всего общества?» Доводъ ихъ былъ неотразимъ, и, чтобы поправить дѣло, принимавшее непріятный для экономистовъ оборотъ, Бастиа далъ въ своихъ «Гармоніяхъ» новые отвѣты на поставленные выше «проклятые вопросы». Онъ соглашается, что поземельная рента и прибыль составляютъ продуктъ труда, но старается увѣрить своихъ читателей, что каждый изъ этихъ видовъ дохода создается

трудомъ именно тѣхъ лицъ, которыя его получаютъ, или ихъ предковъ. Ту же карту передергиваетъ и Тьеръ въ своей книгѣ «О собственности». «Мой отвѣтъ на вышепоставленные вопросы»,—говоритъ Родбертусъ,—заключаетъ въ себѣ новую, отличную отъ трехъ предшествующихъ, теорію».

«Во всѣ времена, съ тѣхъ поръ, какъ появилось раздѣленіе труда, съ нимъ было связано два явленія, которыми объясняется возникновеніе поземельной ренты и прибыли на капиталъ, или ренты вообще»,—продолжаетъ онъ, переходя къ изложенію этой теоріи. Первое изъ нихъ было экономического характера и относилось къ производству продуктовъ; второе стояло въ связи съ ихъ распредѣленіемъ и носило по-тому правовой характеръ. Остановимся сначала на первомъ.

На самыхъ низкихъ ступеняхъ общественнаго развитія производительность труда такъ незначительна, что продуктовъ его едва хватаетъ на поддержаніе жизни самихъ трудящихся. Тогда продуктъ, по необходимости, долженъ всецѣло принадлежать самимъ трудящимся. Ни одинъ членъ общества не можетъ жить въ праздности или взяться за какое-нибудь занятіе, не имѣющее въ виду удовлетворенія самыхъ первыхъ, самыхъ насущныхъ потребностей человѣка. Такъ, напри-мѣръ, каждый членъ охотничьяго племени добываетъ своимъ трудомъ не болѣе того, что необходимо для поддержанія его собственнаго существованія и, разумѣется, его семьи. Поэтому въ охотничьемъ племени невысказано появление людей, не занимающихся матеріальнымъ трудомъ. Такіе люди умерли бы съ голоду, и, при всемъ желаніи, общество не могло бы обезпечить имъ сколько-нибудь сносное существованіе. Но предположимъ, что производительность охотничьяго труда вдругъ возрасла въ два или три раза. Тогда каждый охотникъ могъ бы добывать средства существованія не только для себя одного, но и еще для одного или двухъ членовъ племени. Этимъ была бы создана *экономическая возможность* существованія ренты, которая, по терминологіи Родбертуса, есть не что иное, какъ «доходъ, получаемый кѣмъ-либо въ качествѣ собственника безъ всякаго труда съ своей стороны». Увеличеніе производительности труда представляетъ собою необходимое условіе возникновенія ренты. Последняя *«возможна только тогда, когда занятые въ производствѣ работники создаютъ своимъ трудомъ болѣе того, что нужно для поддержанія ихъ существованія»* ¹⁾. Но охотничій трудъ никогда не можетъ достигнуть такой степени производительности. Только переходъ къ земледѣлію избавляетъ людей отъ необходимости тратить все свое время и всѣ свои силы на удовлетвореніе насущнѣйшихъ своихъ потребностей. Конечно, земледѣліе, въ собственномъ смыслѣ этого слова, доставляетъ только сы-

1) Zur Erkenntniss, S. 67.

рой материалъ. Его продукты должны подвергнуться дальнѣйшей обработкѣ, чтобы годиться для потребления. И, чтобы возможно было возникновеніе ренты, производительность труда должна возрасти также и въ тѣхъ отрасляхъ производства, которыя занимаются обработкою доставляемаго земледѣліемъ сырья. Что же касается предметовъ не первой необходимости, то возрастаніе производительности труда изготовляющихъ ихъ лицъ не составляетъ необходимаго условія существованія ренты. Если каждый занятый производствомъ предметовъ первой необходимости работникъ можетъ обезпечить оредство существованія не только самому себѣ, но и еще двумъ лицамъ, то ничто не мѣшаетъ этимъ послѣднимъ посвятить себя изготовленію предметовъ роскоши. Обладатели предметовъ первой необходимости отдадутъ имъ излишекъ своихъ продуктовъ въ обмѣнъ за издѣлія роскоши, и такой обмѣнъ можетъ состояться даже въ томъ случаѣ, если количество этихъ издѣлій будетъ весьма ограничено. Если же излишекъ продуктовъ первой необходимости скопится въ рукахъ немногихъ собственниковъ, то они получаютъ полную возможность содержать цѣлыя полчища совершенно непродуцельной челяди.

Чѣмъ болѣе возрастаетъ производительность труда, чѣмъ большее число членовъ общества можетъ быть избавлено отъ необходимости матеріальнаго труда,—тѣмъ большее число ихъ можетъ посвятить себя другимъ родамъ дѣятельности. Отсюда видно, какъ тѣсно связаны всѣ сферы общественной жизни съ экономическимъ прогрессомъ. «Чѣмъ выше производительность труда, тѣмъ пышнѣе можетъ развиваться умственная и художественная дѣятельность націи; чѣмъ ниже первая, тѣмъ бѣднѣе вторая».

Но возрастаніе производительности труда, въ свою очередь, обуславливается его раздѣленіемъ. До раздѣленія труда человѣческая дѣятельность ограничивается захватомъ тѣхъ предметовъ потребления, которые предлагаетъ сама природа: собираніемъ дикорастущихъ плодовъ или охотой. Производство, въ истинномъ смыслѣ этого слова, земледѣліе и скотоводство становятся возможными лишь со времени раздѣленія труда, съ которымъ тѣсно связанъ весь экономическій прогрессъ общества. Въ самомъ дѣлѣ, человѣческій трудъ можетъ сдѣлаться производительнѣе только путемъ улучшенія способовъ производства и усовершенствованія его орудій. Но никакое серьезное усовершенствованіе способовъ и орудій производства немислимо безъ раздѣленія труда. «Именно это послѣднее было тою дверью, черезъ которую человечество вышло на безконечную дорогу своего экономического развитія».

Казалось бы, что возрастаніе производительности труда должно прежде всего послужить на пользу самимъ трудящимся. Если въ результатѣ извѣстнаго количества труда является большее, чѣмъ прежде, количество

продуктовъ, то естественнѣе всего было бы ожидать, что производители воспользуются этимъ для улучшенія своего матеріальнаго благосостоянія для сокращенія своего рабочаго дня и т. д., и т. д. Такъ оно, по мнѣнію Родбертуса, и было бы, если бы экономическіе успѣхи человѣчества не сопровождались возникновеніемъ нѣкоторыхъ правовыхъ институтовъ, обуславливающихъ нѣкоторые особенности въ распредѣленіи продуктовъ.

Сущность этихъ институтовъ сводится къ слѣдующему. Какъ только производительность труда поднимется на такую высокую степень, что трудящійся оказывается въ состояніи производить болѣе чѣмъ нужно для поддержанія его существованія, то почва и капиталы переходятъ въ собственность лицъ, не принимающихъ непосредственнаго участія въ производствѣ. Поэтому и продукты труда достаются уже не рабочимъ, а обладателямъ средствъ производства. Изъ общей суммы этихъ продуктовъ рабочіе получаютъ только часть не превышающую того, что необходимо для поддержанія ихъ жизни. Остальная часть продукта поступаетъ въ полное распоряженіе собственниковъ и составляетъ ихъ *ренту*. «Положеніе это кажется, съ перваго взгляда, до такой степени невѣроятнымъ,—замѣчаетъ Родбертусъ,—что можетъ возбудить недоумѣніе въ читателяхъ... Вѣдь написалъ же Тьеръ дѣлаю книгу въ 400 страницъ, чтобы доказать, что собственность основывается только на трудѣ, что она настолько же законна, насколько законно присвоеніе трудящимся продуктовъ своего труда. И вдругъ оказывается, что знаменитый писатель старался обосновать право собственности, ссылаясь на несуществующій фактъ! Въ концѣ концовъ выходитъ, что въ своей книгѣ Тьеръ только и дѣлалъ, что побивалъ самого себя! Какъ несомнѣнно то, что трудъ есть единственное разумное основаніе права собственности, что трудъ, говоря словами Тьера, не только долженъ лежать въ основѣ собственности, но также опредѣлять ея мѣру и границы, такъ же неопровержимо и то обстоятельство, что всюду, гдѣ существуетъ раздѣленіе труда, почва, орудія и продукты труда не принадлежатъ рабочимъ. Они составляютъ собственность послѣднихъ только до раздѣленія труда, т. е. до начала цивилизаціи. Земля, на которой снискиваетъ свое пропитаніе первобытный охотникъ, составляетъ его собственность, такъ же, какъ его лукъ, стрѣлы или убитое имъ животное. Съ появленіемъ раздѣленія труда такое правовое отношеніе трудящагося къ средствамъ и продуктамъ производства немедленно прекращается. Оглянитесь вокругъ себя! Гдѣ земля принадлежитъ работнику? Она принадлежитъ тому, кто не только не обрабатываетъ, но, пожалуй, никогда ее и не видалъ. Гдѣ принадлежатъ работнику капиталъ, т. е. матеріалъ, и орудія его труда? Онъ получаетъ ихъ отъ другого лица, отъ собственника, и работаетъ, такимъ образомъ, съ помощью чужого капитала. Гдѣ, наконецъ, принадлежатъ рабочему продукты его труда? Никогда, во все продолженіе

процесса производства, начиная от обработки пашни, на которой онъ сѣветъ клеверъ для корма овецъ, и кончая доставкой сукна потребителямъ, на всѣхъ ступеняхъ производства, во время стрижки, пряденья шерсти, тканья и окрашивания сукна, продуктъ не принадлежитъ работнику; онъ составляетъ собственность сначала землевладѣльца, а затѣмъ цѣлаго ряда предпринимателей, подвергающихъ его дальнѣйшей обработкѣ. Трудящіеся надъ приготовленіемъ продуктовъ рабочіе получаютъ заработную плату, которая есть не что другое, какъ продуктъ ихъ труда. Только эта заработная плата и поступаетъ имъ въ собственность, — если они могутъ, по своему правовому положенію, имѣть собственность. Въ такомъ отношеніи къ почвѣ, капиталу и продуктамъ своего труда повсюду стоятъ современный работникъ, и это отношеніе становится тѣмъ болѣе замѣтнымъ, чѣмъ болѣе развивается раздѣленіе труда и возрастаетъ его производительность» ¹⁾).

Мы знаемъ уже, что Бастіа и Тьеръ не смущались современнымъ положеніемъ работника. Они утверждали, что если земля и не принадлежитъ работнику въ настоящее время, то она во всякомъ случаѣ составляетъ собственность тѣхъ лицъ или наслѣдниковъ тѣхъ лицъ, которыя впервые сдѣлали ее доступной для обработки. Такъ же рассуждали они и о капиталѣ. По ихъ мнѣнію, онъ перешелъ въ обладаніе вынѣшнихъ капиталистовъ въ качествѣ наслѣдства отъ тѣхъ лицъ, труду которыхъ онъ обязанъ своимъ существованіемъ. Но Родбертусъ не придаетъ никакой цѣны подобнаго рода положеніямъ. «Я думаю,— пишетъ онъ во второмъ Письмѣ къ Кирхману,— что въ васъ, мой дорогой другъ, эти бессмысленныя увѣренія всегда вызывали такое же отвращеніе, какъ и во мнѣ. Какъ? Развѣ не происходитъ почти ежедневно обработка новой, дѣвственной почвы, ея осушеніе и т. п.? Этотъ трудъ совершается не землевладѣльцемъ, а нанятыми рабочими, которые не получаютъ, однако, ни малѣйшаго права собственности на воздѣланную ими землю. Не возникаютъ ли ежедневно новые капиталы, которые менѣе всего составляютъ продуктъ труда лицъ, получающихъ на нихъ право собственности? И какъ это могло случиться, что фактъ присвоенія самими трудящимися первыхъ обработанныхъ участковъ земли и первыхъ возникшихъ по раздѣленіи труда капиталовъ, что этотъ предполагаемый фактъ навсегда сдѣлалъ невозможнымъ свое повтореніе? Неужели разумный правовой принципъ присвоенія трудящимися продуктовъ своего труда, неужели этотъ принципъ только для того и явился нормой взаимныхъ отношеній первобытныхъ производителей, чтобы затѣмъ уничтожить себя навсегда? Нѣтъ, мнѣніе, по которому первоначально дѣло происходило не такъ, какъ теперь, *исторически невѣрно и экономи-*

¹⁾ Zur Beleuchtung, 79—80.

чески невозможно. И прежде, съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ появилось раздѣленіе труда, землевладѣльцами и капиталистами были не тѣ лица, которыя расчистили почву и создали своимъ трудомъ капиталы. Землевладѣльцы и капиталисты никогда не были бы въ состояніи одними только собственными силами расчистить почву и произвести капиталы»¹⁾.

Съ самыхъ первыхъ шаговъ культурнаго развитія человѣчества дѣйствительность представляла, по мнѣнію Родбертуса, далеко не тѣ мирныя картины, малеванію которыхъ такъ охотно предаются многіе экономисты. Всегда и вездѣ, вслѣдъ за раздѣленіемъ труда, появляется и эксплуатація челоѵка челоѵкомъ. «Одни повинуются и служатъ, другіе повелѣваютъ и наслаждаются; одни работаютъ, другіе присваиваютъ себѣ расчищенную землю, капиталы и продукты труда». Такой порядокомъ вещей такъ же старъ, какъ и «право, безъ котораго немислимъ былъ бы» экономическій прогрессъ челоѵчества. Только въ средѣ незнающихъ раздѣленія труда дикарей наталкиваемся мы на другія отношенія между людьми. Въ охотничьемъ племени всѣ свободны; лукъ, стрѣлы, всѣ необходимыя для охоты снаряды, равно какъ и убитая дичь принадлежать еще самому охотнику. На этой ступени развитія челоѵческихъ обществъ еще невозможно сколько-нибудь продолжительное подчиненіе челоѵка челоѵку. Связь родителей съ дѣтьми прекращается, какъ и въ животныхъ семьяхъ, немедленно по достиженіи дѣтьми физической зрѣлости. Побѣжденныхъ непріятелей убиваютъ, приносятъ въ жертву или съѣдаютъ. И весь этотъ порядокомъ вещей обусловливается экономической необходимостью. Когда производительность труда стоитъ на такой низкой ступени, что каждый трудящійся не можетъ произвести болѣе того, что необходимо ему для поддержанія его существованія, тогда эксплуатація челоѵка челоѵкомъ экономически невозможна. Обращеніе побѣжденнаго врага въ раба не приноситъ еще никакой выгоды побѣдителю, поэтому послѣдній долженъ или убить, или совершенно освободить своего непріятеля. Освобожденіе его было бы, однако, не въ интересахъ побѣдителя, такъ какъ борьба могла бы возгорѣться снова. Поэтому «охотничьи племена должны убивать своихъ побѣжденныхъ непріятелей». Но вотъ общество подвигается нѣсколько далѣе по пути своего культурнаго развитія. Появляются земледѣліе и раздѣленіе труда, производительность его возрастаетъ, и каждый трудящійся получаетъ возможность производить сверхъ необходимаго для него самого еще извѣстный излишекъ. Тогда побѣдителю уже невыгодно убивать своего врага. Онъ предпочтетъ обратить его въ рабство, чтобы пользоваться излишкомъ созданныхъ его трудомъ продуктовъ. Успѣхи общества на поприщѣ экономическихъ усовершенствованій влекутъ за собою про-

¹⁾ Ibid., 81.

грессъ въ правовыхъ отношеніяхъ, потому что порабощеніе все-таки должно быть признано смягченіемъ нравовъ, въ сравненіи съ убійствомъ или антропофагіей. «Развитіе правовой идеи всегда шло рука объ руку съ экономическою необходимостью».

Мы видимъ, такимъ образомъ, что «рабство возможно только у земледѣльческихъ народовъ». Но зато въ средѣ этихъ народовъ оно находитъ себѣ самое обширное примѣненіе. По словамъ Родбертуса, исторія не можетъ указать ни одного народа, у котораго самые первые слѣды земледѣлія не были бы связаны съ эксплуатаціей слабыхъ сильными, у котораго «на долю однихъ не выпадалъ бы трудъ, на долю другихъ—пользованіе его продуктами». Насиліе является необходимымъ и потому неизбежнымъ спутникомъ экономическаго развитія общества, однимъ изъ важнѣйшихъ факторовъ его хозяйственнаго уклада. Экономическій строй всѣхъ сколько-нибудь культурныхъ народовъ есть продуктъ насилія, господства съ одной стороны и подчиненія — съ другой. Древнѣйшіе историческіе памятники изображаютъ дѣло именно такимъ образомъ, и даже въ греческой философіи замѣтно еще, по словамъ Родбертуса, вліяніе этого повсемѣтнаго явленія. Нашъ авторъ цитируетъ то мѣсто изъ «Политики» Аристотеля, въ которомъ послѣдній говоритъ, что изъ «отношеній мужчины къ женщинѣ и господина къ рабу» возникаетъ первое хозяйство». У нашихъ предковъ дѣло происходило совершенно подобнымъ же образомъ. Оно не измѣнилось и въ то время, «въ которомъ можно уже исторически прослѣдить зачатки современнаго національнаго богатства Германіи». Въ доказательство Родбертусъ ссылается на знаменитые капитуляріи Карла Великаго de villis, то есть на тѣ распоряженія послѣдняго объ устройствѣ и организаціи императорскихъ виллъ или хуторовъ, которыя открываютъ собою, по словамъ Маурера, «новую эпоху» въ исторіи крупнаго землевладѣнія въ Германіи ¹⁾.

Такимъ образомъ, оказывается, что и «первоначально» почва, капиталы и продукты труда не принадлежали самимъ рабочимъ. По мнѣнію нашего автора, гораздо болѣе согласно съ исторической истиной обратное положеніе, то есть вѣрнѣе было бы сказать, что первоначально не только почва, капиталы и продукты труда, но и самые работники составляли собственность другихъ, нетрудящихся лицъ. «Первоначальный видъ эксплуатаціи чловѣка чловѣкомъ настолько же суровѣе современнаго, насколько рабство тяжелѣе для работника, чѣмъ договорныя отношенія его къ предпринимателю» въ современномъ обществѣ.

Но предполагаемый школой Бастіа первоначальный видъ отношеній производителя къ продуктамъ его труда, т. е. присвоеніе имъ этихъ про-

¹⁾ См. Einleitung zur Geschichte der Hof-Mark-Dorf und Stadtverfassung, S. 225.

дуктовъ, невозможно и съ экономической точки зрѣнія. Какимъ образомъ могло произойти расчищеніе почвы, осушеніе ея, распашка, словомъ, всѣ необходимыя при переходѣ къ земледѣлю работы? Разумѣется, ихъ не могъ предпринять и исполнить изолированный работникъ. Послѣдній едва можетъ поддержать свою жизнь, влеча жалкое существованіе дикаря-охотника. Его единичныхъ усилій было бы недостаточно для расчистки и обработки почвы. Только основанное на раздѣленіи труда общество, «только социальный человѣкъ» можетъ совершать чудеса экономического прогресса. Поэтому и обработка почвы и изготовленіе орудій труда могло быть предпринято лишь цѣлыми группами людей, въ средѣ которыхъ уже появилось раздѣленіе труда. Но какъ возникли такія группы,—спрашиваетъ Родбертусъ,—какъ происходило распредѣленіе занятій, раздѣленіе труда въ ихъ средѣ? Было ли оно слѣдствіемъ свободнаго договора, которымъ опредѣлялись бы способъ коллективнаго производства, участіе въ немъ каждаго изъ членовъ общества и, наконецъ, справедливое, по понятіямъ того времени, распредѣленіе? Утверждать это,—говоритъ Родбертусъ,—было бы еще ошибочнѣе, чѣмъ считать поземельную собственность и капиталы продуктомъ труда ихъ обладателей. «Какъ образованію государствъ не могъ предшествовать общественный договоръ, такъ и экономическая организація народовъ не могла быть результатомъ свободнаго соглашенія». Мы уже говорили выше, что весь культурный прогрессъ человѣчества стоитъ въ тѣсной связи съ возрастаніемъ производительности труда. Мы говорили также, что достигнуть сколько-нибудь высокой степени можетъ лишь раздѣленный трудъ. И раздѣленіе труда должно, въ отличіе отъ случайныхъ мѣновыхъ сдѣлокъ первобытныхъ дикарей, найти себѣ мѣсто въ самомъ процессѣ производства. Продуктъ долженъ составлять результатъ коопераціи нѣсколькихъ производителей, приготавливающихъ его по частямъ. Необходимымъ слѣдствіемъ такой организаціи производства является правильный обмѣнъ продуктовъ между производителями, которые не могутъ уже удовлетворять своихъ потребностей продуктами своего индивидуальнаго труда.

Но это-то раздѣленіе труда—необходимая основа всего общественно-экономического прогресса—«первоначально основывалось на принужденіи и насиліи». Впервые оно нашло себѣ мѣсто въ той семьѣ, въ которой женщины находились, въ сущности, въ рабскомъ состояніи, не говоря уже о томъ, что рабы, въ собственномъ смыслѣ этого слова, являлись ея необходимою составною частью. Затѣмъ рабство, а съ нимъ и насиліе, развивалось далѣе, легло въ основу всего античнаго хозяйства и, пройдя нѣсколько переходныхъ ступеней, смягчилось въ средневѣковое крѣпостничество, доставившее необходимый контингентъ для образованія класса современныхъ рабочихъ. Во всѣ эти эпохи продукты раздѣленнаго труда и коопераціи производителей не могли принадлежать самимъ тру-

дящимся, потому что принадлежали господину. Съ мыслью о томъ, что единственнымъ основаніемъ собственности долженъ служить трудъ, случилось, по мнѣнію Родбертуса, то же самое, что произошло со всѣми социальными идеями. «Какъ только додумывается до нихъ человѣчество, сейчасъ же находятся люди, которые въ благородномъ или корыстолюбивомъ рвеніи, стараются доказать, что эти идеи лежатъ въ основѣ всей исторіи общества. А между тѣмъ, эти идеи только еще идутъ къ своему осуществленію въ будущемъ»¹⁾.

Но Родбертусъ идетъ еще далѣе. Онъ утверждаетъ, что средства производства и *не должны были* принадлежать рабочему. Они «и не будутъ никогда принадлежать ему какъ собственность, — по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока раздѣленіе труда будетъ существовать, развиваться, расширяться и опрокидывать надъ обществомъ рогъ изобилія своихъ чудесныхъ сокровищъ»²⁾. Осуществленіе такого порядка имущественныхъ отношеній, въ которомъ каждый рабочій являлся бы собственникомъ орудій и непосредственнаго продукта своего труда, встрѣтило бы, по мнѣнію нашего автора, непреодолимые техническія препятствія. «Припомните,—говоритъ онъ, — знаменитый примѣръ булавочнаго производства. Здѣсь между добываніемъ и обработкой металла, съ одной стороны, и доставкой булавокъ потребителю—съ другой, продуктъ проходитъ черезъ руки цѣлаго ряда производителей. Каждый изъ нихъ нуждается въ особыхъ орудіяхъ, которыя, въ свою очередь, изготовляются особыми производителями. Если признать, что непосредственный продуктъ труда долженъ принадлежать рабочему, то каждая булавка окажется собственностью всѣхъ рабочихъ, которые трудились надъ ея приготовленіемъ. Какимъ же образомъ могъ бы вступить въ свои права каждый изъ этихъ собственников? Какъ пришлось бы дѣлить между ними продуктъ ихъ совокупныхъ усилий? И что дѣлать бы каждый рабочій, получившій въ булавахъ свою долю общаго продукта? Право собственности рабочихъ на орудія и непосредственные продукты ихъ труда создало бы такую массу трудностей и замѣшательствъ, что оно было бы равносильно уничтоженію раздѣленія труда, а съ нимъ и всего пышнаго зданія современной цивилизаціи». «Нѣтъ,—повторяетъ Родбертусъ, — почва, капиталы и непосредственные продукты не должны принадлежать рабочимъ, какъ не принадлежали они имъ съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ раздѣленіе труда. Въ слѣдующемъ «Письмѣ»³⁾, въ которомъ я буду говорить о собственности, я укажу на глубокое, провиденціальное значеніе, на телеологию этого явленія. Мнѣ удастся, я надѣюсь, доказать, что если общество захочетъ уста-

¹⁾ Zur Beleuchtung, S. 85.

²⁾ Zur Beleuchtung, S. 85; см. также «Zur Erklärung und Abhülfe der Creditnoth des Grundbesitzes». Th. II, S. 295.

³⁾ Письмо это не появилось до сихъ поръ въ печати.

новить справедливыя имущественныя отношенія, оно все-таки не должно будет отдавать землю, орудія и продукты труда въ собственность отдѣльных работниковъ... Экономическое развитіе націи не можетъ стремиться къ замѣнѣ нынѣшнихъ землевладѣльцевъ и капиталистовъ — собственниками изъ рабочихъ; оно вообще не можетъ выразиться въ какихъ-либо законахъ о раздѣленіи національнаго имущества». Съ другой стороны, нашъ авторъ убѣждаетъ въ томъ, что экономическое развитіе необходимо должно привести къ устраненію несправедливыхъ сторонъ современныхъ имущественныхъ отношеній; оно должно, по его мнѣнію, возратить труду то, что принадлежитъ ему по праву. «Если я назвалъ, — оговаривается онъ, — глубоко справедливымъ то обстоятельство, что почва, орудія и продукты труда *не* принадлежать рабочимъ, то этотъ справедливый фактъ сопровождается не мевѣ крупною несправедливостію. Эта послѣдняя состоитъ въ томъ, что средства и продукты производства ссоставляютъ *частную собственность* другихъ лицъ. Съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ раздѣленіе труда, орудія и продукты его *никогда* не составляли собственности рабочихъ, но *всегда* принадлежали другимъ частнымъ лицамъ. Первая *отрицательная* сторона этого явленія не только останется необходимою до тѣхъ поръ, пока счастье общества будетъ опираться на раздѣленіе труда, но именно на ней-то и могутъ быть построены болѣе справедливыя отношенія въ будущемъ. Вторая, *положительная* сторона указаннаго явленія должна быть устранена, потому что въ ней именно заключается несправедливость современныхъ имущественныхъ отношеній. Не чѣмъ другимъ, какъ принадлежностію орудій и продуктовъ труда частнымъ лицамъ, обуславливается то обстоятельство, что *доходъ* рабочихъ никогда не бываетъ равнымъ стоимости продуктовъ ихъ труда».

V.

Теперь мы имѣемъ ясный и полный отвѣтъ на поставленный выше вопросъ о происхожденіи ренты. Мы знаемъ, благодаря чему лица, не принимавшія никакого участія въ производствѣ, получаютъ свою, иногда львиную долю въ распредѣленіи. Мы видѣли, что право на эту долю не имѣетъ никакой причинной связи съ тѣми или другими полезными занятіями, которымъ предаются иногда собственники. *Экономическая возможность* такихъ общественныхъ отношеній создается возрастаніемъ производительности труда. Чтобы дать возможность существовать лицамъ нетрудящимся, рабочіе должны производить болѣе, чѣмъ нужно для поддержанія ихъ жизни и продолженія ихъ рода. Но одного этого условія недостаточно. Нужны еще такія учрежденія, которыя вынуждали бы рабочихъ передавать оставшіяся — за удовлетвореніемъ ихъ насущнѣйшихъ потреб-

ностей—излишекъ въ руки нетрудящихся членовъ общества. Нужны такія правовыя нормы, при которыхъ рабочіе должны были бы

Предоставить почтительно намъ
Погружаться въ искусства, въ науки,
Предаваться мечтамъ и страстямъ.

И такія правовыя учрежденія не замедлили явиться тотчасъ же, какъ люди ознакомились съ выгодами раздѣленія труда. Сущность ихъ сохранилась и до настоящаго времени, несмотря на всевозможныя формальныя ихъ измѣненія. «Какъ первоначально положительное право опиралось на силу,—говоритъ Родбертусъ,—такъ и теперь передача упомянутаго излишка основывается на постоянномъ принужденіи». Первоначально это принужденіе достигалось путемъ рабства. Работники, создававшіе своимъ трудомъ средства, сами представляли собою движимую собственность, «говорящіе инструменты», какъ называетъ ихъ Варронъ. Господинъ ихъ отдавалъ имъ то, что необходимо было для поддержанія ихъ жизни; все же, что оставалось затѣмъ изъ произведеннаго ихъ трудомъ продукта, составляло его неотъемлемую собственность. Въ настоящее время цивилизованныя націи не знаютъ, конечно, не только рабскаго труда, но и крѣпостной зависимости. Но это не измѣняетъ, по мнѣнію Родбертуса, сущности дѣла. Современные землевладѣльцы и капиталисты имѣютъ въ своемъ распоряженіи прекрасное средство для отстаиванія своихъ экономическихъ интересовъ. Средство это очень простое и обыкновенное: оно носитъ громкое названіе свободнаго договора. Не имѣя ни земли, ни капитала, современный пролетарій можетъ трудиться только по найму у предпринимателя. Продукты производства составляютъ поэтому собственность предпринимателя, между тѣмъ какъ рабочій получаетъ условную плату. При опредѣленіи высоты этой платы и обнаруживаются всѣ благодѣтельныя свойства свободнаго договора. Побуждаемый голодомъ, рабочій «радъ получить хоть часть стоимости своего собственнаго продукта, чтобы поддержать свое существованіе, то есть чтобы имѣть возможность снова взяться за работу» ¹⁾. Эти реальныя отношенія нашли свое выраженіе въ ученіи о необходимой заработной платѣ, высота которой должна опредѣляться, по мнѣнію экономистовъ, уровнемъ насущнѣйшихъ потребностей рабочаго. Такимъ-то образомъ «мѣсто приказанія рабовладѣльца заступаетъ въ настоящее время договоръ рабочаго съ предпринимателемъ». Но договоръ этотъ «свободенъ только съ формальной точки зрѣнія, потому что голодъ вполне замѣняетъ бичъ рабовладѣльца. То, что называлось прежде *кормомъ* раба, называется нынѣ *заработной платой* свободнаго рабочаго» ²⁾. Соответственно

¹⁾ Zur Beleuchtung, S. 81.

²⁾ Ibid.

этому и экономическая наука, со своимъ учениемъ о «необходимой» заработной платѣ, какъ о послѣднемъ предѣлѣ законныхъ требованій рабочаго, не перестаетъ смотрѣть на пролетарія, «какъ на раба, который нуждается въ кормѣ столько же, сколько машина въ починкѣ».

Но если доходъ землевладѣльцевъ и капиталистовъ такъ же, какъ и доходъ рабовладѣльцевъ, представляетъ собою продуктъ труда работниковъ, то нужно сознаться, что въ современномъ обществѣ существуетъ цѣлая масса условій, затрудняющихъ пониманіе сущности дѣла. Чрезвычайно сложный характеръ современныхъ экономическихъ отношеній скрываетъ эту сущность отъ глазъ поверхностнаго наблюдателя. Доходъ фабриканта принимаетъ видъ какого-то независимаго отъ труда рабочихъ «дохода отъ имущества», какъ будто составляющіе этотъ доходъ продукты стоятъ чего-либо кромѣ труда. Но представимъ себѣ рабовладѣльческое хозяйство и соответствующую ему организацію производства и распределенія. Въ такомъ хозяйствѣ часть рабовъ обрабатываетъ поле и добываетъ сырой продуктъ. Другая часть ихъ подвергаетъ сырье дальнѣйшей обработкѣ, пока, наконецъ, продуктъ не сдѣлается годнымъ для потребленія. Такимъ образомъ, тѣ отрасли труда, которымъ соответствуетъ нынѣшнее фабричное производство, не отдѣлились еще отъ земледѣлія и соединяются съ нимъ въ одномъ и томъ же рабовладѣльческомъ хозяйствѣ. Всѣ оставшіеся за прокормленіемъ рабовъ продукты этого хозяйства естественно принадлежатъ «господину» и составляютъ его доходъ. Рабовладѣлецъ не станетъ вывозить эти продукты на рынокъ, чтобы путемъ обмѣна получить необходимые для него предметы потребленія. На той ступени экономического развитія, о которой здѣсь идетъ рѣчь, хозяйство считается хорошимъ лишь тогда, когда рабовладѣлецъ не нуждается въ покупкѣ на сторонѣ, когда всѣ нужные ему предметы произведятся его рабами. Именно такой идеалъ хозяйства рисуютъ своимъ согражданамъ Ксенофонтъ и Аристотель. Легко понять, — говорить Родбертусъ, — что всѣ продукты такого хозяйства будутъ обязаны своимъ существованіемъ труду рабовъ. Доходъ господина будетъ равенъ разности между произведенными и потребленными его рабами продуктами. И рабовладѣлецъ безъ всякаго смущенія согласался бы съ этимъ; онъ считалъ бы вполне естественнымъ то обстоятельство, что продукты труда его рабовъ составляютъ его собственность. Экономическая сторона дѣла была бы ясна, какъ день.

Но когда, съ дальнѣйшимъ развитіемъ общественно-экономическихъ отношеній, натуральное хозяйство переходитъ въ денежное; когда появляются отдѣльные классы землевладѣльцевъ и предпринимателей; когда, вслѣдствіе этого, взятый у рабочихъ излишекъ ихъ продукта подраздѣляется, какъ мы увидимъ ниже, на поземельную ренту и прибыль, — тогда дѣло оказывается гораздо болѣе сложнымъ и запутаннымъ.

Имущимъ классамъ не хочется сознаться въ томъ, что доходъ ихъ обязанъ своимъ существованіемъ труду свободныхъ рабочихъ, у которыхъ, какъ у рабовъ, отнимается часть ихъ продукта. Если естественнымъ слѣдствіемъ рабства было право собственности господина на все произведенное трудомъ *рабовъ*, то не менѣе естественнымъ кажется право собственности *свободныхъ рабочихъ* на полную стоимость ихъ продуктовъ. И когда личная свобода рабочаго уживается рядомъ съ эксплуатациею его въ пользу землевладѣльцевъ и предпринимателей, то у послѣднихъ невольно является опасеніе за прочность своихъ привилегій. «Они боятся,—говоритъ Родбертусъ,—чтобы исторія не сдѣлала послѣдняго вывода изъ своихъ посылокъ и не освободила рабочаго и въ экономическомъ отношеніи. Подъ влияніемъ этого опасенія представители высшихъ классовъ охотно соглашаются съ тѣмъ ученіемъ, по которому рента представляетъ собою продуктъ *не труда*, а особыхъ «производительныхъ услугъ» почвы и капитала. Они обнаруживаютъ, такимъ образомъ, особенную склонность къ экономическимъ теоріямъ Сэя. Раздѣленіе же ренты на поземельную ренту и прибыль, въ связи съ обмѣномъ продуктовъ на рынкѣ при посредствѣ денегъ, затрудняетъ пониманіе дѣла даже для тѣхъ, кто нашель бы въ себѣ достаточно мужества и безпристрастія, чтобы любить истину, какова бы она ни была». Въ современномъ обществѣ взятый у рабочихъ излишекъ ихъ продукта, въ свою очередь, распределяется между различными слоями общества. Классъ лицъ, которыя, говоря словами Ад. Смита, жнутъ тамъ, гдѣ не сѣяли, подраздѣляется на землевладѣльцевъ, предпринимателей и «капиталистовъ», то есть лицъ, ссужающихъ свои деньги другимъ для промышленныхъ предприятий и получающихъ за это извѣстный процентъ. «Деньги родятъ деньги», и это явленіе, такъ ужасавшее когда-то Аристотеля и отцовъ церкви, сдѣлалось теперь до такой степени обыкновеннымъ, что легло въ основу всѣхъ ходячихъ возрѣній на природу и происхожденіе ренты. Всякое имущество имѣетъ извѣстную мѣновую стоимость, выражающуюся въ той или другой суммѣ денегъ. Поверхностный наблюдатель объясняетъ себѣ происхожденіе дохода, приносимаго этимъ имуществомъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что на покупку его была затрачена извѣстная сумма денегъ, которая должна давать процентъ. Что такими поверхностными наблюдателями оказывались повременамъ даже патентованные экономисты, читатель можетъ видѣть изъ слѣдующаго поразительнаго примѣра. «Въ политической экономіи,—говоритъ одинъ буржуазный «ученый»,—рабочій является не чѣмъ другимъ, какъ постояннымъ капиталомъ, накопленнымъ страной (читай—буржуазіею), которая дала средства для обученія и полного развитія силъ работника. По отношенію къ производству богатствъ рабочаго нужно разсматривать какъ машину, на постройку которой былъ затраченъ извѣстный капиталъ, начинающій приносить проценты съ того

времени, какъ онъ становится полезнымъ факторомъ въ промышленности» (sic!). Именно этимъ и объясняетъ почтенный экономистъ то обстоятельство, что «трудъ рабочаго приноситъ менѣе выгодъ ему самому, чѣмъ предпринимателю»¹⁾. Но если въ обыденной жизни такія воззрѣнія являются естественнымъ слѣдствіемъ сложности и запутанности современныхъ экономическихъ отношеній, то въ наукѣ они не перестаютъ быть самымъ грубымъ логическимъ промахомъ, самымъ непоправимымъ смѣшеніемъ причины со слѣдствіемъ. Не потому землевладелецъ и предприниматель получаютъ ренту, что денежный капиталъ приноситъ теперь извѣстный процентъ. Наоборотъ, деньги потому и «рождаютъ деньги», что исключительное обладаніе средствами производства даетъ имущимъ классамъ возможность присваивать себѣ часть произведеннаго рабочими продукта. Часть эта удерживается у *свободныхъ* рабочихъ и вывозится на рынокъ для *обмѣта*. Но могла ли произвести какія-нибудь существенныя измѣненія въ отношеніяхъ имущихъ и неимущихъ замѣна рабовъ свободными рабочими и натурального хозяйства—денежнымъ? Весь доходъ рабовладельческаго хозяйства былъ продуктомъ труда рабовъ. Какимъ же образомъ доходъ собственниковъ пересталъ бы быть продуктомъ труда рабочихъ, благодаря лишь тому обстоятельству, что рабы получили свободу, а имущій классъ подраздѣлился на нѣсколько различныхъ слоевъ? Вѣдь измѣнились только правовое положеніе рабочихъ да распределеніе отнятаго у рабочихъ продукта. Происхожденіе же этого продукта, «естественное отношеніе производителя къ продукту его труда», какъ выражается Родбертусъ, осталось неизмѣннымъ. Вся разница лишь въ томъ, что присвоеніе рабовладельцемъ продуктовъ рабакаго труда было непосредственнымъ слѣдствіемъ рабства; современный же рабочий отдаетъ предпринимателю продукты своего труда въ силу «свободнаго договора». И если стоимость заработной платы всегда составляетъ *только часть* стоимости произведеннаго рабочимъ продукта, то не ясно ли,—спрашиваетъ Родбертусъ,—что другая часть этой стоимости составляетъ доходъ собственниковъ? А если это такъ, то частная собственность на землю и средства производства вполне замѣняетъ собою то давленіе, которое оказывала когда-то на трудящихся рабская и крѣпостная зависимость. Она заставляетъ рабочихъ довольствоваться скуднымъ заработкомъ и предоставлять въ распоряженіе собственника все то, что остается за удовлетвореніемъ ихъ самыхъ насущныхъ потребностей. Только тысячелѣтная привычка, въ связи съ упомянутою сложностью современнаго хозяйства, могла затемнить, по мнѣнію Родбертуса, ту простую истину, что доходъ собственниковъ есть не что иное какъ продуктъ труда рабочихъ. «Простѣйшія и ближайшія истины всегда оказывались наименѣе понятными

¹⁾ Cours éclectique d'écon. politique par Florès Estrada, t. I, pp. 363—364.

для людей. Это случалось особенно часто съ истинами, заключавшими въ себѣ общественный, моральный элементъ, указывавшими людямъ на несправедливость того, что составляло правовую норму общественныхъ отношеній въ теченіе цѣлыхъ тысячелѣтій»¹⁾.

Къ числу удивительнѣйшихъ возраженій противъ изложеннаго выше ученія о рентѣ нужно, безъ сомнѣнія, отнести слѣдующее разсужденіе Германна. Глупо было бы,—говорить этотъ остроумный человѣкъ,—со стороны рабочихъ мѣнять извѣстное количество,—положимъ, десять часовъ,—своего труда на плату, эквивалентную только 8 или 6 часамъ труда. «Однако,—отвѣчаетъ Родбертусъ,—рабочихъ не особенно благодарить въ тѣхъ случаяхъ, когда они начинаютъ находить такой обмѣнъ глупымъ. Тогда ихъ всѣми силами стараются убѣдить въ противномъ, и если этой цѣли не достигаютъ разсказы миссъ Мартино, то помогаетъ *ultima ratio regis*. Независимо отъ взглядовъ рабочихъ на разумность такой сдѣлки, они *должны* согласиться на нее, если не хотятъ умереть голодной смертью!» Когда могли они отказаться отъ предлагаемой имъ предпринимателемъ «глупой сдѣлки»? Оборванными или совсѣмъ нагими были отпущены они на свободу, не имѣя ничего, кромѣ своей рабочей силы... обязанность прежняго владѣльца заботиться объ ихъ пропитаніи устранилась вмѣстѣ съ упраздненіемъ ихъ зависимости, между тѣмъ какъ потребности ихъ оставались въ прежней силѣ. Имъ нужно было чѣмъ-нибудь жить. Что же оставалось имъ дѣлать? Имъ предстояла одна альтернатива: или разрушить существующій общественный строй, или вернуться къ прежнимъ своимъ господамъ и получить въ видѣ платы то, что получали они прежде въ видѣ корма. Другими словами, несмотря на новое *правовое* положеніе, они должны были работать при прежнихъ *экономическихъ* условіяхъ. И рабочіе были настолько благоразумны, что предпочли совершить *глупость*, въ которой упрекаетъ ихъ Германнъ, и своимъ уваженіемъ къ существующимъ правовымъ учрежденіямъ обезпечить развитіе цивилизаціи».

Эта-то «глупость» рабочихъ и обусловливаетъ существованіе ренты, то есть всякаго дохода, получаемаго извѣстнымъ лицомъ безъ труда съ его стороны, единственно по праву собственника. Въ настоящее время такой доходъ получаетъ различныя названія, смотря по тому, достается ли онъ землевладѣльцамъ, предпринимателямъ или, наконецъ, обладателямъ денежнаго капитала. Какъ подраздѣляется взятая у рабочихъ часть ихъ продуктовъ между перечисленными категоріями нетрудящихся—объ этомъ мы будемъ говорить въ слѣдующихъ главахъ, гдѣ мы закончимъ изложеніе экономической теоріи Родбертуса. Мы увидимъ тамъ, какія соображенія заставили Родбертуса отрицать правильность теоріи поземельной ренты Рикардо, и постараемся обнаружить ошибки нашего автора

¹⁾ Zur Beleuchtung, S. 89.

по отношенію къ этому вопросу. Наконецъ, указавши всѣ тѣ пункты, въ которыхъ разошелся Родбертусъ съ экономистами-классиками, мы сравнимъ его теорію съ ученіемъ Маркса. Теперь же мы закончимъ эту главу, обращая вниманіе читателя на то, что изложенная уже выше часть теоріи Родбертуса содержитъ въ себѣ вполне выработанное ученіе о «прибавочной стоимости», этомъ фокусѣ всѣхъ «проклятыхъ вопросовъ» XIX вѣка. Именно это ученіе о прибавочной стоимости и заставило, какъ намъ кажется, автора «Капитала» признать, что, несмотря на ошибочность теоріи поземельной ренты, «*Sociale Briefe an von-Kirchmann*» ясно изображаютъ сущность капиталистическаго производства.

VI.

На основаніи предыдущаго изложенія читателю извѣстно уже, какимъ образомъ объясняетъ Родбертусъ существованіе такъ называемой имъ «ренты вообще», т. е. всякаго дохода, получаемаго безъ труда, единственно по праву собственности. Такъ какъ всякій доходъ составляетъ продуктъ труда, то лица, не принимающія непосредственнаго участія въ производствѣ, не могли бы поддерживать своего существованія, если бы продуктъ труда рабочихъ не превышалъ количества предметовъ, необходимыхъ для удовлетворенія ихъ насущнѣйшихъ потребностей. Первымъ условіемъ существованія ренты является, слѣдовательно, возрастаніе производительности труда. «Всякая рента,—говоритъ нашъ авторъ,—поземельная рента и рента на капиталъ, становится возможной лишь тогда, когда продуктовъ производится больше, чѣмъ нужно ихъ для удовлетворенія насущнѣйшихъ потребностей рабочихъ; другими словами, принципъ объективнаго существованія ренты есть достаточная производительность труда ¹⁾. Но однако этого условія еще мало. Возрастаніе производительности труда создаетъ лишь экономическую возможность существованія ренты. Спрашивается: какимъ путемъ переходить въ руки другихъ лицъ излишекъ продукта, остающійся за удовлетвореніемъ потребностей трудящихся? Это достигается путемъ давленія, оказываемаго на рабочихъ извѣстными правовыми учрежденіями. Однимъ изъ такихъ учрежденій было рабство, «возникновеніе котораго совпадаетъ, по словамъ Родбертуса, съ возникновеніемъ земледѣлія и поземельной собственности». Рабочіе сами представляли собою предметы собственности на-ряду съ землею и орудіями труда. Нѣкоторая часть продуктовъ ихъ труда шла на возстановленіе ихъ силъ и «поддержаніе ихъ расы», какъ выражаются экономисты; другая часть употреблялась на возмѣщеніе затраченныхъ въ хозяйствѣ средствъ производства; наконецъ, все, что оставалось сверхъ этого, составляло чистый доходъ рабовладѣльца и принадлежало ему по воѣмъ законамъ, «божескимъ и человѣческимъ». Такой порядокъ вещей справедливо осу-

¹⁾ Zur Erkenntniss unserer staatswirthsch. Zustände, 67.

ждается буржуазными экономистами, такъ какъ онъ основанъ на эксплуатаціи слабаго сильнымъ. Но, упраздняя институтъ рабства, исторія не имѣла, къ сожалѣнію, въ виду буржуазныхъ экономистовъ съ ихъ высоко развитымъ нравственнымъ чувствомъ. Въ противномъ случаѣ она устранила бы, конечно, не форму только, но и самую сущность эксплуатаціи человѣка человѣкомъ. Теперь же мы видимъ, что «голодь съ успѣхомъ замѣняетъ бичъ рабовладѣльца». Другими словами, современная организація производства новымъ путемъ достигаетъ старой цѣли—передачи излишка, оставшагося за удовлетвореніемъ насущнѣйшихъ потребностей рабочихъ, въ другія руки. Въ капиталистическомъ обществѣ всѣ хозяйственныя предпріятія ведутся за счетъ собственниковъ, которымъ и принадлежатъ продукты предпріятій. Что же касается до свободныхъ рабочихъ, то они, «не имѣя ничего, рады, если имъ удастся получить хоть часть своего собственнаго продукта» въ видѣ заработной платы. Въ такомъ обществѣ «мѣсто приказанія рабовладѣльца занимаетъ договоръ рабочаго съ предпринимателемъ; но договоръ этотъ свободенъ только съ формальной стороны, потому что рабочіе вынуждены довольствоваться лишь частью своего продукта. Это видно, между прочимъ, изъ того, признаннаго всѣми экономистами факта, что наемъ свободнаго работника обходится дешевле содержанія невольника. «Опытъ всѣхъ вѣковъ и народовъ доказываетъ,—говоритъ Ад. Смитъ,—что трудъ свободнаго рабочаго стоитъ предпринимателю, въ концѣ концовъ, дешевле труда раба»¹⁾. Родбертусъ выражаетъ ту же мысль, называя заработную плату замаскированнымъ кормомъ раба.

Мы видимъ такимъ образомъ, что, кромѣ возрастанія производительности труда, существуетъ еще другое, необходимое и достаточное условіе существованія ренты—именно частная собственность на землю и капиталы. «Принципъ полученія ренты», говоритъ Родбертусъ,—есть частная собственность на землю и капиталъ²⁾. Посмотримъ же теперь, какими законами регулируется дальнѣйшее распределеніе ренты между различными слоями привилегированнаго класса.

Прежде всего нужно замѣтить, что какъ распределеніе національнаго дохода, такъ и все движеніе общественно-экономической жизни принимаетъ различные виды въ различныя историческія эпохи, въ зависимости отъ измѣненій въ самой организаціи производства. Тамъ, гдѣ раздѣленіе общественнаго труда еще не велико, обработка сырыхъ продуктовъ совершается въ предѣлахъ тѣхъ же самыхъ хозяйственныхъ единицъ, которыя занимаются ихъ добываніемъ. Это мы видимъ, на примѣръ, въ античномъ обществѣ. Въ большомъ древне-римскомъ или древне-греческомъ хозяйствѣ часть работъ занималась добываніемъ сырыхъ про-

¹⁾ Wealth of Nations, p. 77. (въ изд. The world Library of standards Book).

²⁾ Zur Erkenntniss unserer staatswirthschaftlichen Zustände, S. 72.

дуктовъ, другая подвергала эти продукты дальнѣйшей обработкѣ, пока они не становились годными для потребленія.

Земледѣльческій трудъ не былъ еще отдѣленъ отъ ремесленного, а потому и средства производства безразлично принадлежали одному и тому же классу собственниковъ. Чистый доходъ каждаго античнаго хозяйства представлялъ собою однообразное цѣлое, о подраздѣленіи котораго на поземельную ренту и прибыль на капиталъ не могло быть и рѣчи, такъ какъ въ обладаніи средствами производства не произошло еще необходимой для выработки этихъ понятій дифференціаціи. Все движеніе общественно-экономической жизни совершалось еще въ формѣ натурального хозяйства. Такъ какъ сырые продукты подвергались обработкѣ въ предѣлахъ той же хозяйственной единицы, въ которой они добывались, то всѣ «посредственныя и непосредственныя хозяйственныя блага», т. е. предметы потребленія и средства производства, приготавливались «дома». Ни на одной изъ стадій своего возникновенія эти «хозяйственныя блага» не являлись еще въ видѣ товаровъ, а потому и понятіе о мѣнновой стоимости продуктовъ отходило здѣсь, какъ говоритъ Родбертусъ, на задній планъ. Вѣрнѣе сказать, оно совсѣмъ еще не выработалось. Вслѣдствіе этого не существовало еще масштаба для оцѣнки какъ всего имущества рабовладѣльца, такъ и чистаго дохода его хозяйства. Чистый доходъ и средства производства оставались еще величинами несонзидѣрными: невозможно было опредѣлить отношеніе стоимости чистаго дохода къ стоимости всего имущества, такъ какъ отсутствовало еще самое понятіе о мѣнновой стоимости. Взаимное отношеніе различныхъ частей дохода и имущества также не поддавалось, какъ мы сказали, опредѣленію. Рабовладѣлецъ не могъ, да и не имѣлъ ни малѣйшей надобности, опредѣлять, какая часть его дохода приходится на землю, какая на «капиталъ». Самое понятіе о капиталѣ, въ нынѣшнемъ смыслѣ этого слова не выработалось еще въ античномъ обществѣ. «Капиталъ самъ по себѣ, въ логическомъ или національно-экономическомъ смыслѣ этого слова, есть, по опредѣленію Родбертуса, продуктъ, предназначенный для дальнѣйшаго производства, предварительно совершенная работа». Но разсматриваемый съ точки зрѣнія современнаго предпринимателя, т. е. по отношенію къ прибыли, которую онъ приноситъ, продуктъ этотъ, чтобы быть капиталомъ, долженъ явиться въ видѣ издержекъ предпріятія. Въ видѣ такихъ издержекъ является, на примѣръ, современный историческій капиталъ, обнимающій собою стоимость матеріала, орудій, труда и заработной платы. Но въ античномъ обществѣ, гдѣ всѣ операціи добывающей и обрабатывающей промышленности совершались въ предѣлахъ одного и того же хозяйства, «продуктъ, предназначенный для дальнѣйшаго производства», не является для рабовладѣльца въ видѣ издержекъ. Матеріалы для различныхъ отраслей производства не покупаются на рынкѣ. Они произво-

дятся внутри того же самого хозяйства, и рабь-ремесленникъ обрабатываетъ лишь то, что произведено его товарищемъ, рабомъ-земледѣльцемъ. Содержаніе рабовъ такъ же мало представляетъ собою капиталъ, долженствующій приносить собою прибыль, какъ кормъ для скота, составляющій продуктъ соботвеннаго хозяйства, представляется капиталомъ современному сельскому хозяину. Не будучи покупаемы на рынкѣ, не являясь въ видѣ издержекъ въ нынѣшнемъ смыслѣ этого слова, входившія въ составъ античнаго хозяйства средства производства не приносили и прибыли въ смыслѣ извѣстнаго количества процентовъ на единицу затраченнаго капитала. Только деньги составляли исключеніе изъ этого общаго правила. Опредѣленіе уровня процентовъ на отданный въ заемъ денежный капиталъ (римскій *Sors*) не представляло никакихъ затрудненій, такъ какъ здѣсь, по выраженію Аристотеля, «равное рождается отъ равнаго», затраченный капиталъ и полученный доходъ являются въ видѣ одноименныхъ стоимостей. Но процентъ этотъ былъ ростовщическимъ процентомъ. Величина его опредѣлялась нуждой должника, а не общимъ уровнемъ прибыли промышленныхъ предпріятій, какъ это имѣетъ мѣсто въ настоящее время. Этимъ и объясняется то предубѣжденіе противъ «процента», которое замѣчается у всѣхъ древнихъ писателей¹⁾ и кажется современнымъ экономистамъ нелѣпымъ предразсудкомъ. Но предразсудокъ этотъ имѣлъ, какъ мы видимъ, свое разумное основаніе. Онъ коренился въ общемъ укладѣ экономической жизни античнаго общества, положившемъ свой отпечатокъ на всѣ экономическія воззрѣнія классическихъ писателей. Именно въ этомъ укладѣ экономической жизни и нужно, по словамъ Родбертуса, искать объясненія того обстоятельства, что «древнимъ была закрыта вся область государственнаго хозяйства, что въ экономическихъ сочиненіяхъ такихъ умовъ, какъ Аристотель и Ксенофонтъ, мы встрѣчаемъ лишь правила домашней экономіи, а не экономіи цѣлой націи²⁾».

Мы видимъ такимъ образомъ, что въ античномъ мірѣ распределеніе «ренты вообще» допускало лишь количественныя, но не качественные различія. Конечно, не всѣ члены имущаго класса получали доходъ одинаковой величины, но между ними невозможно еще было различить землевладѣльцевъ отъ капиталистовъ. Только въ исторіи германскихъ народовъ появляется это качественное различіе въ родахъ дохода. Оно обусловливается возникающей здѣсь дифференціаціей труда и владѣнія, зарождаю-

¹⁾ Мункъ, въ своей «Geschichte der römischen Literatur» (I Band, S. 239) приводитъ весьма характерную выписку изъ сочиненій Катона—цензора «De re rustica». Наши предки,—говоритъ этотъ стародумъ римскаго общества,—приговаривали вора къ возврату украденнаго въ двойномъ размѣрѣ, ростовщика—къ возврату суммы, вчетверо превышающей взятый имъ процентъ. Отсюда можно видѣть, во сколько разъ ростовщикъ казался имъ хуже вора.

²⁾ Zur Beleuchtung, S. 100. *

шейся противоположностью между городомъ и деревней. Обработка добытыхъ въ деревнѣ сырыхъ продуктовъ сосредоточивается теперь въ городахъ, такъ какъ средневѣковыя постановленія прямо запрещаютъ землевладѣльцамъ ремесленные предпріятія. Естественнымъ слѣдствіемъ этой противоположности между городомъ и деревней было дальнѣйшее подраздѣленіе обрабатывающей промышленности на множество отдѣльныхъ отраслей. «Земледѣіе даетъ матеріалъ для самыхъ разнообразныхъ отраслей промышленности,—говоритъ Родбертусъ,—зерновой хлѣбъ для выдѣлки муки, дерево для приготовленія мебели и орудій труда, кожу— для обуви, ленъ и шерсть—для платья и т. д., и т. д.». Въ античномъ хозяйствѣ всѣ эти сырые продукты подвергались обработкѣ на мѣстѣ. Съ отдѣленіемъ же ремесленной дѣятельности отъ сельско-хозяйственной обработка сырыхъ продуктовъ необходимо должна была подраздѣлиться на множество разнородныхъ отраслей. Сапожникъ не могъ заниматься выдѣлкой мебели, столяръ не могъ взяться за приготовленіе платья. Въ свою очередь каждая изъ этихъ отраслей ремесленной дѣятельности подраздѣлилась еще на болѣе мелкія ¹⁾. Всѣ эти неизвѣстныя въ античномъ мѣрѣ подраздѣленія нашли свое выраженіе въ средневѣковой организаціи цеховъ. Раздѣленіе труда, незначительное еще внутри мастерской, играло тѣмъ большую роль во взаимныхъ отношеніяхъ различныхъ корпорацій, подавая поводъ къ цѣлому ряду недоразумѣній, такъ какъ не всегда и возможно было провести точную границу между сферами законной дѣятельности различныхъ ремесленниковъ.

При существованіи частной собственности на землю и капиталъ, раздѣленіе общественнаго труда предполагаетъ обмѣнъ его продуктовъ на рынкѣ. Производитель каждаго рода продуктовъ долженъ предварительно обратить ихъ въ деньги и уже съ помощью денегъ приобрѣтаетъ необходимые для него продукты потребленія. «Та хрематистика, которую Аристотель считаетъ достойной гражданина, тотъ способъ хозяйства, который состоялъ въ томъ, чтобы продуктами домашняго приготовленія удовлетворять всѣ важнѣйшія потребности, лишается своего нравственнаго значенія, потому что становится невозможнымъ экономически» ²⁾. Натуральное, хозяйство античнаго міра мало-по-малу уступаетъ свое мѣсто современному денежному хозяйству. «На первый планъ выступаетъ мѣновая стоимость продуктовъ». Такъ какъ каждый производитель лишь путемъ обмѣна получаетъ необходимые для него предметы потребленія,

¹⁾ Изданныя Людовикомъ Св. въ половинѣ XIII столѣтія постановленія, извѣстныя подъ именемъ «Etablissements des metiers de Paris», содержатъ, по словамъ Бланка, «правила, относящіяся болѣе чѣмъ къ 150 различнымъ профессіямъ». Histoire de l'économie pol. V édit., p. 161.

²⁾ Zur Beleuchtung etc., S. 102.

то естественно, что онъ прежде всего интересуется мѣновой стоимостью своихъ продуктовъ. Ею опредѣляется его покупательная сила. Богатство человека, величина и значеніе его имущества опредѣляются теперь мѣною, а не потребительною стоимостью находящихся въ его распоряженіи продуктовъ. Самое распределеніе національнаго дохода происходитъ теперь иначе, чѣмъ оно происходило въ античномъ обществѣ. Во-первыхъ, продукты не дѣлятся непосредственно между обладателями средствъ производства и рабочими. Они продаются предварительно на рынкѣ, и только различныя части ихъ стоимости распределяются между этими классами. Во-вторыхъ, приходящаяся на долю собственниковъ часть національнаго дохода, «рента вообще», подраздѣляется теперь на нѣсколько видовъ. Одна часть ея поступаетъ въ распоряженіе сельскихъ хозяевъ, другая распределяется между ремесленниками-предпринимателями и фабрикантами. Каждый изъ нихъ называетъ доставшуюся ему часть ренты доходомъ съ имущества. Сельскій хозяинъ смотритъ на нее, какъ на продуктъ, обязанный своимъ существованіемъ почвѣ и земледѣльческому капиталу, фабрикантъ объясняетъ свою прибыль «производительными услугами» принадлежащихъ ему средствъ производства. Но мы знаемъ уже, что «всякая рента» есть такой же продуктъ труда рабочихъ, какъ ихъ заработная плата. И если, считая свою ренту доходомъ съ имущества, рабовладѣлецъ былъ до извѣстной степени правъ, потому что рабы также составляли часть его имущества, то въ настоящее время, съ освобожденіемъ рабочаго, дѣло представляется въ иномъ свѣтѣ. «Рабочіе, трудомъ которыхъ создается этотъ доходъ, считаются свободными, а свобода предполагаетъ право собственности трудящагося на продукты его труда»¹⁾. Только сложностью современнаго хозяйства и нежеланіемъ имущихъ классовъ признать неприятныя для нихъ истины объясняется, по мнѣнію Родбертуса, это перенесеніе на неодушевленные предметы творческихъ свойствъ живого человѣческаго труда.

Не будемъ, однако, уклоняться отъ вопроса о распределеніи ренты между различными слоями имущаго класса. Мы оказали выше, что съ отдѣленіемъ промышленныхъ предпріятій отъ земледѣльческихъ возникаютъ качественныя различія въ распределеніи національнаго дохода, создаются неизвѣстныя древнимъ экономическія категоріи. Но раздѣленіе чистаго дохода страны между сельскими хозяевами и промышленниками не объясняетъ еще этихъ различій. Всюду, гдѣ преобладаетъ фермерство, сельскими хозяевами являются не сами землевладѣльцы. Доходъ же крупнаго фермера есть такъ же прибыль на капиталъ, какъ и доходъ фабриканта. Существенныхъ различій нужно искать между доходомъ землевладѣльца, съ одной стороны, и доходомъ предпринимателя — съ другой, хотя бы

¹⁾ Zur Beleuchtung, S. 106.

предпринимателемъ явился не фабрикантъ или ремесленникъ, а сельскій хозяинъ — арендаторъ. Только установивши это основное различіе, мы можемъ перейти къ дальнѣйшему изслѣдованію законовъ распредѣленія, къ выясненію принциповъ этихъ различныхъ категорій ренты, т. е. земельной ренты и прибыли на капиталъ.

Для выясненія этихъ принциповъ Родбертусъ считаетъ необходимымъ сдѣлать два предположенія. Для простоты анализа онъ принимаетъ, что часть ренты, доставшаяся «обладателямъ фабричнаго продукта, не подвергается дальнѣйшему подраздѣленію между различными отраслями ремесленного и фабричнаго производства. Я дѣлаю это, — говорить онъ, — единственно для простоты разсужденія, и такое предположеніе нисколько не измѣняетъ сущности явленія, хотя въ дѣйствительности оно происходить, конечно, иначе». Кроме того, онъ принимаетъ, что «мѣновая стоимость продукта опредѣляется количествомъ труда, затраченнаго на его производство». Другими словами, онъ исходитъ въ своихъ разсужденіяхъ изъ признанной и подробно разобранной имъ теоріи стоимости Рикардо. «Въ своемъ сочиненіи *Zur Erkenntniss unserer staatswirthschaftlichen Zustände*» я показалъ, — прибавляетъ онъ, — что въ дѣйствительности мѣновая стоимость продуктовъ нѣсколько отклоняется отъ этой нормы, что она бываетъ то выше, то ниже ея, но она стремится, по крайней мѣрѣ, къ этому столько же естественному, сколько и справедливому уровню. Притомъ же мое предположеніе — поскольку рѣчь идетъ лишь объ опредѣленіи общихъ законовъ распредѣленія ренты — нисколько не противорѣчить истинѣ. Наконецъ, я могъ бы съ такимъ же удобствомъ принять, что мѣновая стоимость нѣсколько отклоняется въ ту или другую сторону отъ вышеупомянутой нормы. Мнѣ важно лишь признаніе того, что стоимость слѣдуетъ въ своихъ измѣненіяхъ одному и тому же постоянному закону». Какое значеніе имѣютъ эти предположенія для нашего автора, мы увидимъ впоследствии.

Доставшаяся фабричнымъ предпринимателямъ часть «ренты вообще» разсматривается ими, какъ прибыль на капиталъ. Мы говорили уже выше, что развитіе товарнаго производства выдвигаетъ на первый планъ мѣновую стоимость продуктовъ. Вслѣдствіе этого является возможнымъ опредѣлить уровень прибыли каждаго предпріятія, т. е. отношеніе прибыли къ общей суммѣ затраченнаго въ производствѣ капитала. И прибыль и затраченныя въ предпріятія средства производства одинаково являются теперь въ видѣ стоимостей, допускающихъ всевозможныя сравненія и измѣренія. Тамъ, гдѣ движеніе капиталовъ не стѣсняется законодательными мѣрами, устанавливается обыкновенно опредѣленный уровень прибыли, равной для всѣхъ отраслей промышленности. Это достигается, какъ извѣстно, путемъ конкуренціи. Обычный въ странѣ уровень прибыли на капиталъ принимается за норму и въ сель-

ско-хозяйственныхъ предпріятіяхъ. Это признается всѣми экономистами и объясняется тѣмъ, что промышленная дѣятельность вовлекаетъ въ свой круговоротъ гораздо болѣе значительную часть національнаго капитала, чѣмъ земледѣліе. Изъ чистаго дохода сельско-хозяйственныхъ предпріятій должна быть, прежде всего, вычтена часть, соотвѣтствующая обычной прибыли на капиталъ. Въ противномъ случаѣ земледѣліе не представляло бы собою достаточно выгодной для капиталистовъ отрасли промышленности, и капиталы устремились бы въ другого рода предпріятія.

Если прибыль на земледѣльческій капиталъ не поглотитъ всего чистаго дохода сельско-хозяйственныхъ предпріятій, то остатокъ будетъ представлять собою поземельную ренту и принадлежать землевладѣльцамъ, какъ таковымъ. Всегда ли будетъ существовать такой остатокъ? Именно этотъ вопросъ и ведетъ къ разногласію между Родбертусомъ и Рикардо. Послѣдній отвѣчаетъ на него отрицательно. По его мнѣнію, такой остатокъ появляется лишь тогда, когда, съ увеличеніемъ населенія, общество видитъ себя вынужденнымъ взяться за обработку менѣе плодородныхъ земель, причемъ возвышается стоимость земледѣльческихъ продуктовъ. «Когда съ прогрессомъ общества,—говоритъ онъ,—поступаютъ въ обработку земли второй степени плодородія, то земли лучшаго качества немедленно начинаютъ приносить ренту, и величина этой ренты зависитъ отъ разницы въ степени плодородія лучшихъ и худшихъ участковъ». Родбертусъ полагаетъ, напротивъ, что, *«за вычетомъ прибыли на капиталъ изъ доставшейся обладателямъ сырого продукта ренты, всегда должна остаться нѣкоторая часть въ видѣ поземельной ренты, какъ бы ни была велика или мала стоимость сырыхъ продуктовъ»* (курсивъ Родбертуса) ¹⁾. Онъ основываетъ свой взглядъ на томъ предположеніи, что мѣсовая стоимость какъ сырыхъ, такъ и фабричныхъ продуктовъ опредѣляется количествомъ труда, необходимаго на ихъ производство.

Разсмотримъ ближе ученіе обоихъ экономистовъ. По мнѣнію Рикардо, первые поселенцы всякой страны занимаютъ, обыкновенно, самые плодородные участки земли. Пока населеніе остается рѣдкимъ и малочисленнымъ, этихъ участковъ первостепеннаго качества существуетъ болѣе чѣмъ достаточно для пропитанія жителей. Каждый желающій заняться земледѣліемъ и обладающій необходимымъ для этого капиталомъ можетъ найти еще незанятый участокъ земли первостепеннаго качества. Вслѣдствіе этого никто не согласится платить ренту за право пользованія землею, отошедшею въ частную собственность. «По общимъ законамъ спроса и предложенія,—говоритъ Рикардо,—никто не будетъ

1) Zur Beleuchtung der socialen Frage, S. 109.

платить за право пользования этою землею, также точно, какъ никто не платитъ за право пользования водою или воздухомъ, или какимъ-нибудь другимъ естественнымъ благомъ, существующимъ въ неограниченномъ количествѣ». Весь чистый доходъ земледѣльческихъ предпріятій остается, слѣдовательно, въ рукахъ предпринимателей, и землевладѣльцы получаютъ доходъ лишь постольку, поскольку они являются въ то же время и сельскими хозяевами. Но съ возрастаніемъ народонаселенія дѣло принимаетъ другой оборотъ. Всѣ участки лучшаго качества оказываются занятыми, а между тѣмъ спросъ на хлѣбъ все-таки превышаетъ его предложеніе. Хлѣбныя цѣны растутъ и достигаютъ, наконецъ, такого высокаго уровня, что даже обработка участковъ второстепеннаго качества начинаетъ приносить обычный уровень прибыли на капиталъ. Но въ такомъ случаѣ доходъ съ первостепенныхъ участковъ будетъ уже превышать эту норму. За вычетомъ изъ него обычной прибыли, получится еще нѣкоторый остатокъ, который и будетъ представлять собой ренту. Эта часть доходовъ съ участковъ лучшаго качества поступитъ въ распоряженіе землевладѣльцевъ, отдавшихъ ихъ въ наемъ. Уровень арендной платы опредѣлится, такимъ образомъ, самымъ ходомъ общественно-экономическаго развитія. Но достигнутое такимъ путемъ равновѣсіе будетъ весьма неустойчиво. Дальнѣйшее возрастаніе народонаселенія вынудитъ общество взяться за обработку земель третъстепеннаго качества. Тогда доходъ съ участковъ второстепеннаго качества, въ свою очередь, превыситъ обычный уровень прибыли, и они также начнутъ приносить своимъ владѣльцамъ ренту. И чѣмъ ниже будетъ плодородіе поступающихъ въ обработку земель, тѣмъ менѣе будетъ ихъ доходность сравнительно съ доходностью лучшихъ участковъ, тѣмъ болѣе будетъ возрастать приносимая этими послѣдними рента. Сущность разсужденія не измѣнится, если мы предположимъ, что съ возрастаніемъ народонаселенія предприниматели не берутся за обработку земель худшаго качества, а увеличиваютъ затрату труда и капитала при воздѣлываніи лучшихъ участковъ. Это увеличеніе затратъ не будетъ сопровождаться, по мнѣнію Рикардо, пропорціональнымъ ему возрастаніемъ чистаго дохода. Съ развитіемъ общества производительность земледѣльческаго труда постоянно уменьшается. Такимъ образомъ, при удвоеніи затратъ на обработку лучшихъ участковъ приносимый ими доходъ возрастаетъ не на 100%, а лишь на 90, 85 или 80%. Но во всякомъ случаѣ послѣдняя, наименѣе производительная затрата капитала должна принести обычную прибыль, потому что иначе капиталисты не рѣшились бы на такую затрату. Возможность полученія обычной прибыли обеспечивается общимъ возвышеніемъ хлѣбныхъ цѣнъ, такъ какъ «мнѣновая стоимость всѣхъ предметовъ потребленія опредѣляется количествомъ труда, необходимаго на ихъ производство въ тѣхъ предпріятіяхъ,

которыя не имѣютъ исключительныхъ преимуществъ». Къ числу такихъ предпріятій относится, разумѣется, и обработка земель лучшаго качества, равно какъ и наименѣ производительныя затраты труда на лучшихъ участкахъ. Но въ такомъ случаѣ доходъ, приносимый предшествовавшими, болѣе производительными затратами труда и капитала, будетъ уже превышать обычный уровень прибыли. Полученный за вычетомъ этой прибыли остатокъ отойдетъ къ землевладѣльцамъ и будетъ составлять ихъ ренту.

Такова теорія поземельной ренты Рикардо, казавшаяся Родбертусу ошибочной во всѣхъ отношеніяхъ. Какъ извѣстно уже читателю, нашъ авторъ не раздѣлялъ того убѣжденія, что съ развитіемъ общества производительность труда постоянно уменьшается. Со свойственной ему основательностью онъ разобралъ со всѣхъ сторонъ это положеніе англійской школы и показалъ его ошибочность. Относящіеся сюда аргументы Родбертуса имѣютъ огромную важность, и нѣсколько ниже мы представимъ ихъ подробное изложеніе. Но, несмотря на всю свою основательность, аргументы эти не могли поколебать теории Рикардо, такъ какъ центръ тяжести его ученія лежитъ внѣ вопроса о производительности земледѣльческаго труда. Это сознавалъ и самъ Родбертусъ. «Теорія поземельной ренты Рикардо,—говоритъ онъ въ третьемъ письмѣ къ Кирхману,—также хорошо согласима въ основныхъ своихъ положеніяхъ съ постояннымъ уменьшеніемъ производительности земледѣлія»¹⁾. Сущность теории Рикардо заключается въ томъ положеніи, что наименѣ производительныя затраты земледѣльческаго капитала, равно какъ и наименѣ плодородныя участки земли не приносятъ ренты, а даютъ лишь обычную прибыль. На этотъ пунктъ и направилъ нашъ авторъ свои главныя возраженія. Онъ упрекаетъ Рикардо въ непоследовательности, утверждая, что теорія ренты англійскаго экономиста противорѣчитъ его ученію о мѣновой стоимости, составляющему главную заслугу его въ исторіи экономической науки. Если всѣ предметы потребленія стоятъ труда и только труда,—разсуждалъ Родбертусъ,—если мѣновая стоимость продуктовъ, по ученію самого Рикардо, опредѣляется количествомъ труда, необходимаго на ихъ производство, то общая стоимость національнаго дохода распределиться между предпринимателями пропорціонально количеству труда, затраченнаго на производство ихъ продуктовъ. Предположивъ, что высота заработной платы одинакова во всѣхъ отрасляхъ производства, т. е. что въ каждой изъ нихъ рабочій получаетъ одинаковую часть стоимости произведеннаго имъ продукта, мы должны будемъ признать, что и «рента вообще» распределиться между предпринимателями пропорціонально стоимости вывезенныхъ ими на рынокъ продуктовъ. Допустимъ, что стоимость земледѣль-

¹⁾ Zur Beleuchtung, S. 62.

ческихъ продуктовъ равняется стоимости продуктовъ фабричныхъ, т. е. что на производство тѣхъ и другихъ затрачено одинаковое количество труда. Тогда и чистый доходъ или рента фабричныхъ предпринимателей будетъ равняться чистому доходу сельскихъ хозяевъ. Мы знаемъ уже, что рента промышленниковъ называется прибылью на капиталъ, высота которой служить нормой и для земледѣльческихъ предпріятій. Но сельскіе хозяева всегда нуждаются въ меньшемъ количествѣ капитала, чѣмъ промышленники. Это объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что, подвергая обработкѣ сырые продукты, промышленники должны увеличить общую сумму издержекъ своего предпріятія покупкой болѣе или менѣе дорогого матеріала. Земледѣліе же не нуждается въ такомъ матеріалѣ, который былъ бы продуктомъ предшествующихъ ступеней производства. «Земледѣліе начинаетъ собою производство, и матеріаломъ для обработки въ немъ служить сама почва», которая не входитъ въ сферу предпринимательскихъ издержекъ ¹⁾. Вслѣдствіе этого отношеніе чистаго дохода къ общей суммѣ капитала будетъ въ земледѣльческихъ предпріятіяхъ больше, чѣмъ въ фабричныхъ. Въ самомъ дѣлѣ, мы предположили, что чистый доходъ, приходящійся на долю сельскихъ хозяевъ, равняется чистому доходу промышленниковъ. Но въ земледѣліи этотъ доходъ распределяется на меньшій капиталъ, чѣмъ въ промышленности. Поэтому если прибыль на промышленный капиталъ будетъ достигать десяти процентовъ, то доходъ отъ сельско-хозяйственныхъ предпріятій будетъ нѣсколько выше; онъ будетъ равняться, положимъ, пятнадцати или двадцати процентамъ. За вычетомъ изъ этого дохода обычной прибыли на капиталъ, мы получимъ нѣкоторый остатокъ, который и будетъ представлять собой поземельную ренту. Повторяемъ, существованіе такого остатка будетъ, по мнѣнію Родбертуса, не случайнымъ, а постояннымъ явленіемъ, если только мѣновая стоимость земледѣльческихъ продуктовъ опредѣляется количествомъ труда, необходимаго на ихъ производство.

Во избѣжаніе всякихъ недоразумѣній по этому важному вопросу, мы просимъ у читателя позволенія повторить то же рассужденіе въ нѣсколько болѣе конкретной формѣ. Два предпринимателя—фермеръ и фабрикантъ—вывозятъ на рынокъ продукты, стоившіе одинаковаго количества труда. Мѣновая стоимость продуктовъ фермера будетъ поэтому равняться мѣновой стоимости продуктовъ фабриканта. Если наши предприниматели заплатили одинаковую сумму своимъ рабочимъ, то и чистый доходъ ихъ будетъ одинаковъ. Но, согласно мнѣнію Родбертуса, мы должны предположить, что издержки фабриканта были больше издержекъ фермера. Допустимъ, что первый затратилъ вдвое большій капиталъ, чѣмъ второй. Ясно, что фермеръ получитъ вдвое большую прибыль на своей

¹⁾ Zur Beleuchtung, S. 100; ср. также „Zur Erklärung und Abhülfe der Creditnoth des Grundbesitzes“, I Band.

капиталъ, чѣмъ фабрикантъ. Но конкуренція не допускаетъ двухъ различныхъ уровней прибыли. Мы знаемъ уже, что прибыль промышленныхъ предпріятій служить нормой для предпріятій сельско-хозяйственныхъ. Поэтому нашъ фермеръ долженъ будетъ довольствоваться лишь половиной принесеннаго его фермой дохода; другую же половину онъ передаетъ землевладѣльцу въ видѣ поземельной ренты.

Это разсужденіе составляетъ, по словамъ Родбертуса, «основной пунктъ и краеугольный камень» его теоріи поземельной ренты. Онъ настойчиво возвращается къ нему какъ въ напечатанныхъ своихъ сочиненіяхъ, такъ и въ письмахъ, изъ которыхъ многія, по собственному его замѣчанію, составляютъ цѣлыя брошюры. Въ 1870 году онъ предложилъ въ гильдебрандовскихъ «Jahrbüchern» «слѣдующую задачу» сторонникамъ Рикардо. Предположимъ, говоритъ онъ, уединенный отъ всего міра круглый островъ, на которомъ существуетъ частная собственность на землю и капиталы. Вся обрабатывающая промышленность сосредоточена въ городѣ, расположенномъ въ самомъ центрѣ острова; лежащая внѣ городскихъ стѣнъ почва служитъ для добыванія сырыхъ продуктовъ. Размеры острова такъ невелики, что каждое изъ расположенныхъ одно возлѣ другого имѣній простирается отъ городскихъ стѣнъ до самаго берега. Принадлежащая къ этимъ имѣніямъ земля отличается повсюду одинаковыми качествами. «Въ этой гипотезѣ,—прибавляетъ нашъ авторъ,—исключены всѣ тѣ моменты, которые ставятъ отдѣльныхъ землевладѣльцевъ въ исключительно благоприятныя условія по отношенію къ сбыту или стоимости производства продуктовъ. Здѣсь не существуетъ различія ни въ качествѣ почвы, ни въ разстояніи отъ мѣста сбыта... Здѣсь нѣтъ ни одного изъ тѣхъ условій, которыя, по мнѣнію Рикардо, вызываютъ появленіе ренты. Но я утверждаю, что *рента все-таки будетъ существовать*, потому что въ распоряженіи землевладѣльцевъ, сверхъ прибыли на ихъ капиталы, во всякомъ случаѣ останется еще нѣкоторая часть чистаго дохода. Откуда возьмется эта часть дохода? Отвѣтъ на этотъ вопросъ заключаетъ въ себѣ, по моему мнѣнію, принципъ поземельной ренты, потому что постановка вопроса не позволяетъ смѣшивать случайныя явленія съ существенными, поземельную ренту—съ различными колебаніями этой ренты въ томъ или другомъ частномъ случаѣ» 1).

Развивая далѣе свою аргументацію противъ теоріи Рикардо, Родбертусъ обращаетъ вниманіе на другую, по его мнѣнію, слабую сторону ея. Поземельная рента обязана своимъ существованіемъ, по ученію Рикардо, тому излишку дохода съ лучшихъ участковъ земли, который остается за вычетомъ прибыли на капиталъ. Но прибыль на капиталъ не представляетъ собою постоянной величины: уровень ея повышается и пони-

1) Ср. Zur Beleuchtung, S. 113.

жается нѣсколько разъ въ теченіе года. Какъ отражаются на поземельной рентѣ эти колебанія?—спрашиваетъ Родбертусъ. При пониженіи общаго уровня прибыли даже самыя плохіе участки должны приносить ренту; при возвышеніи этого уровня многіе участки, приносившіе прежде ренту, перестаютъ приносить ее. Но ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ не измѣнятся ни овойства участковъ, ни разстояніе ихъ отъ рынка. Всѣ эти пертурбаціи произойдутъ единственно вслѣдствіе колебаній уровня прибыли. Такимъ образомъ, поземельная рента Рикардо,—которая есть не болѣе какъ *дифференціальная* рента,—представляетъ собою нѣчто въ высшей степени шаткое, заключаетъ нашъ авторъ ¹⁾.

VII.

При изложеніи ученія Родбертуса о поземельной рентѣ, мы обращали уже вниманіе читателя на то обстоятельство, что землевладѣлецъ можетъ и не заниматься лично сельскимъ хозяйствомъ. Онъ можетъ сдать свою землю въ наемъ и довольствоваться арендной платой, не принимая, такимъ образомъ, ни малѣйшаго участія въ производствѣ національнаго продукта, но весьма интересуясь ходомъ его распредѣленія. То же самое можетъ имѣть мѣсто и по отношенію къ капиталу. Очень часто собственникъ передаетъ свой капиталъ въ производительное пользованіе другого лица, получая за это извѣстную часть чистаго дохода предпріятія. Такимъ путемъ происходитъ дальнѣйшее подраздѣленіе взятой у рабочихъ части стоимости ихъ продукта; рядомъ съ «капиталистомъ» является «предприниматель», рядомъ съ землевладѣльцемъ—арендаторъ. Вмѣстѣ съ этимъ и въ науку вводятся соотвѣтствующія понятія: доходъ капиталиста называется процентомъ, доходъ предпринимателя—прибылью предпріятія; наконецъ, доходъ землевладѣльца называется арендной платой и при свободномъ соперничествѣ арендаторовъ имѣетъ, по крайней мѣрѣ, тенденцію совпасть съ тѣмъ, что называется въ наукѣ поземельной рентой. Интересы лицъ всѣхъ поименованныхъ «званій и состояній», солидарныя между собой пока дѣло касается самаго существованія «ренты вообще», немедленно приходятъ въ столкновеніе, какъ только рѣчь заходитъ объ ея подраздѣленіи. Предприниматель стремится къ тому, чтобы какъ можно меньше платить за право пользованія капиталомъ; напротивъ, капиталистъ старается увеличить свой доходъ на счетъ предпринимателя. Между землевладѣльцами и арендаторами также происходитъ вѣчная борьба по вопросу о величинѣ арендной платы. Неудивительно поэтому, что правомѣрность каждаго изъ этихъ видовъ дохода не разъ подвергалась сомнѣнію и служила поводомъ самой ожесточенной полемики между заинтересованными сторонами. Споры эти харак-

¹⁾ Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft. 1878, erstes und zweites Heft, S. 230.

терны, какъ мѣрило постепеннаго роста и выясненія важнѣйшихъ экономическихъ понятій. Мы не говоримъ о тѣхъ громахъ, которые раздавались противъ процента со стороны античныхъ писателей и отцовъ церкви. Ихъ взгляды коренились въ иныхъ, совершенно непохожихъ на наши, общественныхъ отношеніяхъ. Но достаточно напомнить знаменитый споръ Бастіа съ Прудономъ, въ котромъ послѣдній никакъ не могъ провести рѣзкой границы между процентомъ съ одной стороны и прибавочной стоимостью—съ другой. Что касается поземельной ренты, то въ настоящее время въ Англіи ведется довольно сильная агитація въ пользу такъ называемой «націонализаціи почвы», т. е. перехода ея въ собственность государства. Необходимость этой мѣры вызывается, по мнѣнію ея сторонниковъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что именно поземельная рента, въ нынѣшнемъ ея видѣ, нарушаетъ гармонію интересовъ всѣхъ классовъ общества.

Нашъ авторъ не только не раздѣлилъ такихъ псевдо-радикальныхъ взглядовъ, но посвятилъ даже особую главу «правовому обоснованію процента и арендной платы за землю». Онъ былъ убѣжденъ, что пока землевладѣльцы и капиталисты имѣютъ дѣло съ предпринимателями, до тѣхъ поръ они имѣютъ право требовать вознагражденія за производительное пользованіе ихъ имуществомъ. «Несправедливость, которую многіе усматриваютъ въ существованіи арендной платы за землю и процента, заключается не въ подраздѣленіи ренты вообще, а въ самомъ ея возникновеніи... Вотъ почему, когда я стараюсь найти правовое обоснованіе процента и арендной платы, я имѣю въ виду лишь взаимныя отношенія собственниковъ и предпринимателей, а не отношенія этихъ двухъ классовъ къ работникамъ»,—говоритъ Родбертусъ. «Несправедливость эксплуатаціи этихъ послѣднихъ такъ же несомнѣнна съ точки зрѣнія естественнаго права, какъ неоспорима правомѣрность раздѣла ренты между собственниками и предпринимателями, разъ допускаемъ мы существованіе этой ренты» ¹⁾. Именно въ современномъ обществѣ, гдѣ возникъ особый классъ предпринимателей, «работающихъ» съ помощью занятаго капитала, исчезаетъ ровстовщическій характеръ процента, вызывавшій такое негодованіе древнихъ писателей. Ростовщикъ пользуется нуждой своихъ близкихъ, между тѣмъ какъ современный капиталистъ требуетъ лишь части дохода, полученнаго предпринимателемъ съ помощью занятаго у него капитала. Предприниматель занимаетъ не по нуждѣ, а съ цѣлью обогащенія, и только очень близорукіе защитники «справедливости» могутъ видѣть въ немъ жертву эксплуатаціи.

Въ томъ же смыслѣ рѣшаетъ нашъ авторъ и вопросъ о «націонализаціи почвы». Онъ думаетъ, что «какъ съ правовой, такъ и съ хозяй-

¹⁾ Zur Beleuchtung, S. 115.

ственной точки зрѣнія частная собственность на капиталъ не лучше обоснована, чѣмъ частная собственность на землю. Капиталы въ такой же малой степени, какъ и земля, представляютъ собою продуктъ труда собственниковъ... Въ настоящее время оба рода имущества являются необходимыми пока регуляторами труда» ¹⁾).

Оставимъ, однако, вопросъ о правомѣрности различныхъ видовъ «ренты» и перейдемъ къ изложенію экономическихъ законовъ, на основаніи которыхъ происходитъ распределеніе національнаго дохода между различными классами общества. Припомнимъ сказанное нами о доходѣ «творцовъ общественнаго богатства», о заработной платѣ работниковъ. По признанію «всѣхъ серьезныхъ экономистовъ», какъ говоритъ Луио Brentano, плата за трудъ рабочаго опредѣляется уровнемъ насущнѣйшихъ его потребностей. Потребности рабочаго класса составляютъ, конечно, результатъ множества самыхъ разнообразныхъ историческихъ условій, но въ каждой данной странѣ и въ каждое данное время онѣ представляютъ собою постоянную величину. Для ихъ удовлетворенія необходимо извѣстное, опредѣленное количество предметовъ потребления. Какую бы страсть къ «сбереженію» ни отличались предприниматели, они не могутъ спустить заработную плату ниже этого уровня, потому что такое «ненормальное» ея пониженіе привело бы къ увеличенію смертности среди рабочихъ. Предложеніе «рукъ» на рынкѣ уменьшилось бы до такой степени, что предприниматели лишились бы возможности употребить въ «дѣло» всѣ свои капиталы, и деньги перестали бы «родить деньги». Предпринимателямъ приходится поэтому мириться съ необходимымъ расходомъ и отводить душу въ проповѣди сбереженія, воздержанія, самообузданія и прочихъ похвальныхъ качествъ. Въ распоряженіе предпринимателей поступитъ, такимъ образомъ, лишь та часть національнаго дохода, которая останется за вычетомъ изъ него заработной платы. Съ увеличеніемъ общей суммы національнаго дохода часть эта будетъ увеличиваться, съ уменьшеніемъ его—сокращаться. Отсюда слѣдуетъ, что *«высота ренты находится въ обратномъ отношеніи къ высотѣ заработной платы: чѣмъ ниже заработная плата, тѣмъ выше рента и наоборотъ!»* Но чѣмъ опредѣляется высота заработной платы, разсматриваемой какъ часть продукта? Мы сказали уже, что въ каждой данной странѣ и въ каждое данное время для удовлетворенія потребностей рабочихъ нужно опредѣленное количество предметовъ потребления. Если производство этихъ продуктовъ поглощаетъ, положимъ, половину національнаго труда, то другая половина его пойдетъ на удовлетвореніе потребностей другихъ классовъ. Но если, благодаря успѣхамъ техники, на

¹⁾ „Zur Erklärung und Abhülfe der heutigen Creditnoth des Grundbesitzes“, Iena 1876. Th., II, S. 334, въ примѣчаніи.

производство необходимых для рабочих продуктов потребует не половина, а только четвертая часть національного труда, то остальные три четверти его останутся в распоряжении собственников. Заработная плата, как часть продукта, уменьшится вдвое, рента возрастет на пятьдесят процентов. Мы видим, таким образом, что рента находится в прямом, заработная плата в обратном отношении к производительности национального труда. С возрастанием ее, заработная плата составляет все меньшую и меньшую часть национального дохода, и в этом заключается, по мнению Родбертуса, вся суть социального вопроса.

Посмотрим теперь, как подразделяется «рента» между различными слоями рабочего класса. По предположению Родбертуса, стоимость каждого продукта определяется количеством труда, необходимого на его производство. Но это количество зависит в свою очередь от степени производительности труда: чем производительнее труд, тем большее количество продуктов является в результате данной единицы его продолжительности; другими словами, чем производительнее труд, тем меньшее количество его требуется для производства каждого данного продукта. Следовательно, стоимость продуктов каждой отрасли производства находится в обратном отношении к производительности труда в этой отрасли. Предположим теперь, что в данной стране стоимость земледельческих продуктов равна стоимости продуктов фабричных, т. е. что на производство и тех и других затрачено одинаковое количество труда. Если высота заработной платы одинакова в обеих отраслях производства, то рента, т. е. оставшаяся за вычетом заработной платы часть национального дохода, распределится поровну между обеими отраслями. Мы знаем уже, что «рента на капитал» называется его прибылью, уровень которой определяется отношением чистого дохода к общей сумме издержек предприятия. Читатель помнит также, что прибыль стремится к одному уровню во всех отраслях производства, и что высота прибыли в фабричных предприятиях имеет решающее значение в земледелии. По изложенным выше причинам, земледельческие предприятия, за вычетом прибыли на капитал, приносят еще и поземельную ренту. Очевидно, что высота этой ренты стоит в обратном отношении к высоте прибыли: поземельная рента представляет собою остаток чистого дохода земледельческих предприятий, который возрастает с уменьшением вычитаемого, т. е. прибыли на капитал. Но от чего зависит высота прибыли? Представляя собою отношение чистого дохода к издержкам предприятия, высота прибыли возрастает с уменьшением и падает с увеличением суммы этих издержек. Известно, что стоимость сырых продуктов входит составною частью в общую сумму издержек фабричных предприятий, так как про-

дукты эти служат матеріаломъ для труда фабричныхъ рабочихъ. Съ возрастаніемъ стоимости сырыхъ продуктовъ растутъ издержки предпріятія и, слѣдовательно, понижается уровень прибыли. А такъ какъ поземельная рента стоитъ въ обратномъ отношеніи къ высотѣ прибыли, то мы можемъ сказать, что поземельная рента увеличивается съ возрастаніемъ стоимости сырыхъ продуктовъ и уменьшается съ пониженіемъ этой стоимости,—или, другими словами, что высота поземельной ренты прямо пропорціональна стоимости сырыхъ продуктовъ. Но стоимость всякаго продукта находится въ обратномъ отношеніи къ производительности труда. Отсюда слѣдуетъ, что *высота поземельной ренты обратно пропорціональна производительности земледѣльческаго труда*: поземельная рента падаетъ съ увеличеніемъ плодородія почвы или съ улучшеніемъ сельско-хозяйственной техники и возрастаетъ съ упадкомъ плодородія и ухудшеніемъ техники.

«Если, при данной стоимости національнаго продукта, вамъ дана также высота ренты вообще,—говоритъ Родбертусъ, — то поземельная рента и прибыль стоятъ въ обратномъ отношеніи другъ къ другу и къ производительности труда въ соответствующихъ имъ отрасляхъ производства. Чѣмъ ниже прибыль на капиталъ, тѣмъ выше поземельная рента, и наоборотъ: чѣмъ выше производительность земледѣльческаго труда, тѣмъ ниже поземельная рента и тѣмъ выше прибыль на капиталъ; чѣмъ выше производительность фабричнаго труда, тѣмъ ниже прибыль на капиталъ и выше поземельная рента, и наоборотъ»¹⁾.

Предыдущимъ анализомъ исчерпываются всѣ тѣ условія, которыми опредѣляется высота заработной платы и прибыли. Что же касается до поземельной ренты, то, помимо вышеуказанныхъ, существуетъ еще одинъ факторъ, вліяющій на ея относительную высоту. Разсмотрѣніе этого фактора важно въ томъ отношеніи, что онъ не остался безъ вліянія на возрастаніе ренты въ европейскихъ странахъ, принимаемое многими экономистами за слѣдствіе уменьшенія производительности земледѣльческаго труда. Природа этого фактора можетъ быть выяснена слѣдующимъ, весьма простымъ разсужденіемъ.

На основаніи изложенныхъ сейчасъ положеній, мы безъ труда опредѣлимъ относительную величину заработной платы, прибыли на капиталъ и поземельной ренты, если намъ извѣстны насущнѣйшія потребности рабочаго класса, производительность труда въ различныхъ отрасляхъ предпріятій, площадь обрабатываемыхъ земель и, наконецъ, стоимость національнаго дохода. Спрашивается: какое вліяніе на распредѣленіе этого дохода окажетъ увеличеніе трудящагося населенія страны, не сопровождаемое, однако, никакими измѣненіями въ производительности на-

1) Zur Beleuchtung, S. 123.

ціонального труда? Первымъ слѣдствіемъ предположеннаго явленія было бы, разумѣется, увеличеніе количества производимыхъ въ странѣ продуктовъ. Но такъ какъ производительность труда не измѣнилась, то каждый продуктъ стоилъ бы теперь такого же труда, какъ и прежде. Вслѣдствіе этого и заработная плата осталась бы на прежнемъ уровнѣ, потому что пониженіе ея обуславливается лишь возрастаніемъ производительности труда. Количество же продуктовъ, составляющихъ сумму заработной платы всѣхъ рабочихъ страны, увеличится благодаря возрастанію самаго числа рабочихъ. Далѣе, высота «ренты вообще» останется неизмѣнной, потому что вліяющіе на нее факторы—производительность труда и заработная плата—сохранили свою прежнюю величину. Но составляя, какъ и прежде, половину всего національнаго продукта, «рента вообще» будетъ имѣть теперь большую стоимость, потому что увеличилась стоимость самаго національнаго продукта. Эта большая стоимость «ренты вообще» раздѣлится въ прежней пропорціи на поземельную ренту и прибыль на капиталъ. Мы знаемъ уже, что раздѣленіе это зависитъ отъ степени производительности труда въ соответствующихъ отрасляхъ производства, оставшейся въ разсматриваемомъ случаѣ безъ всякаго измѣненія. Землевладѣльцы и предприниматели будутъ получать такія же, какъ и прежде, части «ренты вообще», но стоимость этихъ частей увеличится благодаря увеличенію стоимости самой ренты. Какое вліяніе окажетъ это обстоятельство на высоту поземельной ренты и прибыли? Для расширенія національнаго производства необходима, разумѣется, большая сумма капитала. Поэтому большая стоимость доставшейся предпринимателямъ «ренты» распределится на большую сумму затраченнаго въ производствѣ капитала, и *уровень* прибыли ихъ предпріятій останется неизмѣннымъ. Не то будетъ съ поземельной рентой. Возрастаніе трудящагося населенія и расширеніе національнаго производства не сопровождаются увеличеніемъ территоріи, поэтому большая стоимость доставшейся землевладѣльцамъ части «ренты вообще» распределится не на прежнее число моргеновъ, гектаровъ или десятинъ земли. Вслѣдствіе этого повысится и *уровень* поземельной ренты. Мы видимъ, такимъ образомъ, что поземельная рента имѣетъ стремленіе къ повышенію даже въ тѣхъ случаяхъ, когда заработная плата и прибыль на капиталъ остаются на прежнемъ уровнѣ. Она—и только она—повышается вслѣдствіе возрастанія трудящагося населенія, которое въ большей или меньшей степени имѣетъ мѣсто во всѣхъ прогрессирующихъ странахъ.

Сказанное относится также къ стоимости самой земли. Она опредѣляется, какъ извѣстно, капитализаціей поземельной ренты на основаніи обычнаго, въ данное время, процента. Если капиталъ въ 1000 талеровъ приноситъ 50 талеровъ, т. е. 5% дохода, то и наоборотъ капитализація изъ 5% дохода въ 50 талеровъ дастъ 1000 талеровъ капитала. Подоб-

нымъ же образомъ очень легко опредѣлить, какой величины капиталъ представляеть собою участокъ земли, приносящій 100 талеровъ ежегоднаго дохода, если обычный уровень процента равняется пяти. Это не значить, конечно, что поземельную ренту можно разсматривать какъ процентъ, приносимый затраченнымъ на покупку земли капиталомъ. Не величиной этого капитала опредѣляется высота поземельной ренты, а наоборотъ—высота послѣдней опредѣляетъ стоимость земли и, слѣдовательно, величину того капитала, который можетъ быть вырученъ отъ продажи даннаго участка. Притомъ высота поземельной ренты есть, какъ мы уже знаемъ, не единственный факторъ, влияющій на стоимость земли. Она зависитъ также отъ уровня процента. Если онъ повысится съ пяти на десять, то при прежней высотѣ поземельной ренты земля потеряетъ ровно половину своей стоимости. При пониженіи обычнаго уровня процента стоимость земли будетъ, наоборотъ, возрастать, хотя бы высота поземельной ренты осталась безъ измѣненія. Но при данномъ уровнѣ процента стоимость земли зависитъ, говоря вообще, лишь отъ высоты поземельной ренты и отражаетъ на себѣ всѣ ея колебанія. Поэтому стоимость земли растетъ даже въ тѣхъ случаяхъ, когда, при прочихъ равныхъ условіяхъ, увеличивается лишь трудящееся населеніе страны, или—какъ выражается Родбертусъ—количество ея производительныхъ силъ. Все это можетъ казаться пока весьма сухимъ и незамательнымъ, но несомнѣнно пріобрѣтетъ весьма большую поучительность, когда мы взглянемъ, съ точки зрѣнія этихъ абстрактныхъ положеній, на общій ходъ экономическаго развитія Европы. Мы должны, однако, сдѣлать раньше небольшое отступленіе.

Извѣстно, что мѣновая стоимость драгоцѣнныхъ металловъ опредѣляется, какъ и стоимость всякаго другого товара, количествомъ труда, необходимаго для ихъ добыванія. Но производительность труда не остается неизмѣнной и въ этой отрасли предпріятій. Она возрастаетъ съ открытіемъ болѣе богатыхъ рудниковъ или росыпей и уменьшается съ ихъ истощеніемъ. Вмѣстѣ съ этимъ измѣняется, конечно, и мѣновая стоимость драгоцѣнныхъ металловъ, а слѣдовательно, и самихъ денегъ. Намъ нужно выяснитъ теперь, какое вліяніе оказываютъ измѣненія въ стоимости денегъ на относительную высоту различныхъ видовъ дохода.

«Въ прежнее время,—говоритъ Родбертусъ,—экономисты были того мнѣнія, что открытіе американскихъ рудниковъ въ XVI столѣтіи, причинившее паденіе мѣновой стоимости денегъ, повело къ пониженію обычнаго уровня процента, а слѣдовательно и прибыли. Но уже Юмъ не соглашался съ этимъ мнѣніемъ; да и на самомъ дѣлѣ ясно, что при пониженіи мѣновой стоимости драгоцѣнныхъ металловъ денежная стоимость капитала должна возрасти въ томъ же самомъ отношеніи, въ какомъ возрастаетъ денежная стоимость продукта предпріятія; поэтому отношеніе

между прибылью и капиталомъ должно остаться неизмѣннымъ»¹⁾. Что же касается поземельной ренты, то высота ея находится, по мнѣнію Родбертуса, въ тѣсной связи со стоимостью драгоценныхъ металловъ. Пониженіе этой послѣдней ведетъ къ возрастанію денежной стоимости всѣхъ продуктовъ. Между прочимъ, возвышается, конечно, денежная стоимость и той части національнаго продукта, которая представляетъ собою поземельную ренту. Но эта повысившаяся денежная стоимость поземельной ренты распределяется на прежнюю площадь обрабатываемой земли. «Денежная рента растетъ, такимъ образомъ, въ томъ же отношеніи, въ какомъ понижается стоимость денегъ, а потому и въ результатѣ капитализаціи этой ренты получится большая сумма; другими словами, стоимость земли возрастетъ вмѣстѣ съ рентой».

VIII.

При внимательномъ анализѣ въ экономической исторіи каждой прогрессирующей страны можно открыть, по мнѣнію Родбертуса, вліяніе всѣхъ или почти всѣхъ указанныхъ факторовъ. Сдѣлать это будетъ, конечно, совѣтъ не легко, такъ какъ они дѣйствуютъ не въ одномъ и томъ же направленіи. Переплетаясь и комбинируясь между собою самымъ различнымъ образомъ, то дополняя, то нейтрализуя другъ друга, факторы эти даютъ чрезвычайно сложный результатъ, который можетъ быть приписанъ дѣйствию совѣтъ другихъ причинъ, вліянію совершенно иныхъ законовъ. Именно такая ошибка имѣла, по словамъ нашего автора, мѣсто при изученіи экономическихъ отношеній западно-европейскихъ странъ. Замѣчаемое въ этихъ странахъ возрастаніе поземельной ренты и хлѣбныхъ цѣнъ приписывалось уменьшенію производительности земледѣльческаго труда, между тѣмъ какъ это явленіе допускаетъ совершенно иное и гораздо болѣе правильное объясненіе. Родбертусъ убѣжденъ, что производительность труда увеличилась въ Европѣ во всѣхъ отрасляхъ производства. Вслѣдствіе этого заработная плата стала представлять собою меньшую, «рента вообще» — большую, чѣмъ прежде, часть національнаго продукта; точнѣе сказать, заработная плата, какъ часть продукта, не *понижилась*, а *понижается*, такъ какъ увеличеніе производительности труда представляетъ собою не только совершившійся фактъ, но и постоянно совершающійся процессъ. Возрастаніе это не въ одинаковой степени коснулось различныхъ отраслей національнаго производства. Фабричный трудъ сдѣлалъ въ этомъ отношеніи гораздо большіе успѣхи, чѣмъ земледѣльческій. Поэтому и стоимость земледѣльческихъ продуктовъ понизилась въ меньшей степени, чѣмъ стоимость продуктовъ фабричныхъ.

¹⁾ Zur Beleuchtung, S. 132.

Если пудъ хлѣба и аршинъ сукна имѣли нѣкогда одинаковую стоимость, то теперь за пудъ хлѣба можно приобрести уже не одинъ, а полтора или два аршина сукна. Это, повторяемъ, относительное, а не абсолютное увеличеніе стоимости земледѣльческихъ продуктовъ должно было повести къ повышенію поземельной ренты, такъ какъ, при данной стоимости національнаго продукта и при данномъ уровнѣ «ренты вообще», высота поземельной ренты обратно пропорціональна производительности земледѣльческаго труда. Кромѣ того, трудящееся населеніе Европы, «количество ея производительныхъ силъ», постоянно возрастало, а вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивалось и общее количество продуктовъ ея производства. Мы знаемъ уже, какъ влияетъ на поземельную ренту такое явленіе: она возвышается пропорціонально возрастанію трудящагося населенія. Но и это не все. Открытіе американскихъ рудниковъ въ огромной степени увеличило количество обращающихся въ Европѣ драгоценныхъ металловъ и уменьшило стоимость денегъ. Этотъ упадокъ стоимости денегъ долженъ былъ, какъ сказано выше, повести къ повышенію денежной ренты землевладѣльцевъ, а слѣдовательно и продажныхъ цѣнъ на землю. Мы видимъ, такимъ образомъ, что къ повышенію поземельной ренты было достаточно поводовъ помимо всякаго уменьшенія производительности земледѣльческаго труда. «Взятыя вмѣстѣ, указанныя обстоятельства такъ хорошо объясняютъ чрезвычайное возрастаніе поземельной ренты и стоимости земли,—говоритъ Родбертусъ,—что для разгадки этого замѣчаемаго во всей Европѣ явленія вовсе не нужно прибѣгать къ предположенію упадка производительности земледѣльческаго труда,—упадка, отнюдь не имѣшаго мѣста въ нашей части свѣта».

Перейдемъ къ другимъ категоріямъ дохода. Если бы производительность національнаго труда въ одинаковой степени возрастала во всѣхъ отрасляхъ производства, то увеличеніе «ренты вообще», разсматриваемой какъ часть продукта, повело бы къ равномерному повышенію прибыли на капиталъ и поземельной ренты. Но мы знаемъ уже, что земледѣльческій трудъ отсталъ въ этомъ отношеніи отъ фабричнаго, и что поземельная рента возвысилась на счетъ прибыли. «Несмотря на возвышеніе «ренты вообще», возрасла только поземельная рента, уровень же прибыли, напротивъ, понизился»,—говоритъ нашъ авторъ. Такая плохая награда за капиталистическія добродѣтели можетъ, конечно, казаться самой вопіющей несправедливостью всякому «безпристрастному наблюдателю». Мы замѣтимъ, однако, ему въ утѣшеніе, что исторія другимъ путемъ вознаградила гг. капиталистовъ и предпринимателей за эти потери. Во-первыхъ, пониженіе уровня прибыли не означаетъ еще уменьшенія общей ея суммы. Прибыль въ 20% съ капитала въ 100.000 равняется 20.000 руб. Предположимъ, что прибыль понижается съ теченіемъ времени съ 20 на 15%, но въ то же время удваивается общая сумма капитала; 15% при-

были съ капитала въ 200.000 даетъ 30.000 руб. дохода. Такимъ образомъ, несмотря на пониженіе *уровня* прибыли, общая сумма ея увеличится на одну треть. «Ревта на капиталъ увеличивается, растетъ, но не возвышается», — говоритъ нашъ авторъ ¹⁾. Мы знаемъ уже, что національный капиталъ увеличился во всѣхъ европейскихъ странахъ. Конечно, если бы съ ростомъ національнаго капитала увеличивалось также число капиталистовъ и предпринимателей, то каждый изъ нихъ въ отдѣльности не извлекъ бы никакой пользы изъ этого обстоятельства, большая сумма прибыли распредѣлялась бы между большимъ числомъ капиталистовъ, и доходъ каждаго изъ нихъ не имѣлъ бы поводовъ къ увеличенію. Но въ современномъ обществѣ дѣло происходитъ какъ разъ наоборотъ. Капиталы все болѣе концентрируются въ немногихъ рукахъ, крупныя предпріятія все болѣе вытѣсняють среднія и мелкія. Число капиталистовъ и предпринимателей уменьшается вмѣстѣ съ ростомъ національнаго капитала, а потому средній доходъ ихъ возрастаетъ. Теряя отъ пониженія *уровня* прибыли, они выигрываютъ отъ увеличенія ея *суммы*. Кромѣ того, нужно имѣть въ виду, что если бы общая сумма прибыли и не стремилась къ возрастанію, то и тогда пониженіе ея уровня не означало бы уменьшенія матеріальнаго благосостоянія этого слоя имущаго класса. Увеличеніе производительности національнаго труда ведетъ къ пониженію стоимости всѣхъ продуктовъ. Поэтому, представляя собою меньшую часть *стоимости* національнаго продукта, прибыль можетъ представлять собою въ то же время большее, чѣмъ прежде, количество предметовъ потребленія. Для этого нужно только, чтобы уровень прибыли понизился въ меньшей степени, чѣмъ возвысалась средняя производительность національнаго труда. И несомнѣнно, что именно такое благоприятное отношеніе существуетъ въ дѣйствительности между пониженіемъ уровня прибыли и возвышеніемъ производительности труда: успѣхи промышленной техники выражаются во всякомъ случаѣ въ цѣлыхъ числахъ (единицахъ, десяткахъ и даже сотняхъ и тысячахъ), между тѣмъ какъ пониженіе уровня прибыли измѣняется дробями. Уже въ виду одной этой причины никакое повышеніе поземельной ренты на счетъ прибыли не можетъ грозить капиталистамъ пониженіемъ ихъ *standard of life*.

Далеко не такъ успокоительно выглядитъ отношеніе между «рентой вообще» и заработной платой. Мы сказали уже, что заработная плата, — этотъ единственный доходъ «творцовъ общественнаго богатства», — понижалась вслѣдствіе увеличенія производительности національнаго труда. Это пониженіе ея маскировалось, правда, измѣненіемъ стоимости самыхъ

¹⁾ Briefe und socialpolitische Aufsätze von dr. Rodbertus-Jagetzow, herausgeg. von Rud. Meyer, I Band, S. 228. Родбертусъ утверждаетъ, что до него ни одинъ экономистъ не обратилъ вниманія на разницу между повышеніемъ и увеличеніемъ прибыли.

денегъ. Стоимость драгоцѣнныхъ металловъ понизилась въ большей степени, чѣмъ стоимость земледѣльческихъ продуктовъ. Въ свою очередь, стоимость фабричныхъ продуктовъ понизилась болѣе, чѣмъ стоимость драгоцѣнныхъ металловъ. Вслѣдствіе этого въ обмѣнъ за сырые продукты дается теперь большее количество денегъ, чѣмъ прежде, несмотря на увеличеніе производительности земледѣльческаго труда. Денежная стоимость фабричныхъ продуктовъ должна была, напротивъ, понизиться. Конечно, лишь весьма небольшая часть сырыхъ продуктовъ можетъ служить для непосредственнаго потребленія; большинство ихъ нуждается въ фабричной обработкѣ. Стоимость большей части продуктовъ складывается поэтому изъ двухъ частей: земледѣльческой трудъ и трудъ фабричный. Но чѣмъ болѣе преобладаетъ въ немъ та или другая часть, тѣмъ болѣе зависитъ его стоимость отъ степени производительности труда въ соответствующей отрасли производства. Пища рабочихъ есть продуктъ, главнымъ образомъ, земледѣльческаго труда. Она составляетъ, кромѣ того, главную статью въ бюджетѣ рабочаго. Поэтому можно сказать, что стоимость заработной платы—какъ даннаго количества предметовъ потребленія—опредѣляется преимущественно производительностью земледѣльческаго труда или, что то же, стоимостью сырыхъ продуктовъ. Мы знаемъ уже, что денежная стоимость сырыхъ продуктовъ возрасла, несмотря на возрастаніе производительности земледѣльческаго труда. Только благодаря этому возрасла и денежная стоимость заработной платы, хотя эта послѣдняя не только составляетъ теперь меньшую часть національнаго дохода, но уменьшилась даже, какъ *сумма* поступающихъ въ распоряженіе рабочаго продуктовъ. «Я утверждаю,—говоритъ Родбертусъ,—что, за исключеніемъ нѣкоторой части нашей прислуги, всѣ наши работники получаютъ теперь меньше хлѣба, мяса, платья, жилого помѣщенія, короче, всѣхъ необходимыхъ для жизни предметовъ, чѣмъ получали они 50 лѣтъ тому назадъ. Если вы причислите къ рабочимъ также и дѣтей, то я берусь доказать, что жилия помѣщенія берлинскаго рабочаго класса содержать относительно меньше квадратныхъ футовъ, чѣмъ стояла нашихъ барановъ»¹⁾.

Какъ это ни странно, но людямъ пришлось завидовать баранамъ лишь благодаря успѣхамъ цивилизаціи. Основываясь на изслѣдованіяхъ Дюпателя и Роджерса, Родбертусъ утверждаетъ, что количество составляющихъ заработную плату предметовъ потребленія, реальная заработная плата, въ противоположность денежной, меньше въ настоящее время, чѣмъ оно было 500 лѣтъ тому назадъ. Въ варварскомъ XIII столѣтіи рабочій лучше питался, лучше одѣвался, занималъ лучшія жилия помѣщенія, чѣмъ въ нашемъ вѣкѣ пара и электричества! «Обыкновенно это оспаривается,—говоритъ Родбертусъ,—потому что насъ ослѣпляетъ ситецъ, въ который

¹⁾ Briefe und socialpolitische Aufsätze, I Band, S. 239.

наряжаются теперь наши работницы, а еще чаще получаемое ими количество зильбергрошей, которые сами по себѣ не отличаются, однако, питательностью». Дюшателле доказываетъ, «что реальная плата понижалась во Франціи съ 1202 по 1830 годъ. То же подтверждаетъ Роджерсъ относительно Англїи; изъ его изслѣдованій оказывается кромѣ того, что и рабочее время тогда было короче. Съ 1830 года реальная плата понижалась еще болѣе. Это было бы легко доказать и по отношенію къ Германіи» ¹⁾.

Въ 1873 году нашъ авторъ послалъ въ редакцію «*Berliner Revue*» опытъ о распредѣленіи національнаго дохода въ Англїи, названный имъ «*Die Baxter'sche und die Colquhonn'sche Einkommenspyramide (Aus einer Einleitung in die sociale Frage)*». Вотъ что пишетъ онъ между прочимъ Р. Майеру о результатахъ своего изслѣдованія: «Это поразительная, страшная статистическая картина, основанная на официальнѣйшихъ данныхъ. Вы не можете себѣ представить, какая печальная разница произошла въ распредѣленіи (удвоившагося) населенія и (возросшаго въ шесть разъ) національнаго дохода въ промежутокъ времени отъ 1812 года (изслѣдование Colquhonn'a) по 1868 годъ (къ которому относятся изслѣдованія Baxter'a). Доходъ все болѣе концентрируется въ денежномъ мѣшкѣ на вершинѣ общественной пирамиды, весь приростъ населенія поглощается ея основаніемъ, онъ ведетъ лишь къ увеличенію рабочаго муравейника; наконецъ, соответствующіе среднимъ классамъ *middle incomes* постоянно уменьшаются. Эти статистическія данныя превзошли всѣ мои ожиданія. Я никогда не думалъ, чтобы могли существовать такіе тяжелые пункты обвиненія противъ господствующей системы... Общество напоминаетъ собою суставчатое животное, осу съ перетанутой таліей. Довольно! Это—зрѣлище, «достойное боговъ» ²⁾.

Послѣдуемъ и мы примѣру Родбертуса.

Вспомнимъ, что не всѣмъ же живется плохо въ этой юдоли скорби и бѣдствій, что полезны же кому-нибудь завоеванія современной науки и чудаеса промышленной техники. Мы видѣли уже, что европейская исто-

¹⁾ Briefe und socialpolitische Aufsätze, I Band, S. 252. Вышеприведенныя слова Родбертуса кажутся, съ перваго взгляда, совершенно противорѣчащими дѣйствительности. Мы считаемъ поэтому нелишнимъ напомнить читателю, что результаты изслѣдованій Роджерса приводятся также г. Янжуломъ въ первомъ томѣ его «Англійской свободной торговли».

²⁾ Briefe und Aufsätze, I B. S. 328—340. Какъ видно изъ этого письма, «*Einkommenspyramide*» и есть найденный А. Вагнеромъ въ бумагахъ Родбертуса опытъ о распредѣленіи дохода въ Англїи. Но странно, что берлинскій профессоръ находитъ «незаконченнымъ» и не печатаетъ сочиненія, послышавшагося въ печать самимъ авторомъ. Впрочемъ, Р. Майеръ предполагаетъ, что изданіе «литературнаго наслѣдства» нашего автора просто противорѣчитъ видамъ «железнаго канцлера».

рія была очень внимательна къ землевладѣльцамъ и предпринимателямъ. Перейдемъ теперь къ «капиталистамъ» и арендаторамъ.

«Рента на капиталъ» подраздѣляется, какъ мы знаемъ, на двѣ части: процентъ капиталиста и прибыль предпринимателя. Величина обѣихъ частей зависитъ прежде всего отъ величины цѣлага, т. е. самой «ренты на капиталъ». Съ ея возвышеніемъ капиталисты получаютъ возможность требовать болѣе высокій процентъ за пользованіе ихъ капиталомъ, предпринимателямъ же дается возможность удовлетворить этому требованію безъ ущерба для ихъ собственныхъ интересовъ. Поэтому все сказанное выше объ относительной высотѣ «ренты на капиталъ» одинаково относится къ доходу какъ предпринимателей, такъ и капиталистовъ. Но при *данной* высотѣ «ренты на капиталъ» очевидно, что болѣе высокій процентъ обуславливаетъ болѣе низкій уровень предпринимательской прибыли и наоборотъ. Высота процента опредѣляется, по мнѣнію Родбертуса, отношеніемъ спроса на капиталъ со стороны предпринимателей къ предложенію его со стороны капиталистовъ. Адамъ Смитъ принимаетъ, что «разумный» процентъ составляетъ половину прибыли, полученной съ помощью отданнаго въ займы капитала. Въ настоящее же время отношеніе между процентомъ и предпринимательской прибылью измѣнилось, по мнѣнію нашего автора, въ пользу капиталистовъ. Это произошло благодаря распространенію акціонерныхъ компаній. Каждая компанія представляетъ собою ассоціацію лицъ, соединившихъ свои капиталы для той или другой производительной цѣли, не принимающихъ непосредственнаго участія въ веденіи предпріятія. Послѣднее поручается директорамъ, управляющимъ и т. д., заступающимъ мѣсто предпринимателей и получающимъ опредѣленное жалованье. Остающаяся, за вычетомъ этого жалованья, часть предпринимательской прибыли достается—въ видѣ дивиденда—акціонерамъ, между тѣмъ какъ въ единоличныхъ предпріятіяхъ часть эта поступаетъ въ распоряженіе предпринимателей. Понятно, что такой способъ помѣщенія капиталовъ гораздо выгоднѣе для ихъ обладателей; поэтому значительная часть европейскіхъ капиталовъ приливаетъ въ акціонерныя компаніи и отношеніе между ихъ предложеніемъ и спросомъ измѣняется къ невыгодѣ предпринимателей. Послѣдніе принуждены платить болѣе высокій процентъ и довольствоваться меньшей прибылью. «Уровень процента возвысился у насъ именно со времени распространенія акціонерныхъ компаній,—говоритъ Родертусъ,—хотя отсюда не слѣдуетъ, конечно, что вліяніе послѣднихъ не можетъ быть ослаблено или совершенно парализовано дѣйствіемъ другихъ факторовъ» ¹⁾. Акціонерныя компаніи вообще играютъ очень важную роль въ исторіи капитализма. Онѣ представляютъ собою такую форму ассоціаціи капиталовъ,

¹⁾ Zur Erklärung etc. der Creditnoth. Th. II, S. 23.

благодаря которой даже самыя незначительныя сбереженія частныхъ лицъ оставшіяся прежде внѣ всякаго производительнаго употребленія, идутъ теперь въ дѣло и оживляютъ промышленную жизнь страны. Спекуляціонная горячка много способствовала упадку акціонерныхъ компаній въ глазахъ общества. «Но чѣмъ индивидуальная предпринимательская дѣятельность какого-нибудь Круппа или Диргордта почтеннѣе дѣятельности акціонерныхъ компаній?—спрашиваетъ Родбертусъ въ одномъ изъ писемъ къ Р. Майеру.—Съ какой стати предпочитать намъ брюнетовъ блондинамъ или обратно? Да и что вамъ сдѣлали, мои дорогія, дорогія акціонерныя компаніи?—продолжаетъ онъ въ шутиливомъ тонѣ.—Эта форма производства, которая соединяетъ въ одинъ большой потокъ множество мелкихъ капиталовъ, должна исполнить свою миссію. Она должна дополнить дѣло рухъ Божіихъ, прорывъ перешейки тамъ, гдѣ Создатель считалъ несвоевременнымъ или забылъ это сдѣлать, соединить страны, раздѣленныя морями, пробуровать Альпы и т. д. Египетскія пирамиды и финикійскія постройки останутся далеко позади въ сравненіи съ тѣмъ, что дѣлаютъ акціонерныя компаніи»¹⁾. Но этимъ не исчерпывается еще ихъ историческая роль. Частію благотворное, частію вредное вліяніе ихъ распространяется на всѣ стороны соціальной жизни. «Въ политическомъ отношеніи государству грозитъ опасность сдѣлаться простымъ орудіемъ въ рукахъ большихъ акціонерныхъ компаній; съ точки зрѣнія экономической онѣ представляютъ намъ удивительное зрѣлище капитала, который самъ прокладываетъ дорогу ненавистному ему государству рабочихъ и чиновниковъ». Развитие акціонерныхъ компаній ведетъ за собою упроченіе такой формы производства, при которой все завѣдываніе предпріятіемъ переходитъ въ руки нанятыхъ лицъ, обладатели же капиталовъ превращаются въ простыхъ рантьеровъ. И «если дѣятельному и энергичному роду майордомовъ удалось нѣкогда свергнуть съ престола облѣившуюся мервингскую династію, то почему живая и энергичная организація рабочихъ не сможетъ современемъ устранить общественную форму, превращающую собственниковъ въ простыхъ рантьеровъ? А между тѣмъ капиталъ уже не можетъ уклониться съ этого пути! *Digitus Dei est hic!* Достигши полного цвѣта и развитія, капиталъ превращается въ своего собственного могильщика. Такъ продолжаетъ Хроносъ пожирать своихъ собственныхъ дѣтей!»²⁾.

Намъ остается сказать нѣсколько словъ объ отношеніи землевладѣльцевъ къ арендаторамъ, чтобы совершенно покончить съ ученіемъ Родбертуса о распредѣленіи національнаго дохода. Собственно говоря, арендаторъ есть предприниматель, ведущій хозяйство на чужой землѣ и иногда съ помощью чужого капитала. Поэтому сказаннымъ выше объ относи-

¹⁾ Briefe und Aufsätze, I. Band, S. 290—91.

²⁾ Zur Erklärung der Creditnoth, II. S. 25—26 и 276.

тельной высотѣ «ренты на капиталъ» и поземельной ренты, съ одной стороны, и о взаимномъ отношеніи процента и предпринимательской прибыли—съ другой, исчерпывалось бы все, относящееся къ доходу арендатора, если бы понятіе о поземельной рентѣ всегда покрывалось понятіемъ объ арендной платѣ на землю.

Но эти два понятія совпадаютъ лишь въ тѣхъ странахъ, гдѣ образовался многочисленный классъ свободныхъ и зажиточныхъ фермеровъ. Классическимъ примѣромъ такой страны можетъ служить Англія, въ которой сама сила вещей приводитъ къ тому, что арендаторы довольствуются прибылью на земледѣльческой капиталъ, отдавая землевладѣльцамъ поземельную ренту во всемъ ея объемѣ. Та же сила вещей,—иначе сказать, конкуренція,—держитъ прибыль на одинаковомъ уровнѣ во всѣхъ отрасляхъ національнаго производства; поэтому и землевладѣльцы вынуждены довольствоваться поземельной рентой, предоставляя прибыль на капиталъ въ распоряженіе фермеровъ. Въ другихъ же государствахъ Европы такое равновѣсіе нарушается часто въ пользу одной изъ сторонъ. Тамъ, гдѣ классъ фермеровъ находится еще въ зачаточномъ состояніи, какъ это видимъ, по словамъ Родбертуса въ Германіи, арендаторы сверхъ прибыли на свой капиталъ «удерживаютъ въ своихъ рукахъ значительную часть поземельной ренты». И наоборотъ, неблагоприятно сложившіяся обстоятельства, промышленная отсталость страны, отсутствіе выгодныхъ помѣщеній для капиталовъ, наконецъ, недостаточный спросъ на трудъ могутъ вынудить фермеровъ не только отдавать собственникамъ сверхъ поземельной ренты еще значительную часть прибыли на капиталъ, но изъ всего дохода фермы довольствоваться лишь самой жалкой заработной платой. Едва ли нужно прибавлять, что въ такомъ положеніи находится Ирландія ¹⁾.

¹⁾ Впрочемъ, такой же точно примѣръ русскій читатель можетъ видѣть у себя дома. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи арендные цѣны на землю въ теченіе лишь десяти лѣтъ послѣ освобожденія крестьянъ возросли на 300—400% (Янсонъ. «Опытъ изслѣдованія о крестьянскихъ надѣлахъ и платежахъ», стр. 89). По замѣчанію г. Янсона, такое возвышеніе арендныхъ цѣвъ «объясняется единственно малоземельемъ крестьянъ». Не находя другого приложенія для своихъ хозяйственныхъ силъ, крестьяне вынуждены отдавать землевладѣльцамъ значительную часть того, что должно было бы составлять прибыль свободныхъ крестьянъ - арендаторовъ. А рядомъ съ этимъ другое, на этотъ разъ совершенно «самобытное» явленіе: г. Орловъ («Форма крестьянскаго землевладѣнія въ московской губерніи») приводитъ примѣръ того, что будущій «крестьянинъ-собственникъ» отдаетъ въ аренду свой надѣлъ, «за что и обязуется платить» съ своей стороны извѣстную сумму денегъ. Оказывается, что «поземельная рента» можетъ представлять собою и отрицательную величину, чего, разумѣется, не предвидѣтъ ни одинъ изъ экономистовъ «гнилого Запада». Наше народное хозяйство, дѣйствительно, не-

IX.

Изложенное выше учение Родбертуса о распределении национального дохода основывается, как мы уже говорили неоднократно, на томъ предположеніи, что производительность труда возрастаетъ во всѣхъ отрасляхъ національнаго производства. Успѣхи промышленной техники слишкомъ очевидны для того, чтобы возможны были какія-нибудь сомнѣнія относительно возрастанія производительности фабричнаго труда. Что же касается земледѣлія, то здѣсь мнѣнія экономистовъ расходятся: многіе писатели до сихъ поръ держатся взглядовъ Мальтуса и Рикардо, утверждавшихъ что производительность его уменьшается въ каждомъ развивающемся, обществѣ. Нужно замѣтить, что этотъ спорный пунктъ представляетъ собой узелъ всѣхъ «проклятыхъ вопросовъ» нашего времени. Если Мальтусъ и Рикардо заблуждались, то улучшение экономического положеніе бѣднѣйшихъ классовъ населенія цивилизованныхъ обществъ является лишь дѣломъ времени и доброй воли самихъ бѣдняковъ. Если же названные экономисты правы, то классы эти должны «оставить всякую надежду», человечество осуждено на постепенное обѣднѣніе, противъ котораго безсильны всѣ успѣхи техники, всѣ улучшения общественныхъ отношеній. Рано или поздно земля откажется удовлетворять въ должной мѣрѣ потребности возрастающаго населенія, и оно будетъ поставлено въ состояніе хроническаго голоданія, если химикамъ не удастся открыть способа искусственнаго приготовленія бѣлковины. «Къ счастью,—говоритъ нашъ авторъ,—убѣжденіе Мальтуса и Рикардо совершенно ошибочно. Оно не выдерживаетъ критики ни съ сельско-хозяйственной, ни съ исторической, ни съ политической точекъ зрѣнія»¹⁾.

Статистика, на которую ссылаются послѣдователи Рикардо и которая «во всякомъ случаѣ имѣетъ важное значеніе при рѣшеніи этого вопроса», содержитъ тысячи неоспоримѣйшихъ данныхъ, по меньшей мѣрѣ несогласующихся съ мнѣніемъ Рикардо, между тѣмъ какъ многія данныя, говорящія, повидимому, въ его пользу, или совсѣмъ недостоверны, или допускаютъ совершенно иное толкованіе. Аргументы Родбертуса имѣютъ особенно важное значеніе въ виду того, что онъ самъ былъ отличнымъ сельскимъ хозяиномъ, знавшимъ свое дѣло и теоретически и практически. Кому же, какъ не сельскимъ хозяевамъ, рѣшать вопросъ о томъ, уменьшается или увеличивается производительность земледѣльческаго труда, меньшую, равную или большую прибыль приносятъ послѣдовательныя

похоже на хозяйство западно-европейскихъ странъ. Жаль только, что различіе это было до сихъ поръ не въ пользу экономического положенія трудящагося населенія.

¹⁾ Zur Beleuchtung, S. 67.

затраты земледѣльческаго капитала? Мы видѣли уже, что нашъ авторъ самымъ рѣшительнымъ образомъ возсталъ противъ мнѣнія Рикардо. «Я хотѣлъ бы спросить послѣдователей Рикардо: съ какихъ же поръ началось это уменьшеніе производительности земледѣлія?—говоритъ онъ, приступая къ его опроверженію.—Я спрашиваю: явилась ли убывающая производительность этого рода труда вмѣстѣ съ самимъ земледѣліемъ? Но въ такомъ случаѣ, какой бы богачъ былъ въ состояніи купить себѣ достаточное количество хлѣба? Вѣдь исторія земледѣлія измѣряется уже тысячелѣтіями. Или, можетъ быть, производительность земледѣльческаго труда возрастала въ теченіе первыхъ двухъ-трехъ тысячъ лѣтъ его существованія, а затѣмъ вдругъ стала уменьшаться? Могутъ отвѣтить, конечно, что этотъ поворотный пунктъ наступилъ тогда, когда всѣ наиболѣе плодородные участки поступили уже въ обработку и возрастаніе народонаселенія вынудило обратиться къ менѣе благодарной почвѣ. Но я спрашиваю: какой же районъ имѣется въ виду при подобномъ отвѣтѣ? Не видимъ ли мы, что и до сихъ поръ польскій, русскій и американскій хлѣбъ оказываетъ давленіе на англійскій, а слѣдовательно, и на всѣ другіе хлѣбные рынки? Въ Украинѣ и придунайскихъ странахъ земледѣльческая химія открыла почву, съ плодородіемъ которой не можетъ соперничать ни одинъ участокъ въ Ломбардіи, Кентѣ и Бельгіи; а между тѣмъ эта почва до сихъ поръ остается необработанной. Дайте лишь упрочиться въ этихъ странахъ свободному правовому порядку,—и ихъ производство окажетъ новое давленіе на хлѣбную торговлю Европы. Но хотя такого рода воздѣйствія постоянно имѣютъ—и долго еще будутъ имѣть—мѣсто, у насъ повсюду обрабатывается гораздо менѣе плодородная почва. Отсюда слѣдуетъ, что, несмотря на обработку этой худшей почвы, у насъ не наступило еще время уменьшенія производительности земледѣльческаго труда».

Уже эти общія соображенія значительно подрываютъ вѣроятность вышеприведеннаго мнѣнія Мальтуса и Рикардо. Но Родбертусъ намѣренно предоставляетъ своимъ противникамъ наиболее выгодную позицію. Онъ ограничиваетъ свое изслѣдованіе лишь западно-европейскими странами и рассматриваетъ притомъ исторію земледѣлія въ этихъ странахъ лишь за послѣднее столѣтіе. Онъ устраняетъ также вопросъ о воздѣйствіи на европейскіе рынки хлѣбной производительности другихъ странъ свѣта. Онъ спрашиваетъ лишь: «правда ли, что въ западныхъ странахъ Европы въ теченіе послѣдняго столѣтія производительность земледѣльческаго труда уменьшилась, стоимость его продуктовъ возрасла, въ обработку поступали все менѣе плодородныя земли и послѣдующія затраты капитала на данномъ участкѣ приносили меньшій доходъ?» Далѣе, «правда ли, что въ условіяхъ западно-европейскаго земледѣлія лежатъ причины, благодаря которымъ производительность его должна уменьшаться въ

будущемъ?» Родбертусъ думаетъ, что онъ имѣеть право отвѣтить на эти вопросы отрицательно. Противъ ученія Мальтуса и Рикардо онъ выставляетъ, съ своей стороны, слѣдующія три положенія:

1) Въ западной Европѣ—этой обработаннѣйшей части свѣта—до самаго послѣдняго времени такъ же часто совершался переходъ къ болѣе плодороднымъ, какъ и къ менѣе плодороднымъ участкамъ. То же должно имѣть мѣсто и въ будущемъ.

2) Сказанное относится и къ послѣдовательнымъ затратамъ земледѣльческаго капитала. Послѣдующія затраты не всегда были и будутъ менѣе производительны, чѣмъ предшествующія.

3) Наконецъ, худшіе участки могутъ приносить поземельную ренту и помимо возрастанія стоимости земледѣльческихъ продуктовъ.

Приступая къ доказательству перваго изъ этихъ положеній, Родбертусъ замѣчаетъ, что Рикардо составилъ себѣ довольно странное понятіе объ исторіи *землевладѣнія*. По мнѣнію англійскаго экономиста, въ частную собственность переходятъ первоначально лишь самыя плодородныя участки, менѣе же благодарная почва остается совершенно свободной, и занятіе ея предоставляется доброй волѣ гражданъ. Но «гораздо вѣроятнѣе, напротивъ, что вся обитаемая осѣдлымъ народомъ территория состоитъ въ собственности—частной или общинной,—такъ что даже самыя бесплодныя участки не подлежатъ свободному занятію. Съ незапамятныхъ временъ вся земля составляетъ предметъ собственности, лежащія у городскихъ воротъ огороды такъ же точно, какъ и болота, которыхъ не касалась еще нога человѣка» ¹⁾. Необработанная почва лежитъ рядомъ съ обработанной въ различныхъ хозяйственныхъ единицахъ, и количество ея оказываетъ рѣшительное вліяніе на существующую въ странѣ систему сельскаго хозяйства. Необработанная почва служитъ выгономъ или пастбищемъ для скота, а извѣстно, какъ связано скотоводство съ земледѣліемъ въ собственномъ смыслѣ этого слова. Она входитъ, такимъ образомъ, необходимою составною частью въ каждую хозяйственную единицу; при этомъ необработанные участки далеко не всегда бываютъ наименѣе плодородными. Очень часто, по причинамъ какъ хозяйственнаго, такъ и чисто физическаго свойства, обработка положительно не можетъ начаться съ наиболѣе плодородныхъ участковъ. Такъ, напримѣръ, высота уровня воды въ данной мѣстности имѣеть иногда рѣшающее вліяніе на судьбу различныхъ участковъ. «Извѣстно,—говоритъ Родбертусъ,—что уровень воды во всѣхъ нашихъ большихъ рѣкахъ и озерахъ понизился за послѣднее столѣтіе на нѣсколько футовъ. И это явленіе вовсе не ново, хотя только за послѣднее время оказалось возможнымъ выразить его въ числахъ. Хроника XII столѣтія доказываетъ, что въ то время море еще

¹⁾ Zur Beleuchtung, S. 169.

покрывало многія мѣстности, которыя представляютъ собою нынѣ плодороднѣйшіе участки. То же повторяется во всей Западной Европѣ». Конечно, участки, отвоеванные такимъ образомъ у моря, сами по себѣ имѣютъ ничтожное значеніе. Но пониженіе уровня воды ведетъ къ осушенію почвы во всемъ бассейнѣ данной рѣки, а это въ свою очередь увеличиваетъ ея плодородіе. «Сырость есть величайшій врагъ полезной растительности». Поэтому «каждый футъ, на который понижается уровень воды въ нашихъ большихъ рѣкахъ, оказываетъ благотвѣльнѣйшее вліяніе на цѣлыя тысячи моргеновъ, увеличиваетъ ихъ плодородіе или даже впервые дѣлаетъ ихъ годными для земледѣлія».

Осушенная, такимъ образомъ, почва оказывается часто въ высшей степени плодородной благодаря изобилію находящихся въ ней растительныхъ остатковъ. Многія плодороднѣйшія земли сѣверной Германіи являются, по словамъ Родбертуса, такимъ «подаркомъ природы», полученнымъ помимо какой бы то ни было затраты капитала. Нашъ авторъ приводитъ въ примѣръ свое собственное имѣніе, въ которомъ «въ теченіе послѣднихъ 50 лѣтъ (писано въ концѣ 50-хъ годовъ) площадь обрабатываемой земли увеличилась болѣе чѣмъ на тысячу плодороднѣйшихъ моргеновъ» единственно благодаря естественному уменьшенію сырости почвы. «Законы, на которыхъ основывается это явленіе, имѣютъ общее значеніе», поэтому и самое явленіе не ограничивается предѣлами одной Германіи. Точно такой примѣръ представляетъ намъ Англія. Съ другой стороны, несомнѣнно, что это пониженіе уровня воды не остановилось еще и въ настоящее время. Благодаря ему и до сихъ поръ еще частью осушается страдавшая прежде отъ сырости почва, частью же «дарятся намъ новые, болѣе плодородные участки». Въ Европѣ и до сихъ поръ еще находятся сотни тысячъ моргеновъ, обработка которыхъ станетъ возможной лишь въ будущемъ, и не потому, что нынѣшнія цѣны на хлѣбъ дѣлаютъ ее невыгодной, какъ это думаютъ послѣдователи Рикардо, а потому, что ей препятствуютъ чисто физическія условія. Только «незамѣтный, но всесильный ходъ развѣтія въ природѣ» устранить эти препятствія и дать—и притомъ совершенно даромъ—возможность воспользоваться производительными свойствами этихъ участковъ.

Но это не все. Существуетъ много хозяйственныхъ условій, препятствующихъ обработкѣ наиболѣе плодородной почвы. «Взглянувши на любую деревню, нетрудно убѣдиться,—говоритъ Родбертусъ,—что въ обработку поступаютъ прежде всего ближайшіе къ ней участки. Но всегда ли располагались первыя поселенія въ плодороднѣйшей части принадлежащей имъ земли?» На этотъ вопросъ нельзя отвѣтить иначе какъ отрицательно. Мѣста для поселеній выбирались на основаніи множества соображеній, часто не имѣющихъ ничего общаго съ сельскимъ хозяйствомъ. Близость къ деревнѣ наиболѣе плодородныхъ участковъ является дѣломъ

случая. Но разъ деревня располагалась далеко отъ нихъ, то обработка ихъ становилась почти невозможной, и они играли лишь второстепенную роль выгоновъ и пастбищъ. Тюненъ показалъ, что доходность земель уменьшается въ зависимости разстоянія ихъ отъ хозяйственнаго центра. На это могутъ возразить, пожалуй, что если обработка наиболѣе плодородныхъ участковъ оказывалась невыгодной для даннаго хозяйственнаго центра, то ничто не мѣшало возникновенію новыхъ центровъ, расположенныхъ именно среди этихъ плодородныхъ земель. Но, во-первыхъ, извѣстно, что поземельная собственность въ Западной Европѣ сравнительно недавно освободилась отъ оковъ феодальнаго права, мѣшавшаго свободному переходу ея изъ однихъ рукъ въ другія. Поэтому часто владѣлецъ не могъ передать малополезныхъ для него участковъ въ другія руки, между тѣмъ какъ у него не было достаточно капитала для заведенія новыхъ хуторовъ въ отдаленныхъ частяхъ имѣнія. Кредитныя же учрежденія и до сихъ поръ далеко не всегда приходятъ на помощь сельскимъ хозяевамъ. Кромѣ того, при господствѣ трехпольной системы, участки эти оказывались необходимыми въ качествѣ пастбищъ и выгоновъ для скота; и пока общее развитіе экономическихъ отношеній не привело къ плодопереѣвному хозяйству, участки эти *должны* были оставаться необработанными.

«Такимъ образомъ, естественныя и хозяйственныя условія мѣшали и до сихъ поръ мѣшаютъ во всѣхъ странахъ Европы воздѣлыванію участковъ, отличающихся гораздо большимъ плодородіемъ, чѣмъ земли, находящіяся нынѣ въ обработкѣ. Въ нашемъ отечествѣ, напримѣръ,—прибавляетъ Родбертусъ,—нельзя еще и предвидѣть, когда исчезнутъ всѣ вышеуказанныя препятствія и сила человѣка побѣдитъ природу, а разумъ исправитъ исторію».

Но предположимъ, что наступило, наконецъ, такое время, когда не остается уже необработанныхъ плодородныхъ участковъ. Тогда всякое добавочное количество земледѣльческихъ продуктовъ можетъ быть получено лишь путемъ затраты новаго капитала на обработанной уже почвѣ. Мы знаемъ уже, что—въ противность Мальтусу и Рикардо—нашъ авторъ убѣжденъ, что эти новыя затраты будутъ столь же производительны, какъ и предшествующія. «Я думаю,—говоритъ онъ,—что въ общемъ плодородіе почвы увеличивается подъ влияніемъ земледѣлія, такъ что участки четвертаго класса сравниваются съ участками третьяго класса, эти послѣдніе возвышаются по своему плодородію на степень участковъ второго класса и т. д., и т. д.».

Мы видѣли уже выше, что плодородіе почвы возрастаетъ часто подъ влияніемъ чисто физическихъ условій. «Еще чаще оно увеличивается вслѣдствіе новыхъ затратъ капитала». Такъ, напримѣръ, дренажъ оказываетъ часто такое благодѣтельное вліяніе на плодородіе почвы, что,

помимо всякаго возвышенія цѣнъ земледѣльческихъ продуктовъ, приносимый ею доходъ далеко превышаетъ затраченный на ея осушеніе капиталъ. Осушеніе почвы путемъ дренажа могло бы явиться, по словамъ Родбертуса, «главнымъ рычагомъ сельско-хозяйственнаго прогресса въ низменныхъ странахъ европейскаго континента, слѣдовательно, по всей почти Германіи». Но для приложенія этого рычага недостаетъ въ настоящее время главной точки опоры—карты, которая указывала бы высоту уровня воды въ различныхъ мѣстностяхъ данной страны. Такимъ образомъ, это улучшение и связанное съ нимъ возрастаніе плодородія почвы являются еще дѣломъ болѣе или менѣе далекаго будущаго. «Но я долженъ,—прибавляетъ Родбертусъ,—обратить вниманіе читателей еще на одно обстоятельство, которое гораздо медленнѣе, но зато въ несравненно болѣе обширныхъ размѣрахъ превращаетъ худшіе участки въ лучшіе. Оно заключается просто въ продолжительной обработкѣ даннаго участка, конечно, по разумной системѣ, но безъ всякихъ экстраординарныхъ затратъ капитала». Первымъ условіемъ правильнаго веденія сельскаго хозяйства является, какъ извѣстно, поддержаніе надлежащаго соотношенія между количествомъ веществъ, *взятыхъ* изъ почвы въ видѣ хлѣба, и количествомъ веществъ, *возвращенныхъ* ей въ видѣ удобрения. Каждая сельско-хозяйственная система достигаетъ этого равновѣсія по-своему, и несомнѣнно, что любая система, будучи приложена разумнымъ образомъ, можетъ не только поддержать плодородіе почвы на данномъ уровнѣ, но и увеличить его,—«другими словами, изъ худшихъ участковъ сдѣлать лучшіе». Такое возрастаніе плодородія почвы облегчаетъ переходъ къ болѣе интенсивному хозяйству, значительно увеличивающему площадь засѣваемыхъ хлѣбомъ земель въ каждое данное время. Если при трехпольной системѣ подъ посѣвъ хлѣба идетъ только третья часть принадлежащей мѣтнью земли, то плодоперемѣнная система допускаетъ засѣваніе двухъ третей, т. е. вдвое большаго количества земли. Такимъ образомъ, при переходѣ къ болѣе интенсивному хозяйству, площадь обрабатываемыхъ земель возрастаетъ, хотя число принадлежащихъ каждому хозяину моргеновъ и остается неизмѣннымъ. «Этотъ процессъ перехода отъ экстенсивной къ интенсивной культурѣ еще очень далекъ отъ своего окончанія даже въ Западной Европѣ. Въ этой обработаннѣйшей половинѣ обработаннѣйшей части свѣта только небольшая часть земель воздѣлывается по плодоперемѣнной системѣ. Уже этого одного факта достаточно, чтобы опровергнуть мнѣніе Рязардо».

Родбертусъ не думаетъ, разумѣется, что плодородіе почвы можетъ возрастать до безконечности. «Очень возможно,—говоритъ онъ,—что плодородіе лучшихъ нашихъ земель можетъ быть только удвоено; но гораздо вѣроятнѣе, что всѣ худшія земли могутъ дойти до такой же степени плодородія, на которой стоятъ теперь самые лучшіе участки. Въ теченіе

столѣтій, которыя пройдутъ до тѣхъ поръ, мы можемъ не бояться грозныхъ пророчествъ Рикардо. А когда этотъ пунктъ будетъ достигнутъ, откроется новый исходъ. Вѣдь рѣчь идетъ о добываніи питательныхъ веществъ вообще, а не о добываніи того или другого *вида* этихъ веществъ. И та же самая почва, будучи засѣяна какимъ-нибудь новымъ питательнымъ растеніемъ, можетъ дать гораздо большее количество пищи, чѣмъ оно давало прежде. Съ другой стороны, столь же трудно доказать способность человѣческаго рода къ безконечному размноженію, какъ и способность земледѣлія къ безконечному усовершенствованію.

Если бы Рикардо имѣлъ въ виду возможность обработки различныхъ участковъ по различнымъ системамъ, если бы онъ принялъ въ соображеніе, что экстенсивная культура требуетъ меньшихъ затратъ, чѣмъ интенсивная, то онъ не сказалъ бы, что обработка худшихъ участковъ возможна лишь при возвышеніи хлѣбныхъ цѣнъ. Доходъ, приносимый менѣе плодородными участками, можетъ не покрывать издержекъ, требуемыхъ *плодоперемѣнной* системой, но обработка тѣхъ же участковъ по *трехпольной* системѣ можетъ, по мнѣнію Родбертуса, приносить не только обычную прибыль на капиталъ, но даже и поземельную ренту. Плохой участокъ будетъ, конечно, родить меньше хлѣба, чѣмъ хорошій. Но такъ какъ обработка перваго по трехпольной системѣ требуетъ менѣе труда, чѣмъ обработка втораго по *плодоперемѣнной*, то издержки производства могутъ быть одинаковыми въ обоихъ случаяхъ. Лучшій участокъ родитъ, положимъ, 40 бушелей хлѣба, худшій только 20; но если на обработку лучшаго участка, нужно 80 дней труда, между тѣмъ какъ обработка плохого по болѣе дешевой системѣ требуетъ лишь 20 дней труда, то каждый бушель хлѣба будетъ стоить двухъ дней труда, независимо отъ того, съ какого участка онъ полученъ.

Чтобы воспользоваться закономъ относительной выгодности различныхъ сельско-хозяйственныхъ системъ, нужно, конечно, много знаній, но всегда имѣющихся даже у западно-европейскихъ хозяевъ. Несомнѣнно также, что земледѣліе до сихъ поръ еще не пользовалось услугами естествознанія въ той же мѣрѣ, въ какой пользуется ими фабричное производство. Кромѣ того, существуетъ много другихъ препятствій, мѣшающихъ прогрессу земледѣлія и рациональной обработкѣ участковъ различнаго плодородія. «Но всѣ эти препятствія устраняются съ развитіемъ общества и не могутъ поэтому имѣть тѣхъ послѣдствій, которыя выводятся изъ нихъ системою Рикардо».

X.

Ученіе о постоянномъ уменьшеніи производительности земледѣльческаго труда основывалось, какъ извѣстно, на томъ будто бы несомнѣнномъ фактѣ, что хлѣбныя цѣны повышаются всегда съ возрастаніемъ на-

Бельтовъ. Т. I. Изд. 3

родонаселенія. Сторонники этого ученія указывали также на то обстоятельство, что въ каждое данное время хлѣбныя цѣны выше въ густонаселенныхъ, чѣмъ въ малонаселенныхъ странахъ. Именно эти аргументы имѣли въ виду Родбертусъ, утверждая, что «немногія статистическія данныя, говорящія, повидимому, въ пользу теоріи Рикардо, или совсѣмъ недостоверны, или допускаютъ совершенно иное истолкованіе». Нашъ авторъ прежде всего не соглашается съ тѣмъ, что хлѣбныя цѣны всегда повышаются съ ростомъ родонаселенія. Онъ ссылается на таблицу фонъ-Гюлиха, показывающую состояніе хлѣбныхъ цѣнъ на лондонскомъ рынкѣ за огромный періодъ времени отъ 1202 по 1826 годъ. Изъ этой таблицы видно, что въ XIII и XIV столѣтіяхъ цѣны на пшеницу стояли значительно выше, чѣмъ въ XV и въ первой половинѣ XIV вѣка. Съ 1202 года замѣчается постоянное пониженіе цѣнъ на пшеницу, продолжающееся до 1560 года включительно. Во второй половинѣ XVI вѣка начинается оказывать свое вліяніе приливъ мексиканскаго серебра, и цѣны на пшеницу испытываютъ огромное повышеніе, которое продолжается до начала XVIII столѣтія. Но съ 1701 года цѣна ея снова понижается и стоитъ сравнительно низко до 1770 года, съ котораго начинается новое повышеніе. Въ 1809 года повышеніе прекращается, и цѣны падаютъ вплоть до 1826 года. «Такимъ образомъ,—замѣчаетъ Родбертусъ,—мы не видимъ «постояннаго повышенія» цѣны пшеницы на рынкѣ Лондона, этого всегда растущаго всемірнаго города. Мы видимъ, напротивъ, цѣлый рядъ колебаній, вполне соответствующихъ колебаніямъ континентальныхъ цѣнъ. И въ Англіи и на континентѣ цѣны стоятъ гораздо выше въ семнадцатомъ, чѣмъ въ восемнадцатомъ вѣкѣ; въ концѣ восемнадцатаго вѣка онѣ снова повышаются до перваго десятилѣтія девятнадцатаго вѣка включительно». Затѣмъ статистика указываетъ на новое пониженіе. Изъ изслѣдованій Дитерици видно, что цѣна пшеницы на берлинскомъ рынкѣ была значительно выше въ періодъ времени отъ 1791 по 1815, чѣмъ съ 1816 по 1840 годъ. Таблица фонъ-Гюлиха также показываетъ, что съ 1809 года происходитъ общее пониженіе цѣны пшеницы. Только въ тридцатыхъ годахъ, вслѣдствіе цѣлаго ряда неурожаевъ въ Англіи, хлѣбныя цѣны снова возвышаются, причемъ возвышеніе это продолжается въ Германіи и въ сороковыхъ годахъ благодаря отмініи англійскихъ хлѣбныхъ законовъ. Само собою понятно, что свобода хлѣбной торговли оказала обратное этому вліяніе на англійскій рынокъ.

Если мы сопоставимъ это движеніе хлѣбныхъ цѣнъ съ движеніемъ родонаселенія въ различныхъ странахъ, то станетъ ясно, что первое не имѣетъ никакой связи съ послѣднимъ. Возрастаніе родонаселенія не только не всегда сопровождается вздорожаніемъ хлѣба, но, напротивъ, часто случается, что хлѣбныя цѣны болѣе всего падаютъ именно въ то время, когда населеніе растетъ всего быстрѣе. Правда, сколько-нибудь

точной статистики европейскаго населенія за предшествующія столѣтія не существуетъ. Но и общія историческія соображенія заставляютъ признать, что въ XIII и XIV столѣтіяхъ европейское населеніе увеличилось въ весьма сильной прогрессіи. Это подтверждается соответствующимъ названной эпохѣ развитіемъ и процвѣтаніемъ западно-европейскихъ—а въ томъ числѣ и англійскихъ—городовъ. Однако, мы видѣли уже, что лондонскія цѣны на хлѣбъ именно въ теченіе этого періода испытываютъ весьма значительное пониженіе. Съ другой стороны, хлѣбныя цѣны значительно растутъ въ теченіе всего XVII вѣка, когда—«по общему признанію историковъ»—народонаселеніе Англіи не только не увеличивалось, но даже уменьшалось. Наоборотъ, населеніе ея увеличивается въ XVIII столѣтіи, между тѣмъ какъ цѣны на хлѣбъ падаютъ до 1770 года включительно, причѣмъ пониженіе ихъ достигаетъ болѣе чѣмъ 30%. Дальнѣйшее сравненіе хлѣбныхъ цѣнъ съ движеніемъ народонаселенія показываетъ, что и цѣны эти росли всего сильнѣе именно въ то время, когда населеніе возрастало всего медленнѣе, и падали въ періоды наиболѣе быстрого его увеличенія. Такъ напримѣръ, съ 1817 по 1843 годъ населеніе Пруссіи возрасло на 50%. По теоріи Рикардо, такое увеличеніе народонаселенія должно было бы вызвать значительное вздорожаніе хлѣба. Исторія показываетъ, однако, совершенно противное. Въ тотъ самый періодъ, когда населеніе Пруссіи возрасло на 50%, хлѣбныя цѣны на ея рынкѣ понизились до 30%. А между тѣмъ за все это время Пруссія не только не ввозила иностраннаго хлѣба, но продолжала увеличивать свой вывозъ.

При всѣхъ этихъ сопоставленіяхъ хлѣбныхъ цѣнъ съ движеніемъ народонаселенія нужно, кромѣ того, имѣть въ виду, что стоимость драгоцѣнныхъ металловъ въ свою очередь подвергалась колебаніямъ. Рикардо признавалъ, что открытіе американскихъ рудниковъ причинило внезапное паденіе стоимости драгоцѣнныхъ металловъ въ XVI вѣкѣ; но онъ полагалъ, что вліяніе этого открытія давно уже прекратилось. Родбертусъ оспариваетъ мнѣніе Рикардо, указывая на то обстоятельство, что въ теченіе XVIII столѣтія добываніе драгоцѣнныхъ металловъ въ Мексикѣ увеличилось почти въ пять разъ. Такое возрастаніе притока драгоцѣнныхъ металловъ должно было, по его мнѣнію, вызвать возвышеніе денежной стоимости всѣхъ продуктовъ, въ томъ числѣ и хлѣба—совершенно такъ же, какъ уменьшеніе добыванія драгоцѣнныхъ металловъ, обнаружившееся съ 1809 года, должно было понизить хлѣбныя цѣны. «Именно въ виду такихъ колебаній въ стоимости самихъ денегъ,—прибавляетъ Родбертусъ,—было бы весьма рискованно дѣлать заключенія о производительности земледѣльческаго труда, основываясь лишь на денежной стоимости хлѣба».

XI.

Мы видимъ теперь, какое значеніе имѣютъ историко-статистическія данныя, подтверждающія будто бы ученіе объ уменьшеніи производительности земледѣльческаго труда въ развивающихся обществахъ. Даныя эти ни въ какомъ случаѣ не доказываютъ положенія, въ защиту котораго ихъ приводятъ. Но есть одинъ несомнѣнный фактъ, объяснимый, повидимому, лишь съ точки зрѣнія ученія Мальтуса-Рикардо. Сущность его заключается въ томъ, что въ каждое данное время въ богатыхъ и густонаселенныхъ странахъ хлѣбныя цѣны стоятъ выше, чѣмъ въ странахъ бѣдныхъ и малонаселенныхъ. Родбертусъ не отрицаетъ этого явленія, но находитъ для него иное объясненіе. Если бы справедливо было ученіе Мальтуса и Рикардо, рассуждаетъ онъ, то въ каждомъ развивающемся обществѣ сельское населеніе должно было бы возрастать относительно быстрѣе городского. Такъ какъ, по ученію англійскихъ экономистовъ, производство добавочнаго количества хлѣба требуетъ все большаго труда, то естественно было бы ожидать, что все большая и большая часть прироста населенія будетъ обращаться къ земледѣлію. Въ дѣйствительности же мы видимъ совершенно обратное явленіе. Въ прогрессирующихъ обществахъ городское населеніе увеличивается обыкновенно быстрѣе сельскаго. Это можетъ быть объяснено лишь тѣмъ, что, вопреки мнѣнію Мальтуса и Рикардо, производительность земледѣльческаго труда возрастаетъ и потому относительно большая часть населенія прогрессирующихъ странъ получаетъ возможность взяться за ремесленный и фабричный трудъ. И если, несмотря на возрастаніе производительности земледѣльческаго труда, хлѣбныя цѣны все-таки возвышаются въ такихъ странахъ, то это явленіе можетъ быть объяснено множествомъ другихъ причинъ, не имѣющихъ прямого отношенія къ земледѣлію. Такъ, напримѣръ, несомнѣнно, что до нѣкоторой степени оно обусловливается упомянутымъ уже болѣе быстрымъ увеличеніемъ городского населенія сравнительно съ сельскимъ. Для пропитанія городского населенія хлѣбъ доставляется изъ деревень, и эта доставка значительно возвышаетъ его стоимость. По изслѣдованіямъ Тюнена оказывается, что если бы въ деревнѣ, отстоящей отъ города на 50 миль, шеффель ржи не стоилъ ничего, то при доставкѣ его на лошадахъ и по обыкновеннымъ нѣмецкимъ дорогамъ—стоилъ бы въ городѣ не менѣе 1½ талера. Улучшеніе путей сообщенія уменьшаетъ, конечно, вліяніе этого фактора, не уничтожая, однако, его совершенно. Но зато, чѣмъ дешевле обходится доставка хлѣба съ экономическимъ прогрессомъ страны, тѣмъ сильнѣе сказывается, по мнѣнію Родбертуса, вліяніе на хлѣбныя цѣны новаго фактора, именно денежнаго хозяйства. Извѣстно, что съ замѣной натурального хозяйства денежнымъ, «нату-

ральная» заработная плата уступает мѣсто денежной. Не только рабочіе, но даже прислуга, вмѣсто такъ называемаго «хозяйскаго содержанія», получаютъ соответственно повышенную денежную плату и сами уже заботятся объ удовлетвореніи своихъ потребностей. Рабочіе являются такимъ образомъ самостоятельными покупателями на рынкѣ и въ громадной степени увеличиваютъ спросъ на предметы первой потребности. Конечно, предложеніе этихъ предметовъ также возрастаетъ, потому что все, составлявшее прежде натуральную плату рабочаго, превращается теперь въ товаръ и вывозится на рынокъ. Но, по мнѣнію Родбертуса, это возрастаніе предложенія «ни въ какомъ случаѣ не можетъ уравновѣсить увеличенія спроса», а потому цѣны названныхъ предметовъ и не могутъ остаться на томъ же уровнѣ, на какомъ стояли онѣ въ эпоху натурального хозяйства. «Исходя изъ многихъ тысячъ отдѣльныхъ личностей, направляясь на необходимѣйшіе для жизни предметы и направляясь именно въ то время, когда потребность въ нихъ даетъ очень сильно себя чувствовать, спросъ превышаетъ увеличившееся предложеніе. Это вліяніе спроса, раздробившагося между многими тысячами лицъ, замѣтно отчасти и на существующихъ въ розничной продажѣ цѣнахъ. Въ особенности же оно замѣтно при неурожаяхъ. Именно благодаря этому вліянію, даже при одинаковомъ отношеніи наличнаго количества хлѣба къ числу потребителей, цѣна его стоитъ гораздо выше въ тѣхъ странахъ, гдѣ натуральная плата уступила мѣсто денежной».

Нашъ авторъ сознается, однако, что вышеприведенные факторы не выясняютъ спорнаго вопроса во всей его полнотѣ. Такъ, напримѣръ, Англія населена вдвое гуще, чѣмъ Германія. «Я утверждаю, — говоритъ Родбертусъ, — что производство даннаго количества хлѣба требуетъ, по крайней мѣрѣ, на 50% менѣе труда въ Англіи, чѣмъ въ Германіи, а между тѣмъ, даже послѣ отиѣны хлѣбныхъ законовъ, англійскія цѣны на хлѣбъ на 50% выше нѣмецкихъ. Такая значительная разница не можетъ быть объяснена вышеуказанными причинами». Но самъ же Рикардо даетъ новое оружіе въ руки своего противника. Родбертусъ повторяетъ мысль Рикардо о вліяніи международной торговли на количество денегъ въ различныхъ странахъ и утверждаетъ, что хлѣбныя цѣны должны быть выше въ богатыхъ странахъ, вслѣдствіе присутствія въ нихъ большаго количества денегъ. Богатство страны обуславливается производительностью національнаго труда, — говоритъ онъ. — Большая же производительность національнаго труда даетъ странѣ значительныя преимущества на всемірномъ рынкѣ. Она ставится въ положеніе производителя, работающаго при исключительно благопріятныхъ условіяхъ, и получаетъ за свои продукты цѣны, значительно превышающія издержки ихъ производства. «Всемірный рынокъ замѣняетъ, такимъ образомъ,

для нея богатые рудники, изъ которыхъ она съ малымъ трудомъ, — необходимымъ для производства вывозимыхъ ею продуктовъ, — получаетъ большое количество золота и серебра, платимаго ей за ея товары». Благодаря этому и на внутреннемъ рынкѣ ея является большое количество драгоцѣнныхъ металловъ, такъ что стоимость ихъ понижается или, другими словами, возрастаютъ цѣны всѣхъ другихъ товаровъ. Но это возрастаніе денежныхъ цѣнъ товаровъ будетъ замѣтно лишь по отношенію къ нѣкоторымъ изъ нихъ. Здѣсь повторится явленіе, котораго мы касались уже выше, говоря о вліяніи американскихъ рудниковъ на европейскія цѣны. Какъ помнитъ читатель, мы пришли къ заключенію, что если бы производительность европейскаго труда осталась неизмѣнной, то денежные цѣны всѣхъ товаровъ возвысились бы, благодаря уменьшенію стоимости драгоцѣнныхъ металловъ. Но такъ какъ рядомъ съ уменьшеніемъ ихъ стоимости шло возрастаніе производительности труда во всѣхъ его отрасляхъ, то дѣло получило гораздо болѣе запутанный характеръ.

Возвысились денежные цѣны лишь тѣхъ товаровъ, производство которыхъ удешевилось въ меньшей степени, чѣмъ добываніе драгоцѣнныхъ металловъ. Такими товарами были сырые земледѣльческіе продукты. Что же касается другихъ продуктовъ европейскихъ странъ, то увеличеніе производительности соотвѣтствующихъ имъ отраслей труда уравновѣсило или даже перевѣсило вліяніе усилившагося притока драгоцѣнныхъ металловъ, и цѣны ихъ не возрасли или даже упали. Такъ какъ большая производительность труда «замѣняетъ для передовой страны богатые рудники», то производство главныхъ предметовъ вывоза изъ страны можетъ быть разсматриваемо какъ добываніе драгоцѣнныхъ металловъ при исключительно благопріятныхъ условіяхъ. Болѣе сильный, сравнительно съ бѣдными странами, притокъ драгоцѣнныхъ металловъ возвыситъ въ передовой странѣ цѣны сырыхъ продуктовъ, но вліяніе его не будетъ достаточно сильно, чтобы вызвать вздорожаніе продуктовъ фабричныхъ. Несмотря на общее возвышеніе цѣнъ, продукты эти будутъ дешевле въ богатыхъ странахъ, чѣмъ въ бѣдныхъ, потому что увеличеніе производительности труда уравновѣситъ и перевѣситъ вліяніе усилившагося притока драгоцѣнныхъ металловъ.

Само собою понятно, что международная торговля повліяетъ въ обратномъ смыслѣ на бѣдныя, мало развитыя страны. На внутреннихъ рынкахъ этихъ странъ цѣны всѣхъ продуктовъ будутъ стремиться къ пониженію вслѣдствіе уменьшенія количества обращающихся въ нихъ драгоцѣнныхъ металловъ. Но это общее пониженіе цѣнъ будетъ въ особенности замѣтно на сырыхъ продуктахъ, потому что малая производительность фабричнаго труда въ этихъ странахъ будетъ стремиться возвысить цѣны фабричныхъ продуктовъ и тѣмъ уравновѣситъ вліяніе возвысившейся стоимости драгоцѣнныхъ металловъ.

«Я знаю,—говорить Родбертусъ, — что послѣдователи Рикардо говорятъ о возвышеніи хлѣбныхъ цѣнъ въ *густонаселенныхъ* странахъ, между тѣмъ какъ я объясняю это явленіе по отношенію къ *богатымъ* странамъ. Но болѣе населенныя страны являются обыкновенно и болѣе богатыми. Увеличеніе производительности національнаго труда есть результатъ умственного развитія. Творческая же сила челоѣческаго ума растетъ, повидимому, лишь благодаря соединенію и сближенію умовъ, подобно тому, какъ производительная сила индивидуумовъ увеличивается благодаря раздѣленію труда. По мнѣнію Рикардо, густота населенія возвышаетъ цѣны сѣстныхъ припасовъ вслѣдствіе уменьшенія производительности земледѣльческаго труда. На самомъ же дѣлѣ именно большое богатство густонаселенныхъ странъ причиняетъ возвышеніе цѣнъ тѣхъ продуктовъ, производство которыхъ удешевляется въ меньшей степени, чѣмъ производство продуктовъ, составляющихъ главную статью ихъ вывоза».

XII.

Если производительность земледѣльческаго труда не только не уменьшается, но даже возрастаетъ во всѣхъ прогрессирующихъ странахъ,—хотя и въ меньшей степени, чѣмъ производительность труда фабричнаго,—то экономическій пессимизмъ Мальтуса и Рикардо лишается всякаго основанія. Увеличеніе народонаселенія является, въ такомъ случаѣ, не бѣдствіемъ, котораго должны страшиться цивилизованные народы, а источникомъ общественнаго богатства и благосостоянія. Правда, до сихъ поръ было не такъ, но причина этого печальнаго явленія коренится не въ производствѣ, а въ распредѣленіи національнаго продукта. Въ этомъ, по мнѣнію Родбертуса, коренной «недостатокъ» современной общественной организаціи, въ устраненія этого «недостатка» состоитъ вся суть соціальнаго вопроса. Мы знаемъ уже, что съ самыхъ первыхъ шаговъ въ области самостоятельныхъ экономическихъ изслѣдованій Родбертусъ задался цѣлью «увеличить долю участія рабочаго класса въ національномъ доходѣ», и что всѣ научныя изслѣдованія его были лишь «необходимой теоретической основой» для достиженія этой цѣли. Посмотримъ же, какія «практическія предложенія» для рѣшенія этого вопроса имѣлъ въ виду авторъ «Соціальныхъ писемъ къ Кирхману».

Современная общественная организація казалась ему переходною ступенью отъ античнаго строя, гдѣ не только средства производства, но и сами производители были объектами частной собственности, къ тому будущему обществу, въ которомъ предметы потребленія будутъ подлежать частному присвоенію, въ размѣрѣ участія каждаго индивидуума въ національномъ производствѣ. Понятно, что «практическія предложенія» нашего автора должны были сообразоваться съ этимъ общимъ ходомъ истори-

ческаго развитія, съ этой смѣной «всемирно-историческихъ періодовъ». Вотъ почему онъ такъ недовѣрчиво относился къ «Эйзенахцамъ», не имѣвшимъ, разумѣется, въ виду никакого «будущаго періода». «Эйзенахъ глубоко комичен!»—воскликаетъ онъ въ одномъ изъ писемъ къ Р. Майеру. Такъ же мало удовлетворили его всевозможныя попытки примирить интересы труда и капитала на почвѣ «свободнаго договора», путемъ пресловутаго «участія рабочихъ въ прибыли предпріятій» или чего-либо подобнаго. «Стремиться рѣшить социальный вопросъ на почвѣ свободнаго договора — такое же нелѣпое намѣреніе, какъ если бы госпожа Исторія (Frau Historia) вздумала лечить бѣдствія рабства, оставаясь на почвѣ рабства» ¹⁾,—пишетъ онъ тому же Майеру. Даже Лассалевскій проектъ организациі производительныхъ рабочихъ товариществъ вызывалъ его недовѣріе, именно въ виду философско-историческихъ соображеній. «Ничто не убѣдитъ меня въ томъ, что производительныя ассоціациі лежатъ на пути будущаго національно-экономическаго развитія... Онѣ не могутъ явиться даже переходной ступенью къ болѣе широкой цѣли. Онѣ вернули бы насъ къ корпоративной собственности, которая въ тысячу разъ хуже современной частной собственности. Переходъ отъ частной къ государственной собственности не можетъ совершиться черезъ посредство собственности корпоративной; напротивъ, именно частная собственность есть переходная ступень отъ корпоративной къ государственной собственности» ²⁾. На основаніи всѣхъ этихъ соображеній Родбертусъ долженъ былъ искать такого пути для рѣшенія социальнаго вопроса, который, съ одной стороны, постепенно велъ бы общество къ «будущему всемирно-историческому періоду», но въ то же время не подалъ бы повода къ слишкомъ рѣзкому разрыву съ настоящимъ. Какъ «социально-консервативный» мыслитель, нашъ авторъ стремился, разумѣется, къ мирному рѣшенію социальнаго вопроса, потому что вопросъ этотъ «не можетъ быть рѣшенъ на улицѣ, посредствомъ стачекъ, баррикадъ или даже петроля». Задача людей, стремящихся къ рѣшенію социальнаго вопроса, заключается, по мнѣнію Родбертуса, въ томъ, чтобы найти и осуществить такія «экономическія учрежденія», которыя могли бы, путемъ мирнаго развитія, постепенно перевести общество изъ современнаго, основаннаго на частной собственности и уже отжившаго государственнаго порядка, въ вышій порядокъ, въ которомъ собственность являлась бы лишь въ видѣ дохода, пропорціональнаго труду». Эта, какъ онъ самъ сознавался, неудобнопроизносимая формулировка дополнялась еще однимъ, весьма существеннымъ требованіемъ.

Искомыя «экономическія учрежденія» должны были «вести къ ука-

¹⁾ Briefe und socialpol. Aufsätze, I B., S., 160.

²⁾ Ibid, S. 228.

занной цѣли и связать настоящее съ будущимъ путемъ системы наемнаго труда, не сокращая доходовъ собственниковъ, но въ то же время обезпечивая рабочимъ увеличеніе участія ихъ въ національномъ доходѣ ¹⁾).

Само собою разумѣется, что такія замысловатыя учрежденія не могли бы быть осуществлены иначе, какъ посредствомъ государственнаго вмѣшательства. Въ вопросѣ о государственномъ вмѣшательствѣ Родбертусъ совершенно охотился съ Лассалемъ и не менѣе его ненавидѣлъ «Nichtsals-Freihändler»'овъ. «Физиократическая система, отъ которой мы и теперь такъ страдаемъ, должна уступить мѣсто антропократіи. Народное хозяйство также должно войти въ сферу государственнаго управления», писалъ онъ въ статьѣ, носящей вполнѣ понятное названіе «Physiokratie und Anthropokratie», къ которому, по неизвѣстной причинѣ, былъ прибавленъ какой-то таинственный знакъ. Издатель «писемъ и статей» Родбертуса, Р. Майеръ, называетъ этотъ знакъ «масонскимъ» и предполагаетъ, что, украшая имъ статью, Родбертусъ хотѣлъ пригласить «свободныхъ каменщиковъ» къ постройкѣ зданія «будущаго». Эта частности имѣетъ, разумѣется, значеніе лишь въ качествѣ біографической подробности. Для насъ важно лишь содержаніе статьи, въ которой авторъ старается выяснить разницу между животнымъ организмомъ, съ одной стороны, и социальнымъ—съ другой. Между тѣмъ какъ «животные организмы свободны только по отношенію къ внѣшнему міру», социальный организмъ свободенъ еще и въ томъ смыслѣ, что составляющіе его «атомы» могутъ по произволу измѣнять свои взаимныя отношенія, а слѣдовательно и всю организацію общества.

... der Mensch
Vermag das Unmögliche;
Er unterscheidet,
Wählet und richtet,

говоритъ онъ словами Гете. Государство должно совершать всѣ признанныя необходимыми измѣненія и исполнять такимъ образомъ волю «социальныхъ атомовъ». Но между тѣмъ, какъ Лассаль полагалъ, что государство лишь тогда явится на помощь рабочему классу, когда онъ будетъ представлять собою сильную политическую партію, Родбертусъ считалъ политическую программу Лассала по меньшей мѣрѣ бесполезнымъ придаткомъ къ социальнымъ требованіямъ рабочихъ. Онъ думалъ, что политическая агитація только нарушитъ общественное спокойствіе, необходимое для рѣшенія социального вопроса. Кромѣ того, онъ опасался, что въ наше время, когда «чуть не самъ Лойола спекулируетъ на социальный вопросъ», политика даетъ возможность приобрести вліяніе надъ

1) Briefe und Aufsätze, I B., S. 318.

рабочимъ людямъ, интересующимся социальнымъ вопросомъ только «для политики», какъ выражался онъ, играя словами. Еще болѣе отрицательно относился онъ къ «католическимъ» и «протестантскимъ социалистамъ». «Я убѣжденъ, — писалъ онъ Р. Майеру, — что пока одни будутъ примѣшивать къ социальному вопросу свои религіозныя, а другія — политическія симпатіи, вопросъ этотъ рѣшенъ не будетъ». Не рассчитывая на политическую самостоятельность рабочаго класса, онъ всего ожидалъ отъ великодушія и генія какого-нибудь государственнаго человѣка. Откуда возьмется такой человѣкъ — онъ и самъ не зналъ хорошенько. Нѣкоторое время онъ думалъ, что такимъ благодѣтельнымъ геніемъ явится князь фонъ-Бисмаркъ, которымъ онъ такъ восхищался въ періодъ франко-прусской войны. Находчивые друзья нашего автора совѣтовали даже ему просить у «железнаго канцлера» аудіенціи для изложенія своихъ «практическихъ предложеній», но Родбертусъ былъ слишкомъ уменъ для того, чтобы рѣшиться на такую дѣтскую выходку. Онъ отвѣчаетъ, что въ четверть часа невозможно рѣшить социальный вопросъ, а по окончаніи аудіенціи Бисмаркъ, навѣрное, забудетъ и о социальномъ вопросѣ и о сдѣланныхъ ему «предложеніяхъ». Онъ уже началъ склоняться къ тому убѣжденію, что «Бисмаркъ такъ же ничтоженъ во внутренней, какъ великъ во внѣшней политикѣ» (письмо къ Р. Майеру 5 февраля 1873 г.). Это не помѣшало ему однако надѣяться на появленіе новаго Мессіа, а въ ожиданіи этого писать проекты и передавать ихъ на обсужденіе политико-экономическихъ конгрессовъ. Будучи убѣжденъ, что въ настоящее время «даже самые абстрактные вопросы экономіи понимаются рабочими лучше чѣмъ многими профессорами», онъ не переставалъ осаждать своими «практическими предложеніями» профессоровъ, принадлежавшихъ, по энергическому его выраженію, къ «Эйзенахскому болоту», и упорно отклонялся отъ всякой болѣе благодарной практической дѣятельности. Только незадолго до смерти онъ началъ останавливаться на мысли «выступить въ качествѣ социалистическаго депутата» въ рейхстагъ, но и эту миссію онъ понималъ довольно своеобразно. «Въ 1848 г. я много способствовалъ открытію для демократіи доступа въ салоны (Salonfähig zu machen), быть можетъ, удастся мнѣ это и съ социализмомъ». Неизвѣстно, чѣмъ кончилась бы эта попытка, открылъ ли бы Родбертусъ доступъ въ салоны социализму или социализмъ вывелъ бы его изъ «салоновъ» въ рабочія собранія; тяжелая болѣзнь помѣшала осуществленію этого новаго плана нашего автора. Больной, слабый и раздражительный, переѣзжалъ онъ изъ курорта въ курортъ и только урывками могъ обращаться къ своей любимой темѣ — социальному вопросу вообще и средствамъ его рѣшенія въ частности.

Посмотримъ же, въ чемъ состояли «практическія предложенія» Родбертуса. Мы знаемъ уже, какъ формулировалъ онъ свою задачу; взглянемъ

теперь на его решение. Все практические планы Родбертуса сводятся к законодательному регулированию заработной платы. Но под этим регулированием он понимал нечто гораздо более сложное, чем определение ее уровня на почве нынешнего денежного хозяйства. Предложенная им реформа затрагивала почти все сферы современной экономической жизни общества и требовала, поэтому, целого ряда предварительных работ и законодательных постановлений. Нужно заметить, что Родбертус выступил с изложением своих планов как раз в то время, когда между немецкими рабочими велась очень сильная агитация в пользу так называемого нормального рабочего дня, т. е. в пользу ограничения числа рабочих часов. Он воспользовался вызванным этой агитацией возбуждением общественного мнения, как удобным моментом для пропаганды своих воззрений. Простому ограничению числа рабочих часов он не придавал равно никакого значения. Он находил, что несправедливо устанавливать ту или другую норму рабочего дня или заработной платы, не обращая внимания на различие в прилежании и ловкости рабочих. Чтобы удовлетворить требованиям справедливости, нужно было бы, по его мнению, не только ограничить число рабочих часов, но и установить норму того, что может быть сделано в каждой отрасли производства «средним рабочим при обыкновенном прилежании и обыкновенной ловкости». Рабочий, сделавший больше чем требовалось бы этой законной нормой, получал бы большую заработную плату, и наоборот—сделавший меньше, получил бы плату лишь за неполный рабочий день. «Но этого мало,—прибавляет наш автор.—Предложенная мера ведет, собственно говоря, к установлению поштучной платы. Пока рабочая сила будет представлять собою товар и цена ее будет определяться конкуренцией, поштучная плата останется самым действительным средством эксплуатации работника». Поэтому «государство должно установить уровень заработной платы в каждой отрасли производства, подвергая его периодическим изменениям, сообразно возрастанию производительности национального труда».

Разъ ступивши на путь законодательного определения заработной платы, государство должно идти далее и постараться найти новый «масштаб стоимости». Это новое предложение Родбертуса тесно связано с учением его о мѣновой стоимости товаров, которого не позабыли еще наши читатели. Если мѣновая стоимость продукта определяется количеством труда, необходимого на его производство, то, определяя среднюю производительность национального труда в каждой его отрасли, мы определяем тем самым и стоимость продуктов. Зная, что «средний рабочий, при обыкновенном прилежании и обыкновенной ловкости», может сделать x продуктов данного рода в течение своего рабочего дня, мы скажем, что стоимость этих продуктов равна стоимости y

продуктовъ другого рода, явившихся въ результатѣ рабочаго дня въ другой отрасли производства. Если число x вдвое больше числа y , то стоимость каждаго отдѣльнаго продукта перваго рода будетъ вдвое меньше стоимости каждаго отдѣльнаго продукта втораго рода и т. д. Мы потому говоримъ о «дняхъ», а не о часахъ труда, что, по проекту Родбертуса, продолжительность рабочаго дня можетъ быть и неодинакова въ различныхъ отрасляхъ производства. Извѣстно, что интенсивность, а потому утомительность различныхъ родовъ труда далеко не одинакова. Необходимо, поэтому, поставить продолжительность труда въ соотвѣтствіе съ его интенсивностью и сдѣлать рабочій день короче въ болѣе утомительныхъ отрасляхъ производства. Для удобства пришлось бы раздѣлить рабочій день на нѣсколько, на примѣръ, на десять частей, которыя Родбертусъ называетъ часами, хотя, какъ мы видимъ, десятая часть рабочаго дня не всегда равнялось бы часу солнечнаго времени. Такъ какъ Родбертусъ находить необходимымъ оставить на время средства производства въ частной собственности, то изъ общей суммы національнаго продукта, стоимость котораго выражалась бы въ дняхъ и часахъ труда, рабочіе получали бы только нѣкоторую часть, положимъ, одну треть. Но эта часть оставалась бы постоянною, несмотря на возрастаніе производительности національнаго труда. Поэтому, если бы производительность національнаго труда удвоилась или утроилась, то въ распоряженіе рабочихъ поступало бы въ два или въ три раза большее количество предметовъ потребленія. «Желѣзный законъ» заработной платы былъ бы устраненъ, и рабочіе получили бы возможность пользоваться успѣхами общественной культуры и усовершенствованіемъ промышленной техники. Далѣе, опредѣливши такимъ образомъ постоянный уровень заработной платы, государство должно было бы выпустить въ обращеніе особые билеты, на которыхъ обозначались бы различныя количества рабочихъ дней и которые служили бы для расплаты предпринимателей съ рабочими. На первый разъ государство выдало бы предпринимателямъ въ кредитъ необходимое для нихъ количество билетовъ. Съ своей стороны, предприниматели вазвратили бы ему этотъ долгъ, такъ сказать, натурой, именно продуктами своего производства. Государство должно было бы выстроить особые магазины для склада полученныхъ такимъ образомъ продуктовъ и выдавать ихъ въ соотвѣтствующемъ количествѣ предъявителямъ новыхъ денегъ.

«Конечно, — замѣчаетъ Родбертусъ, — я очертилъ эти важнѣйшія мѣропріятія лишь самымъ бѣглымъ образомъ. Человѣкъ, не привыкшій разсуждать объ экономическихъ явленіяхъ, едва ли даже и пойметъ меня. Но и по отношенію къ специалистамъ я остаюсь еще въ долгу. Я долженъ еще обосновать все сказанное мною. Чтобы удовлетворить научнымъ требованіямъ, я долженъ былъ бы написать цѣлую книгу. Здѣсь же

миѣ нужно было только опредѣлить общую точку зрѣнія, бросить бѣглый взглядъ на тѣ трудности, которыя, подобно цѣлямъ огромныхъ горъ, выдѣляются на горизонтѣ соціального вопроса» ¹⁾).

Тѣмъ не менѣе нашъ авторъ убѣжденъ, что даже въ этой незаконченной формѣ проектъ его даетъ возможность судить о выгодахъ, связанныхъ съ его осуществленіемъ. Первою изъ нихъ былъ бы дешевый кредитъ для предпринимателей, который далъ бы имъ новое орудіе для борьбы на всемірномъ рынкѣ. Ужь это одно до такой степени облегчило бы обращеніе новыхъ «рабочихъ денегъ», что Родбертусъ задается даже вопросомъ, не окажутся ли излишними государственные магазины. «Можно ожидать,—говоритъ онъ,—что рабочія деньги сами по себѣ, помимо государственныхъ магазиновъ, будутъ преимущественно употребляться при расплатахъ предпринимателей съ рабочими. Государству оставалось бы, въ такомъ случаѣ, лишь основать конторы для размѣна металлическихъ денегъ на рабочія. Какой курсъ должны были бы имѣть при этомъ рабочія деньги—легко было бы опредѣлить, потому что тѣ же самые продукты, которые обмѣнивались бы на рабочія деньги, продавались бы въ то же время и за деньги металлические» ²⁾). Кроме того законодательное опредѣленіе заработной платы, какъ *постоянной части* національнаго продукта, избавило бы общество отъ потрясеній, причиняемыхъ торговыми кризисами: мы знаемъ уже, что, по теоріи Родбертуса, кризисы причиняются именно постояннымъ пониженіемъ заработной платы, какъ части продукта, и протекающимъ отсюда уменьшеніемъ покупательной силы рабочихъ. Устраняя причину, онъ былъ вправѣ ожидать и устранения ея слѣдствія. Наконецъ, еще одно немаловажное преимущество, а вмѣстѣ съ тѣмъ и условіе прочнаго осуществленія предлагаемаго плана заключается въ возможности замѣнить мало-по-малу металлические деньги «рабочими». Бумажныя деньги существуютъ и теперь, но обращеніе ихъ основывается, какъ извѣстно, на наличности извѣстнаго металлическаго фонда, поддерживающаго курсъ ихъ на надлежащей высотѣ. Введеніе же въ обращеніе «рабочихъ денегъ» сдѣлало бы, по мнѣнію Родбертуса, этотъ металлическій фондъ совершенно излишнимъ. «Въ обществѣ, въ которомъ стоимость продуктовъ опредѣлялась бы количествомъ труда, затраченнаго на ихъ производство, можно было бы создать новыя деньги,—гласитъ пятая «теорема» его сочиненія «Zur Erkenntniss unserer Staatwirthschaftlichen Zustände». «Деньги эти, съ одной стороны, были бы вполне удовлетворительны, какъ мѣрило цѣнъ и средство обращенія, съ другой стороны—онѣ не представляли бы собою вещественнаго предмета потребленія и не основывались бы, какъ нынѣшнія

¹⁾ Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft, S. 346.

²⁾ Zeitschrift etc., S. 343.

бумажныя деньги, на наличномъ металлическомъ фондѣ» (S. 135). Это требуетъ нѣкотораго поясненія.

Нашъ авторъ думаетъ, что деньги должны испытать на себѣ вліяніе того всеобщаго закона, по которому «всякое учрежденіе, въ своемъ историческомъ развитіи, постепенно пріобрѣтаетъ въ рукахъ людей значеніе, совершенно отличное отъ первоначальнаго. Соціальныя отношенія основываются на естественной необходимости и законахъ природы и лишь мало-по-малу, путемъ постепеннаго развитія, переходятъ въ область человѣческой свободы, гдѣ новый богъ исторіи, человѣкъ, беретъ ихъ усовершенствованіе въ свои руки» ¹⁾.

Функция денегъ выросла естественнымъ путемъ изъ раздѣленія труда и обмѣна его продуктовъ. Первоначально роль денегъ играли предметы, наиболѣе употребительные въ средѣ лицъ, ведущихъ мѣновую торговлю: мѣха, скоть и т. д. Мало-по-малу, когда съ развитіемъ земледѣлія усилилось рабство, роль денегъ стали играть драгоценныя металлы. Въ рабовладельческомъ обществѣ участниками обмѣна являлись, главнымъ образомъ, лица высшихъ сословій, насущныя потребности которыхъ удовлетворялись рабскимъ трудомъ. Вслѣдствіе этого на рынкѣ пріобрѣли особенное значеніе предметы роскоши, свидѣтельствующіе о могуществѣ и богатствѣ ихъ обладателей. Какъ красивые и рѣдкіе металлы, золото и серебро не замедлили, разумѣется, попасть въ число этихъ предметовъ. Дѣлимость же драгоценныхъ металловъ и способность ихъ противостоять разрушительному дѣйствію времени и атмосферныхъ вліяній—сдѣлали ихъ еще болѣе пригодными для роли денегъ. Являясь товаромъ, и, притомъ, товаромъ, на который всегда существовалъ сильный спросъ, т. е. вступая въ обмѣнъ чаще другихъ продуктовъ, драгоценныя металлы служили *мѣриломъ стоимости* этихъ продуктовъ. Два, три или нѣсколько продуктовъ, вымѣнивавшихся на одинаковое количество золота и серебра, имѣли, очевидно, равную стоимость. Кроме того, представляя собою продуктъ труда, драгоценныя металлы могли попасть въ руки лишь тѣхъ лицъ, которыя принимали посредственное или непосредственное участіе въ производствѣ. Въ самомъ дѣлѣ, помимо воровства, грабежа и т. п. случаевъ, насъ въ настоящее время не интересующихъ, обладатель драгоценныхъ металловъ могъ пріобрѣсти ихъ лишь двумя путями: или получивши ихъ въ обмѣнъ за произведенный имъ продуктъ, или добывши ихъ изъ нѣдръ земли. Въ обоихъ случаяхъ онъ, посредственно или непосредственно, личнымъ трудомъ или трудомъ зависимыхъ отъ него лицъ, принималъ участіе въ производствѣ, а потому имѣетъ право на полученіе части поступившихъ на рынокъ продуктовъ. Наконецъ, въ виду

¹⁾ Zur Erk. etc., S. 163.

сильнаго спроса на драгоценные металлы, обладатель ихъ всегда могъ надѣяться получить въ обмѣнъ на нихъ любой изъ предметовъ потребления, если только онъ имѣлъ достаточное количество этихъ металловъ. Если же, въ виду случайнаго характера первобытной торговли, обладатель драгоценныхъ металловъ и лишился бы возможности обмѣнять ихъ на другіе продукты, то они сами по себѣ, собственною потребительною стоимостью, представляли достаточное вознагражденіе за отчужденный имъ продуктъ. Въ рабовладѣльческомъ обществѣ на рынкѣ фигурируютъ, главнымъ образомъ, предметы роскоши, въ числѣ которыхъ драгоценные металлы занимаютъ одно изъ первыхъ мѣстъ. Такимъ образомъ, драгоценные металлы удовлетворяли всѣмъ требованіямъ, которыя можно было предъявить имъ, какъ деньгамъ. Они служили мѣриломъ стоимостей; обеспечивали увѣренность въ томъ, что выражаемая ими стоимость дѣйствительно произведена и доставлена на рынокъ, наконецъ, сами по себѣ служили достаточнымъ вознагражденіемъ за проданный продуктъ. Но, спрашивается, предъявляемъ ли мы деньгамъ всѣ эти требованія и въ настоящее время? И не могутъ ли деньги удовлетворять необходимымъ теперь требованіямъ, не будучи товаромъ? Родбертусъ отвѣчаетъ отрицательно на первый вопросъ, утвердительно на второй.

Драгоценные металлы служатъ теперь деньгами не потому, что они сами по себѣ представляютъ достаточное вознагражденіе за отчуждаемые продукты, а потому, что каждый увѣренъ въ возможности пріобрѣсти за деньги необходимые для него продукты. Это доказывается существованіемъ бумажныхъ денегъ, которыя всѣми принимаются такъ же охотно, какъ и металлическія, несмотря на то, что потребительная ихъ стоимость равняется нулю. На это могутъ возразить, конечно, что бумажныя деньги принимаются лишь въ виду возможности въ любое время обмѣнять ихъ на металлическія. Но именно тотъ фактъ, что, имѣя такую возможность, обладатели бумажныхъ денегъ все-таки не мѣняютъ ихъ на металлическія, — доказываетъ, по мнѣнію Родбертуса, что въ настоящее время деньги принимаются уже не какъ предметъ потребления, а какъ полномочіе на полученіе предметовъ потребления.

Такимъ образомъ, въ исторіи денегъ нужно различать два періода. Въ каждомъ изъ нихъ деньги являются товаромъ. Но между тѣмъ какъ въ первомъ періодѣ товаръ этотъ принимается, какъ предметъ потребления, участники обмѣна не интересуются уже потребительною стоимостью товара-денегъ—во второмъ. По словамъ Родбертуса, существуетъ даже демаркаціонная линія, раздѣляющая эти два періода въ исторіи денегъ, именно то время, когда деньги, начинаютъ чеканить, а не принимаютъ, какъ прежде, по вѣсу. Нашъ авторъ увѣренъ, что теперь приближается уже третій періодъ въ исторіи денегъ, въ которомъ деньги-товаръ уступать мѣсто «простымъ бидетамъ». Но въ этотъ періодъ деньги перей-

дуть уже не сами собой, какъ перешли онѣ во второй періодъ, а путемъ сознательнаго вмѣшательства общества въ обмѣнъ продуктовъ.

Въ настоящее время товарное свойство денегъ важно лишь постольку, поскольку оно устраняетъ отъ участія въ обмѣнѣ лицъ, не доставившихъ на рынокъ той или другой стоимости. Какъ продуктъ труда, золото можетъ быть приобретено только въ обмѣнъ за другіе продукты или путемъ непосредственнаго добыванія его изъ нѣдръ земли. Въ обоихъ случаяхъ обладатель его является лицомъ, принимавшимъ участіе въ національномъ производствѣ, а потому имѣющимъ право на извѣстную часть національнаго продукта. Такимъ образомъ, гарантируется надлежащій ходъ распредѣленія. Но если бы этой цѣли можно было достигнуть другимъ путемъ, то металлическія деньги сдѣлались бы, по мнѣнію Родбертуса, излишней роскошью.

«По идеѣ своей деньги суть свидѣтельства, дающія право на получение извѣстной мѣновой стоимости. И въ этомъ смыслѣ можно сказать, что нѣтъ надобности писать эти свидѣтельства на золотѣ, и общество могло бы сберечь тѣ тысячи милліоновъ, которыя оно затрачиваетъ теперь на матеріалъ для этихъ свидѣтельствъ» ¹⁾. Конечно, деньги служатъ теперь, кромѣ того, и «мѣриломъ стоимости», но если мѣновая стоимость продуктовъ всегда будетъ опредѣляться количествомъ труда, затраченнаго на ихъ производство, то и эта функція денегъ можетъ исполняться «простыми билетами».

Мы знаемъ уже, что, по проекту Родбертуса, государство должно взять на себя опредѣленіе средней производительности труда въ каждой отрасли производства, т. е. другими словами, количества труда, необходимаго на производство каждаго даннаго продукта. Опредѣляя это количество, государство тѣмъ самымъ опредѣляло бы и стоимость продуктовъ, такъ что не было бы уже никакой надобности измѣрять ее деньгами. Еще при жизни Родбертуса шверинскій архитекторъ Петерсъ составилъ таблицы, указывавшія среднюю производительность плотничьяго труда. Нашъ авторъ смотрѣлъ на работы Петерса, какъ на первый шагъ къ осуществленію его «практическихъ предложеній», и придавалъ имъ огромную важность. По его мнѣнію, государство тотчасъ же могло бы приступить къ осуществленію его плановъ, какъ только были бы составлены подобныя таблицы во всѣхъ другихъ отрасляхъ производства. Тогда «мѣриломъ стоимостей» сдѣлалось бы само рабочее время, и «простые билеты» съ обозначеніемъ дней и часовъ труда сдѣлали бы излишними металлическія деньги. Чтобы обезпечить правильный ходъ распредѣленія, нужно было бы только принять мѣры, благодаря которымъ «рабочія деньги» не попадали бы въ руки лицъ, не принимавшихъ посредственнаго или непосред-

¹⁾ Briefe und Aufsätze, S. 70.

ственного участія въ производствѣ. Этой цѣли государство достигло бы, выдавая новыя деньги только предпринимателямъ, доставившимъ соотвѣтствующее количество продуктовъ въ общественные магазины. Тогда гарантированная въ «рабочихъ деньгахъ» стоимость равнялась бы стоимости національнаго продукта, и въ процессѣ общественнаго обмѣна веществъ не произошло бы никакихъ потрясеній. Нашъ авторъ не закрывалъ глазъ передъ трудностями, стоящими на пути къ осуществленію его «предложеній». «Конечно,—говорилъ онъ,—рѣшеніе социальнаго вопроса будетъ стоить много дороже, чѣмъ впечатаніе полицейскаго распоряженія, именно потому, что мы имѣемъ дѣло съ социальнымъ вопросомъ». Но если государство тратитъ многіе милліоны на самыя непродуцительныя предпріятія, то «почему не затратить ему многихъ милліоновъ на совершеніе акта социальной справедливости, открывающаго новую эру во всемірной исторіи»? Затраты эти были бы весьма полезны даже съ точки зрѣнія матеріальныхъ интересовъ общества. При современной организаціи производства и обмѣна общество не можетъ воспользоваться находящимися въ его распоряженіи производительными силами во всей ихъ полнотѣ. «Если бы не было этого печальнаго усложненія, то современныя производительныя силы могли бы, пожалуй, удвоить національное производство»¹⁾. Низкій уровень заработной платы, со всѣми протекающими изъ него послѣдствіями, разрушаетъ матеріальное благосостояніе современныхъ цивилизованныхъ народовъ. «Дешевый трудъ страшно дорого стоитъ обществу!»—воскликаетъ Родбертусъ.

Изложенные планы нашего автора относятся, какъ мы уже знаемъ, къ переходному времени, за которымъ открывается блестящая перспектива «новаго всемірно-историческаго періода». Въ этомъ періодѣ «общественный организмъ» достигнетъ, наконецъ, высшаго типа своего развитія, и также будетъ относиться къ современному обществу, какъ позвоночное животное относится къ суставчатому.

Переходъ всѣхъ средствъ производства въ распоряженіе государства «дастъ общественному организму позвоночный столбъ», которому будетъ соответствовать высшая, централизованная организація всего общественнаго тѣла и единство во всѣхъ дѣйствіяхъ, внутреннихъ и вѣшнихъ. Къ сожалѣнію, по понятіямъ Родбертуса, исторія не только «не дѣлаетъ скачковъ», но держится еще правила «тише ѣдешь — дальше будешь». Осуществленіе его «практическихъ предложеній» требуетъ, по его словамъ, болѣе столѣтій, а для перехода «суставчатаго социальнаго организма» въ «позвоночный» нуженъ чуть не геологическій періодъ времени. Въ перепискѣ съ Лассалемъ Родбертусъ запрашиваетъ для этого перехода цѣлыхъ 500 лѣтъ!

1) Briefe und Aufsätze, I Band, S. 216.

Бельтовъ. Т. I. Изд. 3.

XIII

Мы закончили изложеніе экономической теоріи Родбертуса.

Мы познакомили теперь читателя съ общими взглядами нашего автора на задачи и методъ экономической науки, съ ученіемъ его о пауперизмѣ и торговыхъ кризисахъ, съ его теоріей распредѣленія національнаго дохода и, наконецъ, съ практическими его планами. Мы старались въ то же время отбѣнить его отношеніе къ писателямъ, предшествовавшимъ ему въ исторіи политической экономіи, показать, въ чемъ расходился и въ чемъ соглашался съ ними Родбертусъ. Намъ остается теперь бросить общій взглядъ на теорію нашего автора съ точки зрѣнія новѣйшихъ политико-экономическихъ ученій. Умѣстиже всего будетъ начать этотъ критическій обзоръ съ оцѣнки общихъ историко-экономическихъ воззрѣній Родбертуса, игравшихъ такую важную роль во всемъ его міросозерцаніи.

Мы говорили уже въ первой статьѣ, что литературная дѣятельность Родбертуса началась въ то время, когда экономическая наука пришла въ критическій періодъ своего развитія, когда, «достигнувши въ ученіяхъ Рикардо до послѣднихъ своихъ выводовъ, она нашла, по словамъ Маркса, въ Сисмонди выразителя ея отчаянія въ самой себѣ». Послѣ того, какъ обновленная Европа обросила, наконецъ, послѣднія цѣпи феодализма, оказалось, что въ пресловутомъ золотомъ вѣкѣ «разума» было, какъ въ евангельской притчѣ, много званыхъ, но мало избранныхъ. Повторилась старая, но до сихъ поръ вѣчно новая исторія: эксплуатація перегибнула только формы, а борьба приняла еще болѣе острый характеръ. Тогда за поправку и пересмотръ «вѣчныхъ истинъ» буржуазныхъ экономистовъ взялись люди самыхъ различныхъ направленій. Одни стремились отстоять тѣ формы общественныхъ отношеній, при которыхъ такъ растетъ «національное» богатство, такъ увеличивается производительность труда. Другіе взглянули на дѣло съ точки зрѣнія интересовъ пролетаріата и находили, что болѣе справедливое распредѣленіе національнаго дохода несколько не препятствовало бы экономическому прогрессу общества. Наконецъ, третьи старались увѣрить себя и другихъ, что они стоятъ выше всякихъ классовыхъ интересовъ и предразсудковъ и стремятся лишь къ изученію законовъ общественнаго развитія и къ осуществленію необходимыхъ и достаточныхъ въ данное время реформъ. Родбертусъ несомнѣнно принадлежитъ къ этой послѣдней категоріи. Убѣжденный въ своемъ безпристрастіи, онъ ни въ какомъ случаѣ не согласился бы признать себя ученымъ представителемъ какого-нибудь отдѣльнаго класса общества. Чтобы понять характеръ его безпристрастія, нужно, впрочемъ, опредѣлить, что означаетъ это слово въ примѣненіи его къ общественнымъ отношеніямъ. *Безпристрастіе* не тождественно, конечно, съ *безстра-*

стиемъ, съ индифферентнымъ отношеніемъ ко всѣмъ общественнымъ классовымъ явленіямъ. Понятіе о безпристрастіи не исключаетъ сочувствія и самой горячей симпатіи, оно требуетъ только, чтобы симпатія эта болѣе справедливымъ образомъ распредѣлялась между всѣми сторонами, заинтересованными въ рѣшеніи того или другого историческаго спора. Но какъ найти эту точку равновѣсія? Мы не говоримъ о томъ непосредственномъ отношеніи къ общественнымъ явленіямъ, которое обусловливается самимъ положеніемъ даннаго лица или класса. Для цѣлаго класса всѣ важные общественные вопросы сводятся къ одному роковому вопросу: «быть или не быть», всѣ задачи сводятся къ одной задачѣ: отстоять или создать условія, необходимыя для его существованія или его дальнѣйшаго развитія. Ни одинъ народъ, ни одинъ общественный классъ не можетъ признать справедливыми то, что противорѣчитъ самымъ насущнымъ его интересамъ. Каждый классъ, каждый народъ считаетъ болѣе справедливыми тѣ отношенія, которыя болѣе способствуютъ его развитію и благосостоянію. Потому-то мы и видимъ, что «истинное по одну сторону Пиренеевъ считается ложнымъ по другую». Но отдѣльныя личности могутъ, конечно, отдѣлаться отъ исключительно классовой точки зрѣнія и руководствоваться въ своей дѣятельности лишь общими понятіями своими о законахъ историческаго развитія. Онѣ могутъ возвыситься до безпристрастнаго отношенія къ общественнымъ явленіямъ. Къ чему же, однако, приведетъ ихъ такое безпристрастіе? Исторія до такой степени неблагодарна или, если угодно, «пристрастна», что какъ только данный общественный слой свершаетъ все, что дано было ему свершить, она немедленно становится къ нему въ совершенно отрицательное отношеніе.

Такъ отвернулась она когда-то отъ католическаго духовенства, такъ покинула она веселое и воинственное феодальное дворянство. Ненужный болѣе для цѣлей исторіи и покинутый ею классъ общества играетъ роль пятаго колеса или даже тормазы, препятствующаго движенію общественной колесницы. Условія его существованія исключаютъ условія общественнаго развитія, интересы его противорѣчатъ интересамъ всего остальнаго общества. Какъ долженъ относиться къ такому классу безпристрастный человѣкъ, руководящійся въ своей дѣятельности лишь общими соображеніями о законахъ историческаго развитія? При самомъ аристовскомъ безпристрастіи, онъ не можетъ не видѣть, что сочувствовать общественному развитію и въ то же время отстаивать интересы этого класса—значитъ желать движенія впередъ и неподвижности, прогресса и реакціи. Отсюда слѣдуетъ, что безпристрастное и отрицательное отношеніе къ извѣстнымъ явленіямъ не только не исключаютъ другъ друга, но въ извѣстные историческіе моменты положительно немислимы одно безъ другого. Иначе, желая согласить несогласимое, человѣкъ

будетъ препятствовать обществу сдѣлать тотъ историческій шагъ, значеніе котораго онъ самъ хорошо оцѣнилъ и понялъ. Примѣры такого рода непослѣдовательности было бы затруднительно привести лишь потому, что они многочисленны; Родбертусъ является, между прочимъ, однимъ изъ такихъ примѣровъ. При всемъ своемъ стремленіи къ безпристрастію, онъ никогда не могъ возвыситься до того возвышеннаго безстрастія, которое заставляетъ окончательно разорвать съ отжившими и осужденными исторіей традиціями. Онъ былъ и до конца жизни остался землевладѣльцемъ не только по положенію, но отчасти и по симпатіямъ. Этимъ объясняется его стремленіе воспользоваться рабочимъ движеніемъ, между прочимъ, и въ интересахъ землевладѣльцевъ, до сихъ поръ еще не окончившихъ своей исторической распри съ капиталистами; этимъ объясняется убѣжденіе его въ томъ, что «при современномъ положеніи дѣлъ землевладѣльцы и рабочіе являются естественными союзниками» ¹⁾).

Отсюда же происходятъ всѣ противорѣчія его «практическихъ предложеній», его настойчивое желаніе придумать такую хитроумную комбинацію общественныхъ реформъ, которая дала бы возможность увеличить заработную плату, не уменьшая доходовъ предпринимателей. «Для меня ясно, какъ день,—говоритъ онъ въ одномъ изъ писемъ къ Вагнеру,— что мой милый «Ягцовъ» только до тѣхъ поръ останется во владѣніи моихъ наслѣдниковъ, пока потомки Блейхредера будутъ безпрепятственно продолжать накопленіе капитала». Въ этихъ немногихъ словахъ заключается разгадка стремленія сѣсть между двумя стульями, которое замѣчается во всѣхъ практическихъ планахъ Родбертуса.

Но пока работа мысли нашего автора ограничивалась чисто-теоретической сферой, онъ имѣлъ достаточно безпристрастія для того, чтобы видѣть въ улучшеніи положенія рабочаго класса важнѣйшую задачу экономической науки. Онъ очень хорошо понималъ, что если «вѣчныя истины» буржуазной экономіи были удачною гиперолою въ борьбѣ «третьяго сословія» противъ феодальнаго дворянства, то онѣ ни въ какомъ случаѣ не могутъ служить критеріемъ для оцѣнки дальнѣйшихъ стремленій человѣчества. Общество представлялось ему не законченнымъ совершенно зданіемъ, а развивающимся организмомъ, который переходитъ съ возрастомъ изъ низшаго типа въ высшій. При этихъ переходахъ всѣ общественныя отношенія людей подвергаются самымъ кореннымъ измѣненіямъ. Въ античномъ обществѣ самъ человѣкъ является, въ видѣ раба, объектомъ частной собственности. Мало-по-малу рабство и крѣпостная зависимость уступаютъ мѣсто свободному труду, и въ «германскомъ государственномъ порядкѣ» уже только средства производства составляютъ предметъ частной собственности. Родбертусъ «слышалъ уже и при-

¹⁾ Briefe und Aufsätze, I Band, S. 341.

ближеніе новой эры», новой формы общественных отношеній, съ которой частному присвоенію будутъ подлежать лишь предметы непосредственнаго потребленія.

Чѣмъ же обусловливается это постоянное измѣненіе общественной организаціи? Родбертусъ не даетъ удовлетворительнаго отвѣта на этотъ вопросъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ онъ совершенно недвусмысленно заявляетъ, что «правовая идея издавна шла рука объ руку съ экономической необходимостью», и въ сочиненіяхъ его разсыпано множество непровержимыхъ доказательствъ этого положенія. Если бы онъ внимательнѣе прослѣдилъ вліаніе экономической необходимости»; если бы для каждой изъ указанныхъ имъ ступеней общественнаго развитія онъ постарался найти связь между этой «необходимостью» и политическими учрежденіями, то онъ поставилъ бы философію исторіи на совершенно реальную почву. Къ сожалѣнію, онъ не всегда держался высказанной имъ свѣтлой мысли. Общественный строй античнаго и «германскаго» періодовъ кажется ему результатомъ простаго насилія; въ рѣшеніи рабочаго вопроса онъ видитъ только «актъ общественной справедливости». Мы видѣли уже въ предыдущихъ статьяхъ, что именно насиліемъ, и только насиліемъ, объясняетъ онъ возникновеніе рабства и частной собственности на землю и капиталы. «Какъ прежде правовая идея опиралась на силу, такъ и теперь она основывается на постоянномъ принужденіи»,— вотъ все, что говоритъ онъ въ объясненіе современнаго общественно-экономическаго строя. Оставаясь на этой точкѣ зрѣнія, Родбертусъ не вышелъ еще изъ области той философіи исторіи, которая въ началѣ XIX столѣтія пыталась, въ лицѣ Огюстена Тьерри, объяснить весь ходъ англійской исторіи тѣмъ обстоятельствомъ, что «il y a une conquête là-dessous, tout cela date d'une conquête».

Уже въ сочиненіяхъ Тьерри можно замѣтить всю непослѣдовательность и несостоятельность такого взгляда. Сохраняя еще нѣкоторое подобіе вѣроятности, пока рѣчь идетъ о «статикѣ» даннаго общественнаго строя, теорія насилія оказывается абсолютно неспособной выяснить ходъ его развитія, открыть причины, видоизмѣняющія соотношеніе общественныхъ силъ. Не говоря уже объ «Histoire du tiers-Etat», представляющей собою блестящее опроверженіе теоріи насилія, даже въ статьяхъ своихъ объ «англійскихъ революціяхъ Тьерри вынужденъ апеллировать къ экономическому прогрессу «третьяго сословія», обусловившему постепенное его возвышеніе. Еще болѣе такихъ противорѣчій у Робертуса, какъ писателя, несравненно болѣе Тьерри обращавашаго вниманіе на экономическую исторію народовъ. «На той ступени развитія производительности труда, на которой знаютъ лишь ручную мельницу, необходимо должно существовать рабство»,—говоритъ онъ въ одной статьѣ, написанной имъ еще въ 1837 году. Точно также статья его о римскомъ колонатѣ указы-

васть на экономическія причины тѣхъ правовыхъ измѣненій, которыми ознаменовался переходъ отъ рабства къ крѣпостничеству. Его сочиненіе «Zur Erklärung der Creditnoth» изобилуетъ примѣчаниями, которыя самымъ остроумнымъ образомъ раскрываютъ связь между правовыми учрежденіями античнаго общества и экономическимъ его строемъ.

Наконецъ, приведенное выше мнѣніе его объ исторической роли акціонерныхъ обществъ ясно доказываетъ, что соотношеніе силъ извѣстныхъ классовъ современнаго общества находится въ тѣснѣйшей связи съ экономическимъ его строемъ. Конечно, въ борьбѣ общественныхъ классовъ за свое существованіе сила всегда являлась высшей инстанціей, къ которой апеллировали спорящія стороны; въ этомъ смыслѣ сила имѣла огромное прогрессивное значеніе, такъ какъ она служила «повивальной бабкой старому обществу, беременному новымъ». Но сказавъ, что въ настоящее время данный классъ общества сильнѣе всѣхъ другихъ, мы не объясняемъ ровно ничего, потому что остается открытымъ вопросъ какъ о происхожденіи силы этого класса, такъ и о способахъ пользованія ею. Средневѣковые варвары такъ же мало церемонились съ побѣжденными народами, какъ и греки или римляне; однако, завоеваніе Пелопоннеса дорическимъ племенемъ дало совершенно другіе результаты, чѣмъ завоеваніе Англій норманнами или Галліи—франками. Эмансипація городскихъ коммунъ была результатомъ побѣды средневѣковыхъ горожанъ надъ ихъ феодальными господами, точно такъ же, какъ великая французская революція была побѣдой буржуазіи надъ аристократіей; тѣмъ не менѣе, общественный строй городскихъ коммунъ не имѣлъ ничего общаго съ послѣ-революціонной Франціей. Впрочемъ, непоследовательность Родбертуса объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что многіе фазисы развитія социальныхъ отношеній остались для него закрытою книгою. Установленная имъ схема общественно-историческаго развитія—рабство, наемный трудъ, «новая эра»—страдаютъ значительной неполнотою. Онъ совершенно игнорируетъ сельскія общины, исторія которыхъ показываетъ, что начало рабства далеко не совпадаетъ съ началомъ осѣдлости и земледѣлія.

Нужно удивляться, какимъ образомъ, будучи замѣчательнымъ знатокомъ римской исторіи, Родбертусъ упустилъ изъ виду, что въ первые вѣка республики рабство существовало лишь въ очень незначительныхъ размѣрахъ. Полноправные граждане, а иногда даже знаменитые полководцы и диктаторы, собственными руками обрабатывали принадлежащія имъ участки земли, и рабскій трудъ служилъ подспорьемъ, а не основой древне-римскаго земледѣлія. Только мало-по-малу, съ развитіемъ неравенства въ поземельныхъ отношеніяхъ, съ концентраціей поземельной собственности въ немногихъ рукахъ, рабскій трудъ вытѣсняетъ изъ деревень свободное населеніе. Та же постепенность въ образованіи крупнаго, основаннаго на рабскомъ трудѣ, землевладѣнія замѣчается и въ Греціи.

Наконецъ, разработка исторіи общиннаго землевладѣнія въ различныхъ странахъ и этнографическія изслѣдованія показали, какую огромную роль играли первобытныя сельскія общины въ развитіи правовыхъ и социальныхъ отношеній всѣхъ цивилизованныхъ народовъ.

Всѣ эти изслѣдованія оставались какъ бы совершенно неизвѣстными Родбертусу. Возражая противъ теоріи поземельной ренты Рикардо, онъ допускаетъ, правда, что первоначально земля могла принадлежать не только частнымъ собственникамъ, но и сельскимъ общинамъ. Однако, онъ немедленно дѣлаетъ крупную ошибку, утверждая, что общинное землевладѣніе такъ же точно исключало свободное занятіе необработанныхъ земель, какъ и частное. Когда населеніе возрастало до такой степени, что незанятыхъ земель оставалось очень немного, со стороны общинниковъ было весьма естественно приберегать ихъ для подрастающаго поколѣнія. Но «первоначально» общины вовсе не такъ ревниво оберегали неприкосновенность своихъ владѣній. Онѣ принимали въ свою среду новыхъ членовъ, причѣмъ, разумѣется, и рѣчи не могло быть о «поземельной рентѣ». Новые члены получали даже пособіе отъ общины и пользовались нѣкоторыми льготами; по истеченіи же льготнаго времени они обязывались лишь принимать участіе во всѣхъ расходахъ общины наравнѣ со старыми членами. Въ книгѣ Бѣляева «Крестьяне на Руси» можно насчитать немало такихъ примѣровъ. «А какъ отыдетъ льготный годъ, и мѣ всякая подать платить со крестьяны вмѣстѣ», говоритъ новый членъ общины въ одной изъ договорныхъ грамотъ XVI вѣка. Кромѣ общинныхъ и частныхъ земель существовало, — вопреки мнѣнію Родбертуса, — много земли, ровно никому не принадлежащей, — «дикой», какъ называлась она въ древней Россіи, — которую свободно могъ занимать каждый желающій¹⁾. То же мы видимъ и въ Германіи, гдѣ, — по словамъ Маурера, — «первоначально, пока существовало право свободнаго занятія, свободный челоуѣкъ могъ селиться повсюду, гдѣ находилъ никому не принадлежащую землю»; потомъ для такихъ «поселеній» нужно было согласіе общинъ или короля... но это новое право не скоро получило всеобщее признаніе, и своевольныя занятія земель долго не прекращались. Такимъ образомъ селились не только германцы, но и славяне въ Баваріи и другихъ мѣстахъ²⁾. Вообще, исторія крестьянскаго землевладѣнія у всѣхъ народовъ можетъ служить опроверженіемъ того положенія Родбертуса, что и первоначально, съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ существуетъ раздѣленіе труда, земля принадлежала не тѣмъ, которые занимались ея обработкой, тѣ же, которымъ она принадлежала, никогда не были бы въ состояніи обработать ее собственными силами. По изслѣдованіямъ Маурера, оказывается,

¹⁾ «Крестьяне на Руси», стр. 19.

²⁾ Einleitung zur Geschichte der Mark-Hof-Dorf und Stadt Verfassung, S. 183.

что величина участковъ, находящихся въ пользованіи членовъ общины, опредѣлялась именно ихъ «собственными рабочими силами»; это видно изъ самаго названія различныхъ мѣръ земли, Tagwerk, terra jugnalis, Mannskraft, Mannwerk и т. д. ¹⁾).

Русскимъ читателямъ извѣстно то же самое изъ исторіи русской общины. Наконецъ, исторія средневѣковыхъ ремесленныхъ корпорацій показываетъ, что было время, когда и «капиталы» принадлежали самимъ трудящимся. Правда, доходъ средневѣковаго мастера создавался только отчасти его собственнымъ трудомъ: на него работали ученики и подмастерья. Но эти состоянія были переходными, и каждый порядочный подмастерье становился современемъ мастеромъ, т. е. вполне самостоятельнымъ производителемъ. «Почти до середины XIV столѣтія званіе подмастерья было только ступенью въ жизни ремесленника, а не постояннымъ его призваніемъ... Цехи не представляли еще въ то время замѣнутыхъ организацій, число мастеровъ не было ограничено ни непосредственно, ни посредственно, наконецъ, мастера были большею частью сами работниками, потому что если для самостоятельнаго веденія дѣла и тогда нуженъ былъ извѣстный капиталъ, то капиталъ этотъ, по тогдашнему состоянію промышленности, былъ еще очень незначителенъ ²⁾. Мы видимъ отсюда, что въ спорѣ своемъ съ Бастіа и Тьеромъ Родбертусъ становился на очень скользкую почву, такъ какъ на вопросъ его: «когда и гдѣ принадлежали работнику земля и орудія труда?»—они могли бы сослаться на сельскія общины и ремесленные корпораціи.

Невѣрная историческая точка зрѣнія нашего автора лишена въ то же время практическаго значенія. Сущность современнаго социальнаго вопроса ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть сведена къ юридическому спору о томъ, когда и кому принадлежали средства производства.

Этого спора не разрѣшилъ бы и самъ Соломонъ, по той простой причинѣ, что онъ никогда не могъ бы имѣть и миллионной доли необходимыхъ для этого рѣшенія данныхъ. Современные цивилизованные народы могутъ довольствоваться убѣжденіемъ, что ихъ экономическія бѣдствія представляютъ собою необходимое слѣдствіе капиталистической организаціи производства и обмѣна. Имъ пришлось бы испытать тѣ же бѣдствія даже въ томъ случаѣ, если бы никогда и нигдѣ не совершалось ни одного насилія и «завоеванія»; если бы трудъ служилъ «первоначально» единственнымъ основаніемъ собственности, а продукты всегда оцѣнивались бы лишь по количеству труда, затраченнаго на ихъ производство: словомъ, если бы въ сферѣ товарнаго производства и обращенія всегда господствовали, по выраженію Маркса, «свобода, равенство, справед-

1) Ibid, S. 129—134.

2) Brentano, Das Arbeit. gem. dem heut. Recht, S. 30.

ливость и Бентамъ». Рано или поздно вся эта идиллія привела бы къ появленію на рынкѣ самой рабочей силы, а влияніе «Бентама», т. е. сознаніе собственной выгоды привело бы туда же и покупателей этого новаго товара, предпринимателей. Тогда началась бы эра прибавочной стоимости и желѣзнаго закона заработной платы, всемірнаго рынка и торговыхъ кризисовъ,—и человечеству пришлось бы сознаться, что только конецъ вѣнчаетъ дѣло. На извѣстной стадіи товарнаго производства и обращенія «основанный на нихъ законъ присвоенія или законъ частной собственности превращается въ прямую противоположность, путемъ свойственной ему внутренней, неотвратимой діалектики... Раздѣленіе между собственностью и трудомъ является неизбѣжнымъ слѣдствіемъ того закона, который исходитъ, повидимому, изъ полнаго ихъ совпаденія ¹⁾». Именно въ эту сторону, въ сторону «неотразимой внутренней діалектики» товарнаго производства, и должны быть направлены изслѣдованія теоретиковъ и усилія практическихъ дѣятелей.

Если бы Родбертусъ обратилъ болѣе вниманія на этотъ факторъ возникновенія общественнаго неравенства, то рѣшеніе соціального вопроса представилось бы ему не только «актомъ общественной справедливости», но и неизбѣжнымъ результатомъ все той же «внутренней діалектики» товарнаго производства. Впрочемъ, онъ не совсѣмъ, какъ кажется, уяснилъ себѣ динамическіе законы капиталистическаго способа производства. Потому-то и «будущій періодъ» является у него скорѣе драгоцѣннымъ подаркомъ человечеству со стороны прихотливой исторіи, чѣмъ логическимъ выводомъ изъ посылокъ, коренящихся въ современной жизни цивилизованныхъ обществъ. Потому-то и рабочіе представляются ему, съ одной стороны, угнетенной и обездоленной частью общества, неспособной къ разумной самодѣятельности; съ другой стороны, они кажутся ему какими-то варварами, болѣе грозными, чѣмъ «орды Алариха».

Что касается до соображеній Родбертуса о характерѣ «будущаго всемірно-историческаго періода», то о нихъ нельзя, разумѣется, говорить съ такой же увѣренностью, какъ о вопросахъ прошедшаго и настоящаго времени. Несомнѣнно, однако же, что относящіеся сюда представленія нашего автора являются часто не совсѣмъ удачной абстракціей отъ современнаго общественнаго строя. Такъ, напримѣръ, его «государство рабочихъ и чиновниковъ» основывается на томъ же профессиональномъ раздѣленіи труда, которое исключаетъ всякую возможность всесторонняго развитія современнаго средняго человѣка.

Не говоря уже о раздѣлѣ функцій двухъ большихъ классовъ будущаго общества,—рабочихъ и «чиновниковъ», сами работники физическаго труда остаются у него на всю жизнь ткачами, кузнецами, плотниками,

¹⁾ Das Kapital, S. 572.

рудокопами, земледѣльцами и т. д., и т. д. По крайней мѣрѣ Родбертусъ нигдѣ не говоритъ о необходимости устраненія современной профессиональной односторонности. Онъ какъ бы не слышалъ безчисленныхъ жалобъ на то, что современное раздѣленіе общественнаго труда превращаетъ всю производительную дѣятельность работника въ рядъ однообразныхъ, отупляющихъ механическихъ движеній. Онъ какъ бы не видитъ того обстоятельства, что развитіе технического раздѣленія труда все болѣе и болѣе упрощаетъ различные роды производительной дѣятельности и тѣмъ создаетъ возможность перехода отъ одного къ другому. Онъ цѣликомъ переноситъ на «будущее общество» понятіе о современномъ раздѣленіи труда, не отдавая себѣ отчета въ конечной его тенденціи. Такимъ же перенесеніемъ въ «будущій всемірно-историческій періодъ» современныхъ экономическихъ понятій является и ученіе его о распредѣленіи продуктовъ по количеству труда, затраченнаго на ихъ производство. Понятіе о такомъ распредѣленіи заимствовано изъ современнаго товарнаго обращенія, въ которомъ стоимость продуктовъ опредѣляется воплощеннымъ въ нихъ трудомъ. Но едва ли можно признать рациональнымъ такое превращеніе законовъ товарнаго обмѣна въ норму для распредѣленія продуктовъ въ будущемъ. Самъ Родбертусъ замѣтилъ совершенно справедливо, что правовая идея издавна шла рука объ руку съ экономической необходимостью. Мы думаемъ, что въ будущемъ между ними будетъ полное согласіе; а если это такъ, то рано или поздно общество должно будетъ остановиться на такомъ способѣ распредѣленія продуктовъ, который окажется наиболѣе благоприятнымъ для всесторонняго развитія производителей. Такой способъ распредѣленія будетъ вполне соответствовать «экономической необходимости», потому что развитіе производителей равносильно увеличенію производительныхъ силъ общества и безконечному возрастанію власти человѣка надъ природой.

XIV.

Переходя теперь къ экономической теоріи Родбертуса въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, мы прежде всего обратимъ вниманіе читателя на ученіе нашего автора о мѣнливой стоимости. Мы видѣли уже, какъ твердо держался онъ того «великаго положенія», что «всѣ предметы потребленія стоятъ труда и только труда». Стоя на этой точкѣ зрѣнія, Родбертусъ разрушалъ, какъ карточные домики, аргументы экономистовъ, стремившихся доказать, что «рента вообще» обязана своимъ существованіемъ не труду работниковъ, а производительнымъ «услугамъ» почвы и капитала. Съ этой стороны, навсегда останется неоспоримой заслуга его какъ писателя, много способствовавшаго распространенію здравыхъ экономическихъ понятій. Но признаніе труда единственнымъ источникомъ матеріальнаго богатства общества не предохранило Родбертуса, какъ и

многихъ другихъ экономистовъ, отъ нѣкоторой неясности въ понятіи о мѣнновой стоимости.

Такъ, напримѣръ, онъ говоритъ въ одномъ изъ писемъ къ Вагнеру, что «потребительная стоимость представляетъ собою сущность понятія о стоимости», и что «изъ понятія о потребительной стоимости мы выводимъ такъ называемую мѣнновую стоимость». «*Существуетъ только одинъ родъ стоимости*»,—говоритъ онъ далѣе,—*стоимость потребительная*. Противопоставлять ему мѣнновую стоимость, какъ другой родъ стоимости, значитъ дѣлать логическую ошибку. Но эта единая потребительная стоимость является или въ видѣ индивидуальной, или въ видѣ *соціальной* потребительной стоимости. Первая опредѣляется потребностями индивидуума, безъ всякаго отношенія къ общественной организаціи. Вторая—потребительная стоимость по отношенію къ общественному организму, состоящему изъ многихъ индивидуальныхъ организмовъ... Она становится мѣнновой стоимостью лишь путемъ историческаго развитія и, слѣдовательно, переходящимъ образомъ». Въ настоящее время «соціальная потребительная стоимость необходимо должна принять видъ мѣнновой стоимости, но на слѣдующей ступени общественнаго развитія весь этотъ маскарадъ прекращается, продукты не будутъ уже обмѣниваться на рынкѣ, соціальная потребительная стоимость выступить во всей ея чистотѣ» ¹⁾).

Какъ видитъ читатель, Родбертусъ развиваетъ въ этомъ письмѣ одну изъ любимѣйшихъ своихъ идей, необходимость «строгаго отдѣленія логическихъ категорій отъ историческихъ». Имѣетъ ли это противопоставленіе такой глубокой смыслъ, какой усматривалъ въ немъ нашъ авторъ, это мы увидимъ ниже, перейдя къ ученію его о капиталѣ. Теперь же мы замѣтимъ, что ради «отдѣленія» различныхъ родовъ категорій Родбертусъ отказался отъ точнаго *опредѣленія* понятій о мѣнновой и потребительной стоимости. Сказать, что не было и не будетъ *мѣнновой* стоимости тамъ, гдѣ не было и не будетъ *обмѣна* продуктовъ,—значитъ высказать очень вѣрную мысль, которая представляетъ собою, однако, не болѣе какъ тавтологію. Заключать же отсюда, что «существуетъ только одинъ родъ стоимости»,—значитъ погрѣшать противъ того самаго «великаго положенія Смита и Рикардо», которое легло въ основаніе всей теоріи Родбертуса. И Смитъ и Рикардо говорили о трудѣ именно какъ объ источникѣ мѣнновой стоимости продуктовъ. Имъ и въ голову не приходило, что можно признавать справедливость ихъ «великаго положенія» и въ то же время отождествлять мѣнновую стоимость продуктовъ съ ихъ «соціальною потребительною стоимостью». Они сказали бы, что, конечно, производство должно имѣть въ виду удовлетвореніе извѣстной общественной потребности, такъ какъ внѣ

¹⁾ Zeitschrift für die gesam. Staatswissensch. I u. II Heft, 1878 S. 222—3—4.

этого условія продукты не могутъ стать товарами; но не всѣ удовлетво-
ряющіе общественнымъ потребностямъ продукты имѣютъ одинаковую
мѣновую стоимость. Мѣновая стоимость алмаза несравненно больше мѣ-
новой стоимости хлѣба, несмотря на то, что хлѣбъ удовлетворяетъ одну
изъ самыхъ насущнѣйшихъ «соціальныхъ потребностей», а алмазы слу-
жатъ почти единственно для украшенія. Говоря о потребительной стои-
мости продукта, мы имѣемъ въ виду ту услугу, которую оказываетъ этотъ
продуктъ цѣлому обществу или отдѣльному человѣку; между тѣмъ какъ
мѣновая его стоимость опредѣляется, по прекрасному выраженію Маркса,
тою услугою, которая была оказана самому продукту въ процессѣ его
производства. Никому не придетъ мысль опредѣлять мѣновую стоимость
машины тѣмъ количествомъ труда, которое она *сберегаетъ* въ производ-
ствѣ; а вѣдь это количество труда и представляетъ собою «соціальную
стоимость машины». Если бы мѣновая стоимость машинъ опредѣлялась
ихъ соціальною потребительною стоимостью, то какой смыслъ имѣло бы
ихъ употребленіе? Капиталистъ долженъ былъ бы платить за нихъ
именно то количество труда, которое онѣ сберегаютъ въ производствѣ, и
примѣненіе ихъ было бы дѣломъ каприза, а не экономической выгоды.
«Соціальная потребительная стоимость» не только не «является теперь
въ видѣ мѣновой стоимости», но представляетъ собою совершенно отлич-
ное отъ нея понятіе.

«Историческое развитіе» совсѣмъ не ведетъ къ превращенію одного
рода стоимости въ другой, а только къ превращенію продуктовъ въ то-
вары. Изъ этого хода «историческаго развитія» можно сдѣлать лишь тотъ
выводъ, что продукты не всегда бываютъ товарами и что всякое произ-
водство продуктовъ есть производство мѣновыхъ стоимостей. Если бы
Родбертусъ ограничился этимъ выводомъ, то онъ не сталъ бы заботиться
о способахъ опредѣленія мѣновой стоимости въ «будущемъ всемірно-
историческомъ періодѣ», характерную особенность котораго составляетъ,
по его ученію, отсутствіе товарнаго производства. Тогда разсужденія
его о «будущемъ періодѣ» не противорѣчили бы его понятію о мѣновой
стоимости, какъ «исторической категоріи». Но, не выяснивши себѣ раз-
ницы между продуктомъ и товаромъ, Родбертусъ попадаетъ въ цѣлый
рядъ самыхъ удивительныхъ противорѣчій. Съ одной стороны, онъ упре-
каетъ Рикардо и Маркса въ томъ, что они «приняли тяготѣннѣ мѣновой
стоимости къ извѣстной нормѣ за достиженіе этой нормы», т. е. что они
ошибочно думаютъ, будто мѣновая стоимость продуктовъ уже въ настоя-
щее время опредѣляется воплощеннымъ въ нихъ трудомъ.

Онъ говоритъ, что эта «естественная норма» можетъ быть достигнута
мѣноюю стоимостью только въ «будущемъ періодѣ». Съ другой стороны,
онъ утверждаетъ, что въ этомъ періодѣ прекратится маскарадъ, благодаря
которому соціальная «потребительная стоимость превращается въ мѣно-

вую, такъ что послѣдняя исчезнетъ, какъ преходящая «историческая категория», а первая «выступитъ во всей ея чистотѣ». Выходитъ, что воплощеннымъ въ продуктахъ трудомъ будетъ опредѣляться ихъ «соціальная потребительная стоимость», и что Рикардо и Марксъ ошибались, считая воплощенный въ продуктахъ трудъ «естественной нормой» ихъ современной «соціальной потребительной стоимости». Но ни Рикардо, ни Марксъ никогда, разумѣется, и не думали утверждать чего-либо подобнаго. «Ошибались» не они, а Родбертусъ, которому пришла охота оспаривать у Прудона сомнительную честь измышления особаго рода стоимости, такъ называемой «*valeur constituée*». Но Прудонъ былъ послѣдователемъ, по крайней мѣрѣ, въ томъ отношеніи, что, даря человечеству свое мнимое изобрѣтеніе, онъ рекомендовалъ ему въ то же время навсегда удержать товарное производство и обращеніе. Зачѣмъ понадобилась «*valeur constituée*» Родбертусу, который никогда не думалъ переносить въ свой «будущій періодъ» современнаго производства товаровъ—понять рѣшительно невозможно. Для чего опредѣлять мѣновую стоимость товаровъ тамъ, гдѣ продукты не принимаютъ товарной формы? Какъ видно по всему, подъ мѣною стоимостью продуктовъ будущаго «всемирно-историческаго періода» Родбертусъ понимаетъ просто издержки ихъ производства. Но въ такомъ случаѣ упрекъ, дѣлаемый имъ Рикардо и Марксу, окончательно утрачиваетъ всякое значеніе. Она оказываются виновными въ непониманіи того, что только въ «будущемъ періодѣ» мѣновая стоимость продуктовъ, т. е. издержки ихъ производства, будутъ равняться воплощенному въ нихъ труду, т. е. издержкамъ ихъ производства. Такіе упреки едва ли могутъ повредить ученой репутаціи Рикардо и Маркса.

Какъ это ни странно, но путаницей Родбертусъ обязанъ именно своему излюбленному приему противопоставленія «логическихъ категорій» историческимъ. Какъ создавались въ его умѣ понятія о «логическихъ категоріяхъ въ экономической наукѣ», наглядно показываетъ ученіе его о капиталѣ. «Капиталъ самъ по себѣ, капиталъ въ логическомъ или національно-хозяйственномъ смыслѣ этого слова, есть продуктъ, предназначенный для дальнѣйшаго производства... предварительно совершенный трудъ. По отношенію же къ прибыли, которую онъ долженъ приносить, или съ точки зрѣнія современнаго предпринимателя, онъ долженъ явиться въ видѣ издержекъ предпріятія, чтобы быть капиталомъ. Такимъ образомъ, современный историческій капиталъ обнимаетъ собою стоимость матеріала, орудій труда и заработной платы» ¹⁾. Содержаніе понятія объ историческомъ капиталѣ различно въ различныхъ историческія эпохи. Въ античномъ обществѣ сами рабочіе являются составною частью капитала, въ «будущемъ періодѣ» всѣ средства производства перейдутъ въ распоряженіе общества такъ, что историческій капиталъ сольется съ «капиталомъ»

¹⁾ Zur Beleucht. etc. B. I, S. 98.

въ логическомъ смыслѣ этого слова»: онъ явится въ видѣ продукта, предназначеннаго для дальнѣйшаго производства, а не въ видѣ «издержекъ частнаго предпринимателя». Изъ этого опредѣленія «капитала, въ логическомъ смыслѣ этого слова», видно, во-первыхъ, что до сихъ поръ онъ существовалъ только въ головахъ экономистовъ, и что понятіе о немъ получить реальное значеніе лишь въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ, вслѣдствіе божественнаго Ормузда съ Ариманомъ, историческаго капитала съ логическимъ. Изъ него слѣдуетъ далѣе, что до понятія о «логическомъ капиталѣ» экономисты достигаютъ, лишая понятіе «объ историческомъ капиталѣ» нѣкоторой части его содержанія. Какой именно? Это зависитъ отъ того, къ какому направленію принадлежитъ экономистъ, производящій эту «логическую» операцію. Родбертусъ, напримѣръ, думаетъ, что понятіе о заработной платѣ, какъ части «логическаго капитала», противорѣчило бы «современному правовому положенію работника». Поэтому онъ относитъ ее къ категоріи дохода и понимаетъ подъ «капиталомъ въ логическомъ смыслѣ этого слова» лишь матеріалъ и орудія труда. Другіе экономисты и на рабочаго смотрятъ какъ на «машину, на постройку которой былъ затраченъ извѣстный капиталъ, начинающій приносить проценты съ тѣхъ поръ, какъ машина становится полезнымъ работникомъ въ производствѣ» (Флорезъ Эстрада). Эти «ученые» разсматриваютъ вещи, какъ онѣ существуютъ de facto, и не заботятся о разладѣ нашихъ юридическихъ понятій съ печальной дѣйствительностью. Они сказали бы, что понятіе о логическомъ капиталѣ уже въ настоящее время совершенно совпало съ понятіемъ объ историческомъ капиталѣ, такъ что «будущій періодъ» можетъ уже не заботиться о заключеніи мира между Ормуздомъ и Ариманомъ. Разногласія эти могли бы подать поводъ къ самымъ ожесточеннымъ и продолжительнымъ спорамъ, которые нисколько не уяснили бы, однако, нашихъ понятій о капиталѣ въ какомъ угодно смыслѣ этого слова. Они остались бы бесплодными по той простой причинѣ, что сами спорящія стороны, несмотря на кажущуюся тонкость ихъ опредѣленій, не знали бы хорошенько—о какомъ значеніи «капитала» идетъ рѣчь, разсматриваютъ ли они его съ технической или общественно-экономической точки зрѣнія.

Въ самомъ дѣлѣ, по смыслу предлагаемаго Родбертусомъ опредѣленія, кремневый топоръ и кожа убитаго дикаремъ звѣря являются такимъ же «капиталомъ въ логическомъ смыслѣ этого слова», какъ и хлопчатая бумага и паровыя машины современнаго фабриканта. Кремневый топоръ есть такой же «продуктъ, предназначенный для дальнѣйшаго производства», какъ и паровая машина. Съ точки зрѣнія процесса производства опредѣленіе это справедливо: орудія и матеріалы труда всегда играютъ одинаковую роль въ этомъ процессѣ. Но общественныя отношенія, среди которыхъ совершается этотъ процессъ производства, далеко не одинаковы

на различныхъ ступеняхъ общественнаго развитія. Возьмемъ, для примѣра, отношеніе «продукта, предназначеннаго для дальнѣйшаго производства», къ самому производителю. Современный пролетарій поработается машиной, между тѣмъ какъ дикарь, котораго европеецъ презрительно называетъ фетишистомъ, не могъ бы и вообразить себя въ зависимости отъ своего собственнаго орудія труда. Дикарь *эксплуатируетъ* средства производства, современный же рабочій, напротивъ, *эксплуатируется* ими. Теперь уже не «капиталь» существуетъ для удовлетворенія потребности трудящихся, а трудящійся существуетъ ради удовлетворенія потребностей капитала—созданія такъ назыв. прибавочной стоимости. «Капиталь» былъ *вещью* для дикаря; онъ является въ видѣ *общественнаго отношенія* для современнаго работника. Опредѣляемъ ли мы хоть сколько-нибудь это отношеніе, говоря, что «капиталь есть предварительно совершенный трудъ»? Нисколько: наше опредѣленіе касается только роли «капитала» въ процессѣ производства, внутри фабрики или мастерской. Чтобы пополнить его, мы должны были бы прибавить, что этотъ «продуктъ предварительнаго труда» господствуетъ надъ трудомъ настоящаго времени, что «мертвый схватываетъ живого», какъ говорятъ французы. Но и этого мало. Намъ нужно было бы сказать еще, что цѣлью этого господства является производство прибавочной стоимости, которая подъ различнымъ соусомъ подается различнымъ представителямъ господствующаго класса. Въ этомъ смыслѣ и употребляли слово «капиталь» экономисты классики. Только они переносили современные имъ понятія на всѣ фазисы общественнаго развитія, и полагали, что средства производства всегда играли одинаковую роль, что «продуктъ, предназначенный для дальнѣйшаго производства», всегда приносилъ прибыль своему обладателю. Они не дѣлали различія между средствами производства и капиталомъ по той же причинѣ, по которой большинство ихъ не могло себя представить продуктъ иначе, какъ въ видѣ товара. Какъ мѣновая стоимость казалась имъ непременнымъ свойствомъ всякаго продукта, такъ и «продуктъ, предназначенный для дальнѣйшаго производства», всегда обладалъ, по ихъ мнѣнію, способностью приносить прибавочную стоимость, т. е. процентъ и прибыль. Родбертусъ, лучше ихъ знавшій экономическую исторію европейскихъ обществъ, понималъ, что обычное представленіе о капиталѣ справедливо только по отношенію къ буржуазному ея періоду. Онъ старался избѣгать неудобствъ принятой экономистами терминологіи, устанавливая различіе между историческими и логическими категоріями, между капиталомъ въ логическомъ и капиталомъ въ историческомъ смыслѣ этого слова. Первымъ терминомъ онъ обозначалъ средства производства, въ всякой связи ихъ съ общественными отношеніями людей, вторымъ—онъ хотѣлъ выразить именно эти общественныя отношенія. Но для него самого не было еще ясно, когда и при какихъ условіяхъ «капиталь въ историческомъ смыслѣ этого слова»

можетъ выражать собою общественныя отношенія производства. Критеріемъ для опредѣленія различныхъ видовъ историческаго капитала онъ взялъ чисто юридическій признакъ: большую или меньшую широту сферы частной собственности. Характеристическимъ признакомъ античнаго историческаго капитала является у него то обстоятельство, что сами трудящіеся представляютъ собою объектъ собственности. Съ этой точки зрѣнія исчезаетъ всякое различіе между античнымъ историческимъ капиталомъ и капиталомъ американскихъ рабовладѣльческихъ штатовъ. Однако, самъ Родбертусъ не согласился бы уподобить римскаго землевладѣльца американскому плантатору, хозяйство котораго было обставлено совершенно иными условіями. Попытка Родбертуса установить различіе между историческими и логическими категоріями есть не болѣе, какъ неудавшаяся попытка понять и формулировать ту особенность товарнаго способа производства, благодаря которой «общественныя отношенія людей являются въ видѣ общественнаго отношенія вещей». Если бы для него была ясна эта особенность, то онъ не сталъ бы обозначать однимъ и тѣмъ же терминомъ «капиталъ» два совершенно различныхъ понятія: о «продуктѣ, предназначенномъ для дальнѣйшаго производства»—съ одной стороны, и объ общественныхъ отношеніяхъ производства, выразителемъ которыхъ является этотъ «продуктъ»,—съ другой. Онъ понялъ бы далѣе, что эта двойственность характеризуетъ только буржуазную эпоху общественнаго развитія, и не сталъ бы искать ее въ античномъ обществѣ, гдѣ товарное производство существовало только въ зачаточномъ состояніи. Тогда въ его терминологіи не было бы тѣхъ странностей, которыя мы видимъ въ ней теперь; она не допускала бы отождествленія совершенно несходныхъ понятій и не допускала бы для античнаго и современнаго общества двухъ «капиталовъ»: «логическаго», къ которому относится «продуктъ, предназначенный для дальнѣйшаго производства», и «историческаго», который заключаетъ въ себѣ тотъ же «продуктъ» съ «прибавкой», въ первомъ случаѣ, рабовъ, во второмъ—стоимости заработной платы». Тогда «капиталъ въ логическомъ смыслѣ этого слова» былъ бы названъ имъ просто средствами производства; капиталомъ же эти средства производства явились бы для него лишь въ извѣстную эпоху общественно-экономическаго развитія, когда посредствомъ ихъ эксплуатируется трудъ работника съ цѣлью производства прибавочной стоимости, и когда рабочая сила сама является товаромъ, продаваемымъ въ розницу различнымъ предпринимателямъ.

XV.

Отъ стоимости и капитала перейдемъ теперь къ другимъ частямъ теоріи Родбертуса, къ ученію его о кризисахъ и пауперизмѣ, о земельной рентѣ и о способахъ устраненія «недостатковъ современной обще-

отвенной организаціи». Читатель помнитъ, что всѣ ея недостатки Родбертусъ сводитъ къ одному «коренному недостатку»: постоянному уменьшенію заработной платы, какъ части продукта. Этимъ обуславливается какъ обѣднѣніе рабочаго класса, такъ и періодически возвращающіеся торговые кризисы. «Причина кризисовъ заключается единственно въ несоотвѣтствіи покупательной и производительной силы, — говоритъ онъ.— Покупательная сила есть не что иное, какъ участіе въ пользованіи результатами производительной силы или въ національномъ доходѣ. Она отстаётъ отъ производительной силы, потому что не регулировано пользование результатами этой послѣдней ¹⁾. Регулируйте пользование этими результатами, и пауперизмъ исчезнетъ вмѣстѣ съ торговыми кризисами. Уже этого предполагаемаго Родбертусомъ результата достаточно, чтобы обратить на его ученіе о кризисахъ самое серьезное вниманіе.

Ученіе это указываетъ, по нашему мнѣнію, только на нѣкоторые изъ элементовъ, обуславливающихъ возникновеніе и интензивность торговыхъ кризисовъ, но не разсматриваетъ этого явленія въ исторической связи его съ экономическимъ развитіемъ общества. Торговые кризисы представляютъ собою явленіе гораздо болѣе новое, чѣмъ пониженіе уровня заработной платы, какъ части продукта. По словамъ самого Родбертуса, заработная плата падаетъ уже въ теченіе пяти столѣтій, между тѣмъ какъ торговые кризисы являются характеристическимъ признакомъ общественнаго хозяйства только въ XIX вѣкѣ. Ясно, что однимъ пониженіемъ уровня заработной платы ихъ объяснить невозможно. Притомъ же хотя кризисы и пониженіе уровня заработной платы и находятся въ тѣсной связи другъ съ другомъ, но связь ихъ не можетъ быть названа причиною: низкій уровень заработной платы такъ же точно предполагаетъ существованіе кризисовъ, какъ существованіе кризисовъ предполагаетъ низкій уровень заработной платы. Оба эти явленія представляютъ собою слѣдствія глубже лежащей причины. Пониженіе рабочей платы до уровня насущнѣйшихъ потребностей рабочаго обуславливается тѣмъ обстоятельствомъ, что съ развитіемъ капиталистическаго способа производства часть рабочаго класса постепенно обращается въ «относительно излишнее населеніе», которое своею конкуренціей понижаетъ заработокъ всѣхъ рабочихъ странъ. Ходъ капиталистическаго накопленія имѣетъ, какъ показалъ Марсъ, ту особенность, что отношеніе между постояннымъ и переменнымъ капиталами все болѣе и болѣе измѣняется въ пользу перваго. «Если первоначально это отношеніе равнялось 1 : 1, то постепенно оно становится равнымъ 2 : 1, 3 : 1, 4 : 1 и т. д., такъ что при дальнѣйшемъ ростѣ капитала уже не половина его идетъ на покупку рабочей силы, а только $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, и т. д. А такъ какъ спросъ на

¹⁾ Zur Erkenntniss etc., S. 29.
Бельтовъ. Т. I. Изд. 3.

трудъ зависитъ не отъ общей суммы капитала, а отъ переменной его части, то онъ прогрессивно уменьшается съ возрастаніемъ общихъ размѣровъ капитала. Капиталистическое накопленіе создаетъ, и притомъ въ прямомъ отношеніи къ своему объему и энергіи, относительно, т. е. для среднихъ потребностей капитала, не нужное, а потому и излишнее рабочее населеніе» ¹⁾). Но ненужное для среднихъ потребностей капитала «относительно излишнее рабочее населеніе» составляетъ въ то же время необходимое условіе существованія крупной промышленности. Не говоря уже о томъ, что оно понижаетъ уровень заработной платы и тѣмъ «привлекаетъ рабочихъ къ капиталу», не говоря уже объ этой «услугѣ» относительно излишняго населенія, оно становится необходимымъ всякій разъ, когда кризисы смѣняются оживленіемъ промышленной дѣятельности. Чтобы вознаграждать себя за временныя потери, предприниматели должны расширить размѣры производства, а для этого нужно имѣть подъ рукой незанятыхъ рабочихъ. «Излишнее населеніе служитъ резервной арміей, пускаемой въ дѣло въ разгаръ промышленной горячки. Но оживленіе смѣняется застоємъ, горячка ведетъ къ кризису, и дѣйствующая армія рабочихъ снова доводится до минимума, остальные же остаются свободными и голодаютъ въ ожиданіи «лучшаго будущаго». Правильная смѣна періодовъ оживленія, промышленной горячки, кризисовъ и зстоя, «этотъ своеобразный жизненный ходъ современной промышленности, не встрѣчающійся ни въ одномъ изъ предшествующихъ фазисовъ развитія чело- вѣчества, былъ невозможенъ также и въ дѣтскомъ періодѣ капиталистическаго способа производства. Взаимное отношеніе составныхъ частей капитала измѣнялось лишь мало-по-малу. Его накопленію соответствовало, въ общемъ, относительное возрастаніе спроса на трудъ... Внезапное расширение производства предполагаетъ внезапное его сокращеніе; послѣднее снова вызываетъ первое, но первое немисливо безъ существованія свободного контингента работниковъ, безъ возрастанія числа ихъ, помимо абсолютнаго увеличенія народонаселенія» ²⁾).

Такимъ образомъ, кризисы немислимы безъ существованія «относительно излишняго населенія» по той простой причинѣ, что только это населеніе даетъ возможность расширить производство до той степени, на которой кризисъ становится неизбѣжнымъ. Съ другой стороны, неизбѣжность кризисовъ обусловливается общимъ ходомъ развитія крупной промышленности и служитъ самымъ нагляднымъ доказательствомъ неспособности буржуазіи распорядиться созданными ею самою производительными силами. «Участіе въ пользованіи результатами производительныхъ силъ» никогда не было «регулировано» въ буржуазномъ обще-

¹⁾ Das Kapital, S. 615—16.

²⁾ Ibid., S. 619.

ствѣ, но только крупная машинная промышленность до такой степени увеличила эти силы, что онѣ стали въ противорѣчіе съ даннымъ способомъ производства. Возрастаніе производительныхъ силъ требуетъ расширенія рынковъ; но чѣмъ болѣе расширяются рынки, тѣмъ труднѣе становится для каждаго отдѣльнаго предпринимателя слѣдить за всеми колебаніями спроса и предложенія. Каждый предприниматель не можетъ дѣйствовать иначе, какъ ощупью, тѣмъ не менѣе онъ долженъ спѣшить доставить на рынокъ возможно большее количество продуктовъ, если онъ не хочетъ упустить благоприятный моментъ и быть опереженнымъ своими конкурентами. Нѣкоторое время доставляемые на рынокъ продукты находятъ себѣ сбытъ, и тогда производительныя силы разныхъ странъ обнаруживаютъ все свое могущество. Но вслѣдъ за тѣмъ рынки переполняются товарами, спросъ отстаетъ отъ предложенія, и промышленная горячка смѣняется кризисомъ. Находящіяся на рынкѣ продукты являются излишними, конечно, только въ относительномъ смыслѣ этого слова. Мы видѣли уже, что рабочее населеніе терпитъ страшную нужду именно въ то время, когда товары не находятъ себѣ сбыта. Но капиталиста интересуютъ не общественныя потребности, а такъ называемый «дѣйствительный спросъ», т. е. спросъ, опирающійся на покупательную силу. По справедливому замѣчанію одного экономиста, даже во время голода хлѣбъ ввозится въ страну не потому, что населеніе голодаетъ, а потому, что предприниматель надѣется получить прибыль. Чтобы имѣть возможность покупать переполняющіе рынки товары, рабочіе должны имѣть заработокъ, а заработокъ они могутъ имѣть только въ томъ случаѣ, когда предприниматель рассчитываетъ обратить трудъ ихъ въ прибавочную стоимость. Во время кризисовъ онъ лишается этой надежды, поэтому товары гниютъ въ складахъ, производительныя силы общества остаются безъ всякаго почти приложенія, а рабочіе превращаются въ нищихъ. Будучи употреблены въ дѣло въ широкихъ размѣрахъ, производительныя силы капиталистическаго общества приводятъ въ полное разстройство весь ходъ его экономической жизни и наполняютъ ее дѣльнымъ рядомъ самыхъ нецѣльныхъ противорѣчій. Ясно, что механизмъ этой жизни не соотвѣтствуетъ болѣе состоянію производительныхъ силъ общества и нуждается въ перестройкѣ. Но предлагаемый Родбертусомъ планъ этой перестройки такъ же одностороненъ, какъ и ученіе его о причинѣ кризисовъ. Если, по справедливому замѣчанію Энгельса, «недостаточное потребленіе рабочихъ классовъ такъ же мало говоритъ намъ о причинахъ появленія кризисовъ въ настоящее время, какъ о причинахъ отсутствія ихъ въ прошломъ»¹⁾, то увеличеніе покупательной силы этого класса не можетъ считаться радикальнымъ средствомъ

¹⁾ Herren Eugen Dühring's Ummälzung der Wissenschaft, S. 238.

устраненія кризисовъ. Причина кризисовъ лежитъ въ несоотвѣтствіи капиталистическаго способа производства съ современнымъ состояніемъ производительныхъ силъ общества. Только приведа организацію производства въ соотвѣтствіе съ состояніемъ производительныхъ силъ, можно уничтожить этотъ «бичъ, терзающій даже капиталъ». Но, чтобы установить это соотвѣтствіе, недостаточно «регулировать пользование результатами производительныхъ силъ». Для этого нужно «регулировать» самое производство, поставивши его подъ контроль общества. Тогда, вмѣстѣ съ другими противорѣчіями капитализма, торговые кризисы отойдутъ въ область исторіи, и человѣчество войдетъ въ новый періодъ своего развитія, въ которомъ продуктъ не будетъ болѣе господствовать надъ производителемъ. При всей плодотворности усвоеннаго имъ историческаго метода экономическихъ изслѣдованій, Родбертусъ такъ же не выяснилъ окончательно историческаго значенія кризисовъ, какъ не усвоилъ онъ вполне точныхъ и законченныхъ понятій о мѣновой стоимости, капиталѣ и товарномъ производствѣ.

XVI.

Закравшіяся въ его ученіе о стоимости противорѣчія послужили главнымъ основаніемъ ошибочныхъ представленій его о поземельной рентѣ. Исходнымъ пунктомъ его ученія о рентѣ является вопросъ о значеніи матеріала въ земледѣльческихъ и промышленныхъ предпріятіяхъ. «То, что входитъ въ понятіе о матеріалѣ въ фабричныхъ предпріятіяхъ, или совершенно отсутствуетъ въ земледѣліи, или составляетъ продуктъ собственнаго хозяйства, а потому совсѣмъ не требуетъ издержекъ, или требуетъ ихъ въ очень ограниченныхъ размѣрахъ. Въ земледѣліи сама почва заступаетъ мѣсто матеріала» ¹⁾. Читатель знаетъ уже, какіе выводы дѣлалъ Родбертусъ изъ этого обстоятельства. Онъ былъ убѣжденъ, что его теорія ренты неопровержима, и что если бы Рикардо оставался вѣренъ своему ученію о стоимости, то непременно пришелъ бы къ тѣмъ же выводамъ. Но, по смыслу ученія Рикардо, мѣновая стоимость продуктовъ не всегда опредѣляется единственно количествомъ труда, затраченнаго на ихъ производство. Правило это «значительно измѣняется,—говоритъ онъ,—вслѣдствіе употребленія машинъ и другого рода постояннаго и медленно обращающагося капитала» ²⁾. Рикардо не говоритъ, правда, о вліяніи различій въ стоимости матеріала. Но, разъ допустивши измѣненіе кореннаго своего положенія въ виду неодинаковой стоимости орудій труда, онъ долженъ былъ признать возможность такого же измѣненія въ виду различной стоимости мате-

¹⁾ Zur Erklärung etc. der Creditn., I Th., S. 123.

²⁾ Works, p. 20.

ріала. И онъ несомнѣнно призналъ бы это измѣненіе, если бы не усмотрѣлъ какихъ-нибудь новыхъ факторовъ, устраняющихъ вліяніе различной стоимости матеріала въ различныхъ предпріятіяхъ. По замѣчанію г. Зибера, къ числу такихъ факторовъ должна быть отнесена практикуемая предпринимателями система взаимнаго кредита, благодаря которой переходъ продуктовъ изъ одной отрасли производства въ другую не представляетъ уже «непрерывнаго ряда продажъ и покупокъ», требующихъ немедленной расплаты и потому увеличивающихъ издержки предпріятій. Стоимость матеріала не входитъ, въ такомъ случаѣ, въ эти издержки и не вліяетъ на уровень прибыли. Потребитель выплачиваетъ, конечно, стоимость матеріала предпринимателя. Но онъ выплачиваетъ ее въ размѣръ труда, затраченнаго на производство матеріала; и каждый отдѣльный предприниматель получаетъ ту часть этой стоимости, которая соотвѣтствуетъ труду его рабочихъ. Вслѣдствіе этого стоимость матеріала не можетъ вліять на высоту уровня прибыли въ различныхъ предпріятіяхъ. Замѣчательно, что Родбертусъ, который не принялъ во вниманіе вліянія указаннаго фактора, самъ долженъ былъ признать, что общій законъ мѣновой стоимости нѣсколько измѣняется вслѣдствіе неодинаковой стоимости матеріала въ различныхъ предпріятіяхъ. «Принятый Рикардо и Маккуллохомъ законъ мѣновой стоимости измѣняется,—говоритъ онъ,—въ настоящее время подъ вліяніемъ другого закона, по которому прибыль стремится къ равному уровню во всѣхъ предпріятіяхъ. На этомъ основаніи онъ и допускаетъ, что мѣновая стоимость продуктовъ тѣхъ предпріятій, которыя обрабатываютъ болѣе дорогой матеріалъ, нѣсколько превышаетъ количество труда, затраченнаго на ихъ производство ¹⁾. Въ своемъ ученіи о рентѣ онъ забываетъ сказанное имъ въ ученіи о стоимости и упрекаетъ при этомъ Рикардо въ непослѣдовательности. А между тѣмъ единственно его собственной непослѣдовательности обязана своимъ существованіемъ его поземельная рента. Изъ двухъ возрѣній онъ долженъ былъ остановиться на какомъ-нибудь одномъ: онъ долженъ былъ или признавать, или отрицать измѣненіе общаго закона о мѣновой стоимости подъ вліяніемъ стремленія прибыли къ одинаковому уровню во всѣхъ предпріятіяхъ. Въ первомъ случаѣ его поземельная рента не можетъ имѣть мѣста потому, что стоимость фабричныхъ продуктовъ нѣсколько превышаетъ количество труда, затраченнаго на ихъ производство, стоимость же земледѣльческихъ продуктовъ опускается ниже этой нормы, такъ какъ фабричная дѣятельность нуждается въ болѣе дорогомъ матеріалѣ, чѣмъ земледѣліе. Благодаря этому отклоненію мѣновой стоимости отъ обычной ея нормы, уровень прибыли будетъ одинаковъ во всѣхъ предпріа-

¹⁾ Cp. Zur Erkenntniss unserer staatsw. Zustände, S. 160—1.

тіяхъ, и составляющій поземельную ренту остатокъ прибыли земледѣльческихъ предпріятій будетъ равняться нулю. Во второмъ случаѣ Родбертусъ, дѣйствительно, могъ съ грѣхомъ пополамъ доказать, что земледѣльческія предпріятія должны приносить сверхъ обычной прибыли еще извѣстный остатокъ въ видѣ поземельной ренты. Но, оставаясь послѣдовательнымъ, онъ долженъ былъ придти къ тому неизбежному выводу, что подобныя же статоки дають и фабричныя предпріятія. Такъ, на примѣръ, несомнѣнно, что ткацкая фабрика нуждается въ болѣе дорогомъ матеріалѣ, чѣмъ бумагопрядильня, потому что первая подвергаетъ дальнѣйшей обработкѣ продуктъ, изготовленный второю. Повторяя извѣстное читателямъ, разсужденіе Родбертуса, мы придемъ къ тому заключенію, что, при прочихъ равныхъ условіяхъ, бумагопрядильня должна принести болѣе высокую прибыль, чѣмъ ткацкая фабрика. Но такъ какъ въ странѣ не можетъ быть двухъ различныхъ уровней прибыли, то приносимый бумагопрядильней доходъ распадается на двѣ части: обычную прибыль предпріятія и еще нѣкоторый остатокъ, соответствующій поземельной рентѣ въ землѣдѣліи. Какъ назвать этотъ остатокъ? Поступить ли онъ въ распоряженіе предпринимателя? Но это противорѣчило бы «закону равнаго уровня прибыли во всѣхъ предпріятіяхъ». Или онъ ойдетъ какимъ-нибудь другимъ лицамъ, существованія которыхъ не подозрѣвала до сихъ поръ экономическая наука и не обнаружила практическая жизнь? Разумѣется, намъ нѣтъ основанія думать, что наша прядильная рента будетъ явленіемъ исключительнымъ. Количество видовъ новаго рода ренты будетъ такъ же безконечно велико, какъ безконечно различна стоимость матеріала въ различныхъ предпріятіяхъ. Разнообразіе ея видовъ увеличивается еще вслѣдствіе неодинаковой стоимости орудій труда въ различныхъ отрасляхъ производства. Если, при прочихъ равныхъ условіяхъ, одно предпріятіе нуждается въ болѣе дорогихъ машинахъ, чѣмъ другое, то *уровень* прибыли не можетъ быть одинаковъ въ этихъ предпріятіяхъ. Поэтому фабрикантъ, употребляющій болѣе дешевыя машины, сверхъ обычной прибыли, получить еще извѣстный доходъ въ видѣ ренты. Его, конечно, будутъ мучить угрызения совѣсти, такъ какъ онъ нарушитъ «законъ равнаго уровня прибыли», удерживая свою ренту. Но пока послѣдователи Родбертуса не укажутъ ему, какъ распорядиться съ этой рентой, онъ не будетъ въ состояніи снять съ души своей это тяжелое бремя. Читатель видитъ, что теорія поземельной ренты Родбертуса приводитъ къ абсурду. И это совершенно понятно, потому что нашъ авторъ исходитъ въ своемъ ученіи о рентѣ частью изъ совершенно произвольныхъ и недоказанныхъ положеній, частью изъ явленія слишкомъ общаго для того, чтобы оно могло объяснить существованіе соціальной категоріи дохода. Онъ совершенно неправъ, говоря, что матеріалъ «или совершенно отсутствуетъ въ землѣдѣліи, или составляетъ продуктъ собственнаго хозяйства, а потому

и не входитъ въ понятіе объ издержкахъ производства. Къ такимъ «продуктамъ собственнаго хозяйства» относитъ онъ сѣмена и удобрение. Но развѣ сельскій хозяинъ не относитъ употребленнаго на обсѣменение полей хлѣба къ издержкамъ производства? Развѣ не вычитаетъ онъ стоимости этого хлѣба изъ валового дохода имѣнія при опредѣленіи своей чистой прибыли? Когда, въ случаѣ неурожая, онъ теряетъ надежду на получение прибыли и заботится только о покрытіи своихъ издержекъ, развѣ согласится онъ признать, что обсѣменение полей ему ничего не стоило? Наконецъ, употребленіе для посѣва своего или покупнаго хлѣба зависитъ не отъ общихъ законовъ земледѣлія, а отъ случайныхъ расчетовъ сельскаго хозяина. Онъ можетъ продать весь свой яровой хлѣбъ осенью, въ надеждѣ купить сѣмена весной. Въ такомъ случаѣ и самъ Родбертусъ не отказался бы, конечно, отнести эту покупку къ издержкамъ производства. Можно ли строить теорію поземельной ренты на такомъ основаніи? Если сѣмена и удобрение не входятъ въ понятіе объ издержкахъ производства на томъ основаніи, что «они составляютъ продуктъ собственнаго хозяйства», то зачѣмъ же относитъ къ этимъ издержкамъ содержаніе рабочаго? Извѣстно, что земледѣльческіе рабочіе гораздо чаще фабричныхъ получаютъ отъ хозяина помѣщеніе и пищу, причемъ послѣднее почти исключительно состоитъ «изъ продуктовъ собственнаго хозяйства». Почему бы не вывести принципа земельной ренты, между прочимъ, и изъ того обстоятельства, что сельскій рабочій получаетъ свою плату отчасти «натурой». Тогда было бы еще яснѣе, что земледѣльческія предпріятія должны приносить болѣе высокую прибыль, такъ какъ понятіе объ ихъ издержкахъ ограничивалось бы главнымъ образомъ орудіями труда и не распространялось бы даже на заработную плату.

Къ сожалѣнію, всякое изслѣдованіе о распредѣленіи дохода въ капиталистическомъ обществѣ должно имѣть въ виду не натуральное, а денежное хозяйство, въ которомъ каждый продуктъ имѣетъ мѣновую стоимость. Зная рыночныя цѣны, сельскій хозяинъ имѣетъ полную возможность оцѣнить и отнести къ своимъ издержкамъ даже тѣ изъ «продуктовъ, предвзначенныхъ для дальнѣйшаго производства», которые обязаны своимъ существованіемъ его собственному хозяйству. Такимъ образомъ, рѣчь можетъ идти не объ «отсутствіи» или «присутствіи» матеріала въ земледѣліи, а только о величинѣ его *стоимости*, которая, какъ мы видѣли, различна въ различныхъ отрасляхъ производства. И если мы не хотимъ признать существованія особаго рода рентъ во всѣхъ отрасляхъ, употребляющихъ дешевый матеріалъ, то мы должны согласиться, что дешевизна земледѣльческаго матеріала не объясняетъ еще происхожденія поземельной ренты. Да и можно ли съ увѣренностью сказать, что *всѣ* отрасли фабричныхъ предпріятій нуждаются въ болѣе дорогомъ матеріалѣ, чѣмъ земледѣліе? Мы полагаемъ, что вопросъ этотъ остается пока открытымъ.

Другія возраженія Родбертуса противъ теоріи ренты Рикардо такъ же несомнѣтельны, какъ и только что разсмотрѣнное. Такъ, напримѣръ, предложенную имъ «задачу» послѣдователи Рикардо могли бы рѣшать въ утвердительномъ смыслѣ, нисколько не противорѣча основнымъ положеніямъ своей теоріи, хотя нужно замѣтить, что всѣ подобнаго рода «задачи» напоминаютъ собою уравненіе со многими неизвѣстными, потому что условія ихъ никогда не опредѣляются надлежащимъ образомъ. Какъ помнить читатель, въ «задачѣ» Родбертуса рѣчь идетъ о кругломъ островѣ, въ центрѣ котораго находится городъ, служащій для сбыта земледѣльческихъ продуктовъ. Каждое изъ имѣній этого острова «простирается отъ городскихъ стѣнъ до береговъ» и, заключаая въ себѣ «около 5.000 магдебургскихъ моргеновъ», имѣетъ фигуру сектора. Будетъ ли существовать здѣсь поземельная рента?—спрашиваетъ Родбертусъ. Отвѣтить на этотъ вопросъ можно только, принимая въ соображеніе доходность различныхъ участковъ каждаго даннаго имѣнія. Посмотримъ же, будетъ ли она одинакова для всѣхъ участковъ. Въ какомъ бы пунктѣ внутри имѣнія ни лежалъ «хозяйскій дворъ», участки не могутъ находиться на одинаковомъ отъ него разстояніи, потому что имѣніе представляетъ собою фигуру сектора, а не круга. А, между тѣмъ, разстояніе это играетъ важную роль въ вопросѣ о доходности участковъ. Съ возрастаніемъ его, уменьшается доходность участка, несмотря на то, что, по условіямъ задачи, почва острова повсюду отличается одинаковымъ плодородіемъ. При прочихъ равныхъ условіяхъ, отдаленные участки будутъ приносить меньшій доходъ, и если потребности населенія вынудятъ взяться за ихъ обработку, то ближайшіе участки, сверхъ обычной прибыли дадутъ еще поземельную ренту. Величина этой ренты будетъ одинакова въ каждомъ изъ имѣній секторовъ, такъ какъ они представляютъ собою не только *подобныя*, но и равныя фигуры. Рѣшивъ въ этомъ смыслѣ предложенную имъ задачу, послѣдователи Рикардо могли бы воспользоваться ею, какъ орудіемъ противъ самого Родбертуса. Они могли бы сослаться на удовлетворительное рѣшеніе ея, какъ на доказательство того, что теорія Рикардо имѣетъ въ виду не только различную величину «поземельной ренты», но и самый ея *принципъ*. Что касается «колебаній уровня прибыли, случающихся раза два въ годъ», то, вопреки мнѣнію Родбертуса, явленіе это не можетъ служить аргументомъ противъ теоріи Рикардо. Поземельные участки сдаются, по меньшей мѣрѣ, на годъ. Каковы бы ни были колебанія прибыли въ теченіе года, арендаторъ легко можетъ опредѣлить средній ея уровень, который и послужитъ нормой его дохода. Онъ согласится платить ренту только за тѣ участки, которыя приносятъ доходъ, превышающій средній уровень прибыли. При долгосрочномъ контрактѣ онъ окажется, конечно, въ проигрышѣ, если обычный уровень прибыли возвысится. Возможность проигрыша арендатора есть единственное заключеніе,

къ которому можно придти въ виду продолжительныхъ колебаній уровня прибыли. Но опровергаетъ ли это заключеніе теорію Рикардо? Мы этого не думаемъ. Изъ всей теоріи поземельной ренты Родбертуса должно быть признано справедливымъ только ученіе его о производительности земледѣльческаго труда. Это ученіе проливаетъ новый свѣтъ на распредѣленіе національнаго дохода. Но, по словамъ самого Родбертуса, оно не касается *сущности* теоріи Рикардо. Возрастаніе производительности земледѣльческаго труда не устраняетъ, или, по крайней мѣрѣ, до сихъ поръ не устранило различій въ степени плодородія участковъ.

XVII.

Намъ остается сдѣлать нѣсколько замѣчаній относительно «практическихъ предложеній» Родбертуса. Выше мы говорили уже, подъ какими «практическими» вліяніями находится Родбертусъ, какъ реформаторъ. Онъ выступаетъ передъ нами въ этихъ планахъ не столько въ качествѣ безпристрастнаго ученаго, сколько въ качествѣ померанскаго помѣщика, никогда не теряющаго изъ виду связи интересовъ землевладѣнія съ интересами капитала. Взглянемъ теперь на его «планы» съ точки зрѣнія ихъ осуществимости. Теоретическимъ центромъ тяжести всѣхъ его плановъ является установленіе новаго «мѣрила стоимости», замѣна денегъ-товара «простыми билетами». На эту мѣру опираются всѣ другія предложенія Родбертуса, и хотя практическое осуществленіе нѣкоторыхъ изъ нихъ возможно, по его мнѣнію, и при современномъ денежномъ хозяйствѣ, но онъ категорически заявляетъ, что только введеніе новаго «мѣрила стоимости» дало бы прочность и законченность предлагаемой имъ реформы. Онъ совершенно правъ въ этомъ отношеніи: планы его утрачиваютъ всякое практическое значеніе для того, кто считаетъ ошибочной основную его посылку. Поэтому мы и обратимся къ оцѣнкѣ ея теоретическаго и практическаго значенія.

Ученіе Родбертуса о «рабочихъ деньгахъ» тѣсно связано съ ученіемъ его о стоимости, которое было далеко небезошибочнымъ. Онъ утверждаетъ, что идея прудоновской «*valeur constituée*» принадлежитъ ему, такъ какъ онъ ее высказалъ нѣсколькими годами ранѣе Прудона. Дѣйствительно, мы находимъ ее уже въ сочиненіи его «*Zur Erkenntniss etc.*», вышедшемъ въ 1842 году. Но въ то время она была далеко не нова. Еще въ 1831 году англійскій писатель Джонъ Грей выработалъ проектъ національнаго банка, который, имѣя отдѣленія во всей странѣ, выдавалъ бы производителямъ, въ обмѣнъ на ихъ продукты, свидѣтельства, съ обозначеніемъ рабочаго времени, затраченнаго на изготовленіе этихъ продуктовъ. Предъявители такихъ свидѣтельствъ получали бы изъ складомъ банка соответствующее количество товаровъ, обращеніе которыхъ совершалось бы, такимъ образомъ, безъ посредства нывѣшнихъ де-

негъ. Грэй такъ вѣрилъ въ практичность своего плана, что послѣ февральской революціи представилъ временному французскому правительству записку, въ которой доказывалъ, что Франція нуждается не въ «организации труда», а въ «организации обмѣна»¹⁾. Какъ видитъ читатель, въ «практическихъ предложеніяхъ» Родбертуса цѣликомъ повторялись идеи Грея, съ тою, впрочемъ, разницею, что нашъ авторъ, кромѣ «организации обмѣна», предлагалъ еще законодательное регулированіе заработной платы. Но это различіе не могло придать болѣе вѣса основнымъ его положеніямъ. Онъ повторилъ въ нихъ ту же ошибку, которую ранѣе его сдѣлалъ Грэй, а послѣ Прудонъ, и которая состояла, по выраженію Маркса, въ «элементарномъ непониманіи необходимой связи между товаромъ и деньгами». Товары представляютъ продуктъ индивидуальныхъ производителей, такъ что воплощенный въ нихъ трудъ есть *индивидуальный*, а не *общественный*. Мѣновая же стоимость продуктовъ опредѣляется *общественно-необходимымъ* трудомъ, затраченнымъ на ихъ производство. Чтобы знать мѣновую стоимость продукта, мы должны, слѣдствительно, знать, какъ относится воплощенный въ немъ индивидуальный трудъ къ труду «общественно-необходимому». Въ настоящее время отношеніе это опредѣляется въ процессѣ товарнаго обращенія. Необходимымъ слѣдствіемъ обращенія продуктовъ въ товары является превращеніе одного изъ товаровъ въ деньги, во «всеобщій эквивалентъ», въ различныхъ количествахъ котораго всѣ другіе товары выражаютъ свою мѣновую стоимость. Товаръ-деньги становится, такимъ образомъ, «воплощеніемъ общественнаго рабочаго времени» въ противоположность всѣмъ другимъ товарамъ, какъ воплощенію индивидуальнаго рабочаго времени различныхъ производителей. Отношеніемъ каждаго отдѣльнаго товара ко всеобщему товару-деньгамъ и выражается отношеніе индивидуальнаго рабочаго времени къ общественному.

По проекту Родбертуса, это послѣднее отношеніе опредѣляется въ самомъ производствѣ. Путемъ опыта государство находитъ среднюю производительность труда въ каждомъ изъ безчисленныхъ его отраслей. Такимъ образомъ приводится въ извѣстность общественное рабочее время, необходимое на производство каждаго отдѣльнаго продукта. Стоимость продуктовъ опредѣляется именно этимъ общественнымъ временемъ, независимо отъ того, какихъ усилій потребовало производство ихъ отъ даннаго индивидуума. Но воплощенный въ продуктахъ трудъ становится общественно-необходимымъ трудомъ только въ томъ случаѣ, если они удовлетворяютъ извѣстныя общественныя потребности. Будучи произведены въ излишнемъ количествѣ, продукты перестаютъ соответствовать потребностямъ общества. Время, затраченное на производство излишнихъ

¹⁾ См. Zur Kritik der politischen Oekonomie, von Karl Marx, Berlin 1859, S. 61.

продуктовъ, есть просто даромъ потерянное время. А такъ какъ ни одинъ производитель не пользуется на рынкѣ какими-нибудь преимуществами передъ другими, то потеря эта распределяется между ними пропорціонально количеству произведенныхъ ими продуктовъ. Только часть труда, воплощеннаго въ каждомъ изъ ихъ продуктовъ, признается на рынкѣ трудомъ общественно-необходимымъ. «Рыночная цѣна» продуктовъ опускается ниже «естественной цѣны» ихъ, какъ сказалъ бы Рикардо, и предприниматели сокращаютъ свое производство до тѣхъ поръ, пока оно не придетъ въ равновѣсiе съ потребностями общества. Колебанiе рыночныхъ цѣнъ регулируетъ, такимъ образомъ, производство. Чѣмъ думаетъ замѣнить этотъ регуляторъ Родбертусъ? Должны ли товары имѣть, по его проекту, кромѣ «конституированной стоимости», еще и рыночную цѣну, или, правильнѣе, развивается ли первая во вторую? Конечно, нѣтъ; весь секретъ «*valeur constituée*» именно въ томъ и состоитъ, что она устраняетъ различiе между цѣною и стоимостью продуктовъ. Родбертусъ забываетъ при этомъ, что «различiе между цѣною и стоимостью есть не номинальное только различiе», что «въ немъ концентрируются всѣ тѣ невзгоды, которыя грозятъ товару въ дѣйствительномъ процессѣ обращенiя» ¹⁾. Устранить его можно только съ устраненiемъ самого товарнаго производства, т. е. путемъ такой организаціи производства, въ которой продукты не будутъ имѣть ни цѣны, ни стоимости по той простой причинѣ, что они не будутъ товарами. Но при такой организаціи производства сама «*valeur constituée*» не имѣла бы ни малѣйшаго смысла. Чтобы быть послѣдовательнымъ, Родбертусу ничего не оставалось, какъ отказаться отъ «принадлежащей ему» идеи «конституированной стоимости» и стремиться къ новой, плановѣрной организаціи всего производительнаго механизма, въ которой не имѣла бы мѣста современная противоположность между индивидуальнымъ и общественнымъ рабочимъ временемъ. Сама логика вещей привела къ этому его предшественника Грея, который «отрицаетъ», по словамъ Маркса, одно за другимъ условiя буржуазнаго производства, хотя и предполагаетъ ограничить свою «реформу» деньгами. Такъ, онъ обращаетъ капиталъ въ національный капиталъ, поземельную собственность—въ національную собственность, и если внимательнѣе приглядѣться къ его банку, то окажется, что этотъ послѣдній не только одною рукою получаетъ товары, а другою выдаетъ свидѣтельства съ обезпеченiемъ затраченнаго труда, но регулируетъ и самое производство ²⁾. Читатель помнитъ, однако, что, предлагая государству осуществить реформы, которыя, чтобы привести къ чему-нибудь, должны были бы привести къ устраненiю

¹⁾ Karl Marx. Zur Kritik est., S. 46.

²⁾ Ibid., S. 63.

буржуазнаго способа производства, Родбертусъ хотѣлъ въ то же время удержать буржуазный способъ распредѣленія національнаго дохода. Онъ хотѣлъ сохранить во всей неприкосновенности современныя отрасли этого дохода: поземельную ренту, прибыль и заработную плату. Конечно, реформаторской фантазійи нельзя положить предѣла, но можно требовать, по крайней мѣрѣ, чтобы одно «практическое предложеніе» реформатора не противорѣчило другому.

Нетрудно подвести итоги сказанному нами о практическихъ планахъ Родбертуса. Они неполны, односторонни, внушены соображеніями, не всегда согласными съ безпристрастіемъ ученаго, окончательно отказавшагося отъ извѣстныхъ интересовъ и предразсудковъ. Наконецъ,—и это главное,—въ основѣ ихъ лежитъ недостаточно выясненное понятіе о сущности современнаго производства. Онъ хочетъ сохранить это производство, устраняя необходимѣйшія его условія, хочетъ товаровъ безъ денегъ, «буржуазіи безъ пролетаріата». Если эта неясность понятій повредила много его теоретическимъ изслѣдованіямъ, то она лишила всякаго значенія его «практическія предложенія».

Заканчивая нашъ не въ мѣру растянутый этюдъ о Родбертусѣ, мы можемъ повторить сказанное нами о немъ въ началѣ статьи. Смѣшно ставить его ученіе не только выше ученія Маркса и Энгельса, но и на одну доску съ этимъ послѣднимъ. Воззрѣнія Родбертуса сложились въ тотъ періодъ исторіи экономической науки, когда старое зданіе классической экономіи оказалось тѣснымъ, обветшалымъ и потребовало радикальной перестройки. Сочиненія его были замѣчательнѣйшимъ «знаменіемъ» этого переходнаго времени, но не ему суждено было стать архитекторомъ, заложившимъ фундаментъ новой науки. Онъ усердно и добросовѣстно трудился надъ ея обновленіемъ, не ограничивалъ поля своего зрѣнія интересами однихъ высшихъ классовъ, не утаивалъ результатовъ, добытыхъ классической экономіей. Все это обезпечиваетъ ему почетное мѣсто въ исторіи науки. Вѣрный послѣдователь Смита и Рикардо, онъ былъ безконечно выше современныхъ ему вульгарныхъ экономистовъ.

Property of
George Melcher known
as Gresho Melnichansky
of
Moscow.

